

Джон Талеуорси

КОНЕЦ ГЛАВЫ

ТРИЛОГИЯ



ТАШКЕНТ «УКИТУВЧИ» 1990

Текст печатается по изданию:
Голсуорси Д. Конец главы. М.: «Правда», 1984.

Перевод с английского

Вступительная статья

М. Тугушевой

«Конец главы» — произведение выдающегося английского писателя Д. Голсуорси (1867—1933) — состоит из трех частей: «Девушка ждет» (1931), «Пустыня в цвету» (1932), «На другой берег» (1933). По своему идейному замыслу и отчасти общим персонажам книга продолжает трилогии «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия».

4700000000—208
Г ————— 4—90
353(04)—90
ISBN 5—645—00898—5

© Издательство «Укитувчи»,
1990, художественное оформление.

Джон Голсуорси (1867—1933) — один из самых популярных в нашей стране английских писателей. Его рассказы и романы не залеживаются на полках библиотек. Но наибольшей известностью пользуются две трилогии Голсуорси, посвященные истории одной буржуазной семьи, — «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия». Это предпочтение, оказываемое читателем форсайтовскому циклу, совершенно закономерно. Обе трилогии — действительно лучшее из созданного им. Он выступает в них как великолепный мастер социальной типизации, глубокий и умный психолог. Какая-то дымка настоящей поэзии сердца окутывает эти романы, даже самые беспощадные из них. Читатель судит героев, читатель нередко возмущается ими и живет вместе с ними, заглядывает в их душевный мир, вместе с ними размышляет о жизни, и чувство неприятия, порождаемое их недостатками, перерастает в возмущение буржуазным обществом, поправшим истинный гуманизм. Это сам Голсуорси судит время, в которое живет, судит свой класс — и горюет о нем. Он ясно видит несовместимость буржуазных отношений с принципами высокой человечности. В этом смысле Голсуорси — писатель, продолжавший традиции критического реализма XIX века.

Впрочем, выдающийся реалист перерастал традицию минувшего века. Его творение говорит не только о порочности буржуазных отношений. Оно говорит об их исторической обреченности. Это был вывод, к которому Голсуорси пришел как мыслитель и как художник. И придя к нему, воплотив его в величайшем произведении своей жизни, Голсуорси остановился на распутье. Он хотел верить в будущее своей страны, он хотел найти новых героев, способных создать это будущее, устроить жизнь Англии «по совести», на более справедливых началах. Для писателя, не принявшего Великую Октябрьскую социалистическую революцию, встревоженного Всеобщей забастовкой рабочих в 1926 году, выбор был невелик. Он сделал его в трилогии «Современная комедия», избрав своими героями аристократа Майкла Монта и интеллигента буржуазного происхождения Джона Форсайта. Он окончательно утвердился в своем выборе в последней трилогии «Конец главы», связанной отчасти идейным замыслом, отчасти общими персонажами с «Современной комедией». «Конец главы», последнее произведение Голсуорси, и предлагается сейчас вниманию читателя.

При всем отрицательном отношении Голсуорси к Октябрю и к событиям Всеобщей забастовки они не могли не оказать заметного влияния на его творчество. Писатель боялся приливных волн революции. «Их соленый вкус — вкус

крови», — говорил он. Но революционное движение XX столетия подвело его к закономерной постановке вопроса о роли народа в исторических судьбах страны. Как и в форсайтовских хрониках, Голсуорси, однако, мечтает о классовой гармонии, о возможности «договориться», то есть понимает, что в деле спасения Англии надо обеспечить поддержку народа, но силу, способную управлять страной при поддержке народа, он склонен видеть теперь в классе, который давними патриархальными узами был бы связан с народом. Такой класс, по его мнению, — английское поместное дворянство. Значит ли это, что Голсуорси отказывается от того, что писал прежде об английском дворянстве, например, в романе «Усадьба», где так блистательно разоблачал его косность, консерватизм и высокомерную уверенность в своем праве вершить судьбы Англии? Критическое отношение к дворянству Голсуорси сохраняет и в последующие годы, но теперь он обнаруживает в нем те качества, которых не хватает буржуазии: патриотизм, сознание общественного долга, умение постоять за ближнего, сочувствие к «маленьким людям». Своими мыслями об этом он делится с французским писателем Андре Швейрином: «Я начал писать о другой семье, Чаруэллах (произносится Черрелы), представляющих более старый тип семьи, с большим чувством традиций и долга, чем Форсайты. Я уже окончил один роман и надеюсь, если повезет, написать о них трилогию. Это «напластование» служилых людей, которому уделяется недостаточно внимания и которое все еще существует в Англии».

Буржуа по природе своей индивидуалист, дворянину же, по мысли Голсуорси, присуще традиционное понятие клана, своего рода коллективизм. Надо только, чтобы это восприятие себя как члена конкретной общины утратило снобистский дворянский оттенок и распространилось на весь народ, вовлекло в свою орбиту каждого человека. Те изображаемые им представители дворянства, которые, пройдя через заблуждения, ошибки, внутреннюю борьбу, все же пришли к осознанию своего общественного долга и сумели в новых условиях поставить свои достоинства на службу Англии (а тем самым народу) — это для Голсуорси и есть настоящие англичане, например, Динни Черрел, героиня «Конца главы», ее будущий муж Юстэйс Дорнфорд, ее дядя Адриан и Хилари. У настоящих англичан есть и противники в их же клане. Они не хотят думать о будущем страны, цепляются за старое и отжившее. Это Джек Маскем — аристократ из самых тупоголовых, лорд Саксенден, презирающий «мелкую сошку», генерал Черрел, его сын и наследник Хьюберт с их неподвижным умом и окостеневшими понятиями, и, конечно, старейший представитель черреловского клана епископ Портминстерский, отгородившийся от жизни, больше всего заботящийся о том, чтобы сохранить благопристойность, сохранить ее даже в смерти.

Первый роман трилогии, «Девушка ждет» (1931), начинается символической картиной смерти епископа. Уходит в небытие еще один обломок прошлого, представитель старой, каменной Англии — цитадели дворянских традиций. У смертного ложа собрались все Черрелы. Естественное чувство печали (не очень глубокой) сливается с едва осознанным чувством освобождения. Вся жизнь епископа была самоограничением, отказом от живых и деятельных отношений. Героиня трилогии не такова. Голсуорси, верный эстетическим идеалам прерафаэлизма, наделяет Динни внешностью Боттичеллиевой Венеры. Ее красота гармонична и в то же время полна нежного лукавства, столь присущего, по замечанию Голсуорси, мадоннам и Венерам художника. Динни отважна и добра. Однако в первом романе Динни прежде всего — защитница устоев. Неумирающее чувство клана роднит ее с Касбертом Черрелом, епископом Портминстерским, и еще с десят-

ком касбертов, ее предков. Она и ее клан, семья — вот самое дорогое, самое достойное уважения в ее глазах. Отчасти поэтому такое значение приобретает в романе Кондафорд, родовое поместье Черрелов, твердыня традиций, старой дворянской чести. Но Кондафорд — это также и то, что связывает Динни с народом, Кондафорд — исторически сложившийся «культурный» центр деревни, ее моральная сила. Именно через Кондафорд Динни ощущает связь с землей, с Англией, с народом. По мере развития сюжета Кондафорд все менее — оплот отживших традиций, все более — символ грядущих преобразований.

В романе «Девушка ждет» перед Динни стоит задача: «выиграть любой ценой» дело брата, наследника Кондафорда. Эта задача — «выиграть любой ценой» — стоит и перед Англией. Образы Динни и Англии постепенно как бы сливаются. Все лучшее, что есть в Англии, по мнению Голсуорси, отразилось в Динни. Сдвоенный образ этот проходит через многие страницы трилогии. И если Динни все-таки менее привлекательна в первом романе, чем в последующих, то это потому, что в данной ситуации ее преданность семье, клану, стремление во что бы то ни стало спасти фамильную честь Черрелов противоречат духу времени и простой справедливости.

Будучи участником этнографической экспедиции американского профессора Халлорсена, Хьюберт Черрел выск, а затем убил, защищаясь, погонщика мулов. Прошли, однако, те времена, когда империалистическая Англия могла безнаказанно убивать «людюшек» в колониальных странах. Маленькая латиноамериканская республика потребовала выдачи английского офицера для суда за убийство, и Динни приходится употребить все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы не допустить этого. Брат для Динни — будущее Кондафорда. Он не должен быть опорожен судебным процессом: это закроет ему путь к дальнейшей карьере. Динни использует свое обаяние; людей, ее полюбивших, она без тени сомнения ставит на службу своей семейной чести. Использует Динни и присущее ее клану чувство «круговой поруки». Это качество — все за одного, один за всех — очень нравится Голсуорси. Оно и есть в его представлении то самое чувство коллективизма, которое он противопоставляет буржуазному индивидуализму.

Поэтично, с тонким проникновением в психологию чувства рисует Голсуорси развитие отношений Динни с Халлорсеном, который сначала кажется Динни врагом. Но ум, душевная широта, способность критически относиться к себе, демократизм, столь свойственные Халлорсену, заставляют ее переменить мнение о профессоре, столь непохожем, например, на черствого, высокомерного Хьюберта. Она не может стать женой Халлорсена, потому что не любит его, она совсем еще не готова к тому, чтобы покинуть Кондафорд, но с уходом профессора из ее жизни Динни недолго, но все же ощущает горечь и пустоту. Есть еще одна едва намеченная писателем причина, почему Динни не может выйти замуж за Халлорсена. Он — американец, а Динни — слишком англичанка, чтобы покинуть свою страну. Она инстинктивно сопротивляется процессу американизации английской жизни, который начался еще при Голсуорси.

Второй претендент на руку и сердце Динни — моряк Алан Тасборо, жизнерадостный, напористый, не блещущий интеллектом молодой человек, тоже отвергнут. «Оставь все и иди за мной», — нет, Динни не может этого сделать ни для Халлорсена, ни для Тасборо. Высший долг привязывает ее к Кондафорду. Она озабочена прежде всего тем, чтобы спасти поместье от окончательного разорения. «Умение подавлять в угоду долгу природные склонности» — качество, олицетво-

рением которого был Касберт Черрел — фамильная доблесть, и Динни обладает ею в значительной мере.

В первом романе трилогии читатель опять встречается с Флер и Майклом, героями «Современной комедии». Флер неслестно отзывается о парламенте и высказывает убеждение, что в политике «деньги — это все», а Майкл по-прежнему занят перестройкой трущоб, хотя дела продвигаются плохо.

Жестокий мир бедности присутствует и в этом романе. Это — рабочий люд лондонской окраины, прихожане Хилари, которые, по словам демократично настроенного пастора, «проводят в аду» всю жизнь. Это — девушка Миллисент Поль, которую голод посылает на панель; это — старая батрачка Бетти, умирающая от рака, и ее муж, обреченный на нищету после ее смерти, так как единственный источник существования для них — ее мизерная пенсия. В последней трилогии Голсуорси старается лучше понять неимущих. По отношению к их отдельным представителям это уже не снисходительная жалость, как прежде (например, к продавцу воздушных шариков Бикету из «Современной комедии»), а явное уважение. Динни смиренно черпает запас бодрости у Бетти, у неунывающего, все умеющего превозмочь, мастера на все руки Камерона.

И, напротив, надежда на служилое «напластование» не мешает Голсуорси критически относиться к нему — так велика его жажда перемен к лучшему. Динни не только выражает общественные идеалы писателя, но и его скептическое отношение к современности. Писатель по-прежнему обнажает социальные язвы Англии. Динни запомнился отрывок из книги, некогда прочитанной, о тех, кто «вершит историю». Эти люди «сидят в крупных концернах, в банках, в правительстве; тасуют людские массы, нимало не заботясь ни о ком, кроме самих себя... приказывая мелкой сошке: — А ну-ка, выполняй, черт тебя побери, и выполняй как следует»... «Человеческая жизнь и человеческие чувства им нипочем». Сравнивая американского профессора Халлорсена с английским лордом Саксенденом, Динни делает вывод не в пользу последнего. Единственное, на что способен лорд Зазнайка, как его зовут даже в своем кругу, — «отсиживаться дома... помыкая своими ближними», он консервативен и высокомерен, и нет у него истинного «достойнства, энергии, веры и возможностей». А Майкл Монт (тут явно сказывается преемственность «Конца главы» с «Современной комедией») говорит Динни: «Ты не знаешь наших государственных мужей. Они... делают только то, что им выгодно, под видом самых высоких побуждений».

Второй роман трилогии «Пустыня в цвету» (1932) — самая ее интересная, динамичная часть. Ее центральный конфликт — схватка между «старой», традиционной Англией и той частью ее молодежи, которая в окопах первой мировой войны утратила иллюзии о справедливости буржуазной цивилизации. Конфликт этот выписан с предельной четкостью и воплощен в драматической истории любви Динни Черрел и Уилфрида Дезерта. Эпизодическое лицо в «Современной комедии», он выдвигается во втором романе «Конца главы» на первый план.

...Англия 1930 года. Памятник маршалу Фошу, герою первой мировой войны. Три человека у памятника. Джек Маскем — «чистопородный» аристократ, прямолинейный, высокомерный, словно выдавший себе и своему классу патент на непогрешимость суждений и поступков. Второй — поэт Уилфрид Дезерт, «современный Байрон», как зовут его окружающие. Дезерту отвратительны высокомерие и консерватизм тех его соотечественников, которые по-прежнему, как будто ничего не изменилось с середины прошлого века, считают Англию «солью земли». Он отвергает все традиционные представления о чести, приличиях, патриотизме,

религии. Между Маскемом и Дезертом как яблоко раздора брошена Динни. Маскем не случайно питает к ней слабость. В Динни «лошадник»-джентльмен чувствует «породу». Она — своя, «кровеная». А Дезерт, сменивший религию под дулом револьвера, предавший «престиж англичанина в колонии», — ренегат, воплощение всего того, что грозит Англии окончательным упадком, заставляет навсегда расстаться с «серебряной ложкой во рту» — былым могуществом и величием.

В зарубежной литературе XX века не так много столь резко и характерно очерченных представителей «потерянного поколения», каким явился Уилфрид Дезерт у Голсуорси. «Враг самому себе», — думает о нем Динни, тонко подметившая в Дезерте борьбу исконно английского с тем новым, что привнесла война в сознание молодежи, «потерявшей» себя на войне. «Больно в нем все вразброд», — говорит Флер, теперь успокоившаяся и солидная, но еще в недавнем прошлом такая же мятущаяся и неудовлетворенная, как и Уилфрид, для которого по-прежнему все на свете «так зыбко и относительно». В Динни, с ее любовью к прошлому, с ее «корнями», Дезерт неминуемо должен был увидеть кусочек той Англии, которую он отвергает. Чем ближе и дороже ему становится Динни, чем больше он ее узнает, тем неотвратимее их разрыв, хотя Динни никогда так близко не подходит к отказу от своего «я», от поклонения традициям, как во время своей несчастной любви к Дезерту. Именно тогда она увидела Хьюберта в ином, более резко и реалистическом свете. Она с тревогой ожидает так и не состоявшейся встречи между братом и Дезертом, и чувствует, что все ее симпатии на стороне Уилфрида. Хьюберт с его косным умом — один из тех, думает Динни, кто «всю жизнь идет по проторенной дорожке и не задает себе мучительных вопросов». Любовь к Дезерту ведет к тому, что Динни, эта опора семьи, близка к бунту против нее. Она ощущает, что у ее родных слишком узкий, «остановившийся» взгляд на жизнь. И когда сэр Лоренс назидательно ей говорит: «Твоя родня, Динни, типичные мандарины. На них зиждется империя», «служение церкви и государству» они считают своим священным долгом, Динни отвечает как бунтовщица: «Особенно, если благодаря этому они могут держаться на верхней ступеньке лестницы!»

Линия борьбы, однако, протекает не только между Дезертом и Динни, между Динни и ее семьей, она проходит через душу самой девушки. Человеческое и женское (а ей оно присуще в очень большой степени) сталкивается с ее фамильным самосознанием, с традиционным представлением о дворянской чести. Динни готова пойти наперекор сложившимся убеждениям и усвоенным с детства традициям, только бы сохранить любовь Уилфрида, быть с ним. И когда Уилфрид, не устояв перед объединенными усилиями Черрелов, Маскема и своим собственным «разорванным» сознанием, отказывается от Динни, она воспринимает крушение любви трагически.

Закономерное завершение встречи у памятника — драка Дезерта и Маскема. Дело не только в их соперничестве из-за Динни. Истинный повод к драке — в обоюдной ненависти и непримиримости этих двух англичан. Ни один из них не может победить другого. Ни тот, ни другой не правы, по мнению Голсуорси. В Маскеме он вновь отвергает ненавистное ему черствое высокомерие аристократа, «джентльмена-спортсмена», для которого «всякий бунт — нож острый. Ему нравится образ мыслей аккуратно подстриженный, чтобы грива была заплетена в косички, чтобы он ступал осторожно и не закусывал удила». В Уилфриде Дезерте для писателя неприемлемо отрицание всего английского, тех традиций

и устоев, которые, как он считает, должны быть сохранены. Уже сама фамилия Дезерт многозначительна. Desert — это пустыня,— прозрачный намек на опустошенную войной душу Уилфрида. Английский глагол to desert означает также «дезертировать», а Уилфрид дезертировал с поля чести, с поля жизненной борьбы, где сражаются Черрелы. Наконец, desert означает «заслуга». Нельзя не почувствовать, что Голсуорси симпатизирует своему «падшему ангелу». У Дезерта много достоинств: он ярок, талантлив, оригинален, свободомыслящ. Писатель наделяет его своим собственным отвержением к религиозному фанатизму. Дезерт отказался от христианства прежде всего потому, что считает нелепостью жертвовать жизнью во имя того, во что он не верит:

Любая догма — в пропасть шаг!
Будь проклят суеверий мрак,
Разросшийся в мозгу сорняк!
От бреда средство есть одно —
Неверья терпкое вино.
Пей — отрезвляет мысль оно!—

пишет Уилфрид в своей поэме «Леопард». Но ведь это говорит сам Голсуорси. Мы вправе утверждать, что писатель-гуманист отрицал и отрицает теперь, в «Конце главы», нерассуждающую приверженность к обещавшей догме — слепой, фанатичной вере. Если он и сожалеет о неверии Уилфрида, то лишь о неверии в «дело» Англии. Именно это неверие и предопределило разрыв Динни и Уилфрида. Правда на стороне Динни, утверждает Голсуорси, ее будущего мужа, ее дяди Хилари, которые не мыслят жизни вне связи с родной страной, которые озабочены ее положением и делают все, чтобы ей помочь.

В последнем романе трилогии, «На другой берег» (1933), Динни обретает покойствие. Она спасена, она благополучно «переплыла через реку» сомнений, борьбы за счастье. На покинутом берегу осталась лучшая пора ее жизни, ее погибшая любовь. Впереди, на новом, ее ждет замужество с преданным, чутким Дорнфордом и, может быть, новый Кондафорд, хозяйкой которого она станет. В последнем романе Динни серьезно обдумывает один утопический план за другим, чтобы спасти усадьбу и одновременно помочь обнищавшей деревне. «Я всегда чувствовала, что мы с деревней — одно,— говорит Динни.— Или вместе потонем или выплывем, но так или иначе — плыть нужно».

Голсуорси любит патриархальность, добросердечие Черрелов по отношению к сельским жителям. Динни в деревне все любят и знают. Без нее и ее семьи никто и представить себе не может Кондафорд. Голсуорси настойчиво пытается утвердить принцип общности интересов тех, кто «служит» стране, и тех, кто «служит» земле. «Крестьяне хотят устойчивости и спокойной жизни», но этого же хотят и те, на ком «зиждется империя». Сначала Динни решает устроить пекарню и выпекать свой, более дешевый хлеб, затем вместе с отцом начинает осуществлять проект натурального хозяйства, которое бы удовлетворяло все потребности семьи. Но если Динни думает прежде всего о спасении Кондафорда, то писатель искренне верит в эту панацею от бед и тягот экономического кризиса для всей страны. Вера эта была сильна, когда он приступал к работе над трилогией. В феврале 1929 года он писал в газету «Санди экспресс»: «К сожалению, наш остров слишком перенаселен. Английская промышленность уже достигла такого уровня развития, что мы задыхаемся от перепроизводства. Англия чересчур индустриальная страна. Мы должны вернуться к земле и вместо того чтобы

строить все новые и новые фабрики, больше заниматься сельским хозяйством и интенсивной культивацией почвы»... Недаром сэр Лоренс Монт составляет «простой план» сбалансирования торговли, который заключается в том, чтобы Англия сама производила три основных продукта питания: свиней, птицу, картофель. На этих «трех китах» начинает строить свое натуральное хозяйство и Динни. В романе «На другой берег» Голсуорси в какой-то мере пытается показать реальность этой утопии — спасения Англии через возвращение к земле, — сделав ее носителями Динни и Дорнфорда, своеобразного английского Костанжогло. Однако мы прощаемся с героями Голсуорси в тот момент, когда они только приступают к осуществлению своих планов. Писатель устал, он был уже очень болен и, возможно, не верил в свою социальную утопию столь безоговорочно, как может показаться, он не примеривает ее к действительности даже в той степени, что творец «Мертвых душ».

Роман «На другой берег» почти целиком посвящен истории бракоразводного процесса сестры Динни Клер Корвен, покинувшей мужа-садиста. Голсуорси вновь (теперь уже в последний раз) возвращается к одной из вечных тем своего творчества, теме буржуазного брака как формы собственности, он опять касается старой, знакомой проблемы — права личности на счастье, на свободное проявление чувств, изобличает фарисейство светских условностей. Клер уходит от мужа и влюбляется в молодого человека, не имеющего средств к существованию, Тони Крума. Перед нею выбор: грязь бракоразводного процесса, оскорбительное вмешательство закона в ее интимную жизнь, обвинение в прелюбодеянии с тем, кого она любит и уважает; или же благопристойная оболочка брака с человеком, унижающим ее женское и человеческое достоинство. Интересно отметить, как изменился характер угнетенной в браке стороны. Это уже не расплывчатый, значительно идеализированный образ страдающей красоты — Ирэн «Собственника» или героини пьесы «Беглая» (1913) Клер Дедмонд, которая нашла в себе силы покинуть мужа, но не сумела воспользоваться свободой, устроить новую, независимую жизнь и кончила самоубийством. Характером, отношением к людям, даже внешностью Клер Корвен напоминает Флер Монт. Ей тоже свойствен цинизм, равнодушие к бедам и затруднениям других, она способна на компромисс.

Динни героически, самоотверженно поддерживает сестру в самые тяжелые для нее минуты, забывая о себе. Динни, по существу, наделена тем самым донкихотством, которое сопутствует всем лучшим героям Голсуорси. Она ополчается против несчастий других людей, полна сочувствия обездоленным, на нее всегда можно положиться, она стоит как скала в прихотливом, изменчивом потоке жизни, не поступаясь своими принципами и человеческим достоинством. И в то же время, что очень важно для понимания ее донкихотства, она реально смотрит на жизнь, она способна критически взглянуть на тех, кого любит, заняться практическим делом.

В одном из писем к сестре Мейбл Голсуорси, между прочим, замечал: «Я рад, что тебе нравится Динни... Я все более утверждаюсь в чувстве, что всякий роман хорош постольку, поскольку в нем есть характер, который останется». Голсуорси был прав. Динни осталась в ряду самых лучших, самых колоритных образов, созданных писателем.

В последней трилогии много страниц, проникнутых грустью, вызванной невозможностью удержать жизнь, болью от неминуемого с ней расставания. Может быть, поэтому последний роман трилогии печален, и эта печаль только усиливается от сознания красоты столь дорогой писателю родной природы. Любовь к Англии становится преданной и благоговейной до боли. Так сказывается и тоска по уходящей жизни, гнетущее писателя противоречие между сияющей «вечной красотой» Англии и неустроенностью ее социального положения. А оно, будучи тяжелым и тревожащим, заставляет Голсуорси переходить от недолгой надежды к разочарованию, скепсису и опять к надежде. Он, как и его герои, надеется отыскать выход из тупика противоречий, тем более что люди так жаждут перемен, так стремятся к лучшему будущему. И это будущее наступит в конце концов. Но эта надежда снова и снова заставляет писателя-реалиста критически отнестись к тем, на кого он возлагает надежды. Вот семейство Черрел напряженно прислушивается к сообщаемым по радио итогам выборов в парламент: «Все пятеро были глубоко убеждены, что сейчас поставлено на карту все будущее Англии и что в этой убежденности ни класс, ни партия не играют никакой роли. Им казалось, что ими руководит только чувство патриотизма, совершенно лишенное личных интересов... Правда, в сознании Динни мелькала мысль: «А знает ли кто-нибудь, в чем спасение Англии?» Но и Динни не понимала, каковы те исторические силы, которые изменяют и формируют жизнь нации».

Борьба консервативной партии за «сидячее место в государственном автобусе» увенчивается успехом. Черрелы радуются, но Голсуорси иронически отзывается об этой «блестящей победе», якобы сулящей народу благоденствие и изобилие. И разительно контрастирует с изображением беспринципной суматохи избирательной кампании поэтическая картина родной страны: «Англия, посеребренная луной и равнодушная к своей судьбе, не верящая радостной вести, и все та же неизменная и прекрасная, даже несмотря на то, что фунт упал». В третьем романе особенно ощутим разрыв между утверждающим и отрицательным идейными компонентами трилогии. Утверждающая интонация порой очень неуверенна, довольно часто ее сменяет отрицание. Иногда это лишь фраза, намек, и, однако, на глазах разрушается стройное здание утопической мечты, и чувствуешь, какой тяжелый душевный разлад мучил писателя в последние годы жизни. Есть в романе и умный Дорнфорд, предпочитающий «живого осла мертвому льву», и Динни, верящая в эпоху, потому что эпоха «сбросила все лишние одежды» и все будет хорошо, надо только исполнять свой долг. И та же Динни мучительно размышляет о том, что «многие всю жизнь заняты очень тяжелой работой и получают гроши». Наивный Тони Крум, возвращающийся из театра, думает о разрывающих сердце контрастах: «Огни рекламы — и помойки! Люди, уносящиеся домой в собственных машинах, — и бесприютные бродяги». «Величие, достоинство и мир», — вспоминает он последние слова пьесы. «Какая чертовская ирония», — думает Тони.

Пьеса, о которой идет речь в романе, — драма «Кавалькада» буржуазного английского драматурга Нозла Кауэрда, которую жестоко высмеял за настроения ура-патриотизма другой драматург, демократ Шон О'Кейси. Герои Голсуорси иначе относятся к пьесе, она их волнует; но Динни не может не спросить у Дорнфорда: «Да были ли когда-нибудь у Англии величие, достоинство, мир?» Это

сомнение, неуверенность в будущем, сознание невозможности гармонии общественной жизни явственно звучат в романе «На другой берег». Знаменательно, что Дорнфорд на вопрос Динни отвечает отрицательно.

И все же роман в какой-то мере — завещание потомкам. «Все меняется и, бесспорно, должно меняться, но как уберечь от перемен то, что этого заслуживает, в домах, обычаях, установлениях или человеческих характерах?.. На старом порядке вещей немало уродливых наростов, и далеко не все в нем было хорошо и прочно, но теперь, когда рабочие, так сказать, уже приступили к сносу дома, ясно видно, что можно за час сломать то, что возводилось веками». Так пишет своей жене Адриан, добрый, гуманный Адриан Черрел, хранитель музея ископаемых. И вряд ли можно сомневаться, что в данном случае он высказывает мысли самого писателя. Голсуорси и накануне смерти — противник революций, хотя достаточно ясно видит «уродливые наросты» на теле современности. Но писатель-реалист еще раз высказывает как непреложную истину, нравится это ему или нет, что ход исторических событий необратим и «рабочие... уже приступили к сносу дома», а дом здесь ассоциируется со всем зданием буржуазной государственности, обреченным историей на слом.

Не веря в жизнеспособность современной капиталистической формации, Голсуорси всегда знал, что жизнь не кончена, не кончен благородный труд человека на земле. Недаром и Хилари Черрел говорит: «Разве человеческая жизнь, — а она ведь такая хрупкая, — сохранилась бы вопреки всем нашим бедам и тяготам, если бы жить на свете не стоило?» Голсуорси — постоянный враг милитаризма и шовинизма, непреклонный противник войны. В последней трилогии, как и в письмах и статьях конца 20-х гг., его антивоенные высказывания становятся особенно актуальными. Негодование писателя вызывает стремление романтизировать грязные, кровавые будни войны с помощью искусства. В 1928 году в статье «Военные фильмы и суровая действительность» он резко осуждал возникновение милитаристских настроений в фашизирующей Европе: «В течение нескольких лет после окончания войны ее расценивали как бедствие. Несколько миллионов людей потеряли в этой войне жизнь, зрение, разум, сыновей, отцов, друзей, достояние, надежду — все, или почти все, ради чего стоит жить... А теперь при поддержке правительств стран, участниц войны, у нас демонстрируются военные фильмы. Я не видел ни одного из них, но, по слухам, эти фильмы сняты и поставлены так, словно не хотят затронуть чувства публики, показать кровь, грязь, смрад, зияющие раны, мучительную боль и ужасные душевные страдания, чем и является настоящая война... Неужели этим самым хотят заставить забыть, что такое война? Неужели те, кто знает о войне всю правду, хотят внушить молодежи представление о войне как о славном и героическом деле? Или, может быть, они думают, что борьба за мир и разоружение, укрепление добрососедских отношений между народами, о которых нам твердят так часто, выиграют от прославления войны в соответствующих фильмах?»

Та же тревога, те же мысли и чувства выражены в «Конце главы». Голсуорси снова и снова обвиняет «кабинетных стратегов» своей страны в прямом пособничестве войне. «Если во главе страны стоит «соль нации», то войны не избежать», — откровенно заявляет Майкл Монт. «Соль нации» — это верхушка буржуазной Англии и те, на ком, по мнению сэра Лоренса, «зидается империя», — маски, саксенды и хьюберты, «спасающие» престиж Англии за ее рубежами. Вот почему «Конец главы», задуманная как «программное» произведение, как

утопия, воспринимается как напутствие Голсуорси человечеству. Оно перекликается с патетическим финалом его лекции 1930 года «Литература и жизнь». Тогда, обращаясь к студенчеству, Голсуорси говорил: «Если мы научимся помогать ближнему, хранить мужество и, отдаваясь всем сердцем, забывая о себе, хорошо делать свое дело, если мы научимся приносить в жизнь немного красоты, тогда наша жизнь будет прожита не даром. Да, тогда поистине наша жизнь будет прожита не даром!» Таким же напутствием является и письмо Адриана, которым заканчивается последний роман последней трилогии. Слова «мы должны постараться сохранить красоту, достоинство и дух служения людям» — завет писателя-гуманиста.

В ноябре 1932 года состоялось публичное авторское чтение «Пустыни в цвету». В том же месяце Голсуорси присуждается Нобелевская премия по литературе, но он был уже смертельно болен, и английское общество писателей могло поздравить его с наградой только заочно. 31 января 1933 года Джон Голсуорси умер.

Еще в 1912 году он написал небольшую аллерию.

...Принц Счастья, объезжая свои владения «Общественная жизнь», был удручен мглой, ступившейся над ними, и приказал сторожу Цитро обходить страну с фонарем. Пусть хоть слабый его луч освещает пути идущих по жизни. «Долго ль мне нести эту тяжкую службу?» — спросил Цитро. «До самой смерти», — ответил Принц и умчался прочь. И Цитро усердно взялся за службу и был до того добросовестен, что однажды его привлекли к судебной ответственности. Он освещал людям такие темные стороны жизни, которые им не хотелось замечать. Хорошо, что на защиту Цитро встал умный адвокат. Он сказал, что в преступлении, если вообще можно говорить о преступлении, повинен фонарь, а не тот, кто его несет.

Голсуорси считал, что лучший путь к сердцу читателя — «представлять жизнь такой, какой видишь ее, со всей искренностью и совершенством, на какие способен». И он всю жизнь следовал этому правилу, высоко неся «фонарь» своего искусства. Оно было для Голсуорси великой, благотворной силой, оно должно было учить человека не только, как *жить* лучше, но и как *быть* лучше. И сам он был добрым и мужественным человеком. Той «самодисциплине сердца», которая ему так присуща, учились потом многие писатели, но часто, говоря, например, о мужестве и стоицизме героев Хемингуэя, мы забываем о не менее человеческом и стоическом мужестве Голсуорси. Он был правдивым писателем, не скрывающим своих пристрастий и антипатий. Он всегда был беспощаден к фарисейству и духовной узости, к косности и фанатизму.

После смерти Голсуорси общество английских писателей просило о погребении его праха в Уголке Поэтов Вестминстерского аббатства, где покоятся литературные знаменитости. Настоятель аббатства не счел возможным поддержать это ходатайство, — так напоследок церковь свела счеты с непримиримым противником религиозной догмы. И тогда было исполнено пожелание Джона Голсуорси, высказанное им в стихотворении «Развейте мой прах!». На вершине холма, вдали от проезжей дороги, был развеян прах одного из достойнейших людей нашего времени. Писатель-гуманист, человек, желавший людям счастья, красоты, мира, — таким он остается в умах и сердцах тех, кто прикоснулся к его прекрасному, подлинному «я», создавшему умные, подчас гневные и печальные, человеческие книги.

КНИГА ПЕРВАЯ

ДЕВУШКА ЖДЕТ



Епископ Портсминстерский угасал с каждой минутой; к умирающему вызвали всех четырех его племянников и обеих племянниц, одну из них — с мужем. Думали, что епископ не протянет до утра.

Тот, кого в шестидесятых годах приятели в Харроу¹ и Кембридже² звали Франтиком Черрелом (так произносилась его фамилия Чаруэл), кто был потом преподобным Касбертом Черрелом в двух лондонских приходах, каноником Черрелом на вершине своей ораторской славы, а последние восемнадцать лет Касбертом Портсминстерским, — так и остался холостяком. Он прожил восемьдесят два года и пятьдесят пять из них, — приняв духовный сан довольно поздно, — представлял господа бога в самых разных уголках земли. Именно это, да еще умение с двадцатилетнего возраста подавлять свои природные склонности, придало его лицу сдержанное достоинство, которого не нарушила даже близость смерти. Он относился к ней с иронией, судя по чуть поднятой брови и по словам, еле слышно сказанным сиделке:

— Завтра вы наконец выпитесь как следует. Я буду точен — ведь облачения мне надевать не придется.

Он умел носить облачение лучше всех в епархии, выделялся лицом и осанкой, сохранив до конца привычки заправского денди, которыми и заслужил свою кличку «Франтика»... а теперь он лежал не шевелясь, с аккуратно причесанными седыми волосами и слегка пожелтевшим лицом. Он так долго был епископом, что никто уже не мог сказать наверняка, как он относится к смерти, да, пожалуй, и ко всему остальному, кроме, быть может, требника, малейшие изменения в котором он решительно отвергал. Он и от природы был сдержан, а жизнь со всем ее церемониалом и условностями совсем отучила его проявлять свои чувства, — так вышивка и драгоценные камни скрывают ткань ризы.

Он лежал в комнате с распахнутыми створчатыми окнами, в монашески строгой комнате дома шестнадцатого века, построенного возле собора, и даже свежий сентябрьский ветер не мог изгнать отсюда запах веков. Несколько цинний в старинной вазе на подоконнике были единственным красочным пятном, и сиделка заметила, что, когда у епископа

¹ Закрытая мужская школа. (Здесь и далее прим. ред.)

² Университет.

открыты глаза, он, не отрываясь, смотрит на цветы. Около шести часов ему сообщили, что съехалась вся семья его давно умершего старшего брата.

— Устройте их поудобнее, — сказал он. — Я бы хотел повидать Адриана.

Когда через час епископ снова открыл глаза, он увидел у своей постели племянника Адриана. Несколько минут умирающий разглядывал его худое, смуглое лицо с бородкой, изрезанное морщинами и увенчанное седеющими волосами, — разглядывал с удивлением, словно племянник оказался старше, чем он ожидал. Потом, чуть подняв брови, он проговорил слабым голосом, все с той же насмешливой ноткой:

— Дорогой Адриан! Рад тебя видеть! Подвинься поближе. Вот так. Сил у меня мало, но я хочу, чтобы все они пошли тебе на пользу; хотя ты, может, скажешь, что во вред. Я могу говорить с тобой прямо или молчать. Ты не священник, поэтому и я буду говорить как человек светский, когда-то я им был, а может, так и остался. Я слышал, что ты питаешь склонность или, как говорится, влюблен в одну даму, которая не может выйти за тебя замуж... Правда?

На добром морщинистом лице племянника мелькнула тревога.

— Правда, дядя Касберт. Мне очень жаль, если я тебя огорчаю.

— А склонность у вас взаимная?

Племянник пожал плечами.

— Со времен моей молодости, дорогой Адриан, свет изменил свои взгляды на многое, но брак все еще окружен неким ореолом. Впрочем, это дело твоей совести, и я не к тому веду... Дай мне воды.

Отпив глоток, он продолжал слабым голосом:

— После смерти вашего отца я был для всех вас *in loco parentis*¹ и хранителем семейных традиций. Хочу тебе напомнить: род наш старинный и славный. У старых семей только и осталось теперь, что врожденное чувство долга, а людям зрелым и с известным положением, как у тебя, не простят того, что простят человеку молодому. Мне было бы грустно покинуть этот мир, сознавая, что имя наше будет поминаться в печати или станет пищей для сплетен. Извини, если я вторгся в твою личную жизнь, и разреши мне со всеми вами проститься. Лучше, если ты сам передашь остальным мое благословение, хотя боюсь, оно немногого стоит. Прощай, дорогой мой, прощай!

Голос упал до шепота. Умирающий закрыл глаза; Адриан постоял с минуту сгорбившись, глядя на его точеное восковое лицо, потом на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее и вышел.

Вернулась сиделка. Губы епископа шевелились, брови слегка подергивались, но он заговорил еще только один раз:

— Будьте добры, позаботьтесь, чтобы голова у меня лежала прямо и рот был закрыт. Простите, что я говорю о таких мелочах, но мне не хочется произвести отталкивающее впечатление.

Адриан спустился в длинную, обшитую панелями комнату, где дожидались родственники.

— Кончается. Он шлет вам всем свое благословение.

¹ вместо отца (лат.)

Сэр Конвей откашлялся, Хилари сжал Адриану руку. Лайонел отошел к окну. Эмили Монт вынула крошечный платочек и протянула другую руку сэру Лоренсу. Одна Уилмет спросила:

— А как он выглядит?

— Как призрак воина на щите.

Сэр Конвей снова откашлялся.

— Хороший был старик! — тихо сказал сэр Лоренс.

— Да, — со вздохом произнес Адриан.

Так они молча сидели и стояли, смиряясь с неудобствами этого дома, где витала смерть. Принесли чай, но словно по молчаливому уговору, никто до него не дотронулся. И вдруг зазвонил колокол. Все семеро подняли головы. Где-то в пространстве взоры их встретились, скрестились, словно они во что-то вглядывались, хотя там ничего не было.

Кто-то вполголоса сказал с порога:

— Теперь, если хотите, можно с ним проститься.

Сэр Конвей, самый старший из всех, пошел за духовником епископа; остальные двинулись за ним.

Белый, прямой и строгий лежал епископ на своей узкой кровати, придвинутой изголовьем к стене, как раз против створчатых окон, и был он как-то еще вышемернее, чем прежде. В смерти он, казалось, стал даже красивее, чем при жизни. Никто из присутствующих, в том числе и его духовник, тоже глядевший на него в эту минуту, не знал, действительно ли Касберт Портсминстерский был человеком верующим, не говоря, конечно, о вере в земную славу церкви, которой он так преданно служил. Теперь они смотрели на него с самыми различными чувствами, какие вызывает смерть у людей разного склада, но все они испытывали одно общее ощущение — чисто эстетическое удовольствие при виде такого незабываемого величия.

Конвей — генерал сэр Конвей Черрел — видел много смертей на своем веку. Сейчас он стоял, скрестив опущенные руки, как когда-то в Сандхерсте¹ по команде «вольно». Лицо его с впалыми висками, тонкими губами и носом выглядело чересчур аскетическим для солдата; глубокие морщины сбегали по обветренным щекам от высоких скул до волевого подбородка, темные глаза глядели пристально, над верхней губой топорщились короткие усы с проседью; он был, пожалуй, самым спокойным из всех восьмерых, а стоявший рядом длинноногий Адриан — самым беспокойным. Сэр Лоренс Монт держал под руку свою жену Эмили, и его худое, нервное лицо словно говорило: «Какое прекрасное зрелище... Не плачь, дорогая».

Хилари и Лайонел стояли по обе стороны Уилмет; на их длинных, худых и решительных лицах, морщинистом — у Хилари и гладком — у Лайонела, застыло выражение какого-то грустного недоумения, словно и тот и другой ожидали, что глаза покойника вот-вот откроются. Высокая, худая Уилмет покраснелась и сжала губы. Духовник стоял с опущенной головой, губы его шевелились, точно он шептал про себя молитву. Так они простояли минуты три, потом с подавленным вздохом потянулись к двери и разошлись по своим комнатам.

¹ Офицерское училище.

Когда они встретились снова за ужином, помыслы и разговоры их вернулись к делам житейским. Дядя Касберт ни с одним из них не был особенно близок, хоть и считался признанным главой семьи. Обсудили вопрос, похоронить ли его рядом с предками на фамильном кладбище в Кондафорде или здесь, в соборе. Вероятно, это должно было решить его завешание. Все, за исключением генерала и Лайонела, назначенных душеприказчиками, в тот же вечер вернулись в Лондон.

Прочитав завешание,— оно оказалось коротким, ведь умершему почти нечего было завещать,— оба брата помолчали. Наконец генерал сказал:

— Я хочу с тобой посоветоваться. Насчет моего мальчика, Хьюберта. Ты читал, как на него накнулись в палате перед роспуском на каникулы?

Скупой на слова Лайонел — его вот-вот должны были назначить судей — кивнул.

— Я читал, что был сделан запрос, но не знаю, что говорит об этом сам Хьюберт.

— Могу тебе рассказать. Возмутительная история. Конечно, он мальчик вспыльчивый, но чист, как стеклышко. На его слово можно положиться. И вот что я тебе скажу: будь я на его месте, я, наверно, поступил бы точно так же.

Лайонел кивнул.

— Что, собственно, случилось?

— Ты же знаешь, он пошел на войну добровольцем прямо из школы, хотя его возраст еще не призывали, год он прослужил в авиации; был ранен, вернулся в строй, а после войны остался в армии. Служил в Месопотамии, потом в Египте и Индии. Подцепил тропическую малярию и в октябре прошлого года получил отпуск по болезни на целый год — до первого октября. Врачи рекомендовали ему попутешествовать. Хьюберт получил разрешение и отправился через Панамский канал в Лиму. Там он встретил американского профессора Халлорсена, того, что не так давно побывал в Англии и прочитал тут несколько лекций, кажется, о каких-то редкостных ископаемых в Боливии,— Халлорсен как раз снаряжал туда новую экспедицию. Когда Хьюберт попал в Лиму, экспедиция собиралась в путь, и Халлорсену нужен был начальник транспорта. Хьюберт уже чувствовал себя хорошо и ухватился за эту возможность. Не выносит безделья. Халлорсен взял его — это было в декабре — и вскоре оставил начальником лагеря один на один с целой бандой индейцев, погонщиков мулов. Хьюберт был там единственным белым; к тому же его отчаянно трепала лихорадка. По его словам, эти индейцы — сущие черти; никакого понятия о дисциплине, и жестоко обращаются с животными. Хьюберт с ними не ладаил,— я же говорю, что он мальчик вспыльчивый и очень любит животных. Индейцы все больше отбивались от рук; наконец, один из них, которого Хьюберту пришлось отхлестать за скверное обращение с мулами и подстрекательство к мятежу, напал на него с ножом. К счастью, у Хьюберта был под рукой револьвер, и он его застрелил. Вся шайка, кроме трех человек, разбежалась; мулов они угнали. Не забудь, мальчик оставался там один почти три месяца, без всякой помощи, не ~~получая~~ никаких известий от Хал-

лорсена. Но, хоть и еле живой, он кое-как продержался там с оставшимися людьми. Наконец вернулся Халлорсен и, вместо того чтобы посочувствовать ему, накинулся на него. Хьюберта это взорвало, он тоже в долгу не остался и сразу же взял да уехал. Вернулся домой и живет сейчас с нами в Кондафорде. Малярия у него, к счастью, прошла, но он и сейчас еще никак не поправится. А теперь этот тип, Халлорсен, разругал его в своей книге, свалил всю вину за провал экспедиции на него, обвинил в самодурстве и неумении обращаться с людьми, назвал необузданным аристократом, — словом, наговорил всякого вздора — сейчас ведь это модно. Ну вот, один член парламента из военных к этому привязался и сделал запрос. От социалистов ничего хорошего и не ждешь, но когда военный обвиняет тебя в поведении, недостойном английского офицера, это уже никуда не годится. Халлорсен сейчас в Америке. Никто не может привлечь его к ответственности, и к тому же у Хьюберта нет свидетелей. Похоже, что вся эта история может испортить ему карьеру.

Длинное лицо Лайонела Черрела еще больше вытянулось.

— Он обращался в генеральный штаб?

— Да, ходил туда в среду. Встретили его холодно. Модная демагогия насчет самодурства знати их очень пугает. И все-таки там в штабе, по-моему, могут помочь, если дело не пойдет дальше. Но разве это возможно? Хьюберта публично ошельмовали в этой книге, а в парламенте обвинили в уголовщине, в поведении, недостойном офицера и джентльмена. Проглотить такое оскорбление он не может, а в то же время... что ему делать?

Лайонел, куривший трубку, глубоко затянулся.

— Знаешь что, — сказал он, — лучше ему не обращать на все это внимания.

Генерал сжал кулак.

— Черт возьми, Лайонел, ты это серьезно?

— Но он ведь признает, что бил погонщиков, а потом и застрелил одного из них. У людей не такое уж богатое воображение, — они его не поймут. До них дойдет только одно: в гражданской экспедиции он застрелил человека, а других избил. Никто и не подумает ему посочувствовать.

— Значит, ты всерьез советуешь ему проглотить обиду?

— По совести — нет, но с точки зрения житейской...

— Господи! Куда идет Англия? И что бы сказал дядя Франтик? Он так гордился честью нашей семьи.

— Я горжусь ею тоже. Но разве Хьюберт с ними справится?

Наступило молчание.

— Это обвинение марает честь мундира, а руки у Хьюберта связаны, — заговорил генерал. — Он может бороться только выйдя в отставку, но вель душой и телом он — военный. Скверная история... Кстати, Лоренс говорил со мной об Адриане. Диана Ферз — урожденная Диана Монтжой, правда?

— Да, троюродная сестра Лоренса... И очень хорошенькая женщина. Ты ее видел?

— Видел, еще девушкой. Она сейчас замужем?

— Вдова при живом муже... двое детей, а супруг в сумасшедшем доме.

— Весело. И неизлечим?

Лайонел кивнул.

— Говорят. Впрочем, никогда нельзя сказать наверняка.

— Господи!

— Вот именно. Она бедна, а Адриан еще беднее. Она его старая любовь, еще с юности. Если Адриан наделает глупостей, его выгонят с работы.

— Ты хочешь сказать — если он с ней сойдется? Но ему уже пятьдесят!

— Седина в голову... Больно уж хороша. Сестры Монтжой всегда этим славились. Как ты думаешь, он тебя послушается?

Генерал мотнул головой.

— Скорее он послушается Хилари.

— Бедняга Адриан... ведь он редкостный человек! Поговорю с Хилари, но он всегда так занят.

Генерал поднялся.

— Пойду спать. У нас в усадьбе не так пахнет плесенью, а ведь Кондафорд построен куда раньше.

— Здесь слишком много дерева. Спокойной ночи.

Братья пожали друг другу руки и, взяв каждый по свече, разошлись по своим комнатам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Усадьба Кондафорд еще в 1217 году перешла во владение Черрелов — их имя писалось тогда Керуэл, а иногда и Керуал, в зависимости от прихоти писца; до них усадьбой владело семейство де Канфор (отсюда и ее название). История перехода имения в руки новых владельцев была овеяна романтикой: тот Керуэл, которому оно досталось благодаря женитьбе на одной из де Канфор, покорило сердце своей дамы тем, что спас ее от дикого кабана. Он был безземельным дворянином; его отец, француз из Гюйенны, перебрался в Англию после крестового похода Ричарда Львиное Сердце; она же была наследницей владетельных де Канфоров. Кабана увековечили в фамильном гербе; кое-кто подозревал, что скорее кабан в гербе породил легенду, чем легенда — кабана. Как бы то ни было, знатоки каменной кладки подтверждали, что часть дома была построена еще в двенадцатом веке. Когда-то его окружал ров, но при королеве Анне некий Черрел, одержимый страстью к новшествам — то ли ему показалось, что настал золотой век, то ли его просто раздражали комары, — засыпал ров, и теперь от него не осталось и следа.

Покойный сэр Конвей, старший брат епископа, получивший титул в 1901 году, когда его назначили в Испанию, служил по дипломатической части. Поэтому при нем имение пришло в упадок. Он умер в 1904 году за границей, но упадок имения продолжался и при его старшем сыне, нынешнем сэре Конвее: находясь на военной службе, он до

...и сын лишь изредка наезжал в Кондафорд. Теперь, когда он жил здесь безвыездно, сознание, что его предки обосновались тут еще во времена Вильгельма Завоевателя, подсказывало ему, что надо привести родовое гнездо в порядок, и сейчас оно неплохо выглядело снаружи и казалось уютным внутри, хотя жить там генералу стало уже не по карману. Имение не могло приносить большого дохода — слишком много здесь было лесных угодий; хоть и не заложенное, оно давало всего несколько сот фунтов стерлингов в год. Пенсия генерала и скромная рента его жены (достопочтенной² Элизабет Френшем) позволяли им платить небольшие налоги, держать двух верховых лошадей для охоты и жить скромно, едва сводя концы с концами. Жена генерала была одной из тех женщин, которые кажутся такими незначительными и так много значат для своих близких. Ненавязчивая, мягкая, она никогда не сидела сложа руки и всегда держалась в тени, а ее бледное, спокойное лицо с застенчивой улыбкой говорило о том, что для душевного богатства вовсе не нужно денег и даже большого ума. Муж и трое ее детей знали, что всегда могут положиться на ее безграничную преданность. Все они были люди куда более живые и яркие, но с ней они отводили душу.

Она не поехала с генералом в Портсминстер и теперь дожидалась его дома. Обивка на мебели уже поистерлась, и генеральша стояла посреди гостиной, раздумывая, продержится ли она еще сезон, но тут появился шотландский терьер, а за ним ее старшая дочь Элизабет, которую все звали «Динни»; тоненькая, довольно высокая, с каштановыми волосами, чуть-чуть вздернутым носом, широко расставленными васильковыми глазами и ртом, точно с картины Боттичелли, она напоминала цветок на длинном тонком стебле, — казалось, он вот-вот сломается, а он не ломался. Весь ее облик говорил о том, что ей трудно относиться к жизни серьезно. Она была похожа на родник или ключ, где вода всегда весело журчит и искрится. «Искрится, как шампанское», — говорил о ней ее дядюшка сэр Лоренс Монт. Ей уже исполнилось двадцать четыре года.

— Мама, нам придется носить траур по дяде Франтику?

— Не думаю; во всяком случае, не глубокий.

— Его похоронят здесь?

— Наверное, в соборе; отец нам скажет.

— Хочешь чаю? Скарамуш, сюда, и не суй свой нос в паштет.

— Динни, меня так беспокоит Хьюберт.

— Меня тоже, мамочка; он какой-то сам не свой, от него остался один профиль, похожий на старинную немецкую гравюру. Нечего ему было ездить в эту дурацкую экспедицию. С американцами трудно ладить, ну, а Хьюберту труднее, чем кому бы то ни было. Он никогда не мог с ними ужиться. Да и штатским, по-моему, незачем связываться с военными.

— Почему?

— Понимаешь, военные слишком прямолинейны. Они твердо знают, что богу, а что — маммоне. Неужели ты не заметила?

¹ Имеется в виду первая мировая война 1914—1918 годов.

² Титул сыновей и дочерей высшей знати.

Леди Черрел это заметила. Она застенчиво улыбнулась и спросила:

— А где он? Сейчас вернется отец.

— Он пошел с Доном за куропатками к ужину. Держу пари, что он их прозевает, да и все равно куропатки не успеют к ужину. Хьюберт в таком настроении, что не приведи господь или, лучше сказать, не приведи дьявол. Ни о чем, кроме этой истории, не может думать. Одно для него спасение — влюбиться. Давай найдем ему подходящий идеал? Позвонить, чтобы принесли чай?

— Позвони. И сюда в комнату нужны свежие цветы.

— Сейчас принесу. Пойдем, Скарамуш!

Динни вышла в залитый сентябрьским солнцем парк; на нижней лужайке она заметила зеленого дятла и вспомнила детский стишок: «Семь малых птичек в семь клювов долбят,— берегись, червячок, тебя здесь съедят». Какая ужасная сушь! А все-таки циннии в этом году чудесные,— и она принялась их рвать. Они переливались всеми цветами в ее руках — от темно-красных до бледно-розовых и лимонно-желтых; красивые, но какие-то холодные. «Жаль, что не бывает клумб с живыми девушками,— подумала она,— мы бы могли сорвать там что-нибудь для Хьюберта». Она редко выказывала свои чувства, но глубоко в ее душе жили две заветные привязанности, неотъемлемые друг от друга,— к брату и к Кондафорду. Кондафорд был смыслом ее жизни, она любила его с той страстью, какой никто бы у нее и не заподозрил; ее обуревало ревнивое желание внушить своему брату такую же любовь к родным местам. Ведь она родилась здесь, когда все было еще в запустенье,— усадьба отстраивалась у нее на глазах. Для Хьюберта она была только местом, где можно провести праздники и отпуск. Динни же, хотя ей и в голову бы не пришло говорить о своем происхождении или обсуждать его всерьез на людях, втайне питала непоколебимую веру в свой род, его владения и дела. Каждый зверь, каждая птица, каждое деревцо в Кондафорде, даже цветы, которые она сейчас рвала, были частицей ее самой, так же как и простые люди здешней округи, в своих крытых соломой домишках, или старинная англиканская церковь, которую она посещала, не будучи верующей, и тусклые кондафордские зори, которые ей редко случалось видеть, и лунные, оглашаемые криками совы ночи, и длинные солнечные лучи на стерне,— все запахи, звуки и даже самый воздух родных мест. Когда Динни бывала в отъезде, она никогда не жаловалась, что соскучилась по дому, но томилась вдали от него, а возвратившись домой, старалась не проявлять своего восторга. Перейди Кондафорд в чужие руки, она бы, может, и не заплакала, но почувствовала бы себя как растение, вырванное с корнем из земли. Отец ее питал к Кондафорду спокойную привязанность человека, прожившего лучшие свои годы в других местах; мать принимала имение как должное, ей приходилось хлопотать с утра до ночи, но все же оно не было ей родным гнездом; сестра терпела его поневоле,— она предпочла бы место повеселее; ну, а Хьюберт... что думал Хьюберт? Динни не знала. С целой охапкой цинний вернулась она в гостиную; затылок ей нагрело вечерним солнцем.

Мать стояла у чайного столика.

— Поезд опаздывает,— сказала она.— А Клер всегда так гонит машину.

— Не вижу никакой связи, мамочка.

Но она видела эту связь. Мать всегда беспокоилась, когда отец опаздывал.

— Мама, я все-таки считаю, что Хьюберту следует написать в газеты.

— Посмотрим, что скажет отец... он должен был поговорить с дядей Лайонелом.

— Вот и машина,— сказала Динни.

Вслед за генералом в комнату вошла его младшая дочь. Клер была самой яркой в семье. Она коротко стригла свои мягкие черные волосы, на ее бледном выразительном лице выделялись чуть подкрашенные губы. Взгляд ее карих глаз был прямой и нетерпеливый, невысокий лоб поражал белизной. Сквозь внешнее спокойствие проглядывало какое-то отчаянное удальство, и она выглядела старше своих двадцати лет. У нее была прекрасная фигура и царственная осанка.

— Бедняжка папа не обедал,— сказала она, входя.

— Ну и поездка, Лиз,— заметил генерал.— Стаканчик виски с содовой и печенье — вот и все, что у меня было во рту с самого утра.

— Сейчас дам тебе гоголь-моголь с вином,— сказала Динни и вышла. Вслед за ней вышла и Клер.

Генерал поцеловал жену.

— Старик выглядел очень хорошо, дорогая; впрочем, все мы, кроме Адриана, видели его уже потом. Придется съездить на похороны. Думаю, что все будет очень пышно. Вот был человек, наш дядя Франтик. Говорил с Лайонелом о Хьюберте; он не знает, как быть. Но я кое-что надумал.

— Да?

— Все дело в том, как отнесется начальство к нападкам в парламенте. Хьюберта могут уволить в отставку. Тогда это конец. Лучше уж уйти в отставку самому. Ему надо явиться на медицинский осмотр первого октября. Удастся ли нам нажать кое на кого так, чтобы он ничего не заподозрил? Мальчик-то ведь гордый. Я бы мог повидаться с Топшемом, а ты поговори с Фоллэнби, ладно?

Лицо леди Черрел вытянулось.

— Я знаю,— сказал генерал,— это очень противно. Впрочем, все зависит от Саксендена, не знаю только, как до него добраться.

— Может быть, Динни что-нибудь придумает.

— Динни?— переспросил генерал.— Пожалуй, она и правда умнее нас всех... не считая тебя, дорогая.

— Ну,— сказала леди Черрел,— у меня-то совсем нет ума.

— Чушь! А вот и она!

Появилась Динни со стаканом в руке.

— Динни, я как раз говорил маме, что по делу Хьюберта нам надо обратиться к лорду Саксендену. Как бы это сделать?

— Через его соседей по имению. У него есть соседи?

— Его имение граничит с землями Уилфрида Бентуорта.

— Ну вот. Значит, нужны дядя Хилари или дядя Лоренс.

- Почему?
- Уилфрид Бентуорт — председатель комитета по расчистке троп, а ведь это любимое детище дяди Хилари. Пустим в ход кумовство дорогой.
- Гм... Хилари и Лоренс оба были в Портсминстере. Жаль, что мне это там не пришлось в голову.
- Хочешь, я с ними поговорю?
- Вот было бы хорошо! Терпеть не могу просить о протекции.
- Конечно, дорогой. Это ведь женское дело.
- Генерал с подозрением посмотрел на дочь: он никогда толком не знал, шутит она или нет.
- Вот и Хьюберт,— поспешно сказала Динни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хьюберт Черрел, за которым шел спаниель, пересекал с ружьем в руке старые серые плиты террасы. Он был худощав и строен, чуть выше среднего роста, с небольшой головой, обветренным лицом, не по возрасту изборожденным морщинами, и темными усиками над тонким нервным ртом; на висках уже пробивалась седина. Над впалыми загорелыми щеками выдавались скулы, широко расставленные карие глаза глядели быстро и беспокойно, над прямым тонким носом срослись брови. Он как бы повторял своего отца в молодости. Человек действия, вынужденный вести созерцательный образ жизни, чувствует себя не в своей тарелке; и с тех пор, как его бывший начальник выступил с нападками на него, Хьюберт не переставал злиться: он считал, что вел себя правильно или что его, во всяком случае, вынудили так действовать обстоятельства. Он раздражался еще и потому, что его воспитание и характер не позволяли ему жаловаться открыто. Солдат по призванию, а не по случайности, он видел, что его военная карьера под угрозой, его имя офицера и дворянина запятнано, а он не может отплатить своим обидчикам. Голова его, казалось Хьюберту, зажата как в тисках и каждый, кому не лень, может нанести ему удар,— мысль невыносимая для человека с его характером. Оставив на террасе ружье и собаку, он вошел в гостиную и сразу почувствовал, что разговор идет о нем. Теперь ему то и дело приходилось наталкиваться на такие разговоры,— ведь в этой семье неприязни каждого волновали всех остальных. Взяв из рук матери чашку чаю, он объявил, что птицы все больше дичают — ведь леса так поределели,— после чего воцарилось молчание.

— Ну, пойду посмотрю почту,— сказал генерал и ушел вместе с женой.

Оставшись наедине с братом, Динни решила поговорить с ним на чистоту.

- Хьюберт, надо что-то предпринять.
- Не волнуйся, сестренка, дело, конечно, дрянь, но что поделаешь?
- Ты бы мог сам написать, как было дело,— ведь ты же вел дневник. Я бы напечатала его на машинке, а Майкл найдет тебе издателя, он всех знает. Нельзя же сидеть сложа руки.

— Терпеть не могу выставлять свои чувства напоказ; а тут без этого те обойдешься.

Динни нахмурила брови.

— А я не желаю, чтобы этот янки сваливал на тебя вину за свою неудачу. Тут затронута честь армии.

— Даже так? Я поехал туда как частное лицо.

— Почему бы не опубликовать твой дневник?

— Это только ухудшит дело. Ты его не читала.

Мы могли бы кое-что вычеркнуть, кое-что приукрасить, и все такое. Понимаешь, папа принимает это так близко к сердцу!

— Тебе стоит его прочитать. Но там полно всяких излишних. Наедине с собой не стесняешься.

— Ты можешь выбросить оттуда все, что угодно.

— Большое тебе спасибо, Динни.

Динни погладила его рукав.

— Что за человек этот Халлорсен?

— Откровенно говоря, он человек неплохой: дьявольски вынослив, ничего не боится, никогда не выходит из себя, но для него важнее всего в жизни собственная персона. Неудач у него быть не может, а уж если они случаются, отдуваться должен другой. По его словам, экспедицию подвел транспорт, ну, а транспортом ведал я. Но будь на моем месте сам архангел Гавриил, и он бы ничего не сделал. Халлорсен ошибся в расчетах и не желает в этом сознаться. Обо всем этом написано в дневнике.

— А это ты видел?— Она показала ему газетную вырезку и прочитала вслух:—«Как стало известно, капитан Черрел, кавалер ордена «За особые заслуги», возбуждает дело против профессора Халлорсена, чтобы реабилитировать себя в связи с обвинениями, выдвинутыми Халлорсеном в книге о его боливийской экспедиции; в своей книге Халлорсен приписывает капитану Черрелу, не оправдавшему его доверия в трудную минуту, ответственность за провал экспедиции». Видишь, кто-то хочет натравить вас друг на друга.

— Где это напечатано?

— В «Ивнинг сан».

— «Возбуждает дело»!— с горечью воскликнул Хьюберт.— Какое дело? У меня нет никаких доказательств; уж об этом-то он позаботился, когда оставил меня с этой шайкой туземцев.

— Значит, у нас одна надежда — дневник.

— Сейчас принесу тебе эту чертовщину...

Весь вечер Динни просидела у окна, читая «эту чертовщину». Полная луна плыла за старыми вязами; кругом стояла могильная тишина. Лишь где-то на холме одиноко позвякивал какой-то колокольчик, да одинокий цветок магнолии белел у самого окна. Все казалось каким-то призрачным, и Динни то и дело прерывала чтение, чтобы поглядеть на это волшебство. Десять тысяч полных лун проплыло тут с тех пор, как ее предки получили этот клочок земли; вокруг царил нерушимый покой, а со страниц дневника на нее веяло мучительным одиночеством. Жестокими словами говорилось там о жестоких делах: белый, брошенный среди ди-

карей; как он любил животных, а кругом животные подыхали от голода, и люди не знали к ним жалости. Глядя на эту холодную, застывшую красоту за окном, она испытывала стыд и отчаяние.

«Эта подлая скотина Кастро снова пырлял мулов ножом. Несчастные твари совсем отошали и еле тянут. Предупредил его в последний раз. Если это повторится, он отведает хлыста... Опять лихорадка».

«Кастро досталось сегодня как следует — дюжина ударов; посмотрим, уймется он теперь или нет. Никак не могу поладить с этими скотами; в них нет ничего человеческого. Эх, хоть бы денек провести в Кондафорде верхом, позабыть здешние болота и несчастных мулов, от которых остались кожа да кости...»

«Отстегал еще одного из этих скотов — чудовищно обращаются с мулами, будь они трижды прокляты!.. Снова приступ...»

«Чистейший ад! Утром они взбунтовались. Устроили мне засаду. К счастью, меня предупредил Мануэль — славный парень. И все-таки Кастро едва не проткнул мне глотку ножом. Здорово поранил левую руку. Я его пристрелил. Может, теперь они поостерегутся. От Халлорсена никаких вестей. Долго еще собирается он держать меня в этом чертовом логове? Рука горит, как в огне...»

«Ну теперь уж мне крышка: пока я спал, эти черти угнали в темноте мулов и скрылись. Остались только Мануэль и еще двое. Мы долго за ними гнались; нашли двух павших мулов, и только; мерзавцы разбежались кто куда; ищи ветра в поле. Вернулся в лагерь чуть живой... Бог знает, выберемся ли мы отсюда когда-нибудь. Рука страшно ноет, надеюсь, это не заражение крови...»

«Думал двинуться сегодня пешком. Сложил груды камней и оставил записку для Халлорсена — описал ему все на случай, если он в конце концов придет за мной; потом передумал. Останусь здесь, пока он не вернется или пока мы все тут не подохнем, что куда более вероятно...»

Вот так и шла эта мучительная повесть до самого конца. Динни отложила неразборчивые, пожелтевшие записки и облокотилась на подоконник. Тишина и холодный свет за окном отрезвили ее. Пыл ее охладил. Хьюберт прав. Зачем выставлять напоказ душу. Нет! Только не это. Личные связи — другое дело, к ним придется прибегнуть; и уж тут-то она для него постарается!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Адриан Черрел был одним из тех любителей деревенской жизни, что постоянно живут в городе. Работа удерживала его в Лондоне, где он опекал целую коллекцию останков доисторического человека. Он задумчиво взирал на челюсть из Новой Гвинеи, получившую восторженные от-

звывы в печати, и говорил себе: «Очередная шумиха! Просто низший тип *Homo sapiens*¹», — когда швейцар доложил:

— Вас спрашивает молодая дама, сэр, кажется, мисс Черрел.

— Пусть войдет, Джеймс, — сказал он и подумал: «Динни? Как ее сюда занесло?»

— А! Динни! Канробер утверждает, что это челюсть яванского питекантропа, Моклей — эоантропа, а Элдон П. Бэрбенк — австралопитека. А я говорю — сапиенс: взгляни на коренной зуб.

— Вижу, дядя Адриан.

— Совсем как у человека. У этого типа болели зубы. Зубная боль — признак высокоразвитой культуры. Недаром росписи Альтамиры были найдены в пещерах кроманьонской эпохи. Этот парень, безусловно, *Homo sapiens*.

— Зубная боль — признак культуры? Забавно! Я приехала в город поговорить с дядей Хилари и дядей Лоренсом, но подумала, — если сначала мы с тобой пообедаем, я буду чувствовать себя увереннее.

— Ну тогда пойдем в кафе «Болгария», — сказал Адриан.

— Почему?

— Потому что там пока еще хорошо кормят. Это новый ресторан, там пропагандируют все болгарское, и мы сможем пообедать вкусно и дешево. Хочешь попудрить нос?

— Да.

— Тогда иди вон туда.

Дожидаясь племянницы, Адриан стоял, поглаживая козлиную бородку, и прикидывал, что можно заказать на восемнадцать шиллингов шесть пенсов; он был государственным служащим без собственных средств, и у него редко оказывалось в кармане больше одного фунта стерлингов.

— Дядя Адриан, — спросила Динни, когда они сидели за глазуньей по-болгарски, — что ты знаешь о профессоре Халлорсене?

— Это тот, который собирался открыть в Боливии первые очаги цивилизации?

— Да, и взял с собой Хьюберта.

— А! Но, кажется, бросил его где-то по дороге.

— Ты с ним знаком?

— Да. Я познакомился с ним в тысяча девятьсот двадцатом году, мы вместе поднимались на Малого Грешника в Доломитах.

— Он тебе понравился?

— Нет.

— Почему?

— Видишь ли, он был вызывающе молод, обогнал меня и первым взобрался на вершину... Он чем-то напоминал мне бейсбол. Ты видела когда-нибудь, как играют в бейсбол?

— Нет.

— А я однажды видел, в Вашингтоне. Они поносят противника, чтобы его расстроить. Обзывают сосунком, ловкачом и президентом Вильсоном, — словом, всем, что только в голову придет, — как раз, когда

¹ Человек разумный (лат.).

он собирается ударить по мячу. Такой уж у них обычай. Лишь бы выиграть любой ценой.

— А ты сам разве не думаешь, что главное — выиграть любой ценой?

— Кто же в этом признается?

— Но ведь все мы ничем не гнушаемся, если очень приспичит?

— Да, так бывает даже в политике.

— А ты бы попытался выиграть любой ценой?

— Наверно.

— Нет, ты бы не стал. А вот я — да.

— Ты очень любезна, детка, но откуда вдруг такое самоуничижение?

— Я сейчас кровожадна, как комар: жажду крови недругов Хьюберта. Вчера я читала его дневник.

— Женщина еще не утратила веры в свое божественное всемогущество, — задумчиво произнес Адриан.

— Думаешь, нам это угрожает?

— Нет, как бы вы ни старались, вам никогда не удастся уничтожить веру мужчин в то, что они вами командуют.

— Как лучше всего уничтожить такого человека, как Халлорсен?

— Либо дубинкой, либо выставив его на посмеище.

— Наверно, то, что он придумал насчет боливийской цивилизации, — чепуха?

— Полная чепуха. Там нашли странных каменных истуканов, происхождение которых еще неизвестно, однако его теория, по-моему, не выдерживает никакой критики. Но позволь, дорогая, ведь Хьюберт тоже принимал во всем этом участие.

— Наука Хьюберта не касалась, он там ведал транспортом. — Динни пустила в ход испытанное оружие: она улыбнулась. — А что, если поднять на смех Халлорсена за его выдумку? У тебя это так чудно получится, дядя!

— Ах ты лиса!

— А разве не долг серьезного ученого — высмеивать всякие бредни?

— Будь Халлорсен англичанином — возможно; но он американец, и с этим надо считаться.

— Почему? Ведь наука не знает границ.

— В теории. На практике многое приходится спускать: американцы так обидчивы. Помнишь, как они недавно взъелись на Дарвина? Если бы мы их тогда высмеяли — дошло бы, чего доброго, и до войны.

— Но большинство американцев сами над этим смеялись.

— Да, но они не терпят, когда над ними смеются другие. Хочешь суфле «София»?

Некоторое время они молча ели, с удовольствием поглядывая друг на друга. Динни думала: «Как я люблю его морщинки, да и борода у него просто прелесть». Адриан думал: «Хорошо, что нос у нее чуть-чуть вздернутый. Прелестные у меня все-таки племянницы и племянники». Наконец Динни сказала:

— Значит, дядя, ты постарайшься придумать, как нам проучить этого человека за все его подлости по отношению к Хьюберту?

— Где он сейчас?

— Хьюберт говорит — в Штатах.

— А тебе не кажется, что кумовство — это порок?

— И несправедливость тоже, а своя кровь — не вода.

— Это вино, — с гримасой сказал Адриан, — куда жиже воды. Зачем тебе нужен Хилари?

— Хочу выпросить у него рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— Зачем?

— Отец говорит, он важная птица.

— Значит, решила пустить в ход протекцию?

Динни кивнула.

— У порядочных и совестливых людей это не получается.

Ее брови дрогнули, она широко улыбнулась, показав очень белые и очень ровные зубы.

— А я себя ни к тем, ни к другим и не причисляю.

— Посмотрим. А пока что на, закури их папиросу, действительно первоклассная пропаганда.

Динни взяла папиросу и, глубоко затянувшись, спросила:

— Ты видел дядю Франтика?

— Да. Очень достойно ушел из мира. Я бы сказал — парадно. Зря он связался с церковью; дядя Франтик был прирожденный дипломат.

— Я видела его только два раза. Но неужели и он не смог бы добиться того, чего хотел, при помощи протекции, не потеряв при этом достоинства?

— Ну, он-то действовал иначе — умелым подходом и личным обаянием.

— Учтивостью?

— Да, он был учтив, как вельможа, таких сейчас уже не встретишь.

— Ну, дядя, мне пора; пожелай мне поменьше совестливости и побольше нахальства.

— А я вернусь к своей челюсти из Новой Гвинеи, которой надеюсь повергнуть в прах своих ученых собратьев, — сказал Адриан. — Если я смогу помочь Хьюберту, не вступая в сделку с совестью, я ему помогу. Во всяком случае, я об этом подумаю. Передай ему привет. До свидания, дорогая!

Они расстались, и Адриан вернулся в музей. Взяв снова в руки челюсть из Новой Гвинеи, он стал размышлять о совсем другой челюсти. Он уже достиг того возраста, когда кровь человека сдержанного, привыкшего к размеренной жизни, течет ровно, и его «увлечение» Дианой Ферз, которое захватило его давно, еще до ее рокового замужества, приобрело некий альтруистический оттенок. Ее счастье было для него дороже своего собственного. В его постоянных думах о ней забота о том, «что лучше для нее», всегда занимала первое место. Он так давно только мечтал о ней, что ни о какой навязчивости с его стороны не могло быть и речи, да к тому же навязчивость была совсем не в его характере. Но ее овальное лицо с темными глазами, прелестным ртом и носом, ли-

цо, обычно грустное, то и дело заслоняло очертания челюстей, тазобедренных костей и прочих интересных образчиков его коллекции. Диана Ферз жила со своими двумя детьми в маленьком домике в районе Челси на средства мужа, который вот уже четыре года находился в частной клинике для умалишенных без всякой надежды на выздоровление. Ей было около сорока; она пережила страшные дни, прежде чем Ферз окончательно потерял рассудок. В своих воззрениях и привычках Адриан был несколько старомоден; антропология научила его, что история человечества развивается по определенным законам; он принимал жизнь с чуть-чуть насмешливым фатализмом. Он не принадлежал к тем людям, которые хотят переделать жизнь, да и трагическое замужество его дамы сердца не позволяло ему и мечтать о брачном венце. Горячо желая ей счастья, он не знал, как ей помочь. Теперь у нее есть хотя бы покой, а заодно и средства того, с кем судьба обошлась так жестоко. К тому же муж Дианы внушал Адриану нечто вроде суеверного страха, какой первобытные люди испытывают перед несчастным, потерявшим разум. Ферз был славным парнем до той поры, пока болезнь не нарушила его душевного равновесия. Но перед этим он уже два года вел себя так, что это можно было объяснить только помрачением рассудка. Он был одним из «богом обиженных», и его беспомощность обязывала других относиться к нему с предельной щепетильностью. Адриан отложил челюсть и снял с полки гипсовый слепок черепа питекантропа; останки этого удивительного создания нашли в Триниле на Яве, и он вызвал ожесточенные споры о том, считать ли его человеко-обезьяной или обезьяно-человеком. Какой долгий путь от него до современного англичанина, — вон его череп, там, над камином! Сколько ни взывай к авторитетам, никто не ответит на вопрос: где же колыбель *Homo sapiens*, где гнездо, где он вылупился из питекантропа, эоантропа, неандертальца или другого, еще неизвестного родича этих существ? Единственной страстью Адриана, кроме страсти к Диане Ферз, было жгучее желание найти родовое гнездо человеческой породы. Сейчас ученые тешились теорией о происхождении человека от неандертальца, но Адриан не мог с ней согласиться. Когда развитие вида достигает такой стадии, как та, что была обнаружена у этих звероподобных особей, вид не может изменяться так резко. С равным основанием можно было бы говорить о том, что благородный олень произошел от лося. Он повернулся к огромному глобусу, где каллиграфическим почерком были нанесены все существенные открытия, касающиеся происхождения человека, вместе с данными о геологических изменениях, эпохах и климате. Где же, где искать решения? Это была загадка, величайшая загадка на свете, и решить ее можно было только так, как это делают французы: наметить по наитию какую-нибудь возможную точку, чтобы затем подтвердить гипотезу исследованиями на месте. Где эта точка — в предгорьях Гималаев, в Фаюме, или она навеки погребена в пучине моря? Если она и в самом деле покоится на дне моря, ее никогда не удастся точно установить. Быть может, это чисто академический вопрос? Не совсем, — ведь с ним связана проблема сущности человека, истинной подоплеку его характера, столь важная для социальной философии, проблема, так часто всплывающая в последнее время: является ли человек по самой натуре своей добропорядочным и ми-

ролюбивым, как позволяют заключить исследования жизни животных и некоторых так называемых «диких» народов, или же он воинственный и беспокойный, как свидетельствует мрачная летопись истории? Найдя родовое гнездо *Homo sapiens*, обнаружишь, быть может, доказательство того, кто он — дьяволо-ангел или ангело-дьявол. Адриана, по его характеру, очень привлекал тезис о врожденном благородстве человека, но склад ума не позволял ему легко и просто брать на веру что бы то ни было. Даже самые кроткие животные и птицы подчиняются закону самосохранения так же, как и первобытный человек; извращения цивилизованного человека начались с расширением круга его деятельности и обострением борьбы за существование — другими словами, по мере того, как осложнялась задача самосохранения в условиях так называемой цивилизованной жизни. Примитивная жизнь первобытных людей дает меньше поводов к извращенному проявлению инстинкта самосохранения, но это еще ничего не доказывает. Лучше всего принимать современного человека таким, как он есть, и стараться ограничить его возможности творить зло. И не стоит так уж полагаться на врожденное благородство первобытных народов. Только вчера Адриан прочел очерк об охоте на слонов в Центральной Африке: по словам автора, мужчины и женщины из первобытного африканского племени, служившие загонщиками у белых охотников, набросились на еще не остывшие туши убитых слонов, разорвали их на куски и тут же съели, а потом скрылись в лесу, пара за паром, чтобы завершить свой пир. В конце концов у цивилизации есть свои хорошие стороны. Тут размышления Адриана были снова прерваны швейцаром.

— Сэр, к вам какой-то профессор Халлорсен. Хочет взглянуть на черепа из Перу.

— Халлорсен? — с изумлением переспросил Адриан. — Вы не путаете? Я думал, он в Америке.

— Он сказал, что его фамилия Халлорсен, сэр; такой высокий господин, говорит, как американец. Вот его карточка.

— Гм! Зовите его, Джеймс.

И он подумал: «Тень Динни! Что мне ему сказать?»

В комнате появился очень высокий и очень красивый человек лет тридцати восьми. Его гладко выбритое лицо дышало здоровьем, глаза жизнерадостно блестели, в темных волосах кое-где пробивалась ранняя седина. С ним в комнату словно ворвался свежий ветер. Он сразу заговорил:

— Вы хранитель музея?

Адриан поклонился.

— Позвольте! Мы же встречались: помните, на горе, правда?

— Да.

— Ну и ну! Моя фамилия Халлорсен; слышали — экспедиция в Боливии? Говорят, у вас отличные черепа из Перу. У меня с собой несколько боливийских; хочется их сравнить. Люди пишут так много ерунды о черепах, а сами настоящих черепов и в глаза не видели.

— Совершенно верно, профессор. Я с удовольствием взгляну на ваших боливийцев. Между прочим, вы, кажется, не знаете, как меня зовут. Адриан протянул ему карточку. Халлорсен ее взял.

— Вот как! А вы не родственник капитана Чаруэла, который точит на меня зубы?

— Я его дядя. Но у меня сложилось впечатление, что зубы точите на него вы.

— Да, но он меня подвел!

— А он думает, что подвели его вы.

— Ну, знаете что, мистер Чаруэл...

— Между прочим, наша фамилия произносится Черрел.

— Черрел... да, теперь вспомнил. Если вы нанимаете человека на работу, а он с ней не справляется и вы из-за этого садитесь в лужу, что прикажете — дать ему золотую медаль?

— По-моему, прежде чем точить зубы, нужно выяснить, выполняли ли такая работа.

— Зачем же он нанимался, если она ему была не по силам. Работа не бог весть какая: держать в руках кучку туземцев.

— Я не знаю подробностей, но слышал, что он отвечал и за вьючных животных.

— Правильно; ну и провалил все дело. Конечно, я не думаю, что вы станете на мою сторону против собственного племянника. Могу я посмотреть на ваших перуанцев?

— Разумеется.

— Весьма любезно с вашей стороны.

Во время осмотра Адриан то и дело поглядывал на стоявший рядом с ним великолепный экземпляр *Homo sapiens*. Ему редко доводилось видеть такого пышущего здоровьем и жизнерадостностью человека. Естественно, что всякая неудача выводит его из себя. Буйная энергия мешает ему быть объективным. Как и прочие американцы, он считает, что все должно идти так, как ему хочется, и представить себе не может, что бывает иначе.

«В конце концов, — подумал Адриан, — он все же не виноват, что принадлежит к излюбленным тварям господним — *Homo Transatlanticus Superbus*¹, — и лукаво произнес:

— Стало быть, профессор, в будущем солнце будет вставать на западе?

Халлорсен улыбнулся, — улыбка у него была обаятельная.

— Знаете, господин хранитель музея, мы, наверно, оба того мнения, что цивилизация началась с обработки земли. Если можно будет доказать, что мы на американском континенте выращивали маис давным-давно, может быть, за тысячелетия до того, как на древнем Ниле появились культуры ячменя и пшеницы, — почему бы реке истории и не течь с запада на восток?

— А как вы докажете вашу теорию?

— Видите ли, у нас есть сортов двадцать — двадцать пять маиса. Грвдличка утверждает, что понадобилось не менее двадцати тысяч лет, чтобы их вывести. Уже одно это доказывает наш неоспоримый приоритет в сельском хозяйстве.

¹ Гордый трансатлантический человек (лат.).

— Увы! Ни один сорт маиса не рос в Старом Свете до открытия Америки.

— Совершенно верно; а в Америке прежде не росло ни одного из ва их злаков. Ну, а если культура Старого Света проложила себе дорогу к нам через Тихий океан, опять-таки возникает вопрос: почему она не принесла с собой своих злаков?

— Но ведь это еще не доказывает, что Америка светоч для всего мира.

— Не знаю, может, и нет; но, во всяком случае, ее древняя цивилизация возникла на основе самостоятельного открытия собственных злаков; мы были первыми.

— Вы верите в Атлантиду, профессор?

— Балуюсь иногда этой мыслишкой.

— Ну-ну!.. Позвольте вас спросить: а вы не жалеете о своих нападениях на моего племянника?

— Видите ли, когда я писал книгу, я был очень зол. Мы с вашим племянником не сошлись характерами.

— Тем больше оснований у нас сомневаться, что вы были справедливы.

— Если бы я отказался от своих обвинений, я поступил бы против совести.

— А вы уверены, что вы сами ничуть не повинны в своей неудаче?

Гигант нахмурил брови с таким изумлением, что Адриан поневоле подумал: «Во всяком случае, человек он честный».

— Не понимаю, куда вы клоните,— медленно проговорил Халлорсен.

— Вы же сами выбрали моего племянника?

— Да, из двадцати других.

— Вот именно. Значит, вы плохо выбрали?

— Конечно.

— Ошиблись в выборе?

Халлорсен расхохотался.

— Ловко вы меня поймали. Но я не из тех, кто хвастает своими ошибками.

— Вам нужен был человек без капли жалости,— сухо сказал Адриан.— Что ж, вам действительно не повезло.

Халлорсен покраснел.

— Тут мы с вами не сговоримся. Ну что ж, возьму-ка я свои черепа и пойду. Спасибо за любезный прием.

С тем он и ушел.

Адриана обуревали самые противоречивые чувства. Этот тип оказался куда лучше, чем он думал. Великолепный экземпляр в физическом отношении, далеко не дурак, а его духовный склад... что ж, характерен для Нового Света, где человек не заглядывает далеко в будущее и где цель всегда оправдывает средства. «Жаль будет,— подумал он,— если они передерутся. А все-таки этот тип не прав; надо быть человечнее и не нападать на людей в печати. Уж очень большой эгоист наш друг Халлорсен». И Адриан положил новогвинейскую челюсть обратно в шкаф.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Динни направлялась к церкви святого Августина-на-Лужках. В этот солнечный день бедность района, в котором она очутилась, казалась ее привыкшему к деревне глазу особенно гнетущей. Тем больше ее пора- жало веселые игравших на улице детей. Она спросила у одного из них, где находится дом священника, и за нею сразу увязались пятеро. Они не отошли от нее и тогда, когда она позвонила, и это навело ее на мысль, что ими руководила не только любовь к ближнему. Они даже попыта- лись войти вместе с нею в дом и удалились лишь после того, как она да- ла каждому по медяку. Ее провели в приятную комнату, у которой был такой вид, будто туда не часто заглядывают; Динни рассматривала реп- родукцию с картины дела Франческа¹, когда ее окликнули, и она увидела свою тетю Мэй. Как и всегда, миссис Хилари Черрел выглядела так, точно разрывалась на части и ей нужно было попасть в три места сразу, но вид у нее был благодушный и довольный,— она любила пле- мянницу.

— Приехала в город за покупками, деточка?

— Нет, тетя Мэй, я приехала к дяде Хилари за рекомендательным письмом.

— Дядя в полиции.

В глазах Динни заиграли озорные искорки.

— Господи, что же он наделал?

Миссис Хилари улыбнулась.

— Пока ничего особенного, но если судья не проявит благоразумия, я ни за что не ручаюсь. Одну из наших девушек обвиняют в том, что она приставала к мужчинам.

— Надеюсь, не к дяде Хилари?

— Нет, дорогая, до этого еще не дошло. Дядя Хилари должен за- свидетельствовать ее добропорядочность.

— А есть там добропорядочность, которую можно засвидетельст- вовать?

— В том-то все и дело. Хилари говорит, что есть, но я в этом не уверена.

— Мужчины так доверчивы. Я еще ни разу не была в полиции. Взглянуть бы там на дядю хоть одним глазком!

— Что ж, я иду в ту сторону. Могу тебя проводить.

Через пять минут они уже шли по улицам, которые все больше по- ражали Динни, привыкшую к живописной бедности сельских мест.

— Я никогда не представляла себе,— сказала она вдруг,— что Лон- дон похож на дурной сон.

— И беспробудный — вот ведь что страшно. Почему, скажите на милость, нельзя при нашей безработице принять программу перестройки трущоб для всей Англии? Это окупится за каких-нибудь двадцать лет. Политики проявляют чудеса энергии и принципиальности, пока они не у власти, но стоит им до нее дорваться, как они просто плывут по те- чению.

¹ Делла Франческа Пьеро (ок. 1416—1492 гг.) — итальянский художник.

— Это, тетечка, потому, что они не женщины.

— Ты что, смеешься?

— Ничуть. Женщины не так боятся жизни, они видят препятствия, только когда они осязаемы; мужчина всегда воспринимает их отвлеченно, он всегда говорит: «Ничего не выйдет». Женщина никогда так не скажет. Она возьмется за дело и посмотрит, выйдет или нет.

Миссис Хилари помолчала.

— Да, пожалуй, женщины смотрят на жизнь более трезво. У них и глаз острее и чувства ответственности меньше.

— Хорошо, что я не мужчина.

— Отрадно слышать, и все-таки им даже теперь живется лучше, чем нам.

— Это им так кажется, но я в этом сомневаюсь. По-моему, мужчины очень похожи на страусов. Они закрывают глаза на то, чего им не хочется видеть, но ведь это не преимущество.

— Если бы ты жила у нас, на Лужках, Динни, ты бы так не говорила.

— Если бы я жила на Лужках, тетя, я бы просто умерла.

Миссис Хилари посмотрела на племянницу. Она и правда казалась какой-то прозрачной и хрупкой, но в ней сказывалась «порода» и чувствовалось, что дух ее сильнее плоти. Она могла проявить неожиданную выносливость и выдержку.

— Не думаю, Динни, род ваш живучий. Если бы не это, Хилари давно бы протянул ноги. Ну, вот и полиция. Жаль, что мне некогда зайти с тобой. Но все здесь будут очень любезны. Тут ведь тоже люди, хоть и не очень деликатные. Однако будь поосторожнее с теми, кто сидит рядом.

Динни подняла бровь.

— Вши, тетя Мэй?

— Не поручусь, что их там нет. Возвращайся пить чай, если успеешь.

Она ушла.

На торжище человеческой неделекатности яблоку негде было упасть: безошибочный нюх на всякую сенсацию заставил людей сбегаться сюда, где слушалось дело, по которому Хилари выступал свидетелем, — тут была затронута честь полиции. Динни заняла последние пятнадцать квадратных дюймов свободного места и поняла, что дело слушается вторично. Соседи справа напомнили ей детскую песенку: «Лекарь, сапожник, пекарь, пирожник».

Слева от нее стоял высокий полицейский. В глубине зала толпилось много женщин. Спертый воздух пропитался запахом неопрятной одежды. Динни взглянула на судью — вид у него был изможденный и какой-то кислый — и спросила себя, почему он не поставит на стол курильницу с благовониями. Потом внимание Динни привлекла женская фигура на скамье подсудимых; это была девушка одного с ней возраста, такая же высокая, чистенько одетая, с приятными чертами лица, — вот только рот у нее был чувственный, что сейчас было совсем некстати. Динни решила, что она, пожалуй, блондинка. Обвиняемая сидела неподвижно, ее бледные щеки чуть раздумянились, глаза испуганно бегали по сторонам.

Звали ее, как выяснилось, Миллисент Поль. Насколько поняла Динни, некий полицейский заявил, что она приставала на Юстон-роуд к двум мужчинам, — ни один из них, однако, не явился в суд, чтобы это подтвердить. Какой-то молодой человек, похожий на владельца табачной лавчонки, давал свидетельские показания: он видел, как обвиняемая два или три раза прошла по улице; он обратил на нее внимание потому, что она «лакомый кусочек»; вид у нее был озабоченный, точно она что-то искала.

— Что-то или кого-то? — спросили у него.

Почем он знает? Нет, она не смотрела на тротуар; нет, она не нагибалась; на него она, во всяком случае, даже не взглянула. Он с ней заговорил? Еще чего выдумали! Что он делал на улице? Просто закрыл лавку и вышел подышать свежим воздухом. Он не заметил, заговаривала ли она с кем-нибудь? Нет, не заметил, но он и не стоял там долго.

— Преподобный Хилари Чаруэл!

Динни увидела, как ее дядя поднялся со скамьи и занял место под балдахином на возвышении для свидетелей. Вид у него был энергичный, он совсем не походил на священнослужителя и она с удовольствием смотрела на его худое, все в морщинках, решительное лицо, дышавшее юмором.

— Ваше имя Хилари Чаруэл?

— Черрел, если не возражаете.

— Ничуть. Вы священник прихода святого Августина-на-Лужках? Хилари поклонился.

— Давно?

— Тринадцать лет.

— Вы знаете обвиняемую?

— С самого детства.

— Расскажите, пожалуйста, все, что о ней знаете.

Динни увидела, как ее дядя решительно повернулся лицом к судье.

— Ее отец и мать, сэр, были достойны самого глубокого уважения; они хорошо воспитали своих детей. Он был сапожник, конечно, бедный; в моем приходе все мы бедны. Я бы даже мог сказать, что умерли они от бедности; это случилось пять или шесть лет назад; с тех пор их дочери росли у меня на глазах. Обе они работают у Петтерэ и Поплина. Я никогда не слышал ничего дурного о Миллисент. Насколько мне известно, она порядочная, честная девушка.

— А достаточно ли вы хорошо ее знаете?

— Видите ли, я часто посещаю тот дом, где она живет с сестрой. Если бы вы там побывали, сэр, вы бы сами поняли, — они с честью выходят из трудного положения.

— Она ваша прихожанка?

Хилари не сдержал улыбки, и судья улыбнулся ему в ответ.

— Этого я бы не сказал. В наше время молодежь слишком дорожит воскресными днями. Но Миллисент одна из тех девушек, которые проводят праздники в нашем доме отдыха возле Доркинга. А девушки у нас там хорошие. Жена моего племянника, миссис Майкл Монт, которая заведует этим домом, прекрасно о ней отзывалась. Хотите, я прочту ее отзыв? «Дорогой дядя Хилари. Ты спрашиваешь о Миллисент Поль. Она

была у нас три раза; сестра-хозяйка считает, что она хорошая девушка и совсем не легкомысленная. У меня о ней сложилось такое же впечатление».

— Короче говоря, мистер Черрел, вы считаете, что в этом деле допущена ошибка?

— Да, сэр, я в этом уверен.

Девушка на скамье подсудимых приложила к глазам платок. И Динни вдруг до глубины души возмутила унижительность ее положения. Быть выставленной напоказ перед всеми этими людьми, даже если она и делала то, в чем ее обвиняют! А почему бы девушке и не предложить мужчине пойти с ней погулять? Ведь он же всегда может отказаться.

Высокий полицейский переступил с ноги на ногу, окинул Динни взглядом и, словно почуяв ее дерзкие мысли, кашлянул.

— Благодарю вас, мистер Черрел.

Спускаясь с возвышения для свидетелей, Хилари заметил племянницу и помахал ей. Динни поняла, что разбор дела окончен и судья принимает решение. Он сидел неподвижно, соединив кончики пальцев, и глядел на девушку; она перестала вытирать глаза и тоже уставилась на него. Динни затаила дыхание. В эту минуту решалась судьба человека! Высокий полицейский снова переступил с ноги на ногу. На чьей стороне были его симпатии — на стороне сослуживца или на стороне девушки? В зале наступила мертвая тишина, слышалось только поскрипывание пера. Судья разъединил кончики пальцев и объявил:

— Я не считаю обвинение доказанным. Обвиняемая свободна. Можете идти.

Девушка тихонько всхлипнула. Справа от Динни «пекарь-пирожник» хрипло выкрикнул:

— Правильно!

— Тс-с! — одернул его высокий полицейский.

Динни увидела дядю, выходившего из зала рядом с девушкой; проходя мимо, он улыбнулся.

— Подожди меня, Динни, минутки две, не больше.

Проскользнув к выходу вслед за высоким полицейским, Динни осталась ждать в вестибюле. Все, что было вокруг, наводило на нее такую жуть, какую испытываешь, зажигая ночью свет в пустой кухне; от запаха дезинфекции першило в горле; она подвинулась поближе к выходу. К ней обратился сержант полиции:

— Могу я быть вам чем-нибудь полезен, мисс?

— Спасибо, я жду дядю; он сейчас придет.

— Его преподобие?

Динни кивнула.

— А! Хороший человек наш священник. Девушку отпустили?

— Да.

— Ну что ж. Всегда можно ошибиться. А вот и ваш дядюшка. Хилари подошел и взял Динни под руку.

— А, сержант! — сказал он. — Как здоровье супруги?

— Первый сорт, сэр. Девушку, значит, вызволили?

— Да, — ответил Хилари. — А теперь я хочу курить. Пойдем, Динни.

И, кивнув на прощанье сержанту, он вывел ее на воздух.

— А ты как попала в это логово, Динни?

— Зашла за тобой. Меня привела тетя Мэй. Скажи, эта девушка правда не виновата?

— Понятия не имею. Но засудить ее — значит искалечить ей жизнь. Она задолжала за квартиру, и у нее больна сестра. Постой-ка, я зажгу трубку. — Он выпустил облако дыма и снова взял ее под руку. — А что тебе от меня нужно, дорогая?

— Рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— К Зазнайке Бентхему? Зачем он тебе?

— Для Хьюберта.

— Вот оно что! Хочешь соблазнить Бентхема?

— Да, если ты нас познакомишь.

— Я учился с ним в Харроу — он был тогда всего лишь баронетом, — с тех пор я его не видел.

— Но ведь Уилфрид Бентуорт готов для тебя на все, а их имения рядом.

— Что ж, надеюсь, Бентуорт даст мне для тебя записку.

— Этого мало. Мне надо встретиться с лордом Саксенденом где-нибудь в обществе.

— Гм! Да, пожалуй, иначе тебе его не соблазнить. А в чем, собственно, дело?

— На карту поставлено будущее Хьюберта. Мы хотим погасить огонь, пока не разгорелся пожар.

— Понятно. Но в таком случае, Динни, тебе нужен Лоренс. В будущий вторник Бентуорт едет к нему в Липпингхолл поохотиться на куропаток. Поезжай и ты туда.

— Я подумывала о дяде Лоренсе, но не могла упустить случай познакомиться с тобой.

— Ах, моя дорогая, — сказал Хилари, — прелестные феи не должны говорить таких вещей. А то я совсем зазнаюсь. Ну, вот мы и пришли. Зайди выпей чаю.

В гостиной Динни с изумлением увидела дядю Адриана. Он сидел в уголке, подобрав длинные ноги, в обществе двух молодых женщин, похожих на учительниц. Он помахал Динни чайной ложечкой и вскоре подсел к ней.

— Динни, как ты думаешь, кто пришел ко мне, как только мы расстались? Сам злодей, — захотел посмотреть моих перуанцев.

— Неужели Халлорсен?

Адриан протянул ей карточку: «Профессор Эдуард Халлорсен»; карандашом было приписано: «Гостиница «Пьемонт»».

— Он куда симпатичнее, чем мне показалось тогда в Доломитах; там он был просто заросший щетиной верзила; пожалуй, он не так уж плох, если правильно к нему подойти. Вот я и хотел сказать: попробуй-ка найти к нему подход.

— Ты не читал дневника Хьюберта, дядя.

— Я бы охотно его прочел.

— Ты, наверно, его и прочтешь. Надеюсь, он будет опубликован.

Адриан тихонько свистнул.

— Подумай хорошенько, девочка. Собачья драка доставляет удовольствие всем, кроме самих собак.

— Халлорсен сделал свой ход. Теперь очередь Хьюберта.

— Знаешь, Динни, никогда не вредно поглядеть на противника, прежде чем вступишь в игру. Дай-ка я устрою небольшой обед. Диана Ферз пригласит нас к себе; ты сможешь у нее переночевать. Как насчет понедельника?

Динни поморщила вздернутый носик. Если она и в самом деле поедет на той неделе в Липпингхолл, понедельник ее устраивает. Стоит взглянуть на этого американца, прежде чем объявлять ему войну.

— Хорошо, дядя, большое тебе спасибо. Если ты едешь сейчас в Уэст-энд¹, можно мне с тобой? Я хочу зайти к тете Эмили и дяде Лоренсу. Маунт-стрит тебе по дороге.

— Ладно. Допивай чай, и едем.

— Я уже напилась,— сказала Динни, вставая.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ей опять повезло: она застала и третьего своего дядю; тот задумчиво разглядывал собственный дом на Маунт-стрит, словно собирался его купить.

— А, Динни! Пойдем, тетя хандрит и будет тебе рада. Мне не достает старого Форсайта,— добавил он в холле.— Я прикидывал, сколько запросить за дом, если мы сдадим его на зиму. Ты не знала старого Форсайта — отца Флер; занятый был человек.

— А что с тетей Эм?

— Ничего, дорогая. Просто вид бедного старого дяди Франтика заставил ее призадуматься о будущем. А ты когда-нибудь думаешь о будущем, Динни? Грустная это штука, когда прошла молодость.

Он открыл дверь.

— А к нам приехала Динни.

В обшитой панелью гостиной стояла Эмили, леди Монт, со своим попугом на плече,— она смахивала метелкой пыль с комнатных цветов. Опустив метелку, она с каким-то рассеянным видом подошла к Динни и поцеловала племянницу.

— Осторожно, Полли,— сказала она попуугу.

Попугай перебрался на плечо Динни и с любопытством наклонил голову, заглядывая ей в лицо.

— Полли прелесть,— сказала леди Монт,— ты не рассердишься, если он ущипнет тебя за ухо? Я так рада, что ты приехала, Динни; у меня на уме одни похороны. Скажи, как, по-твоему, живут на том свете?

— А разве он есть, тетечка?

— Ах, Динни! Как все это грустно!

— Может, тот, кому он нужен, туда и попадает.

— Ты совсем как Майкл. Он тоже все умничает. Где ты нашел Динни, Лоренс?

— На улице.

¹ Западная часть Лондона.

— Какое неприличие. Динни, как поживает отец? Надеюсь, он не заболел, переночевав в этом ужасном доме в Портсминстере? Там так пахло сушеными мышами!

— Нас всех очень беспокоит Хьюберт.

— А! Хьюберт, ну конечно. Знаешь, мне кажется, он напрасно бил этих людей. Застрелить — еще куда ни шло, но бить — это так прозаично; и потом, он ведь не Железный герцог.

— Разве тебе никогда не хотелось избить ломового извозчика, когда он хлещет лошадь, которая тащит в гору тяжелый воз?

— Хотелось. А разве они это делали?

— Только похуже. Выкручивали мулам хвосты, кололи их ножами и вообще мучили бедных животных как могли.

— Правда? Тогда хорошо, что он их побил, хотя я не люблю мулов с тех пор, как мы взбирались на Гемми. Помнишь, Лоренс?

Сэр Лоренс кивнул. На лице его было то ласковое, чуть насмешливое выражение, которое всегда напоминало Динни о тете Эм.

— А что там случилось, тетя?

— Они на меня свалились, — не все, конечно, а тот, на котором я ехала. А мне говорили, что мулы никогда ни на кого не падают — они такие устойчивые.

— Как это некрасиво с его стороны!

— Еще бы, и очень неприятно — так фамильярно. Как ты думаешь, Хьюберт не приехал бы на той неделе в Липпингхолл пострелять куропаток?

— По-моему, Хьюберта сейчас трудно куда-нибудь вытащить. У него на душе кошки скребут. Но если у тебя найдется конурка для меня, — можно мне приехать?

— Конечно. Места хватит. Давай-ка посчитаем: будут только Чарли Маскем со своей новой женой, мистер Бентуорт с Генриеттой, Майкл и Флер, Диана Ферз, может быть, Адриан, раз он все равно не умеет стрелять, и тетя Уилмет. Ах да! Еще лорд Саксенден.

— Не может быть! — воскликнула Динни.

— А что? Его нельзя принимать в обществе?

— Наоборот, я так рада. За ним-то я и гоняюсь.

— Какое неприличное слово; никогда не слышала, чтобы это так называлось. К тому же где-то есть еще и леди Саксенден, но она всегда болеет.

— Да нет же, тетя Эм. Он мне нужен из-за Хьюберта. Отец говорит, что за кулисами он — самый главный.

— Динни, вы с Майклом очень странно выражаетесь. Какие кулисы?

Сэр Лоренс нарушил гробовое молчание, которое обычно хранил в присутствии жены.

— Динни хочет сказать, что Саксенден вертит за кулисами делами армии.

— Что он собой представляет, дядя Лоренс?

— Зазнайка? Мы знакомы с ним много лет... занятный тип.

— Ах, как меня все это волнует, — сказала леди Монт, беря у Динни попогая.

— Тетечка, милая, мне ничего не угрожает.

— Да, но этому лорду... как его... Зазнайке? Я всегда берегла репутацию Липпингхолла. Я и так уж сомневаюсь насчет Адриана, но... — она посадила попугая на камин, — он мой любимый брат. Чего не сделаешь для любимого брата!

— Вот именно, — сказала Динни.

— Все будет в порядке, Эм, — вставил сэр Лоренс. — Я присмотрю за Динни и Дианой, а ты не спускай глаз с Адриана и Зазнайки.

— Твой дядя становится с каждым годом все легкомысленнее, он мне рассказывает просто ужасные истории.

Она остановилась рядом с сэром Лоренсом, и он взял ее под руку. «Черный ферзь и белая ладья», — подумала Динни.

— До свидания, Динни, — вдруг сказала леди Монт. — Я должна лечь. Шведская массажистка сгоняет с меня жир три раза в неделю. Я и правда худею. — Она оглядела Динни. — Интересно, может она нагнать на тебя хоть немножко?

— Я толще, чем выгляжу.

— Я тоже... и это ужасно. Я бы так не огорчалась, если бы твой дядя не был худым как жердь.

Она подставила щеку, и Динни ее звонко чмокнула.

— Как ты хорошо целуешься! — сказала леди Монт. — Сколько лет меня так не целовали. Люди теперь не целуют, они клюют. Пойдем, Полли! — И она выплыла из комнаты с попугаем на плече.

— Тетя Эм очень хорошо выглядит, — заметила Динни.

— Да. Но у нее мания — боится пополнеть, воюет с этим не на жизнь, а на смерть. Мы питаемся самой необыкновенной пищей. В Липпингхолле дело обстоит лучше, там хозяйка — Августина, а она все такая же француженка, какой была тридцать пять лет назад, когда мы привезли ее из нашего свадебного путешествия. И все так же любит готовить. К счастью, меня ничто не заставит пополнеть.

— Тетя Эм вовсе не полная.

— М-м... нет.

— И у нее прекрасная осанка. Мы так не умеем.

— Осанка исчезла вместе с веком короля Эдуарда, — сказал сэр Лоренс, — теперь ходят вприпрыжку. Все вы так подпрыгиваете, точно хотите на что-то кинуться и удрать с добычей. Интересно, что будет дальше. Логически рассуждая, вам пора перейти на скок, а может, наоборот, в моду войдет томная поступь.

— Дядя Лоренс, а что за человек этот лорд Саксенден?

— Один из тех, кто выиграл войну потому, что его никто не слушался. Знаешь, как пишут в мемуарах: «В субботу поехал в Кукерс. Там были Кэперсы и Гвен Блэндиш. Она была в ударе и объясняла положение на польском фронте. Я-то, конечно, знаю больше. Беседовал с Кэперсом: он думает, что боши при последнем издыхании. Я с ним не согласен; он очень зол на лорда Т. В воскресенье приехал Артур Проз; он считает, что у русских два миллиона винтовок, но нет пуль. Говорит, что война к январю кончится, потрясен нашими потерями. Знал бы он то, что знаю я! Приехала леди Трипп с сыном, — он потерял левую ногу. Милейшая женщина; обещал посетить ее госпиталь и поучить, как нала-

дить дело. Воскресный обед прошел очень мило,— все были в ударе; играли в фанты. Потом пришел Алик; говорит, что в последнем наступлении мы потеряли сорок тысяч человек, но французы потеряли больше. Я высказал мнение, что все это очень серьезно. Никто не обратил внимания».

Динни рассмеялась.

— Неужели есть такие люди?

— А ты думаешь, нет! Не люди, а золото; что бы мы без них делали?.. Они выстояли, не дрогнув, вынесли все, не моргнув, проболтали всю войну, не запнувшись... Надо было это видеть, чтобы поверить. И каждый считал, что войну выиграл именно он. Особенно отличался Саксенден. Он все время занимал такой важный пост.

— Какой?

— Он был в курсе дела. По его словам, он был в курсе дела больше, чем кто бы то ни было другой. К тому же у него редкое здоровье, это сразу видно, он прекрасный яхтсмен и, кажется, никогда не хворает.

— Интересно будет познакомиться с ним поближе.

— Зазнайка,— вздохнул ее дядя,— один из тех людей, от которых лучше держаться подальше. Ты останешься ночевать или поедешь домой?

— Мне надо сегодня же вернуться. Поезд отходит в восемь с Паддингтонского вокзала.

— В таком случае я пробежусь с тобой через Гайд-парк, мы закусим на вокзале, и я посажу тебя в поезд.

— Незачем тебе со мной возиться, дядя Лоренс.

— Пустить тебя одну в парк и прозевать такой случай! Нет уж, дудки! Меня же могут арестовать за то, что я прогуливаюсь с молодой особой женского пола. Мы можем даже посидеть на травке и поглядеть, что из этого выйдет. Такие, как ты, и вводят пожилых людей в грех. В тебе есть что-то от женщин Боттичелли. Пойдем.

Было семь часов теплого сентябрьского вечера, когда они очутились в Гайд-парке; они прошли под платанами, и под ногами у них зашуршала сухая трава газона.

— Слишком рано,— сказал сэр Лоренс,— учитывая, что на лето передвинули вперед часы. За непристойное поведение наказывают только после восьми. Пожалуй, не стоит даже садиться. А ты могла бы узнать переодетого шпика? В жизни это может пригодиться. Они носят котелок: боятся, что их огреют по голове,— в книгах котелок у шпики всегда сваливается,— и стараются изо всех сил выглядеть так, будто они совсем и не шпики; у них решительная складка у рта,— в полиции бесплатно вставляют зубы; глаза шарят по земле, если только они безжалостно не впились в тебя; те, кто чином постарше, крепко стоят на пятках, будто с них снимает мерку портной. Ну, и, конечно, их сразу узнаешь по казенным ботинкам.

Динни звонко расхохоталась.

— Знаешь что, дядя Лоренс; давай сделаем вид, будто я к тебе пристаю. У Паддингтонских ворот, наверно, торчит какой-нибудь шпик. Я немножко погуляю взад-вперед, а когда ты подойдешь, я к тебе пристаю. Но что я должна сказать?

Сэр Лоренс задумчиво нахмурил брови.

— Насколько мне помнится: «Как дела, котик? У тебя свободный вечерок?»

— Тогда я пойду вперед и скажу это под амым носом у шпикиа.

— Ты его не проведешь.

— Испугался?

— Мои затеи давно уже никто не принимает всерьез. К тому же «Жизнь реальна! Жизнь сурова! Не могила — цель ее»¹.

— Ты падаешь в моих глазах, дядя.

— А вот к этому я привык. Погоди, станешь солидной, почтенной дамой, сама увидишь, как легко упасть в глазах молодежи.

— Но ты только подумай: нам посвящали бы целые колонки в газетах, и не один, а много дней подряд! «Женщина пристает к мужчине у Паддингтонских ворот! Мнимый дядя». Неужели тебе не лестно стать мнимым дядей и затмить все события в Европе? Неужели тебе не хочется подложить свинью полиции? Ты малодушный человек, дядя!

— Soit!² — сказал сэр Лоренс. — На сегодня с тебя хватит одного дяди в полиции. Нет, ты еще опаснее, чем я думал.

— Но, без шуток, за что их арестовывают, этих девушек? Ведь это — пережитки прошлого, когда женщину не считали за человека.

— Согласен, но в нас еще живет пуританская мораль, да и полицейским надо что-то делать, уволить их нельзя, у нас и так безработица. А если полиция бездельничает, — берегись, кухарки!

— Дядя, не смейся!

— Буду, дорогая! Что бы жизнь нам ни сулила, этого она у нас не отнимет! Но я верю: настанет век, когда мы сможем безнаказанно приставать друг к другу, лишь бы соблюдалась вежливость. Вместо нынешнего жаргона люди будут говорить: «Мадам, пройдемся». — «Сэр, угодно вам мое общество?» Это будет если и не золотой, то, во всяком случае, блистательный век. А вот и Паддингтонские ворота. И у тебя хватило бы духу надуть этого важного полицейского? Давай-ка лучше перейдем на ту сторону.

— Тетя Эм больше не поднимется сегодня с постели, — добавил он, когда они пришли на вокзал, — так что давай-ка я пообедаю с тобой в буфете. Выпьем немножко шампанского, а что до еды, то, насколько я знаю вокзальные буфеты, нам подадут суп из бычьих хвостов, треску, ростбиф, салат, тушеный картофель и сливовый пирог — пища довольно вкусная, хоть и чересчур английская.

— Дядя Лоренс, — спросила Динни за ростбифом, — что ты думаешь об американцах?

— На этот вопрос, Динни, ни один истинный патриот не ответит тебе правду, всю правду и только правду. И тем не менее американцев, как и англичан, можно разделить на две группы: бывают американцы и американцы. Иначе говоря, хорошие и плохие.

— А почему нам с ними так трудно?

¹ Из «Псалма жизни» Г. Лонгфелло.

² Пусть будет так! (ф р а н ц.)

— Ну, на это ответить просто. Плохие англичане не могут ужиться с ними потому, что те богаче. А хорошим англичанам с ними трудно потому, что американцы чересчур разговорчивы, а самый звук американской речи режет английский слух. Или наоборот. Плохие американцы не могут ужиться с нами потому, что звук английской речи режет им слух. Хорошие американцы не уживаются с нами потому, что мы так молчаливы и высокомерны.

— А тебе не кажется, что они уж слишком хотят все сделать по-своему?

— Мы тоже. Дело не в этом. Нас разделяют привычки и язык.

— Почему?

— Вся хитрость в том, что когда-то у нас был общий язык. Даст бог, их жаргон все меньше будет похож на наш язык, и мы совсем перестанем понимать друг друга.

— Но мы же любим говорить, что нас связывает общий язык.

— А откуда вдруг такой интерес к американцам?

— В понедельник меня познакомят с профессором Халлорсеном.

— Это тот тип из Боливии? Позволь дать тебе маленький совет: гладь его по шерстке, и он будет тих, как ягненок. Но стоит тебе погладить его против шерсти — и он зарычит, как волк.

— Я буду держать себя в руках.

— Держи левый кулак наготове, но не бросайся в драку очертя голову. А теперь, если ты кончила, пойдем: без пяти восемь.

Он посадил ее в вагон и купил ей вечернюю газету. Когда поезд тронулся, он добавил:

— Взгляни на него, как ты умеешь, Динни. Знаешь, как на картинах Боттичелли. Взгляни непременно!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Направляясь в понедельник вечером в Челси, Адриан размышлял о судьбе этой части города. Как она изменилась! Он помнил, что еще в конце прошлого века обитатели Челси были немножко похожи на троглодитов — люди боялись вылезать из своего логова; изредка среди них попадался светский лев или историк. Тут обитали поденщицы, художники, не терявшие надежды уплатить за квартиру; писатели, жившие на четыре шиллинга семь пенсов в день; дамы, готовые раздеться догола за шиллинг в час; супружеские пары, почти созревшие для развода; любители пропустить стаканчик; и тут же — поклонники Тэрнера¹, Карлейля², Росетти³ и Уистлера⁴; кабатчики, немало всяких грешников и обычная прослойка мещан. Однако за фасадами домов, выходивших на Темзу и чем дальше, тем больше принимавших величавый вид, постепенно побеждала респектабельность, — и вот она уже идет на при-

¹ Тэрнер Джозеф — художник-пейзажист.

² Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк.

³ Росетти Данте Габриэль (1828—1882) — английский художник и поэт.

⁴ Уистлер Джеймс (1834—1903) — американский художник, некоторое время проживавший в Англии.

ступ закоснелой Кингс-роуд, создавая даже там бастионы Искусства и Моды.

Дом Дианы Ферз находился на Окли-стрит. Адриан помнил время, когда он ничем не отличался от других и жили в нем заурядные обыватели; но за шесть лет, которые провела здесь Диана, дом превратился в прелестное место. Хорошенькие сестры Монтжой в свое время пленяли высший свет, но младшая из них — Диана — была красивее, изящнее и остроумнее всех; это была одна из тех женщин, которые без особых затрат и без ущерба для своей добродетели умеют добиться того, чтобы все вокруг них покоряло своей изысканностью и вызывало всеобщую зависть. В обоих ее детях, в собаке колли (чуть ли не последней колли во всем Лондоне), в ее клавикордах, в кровати с пологом, в бристольском хрустале, в обивке мебели, в коврах было столько вкуса, что душа радовалась. Да и сама она радовала глаз своей все еще прекрасной фигурой, ясными и живыми черными глазами, тонким овалом лица, матовой кожей и милой картавостью. Картавость эта была свойственна всем сестрам Монтжой, — они унаследовали ее от матери, уроженки северной Шотландии, — и за тридцать лет они сделали немало, чтобы отучить общество от твяканья, модного в девяностых годах, и привить ему милую манеру проглатывать «р» и «л». Когда Адриан спрашивал себя, почему Диана при ее скромных средствах и сумасшедшем муже была везде принята в обществе, ему приходил на ум двугорбый верблюд. Два горба этого животного похожи на две части Общества (с большой буквы), соединенные мостиком, которым редко кто пользуется после первого знакомства. Семейство Монтжой, принадлежавшее к очень древнему роду землевладельцев из Дамфришира и связанное в прошлом бесчисленными браками с высшей аристократией, обладало чем-то вроде наследственного местечка на переднем горбу, — позиция не очень выгодная, так как голова верблюда очень ограничивала кругозор; Диану наперебой приглашали в самые знатные дома, где интересовались только охотой, попечительством в больницах, придворными церемониями и вывозом девушек на выданье в свет. Адриан знал, что Диана редко принимала такие приглашения. Она предпочитала второй горб верблюда, — его хвост не закрывал обширного и увлекательного вида на мир. Ну, и странная же компания примостилась на этом втором горбу! Многие, как и сама Диана, перебрались сюда с переднего горба через заветный мостик, другие вскарабкались вверх по хвосту, кое-кто свалился прямо с неба или — как его иногда называли — из Америки. Адриан никогда не претендовал на место здесь, но он хорошо знал, что тому, кто этого добивается, нужно обладать какими-нибудь талантами: либо превосходной памятью, которая позволяет вам безошибочно пересказать все, что вы прочли или услышали, либо природным даром остроумия. Не обладая ни тем, ни другим, вы могли появиться на этом горбу только раз — больше вас туда не пускали. К этому, конечно, требовалась и некоторая оригинальность, без излишнего, однако, чудачества, и оригинальность эта должна была быть выражена достаточно ярко. Желательно, конечно, чтобы вы пользовались известностью в какой-то области, но это не было

условием *sine dua non*¹. Не мешало иметь хорошее воспитание, лишь бы оно не делало вас скучным. Красота давала вам право на вход, но только если ей сопутствовала живость ума. Не мешали и деньги, но одни они не открывали вам туда доступа. Адриан заметил, что знание искусства, хотя бы с чужих слов, ценилось здесь выше умения создавать произведения искусства; не мешали и деловые способности, если они не превращали вас в сухаря. Кое-кто попадал сюда потому, что свободно вращался в «кулуарах» и повсюду считался своим человеком. Но превыше всего ставилось умение вести беседу. Отсюда, с этого заднего горба, приводились в движение скрытые пружины, но Адриан сомневался, управляют ли они движением верблюда, что бы ни думали те, кто нажимал эти пружины. Он знал, что Диане принадлежит такое прочное место в этом сборище любителей званных обедов, что она могла бы бесплатно кормиться круглый год и не проводить ни одного воскресенья дома. И, видя, как она постоянно жертвует этим ради того, чтобы провести лишний вечер с ним и с детьми, он был глубоко ей благодарен. Война разразилась сразу после ее свадьбы с Рональдом Ферзом; Шейла и маленький Рональд родились уже после его возвращения с фронта. Теперь Шейле исполнилось семь, а Рональду — шесть лет, и — как всегда усердно подчеркивал Адриан — они были «маленькими Монтжоями до мозга костей». Внешностью и живым характером они, несомненно, пошли в мать. Но — это знал он один — тень на ее лице в минуты задумчивости говорила о том, что ей вообще не следовало их иметь. И он один знал, что постоянное напряжение, в каком она жила с таким неуравновешенным человеком, каким стал Ферз, настолько убило в ней всякую чувственность, что она прожила четыре года своего фактического вдовства без малейшей потребности в любви. Он не сомневался, что она привязана к нему по-настоящему, но понимал, что привязанность эта не перешла в страсть.

Адриан пришел за полчаса до обеда и поднялся в детскую на верхнем этаже. Француженка-гувернантка поила детей на ночь молоком с сухариками; они встретили Адриана с восторгом и потребовали, чтобы он рассказывал дальше сказку, которую начал в прошлый раз. Француженка, уже умудренная опытом, удалилась. Адриан уселся и, глядя на сияющие детские лица, начал с того места, где остановился.

— Так вот, лодочник был громадный детина, весь коричневый от загара; его выбрали за силу, — ведь берег здесь кишмя кишел белыми единорогами.

— У-у! Дядя Адриан, единорогов не бывает.

— В то время они были, Шейла.

— Куда же они подевались?

— Теперь остался только один, — он живет там, куда белому человеку не добраться из-за мухи «бу-бу».

— А что такое муха «бу-бу»?

— Муха «бу-бу», Рональд, залезает человеку в тело и разводит там мушек.

— Да ну?

¹ обязательным (лат.)

— Так вот, когда вы меня перебили, я рассказывал, что берег кишмя кишел единорогами. Лодочника звали Маттагор, и вот как он справлялся с единорогами. Заманив их на берег оханкой кринибобов...

— А что такое кринибобы?

— Они похожи на клубнику, а вкус у них, как у морковки... Лодочник подкрадывался к ним сзади...

— Если он заманивал их кринибобами, значит, он был впереди; как же он мог подкрадываться сзади?

— Он нанизывал кринибобы на веревку из древесного волокна и развешивал их в ряд между двумя заколдованными деревьями. Как только единороги принимались щипать кринибобы, он появлялся из-за кустов босиком совершенно бесшумно и попарно связывал их хвостами друг с другом.

— Но они же чувствовали, что им связывают хвосты!

— Нет, Шейла; белые единороги хвостами ничего не чувствуют... Потом он опять прятался в кусты, щелкая языком, и единороги бросались бежать куда попало.

— А хвосты у них отрывались?

— Никогда. В том-то вся и хитрость, — ведь лодочник любил животных.

— Наверно, единороги больше никогда не приходили?

— Вот и нет, Рони. Они так любили кринибобы!

— А он ездил на них верхом?

— Да; иногда он вскакивал на спины двух единорогов и уносился в джунгли, стоя одной ногой на спине одного, а другой — на спине другого; да еще посмеивался в кулак. Сами понимаете, что под охраной такого человека лодки были в безопасности. Сезон дождей еще не начался, сухопутных акул кругом было не так уж много, и экспедиция совсем уже собралась в путь, когда...

— Что «когда», дядя Адриан? Это ведь только мамочка.

— Рассказывайте, Адриан.

Но Адриан молчал; взгляд его был прикован к той, которая к ним приближалась. Потом, с трудом отведя глаза, он посмотрел на Шейлу и продолжал:

— Теперь я должен вам объяснить, почему так важна была луна. Они не могли выступить в поход прежде, чем не увидят, как молодая луна выплывает им навстречу сквозь заколдованные деревья.

— А почему?

— Об этом я и хочу рассказать. В те дни люди, а в особенности племя воттакмолодцов, поклонялись всему, что красиво: такие красивые вещи, как мама, рождественские псалмы или молодые картофелинки, очень им нравились. И прежде чем что-нибудь сделать, они ждали знамения.

— А что такое знамение?

— Вы знаете, что такое воскресенье, — оно бывает в конце, после пятницы и субботы, а знамение бывает в начале, — оно приносит счастье. И знамение обязательно должно быть красивое. А молодая луна до начала сезона дождей была красивее всего на свете; вот они и ждали, что-

бы луна вышла им навстречу сквозь заколдованные деревья,— как мама вышла к нам сейчас из той комнаты!

— Но у луны нет ножек.

— Нет, она плывет. И вот однажды вечером она выплыла к ним, такая прекрасная и стройная — самая красивая на свете, и глаза ее так сияли, что все сразу поняли — экспедиция будет удачной. Они пали перед луной ниц и воскликнули: «Знамение! Не покидай нас, и мы пройдем через пустынные пески и воды, с отражением твоего сияния в глазах, и будем счастливы твоим счастьем во веки веков. Амины!» И с этими словами все они уселись в лодки,— воттакмолодцы с воттакмолодцами, воттакфеи с воттакфеями. А молодая луна осталась там над верхушками заколдованных деревьев, благословляя их ласковым взглядом. Но один человек отстал. Это был старый воттакмолодец, который полюбил луну так сильно, что забыл все на свете, и он пополз к ней, надеясь хоть коснуться ее ног.

— Но ведь у луны нет ног!

— Он-то думал, что есть: она ему казалась женщиной из серебра и слоновой кости. Вот он полз и полз мимо заколдованных деревьев, но так и не мог ее достать,— ведь это была луна.

Адриан умолк, и наступила тишина. Потом он сказал:

— Продолжение следует,— и вышел из комнаты.

В холле его нагнала Диана.

— Адриан, вы мне портите детей. Разве вы не знаете, что басни и сказки больше не должны отбивать интерес к технике? После вашего ухода Рональд спросил: «Дядя Адриан и правда верит, что ты луна, мамочка?».

— А вы как ответили?..

— Уклончиво. Но они ужасно хитрые.

— Что ж, спойте мне «Водоноса», пока нет Динни и ее кавалера.

Она пела, а Адриан не сводил с нее восторженных глаз. Голос у нее был хороший, и она отлично спела эту старинную тоскливую песню. Едва умолк последний звук, как горничная доложила:

— Мисс Черрел. Профессор Халлорсен.

Динни вошла с высоко поднятой головой, и Адриан отметил про себя, что взгляд ее не предвещает ничего хорошего. Он видел такие глаза у школьников, когда они собирались дать трепку новичку. За ней вошел Халлорсен, пышущий здоровьем и чересчур высокий для этой маленькой гостиницы. Когда его представили Динни, он низко поклонился.

— Ваша дочь, господин хранитель музея?

— Нет, племянница; сестра капитана Хьюберта Черрела.

— Вот как? Считаю за честь с вами познакомиться, мисс Черрел.

Адриан заметил, что, встретившись взглядом, они не сразу смогли отвести друг от друга глаза.

— Как вам нравится гостиница «Пьемонт», профессор? — спросил он.

— Готовят отлично, но там слишком много нашего брата американца.

— Прилетели целой стайей?

— Да. Недельки через две мы снимемся и улетим.

Динни, воплощенную английскую женственность, сразу же взбесил цветущий вид здоровяка Халлорсена, да еще по сравнению с изможденным Хьюбертом. Она села рядом с этим олицетворением мужской силы с твердым намерением выпустить в его толстую шкуру весь запас своих стрел. Однако он принялся разговаривать с Дианой, и она, еще не кончив есть бульон с черносливом, поглядела на него исподтишка и решила изменить тактику. В конце концов, он — иностранец и гость, а она — девушка воспитанная. И тихая вода берега подмывает, подумала Динни. Она не выпустит своих стрел; напротив, она «очарует его улыбкой и лестью»¹, это будет куда вежливее по отношению к Диане и дяде Адриану и в конечном счете стратегически выгоднее. С коварством, достойным поставленной цели, она дождалась, пока он не завяз в проблемах английской политики, — по-видимому, он считал политику одной из самых важных сторон человеческой деятельности, — и, кинув на него взгляд, достойный кисти Боттичелли, сказала:

— Нам тоже следовало бы относиться к американской политике серьезнее, профессор. Но ведь нельзя же принимать ее всерьез, не так ли?

— Вероятно, вы правы, мисс Черрел. Все политики руководствуются одним и тем же правилом: придя к власти, не повторяй того, что ты говорил, будучи в оппозиции; в противном случае тебе придется взяться за то, с чем не справились твои предшественники. По-моему, единственная разница между партиями — это, что у одних в государственном автобусе места сидячие, а у других — стоячие.

— Тетя Мэй, — тихонько встала Динни, — на днях мне сказала: почему бы не избавиться от безработицы, приняв программу перестройки трущоб, и не убить двух зайцев сразу?

— Да ну! Прекрасная мысль! — сказал Халлорсен, обратив к ней свое румяное лицо.

— Денежные магнаты, — сказала Диана, — хозяева трущоб и строительной промышленности, этого не допустят.

— Нужны ведь и деньги, — добавил Адриан.

— Ну, это просто. Ваш парламент может взять на себя необходимые полномочия для такого важного дела; и почему бы ему не выпустить заем? Деньги-то ведь вернутся; это же не военный заем, от которого ничего не остается, кроме порохового дыма. Сколько у вас идет на пособия по безработице?

Никто из присутствующих не мог на это ответить.

— Наверно, то, что вы сэкономите на пособиях, с избытком окупит любой заем.

— Беда в том, что нам не хватает простодушной веры в свои силы, — с невинным видом произнесла Динни. — Тут нам далеко до вас, американцев, профессор Халлорсен.

На лице американца промелькнула мысль: «Ну и ехидна же вы, мадам».

¹ Из стихотворения Льюиса Кэрролла (1832—1898), английского детского писателя.

— Что ж, мы, конечно, проявили большое простодушие, когда пришли сражаться во Францию. Но мы его утратили. В следующий раз предпочтем посидеть у своего камелька.

— Неужели в тот раз вы были уж так простодушны?

— Боюсь, что да, мисс Черрел. Из ста американцев не найдется и пяти, кто бы считал, что немцы представляют для нас, по ту сторону океана, хоть малейшую опасность.

— Так мне и надо, профессор.

— Что вы! Я совсем не хотел... Но вы подходите к Америке с европейской меркой.

— Вспомните Бельгию, профессор,— сказала Диана,— вначале даже мы были простодушны.

— Простите, мадам, но неужели судьба Бельгии действительно вас так тронула?

Адриан чертил вилкой круги на скатерти; теперь он поднял голову:

— Меня судьба Бельгии тронула. Впрочем, я не думаю, чтобы это имело политическое или иное значение для генералов, адмиралов, крупных дельцов — для большей части власть имущих. Все они знали заранее, что в случае войны мы неизбежно окажемся союзниками Франции. Но на простых людей вроде меня и на добрые две трети населения, не ведавшего, что творится за кулисами,— словом, на рабочий класс в целом,— события эти произвели огромное впечатление. Мы словно увидели, что, как бишь его, Человек-гора напал на самого маленького боксера легкого веса, а тот принимает удары и дает сдачи, как настоящий мужчина.

— Вы это здорово объяснили,— сказал Халлорсен.

Динни вспыхнула. Неужели этот человек способен на великодушие? Потом, словно испугавшись, что такая мысль — предательство по отношению к Хьюберту, она колко заметила:

— Я читала, что трагедия Бельгии проняла даже Рузвельта¹.

— Она многих у нас проняла, мисс Черрел; но Европа от нас далеко, а на воображение действует только то, что случается рядом.

— Ну да; к тому же, как вы сами сказали, в конечном счете вы все же не остались в стороне.

Халлорсен пристально поглядел в ее наивное лицо, поклонился и промолчал.

Но, прощаясь с ней в конце этого не совсем обычного вечера, он заметил:

— Боюсь, что вы на меня сердитесь, мисс Черрел.

Динни улыбнулась и ничего не ответила.

— Все-таки позвольте надеяться, что я вас еще увижу.

— Вот как! А зачем?

— Может, мне удастся изменить ваше мнение обо мне.

— Я очень люблю брата, профессор Халлорсен.

— А я все же думаю, что ваш брат насолил мне больше, чем я ему.

— Надеюсь, будущее подтвердит, что вы не правы.

¹ Речь идет о Теодоре Рузвельте (1858—1919), президенте США в 1901—1909 годах.

— Это звучит грозно.

Динни только кивнула.

Она поднялась в свою комнату, кусая губы от злости. Ей не удалось ни покорить, ни уязвить противника; и вместо откровенной вражды он вызывал у нее какие-то противоречивые чувства.

Его рост давал ему какое-то обидное преимущество. «Он похож на этих субъектов, в мохнатых штанах, из кинофильмов,— думала она,— на ковбоя, который похищает девчонку, а она не очень-то сопротивляется,— он смотрит на тебя так, словно ты уже лежишь у него поперек седла. Первобытная, грубая сила во фраке и белой манишке! Сильная, хотя отнюдь и не молчаливая личность!»

Окна ее комнаты выходили на улицу, и ей были видны платаны на набережной, Темза и широкий простор звездной ночи.

— Не поручусь, что ты уедешь из Англии так скоро, как думаешь,— сказала она вслух.

— Можно войти?

Она повернулась и увидела в дверях Диану.

— Ну, Динни, как вам понравился друг наш — враг наш?

— Герой из ковбойского фильма пополам с великаном, которого убил мальчик-с-пальчик.

— Адриану он понравился.

— Дядя Адриан слишком много общается со скелетами. Когда он видит упитанного человека, он теряет голову.

— Да, это «настоящий мужчина»,— говорят, они покоряют женщин с первого взгляда. Но вы вели себя отлично, Динни, хотя вначале глаза у вас метали молнии.

— Да ведь они его не испепелили! И даже не обожгли.

— Ничего! У вас еще все впереди. Адриан попросил леди Монт пригласить его на завтра в Липпингхолл.

— Да ну!

— Вам остается только поссорить его там с Саксенденом, и дело Хьюберта в шляпе. Адриан нарочно не сказал вам об этом — боялся, что вы себя выдадите. Профессору захотелось отвесть английской охоты. Бедняга даже не подозревает, что попадет в логово львицы. Ваша тетя Эм, наверно, его очарует.

— Халлорсен!— пробормотала Динни.— Наверно, в нем есть скандинавская кровь.

— Он говорит, что мать его из Новой Англии, старинного рода, но вышла за человека пришлого. Его родина — штат Вайоминг. Прелестное название: Вайоминг.

— «Безбрежные просторы прерий»... Почему меня так бесит выражение «настоящий мужчина»?

— Потому что напоминает большой подсолнечник, который вдруг распустился у вас в комнате. Но «настоящие мужчины» водятся не только на «безбрежных просторах прерий»; вы увидите, Саксенден тоже из этой породы.

— Правда?

— Да. Спокойной ночи, дорогая. И пусть ни один «настоящий мужчина» не тревожит ваш сон!

Динни разделась и снова вынула дневник Хьюберта; она перечитала страницу, которую себе отметила.

«Сегодня чувствую себя скверно,— как выжатый лимон. Держусь только мыслью о Кондафорде. Что бы сказал старый Фоксхэм, если бы видел, как я лечу мулов! Средство, которое я придумал для них от поноса, привело бы в ужас кого хочешь, но им оно помогает. Бог был в ударе, когда создавал желудок мула. Ночью мне снилось, будто я стою дома на опушке рощи и фазаны летят надо мной один за другим, а я, хоть убей, не могу спустить курок,— словно меня сковало параличом. Без конца вспоминаю старого Хэддона и его слова: «А ну-ка, стреляй! Упрись в землю пятками и целясь прямо в голову!» Славный старик! Вот это был человек... Дождь прошел. Сухо — впервые за десять дней. И звезды высыпали.

Море, да остров, да лунный рог.
Звезд немного, но зато каких!¹

Эх, если бы я мог уснуть!..»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Основные черты всякого старинного английского загородного дома — обособленность и своеобразие каждой его комнаты — отличали и Липпингхолл. Гости расходились по своим спальням, словно они здесь поселились навсегда; каждый из них попадал в свою особую обстановку и атмосферу, у них появлялось ощущение, что, если им вздумается, они смогут все изменить там по своему вкусу. Дорогая старинная мебель стояла впереमेжку со случайными вещами, приобретенными для практических целей или ради комфорта. Потемневшие или пожелтевшие от времени портреты предков висели на стенах против еще более потемневших и пожелтевших пейзажей голландских и французских мастеров, кое-где попадались прекрасные старинные гравюры и совсем неплохие акварели. В двух-трех комнатах еще сохранились великолепные старые каминь, правда, оскверненные удобными каминными решетками, на которых зато можно было посидеть. В темных переходах перед вами неожиданно возникали лестницы. Вы с трудом запоминали дорогу в свою спальню и тут же ее забывали. А в спальне вы могли обнаружить бесценный старинный гардероб орехового дерева и кровать под балдахином удивительной работы, диван в оконной нише с подушками и французские офорты. К спальне примыкала маленькая каморка с узкой кроватью, а ванная могла быть рядом или довольно далеко, зато вы обязательно находили там ароматические кристаллы. Один из Монтов был адмиралом, поэтому в темных закоулках коридоров висели старинные карты с драконами, которые били хвостом по морям. Другой Монт, дед сэра Лоренса, седьмой баронет, увлекался скачками,— и по картинам на

¹ Из стихотворения английского поэта Элроя Флеккера (1884—1915). Стихи даются в переводе Б. Слуцкого.

стенах можно было изучать анатомию чистокровных скакунов и жокеев того времени (1860—1883). Шестой баронет,— уйдя в политику, он прожил на свете дольше других,— оставил память о ранней викторианской эпохе — портреты жены и дочерей в кринолинах и себя самого в бакенбардах. Здание было возведено при Карле и достроено при Георгах; кое-где можно было заметить следы викторианской архитектуры,— там, где шестой баронет дал волю своей тяге к прогрессу. Но единственное, что здесь было современным,— это ванны и уборные.

Когда Динни спустилась к завтраку в среду утром — охота была назначена на десять,— в столовой уже сидели или бродили три дамы и все мужчины, кроме Халлорсена. Она опустилась на стул рядом с лордом Саксенденом; тот слегка привстал и поздоровался с ней.

— Доброе утро!

— Динни!— окликнул ее стоявший у буфета Майкл.— Тебе кофе, какао или имбирное пиво?

— Кофе и копченую рыбу.

— Копченой рыбы нет.

Лорд Саксенден поднял голову.

— Нет копченой рыбы?— пробормотал он и снова принялся за колбасу.

— Может, хочешь трески?— спросил Майкл.

— Нет, спасибо.

— А что дать тебе, тетя Уилмет?

— Плов.

— Плова тоже нет. Есть почки, бекон, яичница, треска, ветчина, холодный пирог с дичью.

Лорд Саксенден поднялся.

— А! Ветчина,— сказал он и пошел к буфету.

— Чего же тебе положить, Динни?

— Немного джема, Майкл.

— Есть крыжовник, клубника, черная смородина, апельсиновый.

— Крыжовник.

Лорд Саксенден вернулся на свое место с тарелкой ветчины и, жуя, стал читать письмо. Динни не могла как следует разглядеть его лицо — глаза у него были опущены, а рот набит до отказа. Но она, кажется, поняла, почему ему дали кличку Зазнайка. У него было красное лицо; светлые усы и волосы начали седеть; за столом он сидел прямо, как палка. Вдруг он повернулся к ней и сказал:

— Простите, что я читаю. Это от жены. Понимаете, она у меня инвалид.

— Какая жалость...

— Ужасно! Ужасно! Бедняжка!

Он сунул письмо в карман, набил рот ветчиной и взглянул на Динни. Глаза у него оказались голубые, а брови — темнее волос — были похожи на связки рыболовных крючков. Глаза были немного навывкате — точно говорили: «Я — парень что надо; я — парень что надо». Но тут она заметила вошедшего Халлорсена. Он нерешительно остановился в дверях, потом, увидев ее, подошел к свободному месту с ней рядом.

— Можно мне тут сесть, мисс Черрел?— спросил он с поклоном.

— Конечно, если хотите завтракать, еда стоит вон там.
— Кто это такой?— спросил лорд Саксенден, когда Халлорсен отправился за пропитанием.— Явный американец.

- Профессор Халлорсен.
- Да? А! Написал книгу о Боливии. Так?
- Да.
- Красивый парень.
- Настоящий мужчина.

Лорд Саксенден посмотрел на нее с удивлением.

— Попробуйте ветчины. Кажется, я знал в Харроу вашего дядю.
— Дядю Хилари? Да, он мне говорил.
— Как-то раз он держал со мной пари на три стакана земляничного сиропа против двух, что первый сбежит по ступенькам до спортивного зала.

- Вы выиграли?
- Нет, но так и не заплатил свой проигрыш.
- Как же так?

— Он растянул ногу, а я вывихнул колено. Он доскакал на одной ноге, а я так и остался лежать. Мы провалялись до конца триместра, а потом я ушел из Харроу.— Лорд Саксенден фыркнул.— Так что я все еще должен ему три стакана земляничного сиропа.

— Я думал, это мы, в Америке, любим плотно позавтракать,— сказал, усаживаясь, Халлорсен,— но где уж нам тягаться с вами.

- Вы знакомы с лордом Саксенденом?
- Лорд Саксенден...— с поклоном повторил Халлорсен.

— Здравствуйте. У вас в Америке ведь нет таких куропаток, как наши?

— Кажется, нет. С удовольствием их постреляю. Первоклассный кофе, мисс Черрел.

— Да,— сказала Динни,— тетя Эм гордится своим кофе.

Лорд Саксенден выпрямился еще больше.

— Попробуйте ветчину. Я не читал вашей книги.

— Разрешите вам ее прислать; буду польщен, если вы ее прочтете.

Лорд Саксенден продолжал жевать.

— Да, вам стоит прочесть эту книгу, лорд Саксенден,— сказала Динни,— а я пришлю вам другую на ту же тему.

Лорд Саксенден пристально на нее поглядел.

— Вы оба очень любезны,— сказал он.— Это клубничный джем?— и протянул к нему руку.

— Мисс Черрел,— вполголоса сказал Халлорсен,— мне бы хотелось, чтобы вы просмотрели мою книгу и отметили те места, где я, по-вашему, несправедлив. Я писал эту книгу, когда все во мне еще кипело.

— Не пойму, какая сейчас от этого польза.

— Если хотите, я выброшу эти места из второго издания.

— Как это мило с вашей стороны,— ледяным тоном произнесла Динни,— но сделанного не воротишь.

Халлорсен понизил голос еще больше:

— Я просто в отчаянии, что огорчил вас.

Динни словно обдало волной самых противоречивых чувств — досады, торжества, холодной мстительности, иронии.

-- Вы огорчили не меня, а моего брата.

-- Это можно исправить, если взяться за дело всем вместе.

-- Не знаю.

Динни поднялась.

Халлорсен тоже встал и поклонился, когда она шла к двери.

«Ну до чего же вежлив», — подумала Динни.

Все утро она провела в укромном уголке парка, скрытом со всех сторон живой изгородью из тисовых деревьев, за чтением дневника Хьюберта. Солнце пригревало всю, а жужжание пчел над цинниями, пенстемонами, мальвами, астрами и сентябрьскими маргаритками навевало покой. В этом мирном убежище она снова почувствовала, как ей не хочется выставлять напоказ душевные переживания Хьюберта. В дневнике не было нытья или жалоб, но Хьюберт писал о физических и моральных муках с откровенностью, не рассчитанной на посторонних. Изредка сюда доносились звуки выстрелов; облокотившись на изгородь. Динни посмотрела в поле.

Чей-то голос произнес:

-- Ах! Вот ты где!

За изгородью стояла теть Эм с двумя садовниками; широкие поля ее соломенной шляпы свисали до самых плеч.

-- Я сейчас обойду изгородь, Динни. Босуэл и Джонсон, можете идти. Мы займемся портулаком после обеда. — Она посмотрела на Динни из-под полей своей шляпы. — Это с Майорки, так хорошо защищает.

-- Но почему Босуэл и Джонсон¹, тетя?

-- Босуэл у нас давно; дядя долго искал, пока не нашел Джонсона. Теперь он заставляет их ходить только вместе. А ты тоже поклонница доктора Джонсона, Динни?

-- По-моему, он слишком часто употреблял слово «сэр».

-- Флер взяла мои садовые ножницы. А это что у тебя?

-- Дневник Хьюберта.

-- Грустно?

-- Да.

-- Я приглядывалась к профессору Халлорсену, — за него надо взяться.

-- Начни с его нахальства, тетя Эм.

-- Надеюсь, они подстрелят хоть несколько зайцев, — сказала леди Монт, — всегда хорошо иметь про запас заячий суп. Уилмет и Генриетта Бентуорт уже поспорили.

-- О чем?

-- Понятия не имею, — не то насчет парламента, не то насчет портулака; они только и знают, что спорят. Генриетта столько времени болтала при дворе!

-- А это плохо?

¹ Самюэль Джонсон (1709—1784) — английский писатель; Джеймс Босуэл (1740—1795) — его биограф.

— Она славная женщина. Я люблю Ген, но она так кудахчет. Что ты будешь делать с этим дневником?

— Покажу Майклу и спрошу его совета.

— Никогда не слушай его советов, — сказала леди Монт, — он славный мальчик, но ты его не слушай; у него странные знакомства — издатели и тому подобное.

— Вот почему мне и нужен его совет.

— Спроси Флер, вот это голова. У вас есть такие циннии в Кондафорде? Знаешь, мне кажется, что Адриан скоро свихнется.

— Тетя Эм!

— Он такой рассеянный; и от него остались кожа да кости. Конечно, мне не следует этого говорить, но, по-моему, пусть берет ее поскорее.

— Я тоже так думаю, тетя.

— А он не хочет.

— Может, не хочет она?

— Оба они не хотят; вот я и не знаю, как тут быть. Ей же сорок.

— А сколько дяде Адриану?

— Он у нас самый маленький, если не считать Лайонела. Мне пятьдесят девять, — решительно, заявила леди Монт. — Я-то помню, что мне пятьдесят девять, а твоему отцу шестьдесят! Твоя бабушка, верно, очень тогда торопилась, рожала нас одного за другим. А как ты смотришь на то, чтобы рожать детей?

Динни спрятала смешинку в глазах.

— Что же, для женатых оно и неплохо — в меру, конечно.

— Флер ожидает второго в марте; скверный месяц... так неосторожно! А когда ты собираешься замуж?

— Когда отдам кому-нибудь свое юное сердце, никак не раньше.

— Вот это разумно. Только не за американца.

Динни едва не вспылила; но улыбнулась.

— Зачем, скажи на милость, мне выходить за американца?

— Ничего нельзя знать заранее, — сказала леди Монт, срывая увядшую астру, — все зависит от того, кто тебе подвернется. Когда я вышла замуж за Лоренса, он мне все время подвертывался.

— И сейчас все еще подвертывается, да?

— Не язви.

Леди Монт замечталась, и шляпа ее как будто стала от этого еще больше.

— Кстати о браках, тетя Эм, — мне хочется найти невесту Хьюберту. Ему нужно рассеяться.

— Твой дядя, — заметила леди Монт, — наверно, скажет: чтобы рассеяться, нужна балерина.

— Может, у дяди Хилари есть балерина, которую он может порекомендовать?

— Не дерзи, Динни. Я всегда говорю, что ты ужасно дерзкая. Но дай-ка подумать: была одна девушка... нет, она вышла замуж.

— Может, она уже развелась?

— Нет. Как будто собирается, но это еще не скоро. Прелестное создание.

— Не сомневаюсь. Подумай-ка еще, тетя.

— Пчел разводит Босуэл,— заметила тетя Эм.— Они итальянские. Лоренс называет их фашистками.

— Черные рубашки, и никаких угрызений совести. Ужасно настырные.

— Да, все летают, летают, а чуть что — ужалят, если ты им не нравишься. Меня пчелы любят.

— У тебя одна на шляпе. Снять?

— Стой!— воскликнула леди Монт, откинув назад шляпу и слегка приоткрыв рот.— Нашла!

— Что?

— Джин Тасборо, дочь здешнего священника... семья очень хорошая. Денег, конечно, ни гроша.

— Совсем ни гроша?

Леди Монт покачала головой, и шляпа ее заколыхалась.

— Такие никогда не бывают богатыми. Хорошенькая. Похожа на тигрицу.

— А можно мне на нее посмотреть? Я примерно знаю, что Хьюберту понравится.

— Я приглашу ее ужинать. Они плохо питаются. У нас была уже одна Тасборо. Кажется, при короле Якове; так что она нам какая-то пятиродная. Там есть еще и сын; на флоте; весь там, и усов нет. Он сейчас дома в отпуске.

— В отпуске, тетя Эм.

— Так и знала, что это не то слово. Будь добра,ними у меня со шляпы пчелу.

Динни сняла носовым платком с большой шляпы маленькую пчелку и поднесла платок к уху.

— Я все еще люблю слушать, как они жужжат,— сказала она.

— Позову и его,— ответила леди Монт,— его зовут Алан, очень милый мальчик.— Она посмотрела на волосы племянницы.— По-моему, это цвет мушмулы. Говорят, у него есть будущее, только не знаю какое. Взлетел на воздух во время войны.

— Но, надеюсь, спустился обратно?

— Да; ему даже за это что-то дали. Говорит, теперь на флоте очень душно. Все какие-то углы, колесики, вонь. Он тебе сам расскажет.

— Вернемся к девушке, тетя Эм; в каком смысле она тигрица?

— Понимаешь, когда она на тебя смотрит, ты так и ждешь, что из-за угла появится тигренок. Мать умерла. Джин прибрала к рукам весь приход.

— Она приберет к рукам и Хьюберта?

— Нет, но уж, конечно, всякого, кто захочет прибрать к рукам его.

— Это, пожалуй, подойдет. Хочешь, я отнесу ей записку?

— Пошлю Босуэла и Джонсона.— Леди Монт поглядела на часы.— Нет, они пошли обедать. Всегда проверяю по ним часы. Пойдем сами, Динни; тут всего четверть мили. В этой шляпе очень неудобно?

— Напротив.

— Тем лучше; мы можем выйти здесь.

Пройдя в дальний конец тисовой рощи, они спустились по ступенькам на длинную, поросшую травой аллею и, миновав калитку с турнике-

том, вскоре оказались у дома священника. Спрятавшись за тетиной шляпой, Динни поднялась на крыльцо, увитое плющом. Дверь была отворена, и полумрак обшитой панелями прихожей, где пахло душистым горошком и старым деревом, гостеприимно приглашал войти в дом. Оттуда послышался женский голос:

— Ала-ан!

Мужской голос ответил:

— Что-о?

— Ничего, если обед будет холодный?

— Тут нет звонка,— сказала леди Монт,— давай похлопаем в ладоши.

Они дружно похлопали.

— Кого там несет?

В дверях появился молодой человек в серых фланелевых брюках. У него были темные волосы, широкое загорелое лицо; серые глаза смотрели прямо и зорко.

— Ах!— сказал он.— Леди Монт... Эй, Джин!

Потом, поймав взгляд Динни, выглядывавшей из-за огромных полей шляпы, он улыбнулся, как истый моряк.

— Алан, можете вы с Джин прийти к нам сегодня ужинать? Динни, это Алан Тасборо. Как вам нравится моя шляпа?

— Блеск, леди Монт.

В дверях появилась девушка; она была словно литая, двигалась легкой пружинистой походкой. Коричневый джемпер без рукавов и такая же юбка под цвет смуглым рукам и щекам. Динни поняла, что хотела сказать леди Монт. Лицо с широкими скулами и точеным носом сужалось к подбородку; из-под длинных черных ресниц глядели прямо вперед и словно светились глубоко посаженные зеленовато-серые глаза; темно-каштановые стриженные волосы обрамляли низкий, широкий лоб. «Ишь ты какая»,— подумала Динни. Девушка улыбнулась, и у Динни внутри что-то дрогнуло.

— Это Джин,— сказала тетя,— а это моя племянница, Динни Черрел.

Тонкая загорелая рука крепко сжала руку Динни.

— Где отец?— продолжала леди Монт.

— Папа уехал на какую-то духовную конференцию. Я просилась с ним, но он меня не взял.

— Значит, бегают в Лондоне по театрам.

Динни заметила, как у девушки сверкнули глаза, но потом, вспомнив, что перед ней леди Монт, она улыбнулась. Молодой человек засмеялся.

— Значит, вы оба придете? В восемь пятнадцать. Динни, нам пора обедать. Парад!— бросила леди Монт из-под полей своей шляпы и спустилась с крыльца.

— У нас гости,— пояснила Динни молодому человеку, удивленно поднявшему брови.— Она хочет сказать, что надо надеть фракную пару и белый галстук.

— А! Вот оно что! Парадная форма одежды, Джин.

Брат и сестра стояли на крыльце, держась за руки. «Хороши, ничего не скажешь!» — подумала Динни.

— Ну как? — спросила тетя, когда они снова вышли на поросшую травой аллею.

— Да, тигренок был тут как тут. По-моему, она красивая. Но я бы ее держала на привязи.

— А вот и Босуэл-Джонсон! — воскликнула леди Монт, словно это было одно лицо. — Боже мой! Значит, уже третий час!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После обеда, к которому Динни и леди Монт, конечно, опоздали, Адриан и четыре дамы помоложе вооружились складными стульчиками, которые не понадобились охотникам, и направились по тропинке туда, где был назначен главный гон. Адриан шагал рядом с Дианой и Сесили Маскем, а Динни и Флер шли впереди. Флер была замужем за двоюродным братом Динни, но они не виделись целый год, да и вообще мало знали друг друга. Динни разглядывала красивую, изящно посаженную голову Флер, которую так расхваливала тетка. Хорошенькое личико под маленькой шляпкой казалось немножко злым, но неглупым и весьма деловитым. Костюм так превосходно сидел на стройной фигуре, словно его обладательница была американка.

Динни почувствовала, что у этой холодной женщины она сможет почерпнуть немалую толику здравого смысла.

— Я была в полиции, когда там читали ваш отзыв, — сказала она.

— А! Я написала то, что просил Хилари. На самом деле я об этих девицах ровно ничего не знаю. Близо они нас к себе не подпускают. Есть, конечно, люди, которые умеют влезть в душу. Я не умею, да и не хочу. А с сельскими девушками там, где вы живете, легче найти общий язык?

— Соседи так давно связаны с нашей семьей, что мы знаем о них больше, чем они сами.

Флер с любопытством ее разглядывала.

— Да, вы, наверно, умеете к ним подойти. С вас бы портреты предков писать, не знаю только, какому художнику. Нам пора начать работать в манере ранних итальянцев. У прерафаэлитов это так и не вышло, в их картинах не было ни музыкальности, ни юмора. А чтобы написать ваш портрет, нужно и то и другое.

— Скажите, — смущенно спросила Динни, — Майкл был в палате, когда внесли запрос о Хьюберте?

— Да, он пришел домой очень злой.

— Молодец!

— Он хотел вернуться к этому делу, но запрос внесли за два дня до отпуска парламента. Да и какое значение сейчас имеет парламент? В наши дни никто с ним не считается.

— К сожалению, отец очень с ним считается.

— Да, он ведь человек старшего поколения. Единственное, чем парламент еще может пронять публику, — это бюджет. И неудивительно, деньги — это все.

— Вы это и Майклу говорите?

— А зачем? Кто же не знает, что парламент превратился просто в налоговую машину?

— Но он все-таки издает законы?

— Да, дорогая, но задним числом; он подтверждает то, что уже вошло в практику или по крайней мере в сознание общества. Инициативы он никогда не проявляет. Как можно? Это было бы недемократично! Если вы мне не верите, посмотрите, во что превратилась страна. А парламент и в ус себе не дует.

— И кто же проявляет инициативу?

— Откуда ветер дует? Главным образом из-за кулис. Великая вещь эти кулисы!.. С кем вы хотите стоять рядом, когда начнется стрельба?

— С лордом Саксенденом.

Флер пристально на нее поглядела.

— Не из-за его beaux yeux¹ и не из-за его beau titre². Тогда из-за чего?

— Он нужен мне по делу Хьюберта, а времени у меня в обрез.

— Понятно. Тогда позвольте вас предупредить. Не надо недооценивать Саксендена. Он хитрая старая лиса, да и не такая уж старая. И превыше всего на свете ставит правило — услуга за услугу. А какой услугой вы сможете его отблагодарить? Он потребует расплаты наличными.

Динни скорчила гримаску.

— Сделаю что смогу. Дядя Лоренс мне подсказал, как себя вести.

— «Берегись, она тебя дурачит», — промурлыкала Флер. — Ну, а я пойду к Майклу; при мне он лучше стреляет, вообще-то стреляет он, бедняжка, неважно. Бентуорт и мой свекор рады будут от нас избавиться. Сесили, конечно, отправится к Чарлзу; она все еще переживает свой медовый месяц. Значит, Диана достанется американцу.

— Надеюсь, — сказала Динни, — что он из-за нее промажет.

— Его ничем не проймешь. Да, а как же Адриан? Придется ему посидеть в одиночестве и помечтать о скелетах и о Диане. Вот мы и пришли. Видите? Вам в ту калитку. Вон там Саксенден, ему-то дали местечко получше. Перелезьте через изгородь и нападите на него с тыла. Майкла, наверное, засунули в самый конец; ему всегда достается худшее место.

Она рассталась с Динни и пошла дальше по дорожке. Досадуя, что так и не спросила у Флер того, что ее интересовало, Динни перелезла через изгородь и осторожно подошла к лорду Саксендену. Он беспечно бродил по отведенному ему кусочку поля. Рядом с высокой палкой, к которой была прикреплена белая карточка с номером, стоял молодой егерь с двумя ружьями, у ног его лежала, высунув язык, гончая. Дальше вдоль дорожки круто поднималось сжатое поле, и Динни — она знала толк в охоте — поняла, что поднятая со стерни дичь пронесется над ними высоко и быстро. «Разве что у нас за спиной есть какие-нибудь заросли», — подумала она и оглянулась. Зарослей не было. Она стояла по-

¹ прекрасных глаз (ф р а н ц.)

² прекрасного титула (ф р а н ц.)

среди большого луга, и ближайшие кусты начинались ярдах в трехстах. «Интересно,— мелькнуло у нее в голове,— стреляет он лучше или хуже, когда с ним женщина? Кажется, он не из нервных». Повернувшись, Динни убедилась, что он ее заметил.

— Я вам не помешаю, лорд Саксенден? Я буду вести себя тихо.

Лорд подергал свою охотничью кепку с козырьками спереди и сзади.

— Ну-ну... — сказал он. — Гм!

— Значит, помешаю. Уйти?

— Нет, нет. Ладно. Все равно я сегодня ни разу не попал. Вы мне принесете удачу.

Динни опустила на складной стульчик рядом с гончей и стала потихоньку тормошить ее за уши.

— Американец трижды утер мне нос.

— Бестактно с его стороны!

— Он бьет по явно недостижимой цели и, черт его возьми, попадает. Стоит мне промазать, как он достает мою птицу у самого горизонта. Прямо браконьер какой-то: пропустит дичь мимо, а потом бьет вправо и влево, когда птицы пролетят уже ярдов семьдесят. Говорит, что не видит, когда они у него под носом.

— Забавно,— сказала Динни, стараясь быть справедливой.

— Кажется, он еще не промазал сегодня ни разу,— с досадой добавил лорд Саксенден. — Я его спросил, почему он так чертовски хорошо стреляет, а он говорит: «Да ведь я привык добывать себе этим пропитание, а тут уже зевать не приходится».

— Начался гон, милорд,— послышался голос молодого егеря.

Гончая задышала быстрее. Лорд Саксенден схватил ружье, егерь держал наготове второе.

— Выводок слева, милорд.

Динни услышала шелест крыльев и увидела восемь птиц, летевших вереницей к их лужайке. Бах-бах... бах-бах!

— Ах ты господи! — сказал лорд Саксенден. — Вот черт!

Динни увидела, как все восемь птиц исчезли за изгородью в дальнем конце луга.

Гончая приглушенно тявкнула, она шумно дышала.

— Ужасно обманчивый свет,— сказала Динни.

— При чем тут свет,— сказал лорд Саксенден. — Это моя печень.

— Три птицы прямо на нас, милорд.

Бах!.. Бах-бах! Одна из птиц дернулась, сжалась в комок, перевернулась и упала ярдах в четырех за спиной у Динни. У нее перехватило горло. Только что такая живая, а теперь — такая мертвая! Она часто видела, как стреляют птиц, но у нее еще никогда не было такого чувства. Две другие птицы пролетели над дальней изгородью; она проводила их взглядом с легким вздохом облегчения. Гончая подбежала к егерю с убитой птицей в зубах, тот взял у нее добычу. Собака села с высунутым языком, не отрывая глаз от птицы. Динни увидела, как с языка у нее каплет слюна, и закрыла глаза.

Лорд Саксенден пробормотал что-то невнятное. Потом повторил сказанное еще менее внятно, и, открыв глаза, Динни увидела, что он скидывает ружье.

— Фазанья курочка, милорд!— предупредил егерь.

Фазанья курочка пролетела невысоко над ними, словно уверенная, что ее час еще не пробил.

— Гм,— произнес лорд Саксенден, опустив приклад на согнутое колено.

— Выводок справа; слишком далеко, милорд.

Прогремело несколько выстрелов; Динни заметила, что из-за изгороди показались две птицы; одна из них теряла перья.

— Подбита,— сказал егерь; он смотрел, как она летит, ладонью защищая от солнца глаза.— Упала!— воскликнул он; гончая смотрела на него, тяжело дыша.

Грянули выстрелы слева.

— Черт!— сказал лорд Саксенден.— Сюда ничего не летит.

— Заяц, милорд,— быстро сказал егерь.— У самой изгороди.

Лорд Саксенден резко повернулся и поднял ружье.

— Не надо!— вырвалось у Динни, но выстрел заглушил ее голос. Подстреленный заяц остановился как вкопанный, потом дернулся вперед, жалобно плача.

— Возьми!— сказал егерь.

Динни снова закрыла глаза и заткнула пальцами уши.

— Дьявольщина!— пробормотал Саксенден.— Попортил шкурку.

Сквозь закрытые веки Динни чувствовала его ледяной взгляд. Когда она открыла глаза, мертвый заяц лежал рядом с птицей. Он выглядел необыкновенно пушистым. Ей вдруг захотелось уйти, и она поднялась, но тут же опять села. Пока не кончится гон, она не может уйти, не помешав стрелкам. Она снова закрыла глаза; стрельба продолжалась.

— Кончено, милорд.

Лорд Саксенден вернул егерю ружье; возле зайца лежали еще три птицы.

Стыдясь непривычного ощущения, Динни поднялась, сложила свой стульчик и пошла к изгороди. Вопреки традиции, она перебралась через нее первая и остановилась, ожидая лорда Саксендена.

— Жаль, что я попортил ему шкурку,— сказал он.— Но у меня весь день какие-то круги перед глазами. У вас бывают круги перед глазами?

— Нет. Искры из глаз иногда сыплются. Ужасно кричит заяц, правда?

— Да, мне это тоже неприятно.

— Как-то раз на пикнике я видела зайца,— он сидел позади нас на задних лапах, совсем как собака; сквозь уши у него просвечивало солнце, они были совсем розовые. С тех пор я полюбила зайцев.

— Да, охотиться на них не такое уж удовольствие,— согласился лорд Саксенден.— Лично я предпочитаю жареного зайца тушеному.

Динни бросила на него быстрый взгляд. Он раскраснелся и явно был доволен собой.

«Теперь или никогда»,— подумала Динни.

— Вы когда-нибудь говорите американцам, что это они выиграли войну?— спросила она.

Он неприязненно на нее поглядел:

— Зачем бы я стал это делать?

— Но ведь они же ее выиграли, правда?
— Кто вам сказал, этот профессор?
— Ну, от него я этого еще не слышала, но уверена, что и он так думает.

Динни снова поймала его острый взгляд.

— Что вы о нем знаете?
— Мой брат участвовал в его экспедиции.
— Ваш брат? А!— Это прозвучало так, словно он произнес: «Этой девице что-то от меня нужно».

Динни вдруг почувствовала, что теряет почву под ногами.

— Если вы читали книгу профессора Халлорсена,— сказала она,— надеюсь, вы прочтете и дневник моего брата.

— Я никогда ничего не читаю,— сказал лорд Саксенден,— нет времени. Но теперь вспоминаю. Боливия... Ваш брат, кажется, застрелил человека и растерял вьючных животных?

— Человека ему пришлось застрелить, чтобы спасти свою жизнь; двоих он вынужден был избить за жестокое обращение с животными; тогда все они — за исключением троих — разбежались и угнали мулов. Он был там единственный белый, а кругом одни индейцы.

И в ответ на его холодный пронизывающий взгляд она посмотрела ему прямо в глаза, вспомнив совет сэра Лоренса: «Взгляни на него, как ты умеешь, Динни, знаешь, как на картинах Боттичелли».

— Можно мне почитать вам его дневник?

— Что ж, если у меня будет время.

— Когда?

— Сегодня вечером. Я должен уехать завтра сразу же после охоты.

— Когда хотите,— храбро сказала она.

— До ужина не удастся. Мне надо отправить несколько писем.

— Я могу лечь сегодня попозднее.

Она заметила, как он посмотрел на нее оценивающим взглядом.

— Посмотрим,— коротко сказал он.

Тут к ним подошли остальные.

Улизнув с последнего гона, Динни пошла домой одна. Вся эта история казалась ей забавной, но она была немножко смущена. Ей было ясно, что дневник не произведет нужного впечатления, если лорд Саксенден не будет уверен, что получит какую-то награду; и Динни понимала, как трудно сделать так, чтобы и «волки были сыты и овцы целы». Слева из-за копны поднялся выводок лесных голубей и устремился в лесок у реки; солнце садилось, в вечернем воздухе повеяло прохладой, отчетливее разносились звуки. Заходящее солнце золотило стерню; на листьях, еще почти не начавших желтеть, едва проступал багрянец осени, а там, внизу, сквозь деревья, окаймлявшие берег, поблескивала голубая лента реки. Воздух был напоен влажным, чуть едким запахом ранней осени, и из труб деревенских домов уже струился дымок. Чудесное время, чудесный вечер!

Какие отрывки из дневника ему прочесть? Она была в нерешительности. Перед ней вновь вставало лицо Саксендена, когда он ее спросил: «Ваш брат? А!» Она сразу разгадала, что это сухая, расчетливая и бездушная натура. Вспомнила она и слова сэра Лоренса: «Ты думаешь, та-

ких людей нет? Не люди, а золото!» Совсем недавно она читала мемуары человека, который всю войну мыслил только «стратегическими операциями и большими цифрами» и, ужаснувшись вначале, затем и думать перестал о людских страданиях, скрытых за этими «операциями»; в своем стремлении выиграть войну он словно взял себе за правило не думать о людях и — в этом она была твердо уверена — не мог бы представить себе войну с их точки зрения, если бы и вспомнил о них. Золото, а не человек! Она слышала, как Хьюберт с презрительной усмешкой говорит о «кабинетных стратегах», которым война доставляет только удовольствие, — их возбуждает игра, возможность бросать в нее огромные людские массы, быть в курсе событий раньше других; они упиваются собственным величием. Не люди, а золото! Из другой недавно прочитанной книги ей запомнился отрывок, посвященный тем, кто вершит историю. Они сидят в крупных концернах, в банках, в правительстве; тасуют людские массы, нимало не заботясь ни о ком, кроме самих себя, учреждают то одно, то другое предприятие, набрасывая проекты на листках блокнота и приказывая мелкой сошке: «А ну-ка, выполняй, черт тебя побери, и выполняй как следует». Люди в цилиндрах или брюках гольф, которые заправляют плантациями в тропиках, рудниками, торговлей, прокладкой железных дорог и концессиями — здесь, там и повсюду. Не люди, а золото! Бодрые, здоровые, откормленные, неукротимые люди с холодными глазами. Непременные участники всех званных обедов, они знают все, что творится за кулисами, а человеческие чувства и человеческая жизнь им нипочем. «И все-таки, — подумала Динни, — ведь, наверно, есть и от них какой-нибудь толк; как бы мы получали без них каучук или уголь, кто бы добывал жемчуг и прокладывал железные дороги, кто бы спекулировал на бирже, затевал и выигрывал войны!» Она вспомнила о Халлорсене, — тот по крайней мере сам трудится и страдает за свои идеи, сам ведет свои войска в атаку; он не отсиживается дома, гордясь тем, что знает больше других, уписывая за обе щеки ветчину, подстреливая зайцев, помыкая своими ближними. Она свернула в парк и остановилась у крокетной площадки. Тетя Уилмет и леди Генриетта — эти вечные спорщицы — не могли в чем-то убедить друг друга. Обе воззвали к ней:

— Я права, Динни?

— Нет, когда твой шар на ходу коснулся чужого, ты продолжаешь игру; но когда ты, тетя, бьешь по своему шару, ты не имеешь права сдвинуть с места шар леди Генриетты.

— Я же тебе говорила! — воскликнула леди Генриетта.

— Конечно, говорила. Ну и позиция у меня, нечего сказать. Ладно, остаюсь при своем мнении и продолжаю играть. — И тетя Уилмет прогнала свой шар через ворота, сдвинув при этом на несколько дюймов шар противника.

— Ну, где у нее совесть? — жалобно простонала леди Генриетта, и Динни сразу поняла, как выгодно оставаться при своем мнении.

— Ты ведешь себя совсем как Железный герцог, тетя, — сказала она. — Разве что реже чертыхаешься.

— Чертыхается, — сказала леди Генриетта, — да еще как!

— Ваш удар, Ген, — сказала польщенная тетя Уилмет.

Оставив их, Динни отправилась к себе. Там она переделалась и взглянула к Флер.

Горничная подстригала крошечной машинкой затылок своей хозяйки, а в дверях стоял Майкл и завязывал белый галстук.

Флер обернулась.

— А, Динни! Входите и садитесь. Довольно, Пауэрс, спасибо. Иди сюда, Майкл.

Горничная исчезла, а Майкл подошел к жене, и та поправила ему галстук.

— Вот так!— сказала Флер и, взглянув на Динни, добавила:— Вы пришли насчет Саксендена?

— Да. Сегодня вечером я буду читать ему отрывки из дневника Хьюберта. Но я не знаю, где именно приличествует мне, девушке молодой и...

— Только не невинной, Динни; вы никогда не были невинной, правда, Майкл?

Майкл улыбнулся.

— Невинной — никогда, но добродетельной — всегда. В детстве, Динни, ты была очень хитрым ангелочком, у тебя был такой вид, будто ты соображаешь, куда делись твои крылышки. Выглядело это ужасно трогательно.

— Наверно, я думала, что ты мне их повыдергивал.

— А тебе полагалось бы носить панталончики и ловить бабочек, как те две девочки на картине Гейнсборо в Национальной галерее.

— Довольно вам любезничать,— сказала Флер,— слышите гонг? Динни, я могу уступить вам мою маленькую гостиную; в случае чего постучите, и Майкл прибежит, вооруженный ботинком, словно он думал, что там крысы.

— Отлично,— сказала Динни,— только, по-моему, лорд Саксенден будет тих, как ягненок.

— Кто его знает,— заметил Майкл,— он скорее похож на козла.

— Вот комната,— сказала Флер, когда они проходили мимо.— *Salon particulier*¹. Желаю успеха!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сидя между Халлорсеном и молодым Тасборо, Динни сбоку видела во главе стола тетю Эм и лорда Саксендена, а справа от него — Джин Тасборо. «Она была тигрица, но, боги, как прекрасна!» Ее бронзовая кожа, овальное лицо и необыкновенные глаза пленяли Динни. Кажется, они пленяли и лорда Саксендена,— лицо его было и краснее и приветливее, чем обычно; он уделял Джин столько внимания, что леди Монт оказалась целиком предоставленной косноязычному Уилфриду Бенту-орту. Помещик хоть и был куда более благородного происхождения, чем Саксенден,— такого благородного, что даже не нуждался в титуле,— согласно табели о рангах, все же сидел по левую руку хозяйки дома. Рядом с ним Флер занимала разговором Халлорсена, так что Динни

¹ Отдельный кабинет (ф р а н ц.).

очутилась под обстрелом молодого Тасборо. Он говорил без всякого стеснения, искренне, как человек, не избалованный женским обществом, и отнюдь не скрывал того, что Динни мысленно называла «явным преклонением перед ее чарами»; и все же раза два она впадала, как он подметил, в «мечтательное забытье»; откинув голову, не шевелясь, она разглядывала его сестру.

— Ага!— сказал он.— Она вам нравится?

— Просто прелесть!

— Если я ей это скажу, она и глазом не моргнет. Самое прозаическое существо на свете. Кажется, она совсем покорила своего соседа. Кто это?

— Лорд Саксенден.

— Да ну! А кто этот чистопородный англичанин в конце стола, с нашей стороны?

— Уилфрид Бентуорт, у нас его зовут Помещиком.

— А рядом с вами,— тот, что говорит с миссис Монт?

— Профессор Халлорсен из Америки.

— Красивый парень.

— Да, говорят,— сухо сказала Динни.

— А вы не согласны?

— Мужчине неприлично быть красивым.

— Рад, что вы так считаете.

— Почему?

— Значит, и некрасивые могут на что-то надеяться.

— Вот как? Вы всегда напрашиваетесь на комплименты?

— Знаете, я ужасно рад, что мы наконец познакомились.

— Наконец? Еще сегодня утром вы не знали, что я существую.

— Да. Но это не мешает вам быть моим идеалом.

— Боже мой! Это у вас на флоте так полагается?

— На флоте нас прежде всего учат не зевать.

— Мистер Тасборо...

— Алан.

— Я начинаю верить в «девушку в каждом порту».

— У меня,— серьезно сказал молодой Тасборо,— нет ни одной.

И вы первая, кого мне хотелось бы назвать своей девушкой.

— Да ну? А может, даже — ну и ну!

— Факт! Видите ли, служба на флоте — штука нелегкая. Когда видишь то, что тебе нужно, лови момент. Возможностей не так уж много.

Динни рассмеялась.

— Сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Значит, вы не участвовали в бою у Зеебрюгге?

— Участвовал.

— Тогда понятно. Вы привыкли брать на бордаж.

— И идти за это ко дну.

Она ласково на него взглянула.

— Теперь я поговорю со своим врагом.

— Это ваш враг? Хотите, я им займусь?

— Его гибель не принесет мне пользы, если он прежде не сделает того, что мне надо.

— Жаль; на вид он опасен.

— Вас давно уже подкарауливает миссис Маскем,— шепнула Динни и повернулась к Халлорсену.

Тот произнес с полупоклоном:

— Мисс Черрел!..— словно она свалилась с луны.

— Говорят, профессор, вы замечательный стрелок.

— Ну, знаете, я не привык, как вы тут, чтобы птица сама просилась в ягдташ. Может, в конце концов и привыкну. Но все для меня здесь пока так ново.

— И жизнь вам улыбается?

— Еще бы! Быть с вами в одном доме — большая честь для меня, мисс Черрел.

«Артиллерия бьет справа, артиллерия бьет слева»,— подумала Динни.

— А вы уже придумали,— спросила она вдруг,— как вам загладить свою вину перед моим братом?

Халлорсен понизил голос.

— Я глубоко уважаю вас, мисс Черрел, и сделаю все, что вы захотите. Если угодно, я напечатаю в ваших газетах опровержение и откажусь от всего, что написал о нем в книге.

— А что вы потребуете взамен?

— Разумеется, ничего, кроме вашего расположения.

— Брат передал мне свой дневник для опубликования.

— Если это для вас лучше — публикуйте.

— Наверно, оба вы никогда и не пытались понять друг друга.

— Пожалуй, нет.

— А ведь вас там было только четверо белых. Можно спросить, что именно раздражало вас в моем брате?

— Если я скажу, вы на меня рассердитесь.

— Нет, я умею быть справедливой.

— Что ж, прежде всего я убедился, что у него на все есть предвзятое мнение и он отнюдь не собирается его менять. Вот мы попали в страну, которой совсем не знаем, живем среди индейцев и других малоцивилизованных людей, а капитан Черрел хочет, чтобы все было как в Англии, по всем правилам, и чтобы правила эти соблюдались. Я думаю, если бы ему позволили, он надевал бы к ужину фрак.

— Но помилуйте,— сказала, немного растерявшись, Динни,— мы, англичане, убедились на опыте, что строжайшее соблюдение правил — наша главная опора. Мы добились своего в самых диких и забытых богом местах только потому, что везде оставались англичанами. Читая дневник брата, я, наоборот, думала: беда его в том, что ему не хватало твердости и выдержки.

— Да, не в пример лорду Саксендену или мистеру Бентуорту,— Халлорсен кивком головы указал на конец стола,— он у вас не типичный Джон Буль; может, потому-то я его и не понял. Нет, он человек очень нервный и уж слишком скрытный — стиснет зубы и грызет себя втихо-

молку. Похож на породистого скакуна, запряженного в извозчицью пролетку. Вы, видно, из очень старинного рода, мисс Черрел?

— Да, но мы еще не впали в детство.

Она заметила, как он перевел глаза на сидевшего напротив Адриана, потом посмотрел на тегю Уилмет и на леди Монт.

— Мне бы хотелось побеседовать о старинных семьях с вашим дядей, хранителем музея,— сказал он.

— А что еще вам не понравилось в брате?

— Понимаете, я чувствовал себя перед ним дубиной.

Динни чуть подняла брови.

— Вы только представьте себе,— продолжал Халлорсен,— мы попали в распроклятое — извините за выражение! — место, в страну примитивную, грубую. Что ж, я и сам становился примитивным, грубым — под стать этой стране; а он этого не желал, и все тут.

— Или не мог? А может, все дело в том, что вы — американец, а он — англичанин? Сознаться, профессор, мы, англичане, вам не нравимся.

Халлорсен рассмеялся.

— Вы мне очень нравитесь.

— Спасибо, но нет правил без...

— Что ж, — лицо его стало жестче, — я не люблю претензий на превосходство, в которое не верю.

— А разве мы одни этим отличаемся? Как насчет французов?

— Будь я орангутангом, мисс Черрел, мне было бы наплевать, что шимпанзе задирают нос.

— Понимаю, это уже совсем другая порода. Но, простите, профессор, как насчет вас самих? Разве вы не избранная раса? Разве вы этого не твердите все время? Разве вы согласитесь поменяться местами с каким-нибудь другим народом?

— Ни за что.

— А разве это не равносильно претензии на превосходство, в которое не верим мы?

Он рассмеялся.

— Тут вы меня поймали; но до сути дела мы еще не добрались. В каждом человеке есть своя спесь. Мы — молодая нация; у нас нет ваших корней и вашей старины; у нас нет нашей привычки считать себя солью земли; мы еще не устоялись — слишком уж нас много и слишком мы разные. Но кроме наших долларов и наших ваннх комнат у нас есть еще кое-что, чему вы можете позавидовать.

— Что именно? Назовите, пожалуйста.

— Видите ли, мисс Черрел, мы твердо знаем, что у нас есть достоинство и энергия, вера и возможности, которым вы можете позавидовать; а вы не завидуете, и тогда нас возмущают ваша косность и высокомерие. Вы похожи на шестидесятилетнего старика, который смотрит свысока на молодого человека тридцати лет, а это, простите, идиотство.

Динни глядела на него молча; его доводы произвели на нее впечатление.

— Вы, англичане, раздражаете нас тем, что утратили всякое чувство нового; а если оно у вас и есть, вы уж больно ловко его прячете. Навер-

но, мы, в свою очередь, чем-то раздражаем вас. Но мы раздражаем только вашу кожу, а вы — наши нервные центры. Вот, пожалуй, и все, мисс Черрел.

— Понимаю, — сказала Динни, — все это странно интересно и, я думаю, в общем справедливо. Но теперь встала, поэтому я должна унести свою кожу и дать успокоиться вашим нервным центрам.

Она поднялась и улыбнулась ему через плечо.

Молодой Тасборо был уже у дверей. Она улыбнулась и ему, прошептала:

Поговорите с моим другом-подругой; от того стоит.

В гостиной она под села к «тигрянке», но разговор у них не клеился: менше взаимное восхищение, которого ни та, ни другая не хотели показывать. Джин Тасборо только что исполнился двадцать один год, но Динни казалось, что ее собеседница много старше ее. Она привыкла веско и категорически, хоть и неглубоко, судить о вещах и людях; о чем бы ни заходила речь, у нее обо всем было свое мнение. Она незаменима в беде, решила Динни; вот уж кто постоит за своих, — но зато будет править ими железной рукой. Поч ее напористой деловитостью Динни чувствовала какое-то странное, хищное очарование, — стоит ей захотеть, и она вскружит голову любому мужчине. Хьюберта она покорила с первого взгляда! И, придя к такому выводу, Динни серьезно задумалась, хочет ли она этого. Вот та самая девушка, которая сразу же заставит брата забыть о всех его злоключениях. Но хватит ли у него сил и энергии, чтобы с ней совладать? А вдруг он влюбится, а ей будет совсем не нужен? Или влюбится и попадет к ней под башмак? И к тому же... деньги! Если Хьюберт не получит назначения или вынужден будет уйти в отставку, — на что они будут жить? Не считая жалованья, у него только триста фунтов в год, а у девушки, по-видимому, ни гроша. Да, все это — палка о двух концах. Если Хьюберту дадут снова окунуться в армейскую жизнь, ему ничего больше и не нужно. Если же он и дальше останется без дела, ему нужно отвлечься, но он не может себе этого позволить. И в то же время разве такая девушка не сделает карьеру тому, за кого выйдет замуж? Они продолжали беседовать об итальянской живописи.

Между прочим, — сказала вдруг Джин, — лорд Саксенден говорит, что вам от него что-то нужно.

— Да?

— Что именно? Я заставлю его это сделать.

Динни улыбнулась.

Как?

Джин бросила на нее взгляд из-под ресниц.

Да очень просто. Чего вы от него хотите?

Я хочу, чтобы моего брата вернули в полк или — еще лучше — дали ему какую-нибудь должность. У него неприятности из-за боливийской экспедиции профессора Халлорсена.

— Этого высокого? Поэтому его сюда и пригласили?

Динни показалось, что ее просто раздевают донага.

— Откровенно говоря, да.

— Что ж, он довольно красивый.

— Это говорит и ваш брат.

Алан — человек благородный. Он ведь и вас впустил.

Он мне и это уже сказал.

Нельзя ли так. Но, говоря серьезно, взялся мне за лорда Саксендена?

— Зачем вам беспокоиться?

— Любо было бы вас в чужие дела. Дайте мне только волю, и я принесу вам это назначение на обеденке.

Мне сообщили из вполне достоверных источников, сказала Динни, что лорд Саксендену палец в рот не клади.

Джин потянулась.

Ваш брат Хьюберт похож на вас?

Ничуть: у него темные волосы и карие глаза.

— Знаете, наши с мамой когда-то были в родстве. Вас интересует проблема наследственности? Я развожу оркестры и не очень-то верю во всякие теории о передаче наследственности только по мужской или только по женской линии. Свойства передаются как через самцов, так и через самок, в любой точке родословной.

Возможно; но если линия моего отца и брата покрыта патиной, они будут точной копией портрета самого дальнего из наших предков.

А у нас есть портрет одной из Фингербергов, которая вышла замуж за Тасборо в тысячу девятьсот сорок седьмом году. — Она вылитая я, если не считать рюша: у меня даже руки как у нее.

Девушка протянула Динни свои длинные бронзовые руки, чуть скрючив пальцы.

Какаянибудь наследственная черта, — продолжала она, — может сказаться через несколько поколений. Это странно интересно. Хотела бы я посмотреть на вашего брата, если он так на вас не похож.

Динни улыбнулась.

Я попрошу его приехать за мной на машине из Кондафорда. Может, вы тогда решите, что он не стоит наших хлопот.

Тут в гостиную вошли мужчины.

У них такой вид, — шепнула Динни, — будто они задают себе вопрос: «Хочу ли я посидеть рядом с особой женского пола, и если да, то зачем?» У мужчин после обеда очень смешной вид!

Молчание нарушил голос сэра Лоренса:

— Саксенден, Помещик, — партию в бридж?

При этих словах тетя Уилмет и леди Генриетта привычно поднялись с дивана, на котором тихонько о чем-то спорили, и перешли туда, где им предстояло провести остаток вечера; за ними двинулись лорд Саксенден и Помещик.

— Вам не кажется, что страсть к бриджу растет как дикое мясо? — сказала с гримасой Джин Тасборо.

— Кто еще? — спросил сэр Лоренс. — Адриан? Нет. Профессор?

— Пожалуй, нет, сэр Лоренс.

— Флер, тогда мы с тобой против Эм и Чарлза. Идемте, и поскорее с этим покончим.

— Не думаю, что это дикое мясо росло на дяде Лоренсе, — сказала вполголоса Динни. — А! Профессор? Вы знакомы с Джин Тасборо?

Халлорсен поклонился.

— Вечер сегодня необыкновенный,— слышался голос молодого Тасборо.— Не пойти ли нам погулять?

— Майкл,— сказала, поднимаясь, Динни,— мы пошли гулять.

Вечер и в самом деле был необыкновенный. Листья каменных дубов и вязов неподвижно повисли в воздухе. Звезды горели, как алмазы. Роса еще не пала. В темноте трудно было различить окраску цветов. Редкие звуки нарушали тишину — дальний крик совы где-то у реки, жужжание майского жука. Было совсем тепло, и сквозь подстриженные кипарисы смутно белел освещенный дом. Динни с моряком шли впереди.

— Сегодня такая ночь,— сказал он,— когда можно заглянуть в тайны мироздания. Отец мой — славный старик, но его проповеди могут убить всякую веру. А вы еще верите?

— В бога?— спросила Динни.— Пожалуй, хоть ничего в этом и не понимаю.

— А вы не находите, что думать о боге можно, только когда ты один, под открытым небом?

— Я испытывала какое-то волнение и в церкви.

— Одного волнения мало,— надо постичь бесконечное созидание в бесконечности миров. Вечное движение и в то же время вечный покой... А этот американец, кажется, славный малый.

— Вы говорили с ним о братских чувствах наших народов?

— Нет, о чувствах я хочу говорить с вами. При королеве Анне у нас был общий прапрапрапрадед; у нас сохранился его портрет,— сущее страшилище в парике. Так что мы с вами родня... и, значит, должны любить друг друга.

— Вот как? Родство проявляется по-разному. Нет ссоры хуже, чем в своей семье.

— Вы это о нас и американцах?

Динни кивнула.

— И все-таки,— сказал моряк,— я твердо знаю, что в любой потасовке предпочту драться плечом к плечу с американцем, а не с кем-нибудь другим. Да, пожалуй, мы все так думаем на флоте.

— Это потому, что у нас с ними общий язык?

— Нет. У нас есть что-то общее в закуске и во взглядах на жизнь.

— Да, если речь идет об американцах английского происхождения.

— Только такие и принимаются в расчет, особенно если сюда добавить выходцев из Голландии и Скандинавии, вроде этого Халлорсена. Мы и сами в большинстве вышли оттуда.

— Почему бы не добавить сюда и выходцев из Германии?

— В какой-то мере, да. Но посмотрите на форму их головы. В общем и целом немцы скорее жители Центральной и Восточной Европы.

— Ну, об этом вам лучше поговорить с дядей Адрианом.

— Это тот высокий, с козлиной бородкой? Мне нравится его лицо.

— Он у нас прелесть,— сказала Динни.— Но остальные куда-то запропали, и у меня промокли ноги.

— Минутку. Я говорил за ужином совершенно серьезно. Вы действительно мой идеал, и, я надеюсь, вы позволите мне его добиваться.

Динни сделала реверанс.

— Мой юный рыцарь, вы очень любезны. Но я должна вам напомнить, — сказала она с легким смущением, — что у вас такая благородная профессия...

— Неужели вы никогда не бываете серьезной?

— Редко, особенно когда падет роса.

Он схватил ее за руку.

— Но как-нибудь я заставлю вас быть серьезной.

Слегка пожав ему руку в ответ, Динни высвободила свою и пошла вперед.

— «Деревья сплели свои ветви, как руки...» Терпеть не могу этого выражения. А многим оно почему-то ужасно нравится.

— Прекрасная кузина, — сказал молодой Тасборо, — я буду думать о вас днем и ночью. Не утруждайте себя ответом.

И он отворил перед ней дверь в комнату.

Сесили Маскем сидела за роялем, а Майкл стоял у нее за спиной.

Динни подошла к нему.

— Майкл, я пойду сейчас в гостиную Флер; а ты покажешь лорду Саксендену, как туда пройти? Если он не появится до двенадцати, я лягу спать. Мне нужно выбрать для него отрывки.

— Хорошо. Я провожу его до самого порога. Желаю успеха!

В маленькой гостиной Динни открыла окно и уселась выбирать отрывки из дневника. Пробило половину одиннадцатого, вокруг стояла полная тишина. Она отметила шесть довольно длинных записей, которые, по ее мнению, ясно показывали, какую непосильную задачу задали Хьюберту. Потом она закурила и высунулась в окно. Вечер был все такой же благодатный, но на нее напало глубокое раздумье. Вечное движение и вечный покой? Если это и в самом деле бог, смертным от него не так уж много проку. Да и почему от него должен быть прок? Когда Саксенден попал в зайца и тот закричал, — разве бог его слышал и дрогнул? Когда ей сжимали руку, — разве бог это увидел и улыбнулся? Когда Хьюберт метался в лихорадке в джунглях, прислушиваясь к крику диких птиц, — разве бог послал ему ангела с хинином? Когда вон та звезда в небе погасла миллиарды лет назад и повисла там, холодная и тусклая, разве бог пометил это у себя в записной книжке? Миллион миллионов листьев и стеблей травы, которые темнеют там, внизу, миллион миллионов звезд, при ~~этом~~ ^{этих} которых глаз ее проникает сквозь эту тьму, — все, все — вечное движение в бесконечном покое, все — частица божества... Да и она сама, и дымок ее сигареты, и жасмин у самого ее лица — его цвет она сейчас не может разглядеть, — и мысль, подсказывающая, что он не желтый, а белый, и далекий лай собаки, такой далекий, что звук этот точно нить, за которую можно ухватить тишину, — во всем, во всем есть какой-то неясный, бесконечный, всепроникающий и непонятный смысл...

Динни вздрогнула и отошла от окна. Удобно устроившись в кресле с дневником на коленях, она оглядела комнату. Флер обставила ее по своему вкусу, и он казался во всем: в расцветке ковра, в мягком свете, который лился из-под абажура на голубовато-зеленое платье Динни, на руки, державшие дневник. Долгий день утомил ее. Она откинулась на

спинку кресла, подняв кверху глаза, и сквозь дремоту стала разглядывать бордюр из фаянсовых купидонов, — одна из прежних леди Монт украсила им потолок. Какие пухленькие, смешные детишки, прикованные друг к дружке цепями из роз и обреченные вечно созерцать друг у друга затылки! Хоровод розовых минут, розовых... Веки Динни сомкнулись, губы полуоткрылись, она заснула. А мягкий свет, падавший ей на лицо, волосы и шею, подчеркивал их небрежную прелесть, их дерзкое изящество, совсем как у тех, таких типично английских, прекрасных итальянок, которых любил писать Боттичелли. Локон коротких золотых волос упал на лоб; на полуоткрытых губах то появлялась, то исчезала улыбка; ресницы — они были у нее куда темнее волос — дрожали на нежных, почти прозрачных щеках; нос чуть вздрагивал во сне, словно его забавляло, что он немножечко курносый. Казалось, одно легкое движение руки — и это запрокинутое лицо можно сорвать с белого стебля шеи...

Она вздрогнула и подняла голову. Посреди комнаты стоял тот, кого когда-то прозвали Зазнайкой Бентхемом, и, не мигая, разглядывал ее холодными синими глазами.

— Виноват, — сказал он, — виноват! Вы так славно дремали.

— Мне снились пирожки с мясом, — сказала Динни. — Как мило, что вы пришли в такой поздний час.

— Семь склянок. Надеюсь, вы недолго. Не возражаете, если я закурю?

Он сел на диван напротив и стал набивать трубку. У него был вид человека, который решил покончить поскорее с этим делом, не высказывая своего мнения. В эту минуту ей стало понятнее, как вершат государственные дела. «Ну да, — подумала она, — он оказывает любезность и не знает, что получит взамен. Это виновата Джин!» Как и всякая женщина, она и сама толком не знала, благодарна ли она «тигрице» за то, что та отвлекла его внимание, или чувствует нечто вроде ревности. Но сердце ее билось, и она принялась читать быстрым, деловым тоном. Динни прочитала три отрывка, прежде чем решилась на него посмотреть. Лицо его ничего не выражало, и если бы не губы, сосавшие трубку, оно казалось бы вырезанным из крашеного дерева. Глаза по-прежнему разглядывали ее как-то странно и, пожалуй, слегка враждебно, словно он думал: «Эта женщина хочет пробудить во мне какие-то чувства. Но сейчас уже поздно».

Динни торопливо читала, ее все больше и больше охватывало отвращение к тому, что она делает. Четвертый отрывок был, не считая последнего, самым страшным — по крайней мере для нее; когда она подходила к концу, голос ее дрожал.

— Ну, это уж он загнул, — сказал лорд Саксенден, — мулы-то ведь ничего не чувствуют... Удивительные твари!

Динни вспыхнула; нет, больше она не станет на него смотреть! Она продолжала читать. Ее целиком захватила эта повесть, которая впервые звучала сейчас вслух. Наконец она кончила, задыхаясь и напрягая все силы, чтобы подавить дрожь в голосе. Лорд Саксенден сидел, уткнувшись подбородком в кулак. Он крепко спал.

Динни постояла, глядя на него в той же позе, в какой он недавно смотрел на нее. На секунду у нее появилось желание выдернуть его кулак из-под подбородка. Ее спасло только чувство юмора. Глядя на него таким взглядом, каким Венера с картины Боттичелли смотрит на Марса, она взяла листок бумаги с письменного стола Флер и, написав: «Простите, что довела вас до полного изнеможения. Спокойной ночи», — потихоньку положила записку ему на колено. Затем свернула в трубку дневник, на цыпочках подошла к двери, открыла ее и оглянулась: лорд Саксенден посапывал, но скоро он громко захрапит. «Стоит воззвать к его чувствам, и он тут же засыпает», — подумала она. — Теперь я понимаю, как он выиграл войну». Она повернулась — перед ней стоял профессор Халлорсен.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Динни увидела, что взгляд Халлорсена устремлен поверх ее головы на спящего лорда, и чуть не застонала. Что он о ней подумает, застигнув ее в полночь выходящей украдкой из чужой комнаты, где спит сей титулованный муж? Теперь Халлорсен смотрел ей прямо в глаза, взгляд его был мрачен. Боясь, что он скажет: «Простите!» — и разбудит спящего, она крепче сжала в руке дневник, приложила палец к губам и, шепнув: «Не разбудите младенца», — скользнула мимо Халлорсена в коридор.

У себя в комнате она расхохоталась, а потом села, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Зная репутацию лордов в демократических странах, Халлорсен, вероятно, вообразит бог знает что. Но скрепя сердце она отдала ему должное: что бы он о ней ни подумал, дальше это не пойдет. Каков бы он ни был, в нем нет ничего мелкого. Она представляла себе, как утром, за завтраком, он скажет с самым серьезным видом: «Мисс Черрел, вы сегодня так прекрасно выглядите». И все-таки Хьюберту она так ничем и не помогла. Огорченная, Динни улеглась в постель. Спала она плохо, проснулась утомленная, бледная и позавтракала наверху в своей комнате.

Когда в загородный дом съезжаются гости, дни текут удивительно однообразно. Мужчины носят все те же пестрые галстуки и брюки гольф, едят одно и то же за завтраком, щелкают ногтем по тому же барометру, курят те же трубки и стреляют тех же птиц. Собаки машут теми же хвостами, прячутся в тех же неожиданных местах, заливаются тем же отчаянным лаем и гоняют тех же голубей на тех же лужайках. Дамы все так же завтракают в постели или внизу, сыплют те же ароматические кристаллы в ту же ванну, бродят по тому же парку, говорят о тех же общих друзьях с тем же оттенком неприязни: «Конечно, я их очень люблю, но...», с той же страстью разглядывают портупак на тех же выложенных камнем клумбах, с тем же визгом играют в крокет или в теннис, пишут те же письма, опровергая одни и те же слухи или сравнивая те же безделушки, всё так же дружно спорят и так же дружно не соглашаются. Слуги сохраняют все то же искусство оставаться невидимыми, появляясь лишь в те же положенные часы. А дом хранит все тот же смешанный запах душистого горошка, засушенных и свежих цветов табака, книг и диванных подушек.

Динни написала брату письмо, в котором умолчала о Халлорсене, Саксендене и обоих Тасборо, зато весело рассказала о тете Эм, Босуэле и Джонсоне, дяде Адриане, леди Генриетте и просила его заехать за ней на машине. После обеда пришли Тасборо поиграть в теннис, и до самого окончания охоты она так и не видела ни лорда Саксендена, ни американца. Но за чаем тот, кого прозвали Зазнайкой Бентхемом, бросил на нее такой долгий и странный взгляд, что она поняла — он ее не простил. Динни и вида не подала, что заметила это, но в душе огорчилась. Пока что она, кажется, причинила Хьюберту один только вред. «Напущу-ка я на него Джин!» — подумала она и отправилась на поиски «тигрицы». По дороге она встретила Халлорсена и, тут же решив наладить с ним прежние отношения, сказала:

— Появись вы вчера вечером пораньше, профессор Халлорсен, вы бы услышали, как я читала вслух лорду Саксендену отрывки из дневника брата. Может, вам это было бы полезнее, чем ему.

Лицо Халлорсена прояснилось.

— Ах, вот оно что, — сказал он, — а я-то никак не мог понять, каким снотворным вы опоили бедного лорда.

— Я подготавливала его к чтению вашей книги. Вы же ее хотите ему преподнести?

— Думаю, что нет, мисс Черрел; я не так уж заинтересован в его здоровье. Пусть его страдает бессонницей. Если человек способен уснуть, слушая вас, — я о нем невысокого мнения. А чем он вообще занимается, этот лорд?

— Чем занимается? Видите ли, он — то, что у вас принято называть «большой шишкой». Не знаю, на каком месте она сидит, эта шишка, но отец уверяет, что он имеет вес. Надеюсь, сегодня на охоте вы снова утерли ему нос, — ведь чем чаще вы будете утирать ему нос, тем больше шансов у моего брата вернуть свое место, потерянное из-за вашей экспедиции.

— Вот как? Разве у вас такие вещи зависят от личных отношений?

— А у вас разве нет?

— У нас-то да! Но я думал, что в старых странах еще сохранились добрые традиции.

— Разумеется, мы никогда не признаемся, что дела у нас зависят от личных отношений.

Халлорсен улыбнулся.

— Ну, а чем это плохо? Все люди — братья. Вам бы понравилась Америка, мисс Черрел. Хотел бы я когда-нибудь вам ее показать.

Он сказал это так, словно Америка была какой-то старинной безделушкой, лежавшей на дне его чемодана, и она не знала, как отнестись к его словам, — они могли быть сказаны мимоходом, а могли иметь до смешного серьезное значение. Потом, увидев по его лицу, что он придает им до смешного серьезное значение, она в ответ сверкнула улыбкой:

— Спасибо, но вы все еще мой враг.

Халлорсен протянул ей руку, но она отступила на шаг.

— Мисс Черрел, я сделаю все, чтобы вы изменили ваше мнение обо мне... Помните, что я ваш покорный слуга, а когда-нибудь надеюсь стать для вас и кем-нибудь более близким.

Он выглядел сейчас чересчур высоким, красивым и здоровым, и это ее раздражало.

— Давайте не будем относиться ко всему так серьезно, профессор; ничего из этого не выйдет. А теперь извините, я ищу мисс Тасборо.

И она убежала. Нелепо! Трогательно! Лестно! Возмутительно! Су-машествие! За что ни возьмись, все так запутывается; может, лучше положиться на судьбу?

Джин Тасборо окончила партию в теннис с Сесили Маскем и снимала с волос сетку.

— Пошли пить чай, — сказала Динни, — лорд Саксенден изнывает без вас.

Но у дверей гостиной, где пили чай, Динни перехватил сэр Лоренс; заявив, что совсем ее не видит, он пригласил ее к себе в кабинет — посмотреть коллекцию миниатюр.

— Вот мое собрание характерных особенностей женщин разных национальностей: француенок, немок, итальянок, голландок, американонок, испанок, русских; мне очень хотелось бы иметь и твой портрет, Динни. Ты бы согласилась позировать одному молодому художнику?

— Я?

— Да, ты.

— Но зачем?

— В тебе, — сказал сэр Лоренс, разглядывая ее в монокль, — заключается разгадка того, что же такое англичанка хорошей породы, а я коллекционирую особенности национальных культур.

— Это звучит страшно интересно.

— Вот взгляни, французская культура *in excelsis*¹: сообразительность, живой ум, трудолюбие, решительность; тонкое восприятие красоты, — но не от сердца, а от разума; полное отсутствие юмора; чувства, которых требуют приличия, и никаких других; стяжательство — обрати внимание на глаза; преклонение перед внешней формой; никакой оригинальности; очень четкий, но ограниченный кругозор — в ней и намек нет на мечтательность, пылкий характер, но умеет держать себя в руках. Вся она цельная, с четко очерченными контурами. А вот редкостный экземпляр американки — высший образец этой культуры. Заметь, она выглядит так, точно на ней невидимая уздечка и она это знает; в глазах электрический заряд, который она непременно пустит в ход, но только в рамках приличия. Она отлично сохранилась до конца своих дней. Хороший вкус, много знает, но не очень образованна. Посмотри на эту немку! Она дает волю своим чувствам больше, чем другие, и меньше почитает внешнюю форму, но у нее есть совесть и она работяга; сильно развито чувство долга, маловато вкуса, а юмор довольно тяжеловесный. Стоит ей себя распустить — обязательно растолстеет. Сентиментальности хоть отбавляй, но немало и здравого смысла. Восприимчива во всех отношениях. Может быть, это не особенно хороший экземпляр. Лучшего я не нашел. А вот моя итальянка — отличная находка! Интересная особа. Елестящий лоск, но сквозь него проглядывает что-то дикое, точнее говоря, естественное. На ней маска — очаровательная маска,

¹ Здесь — в своем высшем выражении (лат.).

и носит она ее очень мило, но маска всегда может упасть. Знает, чего хочет, — пожалуй, даже лучше, чем следует, — и умеет поставить на своем, а когда это не удается, подчиняется чужой воле. Поэтична только тогда, когда затронута ее чувственность. Способна на сильную привязанность к своим родным, да и не только к ним. Открыто смотрит в глаза опасности, смелая, но легко теряется. Тонкий вкус, но он то и дело ей изменяет. Природы не любит. Умеет мыслить логически, но ленива и нелюбопытна. А тут, — сказал сэр Лоренс, неожиданно поворачиваясь к Динни, — тут будет мой образец англичанки. Хочешь, я тебе о ней расскажу?

— На помощь!

— Не бойся, я буду говорить отвлеченно. Застенчивость, развитая и в то же время сдержанная до такой степени, что она превратилась в полнейшую непосредственность. Утверждение собственного «я» кажется ей непростительным нахальством; чувство юмора, не лишенное остроумия, которое окрашивает, а иногда выходящая за все остальное. Выражение постоянной готовности к служению не столько семье, сколько обществу, — этой склонности не найдешь больше ни у кого. В ней есть какая-то прозрачная легкость, как будто в жилах у нее — воздух и роса. Ей не хватает завершенности — завершенности в знаниях, действиях, мыслях, суждениях, — зато решительности хоть отбавляй. Чувства не слишком развиты, эстетические эмоции возбуждаются скорее явлениями природы, чем произведениями искусства. В ней нет ни восприимчивости немки, ни трезвого ума француженки, ни двойственности и яркости итальянки, ни изработанной подтянутости американки; зато тут есть что-то совсем особенное — предоставляю тебе, дорогая, самой подобрать пущее слово, — из-за этого-то я и хочу, чтобы ты появилась в моей коллекции национальных культур.

— Ну, какая же у меня культура, дядя Лоренс.

— Я пользуюсь этим проклятым словом за неимением лучшего и меньше всего подразумеваю под ним ученость. Я имею в виду наследственные качества плюс воспитание, но то и другое обязательно вместе. Если бы эта француженка получила твоё воспитание, она все равно не была бы такой, как ты, а получи ты её воспитание, ты все равно не была бы такой, как она. Теперь взгляни на эту русскую довоенных лет, — она менее постоянна, более переменчива, чем все остальные. Я нашёл эту миниатюру в антикварной лавке. Эта женщина, наверно, хотела познать все, но не задерживаться подолгу на чем-нибудь одном. Пари держу, — она спешила жить и, если жива, все еще спешит; однако ей это куда легче, чем было бы тебе. Лицо её говорит, что она пережила больше других, но страсти почти не оставили на ней следа. А вот моя испанка, — она, пожалуй, интереснее всех. Ты видишь женщину, воспитанную властью от мужчин; теперь это, наверно, редкость. Посмотри, какая нежность, — в ней есть что-то керамическое, мало любвеобильства, энергии тоже немного; но зато сколько уютно гордости, хотя и очень мало самомнения. Тебе не кажется, что её страсть может быть роковой? А разговаривать с ней, наверно, нелегко. Ну как, Динни, будешь позировать моему молодому человеку?

Если ты серьезно, — буду.

— Вполне серьезно. Это моя страсть. Я все устрою. Он может приехать к тебе в Кондафорд. Теперь мне надо вернуться к гостям и проводить Зазнайку. Ты уже сделала ему предложение?

— Я убавкала его вчера дневником Хьюберта,— он уснул под мое чтение. Он меня терпеть не может. Теперь я ни о чем не посмею его попросить. А он в самом деле шишка, дядя Лоренс?

Сэр Лоренс кивнул с загадочным видом.

— Зазнайка — идеал государственного мужа. Органы чувств у него атрофированы, а волновать его может только сам Зазнайка. Такого, как он, не уймешь,— он всегда тут как тут. Гуттаперчевый человек. Ну что ж, государству такие нужны. Если бы не было толстокожих, кто бы восседал на местах сильных мира сего? А места эти жестки, Динни, и утыканы гвоздями. Значит, ты зря потеряла время?

— Зато я, кажется, убила второго зайца.

— Отлично. Халлорсен тоже уезжает. Этот парень мне нравится. Американец до мозга костей, но закваска хорошая.

Он ушел, и, не желая больше встречать ни гуттаперчевого человека, ни американца с хорошей закваской, Динни поднялась к себе в комнату.

На следующее утро, часов в десять, с быстротой, характерной для таких разъездов, Флер и Майкл повезли Адриана и Диану на своей машине в Лондон; Маскемы уехали поездом, а Помощник с леди Генриеттой отправились на машине в свое нортгемптонширское имение. Остались только тетя Уилмет и Динни, но к обеду ждали молодых Тасборо и их отца священника.

— Он очень славный, Динни,— сказала леди Монт.— Старого закала, галантен, очень мило картавит. Какая жалость, что у них нет ни гроша. Джин очень эффектна, правда?

— Я ее немножко боюсь, тетя Эм,— слишком уж она хорошо знает, чего хочет.

— Сватовство,— ответила тетя Эм,— это так увлекательно. Давно я этим не занималась. Воображаю, что скажут Кон и твоя мать. Мне теперь, наверно, по ночам будут сниться кошмары.

— Сначала попробуй поймать на приманку Хьюберта.

— Я его всегда любила; у него наша фамильная внешность,— а у тебя нет, Динни, не понимаю, откуда ты такая светлая,— и он так хорошо сидит на лошади. Кто ему шьет бриджи?

— По-моему, у него не было ни одной новой пары с самой войны.

— И такие милые длинные жилеты. Эти обрезанные по поясу жилеты так укорачивают. Я пошло его с Джин посмотреть цветники. Ничто так не сближает, как портулак. А! Вот Босуэл-и-Джонсон — он-то мне и нужен!

Хьюберт приехал в первом часу и сразу же ушел.

— Я раздумал печатать дневник, Динни. Странно уж прочтимо представлять напоказ свои болячки.

Радуюсь, что она еще ничего не успела предпринять, Динни кратко ответила:

— Хорошо, милый.

— Я вот что подумал: если мне не дадут назначения здесь, я могу поступить в суданские войска или в индийскую полицию — там, кажется, не хватает людей. С каким удовольствием я бы опять уехал из Англии! Кто тут у них?

— Только дядя Лоренс, тетя Эм и тетя Уилмет. К обеду придет священник с детьми — это Тасборо, наши дальние родственники.

— А! — мрачно отозвался Хьюберт.

Динни наблюдала за появлением семейства Тасборо не без злорадства. Хьюберт и молодой Тасборо немедленно обнаружили, что служили в одних и тех же местах в Месопотамии и Персидском заливе. У них завязался разговор. Но тут Хьюберт обнаружил Джин. Динни заметила, как он бросил на нее долгий взгляд, удивленный, недоверчивый, словно увидел какую-то необыкновенную птицу, потом отвел глаза, снова о чем-то заговорил и засмеялся. опять посмотрел на нее и уже не мог отвести глаз.

Динни услышала голос тети:

— Хьюберт очень похудел.

Священник развел руками, словно выставляя напоказ свою внушительную комплекцию.

— В его возрасте я был куда худее.

— Я тоже, — сказала леди Монт, — такая же тоненькая, как ты, Динни.

— Приобретаем ненужные накопления, ха-ха! Поглядите на Джин, — гибкая, как тростинка, а лег через сорок... Но, может, нынешняя молодежь никогда не расстелстеет. Они ведь сидят на диете... ха-ха!

За сдвинутым обеденным столом священник сидел против сэра Лоренса, между обеими пожилыми дамами. Алана посадили против Хьюберта, Динни — против Джин.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

— Забавная штука эта молитва, — сказал молодой Тасборо на ухо Динни. — Благословляют убийство, правда?

— Нам подадут зайца, — сказала Динни, — а я видела, как его убивали. Он плакал, как ребенок.

— Я бы лучше съел собаку, чем зайца.

Динни бросила на него благодарный взгляд.

— Вы приедете с сестрой погостить к нам в Кондафорд?

— Только мигните!

— Когда вам надо вернуться на корабль?

— Через месяц.

— Вы, наверно, любите свою профессию?

— Да, — просто ответил он. — Это у меня в крови, у нас в семье всегда был моряк.

— А у нас солдат.

— Ваш брат мариштина. Я ужасно рад, что с ним познакомился.

— Не надо, Бэр, — сказала Динни дворецкому, — дайте, пожалуйста, кусочек холодной куропатки. Мистер Тасборо тоже предпочитает что-нибудь холодное.

— Говядину, сэр, баранину или куропатку?

— Куропатку, пожалуйста.

- Как-то раз я видела, как заяц моет уши,— сказала Динни.
- Когда вы такая,— заявил молодой Тасборо,— я просто...
- Какая?
- Как будто вас здесь нет.
- Спасибо.

— Динни,— окликнул ее сэр Лоренс,— кто это сказал, что мир замкнулся в своей раковине, как устрица? А я говорю, что он закрылся в своей раковине, как американский моллюск. Ты как думаешь?

- Я не знаю, что такое американский моллюск, дядя Лоренс.

— Тебе повезло. Эта пародия на его добропорядочную европейскую разновидность — осязаемое доказательство того, что американцы — идеалисты. Они возвели этот символ своей обособленности на пьедестал и даже стали упогреблять его в пищу. Когда американцы от него отрекутся, они начнут смотреть на вещи более реально и войдут в Лигу наций. Но нас к тому времени, увы, уже не будет.

Динни следила за выражением лица Хьюберта. Озабоченность сле-тела с него; глаза были прикованы к глубоким манящим глазам Джин. У Динни вырвался вздох.

— Вот именно,— сказал сэр Лоренс,— жаль, что мы не доживем до той поры, когда американцы отрекутся от моллюска и кинутся в объятия Лиги наций. Ведь в конце концов,— продолжал он, вздернув левую бровь,— она была основана американцем и является единственным сколько-нибудь разумным порождением нашей эпохи. Но она по-прежнему остается самым страшным пугалом для другого американца, по имени Монро, который умер в тысяча восемьсот тридцать первом году; а такие, как Зазнайка, никогда не упоминают о ней без издевки.

Пинок, попрек и еще раз пинок,
Насмешек немного, но зато каких!

- Знаешь это стихотворение Элроя Флеккера?

— Да,— с удивлением сказала Динни,— оно приводится в дневнике Хьюберта; я читала его лорду Саксендену. Как раз на этом он и заснул.

— Это на него похоже. Но не забудь, Динни,— Зазнайка чертовски хитрый субъект и знает, что к чему в этом мире. И, как бы противен этот мир тебе ни был, никуда ты из него не денешься, недаром десять миллионов более или менее молодых людей недавно сложили в нем головы. Не помню,— задумчиво заключил сэр Лоренс,— когда это я так вкусно ел в собственном доме, как в последние дни; на твою тетю что-то нашло.

Собирая после обеда партнеров для партии в крокет — она сама и Алан Тасборо играли против его отца и тети Уилмет,— Динни краешком глаза видела, как Хьюберт и Джин направились к цветникам. Они тянулись от нижней террасы парка до старого Фруктового сада, за которым поднимались холмистые дуга.

«Ну, эти двое на портуплак заглядываться не станут», — подумала Динни.

И действительно, они успели сыграть две партии, когда совсем из другой части парка показались погруженные в беду Джин и Хьюберт. «Ну и ну,— подумала она, изо всех сил ударяя по шару соперника,— вот это быстро и пачтиск».

— Господи спаси!— простонал потрясенный священнослужитель, а прямая, как гренадер, тетя Уилмет провозгласила на весь парк:

— Черт возьми, Динни, что ты вытворяешь!

Позднее, сидя рядом с братом в открытой машине, Динни пыталась привыкнуть к мысли, что отходит для него на второй план. Все произошло так, как она сама хотела, и все-таки ей было грустно. До сих пор она была Хьюберту ближе всех. Видя, как на губах у него то и дело мелькает безотчетная улыбка, она призывала на помощь всю свою рассудительность.

— Ну, что ты скажешь о наших родственниках?

— Он славный парень. По-моему, он к тебе равнодушен.

— В самом деле? Когда мы их пригласим?

— Когда угодно.

— На той неделе?

— Хорошо.

Убедившись, что ничего из него не вытянет, Динни принялась наслаждаться медленным угасанием света и красоты погожего дня. Возвышенность, уходившую в сторону Уэнтеджа и Фарингдона, заливали косые лучи солнца, а впереди грозно возвышались Уиттенхемские скалы. Свернув направо, они въехали на мост. Посреди моста она коснулась плеча Хьюберта.

— Помнишь, вон там наверху мы видели зимородков.

Остановив машину, они полюбовались на пустынную гладь реки, словно созданную для этих веселых птиц. Заходящее солнце кропило ее яркими бликами сквозь ветви ив на южном берегу. Казалось, в этой самой тихой реке на свете любое душевное движение человека найдет свой отклик; ничем не нарушая царившего здесь покоя, плавно текла она прозрачной лентой среди золотых полей и грациозных, никнувших к ней деревьев; река жила своей собственной жизнью, полная ласковой силы, прекрасная и величавая.

— Три тысячи лет назад,— сказал Хьюберт,— эта старая река была как те, что я видел в джунглях: хаотический поток во мраке лесной чащи.

Они снова тронулись в путь. Теперь они ехали спиной к солнцу, и все вокруг выглядело как нарочно для них написанный пейзаж.

Они мчались, а небо рдело отсветом заходящего солнца, и убранные поля, над которыми проносились птицы, собиравшиеся на ночлег, постепенно темнели и казались совсем заброшенными.

У ворот усадьбы Кондафорд Динни вышла из машины и, заглядывая брату в лицо, принялась вполголоса напевать: «Она была пастушка, но, боги, как прекрасна!» Впрочем, он возился с машиной и как будто не понял намека.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Трудно понять душу молодого англичанина молчаливого склада. Разговорчивого раскусить куда легче. Его привычки и нрав сразу бросаются в глаза и мало влияют на жизнь империи. Горластый, недалекий,

вечно недовольный всем и вся, признающий только себе подобных, он напоминает марево, которое мерцает над поверхностью болота и скрывает трясину под ногами. С неизменным блеском витийствует он впустую, тогда как те, кто всю жизнь не щадит себя в интересах дела, никому не видны, но зато имеют вес; ведь чувство, о котором кричат на всех перекрестках, перестает быть чувством, а чувства невысказанные крепнут в душе. У Хьюберта не было ни солидности, ни флегмы, — даже эти спасительные черты человека молчаливого у него отсутствовали. Образованный, впечатлительный и неглупый, он мог бы высказать о своих ближних и о жизни здравые суждения, которые удивили бы людей разговорчивых, но он хранил их про себя. До недавних пор у него к тому же не было для болтовни ни времени, ни возможностей; впрочем, встретив его в курилке, за обеденным столом или в любом другом месте, где орудуют крикуны, вы сразу же видели, что, даже будь у него сколько угодно времени и возможностей, он все равно не превратился бы в болтуна. Он рано ушел на войну, остался в армии, и это помешало ему расширить свои горизонты пребыванием в университете или в столице. Восемь лет в Месопотамии, Египте и Индии, год болезни и экспедиция Халлорсена ожесточили его, сделали нелюдимым и скрытным. Как все люди его склада, он не выносил праздности. Когда он бродил с ружьем и собакой или катался верхом, жизнь еще казалась ему сносной; но без этих любимых занятий он чахнул на глазах.

Через три дня после возвращения в Кондафорд Хьюберт вышел на террасу, держа в руках «Таймс».

— Погляди-ка!

Динни прочла.

«Милостивый государь,

Надеюсь, вы простите мне, что я отнимаю место в вашей газете. Как я узнал, некоторые замечания, высказанные в моей книге «Боливия и ее тайны», опубликованной в июле этого года, показались обидными моему помощнику капитану Хьюберту Чаруэлу, кавалеру ордена «За особые заслуги», ведавшему транспортными средствами экспедиции. Перечитав свою книгу, я пришел к выводу, что под влиянием неудачи и переутомления я чересчур резко обрушился на капитана Чаруэла; в ожидании второго, исправленного издания, которое, как я надеюсь, не заставит себя ждать, я хочу воспользоваться возможностью, чтобы публично отказаться на страницах вашей уважаемой газеты от высказанных мною обвинений. Считаю своим долгом выразить капитану Чаруэлу и английской армии, в которой он служит, мои самые искренние извинения и сожаления и с удовольствием делаю это.

Ваш покорный слуга

Эдуард Халлорсен (профессор)

Гостиница «Пьемонт»,
Лондон».

— Очень благородно! — сказала Динни, чувствуя легкую дрожь.

— Халлорсен в Лондоне! Какого черта он вдруг вздумал извиняться?

Динни принялась обрывать вялые листья с африканской лилии. Она начинала постигать, как опасно оказывать услуги своим ближним.

— По-видимому, он просто раскаивается.

— Станет этот тип раскаиваться! Ну уж нет! Здесь что-то кроется.

— Да, здесь кроюсь я.

— Ты!

Динни улыбнулась, но душа у нее ушла в пятки.

— Я встретила Халлорсена в Лондоне у Дианы; он приезжал и в Липпингхолл. Вот я и... гм... взялась за него.

Бескровное лицо Хьюберта залилось краской.

— Ты просила... клянчила?..

— Что ты!

— Тогда как же?..

— Кажется, я ему просто понравилась. Хочешь — верь, хочешь — нет, но, ей-богу, я не виновата.

— Он это сделал, чтобы добиться твоей благосклонности?

Вот это слова, достойные порядочного мужчины и особенно брата!

— Динни!

Теперь вспыхнула Динни; она еще старалась улыбаться, но уже сердилась.

— Поверь, я не старалась его увлечь. Он поддался этой неразумной страсти, несмотря на целые ушаты холодной воды. Но, если хочешь знать мое мнение, он вовсе не такой уж негодяй.

— Ты так думаешь? Неудивительно, — холодно сказал Хьюберт.

Лицо его побледнело и даже приняло какой-то пепельный оттенок.

Динни порывисто схватила его за рукав.

— Не глупи, дорогой! Если он решил публично принести извинения — все равно почему, пусть даже из-за меня, — разве это не к лучшему?

— Нет, если тут замешана моя сестра. Во всей этой истории я... я... — он схватился руками за голову, — я как в тисках. Каждый может меня ударить, а я не в силах и пальцем пошевелить.

К Динни вернулось все ее хладнокровие.

— Не бойся, я тебя не скомпрометирую. Письмо Халлорсена — отличная новость; теперь вся эта история лопнет как мыльный пузырь. Раз он извинился, никто и пикнуть не посмеет.

Хьюберт молча повернулся и ушел, оставив у нее в руках газету.

Динни была лишена мелкого самолюбия. Чувство юмора помогало ей трезво оценивать собственные поступки. Конечно, нужно было предвидеть, что все обернется именно так, но что поделаешь?

Вполне понятно, что Хьюберт возмущился. Если бы Халлорсен извинился от чистого сердца, брат бы успокоился; но раз американец просто хотел угодить ей, Динни, Хьюберту было еще обиднее; и он из себя выходил при одной мысли, что сестра нравится профессору. И все же письмо опубликовано, — оно прямо и недвусмысленно признает бесовичность обвинений и меняет все дело. Динни сразу же стала соображать, как ей лучше использовать это письмо. Послать его лорду Саксендену? Раз уж она вмешалась в эту историю, отступать не стоит, — и Динни села писать.

Усадьба Кондафорд,
21 сентября.

Дорогой лорд Саксенден!

Я беру на себя смелость послать вам вырезку из сегодняшнего «Таймса», так как думаю, что она в какой-то мере извиняет мою дерзость в тот вечер. Мне, право, не следовало надоедать вам отрывками из дневника брата в конце такого утомительного дня. Это было непростительно, и я ничуть не удивляюсь, что вы постарались от меня спастись. Но прилагаемая вырезка покажет вам, как несправедливо пострадал мой брат, и, я надеюсь, вы меня теперь простите.

Искренне Ваша

Элизабет Чаруэлл.

Вложив вырезку в письмо, Динни отыскала в справочнике лондонский адрес лорда Саксендена, надела конверт и пометила: «Лично».

Потом она пошла искать Хьюберта, но ей сказали, что он взял машину и уехал в Лондон...

Хьюберт гнал вовсю. Разговор с Динни разозлил его. Он проехал пятьдесят с лишком миль меньше чем за два часа и остановился у гостиницы «Пьемонт» ровно в час. Они расстались с Халлорсеном полгода назад и с тех пор не встречались. Хьюберт послал профессору визитную карточку и стал дожидаться в холле, сам еще толком не зная, что ему скажет. Когда вслед за посыльным показалась высокая фигура американца, на Хьюберта точно столбняк напал.

— Здравствуйте, капитан Черрел! — сказал Халлорсен и протянул руку.

Пуще всего на свете Хьюберт боялся восторженных сцен: он взял протянутую руку, но не пожал ее.

— Я узнал ваш адрес из «Таймса». Где бы мы могли поговорить? Халлорсен провел его в нишу.

— Принесите коктейли, — сказал он официанту.

— Спасибо, мне не надо. Разрешите закурить?

— Надеюсь, это трубка мира, капитан?

— Не знаю. Извинение, которое идет не от чистого сердца, ничего не стоит.

— А кто говорит, что оно идет не от чистого сердца?

— Моя сестра.

— Ваша сестра, капитан Черрел, на редкость очаровательная девушка; я бы не хотел ей противоречить.

Можно мне говорить откровенно?

— Прошу вас.

— Тогда вот что: мне приятнее было бы обойтись без ваших извинений, чем знать, что этим я обязан вашей симпатии к одному из членов моей семьи.

Что ж, — помолчав, сказал Халлорсен, — не могу же я написать в «Гаймс», что извинился по ошибке. Пожалуй, они этого не стерпят. Когда я работал над книгой, во мне все кипело. Я признался в этом вашей сестре, а сейчас повторяю вам. Надо было проявить снисходительность, и я жалею, что этого не сделал.

— Мне не нужна снисходительность. Я хочу справедливости. Я вас подвел или нет?

— В общем, конечно, вы распустили эту шутку, и моя песенка была спета.

— Признаю. Но чья тут вина — моя или ваша? Если передо мной была поставлена невыполнимая задача.

С минуту оба молча стояли, в упор глядя друг на друга. Халлорсен заговорил первый.

— Дайте руку, — сказал он, — вина была моя.

Хьюберт порывисто протянул было руку, но на полпути передумал.

— Секунду. Вы это говорите ради моей сестры?

— Нет, от всей души.

Они обменялись рукопожатием.

— Вот и хорошо, — сказал Халлорсен. — Мы с вами не ладили, Черред; но с тех пор, как я пожил здесь в одном из ваших старых имений, я, кажется, понял почему. Я требовал от вас того, чего англичане вашего круга, как видно, дать не могут, — откровенности. Понять вас нелегко, я этого не сумел, мы говорили на разных языках. А это верный путь к тому, чтобы поссориться.

— Не знаю почему, но мы действительно все время ссорились.

— Жаль, что нельзя начать все сначала.

Хьюберт поежился.

— Ну, мне-то никуда не жаль.

— А теперь, капитан, пообедаем вместе и скажите, чем я могу быть вам полезен? Я сделаю все, что хотите, лишь бы исправить свою ошибку.

С минуту Хьюберт молчал; лицо его оставалось невозмутимым, но руки слегка дрожали.

— Ладно, — сказал он, — это пустяки.

И они поправились в рестораны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Если и есть на свете правило без исключения, — что само по себе весьма сомнительно, — то оно гласит: в государственных учреждениях все происходит совсем иначе, чем предполагает частное лицо.

Более опытная и менее преданная сестра, чем Динни, не стала бы искушать судьбу. Но Динни еще не знала, что на сильных мира сего письма обычно оказывают совсем не то действие, какого ожидал отира

витель. Ее письмо задело amour-propre¹ лорда Саксендена,— а с государственными деятелями шутить не стоит,— и он умыл руки в деле капитана Черрела. Неужели эта девица вообразила, будто он не заметил, как она обвела этого профессора вокруг пальца? Мало того: по иронии судьбы отказ Халлорсена от своих обвинений настроил власти на сугубо подозрительный лад; за два дня до окончания годичного отпуска Хьюберта известили, что отпуск продлен на неопределенный срок и что он переводится на половинный оклад в ожидании расследования по запросу, внесенному в палате общин членом парламента майором Мотли. В ответ на письмо Халлорсена этот отставной военный тоже опубликовал письмо, в котором спрашивал, следует ли теперь считать, что вообще не было ни убийства, ни побоев, о которых американский ученый упоминает в своей книге, и, если так, чем объяснить это вопиющее противоречие? В свою очередь, Халлорсен ответил, что факты изложены в книге правильно, но выводы сделаны ошибочные, и действия капитана Черрела были полностью оправданы.

Получив сообщение, что его отпуск продлен, Хьюберт отправился в военное министерство. Там его ничем не утешили; знакомый чиновник неофициально сообщил, что в дело «впутались» боливийские власти. Кондафора был совершенно потрясен этой новостью. Правда, никто из четырех молодых людей — ни сам Хьюберт, ни Динни, ни брат и сестра Тасборо, которые все еще гостили в Кондафорде (Клер поехала в Шотландию), не поняли, какая над Хьюбертом нависла угроза: ведь они еще не знали, до чего может дойти бюрократическая машина, если она пущена в ход; зато генералу это известие показалось таким зловещим, что он тут же уехал в Лондон и остановился в своем клубе.

В тот же день после чая в бильярдной Джин Тасборо спокойно спросила, натирая мелом кий:

Что означает эта история с Боливией, Хьюберт?

— Все что угодно. Вы же знаете, я застрелил боливийца.

Но он же первый хотел вас убить.

Хотел.

Она прислонила кий к столу; ее тонкие и сильные бронзовые руки сжали борт бильярда; вдруг она подошла к нему и взяла его под руку.

Поцелуй меня,— сказала она,— я буду твоей.

— Джин!..

— Хьюберт, не надо рыцарских жестов и прочей ерунды. Я не хочу, чтобы ты расхлебывал эту кашу один. Я буду с тобой. Поцелуй меня.

Поцелуй был долгий, он примирил их обоих с жизнью, но потом Хьюберт все-таки сказал:

— Но это невозможно, Джин, пока все не уладится.

— Конечно, все уладится, но я хочу помочь это уладить. Давай поскорее овенчаемся. Отец может выделить мне сто фунтов в год; сколько есть у тебя?

У меня триста в год, да еще половинный оклад; правда, его могут у меня отнять.

¹ самозлюбие (франц.)

— Значит, у нас верных четыреста фунтов в год, люди женятся, не имея и этого. А потом у нас будет больше. Конечно, мы можем обвенчаться. Где?

У Хьюберта перехватило дыхание.

— В войну,— сказала Джин,— люди женились не откладывая, жениха ведь могли убить. Поцелуй меня еще.

Она обняла его за шею, и у Хьюберта совсем захватило дух. Так их и застала Динни.

Не меняя позы, Джин объявила:

— Мы поженимся, Динни. Как это лучше сделать? Зарегистрироваться? Оглашение в церкви — такая долгая история.

Динни даже рот раскрыла.

— Вот не думала, Джин, что ты сделаешь ему предложение так скоро.

— Пришлось. Он просто набит рыцарскими предрассудками. Отцу, конечно, регистрация не понравится; лучше, пожалуй, запастись специальным разрешением. Для этого надо прожить на одном месте пятнадцать дней.

Хьюберт отстранил ее от себя:

— Не шути, Джин.

— А я и не шучу. Если мы возьмем разрешение, никто и знать ничего не будет заранее. Нам никто не помешает.

— Что ж,— спокойно сказала Динни,— наверно, ты права. Не надо откладывать того, чего все равно не миновать. Думаю, что дядя Хилари вас обвенчает.

У Хьюберта опустились руки.

— Обе вы рехнулись!

— Нечего сказать, вежливо,— откликнулась Джин.— Мужчины ужасно смешные: хотят, добиваются, а стоит им это предложить — начинают кудахтать, как наседки. Кто такой этот дядя Хилари?

— Священник прихода святого Августина-на-Лужках; приличия его мало заботят.

— Отлично! Завтра же поезжан в Лондон, Хьюберт; остановишься у себя в клубе. Мы приедем следом. А где мы будем жить, Динни?

— Надеюсь, Диана нас приютит.

— Тогда все в порядке. Придется по дороге заехать в Липпингхолл,— захвачу кое-какие вещи и повидаюсь с отцом. Посажу его стричься да тут ему все и выложу,— он и пикнуть не успеет. Алан поедет с нами; нужен будет шафер. Динни, объясни Хьюберту.

Оставшись наедине с братом, Динни сказала:

— Она удивительная девушка, Хьюберт, и вовсе не сумасшедшая. Все это очень стремительно, но, пожалуй, разумно. У Джин никогда не было денег, так что хуже ей не будет.

— Дело совсем не в этом. Надо мной словно что-то нависло, а теперь нависнет и над ней.

— И будет висеть, даже если ты заупрямишься. На твоём месте я бы согласилась. Отец возражать не станет. Она ему нравится, и он предпочтет, чтобы ты женился на девушке из хорошей семьи и с характером, чем на деньгах.

— Как-то неприлично... такая спешка,— пробурчал Хьюберт.

— Но зато какая романтика; люди не успеют обсудить, правильно ты сделал, или нет, а после все это примут, как должное, так всегда бывает.

— А что скажет мама?

— Если хочешь, я с ней поговорю. Она, наверно, не будет против,— ты же не поступаешь, как теперь принято, не женишься на какой-нибудь певичке. Мама просто в восторге от Джин. И тетя Эм и дядя Лоренс тоже.

Лицо Хьюберта прояснилось.

— Тогда решено. Даже не верится. И, в конце концов, чего мне стыдиться?

Он подошел к Динни, поцеловал ее с несвойственной ему пылкостью и выбежал из комнаты. Динни осталась одна в бильярдной, чтобы поупражняться в коротком ударе. Несмотря на внешнее спокойствие, она была очень взволнована. Объятие, которое она нечаянно застала, было таким страстным, а сама Джин — такой странной смесью темперамента и выдержки, раскаленной лавы и стали, она была такой властной и в то же время такой до смешного юной. Неизвестно, что из этого выйдет, но Хьюберт уже стал совсем другим человеком. И в то же время Динни отчетливо сознавала, что такие порывы были ей самой глубоко чужды. Нет, она не отдаст своего сердца второпях. Как говаривала ее старая няня-шотландка: «Наша мисс Динни сперва семь раз отмерит, а потом отрежет». Ей-богу же, она несколько не гордится своим «чувством юмора, не лишенным остроумия, которое окрашивает, а иногда выхолащивает все остальное». Наоборот, она завидует экспансивности Джин, прямодушию Алана, кипучей энергии Халлорсена. Но и у нее есть свои хорошие стороны... И она с улыбкой отправилась в комнаты к матери.

Динни нашла леди Черрел в небольшом кабинете рядом со спальней — она шила муслиновые мешочки для душистой вербены, которая росла вокруг дома.

— Родненькая,— сказала Динни,— приготовься к легкому потрясению. Помнишь, я говорила, что хотела бы найти идеальную невесту для Хьюберта? Так вот, она нашлась: Джин только что сделала ему предложение.

— Динни!

— Они обвенчаются, как только смогут, по особому разрешению.

— Но...

— Вот именно, родненькая. Поэтому завтра мы едем в город; Джин и я поживем у Дианы, пока все не будет кончено. Хьюберт скажет отцу.

— Но, Динни, постой...

Динни перешагнула через гору муслина, опустилась на колени и обняла мать.

— Я взволнована не меньше тебя,— сказала она,— хоть и немного иначе — ведь не я его родила. Но, мамочка, ей-богу же, все будет хорошо. Джин — удивительное создание, а Хьюберт влюблен в нее по уши. Ему это пошло на пользу, а уж она постарается, чтобы он чего-то в жизни добился.

— А деньги?

— Они на папу не рассчитывают. Как-нибудь сведут концы с концами, а детей рожать сразу не обязательно.

— Пожалуй. Но все это так неожиданно. К чему такая спешка?

— Чутье подсказало, — прижав к себе худенькое тело матери, добавила Динни, — а у Джин его хоть отбавляй. Хьюберт сейчас в самом деле в очень трудном положении, мама.

— Да, это меня пугает, и я знаю, что отца тоже, хоть он ничего и не говорит.

Ни та, ни другая не захотели высказать свою тревогу откровеннее, и они стали совещаться, где поселить влюбленную пару.

— Но почему бы им не пожить здесь, пока все не устроится? — спросила леди Черрел.

— Им будет интереснее мыть посуду самим. Самое важное сейчас — занять чем-нибудь Хьюберта.

Леди Черрел вздохнула. Да, ни писание писем, ни садоводство, ни заботы по хозяйству, ни заседания деревенских благотворительных комитетов, конечно, нельзя назвать интересным занятием, а для молодежи, которая не делает и этого, Кондафорд покажется уж совсем неинтересным.

— Да, развлечений у нас тут мало, — сказала она.

— Вот и слава богу, — пробормотала Динни, — но я чувствую, что Хьюберту сейчас нужна более бурная жизнь, и он найдет ее с Джин в Лондоне. Они могут снять дешевую квартиру. Это ведь ненадолго. Словом, мамочка, сделай вечером вид, будто ты ничего не знаешь, а мы будем знать, что ты знаешь. И у всех на душе будет спокойнее.

И, поцеловав грустно улыбающуюся мать, Динни ушла.

Наутро заговорщики встали чуть свет. По словам Джин, Хьюберт выглядел так, словно ему предстояла скачка с препятствиями; у Динни вид был решительный, но лукавый, у Алана — деловитый, в нем начинал пробуждаться настоящий шафер. Одна только Джин казалась невозмутимой. Они поехали в коричневой спортивной машине молодых Тасборо, по дороге высадили Хьюберта на станции и отправились дальше, в Липпингхолл. Машину вела Джин. Динни и Алан сидели сзади.

— Динни, — начал молодой Тасборо, — а почему бы и нам с вами не запастись разрешением на брак?

— Вы думаете, оптом будет дешевле? Ведите себя прилично. Вы уйдете в море и позабудете обо мне через месяц.

— Неужели у меня такой вид?

Динни взглянула на его загорелое лицо.

— В профиль — да.

— Перестаньте же наконец шутить!

— Не могу; я так и вижу, как Джин срезает у папы локон и приговаривает: «Ну-ка, папа, благослови меня, а не то я выстригу тебе тонзуру», а тот отвечает: «Гм... ст-р-анно... не ожидал!..» — а Джин — чик другой локон и говорит: «Значит, все в порядке; ты мне даешь сто фунтов в год, не то прощайся с бровями!»

— Джин — сущее чудовище. Обещайте хотя бы, что не выйдете ни за кого другого!

— Ну а если я встречу кого-нибудь и он мне ужасно понравится,— неужели вы хотите, чтобы я погубила свою молодую жизнь?

— Хочу.

— Герой кинофильма ответил бы иначе.

— С вами и святой потеряет терпение.

— Но вы же не святой, а лейтенант флота. Да, кстати: я сегодня читала изречения на четвертой колонке «Таймса». Какой отличный получится шифр из «Песни песней» или из книги пророка Исаии. «Два со-сца твои, как двойни молодой серны, пасущейся между лилиями» может означать: «Восемь немецких линкоров в Дуврской гавани. Спешите». А «змей, прямо бегущий, и левиафан, змей изгибающийся», означало бы: «Эскадрой командует Тирпиц» — и так далее. Никто бы не сумел без ключа разгадать такой шифр.

— Я поеду побыстрее,— сказала, оглядываясь, Джин.

Стрелка спидометра подскочила до сорока... сорока пяти... пятидесяти... пятидесяти пяти... Моряк взял Динни под руку.

— Еще немножко — и нам крышка. Но это такой соблазнительный кусочек дороги.

Динни сидела с натянутой улыбкой; она терпеть не могла слишком быстрой езды и, когда Джин снова сбавила скорость до обычных тридцати пяти миль, жалобно сказала:

— Джин, у меня старомодные внутренности.

В Фолуэле она наклонилась вперед.

— Я не хочу показываться в Липпингхолле. Пожалуйста, поезжай прямо к вашему дому и спрячь меня где-нибудь, пока не разделаешься с отцом.

Укрывшись в столовой, Динни стала с любопытством разглядывать портрет, о котором рассказывала Джин. Внизу была надпись: «1553; Кэтрин Тасборо, пée¹ Фицгерберт, лет от роду 35; супруга сэра Уолтера Тасборо».

Это пожелтевшее от времени лицо над брыжами, кольцом охватившими длинную шею, и правда могло быть лицом Джин лет через пятнадцать,— тот же заостренный к подбородку овал, те же продолговатые колдовские глаза под темными ресницами; даже сложенные на корсаже руки были точной копией бронзовых рук Джин. Как сложилась жизнь этой удивительной прабабки, знают ли это сегодняшние Тасборо, и не повторит ли ее судьбу Джин?

— Как похожа на Джин, правда? — сказал молодой Тасборо. — Судя по всему, она была молодчага, говорят, инсценировала собственные похороны и бежала из Англии, когда Елизавета взялась за католиков в шестидесятых годах шестнадцатого века. Знаете, какая судьба ожидала тогда каждого, кто служит мессу? Выпустить кишки считалось сущим пустяком. Христианская религия! Нечего сказать! Наверно, эта дама не зевала. Держу пари, что ее не раз штрафовали за быструю езду.

— Какие новости с фронта военных действий?

— Джин отправилась в кабинет со старым номером «Таймса», полотенцем и ножницами. Остальное покрыто мраком неизвестности.

¹ урожденная (ф р а н ц.)

— Откуда бы нам подсмотреть, как они будут выходить из кабинета?

— Сядем на лестницу. Они нас не заметят, если не пойдут вверх.

Они вышли в холл и сели в темном уголке лестницы, откуда сквозь перила видна была дверь кабинета. Затаив дыхание, как в детстве, Динни ждала, не спуская глаз с этой двери. Вдруг оттуда появилась Джин с газетным кулком в одной руке и ножницами в другой и сказала, обернувшись назад:

— Помни, папочка, сегодня тебе нельзя выходить без шляпы.

В ответ послышалось нечто нечленораздельное, и дверь закрылась. Динни перегнулась через перила.

— Ну как?

— Все в порядке. Немножко поворчал: неизвестно, кто его теперь будет стричь и прочее, да и брак без оглашения он считает не совсем приличным; но сотню в год дает. Когда я уходила, он набивал трубку. — Она постояла, разглядывая кулек. — Ну, и зарос же он. Сейчас пообедаем, Динни, а потом двинемся.

За обедом священник был галантен, как всегда, и Динни смотрела на него с восхищением. Этот пожилой вдовец вот-вот лишится единственной дочери, которая несет все хлопоты по дому и приходу и даже стрижет отца, и все же он остается невозмутимым и даже не жалуется. Чем это объяснить — воспитанием, добродушием или чувством облегчения, совсем недостойным христианина? Этого Динни не могла решить, и сердце ее сжалось. Скоро на его месте окажется Хьюберт. Она внимательно посмотрела на Джин. Да, эта тоже сумеет справиться собственные похороны, если не чужие; но командовать она будет грациозно, не надсаживая горла, и никогда не станет вести себя как вульгарная кумушка. Эх, если б у них с Хьюбертом хватило чувства юмора!

После обеда священник отвел Динни в сторону.

— Моя милая Динни, — если вы разрешите вас так называть, — что вы на это скажете? И что говорит ваша мама?

— Нам обоим это напоминает детский стишок: «Филин и кошечка поехали кататься по морю...»

— «... в красивой зеленой лодочке». Все это так, боюсь только, что у Джин и вашего брата нет «целой кучи денег», как у филина и кошечки. Однако, — добавил он задумчиво, — Джин хорошая девочка и очень... м-м... энергичная. Я рад, что наши две семьи снова... м-м... соединятся. Мне ее будет не доставать, но нельзя же быть... м-м... эгоистом.

— Не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — рискнула сказать Динни.

В голубых глазах священника мелькнул веселый огонек.

— Да, — сказал он, — нет худа без добра. Джин и... чтобы я был посаженным отцом. Вот ее метрика на случай... м-м... если возникнут вопросы. Она совершеннолетняя. — Он передал Динни пожелтевшую бумажку. — Господи боже мой! — вздохнул он от души. — Господи боже мой!

Динни так и не решила, стоит ли его жалеть. Скоро они снова отправились в путь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Высадив Алана Тасборо у дверей его клуба, обе девушки поехали дальше, в Челси. Телеграммы Динни не посылала, надеясь на свое счастье. У дома на Окли-стрит она вышла из машины и позвонила. Дверь открыла пожилая горничная, лицо у нее было испуганное.

— Миссис Ферз дома?

— Нет, мисс, дома капитан Ферз.

— Капитан Ферз?

Оглядевшись по сторонам, горничная быстро зашептала:

— Да, мисс; мы совсем голову потеряли; не знаем, что и делать. Сегодня днем является вдруг капитан Ферз, а нам ничего и не говорили. И хозяйки нет дома. Ей принесли телеграмму, а ее взял капитан Ферз; потом кто-то звонил ей два раза по телефону, но передавать ничего не велел.

Динни подыскивала слова, чтобы спросить про самое страшное.

— Как... как он выглядит?

— Не знаю, что и сказать, мисс. Ни словом не обмолвился, только спросил: «Где хозяйка?» Выглядит-то он неплохо, но мы ведь ничего не знали, вот мы и боимся; дети дома, а где хозяйка — не знаем.

— Подождите минутку, — сказала Динни и вернулась к машине.

— В чем дело? — спросила Джин, выходя к ней.

Девушки посоветовались на тротуаре, а в дверях стояла горничная и не сводила с них встревоженных глаз.

— Надо разыскать дядю Адриана, — сказала Динни. — Ведь тут дети.

— Поезжай, а я войду и подожду тебя. У горничной такой испуганный вид.

— Кажется, он был буйным, Джин; знаешь, а вдруг он сбежал?

— Бери машину. Ничего со мной не случится.

Динни сжала ее руку.

— Я возьму такси; тогда у тебя будет машина, если придется уехать.

— Хорошо. Объясни ей, кто я такая, и поезжай. Уже четыре часа.

Динни кинула взгляд на дом и вдруг заметила в окне столовой чье-то лицо. Она видела Ферза всего два раза, но тут же его узнала. Забыть его было невозможно: лицо его было словно пылающий за решеткой огонь — резко очерченное, суровое, широкоскулое, с усами щеточкой; в густых темных волосах проступала седина, отливавшие сталью глаза беспокойно мерцали. Глаза эти уставились сейчас на нее с такой горячей напряженностью, что у нее защемило сердце, и она отвернулась.

— Не смотри вверх! Он там, в окне, — сказала она Джин. — Если бы не глаза, он выглядел бы совсем нормальным... Давай либо вместе уйдем, либо обе останемся.

— Нет, со мной ничего не случится, поезжай. — И Джин вошла в дом.

Динни поторопилась уйти. Ее потрясло это неожиданное появление человека, которого все считали неизлечимо больным. Она не знала, при

каких обстоятельствах Ферз поместили в клинику, да и вообще знала о нем только одно — он совершенно измучил Диану перед тем, как окончательно свихнулся; она решила, что найти выход сможет только Адриан. Дорога в музей казалась нескончаемо долгой, но Адриан еще не ушел, и Динни сбивчиво ему все рассказала, а он только с ужасом на нее глядел.

— Ты не знаешь, где Диана? — спросила она в заключение.

— Вечером она будет у Флер и Майкла. Я тоже туда собирался. Но где она сейчас, я не знаю. Поедем на Окли-стрит. Все это как гром среди ясного неба.

Они сели в такси.

— Дядя, а ты бы не мог позвонить в клинику?

— Нет, сначала я должен поговорить с Дианой. По-твоему, он выглядит нормально?

— Да. Только глаза... но я помню, — они у него всегда были такие. Адриан схватился за голову.

— Какой ужас! Бедная моя девочка!

У Динни заныло сердце: ей было мучительно жаль их обоих.

— Как страшно, — добавил Адриан, — что возвращение этого бедняги вызывает во мне только ужас. Господи! Плохо дело, Динни, плохо дело!

Динни сжала его руку.

— Дядя, а что говорит закон?

— Бог его знает! Официально он никогда не был признан сумасшедшим. Диана этого не хотела. Он находился в частной клинике.

— Но не мог же он выйти сам, по своей воле, без того, чтобы об этом не сообщили близким?

— Кто знает, что там произошло? Может, он такой же безумный, как раньше, и сбежал оттуда в минуту просветления. Но что бы мы ни делали, — и тут Динни глубоко тронуло выражение его лица, — нам надо думать не только о себе, но и о нем. Разве можно мучить его еще больше? Бедный Ферз! Любая беда — болезнь, бедность, пороки, преступления, — ничто не может быть трагичнее психического расстройства.

— Дядя, — сказала Динни, — а что будет ночью?..

Адриан застонал.

— От этого мы должны ее избавить любым путем.

В конце Окли-стрит онипустили такси и дошли до двери пешком...

Войдя в дом, Джин сказала горничной:

— Я мисс Тасборо. Мисс Динни поехала за мистером Червеллом. Гостиная у вас наверху? Там я и подожду. Он уже видел детей?

— Нет, мисс. Он пришел полчаса назад. Они наверху, в классной комнате, с ними мадемуазель.

— Тогда я буду посередине, — сказала Джин. — Проводите меня наверх.

— Посидеть с вами, мисс?

— Нет. Подкараульте миссис Ферз и сразу ее предупредите.

Горничная посмотрела на Джин с восхищением и оставила ее в гостиной. Приоткрыв дверь, Джин прислушалась. Все было тихо. Она принялась неслышно расхаживать взад и вперед, от двери к окну. Как

только она увидит Диану, она побежит к ней вниз; если же Ферз поднимется по лестнице, она выйдет ему навстречу. Сердце ее билось чуть быстрее, чем обычно, но она и не думала волноваться. Так она продежурила четверть часа и вдруг услышала за спиной шорох: обернувшись, она увидела, что в дверях стоит Ферз.

— Ах!— сказала она.— Я ожидаюсь миссис Ферз; вы, наверно, капитан Ферз?

Он поклонился.

— А вы?

— Джин Гасборо. Боюсь, что вы меня не знаете.

— Кто это был с вами?

— Динни Черрел.

— Куда она пошла?

— По-моему, повидать своего дядю.

Ферз издал странный звук, какое-то подобие смеха.

— Адриана?

— Кажется, да.

Он постоял, обводя горящими глазами уютную комнату.

— Здесь еще уютнее, чем прежде, — сказал он, — я некоторое время отсутствовал. Вы знакомы с моей женой?

— Я познакомилась с ней у леди Монт.

— В Липпингхолле? Диана здорова?

Слова вырывались у него отрывисто и с каким-то жадным нетерпением.

— Да, совершенно здорова.

— И все такая же красивая?

— Очень.

— Спасибо.

Разглядывая его с ног до головы из-под длинных ресниц, Джин не заметила в нем и тени сумасшествия. Выглядел он так, как ему и полагалось, — военный в штатском, очень подтянутый, сдержанный, вет и все... если бы не глаза...

— Я не видел жены четыре года, — продолжал он, — и хочу встретиться с ней наедине.

Джин двинулась к двери.

— Я пойду, — сказала она.

— Нет!— крикнул он с неожиданной резкостью.— Стойте!

И он загородил собой дверь.

— Почему?

— Я сам хочу сказать ей, что вернулся.

— Конечно.

— Тогда оставайтесь здесь!

Джин вновь отошла к окну.

— Как хотите, — сказала она.

Наступило молчание.

— Что вы обо мне слышали?— неожиданно спросил он.

— Почти ничего. Я знаю, что вы были нездоровы.

Он отошел к двери и шагнул к ней.

— Вы находите, что со мной что-то неладно?

Джин подняла голову и выдержала его взгляд, наконец он сам отвел глаза.

— Нет. Вы выглядите совершенно здоровым.

— Я и в самом деле здоров. Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо.

Джин села.

— Вот вот,— сказал он.— Смотрите на меня, смотрите.

Джин стала смотреть себе под ноги. У Ферза снова вырвалось нечто вроде смеха.

— Вы, видно, никогда не были психически больны, а не то вы бы знали,— все смотрят на вас, и вам приходится все время на всех смотреть. Ну вот, теперь я пойду вниз. Au revoir¹.

Он быстро повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. Джин не шелохнулась, выжидая, не войдет ли он снова. Она сидела как побитая, ее знобило, будто она долго простояла возле огня. Дверь была закрыта, и Джин поднялась, чтобы ее открыть. Но она оказалась запертой. Джин постояла, раздумывая, как ей быть. Позвонить? Постучать и позвать горничную? Она решила не делать ни того, ни другого, подошла к окну и стала глядеть на улицу. Скоро вернется Динни, и она ее окликнет. Джин хладнокровно припоминала всю сцену с начала до конца. Он ее запер, чтобы никто не помешал его встрече с женой,— он всех подозревает, естественно! На миг в ее юной, но не очень чувствительной душе мелькнуло сострадание: ужасно, когда на тебя смотрят как на сумасшедшего! Бедняга! Она прикинула, удастся ли вылезти из окна, не привлекая внимания прохожих, и, решив, что не удастся, стала ждать, не появится ли на улице помощь. И вдруг, без всякого повода, она вздрогнула. Глаза! Как страшно быть его женой! Джин пошире распахнула окно и высунулась наружу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Увидев высунувшуюся из окна Джин, Динни и Адриан застыли на ступеньках крыльца.

— Меня заперли в гостиной,— негромко сказала Джин.— Неплохо бы вам меня выпустить.

Адриан отвел племянницу к машине.

— Подожди здесь, Динни. Я пришлю ее сюда. Не надо устраивать сцен.

— Осторожно, дядя! Ты сейчас как Даниил, вступающий в ров со львами.

Адриан слабо улыбнулся и позвонил. Ему открыл сам Ферз.

— А! Черрел? Входите.

Адриан протянул руку, но она повисла в воздухе.

— Вряд ли я могу рассчитывать на радушный прием,— сказал Ферз.

— Что вы, дорогой мой...

¹ До свиданья (франц.).

— Нет, я вряд ли могу рассчитывать на радушный прием, но я хочу повидать Диану. Не пытайтесь мне помешать, Черрел,— ни вы, ни кто другой.

— Никто и не собирается вам мешать. Вы не возражаете, если я схожу за Джин Тасборо? Динни ждет ее в машине.

— Я ее запер,— угрюмо сказал Ферз.— Вот ключ. Отправьте ее домой.

Он ушел в столовую.

Джин стояла за дверью.

— Ступайте к Динни,— сказал Адриан,— и уезжайте обе. Я справлюсь сам. Надеюсь, ничего с вами не случилось?

— Он меня только запер.

— Скажите Динни, что Хилари наверняка сможет устроить вас обеих у себя. Поезжайте к нему, а я буду знать, где вас найти, если вы мне понадобитесь. Вы храбрая девушка.

— Подумаешь,— сказала Джин.— До свиданья! — И сбегала с лестницы.

Адриан услышал стук входной двери и медленно спустился в столовую. Ферз стоял у окна и смотрел, как отъезжают девушки. Он круто повернулся. Это было движение человека, привыкшего, что за ним подглядывают. Ферз мало изменился: немного пополнил, выглядел спокойнее, в волосах прибавилось седины — вот и все. Одет он был щегольски, как и всегда, держал себя уверенно, глаза его... но вот глаза-то...

— Да,— сказал Ферз, словно прочитав его мысли,— конечно, вам меня жаль, но вы хотели бы, чтобы я умер. Да и кто бы не хотел? Вряд ли мне было сдохнуть. Но теперь я в здравом уме, Черрел, имейте это в виду.

В здравом уме? Да, он казался совсем нормальным. Но сможет ли он выдержать хоть малейшее нервное напряжение?

Ферз заговорил снова:

— Все вы думали, что у меня это навсегда. Месяца три назад я стал поправляться. Когда я это понял, я никому ни гугу. Те, кто к нам приставле и,— в голосе его зазвучала горечь,— ни за что не хотят поверить, что ты выздоровел, и если бы дело было за ними, мы бы вовсе не выздоравливали. Им это, понимаете, невыгодно.— И глаза Ферза, сверля собеседника, казалось, добавляли: «И вам и ей тоже».— Вот я и ни гугу. У меня хватило силы воли, выздоровев, притворяться три месяца. Только с неделю, как я дал им понять, что могу отвечать за свои поступки. Им нужно куда больше недели, чтобы они решились написать об этом домой. А я не хотел, чтобы они писали домой. Я хотел приехать прямо сюда, такой, как я есть. Я не желал, чтобы Диану или кого бы то ни было предупреждали. И должен был проверить себя, что я и сделал.

— Ужасно!— чуть слышно прошептал Адриан.

Ферз снова впился в него глазами.

— Вы были влюблены в мою жену, Черрел, и все еще ее любите. Ну и как?

— По-прежнему мы только друзья,— ответил Адриан.

— Так я вам и поверил.

— Ваше дело. Но мне нечего больше сказать, — разве только одно: как и всегда, я думаю прежде всего о ней.

— Так вот почему вы здесь?

— Боже мой, разве вы не понимаете, какое это будет для нее потрясение? Неужели вы не помните, что она вынесла в свое время? Неужели вы думаете, что она это забыла? Разве не разумнее будет по отношению к ней, — да и к вам тоже, — если вы поедете, ну хотя бы ко мне, и на первый раз встретитесь с ней там?

— Нет; я встречусь с ней здесь, в моем собственном доме.

— Здесь она прошла через ад. Может, вы и правильно сделали, скрыв свою поправку от врачей, но вы, безусловно, не правы, если собираетесь так ошеломить Диану.

Ферз яростно взмахнул рукой.

— Вы не хотите меня к ней пускать!

Адриан опустил голову.

— Допустим, — мягко произнес он. — Но послушайте, Ферз, вы ведь можете понять положение не хуже меня. Поставьте себя на ее место. Вообразите, что она входит — как может войти сейчас каждую минуту — и неожиданно видит вас, ничего не подозревая о вашем выздоровлении; а ведь ей нужно время, чтобы в него поверить, после всего, что еще так свежо в ее памяти. Ведь вы же сами себя режете.

Ферз застонал.

— Но я наверняка себя зарежу, если спасую... Вы думаете, я сейчас кому-нибудь верю? Попробуйте сами... попробуйте пожить там четыре года, сами увидите! — Глаза его окинули комнату. — Попробуйте все время находиться под надзором, как набедокуривший мальчишка. Последние три месяца, совсем уже здоровый, я насмотрелся, как их там лечат... Если уж собственная жена не поверит, что я в здравом уме и твердой памяти, — чего мне ждать от других?

Адриан подошел к нему.

— Спокойней! — сказал он. — Вы делаете ошибку. Только она и знала вас в самые худшие минуты. Для нее все это сложнее, чем для кого бы то ни было.

Ферз закрыл лицо руками.

Адриан ждал ответа, бледный от волнения; но, когда Ферз отнял руки от лица, Адриан не смог вынести его взгляда и отвел глаза.

— Одиночество! — сказал Ферз. — Попробуйте свихнуться, Черрел, тогда вы будете знать, что такое полное одиночество до конца ваших дней.

Адриан положил руку ему на плечо.

— Послушайте, дружище, в моей берлоге есть свободная комната, — переезжайте ко мне, пока все не наладится.

Внезапно лицо Ферза исказилось; он бросил острый, недоверчивый взгляд на Адриана, но тут же успокоился, в глазах его мелькнуло выражение благодарности, ее сменила горечь, наконец он смягчился опять.

— Вы всегда были порядочным человеком, Черрел; но нет, спасибо... не могу. Я должен остаться здесь. И у зверя есть нора, — моя нора здесь.

Адриан вздохнул.

— Что ж, хорошо; тогда подождем ее. Вы уже видели детей?

- Нет. Они меня помнят?
- Не думаю.
- Они знают, что я жив?
- Да. Они знают, что вы больны и в отъезде.
- А про это?.. — Ферз коснулся своего лба.
- Нет. Давайте поднимемся к ним.

Ферз покачал головой, и в этот миг Адриан увидел в окно, что идет Диана. Он спокойно направился к двери. Что делать, что ей сказать? Он уже взялся за ручку, но Ферз оттолкнул его и прошел в холл. Диана отперла дверь своим ключом. Адриан увидел, как мертвенно побледнело ее лицо под маленькой шляпкой. Она прислонилась к стене.

— Не волнуйтесь, Диана, — поспешил сказать Адриан и распахнул дверь в столовую.

Она оторвалась от стены и прошла мимо них в столовую; Ферз шагнул за ней.

— Если я вам понадобится, я буду здесь, — сказал Адриан и закрыл за ними дверь.

Муж и жена стояли друг против друга, тяжело дыша, словно пробежали сто ярдов, а не прошли всего три.

— Диана! — сказал Ферз. — Диана!

Казалось, она лишилась дара речи, и он повысил голос:

— Я совсем здоров. Ты мне не веришь?

Она опустила голову и продолжала молчать.

— Неужели у тебя не найдется для меня ни слова?

— Это... это от неожиданности.

— Я вернулся совершенно здоровым. Я здоров уже три месяца.

— Я рада... так рада.

— Боже мой! Ты такая же красивая.

Он вдруг схватил ее, крепко прижал к себе и стал жадно целовать. Когда он ее отпустил, она упала на стул, задыхаясь и глядя на него с таким ужасом, что он закрыл лицо руками.

— Рональд... я не могу... не могу, чтобы все было, как раньше. Не могу... не могу!

Он бросился перед ней на колени.

— Я не хотел тебя пугать. Прости меня!

В полном изнеможении оба встали и отошли друг от друга.

— Нам надо поговорить спокойно, — сказал Ферз.

— Да.

— Ты не хочешь, чтобы я жил здесь?

— Это твой дом. Поступай так, как тебе будет лучше.

У него опять вырвалось нечто похожее на смех.

Для меня будет лучше, если и ты, и все остальные станете относиться ко мне так, будто со мной ничего не случилось.

Диана молчала. Она молчала так долго, что у него снова вырвался тот же странный смешок.

— Не надо! — сказала она. — Я постараюсь. Но я должна... у меня должна быть... своя комната!

Ферз поклонился. Внезапно он метнул на нее подозрительный взгляд.

- Ты любишь Черрела?
- Нет.
- Кого-нибудь другого?
- Нет.
- Значит, боишься?
- Да.
- Понимаю. Естественно. Что ж, не нам, богом обиженным, ставить условия. Бери, что дают. Пошли, пожалуйста, туда телеграмму, чтобы они прислали мои вещи. Тогда они не смогут поднять шум. Я ведь ушел оттуда, не простившись. Наверно, мы и должны им еще что-нибудь.
- Конечно. Я обо всем позабочусь.
- Можем мы теперь отпустить Черрела?
- Я ему скажу.
- Позволь мне.
- Нет, Рональд, это я сделаю сама.— И она решительно прошла мимо него.

Адриан стоял, прислонившись к стене напротив двери. Подняв на нее глаза, он попытался улыбнуться; он угадал развязку.

— Рональд будет жить здесь, но отдельно. Друг мой, спасибо за все. Пожалуйста, снесите с клиники от моего имени. Я буду сообщать вам обо всем. Теперь мы пойдем с ним к детям. Прощайте!

Адриан поцеловал ей руку и вышел из дома.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Хьюберт Черрел стоял на пороге отцовского клуба на Пел-Мел, — это был клуб для высшего офицерства, куда ему еще не было доступа. Ему было немного не по себе, потому что он питал к отцу уважение, несколько необычное в наши дни, когда с отцом обращаются как с недорослем или говорят о нем «мой старикан». Вот почему он волновался, переступая порог этого дома, где люди крепче, чем где бы то ни было, цеплялись за привилегии и предрассудки своего века. Впрочем, в тех людях, которые находились в комнате, куда его провели, незаметно было ни заботы о своих привилегиях, ни предрассудков. Невысокий живой человек с бледным лицом и щетинистыми усиками покусывал кончик пера, пытаясь сочинить письмо в «Таймс» о положении в Ираке; скромного вида бригадный генерал с лысиной и седыми усами обсуждал с высоким скромного вида подполковником особенности флоры на острове Кипр; какой-то совершенно квадратный человек с квадратным лицом и свирепым взглядом сидел на подоконнике так задумчиво, как будто только что похоронил свою тетку и раздумывал, не переплыть ли ему летом Ла-Манш; а сэр Конвей читал «Альманах Уитекера».

— А, Хьюберт! Здесь тесно. Пойдем в холл.

Хьюберт сразу почувствовал, что не только он собирается сообщить кое о чем отцу, но и тот хочет сообщить кое о чем ему. Они уселись в нише.

- Зачем ты приехал?
- Папа, я собираюсь жениться.
- Жениться?

— На Джин Тасборо.
— Да ну!
— Мы хотим взять особое разрешение и не устраивать никакой шумихи.

Генерал покачал головой.

— Она прекрасная девушка, и я рад за тебя, но дело в том, что положение твое осложняется. Я сегодня кое-что об этом узнал.

Хьюберт вдруг заметил, какой у отца измученный вид.

— Вся каша заварилась из-за туземца, которого ты пристрелил. Требуешь твоей выдачи по обвинению в убийстве.

— Что?

— Чудовищная история, но мне не верится, что они будут на этом настаивать, ведь, ты говоришь, он напал на тебя первый,— к счастью, у тебя остался на руке шрам. В боливийских газетах, по-видимому, поднялась дьявольская буча, а все эти туземцы стоят друг за друга.

— Мне надо сейчас же повидать Халлорсена.

— Надеюсь, правительство не станет торопиться.

Отец и сын долго сидели в большом холле, молча уставившись в пространство с одинаковым выражением лица. Где-то в глубине души они давно побаивались, что дело примет такой оборот, но ни тот, ни другой не позволяли себе в этом сознаться; немудрено, что удар оказался для них таким болезненным. Генерал страдал еще больше, чем Хьюберт. Мысль о том, что его единственного сына потащат на другой конец света по обвинению в убийстве, мучила его, как кошмар.

— Бесполезно терзаться заранее, Хьюберт,— сказал он наконец,— если в стране сохранилась хоть капля здравого смысла, никто этого не допустит. Я старался припомнить, у кого из наших знакомых есть настоящие связи. В таких делах я беспомощен,— а ведь есть люди, перед которыми все двери открыты и они умеют этим пользоваться. Давай-ка сходим к Лоренсу Монту; он знаком с Саксенденом, это я знаю, и, наверно, еще с кем-нибудь в министерстве иностранных дел. Об иске Боливии мне рассказал Топшем, но сделать он ничего не может. Пройдем-ся пешком. Нам полезно.

Хьюберт был глубоко тронут, что отец так близко принимает к сердцу его неприятности; он ласково взял его под руку, и они вышли на улицу. На Пикадилли генерал, явно пересиливая себя, заговорил о постороннем:

— Ох, не по душе мне все эти перемены.

— Какие же тут перемены, разве что Девонширский дворец перестроили.

— Да, как ни странно: дух старой Пикадилли еще жив, его не убьешь. Правда, теперь здесь больше не встретишь ни одного цилиндра, но, в сущности, все осталось по-старому. Когда я первый раз прошелся по Пикадилли после войны, я испытывал то же, что и тогда, когда зеленым юнцом вернулся из Индии. Каждый раз радуешься, что ты наконец опять дома.

— Да, по ней как-то странно тоскуешь. Я ловил себя на этом и в Месопотамии, и в Боливии. Закроешь, бывало, глаза — и вот Пикадилли перед тобой.

— Дух Англии...— начал было генерал и умолк, словно удивившись, что вдруг заговорил так высокопарно.

— Даже американцы и те это чувствуют,— заметил Хьюберт, когда они свернули на Хаф-Мун-стрит.— Халлорсен говорил мне, что у них нет ничего подобного,—«никакого средоточия национального духа», как он выразился.

— А все-таки их национальный дух чувствуется,— сказал генерал.

— Конечно, но чем они берут? Может быть, своим быстрым ростом?

— А куда их это привело? Повсюду и никуда. Нет, скорее всего это их деньги.

— Знаешь, что я заметил,— большинство людей на этот счет ошибается,— сами американцы не так уж любят деньги. Главное, побыстрее их заработать, но они предпочитают так же быстро их потерять, лишь бы не копить понемножку.

— Плохо, когда у страны нет души,— сказал генерал.

— Страна у них чересчур велика. И все-таки у них есть что-то вроде души: национальная гордость.

Генерал кивнул.

— Смешные старые улочки. Помню, мы шли здесь с отцом с Керзон-стрит в клуб Сент-Джеймс в тысяча восемьсот восемьдесят втором году — в тот день, когда я поступил в Харроу; ни одного камня здесь с тех пор не сдвинули.

Болтая о чем угодно, кроме того, что их волновало, они дошли до Маунт-стрит.

— А вот тетя Эм; не говори ей ничего.

В нескольких шагах от них величественно плыла домой леди Монт. Они нагнали ее почти у самых дверей.

— Кон,— сказала она,— ты похудел.

— Детка, я никогда не был полным.

— Да. Хьюберт, я хотела у тебя что-то спросить. Вспомнила! Но Динни говорит, что у тебя не было бриджей с самой войны. Как тебе понравилась Джин? Правда, хорошенькая?

— Да, тетя Эм.

— Ее даже из школы не выгнали.

— А почему ее должны были выгнать?

— Ну, кто их знает. Но я ее никогда не боялась. Вам нужен Лоренс? Теперь он занят Вольтером и Свифтом. Зря, их и так уже разобрали по косточкам, но ему нравится в них копаться, потому что они кусаются. А как насчет этих мулов, Хьюберт?

— В каком смысле?

— Никак не запомню, осел у них самец или самка?

— Осел — самец, тетя Эм, а самка — кобыла.

— Да, да, и у них не бывает детей,— какое счастье. Где Динни?

— Где-то в городе.

— Ей пора замуж.

— Почему?— спросил генерал.

— Просто так. Ген говорит, из нее выйдет хорошая фрейлина — она не эгоистка. Вот в чем беда!

И, вынув из сумочки ключ от входной двери, леди Монт положила его в скважину.

— Не могу приучить Лоренса пить чай... а вы хотите?

— Нет, спасибо.

— Он пыхтит у себя в библиотеке.— Поцеловав брата и племянника, она поплыла наверх.— Ничего не понимаю...— донеслось до них, когда они входили в библиотеку.

Сэра Лоренса они застали погруженным в труды Вольтера и Свифта,— он писал воображаемый диалог между этими двумя светочами ума. Рассказ генерала он выслушал мрачно.

— Я слышал, что Халлорсен покаялся в своих злодеяниях,— сказал он, когда шурин окончил,— это дело рук Динни. Пожалуй, нам надо с ним повидаться — не здесь, у нас нет повара, Эм все еще худеет,— мы можем поужинать в «Кофейне».

И он поднял телефонную трубку.

Профессора Халлорсена ожидали в гостинице к пяти часам и обещали сразу же все ему передать.

— Такие дела скорее идут по ведомству министерства иностранных дел, чем полиции,— продолжал сэра Лоренс.— Сходим-ка мы повидаться со старым Шропширом. Он должен был хорошо знать твоего отца, Кон, а его племянник Бобби Феррар — одно из немеркнущих светил министерства иностранных дел. Старый Шропшир всегда сидит дома.

В особняке Шропширов сэра Лоренс спросил:

— Можно видеть маркиза, Поммет?

— Кажется, у него сейчас урок, сэра Лоренс.

— Урок — чего?

— Гейнштейна... кажется так, сэра Лоренс?

— Значит, слепой взял в поводыри слепого, и надо его выручать.

Впустите нас при первой же возможности, Поммет.

— Слушаю, сэра Лоренс.

— Восемьдесят четыре года — и изучает Эйнштейна! Кто сказал, что аристократия вырождается? Хотел бы я, однако, взглянуть на того типа, который его учит: вот, верно, мастер заговаривать зубы,— со старым Шропширом шутки плохи.

В эту минуту в холле появился человек аскетического вида с изрядной лысиной и холодным, непроницаемым взглядом; взяв со стула шляпу и зонтик, он вышел на улицу.

— Поглядите на него!— сказал сэра Лоренс.— Интересно, сколько он берет за урок? Эйнштейн — непостижим, он вроде электрона или ви-тамина; это самый наглядный случай вымогательства, какой мне попался в жизни. Пойдем.

Маркиз Шропшир разгуливал по кабинету, покачивая головой в такт своим мыслям.

— А, молодой Монт!— сказал он, повернув к ним энергичное румяное лицо с седой бородкой.— Видали этого человека? Если он вам предложит давать уроки по теории Эйнштейна — не соглашайтесь. Он так же не может объяснить, что такое ограниченное и в то же время беспредельное пространство, как и я.

— Этого не может и с...

— Я еще слишком молод, чтобы заниматься чем-нибудь, кроме точных наук,— сказал маркиз.— И я его прогнал. С кем имею удовольствие познакомиться?..

— Мой шурин, генерал сэр Конвей Черрел, и его сын, капитан Хьюберт Черрел, кавалер ордена «За особые заслуги». Вы, наверно, помните отца Конвея — он был послом в Мадриде.

— Да, да, ну, конечно! Я знаю и вашего брата Хилари — огонь, а не человек. Садитесь! Садитесь, юноша. В чем дело, Монт-младший,— вы не насчет электричества?

— Не совсем, маркиз; скорее по поводу выдачи преступника.

— Вот как?

Маркиз поставил ногу на стул и облокотился о колено, подперев рукой подбородок. Пока генерал рассказывал, он продолжал стоять в такой позе, разглядывая Хьюберта,— тот сидел, сжав губы и опустив глаза. Когда генерал окончил, маркиз спросил:

— Кажется, ваш дядя сказал, что вы кавалер ордена «За особые заслуги». Получили на войне?

— Да, сэр.

— Сделаю, что смогу. Покажите, пожалуйста, шрам.

Хьюберт расстегнул запонку, закатал левый рукав и показал руку; длинный злоеший шрам тянулся от кисти почти до самого локтя.

Маркиз тихонько свистнул сквозь зубы,— они еще были у него настоящие.

— Легко отделались, молодой человек.

— Да, сэр. Я заслонился рукой как раз, когда он ударил.

— А потом?

— Отскочил и застрелил его, когда он бросился на меня опять. Тут я потерял сознание.

— Вы говорите, что избили этого человека за то, что он плохо обращался с мулами?

— Он постоянно их мучил.

— Постоянно?— повторил маркиз.— Кое-кто полагает, что владельцы боен и Зоологическое общество тоже мучают животных, но я что-то не слышал, чтобы их там били. Как видите, на вкус и на цвет товарищей нет. Дайте-ка подумать, чем я могу помочь. Скажите, Монт-младший, Бобби в городе?

— Да, маркиз. Вчера я видел его в «Кофейне».

— Я позову его завтракать. Если не ошибаюсь, он не разрешает детям разводить кроликов и держит собаку, которая кусается. Это, вероятно, то, что нам надо. Всякий, кто любит животных, с радостью избьет всякого, кто их не любит. А теперь, прежде чем уйти, скажите-ка мне, Монт-младший, что вы об этом думаете?

Маркиз пошел в угол, взял прислоненный к стене холст и повернул его к свету. На нем была весьма приблизительно изображена раздетая молодая женщина.

— Это Стейнвич,— сказал маркиз.— Сможет она кого-нибудь соблазнить, а? если ее повесить?

Сэр Лоренс вставил в глаз монокль.

— Школа продолговистов,— сказал он.— Вот что получается, маркиз, когда живут с высокими женщинами. Нет, соблазнить она никого не может, зато расстроит пищеварение,— зеленое тело, волосы цвета помидора, вся в кляксах. Вы ее купили?

— Да как вам сказать...— ответил маркиз,— но, говорят, она дорого стоит. А вы... вы бы случайно ее не взяли?

— Для вас, сэр, я готов на многое, но только не на это! Нет,— повторил сэр Лоренс и попятился,— только не на это!

— Я так и думал,— сказал маркиз,— а ведь говорят, в ней есть что-то динамическое! Ну, ничего не поделаешь. Мне нравился ваш отец, генерал,— добавил он серьезным тоном,— и если слово его внука весит сейчас меньше, чем слово кучки погонщиков мулов, значит, мы дошли в Англии до такого альтруизма, что вряд ли выживем. Я вам сообщу, что скажет мой племянник. До свидания, генерал; до свидания, милый юноша,— шрам у вас ужасный. До свидания, Монт-младший, вы неисправимы.

Спускаясь по лестнице, сэр Лоренс взглянул на часы.

— Пока что,— сказал он,— все дело заняло у нас двадцать минут... ну, скажем, двадцать пять, считая дорогу. Таких темпов нет даже в Америке, а мы еще чуть было не приобрели в придачу продолговатую молодую женщину. А теперь в «Кофейню», к Халлорсену!

Они свернули на Сент-Джемс-стрит.

— Эта улица,— продолжал сэр Лоренс,— Мекка западного франта, как рю де ла Пэ — Мекка западной франтихи.

Он не без ехидства оглядел своих спутников. Вот образцовые экземпляры той породы, которая служит и предметом зависти, и предметом насмешек в целом мире! На всем протяжении Британской империи мужчины, скроенные по их образу и подобию, трудятся и гоняют мячи во славу своей нации. Солнце никогда не заходит над людьми этой породы; история, взглянув на них, поняла, что их ничем не проймешь. Сатирики мечут в них свои стрелы, но стрелы эти отскакивают, словно от невидимой брони. «Эта порода,— думал сэр Лоренс,— спокойно шествует через века, по всему земному шару; у нее нет тонкости в обхождении, она не блещет ни образованностью, ни силой, ни вообще чем бы то ни было, зато в ней живет скрытое, неистребимое убеждение, что она-то и есть соль земли».

— Да,— сказал он на пороге «Кофейни»,— по-моему, это — пуп земли. Другие могут утверждать, что — Северный полюс, Рим, Мон-мартр, а я говорю — «Кофейня», самый старый и, судя по канализации, самый скверный клуб в мире. Пойдем мыть руки, или, может, не будем доставлять себе напрасных мучений? Решено. Сядем здесь и подождем апостола заморской канализации. По-моему, он человек неугомонный. Жаль, что мы не можем сравнить его с маркизом. Я бы поставил на старика.

— Вот и он,— сказал Хьюберт.

В низеньком холле самого старого клуба на свете американец казался особенно рослым.

— Здравствуйте, сэр Лоренс Монт...— произнес он, здороваясь.— А! Черрел! Генерал сэр Конвей Черрел? Считаю за честь познакомиться с вами, генерал. Чем могу служить, господа?

Он слушал рассказ сэра Лоренса, и лицо его все больше вытягивалось.

— Вот безобразие!— сказал он.— Этого я не допущу. Сейчас же пойду к послу Боливии. И, знаете, Черрел, я записал адрес вашего слуги Мануэля; дам телеграмму американскому консулу в Ла-Пас, чтобы тот немедленно взял у него письменное свидетельство, подтверждающее ваш рассказ. Неслыханная глупость! Вы меня извините, господа, но я не могу сидеть спокойно, пока не нажму на все педали.

И, кивком простившись со всеми, он исчез. Трое англичан снова сели.

— Да, старому Шропширу трудно будет с ним тягаться,— сказал сэр Лоренс.

— Так вот он какой, этот Халлорсен,— сказал генерал.— Красивый парень.

Хьюберт не произнес ни слова. Он был тронут.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

По дороге к приходу святого Августина-на-Лужках встревоженные девушки долго молчали.

— Не знаю, кого из них больше жалеть,— сказала вдруг Динни.— Никогда раньше не представляла себе, что такое сумасшествие. Люди обычно либо смеются над ним, либо прячут подальше от глаз. А по-моему, это — самое большое несчастье на свете, особенно когда у человека бывают минуты просветления и он сам это сознает.

Джин поглядела на нее с удивлением. Она привыкла, что Динни на-смешница, а тут в ней вдруг мелькнуло что-то новое.

— Куда теперь?

— Завернем сюда, нам надо пересечь Юстон-роуд. Вряд ли тетя Мэй сможет устроить нас у себя. У нее наверняка живет какой-нибудь начинающий борец с трущобами. Ничего, если она не сможет, мы позвоним Флер. Жаль, что я раньше об этом не подумала.

Опасения Динни сбылись: в доме священника яблоку негде было упасть, тетя Мэй куда-то ушла, зато они застали дядю Хилари.

— Раз уж мы здесь, надо выяснить, согласится ли дядя Хилари вас окрутить,— шепнула Динни.

Хилари впервые за три дня улучил свободный часок и, скинув пиджак, вырезал из дерева модель ладьи викингов. Строить миниатюрные модели старинных кораблей было его любимым отдыхом, у него теперь не оставалось ни времени, ни сил, чтобы лазить по горам. Правда, излюбленное занятие требовало больше времени, чем всякое другое, а времени у него было меньше, чем у кого бы то ни было, но это его не останавливало. Он познакомился с Джин и, извинившись, продолжал заниматься своим делом.

— Дядя Хилари, Джин выходит замуж за Хьюберта, — сразу же заявила Динни, — и они не хотят дожидаться оглашения; вот мы и приехали спросить, не можешь ли ты их обвенчать.

Рука Хилари, державшая стамеску, застыла, глаза хитро сощурились и превратились в щелки.

— Боитесь передумать? — спросил он.

— Вовсе нет, — ответила Джин.

Хилари посмотрел на нее внимательнее. С двух слов и одного взгляда он понял, что перед ним девица с характером.

— Я знаю вашего отца, — сказал Хилари, — он не любит торопиться.

— Папа не возражает.

— Это верно, — сказала Динни, — я его видела.

— А твой отец, дорогая?

— И он не будет возражать.

— Если он согласится, — сказал Хилари, снова принимаясь резать корму своего корабля, — я готов. Если вы твердо решили, какой смысл откладывать? — Он повернулся к Джин. — Из вас вышла бы альпинистка; вот только сезон прошел, а то я посоветовал бы вам провести медовый месяц в горах. Но почему бы вам не покататься по Северному морю на траулере?

— Дядя Хилари отказался от поста настоятеля собора, — пояснила Динни. — Он славится своим аскетизмом.

— Мне бы не пошла шляпа, которую носит епископ, Динни, но, признаюсь тебе, с тех пор мне и жизнь не мила. И почему я отказался от такого привольного житья? У меня было бы время вырезать модели всех кораблей на свете, писать письма в газеты и отращивать себе животик. Вот и тетя не перестает меня за это пилить. Всякий раз, когда я вспоминаю о том, чего добился дядя Франтик своей внушительной внешностью и как он выглядел после кончины, передо мной проходит моя загубленная жизнь, и мне ясно, что стоит только снять с меня хомут, как я рухну. А отцу вашему здорово достается, мисс Тасборо?

— Да нет, он больше прохлаждается, — сказала Джин, — но у нас ведь деревня.

— Дело не только в этом. Прохлаждаться и думать, будто что-то делаешь, — это так естественно.

— Если только это не противоестественно... — вставила Динни. — Да! Дядя, к Диане сегодня неожиданно явился капитан Ферз.

Хилари сразу перестал улыбаться.

— Ферз! Это либо очень страшная, либо очень благая весть. Адриан знает?

— Да; я за ним ездила. Он сейчас там с капитаном Ферзом. Дианы не было дома.

— Ты видела Ферза?

— Я вошла в дом и разговаривала с ним, — сказала Джин. — Он показался мне вполне нормальным, если не считать того, что он меня запер.

Хилари все еще стоял не шевелясь.

— Ну, до свиданья, дядя; мы едем к Майклу.

— До свидания и большое спасибо, мистер Черрел.

— Да,— рассеянно откликнулся Хилари,— будем надеяться на лучшее.

Девушки снова сели в машину и поехали в Вестминстер.

— Он явно ожидает худшего,— сказала Джин.

— Неудивительно,— ведь что бы ни случилось, все равно это будет ужасно.

— Спасибо!

— Да нет же!— сказала Динни.— Я вовсе не о тебе.

И ее снова поразила целеустремленность Джин: она сейчас может думать только об одном.

В Вестминстере, у самого дома Майкла, они встретили Адриана; он позвонил по телефону Хилари и узнал, куда они поехали. Убедившись, что Флер устроит их у себя, Адриан ушел, но Динни, встревоженная его видом, побежала за ним. Он шагал к реке, и она нагнала его на углу площади.

— Может, ты хочешь побыть один?

— Тебе, Динни, я всегда рад. Пойдем.

Динни взяла его под руку, и они быстро зашагали по набережной к западу. Она молчала, предоставляя ему начать разговор.

— Знаешь,— сказал он наконец,— я несколько раз ездил в клинику, чтобы узнать, как обстоят дела с Ферзом и хорошо ли там с ним обращаются. А последние месяцы я там не был и вот наказан. Но меня ужасно угнетали эти поездки. Я туда только что звонил. Они хотели за ним приехать, а я им запретил. К чему? Там подтверждают, что последние две недели он был совершенно нормальным. В таких случаях они, оказывается, выжидают месяц, прежде чем сообщить близким. Сам Ферз говорит, что он здоров уже три месяца.

— А что собой представляет эта клиника?

— Большой загородный дом,— там всего около десяти пациентов, у каждого своя комната и свой служитель. Наверно, это одна из лучших клиник такого рода. Но меня всегда приводила в ужас стена, утыканная гвоздями, которой обнесен участок, да и самый дух, который царит в клинике,— будто там что-то прячут. Или я слишком чувствителен, или сумасшествие действительно самое страшное бедствие на свете.

Динни стиснула его руку.

— Мне тоже так кажется. А как же он убежал?

— Ферз вел себя так разумно, что они совсем утратили осторожность; он как будто сказал, что приляжет, и улизнул во время обеда. Видно, Ферз заметил, что какой-то торговец появляется каждый день в один и тот же час,— пока сторож принимал покупки, он проскользнул в ворота, дошел до станции пешком, а там сел в первый поезд. Оттуда до Лондона всего двадцать миль. Когда они его хватились, он уже добрался до города. Завтра я туда поеду.

— Бедный дядя!— ласково сказала Динни.

— Что ж, дорогая, такова жизнь. Вот уж не думал, что попаду в такую перепалку! Сомнительное удовольствие.

— У него это наследственное?

Адриан кивнул.

— Дед его умер в смиренной рубашке. Если бы не война, с Ферзом, может быть, ничего и не случилось, но кто знает? Наследственное сумасшествие? Какая несправедливость! Нет, Динни, я не верю, что милосердие божие проявляется в форме, понятной нам, людям, или что оно похоже на наше милосердие. Всеобъемлющая созидательная сила, божественное провидение без начала и конца — это я еще могу допустить. Но заставить эту силу печься о нас, смертных, увы, невозможно. Взять хотя бы сумасшедший дом! О нем ведь страшно и подумать. А раз так, каково же несчастным, которых туда упрятали? Люди отзывчивые шарахаются от них и отдают их во власть людям черствым, — и тут уж да поможет им бог.

— Но, по-твоему, бог и не думает им помогать.

— Кто-то когда-то сказал, что помощь человека человеку — это единственное проявление божественного начала.

— А дьявольского начала?

— Зло, причиняемое человеком человеку, а я бы добавил: и животным...

— Но ведь это чистейший Шелли, дядя.

— Лестное сравнение. Но я, кажется, начинаю совращать тебя с пути истинного.

— Нельзя совратить с пути, по которому не идут. А вот и Окли-стрит. Хочешь, я зайду и спрошу Диану, не нужно ли ей чего-нибудь?

— Еще бы! Я подожду тебя на углу, и большое тебе спасибо.

Динни подошла к дому быстрым шагом, не глядя по сторонам. Ей открыла все та же горничная.

— Я не хочу входить, но вы узнайте потихоньку у миссис Ферз, все ли в порядке и не нужно ли ей чего-нибудь. И скажите, что я остановилась у миссис Майкл Монт, но готова в любую минуту приехать и побыть у вас, если миссис Ферз захочет.

Служанка ушла, а Динни вся превратилась в слух, но сверху не доносилось ни звука.

— Миссис Ферз велела вас от души поблагодарить, — сказала, вернувшись, горничная, — она непременно даст знать, если вы понадобится. Сейчас у нас все в порядке, мисс, но — боже мой! — мы совсем потеряли голову, хоть и надеемся на лучшее. И еще миссис Ферз вам кланяется и просит мистера Черрела не беспокоиться.

— Спасибо; передайте ей от нас привет и скажите, что мы всегда к ее услугам.

Таким же быстрым шагом, не глядя по сторонам, Динни вернулась к Адриану. Она передала ему слова Дианы, и они пошли дальше.

— Мучительная неизвестность, — сказал Адриан, — что может быть страшнее? Боже мой, и сколько это будет продолжаться? Но ведь она просила не беспокоиться... — И у него вырвался невеселый смешок.

Стало темнеть, и в этом неверном полумраке пролеты улиц и мостов были словно оборваны безрадостной мглой. Но зажглись фонари, сумерки отступили, дома снова приобрели очертания, контуры их смягчились.

— Динни, дорогая, — сказал Адриан, — какие уж тут со мной прогулки; давай вернемся.

— Тогда пойдем к Майклу, вместе поужинаем, пожалуйста, дядя! Адриан покачал головой.

— Таким, как я сейчас, не место на пиру. Да я и держать-то себя за столом прилично не сумею, как говорила твоя няня.

— Она вовсе этого не говорила, не так уж она была строга. Няня у нас была шотландка. А Ферз — шотландская фамилия?

— Предки его, возможно, и вышли из Шотландии. Но Рональд — из Западного Сассекса, откуда-то с Меловых холмов на юге Англии; старинный род.

— А тебе не кажется, что в старых семьях много странностей?

— Почему? Правда, когда в старой семье случается что-нибудь неладное, это сразу бросается в глаза: ведь старые семьи у всех на виду. Однако в старых семьях гораздо меньше браков между близкими родственниками, чем в деревне.

Стараясь его отвлечь, Динни продолжала:

— Ты не думаешь, что старинный род имеет свои преимущества?

— А что такое старинный род? В известном смысле все семьи одного возраста. Но если ты имеешь в виду достоинства, которые вырабатываются в результате скрещивания из поколения в поколение внутри определенной касты — не знаю. Конечно, можно говорить о «хорошей породе», как мы говорим о собаках или лошадях, но такую же породу можно получить в любых благоприятных природных условиях, — например, в горных долинах на севере Англии или у моря — всюду, где людям живется лучше. Здоровая порода дает здоровое потомство — в этом нет сомнений. Я помню деревни на севере Италии, где нет никакой знати, — однако все жители там красивые и породистые. Но если речь идет о потомстве от гениев или людей выдающихся — тут я сильно опасаясь, не получается ли уродство вместо гармонии. Семьи с военными или флотскими традициями, где родоначальниками были солдаты и моряки, пожалуй, счастливее других: они получили в наследство хорошее здоровье и не слишком много ума, зато наука, коммерция очень впечатляют людей. Нет! Единственное, в чем, по-моему, старинные семьи имеют свои преимущества, это в том воспитании, какое они могут дать детям, — им прививают определенные традиции, внушают определенные моральные устои; пожалуй, у них больше возможностей и на ярмарке невест; они растут на свежем воздухе; наконец, им проще определить свое призвание и вступить на избранный путь. То, что называют «породой» в человеке, свойство скорее духовное, чем физическое. Наши мысли и чувства зависят главным образом от традиций, привычек и воспитания. Но я, наверно, тебе надоел.

— Нет, что ты, дядя; мне так интересно. Значит, ты веришь, что по наследству передается скорее мировоззрение, чем физические свойства?

Да, но одно с другим тесно связано.

— И ты думаешь, что старинные традиции исчезают и скоро нечего будет передавать дальше?

— Не знаю. Традиции необычайно живучи, а у нас в Англии все устроено так, чтобы их сохранить. У нас столько руководящих постов, а наиболее подходящие для них люди — это те, кто еще с детства привык к самостоятельности, в ком воспитали скромность и чувство долга.

Такие люди у нас держат в руках, например, армию, и я думаю, она так и останется у них в руках. Но в наши дни привилегии можно оправдать лишь тем, что ты бежишь, высунув язык, пока не свалишься замертво.

— Многие сперва валяются замертво, а потом уж пытаются бежать,— сказала Динни.— Ну, вот мы снова дошли до Флер. Пойдем, дядя, я тебя очень прошу. Если Диане что-нибудь понадобится, ты будешь под рукой.

— Хорошо, дорогая, и спасибо тебе,— ты навела меня на тему, о которой я часто думаю. Ах ты, лиса!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Джин висела на телефоне до тех пор, пока не обнаружила Хьюберта в «Кофейне» и не узнала от него последние новости. Она прошла мимо Динни и Адриана, когда они входили в дом.

— Ты куда?

— Скоро приду,— ответила Джин и свернула за угол.

Она плохо знала Лондон и сразу же подозвала такси. Доехав до Итон-сквер, она отпустила такси у подъезда внушительного, мрачного здания и позвонила.

— Лорд Саксенден в городе?

— Да, миледи, но его нет дома.

— Когда он придет?

— К ужину, но...

— Я подожду.

— Извините... миледи...

— Я никакая не леди,— сказала Джин, подавая ему визитную карточку,— но он все равно меня примет.

С минуту слуга еще сопротивлялся, но она поглядела на него в упор, и он капитулировал.

— Прошу вас, пройдите, ми... мисс.

Джин вошла. В маленькой гостиной не было ничего, кроме стульев с позолотой в стиле ампир, двух мраморных столиков на консолях и канделябра.

— Пожалуйста, передайте ему мою карточку, как только он войдет.

Тем временем слуга, по-видимому, овладел собой.

— Милорд будет очень занят, мисс.

— Мне тоже очень некогда, не беспокойтесь.

И она уселась на позолоченный стул. Слуга удалился. Джин сидела спокойная, подтянутая, решительная, сцепив длинные пальцы загорелых рук, с которых сняла перчатки, и поглядывала то на площадь за окном, где сгущались сумерки, то на мраморные часы с позолотой. Слуга вошел снова и задернул шторы.

— Может, что-нибудь передадите, мисс, или оставите записку?

— Нет, спасибо.

Он потоптался на месте, поглядывая на нее с опаской, точно боялся, что она вот-вот выхватит револьвер.

— Мисс Тасбер?— переспросил он.

— Тасборо,— ответила Джин,— лорд Саксенден меня знает,— и снова посмотрела на слугу в упор.

— Хорошо, хорошо, мисс,— поспешно ответил он и ретировался.

Стрелки часов приближались к семи, когда она услышала наконец голоса в холле. Дверь тотчас же открылась, и вошел лорд Саксенден с ее карточкой в руках; лицо его сияло благодушным самодовольством.

— Очень рад!— сказал он.— Очень рад.

Джин подняла на него глаза и подумала: «Ну, заблел, старый козел».— И протянула ему руку.

— Как мило с вашей стороны, что вы меня приняли.

— Ну что вы!

— Я хотела сообщить вам о моей помолвке с Хьюбертом Черрелом; помните его сестру,— она была у Монтов? Вы слышали об этом нелепом требовании выдать его боливийским властям? Глупее ничего не придумаешь,— ведь он стрелял, защищая свою жизнь; у него страшный шрам,— он может показать вам его в любую минуту.

Лорд Саксенден пробурчал что-то невнятное. В глазах у него появился холодок.

— Вот я и хотела вас просить положить этому конец. Я знаю, вы все можете.

— Я? Ничуть... вы ошибаетесь.

Джин улыбнулась.

— Конечно, можете. Все это знают. А для меня это так важно...

— Но тогда, в тот вечер, вы еще не были помолвлены?

— Нет.

— Как это вы так вдруг?

— А разве не все помолвки происходят вдруг?

Она, видимо, не представляла себе, какой удар нанесли ее слова этому пятидесятилетнему человеку, который вошел сюда с робкой надеждой, что покорил это юное существо; но она все же поняла, что чем-то разочаровала его, да она и сама, кажется, разочаровалась в нем. Лицо его приняло вежливое, настороженное выражение.

«Ну и bestia»,— подумала Джин. Тон у нее сразу же стал другим, и она сухо заявила:

— В конце концов капитан Черрел — кавалер ордена «За особые заслуги». Неужели англичанин бросит в беде англичанина? Особенно если учился с ним в одной школе...

Даже в этот миг крушения иллюзий этот мастерский выпад произвел впечатление на бывшего Зазнайку Бентхема.

— Вот как! Он тоже из Харроу?

— Да. И вы знаете, как трудно ему пришлось в экспедиции. Динни читала вам отрывки из его дневника.

Лицо лорда побагровело, и он сказал с непонятным для нее раздражением:

— Вы, юные дамы, должно быть, полагаете, что мне больше нечего делать, как вмешиваться в посторонние дела. Выдача лиц, обвиняемых в преступлениях,— дело судебное.

Джин взглянула на него сквозь ресницы, и злосчастный лорд дернулся, словно хотел спрятать голову под крыло.

— Что я могу сделать?— проворчал он.— Меня и слушать не будут.
— Попробуйте,— возразила Джин.— Есть люди, которых всегда слушают.

Глаза у лорда Саксендена стали совсем рачьими.

— Вы сказали, что у него есть шрам. Где?

Джин закатала левый рукав.

— Откуда до сих пор. Он выстрелил, когда тот человек снова на него набросился.

— Гм!

Он не сводил глаз с ее руки, потом опять глубокомысленно хмыкнул; наступило молчание, и Джин спросила:

— А вам было бы приятно, если бы вас выдали как преступника, лорд Саксенден?

Он нетерпеливо махнул рукой.

— Это вам не шутки, это — государственное дело, моя милая.

Джин поглядела на него снова.

— Неужели вы хотите меня уверить, будто у нас не пользуются протекцией?

Он рассмеялся.

— Приходите пообедать со мной в ресторане «Пьемонт»... когда? Послезавтра... нет, через два дня, и я вам скажу, удалось ли мне что-нибудь сделать.

Джин отлично знала, когда надо поставить точку; на приходских собраниях она никогда не затягивала своих речей. Она протянула ему руку.

— Большое спасибо! В половине второго?

Лорд Саксенден кивнул с некоторым удивлением. Молодая женщина отличалась прямоотой, и это невольно нравилось человеку, всю жизнь погруженному в государственные дела, где прямоты, как известно, днем с огнем не сыщешь.

— До свиданья! — сказала Джин.

— До свиданья, мисс Тасборо. Поздравляю с помолвкой.

— Спасибо. Все теперь зависит от вас, правда?

И не успел он ответить, как Джин уже исчезла. Обратно она шла пешком, хладнокровно обдумывая положение. Мысль ее работала трезво, четко, со свойственной ей привычкой во всем полагаться только на себя. Ей нужно повидать Хьюберта сегодня же! Придя домой, она тут же позвонила в «Кофейню».

— Это ты, Хьюберт? Говорит Джин.

Да, дорогая?

— Приходи сюда после ужина. Мне надо тебя видеть.

— Около девяти?

— Да. Люблю. Все.

И она повесила трубку.

Прежде чем пойти наверх и переодеться, Джин замерла на минуту, — настоящая «тигрица»! Гибкая, будто всегда готовая к прыжку, — такую не остано­вишь, — она была сама Юность, бесстрашно вступающая в жизнь; в этой стильной, чопорной гостиной Флер она чувствовала себя как дома, и в то же время вам казалось, что ей здесь тесно.

Когда кто-нибудь из сидящих за столом чем-нибудь серьезно взволнован, а остальные это знают, беседа ограничивается салонной болтовней. Все тщательно избегали разговора о Ферзах. Адриан ушел сразу после кофе. Динни проводила его до дверей.

— Спокойной ночи, дорогой. Перед сном я на всякий случай уложу чемодан; здесь всегда можно поймать такси. Обещай мне не волноваться.

Адриан улыбнулся, хотя на нем лица не было.

Возвращаясь в гостиную, Динни столкнулась с Джин, и та рассказала ей последние новости о деле Хьюберта. Когда первый испуг прошел, Динни вспыхнула от негодования.

— Какая страшная подлость!

— Да,— сказала Джин.— С минуты на минуту приедет Хьюберт, и мне надо поговорить с ним наедине.

— Тогда отведи его наверх, в кабинет Майкла. Я пойду к Майклу и все ему расскажу. Об этом надо сказать в парламенте... Да, но он распущен сейчас на каникулы,— вспомнила Динни.— Он, кажется, заседает только тогда, когда это никому не нужно.

Джин дождалась Хьюберта в холле. Они поднялись в кабинет, где на стенах были развешаны афоризмы трех последних поколений; Джин усадила Хьюберта в самое удобное кресло, а сама устроилась у него на коленях. Так она просидела несколько минут, обняв его за шею и прижавшись к нему лицом.

— Ну хватит,— сказала она затем, поднимаясь и закуривая.— Ничего у них из этой затеи не выйдет.

— А если выйдет?

— Нет. А если да,— тем скорее мы должны обвенчаться.

— Девочка моя, я не могу.

— Ты должен. И не думай, пожалуйста, что, если тебя выдадут,— а этого, конечно, не будет,— я не поеду с тобой. Поеду, и тем же парходом,— все равно, обвенчаемся мы или нет.

Хьюберт смотрел на нее с восхищением.

— Ты просто чудо,— сказал он,— но...

— Ну да, я знаю, что ты скажешь. Знаю я и твои рыцарские чувства, и что ты не хочешь сделать меня несчастной для моего собственного блага, и что отец подумает... и так далее, и тому подобное. Я была у твоего дяди Хилари. Он согласен нас обвенчать, а он — священник и человек с большим жизненным опытом. Давай сообщим ему, что произошло, и, если после этого он не откажется от своих слов, мы обвенчаемся. Пойдем к нему завтра же утром вместе.

— Но...

— Никаких «но»! Ему ты можешь верить; по-моему, он настоящий человек.

— Верно,— сказал Хьюберт,— он человек, каких мало.

— Вот и хорошо; значит, договорились. Теперь можешь опять меня поцеловать.

Джин снова заняла свое место у него на коленях, и, если бы не ее тонкий слух, Динни застала бы их в такой позе, но когда Динни открыла

дверь, Джин уже разглядывала «Белую обезьяну» на стене, а Хьюберт вынимал портсигар.

— Какая замечательная обезьяна, — сказала Джин. — Мы поже-
нимся, Динни, несмотря на всю эту ерунду, если только ваш дядя Хила-
ри не передумает. Хочешь, поедem к нему с нами завтра утром?

Динни взглянула на брата; Хьюберт поднялся с кресла.

— Безнадежно, — сказал он. — Ничего не могу с ней поделать.

— А без нее и подавно. Ты только подумай, Динни! Он воображает,
что, если дело будет плохо и его вышлют, я с ним не поеду! Мужчины
просто младенцы! А ты что скажешь?

— Я рада за вас.

— Не забудь, Джин, — сказал Хьюберт, — все зависит от дяди
Хилари.

— Да. Он человек практичный, и, как он скажет, так и будет. Зайди
за нами завтра в десять. Отвернись, Динни. Я его разок поцелую, а по
том ему пора идти.

Динни отвернулась.

— Пошли! — сказала Джин.

Они спустились вниз, и вскоре девушки отправились спать. Комнаты
их были рядом и обставлены с присущим Флер вкусом. Они немного по-
болтали, поцеловались и разошлись. Динни раздевалась не спеша.

В окнах домов, выходивших на тихую площадь, где жили большей
частью члены парламента, разбехавшиеся сейчас на каникулы, свети-
лось мало огней; ни малейшее дуновение ветерка не шевелило темные
ветви деревьев: воздух, струившийся в открытое окно, был так не похож
на душистый воздух деревенской ночи, а глухой гул города не давал
Динни успокоиться от всех тревожлений этого долгого дня.

«Я бы не могла жить с Джин, — подумала она и тут же добавила,
справедливости ради, — но Хьюберт сможет. Ему именно это и нужно». И
она невесело улыбнулась, почувствовав обиду. Да, ее вытеснили из
сердца брата. Лежа в постели, она долго не могла заснуть, думая о стра-
хах и отчаянии Адриана, о Диане и этом бедняге, ее муже, который по
ней тоскует... отстранен от нее... отлучен ото всех на свете. В темноте
она видела его горящие, беспокойные глаза, глаза человека, томящегося
по дому и покою и лишенного и того и другого. Она натянула на голову
одеяло и, чтобы поскорее уснуть, снова и снова твердила детский
стишок:

До чего же ты упряма, Мери,
Как твой садик у тебя цветет.
Новые игрушки, белые ракушки,
Милая девушка рядышком растет.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Если бы вы заглянули в душу Хилари Черрела, священника прихода
святого Августина на Лужках, и проникли в ее тайники, скрытые под
покровом его речей и поступков, вы бы обнаружили, что он далеко не

убежден, будто его благочестивая деятельность приносит кому-нибудь пользу. Но привычка «служить» вошла в его плоть и кровь, — как служат все те, кто ведет и направляет других людей. Возьмите на прогулку молодого сет-ра, даже необученного, — и он сразу станет искать след; а далматский дог с первого же дня побежит рядом с лошастью. Так и Хилари — потомок тех, кто целыми поколениями командовал в армии и на флоте, — впитал с молоком матери потребность целиком отдаваться своему делу, вести, управлять и помогать окружающим, отнюдь не чувствуя уверенности, что делает что-то значительное, а не просто коптит небо. В наш век, когда люди ни во что не верят и не могут удержаться от насмешек над сословиями и традициями, он принадлежал к некоему «ордену» — его рыцари выполняют свою миссию не для того, чтобы кого-то облагодетельствовать или стяжать выгоду, а потому, что бросить дело для них равносильно дезертирству. Хилари и в голову не приходило оправдывать свой «орден» или размышлять о ярме, которое несли, каждый по-своему, его отец-дипломат, его дядя-епископ, его братья — солдат, хранитель музея и судья (Лайонела только что назначили на этот пост). «Мы просто тянем каждый свою лямку», — думал он о них и о себе самом. К тому же то, что он делал, давало ему какие-то преимущества, — он даже мог бы их перечислить, хоть в душе и считал, что они ничего не стоят.

Наутро после возвращения Ферза Хилари уже успел просмотреть свою обширную корреспонденцию, когда в его более чем скромный кабинет вошел Адриан. Из всех многочисленных друзей и близких Адриана один Хилари по-настоящему понимал состояние брата и сочувствовал ему. Между ними было всего два года разницы, в детстве они росли закадычными друзьями; оба были альпинистами и привыкли в предвоенные годы вместе брать опасные подъемы и еще более опасные спуски; оба побывали на войне: Хилари — полковым священником во Франции, Адриан, владевший арабским языком, — офицером связи на Востоке; к тому же характеры у них были совершенно несхожие, что всегда укрепляет дружбу. Им незачем было изливать друг другу душу, и они сразу же перешли к обсуждению практической стороны дела.

— Что нового сегодня? — спросил Хилари.

— Динни говорит, что все спокойно. Но он живет с ней под одной крышей и рано или поздно потеряет самообладание. Пока ему достаточно сознавать, что он дома и на свободе, но это вряд ли протянется больше недели. Я сейчас поеду в клинику, но они, должно быть, знают не больше нашего.

— Прости меня, старина, но полезнее всего ему была бы нормальная жизнь с ней.

Лицо Адриана передернулось.

— Это свыше человеческих сил, Хилари. Даже мысль о близости с ним чудовищна. На это не пойдет ни одна женщина.

— Если только бедняга не останется в здравом уме.

— Решать тут не тебе, и не мне, и не ему, — решать может только она; нельзя требовать от нее невыполнимого. Не забудь, сколько ей пришлось перенести, пока его не поместили в клинику. Его нужно убрать из дома.

— Куда проще поискать другое пристанище для нее.
— Кто его даст, кроме меня, а это сразу же опять сведет его с ума.
— Если она готова мириться с неудобствами, мы можем ее устроить у себя,— сказал Хилари.

— А дети?

— Мы могли бы потесниться. Но одиночество и безделье не помогут ему сохранить здоровую психику. А работать он может?

— Не думаю. Четыре года в сумасшедшем доме доконают кого угодно. Да и кто даст ему работу? Эх, если б я мог убедить его переехать ко мне!

— Динни и та, другая, девушка сказали, что он выглядит и говорит вполне нормально.

— Да, внешне это так. Может быть, в клинике что-нибудь посоветуют.

Хилари взял брата под руку.

— Как это ужасно для тебя, старина! Но, держу пари, все обойдется. Я поговорю с Мэй; поезжай в клинику, посоветуйся там, и если ты потом решишь, что Диане лучше переселиться к нам, предложи ей это.

Адриан прижал к себе руку брата:

— Мне пора ехать.

Оставшись один, Хилари задумался. На своем веку он не раз видел, что пути провидения неисповедимы, и даже в своих проповедях перестал называть его милосердным. Однако он знал немало людей, которые упорством победили свои напасти, и немало других, кого несчастья все-таки одолели, но потом и те и другие сумели извлечь из этого даже выгоду и жили припеваючи,— вот почему он был убежден, что беды всегда преувеличивают, а потери можно наверстать. Главное — не опускать рук и не унывать. Тут к нему пришла посетительница — девушка Миллисент Поль; хоть суд ее и оправдал, фирма «Петтер и Поплин» выгнала ее с работы: о девушке пошла дурная слава, а этого оправданием в суде не сотрешь.

Миллисент Поль пришла в назначенный час; на ней было опрятное синее платье, а на чулки она истратила свои последние деньги; она стояла перед священником и ждала, что ее будут отчитывать.

— Ну, Милли, как здоровье сестры?

— Она вернулась вчера на работу, мистер Черрел.

— Поправилась?

— Да нет, но она говорит, что надо идти, а не то ее, наверно, тоже уволят.

— Почему?

— Она говорит, что если не пойдет, то подумают, будто и она занималась этим вместе со мной.

— Ну, а как ты? Хочешь поехать в деревню?

— Ну уж нет!

Хилари испытующе посмотрел на нее. Хорошенькая девушка, с изящной фигуркой, стройными ножками и отнюдь не аскетическим ртом; честно говоря, ей лучше всего выйти замуж.

— У тебя есть жених, Милли?

Девушка улыбнулась.

— Ну какой же он жених!
— Значит, замуж выходить не думаешь?
— Да, видать, он не очень хочет.
— А ты?
— Да и мне не к спеху.
— А какие у тебя планы?
— Я бы хотела... я бы хотела стать манекенщицей.
— Вот как? А у Петтера тебе дали рекомендацию?
— Да; и даже сказали, что им жаль меня отпускать, но раз обо мне так много писали в газетах, другие девушки...
— Понятно. Видишь ли, Милли, ты сама во всем виновата. Я за тебя заступился потому, что ты попала в беду, но я не слепой. Обещай мне, что ничего подобного больше не повторится,— ведь это первый шаг к гибели.

Ответа не последовало, но он его и не ждал.

— Тобой займется моя жена. Посоветуйся с ней; если ты не найдешь такой работы, как раньше, мы поможем тебе обучиться на скорую руку и найдем место официантки. Ладно?

— Я не против.

Она посмотрела на него полусмущенно, полунасмешливо, и Хилари подумал: «С таким лицом не убережешься, разве что государство станет брать хорошеньких девушек под особую опеку».

— Дай руку, Милли, и запомни, что я тебе сказал. Я дружил с твоими родителями и верю, что ты не замараешь их доброго имени.

— Хорошо, мистер Черрел.

«Как бы не так!»— подумал Хилари и повел ее в столовую, где жена печатала на машинке. Вернувшись в кабинет, он выдвинул ящик письменного стола и приготовился вступить в единоборство со счетами; на свете вряд ли нашелся бы такой уголок, где деньги были бы нужней, чем здесь, в трущобах этой христианнейшей державы, чья религия так презирает земные блага.

«Птицы небесные,— подумал он,— не сеют, не жнут, но и они не проживут без хлеба насущного. Откуда, во имя всего святого, раздобыть мне деньги, чтобы наше благотворительное общество могло дотянуть до конца года?» Он все еще бился над этой проблемой, когда вошла служанка и объявила:

— Капитан, мисс Черрел и мисс Тасборо.

«Ну и ну,— подумал он,— вот кто времени даром не теряет».

Хилари еще не видал племянника с тех пор, как тот вернулся из экспедиции Халлорсена, и был поражен, до чего он изменился и постарел.

— Поздравляю,— сказал он.— Я узнал вчера о твоих намерениях.

— Дядя,— сказала Динни,— приготовься сыграть роль Соломона.

— Да будет тебе известно, моя непочтительная племянница, что репутация мудреца, которой пользуется Соломон,— пожалуй, самая незаслуженная в истории. Вспомни, сколько у него было жен. Итак, в чем дело?

— Дядя Хилари,— сказал Хьюберт,— я узнал, что меня могут выдать боливийским властям — уже готовится распоряжение. Из-за того

погонщика, которого я застрелил. И, несмотря на это, Джин хочет немедленно обвенчаться.

— Не «несмотря на это», а именно поэтому, — поправила его Джин.

— А по-моему, это слишком рискованно и по отношению к ней несправедливо. Вот мы и договорились все тебе рассказать, — как ты решишь, так мы и поступим.

— Спасибо, — пробурчал Хилари, — но почему мне?

— Потому что ты мастер на быстрые решения, — сказала Динни, — ты набил на этом руку не хуже какого-нибудь судьи.

Священник скорчил гримасу.

— Тебя же учили священному писанию, Динни; ты могла бы припомнить, как доконала верблюда последняя соломинка. Но что поделаешь... — И он перевел взгляд с Джин на Хьюберта и снова на Джин.

— Мы ничего не выиграем оттяжкой, — заметила Джин, — если его заберут, я все равно поеду с ним.

— Поедете?

— Конечно.

— А ты, Хьюберт, можешь этому помешать?

— Боюсь, что нет.

— Скажите, молодые люди, у вас, значит, любовь с первого взгляда?

Ни Джин, ни Хьюберт не ответили, а Динни сказала:

— Безусловно; это было видно даже с крокетной площадки в Липпингхолле.

Хилари кивнул.

— Что ж, тут нет ничего плохого; со мной это тоже случилось, и я не жалею. А тебя действительно могут выслать, Хьюберт?

— Нет, — сказала Джин.

— А ты как думаешь, Хьюберт?

— Не знаю; отец волнуется, но кое-кто за меня хлопочет. У меня ведь остался шрам. — И он закатал рукав.

Хилари снова кивнул.

— Тебе повезло.

Хьюберт улыбнулся.

— Смею тебя уверить, что тогда, в том климате, я так не считал.

— Вы получили разрешение на брак?

— Еще нет.

— Вот когда получите, я вас и обвенчаю.

— Правда?

— Да. Может быть, я поступаю неправильно, но вряд ли.

— Вы поступаете очень правильно. — И Джин схватила его за руку. — Вас устраивает завтра, в два часа?

— Дайте заглянуть в записную книжку... Идет, — кивнул он.

— Отлично! — воскликнула Джин. — Ну вот, Хьюберт, теперь пойдем брать разрешение.

— Я тебе страшно благодарен, дядя, — сказал Хьюберт, — если ты действительно уверен, что это не подлость с моей стороны.

— Милый мой,— сказал Хилари,— раз уж ты связался с такой девушкой, как Джин, ты должен быть готов на все. Au gevoir¹, и да благословит вас бог!

Когда они ушли, он сказал Динни:

— Я очень тронут, Динни. Даже польщен. Кто все это придумал?

— Джин.

— Значит, она либо очень хорошо, либо совсем плохо разбирается в людях. Интересно, первое или второе? Никто и глазом моргнуть не успел. Вошли в пять минут одиннадцатого; сейчас — четырнадцать минут одиннадцатого. Мне никогда еще не приходилось так быстро решать участь двух людей. А эти Тасборо случайно не сумасшедшие?

— У них просто горячий нрав.

— В общем, горячие люди мне нравятся,— сказал Хилари.— Таких ничем не остановишь.

— Пойдут на абордаж, как у Зеебрюгге.

— А! Кстати, там есть и брат — моряк?

У Динни задрожали ресницы.

— Тебя он уже пытался взять на абордаж?

— Не раз.

— А ты?

— Горячность не в моей натуре, дядя.

— Предпочитаешь выждать, подрейфовать?

— Выждать, дядя.

Хилари улыбнулся своей любимой племяннице.

— Синий глаз — верный глаз. Я еще обвенчаю тебя, Динни. А теперь извини, мне надо повидать человека, которого погубили покупки в кредит. Влез в долги и не может вылезти, барахтается, как щенок в пруду, и никак не выкарабкается — берег слишком высокий. Между прочим, девушка, которую ты видела тогда в полиции, сейчас у тети. Хочешь еще раз на нее взглянуть? Боюсь, что она для нас — трудная задача; в переводе это означает: ничто человеческое ей не чуждо. Попробуй-ка эту задачу разрешить.

— Я бы с удовольствием, но ей это может не понравиться.

— Не уверен. Как девушка с девушкой, вы можете поговорить по душам, но я не удивлюсь, если ничего хорошего ты не услышишь. Это цинизм,— добавил он.— Цинизм помогает жить.

— Боюсь, что да, дядя.

— Хорошо католикам,— по части цинизма нам с ними не тягаться. Ну, до свиданья, дорогая. Увидимся завтра, когда я буду надевать на Хьюберта брачные цепи.

Хилари запер ящик со счетами и вышел из комнаты вслед за племянницей. Открыв дверь в столовую, он окликнул жену:

— Душечка, Динни пришла. К обеду вернусь,— и как был, без шляпы, вышел на улицу.

¹ До свиданья (франц.).

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Девушки покинули дом священника вместе; они направлялись на Саус-сквер, где нужно было заручиться еще одной рекомендацией Флер.

— Знаете, на вашем месте я бы им этого не спустила,— сказала Динни, пересилив стеснительность.— Не понимаю, почему вас уволили.

Она заметила, что девушка рассматривает ее исподтишка, словно обдумывая, можно ли ей довериться.

— Обо мне пошла всякая молва,— сказала она наконец.

— Да, я случайно была в суде в тот день, когда вас оправдали. Свинство, что вас вообще туда привели.

— А я ведь и в самом деле заговорила с мужчиной,— к удивлению Динни, сказала девушка.— Мне только не хотелось признаваться мистеру Черрелу. Позарез нужны были деньги. Как вы думаете, это очень дурно с моей стороны?

— Лично я никогда не пошла бы на это ради денег.

— А вам они никогда и не были нужны позарез.

— Это правда, хотя у меня никогда не было много денег.

— Лучше, чем красть,— мрачно сказала девушка.— В конце концов что здесь такого? Время пройдет, и забудешь. По крайней мере я так думала. Ведь мужчинам-то все сходит с рук. Но вы не скажете миссис Монт?

— Конечно, нет. Видно, вам пришлось очень туго.

— Хоть ложись да помирай. Мы с сестрой едва сводим концы с концами, когда обе работаем полный день. А тут она болела целых пять недель, да я еще как нарочно потеряла кошелек с тридцатью шиллингами. Тут уж я была ни при чем.

— Да, не повезло.

— Ужасно не повезло! Если бы я на самом деле была гулящая, разве бы они меня сцапали! Вся беда-то, что я — в первый раз. Бьюсь об заклад, у вас, у богатых, девушкам все сходит с рук, когда они хотят подработать.

— Что ж,— сказала Динни,— наверно, у нас и в самом деле есть девушки, которые не прочь подработать, ничем не гнушаясь. Но лично я думаю, что без любви это нехорошо; наверно, я слишком старомодна.

Девушка снова поглядела на нее долгим и на этот раз почти восхищенным взглядом.

— Так вы ж настоящая леди, мисс. По правде сказать, я и сама бы не прочь быть леди, но кем уродишься, тем и останешься.

Динни поморщилась.

— А что такое леди? Самые настоящие леди, каких я знаю, это наши деревенские старушки.

— Правда?

— Да. А некоторые продавщицы тут, в магазинах, хоть кому ровня.

— Что ж, среди нас и вправду есть ужасно хорошие девушки. Вот моя сестра, например,— она куда лучше меня. Она бы на такое дело ни за что не пошла. Я не забуду, что мне говорил ваш дядя, но за себя все-таки не поручусь. Люблю пожить всласть, когда можно; а почему бы и нет?

— Весь вопрос в том, что такое жить влады. Неужели это — случайная встреча с мужчиной? По-моему, в этом сладости мало.

Девушка кивнула.

— Что правда, то правда. Но когда тебе так нужны деньги, что хоть криком кричи, тут на что угодно пойдешь. Вы уж мне поверьте.

Теперь кивнула Динни.

— А дядя у меня славный, верно?

— Настоящий джентльмен,— никогда не донимает человека божественным. И всегда готов помочь из своего кармана, если только там что-нибудь есть.

— Кажется, это бывает редко,— сказала Динни.— У нас небогатая семья.

— Не деньги делают джентльмена.

Динни отнеслась к этому афоризму без всякого восторга: она его слышала уже не первый раз.

— Пожалуй, здесь нам лучше сесть в автобус,— сказала она.

День выдался солнечный, и они забрались на открытый верх.

— Вам нравится Риджент-стрит после перестройки?

— Ах да! Она стала очень нарядная.

— Разве старая улица не была лучше?

— Что вы! Такая скучная, все дома желтые, одинаковые.

— Зато она не была похожа на другие улицы, а однообразие домов на этом повороте создавало общий ансамбль.

Девушка, видно, сообразила, что спор возник из-за разницы во вкусах; она запнулась, но потом сказала решительно:

— Нет, сейчас она стала куда веселее. Жизни больше, и не так все под одну гребенку, как раньше.

— Да?

— Люблю ездить на верхушке автобуса,— продолжала девушка,— столько всего увидишь. Жизнь-то ведь идет.

Эти слова, сказанные с простонародной интонацией, поразили Динни. Разве ее жизнь — не сплошное прозябание? Разве есть в ней опасности или приключения? У людей, которым надо зарабатывать на хлеб, жизнь куда богаче. Ее же единственное занятие заключается в том, чтобы не иметь никакого занятия. И, подумав о Джин, она сказала:

— К сожалению, у меня очень бесцветная жизнь. Я всегда словно чего-то жду.

Миллисент снова поглядела на нее искоса.

— Ну, такой хорошенькой, как вы, наверно, весело живетесь!

— Хорошенькой? Я же курносая.

— Зато в вас много шику. Шик — это все. Я всегда говорю: какая б ты хорошенькая ни была, без шику ты — нуль.

— Я бы предпочла быть хорошенькой.

— Ну нет. Смазливой может быть кто хочет.

— Почему же их так мало?— И, бросив взгляд на профиль собеседницы, Динни добавила:— Вам-то не на что жаловаться.

Девушка приосанилась и повела плечами.

— Я сказала мистеру Черрелу, что хотела бы стать манекенщицей, но ему это не очень понравилось.

— По-моему, это самое идиотское из всех идиотских занятий. Наяряться для кучки привередливых женщин!

— Надо же кому-то этим заниматься,— с вызовом сказала девушка.— Да я и сама люблю хорошо одеться. Но, чтобы получить такое местечко, нужна рука. Вот если бы миссис Монт замолвила за меня словечко!.. А из вас какая бы получилась манекенщица, мисс,— с вашим-то шиком и с вашей фигурой!

Динни рассмеялась. Автобус остановился на Уайтхолле со стороны Вестминстерского аббатства.

— Нам тут сходить. Вы когда-нибудь были в Вестминстерском аббатстве?

— Нет.

— Пожалуй, вам стоит туда заглянуть, пока его еще не снесли и не построили здесь доходный дом или кино.

— А его что, правда снесут?

— Ну, пока что на это еще не решаются. Поговаривают о том, чтобы его реставрировать.

— Большущий домина!— сказала девушка.

Но у стен аббатства она приумолкла и не открыла рта, даже когда они вошли под его своды. Динни наблюдала, как, задржав голову, она рассматривает памятник Чатаму¹ и статую рядом с ним.

— Кто этот старый бородач без штанов?

— Нептун. Это символ. Помните: «Правь, Британия, волнами...»

— А!

И они двинулись дальше, пока перед ними не открылся весь старый музей.

— Ишь ты! Сколько тут всего напаставлено!

— В самом деле, похоже на лавку древностей. Да ведь здесь собрана вся английская история.

— Ужасно темно. Колонны-то как будто грязные.

— Хотите, заглянем в Уголок поэтов?— спросила Динни.

— А это еще что?

— Там хоронят великих писателей.

— За то, что они писали стихи?— спросила девушка.— Смешно, да?

Динни ничего не ответила. Она-то знала некоторые из этих стихов! Осмотрев несколько изваяний и прочитав имена, которые и Динни-то не слишком интересовали, а Миллисент и подавно, девушки медленно направились по приделу туда, где между двумя красными венками лежит черно-золотая плита Неизвестного солдата.

— Интересно, знает ли он,— сказала девушка.— я лично думаю, что ему все равно; раз даже имя его никто не слышал, какой ему от всего этого прок?

— Ему — никакого. А вот нам есть прок,— сказала Динни; она испытывала волнение, которым весь мир платит дань Неизвестному солдату.

¹ Питт Уильям, граф Ч а т а м (1708—1778) — английский государственный деятель.

Когда они снова очутились на улице, Миллисент вдруг спросила:

— А вы верите в бога, мисс?

— В какой-то мере,— неуверенно ответила Динни.

— Меня этому никогда не учили: отец и мать любили мистера Черрела, но думали, что он ошибается; понимаете, отец у меня был социалист и всегда говорил, что религия — часть капиталистического строя. Вообще наш брат в церковь не ходит. Во-первых, и времени нет. А потом, в церкви сиди тихо, как истукан. Я вот, например, не люблю сидеть на одном месте. И если бог есть, почему это обязательно «он»? У меня вся душа возмущается. Вот и с девушками обращаются так потому, что бог — это «он». С тех пор как меня судили, я много об этом думала. Да и много ли «он» сотворит, если тут не будет «ее», — держи карман шире!

Динни в изумлении уставилась на девушку.

— Жаль, что вы не сказали этого дяде. Интересная мысль.

— Говорят, что женщины и мужчины теперь равны, — продолжала Миллисент, — но это вранье. У меня на работе все девушки боялись хозяина как огня. Где деньги, там и сила. И чиновники, и судьи, и священники — все они мужчины, да и генералы тоже. Сила у них, а без нас все равно ничего поделаться не могут. Эх, будь я одна женщина на свете, я бы им показала!

Динни молчала. Конечно, девушка ожесточена, жизнь у нее нелегкая, но в словах ее есть правда. Создатель должен быть двуполом, иначе процесс сотворения мира прекратился бы в самом начале. Тут заложена основа равноправия полов, как это ей прежде в голову не приходило! Если бы Миллисент принадлежала к ее кругу, Динни поделилась бы с ней своими мыслями, но она не могла быть с ней откровенной; в душе ругая себя за спесь, она сказала с привычной иронией:

— Ну, вы прямо бунтары!

— Да уж тут забунтуешь, — возразила девушка.

— Вот мы и пришли к миссис Монт. У меня есть еще дела, я с вами расстанусь. Надеюсь, мы еще увидимся.

Динни протянула руку, Миллисент ее пожала.

— Хорошо мне было с вами, — сказала она от души.

— Мне тоже. Желаю удачи!

Динни оставила девушку в холле, а сама отправилась на Окли-стрит; ей было не по себе, как всякому человеку, который остановился на полпути. Она прикоснулась к неведомому и отступила. Ее мысли и чувства напоминали ей веселое чириканье весенних птиц, которые еще не сложили своих песен. Эта девушка пробудила в ней какое-то новое для нее желание схватиться с жизнью врукопашную, но ни намеком не подсказала, как это сделать. Эх, если бы она могла влюбиться! Приятно знать, чего хочешь, как это знали с первого взгляда Джин и Хьюберт, как это знали, по их словам, Халлорсен и Алан Тасборо. А ее существование скорее похоже на театр теней, чем на действительность. Недовольная собой, она облокотилась на парапет над Темзой, следя за поднимающимся приливом. Верит ли она в бога? В каком-то смысле — да. Но в каком? Ей припомнилась фраза из дневника Хьюберта: «Всякий, кто верит, что попадет на небо, находится в куда более счастливом положении, чем я. Ведь ему сулят посмертную пенсию». Разве религия — это

вера в загробное вознаграждение? Если так — какая пошлость! Надо верить в добро ради самого добра, потому что добро прекрасно, как цветок, как звездная ночь, как музыка. Дядя Хилари делает свое трудное дело, ибо просто не может иначе. А он верит в бога? Надо его спросить. У самого ее уха раздался голос:

— Динни!

Динни вздрогнула и обернулась, — перед ней, широко улыбаясь, стоял Алан Тасборо.

— Я был на Окли-стрит, справлялся о вас и о Джин; там мне сказали, что вы остановились у Монтов. Я пошел было туда и вдруг встречаю вас. Вот повезло!

— А я раздумываю, верю ли я в бога.

— Как странно! Я тоже!

— Что — тоже? Верю ли я или верите ли вы?

— По правде говоря, вы и я для меня — одно и то же.

— Вот как? Так как же мы, верим или нет?

— С грехом пополам.

— А вы слышали, что случилось на Окли-стрит?

— Нет.

— Капитан Ферз вернулся.

— Ах ты черт!

— Вот именно. Вы видели Диану?

— Нет; только горничную, — она была какая-то растерянная. А тот, бедняга, все еще не в своем уме?

— Ему лучше, но это так ужасно для Дианы.

— Ее бы надо оттуда убрать.

— Я перееду к ней, если она согласится, — сказала вдруг Динни.

— Ну, мне это совсем не нравится.

— Да уж чего хорошего, но я все-таки перееду.

— Почему? Она вам не такой уж близкий человек.

— Мне надоело бить баклуши.

Молодой Тасборо изумленно раскрыл глаза.

— Не понимаю.

— Вы не прячетесь за мамину юбку. Пора и мне начать жить самостоятельно.

— Тогда выходите за меня замуж.

— Ей-богу же, Алан, я никогда не встречала человека с такой бедной фантазией.

— Лучше придумать что-нибудь одно, но стоящее.

Динни двинулась дальше.

— Я иду на Окли-стрит.

Некоторое время они шли молча; наконец молодой Тасборо серьезно спросил:

— Что вас мучает, моя дорогая?

— Собственная натура; уж больно спокойно живу, никаких тревожений.

— Дайте мне волю, у вас будет их сколько угодно.

— Я говорю серьезно, Алан.

— Вот и отлично. Пока вы не станете серьезной, вы за меня замуж не выйдете. Но почему вам так не хватает синяков?

Динни пожала плечами.

— А помните у Лонгфелло: «Жизнь реальна, жизнь сурова». Вы, конечно, не знаете, что это за никчемное занятие — жить маменькиной дочкой в деревне.

— Сказал бы я вам, да боюсь.

— Почему же, скажите!

— Ваш недуг легко излечить. Отчего бы вам самой не стать маменькой в городе?

— Вот когда девушкам полагается краснеть, — вздохнула Динни. — Право, мне совсем не хочется превращать все в шутку, но, кажется, ничего другого мне не дано.

Молодой Тасборо взял ее под руку.

— Если вы сумеете превратить в шутку жизнь жены моряка, — вы будете первая, кому это удалось.

Динни улыбнулась.

— Я ни за кого не выйду замуж, пока не почувствую, что не могу иначе. Я слишком хорошо себя знаю.

— Ладно, Динни; не буду вам больше надоедать.

Они снова помолчали; на углу Окли-стрит она остановилась.

— Дальше вам идти не стоит.

— Я загляну вечером к Монтам и узнаю, как ваши дела. И если вам понадобится помощь — любая помощь, — вам надо только позвонить мне в клуб. Вот по этому номеру.

Он написал карандашом номер на карточке и протянул ей.

— Вы будете на свадьбе Джин?

— А как же! Я ведь шафер. Хотел бы я только...

— До свиданья! — прервала его Динни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Динни весело рассталась с Аланом, но на душе у нее скребли кошки, и она минутку помедлила у дверей. Ей еще не приходилось иметь дело с психически больными, и она была очень испугана. Впустила ее все та же немолодая горничная. Миссис Ферз сейчас у капитана Ферза, не поднимется ли мисс Черрел в гостиную? Динни подождала в той самой комнате, где сидела под замком Джин. Вошла Шейла, сказала: «Здрасьте! Вы ждете мамочку?» — и ушла. Потом появилась Диана, лицо у нее было такое растерянное, словно она никак не может собраться с мыслями.

— Простите, дорогая, я читала ему газеты. Стараюсь вести себя с ним, как будто ничего не случилось.

Динни подошла к ней и погладила ее по руке.

— Но это не может так продолжаться, Динни; не может. Я теперь знаю.

— Давайте я поживу у вас. Вы можете ему сказать, что вы давно меня пригласили.

— Но, Динни, мало ли что здесь может произойти? Я просто не знаю, что с ним делать. Он боится выходить из дому и встречаться

с людьми. И в то же время слышать не хочет о том, чтобы уехать куда-нибудь, где его не знают; и врача не хочет звать. Никого не желает видеть.

— Меня он будет видеть постоянно и, может, понемножку привыкнет к людям. Через несколько дней он освоится. Давайте я съезжу за вещами?

— Если уж вы и в самом деле такой ангел, пожалуйста!

— Я предупрежу дядю Адриана, что переезжаю к вам; он поехал в клинику.

Диана подошла к окну и постояла, глядя на улицу. Внезапно она обернулась.

— Я твердо решила, Динни: надо сделать все, чтобы ему помочь. Если хоть что-нибудь от меня зависит, я это сделаю!

— Молодец!— сказала Динни.— Я вам помогу!

И, боясь расплакаться или увидеть слезы Дианы, она вышла из гостиной и спустилась по лестнице. Проходя по улице, она опять заметила в окне столовой Ферза, его горящие глаза следили за ней. Всю дорогу назад, на Саус-сквер, ее преследовало сознание этой трагической несправедливости.

За обедом Флер сказала:

— Не к чему терзаться, пока еще ничего не случилось, Динни. Хорошо, что Адриан вел себя как святой. Вот вам пример бессилия закона. Вообразите, что Диана получила бы развод,— это не помешало бы Ферзу вернуться к ней, а ей отнестись к нему так же, как сейчас. Закон не в силах повлиять на отношения между людьми. А Диана любит Адриана?

— Не думаю.

— Вы в этом уверены?

— Нет. Мне трудно разобраться даже в себе самой.

— Да, кстати, звонил ваш американец. Он хотел зайти.

— Что ж, пусть заходит. Но я буду уже на Окли-стрит.

Флер посмотрела на нее испытующим взглядом.

— Значит, мне лучше поставить на моряка?

— Нет. Поставьте на старую деву.

— Ну, милая! Это невозможно.

— Не вижу от замужества никакого проку.

Флер ответила с жесткой усмешкой:

— Нельзя же стоять на месте. Вот мы и не стоим, а иначе было бы слишком скучно.

— Вы современная женщина, Флер; я — средневековая.

— Да, у вас в лице есть что-то от ранних итальянцев. Но и ранним итальянцам не удавалось убежать от жизни. Не тешьте себя иллюзиями. Рано или поздно самой себе осточертеешь, и тогда...

Динни с изумлением взглянула на Флер,— она никогда прежде не слышала от нее таких горьких слов.

— А какой прок от брака вам, Флер?

— Ну, я по крайней мере стала настоящей женщиной, дорогая моя,— сухо ответила Флер.

— Вы хотите сказать, что у вас есть дети?

— Говорят, дети могут быть и без брака, хотя я в это не очень верю. У вас же, Динни, этого быть не может, — вами движут прадедовские инстинкты; в старых семьях царит врожденная тяга к законному потомству. Ведь без него не было бы и старых семей.

Динни наморщила лоб:

— Никогда об этом не думала, но я не хотела бы иметь незаконного ребенка. Да, кстати, вы дали той девушке рекомендацию?

— Да. Не вижу, почему бы ей не стать манекенщицей. У нее узкие бедра. Нынешняя мода на мальчишескую фигуру продлится еще не меньше года. Потом — помяните мое слово — юбки станут длиннее и снова начнут увлекаться пышными формами.

— Унизительно, правда?

— Что?

— Всячески подлаживаться, менять свои формы, волосы и так далее.

— Игра стоит свеч. Мы отдаем себя в руки мужчин для того, чтобы они попали в наши руки. Такова философия соблазнительницы.

— Если эта девушка будет манекенщицей, она уж наверняка пойдет по дурной дорожке.

— Необязательно. Она может даже выйти замуж. Но меня не волнует нравственность моих близких. Наверно, вам, в Кондафорде, приходится делать вид, что вас это интересует, — не зря вы сидите там со времен Вильгельма Завоевателя. Кстати, ваш отец принял меры, чтобы его дети заплатили поменьше налога на наследство?

— Он еще не старик, Флер.

— Да, но умирают не одни старики. У него есть что-нибудь, кроме имения?

— Только пенсия.

— У вас там много леса?

— Терпеть не могу, когда рубят деревья. Двести лет роста — жизни — все насмарку в каких-нибудь полчаса. Возмутительно.

— Милая моя, у людей обычно нет другого выхода, — разве что все продать и уехать.

— Как-нибудь перебьемся, — резко сказала Динни, — мы никогда не продадим Кондафорд.

— Не забудьте о Джин.

Динни резко выпрямилась.

— И она этого не сделает. Тасборо — такой же старинный род, как наш.

— Предположим; но эта девушка полна неожиданностей, энергии у нее хоть отбавляй. Прозябать она не захочет.

— Жизнь в Кондафорде — это не прозябание.

— Не обижайтесь, Динни; я думаю только о вас. Я вовсе не хочу, чтобы вы потеряли Кондафорд, как и не хочу, чтобы Кит потерял Липпингхолл. Майкл такой взбалмошный. Говорит, что если он один из столпов страны, то ему жаль такую страну, — какая глупость! Я никому этого не говорю, — неожиданно добавила Флер с глубокой искренностью, — но Майкл — золотой человек.

Заметив удивленный взгляд Динни, она переменила тему.

— Значит, на американце я могу поставить крест?

— Безусловно. Три тысячи миль между мной и Кондафордом — нет, спасибо!

— Тогда перестаньте мучить беднягу, — он признался мне, что вы его «идеал».

— И он туда же! — воскликнула Динни.

— Да, и даже сказал, что от вас без ума.

— Это ничего не значит.

— В устах человека, который отправляется на край света, чтобы раскопать истоки цивилизации, что-нибудь да значит. Большинство людей готово сбегать на край света, лишь бы не видеть ни цивилизации, ни ее истоков.

— Я с ним покончу, как только уладится дело Хьюберта, — сказала Динни.

— Боюсь, что для этого вам придется либо постричься в монахини, либо надеть фату. Фата будет вам очень к лицу, Динни, когда вы пойдете с моряком к деревенскому алтарю под марш Мендельсона, окруженная милым вашему сердцу средневековым. Хотела бы я это видеть!

— Я ни за кого не выйду замуж.

— Что ж, может, мы пока позвоним Адриану?

В квартире Адриана им ответили, что он будет дома к четырем часам. Динни попросила передать ему, чтобы он зашел на Саус-сквер, и поднялась к себе за вещами. В половине четвертого, спускаясь по лестнице, она заметила на пышном «саркофаге», где покоилась верхняя одежда, шляпу, поля которой были ей знакомы. Она попятилась, но было уже поздно.

— А! Вот хорошо! — раздался голос Халлорсена. — Я боялся, что не застану вас.

Динни подала Халлорсену руку, и они вместе вошли в гостиную Флер, где на фоне мебели в стиле Людовика XV он выглядел как слон в посудной лавке.

— Я хотел рассказать вам, мисс Черрел, что мне удалось сделать для вашего брата. Наш консул в Ла-Пас заставит этого парнишку Мануэля прислать данное под присягой свидетельское показание о том, как на капитана Черрела было совершено вооруженное нападение; это я уже устроил. Если здесь у людей есть хоть капля здравого смысла, вашего брата оправдают. Я положу конец всей этой идиотской истории, даже если мне придется вернуться ради этого в Боливию.

— Большое спасибо, профессор.

— Не за что! Я теперь на все готов ради вашего брата! Я полюбил его, как родного.

Динни вздрогнула, но в его словах было столько великодушия и душевной теплоты, что она почувствовала себя маленькой и ничтожной.

— Вы сегодня плохо выглядите, — сказал он вдруг. — Если вы чем-нибудь расстроены, скажите, я все улажу.

Динни рассказала ему о возвращении Ферза.

— Эта очаровательная дама! Как жаль! Но, может быть, она его любит, тогда со временем ей станет легче.

— Я собираюсь переехать к ней.

— Молодчина! А что, этот капитан Ферз не опасен?

— Мы еще не знаем.

Он сунул руку в задний карман и вытащил крошечный револьвер.

— Положите эту штуку в сумочку. Самый маленький револьвер на свете. Я купил его специально для Англии, ведь у вас не принято ходить с оружием.

Динни рассмеялась.

— Спасибо, профессор, но у меня он непременно выстрелит совсем некстати. И даже в случае опасности было бы нечестно им воспользоваться.

— Верно! Мне это не пришло в голову, но это верно. Человек, которого постигло такое несчастье, имеет право на сочувствие. Но мне не нравится, что вы будете подвергать себя опасности.

Помня наставления Флер, Динни храбро спросила:

— Почему?

— Потому что вы мне очень дороги.

— Это так мило с вашей стороны; но должна вас предупредить, профессор, что на брачной бирже я не котируюсь.

— Всякая женщина котируется, пока не вышла замуж.

— Кое-кто полагает, что она только тогда и начинает котироваться.

— Знаете, — серьезно сказал Халлорсен, — лично я не признаю измен. Я стою за честную игру в отношениях между мужчиной и женщиной, как и во всем остальном.

— От души желаю вам найти честного партнера.

Он выпрямился во весь рост.

— Я его уже нашел. Имею честь просить вашей руки, и, пожалуйста, не говорите сразу «нет».

— Если вы стоите за честную игру, профессор, я должна сказать — «нет».

Она увидела, как его голубые глаза затуманились, точно от боли, и ей стало его жаль. Он подошел к ней поближе, возвышаясь над ней как гора, — ее даже дрожь пробрала.

— Вас смущает, что я американец?

— Я сама не знаю, что меня смущает.

— Может, вы все еще на меня сердитесь из-за брата?

— Не знаю.

— Но вы мне позволите надеяться?

— Нет. Поверьте, я польщена и благодарна. Но... нет.

— Простите, вы любите другого?

Динни покачала головой.

Халлорсен замер, на лице его было написано недоумение, потом оно прояснилось.

— Наверно, я вас еще не заслужил, — сказал он. — Мне надо вас заслужить.

— Я этого не стою. Просто я к вам ничего не чувствую.

— У меня чистые руки и чистое сердце.

— Не сомневаюсь; я восхищаюсь вами, профессор, но я никогда вас не полюблю.

Халлорсен отступил, словно не доверяя своей выдержке, и отвесил ей глубокий поклон. Во всем его облике было столько благородства, что она невольно им залюбовалась. Наступило долгое молчание.

— Ну что ж, слезами горю не поможешь, — сказал он наконец, — располагайте мной, как вам будет угодно. Я ваш покорный слуга. — И, круто повернувшись, вышел.

Внизу хлопнула дверь, и Динни почувствовала комок в горле. Ей было больно оттого, что она причинила ему боль, но она испытывала и облегчение — такое, какое испытываешь, когда тебе перестает угрожать что-то огромное, стихийное, первобытное. Динни постояла перед зеркалом, злясь на себя, словно она только сейчас обнаружила, какие у нее чувствительные нервы. Как мог большой, красивый, пышущий здоровьем человек полюбить это существо с рыбьей кровью, эту спичку, которую она видела сейчас в зеркале? Да ведь он может убить ее одним щелчком. Не это ли ее и оттолкнуло? Своим ростом, своей силой, своим румянцем и звучным голосом он как бы олицетворял безбрежный простор его прерий. Смешно, глупо, может быть, но это и в самом деле ее отталкивало. Ее место здесь, в ее мире, а совсем не среди таких, как он. Если поставить их рядом, они будут выглядеть просто смехотворно. Она все еще стояла, невесело улыбаясь, перед зеркалом, когда приехал Адриан.

Динни порывисто повернулась к нему. Трудно было представить себе больший контраст с недавним посетителем. Она поглядела на этого совсем не цветущего, немолодого, умного, мягкого и глубоко встревоженного человека — и сразу как-то успокоилась. Динни поцеловала его.

— Я переезжаю к Диане и хотела перед этим тебя повидать.

— Ты в самом деле туда едешь?

— Да. Ты, наверно, не обедал и чаю не пил... — И она позвонила. — Кокер, принесите мистеру Адриану...

— Пожалуйста, коньяку с содовой, Кокер.

— Теперь рассказывай, дядя, — сказала она, когда он проглотил коньяк.

— Боюсь, Динни, что на них не очень-то можно положиться. По их мнению, Ферзу лучше вернуться в клинику. Но я не пойму, зачем это нужно, пока он ведет себя нормально. Они отрицают возможность его выздоровления, но не могут припомнить у него ни одного ненормального поступка за последние недели. Я разыскал его служителя и расспросил его. По-моему, это порядочный человек; он мне сказал, что в данный момент Ферз так же здоров, как он сам. Но беда в том, что Ферз однажды уже поправился, — он был здоров три недели, а потом все началось снова. Этот парень считает, что если что-нибудь выведет Ферза из равновесия, — например, если ему будут перечить, — он заболит опять, и, может быть, еще хуже. Просто ужас.

— А он не буйный, когда у него приступ?

— Буйный; но это какое-то мрачное буйство, направленное больше против себя, чем против других.

— А они не попробуют взять его обратно насильно?

— Не имеют права. Он пошел к ним добровольно; я тебе говорил, что официально он сумасшедшим не признан. Как Диана?

— Вид у нее усталый, но красива, как всегда. Говорит, что пойдет на все, чтобы ему помочь.

Адриан кивнул.

— Это на нее похоже; редкого мужества человек. И ты тоже, дорогая. Мне гораздо легче от сознания, что ты будешь с нею. Хилари готов взять к себе ее и детей, если она захочет, но, судя по твоим словам, она на это не пойдет.

— Пока нет.

Адриан вздохнул.

— Что ж, подождем.

— Ах, дядя,— сказала Динни,— мне так тебя жаль.

— Дорогая, кому нужна пятая спица в колеснице,— лишь бы колесница была цела. Не буду тебя задерживать. Ты всегда застанешь меня либо в музее, либо дома. До свиданья и спасибо! Передай Диане привет и все, что я тебе рассказал.

Динни поцеловала его еще раз, взяла вещи и отправилась на Оклитрит.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

У Бобби Феррара было непроницаемое лицо. Казалось, ничто не может поколебать этого олимпийского спокойствия. Иными словами, он был идеальным чиновником — таким идеальным, что министерство иностранных дел явно не могло без него существовать. Министры приходили и уходили, а Бобби Феррар — вежливый, безмятежный, сверкавший белозубой улыбкой — оставался. Никто не знал, есть ли у него за душой хоть что-нибудь, кроме бесконечного множества секретов. Возраста он был самого неопределенного; коротенький, приземистый, с низким бархатным голосом, он был сама невозмутимость. В темном костюме в едва заметную светлую полоску, с цветком в петлице, он пребывал в большой приемной, которая была почти пуста, если не считать посетителей, желавших видеть министра иностранных дел и видевших вместо него Бобби Феррара. По сути дела, это был буфер — безупречный буфер. Он имел свою слабость — криминалистику. Ни одно сколько-нибудь громкое дело об убийстве не слушалось без Бобби Феррара — он всегда появлялся на своем постоянном месте в суде хотя бы на полчаса. Он хранил и переплетал отчеты об этих процессах. Пожалуй, наилучшей характеристикой его деловых качеств, каковы бы эти качества ни были, служило то, что никто его ни разу не попрекнул знакомством почти с целым светом. Люди обращались к Бобби Феррару, а не он к ним. Но почему? Что сделал он такого, что все звали его уменьшительным именем — «Бобби»? У него даже не было титула, он был просто сыном новоиспеченного лорда. Бобби бывал повсюду — любезный, загадочный, настоящий светский лев. Он сам, его цветок в петлице и легкая улыбка мешали Уайтхоллу¹ окончательно превратиться в бездуш-

¹ Так называют в Англии правительственный аппарат — по названию улицы, где находятся важнейшие министерства, в том числе министерство иностранных дел.

ную машину. Он служил там еще до войны, от которой, по слухам, был освобожден как раз вовремя, чтобы помешать правительственным учреждениям утратить свой традиционный дух и успеть спасти Англию от самой себя. Пока его крепко сбитая, спокойная, невозмутимая персона с неизменным цветком в петлице ежедневно шествовала мимо этих слинявших, внушительного вида зданий, Англия не могла стать голодной, сварливой каргой, в которую война пыталась превратить ее.

Как-то утром недели через две после описанных событий, когда Бобби Феррар перелистывал каталог луковичных цветов, ему принесли визитную карточку сэра Лоренса Монта; вслед за ней появился он сам и с места в карьер спросил:

— Вы знаете, Бобби, зачем я пришел?

— Как нельзя лучше, — сказал Бобби Феррар басом, округлив глаза и откинув назад голову.

— Вы виделись с маркизом?

— Вчера с ним завтракал. Удивительный человек!

— Гордость старой гвардии, — сказал сэр Лоренс. — Что же вы собираетесь делать? Покойный сэр Конвей Черрел был лучшим послом в Испании, какой когда-либо выходил из вашей лавочки, а Хьюберт Черрел — его внук.

— У него действительно есть шрам? — осклабился Бобби Феррар.

— Ну конечно.

— И он действительно получил его там?

— Фома неверующий! Разумеется.

— Странно.

— Почему?

Бобби Феррар сверкнул зубами.

— Кто может это доказать?

— Халлорсен обещал заручиться свидетельскими показаниями.

— Видите ли, это дело не нашей компетенции.

— Нет? Но вы можете нажать на министра внутренних дел.

— Гм! — глубокомысленно произнес Бобби Феррар.

— И уж во всяком случае вы можете поговорить с боливийцами.

— Гм! — сказал Бобби Феррар еще более глубокомысленно и протянул ему каталог. — Вы видели этот новый тюльпан? Лучше нельзя, правда?

— Послушайте, Бобби, — сказал сэр Лоренс, — это вам не пройдет; Хьюберт — мой племянник, и он, как у вас говорят, парень что надо. Понятно?

— Век-то демократический, — таинственно изрек Бобби Феррар, — в палате сделали запрос, да? Насчет рукоприкладства?

— Если там будут шуметь, пустим в ход тормоза. Халлорсен отказался от своих обвинений. Ладно, предоставляю это вам; вы же все равно ничего толком не скажете, даже если я проторчу тут до вечера. Но вы сделаете все, что сможете, — ведь обвинение действительно скандальное.

— Как нельзя более, — заметил Бобби Феррар. — Хотите пойти на процесс кройдонского убийцы? Поразительное дело. У меня два места. Я предложил одно дяде, но он заявил, что не пойдет в суд до тех пор, пока не введут электрический стул.

— А этот человек действительно виновен?

Бобби Феррар кивнул.

— Но прямых доказательств нет,— добавил он.

— Ну, до свиданья, Бобби; я полагаюсь на вас.

Бобби Феррар вежливо осклабился и протянул руку.

— До свиданья,— процедил он сквозь зубы.

Сэр Лоренс пошел в «Кофейню», где швейцар вручил ему телеграмму: «Венчаюсь Джин Тасборо сегодня два часа святым Августином-на-Лужках буду рад видеть тебя и тетю Эм. Хьюберт».

Войдя в зал, сэр Лоренс сказал метрдотелю:

— Баттс, мне надо поглядеть, как будут венчать моего племянника. Подкрепите меня побыстрее.

Вскоре он уже ехал в такси к Святому Августину и около двух был уже там. На ступеньках он встретил Динни.

— Ты сегодня бледная, но интересная, Динни.

— А я всегда бледная, но интересная, дядя Лоренс.

— События, кажется, развиваются довольно быстро.

— Это все Джин. Я чувствую на себе страшную ответственность. Ведь это я ее откопала.

Они вошли в церковь и направились к передним скамьям. В церкви были только генерал, леди Черрел, жена Хилари и Хьюберт, если не считать двух случайных зевак и служителя. Послышались звуки органа. Сэр Лоренс и Динни сели на пустую скамью.

— Я ничуть не жалею, что здесь нет Эм,— шепнул он ей,— у нее глаза на мокром месте. Когда ты будешь выходить замуж, Динни, напечатая на пригласительных билетах: «Просьба не плакать». Что, собственно, вызывает такую сырость на свадьбах? На них рыдают даже судебные исполнители.

— Их умиляет фата,— сказала Динни.— Сегодня никто не будет плакать потому, что невеста без фаты. Смотри! Флер и Майкл.

Сэр Лоренс поглядел на них в моноколь.

— Уже восемь лет, как они женаты. В общем, это не такой уж неудачный брак.

— Отнюдь,— шепнула Динни,— Флер на днях сказала, что Майкл — золотой человек.

— Да ну? Это хорошо. Были времена, Динни, когда я чувствовал тревогу.

— Надеюсь, не из-за Майкла.

— Нет, нет; на него можно положиться. Но Флер раза два-три устраивала семейный переполох; впрочем, после смерти отца она ведет себя безупречно. А вот жених и невеста!

Орган заиграл «Гряди, голубица». Алан Тасборо вел Джин под руку к алтарю. Динни залюбовалась его прямым и честным взглядом. Что касается Джин, она была олицетворением яркой красоты и силы. Хьюберт, стоявший, заложив руки за спину, словно по команде «вольно» повернулся навстречу Джин, и Динни увидела, как его худое, угрюмое лицо просветлело, будто его осветило солнце. У нее сжало горло. Тут она заметила, что Хилари в стихаре неслышно появился на ступенях алтаря. «Люблю дядю Хилари»,— подумала она.

Хилари заговорил.

На этот раз Динни изменила своей привычке — не слушать того, что говорят в церкви. Она ждала знакомых слов: «Жена да повинется...» — но их не было; она ждала обычных намеков на отношения между полками, — они были опущены. Вот Хилари просит дать ему кольцо. Кольцо надето. Вот он начал молиться. Вот он прочел «Отче наш», и они ушли в ризницу. Какая до странности короткая церемония!

Она поднялась с колен.

— Свадьба как нельзя лучше, сказал бы Бобби Феррар, — прошептал сэр Лоренс. — Куда они поедут?

— В театр. Джин хочет остаться в городе. Она сняла дешевую квартиру.

— Затишье перед бурей. Хотел бы я, чтобы эта история с Хьюбертом была уже позади.

Молодая чета вышла из ризницы, и орган заиграл марш Мендельсона. Динни смотрела, как они идут по проходу, и в ней боролись чувства радости и утраты, ревности и удовлетворения. Потом, заметив, что и у Алана такой вид, будто в нем бушуют какие-то чувства, она поспешно направилась к Флер и Майклу, но, увидев возле выхода Адриана, подошла к нему.

— Какие новости, Динни?

— Пока все в порядке. Я сейчас еду прямо туда.

Публика, как известно, любит посочувствовать чужим переживаниям, — снаружи собралась кучка прихожан Хилари; когда Джин и Хьюберт сели в свою двухместную машину и тронулись в путь, их проводили визгливыми напутствиями.

— Поедем со мной, дядя, — сказала Динни.

— А Ферз не сердится, что ты там живешь? — спросил в такси Адриан.

— Он со мной вежлив, но все время молчит и глаз не сводит с Дианы. Мне его ужасно жалко.

Адриан кивнул.

— А как она?

— Ведет себя замечательно, как ни в чем не бывало. Вот только он не хочет выходить из дому; сидит в столовой и что-то высматривает в окно.

— Ему, видно, кажется, что весь мир в заговоре против него. Если только ему не станет хуже, это скоро пройдет.

— А разве ему непременно должно стать хуже? Ведь бывают же случаи полного выздоровления?

— Насколько я понимаю, тут на это рассчитывать нечего. Против него наследственность, да и характер.

— Он бы мог мне понравиться — у него такое смелое лицо, — но я боюсь его глаз.

— Ты его видела с детьми?

— Еще нет; но они говорят о нем хорошо и спокойно; видно, он их не напугал.

— В клинике они что-то объясняли мне на своем птичьем языке насчет комплексов, маний, депрессий и раздвоения личности; как я понял,

приступы глубокой меланхолии чередуются у него с приступами сильнейшего возбуждения. За последнее время те и другие смягчились до такой степени, что он почти выздоровел. Надо остерегаться рецидивов. В нем всегда жил мятежный дух; во время войны он бунтовал против командования, после войны — против демократии. Теперь, вернувшись, он наверняка затеет что-нибудь еще. А как только это случится, он сразу же свихнется опять. Если в доме есть оружие, Динни, его надо спрятать.

— Я скажу Диане.

Такси свернуло на Кингс-роуд.

— Лучше мне не провожать тебя до самого дома,— печально сказал Адриан.

Динни вышла из машины вместе с ним. С минуту она постояла, глядя, как удаляется его высокая, сутулая фигура, потом повернула на Окли-стрит и открыла дверь своим ключом. На пороге столовой стоял Ферз.

— Войдите сюда,— сказал он,— мне нужно с вами поговорить.

В этой зеленовато-золотистой комнате, обшитой панелями, недавно отобедали; на узком столе лежали газеты, книги, стояла коробка с табаком. Ферз пододвинул Динни стул и встал спиной к огню, который никак не мог разгореться ярким пламенем. Ферз не смотрел на нее, и Динни могла разглядеть его лучше, чем когда бы то ни было. Его красивое лицо производило тягостное впечатление. Выдающиеся скулы, упрямый подбородок, выющиеся волосы с проседью только подчеркивали жадно горящие серо-голубые глаза. И даже его поза,— он стоял, широко расставив ноги, подбоченясь, вытянув вперед шею,— тоже подчеркивала этот лихорадочный взгляд. Динни откинулась на стуле; ей было страшно, но она старалась улыбаться. Повернувшись к ней, он спросил:

— Что обо мне говорят?

— Не знаю; я была на свадьбе брата.

— Хьюберта? На ком он женился?

— На Джин Тасборо. Вы ее тут на днях видели.

— А! Помню. Я ее запер.

— Зачем?

— Она показалась мне опасной. Знаете, я ведь поехал в клинику по доброй воле. Меня никто туда не помещал.

— Конечно. Я знаю, что вы находились там по доброй воле.

— Мне там было не так уж плохо, но... ладно! Как я выгляжу?

Динни мягко сказала:

— Понимаете, ведь я вас раньше никогда вблизи не видела; но мне кажется, что вы выглядите очень хорошо.

— Я и чувствую себя хорошо. Я делал гимнастику. Со мной занимался парень, которого ко мне приставили.

— Вы много читали?

— За последнее время — да. А что они обо мне думают?

Услышав этот вопрос вторично, Динни посмотрела ему прямо в глаза.

— Что они могут думать, раз они вас не видели?

— По-вашему, мне надо встречаться с людьми?

— В этом я ничего не понимаю, капитан Ферз. Но почему бы и нет? Встречаетесь же вы со мной каждый день.

— Вы мне нравитесь.

Динни протянула ему руку.

— Только не говорите, что вам меня жалко,— быстро сказал Ферз.

— Зачем мне вас жалеть? Я уверена, что вы совершенно здоровы.

Он прикрыл глаза рукой.

— Да, но надолго ли?

— Почему не навсегда?

Ферз отвернулся к огню.

— Если вы не будете волноваться, ничего с вами не случится,— робко сказала Динни.

Ферз круто повернулся к ней.

— Вы часто видели моих детей?

— Не очень.

— Они на меня похожи?

— Нет, они пошли в Диану.

— Слава богу хоть за это! Что думает обо мне Диана?

На этот раз он впился в нее глазами, и Динни поняла, что от ее ответа будет зависеть все,— да, все.

— Диана очень рада.

Он неистово замотал головой.

— Это невозможно.

— Правда часто кажется невозможной.

— Она меня, верно, ненавидит?

— За что?

— Ваш дядя Адриан... что между ними было? Только не говорите мне «ничего».

— Дядя на нее молится,— тихо сказала Динни,— вот почему они просто друзья.

— Просто друзья?

— Просто друзья.

— Много вы знаете!

— Я знаю наверняка.

Ферз вздохнул.

— Вы хорошая. Что бы вы сделали на моем месте?

Динни снова почувствовала всю тяжесть своей ответственности.

— То, чего хочет Диана.

— А чего она хочет?

— Не знаю. Наверно, она и сама еще не знает.

Ферз задумчиво прошелся к окну и обратно.

— Я должен что-нибудь сделать для таких несчастных, как я.

Динни огорченно вздохнула.

— Мне ведь повезло. Большинство таких, как я, врачи признают ненормальными и упрятыывают в сумасшедший дом. А будь я беден, нам бы эта клиника была не по карману. Там тоже несладко, но куда лучше, чем обычно бывает в таких местах. Я расспрашивал своего служителя. Он знал два-три таких заведения.

Ферз умолк, а Динни вспомнила слова дяди: «...он наверняка затеет что-нибудь еще. А как только это случится, он сразу же свихнется опять».

Внезапно Ферз заговорил снова:

— Если бы у вас была хоть какая-нибудь работа, взялись бы вы ухаживать за помешанными? Никогда! Ни вы, ни кто другой, у кого есть нервы и душевная деликатность. Святые на это, вероятно, способны, но святых ведь не так уж много. Нет! Чтобы ходить за нами, нужно не знать жалости, быть железным человеком, иметь дубленую шкуру. Люди чувствительные для нас хуже толстокожих, — они не владеют собой, и это отражается на нас. Заколдованный круг. Господи! Сколько я ломал себе над этим голову! А потом — деньги. Если у больного есть деньги, не посылайте его в такие места. Никогда, ни за что! Устройте ему лучше тюрьму в собственном доме, где хотите, как хотите. Если бы я не знал, что могу уйти оттуда в любое время, если бы я не цеплялся за эту мысль даже в самые тяжелые минуты, — меня бы не было здесь сейчас... я был бы в смиренной рубашке. Господи! В смиренной рубашке! Деньги! Но у многих ли есть деньги? Может быть, у пятерых из ста. А остальных девяносто пять несчастных запирают в сумасшедший дом, запирают насильно. Все равно, как бы ни были хороши эти дома, как бы там хорошо ни лечили, — там все равно заживо хоронят. Иначе и быть не может. Люди на воле считают нас покойниками... всем на нас наплевать. Мы не существуем больше, сколько бы ни болтали о научных методах лечения. Мы непристойны... мы уже не люди... старые представления о безумии держатся крепко; мы — позор для семьи, жалкие неудачники. Вот нас и убирают с глаз долой, закапывают в землю. Делают это гуманно — двадцатый век! Гуманно! Попробуйте-ка сделать это гуманно! Вам не удастся! Тогда хоть подлакируйте сверху... подлакируйте, и все. Ничего другого не остается, уж поверьте мне. Поверьте моему служителю, он-то все знает.

Динни слушала не шевелясь. Ферз вдруг расхохотался.

— Но мы не покойники, вот в чем беда, — мы не покойники. Если бы только мы были покойниками! Все эти несчастные скоты — они еще не умерли; они способны страдать, как и всякий другой... больше, чем другой. Мне ли этого не знать? А как помочь?

Он схватился за голову.

— Неужели нельзя помочь? — тихо спросила Динни.

Он уставился на нее широко раскрытыми глазами.

— А мы только подлакируем погуще... вот и все, что мы можем; все, что мы когда-нибудь сможем.

«Тогда зачем себя изводить?» — чуть не сказала Динни, но сдержалась.

— Может быть, вы придумаете, чем помочь, — произнесла она вслух, — но это требует спокойствия и терпения.

Ферз рассмеялся.

— Я наверно, наскучил вам до смерти.

И он отвернулся к окну.

Динни неслышно выскользнула из комнаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В этом пристанище людей, понимающих толк в жизни,— в ресторане «Пьемонт»,— понимающие толк в жизни пребывали в разных стадиях насыщения; они наклонялись друг к другу, словно еда сближала их души. Они сидели за столиками попарно, вчетвером, а кое-где и впятером; там и сям попадался отшельник с сигарой в зубах, погруженный в меланхолию или созерцание; а между столиками сновали тощие и проворные официанты,— привычка мучительно напрягать память искажала их лица. В ближнем углу лорд Саксенден и Джин уже расправились с омаром, осушили полбутылки рейнвейна, поболтали о том о сем, наконец Джин медленно подняла глаза от пустой клешни и спросила:

— Итак, лорд Саксенден?

Под этим взглядом, сверкнувшим из-под густых ресниц, он еще больше выпучил голубые глаза.

— Как омар?— спросил он.

— Изумительный.

— Я всегда сюда прихожу, когда хочу вкусно поесть. Официант, куропатка готова?

— Да, милорд.

— Давайте поскорей. Попробуйте-ка рейнвейна, мисс Тасборо; вы ничего не пьете.

Джин подняла зеленоватый бокал.

— Со вчерашнего дня я стала миссис Хьюберт Черрел. Об этом напечатано в газетах.

Лорд Саксенден слегка надул щеки, погрузившись в раздумье: «Интересно, выиграю я от этого что-нибудь или нет? Приятнее ли эта юная дама холостой или замужней?»

— Вы не теряете времени,— произнес он вслух, изучая ее лицо, словно пытался найти на нем следы ее изменившегося положения.— Если бы я знал, я бы не посмел пригласить вас обедать одну.

— Спасибо,— сказала Джин,— он сейчас за мной зайдет.

И сквозь припущенные ресницы она посмотрела, как он задумчиво осушает бокал.

— Есть новости?

— Я видел Уолтера.

— Уолтера?

— Министра внутренних дел.

— Вот это мило с вашей стороны!

— Очень. Терпеть его не могу. У него голова совсем как яйцо, только волосы мешают.

— Что он сказал?

— Да будет вам известно, миледи, в правительственных учреждениях никто ничего не говорит. Всегда обещают «подумать». В этом смысл государственной власти.

— Но он ведь должен считаться с тем, что сказали **вы**. А что сказали **вы**?

Ледяные глаза лорда Саксендена как будто ответили: «Ну, знаете, это уж слишком».

Но Джин улыбнулась, и глаза постепенно оттаяли.

— Вы самая непосредственная женщина, какую мне доводилось видеть. Если уж на то пошло, я сказал: «Прекрати это, Уолтер!»

— Вот чудесно!

— Ему это не понравилось. Эта скотина стоит на страже закона.

— Могу я его повидать?

Лорд Саксенден расхохотался. Он хохотал, как человек, услышавший презабавнейшую остроу.

Джин дала ему посмеяться и сказала:

— Решено, я его повидаю.

Неловкую паузу заполнила подоспевшая куропатка.

— Послушайте,— сказал вдруг лорд Саксенден,— если вы говорите серьезно,— есть один человек, который может добиться для вас приема: это Бобби Феррар. Он служил с Уолтером, когда тот был министром иностранных дел. Я дам вам записку к Бобби. Хотите сладкого?

— Нет, спасибо. Но я хочу кофе. А вот и Хьюберт!

Вывавшись из вертящейся западни, заменявшей здесь дверь, Хьюберт явно искал жену.

— Приведите его сюда!

Джин пристально посмотрела на мужа. Лицо у того прояснилось, и он направился прямо к ним.

— Ну и взгляд,— проворчал, поднимаясь, лорд Саксенден.— Здравствуйте. Ваша жена — редкая женщина, капитан Черрел. Хотите кофе?

И, вынув визитную карточку, он написал на ней аккуратным, четким почерком:

«Роберту Феррару, эсквайру, М. И. Д., Уайтхолл.

Дорогой Бобби, примите, пожалуйста, моего друга миссис Хьюберт Черрел и, если есть хоть малейшая возможность, устройте ей прием у Уолтера.

Саксенден».

Передав карточку Джин, он потребовал счет.

— Хьюберт,— сказала Джин,— покажи лорду Саксендену шрам.

И, расстегнув запонку на манжете Хьюберта, она закатала ему рукав. На фоне белой скатерти как-то странно и зловеще выделялась синевато-багровая полоса.

— Гм,— изрек лорд Саксенден,— это будет вам очень кстати.

Хьюберт двинул рукой, и шрам исчез.

— Она все еще позволяет себе вольности,— сказал он.

Лорд Саксенден заплатил по счету и предложил Хьюберту сигару.

— Извините, но я должен бежать. Допивайте ваш кофе. До свидания, и желаю счастья вам обоим!

Он пожал им руки и стал пробираться между столиками к выходу. Молодая пара проводила его взглядом.

— Насколько я слышал,— сказал Хьюберт,— он не славится такой деликатностью. Ну как, Джин?

Джин подняла на него глаза.

— Что такое м. и. д.?

— Министерство иностранных дел, милая моя деревенщина.

— Допивай кофе, и пойдем к этому человеку.

Во дворе они услышали за спиной голос:

— А! Черрел! Мисс Тасборо!

— Профессор, это моя жена.

Халлорсен схватил их за руки.

— Ну, разве не замечательно? У меня в кармане телеграмма, которая стоит любого свадебного подарка.

Заглянув Хьюберту через плечо, Джин прочитала вслух:

— «Заявление Мануэля скрепленное присягой опровергающее обвинения послано почтой точка американское консульство в Ла-Пас». Великолепно, профессор! А вы не сходите с нами насчет этого дела к одному человеку в министерстве иностранных дел?

— Охотно. Я и сам не хотел ничего откладывать в долгий ящик. Давайте возьмем машину.

Сидя против них в такси, Халлорсен весь сиял доброжелательством.

— Ну, и быстро же вы все это состряпали, а?

— Это все Джин.

— Да,— сказал Халлорсен, словно Джин здесь не было,— как только я увидел ее в Липпингхолле, я сразу понял, что она девушка решительная. А сестра ваша рада?

— Как по-твоему, Джин?

— Конечно.

— Вот чудесная девушка! В низких зданиях есть своя прелесть. Приятно смотреть на ваш Уайтхолл. Чем больше солнца и звезд видишь прямо с улицы, тем больше в народе порядочности. Вы венчались в цилиндре, Черрел?

— Нет, я был одет, как сейчас.

— Жаль. Мне нравятся цилиндры,— словно носишь на голове символ утраченных идеалов. Вы, кажется, тоже из родовитой семьи, миссис Черрел. Ваш здешний обычай служить своей родине целыми семьями, от отца к сыну, дает вдохновляющий пример.

— Вот никогда об этом не думала!

— Я беседовал с вашим братом там, в Липпингхолле, и он сказал, что у вас в семье вот уже несколько столетий всегда есть моряк. А у вас, Черрел, говорят, всегда есть солдат. Я верю в наследственность. Это и есть министерство иностранных дел?— Он посмотрел на часы.— Сомневаюсь, чтобы ваш знакомый был на месте. У меня такое впечатление, что все свои дела они обделывают за обедом. Может, нам лучше до трех пойти в парк и поглядеть на уток?

— Я оставлю ему карточку,— сказала Джин.

Она быстро вернулась.

— Его ждут с минуты на минуту.

— Значит, придет не раньше чем через полчаса,— сказал Халлорсен.— Тут есть одна утка, капитан, насчет которой я хотел бы знать ваше мнение.

Когда они пересекали по дороге к пруду широкую улицу, их едва не сшибли две чуть было не столкнувшиеся машины, — водителей смутил непривычный простор. Хьюберт судорожно схватил Джин. Лицо его под загаром мертвенно побледнело. Машины промчались мимо справа и слева от них. Халлорсен, схвативший Джин за другую руку, сказал, растягивая слова больше обычного:

— Чуть было нас не поцарапали.

Джин промолчала.

— Я иногда задаю себе вопрос, — продолжал Халлорсен, — так ли уж нам нужна вся эта спешка? Как вы находите, Черрел?

Хьюберт пожал плечами.

— Заменяв поезд автомобилем, мы, во всяком случае, теряем почти столько же времени, сколько выигрываем.

— Верно, — сказал Халлорсен. — Зато самолет действительно берегает нам много времени.

— Это вопрос, — мы еще не знаем, что нам принесет авиация.

— Вы правы. Мы сами готовим себе сущий ад. Следующая война дорого обойдется ее участникам. Предположим, что подерутся Франция и Италия, — тогда за каких-нибудь две недели не станет ни Рима, ни Парижа, ни Флоренции, ни Венеции, ни Лиона, ни Милана, ни Марселя. Они превратятся в отравленные пустыри. А военные корабли и войска, должно быть, не успеют сделать ни единого выстрела.

— Да. И это отлично известно всем правительствам. Я сам солдат, но никак не пойму, зачем они продолжают тратить сотни миллионов на армию и флот, которые, вероятно, вовсе и не понадобятся. Если будут уничтожены жизненные центры страны, нельзя управлять войсками и эскадрами. Долго ли продержатся Франция и Италия, если будут отравлены газами их крупнейшие города? Англия и Германия наверняка не продержались бы и недели.

— Ваш дядя, хранитель музея, говорит, что при нынешних темпах человек скоро снова превратится в рыбу.

— То есть как?

— Очень просто! Эволюция видов — от рыб к пресмыкающимся, птицам и млекопитающим — пойдет теперь обратным ходом. Мы снова становимся птицами, скоро будем ползать и пресмыкаться, а в конечном счете, когда суша станет необитаемой, вернемся в море.

— Почему бы всем сообща не запретить войну в воздухе?

— Как ее запретишь? — сказала Джин. — Государства не доверяют друг другу. К тому же Америка и Россия не входят в Лигу наций.

— Мы, американцы, согласились бы ее запретить. Но наш сенат — вряд ли.

— Ох уж этот ваш сенат, — проворчал Хьюберт, — тяжело вам с ним, должно быть, приходится.

— Еще бы! Он совсем как ваша палата лордов до реформы тысяча девятьсот десятого года. Вот эта утка. — Халлорсен показал на птицу, в самом деле непохожую на остальных.

— Я охотился на таких в Индии, — сказал Хьюберт, разглядывая птицу. — Она называется... позабыл. Мы сейчас посмотрим на дощечке — я вспомню, как только прочту.

— Нет!— заявила Джин.— Уже четверть четвертого. Наверно, он пришел.

Так и не установив породы утки, они вернулись в министерство иностранных дел.

Бобби Феррар славился своим рукопожатием: дернет вверх руку собеседника и бросит ее на весу. Как только Джин водворила свою руку на место, она сразу перешла к делу.

— Вы в курсе этой истории с требованием выдать моего мужа, мистер Феррар?

Бобби Феррар кивнул.

— Вот профессор Халлорсен, который возглавлял экспедицию. Хотите взглянуть на шрам, который остался у моего мужа?

— Очень хочу,— процедил сквозь зубы Бобби Феррар.

— Покажи, Хьюберт.

Несчастный Хьюберт снова закатал рукав.

— Как нельзя лучше!— сказал Бобби Феррар.— Я говорил Уолтеру.

— Вы его видели?

— Меня просил об этом сэр Лоренс.

— Что же сказал Уол... министр внутренних дел?

— Ничего. Он видел Зазнайку, но он не любит Зазнайку и поэтому подписал ордер на Боу-стрит¹.

— Как? Значит, его арестуют?

Бобби Феррар кивнул, разглядывая свои ногти.

Молодожены переглянулись.

Халлорсен угрюмо спросил:

— Неужели на них нельзя найти управу?

Бобби Феррар покачал головой; глаза его стали совсем круглыми.

Хьюберт поднялся.

— Жаль, что я доставил всем столько хлопот. Пойдем, Джин!

С легким поклоном он повернулся и вышел. Джин последовала за ним.

Халлорсен и Бобби Феррар остались вдвоем.

— Никак не пойму вашей страны,— сказал Халлорсен.— Что еще нужно было сделать?

— Ничего,— ответил Бобби Феррар.— Когда дело дойдет до суда, представьте все доказательства, какие удастся раздобыть.

— Непременно. Рад, что познакомился с вами, мистер Феррар!

Бобби Феррар вежливо осклабился. Глаза его округлились еще больше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Делу дали законный ход, и Хьюберт предстал перед судом на Боу-стрит. Сидя в зале суда вместе с другими членами семьи, Динни следила за разбирательством с молчаливым протестом в душе. Письменные показания шести боливийских погонщиков, утверждавших, что Хьюберт застрелил человека без всякого повода, устные показания Хьюберта,

¹ Улица в Лондоне, где находится главный полицейский суд.

оглашение его послужного списка, освидетельствование шрама и показания Халлорсена — вот и весь материал, на основании которого судья должен был вынести приговор. Он принял решение: «Отложить рассмотрение дела до поступления дополнительных доказательств со стороны обвиняемого». Затем судья рассмотрел ходатайство о выдаче обвиняемого на поруки, — ведь основной принцип английского закона гласит: «Арестованный считается невиновным, пока его вина не доказана», — принцип, который так часто нарушается на практике; Динни зашла дыхание. Она не могла примириться с мыслью, что Хьюберт, который только что женился и считается невиновным, должен будет сидеть в тюремной камере, пока доказательства его невиновности не переплывут океан. Но в конце концов судья согласился принять крупный залог, предложенный сэром Конвеем и сэром Лоренсом, и, облегченно вздохнув, Динни с высоко поднятой головой вышла из здания суда. На улице ее догнал сэр Лоренс.

— Какое счастье, — заметил он, — что у Хьюберта такой правдивый вид.

— Наверно, все это будет в газетах... — сказала вполголоса Динни.

— На этот счет, моя прелестная фея, ты смело можешь прозакладывать шпоры, которых у тебя нет.

— А как это отразится на служебном положении Хьюберта?

— Только к лучшему. Запрос в палате общин ему повредил. Но «процесс британского офицера против боливийских туземцев» сразу же привлечет все симпатии на его сторону, ты же знаешь слепую приверженность, которую у нас питают к своим.

— Больше всего мне жалко папу. У него заметно прибавилось седина с тех пор, как все это началось.

— Тут нет никакого позора, Динни.

Динни вскинула голову:

— Разумеется, нет!

— Знаешь, Динни, ты похожа на двухлетку — этакую норовистую гнедую, которая брыкается в загоне, плохо берет старт, а все-таки приходит к финишу первая. Нас догоняет твой американец. Подождать его? Он дал очень выгодные показания.

Не успела Динни пожать плечами, как Халлорсен ее окликнул:

— Мисс Черрел!

Динни обернулась.

— Большое спасибо, профессор, за то, что вы там говорили.

— Для вас я бы с радостью и приврал, да не пришлось. Какживает тот несчастный?

— Пока все в порядке.

— Рад это слышать. Я о вас беспокоился.

— Судья так и ахнул, профессор, — вставил сэр Лоренс, — когда вы сказали, что не хотели бы встретиться с этими погонщиками даже на том свете.

— Я жалею, что встретился с ними на этом. У меня тут машина, — может, я могу куда-нибудь подвезти вас и мисс Черрел?

— Пожалуйста, если вы едете на запад, к границам цивилизованного мира.

— Ну, профессор,— продолжал сэр Лоренс, когда они сели в машину,— как вам нравится Лондон? Что это — самый варварский или самый цивилизованный город в мире?

— Я его просто полюбил,— ответил Халлорсен, не отрывая глаз от Динни.

— А я нет,— сказала вполголоса Динни,— я ненавижу всю эту бедность попеременно с богатством и запахом бензина.

— Иностранцу трудно объяснить, чем ему нравится Лондон,— может быть, своей пестротой и разнообразием, тем, что здесь соединились вольность и тяга к порядку; а может, тем, что Лондон так не похож на наши города. В Нью-Йорке больше шума и всяких диковин, но он не такой уютный.

— Нью-Йорк,— сказал сэр Лоренс,— действует как стрихнин. Он вас возбуждает, пока не свалит с ног.

— Я бы, конечно, не смог жить в Нью-Йорке. Запад — вот моя стихия.

— Безбрежные просторы прерий?— пробормотала Динни.

— Вот именно, мисс Черрел; вам бы там очень понравилось.

Динни невесело улыбнулась.

— Человек слишком глубоко уходит корнями в родную землю.

— Да,— подтвердил сэр Лоренс,— мой сын как-то раз поднял в парламенте вопрос об эмиграции. И обжегся — уж очень прочно сидят эти корни.

— Вот как?— удивился Халлорсен.— Когда глядишь на ваших горожан, низкорослых, бледных и словно потерявших всякую веру в жизнь, поневоле задумаешься, какие у них могут быть корни.

— Не говорите, у настоящего горожанина они очень крепкие. На что ему ваши просторы прерий,— он любит уличный гам, жареную рыбу с лотка и кино. Ну, я приехал, профессор. А ты куда, Динни?

— На Окли-стрит.

Халлорсен остановил машину, и сэр Лоренс вышел.

— Мисс Черрел, прошу вас оказать мне честь,— разрешите отвезти вас на Окли-стрит!

Динни наклонила голову.

Сидя с ним бок о бок в закрытой машине, она с тревогой ждала, не попытается ли он воспользоваться таким удобным случаем.

— Как только все уладится с вашим братом,— сказал он, не глядя на нее,— я уеду с экспедицией в Нью-Мехико. Я всегда буду гордиться знакомством с вами, мисс Черрел.

Его руки без перчаток были крепко сжаты между колен; это ее почему-то растрогало.

— Мне очень жаль, профессор, что вначале я была к вам несправедлива, как и мой брат.

— Ничего удивительного. Я буду счастлив, если заслужу в конце концов ваше расположение.

Динни порывисто протянула ему руку.

— Вы его уже заслужили.

Он молча взял ее руку, поднес к губам и бережно отпустил. Динни почувствовала себя очень несчастной.

— Вы заставили меня изменить мнение об американцах,— сказала она робко.

Халлорсен улыбнулся.

— И на том спасибо.

— Боюсь, что мои представления были очень примитивны. Я ведь американцев никогда и не знала.

— В том-то и беда; мы друг друга совсем не знаем. Мы просто по мелочам действуем друг другу на нервы; на том дело и кончается. Но вы мне навсегда запомнитесь, как улыбка на лице вашей страны.

— Как мило,— сказала Динни,— хотелось бы, чтобы это была правда.

— Если вы подарите мне вашу фотографию, я буду хранить ее всю жизнь.

— Конечно, подарю. Не знаю, есть ли у меня приличная, но пришлю вам лучшее, что найду.

— Спасибо. Если позволите; я здесь сойду; мне трудно собой владеть. Машина доставит вас куда нужно.

Он постучал по стеклу и сказал несколько слов шоферу.

— Прощайте!— сказал он, снова взял ее руку, посмотрел на нее долгим взглядом, сильно ее сжал и протиснул в дверцу свои могучие плечи.

— Прощайте!— шепнула Динни, откинувшись на сиденье и чувствуя, что у нее сдавило горло.

Через пять минут машина остановилась у дома Дианы, и Динни вошла туда в самом подавленном настроении.

Когда она проходила мимо комнаты Дианы, которой сегодня еще не видела, то приоткрыла дверь.

— Зайдите на минутку, Динни.

Она говорила шепотом, и у Динни мороз пробежал по коже. Они сели рядом на большую кровать, и Диана торопливо прошептала:

— Он приходит ко мне вот уже три ночи подряд. Я не посмела ему отказать. В нем какая-то перемена: у меня предчувствие, что это начнется снова. Он все больше теряет над собой власть, во всем. Мне кажется, надо поскорее убрать детей. Хилари их возьмет?

— Не сомневаюсь; не то их возьмет мама.

— Может быть, это будет еще лучше.

— А вы не думаете, что вам и самой лучше уехать?

Диана вздохнула и покачала головой.

— Это только ускорит дело. Вы не могли бы увезти детей?

— Конечно. Но вы в самом деле думаете, что он...

— Да. Я уверена, что он все больше взвинчивает себя. Я слишком хорошо знаю симптомы. Вы заметили, что он и пить стал больше по вечерам? Одно к одному.

— Хоть бы он пересилил свой страх и стал выходить из дома!

— Боюсь, что это уже не поможет. Дома мы по крайней мере знаем, что с ним; мы сразу заметим, если произойдет самое худшее. Я так боюсь, как бы чего-нибудь не случилось при посторонних; тогда у нас руки будут связаны.

Динни стиснула руку Дианы.

— Когда мне увезти детей?
— Чем скорее, тем лучше. Ему нельзя об этом говорить. Вам придется уехать тайком. Если ваша мама сумеет взять к себе и мадемуазель, она поедет отдельно.

— Я, конечно, сразу же вернусь.

— Динни, я не решаюсь вас об этом просить. Я не одна, тут служанки. Не могу же я сваливать на вас мои неприятности.

— Вернусь, не спорьте. Я возьму машину у Флер. Он не рассердится, что дети уехали?

— Только если поймет, что их отослали из-за него. Я скажу, что их давно уже пригласили.

— Диана,— спросила вдруг Динни,— вы его еще любите?

— Люблю? Нет!

— Значит, это только жалость?

Диана покачала головой.

— Сама не знаю; тут и прошлое, и сознание, что, если я его брошу, я помогу судьбе его добить. Страшная мысль!

— Понимаю. Мне так жаль и вас обоих, и дядю Адриана.

Диана провела ладонями по лицу, словно стирая с него всякие признаки волнения.

— Не знаю, что у нас впереди, но зачем мучиться заранее? Что касается вас, дорогая, ради бога, не давайте мне отравлять вам жизнь.

— Ничего. Мне сейчас полезно отвлечься. Знаете поговорку: старой деве нужна встряска, а потом венец и ласка.

— А когда же у вас будет венец и ласка, Динни?

— Я только что отказалась от безбрежных просторов прерий и чувствую себя скотиной.

— Вы — на распутье между безбрежными просторами прерий и морской пучиной, да?

— Боюсь, что так и останусь на распутье. Любовь порядочного человека и тому подобное, видно, ничуть меня не трогает.

— Подождите! С таким цветом волос в монастырь не берут.

— Я покрашусь в свой настоящий цвет: льдины ведь зеленоватые.

— Говорю вам,— подождите!

— Подожду,— сказала Динни.

Через два дня Флер сама привела машину к дверям дома на Окли-стрит. Детей и багаж погрузили без всякой помехи, и они тронулись в путь.

Путешествие было утомительным — дети не привыкли к прогулкам в машине, — но Динни оно показалось настоящим отдыхом. Она и не подозревала, как действовала ей на нервы трагическая обстановка на Окли-стрит; а ведь прошло всего восемнадцать дней с тех пор, как она уехала из Кондафорда. На деревьях ярче горели осенние краски. Ясный октябрь сиял нежным, мягким светом; в воздухе, как только они удалились от города, потянуло любимым запахом моря, из деревенских труб поднимался дым, а со сжатых полей взлетали грачи.

Они успели как раз к обеду, и, оставив детей с мадемуазель, которая приехала поездом, Динни пошла гулять с собаками. Она остановилась у старого домика, — он возвышался над проходившей внизу дорогой. Входная дверь открывалась прямо в жилую комнату, где при скудном огне сидела одинокая старушка.

— А! Мисс Динни! — сказала она. — Ну и как же я рада. Не видела вас, почитай, целый месяц.

— Я уезжала, Бетти. Как поживаете?

Маленькая старушка — она была совсем карманного формата — важно сложила руки на животе.

— Опять животом маюсь. А вообще-то я здорова, — доктор говорит, я молодец. Вот только живот донимает. Говорит, мне надо есть побольше, да мне и самой хочется, мисс Динни. А как съем кусок, так сразу тошно, ей-богу, правда.

— Бедная, как мне вас жалко. От живота одни неприятности. От живота и от зубов. Не знаю, зачем только они нам. Нет зубов — ничего не прожуеть, — живот болит, есть зубы — жуешь, а он все равно болит.

Старушка тоненько захихикала.

— Он еще говорит, будто мне и остальные зубы надо выдернуть, мисс Динни, а мне их жалко. У отца зубов совсем нет, а он яблоко запросто разгрызает, право слово! Но в мои годы мне уже не дожидаться, пока десны затвердеют, как у него.

— Но вы можете вставить чудесные искусственные зубы.

— Ну уж нет! Не хочу чужих зубов, — еще подумают, что я важничая. Вы бы сами, мисс Динни, небось не захотели иметь чужие зубы.

— Наоборот. В наши дни почти у всех вставные зубы.

— Ох, и любите же вы пошутить! Нет, чужих зубов мне и даром не надо. Все равно что парик носить. А вот волосы у меня еще густые. Для моих лет я молодец. Есть за что бога благодарить; только вот животом маюсь, будто там что-то точит.

Динни увидела, как глаза ее потемнели от боли.

— А как поживает Бенджамин?

Глаза повеселели и в то же время стали снисходительными, как у взрослого, когда он говорит о ребенке.

— Отец-то здоров; его ничего не берет, вот ревматизм только. Он сейчас на огороде, копается там помаленьку.

— Ну, а как поживает Щеглушка? — спросила Динни, печально разглядывая щегла в клетке.

Ее всегда возмущало, что птиц сажают в клетки, но она не решалась сказать об этом старикам, державшим взаперти своего веселого любимца. А кроме того, говорят, если выпустить на волю ручного щегла, другие птицы тут же заклюют его до смерти.

— А! — сказала старушка. — Он совсем нос задрал с тех пор, как вы подарили ему такую большую клетку. — Глаза ее заблестели. — Подумать только, капитан женился, мисс Динни! А в суд-то его потащили — надо же! Чего только не выдумают! В жизни не слыхала ничего подобного. Чтобы Черрела потащили в суд! Невиданно и неслыханно!

— Да, вы правы, Бетти.

— Говорят, она красавица. А где они жить будут?

— Никто еще не знает; надо подождать, пока это дело уладится. Может быть, поселятся здесь, а может, он получит назначение за границу. Конечно, денег у них будет очень мало.

— Ужас какой; прежде ничего такого не бывало. Боже ты мой, до чего сейчас туго приходится знатным господам! Я ведь помню вашего прапрадеда, мисс Динни,— ездил в экипаже четверкой, когда я еще под стол пешком ходила. Такой красивый старый господин был, такой обходительный.

Динни всегда чувствовала неловкость, когда при ней жалели знать,— она-то ведь помнила, что эта старушка была одной из восьмерых детей батрака, зарабатывавшего одиннадцать шиллингов в неделю, и что теперь они с мужем, вырастив семерых детей, доживали свой век на пенсию по старости.

— Ну, Бетти, что же вам все-таки можно есть? Я скажу кухарке.

— Благодарю душевно, мисс Динни; кусочек постной свининки мне, пожалуй, не повредит.— Глаза ее снова потемнели и затуманились болью.— Так живот болит, что иной раз думаешь: поскорей бы бог прибрал.

— Ну, что вы, милая Бетти. Если вас немножко подержать на легкой пище, вы у нас поправитесь.

Лицо старушки сморщилось в улыбке, но глаза были грустные.

— Для моих лет я молодец, грех жаловаться. А когда же вы под венец, мисс Динни?

— До этого еще далеко, Бетти. Одна под венец не пойдешь.

— Да, теперь люди не торопятся с женитьбой и детей столько не рожают, как в мое время. Тетка моя родила восемнадцать и вырастила одиннадцать.

— Пожалуй, для них теперь не хватило бы ни места, ни работы.

— Да, большие кругом перемены.

— У нас тут, слава богу, перемен меньше, чем в других местах.

И Динни оглядела комнату, где эти старики провели пятьдесят лет своей жизни; от кирпичного пола до бревенчатого потолка комната вся сияла безупречной чистотой и уютом.

— Ну, Бетти, мне пора. Я живу сейчас в Лондоне у друзей и должна к вечеру вернуться. Попрошу кухарку прислать вам чего-нибудь из еды — получше свинины. Не вставайте, не надо!

Но маленькая старушка была уже на ногах, и глаза ее светились глубокой лаской.

— Уж как я рада, что повидала вас, мисс Динни. Благослови вас господь! И, даст бог, у капитана все наладится.

— До свиданья, милая Бетти, и передайте от меня поклон Бенджамину.

Динни пожала старушке руку и вышла на мощеную дорожку, где ее поджидали собаки. Как и всегда после таких встреч, она чувствовала глубокое смирение и была тронута до слез. Корни! Вот чего ей не хватало в Лондоне, вот чего ей недоставало бы там, на «безбрежных просторах прерий»! Она дошла до опушки заброшенной буковой рощицы и шагнула через сломанную калитку,— ее не пришлось даже открывать. Динни поднималась вверх по склону, а позади, внизу, оставались ветви

буков с набухшими от дождей орешками, от них шел сладковатый запах мякины; слева сквозь золотистую листву просвечивало серо-голубое небо; справа тянулось поле, вспаханное под пар, там сидел на задних лапах заяц; он повернулся и опрометью кинулся к живой изгороди; собака вспугнула фазана, и он с пронзительным криком взвился над деревьями. На вершине холма Динни выбралась из рощи и остановилась, глядя вниз на длинный дом из серого камня. Он был виден не весь — мешали магнолии и деревья на лужайке перед террасой; дым поднимался из обеих труб, и голуби белыми крапинками усеяли один из коньков крыши. Динни вздохнула полной грудью и постояла минут десять, — так после полива растение впитывает из земли жизненные соки. Пахло листьями, сырой землей и близким дождем; в последний раз она стояла тут в конце мая и вдыхала запах лета — аромат неповторимый, как память о прошлом и предвкушение счастья, как томление сердца и беспричинная радость...

После чая она уселась рядом с Флер в машину с поднятым верхом, и они отправились обратно в Лондон.

— Да, скажу я вам, — заявила проникательная Флер, — ну и тихая же у вас обитель. Я бы здесь просто умерла. Куда там Липпингхоллу до вашей глуши.

— Плесень веков, а?

— Я всегда говорю Майклу, что вы, Черрелы, — одно из наименее приметных и наиболее характерных явлений в Англии. Вы не шумите и не бросаетесь в глаза. Вами не заинтересуется современный писатель — слишком уж вы будничны, — а вот вы стоите как скала и продолжаете стоять, неведомо как. Всё на свете в заговоре против вас — от налогов на наследство до патефонов. А вы все равно стоите где-то на краю земли и делаете что-то, о чем никто не знает, да и знать не хочет. У большинства из вас нет даже своего Кондафорда, куда можно вернуться домой умирать, но все вы связаны с родной землей глубокими корнями и чувством долга. У меня-то нет ни того, ни другого, — вероятно, потому, что я наполовину француженка. У семьи моего отца — у Форсайтов, — может, и были корни, но у них нет чувства долга, — во всяком случае, такого, как у вас; пожалуй, это правильнее назвать инстинктом служения. Я им восхищаюсь, Динни, но мне было бы смертельно скучно. Это-то и заставляет вас отравлять себе жизнь из-за этой истории с Ферзом. Чувство долга — это болезнь, Динни, болезнь, хоть она и достойна всяческого уважения.

— Что же мне прикажете делать?

— Вырвать эту болезнь с корнем. Ведь это так старит — то, что вы сейчас делаете. Что касается Дианы, она тоже вашей породы; у Монтжоев есть свой Кондафорд где-то в Дамфририше, — я преклоняюсь перед ней за то, что она не бросает Ферза, но ведь это же безумие. Конец все равно один, и всем будет только неприятней, если затянуть развязку.

— Да; я чувствую, что для нее это добром не кончится, но надеюсь, что на ее месте поступила бы так же.

— А я нет, — весело сказала Флер.

— По-моему, никто не знает, как он поступит, пока не настанет решающая минута.

— Главное — никогда не доводить до решающей минуты.

Голос Флер странно зазвенел, и Динни заметила, как сжались ее губы. Загадочность придавала Флер в глазах Динни какое-то особое обаяние.

— Вы же не видели Ферза, — сказала она, — а потому и не понимаете, как его жаль.

— Сантименты, моя дорогая. А я не сентиментальна.

— Мне почему-то кажется, что у вас есть прошлое, Флер; а не будь вы сентиментальны, его бы у вас не было.

Флер кинула на нее быстрый взгляд и нажала на акселератор.

— Пора зажечь фары, — сказала она.

Весь остаток пути Флер говорила об искусстве, литературе и других отвлеченных предметах. Было уже около восьми, когда машина остановилась на Окли-стрит.

Диана была дома; она уже переделалась к ужину.

— Динни, — сказала она, — его нет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Простые слова, но какие зловещие!

— Когда вы сегодня утром уехали, он был вне себя, — вообразил, будто мы устроили против него заговор.

— Так оно и есть, — прошептала Динни.

— После отъезда мадемуазель он расстроился еще больше. Скоро я услышала, как хлопнула наружная дверь, — с тех пор он не возвращался. Я вам не говорила, но вчера я пережила страшную ночь. Что, если он не вернется совсем?

— Ах, Диана, как бы это было хорошо.

— Но куда он девался? Что делает? К кому он мог пойти? Господи! Как это ужасно.

Динни в ужасе глядела на нее.

— Простите, Динни! Вы, верно, устали и проголодались. Давайте скорее ужинать.

Они поужинали в «логове» Ферза — красивой комнате, отделанной зелеными панелями с золотистым оттенком, но их не покидала тревога. Мягкий свет падал из-под абажуров на открытые шеи и руки, на фрукты, цветы и серебро. Пока не вышла горничная, они говорили о посторонних вещах.

— У него есть ключ? — спросила Динни.

— Да.

— Давайте позвоним дяде Адриану?

— Что он может сделать? Если Рональд придет и застанет здесь Адриана, будет только хуже.

— Алан Тасборо говорил, что приедет сразу, если он нам понадобится.

— Нет, давайте сегодня никого не звать. А завтра посмотрим.

Динни кивнула. Ей было страшно, но больше всего она боялась показать свой страх, — ведь она здесь для того, чтобы своим спокойствием придать силы Диане.

— Пойдемте наверх, спойте мне,— сказала она наконец.

Наверху, в гостиной, Диана спела «Ветку тимьяна», «Юрские утесы», «Убирали в поле ячмень», «Замок Дромор»; все было так красиво — и комната, и песни, и певица, — что Динни охватило какое-то блаженное состояние. Она даже задремала, но вдруг Диана перестала играть.

— Слышите? Внизу стукнула дверь.

Динни встала и подошла к роялю.

— Играйте, не говорите ему ничего, не подавайте вида, что волнуетесь.

Диана заиграла и запела ирландскую песню: «Неужели мне быть в цепях, а тебе на воле». Дверь в гостиную открылась, и в зеркале напротив Динни увидела, как вошел Ферз и остановился, прислушиваясь к пению.

— Пойте дальше,— шепнула она.

Так что ж, я не волен, а ты вольна?
Люблю, а ты не любишь меня?
Неужто лишил меня разума бог
И разлюбить мне тебя не помог?

А Ферз стоял и слушал. Он выглядел не то смертельно уставшим, не то пьяным; волосы его были всклокочены, зубы чуть-чуть оскалены. Наконец он шевельнулся. Стараясь не шуметь, он подошел к дивану в дальнем углу и тяжело на него опустился. Диана перестала петь. Динни, положив руку ей на плечо, почувствовала, как Диана дрожит, стараясь говорить спокойно.

— Ты уже ужинал, Рональд?

Ферз не ответил; он пристально глядел на них из своего угла с той же странной, жуткой усмешкой.

— Играйте,— шепнула Динни.

Диана заиграла «Красный сарафан»; она повторяла этот прелестный безыскусственный мотив снова и снова, словно стараясь загипнотизировать молчавшего в углу человека. Когда Диана наконец остановилась, наступила тишина. Динни не выдержала первая.

— Капитан Ферз, на улице дождь? — спросила она резко.

Ферз провел руками по брюкам и кивнул.

— Тогда, может, тебе пойти переодеться, Рональд?

Ферз уперся локтями в колени и опустил голову на руки.

— Ты, должно быть, устал, дорогой; ложись-ка лучше в постель. Принести тебе наверх чего-нибудь поесть?

Но он все не двигался. Усмешка сползла с его губ, глаза закрылись. Казалось, он заснул так внезапно, как валится в упряжке загнанная лошадь.

— Закройте рояль,— прошептала Динни,— пойдемте наверх.

Диана тихонько опустила крышку рояля и поднялась. Они подождали, прижавшись друг к другу, но он не шевелился.

— Как по-вашему, он спит? — шепнула Динни.

Ферз встрепенулся.

— Спит? У меня все начинается снова! Все снова! Но я не хочу, не позволю. Клянусь богом, не позволю!

Лицо его было искажено бешенством; он постоял минуту, потом, заметив их испуг, упал обратно на диван и закрыл лицо руками.

Диана порывисто бросилась к нему. Ферз поднял голову. Глаза его дико горели.

— Не смей! — прорычал он. — Оставьте меня в покое! Убирайтесь! У двери Диана обернулась.

— Рональд, хочешь, позовем врача? Он даст тебе снотворное... тебе надо поспать.

Ферз вскочил с дивана.

— Не надо мне никого. Убирайтесь!

Они попятились из комнаты, бросились наверх и остановились только в спальне у Динни, обнявшись и дрожа.

— Прислуга уже спит?

— Они всегда рано ложатся, когда бывают вечером дома.

— Диана, по-моему, мне надо спуститься и позвонить.

— Нет, Динни, я пойду сама. Но кому звонить?

Этот вопрос заставил их задуматься. Они обсудили его шепотом. Диана хотела позвонить врачу, Динни считала, что надо попросить Адриана или Майкла пойти к врачу и привезти его с собой.

— Так же начиналось и в прошлый раз?

— Нет. Тогда он не знал, что ему предстоит. Я боюсь, что он покончит с собой.

— А у него есть оружие?

— Я отдала его армейский револьвер Адриану.

— А бритвы?

— Только безопасные; и в доме нет никакого яда.

Динни пошла к двери.

— Я должна позвонить...

— Динни, я не могу вам позволить...

— Меня он не тронет. Опасность грозит только вам. Заприте дверь, пока меня не будет.

И она выскользнула прежде, чем Диана смогла ее остановить. Повсюду еще горел свет; она замерла, прислушиваясь. Ее комната была на третьем этаже и выходила на улицу. Спальня Дианы и спальня Ферза были расположены ниже, недалеко от гостиной. Ей нужно было пройти мимо них, чтобы попасть в холл, а оттуда — в маленький кабинет, где стоял телефон. Внизу была полная тишина. Диана открыла дверь и оказалась на пороге; боясь, что она ее обгонит, Динни побежала вниз по лестнице. Скрипнули ступени, и она остановилась, чтобы снять туфли. Держа их в руках, она прокралась мимо двери гостиной. Оттуда не доносилось ни звука, и Динни сбежала в холл. Там она успела заметить брошенные на стул шляпу и пальто Ферза и, войдя в кабинет, закрыла за собой дверь. Немножко постояв, чтобы отдышаться, Динни зажгла свет и взяла телефонную книгу. Она нашла телефон Адриана и уже протянула руку к трубке, как кто-то сжал ее запястье; ахнув, она оглянулась и увидела Ферза. Он рывком повернул ее к себе и ткнул пальцем в туфли, которые она все еще держала в руке.

— Хотите меня выдать, — сказал он и, не выпуская ее руки, вынул из бокового кармана нож.

Отпрянув насколько возможно назад, Динни посмотрела ему прямо в лицо. Почему-то она уже не так боялась, как раньше; главным ее ощущением был какой-то стыд, — ей было неловко, что она держит в руке туфли.

— Как это глупо, капитан Ферз, — произнесла она ледяным тоном. — Вы отлично знаете, что мы не хотим вам зла.

Ферз отшвырнул ее руку, открыл нож и одним ударом перерезал телефонный провод. Трубка упала на пол. Он закрыл нож и убрал его в карман. Динни показалось, что этот поступок немного успокоил его.

— Наденьте туфли, — сказал он.

Она повиновалась.

— Имейте в виду, я не позволю, чтобы мной распоряжались и вмешивались в мою жизнь. Я сам решу, что с собой делать.

Динни молчала. Сердце ее бешено колотилось, и она боялась, что голос может ее выдать.

— Вы слышите?

— Да. Никто не собирается вам мешать или делать что-либо вам наперекор. Мы хотим вам только добра.

— Знаю я это «добро», — сказал Ферз. — С меня хватит. — Он подошел к окну, рванул в сторону шторы и выглянул на улицу. — Дождь льет как из ведра, — сказал он, потом повернулся и уставился на Динни. Лицо его начало подергиваться, руки сжались в кулаки. Он замотал головой и вдруг закричал: — Вон отсюда, живо! Вон, вон отсюда!

Динни быстро пошла к двери, стараясь не бежать, закрыла ее за собой и кинулась наверх. Диана все еще стояла на пороге спальни. Динни втокнула ее в комнату, заперла дверь и, задыхаясь, упала на стул.

— Он побежал за мной, — с трудом выговорила она, — и перерезал провод. У него нож; боюсь, что начинается буйный приступ. Если он попробует взломать дверь, она выдержит? Может быть, пододвинуть кровать?

— Тогда нельзя будет спать.

— Спать мы и так не будем.

И Динни принялась тащить кровать. Вдвоем они загородили ею дверь.

— Прислуга запирается на ночь?

— Они запираются с тех пор, как он вернулся.

Динни с облегчением вздохнула. Ее бросило в дрожь при одной мысли о том, что ей пришлось бы идти предупреждать служанок. Она села на кровать и посмотрела на стоявшую у окна Диану.

— О чем вы думаете, Диана?

— О том, как бы я боялась, если бы дети были дома.

— Да, слава богу, их нет.

Диана подошла к кровати и взяла Динни за руку. Динни ответила на ее пожатие, — они сжали друг другу руки почти до боли.

— Неужели мы ничего не можем сделать, Динни?

— Если он уснет, утром ему станет лучше. Теперь, когда он опасен, мне его не так жалко.

— Я вообще уже ничего не чувствую,— глухо сказала Диана.— Знает он, что я в вашей комнате? Может, мне лучше сойти вниз, и будь что будет.

— Ни за что!

И, вынув ключ из двери, Динни сунула его себе в чулок; прикосновение холодного металла ее как-то успокоило.

— Теперь мы ляжем ногами к двери,— сказала она.— Незачем зря себя изводить.

Обеих охватила какая-то усталость, и они долго лежали, прижавшись друг к другу, под пуховым одеялом,— ни та, ни другая не могли уснуть, но обе были в полузабытии. Динни задремала, но ее разбудил какой-то шорох. Она взглянула на Диану. Та спала в самом деле, спала как убитая. Дверь прилегала к косяку неплотно, и над нею виднелась полоска света. Динни оперлась на локоть и прислушалась. Кто-то поворачивал и осторожно тряс ручку. Послышался стук.

— Да,— очень тихо сказала Динни,— в чем дело?

— Диана,— раздался голос Ферза, на этот раз очень покорный.— Мне нужна Диана.

Динни прижалась губами к замочной скважине.

— Диана нездорова,— прошептала она.— Она заснула, не будите ее.

Наступило молчание. Потом она с ужасом услышала протяжный вздох, похожий на стон, до того жалобный и безнадежный, что Динни чуть было не отворила дверь. Она вовремя взглянула на бледное, измученное лицо Дианы, и это удержало ее. Нельзя! Что бы ни означал этот вздох,— все равно нельзя! И, съжившись на постели, она опять прислушалась. За дверью не раздавалось ни звука. Диана спала, но Динни больше не могла заснуть. «Если он себя убьет,— мелькнула у нее мысль,— это я буду виновата». Но разве так не лучше будет для всех — для Дианы, для детей и для него самого? И все же его протяжный вздох, почти стон, продолжал звучать у нее в ушах. Бедняга, вот бедняга! Она не чувствовала больше ничего, кроме острой мучительной жалости и какой-то злобы на неумолимую природу, причиняющую людям такие страдания. Безропотно покоряться судьбе? Ни за что! Она бессмысленна и жестока! Динни лежала, вздрагивая, рядом с измученной спящей Дианой. Чем они прогневали судьбу? Могли они ему чем-нибудь помочь? Что им делать утром? Диана пошевелилась. Просыпается? Но та только повернулась на другой бок и снова забылась тяжелым сном. Постепенно Динни охватила дремота, она тоже заснула.

Ее разбудил стук в дверь. Было уже светло. Диана еще спала. Динни взглянула на часы. Восемь часов. Это пришли ее будить.

— Спасибо, Мери,— вполголоса откликнулась она.— Миссис Ферз у меня.

Диана села, глядя на полуодетую Динни.

— В чем дело?

— Ни в чем. Восемь часов! Надо встать и подвинуть кровать на место. Вы поспали как следует. Прислуга уже на ногах.

Они накинули халаты и отодвинули кровать. Динни вынула ключ и отперла дверь.

— Мешкать нечего. Пошли.

С минуту они постояли, прислушиваясь, на верхней площадке лестницы, потом спустились ниже. В комнате Дианы не было никаких следов беспорядка. По-видимому, сюда заходила горничная — шторы были отдернуты. Динни и Диана остановились у двери, которая вела в комнату Ферза. Ни звука. Они вышли в коридор, откуда в его комнату вела другая дверь. Опять ни звука!

— Сойдем вниз,— шепнула Динни.— Что сказать Мери?

— Ничего. Она поймет сама.

Двери в столовую и кабинет были распахнуты. Отрезанная телефонная трубка еще валялась на полу; никаких других следов ужасной ночи не было заметно.

Вдруг Динни сказала:

— Диана, нет его шляпы и пальто. Они лежали здесь на стуле.

Диана пошла в столовую и позвонила. Из кухни явилась пожилая служанка, вид у нее был испуганный.

— Мери, вы сегодня утром видели шляпу и пальто мистера Ферза?

— Нет, миссис Ферз.

— Когда вы сошли вниз?

— В семь часов.

— Вы не были в его комнате?

— Еще нет, миссис Ферз.

— Вчера вечером мне нездоровилось; я ночевала в комнате мисс Динни.

— Да, миссис Ферз.

Все трое поднялись наверх.

— Постучите в дверь.

Служанка постучала. Динни и Диана стояли рядом. Ответа не последовало.

— Постучите еще, погромче.

Служанка постучала несколько раз. Никто не отвечал. Диана отстранила ее и повернула ручку. Дверь отворилась. Ферза там не было. В комнате царил такой беспорядок, словно здесь была драка. Валялась пустая грелка; повсюду был рассыпан пепел. Постель была смята, но, по-видимому, Ферз лежал не раздеваясь. Все его вещи были на месте, он явно ничего с собой не взял. Женщины переглянулись.

— Мери, дайте нам поскорее позавтракать,— сказала наконец Диана.— Нам надо уйти.

— Да, миссис Ферз... я видела телефон.

— Уберите трубку и позаботьтесь, чтобы телефон починили; ничего другим не говорите. Скажите, что он уехал на день или на два. Приведите в порядок комнату, чтобы все выглядело как надо. Давайте поскорей оденемся, Динни.

Горничная ушла вниз.

— А деньги у него есть?— спросила Динни.

— Не знаю. Посмотрю, взял ли он чековую книжку.

Диана побежала по лестнице, Динни ждала. Минуту спустя Диана вернулась в холл.

— Нет, она лежит на бюро в столовой. Одевайтесь скорее!

Это означало... Что же это могло означать? В душе у Динни боролись надежда и страх. Она бросилась навстречу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Второпях они позавтракали и посоветовались, как быть дальше. Куда пойти?

— Только не в полицию, — сказала Динни.

— Конечно, нет.

— Я думаю, прежде всего нам надо поехать к дяде Адриану.

Они послали горничную за такси и отправились к Адриану. Еще не было и девяти. Они застали его за завтраком; он ел рыбу — в ней было столько костей, что чем больше ешь, тем больше остается на тарелке, — только так и можно объяснить библейское чудо с семью корзинами, полными рыбы.

Адриан, который, казалось, совсем поседел за эти дни, выслушал их, набивая трубку; потом он сказал:

— Теперь предоставьте все это мне. Динни, ты можешь отвезти Диану в Кондафорд?

— Конечно.

— А можешь ты сначала попросить Алана Тасборо съездить в клинику и узнать, нет ли там Ферза, не говоря им, что он исчез? Вот адрес. Динни кивнула.

Адриан поднес руку Дианы к губам.

— Дорогая, у вас совершенно измученный вид. Не волнуйтесь; отдохните там с детьми. Мы будем сообщать вам обо всем.

— Адриан, можно избежать шума в газетах?

— Постараемся. Я посоветуюсь с Хилари; сперва испробуем все другие пути. Сколько у него с собой денег?

— По последнему чеку он получил пять фунтов два дня назад; но вчера он весь день не был дома.

— Как он одет?

— Синее пальто, синий костюм, котелок.

— И вы не знаете, где он был вчера?

— Нет. До вчерашнего дня он вообще не выходил.

— Он еще состоит в каком-нибудь клубе?

— Нет.

— Кто-нибудь из старых друзей знает о его возвращении?

— Нет.

— И он не взял чековой книжки?.. Когда ты сможешь поймать этого молодого человека, Динни?

— Сейчас же, если я могу позвонить по телефону; он ночует у себя в клубе.

— Иди звони.

Динни позвонила и, вернувшись, сообщила, что Алан немедленно поедет в клинику и о результатах даст знать Адриану. В клинике Алан скажет, будто он старый друг Ферза и не знал, что тот уехал домой. Он попросит известить его, как только Ферз вернется, чтобы он мог приехать его навестить.

— Хорошо, детка,— сказал Адриан,— ты у меня умница. А теперь поезжайте, и присматривай там за Дианой. Оставь мне номер вашего телефона в Кондафорде.

Записав телефон, он проводил их до такси.

— Дядя Адриан самый добрый человек на свете.

— Никто этого не знает лучше меня, Динни.

Вернувшись на Окли-стрит, они поднялись наверх, чтобы собраться. Динни боялась, что Диана в последнюю минуту откажется ехать. Но та дала слово Адриану, и вскоре они отправились на вокзал. Обе были так измучены, что все полтора часа пути провели молча, каждая в своем углу. Динни только теперь поняла, чего ей все это стоило. И почему? Никто ни на кого не нападал, и даже шума особого не было. Как страшно действует на окружающих безумие! Какой ужас оно внушает, сколько причиняет страданий! Теперь, когда ей больше не грозила встреча с Ферзом, он снова вызывал в ней только жалость. Она представляла себе, как он бродит с помутившимся рассудком, не зная, где приклонить голову, и не имея подле себя никого, кто бы ему помог; на грани полного безумия или, может быть, уже по ту сторону этой грани. Самые ужасные трагедии всегда порождают страх. Преступность, проказа, безумие — все это пугает людей, а жертвы этих несчастий обречены на беспросветное одиночество, окружены всеобщим страхом. Со вчерашней ночи ей куда понятнее стали отчаянные слова Ферза о том заколдованном круге, в котором мечется человек, потерявший рассудок. Теперь она знала, что у нее не хватит ни сил, ни жестокости, чтобы иметь дело с сумасшедшими; поняла она и почему так жестоко обращались с сумасшедшими в былые времена. Так ведут себя и собаки,— обезумев от страха, они набрасываются всей сворой на бешеного пса. Презрение к полоумным, жестокость и презрение — ведь это только самозащита,— самозащита и месть за что-то такое, что оскорбляет человеческие чувства. И тем больше их жалеешь, и тем страшнее о них думать. Поезд мчал ее все ближе к дому, к покою, а Динни все больше мучили противоречивые чувства — хотелось прогнать от себя всякую мысль о несчастном отщепенце, и было нестерпимо жаль его. Она поглядела на Диану, прикрывшую напротив с закрытыми глазами. Что она сейчас чувствует? Ведь она связана с Ферзом воспоминаниями, законом, детьми. На лицо, обрамленное плотно прилегающей шляпкой, легли следы долгих испытаний — на нем появились морщинки и какая-то суровость. Судя по чуть заметному движению губ, она не спала. «Что ее поддерживает? — думала Динни. — Она не религиозна и, в общем, ни во что особенно не верит. На ее месте я бы бросила все и сбежала куда глаза глядят... Нет, пожалуй, не сбежала бы. Может быть, в каждом из нас живет какое-то чувство долга перед самим собой, оно-то и поддерживает в нас твердость и стойкость духа».

На вокзале никто их не встречал, и, оставив там вещи, они пошли в Кондафорд пешком.

— Интересно,— сказала вдруг Динни,— может ли человек прожить в наши дни совсем без волнений? Могла бы я быть счастлива, живя здесь все время, как деревенские старики? Клер тут всегда томится. Ти-

хая жизнь не по ней. В каждом из нас живет свой бес — живет и не дает покоя.

— В вас я его, кажется, никогда не замечала, Динни.

— Жалко, что я не была постарше во время войны. Когда она кончилась, мне было всего четырнадцать.

— Вам повезло.

— Не знаю. Вы пережили столько треволнений, Диана.

— Когда началась война, мне было столько лет, сколько вам сейчас.

— И вы были замужем?

— Только что вышла.

— Кажется, он провел всю войну на фронте?

— Да.

— Отсюда все и пошло?

— По-моему, только ускорило.

— Дядя Адриан говорил о наследственности.

— Да.

Динни показала на домик под соломенной крышей.

— В этом домике пятьдесят лет прожили друг с другом двое стариков, мои любимцы. Вы на это способны, Диана?

— Теперь — да; я хочу покоя.

Они дошли до дома молча. Там их застала телеграмма от Адриана: Ферз в клинику не возвращался, но Адриан и Хилари, кажется, напали на верный след.

Повидавшись с детьми, Диана прилегла в отведенной ей комнате, а Динни зашла к матери.

— Мама, я должна это кому-нибудь высказать: я молю бога, чтобы Ферз умер.

— Динни!

— Ради него самого, ради Дианы, ради детей, ради всех нас; даже ради меня самой.

— Конечно, если он безнадежен...

— Мне все равно, безнадежен он или нет. Все это слишком ужасно.

Провидение обанкротилось.

— Что ты, детка!

— Слишком уж свысока оно на нас смотрит. Может, и есть какой-нибудь вечный промысл, но мы для него — просто козявки.

— Тебе надо хорошенько выспаться, детка.

— Да. Но это ничего не изменит.

— Не распускайся, Динни; от этого портится характер.

— Не вижу никакой связи между верой и характером. Разве я стану вести себя хуже оттого, что больше не верю в провидение или загробную жизнь?

— Но, Динни...

— Напротив, я стану вести себя лучше; если я человек порядочный, то это потому, что порядочность сама по себе хороша, а не потому, что мне за это воздастся.

— Какая может быть порядочность, если нет бога?

— О моя дражайшая и премудрая мать, я же не говорю, что бога нет. Я только сказала, что его промысл очень далек от нас. Разве ты не

слышишь, как он говорит: «Да, кстати, этот шарик под названием Земля — он все еще вертится?» И какой-нибудь ангел ему отвечает: «Конечно, сэр, вертится, и довольно проворно». — «Позвольте-ка, он, наверно, совсем уж мохом порос. Помните, там еще развелся такой микроб... хлопотун...»

— Динни!

— «Ах да, сэр, вы имеете в виду человека?» — «Вот-вот, кажется, мы его так и назвали».

— Динни, какой ужас!

— Нет, мама, если я человек порядочный, то это потому, что порядочность придумали люди для блага самих людей; точно так же, как красоту создали люди себе на радость. Мамочка, я, наверно, ужасно выгляжу. У меня совсем глаза слипаются. Пойду, пожалуй, прилягу. Сама не знаю, почему я так разволновалась. Наверно, оттого, что я никак не могу забыть его лицо.

И с подозрительной поспешностью Динни повернулась и вышла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Тот, кому возвращение Ферза причинило столько горя, в душе обрадовался его бегству. Этой радости не могло испортить Адриану даже то, что он сам взялся положить ей конец и вернуть беглеца. В такси по дороге к Хилари Адриан напряженно раздумывал, как ему разрешить эту задачу. Боязнь огласки мешала ему действовать обычными и прямыми путями — обратиться в полицию, объявить по радио, в газете. Все это привлекло бы к Ферзу слишком много внимания. Какие же средства оставались в его распоряжении? Ему казалось, что ему нужно решить кроссворд, а он, подобно другим высокоинтеллигентным людям, немало их разгадал на своем веку. Из рассказа Динни было неясно, в котором часу Ферз ушел из дому, а чем дольше откладывать поиски тех, кто мог заметить его возле дома, тем меньше надежды их найти. Повернуть такси и возвратиться в Челси? Но Адриан продолжал ехать в Лужки, повинаясь скорее внутреннему чутью, чем логике. Он привык обращаться в трудную минуту к Хилари, да и вообще в таком деле ум хорошо, а два лучше. Адриан подъехал к дому священника, так ничего и не придумав, и решил только порасспросить о Ферзе на Набережной и на Кингс-роуд. Было еще рано — начало десятого, и Хилари читал полученные утром письма. Выслушав брата, он вызвал в кабинет жену.

— Давайте минуты три подумаем, — сказал он, — а потом обменяемся мыслями.

Они постояли перед горевшим камином, — мужчины курили, женщина нюхала осеннюю розу.

— Ну? — спросил наконец Хилари. — Что-нибудь придумала, Мэй?

— Вот что, — ответила, наморщив лоб, жена, — если все так, как описывает Динни, надо сначала навести справки в больницах. Я позвоню в три-четыре приемных покоя, куда его могли привезти, если с ним что-нибудь случилось. Еще рано, и к ним вряд ли поступало много народу.

— Очень мило с твоей стороны; ты женщина находчивая и сможешь все узнать, не называя его имени.

Мэй пошла звонить.

— А ты, Адриан?..

— Есть у меня одна догадка, но я хотел бы сперва выслушать тебя.

— Что ж,— сказал Хилари,— мне пришли в голову две возможности. Во-первых, нужно узнать в полиции, не было ли сегодня утопленников. Во-вторых, я думаю,— и это вероятнее всего,— он мог напиться.

— Так рано ему негде купить вина.

— А в гостинице? Деньги у него есть.

— Согласен, если моя догадка тебе не понравится, поищем в гостиницах.

— Ну?..

— Я пытался поставить себя на место этого бедняги. Мне кажется, если бы я почувствовал себя обреченным, я сбежал бы в Кондафорд — может быть, не в самую усадьбу, а в ее окрестности, туда, где мы играли мальчишками, туда, где я жил, прежде чем на меня обрушилась судьба. Раненое животное уползает в свою нору.

Хилари кивнул.

— А где его дом?

— В Западном Сассексе — у самой гряды Меловых холмов, на их северном склоне. Станция Петуорт.

— А! Знаю эти места. Перед войной мы с Мэй часто бывали в Бигноре и исходили пешком всю округу. Давай попытаем счастья на вокзале Виктория и узнаем, не садился ли в поезд кто-нибудь, похожий на Ферза. Но сперва выясним в полиции насчет утопленников. Я могу сказать, что пропал кто-то из моих прихожан. Какого он роста?

— Выше среднего, широкие плечи, большая голова, широкие скулы, тяжелый подбородок, темные волосы, серо-голубые глаза; костюм и пальто синие.

— Хорошо,— сказал Хилари,— позвоню в полицию, как только Мэй освободит телефон.

Оставшись один у горящего камина, Адриан погружился в раздумье. Он читал детективные романы и знал, что следует французскому индуктивному методу, построенному на психологической догадке, тогда как Хилари и Мэй пытались решить задачу по английской системе, путем последовательного исключения одной возможности за другой,— чудесная система, но разве у них есть время ждать чуда? В Лондоне человек может исчезнуть, как иголка в стоге сена; а необходимость избегать огласки связывает им руки. Он с нетерпением ждал, что выяснит Хилари. Какая странная ирония судьбы,— он, именно он боится услышать, что несчастный Ферз утонул или попал под машину, а Диана стала свободной!

Адриан взял со стола Хилари расписание поездов. Поезд в Петуорт ушел в 8.50, следующий пойдет в 9.56. Времени почти не остается. Он сидел как на иголках, поглядывая на дверь. Торопить Хилари глупо — он мастер беречь время.

— Ну?— спросил Адриан, когда отворилась дверь.

Хилари покачал головой.

— Ничего! Ни в больницах, ни в полиции. Никуда его не привозили, нигде о нем не слышали.

— Тогда поехали на вокзал,— сказал Адриан,— поезд уходит через двадцать минут. У тебя есть сейчас время?

Хилари взглянул на свой стол.

— Времени нет, но я все-таки поеду. Просто беда, какую власть имеет над нами сыскной азарт. Подожди минутку, я только скажу Мэй и захвачу шляпу. Можешь пока поискать такси. Ступай к Сент-Панкрасу и жди меня.

Адриан пошел, оглядываясь по сторонам в поисках такси. Наконец ему попалась машина, ехавшая с Юстон-роуд, он велел шоферу развернуться и стал ждать брата. Вскоре показалась сухощавая, одетая в черное фигура.

— Что-то я не в форме,— сказал Хилари, задыхаясь, и влез в машину.

Адриан высунулся из окна.

— Вокзал Виктория, и побыстрее!

Хилари взял его под руку.

— Ни разу не выбирались с тобой за город, старина, с тех пор как лазили на вершину Кармарзен сразу после войны. Помнишь, какой был туман?

Адриан вынул часы.

— Боюсь, что не поспеем. Уж очень большое движение.

Некоторое время они сидели молча, подпрыгивая на сиденье.

— Когда не забуду, я раз проходил во Франции мимо *maison d'aliénés*¹,— сказал вдруг Адриан,— большое здание у самого железнодорожного полотна, окруженное чугунной решеткой. Какой-то несчастный раскинул руки, широко расставил ноги и вцепился в эту решетку, как орангутанг. По-моему, это хуже смерти. Там хоть добрая, чистая земля, да небо над тобой. Я жалею, что Ферз не нашли в реке.

— Мы еще ничего не знаем; может, мы гоняемся за ним впустую.

— Осталось три минуты,— пробормотал Адриан,— ни за что не поспеем.

Но тут в машине словно пробудились свойства английского национального характера: в последний момент она развила сверхъестественную скорость, а другие машины словно расступались перед ней. Рынок — и они остановились у вокзала.

— Ты спроси в кассе первого класса, а я узнаю в третьем,— сказал на бегу Хилари.— К священнику отнесутся внимательнее.

— Нет,— сказал Адриан,— если уж он поехал, то первым классом; тут должен спрашивать ты. А будут сомнения — скажи им про глаза!

Худое лицо Хилари исчезло в окошке кассы и тут же показалось снова.

— Здесь! На этом поезде! В Петуорт. Скорей!

Братья побежали, но не успели добраться до барьера, как поезд тронулся. Адриан бросился вдогонку, но Хилари схватил его за руку.

— Спокойно, старина, мы его все равно не догоним; но Ферз нас увидит, и тогда все пропало.

Они понуро направились к выходу.

¹ дом для умалишенных (ф р а н ц.)

— Удивительно, как это ты догадался,— сказал Хилари.— Когда поезд приходит на место?

— В двенадцать двадцать три.

— Тогда мы можем догнать его на машине. У тебя есть деньги? Адриан пошарил в карманах.

— Всего восемь шиллингов шесть пенсов,— с огорчением признался он.

— А у меня ровно одиннадцать шиллингов. Вот глупо!.. Придумал! Мы поедем на такси к Флер: если ее машина дома, она разрешит нам ее взять; либо она сама, либо Майкл нас отвезут. Машина не должна нас там связывать.

Адриан кивнул, все еще ошеломленный правильностью своей догадки.

На Саус-сквер Майкла они не застали, но Флер оказалась дома. Адриан знал ее хуже, чем Хилари, и очень удивился, что она так быстро все сообразила и вывела из гаража машину. Не прошло и десяти минут, как они пустились в путь. Флер сидела за рулем.

— Я поеду через Доркинг и Палборо,— сказала она, откидываясь назад.— По этой дороге я могу гнать всю после Доркинга. Но что вы с ним будете делать, дядя Хилари, если вы его нагоните?

Этот простой, но существенный вопрос заставил братьев переглянуться. Казалось, Флер затылком почувствовала их растерянность,— резко затормозив машину под самым носом у собаки, которая чудом избежала гибели, она повернулась и спросила:

— Может, вы хотите прежде подумать?

Адриан молчал, поглядывая то на круглое лицо Флер с правильными чертами — это воплощение практичной, спокойной, уверенной в себе молодости,— то на худое, умное, изборожденное морщинами лицо брата, все такое же доброе, хотя страдания ближних и оставили на нем свой след.

— Едем,— сказал Хилари,— будем решать, как подскажут обстоятельства.

— Пожалуйста, остановитесь у почты,— добавил Адриан.— Я хочу послать телеграмму Динни.

Флер кивнула.

— Почта есть на Кингс-роуд. Мне еще надо где-нибудь заправиться. И машина двинулась в потоке других машин.

— Что мне написать в телеграмме?— спросил Адриан.— Сказать про Петуорт?

Хилари покачал головой.

— Скажи только, что мы, кажется, попали на верный след.

Когда они отправили телеграмму, оставалось всего два часа до прихода поезда.

— До Палборо пятьдесят миль,— сказала Флер,— а оттуда еще около пяти. Не знаю, хватит ли бензина. Посмотрим в Доркинге.

И, хотя в закрытом лимузине разговаривать очень удобно, Флер будто онемела, сосредоточив все внимание на машине.

Сперва братья сидели молча, не спуская глаз с часов и спидометра.

— Редко я теперь езжу кататься,— негромко сказал Хилари.— О чем ты думаешь, старина?

— О том, что мы с ним будем делать.

— Если бы при моей работе я еще раздумывал заранее, я бы через месяц протянул ноги. В городских трущобах священник живет, как в джунглях,— того и гляди, из-за дерева выскочит тигр; вырабатывается какое-то шестое чувство, на него и приходится полагаться.

— Ну да,— сказал Адриан.— А я живу среди мертвецов и совсем неопытен в обращении с живыми.

— Здорово ведет машину,— вполголоса заметил Хилари.— Погляди на ее затылок. Так и видна сноровка во всем.

Изящная головка с коротко подстриженными волосами удивительно ловко сидела на белой круглой шее,— сразу видно, что она тут полновластная хозяйка.

Несколько миль они проехали молча.

— Вот и Бокс-Хилл,— сказал Хилари,— в этих местах со мной однажды случилась история, я тебе о ней не рассказывал, но никогда ее не забуду; вот пример того, как легко каждому из нас свихнуться.— Понизив голос, он продолжал:— Помнишь веселого священника Даркотта? Когда я учился в Бикерской школе — до Харроу,— он был там классным наставником; как-то раз в воскресенье он взял меня на прогулку в окрестности Бокс-Хилла. В поезде на обратном пути мы оказались одни в купе. Мы с ним дурачились, но вдруг он словно взбесился, глаза у него загорелись и стали какими-то безумными. Я совершенно не понимал, чего ему нужно, и порядком напугался. Потом он вдруг овладел собой. Все это произошло ни с того ни с сего. Разумеется, подавленный половой инстинкт... на какой-то миг он превратился в настоящего маньяка... ужасная штука. А ведь славный был человек. В нас живут темные силы, Адриан.

— Демонические силы! А когда они вырываются на свободу... Бедный Ферз!

Они услышали голос Флер:

— Начинает понемножку сдавать, придется заправиться. Тут рядом есть колонка.

— Хорошо.

Машина подъехала к заправочной станции.

— До Доркинга всегда приходится ползти как черепаха,— сказала, потягиваясь, Флер.— Теперь мы нагоним. Осталось всего тридцать две мили, а в запасе еще целый час. Вы что-нибудь придумали?

— Нет,— сказал Хилари,— мы всячески старались не думать.

Флер метнула на него один из тех проницательных взглядов, которые сразу же убеждали людей, что она женщина умная.

— Вы повезете его назад? На вашем месте я бы этого делать не стала.

Достав сумочку, она чуть-чуть подкрасила губы и напудрила свой короткий прямой нос.

Адриан наблюдал за ней с почтительным восхищением. Ему не часто приходилось сталкиваться с современной молодежью. Его поразили не столько ее слова, сколько то, что под ними крылось. А означали они

примерно следующее: предоставьте его самому себе — все равно вы ничем ему не поможете. Неужели она права?.. Может быть, он и Хилари просто платят дань общечеловеческой страсти — вмешиваться в чужие дела? Может быть, они поднимают святотатственную руку на природу? И все-таки, хотя бы ради Дианы, они должны выяснить, что делает Ферз и что он собирается делать. А ради самого Ферза — хотя бы убедиться, что он не попал в дурные руки. На лице брата мелькнула тень улыбки. Он-то знает молодежь, подумал Адриан, у него есть собственные дети, и ему известно, куда может привести жестокая логика юности.

Они двинулись дальше по длинным оживленным улицам Доркинга.

— Наконец-то выбрались,— сказала, оборачиваясь, Флер,— теперь вы, пожалуй, его поймаете.

И она дала полный газ. Четверть часа они мчались мимо пожелтевших рощ, мимо полей и поросших дроком выгонов, где паслись гуси и старые клячи, мимо деревенских лугов, деревенских улиц, и повсюду сельская жизнь неохотно отступала под натиском города. Но тут машина, которая шла все время так плавно, вдруг начала скрипеть и подскакивать.

— Камера лопнула,— сказала, повернув голову, Флер.— Плохо дело.

Она остановила машину, и все вышли. Правая задняя крышка совсем спустила.

— Аврал,— сказал Хилари, снимая пиджак.— Подними-ка ее домкратом, Адриан. Я достану запасное колесо.

Голова Флер скрылась в ящике с инструментами, но оттуда донесся ее голос:

— У семи нянек... дайте-ка лучше я сама!

Адриан ничего не смыслил в машинах и был беспомощен, как ребенок, в обращении со всякими механизмами. Он охотно отошел в сторону, с восхищением наблюдая за работой Флер и Хилари,— те действовали спокойно, быстро, умело, но домкрат был не в порядке.

— Всегда так, когда торопишься,— заметила Флер.

Они потеряли двадцать минут, прежде чем тронулись дальше.

— Теперь я уже не успею,— сказала Флер,— но тут легко напасть на его след. Станция тут же за городом.

Они промчались через Биллингсхерст, Палборо и Стопхемский мост на предельной скорости.

— Поезжай лучше прямо на станцию,— сказал Хилари,— если он пошел в город, мы его встретим.

— А что мне тогда делать, остановиться?

— Нет, проезжай мимо, а потом поверни.

Они проехали Петуорт и еще полторы мили до станции, но Ферза не было и в помине.

— Поезд пришел добрых двадцать минут назад,— сказал Адриан,— давайте спросим.

Железнодорожник подтвердил, что отбирал билет у господина в синем пальто и черном котелке. Нет, вещей у него не было. Он пошел по направлению к Меловым холмам. Давно это было? Да с полчаса назад.

Они поспешно сели в машину и поехали к Меловым холмам.

— Помнится, немного дальше будет поворот на Саттон,— сказал Хилари.— Весь вопрос в том, свернул он туда или пошел прямо. Там есть жилье. Спросим, может, его видели.

Чуть дальше развилки стоял небольшой домик, где помещалась почта, к нему по саттонской дороге приближался на велосипеде почтальон.

Флер затормозила рядом с ним.

— Вы не встретили по дороге в Саттон человека в синем пальто и котелке?

— Нет, мисс, не встретил ни души.

— Спасибо. Ну как, дядя Хилари, ехать дальше, к холмам?

Хилари взглянул на часы.

— Если не ошибаюсь, до вершины холмов возле Данктонского маяка осталось около мили. От станции мы проехали полторы мили; он опередил нас, скажем, минут на двадцать пять; значит, наверху мы должны его нагнать. Оттуда будет видна вся дорога, и мы его заметим. Если он нам не попадется, значит, он пошел прямо по склону... но в какую сторону?

Адриан сказал вполголоса:

— Домой.

— На восток?— спросил Хилари.— Едем дальше, Флер, только не очень быстро.

Флер повела машину по дороге к холмам.

— Суньте руку в карман моего пальто, там три яблока,— сказала она.— Я успела их захватить.

— Ну и голова!— сказал Хилари.— Но они пригодятся тебе самой.

— Нет. Я худею. Оставьте мне одно.

Грызая яблоки, братья не спускали глаз с перелесков по обе стороны дороги.

— Лес тут слишком густой,— сказал Хилари,— Ферз туда не пойдет. Если заметишь его, Флер, тут же остановись.

Но нигде не было и следа Ферза; поднимаясь все медленнее и медленнее, они достигли перевала. Справа виднелась круглая буковая рощица Данктона, слева простирался открытый склон; дорога перед ними была пуста.

— Дальше ехать нет смысла,— сказал Хилари.— Надо что-то решать.

— Послушайтесь меня, дядя Хилари, давайте я лучше отвезу вас домой.

— Послушаться ее, Адриан?

Адриан покачал головой.

— Я пойду дальше.

— И я с тобой.

— Смотрите!— воскликнула вдруг Флер и показала на что-то рукой.

Ярдах в пятидесяти от них слева на тропинке темнел какой-то предмет.

— Кажется, это пальто.

Адриан выскочил из машины и кинулся туда. Когда он вернулся, на руке у него висело синее пальто.

— Никаких сомнений,— сказал он.— Либо Ферз тут сидел и забыл его взять, либо ему надоело его нести, и он его бросил. В обоих случаях это плохой признак. Идем, Хилари!

Он кинул пальто в машину.

— Какие будут приказания, дядя Хилари?

— Ты вела себя молодцом. Хочешь быть еще большим молодцом? Подожди нас тут с часок. Если мы за это время не вернемся, спускайся обратно и поезжай потихоньку низом на Саттон-Бигнор и Уэст-Бартон, а там, если мы все еще не подадим признаков жизни, отправляйся по шоссе через Палборо обратно в Лондон. Если у тебя есть при себе какие-нибудь деньги, дай нам взаймы.

Флер достала сумочку.

— Три фунта. Хватит вам двух?

— Покорнейше благодарим,— сказал Хилари.— У нас с Адрианом никогда не бывает денег. Наверно, мы — самая бедная семья во всей Англии. До свиданья, дорогая, и спасибо! Пойдем, старина!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Помахав на прощанье Флер — она стояла у машины и ела яблоко, — братья двинулись по тропинке к холмам.

— Ступай вперед,— сказал Хилари,— у тебя зрение лучше, да и костюм твой не так бросается в глаза. Если ты его увидишь, мы решим, что делать.

Почти сразу же они наткнулись на высокую проволочную ограду, пересекавшую холм.

— Она кончается там, левее,— сказал Адриан.— Мы обойдем ее возле роши; чем ниже мы будем держаться, тем лучше.

Братья зашагали по склону вдоль ограды, ступая по густой некошенной траве, и постепенно перешли на привычный шаг альпинистов, словно впереди было долгое и трудное восхождение. Они не знали, нагонят ли Ферза и как с ним быть, если нагонят, но понимали, что им, может быть, придется иметь дело с буйнопомешанным, и лица их приняли такое выражение, какое бывает у солдат, у моряков, у альпинистов — у всех, кто смотрит в глаза опасности.

Они перебрались через заброшенный неглубокий меловой карьер и уже карабкались вверх по другой его стороне, как вдруг Адриан прыгнул назад и потянул за собой Хилари.

— Он там,— прошептал Адриан,— ярдах в семидесяти от нас.

— Видел тебя?

— Нет. Вид у него страшный. Без шляпы, размахивает руками. Что делать?

— Выгляни из-за этого куста.

Адриан опустился на колени и стал наблюдать. Ферз больше не размахивал руками; он стоял в задумчивой позе, скрестив руки и понутив голову. Теперь он повернулся к Адриану спиной, и о его состоянии можно было судить только по этой неподвижности погруженного в себя человека. Внезапно он опустил руки, покачал головой и быстро зашагал

вперед. Адриан подождал, пока он не скрылся в кустах, и сделал знак Хилари.

— Давай не отставать,— шепнул Хилари,— не то мы его потеряем, если он войдет в лес.

— Он пойдет по открытому месту: бедняге нужен простор. Осторожно!

Адриан снова потянул Хилари к земле. Перед ними начинался склон, который круто спускался в поросшую травой ложбину, и на середине склона они ясно видели Ферза. Он шагал медленно, явно не подозревая, что за ним следят. Время от времени он хватался за голову, словно стараясь освободить ее от каких-то пут.

— Боже мой!— прошептал Адриан.— Как жутко на него смотреть! Хилари только кивнул.

Они легли на землю, не спуская глаз с Ферза. Лесистые холмы перед ними переливались на солнце всеми цветами осени. Утром пала обильная роса, и в воздухе все еще стоял запах травы; над белыми меловыми холмами раскинулось туманное, бледно-голубое, белесое небо. Тишь стояла такая, что дух захватывало. Братья молча ждали.

Ферз добрался до дна лощины; они видели, как он уныло бредет по кочкам к небольшой рошице. Из-под ног у него вспорхнул фазан; Ферз вздрогнул, словно пробудившись от сна, и остановился, глядя на взлетевшую птицу.

— Наверно, ему знакома тут каждая кочка,— сказал Адриан,— ведь он был страстным охотником.

В тот же миг Ферз вскинул руки, словно держал в них ружье. В этом жесте было что-то удивительно успокаивающее.

— Теперь бежим!— сказал Хилари, когда Ферз исчез в рошице. Они сбегали в лощину и заковыляли по кочкам.

— А что, если он остановился в кустах?— задыхаясь, спросил Адриан.

— Рискнем! Теперь осторожно, пока не увидим тот склон...

Ферз медленно взбирался вверх по противоположному склону ярдах в ста за рошицей.

— Пока все в порядке,— прошептал Хилари.— Подождем,— пусть он выйдет на ровное место и скроется из виду. Странное это занятие для нас с тобой, старина. А главное, как сказала Флер, что с ним делать потом?

— Мы должны знать, что с ним произойдет,— ответил Адриан.

— Он уже скрывается. Дадим ему пять минут фору. Я засеку время.

Пять минут тянулись бесконечно. С поросшего деревьями откоса слышался пронзительный крик сойки; прямо перед ними из норы вылез кролик и уселся на задние лапы; между деревьями едва ощущалось дуновение ветерка.

— Пора!— сказал Хилари. Они поднялись и быстрым шагом двинулись вверх по склону.— А если он повернет назад?..

— Чем скорее мы с ним столкнемся, тем лучше,— сказал Адриан.— Вот если он заметит, что мы идем за ним, он пустится бежать, и мы его потеряем.

— Не так быстро, старина. Мы выходим на ровное место.

Они осторожно выбрались из лощины. Перед ними тянулся небольшой спуск; слева каменистая тропинка огибала опушку буковой рощи. Нигде не было никаких признаков Ферза.

— Он либо в этой роще, либо прошел через те кусты и снова поднимается вверх. Прибавим шагу, не то он уйдет.

Братья побежали по тропинке, извивавшейся на дне оврага, и уже подходили к кустам, но звук голоса в каких-нибудь двадцати ярдах от них заставил их замереть на месте. Они отпрянули назад и, затаив дыхание, бросились наземь на краю оврага. Откуда-то из чащи доносилось невнятное бормотание Ферза. Слов нельзя было разобрать, но слушать это было мучительно.

— Бедняга! — шепнул Хилари. — Может, пойдем и попробуем его успокоить?

— Слышишь?

Раздался треск сухой ветки, приглушенное проклятие, и тут же сразу, вдруг — пронзительный охотничий клич. У братьев застыла кровь в жилах.

— Какая жуть! — сказал Адриан. — Но он вышел из леса.

Они осторожно вошли в заросли; Ферз бежал к поднимавшемуся за лесом холму.

— Он нас не заметил?

— Нет, а то бы он оглядывался. Подожди, пока он снова скроется.

— Да, невеселое занятие, — сказал вдруг Хилари, — но я с тобой согласен: надо довести его до конца. Какой ужасный крик! Пора нам решить, что мы будем с ним делать.

— Если бы удалось уговорить его вернуться в Челси, — сказал Адриан, — можно было бы не пускать туда Диану и детей, уволить прислугу и нанять для ухода за ним специальных людей. Я готов побыть там с ним, пока все не наладится. Пожалуй, родной дом — единственная для него надежда на выздоровление.

— Не думаю, чтобы он пошел с нами добровольно.

— В таком случае, ей-богу, не знаю, что делать! Сажать его в клетку? Тут я не помощник.

— А что, если он захочет покончить с собой?

— Это уж твоя область, Хилари.

Хилари помолчал.

— Не очень-то полагайся на мой сан, — сказал он вдруг. — Священника городских трущоб ничем не проймешь.

Адриан схватил брата за руку.

— Его больше не видно.

— Тогда пошли!

Миновав быстрым шагом ровную полянку, они стали взбираться на следующий склон. Пригорок покрывали редкие кусты боярышника, тиса и ежевики, кое-где поднимались молодые буки. Тут было где укрыться, и братья смелее двинулись дальше.

— Мы подходим к перекрестку у Бигнора, — прошептал Хилари. — Что, если он спустится по тропинке в долину? Мы легко можем его потерять!

Они бросились бежать, но тут же остановились за тисовым кустом.

— Он и не думает идти вниз,— сказал Хилари.— Смотри!

Ферз миновал перекресток проселочных дорог, где стоял указательный столб, и теперь бежал по поросшему травой склону, к северной стороне следующего холма.

— Я помню, там есть другая тропинка вниз.

— Кто его знает, но отступать все равно поздно.

Ферз больше не бежал; медленно, понутив голову, он поднимался в гору. Они следили за ним из-за тисового куста, пока он не скрылся за перевалом.

— Пошли!— сказал Хилари.

На этот раз надо было пробежать целых полмили, а ведь им обоим было за пятьдесят.

— Не беги, старина,— тяжело дыша, произнес Хилари,— а то мы совсем задохнемся.

Напрягая все силы, они достигли наконец пригорка, за которым скрылся Ферз, и увидели поросшую травой тропку.

— Теперь можно потише,— шепнул, переводя дыхание, Хилари.

Здесь склон тоже порос кустами и молодыми деревьями, и, перебегая от куста к кусту, они достигли небольшого мелового оврага.

— Приляжем на минутку и передохнем. Он не пошел вниз, в долину,— не то мы бы его увидели. Слушай!

Снизу доносилось какое-то пение. Адриан поднял голову и заглянул через край оврага. Чуть ниже, у самой тропы, лежал на спине Ферз. Они отчетливо слышали слова песни, которую он бубнил:

Так что ж, я не волен, а ты вольна?
Люблю, а ты не любишь меня?
Неужто лишил меня разума бог
И разлюбить мне тебя не помог?

Ферз умолк и лежал некоторое время не шевелясь; потом, к ужасу Адриана, лицо его исказилось, он потряс кулаками и закричал:

— Не хочу... не буду... не хочу сходить с ума!— и, перевернувшись, уткнулся лицом в землю.

Адриан отполз назад.

— Ужасно! Я должен спуститься вниз и успокоить его.

— Пойдем вместе, в обход, по той тропинке... Не спеши... Не спугни его.

Они двинулись по тропинке, огибавшей овраг. Но когда они подошли к месту, где только что лежал Ферз, его там уже не было.

— Пойдем потихоньку дальше,— сказал Хилари.

Они пошли совсем спокойно, точно отказавшись от погони.

— Кто же после этого поверит в бога?— спросил Адриан.

Худое лицо Хилари скривилось в невеселой улыбке.

— В бога я верю, но не в того милосердного бога, в которого принято верить. Помнится, на этом самом склоне расставляют капканы. Сотни кроликов терпят тут адские муки. Мы выпускали их из капканов и добивали ударом по голове. Если бы мои взгляды стали известны, меня лишили бы сана. Ну, и что изменится? Я ведь не богослов, а практик. Смотри! Лиса!

Они остановились на секунду, — через тропинку скользнуло небольшое бурое существо.

— Чудесный зверь — лиса! А покрытые лесом холмы — просто рай для зверья; тут так круто, что никто до них не доберется; голуби, сойки, дятлы, кролики, лисы, зайцы, фазаны — какой только живности здесь нет!

Тропинка пошла вниз, и Хилари указал рукой вперед.

Там, за оврагом, вдоль проволоочной ограды шел Ферз.

Они видели, как он исчез, а затем, обогнув ограду, снова появился на склоне холма.

— Что дальше?

— Он нас оттуда не увидит. Чтобы заговорить с ним, надо к нему подобраться поближе, не то он просто убежит.

Они пересекли ложбину, поднялись вдоль ограды и обошли ее, скрываясь за кустами боярышника. Ферз снова исчез за какой-то складкой холма.

— — Загородка для овец, — сказал Хилари. — Смотри, они рассыпались по всему склону — это местная порода.

Братья поднялись на пригорок. Ферза нигде не было.

Продолжая идти вдоль ограды, они достигли следующей вершины и огляделись кругом. Немного дальше влево пригорок круто обрывался — там был овраг; прямо перед ними к лесной опушке спускалась открытая луговина. Справа все еще тянулась проволоочная ограда, окружавшая пастбище. Вдруг Адриан схватил брата за руку. По ту сторону ограды, в каких-нибудь семидесяти ярдах от них, лежал ничком в траве Ферз, а вокруг него паслись овцы. Пригнувшись, братья забрались в кусты. Оттуда Ферз был отлично виден, и они стали молча за ним наблюдать. Он лежал так тихо, что овцы его не замечали. Шарообразные, коротконогие, курносые, с грязновато-белой шерстью и какие-то игрушечные, они безмятежно пощипывали траву.

— Как ты думаешь, он спит?

Адриан покачал головой:

— Нет, но успокоился.

В позе Ферза было что-то необычайно трогательное; он лежал, раскинув руки и прильнув к земле, словно ребенок, уткнувшийся в колени матери, — казалось, земля эта вселяла в него покой; он точно ошупью искал путь обратно в ее тихое лоно. Как можно было тревожить его, пока он так лежал?

Заходящее солнце грело им спину, и Адриан подставил лицо его лучам. Все, что в нем было от сельского жителя и любителя природы, жадно тянулось к этому теплу, к запаху трав, к пению жаворонков в голубом небе; он заметил, что и Хилари повернулся лицом к солнцу. Стояла удивительная тишина, и, если бы не пение птиц и не шорохи на пастбище, впору было сказать, что природа онемела. С окрестных холмов не доносилось ни людской речи, ни крика животного, ни шума машин на дорогах.

— Три часа. Вздремни, — шепнул Адриан брату. — Я покараулю.

Теперь Ферз как будто заснул. Конечно, здесь его мозг отдохнет от возбуждения. Если в воздухе, в природе, в красках есть целебная сила,

то она именно тут, на этом прохладном зеленом пригорке, где вот уже больше тысячи лет нет ни жилья, ни людской суеты. Когда-то в древности здесь жили люди, но теперь покой здесь нарушают только ветер да тени плывущих облаков. А сегодня нет ни ветра, ни облаков, отбрасывающих на траву легкие, бегущие тени.

Адриан испытывал такую глубокую жалость к несчастному, который лежал там, как мертвец, что не мог думать ни о себе, ни даже о Диане. Приникший к земле Ферз пробуждал в нем какой-то глубочайший инстинкт — инстинкт душевного родства людей перед несправедливыми ударами судьбы. Да, он спит, цепляясь за землю в поисках прибежища; искать вечного прибежища в земле — все, что ему осталось. И в эти тихие два часа, пока Адриан сторожил распростертого среди пасущихся овец тело Ферза, его обуревало не бесплодное возмущение и не горечь, а какое-то тоскливое недоумение. Греки, авторы античных трагедий, понимали, какая жалкая игрушка человек в руках у богов; но потом пришла христианская вера в милосердного бога. Милосердного? Нет! Хилари прав. Но что делать, если тебя постигла судьба Ферза? Что делать, пока в тебе теплится хоть искра разума? Если жизнь сложилась так, что человек больше не может трудиться и становится слабоумным пугалом, — тогда, без сомнения, час его пробил и ему лучше успокоиться в земле навсегда. Кажется, и Хилари так думает; но Адриан не знал, как поведет себя брат в решительную минуту. Его дело — помогать живым, мертвый для него — потеря: мертвым нельзя служить. И Адриан с облегчением подумал, что его работа связана только с мертвецами: он изучает кости — единственную часть человека, которая не гибнет и сохраняется веками, чтобы оставить память о жизни этого удивительного животного. Время шло, а Адриан все лежал и смотрел, срывая травинки и растирая в ладонях их сладкий сок.

Солнце передвинулось еще дальше на запад и заглядывало теперь ему прямо в глаза; овцы перестали щипать траву и, словно решив, что пора домой, стали медленно перебираться через холм. Из нор выглянули кролики и тоже стали щипать траву; один за другим спускались с высоты жаворонки. В воздухе повеяло прохладой; деревья на холмах потемнели и приобрели четкие очертания; казалось, белесое небо ждет не дождется огней заката. Трава потеряла запах; роса еще не пала.

Адриан поежился. Еще через десять минут солнце скроется за холмом и станет холодно. Когда Ферз проснется, — будет ему лучше или хуже? Все равно выхода у них нет. Он коснулся плеча Хилари, который все еще спал, поджав колени. Тот сразу открыл глаза.

— А, что?

— Тс-с! Он еще спит. Что делать, когда он проснется? Может быть, подойдем к нему заранее и подождем там?

Хилари дернул брата за рукав. Ферз был уже на ногах. Из-за куста они видели, как он дико озирается по сторонам, — так озирается зверь, почуявший опасность, прежде чем пуститься бежать. Увидеть их он не мог, он явно услышал или почувствовал чье-то присутствие. Он подошел к проволочной ограде, прополз под ней и встал во весь рост, лицом к пылающему солнцу, — оно висело теперь как огненный шар над ле-

систой вершиной горы. Лицо его было озарено закатом, и так он стоял неподвижно, как каменное изваяние, пока солнце не скрылось за горой.

— Пора,— сказал Хилари и поднялся.

Адриан увидел, как Ферз внезапно встрепенулся, с диким отчаянием взмахнул рукой и бросился бежать.

— Он вне себя,— сказал ошеломленный Хилари.— А там, над до-
рогой, меловой карьер. Скорей, скорей!

Они побежали, но у них затекли ноги, и им было не угнаться за Ферзом, который опережал их все больше и больше. Он несся вперед как одержимый, размахивая руками; до них доносились его крики. Хилари с трудом проговорил, задыхаясь:

— Стой! Он бежит не туда, не к карьере. Тот правее. Он бежит в лес, вниз. Пусть думает, что мы отстали.

Они видели, как он мчался по откосу и, все еще бегом, скрылся в лесу.

— Пошли!— сказал Хилари.

Братья, спотыкаясь, спустились к лесу и побрели дальше, боясь потерять направление, по которому шел Ферз. Это был буковый лесок; кустарник рос здесь только по опушке. Они остановились, прислушиваясь, но не уловили ни звука. Под деревьями уже сгустились сумерки, но лесок был небольшой, и они скоро достигли опушки на другой его стороне; внизу виднелись крестьянские домишки и какие-то строения.

— Давай спустимся на дорогу.

Поспешно спускаясь, они вдруг очутились перед глубоким меловым карьером и замерли как вкопанные у самого его края.

— Про этот я не знал,— сказал Хилари.— Ступай вдоль него в ту сторону, а я пойду в эту.

Адриан двинулся вверх по краю карьера, пока не достиг вершины. Внизу, футах в шестидесяти, что-то темнело на самом дне. Что бы это ни было, оно не шевелилось и не издавало ни звука. Неужели это конец, неужели он бросился в эту мрачную дыру? У Адриана перехватило горло, и он не мог ни крикнуть, ни двинуться с места. Потом он кинулся туда, где стоял Хилари.

— Ну как?

Адриан показал рукой вниз. Они пробрались сквозь кустарник, росший вдоль самого обрыва, и достигли места, откуда можно было спуститься вниз на заросшее травой дно заброшенного карьера и пройти в дальний его край, под самой высокой стеной.

Там был Рональд Ферз. Адриан опустил на колени и приподнял его голову. У него была сломана шея; он был мертв. Нарочно ли он бросился вниз в поисках конца или сорвался нечаянно во время бегства,— они не знали. Хилари молча положил руку на плечо Адриана.

— Немного дальше по дороге стоит сарай,— сказал наконец Хилари,— но, пожалуй, тела лучше не трогать. Побудь с ним, а я схожу в деревню и позвоню. Наверно, надо вызвать полицию.

Адриан кивнул, он все еще стоял на коленях возле мертвого Ферза.

— Здесь близко почта, я скоро вернусь,— и Хилари поспешно ушел.

Оставшись один в старом карьере, где быстро сгущалась тьма, Адриан сел, поджав ноги, и положил к себе на колени голову Ферза. Он за-

крыл ему глаза и прикрыл лицо носовым платком. Сверху, из леса, доносился шорох крыльев и щебет птиц, располагавшихся на ночлег. Пала роса, и в синих сумерках стлался осенний туман. Все очертания стерлось, но высокая стена мелового карьера еще белела. Это место, откуда Ферз совершил свой прыжок в вечность, находилось меньше чем в пятидесяти ярдах от проезжей дороги, где сновали машины, но оно казалось Адриану глухим, заброшенным, полным страхов. Он понимал, что так лучше для Ферза, для Дианы, для него самого, но чувствовал только глубочайшее сострадание к этому человеку, истерзанному и сломленному в расцвете лет, и вместе с тем ощущал какую-то связь с таинством природы, окружавшей мертвеца и место его упокоения.

Чей-то голос вывел Адриана из его странного забытья. Рядом с ним стоял старый крестьянин и протягивал ему стакан.

— Говорят, здесь несчастье случилось,— сказал он.— Его преподобие велели вам выпить глоточек коньяку.— Он передал стакан Адриану.— Он как, свалился, что ли?

— Да.

— Сколько лет говорю, надо наверху забор поставить. Его преподобие велели передать — доктор и полиция скоро будут.

— Спасибо,— сказал Адриан, возвращая пустой стакан.

— Тут подальше возле дороги — хороший, крепкий сарай; может, нам снести его туда?

— Нельзя его трогать до их прихода.

— Да,— сказал старик,— есть такой закон, я читал, если это убийство или самоубийство.— Он нагнулся к телу.— Лицо-то какое спокойное, правда? Вы знаете, кто он такой?

— Да. Капитан Ферз. Из здешних мест.

— Как, из тех Ферзов, что с Бартонского холма? Да я же там еще мальчишкой работал; в том приходе и родился.— Он всмотрелся внимательно.— Да уж не мистер ли это Рональд, а?

Адриан кивнул.

— Батюшки мои! Теперь уж из них никого не осталось. Дед его перед смертью совсем рехнулся, право слово. Вот дела! Мистер Рональд! Я его знал еще совсем парнишкой.

Он пригнулся, чтобы получше взглядеться в лицо, едва различимое при последних отсветах дня, потом выпрямился, печально качая головой. Теперь, когда выяснилось, что тут лежит не «чужак», он отнесся к этой смерти совсем по-другому.

Внезапно тишину нарушил треск мотоцикла; он спускался с зажженными фарами по проложенной здесь когда-то дороге. С мотоцикла сошли двое: юноша и девушка. Они несмело подошли к освещенной фарам группе и остановились, пытаясь разглядеть то, что лежало на земле.

— Говорят, здесь произошел несчастный случай.

— Ага,— подтвердил старик.

— Мы можем чем-нибудь помочь?

— Нет, спасибо,— сказал Адриан,— сейчас приедут врач и полиция. Нам остается только ждать.

Молодой человек открыл было рот, чтобы что-то спросить, но, так и не спросив, обнял девушку за плечи; потом, как и старый крестьянин, они постояли, вглядываясь в покойника, чья голова лежала на коленях у Адриана. Мотор мотоцикла все еще тарахтел, нарушая тишину, а свет фар придавал злобный вид старому карьеру и маленькой кучке живых, окружавших мертвеца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Телеграмма пришла в Кондафорд как раз перед ужином. Она гласила: «Бедный Ф. умер. Упал меловой карьер. Будет доставлен Чичестер. Адриан и я сопровождаем. Следствие состоится там. Хилари».

Когда ей принесли телеграмму, Динни была в своей комнате. Она села на кровать; как и всегда, когда в душе борются два чувства — облегчения и скорби, — у нее стеснило грудь. Случилось то, о чем она молила судьбу, но сейчас она помнила только тяжкий вздох за дверью и его лицо, когда он стоял и слушал пение Дианы.

— Найдите мне Скарамуша, — попросила она горничную, которая принесла телеграмму.

Когда появился шотландский терьер с умными глазами и весьма самоуверенным видом, Динни прижала его к себе так крепко, что он стал вырываться. Держа в руках это теплое, жесткое, лохматое создание, она снова обрела способность чувствовать; все ее существо испытывало облегчение, но жалость вызвала слезы. Такое странное состояние было непонятно псу. Скарамуш лизнул ее в нос и так отчаянно завил хвостом, что Динни его отпустила. Она наспех кончила одеваться и пошла в комнату матери.

Леди Черрел, уже переодетая к ужину, бродила между открытым гардеробом и открытым комодом, раздумывая, какие вещи легче всего пожертвовать на деревенский благотворительный базар в пользу больных бедняков. Не говоря ни слова, Динни подала ей телеграмму.

— Это как раз то, чего ты хотела, — сказала, прочитав ее, леди Черрел.

— Как ты думаешь, он покончил с собой?

— Думаю, что да.

— Сказать мне Диане сейчас или дать ей спокойно поспать до утра?

— Лучше сейчас. Если хочешь, я ей скажу.

— Нет, нет, мамочка. Это надо сделать мне. Ужин, наверно, нужно будет отнести ей наверх. А завтра нам, должно быть, придется поехать в Чичестер.

— Как все это для тебя ужасно, Динни!

— Напротив, мне это поможет.

Взяв телеграмму, она пошла к Диане.

Диана была в детской, — детей укладывали спать, и они всячески оттягивали эту нежеланную минуту; в их возрасте еще не понимаешь, как приятно заснуть. Динни знаком вызвала Диану в спальню и молча протянула телеграмму. Хотя за последние дни они очень сблизились, между ними все же было шестнадцать лет разницы, и Динни не решалась ее утешать, как поступила бы со своей сверстницей. К тому же она

никогда толком не знала, что у Дианы на душе. Та прочитала телеграмму с каменным лицом, словно не узнала ничего неожиданного. Ничто не отразилось на этом красивом лице, с тонкими, как на старинной монете, чертами. Она взглянула на Динни, в глазах у нее не было ни слезинки.

— Ужинать я не пойду. Значит, завтра — в Чичестер? — только и сказала она.

Сдерживая волнение, Динни молча кивнула и вышла. После ужина, наедине с матерью, она заметила:

— Хотела бы я так владеть собою, как Диана.

— Жизнь научила ее выдержке.

— Но есть в ней что-то и от холодной гордячки.

— А это не так уж плохо.

— Что будут выяснять на следствии?

— Боюсь, что там ей понадобится вся ее выдержка.

— Мама, а мне придется давать показания?

— Ведь ты же последняя, кто с ним разговаривал.

— Да. Я должна рассказать, как он подходил к двери вчера ночью?

— Если тебя спросят, ты, наверно, должна рассказать все, что знаешь.

Кровь прилила к щекам Динни.

— А я не расскажу. Я даже Диане не сказала. И вообще не понимаю, какое до этого дело посторонним.

— И я не понимаю; но нашего мнения в таких случаях не спрашивают.

— Не скажу: не буду потакать нездоровому любопытству и причинять Диане лишнюю боль.

— А что, если слышала горничная?

— Никто не докажет, что слышала я.

Леди Черрел улыбнулась.

— Жаль, что здесь нет отца.

— Не говори папе того, что я тебе сказала. Не надо испытывать мужскую совесть; хватит нам и женской, ее хоть можно унять.

— Хорошо, не скажу.

— У меня не будет ни малейших угрызений совести, если придется что-нибудь скрыть, лишь бы меня не поймали, — заявила Динни, все еще под впечатлением от лондонского полицейского суда. — И зачем вообще это следствие? Он мертв. Просто нездоровое любопытство.

— Зря я тебе все-таки потакаю, Динни.

— Нет, не зря. Сама знаешь, в душе ты со мной согласна.

Леди Черрел промолчала. В душе она и в самом деле была согласна...

Генерал и Алан Тасборо приехали на следующее утро первым поездом, а спустя полчаса все они отправились в открытой машине в Чичестер; Алан правил, рядом сидел генерал, а на заднем сиденье прижался друг к другу леди Черрел, Динни и Диана. Поездка была долгая и печальная. Откинувшись на сиденье и подняв меховой воротник, из которого торчал только кончик носа, Динни предавалась размышлениям. Ей становилось ясно, что в какой-то мере она могла оказаться в центре предстоящего следствия. Ведь это с ней Ферз поделился своими сокровенными мыслями; это она увезла из дома детей; она спустилась

ночью звонить по телефону, а потом услышала то, о чем собиралась умолчать; наконец — и это самое важное — ей придется сказать, что это она обратилась за помощью к Адриану и Хилари. Лишь за ее спиной можно скрыть дружбу Адриана с Дианой: да, это она посоветовала Диане обратиться к дяде за помощью, когда пропал Ферз. Как и все, Динни читала в газетах о скандальных происшествиях с другими людьми — и даже не без удовольствия; но, как и всех, ее возмущала самая мысль, что в скандальную хронику могут попасть ее родные или друзья. Если бы на следствии выяснилось, что к дяде обратились как к давнему и близкому другу Дианы, им обоим не избежать расспросов, которые вызовут подозрения, — публика, помешанная на любовных историях, сразу наострит уши. Воображение Динни работало лихорадочно. Если выяснится давняя и близкая дружба Адриана с Дианой, еще, чего доброго, заподозрят, будто это он столкнул Ферза в карьер, — конечно, если при этом не было Хилари, никто ведь еще не знает подробностей. Воображение Динни рисовало ей страшные картины. Любая сенсация куда больше по вкусу публике, чем правдивый и прозаический факт. И в ней крепла озорная решимость провести публику и лишить ее желанной сенсации.

В Чичестере в холле гостиницы их встретил Адриан; Динни отвела его в сторонку и сказала:

— Дядя, можно мне поговорить с тобой и дядей Хилари наедине?

— Хилари пришлось вернуться в Лондон, но он придет вечером, попозднее; тогда и поговорим. Следствие назначено на завтра.

Этим Динни и пришлось удовольствоваться.

Адриан рассказал ей, как все произошло; Динни, еще раньше решившая, что ему не следует провожать Диану в покойницкую, предложила:

— Скажи нам, дядя, где это находится; я сама провожу Диану. Адриан молча кивнул.

В морг Диана вошла одна, а Динни осталась ждать в коридоре, где пахло дезинфекцией. Она смотрела в окно, выходившее в переулок. По стеклу уныло ползла огорченная приближением зимы муха. Глядя на этот тоскливый закоулок, на небо, лишенное тепла и света, Динни почувствовала себя очень несчастной. Жизнь казалась такой беспросветной и сулила одни только беды. Это следствие... угроза, нависшая над Хьюбертом... нигде ни проблеска радости! Даже мысль о непритворной влюбленности Алана ее не тешила.

Обернувшись, она увидела рядом с собой Диану и, мгновенно позабыв о собственных горестях, обняла ее и поцеловала в холодную щеку. Они молча вернулись в гостиницу.

— Он лежит такой спокойный, — только и сказала Диана.

После ужина Динни сразу ушла к себе в номер и с книгой в руках стала ждать Хилари и Адриана. В десять часов Хилари наконец подъехал к гостинице на такси, и еще через несколько минут они с Адрианом пришли к Динни. Ее поразило, как оба они исхудали и измучились, но что-то в их лицах успокоило ее. Они принадлежали к той породе людей, которые верны себе до последнего вздоха. Оба они расцеловали ее с не-

свойственной им нежностью и сели бочком на кровать — один справа, другой слева. Динни обратилась к Хилари:

— Я хотела поговорить о дяде Адриане. Мне вот что пришло в голову. Если мы не будем осторожны, это следствие может причинить нам массу неприятностей.

— Несомненно. Я ехал сюда в поезде с репортерами, — они не подозревали, что я причастен к этому делу. Про клинику они уже все пронюхали и сразу наострили уши. Газетчики — люди дотошные, они свое дело знают.

— Дядя, — спросила Динни Адриана, — ты не обидишься, если я буду говорить откровенно?

Адриан улыбнулся.

— Не обижусь. Ты ведь у нас молодчина. Давай!

— Ну, так вот, — сказала она, обхватив руками спинку кровати, — по-моему, главное — скрыть дружбу дяди Адриана с Дианой, и я вот о чем подумала: это я попросила вас найти Ферза, все надо свалить на меня. Понимаете, я была последняя, с кем он разговаривал, когда перерезал телефонный провод; если меня вызовут, я постараюсь им внушить, что к вам обратились только по моему настоянию, — вы у меня умные дядюшки и хорошо решаете кроссворды. А иначе — почему мы обратились к дяде Адриану? Потому что он был таким близким другом Дианы, — вот тут-то им и полезет в голову всякая чушь, особенно когда они узнают, что капитан Ферз не был дома четыре года.

Наступило молчание.

— А ведь она умница, старина, — сказал наконец Хилари. — Четыре года дружбы с красивой женщиной в отсутствие мужа означают для присяжных только одно, а для публики — все, что угодно.

Адриан кивнул.

— Я только не понимаю, — сказал он, — как можно скрыть, что я так давно знаю их обоих.

— Все дело в первом впечатлении, — горячо пояснила Динни. — Я могу рассказать, что Диана предложила обратиться к ее врачу и к Майклу, но я ее переубедила, так как знаю, что твоя работа приучила тебя докапываться до всего и что ты можешь заручиться помощью дяди Хилари, а тот вообще видит человека насквозь. Если мы дадим следствию правильный ход, вряд ли твое знакомство с ними привлечет внимание. По-моему, очень важно, чтобы меня вызвали как можно раньше.

— Тебе придется нелегко, дружок.

— Вовсе нет. Но если вас обоих вызовут раньше меня, — пожалуйста, скажите, что я приехала и попросила вас помочь. Ну, а потом я сама вдолблю им это как следует.

— После врача и полицейского первой вызовут Диану.

— Да, но я могу с ней поговорить, чтобы наши показания не расходились.

Хилари улыбнулся.

— Не возражаю, это весьма невинная ложь. Я могу вставить, что знаю их так же давно, как и ты, Адриан. Оба мы познакомились с Дианой, когда она была еще девочкой, на том пикнике, который устроил

в Лэндсэнде Лоренс, а с Ферзом — у них на свадьбе. Знакомы домами, а?

— Может выясниться, что я ездил в клинику,— сказал Адриан,— оттуда вызвали свидетелем доктора.

— Ничего,— сказала Динни,— ты ездил туда как его друг и как человек, интересующийся психическими заболеваниями. В конце концов, дядя, считается ведь, что ты ученый.

Ее собеседники улыбнулись.

— Хорошо, Динни,— сказал Хилари,— мы поговорим со следователем — он вполне приличный человек — и устроим, чтобы тебя вызвали пораньше.

Он направился к двери.

— Спокойной ночи,— сказал Адриан.

— Спокойной ночи, милый; у тебя такой измученный вид. Есть у тебя с собой грелка?

Адриан покачал головой.

— У меня только зубная щетка, да и ту я только что купил.

Динни вытащила из своей постели грелку и заставила дядю взять ее.

— Значит, я скажу Диане, о чем мы договорились?

— Хорошо, Динни.

— Послезавтра снова взойдет солнце.

— Взойдет ли?— сказал Адриан.

Когда за ним закрылась дверь, Динни вздохнула. Взойдет ли? Диана, кажется, потеряла способность чувствовать. А тут еще дело Хьюберта!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Когда Адриан и его племянница вошли на другое утро в здание следственного суда, их мысли можно было бы изложить следующим образом.

Следствие по делу о скоропостижной смерти так же устарело, как обычай есть по воскресеньям тяжелую пищу вроде ростбифа и йоркширского пудинга. В наше время люди по воскресеньям занимаются спортом, а убийства стали редкостью и самоубийц больше не хоронят на перекрестках дорог; поэтому оба эти обычая потеряли всякий смысл. В старину правосудие и его слуг считали врагами человечества, и попытка поставить между смертью и законом гражданского арбитра была вполне естественной. В наш век полицию именуют «стражем общественного порядка», но ей по-прежнему не доверяют судить о том, должна ли она вмешаться в то или иное дело. И если беспомощность полиции нельзя считать причиной сохранения устаревшего ритуала, значит, публика просто боится, как бы от нее не скрыли какого-нибудь скандальчика. Читатели газет уверены, что чем больше они узнают сомнительных и неприглядных историй, тем лучше для души. Не будь следствия о скоропостижной смерти — в газетах не было бы отчетов о сенсационных процессах. А ведь как приятно, когда идет хотя бы одно разбирательство, если не нужно никакого, или два разбирательства, если можно было бы ограничиться одним! Люди обычно стесняются совать нос в чужие

дела, но в толпе всякую щепетильность с них как рукой снимает. Чем нахальнее человек проявляет в толпе свое любопытство, тем лучше он себя чувствует. И чем чаще удастся протиснуться в зал следственного суда, тем пламеннее благодаришь бога. Слова: «Буду славить тебя, господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса твои!» — никогда не звучат горячее, чем сердце того, кто раздобыл себе местечко на следствии о скоростижной смерти. Ведь следствие о мертвых почти всегда сопряжено с пыткой для живых, а что может быть приятнее такого зрелища?

Зал суда был полон, что подтверждало справедливость этих мыслей; Динни и Адриан прошли в маленькую комнату ожидания.

— Ты будешь пятой, Динни, — сказал Адриан. — Хилари и меня вызовут раньше. Подождем здесь, пока нас не вызовут, тогда не заподозрят, что мы сговорились.

Они молча сидели в голой комнатушке. Сперва должны были допросить полицейского, врача, Диану и Хилари.

— Это как в песенке о негритятах, которые пошли купаться в море, — прошептала Динни.

Взгляд ее был прикован к календарю, висевшему напротив; ей почему-то непременно хотелось прочесть, что там написано, но она не могла разобрать ни слова.

— Выпей-ка глоточек, — сказал Адриан и вынул из кармана бутылочку, — только не слишком много: это лекарство, оно тебя подбодрит. Динни глотнула. Лекарство немножко обожгло ей горло.

— Теперь ты, дядя.

Адриан, в свою очередь, сделал осторожный глоток.

— Отлично подстегивает, когда у тебя состязание или что-нибудь в этом роде, — сказал он.

Они снова помолчали, ожидая, чтобы лекарство подействовало. Молчание нарушил Адриан:

— Если души умерших живут среди нас, — а я в это не верю, — что думает сейчас бедный Ферз обо всей этой комедии? Все-таки мы еще варвары. У Мопассана есть рассказ о клубе самоубийц, — там предлагали приятную смерть каждому, кто хотел покинуть этот мир. Я не одобряю самоубийства людей в здравом уме, — разве что в самых редких случаях. Человек обязан вытерпеть все; но я бы хотел, чтобы у нас был такой клуб для душевнобольных и для тех, кому это грозит. Ну как, помогло лекарство?

Динни кивнула.

— Оно действует не меньше часа, — Адриан поднялся. — Кажется, моя очередь. До свиданья, дорогая, желаю успеха! Когда будешь отвечать следователю, не забудь время от времени вставлять «сэр».

Глядя, как он распрямил плечи, переступая порог, Динни почувствовала нечто вроде душевного подъема. Все-таки дядя Адриан — лучше всех на свете! И хотя в этом не было ни капли логики, она мысленно помолилась за него. Нет, питье ей в самом деле помогло, головокружение и слабость прошли. Она вынула карманное зеркальце и пуховку. Когда она взойдет на костер, вовсе не обязательно, чтобы у нее блестел нос.

Прошло, однако, еще четверть часа, прежде чем ее вызвали; она провела это время, не отрывая глаз от календаря, думая о Кондафорде и вспоминая лучшие дни, проведенные там. Давнишние дни, когда усадьбу еще не перестроили, а Динни была совсем маленькая; дни сенокоса и пикников в лесу; вон она собирает лаванду, катается верхом на гончей, потом ее пересаживают на пони, когда Хьюберт уезжает в школу; дни безоблачного счастья во вновь отстроенном доме, — хотя она там и родилась, до четырех лет ей пришлось кочевать, жить то в Олдершоте, то в Гибралтаре. С особым удовольствием вспоминала она, как разматывала золотые нити с коконов своих шелковичных червей и воображала, будто это какие-то ползучие слоны, и какой у них был особенный запах.

— Элизабет Чаруэл!

Что за наказание иметь фамилию, которую всегда перевирают! Она поднялась, повторяя про себя:

Последний негртенок один гулять был рад,
Но вот судья нагрянул, — и нету негртят.

Кто-то встретил ее у порога и повел через весь большой зал за какую-то загородку. К счастью, она в последнее время уже не раз бывала в таких местах — все здесь было знакомо и даже немножко ее забавляло. Присяжные прямо перед ней были похожи на ископаемых, следовательно преисполнен важности. Слева от нее разместились остальные негртия, а за ними, вплоть до дальней голей стены, рядами тянулись десятки, десятки и десятки голов — точно сельди набились в огромную бочку. Тут она услышала обращенный к ней вопрос и сосредоточила все внимание на лице следователя.

— Вас зовут Элизабет Черрел. Вы, если не ошибаюсь, дочь леди Черрел и генерал-лейтенанта сэра Конвея Черрела, кавалера ордена Бани, кавалера орденов Святого Михаила и Святого Георгия?

Динни поклонилась. «Надеюсь, это ему понравится», — подумала она.

— И вы живете вместе с ними в усадьбе Кондафорд, в Оксфордшире?

— Да.

— Насколько мне известно, мисс Черрел, вы гостили у капитана и миссис Ферз вплоть до того самого утра, когда капитан Ферз покинул свой дом?

— Да.

— Вы их близкий друг?

— Я дружна с миссис Ферз. Капитана Ферза я видела до его возвращения, кажется, только один раз.

— А-а, до его возвращения! Вы уже гостили у миссис Ферз, когда он вернулся?

— Я приехала к ней как раз в тот день.

— В день его возвращения из клиники для душевнобольных?

— Да. Я, в сущности, поселилась у них в доме на следующий день.

— И оставались там, пока капитан Ферз его не покинул?

— Да.

— Как он себя вел все это время?

Услышав этот вопрос, Динни впервые поняла, как плохо не знать, что говорили до нее другие. Придется ей, видно, говорить то, что она знала и видела на самом деле.

— Он казался мне совершенно нормальным, только не хотел выходить из дому или встречаться с людьми. Вид у него был совсем здоровый, но глаза его... от них становилось не по себе.

— В каком смысле?

— Они... они напоминали огонь, горящий за решеткой; казалось, в них сверкают искры.

При этих словах присяжные на какой-то миг стали меньше похожи на ископаемых.

— Вы говорите, он не хотел выходить из дому? Так было все время, пока вы там находились?

— Нет, он вышел накануне своего бегства. Насколько я знаю, его не было дома весь день.

— «Насколько вы знаете»? А разве вас там в это время не было?

— Не было; утром я увезла обоих детей в Кондафорд, к моей матери, и вернулась вечером перед самым ужином. Капитан Ферз еще не возвращался.

— Что заставило вас увезти детей?

— Меня об этом попросила миссис Ферз. Она заметила какую-то перемену в капитане Ферзе и решила, что детей лучше удалить.

— А вы бы могли сказать, что и сами заметили такую перемену?

— Да. Мне казалось, что он становится беспокойнее и, пожалуй, подозрительнее; он стал больше пить за ужином.

— Ничего из ряда вон выходящего?

— Ничего. Я...

— Да, мисс Черрел?

— Я хотела сказать кое-что с чужих слов.

— Со слов миссис Ферз?

— Да.

— Ну, в этом нет необходимости.

— Спасибо, сэр.

— Поговорим о вашем возвращении в тот день, когда вы увезли детей. Вы сказали, что капитана Ферза не было дома; а где была миссис Ферз?

— Дома. Я быстро переоделась, и мы поужинали вдвоем. Мы очень о нем беспокоились.

— А потом?

— После ужина мы поднялись в гостиную, и, чтобы отвлечь миссис Ферз — она очень волновалась, — я попросила ее спеть. Скоро мы услышали, как стукнула входная дверь, капитан Ферз вошел и сел.

— Он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Как он выглядел?

— По-моему, ужасно. Он был совсем не такой, как всегда, вид у него был странный, напряженный, как будто его мучила какая-то страшная мысль.

— Да?

— Миссис Ферз спросила, ужинал ли он и не хочет ли лечь, она предложила вызвать врача; но он не говорил ни слова — сидел с закрытыми глазами, точно спал, пока наконец я не шепнула: «Как по-вашему, он спит?» Тут он вдруг закричал: «Спит! У меня все начинается снова! Все снова! Но я не хочу, не позволю! Клянусь богом, не позволю!»

Когда она повторила эти слова, Динни наконец поняла, что означает выражение «движение в зале суда»; каким-то загадочным образом она придавала убедительность показаниям предыдущих свидетелей. Она никак не могла решить, хорошо это или нет, и отыскивала глазами Адриана. Тот еле заметно кивнул.

— Дальше, мисс Черрел.

— Миссис Ферз подошла к нему, а он крикнул: «Оставьте меня в покое! Убирайтесь!» Кажется, она спросила: «Рональд, хочешь, позовем врача? Он даст тебе снотворное». Но он вскочил на ноги и бешено закричал: «Убирайтесь! Не надо мне никого... никого!»

— Да, мисс Черрел, что же было потом?

— Мы испугались. Мы пошли в мою комнату посоветоваться, и я сказала, что надо позвонить по телефону.

— Кому?

— Врачу миссис Ферз. Она хотела пойти сама, но я ее не пустила и побежала вниз. Телефон находится в маленьком кабинете на первом этаже, и я уже стала набирать номер, как вдруг меня схватили за руку, и я увидела у себя за спиной капитана Ферза. Он перерезал ножом провод. Он держал меня за руку, и я сказала: «Как это глупо, капитан Ферз, вы отлично знаете, что мы не хотим вам зла». Он отпустил меня, спрятал нож и велел надеть туфли — я держала их в другой руке.

— Вы хотите сказать, что перед этим их сняли?

— Да, чтобы сбежать вниз потихоньку. И я их надела. Он сказал: «Я не позволю вмешиваться в мою жизнь. Я сам решу, что с собой делать». Я сказала: «Вы же знаете, что мы хотим вам только добра». А он ответил: «Знаю я это «добро», с меня хватит». Потом он посмотрел в окно и сказал: «Дождь льет как из ведра», — повернулся ко мне и закричал: «Вон отсюда, живо! Вон отсюда!» — и я бросилась бегом вверх по лестнице.

Динни остановилась и перевела дух. Она вновь переживала те памятные минуты, и сердце у нее колотилось. Она закрыла глаза.

— Да, мисс Черрел, что же было потом?

Она открыла глаза. Перед ней все еще был следователь, а присяжные слушали ее, открыв рот.

— Я рассказала обо всем миссис Ферз. Мы не знали, что делать и что нас ожидает... так мы ничего и не придумали, и я предложила подвинуть к двери кровать и постараться заснуть.

— И вы заснули?

— Да, только не скоро. Миссис Ферз так измучилась, что наконец уснула; кажется, к утру уснула и я. Во всяком случае, меня разбудила горничная.

— Скажите, в эту ночь капитан Ферз больше не появлялся?

Она вспомнила старую школьную поговорку: «Если уж врешь, то ври как следует», — и твердо заявила:

— Нет, не появлялся.

— Когда вас разбудили?

— В восемь часов. Я разбудила миссис Ферз, и мы сразу спустились вниз. Комната капитана Ферза была в беспорядке; постель была смята; но в доме его нигде не оказалось, а его шляпа и пальто исчезли со стула в холле, куда он их бросил накануне.

— Что вы сделали дальше?

— Мы посоветовались; миссис Ферз хотела обратиться к своему врачу и к нашему общему двоюродному брату, члену парламента Майклу Монту; но я подумала, что если этим займются мои дяди, они куда вернее разыщут капитана Ферза. Я уговорила миссис Ферз поехать к дяде Адриану, попросить его рассказать обо всем дяде Хилари и вместе с ним попробовать отыскать капитана Ферза. Я знала, что оба они очень умные и тактичные люди, — Динни увидела, как следователь отвесил полупоклон в ту сторону, где сидели Адриан и Хилари, и торопливо продолжала: — Они ведь тоже старые друзья этой семьи; я решила, что скорее их никто не сможет найти Ферза без всякой огласки. Вот мы и поехали к дяде Адриану, а он согласился попросить дядю Хилари ему помочь и вместе с ним отправиться на поиски; потом я отвезла миссис Ферз в Кондафорд, к детям, и это все, что мне известно, сэр.

Следователь поклонился ей довольно низко и сказал:

— Спасибо, мисс Черрел. Вы отлично дали свои показания.

Присяжные заерзали на своих местах, словно их тоже подмывало поклониться, и Динни, неуверенно ступая, вышла из-за загородки и села рядом с Хилари; тот накрыл ладонью ее руку. Она сидела, не шевелясь, и вдруг почувствовала, как по щеке ее медленно катится слеза, — лекарство, видно, перестало действовать. Она вяло прислушивалась к тому, что было дальше: к показаниям главного врача клиники и речи следователя, — а потом, безмолвно ожидая решения присяжных, мучилась сознанием, что в своей верности к живым предала мертвого. Какое это было отвратительное чувство: она обвинила в безумии того, кто не мог ни защититься, ни оправдаться. Потом она с напряжением и страхом смотрела, как гуськом возвращаются присяжные и рассаживаются по своим местам, как встает старшина присяжных, чтобы объявить приговор.

— Мы считаем, что покойный умер от падения в меловой карьер.

— Это означает смерть от несчастного случая, — пояснил следователь.

— И хотим выразить сочувствие вдове покойного.

Динни чуть было не захлопала в ладоши. Вот вам! Они, эти ископаемые, все-таки признали самоубийство недоказанным! Она вскинула голову и неожиданно наградила их теплой, почти нежной улыбкой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Перестав улыбаться, Динни заметила, что дядя Хилари поглядывает на нее с хитрецей.

— Как ты думаешь, дядя, нам можно идти?

— Да уж пойдем, Динни, пока ты совсем не вскружила голову старшине присяжных.

На улице, на сыром октябрьском ветру — стояла обычная английская осень, — она сказала:

— Давай немножко подышим свежим воздухом, — пусть из нас выветрятся судебные запахи.

Они свернули в ту сторону, где вдалеке виднелось море, и бодро зашагали рядом.

— Мне ужасно хочется знать, что произошло до меня; я ничего не напутала?

— Нет. Из показаний Дианы сразу же выяснилось, что Ферз вернулся из клиники, и следователь обошелся с ней деликатно. Очень удачно, что меня вызвали до Адриана, поэтому его показания только повторили мои, и он ничем не обратил на себя внимания. Мне даже жаль репортеров. Присяжные всегда избегают констатировать самоубийство или потерю рассудка, если к этому есть малейшая возможность; да в конце концов мы и в самом деле не знаем, что случилось с беднягой в последнюю минуту. Он легко мог оступиться и сорваться в карьер; сумерки сгущались, и было уже довольно темно.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Нет, Динни, — покачал головой Хилари. — По-моему, он задумал это с самого начала, а это место ближе всего к его родному дому. И, хотя так говорить не следует, слава богу, что все кончилось и он обрел покой.

— Да! Да... Что же теперь будет с Дианой и дядей Адрианом? Хилари набил трубку и остановился, чтобы ее раскурить.

— Видишь ли, дорогая, я дал Адриану один совет. Не знаю, послушается ли он, но, если придется к слову, ты могла бы меня поддержать. Он ждал столько лет. Пусть подождет еще годик.

— Вот это ты прекрасно придумал!

— Да ну! — удивился Хилари.

— Правда! Диана просто не в состоянии думать сейчас даже о нем. Ее надо оставить одну с детьми.

— Интересно, — сказал Хилари, — нельзя ли подsunуть ему какую-нибудь экспедицию за черепами, которая на год унесет его из Англии.

— Халлорсен! — закричала Динни, хлопая в ладоши. — Халлорсен опять уезжает. А дядю Адриана он любит.

— Отлично! А возьмет он его?

— Возьмет, если я попрошу, — коротко ответила Динни.

Хилари снова бросил на нее ехидный взгляд.

— Ну и опасная же ты женщина! Надеюсь, попечители музея дадут Адриану отпуск. Я заставляю старого Шропшира и Лоренса этим заниматься. Пойдем назад. Я должен поспеть на поезд. Жаль, конечно, — здесь такой чудный воздух, но по мне соскучились мои Лужки.

Динни взяла его под руку.

— Ты прелесть, дядя Хилари.

Хилари с удивлением раскрыл глаза.

— С чего это вдруг?

— Будто ты не понимаешь: у тебя есть настоящие устои, и в то же время ты какой-то ужасно сегодняшний, терпимый, свободомыслящий!

— Гм! — произнес Хилари, выпуская облако дыма.

— Я уверена, ты допускаешь даже аборт.

— Видишь ли, — сказал Хилари, — мы, священники, находимся тут в комическом положении. В свое время считалось непатриотичным высказываться за ограничение рождаемости. Но в наши дни, когда авиация и ядовитые газы сделали пушечное мясо ненужным, а безработица растет, — боюсь, что теперь антипатриотично не высказываться за ограничение рождаемости. Что касается наших христианских принципов, то, будучи патриотами, отступили же мы во время войны от христианского принципа «Не убий»; таким образом, будучи патриотами, мы логически не можем придерживаться и христианского принципа «Плодитесь и размножайтесь!». По крайней мере в условиях городских трущоб аборт — благое дело.

— И ты не веришь даже в ад?

— Нет, верю; мои прихожане проводят в нем всю жизнь.

— И ты считаешь, что в воскресенье можно играть в футбол? — Хилари кивнул. — И принимать солнечные ванны без купального костюма?

— Да, если бы у нас было солнце.

— И ты не против того, чтобы женщины носили пижамы и курили?

— Только не вонючий табак, ни в коем случае!

— По-моему, это не демократично.

— Ничего не поделаешь, Динни. Понюхай, — и он пустил в нее клуб дыма.

Динни понюхала.

— Это турецкий табак, и пахнет чудесно, но женщины не курят трубку. Наверное, у каждого из нас есть свой пунктик, у тебя — долой махорку. Во всем прочем ты человек совершенно нового склада. Когда я сидела в суде и разглядывала это сборище, мне казалось, что у одного тебя по-настоящему современное лицо.

— Милая, ничего удивительного: Чичестер — одна из твердынь нашей церкви.

— Знаешь, по-моему, в жизни вообще не так много новшеств.

— Ты не живешь в Лондоне. Хотя в каком-то смысле ты права. Да, мы стали обо всем говорить откровеннее, но это еще не новый уклад. Вся разница между моей молодостью и сегодняшним днем — только в форме выражения. У нас были свои сомнения, свое любопытство, свои желания, только мы их не высказывали. А они теперь высказывают. Я вижу много студентов, — они приходят к нам поработать в Лужках. Знаешь, с самой колыбели их учат говорить все, что им взбредет в голову, и они не стесняются. Мы так не умели, хотя и нам приходили в голову те же самые мысли. Вот и вся разница. Это да еще, пожалуй, автомобили.

— Значит, я человек старомодный. Никак не научусь выражать свои чувства вслух.

— Тут виновато твое чувство юмора. Оно тебя сдерживает, ты боишься показаться смешной. Сейчас мало у кого из молодежи есть настоящее чувство юмора; они бывают остроумны, но это совсем другое дело. Разве наши молодые писатели, художники, музыканты вели бы себя так, как они себя ведут, если бы умели сами посмеяться над собой. А ведь тут-то и проявляется настоящее чувство юмора.

— Надо об этом подумать.

— Думай, только не теряй чувства юмора, Динни. Оно все равно что аромат у розы. Ты едешь назад, в Кондафорд?

— Да, наверно; Хьюберта вызовут в суд не раньше, чем придет почтовое судно; а до этого еще десять дней.

— Что ж, передай привет Кондафорду; вряд ли мне еще суждены такие хорошие деньки, как тогда, когда мы жили там ребятами.

— Я как раз об этом думала, дядя, когда ждала своей очереди,— последняя из негритят.

— Тебе еще рановато об этом думать. Обожди, скоро влюбишься.

— Я уже, дядя.

— Что, влюблена?

— Нет, жду.

— Ужасное состояние — влюбленность,— сказал Хилари.— Но я никогда не жалел, что пережил его.

Динни посмотрела на него искоса, и у нее блеснули зубы.

— А что, если тебе снова встать на эту стезю, дядечка?

— Ну уж нет,— сказал Хилари, выбивая трубку об угол почтового ящика,— моя песенка спета. Профессия не позволяет. К тому же я все никак не вылечусь от первого приступа.

— Я понимаю,— сказала Динни с сочувствием,— тетя Мэй такая душка.

— Тонко замечено. А вот и вокзал. До свиданья, всего тебе наилучшего! Я отправил чемодан еще утром.

Он помахал рукой и исчез.

Вернувшись в гостиницу, Динни пошла искать Адриана. Его нигде не было; огорченная, она снова вышла погулять и направилась в собор. Только она собралась там сесть и насладиться его мирной красотой, как увидела своего дядю: Адриан стоял у колонны и любовался круглым витражом. Динни подошла к нему и взяла его под руку. Он сжал ее руку, но ничего не сказал.

— Ты любишь цветное стекло, дядя?

— Ужасно люблю хорошее стекло, Динни. Ты когда-нибудь видела собор в Йорке?

Динни покачала головой; потом, поняв, что ей трудно будет навести разговор на нужную тему, она спросила напрямик:

— Что ты собираешься теперь делать?

— Ты говорила с Хилари?

— Да.

— Он хочет, чтобы я уехал на год.

— Я тоже.

— Это немалый срок, Динни, а я уже не молод.

— Ты бы поехал с Халлорсеном в экспедицию, если бы он тебя взял?

— Он меня не возьмет.

— Нет, возьмет.

— Я поеду, если буду уверен, что этого хочет Диана.

— Она ни за что не скажет, но я убеждена, что ей это необходимо.

— Если не можешь жить без солнца,— совсем тихо сказал Адриан,— тяжело ехать в края, где оно никогда не светит.

Динни погладила его по руке.

— Да; но ты знаешь, что скоро его увидишь. А это такая приятная экспедиция, и для здоровья полезно — недалеко, в Нью-Мехико. Ты вернешься совсем молоденький, в штанах, обшитых по бокам конской гривой, как у ковбоев в кино. Ты будешь неотразим, мне так хочется, чтобы ты был неотразим! А тут пока уляжется весь этот шум и гам.

— А моя служба?

— Ну, это легко уладить. Если Диана год проживет спокойно, она станет другим человеком и начнет о тебе мечтать, как о земле обетованной. Я знаю, что говорю.

— Ах ты, змея-искусительница,— сказал Адриан со своей невеселой улыбкой.

— Диана пережила тяжелое потрясение.

— Иногда мне кажется, что эта рана неизлечима.

— Ерунда!

— Станет она обо мне думать, если я уеду!

— Ты не знаешь женщин.

— А что можешь знать о женщинах ты, в твои годы? Я уже один раз уехал, а она стала думать о Ферзе. О таких, как я, женщины, наверно, не думают.

— Ну, тогда Нью-Мехико самое подходящее для тебя место. Когда ты вернешься, перед тобой не устоит ни одна женщина. Честное слово! Я обещаю, что буду ее стеречь, а дети не дадут ей тебя забыть. Они без конца говорят о тебе. Я уж постараюсь, чтобы они тебя почаще вспоминали.

— Как ни странно,— заметил бесстрастным тоном Адриан,— но, по-моему, она сейчас от меня дальше, чем когда был жив Ферз.

— Сейчас — да, и, может быть, это еще надолго. Но я знаю, в конце концов все уладится. Правда, дядя.

Адриан молчал.

— Я поеду, Динни,— сказал он наконец,— если Халлорсен меня возьмет.

— Возьмет. Нагнись, дядя. Я должна тебя поцеловать.

Адриан нагнулся. Поцелуй пришелся в кончик носа. Позади послышался кашель церковного служки...

Возвращение в Кондафорд состоялось в тот же день в прежнем порядке; молодой Тасборо сидел за рулем. В Чичестере он вел себя чрезвычайно тактично, ни разу не сделал предложения, и Динни была ему за это благодарна. Ей тоже хотелось покоя, как и Диане. Алан уехал из Кондафорда в тот же вечер, Диана с детьми — на другой день; Клер вернулась из Шотландии, где долго гостила, и теперь в Кондафорде

остались только свои. А Динни все никак не могла успокоиться. Теперь, когда больше не надо было волноваться из-за бедного Ферза, ее мучили мысли о Хьюберте. Удивительно, какую тревогу вызывала эта нависшая над ними угроза! Хьюберт и Джин писали с Восточного побережья веселые письма. По их словам, они ничуть не беспокоились, чего нельзя было сказать о Динни. И она знала, как встревожена мать, а еще больше — отец. Клер была скорее сердита, чем встревожена, и злость ее выражалась в необычайном для нее приливе энергии, — по утрам она ходила с отцом охотиться на лисиц, а после обеда брала машину и отправлялась в гости к соседям, где часто засиживалась до позднего вечера. На нее — самого светского члена их семьи — всегда был большой спрос. Динни ни с кем не делилась своими тревогами. Она написала Халлорсену о дяде Адриане, послав ему одновременно обещанную фотографию, — снимок изображал ее в бальном платье и был сделан два года назад, когда ее и Клер в целях экономии одновременно представили ко двору. Халлорсен немедленно ответил: «Фотография просто прелесть. Буду рад взять с собой вашего дядю. Пишу ему немедленно». Подпись гласила: «Всегда преданный вам».

Динни прочитала письмо с признательностью, но без сердечного трепета, за что тут же обозвала себя бесчувственной тварью. Успокоившись насчет Адриана, — она знала, что хлопоты о его отпуске охотно возьмет на себя Хилари, — Динни теперь неотступно думала о Хьюберте; ею все больше овладевали мрачные предчувствия. Она пыталась убедить себя, что это от безделья или нервная реакция после истории с Ферзом, но никакие доводы не действовали. Если даже на родине Хьюберту так мало доверяют, что готовы его выдать, — на что же ему рассчитывать там? Она подолгу разглядывала тайком карту Боливии, словно очертания страны помогли ей проникнуть в психологию этого народа. Никогда еще она так страстно не любила свой дом, как в эти тревожные дни. Кондафорд — родовое имение, и если Хьюберта вышлют, осудят, если он умрет в тюрьме или будет убит одним из этих погонщиков, а у Джин не окажется наследника, — имение перейдет к старшему сыну Хилари, к двоюродному брату, школьнику, которого она едва знает; конечно, оно останется в семье, но это будет уже не то. С судьбой Хьюберта связана судьба ее родного гнезда. И, хотя она удивлялась тому, что может думать о себе, когда на карту поставлена жизнь Хьюберта, она никак не могла отделаться от этих мыслей.

Как-то утром она попросила Клер отвезти ее в Липпингхолл. Динни терпеть не могла править машиной, и не зря: ее привычка видеть смешную сторону во всем, что ей встречается, несколько раз чуть было не довела ее до беды. Они приехали к самому обеду, и леди Монт встретила их восклицанием:

— Девочки, какая досада! Впрочем, может, вы любите морковку? Дяди дома нет. Так очищает кровь! Блор, поглядите, не зажарила ли Августина какую-нибудь птичку. Да, Блор, попросите ее сделать эти вкусные блинчики с вареньем, которые мне нельзя есть.

— Нет, тетя Эм, пожалуйста, не заказывай того, чего тебе нельзя есть самой.

— Но мне ничего нельзя есть. Ваш дядя толстеет, поэтому я худею. Да, Блор: омлет с сыром и какого-нибудь хорошего вина... и кофе.

— Тетя, это ужасно!

— Винограду, Блор. И эти сигареты — они наверху, в комнате мистера Майкла. Дядя их не курит, а я курю всякую дрянь, поэтому сигарет у нас никогда не бывает. И еще, Блор...

— Да, миледи?

— Коктейли, Блор.

— Тетя Эм, мы не пьем коктейлей.

— Нет, пьете, я видела. Клер, ты такая худенькая. Ты тоже сидишь на диете?

— Нет, я была в Шотландии.

— Охотилась и ловила рыбу? А теперь побегайте по дому. Я вас подожду.

Пока они «бегали по дому», Клер спросила Динни:

— Где тетя Эм научилась глотать окончания слов?

— Папа рассказывал, что в школе, где она училась, считалось неприличным произносить все слово до конца. Правда, она — прелесть?

Клер, которая в это время подкрашивала губы, только кивнула. Возвращаясь в столовую, они услышали, как леди Монт говорит:

— Брюки Джеймса, Блор.

— Да, миледи.

— У них такой вид, будто они вот-вот свалятся. Нельзя ли с ними что-нибудь сделать?

— Да, миледи.

— А, вот и вы! Тетя Уилмет гостит сейчас у Генриетты. Они там спорят напропалую. Для каждой из вас нашлось по холодной птичке. Динни, что ты сделала с Аланом? Он стал такой интересный, а завтра кончается его отпуск.

— Ничего я с ним не сделала, тетя Эм.

— Поэтому он такой интересный. Нет. Дайте мне морковку, Блор. Разве ты не выходишь за него замуж? Я знаю, у него есть виды на наследство... судебный процесс... кажется, где-то в Уилтшире? Он все ходит сюда и плачется мне в жилетку, бедняжка.

Под пристальным взглядом Клер Динни застыла с поднятой вилкой.

— Смотри, не то он еще переведется в Китай и женится на дочке беглого корабельного казначея. Говорят, в Гонконге их полно. Да! Мой портупак погиб. Босуэл и Джонсон взяли да и полили его жидким навозом. Совсем не разбирают запахов. Знаете, что они один раз сделали?

— Нет, тетя Эм.

— Напустили насморк на моего племенного кролика, — обчихали всю его клетку. Бедняжка умер. Я их уволила, но они не ушли. Не уходят, и все. Дядя их совсем избаловал. А ты не собираешься с кем-нибудь сойтись, Клер?

— «Сочетаться»! Тетя Эм!

— Прелестное слово, — то и дело попадаете в воскресных газетах. Но ты собираешься или нет?

— Конечно, нет.

— Почему? Все некогда? По правде говоря, терпеть не могу морковку... такая скука. Но у дяди начинается опасный возраст... приходится об этом думать. Не понимаю, зачем мужчинам опасный возраст. И, в сущности, он у него должен был уже пройти.

— Он прошел, тетя Эм. Разве ты забыла? Дяде Лоренсу уже шестьдесят девять.

— Понимаешь, это еще совсем незаметно. Блор!

— Да, миледи.

— Уйдите, пожалуйста.

— Да, миледи.

— Есть такие вещи, о которых при нем нельзя говорить,— сказала леди Монт, когда за дворецким закрылась дверь,— аборт, дядя и так далее. Бедная киска!

Она встала, подошла к окну и бросила кошку на цветочную клумбу.

— Блор с нею терпелив, как ангел,— прошептала Динни.

— В сорок пять они пускаются во все тяжкие,— сказала, возвращаясь на свое место, леди Монт,— и в шестьдесят пять тоже, а потом — уж и не знаю когда. Я никогда не пускалась во все тяжкие. Но я подумываю о нашем священнике.

— Он очень скучает, тетя?

— Напротив, отдыхает душой. Он часто бывает у нас.

— Вот было бы здорово, если бы ты затеяла какую-нибудь скандальную историю!

— Динни!

— Дядя Лоренс был бы в восторге.

— Где Блор?— спросила она.— Пусть он мне тоже даст хоть один блинчик.

— Ты же сама его отослала.

— Ах да!

— Нажать звонок, тетя Эм?— спросила Клер.— Он у меня под стулом.

— Я поставила его там для дяди. Он читает мне «Путешествие Гулливера». Какой это был грубиян!

— Ну, Рабле или Вольтер — еще хуже.

— Ты читаешь такие грубые книги?

— Что поделаешь, это классика.

— Говорят, есть такая книга — Апулеса или что-то в этом роде; дядя купил ее в Париже, а в Дувре ее у него отняли. Вы ее читали?

— Нет,— сказала Динни.

— Я читала,— сказала Клер.

— Дядя мне о ней рассказывал,— тебе вовсе незачем было ее читать.

— Ну, теперь читают все что попало; какая разница!

Леди Монт перевела взгляд с одной племянницы на другую.

— Что ж,— с загадочным видом произнесла она,— библия ведь тоже... Блор!

— Да, миледи.

— Кофе в холле на тигре. И подбросьте запашку в огонь. А мне виши.

Когда она выпила стакан виши, все поднялись.

— Восхитительно! — шепнула Клер на ухо Динни.

— Что вы делаете насчет Хьюберта? — спросила леди Монт, когда они уселись у горящего камина в холле.

— Дрожим от страха, тетя.

— Я просила Уилмет поговорить с Генриеттой, — ведь та бывает при дворе. И потом теперь ведь летают. Почему бы ему куда-нибудь не полететь?

— Дядя Лоренс внес за него залог.

— Он не обидится. Мы можем обойтись без Джеймса, у него аденоиды, а вместо Босуэла и Джонсона можно взять одного.

— Хьюберт не согласится.

— Я люблю Хьюберта, — сказала леди Монт, — а он женился... слишком все как-то скоро. А вот и запашок.

За Блором, который нес кофе и сигареты, следовал Джеймс с огромным кедровым поленом. Пока леди Монт заваривала кофе, воцарилось благоговейное молчание.

— Сахару, Динни?

— Да, пожалуйста, две ложки.

— Я кладу себе три. Но от этого толстеют. Клер?

— Пожалуйста, одну.

Девушки отпили по глотку, и Клер вздохнула:

— Поразительно!

— Да. Почему у тебя кофе вкуснее, чем у кого бы то ни было, тетя Эм?

— Я тоже так думаю, — сказала тетя. — А этот бедняга, Динни... Я была так рада, что он вас не искушал. Теперь Адриан ее получит. Слава богу.

— Еще не скоро: дядя Адриан уезжает в Америку.

— Зачем?

— Нам всем казалось, что так лучше. И он тоже так думает.

— Когда он отправится в рай, — сказала леди Монт, — кому-нибудь придется его проводить, не то он так туда и не попадет.

— Что ты, ему там давно приготовлено место.

— Ничего не известно. В воскресенье священник как раз об этом читал проповедь.

— У него хорошие проповеди?

— Ничего.

— Наверное, их писала ему Джин.

— Да, раньше они были куда забористей. Где я подцепила это словечко?

— Наверно, у Майкла.

— К нему вечно все липнет. Священник говорит, что надо обуздывать свои аппетиты. Он приходил к нам обедать.

— И, наверно, пообедал с большим аппетитом.

— Да.

— Сколько он весит, тетя Эм?

— В раздетом виде — не знаю.

— Ну, а в одетом?

— Порядочно. Он собирается писать книгу.

— О чем?

— О Тасборо. Там была одна, ее сперва похоронили, а потом она жила во Франции, только она была урожденная Фицгерберт. Потом один из них сражался при... как это... Макароне?.. Нет, как-то иначе, Августина это нам тоже готовит.

— При Наварине? ¹ В самом деле?

— Да, но другие говорят, будто его там не было. Священник хочет все это раскопать. Потом был еще Тасборо, которому отрубили голову, а он забыл об этом рассказать. Но священник все разнюхал.

— При каком короле?

— Вот уж не могу запомнить всех этих королей. При Эдуарде Шестом... или Четвертом? Как ты думаешь? Он был Алая Роза ². Потом был еще Тасборо, который женился на одной из нас. Звали его Роланд... а может быть, и не Роланд. Но он сделал что-то необыкновенное, и у него отняли земли. Он был еретиком — что это значит?

— Это значит, тетечка, что при протестантском режиме он был католиком.

— Сперва сожгли его дом. Он упоминается в «Меркуриус Рустикус» или еще в какой-то книжке. Священник говорит, что его очень любили. Дом его жгли два раза, а потом разграбили... или наоборот, не помню. Там был ров с водой. И остался список того, что они взяли.

— Какая увлекательная история!

— Варенье, серебро, кур, белье и как будто зонтик или еще что-то очень смешное.

— Когда все это было?

— В гражданскую войну. Он был роялистом. Вспомнила! Его звали совсем не Роландом, а ее звали Элизабет, в честь тебя, Динни. История повторяется.

Динни задумчиво смотрела на горящее полено.

— Был у них еще и адмирал — при Вильгельме Четвертом, он умер от перепоя, — он, а не Вильгельм! Но священник говорит, что нет, и хочет доказать это в своей книге. Говорит, будто тот простудился, выпил рому от насморка и оочурился... где я подцепила это слово?

— Я его иногда употребляю.

— Ну да. Видишь, сколько их, не считая всех неинтересных — от самого Эдуарда Исповедника или кого-то там еще. Он хочет доказать, что их род древнее нашего. Какие глупости, правда?

— Ну и ну! — пробормотала Клер. — Кто будет читать такую книгу?

— Как знать? Но это потешит его спесь, да и спать он будет поменьше. А, вот и Алан! Клер, ты не видела, где у меня рос портулак? Пойдем взглянем.

— Тетя Эм, ты бесстыдница, — шепнула ей на ухо Динни, — и это все равно не поможет.

¹ а) Сражение при Наварине между соединенным флотом России, Англии, Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой (1827); б) Н а в а р и н — рагу из баранины с картофелем, репой и фасолью.

² Ссылка на династическую войну Алой и Белой Розы между потомками английского короля Эдуарда III (1455—1485).

— «Если в первый раз не вышло»... помнишь стишок, который мы повторяли каждое утро, когда были маленькие? Подожди, я надену шляпу, Клер.

Они ушли.

— Значит, ваш отпуск кончается, Алан?— спросила Динни, оставшись наедине с молодым человеком.— Куда вы отправляетесь?

— В Портсмут.

— Это хорошо?

— Могло быть и хуже. Динни, я хочу поговорить с вами о Хьюберте. Ну, а если в следующий раз дело в суде примет дурной оборот,— что тогда?

Лицо Динни как-то сразу застыло, она опустила на лежавшую у камина подушку и посмотрела на Алана с тревогой.

— Я наводил справки,— сказал он,— дело передается министру внутренних дел, и если через две-три недели он утвердит решение суда, приговоренного тут же вышлют. Думаю, его отправят через Саутгемптон.

— Неужели это возможно?

— Кто их знает,— хмуро ответил он.— Представьте себе, что какой-нибудь боливиец убил бы кого-нибудь здесь, у нас, и вернулся домой,— разве мы не добивались бы его выдачи и не нажали бы на все пружины?

— Но ведь это бог знает что!

Во взгляде молодого человека она прочла глубокое сочувствие.

— Будем надеяться, что все обойдется; но если дело примет дурной оборот, надо что-нибудь предпринять. Я этого не допущу, и Джин тоже.

— Но что же можно сделать?

Алан обошел холл, заглядывая во все двери, потом, наклонившись к ней, сказал:

— Хьюберт водит самолет, а я, с тех пор как вернулся из Чичестера, тренируюсь ежедневно. Мы с Джин кое-что подготавливаем... на всякий случай.

Динни схватила его за руку.

— Милый мой, это же безумие!

— Не больше чем тысячи вещей, которые делались на войне.

— Но это испортит вам всю карьеру.

— Черт с ней, с карьерой! Смотреть, как вы с Джин будете страдать, может быть, годами, а такого человека, как Хьюберт, погубят подлейшим образом... еще чего не хватало!

Динни порывисто сжала его руку.

— До этого не может, не должно дойти. И потом, как вы увезете Хьюберта? Он же будет под стражей.

— Не знаю, но буду знать, когда придет время. Ясно одно: если они его туда отправят, его песенка спета.

— Вы с Хьюбертом говорили?

— Нет. Пока еще все неясно.

— Я уверена, что он не согласится.

— Об этом позаботится Джин.

Динни покачала головой.

— Вы не знаете Хьюберта, он на это не пойдет.

Алан ухмыльнулся, и она вдруг поняла, что, если этот человек на что-нибудь решился, его уж не собьешь.

— А профессор Халлорсен знает?

— Нет, и не узнает, если не будет крайней необходимости. Но, должен признаться, он славный парень.

Она слабо улыбнулась.

— Да, славный парень, но переросток.

— Динни, а вы, часом, по нем не вздыхаете?

— Нет, дорогой.

— Ну и слава богу!.. Видите ли,— продолжал он,— вряд ли они обойдутся с Хьюбертом, как с обыкновенным преступником. Может, это облегчит дело.

Динни смотрела на него затаив дыхание. Эти слова почему-то убедили ее в реальности его замысла.

— Я, кажется, начинаю понимать Зеебрюгге. Но...

— Никаких «но», и не робейте! Пароход приходит послезавтра, и тогда делу снова будет дан ход. Увидимся в суде, Динни. Теперь я должен идти,— у меня сегодня опять полет. Мне просто хотелось, чтобы вы знали,— если дело окажется дрянью, мы не станем сидеть сложа руки. Передайте привет леди Монт; я ее больше не увижу. Будьте здоровы!

И, поцеловав ей руку, он вышел из холла, прежде чем она успела открыть рот.

Динни притихла возле камина, где потрескивало кедровое полено; она была взволнована до глубины души. Мысль о сопротивлении властям не приходила ей в голову, может быть, потому, что она никогда не верила в возможность выдачи Хьюберта. Не верила она в нее и сейчас, а это делало безумный план Алана еще более романтичным: кто же не знает, что риск особенно приятен тогда, когда ты уверен, что рисковать не придется. Примешивалось сюда и теплое чувство к Алану. То, что он даже не сделал на этот раз предложения, еще больше убеждало ее в серьезности его намерений. И, сидя на тигровой шкуре, которая доставила так мало сильных ощущений восьмому баронету — он застрелил ее обладателя со спины слона, когда тигр пытался тихонечко улизнуть,— Динни грелась у огня, и душу ее согревала надежда, что скоро и ее наконец коснется пламя жизни. Старый черно-белый спаниель Куинс, который во время частых отлучек хозяина мало интересовался людьми, медленно прошел через холл и вытянулся, положив морду на передние лапы и поглядывая на нее глазами с красными веками. «Может, все это так, а может, и не так», — казалось, говорил он. Полено тихонько шипело и потрескивало, а дедовские часы в дальнем конце холла с важной неторопливостью пробили три раза.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Накануне каких-нибудь важных событий — будь то спортивные состязания, ультиматум, скачки или казнь — страсти разгораются с особенной силой в последние несколько часов; когда наконец наступил день вторичного вызова Хьюберта в суд, тревога в семействе Черрел до-

стигла своего апогея. Подобно тому как в древности какой-нибудь клан шотландских горцев собирался без всякого зова, когда одному из его членов грозила опасность, — так и все родные Хьюберта собрались сегодня в зале суда. Все, кроме Лайонела, — он сам был судьей и заседал в другом суде, — его детей и детей Хилари, которые учились в школе. Можно было подумать, что они собрались на свадьбу или на похороны, если бы не суровое выражение их лиц и чувство незаслуженной обиды в душе. Динни и Клер сидели между отцом и матерью, рядом с ними — Джин, Алан, Халлорсен и Адриан, позади — Хилари с женой, Флер с Майклом и тетя Уилмет, за ними — сэр Лоренс и леди Монт; и, наконец, священник из Липпингхолла являл собой острие перевернутой фаланги.

Войдя в зал в сопровождении адвоката, Хьюберт приветствовал свой клан улыбкой.

Теперь, когда она уже находилась в зале суда, Динни впала в какую-то апатию. Брат ее не был виновен, — он только защищал свою жизнь. Даже если его выдадут, он все равно ни в чем не виноват. Ответив на улыбку Хьюберта, она стала разглядывать Джин. Та никогда еще не была так похожа на тигрицу: ее странные, глубокие глаза, мерцающая, перебежали с ее «тигренок» на того, кто грозил его похитить.

Когда зачитали протокол предыдущего заседания, адвокат Хьюберта предъявил новый документ — скрепленное присягой показание Мануэля. И тут апатию Динни как рукой сняло: прокуратура ответила предъявлением другого документа, скрепленного присягой четырех погонщиков, где утверждалось, что Мануэля не было, когда Хьюберт стрелял в их товарища.

Это была ужасная минута. Четыре индейца против одного!

Динни заметила, что на лице судьи промелькнула растерянность.

— Кто представил второй документ, мистер Баттол? — спросил он.

— Адвокат, который ведет это дело в Ла-Пасе, ваша честь. Ему стало известно, что слугу Мануэля просили дать показания.

— Понятно. А что вы скажете по поводу шрама, предъявленного обвиняемым?

— За исключением личного заявления обвиняемого, ни вы, сэр, ни я не имеем никаких доказательств того, как и когда этот шрам появился.

— Так. Но вы же не предполагаете, что рана могла быть нанесена убитым после того, как его застрелили?

— Если Кастро с ножом в руке упал после выстрела головой вперед, такая возможность не исключена.

— Но маловероятна, мистер Баттол.

— Да. Но представленные мной доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый стрелял преднамеренно и хладнокровно, с расстояния в несколько ярдов. Мне вообще неизвестно, выхватил Кастро нож или нет.

— Тогда вопрос сводится к следующему: лгут либо шесть свидетелей обвинения, либо обвиняемый и слуга Мануэль.

— Совершенно верно, ваша честь. И теперь ваше дело — решить, каким показаниям верить: показаниям шестерых человек или показаниям двух.

Динни заметила, что судья заерзал в кресле.

— Я это отлично понимаю, мистер Баттол. Капитан Черрел, что вы скажете по поводу предъявленного документа?

Динни перевела взгляд на лицо брата. Оно казалось бесстрастным, даже чуть-чуть насмешливым.

— Ничего. Я не знаю, где в это время был Мануэль. Я был слишком занят тем, что защищал свою жизнь. Я знаю только одно — он подбегал ко мне почти сразу же.

— «Почти»? Когда именно?

— Правдо, не знаю, сэр... может быть, через минуту. Я пытался остановить кровь и потерял сознание как раз в тот миг, когда он ко мне подбегал.

Потом произнесли речи оба адвоката, и Динни снова охватила апатия, которая рассеялась лишь во время наступившего затем пятиминутного молчания. Во всем зале хлопотал один судья; казалось, он никак не может уговориться. Из-под полуопущенных ресниц Динни видела, как он перелистывает и читает то одну, то другую бумагу. У него были красные щеки, длинный нос, острый подбородок и, кажется, хорошие глаза, но ей трудно было их разглядеть. Она интуитивно чувствовала, что ему как-то не по себе. Наконец он заговорил:

— В этом деле мне не приходится задавать себе вопроса, было ли совершено преступление и совершил ли его обвиняемый; мне приходится только спросить себя, доказано ли, что преступление, якобы совершенное обвиняемым, влечет за собой его выдачу другой стране, доказано ли, что требование иностранного государства должным образом обосновано, и, наконец, имеются ли достаточные улики для того, чтобы привлечь обвиняемого к суду, если бы правонарушение было совершено в нашей стране.— Помолчав, он добавил:— Мне ясно, что такого рода преступления влекут за собой выдачу обвиняемого и что требование иностранного государства должным образом обосновано.

Он снова умолк, и в наступившей тишине Динни послышался долгий вздох — такой тоскливый, словно его издал бесплотный дух. Судья перевел взгляд на Хьюберта и продолжал:

— Я поневоле пришел к убеждению, что, на основании предъявленных доказательств, мой долг — заключить обвиняемого в тюрьму в ожидании выдачи его иностранному государству по ордеру министра внутренних дел, если он найдет нужным такой ордер выдать. Я выслушал доводы обвиняемого,— он выдвинул мотивировку, исключающую его поступок из категории преступлений; эти доводы были подкреплены письменными показаниями одного свидетеля, которые опровергаются письменными показаниями четырех других. У меня нет оснований вынести суждение в пользу одного из этих противоречащих друг другу документов — можно лишь констатировать, что их авторы выступают в соотношении четыре к одному,— и я не могу поэтому принять во внимание ни один из этих документов. Если бы правонарушение произошло в нашей стране,— не думаю, чтобы, при наличии шести свидетельских показаний о его преднамеренном характере, ничем не подкрепленное заверение обвиняемого в противном могло бы убедить меня не передавать дела в суд; поэтому я не могу поверить на слово обвиняемому и отказать от передачи его суду по правонарушению, совершенному в дру-

гой стране. Я, не колеблясь, признаю, что пришел к такому заключению неохотно, но считаю, что у меня нет другого выхода. Повторяю, вопрос заключается не в том, виновен обвиняемый или нет, а в том, нужно его судить или нет. Я не могу взять на себя ответственность сказать: нет, не нужно. Окончательное решение в делах такого рода остается за министром внутренних дел, который подписывает ордер на выдачу обвиняемого. Поэтому, в ожидании такого ордера, я приговариваю вас к тюремному заключению. Вас выдадут не раньше чем через пятнадцать дней, и вы вправе потребовать по закону *habeas corpus*¹ письменного изложения юридических оснований вашего заключения под стражу. Не в моей власти отпустить вас снова под залог; но вы можете, если захотите, обратиться с такой просьбой в Верховный суд.

Динни в ужасе увидела, как Хьюберт поднялся, вытянулся, слегка поклонился судье и медленно, не оглядываясь, покинул скамью подсудимых. За ним последовал его адвокат.

Сама она сидела как оглушенная; единственное, что она заметила в эти минуты, было окаменевшее лицо Джин и загорелые руки Алана, вцепившиеся в набалдашник трости.

Придя в себя, Динни увидела, что по щекам ее матери текут слезы и что отец вскочил с места.

— Пойдем!— сказал он.— Выйдем отсюда!

В эту минуту она больше всего жалела отца. С тех пор как началось это дело, он так мало говорил и так много переживал. Для него все это было настоящей трагедией. Динни отлично понимала чувства этого простодушного человека. Отказ поверить Хьюберту на слово был для него оскорблением, нанесенным не только его сыну и ему самому, но и всему, за что они стояли и во что верили, всей армии и всему дворянству. Что бы дальше ни случилось, этого ему не забыть никогда. Какая глубокая пропасть между законом и справедливостью! А ведь есть ли на свете люди более благородные, чем ее отец и брат, а может быть, и этот судья?.. Выбираясь вслед за отцом на Боу-стрит, в этот грязный закоулок большого города, она увидела всех своих, кроме Джин, Алана и Халлорсена.

— Нам остается только взять такси и двинуться восвояси,— сказал сэр Лоренс.— Поедте-ка лучше все на Маунт-стрит и посоветуемся, что каждый из нас может сделать.

Когда полчаса спустя они собрались в гостиную тети Эм, те трое все еще отсутствовали.

— Куда они девались?— спросил сэр Лоренс.

— Наверно, пошли поговорить с адвокатом Хьюберта,— сказала Динни.

Но она-то знала, что это не так. Там вынашивался какой-то отчаянный план, и Динни очень рассеянно прислушивалась к тому, что говорилось на семейном совете.

По мнению сэра Лоренса, надо было делать ставку на Бобби Феррара. Если уж он не сумеет уломать Уолтера — все потеряно. Нужно снова обратиться к нему и к маркизу.

¹ Английский закон 1679 года, гарантирующий арестованному право требовать предъявления ему объяснений причин ареста.

Генерал молчал. Он стоял в стороне и пристально глядел на одну из картин своего зятя, хотя ясно ее не видел. Динни понимала, что он не участвует в разговоре потому, что ему это сейчас не по силам. О чем он думает? О прошлом, когда он был так же молод, как сын, и тоже только что женился? О долгих маршах в песках и скалах под знойным солнцем Индии и Южной Африки? О еще более долгих полковых буднях? О напряженных ночах, проведенных над картой, когда он не отрывал глаз от часов и не отнимал от уха телефонной трубки? О своих ранах и тяжелой болезни сына? Оба они отдали армии жизнь,— и вот она, награда.

Динни не отходила от Флер; инстинкт подсказывал ей, что этот ясный, живой ум способен найти правильный выход.

— Бентуорт пользуется влиянием в правительстве; я могу сходить к нему,— услышала она голос Хилари.

А священник из Липпингхолла добавил:

— Я учился с ним в Итоне, я пойду с вами.

— Я еще раз поговорю с Ген насчет кого-нибудь из королевского дома,— пробурчала тетя Уилмет.

— Через две недели начнется сессия парламента,— заикнулся Майкл.

И тут же послышался нетерпеливый возглас Флер:

— Бесполезно, Майкл. И пресса нам тоже не поможет. У меня есть мысль.

«Вот оно!»— подумала Динни и пододвинулась поближе.

— Мы еще не докопались до самой сути дела. Что за всем этим кроется? Какое дело боливийскому правительству до простого индейца? Дело совсем не в том, что его застрелили, но это оскорбляет национальный престиж. Иностранцы безнаказанно бьют и убивают их граждан! Нам надо добиться, чтобы боливийский посланник объяснил Уолтеру, что им, в сущности, все это безразлично.

— Но мы же не можем похитить посланника,— пробормотал Майкл,— в порядочных домах это не принято.

Тень улыбки мелькнула на губах Динни: она вовсе не была в этом уверена.

— Посмотрим,— продолжала Флер словно про себя.— Динни, поедете к нам. Больше они тут ничего не придумают.— Она окинула взглядом совет десяти старейшин.— Я схожу к дяде Лайонелу и Элисон. Его только что назначили судьей, он не осмелится и пальцем шевельнуть, но тетя за это возьмется, а она бывает во всех посольствах. Вы поедете к нам, Динни?

— Мне не хочется оставлять маму и папу.

— Они побудут в городе, Эм их только что пригласила. Ну что ж, если вы останетесь с ними, заходите к нам почаще; вы можете понадобиться.

Динни с облегчением кивнула; хорошо, что она будет в городе, уж очень тяжело сидеть в эти дни в Кондафорде.

— Мы идем,— сказала Флер,— и я сразу же позвоню Элисон.

Майкл сжал руку Динни.

— Держись, Динни! Мы его как-нибудь вызволим. Эх, если бы не Уолтер! Хуже никого не придумаешь. Надо совсем рехнуться, чтобы возомнить себя ходячей законностью!

Когда все, кроме родителей, разошлись, Динни подошла к отцу. Он все стоял перед картиной, правда, теперь — перед другой. Взяв его под руку, Динни сказала:

— Папочка, милый, все уладится. Ты же видел, судья был искренне огорчен. Он не мог поступить иначе, но министр внутренних дел может.

— Я думал о том, что случилось бы с нашим народом, если бы мы не надрывались и не рисковали жизнью ради него,— произнес генерал. Он говорил без всякой горечи и даже спокойно.— Я думал о том, зачем нам и дальше тянуть ляпку, если нам не верят. Допустим даже, что этот судья, по-своему, человек порядочный,— но где он был бы сейчас, если бы такие мальчики, как Хьюберт, не пошли на фронт добровольцами! Я думал о том, зачем мы выбрали себе такую профессию,— я на волоске от нищеты. Хьюберту приходится расхлебывать эту кашу, а ведь мы могли бы жить припеваючи, стоило нам пойти по коммерческой или по судебной части. Неужели из-за такой мелочи вся наша жизнь пойдет насмарку? В нашем лице оскорбили армию, Динни.

Она видела, как судорожно сжимаются его худые загорелые руки, сложенные за спиной, будто он стоял в положении «вольно», и нежность к нему переполняла ее сердце, хотя умом она и понимала, как нелепо требовать особых привилегий перед лицом закона. «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет». Разве не так гласил один из священных текстов, которые она недавно предлагала использовать для секретного морского кода?

— Ладно,— сказал генерал,— мне надо идти с Лоренсом. Поухаживай за матерью, Динни: у нее болит голова.

Динни задернула занавески в спальне матери, дала ей лекарство и велела поскорее заснуть, а потом снова спустилась вниз. Клер ушла, и гостиная, где еще так недавно было столько людей, опустела. Пройдя в комнату, она подняла крышку рояля и вдруг услышала голос:

— Нет, Полли, ступай спать, мне очень грустно.

В нише, в дальнем конце гостиной, Динни увидела тетю, которая сажала в клетку попугая.

— Давай погрустим вдвоем, тетя Эм.

Леди Монт обернулась.

— Прижмись к моей щеке, Динни.

Динни повиновалась. Щека была розовая, пухлая и мягкая; Динни стало как-то легче.

— Я заранее знала, что он скажет,— заявила леди Монт,— у него такой длинный нос. Через десять лет он дойдет ему до подбородка. Не знаю, почему это разрешают. От такого человека ничего хорошего не дождешься. Давай поплачем, Динни. Ты садись туда, а я сяду сюда.

— А ты плачешь громко или тихо?

— И так и этак. Начинай. Вот тебе и мужчина, не смеет взять на себя ответственности! А я бы взяла ее запросто. Ну, что ему стоило сказать Хьюберту: «Ступай и больше не греши».

— Но Хьюберт и не грешил.

— Тем хуже. Обращать внимание на каких-то иностранцев! На днях я сидела в Липпингхолле у окна, а на террасе прыгали три скворца, и я два раза чихнула. Думаешь, они обратили на меня внимание? А где она, эта Боливия?

— В Южной Америке.

— Никогда не могла выучить географию. Хуже моих карт не было во всей школе. Раз меня спросили, где Ливингстон поцеловал Стенли, и я сказала: «У Ниагарского водопада». А оказывается, совсем не там.

— Ты ошиблась всего на один континент, тетя.

— Да. В жизни не видела, чтобы так смеялись, как смеялась моя учительница, когда я это сказала. Даже слишком... она была такая толстая. А Хьюберт, по-моему, похудел.

— Он всегда был худой, но с тех пор, как женился, выглядит не таким замученным.

— Джин пополнела, и это естественно. Тебе бы тоже следовало, Динни.

— Прежде ты никогда не занималась сватовством так рьяно.

— А что произошло тогда на тигре?

— Вот и не скажу.

— Значит, случилось что-то нехорошее.

— Ты хочешь сказать — хорошее?

— Ты надо мной смеешься.

— Разве я бываю когда-нибудь непочтительной, тетя?

— Да. Ты думаешь, я не помню, как ты написала про меня стихи:

Я обижаю на тетю Эм
За то, что она рассказала всем,
Что я не умею шить совсем,
А я шью лучше, чем тетя Эм.

Они у меня даже где-то есть. Я сразу поняла, что ты девочка с характером.

— Неужели я была таким бесенком?

— Да. Ты не знаешь какого-нибудь способа укорачивать собак?— Она ткнула пальцем в золотистую гончую, растянувшуюся на ковре.— У Бонзо все-таки слишком длинное туловище.

— Я тебя предупреждала, тетя, когда он был еще щенком.

— Да, но я этого не замечала, пока он не стал гоняться за кроликами. Никак не может толком перепрыгнуть через нору. И вид у него тогда такой жалкий. Ну что ж! Если мы не плачем, Динни, что же нам делать?

— Смеяться,— пробормотала Динни.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Динни поужинала вдвоем с тетей,— отец и сэр Лоренс еще не вернулись, мать так и не встала с постели, Клер была в гостях.

— Тетя Эм,— сказала она после ужина,— ничего, если я сейчас поеду к Майклу? В голове у Флер родилось, по-моему, что-то интересное...

— Да ну?— сказала леди Монт.— Ей еще рано... она родит только в марте.

— Ты меня не поняла. У нее родилась интересная мысль, а не ребенок.

— Отчего же она сразу не сказала?— И леди Монт позвонила.— Блор, такси для мисс Динни. И еще, Блор, когда придет сэр Лоренс, дайте мне знать; я приму ванну и вымою голову.

— Да, миледи.

— А ты, Динни, моешь голову, когда тебе грустно?

В этот мгlistый, туманный вечер Динни охватила такая тоска, какой она еще никогда не испытывала. Ее неотвязно преследовала мысль о Хьюберте,— он в тюрьме, разлучен с молодой женой, может быть, навеки, и всего через три недели после свадьбы, а что его ждет впереди — даже страшно подумать. И все — по вине слишком осторожных людей, которые подходят к делу формально и боятся поверить ему на слово! Страх сдавил Динни грудь, как духота перед грозой.

Она застала у Флер тетю Элисон,— дамы обсуждали, что делать. Оказалось, боливийский посланник уехал отдыхать после болезни, и во главе посольства остался один из его подчиненных. По мнению леди Элисон, это усложняло дело,— вряд ли тот захочет взять на себя какую-нибудь ответственность. Тем не менее она решила устроить для него званый обед, пригласить Флер и Майкла, а если Динни захочет, то и ее. Но Динни покачала головой,— она разуверилась в своей способности обольщать государственных мужей.

— Если уж вы с Флер с ним не справитесь, тетя Элисон, у меня наверняка ничего не выйдет. Но вот Джин, когда хочет, может быть на редкость обаятельна.

— Джин только что звонила. Она просила передать тебе, если ты заглянешь ко мне сегодня вечером, чтобы ты зашла к ней домой.

Динни поднялась.

— Я пойду к ней сейчас же.

Она зашагала сквозь туман по набережной и свернула в рабочий квартал, где Джин снимала квартиру. На углу газетчики выкрикивали самые устрашающие новости дня; она купила газету, чтобы посмотреть, нет ли там сообщения о деле Хьюберта, и развернула ее под фонарем. Да! Вот оно! «Приговор английскому офицеру. Высылка за границу по обвинению в убийстве!» Если бы эта заметка не касалась ее так близко, Динни вряд ли вообще обратила бы на нее внимание. Ей и ее близким это причиняло такие страдания, а толпу только тешило. Чужие несчастья ее забавляют, а газеты строят на этом свое благополучие! Газетчик был худой, грязный, хромой; и, как ни горька была ее чаша, ей захотелось порадовать его,— она вернула ему газету и сунула шиллинг в придачу. Он уставился на нее, разинув рот: небось выиграла на скачках, а?

Динни поднялась по лестнице. Квартира находилась на третьем этаже. У самой двери большая черная кошка пыталась поймать собственный хвост. Покружившись, она уселась, подняла заднюю лапу и стала ее вылизывать.

Дверь открыла сама Джин. Она явно собиралась в дорогу, на руке у нее висели трусики. Динни поцеловала ее и огляделась,— она пришла сюда впервые. Двери маленькой гостиной, спальни, кухни и ванной были

открыты настежь, стены оштукатурены и выкрашены в светло-зеленый цвет, полы покрыты темно-зеленым линолеумом. Вся обстановка состояла из двупальной кровати и нескольких чемоданов в спальне, двух кресел и небольшого стола в гостиной, кухонного стола на кухне и стеклянной банки с ароматическими кристаллами в ванной; в квартире не было ни ковров, ни картин, ни книг, только на окнах висели набивные полотняные занавески да целую стену в спальне занимал висячий шкаф, из которого Джин вынимала одежду и клала на кровать. В отличие от запаха на лестнице здесь пахло кофе и лавандой.

Джин отложила трусики.

— Хочешь кофе, Динни? Только что сварила.

Она налила две чашки, положила сахар и протянула одну из них Динни вместе с пачкой сигарет, потом усадила ее в кресло, а сама устроилась в другом.

— Значит, тебе передали, что я звонила? Я рада, что ты пришла, теперь мне не придется отправлять тебе посылку. Терпеть этого не могу, а ты?

Ее хладнокровие и невозмутимость совершенно потрясли Динни.

— Ты уже видела Хьюберта?

— Да. Ему там совсем неплохо. Он говорит, что камера удобная, ему дали книги и писчую бумагу. Еду он может получать с воли, вот только курить запрещают. Об этом надо похлопотать. По английским законам, Хьюберт пока такой же ни в чем не повинный человек, как и министр внутренних дел, а ведь министру не запрещают курить. Я его больше не увижу, Динни, но ты к нему, верно, зайдешь, — передай ему, как я его люблю, и возьми папирос на случай, если ему позволят курить.

Динни глядела на нее с недоумением.

— А ты что собираешься делать?

— Вот об этом-то я и хотела с тобой поговорить. Строго между нами. Обещай, что будешь молчать как рыба, а то я ничего не скажу.

— Лопни мои глаза, — кажется, так говорят, — решительно сказала Динни.

— Завтра я еду в Брюссель. Алан уехал туда сегодня; ему продлили отпуск по неотложным семейным обстоятельствам. Мы просто хотим быть готовыми ко всему, понимаешь? Я быстренько научусь водить самолет. Если я буду летать три раза в день, трех недель мне совершенно достаточно, а адвокат обещает, что у нас не меньше трех недель в запасе. Разумеется, он ничего не знает. И никто не должен ничего знать, кроме тебя. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала. — Она нагнулась и вынула из сумочки сверток в папиросной бумаге. — Мне нужно пятьсот фунтов. Говорят, что там можно купить хороший подержанный самолет по дешевке, но нам очень понадобятся деньги вообще. Вот смотри, Динни: это старинная фамильная драгоценность. Она дорогая. Я хочу, чтобы ты заложила ее за пятьсот фунтов; если не удастся получить эту сумму, придется ее продать. Заложить или продать от своего имени, обменяв английские деньги на бельгийские и перешли мне заказным письмом на главный почтамт в Брюссель. На все это тебе достаточно трех дней.

Она развернула бумагу и вынула старомодный, но очень красивый изумрудный кулон.

— Ах!

— Да, — сказала Джин, — вещь красивая. Можешь поторговаться. Пятьсот кто-нибудь даст наверняка. Изумруды сейчас в цене.

— Но почему бы тебе самой не заложить их перед отъездом?

Джин покачала головой.

— Нет, я не сделаю ничего, что может вызвать подозрение. Ты — другое дело, ведь ты не собираешься нарушать закон. А нам, может быть, придется, но мы не хотим, чтобы нас посадили.

— Знаешь, — сказала Динни, — рассказывай уж до конца.

Но Джин снова покачала головой.

— Незачем, да и невозможно; мы пока еще и сами толком ничего не знаем. Но могу тебя успокоить — Хьюберта они не получают. Значит, ты возьмешь эту штуку?

И она завернула кулон.

Динни взяла пакетик; у нее не было с собой сумочки, и она сунула его себе в вырез платья.

— Обещай, что вы ничего не сделаете, пока не будут испробованы все обычные средства, — взволнованно сказала она, наклонившись к Джин.

Джин кивнула.

— Мы будем ждать до последней минуты. Да иначе и нельзя.

Динни схватила ее за руку.

— Мне не следовало втягивать тебя в эту историю, Джин; ведь это я вас свела.

— Я бы тебе не простила, если бы ты нас не свела. Я его люблю.

— Но все это для тебя так ужасно.

Джин поглядела вдаль, и Динни сразу увидела, как из-за угла выходит ее «тигренок».

— Ничуть! Мне нравится, что это я должна его выручить. Мне еще никогда так интересно не жилось.

— Скажи, Алану это грозит чем-нибудь серьезным?

— Нет, если продумать все как следует. У нас несколько планов, — все зависит от обстоятельств.

Динни вздохнула.

— Надеюсь, ни один из них не понадобится.

— Я тоже; но нельзя рисковать, когда имеешь дело с таким «законником», как Уолтер.

— Ну, до свиданья, Джин. Желаю удачи!

Они поцеловались, и Динни вышла на улицу; изумрудный кулон, казалось, жжет ей грудь. Моросил дождь; она взяла такси. Отец и сэр Лоренс только что вернулись. Ничего существенного они не узнали. Как выяснилось, Хьюберт не хотел, чтобы его взяли на поруки. «Тут не обошлось без Джин», — подумала Динни. Министр внутренних дел уехал в Шотландию и вернется не раньше парламентской сессии, которая откроется недели через две. Следовательно, и ордер на высылку не может быть подписан раньше. По мнению людей знающих, у них в запасе еще три недели, — вот за это время и надо сдвинуть горы. Да, но горы сдвинуть легче, чем добиться, чтобы «одна черта из закона пропала». Однако не зря ведь люди говорят о «протекции», о «закулисных интригах», о том, как им удалось «протолкнуть вопрос» и «уладить дельце по зна-

комству»; неужели все это — выдумки? А может быть, есть какие-то магические средства, о которых они не знают?

Отец поцеловал ее и, удрученный, пошел к себе. Динни осталась одна с сэром Лоренсом. Даже он был мрачен как туча.

— Веселая мы с тобой пара, нечего сказать, — заметил он. — Мне иногда кажется, что слишком у нас уважают закон. А ведь на самом деле это очень грубый инструмент — он с такой же точностью определяет наказание за вину, с какой врач назначает лечение больному, которого видит в первый раз; а мы по каким-то таинственным причинам приписываем закону непогрешимость духа святого и прислушиваемся к нему как к гласу, вещающему с небес. Ведь в этом деле министр внутренних дел как раз и мог бы позволить себе отойти от буквы закона и быть человеком. Но не думаю, чтобы он на это пошел. И Бобби Феррар тоже не думает. Дело в том, что недавно какой-то идиот сдуру сказал, будто Уолтер — «сама принципиальность», и такая откровенная лесть вызвала у нашего министра, по словам Бобби, не тошноту, а головокружение — с тех пор он не отменил ни единого приговора. Я подумываю, не написать ли мне письмо в «Таймс»: «Позиция твердокаменной принципиальности, занимаемая ответственными лицами, опаснее для дела справедливости, чем методы чикагских гангстеров». Про гангстеров он поймет, — он, кажется, бывал в Чикаго. Ужасно, когда человек перестает быть человеком.

— Он женат?

— Теперь даже не женат.

— А правда, что есть люди, которые никогда и не были людьми?

— Это еще не самое страшное; тут по крайней мере знаешь, с кем имеешь дело, и можешь вооружиться кочергой. Куда опаснее болваны, у которых голова распухла от самомнения. Кстати, я сказал моему молодому человеку, что ты будешь ему позировать для миниатюры.

— Что ты, дядя, разве я могу позировать в таком настроении.

— Нет! Конечно, нет! Но ведь долго так продолжаться не может. — Сэр Лоренс посмотрел на нее испытующе и спросил: — Кстати, а что Джин?

Динни взглянула на него широко раскрытыми невинными глазами.

— А что Джин?

— Ей ведь пальца в рот не клади...

— Да, но что она, бедняжка, может сделать?

— Не знаю, — сказал сэр Лоренс, вскинув бровь, — просто не знаю. «Эти миленькие крошки, вот как! Им бы крылышки, ну просто ангелочки, вот как!» Так писали в «Панче», когда тебя ещё на свете не было, и будут писать, когда тебя не станет, вот только крылышки у вас отрастают уж очень быстро.

Динни и глазом не моргнула. «Дядя Лоренс — страшный человек», — подумала она и пошла спать.

Но разве заснешь, когда на душе так тревожно? И разве мало людей лежат сегодня ночью без сна? Казалось, в этой комнате скопилась безотчетная скорбь всего мира. Если бы у нее был талант, она бы села и излила душу в стихах об ангеле смерти. Увы, писать стихи не так просто. Лежи и мучайся, мучайся и злись — вот и все, на что ты способна.

Она вспоминала себя в тринадцать лет, когда Хьюберт — ему не было еще и восемнадцати — ушел на войну. Это было ужасно, но сейчас куда хуже — почему? Тогда его могли убить каждую минуту; в тюрьме он в большей безопасности, чем те, кто на свободе. Его будут тщательно оберегать даже тогда, когда пошлют на край света, чтобы судьи с чужою кровью судили его в чужой стране. Да, еще несколько месяцев с ним ничего не случится. Почему же то, что произошло с ним сейчас, в ее глазах куда хуже, чем все опасности солдатской жизни или долгой, трудной экспедиции Халлорсена? Почему? Не потому ли, что на все прежние опасности и лишения он шел по доброй воле, а это испытание ему навязано силой? Его держат под замком, его лишили двух величайших благ человеческого существования — независимости и свободы личности, — двух благ, которых люди добивались тысячелетиями. Блага эти дороги каждому, но особенно таким, как они с братом, с детства не знавшим никакого насилия и признававшим только один закон — закон своей совести. Ей казалось, что она тоже заперта в тесной камере, тоже ждет неизвестной участи, тоже томится, полная горечи и отчаяния. Что сделал он такого, чего не совершил бы на его месте всякий другой отзывчивый и горячий человек?

Глухой шум улицы, доносившийся к ней с Парк-лейн, словно вторил ее тоскливым мыслям. Динни охватило такое беспокойство, что она не могла больше лежать в постели и, накинув халат, принялась бесшумно шагать из угла в угол; в открытое окно дул холодный октябрьский ветер, и она замерзла. А может, в браке все-таки есть какой-то смысл: чье-то плечо, к которому можно прижаться, а если станет невольно, то на нем и поплакать; ухо, в которое можно излить жалобы; руки, которые могут погладить тебя по голове. Но сознание своей бездеятельности мучило ее в этот час испытания даже больше, чем одиночество. Она завидовала тем, кто, как отец или сэр Лоренс, могут хотя бы ездить из одного места в другое и хлопотать; но особенно она завидовала Джин и Алану. Что бы они там ни делали, — все лучше, чем сидеть сложа руки, как она! Динни вынула изумрудный кулон и стала его разглядывать. По крайней мере на завтра у нее есть дело, и она живо представила себе, как, держа в руке кулон, вынимает крупную сумму у какого-нибудь бессовестного старика, дающего деньги под заклад.

Положив кулон под подушку, словно его близость придавала ей мужества, она наконец заснула.

Наутро Динни встала рано. Ей подумалось, что, может быть, она успеет заложить кулон, получить деньги и отвезти их Джин прежде, чем та уедет. Она решила посоветоваться с Блором. В конце концов она знает его с пятилетнего возраста; он сам по себе — ходячая традиция и ни разу не выдал ее злодеяний, в которых она признавалась ему в детстве.

Динни обратилась к нему, как только он появился, неся кофейник тети.

— Блор!

— Да, мисс Динни.

— Будьте так добры, скажите мне по секрету, какой ломбард считается в Лондоне самым лучшим?

Дворецкий был удивлен, но, как всегда, невозмутим — в конце концов в наши дни кому угодно может понадобиться что-нибудь заложить,— он поставил на стол кофейник и задумался.

— Видите ли, мисс Динни, есть, конечно, и Аттенборо, но я слышал, что люди из общества обращаются к Фрюину на Саус-Молтон-стрит. Могу найти номер дома в телефонной книжке. Говорят, это надежный человек и цену дает справедливую.

— Отлично, Блор. Все это, конечно, пустяки...

— Понимаю, мисс.

— Да! Скажите, Блор, вы бы... как вы думаете, назвать мне свое настоящее имя?

— Нет, мисс Динни, я бы вам не советовал; назовите фамилию моей жены и здешний адрес. Если от них придет письмо, я вам позвоню, и никто ничего не узнает.

— Вы меня очень выручите. А миссис Блор не будет возражать?

— Что вы, мисс, она будет только рада вам услужить. Если хотите, я все сделаю без вас.

— Спасибо, Блор, к сожалению, я должна заняться этим сама.

Дворецкий потер подбородок, глядя на Динни с благодушной хитрецей.

— Позвольте заметить, мисс, даже с лучшими из них немного притворства не помешает; сделайте безразличный вид. Если он не даст настоящей цену, найдутся и другие.

— Огромное спасибо, Блор; я вам скажу, если у меня ничего не выйдет. Половина десятого — это не слишком рано?

— Я слышал, мисс, это самое подходящее время,— со сна они покладистее.

— Вы просто золото, Блор!

— Говорят, он парень с головой,— угадает настоящую даму с первого взгляда. Не примет вас за одну из этих финтифлюшек.

Динни приложила палец к губам.

— Только честное благородное, Блор?

— Не сомневайтесь, мисс. После мистера Майкла вы всегда были моей любимцей.

— А вы — моим любимцем, Блор.

Тут вошел ее отец, она раскрыла «Таймс», а Блор удалился.

— Хорошо спал, папа?

Генерал кивнул.

— Как мамина голова?

— Лучше. Она сейчас сойдет вниз. Мы решили, что нельзя распускаться.

— Конечно, дорогой, ты совершенно прав. Может, нам позавтракать, не ожидая остальных?

— Эм завтракает у себя, а Лоренс уже позавтракал в восемь. Завари кофе.

Динни, разделявшая страсть тети к хорошему кофе, принялась священнодействовать.

— Как Джин?— спросил вдруг генерал.— Она к нам не приедет?

Динни не подняла глаз.

— Не думаю, папа; у нее сейчас слишком беспокойно на душе; наверно, ей захочется побыть одной. Мне бы хотелось на ее месте.

— Еще бы. Бедняжка. Во всяком случае, она не размазня. Я рад, что Хьюберт женился на девушке с характером. Эти Тасборо — славные люди. Помню одного ее дядю в Индии — бесстрашный был человек, командовал полком гурков, они готовы были за ним в огонь и в воду. Дай-ка вспомнить, где это его убили?..

Динни только ниже склонилась над кофейником.

Около половины десятого она вышла на улицу, положив кулон в сумочку и надев свою лучшую шляпку. Ровно в половине десятого она была на Саус-Молтон-стрит и поднималась на второй этаж, — ломбард помещался над каким-то магазином. В просторной комнате, за столом красного дерева, сидели два джентльмена, которых она приняла бы за солидных букмекеров, если бы знала, как выглядят букмекеры. Она с тревогой вглядывалась в их лица: правда ли, что со сна они покладистые? Вид у них, во всяком случае, был такой, будто они и в самом деле только что встали; один из них шагнул ей навстречу.

Динни мысленно провела языком по пересохшим губам.

— Говорят, вы так любезны, что даете деньги в долг под залог драгоценностей?

— Совершенно верно, мадам.

Это был седой, лысоватый и румяный человек со светлыми глазами; он разглядывал ее через пенсне, которое держал в руке. Потом он надел пенсне на нос, пододвинул стул, указал на него рукой и сел на свое место. Динни присела.

— Но мне нужна целая куча денег: пятьсот фунтов, — она улыбнулась. — У меня фамильная драгоценность, очень милая вещь.

Оба джентльмена слегка поклонились.

— Деньги мне нужны немедленно: я должна заплатить по счету. Вот!

Она вынула из сумочки сверток, развернула его и пододвинула к ним кулон через стол. Потом, вспомнив, что нужно принять безразличный вид, откинулась на стуле и положила ногу на ногу.

С минуту оба джентльмена разглядывали кулон, не шевелясь и не произнося ни слова. Потом второй из них выдвинул ящик стола и достал лупу. Пока он рассматривал кулон, Динни заметила, что первый джентльмен рассматривает ее самое. Такое уж у них разделение труда, решила она. Не обнаружат ли они там или тут подделки? У нее даже дух захватило, но она стойко продолжала сидеть, чуть вздернув брови и полуприкрыв глаза ресницами.

— Это ваша собственность, мадам? — спросил первый джентльмен.

— Да, — решительно сказала Динни, снова вспомнив старую школьную поговорку.

Второй джентльмен опустил лупу и прикинул вес кулона в руке.

— Очень мило, — сказал он. — Старомодно, но очень мило. И на какой срок вам нужны деньги?

— Динни и не думала о сроке, но теперь храбро сказала:

— На шесть месяцев; но, я надеюсь, кулон можно выкупить и раньше?

— Ну конечно. Вы сказали — пятьсот?

— Да, пожалуйста.

— Если вы согласны, мистер Бонди,— сказал второй джентльмен,— у меня нет возражений.

Динни подняла глаза на мистера Бонди. Неужели он сейчас скажет: «Нет, ведь она наврала»? Но вместо этого он прикрыл нижней губой верхнюю, поклонился ей и произнёс:

— Согласен.

«Интересно,— подумала она,— верят они всему, что им говорят или не верят ничему? Хотя не все ли им равно — кулон-то остается у них, и верить должна я... вернее, Джин».

Второй джентльмен смахнул кулон со стола в ящик, и, вынув конторскую книгу, стал что-то писать. Мистер Бонди направился к сейфу.

— Вы хотите наличными, мадам?

— Пожалуйста.

Второй джентльмен, с усами, в белых гетрах,— глаза у него были чуть навыкате — протянул Динни книгу.

— Вашу фамилию и адрес, мадам.

Когда она писала — «миссис Блор» и адрес тети на Маунт-стрит,— она мысленно закричала «караул!» и судорожно сжала левую руку — ведь она совсем забыла, что на ней нет обручального кольца. Как на грех перчатка отлично облегла руку, и на безымянном пальце не было никакой выпуклости.

— При выкупе этой вещи вы нам заплатите двадцать восьмого апреля будущего года пятьсот пятьдесят фунтов. После этой даты, если вы не дадите о себе знать, кулон поступит в продажу.

— Да, конечно. Но если я выкуплю его раньше?

— Тогда вы заплатите соответственно меньше. Мы берем двадцать процентов годовых, так что, скажем, через месяц, считая с сегодняшнего дня, мы возьмем только пятьсот восемь фунтов шесть шиллингов восемь пенсов.

— Понимаю.

Первый джентльмен оторвал листок бумаги и дал его Динни.

— Вот квитанция.

— А если я не смогу прийти сама,— с этой квитанцией кулон может выкупить кто угодно?

— Да, мадам.

Динни положила квитанцию в сумочку,— сунув туда как можно глубже левую руку,— и стала слушать, как мистер Бонди отсчитывает банкноты. Он считал артистически; бумажки приятно хрустели и были совсем новенькие. Она взяла их правой рукой, положила в сумочку и, все еще пряча левую руку, поднялась со стула.

— Большое спасибо.

— Не за что, мадам; это мы вам обязаны. Всегда к вашим услугам. До свидания!

Динни поклонилась и медленно пошла к выходу. У самой двери она взглянула из-под ресниц и отчетливо увидела, как первый джентльмен подмигнул второму.

Захлопнув сумочку, она в раздумье стала спускаться по лестнице.

«Любопытно, что они обо мне подумали: наверно, что я жду незаконного ребенка или просто проигралась на скачках?» Так или иначе, деньги она получила, а времени было всего без четверти десять. У Кука¹ их обменяют или по крайней мере скажут, где достать бельгийскую валюту.

Но потребовалось съездить в несколько мест, и ушел целый час, прежде чем Динни обменяла большую часть денег на бельгийские франки и, запыхавшись, прибежала на перрон вокзала Виктория. Она медленно двинулась вдоль поезда, заглядывая в каждый вагон, и прошла уже две трети состава, когда услышала за спиной знакомый голос:

— Динни!

Оглянувшись, она увидела Джин в дверях одного из купе.

— Ах, вот ты где! Я очень торопилась. У меня, наверно, ужасно встрепанный вид?

— У тебя встрепанного вида никогда не бывает.

— Ну, я все сделала! А вот тебе и добыча: пятьсот фунтов, почти все в бельгийских франках.

— Прекрасно.

— И квитанция. Каждый может по ней получить. Они берут двадцать процентов годовых, считая с сегодняшнего дня, но если ты до двадцать восьмого апреля его не выкупишь, кулон продадут.

— Оставь квитанцию себе, Динни.— Джин понизила голос.— Если нам придется действовать, нас здесь не будет. Есть несколько стран, которые не имеют дипломатических отношений с Боливией.— там мы и подождем, пока все как-нибудь уладится.

— А-а,— беспомощно сказала Динни.— Тогда бы я выторговала побольше. Они в него прямо вцепились.

— Ничего! Мне пора. Главный почтамт, Брюссель. До свиданья! Передай Хьюберту, что я его люблю и что все идет нормально.

Она обняла Динни, чмокнула ее и вскочила в поезд. Поезд тотчас же тронулся, а Динни все стояла и махала, глядя на обращенное к ней смеющееся смуглое лицо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

После такого деятельного и успешного начала дня время тянулось особенно долго: ведь теперь ей больше нечего было делать.

Отсутствие министра внутренних дел и боливийского посланника тормозило все хлопоты, даже если бы она и могла принять в них участие, что было весьма сомнительно. Оставалось только ждать и терзаться от беспокойства. До обеда Динни бродила по улицам, разглядывая витрины и людей, которые разглядывали витрины. Потом она зашла в кафе, съела яйцо с гренками и отправилась в кино со смутной надеждой, что безумные планы Джин и Алана покажутся ей более осуществимыми, если она увидит что-нибудь подобное на экране. Ей не повезло. В фильме, который она смотрела, не было ни самолетов, ни прерий, ни сыщиков, ни бегства из когтей закона; это был незамысловатый рассказ

¹ Туристская фирма.

о каком-то французе не первой молодости, который целый час плутал по чужим спальням без пагубных последствий для чьей бы то ни было добродетели. И все-таки Динни получила удовольствие: герой был милый и, пожалуй, самый законченный враль, каких ей доводилось видеть.

У Динни стало теплее и легче на сердце, и она снова двинулась на Маунт-стрит.

Там она обнаружила, что отец и мать уехали послеобеденным поездом в Кондафорд, и это ее смутило. Вернуться ей домой и «выполнять дочерний долг»? Или «остаться на посту», на случай, если она понадобится здесь?

Динни в нерешительности пошла в свою комнату и нехотя стала укладываться. Она выдвинула ящик комода, и ей попался на глаза дневник Хьюберта, с которым она все еще не расставалась. Рассеянно перелистывая рукопись, она набрела на запись, где ничего не говорилось о пережитых тяготах и которой она поэтому не помнила:

«Я только что прочел в книге: «Конечно, наше поколение не проведешь: оно знает, как тщетны наши усилия, имеет мужество не закрывать на это глаза и говорить себе — остается только ловить миг наслаждения». Это сказано о моем поколении, о поколении, которое пережило войну и ее последствия; я знаю, многие так рассуждают. Но, если вдуматься, так рассуждать мог любой человек во все времена, и уж во всяком случае то поколение, которое испытало удар, нанесенный Дарвином религии. А к чему сводятся такие рассуждения? Допустим, вы разуверились в религии, браке, договорах между державами, честности в коммерческих делах, свободе и всяческих идеалах; поняли, насколько все это относительно и не сулит награды ни на этом свете, ни на том, — впрочем, тот, может, и вовсе не существует; допустим, вы пришли к выводу, что единственная нерушимая ценность — наслаждение, и решили, что будете жить только ради него, — разве вы этим приблизились к своей цели? Нет! Наоборот, отдалились от нее. Если каждый открыто провозгласит своим символом веры погоню за наслаждением, все станут за ним гнаться, расталкивая друг друга и работая локтями, — и горе неудачнику. А ими окажутся почти все, и в первую очередь те дармоеды, которым такой символ веры больше всего по душе, так что они-то уж безусловно не смогут насладиться жизнью. Ведь те идеалы, которые все эти люди ни в грош не ставят, — только правила уличного движения, выработанные веками для того, чтобы не мешать друг другу и чтобы на свете получше жилось не только наглецам, хапугам, бандитам и ловкачам. Все наши устои — религия, брак, договоры между державами, закон и прочее — это всего лишь проявления заботы о том, чтобы люди не обижали друг друга, а следовательно, чтобы не обидели тебя самого. Без всего этого мы превратились бы в общество гангстеров и проституток, которым правит кучка сверхгангстеров. Нельзя поэтому относиться с неуважением к другим, если не хочешь быть идиотом и портить жизнь самому себе. Забавнее всего то, что, как бы мы ни рассуждали, мы все это отлично понимаем. Люди, которые болтают, как этот человек в книге, на практике ведут себя совсем иначе. Даже гангстер не выдает своих сообщников. Фактически эта новая философия — иметь мужество признать тщет-

ность всех усилий и ловить миг наслаждения — не более как пустозвонство; а все-таки в книге это выглядело довольно убедительно».

Динни как ужаленная выронила листок и замерла; она даже в лице изменилась. Дело было не в том, что она прочла, — она едва ли понимала, что читает. Нет, ее вдруг осенила одна мысль, — удивительно, как она не пришла ей в голову раньше. Динни побежала вниз к телефону и позвонила Флер.

— Слушаю, — ответила Флер.

— Флер, мне нужен Майкл; он дома?

— Да. Майкл, это Динни.

— Майкл? Ты бы мог сейчас же зайти к нам? Насчет дневника Хьюберта. Мне пришла в голову одна мысль, но я бы не хотела говорить об этом по телефону. А может, мне прибежать к вам?.. Ты сам придешь? Хорошо. Если Флер хочет, пусть придет тоже, если нет, — захвати с собой ее здравый смысл.

Майкл пришел один — через десять минут. Волнение Динни, кажется, передалось и ему, и энергия была в нем ключом. Динни увлекла его в нишу гостиной, и они уселись на диван под клеткой попугая.

— Майкл, дорогой, мне вдруг пришла в голову одна мысль: что, если бы нам удалось напечатать дневник Хьюберта? Он не очень большой, и можно дать ему хороший заголовок, например: «Тот, кого предали» или что-нибудь в этом роде...

— «Всеми покинутый», — сказал Майкл.

— Да, «Всеми покинутый»; если показать министру внутренних дел книгу, которая вот-вот выйдет с боевым предисловием, — может, он не станет подписывать ордер. С таким заголовком, предисловием и с поддержкой в печати книга произведет настоящую сенсацию, и очень для министра неприятную. В предисловии можно написать порезче о том, как бросили на произвол судьбы соотечественника, как проявили малодушие и раболепство перед иностранцами и так далее. Пресса на это, безусловно, клюнет.

Майкл взъерошил волосы.

— Это действительно мысль; но тут возникает ряд вопросов. Во-первых, как сделать так, чтобы все это не пахло шантажом. Если мы не сможем этого избежать, вся затея рухнет. Стоит Уолтеру почуять шантаж — он ни за что не уступит.

— Но ведь наша задача — внушить ему, что, если он подпишет ордер, ему придется об этом пожалеть.

— Детка, — сказал Майкл, пуская дым в попугая, — все это надо сделать куда тоньше. Ты не знаешь наших государственных мужей. Они не любят действовать по подказке и делают только то, что им выгодно, под видом самых высоких побуждений. Заставляя Уолтера руководствоваться побуждениями низменными, надо внушить ему, что они — высокие. Без этого ничего не выйдет.

— А разве ему будет мало, если он на словах заявит, что они высокие? Неужели надо, чтобы Уолтер и на самом деле так думал?

— Да, надо, хотя бы при дневном свете. То, что он думает в три часа ночи, не имеет значения. Знаешь, он ведь не дурак. — Майкл снова взъе-

рошил волосы.— Пожалуй, единственный человек, который может нам помочь, это все тот же Бобби Феррар. Он знает Уолтера как облупленного.

— А он хороший человек? Он захочет?

— Бобби — сфинкс, но очень порядочный сфинкс. Он все знает. Он словно аккумулятор, собирающий слухи, мимо него ничего не пройдет, а мы сможем держаться в тени.

— Но разве не важнее всего — поскорее послать дневник в типографию, чтобы казалось, будто он вот-вот выйдет в свет?

— Да, но вся загвоздка в предисловии.

— Почему?

— Мы ведь хотим, чтобы Уолтер прочитал книгу и пришел к выводу, что подписать ордер — значит нанести Хьюберту незаслуженный удар,— так оно и есть на самом деле. Другими словами, мы хотим затронуть тайные струны его души. Но я уже слышу, как он себе говорит: «Да, не повезло молодому Черрелу, здорово не повезло; но ведь это решение судьбы, да и боливицы на нас нажимают; к тому же он принадлежит к привилегированному классу, а тут дело тонкое — еще подумают, что мы делаем поблажки аристократам...»

— По-моему, это так несправедливо,— горячо прервала его Динни.— Почему надо жестче подходить к человеку только за то, что он случайно родился не сыном сапожника? Это просто трусость.

— Да, но в этом смысле все мы трусы. Однако предоставим слово Уолтеру, которого ты прервала. «Нельзя делать поблажки,— продолжает он.— К тому же малые страны требуют к себе особого уважения».

— Но почему?— снова прервала его Динни.— Мне кажется...

— Знаю, Динни, знаю,— остановил ее жестом Майкл.— Но это как раз тот психологический момент, когда откуда ни возьмись появляется Бобби и говорит: «Между прочим, тут еще будет предисловие. Мне его показали. Там проводится мысль, что Англия любит проявлять великодушие за счет своих собственных подданных. Довольно-таки едко сказано, сэр. Пресса за это ухватится. Старая песенка — «Мы не умеем постоять за своих соотечественников» — всегда имеет успех. И знаете,— заметит дальше Бобби,— мне давно казалось, что такой большой человек, как вы, легко мог бы рассеять впечатление, будто мы не умеем постоять за своих. Я не говорю, что это так на самом деле; может быть, это вовсе не так, но такое впечатление существует, и оно прочно укоренилось; вы, сэр, лучше всякого другого могли бы восстановить равновесие. А данный случай — неплохой повод снова завоевать общественное доверие. Да и по существу-то ведь,— скажет далее Бобби,— было бы правильнее не подписывать ордера,— ведь шрам-то, между нами говоря, настоящий, и выстрел действительно был сделан в порядке самозащиты; наконец, и стране будет полезно почувствовать, что на правительство можно положиться: оно не бросает своих на произвол судьбы». На этом Бобби и ретируется. А Уолтеру уже и в голову не придет, что ему просто хочется избежать неприятностей,— он будет верить, что мужественно защищает интересы своей страны... Что и требуется государственным деятелям.— Майкл закатил глаза.— Видишь ли, Уолтер прекрасно сообразит, хоть никогда этого и не признает, что, если ордер не будет под-

писан, предисловие не появится. Больше того, в ночной тиши он будет с собой откровенен; но если при свете дня он себе скажет, что совершает героический поступок, не подписывая ордера, — какое кому дело до того, о чем он думает по ночам. Понятно?

— Ясно как божий день, Майкл. Но разве не нужно, чтобы он прочел предисловие?

— Надеюсь, что нет, но оно должно быть у Бобби под рукой, на случай, если ему понадобится подкрепить свои доводы. Бобби Феррар любит все делать основательно.

— Но захочет ли мистер Феррар этим заниматься?

— Да, — сказал Майкл, — в общем, да. Отец когда-то оказал ему услугу, а старый Шропшир его дядя.

— Кто может написать предисловие?

— Думаю, что уговорю старого Блайза. У нас в партии его все еще побаиваются, и он, когда захочет, умеет писать так, что мороз подирает по коже.

Динни в волнении сжала руки.

— А он захочет?

— Это зависит от дневника.

— Тогда я думаю, что захочет.

— Можно мне его прочитать, прежде чем я отдам его в типографию?

— Конечно! Только имей в виду, Хьюберт не хочет, чтобы дневник был напечатан.

— Ничего. Если дело с Уолтером выгорит и он не подпишет ордера, печатать будет не нужно; а если не выгорит, тоже будет не нужно, — после драки кулаками не машут, как любил говорить старый Форсайт.

— А дорого будет стоить напечатать дневник?

— Пустяки, — фунтов двадцать.

— Это мне по карману, — сказала Динни и подумала о двух джентльменах с Саус-Молтон-стрит, — ведь у нее никогда не было за душой ни гроша.

— Ерунда, не беспокойся!

— Это моя идея, Майкл, и я хочу платить за нее сама. Ты и представить себе не можешь, как это ужасно — сидеть сложа руки, когда Хьюберт в такой опасности! Я уверена, что, если его выдадут, ему несдобровать.

— Никто не может предсказать, как поступит государственный деятель, — сказал Майкл. — Их недооценивают. Они куда сложнее, чем мы думаем, порой даже обладают кое-какими принципами и уж, конечно, гораздо хитрее. Но, пожалуй, дело у нас все-таки выгорит, если мы сумеем как следует взяться за Блайза и Бобби Феррара. Я займусь Блайзом, а на Бобби напущу старика. Тем временем мы напечатаем дневник. — Он взял рукопись. — До свиданья, дорогая, и поменьше волнуйся.

Динни поцеловала его, и он ушел.

Он позвонил в тот же вечер около десяти.

— Динни, я прочел. Если это не тронет Уолтера, значит, он сухарь, каких мало. Ручаюсь, он не заснет над этим, как тот тип; что бы ни говорили об Уолтере, он парень добросовестный. В конце концов речь идет

о чем-то вроде помилования, и он поймет, как все это серьезно. Если дневник попадет ему в руки, он уж дочитает его до конца; дневник пройдет, а заодно он узнает, как все происходило на самом деле. Словом, держись!

— Слава богу! — от всей души сказала Динни и пошла спать; впервые за два дня у нее немного отлегло от сердца.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Дни текли томительно медленно, и казалось, им не будет конца. Динни все еще жила на Маунт-стрит, чтобы быть под рукой, если она понадобится. Труднее всего было скрывать от близких замыслы Джин. Ей это удавалось со всеми, кроме сэра Лоренса, который, вскинув бровь, загадочно произнес:

— Pour une gaillarde, c'est une gaillarde! ¹

А когда Динни посмотрела на него невинными глазами, он добавил:

— Ну, чем не дева Мария с картины Боттичелли! Хочешь познакомиться с Бобби Ферраром? Мы обедаем с ним в подвальчике у Дюмурье на Друри-лейн; но имей в виду, мы питаемся одними грибами.

Динни возлагала столько надежд на Бобби Феррара, что была потрясена его видом: на его лице было написано полное безразличие. Гвоздика в петлице, бархатный голос, широкое невозмутимое лицо с чуть отвисшей нижней губой — ничто не внушало ей доверия.

— Вы питаете страсть к грибам, мисс Черрел? — спросил он.

— Да, но не к шампиньонам.

— Вот как?

— Бобби, — сказал сэр Лоренс, глядя то на него, то на племянницу, — никто не скажет, что вы — самая хитрая лиса в Европе. Но я-то вас знаю; держу пари, — вы назовете Уолтера «великим человеком», когда будете пугать его предисловием.

Бобби Феррар оскалил ровные зубы.

— Я не имею никакого влияния на Уолтера.

— Тогда кто же имеет?

— Никто. Кроме...

— Да?

— Самого Уолтера.

Динни, не выдержав, сказала:

— Поймите, мистер Феррар, ведь это вопрос жизни и смерти для моего брата и сущая пытка для всех нас!

Бобби Феррар молча посмотрел на ее разгоряченное лицо. В течение всего обеда он не сказал и не обещал ничего определенного, но когда они с Динни поднялись, а сэр Лоренс платил по счету, Бобби спросил:

— Мисс Черрел, хотите пойти со мной к Уолтеру? Я могу устроить так, что вы будете сидеть поблизости.

— Страшно хочу.

— Пусть тогда это останется между нами. Я дам вам знать.

Динни стиснула руки и улыбнулась ему.

¹ Вот это девка так девка! (франц.)

Вот чудак! — сказал сэр Лоренс на обратном пути. — Ведь он, по сути дела, добрая душа. Терпеть не может, чтобы людей вешали. Не пропускает ни одного процесса об убийстве. Ненавидит тюрьмы лютой ненавистью. Глядя на него, никогда этого не подумаешь.

Да, пожалуй, — мечтательно протянула Динни.

— Бобби мог бы служить секретарем в какой-нибудь инквизиции, — продолжал сэр Лоренс, — и никто бы не заподозрил, что он готов спалить их всех живьем. Это уникам. Дневник печатается, Динни, а старый Блайз пишет предисловие. Уолтер возвращается в четверг. Ты уже видела Хьюберта?

— Нет, завтра мы с папой к нему идем.

— Я не хотел тебя выпрашивать, но молодые Тасборо, ведь правда, что-то затеяли? Я случайно узнал, что Алана нет на корабле.

Да ну?

— Такая невинность, — буркнул сэр Лоренс. — Ладно, милая, можешь секретничать, но я от души надеюсь, что пока не будут исчерпаны мирные средства, они ничего не выкинут.

— Что ты, конечно, нет!

— Такая молодежь еще может внушить нам веру, будто личность делает историю. А тебе когда-нибудь приходило в голову, Динни, что история — просто повесть о том, как люди принимались вершить судьбы человечества, причиняя и себе и другим кучу неприятностей или спасая и себя и других от неприятностей. А у Дюмурея неплохо готовят, правда? Непременно svoju туда твою тетю, когда она наконец похудеет.

И Динни поняла, что опасность перекрестного допроса миновала.

Назавтра за ней зашел отец, и они отправились в тюрьму; был ветреный и тоскливый ноябрьский день. От одного вида тюремного здания захотелось завывать по-собачьи. Начальник тюрьмы — из военных — принял их очень любезно, с тем уважением, какое проявляет низший чин к высшему. Он не скрывал, что в деле Хьюберта его симпатии на их стороне, и предоставил им больше времени для свидания, чем полагалось по тюремному уставу.

Хьюберт вошел улыбаясь. Динни поняла, что, будь она одна, он, пожалуй, и не скрывал бы своего состояния, но в присутствии отца твердо решил держаться бодро, словно все это неудачная шутка. Со своей стороны, генерал, который всю дорогу был мрачен и молчалив, сразу же оживился и стал делать вид, будто вся эта история его просто забавляет. Динни невольно подумала, что, если бы не разница в возрасте, они были бы до смешного похожи друг на друга и внешнею и манерой держаться. В обоих было что-то детское или, вернее, что-то привитое им с детства, и, по-видимому, на всю жизнь. За все это получасовое свидание ни тот, ни другой и не заикнулись о своих переживаниях. Встреча была тяжелым испытанием для всех троих, а откровенного разговора так и не получилось. По словам Хьюберта, жилось ему превосходно и беспокоиться было совершенно не о чем; по словам генерала, оставалось потерпеть еще несколько дней, а потом уж они поохотятся на славу. Он почему-то все время говорил об Индии и о беспорядках на границе. Только под конец, прощаясь, они очень прямо и серьезно взглянули

друг другу в глаза. Отец отошел, и Динни, в свою очередь, поцеловала брата и пожала ему руку.

— Как Джин? — чуть слышно спросил Хьюберт.

— Все в порядке, любит по-прежнему. Говорит, чтобы ни о чем не беспокоился.

Его губы дрогнули и застыли в невеселой улыбке, он сжал ей руку и круто отвернулся.

В воротах привратник и двое надзирателей почтительно приложили руку к козырьку. Динни с отцом сели в ожидавшее такси и до самого дома не проронили ни слова. Вся эта история казалась им дурным сном, — может быть, они от него когда-нибудь и проснутся.

В эти дни единственным утешением была тетя Эм, чьи причуды отвлекали Динни от ее неотвязных мыслей. Тревога день ото дня нарастала, и целебные свойства тетиной непоследовательности все больше и больше давали себя знать. Положение Хьюберта искренне волновало тетю Эм, но мысли ее разбегались, она не могла сосредоточиться ни на одной из них и страдать по-настоящему. Пятого ноября она подозвала Динни к окну гостиной, — по осенней пустынной Маунт-стрит при свете уличных фонарей мальчишки волокли чучело¹.

— Священник как раз сейчас этим занимается, — сказала тетя Эм. — Был у них такой Тасборо, — его не повесили и даже головы не отрубили, в общем ничего такого с ним не сделали, а он пытается доказать, будто должны были сделать: он продал столовое серебро или что-то еще, чтобы купить пороху, а его сестра вышла замуж, кажется, за Кэтсби. Словом, за кого-то из них. Твой папа, я и Уилмет любили делать чучело из нашей гувернантки; у нее были ужасно большие ноги, у этой Роббинс! Ах, дети такие бесчувственные. Динни, ты тоже?

— Что — тоже?

— Делала чучело?

— Нет.

— Мы ходили петь песенки и мазали лицо сажей. Уилмет была просто прелесть. Такая высокая девочка, ноги прямые, как палки, и широко расставленные, — знаешь, как у ангелов. Теперь это немодно. Я думаю, тут надо что-то предпринять. Вот и насчет виселицы тоже. У нас была виселица. Мы повесили на ней котенка. Сперва мы его утопили, — не мы, а слуги.

— Какой ужас, тетя Эм!

— Да, но не совсем. Твой отец воспитывал из нас диких индейцев. Ем-то было хорошо: он мог делать с нами все, что хочет, а плакать мы не смели. А Хьюберт?

— Ну, нет! Хьюберт сам себя воспитывал диким индейцем.

— Это виновата твоя мама, — она очень добрая. Наша мама была из Хангерфордов. Ты, наверно, заметила.

— Я бабушки не помню.

¹ 5 ноября в Англии празднуют провал католического заговора 1605 года («Пороховой заговор»): заговорщики — Гай Фокс, Роберт Кэтсби и другие — собирались взорвать парламент, но были схвачены и повешены. По традиции, в этот день дети, вымазав лицо сажей, распевают песни, ходят по улицам с изображением виселицы, на которой болтается чучело Гая Фокса.

— Она умерла, когда ты еще не родилась. В Испании. Таких бацилл, как там, нигде не найдешь. И дедушка тоже. Мне было тогда тридцать пять. У него прекрасные манеры. У всех тогда манеры были прекрасные. И всего шестидесяти лет. Кларет, пикет и такая смешная борода. Ты видела?

— Эспаньолки?

— Да, у них очень дипломатический вид. Их теперь носят, когда пишут статьи об иностранных делах. Лично я люблю коз, хотя они и бо-
даются.

— Но какой у них запах, тетя Эм!

— Пронзительный. Джин тебе пишет?

В сумочке у Динни лежало только что полученное письмо.

— Нет,— ответила она; постепенно у нее входило в привычку врать.

— Что за слабохарактерность — от всех прятаться. С другой стороны, ведь это был их медовый месяц.

По-видимому, сэр Лоренс не делился с ней своими подозрениями.

У себя наверху Динни перечитала письмо, прежде чем его разорвать.

«Брюссель. До востребования.

Дорогая Динни!

Все идет как по маслу, и мне очень нравится. Говорят, я словно для этого создана. Между Аланом и мной уже почти нет разницы, разве что рука у меня тверже. Большое спасибо за письма. Ужасно обрадовалась твоей выдумке с дневником,— по-моему, это может подействовать. Но все-таки мы должны быть готовы ко всему. Ты не пишешь, как идут дела у Флер. Кстати, можешь ты достать турецкий разговорник,— такой, где указано произношение? Наверно, дядя Адриан знает, где его взять. Тут их не купишь. Алан шлет тебе сердечный привет. Я тоже. Держи нас в курсе дел, если понадобится — телеграфирую.

Твоя люб.

Д ж и н».

Турецкий разговорник! Этот первый намек на то, в каком направлении работает мысль Джин и Алана, заставил Динни задуматься. Она вспомнила, как Хьюберт ей рассказывал, что в конце войны спас жизнь одному турецкому офицеру и с тех пор с ним переписывается. Значит, убежищем выбрана Турция, если... Но весь этот план — чистое безумие. До этого не может, не должно дойти! И все же наутро она отправилась в музей.

Адриан, которого она не видела с того дня, как Хьюберта взяли под стражу, встретил ее со своим обычным спокойным радушием, и у нее появилось сильное искушение довериться ему. Ведь должна же Джин понимать, что спросить совета Адриана насчет турецкого разговорника — значит возбудить у него любопытство. Все-таки Динни сдержалась и только спросила:

— Дядя, у тебя нет турецкого разговорника? Хьюберт хочет вспомнить турецкий, чтобы как-нибудь убить время в тюрьме.

Адриан посмотрел на нее и хитро прищурил один глаз.

— Хьюберт не знает ни слова по-турецки, ему нечего вспоминать. Но вот, пожалуйста...— И, сняв с полки маленький томик, добавил:— Змея!

Динни улыбнулась.

— Меня обманывать бесполезно,— продолжал Адриан.— Я все знаю.

— Дядя, расскажи откуда!

— Видишь ли, в этом участвует Халлорсен.

— Да ну!

— А поскольку я связан сейчас с Халлорсеном, я помножил два на два и получил четыре. Они-то, правда, хотят, чтобы дважды два стало пять, а я от души надеюсь, что до этого не дойдет. Но Халлорсен очень хороший парень.

— Знаю,— уныло сказала Динни.— Расскажи, дядя, что они, собственно, затеяли.

Адриан покачал головой.

— Они и сами толком не знают, пока не выяснится маршрут, каким повезут Хьюберта. Мне известно только одно — Халлорсен посылает своих боливийцев не в Штаты, а обратно в Боливию, и для них готовится весьма странный ящик с хорошей вентиляцией, подбитый изнутри чем-то мягким.

— Каких боливийцев? Скелеты?

— Наверно, копии,— их сейчас тоже делают.

Динни смотрела на него как зачарованная.

— К тому же,— добавил Адриан,— копии делает мастер, который думает, что эти скелеты — из Сибири и вовсе не для Халлорсена; их тщательно взвесили — сто пятьдесят два фунта,— средний вес живого человека. Сколько весит Хьюберт?

— Около ста пятидесяти фунтов.

— Вот именно.

— Дальше, дядя!

— Раз уж мы договорились до этого, поделюсь с тобой моими догадками; не знаю, прав я или нет. Халлорсен и его ящик с копиями отправятся на том же пароходе, на котором вышлют Хьюберта. В каком-нибудь порту в Испании или Португалии Халлорсен сойдет с парохода и, естественно, заберет свой ящик, где будет спрятан Хьюберт. Предварительно Халлорсен как-нибудь вынет скелеты и выбросит их за борт. В порту его будут ждать настоящие скелеты, и он положит их в ящик, как только Хьюберт пересядет на самолет. Тут уже настанет очередь Джин и Алана. Они полетят... ну, хотя бы в Турцию, судя по твоей сегодняшней просьбе. Ты сама мне подсказала — куда. Чтобы успокоить власти, у Халлорсена в ящике будут настоящие скелеты, а исчезновение Хьюберта так и останется загадкой,— может, его объяснят прыжком за борт — не удивлюсь, если тут припомнят всплеск, когда сбрасывали в море копии. Все это, как видишь, довольно рискованное предприятие.

— А что, если пароход никуда не зайдет по дороге?

— Ну, где-нибудь он непременно остановится, а если нет, им придется выдумать что-нибудь другое, — скажем, похитить его по дороге на пароход. Или же устроить эту проделку с ящиком, когда его привезут в Южную Америку. Пожалуй, это будет безопаснее всего, хотя лететь тогда уже будет нельзя.

— Но зачем профессору Халлорсену так рисковать?

— И это спрашиваешь ты, Динни?

— Это уж слишком... я... я этого не хочу.

— Видишь ли, дорогая, по-моему, ему к тому же кажется, что это он подвел Хьюберта и теперь должен его выручать. Не забудь, что он принадлежит к нации, которая славится своей энергией и привыкла вершить суд и расправу. Но требовать награды за услугу он не станет. А в паре с ним бежит Тасборо, — тот замешан в этом деле ничуть не меньше. Словом, тебе ничто не угрожает.

— Но я вовсе не хочу быть обязанной ни тому, ни другому. До этого просто не должно дойти. И ведь надо спросить Хьюберта, — неужели ты думаешь, что он согласится?

— Думаю, Динни, что он уже согласился, — серьезно сказал Адриан, — а не то он попросился бы на поруки. Вероятно, его отправят под охраной боливийцев, и у него не будет ощущения, что он нарушает английские законы. А остальным удалось его убедить, что они ничем не рискуют. Все ему, наверно, осточертело, и он готов на что угодно. Не забудь: ему грозит серьезная опасность, и, кроме того, он только что женился.

— Да, — сказала Динни упавшим голосом. — А ты, дядя? Как твои дела?

— Ты была права, — в тон ей ответил Адриан, — и я готов ехать, как только кончится дело Хьюберта.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Даже после разговора с Адрианом Динни не могла поверить, что подобные вещи в самом деле случаются, — слишком уж часто читаешь о них в книгах. Однако ими полна и история и бульварная пресса. Как ни странно, мысль о бульварной прессе вернула Динни равновесие, — она твердо решила, что имени Хьюберта там не появится. Тем не менее она добросовестно отправила Джин турецкий учебник и, когда сэра Лоренса не бывало дома, подолгу разглядывала у него в кабинете географические карты, изучала она также и расписания пароходов на южно-американских линиях.

Прошло два дня, и сэр Лоренс сообщил за ужином о возвращении Уолтера, но после отпуска тот, разумеется, не сразу сможет заняться такой мелочью, как дело Хьюберта.

— Мелочь? — воскликнула Динни. — Ну да! Всего-навсего жизнь Хьюберта и наше счастье!

— Дорогая моя, министру внутренних дел только и дела, что чужая жизнь и чужое счастье.

— Какая ужасная должность! Я бы ее возненавидела.

— В том-то и разница между тобой и государственным деятелем.

Министр возненавидел бы свою работу, если бы ему не приходилось вмешиваться в жизнь своих ближних. А мы уже готовы припугнуть Уолтера, если он возьмется за дело Хьюберта раньше, чем мы думаем?

— Дневник набран, я сама вычитала корректуру, предисловие написано. Я его не видела, но Майкл говорит, что это здорово.

— Отлично. Когда мистер Блайз пишет «здорово», тут только держись. Бобби даст нам знать, когда Уолтер доберется до нашего дела.

— А что такое Бобби?— спросила леди Монт.

— Это целая традиция, моя дорогая.

— Блор, напомните мне, чтобы я написала насчет щенка этой овчарки.

— Да, миледи.

— Ты заметила, Динни,— когда носы у них белые,они выглядят как одержимые и всех их зовут Бобби.

— Ну, наш Бобби никак не похож на одержимого, правда, Динни?

— А он всегда делает то, что обещает?

— Да, положиться на него можно.

— Мне ужасно хочется побывать на выставке овчарок,— сказала леди Монт.— Такие умницы. Говорят, они сами знают, какую овцу кусать, а какую — нет. И такие тощие. Только волосы да мозг. У Генриетты их две. А как твои волосы, Динни?

— Что, тетя Эм?

— Ты хранишь те, что отрезала?

— Храню.

— Смотри не отдавай их чужим: они еще могут понадобиться. Говорят, старомодное скоро опять войдет в моду. Старое, но новое. Пони-маешь?

Сэр Лоренс лукаво прищурил глаз.

— А Динни всегда такой и была. Вот почему я хочу, чтобы она позировала. Постоянство типа.

— Какого типа?— спросила леди Монт.— Только не будь типом, Динни: они такие скучные. Один человек даже Майкла звал типом; не знаю почему.

— А почему бы тебе, дядя, не заставить позировать тетю Эм? Она ведь куда моложе меня, правда, тетя?

— Не дерзи. Блор, мое виши.

— Дядя, сколько Бобби лет?

— Никто толком не знает. Около шестидесяти. Когда-нибудь, я думаю, его возраст установят, но с ним придется поступить, как с деревом: отпилить кусок ствола и сосчитать кольца. Уж не решила ли ты выйти за него замуж? Кстати, Уолтер — вдовец. У него в жилах течет пуританская кровь; он новообращенный либерал — материал, легко воспламеняющийся.

— За Динни придется долго ухаживать,— сказала леди Монт.

— Можно мне встать из-за стола, тетя Эм? Мне надо сходить к Майклу.

— Скажи Флер, что я зайду завтра посмотреть на Кита. Я купила ему новую игру — называется «парламент»,— это звери, и у них свои партии; пищат и режут на разные голоса, и делают все невпопад. Пре-

мьер-министр у них зебра, а министр финансов — тигр, совсем полосатый. Блор, такси для мисс Динни.

Майкл был в парламенте, но Флер оказалась дома. Она объявила, что предисловие Блайза уже послано Бобби Феррару. Что касается боливийских дипломатов, — посланник еще не вернулся, но поверенный в делах обещал неофициально поговорить с Бобби. Он был так убийственно вежлив, что Флер никак не могла угадать, что он думает. Она сомневается, думает ли он вообще.

Вернувшись домой, Динни все еще чувствовала себя как на иголках. По-видимому, судьба Хьюберта целиком в руках Бобби Феррара, а ему под шестьдесят, он ко всему привык и давно утратил пыл красноречия. Ну, а может, это к делу? Взывать к чувствам Уолтера, пожалуй, было бы непрактично. Здесь, наверно, требуется хладнокровие, точный расчет, умение так сказать мимоходом на неприятные последствия и тонко обрисовать возможные выгоды. Ах, в общем, она совершенно себе не представляет, что руководит помыслами власть имущих. Послушать Майкла, Флер, сора Лоренса, — они делают вид, будто это понимают, но Динни подозревала, что и они разбираются в этом ничуть не лучше ее. Все, по-видимому, висит на волоске, зависит от прихоти и тончайшей смены настроений. Динни легла в постель, но так и не заснула.

Прошел еще день. И как матрос, чье судно долго дрейфовало в ожидании попутного ветра, вдруг просыпается утром и видит надутые паруса, так и Динни за завтраком обнаружила у своего прибора конверт без марки со штампом: «Министерство иностранных дел». Она распечатала его и прочла:

«Дорогая мисс Червел!

Вчера я вручил министру внутренних дел дневник вашего брата. Он обещал вечером его прочитать и примет меня сегодня в шесть. Если вы придете в министерство иностранных дел без десяти шесть, мы сможем отправиться к нему вместе.

Искренне ваш,

Роберт Феррар».

Вот оно! Но впереди еще целый день. А Уолтер уже прочел дневник и, может быть, уже принял решение! Получив эту сухую записку, она почувствовала себя участницей какого-то заговора, давшей обет молчания. Она почему-то никому о ней не сказала, ей почему-то хотелось быть совсем одной, пока все не кончится. В таком состоянии бывает человек накануне операции. Она вышла из дома — утро было солнечное — и задумалась: куда же ей деваться? Не пойти ли в Национальную галерею? Но картины требуют слишком большого внимания. А может быть, зайти в Вестминстерское аббатство? И тут она вспомнила о Миллисент Поль. Флер устроила ее манекенщицей к Фриволю. Почему бы не сходить в ателье, не посмотреть зимние модели и не повидать снова девушку? Конечно, не очень-то прилично заставлять показывать платья, которые не собираешься покупать, — нехорошо зря доставлять людям столько хлопот. Но если освободят Хьюберта, — тут уж она пустится во все

тяжкие и непременно купит настоящее вечернее платье, хотя бы ей пришлось попросить карманные деньги вперед. И, собравшись с духом, Динни свернула на Бонд-стрит, переправилась через узкий стремительный поток людей и машин, добралась до Фриволя и вошла в ателье.

— Что угодно, мадам?

Ее проводили наверх и посадили в кресло. Она сидела, чуть-чуть склонив голову набок, улыбаясь и мило беседуя с продавщицей, — Динни помнила, как однажды в большом магазине продавщица ей сказала: «Вы даже представления не имеете, мадам, как приятно, когда покупатель улыбается и относится к вам по-человечески. У нас бывает столько капризных дам, и... да что уж там говорить!» Модели были «последний крик моды», очень дорогие и почти все, по ее мнению, уродливые, несмотря на заверения продавщицы: «При вашей фигуре и вашем цвете лица, мадам, это вам очень пойдет».

Не зная, полезно ли будет Миллисент Поль, если она о ней спросит, Динни отобрала два платья и попросила показать их на манекенах. В первом появилась очень худенькая надменная девица с гладко зачесанными волосами и торчащими лопатками; она томно побродила по залу, упершись рукой в то место, где полагалось быть правому бедру; поглядывая через плечо, она словно раздумывала, куда же у нее девалось левое; теперь Динни окончательно укрепились в своем отвращении к этому роскошному черно-белому туалету. Миллисент Поль появилась во втором платье — цвета морской волны, отделанном серебром, — Динни нравилось в нем все, кроме цены. Двигаясь по залу с профессиональным безразличием, Миллисент Поль даже не взглянула на покупательницу, словно говорила всем своим видом: «Еще чего! Буду я на вас смотреть! Вам бы вот так целый день поболтаться в одном белье, отбиваясь от целого полчища чужих мужей!» Но тут, повернувшись, она заметила улыбку Динни и, радостно улыбнувшись в ответ, двинулась дальше с заученной томностью. Динни встала и, подойдя к стоявшей теперь неподвижно девушке, взяла двумя пальцами складку платья, будто хотела попробовать материю на ощупь.

— Рада вас видеть.

Мягкие губы девушки, похожие на цветок, раскрылись в ласковой улыбке. «Она просто прелесть!» — подумала Динни.

— Я знакома с мисс Поль, — сказала она продавщице. — На ней это платье выглядит очаровательно.

— Ах, мадам, оно совершенно в вашем стиле. Мисс Поль для него чуть полновата. Разрешите примерить его на вас.

Динни так и не поняла, считать ли это за комплимент.

— Сегодня я все равно ничего не решу, — ответила она. — Я не уверена, что оно мне по карману.

— Не беспокойтесь, мадам. Мисс Поль, пройдите в кабинку и скиньте платье; мы примерим его на мадам.

В кабинке девушка сбросила платье. «Так она еще лучше, — подумала Динни. — Хотела бы я так выглядеть в одном белье». Она позволила снять с себя свое платье.

— У мадам такая стройная фигурка, — сказала продавщица.

— Худая как щепка.

— Ах, что вы, мадам, у вас совсем не видно костей.

— Как раз то, что надо!— горячо сказала Миллисент.— У мадам есть шик.

Продавщица застегнула крючок.

— Отлично,— сказала она.— Может, вот тут немножечко свободно; но это мы исправим.

— Слишком много голого тела...— пробормотала Динни.

— Ах, но это вам идет, такая кожа, как у мадам...

— Позвольте мне посмотреть мисс Поль в том, другом платье — в черно-белом?

Динни сообразила, что раздетую девушку за тем платьем не пошлют.

— Сию минуту, я его сейчас принесу. Помогите мадам, мисс Поль.

Оставшись наедине, девушки улыбнулись друг другу.

— Как вам тут нравится, Милли, вы ведь добились того, чего хотели?

— Знаете, мисс, это не совсем то, что я думала.

— Глупое занятие, а?

— Наверно, все на свете совсем не то, что ты о нем думаешь. Конечно, бывает и хуже.

— Я пришла сюда посмотреть на вас.

— Честное слово? Но, я надеюсь, вы купите платье,— до чего же оно вам к лицу. Вы в нем такая хорошенькая.

— Смотрите, Милли, вас еще продавщицей назначат.

— Ну в продавщицы я не пойду. Лебези тут с утра до ночи.

— Где это расстегивается?

— Здесь. Очень удобно — только один крючок. И если изогнуться, можно расстегнуть самой. Я читала про вашего брата, мисс. Вот безобразие!

— Да,— сказала Динни и так и застыла, полураздетая. Она вдруг крепко пожала руку девушки.— Желаю вам счастья, Милли!

— А я вам, мисс!

Едва они успели отдернуть руки, как вошла продавщица.

— Простите, что я вас напрасно побеспокоила,— улыбнулась ей Динни,— но я окончательно остановилась на этом платье, если у меня хватит денег. Оно ужасно дорого стоит.

— Неужели, мадам? Это парижская модель. Я поговорю с мистером Беттером, может, он что-нибудь для вас сделает,— ведь это платье просто создано для вас! Мисс Поль, разыщите мистера Беттера.

Накинув черно-белый туалет, девушка вышла.

Динни, которая тем временем успела переодеться в свое платье, спросила:

— А скажите, манекенщицы у вас подолгу служат?

— Я бы не сказала: целый день раздеваться и одеваться — надоедливое занятие.

— А куда же они потом деваются?

— Так или иначе выходят замуж.

Очень тонко сказано! Вслед за этим мистер Беттер — стройный человек с седыми волосами и изысканными манерами — сообщил, что сделает скидку «только для мадам»; но и со скидкой цена казалась Дин-

ни чудовищной. Она сказала, что даст ответ завтра, и вышла на улицу, освещенную бледными лучами ноябрьского солнца. Еще целых шесть часов ждать! Она пошла на северо-восток, по дороге к Лужкам, стараясь унять свою тревогу мыслью о том, что каждого встречного, как бы он ни выглядел, обуревают свои тревоги. Семь миллионов лондонцев — и всех их гложет тревога. На некоторых лицах это видно, на других — нет. Она посмотрела на свое отражение в витрине и решила, что она из тех, у кого на лице ничего не видно; а между тем что творится у нее в душе! Да, лицо человека — только маска. Она вышла на Оксфорд-стрит и остановилась на краю тротуара у перехода. Рядом с ней очутилась костлявая белая морда ломовой лошади. Динни погладила ее по шее, жалея, что у нее нет с собой куска сахара. Ни лошадь, ни возчик не обратили на нее никакого внимания. Да и что она им! Вот уже много лет они проезжают здесь и останавливаются, а постояв, едут дальше, сквозь водоворот уличного движения, бредут медленно, еле-еле, без всякой надежды на избавление, пока не упадут и их не стащат на свалку. Белые нарукавники полицейского повернулись в другую сторону, возчик дернул вожжи, фургон тронулся, а за ним — длинная вереница автомобилей. Полицейский снова взмахнул нарукавниками. Динни пересекла улицу, дошла до Тоттенхем-Кортруд и снова остановилась в ожидании. Какая шумная и пестрая вереница людей и машин, — куда она движется, к какой непонятной цели? Ради чего? Ради куска хлеба, пачки сигарет, возможности полюбоваться на «красивую жизнь» хотя бы на экране кино, ради крыши над головой после рабочего дня? Миллион людей трудится целыми днями — прилежно или спустя рукава — только для того, чтобы поесть, немножко помечтать, поспать и начать все сначала. Жизнь неумолима — от этой мысли у нее сжалось горло и она даже охнула; какой-то толстяк спросил:

— Простите, мисс, я, кажется, наступил вам на ногу?

Не успела она улыбнуться и ответить «нет», как полицейский взмахнул нарукавниками, и она опять перешла на другую сторону. Дойдя до Гауэр-стрит, она быстро пошла по безлюдной улице. «Еще одна река, еще одна река впереди», — и вот она в Лужках, в этой паутине убогих переулков, сточных канав и безрадостного детства. На сей раз в доме священника Динни застала и дядю и тетю — они собирались обедать. Динни подсела к ним. Им она могла сказать о предстоящей «операции». Они постоянно жили в атмосфере всевозможных «операций».

Хилари рассказал:

— Старый Тасборо и я уломали Бентуорта поговорить с министром внутренних дел, вчера вечером я получил от Помещика записку: «Уолтер сказал, что рассмотрит дело строго по существу, невзирая на общественное положение вашего племянника». Общественное положение! Ну и ну! Я всегда говорил, что этот тип — не бог весть какая находка для нашей партии!

— Ах, если бы он действительно рассмотрел дело по существу! — воскликнула Динни. — Тогда бы за Хьюберта нечего было бояться. Как я ненавижу это угодничество перед простонародьем! Какому-нибудь извозчику он бы скорее поверил на слово.

— Это естественная реакция на прежние порядки, Динни, и, как всякая реакция, она заходит слишком далеко. Когда я был мальчишкой, еще и в самом деле существовали привилегии. Теперь все пошло наоборот: положение в обществе только вредит вам в глазах закона. Труднее всего плыть против течения: ты и хочешь быть справедливым, да не можешь.

— Знаешь, о чем я думала по дороге сюда? Зачем только и ты, и Хьюберт, и папа, и дядя Адриан, и сотни других трудятся не за страх, а за совесть, — я хочу сказать, не только ради хлеба насущного?

— Спроси тетю, — ответил Хилари.

— Тетя Мей, — зачем?

— Не знаю, Динни. Меня воспитывали в убеждении, что так надо, вот я и продолжаю в это верить. Была бы ты замужем и имела детей, ты бы, наверно, об этом не спрашивала.

— Так я и знала, что тетя Мэй увильнет от ответа. А ты, дядя?

— Что ж, Динни, я тоже не знаю. Мы и правда делаем то, к чему приучены; вот и все.

— В своем дневнике Хьюберт пишет, что забота о других — это на самом деле забота о себе самом. Это верно?

— Очень уж прямолинейно сказано. Я бы предпочел так это выразить: все мы зависим друг от друга, и, если хочешь позаботиться о себе, приходится ничуть не меньше заботиться о других.

— А стоим ли мы того, чтобы о себе заботиться?

— Ты хочешь сказать: стоит ли чего-нибудь наша жизнь?

— Да.

— Люди живут на земле уже пятьсот тысяч лет (Адриан уверяет, что даже миллион), а их сейчас больше, чем когда бы то ни было. Видишь! Разве человеческая жизнь, — а она ведь такая хрупкая, — сохранилась бы вопреки всем нашим бедам и тяготам, если бы жить на свете не стоило?

— Наверно, нет, — задумчиво произнесла Динни. — Кажется, в Лондоне перестаешь понимать истинную цену вещей.

Тут вошла служанка.

— Сэр, вас хочет видеть мистер Камерон.

— Пусть войдет. Он поможет тебе познать цену вещей, Динни. Это ходячий пример неистребимой любви к жизни; болел всеми болезнями на свете, включая черную лихорадку, прошел через три войны, пережил два землетрясения, работал кем только хочешь во всех уголках земного шара, а сейчас — безработный и вдобавок страдает пороком сердца.

Вошел Камерон — невысокий, худощавый человек лет пятидесяти, с ясными серыми глазами, крючковатым носом и темными седеющими волосами. Одна рука была у него на перевязи, точно он вывихнул большой палец.

— Здравствуйте, Камерон, — сказал, вставая, Хилари. — Снова попали в переделку?

— Эх, если бы вы только видели, как эти мерзавцы в моем районе обращаются с лошадьми. Вот дело и дошло вчера до драки. Хлестать безответную скотину, да еще и нагруженную сверх всякой меры, — тут уж я не стерпел.

— Надеюсь, вы ему как следует вlepили!

У Камерона глаза заблестели от удовольствия.

— Да, раскровенил ему нос и вывихнул себе палец. Но я зашел к вам, сэр, сказать, что приходский совет нашел мне работу. Не бог весть какую, но я прокормлюсь.

— Отлично! А теперь извините меня, Камерон, но миссис Черрел и я спешим на собрание. Садитесь, выпейте чашку кофе и поболтайте с моей племянницей. Расскажите ей о Бразилии.

Камерон посмотрел на Динни. Улыбка у него была обаятельная. Час прошел быстро и принес ей облегчение. Камерон оказался хорошим рассказчиком. Он поведал ей почти всю свою жизнь, начиная с детства в Австралии и ухода в шестнадцать лет добровольцем на войну в Южную Африку, вплоть до последних своих мытарств. Не было такой заразы, которая бы к нему не пристала; он ходил за лошадьми; имел дело с китайцами, неграми, бразильцами; ломал себе шею и ноги, был отравлен ядовитыми газами, контужен; но теперь — это он особенно подчеркнул — здоровье его не оставляло желать ничего лучшего, если не считать «пустячной сердечной слабости». Лицо его как-то светилось изнутри, а в словах не было и намека на то, что он сознает свою незаурядность. В данный момент он был для Динни наилучшим лекарством, и она старалась подольше его не отпускать. Когда он наконец ушел, она снова окунулась в уличную сутолоку, но теперь все окружающее воспринималось как-то иначе. Было уже половина четвертого, и ей оставалось скоротать два с половиной часа. Она направилась в Риджентс-парк. Деревья стояли уже почти голые, и в воздухе носился запах костров, на которых жгли сухие листья; она проходила через их сизые дымки, раздумывая о Камероне и борясь со своей тоской. Какую он прожил жизнь! И какую сохранил жизнерадостность! Она посидела возле Длинного пруда, освещенного тусклыми лучами заходящего солнца, вышла на улицу Мэрилбоун и подумала, что, прежде чем идти в министерство иностранных дел, надо навести красоту. По дороге ей попался универсам Хэрриджа. Часы показывали половину пятого. У прилавков теснились покупатели. Динни потолкалась среди них, купила пуховку, выпила чаю, привела себя в порядок и снова вышла на улицу. Оставалось еще добрых полчаса, и она опять принялась бродить, хотя уже порядком устала. Ровно без четверти шесть она подала свою карточку швейцару министерства иностранных дел, и ее провели в приемную. Там не было зеркала, и, вынув пудреницу, Динни попыталась разглядеть себя в крошечном, покрытом пудрой зеркальце. Она показалась себе некрасивой и пожалела об этом; впрочем, ей ведь не придется разговаривать с Уолтером, — она посидит где-нибудь в уголке и подождет. Вечно она чего-то ждет!

— Мисс Черрел!

На пороге стоял Бобби Феррар. Вид у него был самый будничный. Ну конечно, ему все равно. Да и чего ему волноваться?

Он похлопал себя по верхнему карману пиджака.

— Предисловие у меня. Пошли?

И он тут же заговорил об убийстве в Чингфорде. Она следит за процессом? Нет, не следит. Дело совершенно ясное, абсолютно ясное! И вдруг он добавил:

— Боливец не захотел взять на себя ответственность, мисс Черрел.

— Ах!

— Ничего, обойдется.

Он улыбнулся.

«А зубы-то у него настоящие,— подумала Динни,— вот и золотые пломбы видны».

Они подошли к министерству внутренних дел и переступили его порог. Служитель повел их вверх по широкой лестнице, в конец коридора, в большую, пустую комнату, где горел огонь в камине. Бобби Феррар пододвинул ей к столу кресло.

— «График» или лучше это?— И он вынул из бокового кармана маленький томик.

— Пожалуйста, и то и другое,— ответила она слабым голосом.

Он положил перед ней и то и другое. «Другое» оказалось тоненькой книжечкой в красном переплете — стихи о войне.

— Только что вышла,— сказал Бобби Феррар,— я купил ее после обеда.

— Да,— рассеянно ответила Динни и села.

Открылась одна из дверей, и в нее просунулась голова.

— Мистер Феррар, министр внутренних дел примет вас.

Бобби Феррар взглянул на нее, шепнул сквозь зубы: «Не падайте духом»— и спокойно удалился.

Никогда еще в жизни не чувствовала она себя такой одинокой, не радовалась так одиночеству и не боялась так мгновения, когда его нарушат. Раскрыв маленький томик, она прочла:

Над очагом листок висел,
И разъяснял толково всем
Героям-инвалидам, как,
И где, и по какой цене
Потерянные на войне
Колено, голень и плечо
И что недостает еще
Им будут выданы.
Потом
В листке провоzglалалось том,
Что офицерские чины
Хоть две руки, хоть две ноги
Бесплатно получить должны
За счет казны.

Из камина вдруг с треском вылетела искра. Динни с грустью смотрела, как она гаснет на коврике. Она пробежала глазами еще какие-то стихи, не понимая, что читает, потом захлопнула книжку и развернула «График». Просмотрев газету от первой до последней страницы, она не запомнила ни одной иллюстрации. Голова у нее кружилась, сердце замирало. «Что хуже,— подумала она,— когда операцию должны сделать тебе или кому-нибудь из тех, кого любишь?» И решила, что последнее все-таки хуже. Время тянулось бесконечно; как давно он ушел? Только половина седьмого! Динни отодвинула кресло и поднялась. На стенах висели портреты деятелей викторианской эпохи, и она стала переходить от одного к другому; впрочем, все они были на одно лицо и отличались

только величиной бакенбардов. Динни вернулась на свое место, пододвинула кресло к столу, облокотилась на него и уткнулась подбородком в ладони,— неудобная поза как будто принесла некоторое облегчение. Слава богу, хоть Хьюберт не знает, что сейчас решается его судьба, и ему не придется терпеть муки ожидания. Она вспомнила о Джин и Алане, всей душой надеясь, что они ко всему готовы. С каждой минутой плачевный исход казался ей все более и более неизбежным. На нее напало какое-то оцепенение. Этот человек вообще никогда не вернется — никогда, никогда! Ну и пусть не возвращается: ведь он принесет с собой смертный приговор. В конце концов Динни положила руки на стол и уронила на них голову. Она не знала, долго ли пробыла в этом странном забытии,— чье-то покашливание за спиной привело ее в себя, и она резко подняла голову.

Это был не Бобби Феррар,— перед камином стоял, чуть расставив ноги и заложив руки за фалды фрака, высокий человек с красноватым, гладко выбритым лицом и серебристой шевелюрой, взбитой коком над самым лбом; он смотрел на нее в упор широко раскрытыми светло-серыми глазами, а губы у него чуть приоткрылись, точно он собирался что-то сказать. Динни была так поражена, что тоже глядела на него во все глаза.

— Сидите, мисс Черрел, сидите, пожалуйста.

Выпростав руку из-под фалды фрака, он поднял ее, словно успокаивая Динни, которая с радостью осталась сидеть,— у нее отчаянно дрожали колени.

— Феррар говорит, что вы редактировали дневник вашего брата? Динни наклонила голову. «Дыши поглубже!»

— В том виде, как он напечатан, он соответствует первоначальному тексту?

— Да.

— Дословно?

— Да. Я не изменила и не вычеркнула ни одного слова.

Глядя ему в лицо, она не видела ничего, кроме круглых блестящих глаз и слегка отвисшей нижней губы. Ее охватила такая оторопь, будто перед ней был сам господь бог! Но Динни тут же передернуло от этой мысли, и губы ее изобразили жалкое подобие улыбки.

— У меня к вам вопрос, мисс Черрел.

Динни с трудом выдавила тихое «да?».

— Многое ли в этом дневнике написано вашим братом после его возвращения?

Она смотрела на него, не понимая; наконец до нее дошел смысл его слов, и ее словно подстегнуло.

— Ничего! Ровно ничего! Он весь был написан тогда же, на месте. И она вскочила на ноги.

— Можно узнать, откуда вам это известно?

— Мой брат...— только тут она поняла, что у нее вообще нет никаких доказательств, кроме слова Хьюберта.— Мне так сказал мой брат.

— Вы верите каждому его слову, как святыне?

У нее еще хватило чувства юмора, чтобы не встать в позу, но все же она вскинула голову.

Как святые. Хьюберт — солдат, и...

Она запнулась и, глядя на эту высокомерную нижнюю губу, выругала себя за то, что употребила такое избитое выражение.

— Конечно, конечно. Но вы отдаете себе отчет, как мне важно это знать?

— У меня есть рукопись, — пробормотала Динни. Как глупо, что она не взяла ее с собой! — Там все ясно видно... Я хочу сказать, она вся грязная, в пятнах. Я могу вам ее показать когда угодно, хотите?

Он снова удержал ее властным жестом.

— Не беспокойтесь. Вы очень любите брата, мисс Черрел?

У Динни задрожали губы.

— Очень. Как и все у нас.

— Я слышал, он недавно женился?

— Да, совсем недавно.

— Ваш брат был ранен на войне?

— Да. В левую ногу, пулей навывлет.

— А рука у него не была ранена?

Ее опять словно укололо.

— Нет!

Короткое слово вырвалось, точно выстрел. Они постояли друг против друга полминуты, минуту; к горлу ее подступали слова мольбы, негодования, какие-то бессвязные слова, но она не раскрыла рта, она зажала его рукой. Он кивнул.

— Спасибо, мисс Черрел, благодарю вас.

Голова его немножко склонилась набок, он повернулся и направился к двери, словно неся эту голову на блюде. Когда он исчез, Динни закрыла лицо руками. Что она наделала! Она только настроила его против Хьюберта! Она провела руками по лицу, по телу и так и замерла, дрожа с ног до головы, не отрывая глаз от двери, за которой он скрылся. Прошла еще минута. Дверь снова отворилась, и вошел Бобби Феррар. Он сверкнул зубами, кивнул, прикрыл за собой дверь и сказал:

— Все в порядке.

Динни быстро отвернулась к окну. За окном уже стемнело, а если бы и было светло, она бы там все равно ничего не могла разглядеть. В порядке! В порядке! Она провела рукой по глазам, повернулась и протянула обе руки, сама не видя куда.

Руки ее повисли в воздухе, но голос Бобби Феррара произнес:

— Я очень рад.

— А мне казалось, что я все испортила.

Теперь она увидела его глаза, круглые, как у щенка.

— Если бы он заранее не принял решения, он бы к вам не вышел, мисс Черрел. Не такой уж он кремень. Дело в том, что он обедал с судьей, — это нам помогло.

«Значит, зря я так мучилась», — подумала Динни.

— Вам пришлось показать ему предисловие, мистер Феррар?

— Нет, и это к лучшему, — оно могло бы и повредить. В сущности говоря, мы всем обязаны судье. Но вы произвели на Уолтера хорошее впечатление. Он сказал, что вас видно насквозь.

— Да ну!

Бобби Феррар взял со стола красную книжечку, любовно на нее поглядел и положил в карман.

— Ну что ж, пойдем?

На улице Динни так глубоко вдохнула, словно хотела вобрать в себя весь этот ноябрьский вечер — и никак не могла насытиться.

— Бегу на почту! — сказала она. — Ведь он теперь уже не передумает, правда?

— Он дал мне слово. Вашего брата освободят сегодня вечером.

— Ах! Мистер Феррар!

И вдруг у нее из глаз хлынули слезы. Она наклонила голову, чтобы их скрыть, а когда повернулась к своему спутнику, его уже и след простыл.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Динни отправила телеграммы отцу и Джин, позвонила по телефону Флер, Адриану и Хилари, взяла такси и ворвалась в кабинет дяди. Сэр Лоренс сидел у камина с раскрытой книгой на коленях. Он поднял голову.

— Ну как, Динни?

— Спасен!

— Это все ты!

— Бобби Феррар говорит, что мы всем обязаны судьбе.

— Позвони!

Динни позвонила.

— Блор, попросите сюда леди Монт.

— А у нас радость, Блор: мистера Хьюберта освободили! А я чуть было не испортила дела.

— Спасибо, мисс; я поставил на это шесть фунтов против четырех.

— Что бы нам сделать на радостях, Динни?

— Мне придется поехать в Кондафорд.

— Но сначала ты с нами поужинаешь. И сегодня ты у меня напешься. А как будет с Хьюбертом? Кто его встретит?

— Дядя Адриан сказал, что мне лучше не ходить; он пойдет сам. Хьюберт, конечно, побежит домой и будет ждать Джин.

Сэр Лоренс лукаво ей подмигнул.

— Откуда она прилетит?

— Из Брюсселя.

— Так вот где у них оперативный центр! Ликвидация этого предприятия доставляет мне почти такое же удовольствие, как освобождение Хьюберта. У них бы ничего не выгорело, — не такое теперь время.

— Могло бы и выгореть, — заявила Динни: теперь, когда в побеге не было больше необходимости, мысль о нем уже не казалась такой невероятной. — Тетя Эм! Какой у тебя чудный халат!

— Я переодевалась. Блор выиграл четыре фунта. Динни, поцелуй меня. И дядю тоже. Ты так мило целуешься, совсем не платонически. Если я выпью шампанского, я завтра слягу.

— Тогда зачем тебе его пить?

— Надо. Динни, обещай, что ты поцелуешь этого молодого человека.

— Уж не платят ли тебе комиссионные с поцелуев, тетя Эм?

— Я знаю, он собирался выкрасть Хьюберта из тюрьмы, распилить решетку или что-то вроде этого, и не спорь со мной. Наш священник рассказывал, что он прилетел с бородой, взял ватерпас и две книги о Португалии. Люди всегда бегут в Португалию. Теперь священник успокоится, а то он совсем похудел. Вот я и думаю, что ты должна его поцеловать.

— В наши дни поцелуй ничего не стоит. Я чуть было не поцеловала Бобби Феррара, но он вовремя увернулся.

— Динни некогда целоваться, — сказал сэр Лоренс, — она будет позировать портретисту. Динни, мой молодой человек завтра же будет в Кондафорде.

— У твоего дяди пунктик, Динни, — он собирает Женщин с большой буквы. А их давно уже нет и в помине. Вымерли. Все мы теперь просто женский пол.

Динни уехала в Кондафорд последним поездом. За ужином ее так усердно поили вином, что в вагоне она сидела в каком-то блаженном полусне, радуясь всему — и быстрому движению поезда, и серебряной луне в темном небе, пронесившейся за окном. Счастливая улыбка го и дело появлялась у нее на губах. Хьюберт свободен! Кондафорд спасен! Отец и мать вздохнут с облегчением! Джин счастлива! Алану больше не угрожает позор! Ее спутники, честные обыватели (она ехала третьим классом), поглядывали на нее — кто откровенно, а кто украдкой — с любопытством и недоверием: чего это она все улыбается? Выпила лишнего или просто влюблена? Может быть, и то, и другое или третье? Динни же, в свою очередь, смотрела на них с благодушным сожалением: у них-то, бедняг, голова не кружится от счастья. Полтора часа пролетели быстро, и она вышла на тускло освещенную платформу — не такая сонная, но все такая же счастливая, какой села в поезд. Она позабыла в телеграмме предупредить о своем приезде, и теперь ей пришлось сдать вещи на хранение и отправиться пешком. Динни пошла по большой дороге, — так было дальше, но ей хотелось пройтись и вдоволь надышаться воздухом родных мест. Ночью все кажется незнакомым: дома, изгороди, деревья, — она видела их как будто впервые. Дорога углубилась в лес. Пронеслась машина, и в мелькающем свете фар Динни заметила, как через дорогу прошмыгнула ласка — странный зверек, по-змеиному изгибающий свою длинную спинку. Минуту она помедлила на мостике через узкую извилистую речушку. Этот мост стоял здесь уже не одно столетие, он был почти так же стар, как самые древние камни Кондафорда, но все еще очень крепок. Сразу за ним высились ворота парка; в самые дождливые годы речка разливалась в половодье по лугам почти до самого кустарника, где когда-то был ров. Динни толкнула калитку и пошла по траве вдоль главной аллеи между рододендронами. Перед ней раскинулся фасад дома, который был, собственно, его задней стеной, — длинный, приземистый, погруженный сейчас в темноту. Ее не ждали, время подходило к полуночи; ей пришлось в голову потихоньку обойти дом и полюбоваться при лунном свете на это серое призрачное здание, окруженное

деревьями и уютное плетом. Динни вышла на лужайку мимо тисов, отбрасывавших короткие тени у верхней террасы парка, и остановилась на газоне, дыша полной грудью и стараясь наглядеться на все, к чему она так привыкла с детства. Оконные стекла и блестящие листья магнолий призрачно сверкали в лунном свете; старый каменный фасад таил столько загадок! Как красиво! Только в одном окне горел свет — в кабинете отца. Ей показалось странным, что все так рано легли спать, еще не придя в себя от радости. Она пробралась на террасу и заглянула в комнату сквозь неплотно задернутые занавески. Генерал сидел за письменным столом, заваленным бумагами; голова его была опущена, руки зажаты между коленями. Ей была видна впадина у виска, сильно поседевшие в последнее время волосы, сжатые губы, угрюмое выражение лица. Он сидел в позе человека, покорно ожидающего рокового известия. В городе, на Маунт-стрит, она читала книгу о гражданской войне в Америке, — именно так, подумала она, мог выглядеть какой-нибудь старый генерал из южан в ночь перед капитуляцией Ли¹. Только тогда они все носили бороды. И вдруг она поняла, что здесь, как на беду, еще не получили ее телеграммы. Она постучала в окно. Отец поднял голову. При свете луны лицо его было пепельно-серым; он явно решил, что она привезла дурные вести. Он открыл окно, Динни перегнулась в комнату и положила руки ему на плечи.

— Папа! Неужели вы не получили моей телеграммы? Все хорошо, Хьюберт свободен!

Генерал судорожно схватил ее за руки, лицо его залилось краской, губы разжались, в один миг он помолодел лет на десять.

— Это... это правда, Динни?

Динни кивнула. Она улыбалась, но на глазах у нее были слезы.

— Боже мой! Вот это новости! Входи скорее. Я должен сейчас же сказать матери!

И он выбежал из комнаты.

Динни постояла в этой комнате, строгой, как казарма, вопреки всем попыткам навести здесь хоть какую-нибудь красоту; все с той же улыбкой, которая теперь уже не сходила с ее лица, она разглядывала поле битвы, где потерпело поражение искусство. Ах уж этот папа со своими документами, военными книгами, пожелтевшими фотографиями, сувенирами из Индии и Южной Африки, акварельным портретом любимого скакуна, со своей картой поместья, шкурой леопарда, что когда-то его помял, и двумя лисьими мордами — ну, теперь он опять будет счастлив! Дай ему бог здоровья!

Отцу и матери, наверно, будет приятнее остаться со своей радостью наедине; и Динни пробралась вверх в комнату Клер. Этот самый буйный отпрыск их рода спал, высунув из-под одеяла руку в пижаме и подперев кулаком щеку. Динни ласково посмотрела на темную стриженую головку и снова вышла. Зачем нарушать ее сладкий сон! Она постояла у открытого окна своей спальни, глядя сквозь почти оголенные ветки вязов на залитые луною поля и дальний лес. Сейчас ей трудно было не

¹ Генерал Роберт Эдуард Ли (1807—1870) — во время гражданской войны в США командовал армией южан-рабовладельцев.

верить в бога. И в то же время ей казалось подлым и мелким верить в бога, когда все идет хорошо, и не верить в него, когда у тебя беда,— точно так же, как подло и мелко молиться богу, когда тебе от него что-нибудь нужно, и не молиться, когда тебе нечего у него просить. Впрочем, ведь бог — это Вечный Разум, недоступный нашему пониманию, а отнюдь не любящий отец, которого легко и просто понять. И чем меньше об этом думать, тем лучше. Она снова дома, как корабль после бури, и это — самое главное. Динни покачнулась и поняла, что засыпает стоя. Кровать не была постелена; вынув старенький теплый халатик, она сбросила туфли, платье, пояс с подвязками, накинула халатик и свернулась клубочком под пуховым одеялом. Через две минуты она уже спала — все с той же улыбкой на губах.

На следующее утро, когда они сидели за завтраком, пришла телеграмма от Хьюберта; он сообщал, что они с Джин приедут к ужину.

— «Сенсационное возвращение молодого помещика под родной кров!» — пробормотала Динни. — С ним молодая любимая жена! Слава богу, будет уже темно, и мы сможем заклать тельца для блудного сына без посторонних глаз. А у тебя есть телец, папа?

— У меня еще осталось от деда две бутылки «шамбертена» тысяча восемьсот шестьдесят пятого года. Мы разопьем их; есть у нас и старый коньяк.

— Хьюберт очень любит вальдшнепов, можно их достать, мама? И блинчики. А как насчет речных устриц? Он обожает устрицы.

— Постараюсь, Динни.

— Непременно грибы, — добавила Клер.

— Боюсь, мама, что тебе придется порыскать по всей округе.

Леди Черрел улыбнулась; она разительно помолодела.

— Сегодня славный денек для охоты, — сказал генерал. — Что скажешь, Клер? Соседи собираются у Уайвелкросс в одиннадцать.

— С удовольствием.

Проводив отца с Клер на конюшню, Динни пошла погулять с собаками. Чувство облегчения после долгой тревоги, мысль, что больше не из-за чего волноваться, — все это было так восхитительно; ее даже не смущало, что служебные дела Хьюберта за эти два месяца ничуть не поправились, — а ведь прежде они ее порядком огорчали. Положение его было не лучше, а даже хуже прежнего, — ведь ему придется думать теперь и о жене; и все-таки на сердце у Динни было легко. Это доказывало, что Эйнштейн прав и все на свете относительно.

Напевая «Линкольнширского браконьера», она побежала в парк, но треск мотоцикла в аллее заставил ее обернуться. Кто-то помахал ей рукой и, загнав машину в куст рододендрона, направился к ней, снимая на ходу шлем.

Ну конечно, Алан! И она поняла, что ей вот-вот снова сделают предложение руки и сердца. Сегодня уж ему ничто не помешает, — он даже не совершил опасного подвига, и предложение не будет выглядеть как требование награды.

«Одна надежда, — подумала она, — что он еще не сбрил бороду, и это его остановит». Увы! На загорелом лице Алана выделялся светлый подбородок.

Он подошел к ней с протянутыми руками, и она протянула ему свои. Так, держась за руки, они постояли, глядя друг на друга.

— Ну,— сказала наконец Динни,— рассказывайте. Вы напугали нас до смерти, молодой человек.

— Давайте куда-нибудь сядем, Динни.

— Хорошо. Не наступите на Скарамуша, он у вас под ногой, а ножка у вас не маленькая.

— Не такая уж большая. Динни, вы выглядите...

— Ничего подобного,— сказала Динни,— я выгляжу как драная кошка. И все знаю — и насчет профессора, и насчет ящика для боливийских скелетов, и насчет подмены Хьюберта на пароходе.

— Откуда?

— Не такие уж мы дураки. Алан. А какова была ваша роль — зачем понадобилась борода? Мы не можем сесть прямо на камень.

— А я не сойду за подушку?

— Никак. Лучше подложите куртку. Теперь рассказывайте!

— Что ж,— сказал он, с неодобрением разглядывая свой башмак,— если уж вам так хочется знать... Конечно, мы еще не придумали ничего определенного,— все зависело от того, как его отправят. Было несколько возможностей. Если бы пароход зашел по дороге в порт — в Испании или Португалии,— мы бы действительно воспользовались этим ящиком. Халлорсен поехал бы на пароходе, а Джин и я дожидались в порту с самолетом и настоящими скелетами. Джин должна была пилотировать самолет, она просто рождена для этого, и они полетели бы в Турцию.

— Да,— сказала Динни,— мы так и догадались.

— Каким образом?

— Неважно. А другой вариант?

— Если бы пароход никуда не заходил, все было бы куда сложнее: мы собирались послать подложную телеграмму охране Хьюберта в Саутгемптон или в другой порт отправления с требованием доставить его в местную полицию для получения дальнейших инструкций. По дороге Халлорсен на мотоцикле врезался бы в них с одной стороны, я — с другой; Хьюберт должен был перескочить в мою машину, и я отвез бы его к самолету.

— Гм! — произнесла Динни. — В кино все это получается хорошо; но неужели и в жизни охранники — такие простофили?

— Видите ли, этот вариант мы еще как следует не разработали. Мы делали ставку на первый.

— А вы все деньги истратили?

— Нет, только около двухсот фунтов; самолет мы можем перепродать.

Динни с облегчением вздохнула и посмотрела на него долгим взглядом.

— Если хотите знать мое мнение,— сказала она,— вы дешево отделались.

Он осклабился.

— Чем более что в случае удачи мне неудобно было бы к вам приставать, Динни, я возвращаюсь сегодня на корабль. Вы не согласились бы?..

— Разлука сближает сердца,— ласково сказала Динни.— Когда вы вернетесь в следующий раз, обещаю вам подумать.

— Можно мне вас поцеловать?

— Можно.

Она подставила ему щеку.

«Вот,— подумала она,— теперь он пылко прильнет к моим губам. Но нет, он этого не сделал! Ей-богу, он меня как будто даже уважает!»— И она поднялась.

— Пойдем, дорогой мой, и большое спасибо за все, что вам, к счастью, не довелось сделать. Я, честное слово, постараюсь забыть, что я убежденная старая дева.

Он грустно взглянул на нее, словно пожалев о своем самообладании, но все же не мог не улыбнуться в ответ на ее улыбку. Вскоре треск его мотоцикла замер в тиши осеннего дня.

Все с той же милой улыбкой Динни вернулась домой. Какой он милый! Но нельзя же так сразу! Даже в наши дни люди иногда горько каются в своей поспешности.

Они наспех пообедали, леди Черрел села в форд, которым правил конюх, и отправилась на поиски тельца. Динни собралась было обойти сад и посмотреть, не осталось ли цветов — уже стоял ноябрь,— но тут ей подали визитную карточку.

МИСТЕР НЕЙЛ УИТНИ.

Мастерские Фердинанд,

Орчард-стрит,

Челси.

«Караул!— пронеслось у нее в голове.— Это молодой человек дяди Лоренса!»

— Где он, Эми?

— В холле, мисс.

— Пригласите его в гостиную, я сейчас приду.

Динни бросила корзину и садовые перчатки, достала пудреницу и осмотрела свой нос в маленьком зеркальце; в гостиную она вошла с террасы и с удивлением увидела «молодого человека», который удобно расположился в кресле, поставив рядом свои принадлежности. У него была густая седая шевелюра, на черной ленточке висел монокль; когда он поднялся, она поняла, что ему не меньше шестидесяти.

— Мисс Черрел?— спросил он.— Ваш дядя, сэр Лоренс Монт, поручил мне написать с вас миниатюру.

— Знаю,— сказала Динни,— но я думала...

Она не договорила. В конце концов дядя Лоренс любит пошутить; а может быть, для него шестьдесят — и в самом деле молодость.

«Молодой человек» вставил монокль в свою пухлую румяную щеку, и его голубой глаз внимательно уставился на Динни. Склонив голову набок, он сказал:

— Если мы сделаем набросок и вы мне дадите ваши фотографии, я долго вас мучить не буду. Ваше платье... бледно-васильковое... отличный цвет: на фоне неба... у того окна... да, небо не слишком синее... в нем чисто английская белизна. Может быть, приступим, пока свет хороший?

И, не переставая болтать, он уже раскладывал мольберт и краски.

— Английская леди — вот идея сэра Лоренса; высокая культура, но не бросается в глаза. Чутьочку повернитесь. Спасибо... ваш нос...

— Ну, — сказала Динни, — это безнадежно.

— Что вы! Что вы! Прелестный нос. Насколько я знаю, вы нужны сэру Лоренсу для его коллекции. Я уже сделал для него две работы. Опустите, пожалуйста, глаза. Нет, посмотрите на меня. Вот. Зубы... Замечательно.

— Пока еще все мои собственные.

— Такая улыбка нам и нужна: чутьочку лукавства, не слишком много, как раз в меру.

— Ровно три унции лукавства и ни капельки больше?

— Нет, нет, так уж придираюсь я не буду. Теперь повернитесь, пожалуйста, в три четверти. Ага. Так видна линия головы; цвет волос восхитительный.

— Не слишком рыжие.

«Молодой человек» не ответил. Он уже начал сосредоточенно рисовать и делать заметки на полях.

Наморщив брови, Динни не решалась шевельнуться. Он вдруг бросил писать и подкупаяще ей улыбнулся.

— Да, да, да, — сказал он. — Вижу, вижу.

Что он увидел? Ее вдруг охватило смятение, и она сжала руки.

— Поднимите руки, мисс Черрел. Нет! Слишком много святости. Не забудьте, у вас чертики в волосах. Смотрите на меня, прямо на меня.

— Как, радостно? — спросила Динни.

— Не слишком радостно, как раз в меру... Да, вот чисто английский взгляд — прямой, но сдержанный. Теперь поверните шею! Чуть-чуть откиньте голову. Во-от так. Знаете, как смотрит лань; несмножко... нет, не испуганно... чуть-чуть горделиво.

Он снова принялся рисовать и делать заметки, — он весь ушел в работу, словно был тут один.

А Динни думала: «Если дядя Лоренс хочет получить портрет деревянной куклы, он его получит».

«Молодой человек» бросил карандаш, отошел назад, склонив голову совсем набок; все его существо, казалось, было сосредоточено в монокле, который он направил на Динни.

— Выражение! — пробормотал он.

— Вы, должно быть, хотите, чтобы у меня был жалобный взгляд, как у безработной?

— Шалуния! — сказал «молодой человек». — Углубитесь в себя. Можно я поиграю на рояле?

— Конечно. К сожалению, на нем давно не играли.

— Сойдет.

Он сел, откинул крышку, подул на клавиши и заиграл. Играл он с силой, но мягко, как настоящий мастер. Динни слушала, стоя у рояля.

и музыка совершенно ее захватила. Это был явно Бах, но она не знала, что именно. Проникновенная, строгая, ясная тема повторялась снова и снова; однообразная, она все же волновала так, как может волновать только Бах.

— Что это?

— Хорал Баха в переложении одного пианиста.

«Молодой человек» снова уставился моноклем в клавиши.

— Дивно! Слышите небеса и шагаете по цветущему лугу, — прошептала Динни.

«Молодой человек» захлопнул крышку и встал.

— Вот что мне нужно, вот что мне нужно, моя дорогая леди!

— Как! — сказала Динни. — И это все?

КНИГА ВТОРАЯ

ПУСТЫНЯ В ЦВЕТУ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

В 1930 году, вскоре после обсуждения бюджета в парламенте, неподалеку от вокзала Виктория можно было наблюдать восьмое чудо света: трое совершенно несхожих англичан одновременно разглядывали один и тот же городской памятник. Пришли они порознь и остановились поодаль друг от друга, на открытом юго-западном краю площади, чтобы неверный свет весенних сумерек не слепил им глаза. Одна из них была молодая женщина лет двадцати шести, другой — моложавый человек лет тридцати четырех, а третий — пожилой мужчина уже за пятьдесят. Молодая женщина — тоненькая, неглупая на вид — слегка откинула и наклонила набок голову, на ее чуть приоткрытых губах играла улыбка. Мужчина помоложе плотно запахнул синее пальто и туго затянул на узкой талии пояс, словно ему было зябко на весеннем ветру; загар сходил с лица, и оно казалось бледным, а презрительная складка у рта странно не вязалась с выражением глаз: он смотрел на памятник с искренним волнением. Старший — высокий мужчина в коричневом костюме и коричневых замшевых туфлях — небрежно засунул руки в карманы брюк, и сквозь непроницаемое выражение его худого, обветренного, красивого лица проглядывала ирония.

А над ними, окруженная деревьями, висела статуя маршала Фоша.

Человек помоложе вдруг произнес:

— Он наш спаситель!

На такое нарушение приличий по-разному отозвались двое других: англичанин постарше слегка приподнял брови и сделал шаг вперед, словно хотел разглядеть ноги лошади. Молодая женщина живо обернулась, и лицо ее выразило удивление.

— Вы не Уилфрид Дезерт?

Моложавый человек поклонился.

— Мы с вами встречались на свадьбе Флер Монт. Вы были у них шафером, — первым шафером, которого я видела в жизни. Мне было тогда шестнадцать лет. Вы меня, конечно, не помните. Я — Динни, вернее говоря, Элизабет Черрел. Не хватило подружек, и меня взяли в последнюю минуту.

Лицо молодого человека просветлело.

— Я прекрасно помню ваши волосы.

— Все меня только по ним и запоминают.

— Неправда! Помню, я тогда подумал, что это вас, наверное, писал Боттичелли. Видно, вы и до сих пор ему позируете.

А Динни в это время думала: «Ну и глаза! Они меня и тогда поразили. Какие у него красивые глаза!»

Глаза эти были снова обращены на памятник.

— А он ведь и в самом деле наш спаситель,— сказал Дезерт.

— Ну да, вы ведь, кажется, там были?

— Летал, надоело до черта!

— Вам нравится памятник?

— Только конь.

— Да,— пробормотала Динни.— Это настоящая лошадь, а не какой-нибудь гарцующий бочонок с зубами, ноздрями и выгнутым загривком...

— Надежный конь, как и сам Фощ.

Динни наморщила лоб.

— Мне нравится, как он тихонько здесь стоит, среди деревьев.

— Как поживает Майкл? Вы ведь, по-моему, его двоюродная сестра?

— У него все хорошо. По-прежнему в парламенте, и, кажется, уже навеки.

— А Флер?

— Цветет. Вы слышали, в прошлом году у нее родилась дочь?

— Ах вот как? Значит, у нее теперь двое?

— Да, девочку назвали Кэтрин.

— Я не был в Англии с двадцать седьмого года. Господи! Как давно была эта свадьба!

— Судя по вашему виду,— сказала Динни, разглядывая его желтоватый загар,— вы жили в солнечных краях.

— Когда не светит солнце, я вообще не живу.

— Майкл как-то говорил, что вы уехали на Восток.

— Да, я там брожу понемножку.— Лицо его, казалось, потемнело еще больше, и он передернул плечами, словно от озноба.— Дьявольски холодно в Англии весной!

— Вы все еще пишете стихи?

— Ага, вы слыхали и об этой моей слабости?

— Я читала их все. Больше всего мне нравится последняя книжка. Он ухмыльнулся.

— Спасибо, что погладили меня по шерстке; поэты, как вы знаете, на такие вещи падки. Кто этот высокий человек? Мне как будто знакомо его лицо.

Высокий человек обошел памятник вокруг и теперь приближался к ним.

— Странно,— пробормотала Динни,— но и он напоминает мне о свадьбе Флер.

Высокий человек подошел к ним.

— Поджилки у него неважные,— сказал он.

Динни улыбнулась.

— А я всегда так радуюсь, что у меня нет поджилок. Мы как раз рассуждали, знаем ли мы вас. Вы, случайно, не были на свадьбе Майкла Монта несколько лет назад?

— Был. А вы кто такая, милая барышня?

— Ну вот, значит, мы там были все трое. Я — Динни Черрел, двоюродная сестра Майкла с материнской стороны. Мистер Дезерт был его шафером.

Высокий человек кивнул.

— Ах вот оно что! Меня зовут Джек Маскем, и я — двоюродный брат Монта-старшего. — Он повернулся к Дезерту. — Вы, я слышал, восторгались Фошем?

— Да.

Динни удивило, что Дезерт сразу же насупился.

— Ну что ж, — признался Маскем. — солдат он был настоящий, а их там было немного. Но я-то пришел поглядеть на коня.

— Конечно, конь — интереснее, — серьезно подтвердила Динни. Высокий господин удостоил ее иронической улыбкой.

— Спасибо Фошу, что он хотя бы не бросил нас в беде.

Дезерт вдруг резко к нему обернулся.

— На что вы намекаете?

Маскем пожал плечами, приподнял шляпу перед Динни и лениво зашагал прочь.

Когда он ушел, воцарилось молчание, — оба чувствовали странную неловкость.

— Вам в какую сторону? — спросила наконец Динни.

— В любую, по дороге с вами.

— Вы очень любезны, сэр. Я иду к тетке на Маунт-стрит, вам это подходит?

— Вполне.

— Да вы ее, наверно, помните, это — мать Майкла. совершенная прелесть, величайшая мастерица алогизма, — так перескакивает с предмета на предмет, что просто дух захватывает.

Они перешли улицу и пошли по Гровенор-плейс, мимо Букингемского дворца.

— Всякий раз, когда возвращаешься домой, наверно, кажется, что в Англии все ужасно переменялось? Простите за светскую болтовню.

— Да, в общем да...

— Вы, видно, не очень-то «обожаете свой край родной», как принято у нас говорить?

— Он внушает мне ужас!

— Да вы уж не из тех ли, кто хочет казаться хуже, чем он на самом деле?

— Хуже не бывает. Спросите Майкла.

— Майкл злословить не любит.

— И Майкл, и все прочие ангелы с крылышками витают в небесах.

— Неправда. Майкл прочно стоит на земле, он — настоящий англичанин.

— А одно с другим не вяжется, в том-то его и беда.

— Зачем бранить Англию? Вы не оригинальны.

— Я браню ее только англичанам.

— И на том спасибо. Но почему мне?

Дезерт расхохотался.

— Потому что вы такая, какой я хотел бы видеть Англию.

— «Польщена и прелестна, но еще не перезрела и совсем не растолстела!»

— Меня злит, что Англия все еще верит, будто она «соль земли».

— А разве это не так?

— Так, — к ее удивлению, ответил Дезерт, — но она не смеет этого думать.

Динни мысленно продекламировала:

«Ты упрямец, братец Уилфрид, и язык твой зол.

Этим ты, — сказала дева, — лучше не хвались!

Некрасиво вечно путать потолок и пол.

Становиться так упорно головою вниз!»¹

но вслух она выразилась попроще:

— Если Англия все еще «соль земли», но не имеет права так думать и все же думает, у нее, по-видимому, есть чутье. Отчего вы сразу не влюбились мистера Маскема? Тоже чутье? — Но, поглядев на его лицо, подумала: «Я, кажется, на редкость бестактна».

— За что мне его не любить? Из породы толстокожих, — только и знает, что охотиться да ездить на скачки, у меня от таких скулы воротит со скуки.

«Что-то тут не так», — думала Динни, вглядываясь в Дезерта. Какое странное лицо! Измученное глубоким разладом с самим собой, словно злой и добрый гений пытаются выжить друг друга из его души: но глаза его все так же тревожили ее, как и тогда, в шестнадцать лет, когда с распущенными волосами она стояла рядом с ним на свадьбе Флер.

— Вы и в самом деле любите бродить по Востоку?

— На мне проклятие Исава, сына Исаакова.

«В один прекрасный день, — подумала она, — я заставлю тебя сказать, за что ты проклят. Впрочем, вряд ли я еще когда-нибудь тебя увижу». И по спине у нее пробежал холодок.

— Вы знаете моего дядю Адриана? Во время войны он был на Востоке. А теперь заведует ископаемыми в музее. Вы, наверное, знакомы с Дианой Ферз. Дядя женился на ней в прошлом году.

— Я мало кого тут знаю.

— Ну, тогда нас связывает только Майкл.

— Я не верю в связи через третьих лиц. Где вы живете, мисс Черрел?

Динни усмехнулась.

— Вижу, пора вас снабдить краткой биографической справкой. С незапамятных времен семья моя «владеет» поместьем Кондафорд в Оксфордшире. Отец — отставной генерал, у него две дочери и единственный сын — военный, женат и скоро приедет из Судана в отпуск.

— А-а... — протянул Дезерт и снова помрачнел.

¹ Стихи даются в переводе А. Эфрон.

— Мне двадцать шесть лет, я не замужем и — увы! — бездетна. Любимое развлечение — вмешиваться в чужие дела. И сама не пойму, зачем и мне это надо! В городе живу у леди Монт, на Маунт-стрит. Несмотря на деревенское воспитание, у меня дорогостоящие замашки и никаких средств, чтобы им потакать. Кажется, не лишена чувства юмора. А вы?

Дезерт улыбнулся и покачал головой.

— Хотите, я скажу за вас? — предложила Динни. — Вы — младший сын лорда Маллиона; слишком много воевали; пишете стихи; у вас страсть к кочевой жизни, и вы — враг самому себе; последнее — мое открытие и может заинтересовать нашу прессу. Ну вот мы и дошли до Маунт-стрит. Может, зайдете навестить тетю Эм?

— Спасибо, нет. Но давайте завтра вместе позавтракаем, а потом сходим на утренник в театр.

— Хорошо. Где?

— У Дюмуре. В половине второго.

Они пожали друг другу руки и расстались, но когда Динни входила в дом тетки, она была как-то приятно возбуждена и, остановившись у двери в гостиную, постояла там, улыбаясь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Улыбка сошла с ее лица, когда через закрытую дверь до нее донесся веселый шум.

«Боже мой!» — подумала она. — У тети Эм день рождения, а я совсем забыла!»

Кто-то перестал барабанить на рояле, послышалась беготня, какая-то суматоха, стук отодвигаемых стульев, писк, а потом все смолкло и снова раздался звук рояля.

«Музыкальные стулья!» — сообразила Динни и тихонько приоткрыла дверь. Та, что раньше звалась Дианой Ферз, сидела у рояля. Восемь малышей и один взрослый в пестрых бумажных колпаках цеплялись за восемь разнокалиберных стульев, расставленных друг против друга; семеро вот-вот готовы были вскочить на ноги, а двое еще сидели рядом на одном стуле. Динни оглядела это сборище и увидела, что слева направо сидят: Рональд Ферз; маленький китайчонок; младшенькая тети Элистон Анна; младший сын дяди Хилари — Тони; Силия и Динго (дети замужней сестры Майкла Силии Мористон); Шейла Ферз, а на одном стуле — дядя Адриан и Киг Монт. Потом ей попала на глаза тетя Эм, которая, пыхтя, прислонилась к камину; на голове у нее красовалась огромная диадема из фиолетовой бумаги. Флер старалась вытащить стул из того ряда, где сидел Рональд.

— Кит, вставай! Ты опоздал.

Кит не тронулся с места, зато встал Адриан.

— Ничего не поделаешь, старина. Их не переспоришь. Беги!

— Не держитесь руками за спинки! — кричала Флер. — Ву-фин, не смей садиться, пока не перестанут играть! Динго, не цепляйся за крайний стул!

Музыка прекратилась. Суетня, толкотня, писк; самая маленькая фигурка — крохотной Анны — осталась стоять.

— Не горюй, детка,— сказала ей Динни.— Поди сюда, давай бить в барабан. Как только музыка перестанет играть — ты тоже перестань. Вот так. Ну, еще раз. Следи за тетей Ди.

Игра возобновлялась снова и снова, пока не остались только Шейла, Динго и Кит.

«Я ставлю на Кита»,— решила Динни.

Вот вышла из игры Шейла! Ее выдвинули из ряда вместе со стулом. Вокруг последнего стула суетились маленький шотландец Динго и светлоголовый Кит, потерявший в пылу беготни свой бумажный колпак. Оба то садились, то вскакивали и вертелись вокруг стула. Диана старалась на них не глядеть, Флер отошла подальше, чуть-чуть улыбаясь; лицо тети Эм порозовело. Музыка смолкла, Динго успел сесть, а Кит остался стоять; щеки его пылали, и брови были насуплены.

— Кит!— послышался голос Флер.— Играй как следует!

Кит вздернул голову и сунул кулачки в карманы.

«Молодчина Флер!»— подумала Динни.

Сзади чей-то голос произнес:

— Безудержная страсть твоей тетки к молодежи приводит к невыносимым бедствиям. Что, если нам поискать покоя у меня в кабинете?

Динни обернулась и поглядела на тонкое, худое, подвижное лицо сэра Лоренса Монтя; его усики совсем побелели, но волосы только чуть серебрила седина.

— Я еще не внесла своей лепты, дядя Лоренс.

— И не надо. Учись смотреть на все со стороны. Пусть язычники беснуются. Пойдем предадимся тихой беседе, как истые христиане.

Желание поговорить с дядей об Уилфриде Дезерте побороло в ней привычную самоотверженность, и Динни ушла с ним.

— Над чем ты сейчас работаешь?— спросила она.

— Решил немножко отдохнуть, читаю мемуары Хэрриет Уилсон — поразительная женщина, Динни! Во времена Регентства в высшем свете и так не было ни одной незапятнанной репутации, но она-то уж постаралась! Ты что-нибудь о ней слышала? Поверь, эта женщина знала, что такое любовь. Любовников у нее была тьма, но любила она только одного.

— И это, по-твоему, любовь?

— Ну что ж, сердце у нее было доброе, а остальные любили ее. Совсем не похожа на Нинон де Ланкло,— та ведь любила всех. Но обе они — женщины примечательные. А что, если написать диалог этих двух дам на тему о добродетели? Стоит подумать. Садись!

— Сегодня я рассматривала памятник Фошу и встретила там твоего двоюродного брата, мистера Маскема.

— Джека?

— Да.

— Последний денди. Ты понимаешь, какая огромная разница между «щеголем», «денди», «франтом», «модником», «хлыщом», «пижоном» и «фертом»,— кажется, так это теперь называют? Но порода вырождается. По возрасту Джек принадлежит к эпохе «хлыщей», но стиль у него

настоящего «денди» — законченного денди, типа Уайта-Мелвила¹. Что ты о нем думаешь?

— Лошади, карты и полнейшая невозмутимость.

— Сними-ка шляпу. Я люблю смотреть на твои волосы.

Динни сняла шляпу.

— Я встретила там еще одного знакомого: шафера Майкла.

— Как? Дезерта? Он вернулся? — И подвижная бровь сэра Лоренса поползла вверх.

Щеки Динни слегка порозовели.

— Да, — сказала она.

— Станный тип.

Динни вдруг почувствовала какое-то непривычное ощущение. Ей было бы трудно его описать, но оно напомнило ей фарфоровую безделушку, которую она подарила отцу в день его рождения: мастерски вылепленную лисичку с четырьмя приткнувшимися к ней детенышами. Выражение лисьей мордочки — нежное и чуть-чуть настороженное — отражало ее чувство в эту минуту.

— А чем он странный?

— Не хочу быть фискалом, Динни. Хотя тебе, пожалуй, скажу... Молодой человек, года через два после замужества Флер, явно за ней волочил. Из-за этого он и стал таким непоседой.

Так вот на что он намекал, говоря о проклятии Исава? Не может быть! По выражению его лица, когда они говорили о Флер, она бы этого не подумала.

— Но ведь все это было сто лет назад! — воскликнула Динни.

— Конечно! Дела давно минувших дней; но ходят о нем и другие слухи. Наши клубы — настоящие рассадники злословия.

Динни внутренне насторожилась.

— Какие слухи?

Сэр Лоренс покачал головой.

— Мне этот молодой человек нравится, и я не стану даже тебе повторять того, чего сам толком не знаю. Если человек живет не как все, про него еще не то наговорят! — Он вдруг кинул на Динни испытующий взгляд; но глаза ее безмятежно сияли.

— А кто этот маленький китайчонок?

— Сын бывшего мандарина; он оставил здесь свою семью — на родине у него какие-то нелады; занятный малыш! Очень симпатичный народ эти китайцы. Когда приезжает Хьюберт?

— На будущей неделе. Они летят из Италии. Джин ведь любит летать.

— Какова судьба ее брата? — И он снова пристально взглянул на Динни.

— Алана? Он служит на морской базе в Китае.

— Тетя не перестает сетовать, что у вас с ним ничего не вышло.

— Ты знаешь, ради тети Эм я готова на все, но, любя его как брата, мне боязно пойти с ним к алтарю.

¹ У а й т - М е л в и л Джордж (1821—1878) — английский писатель и спортсмен.

— Я-то совсем не хочу, чтобы ты выходила замуж,— сказал сэр Лоренс,— ищи тебя тогда в какой-нибудь Берберии!

«Да он просто колдун!»— мелькнуло у Динни, и глаза ее стали совсем наивными.

— Ох уж эта бюрократическая машина!— продолжал тот.— Вся нашу родню засосала. И моих дочерей: Силия в Китае, Флор — в Индии; твой брат Хьюберт — в Судане; вот и сестра твоя Клер унесется, как только ее обвенчают,— Джерри Корвен получил назначение на Цейлон... Говорят, Чарли Маскема посылают в Кейптаун; старший сын Хилари едет на гражданскую службу в Индию, а младший — на флот. Черт побери, Динни, вы с Джеком Маскемом последнее мое утешение в этой пустыне! Не считая, конечно, Майкла.

— А ты часто видишься с Маскемом?

— Частенько, у «Бартона», он заходит ко мне и в «Кофейню»,— играем в пикет; кроме нас двоих, игроков там и не осталось. Правда, это пока не наступит сезон; теперь-то я вряд ли увижу его до конца скачек в Кэмбриджшире.

— Он, видно, большой знаток лошадей?

— Да. Но только лошадей, Динни. Таких, как он, редко хватает на что-нибудь еще. Лошадь — странное животное, она делает человека слепым и глухим ко всему остальному. Слишком уж много требует внимания. Приходится следить не только за ней, но и за всеми, кто имеет к ней какое-нибудь отношение. А как выглядит Дезерт?

— Что?— Динни слегка растерялась.— Какой-то темно-желтый...

— Это от раскаленного песка. Ведь он теперь живет как бедуин. И отец у него тоже отшельник, так что у них это в крови. Но он нравится Майклу, даже несмотря на ту историю, и это — лучшее, что о нем можно сказать.

— А что вы думаете о его стихах?— спросила Динни.

— Путаные. Разрушает одной рукой то, что создает другой.

— Может, он просто еще не нашел себе места в жизни? А глаза у него красивые, правда?

— Я больше всего запомнил его рот — рот человека тонко чувствующего, озлобленного.

— Глаза говорят о том, что это за человек от природы, а рот — каким он стал.

— Да, рот и желудок.

— У него нет желудка,— сказала Динни.— Это я заметила.

— Привычка довольствоваться чашкой кофе и горстью фиников. Впрочем, арабы кофе не пьют,— у них слабость к зеленому чаю с мятой. Вот ужас! Сюда идет тетя.— «Вот ужас» относилось к чаю с мятой.

Леди Монт уже сняла бумажную диадему и слегка отдышалась.

— Тетечка, я, конечно, забыла про твой день рождения и ничего тебе не принесла в подарок.

— Тогда поцелуй меня. Я всегда говорила, что ты целуешься лучше всех. Откуда ты взялась?

— Клер попросила меня кое-что для нее купить.

— Ты захватила с собой ночную рубашку?

Нет.

- Неважно. Возьмешь мою. Ты еще носишь ночные рубашки?
- Да.
- Молодец. Терпеть не могу, когда женщины спят в пижамах, — и дядя этого тоже не любит. Вечно спадают. И ничего с этим не поделаешь, как ни старайся. Майкл и Флер останутся ужинать.
- Спасибо, тетя Эм, с удовольствием у вас переночую. Я еще не купила и половины того, что просила Клер.
- Нехорошо, что Клер выходит замуж раньше тебя.
- Но она и должна была выйти раньше, тетя.
- Ерунда! Клер — умница, а они не торопятся. Когда я вышла за муж, мне было уже двадцать один.
- Вот видишь!
- Не смейся надо мной. Умницей я была только раз. Помнишь. Лоренс, того слона... я хотела чтобы он сел, а он все время становился на колени. Понимаешь, у них ноги подгибаются только в одну сторону. И я сразу сказала, что они ни за что не подогнутся в другую!
- Ах, тетя Эм! Да ты вообще самая большая умница, каких я знаю! Женщины так уныло последовательны!
- Меня утешает твой нос, Динни. Мне так надоели клювы, и тети Уилмет, и Генриетты Бентуорт, да и мой тоже.
- У тебя нос только чуть-чуть орлиный.
- В детстве я ужасно боялась, что он станет еще хуже! Часами простаивала, прижавшись кончиком к гардеробу.
- Я тоже хотела что-нибудь сделать со своим носом, только на оборот.
- Один раз я так стояла, а твой папа забрался на гардероб, как на стоящий леопард, а потом на меня как спрыгнет! Даже губу себе прокусил. У меня вся шея была в крови.
- Фу, как нехорошо!
- Да. Лоренс, о чем ты сейчас думаешь?
- О том, что Динни, наверно, не обедала. Правда, Динни?
- Я отложила это до завтра.
- Вот видишь! — воскликнула леди Монт. — Позови Блора. Ты ни за что не поправишься, пока не выйдешь замуж.
- Давай сперва сбудем с рук Клер, хорошо?
- В церкви святого Георгия? И венчает, наверно, Хилари?
- Конечно!
- Я непременно буду плакать.
- А почему, в сущности, ты плачешь на свадьбах?
- Она ужасно похожа на ангела, а жених — в черном фраке, с усами щеточкой, и совсем ничего не чувствует, а она думает, что он чувствует! Так обидно!
- Ну а вдруг он все-таки чувствует? Майкл ведь чувствовал, когда женился, и дядя Адриан тоже!
- Адриану уже пятьдесят три, и у него борода. И потом он ведь Адриан!
- Да, это, конечно, другое дело. Но, по-моему, надо скорее пожалеть жениха. У невесты — самый счастливый день в жизни, а ему, бедняжке, наверно, тесен белый жилет.

— Лоренсу он не был тесен. Лоренс всегда был тоненький, как папирозная бумага. А я была тощая, как ты.

— Тебе, наверно, очень шла фата, тетя Эм. Правда, дядя? — Но иронически-грустное выражение на лицах этих пожилых людей заставило ее замолчать, и она только спросила: — Где вы познакомились?

— На охоте. Я упала в канаву, а дяде это не понравилось; он подошел и вытащил меня оттуда.

— Но это идеальная встреча!

— Нет, слишком много было глины. Мы целый день потом друг с другом не разговаривали.

— А что же вас примирило?

— То да се. Я гостила у родителей Ген, Кордроев, а Лоренс заехал к ним посмотреть щенят. И чего это ты меня все выпрашиваешь?

— Мне просто хотелось знать, как это делали в ваши дни.

— А ты лучше выясни, как это делают теперь.

— Дядя Лоренс вовсе не желает от меня избавиться.

— Все мужчины эгоисты, кроме Майкла и Адриана.

— И потом мне ужасно не хочется, чтобы ты плакала.

— Блор, принесите мисс Динни бутерброд и коктейль, она не обедала. И потом, Блор, мистер и миссис Адриан и мистер и миссис Майкл будут у нас ужинать. И еще, Блор, скажите Лоре, чтобы она отнесла какую-нибудь мою ночную рубашку и все, что нужно, в голубую комнату для гостей. Мисс Динни останется ночевать. Ах, эти дети! — И леди Монт, слегка покачиваясь, выплыла из комнаты. Дворецкий последовал за ней.

— Ну, какая же она прелесть, дядя!

— А я этого никогда не отрицал.

— С ней легче становится на душе. Она хоть раз в жизни сердилась?

— Иногда она начинает сердиться, но тут же об этом забывает.

— Вот благодать!..

Вечером, во время ужина, Динни ждала, что дядя хоть словом обмолвится о возвращении Уилфрида Дезерта. Но он ничего не сказал.

После ужина она под села к Флер, как всегда восхищаясь ею. Безупречное самообладание Флер, ее выхоленное лицо и фигура, трезвый взгляд ясных глаз, трезвое отношение к самой себе и какое-то странное к Майклу — слегка почтительное и в то же время чуть-чуть снисходительное — не переставали удивлять Динни.

«Если я когда-нибудь выйду замуж, — думала Динни. — я не смогу вести себя так с мужем. Я хочу относиться к нему как к равному, не пряча своих грехов и не боясь видеть его грехи».

— Ты помнишь свою свадьбу, Флер? — спросила она.

— Конечно, дорогая. Убийственная церемония!

— Я сегодня встретила вашего шафера.

Темные зрачки Флер сузились.

— Уилфрида? Разве ты его знаешь?

— Мне тогда было шестнадцать, и он поразил мое юное воображение.

— Для этого и пригласают шаферов. Ну, и как ему живется теперь?

Он очень загорелый и опять взволновал мою юную душу.
Флер засмеялась.

— Ну, это он всегда умел.

Глядя на нее, Динни решила проявить настойчивость.

Да Дядя Лоренс рассказывал, что когда-то он пытался вовсе проявить этот свой галавт.

Лицо Флер выразило удивление.

— Вот не думала, что гесть это заметил!

Дядя Лоренс у нас колдун.

Ну, Уилфрид вел себя, в общем, примерно, — задумчиво улыбаясь, пробормотала Флер. Отправился на Восток, как миленький...

Неужели он поэтому и жил там до сих пор?

Что ты! Корь — болезнь недолгая. Ему просто там нравится. Может, он завел себе тарем.

Нет, — сказала Динни. По моему, он человек брезгливый.

Ты права, дорогая, и прости меня за дешевый цинизм. Уилфрид — один из самых странных людей на свете, но, в общем, он славный. Майкл его любил. Но любить его, — сказала она вдруг, взглянув Динни прямо в глаза, — просто мучение: уж больно в нем все вразброд. В свое время я к нему близко приглядывалась, — так уж пришлось, понимаешь? В руки он не дается. Страстная натура и сплошной комок нервов. Человек он мягкосердечный и в то же время обзленный. И ни во что на свете не верит.

Наверно, верит все таки в красоту, — спросила Динни, — и в истину, если знает, в чем она?

Флер вежливо ответила:

Ну, знаешь, дорогая, в них то мы все верим, если они нам попадают. Беда в том, что их нет, разве что... разве что они в тебе самой. Ну, а если в душе одна кутерьма, чего тогда ждать хорошего? Где ты его видела?

Он разглядывает Флора

А а... Кажется, он и тогда его боготворил. Бедный Уилфрид, жаль ему неслако. Контузия, стихи, да и воспитание нелепое: отец совсем сгоняет от жизни, мать, маполовину итальянка, сбежала с другим. Беспокойная семья. Лучшее, что у него было, — глаза: грустные, сердце с ними шемидо. И к тому же очень красивые — опасное сочетание. Знаешь, он снова растревожит твоё воображение? И она уже открыто взглянула Динни в глаза.

Нет, не мне было интересно, встревожишься ли ты, если я скажу, что еще встретила.

Я? Милочка, мне уже скоро тридцать. Я мать двоих детей и... — лицо ее потемнело. — у меня теперь иммунитет. Если я кому-нибудь захочу открыться, может, я откроюсь тебе. Но есть вещи, о которых не говорю.

Нашелу, я случайно, путаясь в складках мочной рубашки тети Эм. Динни задумчиво глядела в камин, затопленный несмотря на все ее уговоры. Она понимала, что странное томление, которое охватило ее и толкало неизвестно куда, — просто недуг. Что это с ней? Встретила человека, который десять лет назад поразил ее воображение! И, по всем оп-

зывают, вовсе не такого уж хорошего человека! Что из этого? Динни взяла зеркало и стала разглядывать свое лицо над вышитым воротником тетиного балахона. Что ей почему то не понравилось.

«Ну, до чего же это надоедает, это унылое рукоделие проклятого Боттичелли! — подумала она.

Не вверх глядит, лазурь же изюда
Устремлена коварно вниз...
О рыжесудрая дриада,
Скажи себя острейше!

А он ведь привлек к Востоку, к черным очам, темно блестящим из под чадры, к манящим прелестям, скрытым под покрывалом, к таинственным соблазнам, к зубам, как жемчуг, словом, к красе райских гурри. Динни открыла рот и стала разглядывать свои зубы. Ну, тут ей боится нечего, лучшие зубы в роду. Да и волосы у нее, в сущности говоря, не рыжие, а скорее, как называла их мисс Брэддон, — бронзовые. Какое красивое слово! Жаль, что теперь волосы так не называют. Фигуру под всеми этими рюшками и вышивками, правда, не увидишь. Не забыть посмотреться в зеркало завтра перед ванной. За все то, чего сейчас не видно, она, кажется, может благодарить бога. Со вздохом отложив зеркало, Динни забралась в постель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Уилфрид Дезерт по-прежнему снимал квартиру на Корк-стрит. За нее платил лорд Миллион и пользовался ею в тех редких случаях, когда покидал свою сельскую обитель. Нелюдимый аристократ все же меньше тяготился своим младшим сыном, чем старшим, который заедал в парламенте. Он не испытывал к Уилфриду такой болезненной неприязни, однако, как правило, в квартире жил один Стак, бывший вестовой Уилфрида, питавший к хозяину ту загадочную и безмолвную привязанность, которая сохраняется дольше, нежели открытое благоговение. Когда бы Уилфрид ни приехал, даже без всякого предупреждения, квартира его имела такой же вид, в каком он ее оставил: и пыли было ничуть не больше, и воздух почти такой же спертый, и те же костюмы висели на тех же вешалках, и подавали ему тот же вкусный бифштекс с грибами, чтобы заморить червячка с дороги. Наследный «мусор», попеременно с восточными безделушками, привезенными на память о какой-нибудь мимолетной прихоти, придавали большой гостиной дворцовый вид, словно она была частью каких-то суверенных владений. А диван перед пылающим камином принимал Уилфрида так, словно он с него и не вставал. Он лежал там наутро после встречи с Динни, раздумывая, почему один только Стак умеет готовить настоящий кофе. Казалось бы, родина кофе — Восток, но турецкий кофе — обряд, забава и, как все обряды и забавы, только щекочет воображение. Он в Лондоне уже третий день после трехлетней отлучки; за последние два года ему пришлось пережить такое, что лучше не вспоминать, не говоря уже о той истории, которая внесла глубокий разлад в его душу, как ни старайся он от нее отмахнуться. Да, он вернулся, пряча от любопытных глаз постыдную тайну. Привез он и стихи, которых хватит на четвертый по счету тоненький

сборник. Лежа на диване, Уилфрид раздумывал, не увеличить ли объем этой книжки, включив туда самую длинную и как будто бы самую лучшую из его поэм — отголосок той самой истории; как жаль, что ее нельзя напечатать... Недаром его не раз подмывало разорвать эти стихи, уничтожить бесследно, стереть всякую память о том, что произошло... Но ведь в поэме он пытается оправдаться в том, чего, как он надеется, никто не узнает. Разорвать стихи — значит лишить себя защиты, ведь без них он не сможет восстановить в памяти, что он чувствовал, когда перед ним встал выбор. У него не будет лекарства от угрызений совести, единственного оружия против призраков прошлого. Ему часто казалось, что, если он не заявит во всеуслышание о том, что с ним случилось, он никогда больше не почувствует себя хозяином своей души.

Перечитывая стихи, он думал: «Это куда лучше и глубже, чем та проклятая поэма Лайелла»¹. И без всякой видимой связи вспомнил девушку, которую встретил вчера. Как странно, что он запомнил ее; тогда, на свадьбе Майкла, она показалась ему юной и светящейся, как Венера Боттичелли или какая-нибудь из его мадонн и ангелов, — все они похожи друг на друга. Тогда она была прелестной девушкой. А теперь стала прелестной молодой женщиной, такой цельной, чуткой, с чувством юмора... Динни Черрел! Вот ей он мог бы показать свои стихи: она их поймет.

Потому ли, что он слишком много о ней думал, или потому, что ехал в такси, но Уилфрид опоздал и встретил Динни на пороге «Дюмуре», — она уже собиралась уйти.

Пожалуй, лучшее испытание женской натуры — это заставить женщину ждать вас на глазах у посторонних. Динни встретила его улыбкой.

— А я уже подумала, что вы про меня забыли.

— На улицах ужасная сутолока. И как не стыдно философам болтать, будто время — это пространство, а пространство — это время? Для того чтобы их опровергнуть, надо просто пригласить кого-нибудь обедать. Я рассчитал, что мне хватит десяти минут — ведь от Коркстрит надо проехать меньше мили, — и вот на десять минут опоздал! Простите, бога ради!

— По словам отца, теперь, когда вместо извозчиков ездят на такси, времени уходит по крайней мере на десять процентов больше. Вы помните, как выглядели извозчики?

— Еще бы!

— А вот я в их времена ни разу не бывала в Лондоне.

— Если вам знаком этот ресторан, ступайте вперед! Мне о нем говорили, но я тут еще не был.

— Надо спуститься в подвал. Кухня здесь французская.

Сняв пальто, они уселись за столик в самом конце зала.

— Мне что-нибудь легкое, — сказала Динни. — Ну, скажем, холодного цыпленка, салат и кофе.

¹ Л а й е л л Альфред (1835—1911) — государственный деятель, поэт и автор ряда книг об Индии. Имеется в виду поэма «Богословие под страхом смерти», в которой герою, под страхом смерти, предлагают перейти в мусульманскую веру.

— Вы нездоровы?
— Нет, это природный аскетизм.
— Понятно. У меня тоже. Вина пить не будете?
— Нет, спасибо. А когда мало едят, это хорошо? Как по-вашему?
— Нет, если это делают из принципа.
— А вы не любите, когда что-нибудь делают из принципа?
— Я принципиальным людям не верю, уж больно они кичатся своей добродетелью.

— Не надо так обобщать. У вас вообще есть к этому склонность, правда?

— Я подразумевал людей, которые не едят, чтобы не ублажать свою плоть. Вам, надеюсь, не это мешает?

— Что вы! — воскликнула Динни. — Я просто не люблю наедаться. А мне для этого немного надо. Я еще не очень хорошо знаю, как ублажают плоть, но это, наверно, приятно.

— Пожалуй, только это и приятно на свете!

— Поэтому вы пишете стихи?

Дезерт расхохотался.

— По-моему, и вы могли бы писать стихи.

— Не стихи, а вирши.

— Лучшее место для поэзии — пустыня. Вы бывали в пустыне?

— Нет. Но мне очень хочется. — И, сказав это, Динни сама удивилась, вспомнив, как ее раздражал американский профессор и его «бескрайние просторы прерий». Впрочем, трудно было себе представить людей более несхожих, чем Халлорсен и этот смуглый мятущийся человек, который сидел напротив, уставившись на нее своими странными глазами, так что по спине у нее снова побежали мурашки. Разломив булочку, она сказала:

— Вчера я ужинала с Майклом и Флер.

— Да? — Губы его скривились. — Когда-то я вел себя из-за Флер как последний дурак. Она великолепна — в своем роде, правда?

— Да. — Но взгляд ее предостерегал: «Не вздумайте говорить о ней гадости!»

Изумительная оснастка и самообладание.

— Думаю, что вы ее плохо знаете, — сказала Динни. — А я не знаю совсем.

Он наклонился к ней поближе.

— Верная душа! Где вы этому научились?

— Девиз моего рода: «Верность», — правда, это могло бы меня от нее отвести.

— Боюсь, я не понимаю, что такое верность, — произнес он отрывисто. — Верность — чему? кому? Все так зыбко на этом свете, так относительно. Верность — это свойство косного ума либо попросту предрассудок и уж во всяком случае — отказ от всякой любознательности.

Но ведь чему-то на свете стоит соблюдать верность? Ну хотя бы кофе или религии...

Он поглядел на нее так странно, что Динни даже перепугалась.

— Религии? А вы верите в бога?

— В общем, кажется, да.

— Как? Неужели для вас приемлемы догмы какой-нибудь веры? Или вы считаете, что одна легенда заслуживает большего доверия, чем другая? Вам кажется, что именно это представление о непознаваемом более основательно, чем все остальные? Религия! У вас же есть чувство юмора. Неужели его не хватает, когда дело доходит до религии?

— Хватает, но религия, по-моему,— просто ощущение какого-то всеобъемлющего духа и вера в моральные устои, которые лучше всего служат этому духу.

— Гм... Это довольно далеко от обычных представлений, но почему вы знаете, что лучше всего служит вашему всеобъемлющему духу?

— Это я беру на веру.

— Ну, вот тут мы и не сошлись. Послушайте!— сказал он,— и ей почудилось, что в голосе его зазвучало волнение.— К чему тогда наш рассудок, наши умственные способности? Каждая проблема, которая возникает передо мной, существует для меня сама по себе, но потом я их складываю, получаю результат, а потом — действую. Я действую в соответствии с осознанным представлением о том, как мне лучше поступить.

— Лучше для кого?

— Для себя и для всего мира в целом.

— А что важнее?

— Это одно и то же.

— Всегда? Сомневаюсь. Но, во всяком случае, вам каждый раз приходится складывать такой длинный столбец цифр, что у вас не остается времени действовать. А так как нравственные правила и есть результат бесчисленных решений тех же проблем, принятых людьми в прошлом, почему же не брать их на веру?

— Ни одно из этих решений не было принято человеком моего склада или в таких же точно обстоятельствах.

— Да, это правда. Значит, вы пользуетесь тем, что принято звать «обычным правом». Вот тут вы — типичный англичанин!

— Простите!— вдруг прервал ее Дезерт.— Вам, наверно, скучно. Вы будете есть сладкое?

Динни облокотилась на стол и, подперев руками подбородок, внимательно на него посмотрела.

— Нет, мне совсем не скучно. Наоборот, вы меня ужасно интересуете. Мне только кажется, что женщины в своих поступках куда меньше рассуждают; они редко считают себя исключением из общего правила, как мужчины, и охотнее доверяют своей интуиции, которая выработалась опытом, накопленным поколениями.

— Да, прежде женщины поступали так; не знаю, как они будут вести себя впредь.

— Думаю, что так же,— сказала Динни.— Не верю, что нам когда-нибудь захочется заниматься сложением. Я с удовольствием съем сладкое. Ну хотя бы компот из слив.

Дезерт с изумлением поглядел на нее и расхохотался.

— Вы удивительная женщина! Я тоже буду есть компот. Скажите, в вашей семье соблюдают этикет?

— Не очень, но у нас верят в традиции и в прошлое.

— А вы?

— Не знаю. Я люблю старые вещи, старые дома и старых людей. Я люблю все, на чем лежит печать прошлого, как на старинной монете. Я люблю чувствовать, что у меня есть глубокие корни. Меня всегда увлекала история. Но во всем этом есть и смешная сторона. Ну разве не смешно, что все мы не можем преступить запретную черту?

Дезерт протянул ей руку, и она положила в его руку свою.

— Пожмем друг другу руки, у нас с вами хотя бы есть спасительное чувство юмора!

— Когда-нибудь, — сказала Динни, — вы мне все же ответите на один вопрос. А пока — на какой спектакль мы пойдем?

— Вы не слышали, идет где-нибудь пьеса некоего Шекспира?

Они выяснили, хотя и не без труда, что одно из бессмертных творений величайшего драматурга мира играют в маленьком театре на окраине. Когда кончился спектакль, Дезерт нерешительно спросил:

— А вы не зайдете ко мне выпить чаю?

Динни с улыбкой кивнула и с этой минуты почувствовала, что отношение его к ней изменилось, в нем теперь сквозила и какая-то близость, и почтительность, словно он сказал себе: «Вот эта — мне ровня».

Они пили чай, поданный Стаком — человеком со странными проницательными глазами, чем-то смахивающим на монаха, и Динни чувствовала себя превосходно. Ей казалось, что это — лучший час в ее жизни, и когда он прошел, Динни поняла, что влюбилась. Крошечное зернышко, брошенное десять лет назад, дало ростки. Это было чудо, особенно для нее, которая, дожив до двадцати шести лет, решила, что уже никогда не полюбит; время от времени Динни переводила дыхание и с изумлением вглядывалась в лицо Уилфрида. Господи, откуда взялось в ней это чувство? Какая глупость! Оно непременно заставит ее страдать, ведь он-то ее не полюбит. С чего бы ему ее полюбить? А если он не полюбит, — ей надо скрывать свое чувство, а как же его можно скрыть?

— Когда я опять вас увижу? — спросил он, когда Динни поднялась, чтобы уйти.

— А вы этого хотите?

— Необычайно.

— Почему?

— А почему же нет? Вы — первая настоящая дама, которую я вижу за последние десять лет. А может, первая, которую я видел вообще.

— Если вы хотите, чтобы мы с вами виделись, не смейтесь надо мной.

— Смеяться над вами? С какой же стати? Итак, когда?

— Ну что ж! В данное время я ночую в чужой рубашке на Маунт-стрит. По существу мне бы полагалось быть в Кондафорде. Но сестра моя на будущей неделе выходит замуж здесь в Лондоне, а брат в понедельник приезжает из Египта, поэтому я, наверно, пошлю за своими вещами и останусь в городе. Где бы вам хотелось меня видеть?

— Давайте завтра покатаемся. Я целую вечность не был в Ричмонде и Хемптон-корте.

— А я не была ни разу.

— Вот и прекрасно! Я приду за вами к памятнику Фошу в два часа, в любую погоду.

- Я с радостью поеду с вами, мой юный рыцарь.
- Великолепно!— Он вдруг склонился, взял ее руку и коснулся ее губами.
- Вы очень учтивы,— сказала Динни.— До свиданья!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Динни была так поглощена своими тайными переживаниями, что ее влекло к уединению, но она была приглашена ужинать к Адриану Черрелу. После его женитьбы на Диане Ферз они выехали из дома на Оклестрит, с которым были связаны такие грустные воспоминания, и скромно обосновались на одной из просторных площадей Блумсбери — в районе, к которому возвращался былой аристократизм, утраченный в тридцатые и сороковые годы девятнадцатого века. Дом выбрали за его близость к «ископаемому», ибо Адриан считал, что в его возрасте надо дорожить каждой минутой, проведенной с женой. Могучее здоровье, которое дядя обрел, как и предсказывала Динни, прожив год в Нью-Мехико с профессором Халлорсеном, проявлялось в темном загаре на изрезанных морщинами щеках и улыбке, теперь гораздо чаще освещавшей худое лицо. Динни с удовольствием вспоминала, что это она дала дяде верный совет, которого он, к счастью, послушался. И к Диане возвращалась былая живость, которая до ее брака с беднягой Ферзом помогала ей блистать в обществе. Но не очень светская профессия Адриана и постоянная потребность быть вместе не позволяли Диане вернуться в этот священный круг избранных. Да и ее самое все больше привлекала роль жены и матери. Пристрастная к Адриану племянница считала такое влечение совершенно естественным. По дороге к ним она обдумывала, стоит ли ей рассказать, как она провела сегодняшний день. Враг недо молвок и хитростей, она решила быть откровенной. «К тому же,— рассудила она,— влюбленные девицы обожают посудачить о предмете своих вздыханий». И потом, если ей будет уж слишком тяжело без наперсницы, дядя Адриан заменит ее как нельзя лучше; во-первых, потому, что он хорошо знает Восток, но главным образом потому, что он — дядя Адриан.

За столом, естественно, заговорили прежде всего о замужестве Клер и возвращении Хьюберта. Динни была встревожена выбором сестры. Сэру Джеральду (Джерри) Корвену уже стукнуло сорок; это был подвижной человек среднего роста с решительным, даже дерзким лицом. Динни признавала, что в нем много обаяния, но боялась, что его даже чересчур много. В министерстве колоний он занимал видное положение и был одним из тех людей, о ком говорят, что «они далеко пойдут». Динни беспокоило, не слишком ли Клер на него похожа,— такая же бесстрашная, яркая, готовая все поставить на карту; к тому же она моложе своего будущего мужа на целых семнадцать лет. Но Диана, хорошо знавшая жениха, сказала:

— Разница в семнадцать лет — это для них благо. Джерри нужно остепениться. Если он к тому же будет ей и отцом, брак может оказаться счастливым. Чего только он не перепробовал на своем веку! И я рада, что они едут на Цейлон.

— Почему?

— Подальше от прошлого.

— А у него богатое прошлое?

— Душенька, сейчас он очень влюблен, но с такими людьми, как Джерри, при его обаянии и врожденной страсти играть с огнем, никогда нельзя быть спокойной.

— Брак всех нас превращает в трусов, пробормотал Адриан.

— Ну, Джерри Корвена не напугаешь, его влечет к опасности, как золотую рыбку к мотылю. А Клер небось от него без ума?

— Да, но Клер и сама любит играть с огнем.

— И тем не менее, — заметил Адриан, — оба они, по-моему, люди не очень-то современные. У обоих есть голова на плечах, и оба не ленятся шевелить мозгами.

— Ты прав, дядя, Клер берет от жизни все, что может, но при этом у нее — какая-то неистощимая жизненная энергия! Из нее может выйти вторая Эстер Стенхоп¹.

— Ты умница! Но для этого ей сперва надо выгнать Джерри Корвена. А тут, если не ошибаюсь, ей может помешать ложный стыд.

Динни с удивлением смотрела на дядю.

— Ты так говоришь потому, что знаешь Клер, или потому, что в тебе говорит кровь Черрелов?

— Потому, что в ее жилах течет кровь Черрелов, дорогая.

— Ложный стыд... — прошептала Динни. — Вот у тети Эм его, по-моему, нет. А между тем она такая же типичная Черрел, как и мы все.

— Эм напоминает мне части скелета, которые никак не складываются друг с другом, — сказал Адриан. — Да, ты не поймешь, что это был за зверь. А ложный стыд — свойство заурядного организма.

— Фу, Адриан, — заворчала Диана, — не смей говорить о костях за обедом. Когда приезжает Хьюберт? Мне ужасно хочется повидать его и Джин. Интересно, кто у кого под башмаком после полуторагодового блаженства в Судане?

— Конечно, Хьюберт у Джин, — сказал Адриан.

Динни покачала головой.

— А по-моему, нет, дядя.

— Тут говорит твое сестринское самолюбие.

— Нет. Хьюберт более последователен. Джин кидается на все, и ей надо все сразу перевернуть; но руль в руках у Хьюберта, в этом я уверена. Дядя, а где находится Дарфур?

— На западе Судана; большая часть его — пустыня, и, насколько я знаю, малодоступная. А что?

— Я сегодня обедала с мистером Дезертом, помнишь, он был шафером Майкла? Он называл это место.

— А Дезерт там был?

— По-моему, он изъездил весь Ближний Восток.

— Я знаю его брата, — сказала Диана. — Чарльз Дезерта. Это один из самых неприятных у нас молодых политических деятелей. Наверняка будет министром просвещения, если победят консерваторы. Ну, тогда

¹ Стенхоп Эстер (1776—1839) — английская путешественница.

лорд Маллион окончательно станет отшельником. Уилфрида я никогда не встречала. Он симпатичный?

— Да как тебе сказать,— протянула Динни, стараясь казаться равнодушной.— Я только вчера с ним познакомилась. Он похож на пирог с сюрпризом: откусишь кусок и надеешься. Сумеешь съесть весь пирог — твое счастье!

— Я бы тоже хотел с ним познакомиться,— сказал Адриан.— Он хорошо воевал, и я читал его стихи.

— Правда? Я могу вас познакомить, мы сейчас видимся чуть не каждый день.

— Да ну?— поглядел на нее Адриан.— Мне бы хотелось поговорить с ним о хеттах. Надеюсь, ты знаешь, что те характерные черты, которые у нас принято считать еврейскими, на самом деле, если судить по древним рисункам, принадлежат хеттам?

— Но разве эти народы не произошли от одного корня?

— Ничуть. Евреи Израиля были арабами. Кем были хетты, нам еще неизвестно. Современные евреи как здесь, так и в Германии, по-видимому, больше хетты, чем семиты.

— Дядя, а ты знаешь мистера Джека Маскема?

— Только понаслышке. Он — двоюродный брат Лоренса и знаток лошадей. Мне говорили, что он ратует за новое скрещивание арабских скакунов с нашими. Было бы неплохо, если взять лучших производителей. Дезерт-младший бывал в Неджде? По-моему, только там и водятся арабские племенные кони.

— Не знаю. А где Неджд?

— В центре Аравии. Но Маскем никогда ничего не добьется; никто его не поддержит: нет человека более консервативного, чем великосветский лошадиник. Да и сам он, видно, такой же чистопородный консерватор, если не считать этого его пунктика.

— Джек Маскем когда-то был влюблен в одну из моих сестер,— сказала Диана.— И эта романтическая страсть сделала его женоненавистником.

— Интересно, но не очень понятно.

— У него хорошая внешность,— сказала Динни.

— Умеет носить костюм и слывет врагом всяких новшеств. Я много лет его не видела, но раньше знала довольно близко. А почему ты о нем спрашиваешь?

— Просто я на днях его встретила, и он меня заинтересовал.

— Возвращаясь к хеттам,— сказала Диана,— я думаю, что в таких старых корнуэльских семьях, как Дезерты, течет финикийская кровь. Посмотрите на лорда Маллиона. Какой странный тип!

— Не выдумывай, детка! В простонародье куда легче заметить следы финикийских предков. Дезерты столетиями женились на некорнуэльцах. Чем выше социальный уровень, тем труднее сохранить чистоту породы.

— А разве это старинный род?— спросила Динни.

— Древний, как мир, и полный чудаков. Но ты ведь знаешь, как я смотрю на родовитые семьи.

Динни кивнула. Она отлично помнила их разговор на набережной Челси вскоре после возвращения Ферза. И теперь она с нежностью поглядывала Адриану в глаза. Как хорошо, что ему наконец досталось то, чего он так добивался...

Когда Динни вернулась на Маунт-стрит, дядя и тетя уже поднялись к себе, но дворецкий сидел в прихожей. Увидев ее, он встал.

— Я не знал, что у вас есть ключ, мисс.

— Мне ужасно жаль, что я вас потревожила, Блор, вы так сладко дремали.

— И вправду вздремнул, мисс Динни. В мои годы, — когда-нибудь вы и сами узнаете, — то и дело тянет соснуть в неподходящее время. Вот, к примеру, сэр Лоренс: сон у него по ночам неважный, но стоит мне зайти в его кабинет, когда он работает, и я всегда замечаю, что он только-только открыл глаза. Ну, а что касается леди Монт, то хотя она всегда проспит свои восемь часов без отказа, а все равно то и дело дремлет, и чаще когда с ней кто-нибудь разговаривает, особенно священник из Липпингхолла, мистер Тасборо, — такой вежливый, старый джентльмен, но уж очень он на нее действует в этом смысле! И взять даже мистера Майкла, — но он-то сидит в парламенте, там у них у всех, видно, такая привычка... А все же, мисс, то ли война виновата, то ли людям теперь надеяться не на что и все кругом только одна суматоха, но, как говорится, имеет народ склонность ко сну! Да и не так уж это плохо. Вот я, к примеру, совсем было сомлел, а чуть-чуть всхрапнул, и могу теперь разговаривать с вами хоть до самого утра.

— Да и я была бы рада с вами поговорить, Блор. Но пока еще меня больше клонит ко сну по ночам.

— Погодите, выйдете замуж, все переменится. Но надеюсь, вы с этим торопиться не станете. Вечером я как раз говорю миссис Блор: «Если мисс Динни от нас уйдет, ох и скучно же будет, она ведь у нас, что называется, душа общества!» Мисс Клер я редко вижу, ее замужество меня не больно печалит; но вот вчера я слышал, что леди и леди предлагает отведать семейную жизнь. Я и говорю миссис Блор: «Мисс Динни у нас все равно что дочь родная», — и... ну, сами знаете, мисс, мое к вам отношение.

— Блор, миленький! Простите, но я должна идти, я сегодня ужасно устала!

— Конечно, конечно, мисс. Приятных сновидений!

— Спокойной ночи!

Приятных сновидений? Они-то, может, и будут приятными, а вот действительность? В какую неведомую страну она отважилась пуститься, а ведь путь ей туда указывает одна-единственная звезда. Да и звезда ли это или только на миг вспыхнувший метеор? На ее руку претендовало уже человек пять, но все они казались ей такими простыми и понятными, что брак с ними не сулил никаких опасностей. А вот теперь ей самой хочется выйти замуж, но она ничего не знает об этом человеке, он только разбудил в ней чувство, какого она еще никогда не испытывала. Жизнь — ехидная штука! Опустить руку в мешок с сюрпризами, а что оттуда вытянешь? Завтра она пойдет с ним гулять. Они вместе увидят деревья, траву, зеленые лачи, сады, может быть, картины, увидят реку

и цветущие яблони. Тогда она поймет, созвучны ли их души во всем, что ей дорого. А если и не созвучны, разве это что-нибудь изменит? Нет, не изменит.

«Теперь я поняла,— подумала Динни,— почему влюбленных зовут безумцами. Мне ведь надо только одно: чтобы он чувствовал то же, что чувствую я. Но, конечно, этого не будет,— с чего бы ему вдруг обезуметь?»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поездка в Ричмонд-парк через Хем-коммон и Кингстон-бридж до Хемптон-корта и назад через Туикенхем и Кью отличалась тем, что приступы разговорчивости перемежались у них долгими паузами. Динни взяла на себя роль наблюдателя, предоставив Уилфриду вести беседу. Проснувшееся чувство сковывало ее, он же мог раскрыться, только если дать ему полную свободу, иначе из него ничего не вытянешь. Они, как водится, заблудились в лабиринте Хемптон-корта, откуда, как сказала Динни, «могут выбраться только пауки, разматывая свою паутину, или хвостатые призраки, оставляя за собой след в пыли».

На обратном пути они остановились возле Кенсингтонского парка, отпустили такси и зашли в кафе. Глотая золотистый напиток, он вдруг спросил, не хочет ли она прочесть его новые стихи в рукописи.

— Конечно, хочу. С радостью.

— Но мне нужно откровенное мнение.

— Хорошо. А когда вы мне их дадите?

— Я занесу их на Маунт-стрит после ужина и опущу в почтовый ящик.

— Может, на этот раз вы к нам зайдете?

Он покачал головой.

Прощаясь возле Стенхоп-гейт, он вдруг сказал:

— Я чудесно провел день. Спасибо!

— Это я должна вас благодарить.

— Вы? У вас, небось, друзей не меньше, чем иголок у дикобраза.

А я — одинокий пеликан.

— Прощайте, пеликан!

— Прощайте, моя пустыня в цвету!

И слова эти, как музыка, звучали всю дорогу до Маунт-стрит.

Около половины десятого с вечерней почтой подали пухлый конверт без марки. Динни взяла его у Блора и, сунув под «Мост короля Людовика Святого»¹, продолжала слушать тетю Эм.

— Когда я была девушкой, я затягивала талию так, что уж и дышать не могла. Мы страдали за идею. Говорят, будто скоро эта мода вернется. Я-то уж не стану — жарко и стесняет, а тебе, видно, придется.

— Ни за что.

— Когда талия встанет на место, еще как будут затягиваться.

— Нет, тетя, по-настоящему тонкая талия уже не вернется.

¹ Роман американского писателя Торнтон Уайлдера (1897—1975).

— А шляпы? В тысяча девятисотом мы были похожи на рюмки для яиц с лопнувшим яйцом. Огромные кочаны цветной капусты, гортензии, хищные птицы... Так и торчали. Рядом с нами сады казались совсем голыми. Тебе идет цвет морской волны, непременно шей себе такое подвенечное платье.

— Я, пожалуй, лягу, тетя. Что-то я сегодня устала.

— Оттого что мало ешь.

— Я ужасно много ем. Спокойной ночи.

У себя в комнате Динни поспешно разорвала конверт, волнуясь, что стихи ей не понравятся, и зная, что он сразу же заметит малейшую неискренность. К счастью, интонация была та же, что и в стихах, которые она читала прежде, но тут было меньше горечи и больше красоты. Когда Динни прочла всю пачку листков, она увидела, что к ним подложена обернутая в чистую бумагу большая поэма под названием «Леопард». Почему она была завернута отдельно — для того, чтобы Динни ее не читала? Но тогда зачем он положил ее в конверт? Динни решила, что Уилфрид сомневался, дать ли ей поэму, но все же хотел услышать ее приговор. Под заголовком было написано:

«Может ли леопард смыть свои пятна?»

В стихах говорилось о молодом монахе, втайне потерявшем веру, которого посылают проповедовать слово божье. Попад в плен к неверным, он должен выбрать между смертью и отречением. Монах отрекается и переходит в чужую веру. В поэме были строфы, исполненные такой страсти и глубины, что у Динни защемило сердце. Стихи покорили ее силой и вдохновением: это был гимн, воспевающий презрение к условностям и первозданную радость жизни, сквозь которую слышится стон человека, сознающего, что он предатель. Динни была захвачена этой борьбой противоречивых чувств и дочитала поэму чуть ли не с благоговением перед тем, кто сумел выразить такой глубочайший душевный разлад. К этому примешивалась и жалость: что он должен был испытать, прежде чем написать эти стихи? В ней проснулось материнское желание уберечь его от душевных мук и злых страстей.

Они условились встретиться завтра в Национальной галерее, и Динни пошла туда пораньше, взяв с собой рукопись. Дезерт нашел ее возле «Математика» Беллини. Они молча постояли у картины.

— Тут есть все: правда жизни, мастерство и живописность. Вы прочли мои стихи?

— Да. Посидим, они у меня с собой.

Они сели, и Динни отдала ему конверт.

— Ну как? — спросил Дезерт, и она заметила, что губы у него подергиваются.

— По-моему, очень хорошо.

— Правда?

— Правда истинная. Одно, конечно, самое лучшее.

— Какое?

Динни улыбнулась, словно говоря: «Вы сами знаете».

— «Леопард»?

— Да. Мне даже больно было читать.

— Тогда, может, лучше его сжечь?

Она интуитивно почувствовала, что он сделает так, как она скажет, и беспомощно спросила:

— Вы ведь все равно меня не послушаетесь?

— Как вы скажете, так и будет.

— Вы не можете его сжечь. Это лучшее, что вы написали.

— Слава аллаху!

— Неужели вы сами этого не понимаете?

— Уж очень все обнажено.

— Да,— сказала Динни.— Но прекрасно. А если что-нибудь обнажено, оно обязано быть прекрасным.

— Ну, сейчас так думать не принято.

— Почему? Цивилизованный человек прав, когда старается прикрыть свои уродства и язвы. На мой взгляд, в дикарстве нет ничего хорошего, даже когда речь идет об искусстве.

— Вам грозит отлучение от церкви. Уродству сейчас поют осанну.

— Реакция на приторную красоту,— тихонько сказала Динни.

— Вот-вот! Те, кто стал ее насаждать, согрешили против духа святого и оскорбили малых сих.

— По-вашему, художники — это дети?

— А разве нет? Не то почему бы они себя так вели?

— Ну да, они любят игрушки. А как родился замысел этой поэмы?

Лицо его сразу стало похоже на взбаламученный темный омут, как тогда, когда Маскем заговорил с ними возле памятника Фошу.

— Может... когда-нибудь расскажу. Давайте пройдемся по залам?

Когда они расставались, Дезерт сказал:

— Завтра воскресенье. Я вас увижу?

— Если хотите.

— Пойдем в зоопарк?

— Нет, только не в зоопарк. Я ненавижу клетки.

— Правильно. А в Голландский сад возле Кенсингтонского дворца?

— Хорошо.

И там они встретились в пятый раз.

Для Динни эти встречи были похожи на череду погожих дней: ночью засыпаешь с надеждой, что и завтра будет ясно, а наутро, протерев глаза, видишь, что светит солнце.

Каждый день, в ответ на его вопрос: «А завтра я вас увижу?» — она отвечала: «Если хотите»; каждый день она старательно скрывала от всех, с кем встречается, где и когда, и все это было так на нее непохоже, что она даже подумала: «Кто эта молодая женщина, которая украдкой убегает из дому, встречается с молодым человеком и возвращается, ног под собой не чуя от счастья? Может, мне просто снится длинный-длинный сон? Только во сне не едят холодных цыплят и не пьют чаю».

Когда в прихожую на Маунт-стрит вошли Хьюберт и Джин, — они собирались погостить тут, пока не обвенчается Клер, — Динни особенно остро почувствовала, как она изменилась. Увидев любимого брата впервые после полутора лет разлуки, Динни, казалось, должна была затрепетать от радости. А она невозмутимо поздоровалась с ним и даже

осмотрела его без малейшего волнения. Выглядел он превосходно, загорел, поправился, но стал как-то проще, обыкновеннее. Она убеждала себя, что в этом виновато его теперешнее благополучие, женитьба и возвращение в армию, но в глубине души понимала, что просто сравнивает его с Уилфридом. Она вдруг поняла, что Хьюберт не способен на глубокие душевные переживания; он из той породы людей, которую она хорошо знала, — люди эти всю жизнь идут по проторенной дорожке и не задают себе мучительных вопросов. С появлением Джин их отношения с братом разительно переменились. Они уже никогда не будут друг для друга тем, чем были до его женитьбы. Радостно оживленная Джин просто сияла. Они летели от Хартума до самого Кройдона, всего с четырьмя посадками! Динни с тревогой заметила, что слушает их равнодушно, хотя и делает вид, что живо интересуется их делами. Вдруг упоминание о Дарфуре заставило ее насторожиться. Дарфур — это то самое место, где с Уилфридом что-то произошло. Там, рассказывал брат, все еще встречаются последователи Махди¹. Заговорили о Джерри Корвене. Хьюберт восторгался одной из его эскапад. Джин объяснила, о чем идет речь. Жена заместителя окружного комиссара совсем потеряла из-за него голову. Поговаривали, будто Джерри Корвен вел себя не очень красиво.

— Что поделаешь, что поделаешь! — сказал сэр Лоренс. — Джерри — пират, и дамам опасно терять из-за него голову.

— Да, — согласилась Джин. — Глупо в наши дни во всем винить мужчин.

— В прежние времена, — задумчиво сказала леди Монт, — атаку вели мужчины, а вину в этом женщин, теперь первые наступают женщины, а винят мужчин. — Неожиданная логичность этого заявления заставила всех замолчать, но тетя Эм тут же добавила: — Как-то раз я видела двух верблюдов. Помнишь, Лоренс, они были такие миленькие?

Джин оторопела, Динни только улыбнулась, а Хьюберт вернулся к прежней теме разговора.

— Не знаю, — сказал он, — но ведь Джерри женится на моей сестре!

— Клер в долгу не останется, — сказала леди Монт. — Это когда носы горбатые. Священник говорит, — обратилась она к Джин, — что у Тасборо совсем особенные носы. А у вас нет. Он морщится. И у вашего брата Алана он тоже чуть-чуть морщился. — Она поглядела на Динни. — Подумать только, в Китае! Я же говорила, что он женится на дочке судового казначея!

— Господи! Он и не думал жениться! — закричала Джин.

— Нет. А они очень милые девушки. Не то что дочки священников.

— Вот спасибо!

— Да я о тех, уличных. Они всегда рассказывают, что папа у них священник, когда хотят с кем-нибудь познакомиться. Неужели вы не слышали?

— Тетя Эм, Джин ведь сама дочка священника! — сказал Хьюберт.

¹ Махди Мухаммед-Ахмед (1848 -- 1885) — вождь народного восстания суданцев против английских колонизаторов.

— Но вы уже два года женаты! Кто это сказал: «И будут они плодиться и размножаться»?

— Моисей? спросила Динни

— А почему бы и нет?

Взгляд тети Эм остановился на Джин, та густо покраснела. Сэр Лоренс поспешил вмешаться:

— Надеюсь, Хилари так же быстро обвенчает Клер, как вас с Джин, Хьюберт. Тогда он поставил рекорд.

— У Хилари такие дивные проповеди,— сказала леди Монт.— Когда умер Эдуард ¹, он говорил о царе Соломоне во всем его блеске и славе. Очень трогательно! А когда мы повесили Кейзмента ²,— помните, какая эта была глупость?— о бревне и сучке. Он тогда был у нас в глазу.

— Если бы я могла любить проповеди,— сказала Динни,— я любила бы только проповеди дяди Хилари.

— Да,— сказала леди Монт,— он умудрялся стащить больше леденцов, чем любой другой мальчишка, а вид у него был ангельский. Тетя Уилмет и я, бывало, держали его за ноги вниз головой,— знаете, как щенка,— думали, он хоть что-нибудь отдаст, но нет, он так никогда ничего и не отдавал.

— Ну и семейка же у вас была, тетя Эм!

— Не говорите! Отец наш — не тот, что на небесах,— старался видеть нас пореже. Мама, бедняжка, ничего не могла поделать. У нас совсем не было чувства долга.

— Зато теперь у вас его хоть отбавляй; странно, правда?

— А у меня есть чувство долга, Лоренс?

— Безусловно, нет.

— Я так и думала.

— Но, дядя Лоренс, разве, по-твоему, у Черрелов не слишком сильно развито чувство долга?

— Разве оно может быть слишком сильным?— спросила Джин. Сэр Лоренс поправил монокль.

— Ты ударила в ересь, Динни.

— Но ведь в чувстве долга и в самом деле есть какая-то узорность. И отец, и дядя Лайонел, и дядя Хилари, и даже дядя Адриан раньше всего думают о том, что они должны делать. Они пренебрегают своими желаниями. Это, конечно, красиво, но довольно скучно.

Сэр Лоренс выронил монокль.

— Твоя родня, Динни,— сказал он,— типичные мандарины. На них зиждется империя. Все наши знаменитые школы — Осборн, Сандхерст,— да что там, разве только это? От поколения к поколению, с младенческих лет. Впитано с молоком матери: служение церкви и государству — очень любовытно! Теперь это редкость. Весьма похвально!

— Особенно если благодаря этому они могут держаться на верхней ступеньке лестницы! — пробормотала Динни.

— Чушь!— воскликнул Хьюберт. — Как будто в армии об этом думают!

¹ Английский король Эдуард VII (1841—1910).

² Кейзмент Роджер Дэвид (1864—1916) — ирландский революционер, казненный англичанами.

— Ты не думаешь потому, что тебе незачем, а если понадобится, еще как будешь думать!

— Туманно,— возразил сэр Лоренс.— Ты хочешь сказать, что если что-нибудь будет грозить их благополучию, они взбунтуются, говоря, что без них нельзя обойтись, ибо они — «соль земли»?

— А разве они — соль земли, дядя?

— У кого ты набралась этих идей, деточка?

— Ни у кого. Просто иногда хочется подумать самой.

— Как это грустно,— сказала леди Монт.— Русская революция и все прочее...

Динни чувствовала на себе взгляд Хьюберта, который не понимал, что на нее нашло.

— Из обода всегда можно вынуть втулку,— сказал он.— Но колесо свалится.

— Правильно!— воскликнул сэр Лоренс.— Зря думают, что так легко подменить одну породу людей другой или наспех вывести новую. Барство — вещь врожденная, а не приобретенная, конечно, если добавить сюда и ту атмосферу, в которой ребенок живет с самого рождения. И, на мой взгляд, порода эта вымирает удивительно быстро. Жаль, что ее нельзя как-нибудь сохранить,— ведь можно было бы устроить для бар особые заповедники, как это делают с бизонами!

— Нет,— заявила леди Монт.— Не буду.

— Что, тетя Эм?

— Пить в среду шампанское. Гадость, и еще пузырится!

— А разве непременно нужно пить шампанское?

— Я боюсь Блора. Он так к нему привык. Если я скажу, что не надо, он все равно его подаст.

— Динни, ты что-нибудь слышала о Халлорсене?— вдруг спросил Хьюберт.

— С тех пор как вернулся дядя Адриан — ничего. По-моему, он где-то в Центральной Америке.

— Он был такой большой,— сказала леди Монт.— Две девочки Хилари, Шейла, Силия и маленькая Анна,— это пять; я рада, Динни, что дело обойдется без тебя. Конечно, это чистое суеверие...

Динни откинулась назад, и на ее шею упал луч света от лампы.

— Хватит, я уже была подружкой на чужой свадьбе, тетя Эм...

Наутро, когда Динни встретила с Уилфридом в галерее Уоллеса, она спросила его:

— Может, вы завтра придете в церковь на венчание Клер?

— У меня нет ни фрака, ни цилиндра: я подарил их Стаку.

— Я так хорошо помню, какой вы были в тот раз. На вас был серый галстук и гардения в петлице.

— А на вас — платье цвета морской волны.

— «Eau-de-Nil». Мне хочется, чтобы вы поглядели на моих родных,— они все будут там; потом мы сможем о них посудачить.

— Я проберусь туда, где стоят «и другие». Надеюсь, никто меня не заметит.

«Кроме меня»,— подумала Динни. Ну вот, теперь ей не придется

жить без него целый день!

С каждой встречей он как будто становился спокойнее; иногда он смотрел на нее так пристально, что у Динни колотилось сердце. Когда она смотрела на него, а это бывало редко, и так, чтоб он не заметил, взгляд у Динни казался таким безмятежным! «Какое счастье, что у нас есть хотя бы это преимущество перед мужчинами: мы всегда знаем, когда они на нас смотрят, и умеем смотреть на них так, что они об этом и не подозревают!»

Прощаясь, Дезерт спросил:

— Поедем в четверг снова в Ричмонд? Я приду за вами к Фошу в два часа, как в прошлый раз?

И она ответила:

Да.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Венчание Клер Черрел на Ганновер-сквер было «великосветским», и отчет о нем, вместе со списком гостей, должен был занять целую четверть колонки петитом. А, как заметила Динни, газетам только этого и надо.

Клер и ее родители с вечера прибыли из Кондафорда на Маунт-стрит. Провозившись с младшей сестрой все утро и пытаясь скрыть волнение шуткой, Динни приехала с матерью в церковь незадолго до невесты. Она задержалась у дверей бокового придела, здороваясь со старым слугой, и сразу же заметила Уилфрида. Он стоял у входа, откуда должна была появиться невеста, и смотрел на Динни. Она мельком улыбнулась ему и прошла вперед к матери, на переднюю скамью слева. Майкл прошептал, когда она шла мимо:

— А народу-то сколько набралось!

И правда: Клер знали многие, и она людям нравилась, Джерри Корвена знали еще больше народу, хотя он и нравился меньше. Динни рассматривала «зрителей» — трудно было назвать присутствующих на венчании «паствой». Какие разные лица, у каждого свой характер, — не подстрижешь под одну гребенку. Видно, у всех этих людей свои убеждения, свой взгляд на жизнь. Мужчин не отнесешь к какому-нибудь определенному типу, в них нет того унылого однообразия, какое отличает, например, кастовое немецкое офицерство. Рядом с ней и ее матерью на передней скамье сидели Хьюберт и Джин, дядя Лоренс и тетя Эм; за ними — Адриан с Дианой, миссис Хилари и леди Элисон. На два или три ряда дальше Динни заметила Джека Маскема — высокого, элегантного и немножко скучающего. Он кивнул ей, и Динни подумала: «Странно, как это он меня запомнил!»

Через проход сидели гости Корвена — такое же разнообразие характеров и лиц. За исключением Джека Маскема, жениха и его шафера, никто из мужчин не выглядел хорошо одетым или специально принарядившимся. Но по их лицам сразу скажешь, что все они твердо знают, во что верят и чего хотят. Ни одно из них не похоже на лицо Уилфрида, полное душевного разлада и внутренней борьбы, лицо мечтателя, страдальца, творца. «Я, кажется, брежу» — подумала Динни. Она взглянула на Адриана, сидевшего сразу за ней. Он и только улыбался в свою коз-

линую бородку, еще больше удлинявшую его худую, загорелую физиономию. «Какое у него милое лицо, — думала она, — и ни капли тщеславия, — а ведь оно всегда бывает у мужчин, которые отпускают такие бородки. Нет, он самый лучший человек на свете!» Она шепнула ему:

— Сегодня здесь собралась завидная коллекция ископаемых!

— Отдай мне свой скелетик, Динни!

— Нет уж! Меня сожгут и развеют прах по ветру. Тс-с!

Появился хор, а за ним священники. Джерри Корвен обернулся. Ох уж эти губы, и улыбается из-под тонких усиков, как кот, черты лица словно вырезаны из дуба, и какой дерзкий, пронзительный взгляд! Динни вдруг подумала с испугом: «Как Клер могла? Но мне, наверно, сейчас противно всякое лицо, кроме того, единственного. Я, видно, совсем свихнулась». Но вот по проходу, покачиваясь и опираясь на руку отца, проплыла Клер. «Вот красotka! Дай бог ей счастья!» У Динни от волнения сдавило горло, и она схватила за руку мать. Бедная мама! Как она побледнела! Ей-богу же, вся эта комедия — ужасная ерунда! Зачем разводить такую длинную церемонию? Сколько волнений! Слава богу, папин старый фрак выглядит совсем прилично. — она вывела пятна нашатырем; он стоит вытянувшись, совсем как на параде. Если у дяди Хилари не в порядке пуговицы, папа непременно это заметит. Но, кажется, на облачении не бывает пуговицы. Динни ужасно захотелось очутиться рядом с Уилфридом. Он, наверно, думает о чем-то своем, хорошем, и они улыбнутся друг другу тайком.

А вот и подружки! Ее двоюродные сестры, дочери Хилари — Моника и Джоан, тоненькие и очень деловитые, светленькая, как серафим, Силия Мористон (если серафимы бывают девочками), темноволосая, яркая Шейла Ферз, а сзади уточкой переваливается малютка Анна.

Опустившись на колени, Динни немножко успокоилась. Она вспомнила, как в детстве, когда Клер была трехлетней крошкой, а она «уже совсем большая», лет шести, они стояли на коленях в ночных рубашонках возле своих кроватей. Динни старалась опереться подбородком о край матраца, чтобы коленям было не так больно, а Клер стояла сложив ручонки, ну просто прелесть, как с картины Рейнольдса. «Этот человек будет ее мучить, — думала Динни. — Я знаю, будет!» Она снова вспомнила свадьбу Майкла десять лет назад. Вот там она стояла тогда, недалеко отсюда, рядом с какой-то незнакомой девушкой — родственницей Флер. И взгляд ее, с жадным любопытством молодости перебегавший с одного лица на другое, вдруг остановился на Уилфриде, который стоял сбоку, наблюдая за Майклом. Бедный Майкл! В тот день у него был совсем одуревший вид, — видно, счастье вскружило ему голову! Она ясно помнила, что подумала тогда: «Майкл и его падший ангел!» По лицу Уилфрида казалось, будто он навсегда отрешен от счастья, — взгляд у него был какой-то язвительный и в то же время тоскливый. Это было всего через два года после окончания войны, и теперь Динни понимала, какое беспросветное отчаяние владело им тогда, какое крушение всех надежд он переживал. Последние два дня он разговаривал с ней откровенно; он даже с иронией признался ей в своем увлечении Флер: он влюбился в нее через полтора года после ее свадьбы и бежал на Восток. Для Динни, которой к началу войны было всего десять лет, эти годы за-

помнились только тем, что мама все время волновалась из-за папы, беспрерывно что-то вязала, и весь дом превратился в склад мужских носков; все ненавидели немцев; ей запрещали есть конфеты, потому что их делали на сахарине, а потом все очень волновались, когда на фронт ушел Хьюберт, и письма от него приходили реже, чем хотелось. Но за последние несколько дней Динни отчетливее и острее поняла, что принесла война таким людям, как Майкл и Уилфрид, — они ведь провели в самом ее пекле несколько лет. Уилфрид образно рассказывал, как люди были оторваны от всего, к чему привыкли, как разительно переоценивались все ценности, как разьедало душу сомнение во всем, что было освящено веками и традицией. Только теперь, по его словам, он наконец выздоровел от войны. Ему казалось, что выздоровел, но и до сих пор какие-то нервы еще обнажены. И всякий раз, когда Динни его видела, ей хотелось положить прохладную руку на его разгоряченный лоб.

Кольцо было надето, роковые слова сказаны, заклинания произнесены; новобрачные прошли в ризницу. За ними отправились ее мать и Хьюберт. Динни сидела неподвижно, глядя в окно, выходящее на восток. Брак! Немыслимо! Если только... если не с одним-единственным из всех людей.

Кто-то сказал ей на ухо:

— Дай носовой платок. Мой совсем мокрый, а у дяди он синий.

Динни сунула тете Эм кусочек батиста и украдкой напудрила нос.

— А тебя пусть в Кондафорде. Динни, — продолжала тетя. — Столько народу, устаешь соображать, что они совсем не те, за кого ты их принимала. А ведь это была его мать, правда? Значит, она не умерла?

«Увижу я еще Уилфрида, хотя бы мельком?» — думала в это время Динни.

— Когда я выходила замуж, все меня целовали, — шептала леди Монт, — так неприлично! У меня была одна знакомая девушка, которая вышла замуж только для того, чтобы ее поцеловал шафер, Агги Тельюсон. Интересно: вот они возвращаются.

Ну да! Динни хорошо знала эту улыбку на лице невесты. Но неужели Клер счастлива, она же замужем не за Уилфридом! Динни пошла за родителями, рядом с Хьюбертом; брат шепнул ей:

— Не горюй, могло быть и хуже!

Поглощенная своей тайной, которая отгораживала ее от близких, Динни только сжала его пальцы. В это мгновение она увидела Уилфрида, — он стоял скрестив руки и смотрел на нее. Динни снова еле приметно ему улыбнулась, а потом началась уже полная неразбериха, от которой она пришла в себя только на Маунт-стрит. В дверях гостиной ее встретила тетя Эм.

— Стань рядом, Динни, и в случае чего утешь меня.

Стали съезжаться гости: Динни прислушивалась к щебетанию тети:

— Это и есть его мать, — та конченная селедка. А вот и Ген Бентуорт... Ген, тут Уилмет, она хочет о чем-то с тобой поспорить... Как вы поживаете? Да, вы правы... ужасно утомительно... Здравствуйте! Он очень красиво надел кольцо, правда? Прямо фокусник!.. Динни, кто это такой?.. Здравствуйте! Очень мило! Нет. Черрел. Два «р», ужасно неудобно!.. Подарки в той комнате, около них вон тот в санях — делает

вид, будто он тоже гость... Глупо, правда? Но ничего не поделаешь... Как ваше здоровье? Я помню, вы — Джек Маскем, Лоренсу снилось на днях, что вы взрываетесь... Динни, позови Флер, она всех знает.

Динни отправилась на поиски Флер — та разговаривала с новым брачным.

Когда они подходили к двери гостиной, Флер сказала:

— Я видела в церкви Уилфрида Дезерта. Как он гуда попал?

Да, от ее глаз не скроешься!

— А, вот и ты! — воскликнула леди Монт. — Которая из этих трех — герцогиня? Тошная? А-а... Здравствуйте! Да, прелестно. Ужасная скука эти свадьбы! Флер, проводи герцогиню к подаркам... Здравствуйте! Нет, мой брат Хилари. У него это ловко получается, правда? Лоренс тоже говорит, что ему палец в рот не клади. Съешьте мороженого, там внизу... Динни, как ты думаешь, этот пришел воровать подарки? Ах! Как вы поживаете, лорд Бивенхем? Конечно, стоять тут полагалось бы моей золовке. Но она струсила. Джерри там... Динни, кто это сказал: «Питье! Питье!» Гамлет? Он так много всего говорил... Ах, не Гамлет?.. А-а! Здравствуйте!.. Здравствуйте!.. Как нет? Ужасная давка!.. Динни, дай носовой платок!

— Я насыпала в него немножечко пудры, тетечка.

— Так! Я очень потная?.. Здравствуйте! Ужасная все это чепуха, правда? Как будто им кто-нибудь нужен, кроме друг друга!.. Ах, вот и Адриан! Дорогой, у тебя же галстук совсем набоку! Динни, поправь ему галстук. Как вы поживаете? Да, да. Терпеть не могу цветов на похоронах — бедняжки, тоже лежат как мертвые... А как ваша собака? Чудное животное! У вас нет собаки? Ах да!.. Динни, почему ты меня не ущипнула? Здравствуйте! Здравствуйте! Я говорю племяннице, что она должна была меня ущипнуть. У вас есть память на лица? Нет. Вот хорошо! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте... Целых три. Динни, кто эта личность, — пришел позже всех? Ах!.. Здравствуйте! Ах, вы сюда все-таки попали? Я думала, вы в Китае... Динни, напомни мне спросить у дяди, был этот человек в Китае или гденибудь в другом месте. Он так злобно на меня поглядел. А может, остальные и без меня обойдутся? Кто это так всегда говорил? Скажи Блору одно слово: «питье»! Вот идет еще целый выводок!.. Здравствуйте! Здравствуйте... Здра... Здра... а-а... Как это мило! Динни, мне хочется им всем сказать: идите вы...

Разыскивая Блора, Динни наткнулась на Джин, болтавшую с Майклом, и удивилась, как у этой живой, загорелой женщины хватает терпения стоять в такой давке. Передав поручение дворецкому, она вернулась в гостиную. Подвижное лицо Майкла, которое с годами казалось ей все милее, словно на нем еще отчетливее проступало душевное благородство, сейчас выглядело усталым и расстроенным.

— Я этому не верю, Джин, — услышала Динни.

— Ну что ж, на базарах и правда бог знает что болтают. А все-таки нет дыма без огня!

— Все бывает! Но ведь он вернулся в Англию. Флер видела его сегодня в церкви. Я у него спрошу.

— На вашем месте я бы этого не делала, — сказала Джин. — Если это правда, он сам вам расскажет, если нет — зачем его зря огорчать?

Ах вот что! Они говорят об Уилфриде. Но как узнать, что они говорят, не показывая при этом своего интереса? И она сразу же подумала: «Даже если бы я могла что-нибудь узнать, я бы не стала спрашивать. Все, что его касается, должен мне сказать он сам. Я ничего не желаю слушать от других». Однако она встревожилась, ибо чутье и раньше подсказывало ей, что на душе у него какая-то тяжесть.

Этой светской пытке, казалось, не будет конца; но вот невеста уехала, и Динни опустилась в кресло в дядином кабинете — единственной комнате, где не было следов нашествия гостей. Отец и мать отправились домой в Кондафорд, недоумевая, почему она не едет с ними. Оставаться в Лондоне, когда дома расцвели тюльпаны, распускается сирень и с каждым днем наливаются почки яблонь, — это было так не похоже на Динни. Но мысль, что она не будет видеть Уилфрида, причиняла ей почти физическую боль.

«Да, кажется, я заболела всерьез, — подумала Динни. — Вот уж не подозревала, что я на это способна. Что же теперь со мной будет?»

Она откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза, но голос дяди заставил ее очнуться.

— А, это ты, Динни! До чего же приятно тебя видеть после этих полчищ мидийцев. Парад мандаринов во всем их блеске. Ты знаешь из них хотя бы четверть? Зачем только люди ходят на свадьбы? Сочетаться браком надо либо в мэрии, либо на травке, при свете звезд, все остальное — непристойность! Бедная тетя легла спать. Да, магометанство имеет свои преимущества, вот только и у них завелась мода ограничивать себя одной женой, да и та больше не ходит в чадре. Кстати, поговаривают, будто молодой Дезерт стал мусульманином. Он тебе ничего не говорил?

Динни с изумлением подняла голову.

— Я знал на Востоке только двоих, кто на это пошел, но оба были французы и мечтали завести гарем.

— Ну, для гарема достаточно иметь деньги.

— Динни, откуда такой цинизм? Мужчины любят, чтобы их прихоти были освящены церковью. Но вряд ли у Дезерта были такие побуждения, — он, если мне не изменяет память, человек разборчивый.

— А разве так уж важно, какая у человека вера? Важно, чтобы люди не мешали друг другу жить.

— Да, но взгляды мусульман на права женщины довольно первобытны. Если жена неверна, мужу ничего не стоит заживо ее замуровать. Когда я был в Маракете, там был один шейх... зверь, а не человек.

Динни зябко повела плечами.

— С незапамятных времен самые чудовищные злодеяния на земле творила религия. Интересно, для чего Дезерт принял мусульманство, — неужели для того, чтобы попасть в Мекку? Не думаю, чтобы он верил во что бы то ни было. Однако почем знать, — семейка у них диковатая.

А Динни в это время думала: «Не могу и не буду о нем судачить!»

— А много ли людей в наши дни на самом деле религиозны?

— В северных странах? Трудно сказать. У нас — не больше десяти — пятнадцати процентов взрослых. Во Франции, и вообще на юге, где

есть крестьянство, — гораздо больше, по крайней мере там они делают вид, что верят в бога.

— Ну, а из тех, кто сегодня был здесь?

— Большинство из них возмутилось бы, если бы им сказали, что они плохие христиане, и большинство из них возмутилось бы еще больше, предложи им раздать половину имущества бедным, а это доказывает, что они всего-навсего благодущные фарисеи или саддукеи, не помню толком, кто именно.

— А ты сам христианин?

— Нет, дорогая, на худой конец — конфуцианец, то бишь последователь философа-моралиста. В Англии большинство людей моего круга больше конфуцианцы, чем христиане, хотя они этого и не знают. Во что они верят? В предков, в традиции, почитание родителей, в честность, воздержанность и хорошее обращение с животными и людьми, которые от тебя зависят. Верят, что неприлично быть выскочкой и что нужно стоически относиться к боли и смерти...

— Чего же больше желать, — прошептала Динни, морща нос, — не хватает только любви к прекрасному...

— Поклонение красоте? Ну это зависит от темперамента.

— А разве не это сеет рознь между людьми?

— Да, но тут уж ничего не поделаешь, — нельзя заставить человека любить заход солнца.

— Ты мудрый, дядя, — сказала молодая племянница, — пойду-ка я пройдуся, чтобы протрясти свадебный пирог.

— Пойду-ка я вздремну, чтобы прогнать хмель от шампанского.

Динни очень долго гуляла. Ей теперь было странно гулять одной. Но цветы в парке ласкали глаз, вода в пруду блестела, как зеркало, стволы каштанов горели в лучах заката. И она покорила своему чувству, и чувство это было — любовь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вспоминая потом о второй прогулке по Ричмонд-парку, Динни так и не могла припомнить, выдала ли она себя прежде, чем он сказал:

— Если вы верите в брак, Динни, выходите за меня замуж.

У нее перехватило дыхание, она бледнела все больше и больше; потом кровь сразу бросилась ей в лицо.

— Не понимаю. Вы же меня совершенно не знаете...

— Вы мне напоминаете Восток. В него либо влюбляешься с первого взгляда, либо так никогда его и не полюбишь, но узнать его все равно никому не дано.

Динни покачала головой.

— Ну, во мне-то нет ничего загадочного.

— Я никогда не пойму вас до конца. Как статуи на лестнице в Лувре. Но вы мне еще не ответили, Динни.

Она протянула ему руку и кивнула.

— Вот это быстрота и натиск! — сказала она.

И сразу же его губы прижались к ее губам, и тут Динни потеряла сознание.

Это был самый необъяснимый поступок за всю ее жизнь, и, почти сразу же придя в себя, она так ему и сказала.

— Ну, какая же вы прелесть...

Если прежде его лицо казалось ей странным, каким же оно стало теперь? Губы, обычно сжатые в язвительной усмешке, были полуоткрыты и дрожали, взгляд горел, не отрываясь от ее лица; подняв руку, он откинул назад волосы, и она впервые заметила на лбу у него шрам. Солнце, луна, звезды — вся вселенная словно замерла, пока они глядели друг другу в глаза.

Наконец она сказала:

— Все не как у людей. Вы за мной не ухаживали и даже меня не соблазняли.

Он засмеялся и обнял ее. Динни прошептала:

— «И сидели двое юных влюбленных, окутанные блаженством». Бедная мама!

— А она у вас хорошая?

— Чудная. К счастью, она любит отца.

— Что за человек ваш отец?

— Самый милый генерал на свете.

— А мой отец — затворник. Вам не придется к нему привыкать. Брат у меня — осел. Мать сбежала, когда мне было три года; сестер у меня нет. Но вам будет трудно с таким непоседливым эгоистом, как я.

— «Куда пойдешь ты, пойду и я». По-моему, нас видно вон тому старому джентльмену. Он напишет в газету о безобразиях в Ричмонд-парке.

— Наплевать!

— Мне тоже. Первый час бывает только раз. А я-то думала, что он для меня так и не наступит.

— Вы никогда не были влюблены?

Она покачала головой.

— Вот хорошо! Когда же, Динни?

— А вы не думаете, что не мешало бы известить об этом родных?

— Наверно. Но они не захотят, чтобы вы выходили за меня замуж.

— Еще бы, ведь вы куда знатнее меня!

— Где уж нам! Ваша семья ведет родословную с двенадцатого века. А мы — только с четырнадцатого. И я — бродяга и автор желчных стихов. И они догадаются, что я захочу увезти вас на Восток. К тому же у меня всего полторы тысячи в год и почти никаких надежд на наследство.

— Полторы тысячи в год! Отец, может, выкроит для меня двести, — он столько дал Клер.

— Ну, слава богу, хотя бы ваше богатство не будет нам помехой. Динни доверчиво подняла на него глаза.

— Уилфрид, мне говорили, что вы перешли в мусульманство. Мне это все равно.

— Но им это будет не все равно.

Лицо его потемнело и стало напряженным. Она крепко сжала его руку.

— В поэме «Леопард» вы писали о себе?

Он молча пытался вырвать свою руку.

— Ну скажите, о себе?

— Да. Это было в Дарфуре. Меня заставили арабы-фанатики. Я отрекся, чтобы спасти свою шкуру. Можете теперь послать меня к черту! Динни насильно прижала его руку к себе.

— Что бы вы ни сделали, это не имеет значения. Вы — ведь это вы! — К величайшему ее смущению и радости, он упал на колени и уткнулся лицом ей в колени. — Милый мой! — сказала она. Материнская нежность пересилила более пылкие чувства. — Кто-нибудь знает об этом, кроме меня?

— На восточных базарах известно, что я перешел в мусульманство, но там думают, что я это сделал по доброй воле.

— Я ведь понимаю, что на свете есть вещи, за которые вы готовы умереть, и этого для меня достаточно. Поцелуйте меня!

Пока они сидели в парке, приблизился вечер. Тени дубов стали длинными и добрались до их бревна; четкая грань солнечного света на молодом папоротнике уходила все дальше; неспешно прошли на водопой несколько оленей. Ясно-голубое небо с белыми приветливыми облачками тоже стало сумеречным; изредка долетал терпкий смолистый запах листьев папоротника и сережек конского каштана; выпала роса. Бодрящий, напоенный ароматами воздух, ярко-зеленая трава, голубые дали, разлапистая надежность дубов придавали этому любовному свиданию что-то неповторимо английское.

— Если мы посидим здесь еще, я стану совсем язычницей, — сказала в конце концов Динни. — К тому же, душа моя, «росистый час заката близок»...

Поздним вечером в гостиной на Маунт-стрит тетя Эм вдруг сказала:

— Лоренс, а ну-ка погляди на Динни! Динни, ты влюблена.

— Тетя Эм, ты меня потрясает. Да, я влюблена.

— В кого?

— В Уилфрида Дезерта.

— Я всегда говорила Майклу, что этот молодой человек попадет в беду. А он тебя любит?

— Он любезно уверяет, будто да.

— Ах ты боже мой! Пожалуй, я и правда выпью лимонада. Кто из вас сделал предложение?

— Как ни странно, он.

— У его брата, кажется, нет прямых наследников?

— Тетя Эм, побойся бога!

— Почему? Поцелуй меня.

Но Динни смотрела на дядю, сидевшего позади леди Монт. Он не произнес ни слова.

Когда она выходила из гостиной, сэр Лоренс остановил ее.

— А ты не опрометчиво поступаешь, Динни?

— Нет, сегодня уже девятый день.

— Я не хочу изображать дядю-тирана, но ты учла все «против»?

— Религия, Флер, Восток? Что еще?

Сэр Лоренс пожал худыми плечами.

та история с Флер «стоит у меня поперек глотки», как сказал
рик Форсайт. Человека, который мог так поступить с тем, кого вел
ду, вряд ли можно считать порядочным.

динни вспыхнула.

— Не сердись, дорогая, мы ведь тебя очень любим.

— Он ничего от меня не скрыл, дядя.

Сэр Лоренс вздохнул.

— Ну что ж, тебе виднее. Но я очень тебя прошу: подумай, пока еще
не поздно. Есть такой фарфор, который почти невозможно склеить.
И ты, мне кажется, сделана из него.

Динни улыбнулась, ушла к себе и сразу же стала думать о том, о чем
думать было уже поздно.

Теперь ей уже нетрудно вообразить, что за дурманящее ощущение — любовь. И открыть душу другому больше не кажется ей невозможным. Все романы, которые она прочла, все романы, которые она наблюдала, казались ей такими бесцветными по сравнению с тем, что испытывала она сама. А ведь они знакомы всего девять дней, если не считать той мимолетной встречи десять лет назад! Неужели все эти годы она страдала от того, что теперь модно называть «неосознанным влечением»? Или же любовь всегда расцветает внезапно? Как дикий цветок, семя которого занесло порывом ветра?

Она долго сидела полураздетая, сжав руки между колен, опустив голову и предавшись воспоминаниям; ей казалось, что влюбленные всего мира живут в ней и сидят тут, на кровати, купленной в магазине Пулбрета на Тоттенхем-Кортруд.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поместье Кондафорд не одобряло всей этой любовной сумятицы и мелким дождем словно оплакивало утрату двух своих дочерей.

Динни заметила, что отец и мать делают вид, будто и не думают тосковать по Клер; значит, можно надеяться, что и с ней они будут вести себя так же. Она посетовала, что стала совсем горожанкой, и, решив набраться храбрости для предстоящего разговора, отправилась гулять под дождем. К обеду ожидали Хьюберта с Джин, и Динни решила убить всех зайцев сразу. Капли дождя на щеках, смолистое благоухание леса, перекличка кукушек и возрождение к жизни деревьев, когда на каждом, в свой срок, распускается лист за листом, освежили ее, но сердце у нее щемило. Забравшись в чащу, она пошла вдоль тропки. Тут росли березы и ясень, там и сям перемежаясь с английским тисом; почва была меловая. Единственным звуком, нарушавшим тишину, было постукивание дятла, — дождик шел такой мелкий, что с листьев еще не капало. За всю свою жизнь она ездила за границу всего три раза: в Италию, в Париж и на Пиренеи, — и всегда возвращалась домой еще больше влюбленной в Англию и в Кондафорд. А отныне жизнь поведет ее по неведомым путям и весям; там, верно, будут пески, финиковые пальмы, чьи-то силуэты у колодца, плоские крыши, протяжный зов муэдзина, глаза, глядящие сквозь покрывала. Но ведь и Уилфрид не сможет остаться равнодушным к прелести Кондафорда; он сам захочет наезжать сюда хотя бы изредка!

Отец его живет в унылом, наполовину заколоченном музейном поместье, куда не пускают посетителей. И это, не считая Лондона и Итона, все, что Уилфрид видел в Англии: ведь он провел четыре года на войне и восемь — на Востоке.

«Мне суждено открыть для него родину, а ему для меня — Восток», — думала она.

В ноябре в лесу бурей вырвало несколько берез. Глядя на их широкие плоские корни, Динни вспомнила слова Флер о том, что единственный способ заплатить налоги на наследство — это продать лес на сруб. Но отцу только шестьдесят два года! А как покраснела Джин в тот вечер, когда они приехали и тетя Эм сказала: «И будут они плодиться и размножаться». У них, наверно, будет ребенок. И, конечно, сын. У таких, как Джин, всегда рождаются сыновья. Еще одно поколение Черрелов. Вот если бы у них с Уилфридом был ребенок! Ну, а что они с ним будут делать? С детьми трудно бродить по свету. И вдруг ей стало жутко. Что ей сулит будущее? Рядом прошмыгнула белка и запрыгала вверх по стволу. Динни с улыбкой проводила глазами проворного рыжего зверька с пушистым хвостом. Слава богу, Уилфрид любит животных! «Когда на божий постоянный двор введут ослов...» Разве ему может не понравиться Кондафорд с его птичьим гомоном, лесами и ключами, створчатыми окнами, магнолиями, голубями, зелеными пастбищами? Ну, а отец, мать, Хьюберт и Джин — они-то ему понравятся? Понравится ли он им? Нет, не понравится, уж очень он издерганный, нервный, желчный; он глубоко прячет все, что в нем есть хорошего, будто стыдится этого, а его тоски по прекрасному им не понять. Хоть они и не знают всего того, что он ей рассказал, его переход в другую веру покажется им странным и необъяснимым.

В поместье Кондафорд не было ни дворцового, ни электричества, и Динни выбрала минуту, когда горничные ушли, подав десерт и вино на полированный ореховый стол, на котором горели свечи.

— Простите за откровенность, — заявила она вдруг, — но я выхожу замуж.

Наступило молчание. Все четверо привыкли говорить и думать, — а это не всегда одно и то же, — что Динни создана для счастливой семейной жизни, но вот теперь никто не обрадовался, узнав, что она и в самом деле собирается кого-то осчастливить. Первая нарушила молчание Джин:

— За кого?

— За Уилфрида Дезерта, младшего сына лорда Маллиона, — он был шафером Майкла.

— А-а... Но...

Динни пристально следила за выражением их лиц. Вид у отца был невозмутимый: он понятия не имел, о ком идет речь; на добром лице матери выразилось беспокойство и недоумение; Хьюберт, казалось, с трудом сдерживает досаду.

— Когда же ты с ним познакомилась? — спросила леди Черрел.

— Всего десять дней назад, но с тех пор мы часто встречались. Боюсь, что это, как и у тебя, Хьюберт, любовь с первого взгляда. Мы запомнили друг друга со свадьбы Майкла.

Хьюберт уставился в тарелку.

— А ты знаешь, что он перешел в мусульманство? Так по крайней мере говорят в Хартуме.

Динни кивнула.

— Что?— воскликнул генерал.

— Такие ходят слухи.

— Зачем он это сделал?

— Не знаю, я с ним не знаком. Но он долго слонялся по Востоку.

У Динни чуть было не вырвалось: «Не все ли равно — мусульманин ты или христианин, если все равно не веришь в бога», — но она промолчала — этим Уилфрида в их глазах не украсишь.

— Не понимаю, как можно переменить свою веру,— отрезал генерал.

— Что-то я не вижу у вас особого восторга,— пробормотала Динни.

— Дорогая, откуда же быть восторгу, если мы его совсем не знаем?

— Ты права, мама. Можно пригласить его к нам? Он способен прокормить жену, и тетя Эм уверяет, будто у его брата нет прямых наследников.

— Динни!— возмущился генерал.

— Да я шучу, милый.

— Куда серьезнее то, что он живет как кочевник,— сказал Хьюберт,— вечно скитается с места на место.

— Кочевать можно и вдвоем, Хьюберт.

— Но ты всегда говорила, что ни за что не расстанешься с Кондафордом!

— А ты, я помню, твердил, что не понимаешь, зачем только люди женятся. Наверно, и ты, мама, и ты, папа, тоже когда-то это говорили. Но попробуйте повторить это теперь!

— Злючка!

Одно короткое слово сразу прекратило спор.

Но перед сном Динни спросила у матери:

— Значит, я могу пригласить к нам Уилфрида?

— Конечно, когда хочешь. Нам самим не терпится его увидеть.

— Я понимаю, мама, это неожиданно, да еще сразу после свадьбы Клер; но вы ведь знали, что когда-нибудь настанет и мой черед.

Леди Черрел вздохнула.

— Да, знали.

— Я забыла сказать, что он — поэт, настоящий поэт.

— Поэт?— переспросила мать таким тоном, будто это известие только усилило ее тревогу.

— Их довольно много лежит в Вестминстерском аббатстве. Но ты не беспокойся, его туда не пустят.

— Разная вера — вещь серьезная, Динни, особенно когда появятся дети.

— Почему? У детей нет никакой веры, пока они не становятся взрослыми, а тогда они выберут ту, которая им по душе. К тому же, пока мои дети вырастут,— если они вообще у меня будут,— интерес к религии станет чисто историческим.

— Динни!

— Да и сейчас это почти не играет роли, разве что в каких-нибудь уж очень набожных семьях. Для большинства людей религия все больше и больше превращается в мораль.

— Мне трудно судить. Я в этом плохо разбираюсь, да и ты, по-моему, тоже...

— Мамочка, погладь меня по голове.

— Ах, Динни, я надеюсь, что ты сделала хороший выбор!

— Дорогая, я не выбирала, выбрали меня.

Очевидно, это ничуть не утешило мать, и, не зная, что ей сказать еще, Динни подставила щеку для поцелуя, пожелала «спокойной ночи» и отправилась восвояси.

У себя в комнате она села за стол и принялась писать письмо.

«Поместье Кондафорд. Пятница.

Дорогой мой!

Так как это безусловно и безоговорочно первое любовное письмо в моей жизни, мне будет трудно его написать. Пожалуй, лучше всего просто сказать «я вас люблю» и на этом кончить. Я поведала домашним радостную весть, и она, конечно, привела их в замешательство. Теперь они жаждут поскорее увидеть вас воочию. Когда вы приедете? Если вы будете здесь, все это перестанет казаться мне сном наяву. Живем мы здесь просто. Не знаю, может, и надо бы завести более пышные порядки, но это нам не по карману. Три служанки, шофер, он же конюх, и два садовника — вот и вся наша челядь. Думаю, вам понравится мама, но с отцом и братом вам вряд ли будет сразу легко; зато жена брата, Джин, потешит ваше поэтическое воображение, — существо она яркое и самолюбивое. И я уверена, что вы полюбите Кондафорд. Тут по-настоящему пахнет стариной. Мы сможем кататься верхом; мне ужасно хочется побродить с вами, показать мои любимые уголки. Надеюсь, дни будут солнечные, ведь вы так любите солнце. Мне тут хорошо почти в любую погоду, а уж с вами и подавно. Комната, где вы будете жить, — совсем на отлете, и в ней удивительно тихо; в нее надо подняться по пяти кривым ступенькам, и ее зовут «Комнатой священника», потому что там был замурован Антони Черрел, брат Джильберта, владельца Кондафорда при Елизавете, — ему спускали еду по ночам в корзине, прямо к его окну. Он был видным католическим священником, а Джильберт — протестантом, но брат ему был дороже религии, как положено всякому порядочному человеку. Когда Антони просидел в этой комнате три месяца, стенку как-то ночью разобрали, а его переправили на юг, через всю страну, к реке Болье, и посадили на небольшое парусное судно. Стену выложили снова, чтобы никто ничего не заметил, и окончательно ее разрушил только мой прадед — последний в роду, у кого были хоть какие-то деньги. Стена эта действовала ему на нервы, и он ее сломал. Прадеда до сих пор еще помнят крестьяне, — верно, потому, что он правил четверкой лошадей. Внизу, у подножья кривой лесенки, — ванная. Окно, конечно, прорубили побольше, и оттуда прелестный вид, особенно сейчас, когда цветут сирень и яблони. Моя же комната, если это вас интересует, узкая и похожа на келью, но зато оттуда видны лужайки, склон холма и даль-

ний лес. Я живу в ней с семи лет и не променяю ни на какую другую, пока вы не подарите мне:

Безделушки и игрушки мне на радость
На заре из птичьих песен и из звезд лучистых ночью.

Мне кажется, что эти стихи Стивенсона — мои любимые. Вот видите, несмотря на домовитость, и во мне, должно быть, есть цыганская кровь. Папа, кстати сказать, необычайно любит природу, — он нежно привязан ко всякому зверю, птицам и деревьям. По-моему, это, как ни странно, свойство большинства военных. Но любовь их, конечно, носит осязаемый, практический характер, в ней нет эстетского любования. Фантазия для них — это нечто «заумное». Я колебалась, не подсунуть ли им ваши стихи, но решила, что, пожалуй, не стоит: они могут понять их слишком буквально. В живом человеке всегда есть что-то куда более располагающее, чем в его произведениях. Боюсь, что сегодня мне не уснуть, ведь это — первый день, когда я вас не видела, с самого сотворения мира. Спокойной ночи, дорогой, будьте счастливы.

Целую вас,
В а ш а Д и н н и.

Р. С. Я нашла для вас фотографию, где я больше чем где бы то ни было похожа на ангела, вернее, нос у меня там не такой курносый, как всюду. Пошлю ее вам завтра. А пока посылаю два любительских снимка. Когда же я получу хоть какой-нибудь из ваших?

Д.»

На этом и закончился этот далеко не самый счастливый день в ее жизни.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сэра Лоренса Монта недавно избрали в члены клуба «Бартон», в связи с чем он вышел из «Аэроплана», сохранив членство только в так называемом «Простофиле», «Кофейне» и «Парфенеуме»; он любил говорить, что, если ему дано будет прожить на свете еще десять лет, каждое посещение одного из этих клубов обойдется ему не меньше двенадцати шиллингов и шести пенсов.

Но на следующий день после того, как Динни объявила ему о своей помолвке, он все же пошел в клуб «Бартон», взял список его членов и, разумеется, нашел там на букву Д: «Уилфрид Дезерт, дворянин», — клуб гордился тем, что в него входят путешественники.

— А мистер Дезерт когда-нибудь здесь бывает? — спросил сэра Лоренса у швейцара.

— Да, сэра, всю эту неделю он заходил к нам ежедневно; до этого я не видел его несколько лет.

— Он большей частью живет за границей. В какие часы он заходит?

— Чаще всего поужинать.

— Понятно. А мистер Маскем здесь?

Швейцар покачал головой.

— Ведь сегодня скачки в Ньюмаркете, сэр Лоренс!

— А-а... Господи, как вы можете все это помнить?

— Привычка, сэр Лоренс.

— Вот чего у меня, к сожалению, нет.

Повесив шляпу, он постоял минутку в холле перед свежим биржевым бюллетенем. Безработица и налоги беспрерывно растут, а люди тратят все больше и больше на автомобили и спорт. Как это получается? Потом он прошел в библиотеку, надеясь, что тут он вряд ли кого-нибудь встретит, но первый, кого он увидел, был Джек Маскем. Он негромко, как здесь и подобало, разговаривал с каким-то худым, темнолицым человечком.

«Теперь я наконец понял,— мелькнуло у сэра Лоренса,— почему так трудно найти потерянную запонку. Мой друг швейцар был так уверен, что Джек сегодня должен быть в Ньюмаркете, а не вон у того шкафа, что даже не узнал его».

Сняв с полки «Тысячу и одну ночь» в переводе Бартон¹, сэр Лоренс позвонил, чтобы ему принесли чай. Но в это время сидевшие в углу мужчины поднялись и подошли к нему.

— Сиди, сиди, Лоренс,— лениво протянул Джек Маскем.— Познакомьтесь: Телфорд Юл, мой двоюродный брат сэр Лоренс Монт.

— Я читал ваши детективы,— сказал сэр Лоренс и подумал: «Вот чудной человек!»

Худенький, смуглый человек с обезьяньим лицом ухмыльнулся.

— Действительность похлеще любой выдумки.

— Юл был в Аравии,— как всегда, неторопливо начал Джек Маскем,— он пытался там выцганить парочку чистокровных арабских кобыл. Никак не пойдем, в чем тут дело. Жеребцов — пожалуйста, кобыл — ни за что. В Неджде и сейчас ничуть не лучше, чем во время Пулгрейва². Но, кажется, у нас там появилась зацепка. Владелец самых чистопородных лошадей мечтает иметь аэроплан, а если мы к этому добавим еще и бильярдный стол, он, может, расстанется хотя бы с одной из дочерей солнца.

— Господи боже мой!— воскликнул сэр Лоренс.— Я вижу, вы ничем не гнушаетесь! Какие же мы все иезуиты, Джек!

— Юл навидался там всякой всячины. Кстати, об одном странном деле я бы хотел с тобой поговорить. Можно нам присесть?

Он растянулся в кресле, а смуглый человечек примостился рядом, устремив черные поблескивающие глазки на сэра Лоренса, которого вдруг охватило непонятное беспокойство.

— Когда Юл был в Аравийской пустыне, он слышал от нескольких бедуинов путаную историю об одном англичанине: тот попал в лапы к арабам, и они принудили его перейти в мусульманство. Юл спорил до хрипоты, утверждая, что ни один англичанин на такое не пойдет. Но, вернувшись в Египет, он полетел в Ливийскую пустыню, там встретил

¹ Бартон Ричард Фрэнсис (1821—1890) — английский путешественник, писатель и лингвист.

² Пулгрейв Уильям Гиффорд (1826—1888) — миссионер, дипломат; путешествовал по странам Ближнего и Среднего Востока, написал об этом ряд книг.

других бедуинов, с юга, и от них услышал ту же историю, только более подробно, потому что, по их словам, случай этот произошел в Дарфуре, и они даже знают имя англичанина — Дезерт. А в Хартуме Юл обнаружил, что там уже все поголовно знают о том, как Дезерт перешел в другую веру. Теперь для Юла все стало ясно. Нечего и говорить, — одно дело переменить религию, если тебе так хочется, и совсем другое — сделать это под страхом смерти. Англичанин, который струсил, позорит нас всех.

Во время этого рассказа сэр Лоренс нервно вертел в руках свой монокль; наконец он оставил его в покое.

— Но, дорогой мой, если этот человек был так безрассуден, что стал мусульманином в мусульманской стране, как вы себе представляете, — неужели сплетники не скажут, будто его к этому вынудили?

Юл, ерзавший на самом кончике кресла, вмешался в разговор:

— И я так думал; но в Хартуме мне рассказывали все подробности. Мне даже сообщили, в каком это был месяце и как звали шейха, который вынудил его отречься; потом я узнал, что мистер Дезерт и в самом деле примерно в это время вернулся из Дарфура. Может, все это ложь, но вы и сами понимаете, что подобная история, если ее не опровергнуть, будет раздута и может сильно повредить не только самому Дезерту, но и нашему престижу вообще. Мне кажется, мы обязаны довести до сведения мистера Дезерта то, что о нем говорят бедави¹.

— Ну что ж, он здесь, — невесело произнес сэр Лоренс.

— Знаю, — сказал Джек Маскем. — Я его на днях видел; он — член этого клуба.

Сэра Лоренса охватило отчаяние. Бедная Динни! Какой печальный исход ее злосчастной помолвки! Насмешник, замкнутый человек и немножко оригинал в своих пристрастиях, сэр Лоренс был на редкость привязан к Динни. Она как-то скрашивала его прозаическое отношение к женщинам; будь он помоложе, он бы мог в нее влюбиться. Воцарившееся молчание показало ему, что и оба его собеседника чувствуют себя неловко. Их тревога еще больше усугубляла зловещий смысл того, что он услышал. Наконец сэр Лоренс сказал:

— Дезерт был шафером моего сына. Я хотел бы поговорить об этом деле с Майклом. Могу я рассчитывать, что вы пока помолчите, мистер Юл?

— Будьте спокойны, — сказал Юл. — От души надеюсь, что все это неправда. Мне нравятся его стихи.

— А ты, Джек?

— Мне его физиономия не очень симпатична, но я не поверю, что англичанин способен на такой поступок, — пусть мне сначала это докажут, как дважды два четыре. Ну, Юл, нам с вами пора, не то мы опоздаем на поезд в Ройстон.

Слова Маскема еще больше встревожили оставшегося в одиночестве сэра Лоренса. Если его худшие опасения оправдаются, «соль нации» отнюдь не склонна будет вынести мягкий приговор.

¹ Бедави — группа племен, обитавших на восточном берегу Нила.

Наконец он встал, отыскал на полке небольшой томик, снова уселся и стал его листать. Это были «Стихи, написанные в Индии» сэра Альфреда Лайелла. Полистав книгу, он нашел поэму «Богословие под страхом смерти».

Сэр Лоренс прочел стихи, поставил книжку на место и, стоя возле полки, долго тер подбородок. Правда, это было написано больше сорока лет назад, но вряд ли взгляды с тех пор изменились хоть на йоту. Он вспомнил и поэму Дойля¹ о капрале Восточно-Кентского полка, которого привели к китайскому генералу и потребовали, чтобы он простерся ниц перед китайцем, не то его убьют, на что капрал ответил: «У нас в полку это не принято», — и погиб. Что ж! Такие же правила поведения действуют и теперь, у людей любого сословия, воспитанных хоть в каких-то традициях. Война дала тому бесчисленное множество примеров. Неужели Дезерт и в самом деле изменил традициям? Не может быть. Ну, а что, если, несмотря на храбрость, проявленную на войне, в нем все же есть трусливая жилка? Или, может быть, его порою охватывает такое отвращение ко всему на свете, что он с бесшабашным цинизмом попирает все, что попало, только ради того, чтобы хоть что-нибудь поправить?

Сделав над собой усилие, сэр Лоренс попытался поставить себя на его место. Не будучи человеком верующим, он знал одно: «Мне было бы противно действовать в подобном случае по чужой указке». Чувствуя, что это не решает вопроса, он вышел в холл, притворил за собой дверь телефонной будки и позвонил Майклу. Но задерживаться в клубе было опасно: он мог столкнуться с Дезертом, и сэр Лоренс, взяв такси, поехал на Саус-сквер.

Майкл только что вернулся из палаты, и они встретились в холле. Сэру Лоренсу не хотелось советоваться по этому делу в присутствии Флер, хоть он и считал ее умницей, и по его просьбе они с сыном прошли к нему в кабинет. Отец начал с того, что рассказал Майклу о помолвке Динни — весть, которую тот, судя по его лицу, принял со смешанным чувством удовлетворения и тревоги.

— Ну и хитра! Ведь никому словечком не обмолвилась, — сказал он. — Флер говорила, что у Динни какой-то подозрительно сияющий вид, но мне и в голову ничего не пришло! Мы все так привыкли к тому, что Динни холостячка. И с Уилфридом к тому же? Ну что ж, надеюсь, старик уже пресытился Востоком!

— Да, но как быть с его вероисповеданием? — мрачно спросил сэр Лоренс.

— Вряд ли это имеет значение! Динни не очень набожна. Но вот не думал, что религиозные вопросы занимают Уилфрида настолько, что ему захочется менять веру! Меня это просто поразило.

— Тут все не так просто.

— Когда отец рассказал ему всю историю, у Майкла сразу побагровели уши и вытянулось лицо.

— Ты ведь его знаешь лучше нас, — сказал в завершение сэр Лоренс. — Что ты об этом думаешь?

¹ Дойль Френсис Гастингс (1810—1888) — английский поэт и литературовед.

— Как мне ни грустно, но я не удивлюсь, если это правда. И для него в таком поступке, пожалуй, нет ничего противоестественного. Однако никто этого не поймет. Чудовищная история, папа, тем более что в ней замешана Динни!

— Прежде чем терзаться, давай-ка выясним, правда ли все это. Ты можешь у него спросить?

— Когда-то мог, и без труда.

Сэр Лоренс кивнул.

— Знаю, но ведь все это было так давно...

На лице Майкла мелькнула улыбка.

— А я так и не мог решить, знаешь ты об этой истории или нет, хоть и подозревал, что знаешь. Я почти не видел Уилфрида с тех пор, как он уехал на Восток. И все же я бы решился... — Он помолчал, потом добавил: — Если это правда, он, несомненно, рассказал Динни. Не мог же он скрыть такую вещь, собираясь на ней жениться!

Сэр Лоренс пожал плечами.

— Если он трус, почему бы ему не струсить и тут?

— Уилфрид — один из самых сложных, противоречивых и непонятных людей на всем белом свете. Нельзя судить его по законам, которые управляют другими людьми. Но если он и рассказал Динни, она ни за что нам этого не скажет.

Отец и сын молча поглядели друг на друга.

— Имей в виду, продолжал Майкл, — в нем есть нечто героическое. Только проявляется оно не там, где надо. Потому-то он и поэт.

Сэр Лоренс стал пощипывать бровь — обычный признак того, что он принял какое-то решение.

— Ничего не попишешь — надо действовать, люди все равно поднимут шум. Меня не очень волнует, что будет с Дезертом...

— А меня очень, — сказал Майкл.

— Я думаю о Динни.

— И я тоже. Но ты и гут имей в виду, папа: Динни сама будет решать свою судьбу; не надейся, что нам удастся ее отговорить.

— Это одна из самых неприятных историй, с какими мне приходилось сталкиваться, — задумчиво произнес сэр Лоренс. — Ну так как же, мальчик, кто с ним поговорит: ты или я?

— Придется, видно, мне, — вздохнул Майкл.

— А он тебе скажет правду?

— Да. Оставайся ужинать.

Сэр Лоренс покачал головой.

— Не решаюсь смотреть в глаза Флер, раз мы это от нее скрываем. Разумеется, пока ты с ним не поговоришь, никто не должен знать, даже она.

— Понятно. Динни еще у вас?

— Уехала в Кондафорд.

— А что скажут ее родные? — И Майкл тихонько свистнул.

Ее родные! Мысль о них не оставляла его во время ужина, за которым Флер обсуждала будущность Кита. Ей хотелось, чтобы сын учился в Харроу, потому что Майкл и его отец учились в Винчестере. Мальчика записали в обе школы, и теперь надо было решить, куда он пойдет.

— Все родные твоей матери кончали Харроу,— говорила Флер.— Винчестер, по-моему, уж слишком кичливая и чинная школа. О ее выпускниках никогда даже газеты не сплетничают. Если бы ты не кончил Винчестера, ты бы давно стал любимчиком прессы.

— А ты хочешь, чтобы о Ките сплетничали в газетах?

— Ну да, по-хорошему, как о дяде Хилари. Ты ведь знаешь, что я предпочитаю твою родню по материнской линии — Черрелов, хотя твой отец тоже очень милый.

— А я как раз думал о том, что Черрелы слишком упрямы и прямолинейны. Военная косточка.

— Это верно, но у каждого из них есть свои чудачества, и к тому же у них вид настоящих джентльменов.

— Мне кажется, ты хочешь послать Кита в Харроу только потому, что эта школа славится игрой в крикет.

Флер гордо вскинула голову.

— А если даже и так? Я послала бы его в Итон, только это уж слишком претенциозно; к тому же я терпеть не могу их бледно-голубой формы.

— Конечно, я пристрастен к моей школе, поэтому решай сама. Во всяком случае, школа, которая воспитала такого человека, как дядя Адриан, мне тоже подходит.

— Дядю Адриана не могла бы воспитать никакая школа,— сказала Флер.— Он пришел к нам прямо из палеолита. Но Черрелы — самая древняя ветвь в роду у Кита, и я хочу вывести в нем их породу, как сказал бы Джек Маскем. Кстати, я встретила его на свадьбе Клер, и он приглашал нас приехать к нему в Ройстон поглядеть его конный завод. Мне было бы интересно туда съездить. Джек выглядит как реклама охотничьего костюма; всегда очень элегантная обувь, и при этом — удивительное умение сохранять непроницаемый вид.

Майкл кивнул.

— Джек — монета такой превосходной чеканки, что она почти перестала быть монетой.

— Напрасно ты так думаешь. Металла там еще сколько угодно.

— «Соль нации»... Никак не могу решить: в похвалу это говорится или в осуждение. Черрелы — лучшие представители своей касты, они не так чопорны, как Джек; но и глядя на них, я всегда чувствую, как много есть еще на свете такого, что им не снилось и во сне.

— Ну, дорогой, ведь не всякий может похвастаться христианским всепрощением!

Майкл бросил на нее пристальный взгляд. Но потом подавил желание сказать колкость и спокойно продолжал:

— Да, мне трудно сказать, где предел терпимости и сострадания.

— Вот тут мы куда умнее вас, мужчин. Мы ждем, чтобы предел обозначился сам собой, и полагаемся на свою выдержку. А бедняжки мужчины на это не способны. К счастью, в тебе есть что-то женственное. Поцелуй меня. Осторожно, Кокер иногда бросается. Значит, решено: Кит поступает в Харроу.

— Если к тому времени еще будут существовать такие школы, как Харроу.

— Не говори глупостей. Наши школы — вещь куда более вечная, чем любое созвездие. Вспомни, как они процветали во время войны.
— Во время будущей войны они процветать не будут.
— Значит, этой войны быть не должно.
— Если во главе страны стоит «соль нации», войны не избежать.
— Дорогой, неужели ты всерьез веришь во всю эту чепуху насчет наших моральных обязательств и прочее? Мы просто боялись, что Германия нас обскачет.

Майкл взъерошил волосы.

— Да, это прекрасно подтверждает мои слова насчет «соли нации», которой и не снилось многое из того, что творится на свете. И доказывает, что она может выйти с честью далеко не из всякого положения.

Флер зевнула.

— Знаешь, Майкл, нам давно пора купить новый обеденный сервиз.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После ужина Майкл вышел из дому, не сказав, куда идет. С тех пор как умер тесть и он узнал о Флер и Джоне Форсайте, отношения Майкла с женой оставались как будто прежними; однако в них произошла небольшая, но разительная перемена — Майкл перестал быть подневольным человеком в собственном доме. О том, что случилось почти четыре года назад, не было сказано ни слова; с тех пор у него ни разу не возникло сомнений в верности жены; измена была задушена и погребена. Но хотя внешне Майкл ничуть не изменился, внутренне он стал чувствовать себя более независимо, и Флер это знала. Насчет Уилфрида отец предупреждал его зря. Он все равно ничего бы не сказал Флер. И не потому, что боялся, как бы она не проболталась, — она была не из болтливых, — просто Майкл подсознательно чувствовал, что в таком деле Флер ему не помощник.

Майкл пошел пешком. «Уилфрид влюблен, — думал он, — значит, к десяти он будет дома, разве что на него нашло вдохновение; однако нельзя же писать стихи в такой сутолоке, на улице или в клубе, всякое вдохновение может иссякнуть!» Он пересек Пел-Мел и окунулся в лабиринт узеньких улочек — прибежище холостяков, а потом вышел на Пикадилли, где еще царило затишье перед бурей, которая разразится тут во время театрального разъезда. Пройдя переулком, заселенным ангелами-хранителями мужчин — портными, букмекерами и ростовщиками, — Майкл свернул на Корк-стрит. Когда он остановился возле памятного ему дома, было ровно десять часов. Напротив помещалась картинная галерея, где он впервые увидел Флер, и у него чуть не закружилась голова от охвативших его воспоминаний. Целых три года, пока его друг не вспылал этой нелепой страстью к Флер, которая испортила их отношения, Майкл был *fidus Achates*¹ Уилфрида. «Ну прямо Давид и Ионафан!»² — подумал он, поднимаясь по лестнице, и на сердце у него стало, как прежде, тепло.

¹ Верным Ахатом (лат.). А х а т — друг Энея из поэмы Вергилия «Энеида».

² Д а в и д и И о н а ф а н — библейские герои, связанные узами дружбы.

Монашеский лик Стака просиял, когда он отворил Майклу дверь.

— Мистер Монт? Приятно вас видеть, сэр.

— Как поживаете, Стак?

— Малость постарел, а в общем, спасибо, держусь. Мистер Дезерт дома.

Майкл вошел и положил шляпу.

Лежавший на диване Уилфрид сразу сел. На нем был темный халат.

— Кого я вижу!

— Как живешь?

— Стак! Дайте нам чего-нибудь выпить!

— Поздравляю тебя, старина.

— Знаешь, а ведь я первый раз увидел ее у тебя на свадьбе.

— Да, почти десять лет назад. Тебе достался цвет нашей семьи, Уилфрид; мы все влюблены в Динни.

— Поверь, я все это отлично знаю, но не хочу о ней говорить.

— Есть новые стихи?

— Да, завтра сдаю в печать книжку, тому же издателю. А ты помнишь первую?

— А как же! Единственное, на чем мне удалось нажиться.

— Эта книжка лучше. Там есть настоящая поэма.

Вошел Стак, неся поднос с напитками.

— Наливай себе, Майкл.

Майкл налил немного коньяку и чуть-чуть разбавил его водой. Потом закурил и сел.

— Когда же свадьба?

— Зарегистрируемся, и как можно скорее.

— Ах так? Ну, а потом?

— Динни хочет показать мне Англию. Пока светит солнце, мы, наверно, будем где-нибудь тут.

— И снова в Сирию?

Дезерт поерзал на мягком диване.

— Еще не знаю, может быть, двинемся куда-нибудь дальше,— пусть решает она.

Майкл поглядел себе под ноги, на персидский ковер упал пепел.

— Послушай...— начал он.

— Что?

— Ты знаешь такого типа, Телфорда Юла?

— Понаслышке; он вроде что-то пишет.

— Только что вернулся не то из Аравии, не то из Судана и привез оттуда один анекдот...— Не поднимая глаз, он почувствовал, что Уилфрид выпрямился.— Он касается тебя; история странная и для тебя неприятная. Юл считает, что ты должен об этом знать.

— Ну?

Майкл невольно вздохнул.

— Короче говоря, дело такое: бедуины говорят, будто ты перешел в мусульманство под дулом пистолета. Эту историю рассказали Юлу в Аравии, а потом и в Ливийской пустыне, назвав имя шейха, место в Дарфуре и фамилию англичанина.— Все еще не поднимая глаз, он

чувствовал, что Уилфрид смотрит на него в упор и что у него самого выступил на лбу пот.

— Ну?

— Юл хочет, чтобы ты знал, поэтому он сегодня рассказал все это в клубе моему отцу, а отец передал мне. Я пообещал, что зайду к тебе. Ты уж меня прости.

Молчание. Майкл поднял голову. Какое удивительное лицо — прекрасное, страдальческое!

— Нечего извиняться; все это правда.

— Ах, дружище! — вырвалось у Майкла, но продолжать он не смог. Дезерт встал, открыл ящик стола и вынул оттуда рукопись.

— На, прочти.

Двадцать минут, пока Майкл читал поэму, царила мертвая тишина, только шелестели страницы. Майкл наконец отложил рукопись.

— Великолепно!

— Да, но ты бы никогда так не поступил.

— А я понятия не имею, как бы я поступил.

— Нет, имеешь. Ты бы никогда не позволил, чтобы какая-то дурацкая заумь или еще новость что подавили первое движение твоей души, как это было со мной. Душа мне подсказывала сказать им: «Стреляйте, и будьте вы прокляты». Господи, как я жалею, что этого не сделал! Тогда меня сейчас бы здесь не было. Странная вещь, но если бы они угрожали мне пыткой, я бы устоял. А ведь я, конечно, предпочитаю смерть пытке.

— В пытке есть что-то подлое.

— Фанатики — не подлецы. Из-за меня он пошел бы в ад, но, ей-богу же, ему совсем не хотелось меня убивать; он меня умолял; стоял, наведя пистолет, и молил не вынуждать его меня убивать. Его брат — большой мой друг. Фанатизм — это поразительная штука! Он готов был спустить курок и молил меня спасти его. В этом было что-то удивительно человеческое. Как сейчас вижу его глаза. Он ведь дал обет. Ты себе не представляешь, какое этот человек почувствовал облегчение!

— В поэме обо всем этом не сказано ни слова, — заметил Майкл.

— Жалость к палачу вряд ли может мне служить оправданием. И нечего ею хвастать, особенно потому, что она все же спасла мне жизнь. К тому же я не уверен, что настоящая причина в этом. Если не веришь в бога, любая религия — надувательство. А мне ради этого надувательства грозило беспросветное ничто! Уж если суждено умереть, то хоть ради чего-то стоящего!

— А ты не думаешь, что тебе имело бы смысл опровергнуть эту историю? — неуверенно спросил Майкл.

— Ничего опровергать я не буду. Если вышло наружу — тут уж ничего не попишешь.

— А Динни знает?

— Да. Она читала поэму. Сначала я не хотел ей рассказывать, но потом все-таки рассказал. Она приняла это так, как не смог бы, наверно, никто другой. Удивительно!

— Но, может, ты должен опровергнуть эту историю хотя бы ради нее.

— Нет, но с Динни я, видно, должен расстаться.

— Ну, об этом надо спросить ее. Если Динни полюбила, то уж не на шутку.

— Я тоже!

Майкл встал и налил себе еще коньяку. «Как выбраться из этого тупика?»

— Вот именно!— воскликнул Дезерт, не сводя с него глаз.— Подумай, что будет, если об этом пронюхают газеты!— И он горько усмехнулся.

— По словам того же Юла, об этом пока говорят только в пустыне,— пытаюсь его приободрить, сказал Майкл.

— Сегодня в пустыне, завтра — на базарах. Пропавшее дело. Придется испить чашу до дна.

Майкл положил руку ему на плечо.

— На меня ты всегда можешь положиться. Помни: только не вешай головы. Но я себе представляю, сколько ты еще хлебнешь горя!

— «Трус»! На мне будет это клеймо: может предать в любую минуту. И они будут правы.

— Чепуха!— воскликнул Майкл.

Уилфрид не обратил на это внимания.

— И вместе с тем все во мне восстает, когда я думаю, что должен был умереть ради позы, в которую ни на грош не верю. Все эти басни, суеверия,— как я их ненавижу! Я охотно отдам жизнь, чтобы с ними покончить, но умирать за них не желаю! Если бы меня заставили мучить животных, повесить кого-нибудь или изнасиловать женщину, я бы, конечно, предпочел смерть. Но какого дьявола мне умирать, чтобы угодить тем, кого я презираю? Тем, кто верит в обветшалые догмы, причинившие людям больше зла, чем что бы то ни было на свете! Чего ради? А?

Эта вспышка покорила Майкла; он опустил голову, помрачневший и огорченный.

— Символ...— пробормотал он.

— Символ? Я могу постоять за все, что того достойно: честность, человеколюбие, отвагу,— ведь я все же провоевал войну; но стоит ли драться за то, что я считаю мертвечиной?

— Эта история не должна выйти наружу!— с жаром воскликнул Майкл.— Нельзя допустить, чтобы всякая шваль могла тебя презирать.

Уилфрид пожал плечами.

— А я и сам себя презираю. Никогда не подавляй первого движения твоей души, Майкл.

— Но что же ты думаешь делать?

— А не все ли равно? Ведь ничего не изменится. Никто меня не поймет, а если и поймет — не посочувствует. Да и с какой стати? Я ведь и сам себе не сочувствую.

— Думаю, что в наши дни многие будут тебе сочувствовать.

— Те, с кем я не хотел бы оказаться рядом даже мертвый. Нет, я — отщепенец.

— А Динни?

— Это мы будем решать с ней.

Майкл взял шляпу.

— Помни, я всегда буду рад помочь тебе всем, чем могу. Спокойной ночи, дружище.

— Спокойной ночи. Спасибо!

Майкл пришел в себя только на улице. Да, ничего не поделаешь. Уилфрид загнан в угол! Его подвело презрение к условиям. Но национальный характер англичанина не терпит никаких отклонений от нормы; стоит человеку отойти от нее хоть в чем-нибудь, и это будет считаться изменой всему. А что касается этого нелепого сочувствия к своему палачу — кто же в это поверит, не зная Уилфрида? Какая трагическая ирония судьбы! Теперь на него ляжет несмыслимое клеймо трусости.

«У него, конечно, найдутся защитники,— думал Майкл,— одержимые индивидуалисты, большевики,— но от этого ему не станет легче. Что может быть обиднее поддержки людей, которых ты не понимаешь и которые не понимают тебя? И чем такая поддержка поможет Динни, еще более далекой от таких людей, чем Уилфрид? Ах ты дьяволыщина!»

Мысленно выругавшись, он пересек Бонд-стрит и пошел по Хейхилл на Беркли-сквер. Если он сегодня же не повидает отца, ночью ему не уснуть.

На Маунт-стрит Блор поил отца и мать особым, бледным грогом, который, как уверяли, нагоняет сон.

— Кэтрин? — спросила леди Монт. — Корь?

— Нет, мне просто надо поговорить с папой.

— Об этом молодом человеке, перешедшем в какую-то другую веру... У меня от него всегда начинались колики, — не боялся молнии, и все такое...

Майкл с изумлением взглянул на нее.

— Ты права, это касается Уилфрида.

— Эм, — сказал сэр Лоренс, — имей в виду, это абсолютно между нами. Ну, что там, Майкл?

— Все правда; он ничего не отрицает и не собирается отрицать. Динни знает.

— Что правда? — спросила леди Монт.

— Он отрекся от веры под страхом смерти, которой ему грозили арабы-фанатики.

— Какая скука!

«Господи, — подумал Майкл, — если бы все отнеслось к этому так!»

— Значит, придется сказать Юлу, что никто ничего опровергать не будет? — нахмурившись, спросил сэр Лоренс.

Майкл кивнул.

— Но если так, дело этим не кончится.

— Конечно, но ему уже все равно.

— Молния! — вдруг произнесла леди Монт.

— Совершенно верно, мама. Он написал об этом стихи, и очень хорошие. Посылает их завтра издателю. Но, папа, заставь хоть Юла и Джека Маскема держать язык за зубами. В конце концов им-то какое дело?

Сэр Лоренс пожал худыми плечами, — в семьдесят два года они были уже не такими прямыми, как раньше.

— В этом деле, Майкл, у нас две задачи, и, насколько я понимаю, их лучше не путать. Первая: как положить конец клубным сплетням. Вторая касается Динни и ее родных. Ты говоришь, что Динни все знает, но родные ее ничего не знают, если не считать нашей семьи, а судя по тому, что Динни ничего не сказала нам, она не скажет и дома. Это нехорошо. И неразумно, — продолжал он, не дожидаясь возражений Майкла, — потому что эта история все равно выйдет наружу, и они никогда не простят Дезерту, если он женится на Динни, скрыв от них свой позор. Да и я бы не простил, дело слишком серьезное.

— Вот неприятность, — пробормотала леди Монт. — Спроси Адриана.

— Лучше Хилари, — сказал сэр Лоренс.

— Вторую задачу, папа, по-моему, может решить только Динни, — заметил Майкл. — Ее надо предупредить, что пошли разговоры, и тогда либо она, либо Уилфрид скажут ее родным.

— Вот если бы он от нее отказался! Не может ведь он жениться теперь, когда пошли эти толки!

— Что-то мне не верится, чтобы Динни его бросила, — пробормотала леди Монт. — Слишком уж долго она его подбирала. Весна любви!

— По словам Уилфрида, он понимает, что должен от нее отказаться. Ах, будь оно все проклято!

— Вернемся тогда к нашей первой задаче, Майкл. Я могу, конечно, попробовать, но сильно сомневаюсь, выйдет ли у меня что-нибудь, особенно если появится его поэма. А что он в ней пишет — пытается оправдаться?

— Скорее объяснить.

— Столько же желчи и бунтарства, как и в его ранних стихах?

Майкл кивнул.

— Джек и Юл могут смолчать из жалости, но горе Дезерту, если он будет вести себя вызывающе, — я ведь знаю Маскема. Его коробит, когда молодежь кичится своим скепсисом.

— Трудно сказать, чем все это кончится, но, по-моему, нужно изо всех сил играть на оттяжку.

— Мечты, мечты... — пробормотала леди Монт. — Спокойной ночи, мальчик, я пойду к себе. Не забудь про собаку, ее еще не выводили.

— Ну что ж, постараюсь сделать все, что возможно, — сказал сэр Лоренс.

Майкл подставил матери щеку для поцелуя, пожал руку отцу и вышел.

На сердце у него было тяжело, ибо беда грозила людям, которых он любил, а уберечь их обоих от страданий, очевидно, нельзя. Его неотступно преследовала мысль: «А что бы сделал я на месте Уилфрида?» И, шагая домой, он решил, что никто не знает заранее, как поступит на месте другого. Была ветреная весенняя ночь, не лишенная своей прелестью; Майкл наконец добрался до Саус-сквера и вошел в дом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уилфрид сидел у себя за столом; перед ним лежали два письма: одно он только что написал Динни, а другое получил от нее. Он рассеянно разглядывал фотографии, стараясь собраться с мыслями, а так как он тщетно занимался этим со вчерашнего вечера, с тех пор как от него ушел Майкл, мысли его все больше путались. Зачем ему понадобилось именно сейчас влюбиться по-настоящему и понять, что наконец-то он нашел ту единственную, с кем может связать свою судьбу? Он никогда раньше и не помышлял о женитьбе, не предполагал, что способен испытывать к женщине что-нибудь, кроме мимолетного влечения, которое так легко утолить. Даже в разгар увлечения Флер он знал, что это ненадолго, и вообще его отношение к женщинам было таким же скептическим, как и к религии, патриотизму и прочим добродетелям, которые обычно приписывают англичанам. Ему казалось, что он надежно защищен броней скептицизма, но у него нашлось уязвимое место, и удар оказался смертельным. Он горько смеялся над собой, понимая, что томительное одиночество, которое он чувствовал с тех пор, как случилась эта история в Дарфуре, безотчетно вызвало у него тягу к людям, которой так же безотчетно воспользовалась Динни. Их сблизило то, что должно было оттолкнуть друг от друга.

После ухода Майкла он до глубокой ночи обдумывал свое положение, постоянно возвращаясь к одной и той же мысли: что там ни говори и ни делай, все равно его сочтут трусом. Но даже это не смущало бы его, если бы не Динни. Какое ему дело до общества и общественного мнения? Что ему Англия? Даже если ее и почитают, разве она этого заслуживает больше, нежели какая-нибудь другая страна? Война показала, что все страны и их обитатели мало чем отличаются друг от друга, все они равно способны на героизм, низость, стойкость и глупости. Война показала, что толпа в любой стране одинаково ограничена, не способна ни в чем разобраться и, в общем, отвратительна. Он — по натуре своей бродяга, скиталец, и если Англия и Ближний Восток будут для него закрыты — мир велик, солнце светит на разных широтах, повсюду над головой мерцают звезды; повсюду есть книги, которые можно прочесть, женщины, которыми можно насладиться, запах цветов, красивые собаки, лошади и птицы, мысли и чувства, возбуждающие потребность выразить их в стихах, — повсюду, куда бы он ни поехал! Если бы не Динни, он свернул бы свой шатер и двинулся в путь — пусть праздные языки болтают за спиной что угодно! А теперь он не может этого сделать. Не может? Почему? Разве не благороднее уехать? Разве не подло связать ее судьбу с человеком, в которого все тычут пальцем? Если бы она пробуждала в нем только страсть, все было бы проще, — они могли бы ее удовлетворить, а потом расстаться, и никто не был бы внакладе. Но его чувство к ней совсем иное. Она — словно чистый родник, встреченный в пустыне; душистый цветок, который расцвел в бесплодной степи среди сухих колючек. Она внушает ему благоговение, влечет, как прекрасная мелодия или картина; вызывает то же острое наслаждение, что и запах свежескошенной травы. Она — словно освежающий напиток для его

выжженной солнцем, высушенной ветром, темной души. Неужели он должен отказаться от нее из-за этой истории?

Утром, когда он проснулся, в нем все еще шла борьба. Он провел весь день, сочиняя ей письмо, и едва успел его закончить, как пришло ее первое любовное послание. Оба они лежали сейчас перед ним.

«Нет, я не могу послать ей этого письма, — вдруг решил он. — Я повторю там без конца одно и то же и не нахожу никакого выхода. Ерунда!» Он порвал листок и перечитал ее письмо в третий раз. «Но и ехать мне туда невозможно, — подумал он. — С их верой в бога, в империю и все прочее... Не могу!» И, схватив чистый листок бумаги, написал:

«Корк-стрит. Суббота.

Ты и не знаешь, чем для меня было твое письмо. Приезжай к обеду в понедельник. Нам надо поговорить.

У и л ф р и д».

Отослав Стака с этим посланием, он чуть-чуть успокоился...

Динни получила его письмо только в понедельник утром, и на душе у нее сразу стало легче. Последние два дня она избегала всякого упоминания об Уилфриде, слушала рассказы Хьюберта и Джин об их жизни в Судане, гуляла в лесу и осматривала деревья с отцом, переписывала его справку о подходящем налоге и ходила в церковь с ним и с матерью. Все, словно сговорившись, молчали о ее помолвке, — в этой семье все жили дружно и боялись друг друга огорчить, — поэтому молчание казалось каким-то особенно зловещим.

Прочтя записку Уилфрида, Динни с грустью призналась себе: «Для любовного письма оно совсем не любовное!»

— Уилфрид не решается сюда ехать, — заявила она матери. — Надо мне съездить и уговорить его. Если удастся, я привезу его с собой. Если нет, я попытаюсь сделать так, чтобы вы повидались с ним на Маунт-стрит. Он долго жил один, и знакомство с новыми людьми для него сущая пытка.

Леди Черрел только вздохнула, но для Динни это было красноречивее слов; она взяла мать за руку.

— Не грусти, дорогая. Ведь все-таки хорошо, что я счастлива, правда?

— Да я только об этом и мечтала бы!

Смысл, который она вложила в свои слова, заставил Динни замолчать.

Она пошла на станцию пешком, к полудню приехала в Лондон и отправилась через парк на Корк-стрит. День был ясный, светило солнце, весна уже утвердила свои права — сиренью и тюльпанами, молодой зеленью платанов, птичьим гомоном и яркой свежестью травы. Но хотя и у Динни вид был весенний, ее мучили дурные предчувствия. Почему она не радуется, хоть и спешит на свидание с возлюбленным, — на это Динни и сама не смогла бы ответить. В огромном городе было в этот час немало людей, кого ждала бы такая радость; но Динни не обманывалась.

что-то неладно, она это знала. Было еще рано, и она зашла на Маунт-стрит, чтобы привести себя в порядок с дороги. Блор сказал, что сэра Лоренса нет дома, а леди Монт у себя. Динни попросила передать ей, что, может быть, зайдет около пяти.

На углу Барлингтон-стрит на Динни пахло ароматом духов, и она вдруг испытала странное чувство, которое порою возникает у всех, — будто когда-то вы были кем-то другим; в этом, по-видимому, причина веры в переселение душ.

«Наверно, мне это напоминает детство, но что именно, я забыла, — подумала она. — Ах, вот и мой перекресток!» И сердце ее забилося.

Стак отворил ей дверь, и она с трудом перевела дух.

— Обед будет готов минут через пять, мисс!

Когда она смотрела в его темные выпуклые глаза над острым носом, всегда такие задумчивые, и на добрую складку у рта, ей всегда чудилось, будто он ее исповедует, хотя ей еще не в чем было каяться. Стак отворил дверь в комнату, Динни вошла и очутилась в объятиях Уилфрида. Вот ее предчувствия и не сбылись: это было самое долгое и самое приятное объятие в ее жизни. Такое долгое, что она сама даже испугалась: а вдруг он ее не выпустит? Наконец Динни ласково сказала:

— Милый, если верить Стаку, обед уже на столе.

— Стак — человек тактичный.

И только после обеда, когда они снова остались вдвоем и пили кофе, как гром среди ясного неба грянула беда.

— Та история вышла наружу, Динни.

— Какая? Та? Ах, та! — Она подавила охвативший ее страх. — Каким образом?

— Приехал некий Телфорд Юл и привез ее оттуда. Рассказали ему ее кочевники из тамошних племен. Теперь, наверное, об этом уже болтают на базарах, а завтра весть дойдет и до лондонских клубов. Пройдет несколько недель, и я стану изгоем. Прекратить эти толки невозможно.

Не говоря ни слова, Динни встала, прижала к себе его голову и села возле него на диван.

— Боюсь, ты не совсем понимаешь... — нежно начал он.

— Что теперь все должно измениться? Да, не понимаю. Но ведь ничего не изменилось, правда? Повлиять на меня это могло тогда, когда ты мне об этом сказал. Что же может измениться теперь?

— Как я могу на тебе жениться?

— Такие вопросы задают только в романах. Нашим уделом не будут «бесконечные муки скованных судьбой».

— Да и я не любитель мелодрам, но ты все-таки не отдаешь себе отчета...

— Нет, отдаю. Теперь ты снова можешь смотреть людям в глаза, а те, кто не поймет, — ну что ж, стоит ли обращать на них внимание?..

— И на твоих родных тоже?

— Нет, они — другое дело.

— Неужели ты думаешь, что они поймут?

— Я заставлю их понять.

— Ах ты бедняжка!

Ее испугал его тон — такой спокойный и ласковый.

— Я не знаю, что за люди твои близкие,— продолжал он,— но если они такие, как ты мне их описывала,— «как мудро ты ни ворожи, уж не откликнутся они». Не могут, это противоречит их натуре.

— Они меня любят.

— Тем тяжелее им видеть тебя связанной со мной.

Динни слегка отстранилась и подперла подбородок ладонями. Потом, не глядя на него, спросила:

— Ты хочешь от меня избавиться?

— Динни!

— Скажи правду.

Он прижал ее к себе.

— То-то! А раз не хочешь,— предоставь это мне. Да и нечего раньше времени огорчаться. В Лондоне еще ничего не знают. Подождем. Я понимаю, что, пока все не выяснится, ты на мне не женишься,— значит, я буду ждать. А пока я прошу тебя только об одном: не разыгрывай героя! Потому что мне будет очень больно, слишком больно.

Она вдруг судорожно обняла его. Он молчал.

Прижавшись щекой к его щеке, Динни тихонько сказала:

— Хочешь, я буду твоей раньше, чем ты на мне женишься? Если хочешь, я могу.

— Динни!

— Это не женственно, да?

— Нет! Но давай подождем. Что же делать, если я отношусь к тебе с каким-то благоговением.

Динни вздохнула.

— Может, это и к лучшему.— Она помолчала.— Позволь я сама обо всем расскажу моим родным.

— Разве я могу тебе чего-нибудь не позволить?

— А если я попрошу тебя повидаться с кем-нибудь из них?

Уилфрид кивнул.

— Я не буду уговаривать тебя приехать в Кондафорд,— пока. Ну, значит, все решено. А теперь расскажи мне подробно, как ты это узнал.

Когда он кончил, она задумалась.

— Ага, значит, Майкл и дядя Лоренс... Ну что ж, тем лучше... А теперь, дорогой, я пойду. И Стаку спокойнее, и мне хочется подумать. А думать я могу, только когда тебя нет поблизости.

— Ангел ты мой!

Она приподняла руками его голову и заглянула ему в глаза.

— Не надо смотреть на все так трагично. Я тоже не буду. А нам нельзя куда-нибудь прокатиться в четверг? Вот хорошо! Тогда у Фоса, в полдень. И совсем я не ангел, а просто твоя милая.

У Динни кружилась голова, когда она спускалась по лестнице. Только теперь, оставшись одна, она поняла, что им придется вынести. Внезапно Динни свернула на Оксфорд-стрит. «Схожу-ка я к ляде Адриану»,— решила она.

Адриана сейчас больше всего беспокоила мысль о пустыне Гоби, претендовавшей на роль колыбели человечества. Теория эта была провозглашена, апробирована и требовала, чтобы с нею считались. Адриан

размышлял о переменчивости антропологической моды, когда ему доложили о приходе Динни.

— Ах, это ты? Я чуть не весь день жарился в пустыне Гоби и как раз подумывал, не выпить ли чашку горячего чаю. Как ты на это смотришь?

— У меня от китайского чая сосет под ложечкой.

— Таких роскошеств мы себе не позволяем. Здешняя моя дуэнья заваривает простой, старомодный дуврский чай, с чайнками, как положено, а к нему нам подают домашнюю слойку.

— Грандиозно! Я пришла сообщить тебе, что наконец-то решилась отдать свою руку и сердце.

Адриан смотрел на нее, широко раскрыв глаза.

— А так как история эта весьма драматична, могу я хотя бы снять шляпу?

— Дорогая, снимай что хочешь. Но сначала выпей чаю. Вот тебе чашка.

Пока они пили чай, Адриан разглядывал ее с грустной усмешкой, скрывавшейся где-то между усами и козлиной бородкой. После трагической истории с Ферзом он еще больше привязался к племяннице. А Динни сегодня была явно чем-то глубоко расстроена. Она откинулась на спинку единственного в комнате кресла, положила ногу на ногу, соединила кончики пальцев; вид у нее был такой воздушный, что, казалось, дунь — и она улетит; ему приятно было глядеть на шапку ее пышных каштановых волос. Но когда Динни, ничего не тая, поведала ему свою историю, лицо его заметно вытянулось.

— Дядя, пожалуйста, не смотри на меня так! — сказала она, видя, что он молчит.

— Разве я смотрю как-нибудь особенно?

— Да.

— И ты этому удивляешься?

— Я хочу знать, как ты относишься к его поступку. — И она поглядела ему прямо в глаза.

— Лично я? Не зная его, остерегаюсь судить.

— Если не возражаешь, я хочу, чтобы ты с ним познакомился.

Адриан молча кивнул.

— Говори, не бойся, — настаивала Динни. — Что подумают и сделают другие, — те, кто его тоже не знает?

— А как отнеслась к этому ты сама, Динни?

— Я его знаю.

— Неделю?

— И еще десять лет.

— Ну, не вздумай уверять меня, будто беглый изглад и несколько слов на свадьбе...

— Горчиное зерно, брошенное в землю, дорогой. К тому же я прочла поэму и поняла, что он чувствовал. Он неверующий; ему все это должно было показаться каким-то чудовищным фарсом.

— Да-да, я читал его стихи — ни во что не верит, поклоняется чистой красоте... Такой тип человека часто возникает после тяжелых испытаний в жизни нации, когда личность была подавлена и государство

требовало от нее всяческих жертв. Личность стремится взять свое и дать хорошего пинка государству со всеми его устоями. Все это я понимаю. Но... Ты ведь никогда не выезжала из Англии, Динни.

— Только в Италию, Париж и на Пиренеи.

— Это не в счет. Ты ни разу не ездила туда, где Англии надо сохранять хоть какой-то престиж. В таких местах англичане вынуждены держаться «все за одного и один за всех».

— Мне кажется, он этого тогда не понимал.

Адриан взглянул на нее и покачал головой.

— А я не понимаю и теперь,— сказала Динни.— И слава богу, что он не понимал, не то я так бы его и не встретила. Неужели человек обязан жертвовать собой ради каких-то предрассудков?

— Не в этом суть, деточка. На Востоке, где религия до сих пор занимает главное место в жизни, переменить веру — не шутка. В глазах восточного человека ничто не может уронить англичанина больше, чем отречение от веры своих отцов под дулом пистолета. Перед Дезертом стоял вопрос: достаточно ли дорого ему доброе имя его родины, чтобы скорее умереть, нежели бросить на нее тень? Ты меня прости, но, грубо говоря, дело обстояло именно так.

Минуту она молчала.

— Я убеждена, что Уилфрид предпочел бы умереть, чем хоть как-нибудь унижить свою родину; он просто не верил, что на Востоке уважение к англичанину зависит от того, христианин он или нет.

— Странное оправдание, ведь он не только отрекся от христианской веры, но и принял ислам, то есть променял одно суеверие на другое!

— Дядя, неужели ты не понимаешь, что все это казалось ему непристойной комедией?

— Нет, дорогая, не понимаю.

Динни откинулась назад; теперь он заметил, какой у нее измученный вид.

— Ну, уж если ты не понимаешь, значит, никто не поймет. Я говорю о людях нашего круга, меня интересуют только они.

У Адриана заняло сердце.

— Динни, ведь позади всего две недели, а впереди — вся жизнь; ты сказала, что он готов с тобой расстаться, и за это я его уважаю. Разве не лучше порвать сразу, если не ради тебя, то ради него?

Динни улыбнулась.

— Разумеется, дядя, ведь ты у нас славись привичкой бросать друзей в тяжелую минуту. И разве ты понимаешь, что такое любовь? Ты ведь ждал всего восемнадцать лет. Ей-богу, ты шутишь!

— Сдаюсь,— сказал Адриан.— Во мне говорит «дядя». Будь я так же уверен в Дезерте, как в тебе, я бы сказал: «Валяйте, пейте вашу горькую чашу до дна, если вам уж так этого хочется, и будьте счастливы».

— Знаешь, тебе просто необходимо с ним поговорить.

— Хорошо, но я встречал людей, которые были так влюблены, что разводились в первый же год. Один мой знакомый был до того доволен своим медовым месяцем, что только месяца через два завел любовницу.

— Куда уж нам до таких африканских страстей,— пробормотала Динни.— Я столько насмотрелась в кино плотоядных улыбок, что у меня отбило вкус ко всему плотскому.

— А кто еще знает об этой истории?

— Майкл, дядя Лоренс, может быть, тетя Эм. Не знаю, стоит ли рассказывать нашим в Кондафорде.

— Разреши мне сперва поговорить с Хилари. Он на это посмотрит по-своему и, наверное, не так, как все.

— Ну что ж, дяде Хилари можно.— Она встала.— Значит, я могу привести к тебе Уилфрида?

Адриан кивнул и, когда она ушла, снова остановился перед картой Монголии, где пустыня Гоби казалась цветущей розой по сравнению с той мертвой пустыней, куда влекло его любимую племянницу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Динни осталась ужинать на Маунт-стрит, чтобы повидать сэра Лоренса.

Она сидела у него в кабинете и, как только он пришел, спросила:

— Дядя Лоренс, скажи, тетя Эм знает то, что знаете вы с Майклом?

— Знает. А что?

— Она ведет себя очень деликатно. Я рассказала дяде Адриану; он считает, что Уилфрид подорвал престиж Англии на Востоке. А что такое английский престиж? Мне казалось, что нас все считают нацией преуспевающих лицемеров. А в Индии — заносчивыми хамами.

Сэр Лоренс поерзал в кресле.

— Ты путаешь репутацию государства с репутацией англичанина как человека. А это совсем не одно и то же. На англичанина смотрят в странах Востока как на человека, который держит слово, не предаст своих и которого лучше не выводить из себя.

Динни покраснела. Намек был достаточно ясен.

— На Востоке,— продолжал сэр Лоренс,— англичанин — или, вернее, британец, потому что это зачастую шотландец, валлиец или выходец из Северной Ирландии,— как правило, живет изолированно от своих: путешественник, археолог, военный, чиновник, служащий, плантатор, инженер, доктор или миссионер — он всегда возглавляет небольшую группу местных жителей и может выжить в тяжелых условиях только благодаря своему престижу. Если хоть один англичанин оказался не на высоте, акции всех остальных англичан падают. И все это знают. Вот с чем вам придется иметь дело, и я не советую этого недооценивать. Нельзя требовать, чтобы восточные люди, для которых религия играет такую важную роль, понимали, что кое для кого из нас она ничего не значит. Для них англичанин — это верующий христианин, если он отрекается, значит, он отрекается от самого для себя дорогого.

— Иными словами, в глазах нашего общества Уилфрид не может рассчитывать на снисхождение? — сухо заметила Динни.

— Боюсь, что в глазах тех людей, которые правят империей, не может. Да оно и понятно. Если между этими изолированными друг от друга людьми не будет существовать полнейшего доверия, если они не будут

уверены, что никто из них не смалодушничает и не подведет других, у них вообще ничего не получится. Ведь так?

— Я никогда об этом не думала.

— Можешь мне в этом поверить. Майкл объяснил мне душевное состояние Дезерта в то время, и с точки зрения такого атеиста, как я, в его рассуждениях много верного. Мне самому было бы противно погибнуть ни за что ни про что. Но это был только повод, и, если ты мне скажешь, что он этого не понимал, боюсь, что не понимал он только потому, что его одолела гордыня ума. И тем хуже, ибо гордыня ума превыше всего ненавистна военным, да и всем прочим тоже. Она, если согласишься, довела до беды даже Люцифера.

Динни слушала, не сводя глаз с его нервного, подергивающегося лица.

— Удивительно, без чего только можно на свете обойтись...— вдруг заметила она.

Сэр Лоренс в изумлении вставил в глаз монокль.

— Ты что, от тетки заразилась манерой порхать?

— Если свет тебя не одобряет, можно обойтись и без его одобрения.

— «Презреть мир ради любви»— звучит храбро, но люди не раз пробовали это делать с пагубными для себя последствиями. Жертва, которую приносит одна из сторон,— самая непрочная основа для союза: ведь другую сторону рано или поздно это начинает раздражать.

— А я и не прошу больше счастья, чем достается среднему человеку.

— Мне для тебя этого мало, Динни.

— Ужинать!— провозгласила леди Монт, появляясь в дверях.— У вас есть пылесос, Динни? Теперь ими чистят лошадей,— продолжала она по дороге в столовую.

— Жаль, что не людей,— вздохнула Динни.— Мы чистили бы их от страхов и суеверия. Хотя дядя, наверно, этого бы не одобрил.

— Ага, значит, вы поговорили. Блор, выйдите!

Когда дворецкий вышел, она добавила:

— Я думаю о твоём отце, Динни.

— Я тоже.

— Раньше я умела с ним справляться. Но дочери! И все же у него нет другого выхода!

— Эм!— предостерег ее сэр Лоренс, когда Блор снова вошел в столовую.

— Что ж,— сказала леди Монт,— и эти верования и прочее — как это утомительно! Всю жизнь терпеть не могла крестин, разве можно так бесчеловечно обращаться с ребенком! И еще обременять крестных; правда, те не очень-то беспокоятся, подарят крестильную чашу и Библию, вот и все. А почему на чашах изображают листья папоротника? Или это стрельба из лука? Дядя Франтик выиграл чашу за стрельбу из лука, когда был помощником священника. У них это было принято. Ах, все это меня ужасно волнует.

— Тетя Эм,— сказала Динни, — единственное, о чем я мечтаю,— это чтобы никто не волновался из-за моей ничтожной особы. Только бы люди не волновались, нам больше ничего не надо.

— Вот это мудро! Лоренс, расскажи это Майклу. Блор! Налейте мисс Динни хересу.

Динни пригубила рюмку хереса и поглядела через стол на тетю Эм. В ее лице было что-то успокаивающее — и в чуть приподнятых бровях, и в опущенных веках, и в орлином носе, и словно припудренных волосах над еще красивыми плечами, шеей и грудью.

В такси, по дороге на вокзал Паддингтон, она так живо представила себе, как Уилфрид сидит один и ждет беды, что чуть было не окликнула шофера и не поехала на Корк-стрит. Такси свернуло за угол. Где они? На Пред-стрит? Да, наверно. Все тревожнения в мире происходят оттого, что одна любовь мешает другой. Как все было бы просто, если бы родители не любили ее, а она их.

Носильщик спросил ее:

— Багаж, мисс?

— Нет, спасибо.

Девочкой она всегда мечтала выйти замуж за носильщика. До тех пор, пока из Оксфорда не приехал ее учитель музыки. Он ушел на войну, когда ей было десять лет. Динни купила журнал, села в вагон и вдруг почувствовала, что страшно устала. Она уселась в уголке купе третьего класса — поездки по железной дороге сильно истощали ее и без того тощий кошелек, — откинулась назад и уснула.

Когда Динни сошла с поезда, в небе сияла почти полная луна, а ветер был порывистый и благоуханный. Придется идти пешком. Ночь светлая, и можно пойти напрямик; она перелезла через изгородь и пошла полем. Ей вспомнилась ночь два года назад, когда она вернулась с этим же поездом и привезла известие о том, что Хьюберта освободили; она застала отца — поседевшего, изможденного — у него в кабинете, и он, услышав радостную весть, сразу словно помолодел. А сейчас она несет ему весть, которая его огорчит. По правде говоря, ее больше всего пугал разговор с отцом. С мамой, конечно, тоже! Мама, хоть характер у нее и мягкий, довольно упряма, однако у женщин редко бывают непоколебимыми представления о том, что «принято» и что «не принято». Хьюберт? В прежние времена его мнение заботило бы ее больше всего. Удивительно, каким он ей стал чужим! Хьюберт будет ужасно огорчен. Он ни на йоту не отступит от «правил игры». Что ж! Его недовольство она как-нибудь стерпит. А вот отец... Он не заслужил такого огорчения после сорока лет суровой и беспорочной службы.

Коричневая сова перелетела с живой изгороди на стог. Такая лунная ночь — раздолье для сов. Жутко слушать в ночной тиши пронзительные крики их жертв. Однако кто же не любит сов, их неторопливого полета, мерных, бередящих душу криков? Еще одна изгородь, и Динни очутилась на своей земле. В этом поле стоял открытый хлев, куда на ночь заводили старого отцовского скакуна. Кто это сказал — Плутарх или Плиний: «что до меня, то я не продал бы даже старого вола, который возделывал мою землю»? Молодец!

Теперь, когда шум поезда заглох вдали, стало очень тихо; только ветерок шелестел молодой листвой да стучал копытом у себя в хлеву Кисмет. Динни пересекла второе поле и подошла к узкому бревенчатому мостику. Ночное благоухание напоминало ей чувство, которое жило

в ней теперь постоянно. Она перешла мостик и скользнула в тень яблонь. Ветви их, казалось, сияли между ней и озаренным луною беспойным небом. Они, казалось, дышали и пели хвалу начальной поре своего цветения. Они горели тысячами белеющих ростков, один прекраснее другого, словно их зажег кто-то замороженный лунным блаженством и посеребрил звездной пылью. Вот уже сто лет и больше каждую весну повторяется здесь это чудо. Весь мир словно околдован в такую ночь, но Динни больше всего трогало ежегодное волшебство цветения яблонь. Она стояла среди старых стволов, вдыхая запах коры, пропитанной пылью лишайников, и вспоминала чудеса родной природы. Горные травы, звенящие песнями жаворонков; тишайшая капель в чаще, когда после дождя выходит солнце; заросли дрока на колышемых ветром выгонах; лошади, которые, кружа, пашут, оставляя за собой длинные серо-бурые борозды; речные струи, то ясные, то — под ивами — подернутые зеленью; соломенные крыши с вьющимся над ними дымком; покрытые снопами скошенные луга; порыжевшие хлеба; синие дали за ними и вечно изменчивое небо — все эти образы теснились в ее душе, но самым дорогим было это белое волшебство весны. Динни вдруг почувствовала, что высокая трава совсем влажная; чулки ее и туфли промокли насквозь; светила такая луна, что можно было разглядеть в траве звездочки нарциссов, кисти гиацинтов и бледные литые чашечки тюльпанов; там должны быть и колокольчики, и белые буквицы, и одуванчики, — правда, и их еще немного. Она пробежала дальше, вышла из-за деревьев и постояла, глядя на белое мерцание, оставшееся позади. «Все это словно свалилось с луны, — подумала она. — А чулки-то! Мои самые лучшие!»

Она пересекла огороженный невысоким забором фруктовый сад и по газону подошла к террасе. Двенадцатый час! Внизу светилось только одно окно: в кабинете отца. Как все это похоже на ту, другую ночь!

«Ничего ему не скажу», — подумала она и постучала в окно.

Отец впустил ее.

— Здравствуй, значит, ты не осталась ночевать на Маунт-стрит?

— Нет, папа, не могу же я вечно спать в чужих ночных рубашках!

— Садись, выпей чаю. Я как раз собирался его заварить.

— Папочка, я шла через яблоневый сад и промокла насквозь.

— Снимай чулки, вот тебе старые шлепанцы.

Динни стянула мокрые чулки и села, задумчиво рассматривая свои ноги при свете лампы, пока генерал зажигал спиртовку. Он любил все делать для себя сам. Она смотрела, как он готовит чай, и думала, что он еще молодец, подтянут и движется по-прежнему быстро и ловко. На его загорелых руках с длинными гибкими пальцами росли короткие темные волоски. Он выпрямился и, не двигаясь, стал всматриваться в пламя горелки.

— Нужен новый фитиль, — сказал он. — Боюсь, что в Индии нам угрожают серьезные неприятности.

— По-моему, от Индии мы теперь получаем куда меньше пользы, чем неприятностей.

Лицо генерала с высокими, острыми скулами обратилось к дочери; он внимательно поглядел на нее, и его тонкие губы под полоской густых седых усов улыбнулись.

— А это часто бывает с теми, кто несет бремя ответственности. У тебя красивые ноги.

— Чего ж тут удивительного, я ведь твоя и мамина дочка.

— Мои хороши только для сапог — жилистые. Ты пригласила мистера Дезерта?

— Нет, еще нет.

Генерал сунул руки в карманы. Он снял смокинг и надел старую охотничью куртку табачного цвета. Динни заметила, что манжеты слегка обтрепались и одной кожаной пуговицы недостает. Темные, дугообразные брови генерала нахмурились, лоб пересекли три резкие складки, но он сказал очень мягко:

— Что-то я, Динни, не понимаю этой перемены религии. Тебе с лимоном или с лимоном?

— Если можно, с лимоном.— И подумала: «В конце концов сейчас самое подходящее время. Крепись!»

— Два куса сахара?

— С лимоном три, папа.

Генерал взял щипцы. Он опустил в чашку три куса сахара и ломтик лимона, потом положил щипцы и нагнулся к чайнику.

— Кипит,— сказал он и налил в чашку воду, потом опустил туда ложечку с чаем, вынул ее и передал чашку дочери.

Динни помешала прозрачную золотистую жидкость. Она сделала глоток, поставила чашку на колени и повернулась к отцу.

— Могу тебе объяснить, папа,— сказала она и тут же подумала: «Но тогда ты уж совсем ничего не поймешь».

Генерал налил себе чаю и сел. Динни судорожно стиснула ложечку.

— Видишь ли, когда Уилфрид был в Дарфуре, он наткнулся на гнездо арабов-фанатиков. — они там остались еще со времен Махди. Вождь приказал привести его к себе в шатер и пообещал ему жизнь, если он перейдет в мусульманскую веру.

Она увидела, что отец судорожно дернулся и даже пролил немного чая на блюдце. Генерал поднял чашку и вылил чай обратно, Динни продолжала:

— Уилфрид относится к религии так же, как большинство из нас, но, пожалуй, еще равнодушнее. И не только потому, что не верит в христианство; он ненавидит всякую религиозную догму, считает, что религия разобщает людей и приносит им больше вреда и страданий, чем что бы то ни было. А потом, понимаешь, папа,— или, вернее, ты бы понял, если бы прочитал его стихи,— война оставила в нем страшную горечь,— он увидел, что у нас не дорожат человеческой жизнью и швыряются ею как попало по приказу людей, которые об этом даже не задумываются.

Генерала снова передернуло.

— Папа, я сама слышала, как и Хьюберт говорил то же самое. Во всяком случае, Уилфрида ужасает даже мысль о зря загубленной жизни, он не терпит фарисейства и суеверия. Да и решать-то нужно было за

каких-нибудь пять минут. И толкнула его на этот шаг не трусость, а глубочайшее презрение к тому, что люди могут лишать друг друга жизни ради веры, которая ему кажется бессмысленной и пустой. Поэтому он махнул рукой и согласился. А согласившись, надо было сдержать слово и выполнить обряд. Но ты ведь его не знаешь, и все, что я говорю, — напрасно. — Она вздохнула и жадно проглотила чай.

Генерал отставил чашку; он встал, набил трубку, зажег ее и подошел к камину. Потемневшее лицо его было серьезно, глубокие складки обозначились на нем еще резче.

— Да, все это мне непонятно, — сказал он наконец. — Значит, освященная веками вера твоих отцов ничего не стоит? Значит, все то, что сделало нас самым гордым народом в мире, может быть выброшено на свалку по мановению руки какого-то араба? Значит, такие люди, как Лоуренсы, Джон Никольсон, Чемберлейн, Сандеман¹ и тысячи других, отдавших свою жизнь за то, чтобы у англичанина была репутация смелого и преданного человека, могут быть оплеваны всяким, кому пригрозят пистолетом?

Динни со звоном уронила чашку на блюдце.

— Да, Динни, и если не всяким, то почему хоть одним? Почему именно этим одним?

Динни не ответила. Она вся дрожала. Ни Адриан, ни сэр Лоренс не сумели ее пронять, а сейчас до нее впервые дошла точка зрения противника. В душе ее была задета какая-то тайная струна, ее заразило волнение человека, которого она всегда почитала, любила и не считала способным на такую страстную филиппику. Говорить она не могла.

— Не знаю, религиозный я человек или нет, — продолжал генерал, — вера моих отцов вполне меня устраивает, — он махнул рукой, словно хотел сказать: «Дело тут не во мне», — но пойми, я не мог бы пойти на это по принуждению, не мог бы сам и не понимаю, как пошел на это другой.

Динни негромко сказала:

— Я не стану тебе объяснять; давай так и уговоримся: не понимаешь, и все. Большинство людей совершает поступки, которые трудно понять, только о них не всегда знают. И разница только в том, что о поступке Уилфрида знают.

— Как, и об угрозе знают... о том, почему?..

Динни кивнула.

— Откуда?

— Какой-то мистер Юл приехал из Египта и рассказал эту историю: дядя Лоренс считает, что замять ее невозможно. Я хочу, чтобы ты знал самое худшее. — Она собрала свои мокрые чулки и туфли. — Пожалуйста, расскажи все это маме и Хьюберту, хорошо, папа? — и встала.

Генерал глубоко затынулся; в трубке послышалось бульканье.

— Пора вычистить твою трубку, папочка. Завтра я этим займусь.

¹ Лоуренс Генри (1806—1857), Лоуренс Джон (1811—1879), Никольсон Джон (1821—1857), Чемберлейн Невиль (1820—1902), Сандеман Роберт (1835—1892) — деятели, игравшие видную роль в установлении британского владычества в Индии в XIX веке.

— Но ведь он станет парией!— вырвалось у генерала.— Настоящим парией. Ах, Динни, Динни!

Никакие другие слова не могли бы ее так растрогать и обезоружить. Он больше не спорил, он их жалел.

Закусив губу, она сказала:

— Папа, если я не уйду, мне попадет в глаза дым. И ноги у меня застыли. Спокойной ночи, милый!

Она повернулась, быстро пошла к двери и, оглянувшись, увидела, что он стоит, понуро опустив голову.

Динни поднялась в свою комнату, села на постель и стала тереть одну о другую замерзшие ноги. Вот и все! Отныне ее удел жить во враждебной атмосфере, которая будет окружать ее, как стена; надо пробиться сквозь эту стену, чтобы соединиться с любимым. И удивительней всего то, думала она, старательно растирая оковеневшие ноги, что слова отца вызвали у нее тайный отклик и при этом ничуть не затронули ее чувства к Уилфриду. Неужели любовь не зависит от рассудка? Неужели образ слепого божества и в самом деле — образ любви? Неужели правда, что недостатки любимого делают его для тебя только дороже? Наверно, поэтому так не любят высоконравственных героев из книг; смеются над героической позой и злятся, когда добродетель торжествует.

«В чем же дело?— думала Динни.— Неужели мои моральные устои ниже, чем устои моих родных? Или я просто хочу, чтобы он был со мной, и мне все равно, какой он и что он делает, лишь бы он был рядом?» У нее вдруг возникло странное ощущение, что она видит Уилфрида насквозь, со всеми его пороками, несовершенствами и с чем-то таким, что искупает это и позволяет его любить, а что это — для нее необъяснимая загадка. Она подумала с невеселой улыбкой: «Дурное я в нем чувствую сразу, а вот добро, истину, красоту мне еще надо найти...» И, с трудом преодолевая усталость, она разделась и легла спать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Дом Джека Маскема в Ройстоне звался «Вереск». Это было низкое, старомодное жилье, непритязательное снаружи и комфортабельное внутри. Весь дом был увешан гравюрами с изображением скаковых лошадей и скачек. Только в одной комнате, которой редко пользовались, видны были следы прежней жизни. «Тут,— как сообщал один американский репортер, приехавший брать интервью у «последнего денди» относительно племенного коневодства,— сохранилась память о молодых годах, проведенных этим аристократом на нашем славном Юго-Западе: ковры и чеканное серебро работы индейцев племени навахо; волосяные дорожки из Эль-Пазо; огромные ковбойские шляпы и мексиканская сбруя, сверкающая серебром. Я спросил хозяина об этом периоде его жизни.

— Ах, вот вы о чем,— сказал он, растягивая слова,— да, я в молодости пять лет пробыл ковбоем. Видите ли, меня всю жизнь занимало только одно — лошади, и отец решил, что для меня здоровее быть ковбоем, чем жокеем на скачках с препятствиями.

— Вы можете сказать, когда это было?— спросил я высокого, худого патриция с внимательным взглядом и ленивыми движениями.

— Я вернулся в тысяча девятьсот первом году и с тех пор, если не считать войны, развожу породистых лошадей.

— А что вы делали на войне?— спросил я.

— Оо-о...— протянул он, и мне показалось, что я становлюсь навязчивым.— То же, что и все. Ополчение, кавалерия, окопы и тому подобное.

— Скажите, мистер Маскем, а вам нравилась жизнь там у нас?

— Нравилась?— ответил он.— Да, пожалуй, сказал бы я, пожалуй...»

Интервью было напечатано в одной из газет американского Запада под заголовком

ЖИЗНЬ У НАС В ПРЕРИЯХ ЕМУ НАРАВИЛАСЬ. ГОВОРIT АНГЛИЙСКИЙ ДЕНДИ.

Конный завод находился почти в миле от деревни Ройстон, и каждый день, ровно без четверти десять, если он не уезжал на скачки или на торги, Джек Маскем садился верхом на пони и не спеша отправлялся в свой, как окрестил его журналист, «конский питомник». Маскем любил приводить своего пони в пример того, во что можно превратить лошадь, если никогда не повышать на нее голоса. Это была умная, трехгодовалая лошадка, небольшая, породистая на три четверти, шелковистая, мышинной масти; на нее словно вылили бутылку чернил, а потом небрежно стерли пятна. Кроме чуть рваного полумесяца на лбу, у нее не было ни единого белого пятнышка, грива была подстрижена, а длинный хвост свисал чуть не до самых копыт. Глаза были блестящие, спокойные, а зубы казались белоснежными, как жемчуг. Двигалась она мелкой рысью и, если оступалась, мгновенно находила равновесие. Правили ею при помощи одного простого поводка, и она не знала, что такое удила. Она была очень мала, и ноги Джека Маскема в длинных стременах висели низко. «Ездить на ней,— говорил он,— все равно что сидеть в удобном кресле». Кроме него, к лошади подпускали только одного конюха, выбранного за ласковые руки, голос и нрав.

Спешившись у ворот и дымя изготовленной по особому заказу сигаретой в коротком янтарном мундштуке, Джек Маскем входил на квадратный двор, внутри которого располагались конюшни. На паддоке к нему подходил старший конюх. Потушив сигарету, Маскем отправлялся в конюшню, где держали маток с жеребьями и годовиков, просил показать то одну, то другую лошадь и провести ее по дорожке, которая шла вокруг двора. Закончив осмотр, он проходил под аркой напротив ворот в загоны, где паслись кобылы, жеребья и годовики. Дисциплина в этом «конском питомнике» была отличная; служащие были такими же спокойными, чистыми и воспитанными, как лошади, за которыми они ухаживали. С той минуты, как он появлялся, и до той минуты, когда он уходил и влезал на своего пони, Маскем разговаривал только о лоша-

дах — немногословно и по существу. Каждый день надо было проверить и обсудить столько всяких мелочей, что он редко возвращался домой раньше часа дня. Он никогда не рассуждал со своим старшим конюхом о научных принципах коневодства, несмотря на его глубокие познания в этой области,— для Джека Маскема эта тема была предметом такой же высокой политики, как международные отношения для министра иностранных дел. Он решал вопросы подбора сам, руководствуясь длительными наблюдениями и тем, что он называл «нюхом», а другие могли бы назвать предрассудками. Падали метеоры, давали титулы премьер-министрам, вновь садились на трон эрцгерцоги, города гибли от землетрясений, не говоря уж о прочих катастрофах, но Маскему было все ни-почем, пока он мог случить Сен-Саймона с Глазком, дав им правильную примесь крови Хемптона и Бенд'Ор; или же, руководствуясь какой-то еще более причудливой теорией, получить потомство старого Хирода через Ле-Санси — это были старший и младший представители линии, в которой текла кровь Карбайна и Баркальдайна. По существу он был идеалист. Идеалом его было вывести совершенную породу лошади, что было так же мало осуществимо, как идеалы других людей, но, по его мнению, куда более увлекательно. Правда, он никогда об этом не говорил, да и разве можно сказать это вслух! Он никогда не играл на тотализаторе, поэтому на его суждения не могли влиять низменные мотивы. Высокий загорелый человек в темно-табачном пальто со специально подшитой к нему подкладкой из верблюжьей шерсти, в желтых замшевых ботинках, он был завсегдатаем скачек в Ньюмаркете; не было другого члена жокей-клуба, кроме, пожалуй, еще троих, к кому бы прислушивались с большим почтением. Это был превосходный пример человека, знаменитого в своей области, который достиг славы молчаливым и самоотверженным служением единой цели. Но, по правде говоря, в самом идеале «совершенной конской породы» сказывалась его натура. Джек Маскем был формалист, — один из последних в этот разрушительный для всякой формы век; а то, что формализм его избрал для своего выражения именно лошадь, объяснялось и тем, что качества скаковой лошади целиком зависят от ее родословной, и тем, что она самой природой одарена удивительной соразмерностью и гармонией, и тем, что служение ей позволяло Маскему уйти от трескотни, нечистоплотности, визга, мишуры, наглого скепсиса и назойливой вульгарности этого, как он выражался, «века ублюдков».

В «Вереске» все хозяйство вели двое мужчин, только для мытья полов ежедневно приходила поденщица. Если бы не она, в доме бы не чувствовалось, что в мире вообще существуют женщины. Уклад в нем был монастырский, как в клубе, который еще не унизился до женской прислуги, но жилось тут настолько же удобнее, насколько дом этот был меньше клуба. Потолки в первом этаже были низкие; наверх вели две широкие лестницы, а там комнаты были еще ниже. В библиотеке, не считая бесчисленных трудов по коневодству, стояли книги по истории, записки путешественников и детективные романы; прочая беллетристика из-за своего скептицизма, неряшливого языка, длинных описаний, сен-

тиментальности и погони за сенсацией в дом не допускалась, если не считать собрания сочинений Сертиса¹, Уайт-Мелвила и Теккерей.

Так как во всякой погоне за идеалом есть своя смешная сторона, то и Джек Маскем только подтверждал это правило. Человек, целью жизни которого было выведение чистокровнейшей из лошадей, пренебрегал известными образцами чистой породы и хотел заменить их продуктом скрещения лошадей, еще не попавших в Племенную книгу!

Не сознавая этого противоречия, Джек Маскем спокойно обедал с Телфордом Юлом и обсуждал вопрос о перевозке арабских кобыл, когда ему доложили о приходе сэра Лоренса Монта.

— Хочешь обедать, Лоренс?

— Я уже пообедал, Джек. Но кофе выпью с удовольствием и коньку тоже.

— Тогда перейдем в другую комнату.

— Да у тебя тут настоящая холостяцкая квартира, я таких не видел с юных лет и, признаться, думал, что больше и не увижу. Джек — человек особенный, мистер Юл. Кто теперь позволяет себе быть старомодным, кроме гениев? Неужели у тебя весь Сертис и Уайт-Мелвил? Мистер Юл, помните, что сказал Уоффлз в «Спортивной поездке Спонджа»², когда они держали Кенджи вниз головой, чтобы у него вылилась вода из сапог и карманов?

Насмешливая физиономия Юла растянулась в улыбке, но он промолчал.

— То-то и оно! — воскликнул сэр Лоренс. — Теперь этого уже никто не помнит. А он сказал: «Послушай, старина, а ведь ты похож на вареного дельфина с соусом из петрушки». Ну да, а что ответил мистер Соьер из «Рынка Харборо», когда достопочтенный Крешер подъехал к турникету на заставе и спросил: «Ворота, кажется, открыты?»

Подвижное лицо Юла еще больше растянулось в улыбке, но он попрежнему молчал.

— Плохо дело! А ты, Джек?

— Он сказал: «Нет, кажется, закрыты».

— Молодец! — Сэр Лоренс опустился в кресло. — А как было на самом деле? Они были закрыты. Ну что? Договорились, как украсть кобылу? Отлично. А что будет, когда вы ее привезете?

— Покрою ее самым подходящим жеребцом. Потомство снова покрою самым подходящим жеребцом или подберу хорошую кобылу. А потом выставлю жеребят от этой случки против самых лучших наших чистокровок того же возраста. Если мои будут лучше, мне, надеюсь, удастся внести моих арабских кобыл в Племенную книгу. Кстати, я пытаюсь привезти оттуда трех кобыл.

— Сколько тебе лет, Джек?

— Скоро пятьдесят три.

— Обидно. Какой вкусный кофе!

Все трое помолчали: пора было выяснить истинную цель этого визита.

¹ Сертис Роберт Смит (1805—1864) — английский писатель, автор юмористических романов и спортивных темат.

² Спондж — герой одного из романов Сертиса.

— Я приехал, мистер Юл, — внезапно произнес сэр Лоренс, — поговорить насчет той истории с молодым Дезертом.

— Надеюсь, это неправда?

— К сожалению, правда. Он и не пытается этого скрывать. — И, напавив монокль на лицо Джека Маскема, сэр Лоренс увидел там именно то, что и ожидал увидеть.

Человек должен соблюдать приличия, — протянул Маскем, — даже если он — поэт.

— Не будем сейчас судить, прав он или нет, Джек. Согласимся, что прав ты. И тем не менее, — в голосе сэра Лоренса зазвучала непривычная суровость, — я хочу, чтобы вы оба молчали. Если эта история выйдет наружу, — ничего не поделаешь, но я не хочу, чтобы это исходило от вас.

— Мне не нравится вид этого молодчика, — отрезал Маскем.

— Как и девяти десятых людей, с которыми мы встречаемся; согласись, что это ничего не доказывает.

— Он из тех озлобленных, ни во что не верящих современных молодых людей, которые не знают жизни. Для них нет ничего святого!

— Ты известный блюститель старых порядков, Джек, но прошу тебя, уймись!

— Почему?

— Мне не хотелось об этом говорить, но, понимаешь, он помолвлен с моей любимой племянницей — Динни Черрел.

— Как, с этой милой девушкой?

— Да. Нам всем это не по нутру, кроме моего сына Майкла, — он все еще души не чает в Дезерте. Но Динни упорствует, и не думаю, чтобы ее можно было отговорить.

— Нельзя же ей выходить замуж за человека, который будет подвергнут остракизму, как только все это станет известно!

— Чем больше на него будет гонений, тем труднее будет ее от него оторвать.

— Вот это мне нравится, — сказал Маскем. — А вы что думаете, Юл?

— Мое дело сторона. Если сэр Лоренс желает, чтобы я молчал, я буду молчать.

— Конечно, наше дело сторона; однако, если бы этим можно было удержать твою племянницу, я бы не молчал. Позор!

— Но результат был бы как раз обратный, Джек. Мистер Юл, вы хорошо знаете нашу прессу. Представьте себе, что она пронюхает об этой истории; что будет тогда?

Юл даже захлопал глазами:

— Сперва они ограничатся неопределенным намеком на какого-то английского путешественника; потом выяснят, не опровергнет ли это Дезерт, а потом расскажут все это уже прямо о нем, сочинив массу подробностей, но так, что за руку их не поймаешь. Если он признается в самом факте, никто не примет его опровержений по отдельным неточностям. Газета всегда права, хотя и очень неточна.

Сэр Лоренс кивнул:

— Если бы мой знакомый решил заняться журналистикой, я бы сказал ему: «Будьте абсолютно точны, и вы окажетесь единственным

в своем роде». Я не прочел ни одной правдивой заметки о ком-нибудь с самой войны.

— У них такая система,— сказал Юл.— Двойной удар: сперва ложное сообщение, а потом поправка.

— Ненавижу газеты,— проворчал Маскем.— Был у меня тут один американский газетчик. Расселся, чуть было не пришлось вышвырнуть его силой; понятия не имею, как он меня изобразил.

— Ну и старомодный же ты человек! Для тебя Маркони и Эдисон — самые злокозненные люди на свете. Ну как, значит, решено насчет молодого Дезерта?

— Да,— сказал Юл. Маскем только кивнул.

Сэр Лоренс поспешно перевел разговор на другую тему.

— Красивые тут места. А вы сюда надолго, мистер Юл?

— После обеда собираюсь в город.

— Хотите, я вас подвезу?

— Буду очень рад.

Через полчаса они отправились в путь.

— Мой двоюродный брат,— сказал сэр Лоренс,— достоин стать национальной реликвией. В Вашингтоне есть такой музей, где за стеклом стоят группы американских аборигенов, курят общинную трубку и замахиваются друг на друга томагавками. Так можно было бы и Джека...— Сэр Лоренс помолчал.— Но вот беда! Как его законсервировать? Трудно увековечить того, кто ничем не хочет выделяться... Вы можете ухватить любую тварь, если она живет, но этот человек словно застыл... А ведь что ни говори, и у него есть свой бог в душе.

— Устои, и Маскем пророк их.

— Его, конечно, можно было бы увековечить дерущимся на дуэли. Это, пожалуй, единственная деятельность, до которой он снизойдет, не боясь нарушить устои.

— Устои рушатся,— сказал Юл.

— Гм!.. Труднее всего убить чувство формы. Ведь что такое, в сущности, жизнь, мистер Юл, как не чувство формы? Попробуйте все свести к мертвому единообразию,— все равно форма возьмет свое.

— Да, но устои — это форма, доведенная до совершенства и принятая за образец; а совершенство кажется таким нудным нашей золотой молодежи.

— Хорошее выражение! Но разве такая молодежь существует не только в романах, мистер Юл?

— Еще как! «Челюсти свернешь со скуки», как они же выразились бы. Лучше весь остаток жизни просидеть на муниципальных банкетах, чем хотя бы день — в обществе этих бойких молодых людей.

— По-моему, я таких еще не встречал,— признался сэр Лоренс.

— Ну и благодарите бога. Они ни днем, ни ночью не закрывают рта, даже во время совещания.

— Вы, кажется, их недолюбливаете.

— Да, и они меня не выносят.— Юл сморщился и стал похож на химеру.— Тоскливый народец, но, к счастью, земля не на них держится.

— Надеюсь, Джек не считает Дезерта одним из них,— это было бы ошибкой.

— Маскем и в глаза не видал этих бойких молодцов. Нет, его бесит лицо Дезерта. У него и правда чертовски странное лицо.

— Падший ангел,— сказал сэр Лоренс.— Духовная гордыня! В его лице есть своя красота.

— Да я-то против него ничего не имею, и стихи у него хорошие. Но всякий бунт для Маскема — нож острый. Ему нравится образ мыслей аккуратно подстриженный, чтобы грива была заплетена в косички, чтобы он ступал осторожно и не закусывал удила.

— Кто знает,— пробормотал сэр Лоренс.— Мне кажется, что эти двое могли бы сдружиться, особенно если бы они сначала постреляли друг в друга. Ведь мы, англичане,— странный народ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Примерно в это же время дня Адриан пересекал убогую улицу, ведущую к дому его брата — священника при церкви святого Августина-на-Лужках, а за углом происходил эпизод, как нельзя лучше характеризующий англичан.

У входа в дом, который, казалось, вот-вот рухнет, стояла карета скорой помощи, и толпа зевак — им давно пора было заняться своим делом — окружала ее плотным кольцом. Адриан присоединился к толпе. Из ветхого здания двое мужчин и санитарка выносили больную девочку, а за носилками, громко причитая, шла краснолицая женщина средних лет и насуспенный, что-то бурчавший себе под нос, бледный мужчина с обвислыми усами.

— Что случилось? — спросил Адриан у полицейского.

— Ребенку нужно сделать операцию. В больнице за ней будет прекрасный уход. А у них такой вид, будто ее тащат на убой. Вот и наш священник. Уж если он их не утихомирит, тогда пиши пропало!

Адриан увидел, что из дома вышел его брат и заговорил с бледным мужчиной. Бурчание прекратилось, но женщина завопила еще громче. Ребенка внесли в карету, и мать, спотыкаясь, кинулась к дверце.

— Пустые головы! — произнес полицейский, выступая вперед.

Адриан увидел, как Хилари положил руку на плечо женщины. Она обернулась, словно хотела его как следует облаять, но вместо этого только жалобно заскулила. Хилари взял ее под руку и тихонько повел в дом. Карета отъехала. Адриан подошел к бледному человеку и предложил ему закурить. Тот взял сигарету, поблагодарил и отправился вслед за женой.

Представление было окончено. Небольшая толпа рассеялась. Полицейский остался один.

— Священник у нас просто чудо,— сказал он.

— Это мой брат,— сообщил Адриан.

Полицейский поглядел на него почтительно.

— Редкостный человек наш священник, сэр.

— И я так думаю. Видно, девочка очень плоха?

— До ночи не протянет, если не сделают операцию. Они словно нарочис тянули до последней минуты. Чистый случай, что священник про

это узнал. Многие у нас лучше помрут, чем лягут в больницу, а уж отдать туда детей — и говорить нечего.

— Хотят сами себе быть хозяевами,— сказал Адриан.— Я это чувство понимаю.

— Ну ежели так на это смотреть, то и я понимаю. Да ведь дома-то у них уж очень скудно, а в больнице все самое лучшее.

— «Хоть бедно, да свое»,— процитировал Адриан.

— Правильно. От этого-то и живут у нас до сих пор в трущобах. Уж такие дыры в наших местах, а вот попробуй пересели отсюда народ, он тебе покажет! Священник много добра здесь делает, оборудует, как говорится, всякие удобства. Если вы к нему, я схожу позову его.

— Да нет! Я лучше обожду.

— Вы и не поверите,— продолжал полицейский,— чего только народ не стерпит, лишь бы в его дела не мешались. И называйте это как хотите: социализм, коммунизм, народное правление, все одно к одному — лезут в вашу жизнь, и только! Эй! А ну-ка, проходите! Нечего тут делать лоточникам!

Какой-то человек с тележкой, только собравшийся закричать: «Раки» — быстро закрыл рот.

Адриан, потрясенный путаницей в голове полицейского, хотел было продолжать эту философскую беседу, но тут из дома вышел Хилари и направился к ним.

— Если ребенок выживет, то уж никак не по их милости,— сказал Хилари и, ответив на приветствие полицейского, спросил его:— Ну как, растут у вас петунии, Белл?

— Растут, сэр, жена в них души не чает.

— Отлично! Послушайте, по дороге домой вы же будете проходить мимо больницы; узнайте для меня, как там эта девочка, и позвоните, если дела пойдут плохо.

— Непременно зайду. С удовольствием.

— Спасибо. Ну, а теперь пойдем-ка мы с тобой домой и выпьем чаю,— обратился он к брату.

Мисс Хилари ушла на приходское собрание, и братья сели пить чай вдвоем.

— Я пришел насчет Динни,— начал Адриан и рассказал всю историю.

Хилари закурил трубку.

— «Не судите, да не судимы будете» — очень утешительное речение, пока с этим сам не столкнешься. А тогда видишь, что это чистейший вздор: всякий поступок основан на суждении,— все равно, выскажешь ты его или нет. Динни очень его любит?

Адриан кивнул. Хилари глубоко затянулся.

— Ну, тогда мне все это очень не нравится. Мне так хотелось, чтобы жизнь у Динни была светлая; а тут барометр явно идет на бурю. И, наверно, сколько ей ни толкуй, как на это смотрят другие, ничего на нее не действует?

— Где тут!

— Чего же ты от меня хочешь?

— Да я просто хотел узнать твое мнение.

— Мне тяжело, что Динни будет несчастна. Что же до его отречения, то во мне против этого все восстает — и не знаю, потому ли, что я священник, или потому, что получил определенное воспитание. Подожду, что это голос предков.

— Если Динни решила стоять насмерть, — сказал Адриан, — будь с ней стоять и мы. Мне всегда казалось: если что-нибудь неприемлемое происходит с теми, кого ты любишь, единственное, что тебе остается, — принять неприемлемое. Я постараюсь отнестись к нему по-дружески и понять его точку зрения.

— А у него, вероятно, нет своей точки зрения, — сказал Хилари. — Au fond¹, понимаешь, он просто прыгнул очертя голову, как Лорд Джим², и в душе сам это понимает.

— Тем трагичнее для них обоих, и тем важнее их поддержать.

Хилари кивнул:

— Бедный Кон, ему достанется. Такой завидный повод пофарисействовать! Так и вижу, как все будут их сторониться, чтобы не замараться!

— А может, нынешние скептики всего-навсего пожмут плечами и скажут: «Слава богу, еще один предрассудок побоку»?

Хилари покачал головой:

— Увы! Большинство сочтет, что он стал на колени, чтобы спасти свою шкуру. Как бы люди теперь ни иронизировали над религией, патриотизмом, престижем империи, понятием «джентльмен» и прочим, они все же, грубо говоря, трусов не любят. Это отнюдь не мешает многим из них самим быть трусами, но в других они подобной слабости не терпят; и если подвернется случай выказать свое неодобрение, то уж они не откажут себе в удовольствии.

— Даст бог, эта история и не выйдет наружу.

— Непременно выйдет, так или иначе; и чем скорее, тем лучше для Дезерта, — это даст ему по крайней мере возможность проявить душевную отвагу. Бедная Динни! Хватит ли у нее чувства юмора? Ах ты боже мой... Видно, я старею. А что говорит Майкл?

— Я его давно не видел.

— А Лоренс и Эм знают?

— Думаю, что да.

— Но больше никто об этом знать не должен?

— Да. Ну что ж, мне пора.

— Попытаюсь выразить мои чувства в римской галере, которую я сейчас вырезаю. Посижу-ка над ней полчаса, если та девочка не умерла под ножом.

Адриан зашагал дальше в Блумсбери. И всю дорогу пытался поставить себя на место человека, которому грозит внезапная гибель. Кончена жизнь, никогда больше не увидишь тех, кого любил, и никакой, хотя бы смутной надежды осмысленно существовать, как существовал здесь на земле.

¹ В сущности (ф р а н ц.).

² Л о р д Д ж и м — герой одноименного романа английского писателя Джозефа Конрада (1857—1924). Лорд Джим обесчестил себя, покинув корабль в минуту паники.

«Вот такая беда, которая обрушилась на тебя неожиданно-негаданно,— думал он,— да еще и полюбоваться на твой героизм некому,— вот она-то и есть настоящая проба характера. И кто из нас знает, как ее выдержит?»

Его братья — солдат и священник — примут смерть как простой долг свой; даже третий брат, судья, хоть ему и захочется поспорить и переубедить палача, сделает то же самое. «А я?— спросил он себя.— Разве не подлость умирать за веру, которой у тебя нет, где-то в неведомом краю, не теша себя даже тем, что смерть твоя кому-нибудь нужна или что о ней когда-нибудь узнают люди!» Если человеку не надо сохранять профессиональный или государственный престиж и перед ним поставлен выбор, а решать надо мгновенно, то, не имея возможности поразмыслить и взвесить, он будет полагаться на один лишь инстинкт. И тут уж все зависит от характера. А если характер такой, как у Дезерта,— судя по его стихам, он привык противопоставлять себя своим ближним или по крайней мере чуждаться их; презирать условности и практическую цепкость англичан; в душе, быть может, он больше сочувствует арабам, чем своим соотечественникам,— то не будет ли решение непременно таким, какое принял Адриан,— но я его понимаю и в чем-то ему сочувствую. И уж во всяком случае я буду стоять за Динни и поддерживать ее до конца; так же, как стояла она за меня в истории с Ферзом». И, приняв решение, он немножко успокоился...

А Хилари вырезал из дерева свою римскую галеру. В университете он ленился изучать античных классиков и стал священником; теперь он уже и сам не понимал, как это произошло. Каков же он был в молодости, если мог вообразить, что пригоден для этого звания? Почему он не стал лесничим, ковбоем, почему не занялся любым ремеслом, которое позволило бы ему жить на воздухе, а не в трущобах, в самом сердце этого пасмурного города? Уж не толкнуло ли его на эту стезю божественное откровение? А если нет, то что же его на это толкнуло? Обстреливая палубу, подобную тем, на которые, по воле древних водопроводчиков-римлян, когда-то рекою лился пот чужеземцев, он думал: «Я служу идее, но с такой надстройкой, что лучше об этом не думать! Но я же тружусь на благо человека? И врач трудится на благо людям, несмотря на шарлатанство, царящее в медицине; и государственный деятель, хотя и знает, что избиратели, вручившие ему власть,— темные люди. Человек пользуется внешним ритуалом культа, сам в него не веря, и даже ухитряется внушить веру в него другим. Жизнь практически сводится к компромиссу. Все мы — иезуиты,— думал он,— и пользуемся сомнительными средствами для высоких целей. Но готов ли я отдать жизнь за свой сан, как солдат — за честь мундира? Ах, все эти рассуждения не стоят и выеденного яйца...»

Зазвонил телефон.

— Священника!.. Да, сэръ!.. Насчет той девочки. Оперировать уже поздно. Хорошо бы вам прийти, сэръ.

Хилари положил трубку, схватил шляпу и выбежал на улицу. Из множества его обязанностей самой неприятной для него было напутствие у смертного одра; и когда он вылез из такси у входа в больницу, его морщинистое, застывшее лицо таило подлинный ужас. Такая малютка! А что он мог поделывать — пробормотать несколько молитв и поддержать ее за руку? Родители — просто злодеи, — запустили болезнь, а теперь уже слишком поздно. Посадить их за это в тюрьму, — значит, нужно сажать в тюрьму всех англичан, все они только и думают, как бы уберечь свою независимость, пока не становится слишком поздно!

— Сюда, сэр, — сказала сиделка.

В строгой белизне небольшого приемного покоя Хилари разглядел безжизненное маленькое тельце, покрытое чем-то белым, и смертельно бледное личико. Он сел рядом, подыскивая слова, которые согрели бы последние минуты ребенка.

«Молиться не буду, — думал он, — она еще слишком мала».

Глаза девочки, затуманенные морфием, мучительно вглядывались в окружающий мир и с ужасом перебегали с предмета на предмет, испуганно останавливаясь то на белой фигуре сиделки, то на докторе в халате. Хилари поднял руку.

— Могу я вас попросить оставить меня с ней на минутку?

Врач и сиделка вышли в соседнюю палату.

— Лу! — тихонько позвал Хилари.

Девочка услышала его, взгляд перестал испуганно метаться и застыл на улыбающихся губах священника.

— Как здесь красиво и чисто, правда? Лу! Что ты любишь больше всего на свете?

Бледные сморщенные губки разжались, чтобы едва слышно произнести:

— Кино.

— Вот тебе и будут его показывать, каждый божий день, даже два раза в день. Ты только подумай! Закрой глаза, постарайся покрепче заснуть, а когда проснешься, увидишь кино. Закрой глазки! А я расскажу тебе сказку. Все будет хорошо. Видишь? Я тут.

Ему показалось, что она закрыла глаза, но у нее снова начался приступ боли; она тихонько захныкала, потом закричала.

— Господи! — прошептал Хилари. — Доктор, еще укол поскорее!

Доктор впрыснул морфий.

— Теперь оставьте нас.

Доктор выскользнул за дверь, а взгляд ребенка медленно возвратился к улыбающемуся лицу Хилари. Он прикрыл ладонью ее худенькую ручку...

— Слушай, Лу!

Шли Плотник об руку с Моржом по желтому песку,

И почему-то вид песка нагнал на них тоску...

— Смогли б, семь метел в руки взяв, семь опытных прислуг

Убрать за лето весь песок, как думаешь ты, друг? —

Такой, рыдая, задал Морж товарищу вопрос...

— Навряд ли! — Плотник отвечал, не сдерживая слез.

Хилари все читал и читал ей на память «Званное чаепитие у Сумасбродного Шляпника»¹. А в это время глаза девочки закрылись и ручонка ее похолодела.

Он почувствовал, как холод проникает в его пальцы, и подумал: «Ну, а теперь, господи, если ты существуешь, покажи ей кино!»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Проснувшись утром, после разговора с отцом, Динни никак не могла сообразить, чем она огорчена. Потом вспомнила и в ужасе села на кровати. А вдруг Уилфрид от всего этого сбежит — на Восток или еще дальше? С него станется, да еще и убедит себя, что делает это ради нее!

— Не могу я ждать до четверга, — подумала она. — Я должна к нему поехать! Ах, если бы у меня были деньги, на случай... — Она вытащила свои украшения и торопливо прикинула, сколько за них можно получить у тех двух джентльменов на Саус-Молтон-стрит. Когда она отдавала им изумрудный кулон Джин, они вели себя очень мило. Динни отложила два-три украшения, которые любила носить, а остальные, предназначенные в заклад, завернула в бумагу. У нее не было дорогих вещей, и получить за все можно будет в лучшем случае фунтов сто.

За завтраком ее родные вели себя так, будто ничего не случилось. Ага, значит, все уже знают!

«Изображают ангельскую кротость», — подумала она.

Когда отец объявил, что едет в город, Динни сказала, что едет с ним.

Он поглядел на нее, как обезьяна, недовольная тем, что человек не желает ей подражать. Как же она никогда не замечала, что в его карих глазах светится такая грусть?

— Вот и хорошо, — сказал он.

— Хотите я вас подвезу? — спросила Джин.

— Премного вас благодарим, — сказала Динни.

Никто и словом не обмолвился о том, что всех так тревожило.

В открытой машине Динни сидела рядом с отцом. Боярышник в этом году распустился поздно, но теперь был в полном цвету, и его запах примешивался к запаху бензина. Затянутое облаками небо не пролилось дождем. Путь их лежал по холмам Чилтернс, через Хемпден, Большой Миссенден, Челфонт и Чорли-Вуд, — пейзаж был настолько английский, что даже со сна не подумаешь, что ты в какой-нибудь другой стране. Эта дорога не могла наскучить Динни, но сегодня ни весенняя зелень, ни яркая белизна цветущих яблонь и боярышника, ни извилистая дорога, проходившая по старинным деревьям, не могли отвлечь ее внимания от неподвижной фигуры рядом с ней. Она догадывалась, что отец постарается увидеться с Уилфридом, а если так — она последует его примеру. Но когда генерал заговорил — он стал рассказывать об Индии. А когда заговорила Динни — разговор пошел о птицах. Джин отчаянно гнала машину и ни разу на них не оглянулась. И только на Финчли-роуд генерал спросил:

— Где ты хочешь сойти, Динни?

¹ Одна из глав книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

— На Маунт-стрит.
— Значит, ты останешься в городе?
— Да, до пятницы.
— Мы тебя высадим, и я поеду к себе в клуб. Ты сегодня отвезешь меня обратно, Джин?

Джин кивнула, не оборачиваясь, и так ловко проскользнула между двумя ярко-красными автобусами, что оба водителя обругали ее одним и тем же словом.

Динни лихорадочно думала, что ей делать. Удобно позвонить Стаку и попросить немедленно сообщить ей, как только появится отец? Тогда она сможет точно рассчитать время. Динни принадлежала к тем людям, которые сразу же располагают к себе прислугу. Кладя себе на тарелку картофеля, она невольно внушала тому, кто ее подавал, что он интересуется ее как личность. Она всегда говорила «спасибо» и редко уходила, не сказав на прощание несколько приветливых слов. Стака она видела всего три раза, но знала, что он считает ее человеком, хоть она родилась и не на окраине. Динни мысленно оглядела его уже немолодую фигуру, черные волосы, монашеское лицо с большим носом и выразительными глазами, резко очерченные губы, которые говорили о рассудительности и доброте. Держался он прямо и ходил чуть-чуть вприпрыжку. Она поймала его взгляд и прочла: «Уж если нам суждено жить вместе, смогу ли я с ней ужиться? Да, смогу». Динни чувствовала, что он бесконечно предан Уилфриду. Она решила рискнуть. Когда ее довезли до Маунт-стрит и машина отъехала, Динни подумала: «Надеюсь, мне никогда не придется быть отцом!»

— Можно позвонить от вас, Блор?

— Конечно, мисс.

Она назвала номер телефона Уилфрида.

— Это Стак? Говорит мисс Черрел... Вы могли бы оказать мне маленькую услугу? Мой отец должен зайти сегодня к мистеру Дезерту, — генерал Конвей Черрел, — не знаю, в котором часу, но мне бы хотелось застать его у вас... Позвоните мне, как только он придет. Да, я буду здесь... Большое спасибо... Как здоровье мистера Дезерта?.. Пожалуйста, не говорите ни ему, ни отцу, что я приду. Огромное вам спасибо!

«Ну вот, — подумала она, — если только я правильно поняла отца. Напротив дома Уилфрида картинная галерея. Оттуда я увижу, когда он уйдет».

Обедали они вдвоем с тетей, до обеда никто не позвонил.

— Твой дядя видел Джека Маскема — там, в Ройстоне, — сказала леди Монт, — он привез с собой оттуда этого другого, — ужасно похож на мартышку; они оба ничего не скажут. Но, слышишь, Динни, Майкл говорит, чтобы он не смел этого делать!

— Чего, тетя Эм?

— Печатать поэму.

— А!.. Он ее непременно напечатает!

— Почему? Она такая хорошая?

— Это лучшее, что он написал.

— Вот и ни к чему.

— Уилфрид не стыдится своего поступка.

— По-моему, у тебя будет ужасно много хлопот! А разве вам нельзя вступить в ненастоящий брак?

— Я ему предлагала.

— Динни, как тебе не стыдно!

— Он не согласился.

— Ну и слава богу! Мне было бы так неприятно, если бы ты попала в газеты.

— Мне тоже, тетя.

— Флер попала в газеты за клевету.

— Я помню.

— Как называется эта вещь, которая летит обратно и по ошибке попадает в тебя?

— Бумеранг?

— Я так и знала: что-то австралийское. Но почему у них такой странный акцент?

— Понятия не имею.

— А кенгуру? Блор, налейте мисс Динни еще!

— Спасибо, тетя Эм, больше не хочу. Можно я пойду вниз?

— Пойдем вместе.— И, поднявшись, леди Монт поглядела на племянницу, склонив голову набок.— Дыши поглубже и ешь сырую морковь. Охлаждает кровь. А почему Гольфстрим, Динни? Какой это гольф?

— Мексиканский, дорогая.

— Я читала, что откуда-то оттуда приходят угри. Ты куда-нибудь идешь?

— Я жду телефонного звонка.

— Когда они произносят «гр-р-р-рустно», у меня начинают ныть зубы. Но девушки там милые. Хочешь кофе?

— Ужасно!

— Кофе помогает. Не так расклеиваешься.

«Тетя Эм гораздо проникательнее, чем кажется!»— подумала Динни.

— Влюбляться куда хуже в деревне,— продолжала леди Монт,— там кукушки. Кто-то мне говорил, что в Америке их не бывает. А может, там не влюбляются? Дядя, наверно, знает. Когда он вернулся оттуда, он мне рассказывал историю про какого-то «папашу из Ну-у-порта». Но это было так давно. Я всегда чувствую, что творится у людей внутри,— вдруг сказала тетка, и Динни стало прямо жутко.— А куда пошел твой отец?

— К себе в клуб.

— Ты ему сказала?

— Да.

— Ты ведь его любила.

— Ну нет! Его любимица — Клер.

— Чепуха!

— А у тебя любовь протекала гладко, тетя Эм?

— У меня была хорошая фигура,— ответила та,— пожалуй, ее было многовато, тогда у нас у всех ее было многовато. Лоренс был у меня первый.

— Неужели!

— Если не считать мальчиков из хора, нашего конюха и двух-трех военных. Был такой капитан небольшого роста с черными усиками. Не-красиво, когда тебе всего четырнадцать?

— Дядя ухаживал, наверное, очень чинно?

— Нет, у дяди был ужасный темперамент. В девяносто первом году. Тогда тридцать лет не было дождя.

— Такого, как сейчас?

— Никакого, но я только не помню где. Телефон!

Динни схватила трубку перед самым носом дворецкого.

— Это меня, Блор, спасибо.

Она подняла трубку дрожащей рукой.

— Да?.. Понимаю... спасибо, Стак... большое спасибо. Блор, вызовите мне, пожалуйста, такси.

Она подъехала к картинной галерее напротив дома Уилфрида, купила каталог, поднялась вверх и подошла к окну в верхнем зале. Делая вид, будто внимательно изучает номер 35, который почему-то назывался «Ритм», она не спускала глаз с двери на той стороне улицы. Отец еще не мог уйти от Уилфрида, — с тех пор как ей позвонили, прошло всего семь минут. Очень скоро, однако, она увидела, как он вышел из дома и зашагал по улице. Голова его была опущена; лица Динни не видела, но могла себе ясно представить его выражение.

«Жует усы, — подумала она, — ах ты мой бедненький!»

Как только он завернул за угол, Динни сбежала вниз, быстро перешла улицу и поднялась на второй этаж. Перед дверью в квартиру Уилфрида она постояла, не решаясь нажать звонок. Потом позвонила.

— Я очень опоздала, Стак?

— Генерал только что ушел, мисс.

— А-а... Можно мне видеть мистера Дезерта? Не надо докладывать, я пройду сама.

— Хорошо, мисс, — сказал Стак.

Право же, ни в чьих глазах она не видела столько сочувствия!

Поглубже вздохнув, она отворила дверь. Уилфрид стоял у камина, опершись на него локтями и положив голову на скрещенные руки. Динни на цыпочках подошла к нему и стала молча ждать, чтобы он ее заметил.

Внезапно он вскинул голову.

— Милый, прости, я тебя напугала! — сказала Динни и подставила ему лицо, полуоткрыв губы; она видела, как он борется с собой.

Наконец он сдался и поцеловал ее.

— Динни, твой отец...

— Знаю. Я видела, как он вышел. «Если не ошибаюсь, мистер Дезерт? Дочь сказала мне о вашей помолвке и... гм... о вашем положении. Я... гм... разрешил себе прийти к вам по этому поводу. Вы, надеюсь, представляете себе... гм... что произойдет, когда ваша... тамошняя... гм... выходка станет... гм... известна. Дочь моя — совершеннолетняя и может поступать, как ей заблагорассудится, но мы все чрезвычайно к ней привязаны, и, я надеюсь, вы согласитесь, что ввиду такого... гм... скандала...

было бы совершенно неправильно с вашей стороны... гм... считать себя помолвленным с ней в данное время».

— Почти дословно.

— А что ты ответил?

— Что я подумаю. Но он совершенно прав.

— Он совершенно не прав. Я ведь тебе уже говорила: «Любовь не знает убыли и тлена»¹. Майкл считает, что тебе не следует печатать «Леопарда».

— Я должен. Мне надо от него освободиться. Когда тебя со мной нет, я совсем схожу с ума.

— Знаю. Но, милый ты мой, ведь те двое ничего не скажут; вся эта история, может, и не получит огласки. То, о чем не узнают сразу, редко становится известно вообще. Зачем напрашиваться на неприятности?

— Дело не в этом. Меня гложет мысль, что я вел себя как трус. Я сам хочу, чтобы все это вышло наружу. Тогда трус я или нет, но я смогу глядеть людям в лицо. Неужели ты этого не понимаешь?

Она понимала. Достаточно было на него поглядеть. «Я обязана чувствовать то же, что чувствует он,— думала она,— как бы я к этому ни относилась; только так я смогу ему помочь; может быть, только так я смогу его удержать».

— Нет, я отлично все понимаю. Майкл не прав. Давай примем удар, и пусть наши головы «будут в крови, но мы их не склоним». Как бы там ни было, мы не будем «капитанами души своей»².

И, заставив Уилфрида улыбнуться, она усадила его рядом с собой. После долгого молчаливого объятия она открыла глаза и поглядела на него так, как умеют глядеть только женщины.

— Завтра четверг. А что, если на обратном пути мы заедем к дяде Адриану? Он на нашей стороне. Что касается помолвки,— мы ведь можем быть помолвлены, а говорить будем, что нет. До свиданья, мой хороший!

Внизу в вестибюле, открывая дверь на улицу, Динни услышала голос Стака:

— Одну минуточку, мисс!

— Да?

— Я давно служу у мистера Дезерта,— вот я тут и рассудил, мисс... Вы ведь помолвлены с ним, если я, конечно, не ошибаюсь?

— И да, и нет, Стак. Но я, во всяком случае, надеюсь выйти за него замуж.

— Вот именно, мисс. И вы меня, конечно, извините, но это хорошее дело, мисс. Мистер Дезерт — человек горячий, и если бы мы с вами, как говорится, заключили союз, ему это было бы только на пользу.

— И я так думаю; поэтому я вам утроем и позвонила.

— Мне на своем веку приходилось видеть немало молодых леди, но все они, по-моему, были ему не пара. Вот почему я и взял на себя смелость...

Динни протянула ему руку.

¹ Строка из 116-го сонета Шекспира, перевод С. Маршака.

² Из стихотворения Э. Хенли (1849—1902) «Непобежденный».

— Я рада, что вы это сделали, я сама этого хотела; у нас ведь все очень сложно, и боюсь, чем дальше, тем будет труднее.

Тщательно обтерев руку, Стак протянул ее Динни, и они обменялись неловким рукопожатием.

— Я чувствую, он что-то задумал,— сказал Стак.— Конечно, не мое это дело, но он частенько ни с того ни с сего срывался с места. Если бы вы дали мне номера ваших телефонов, мисс, может, я и сумел бы вам обоим услужить.

Динни записала ему номера телефонов.

— Вот это городской, моего дяди сэра Лоренса Монта на Маунт-стрит, а это загородный, в имении Кондафорд, в Оксфордшире. Либо по одному, либо по другому меня почти наверняка можно найти. И я вам очень благодарна. У меня точно гора с плеч свалилась.

— И у меня тоже, мисс. Мистеру Дезерту я всем обязан. И желаю ему всяческого благополучия. Он, может, человек и не на всякий вкус, но я ему душевно предан.

— Я тоже, Стак.

— Не стал бы говорить вам пустые приятности, мисс, но ему, извините, конечно, очень повезло.

Динни улыбнулась.

— Нет, это мне повезло. До свиданья и еще раз спасибо.

Она ушла, едва касаясь подошвами, если можно так выразиться, Корк-стрит. У нее есть союзник в самой пасти льва, соглядатай в дружеском стане, преданный предатель! И, нарочно путая все метафоры, она спешила назад к дому тетки. Отец почти наверняка зайдет туда перед возвращением в Кондафорд.

Увидев в прихожей хорошо знакомый старый котелок, она предусмотрительно сняла шляпу и лишь потом вошла в гостиную. Отец разговаривал с тетей Эм, но, увидев Динни, они замолчали. Теперь уж все, заведя ее, будут обрывать разговор на полуслове! Она спокойно села и поглядела им прямо в глаза.

Генерал не успел вовремя отвести взгляд.

— Динни, я был у мистера Дезерта.

— Знаю, милый. Он решил подумать над тем, что ты сказал. Во всяком случае, мы подождем, пока все не станет известно.

Генерал смущенно поерзал в кресле.

— И официально мы не помолвлены,— если тебе от этого легче.

Генерал отвесил ей легкий поклон, и Динни перевела взгляд на леди Монт, обмахивавшую разгоряченное лицо листком сиреневой промокательной бумаги.

Наступило молчание.

— Когда ты едешь в Липпингхолл, Эм?— спросил наконец генерал.

— На будущей неделе,— ответила та,— а может, еще через неделю! Лоренс знает. Яставляю двух садовников на выставке цветов в Челси. Босуэла и Джонсона.

— Ну? Неужели они все еще у тебя?

— А как же! Они, тебе надо посадить пестиферу. Нет, это как-то иначе называется,— ну, такие волосатые анемоны...

— Пульсатиллы, тетя.
— Прелестные цветы. Им нужна известь.
— У нас мало извести в Кондафорде,— сказал генерал.— Ты ведь знаешь!

— Зато азалии у нас в этом году были просто чудо, тетя Эм!

Леди Монт отложила промокательную бумагу.

— Я говорю ему, Динни, чтобы они к тебе не приставали!

Поглядев на угрюмое лицо отца, Динни сказала:

— Тетя, ты знаешь этот чудный магазин на Бонд-стрит, где продают всяких животных? Я там купила статуэтку маленькой лисички с лисятами, чтобы папа лучше относился к лисам.

— Ох уж эти охотники!— вздохнула леди Монт.— Когда их выкуривают, это так трогательно!

— Даже папа не любит раскапывать норы или засыпать ходы земель, правда, папа?

— Н-нет...— сказал Генерал.— В общем, нет.

— И даже детей мажут кровью, приучают к охоте,— продолжала леди Монт.— Я сама видела на тебе кровь, Кон.

— Неприятно и, главное, ни к чему! Теперь этим забавляются только старые бурбоны.

— Он так противно выглядел, Динни!

— Да, папа, тебе это как-то не к лицу. Тут нужен курносый, рыжий, веснушчатый парень, который любит убивать из любви к искусству.

Генерал встал.

— Мне пора обратно в клуб. Джин за мной туда заедет. Когда мы теперь тебя увидим, Динни? Мама...— И он запнулся.

— Тетя Эм оставила меня у себя до субботы.

Генерал кивнул. Он разрешил сестре и дочери себя поцеловать, хотя на лице у него было написано: «Все это так, но...»

Динни стояла у окна и смотрела, как он идет по улице; сердце у нее сжималось.

— Твой отец!— слышался у нее за спиной голос тетки.— Ах, как все это утомительно, Динни!

— По-моему, со стороны папы было благородно даже не намекнуть, что я от него завишу.

— Кон — очень милый,— подтвердила леди Монт,— он сказал, что молодой человек держался почтительно. Кто это говорил: «гр-ру-гр-ру»?

— Старый еврей в «Давиде Копперфильде».

— Вот и я чувствую сейчас то же самое.

Динни повернулась к ней.

— Тетечка! Мне кажется, что за последние две недели я стала совсем другая. Я ужасно изменилась. Раньше у меня не было никаких желаний, а теперь только одно желание, и я этого ни капельки не стыжусь. Только не предлагай мне английскую соль!

Леди Монт похлопала ее по руке.

— «Почитай отца твоего и мать твою»,— сказала она.— Но ведь там было и «оставь все, и следуй за мной»,— так что ничего еще не известно.

— Нет, известно,— ответила Динни.— Знаешь, на что я теперь надеюсь? Что завтра все станет известно. Тогда мы сможем сразу обвенчаться.

— Давай-ка выпьем чаю. Блор, чаю! Индийского, и покрепче!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На следующий день Динни довела своего возлюбленного до дверей музея дяди Адриана и оставила его там. Оглянувшись на высокую, перетянутую поясом фигуру, она заметила, что он весь передернулся. Но он все же улыбнулся ей, и, хотя он был уже далеко, на душе у нее по-прежнему тепло.

Адриан был заранее предупрежден о приходе Уилфрида, встретил его, как он сам признался, с «нездоровым любопытством» и сразу же нашел, что тот — полная противоположность Динни. До чего же несхожая это будет пара! Однако общение с ископаемыми, по-видимому, кое-чему научило Адриана, и он почувствовал, что с точки зрения физической племянница не ошиблась. Сухопарая грация и мужественность Уилфрида подходили к ее изящной фигуре; а на смуглом осунувшемся лице с такими горькими складками светились глаза, которые даже на взгляд Адриана, страдавшего чисто английской неприязнью к кинозвездам мужского пола, могли увлечь любую дочь Евы. Ископаемые помогли немножко растопить лед, и, обсуждая, действительно ли был хеттом какой-то довольно прилично сохранившийся скелет, они почти подружались. Страны и люди, увиденные обоими при необычных обстоятельствах, сблизили их еще больше! И, только взяв шляпу и прощаясь, Уилфрид вдруг спросил:

— А что бы сделали вы на моем месте, мистер Черрел?

Адриан прищурил глаза и внимательно поглядел на гостя.

— Я не мастер давать советы, но Динни — не девушка, а золото...

— Да.

Адриан нагнулся и притворил дверцу одного из шкафов.

— Сегодня утром,— сказал он,— я наблюдал у себя в ванной, как ползет муравей, отправляясь в разведку. К стыду своему, сознаюсь, я стряхнул на него немножко пепла из трубки: хотелось поглядеть, что он будет делать. Будто я господин бог: ведь и он вечно стряхивает на нас пепел из своей трубки — хочет поглядеть, что из этого выйдет. Мысли у меня тут были разные, но я пришел к выводу, что если вы действительно любите Динни... — по телу Уилфрида пробежала судорога, и его пальцы сжали край шляпы, — а я вижу, что любите, и знаю, что она любит вас тоже, — то стойте на своем и пробивайте вместе с ней себе дорогу сквозь пепел. Динни предпочтет с вами жизнь в шалаше. Мне кажется, — и лицо Адриана осветила задумчивая улыбка, — что Динни — из тех, о ком может быть сказано: «И будут два едины духом».

Лицо у молодого человека дрогнуло.

«Это — настоящее!» — подумал Адриан.

— Поэтому думайте прежде всего о ней, и не по формуле: «Я тебя так люблю, что никакая сила не заставит меня на тебе жениться». По-

ступайте, как она хочет и когда захочет,— она ведь человек разумный. И, честно говоря, не думаю, чтобы вы оба пожалели.

Дезерт шагнул к нему, и Адриан понял, что его собеседник глубоко взволнован. Но, овладев собой, он ничем не выдал своего волнения, только криво усмехнулся, взмахнул рукой, повернулся и вышел.

Адриан стал запирать шкафы, где хранились его ископаемые. «В жизни не видал такого непокорного и чем-то прекрасного лица,— думал он.— Какой высокий дух, но как легко этому человеку оступиться. А не преступный ли я дал совет, ведь он, кажется, ему последует». И он снова сел читать географический журнал, который отложил, когда пришел Уилфрид. Там была напечатана бойкая заметка об одном из индейских племен на реке Амазонке, которому удалось даже без помощи американских инженеров с их капиталистическими заработками основать идеальную общину. Никто там, по-видимому, не имел никакой собственности. Вся жизнь, включая и удовлетворение естественных потребностей, протекала у всех на глазах. Одежды не носили; законов не было; единственная кара — преступников отдавали чуть ли не на съедение красным муравьям — полагалась за попытку утаить что-нибудь от общества. Питались тапиокой, разнообразя меню орехами, и были образцовой общиной!

«Удивительная вещь!— думал Адриан.— До чего же человеческая жизнь возвращается на круги своя. Около двадцати тысяч лет мы пытаемся, как нам кажется, уйти вперед от образа жизни этих индейцев. А теперь его же предлагают нам в качестве образца!»

Он посидел задумавшись; улыбка пряталась глубоко в уголках его рта. Ох уж эти доктринеры, сторонники крайних мер! Тот араб, который приставил пистолет к виску Дезерта, олицетворял собой самую вредную черту человеческой природы. Всякая философия, религия — разве это не полуправда? Они только тогда и годятся, когда могут хоть как-нибудь упорядочить жизнь. Географический журнал соскользнул с колен на пол.

По дороге домой Адриан постоял на улице, подставив лицо солнечным лучам и слушая пенье дрозда. У него было все, чего он хотел в жизни: любимая женщина, приличное здоровье, приличное жалование — семьсот фунтов в год и пенсия в будущем; двое прелестных детей, и к тому же не родных, что избавляло его от отцовских тревог; увлекательная работа, любовь к природе и при удаче еще лет тридцать впереди. «Если бы в эту минуту кто-нибудь приставил к моему виску пистолет, — думал он, — и сказал: «Адриан Черрел, отрекись от христианской веры, не то получишь пулю в лоб!» — ответил бы я, как Клайв¹ в Индии: «Стреляй, и будь ты проклят!»?» Этого он решить не мог. А дрозд все распевал, ветерок, шелестя, играл молодой листвой, солнце грело щеку, и жизнь казалась такой желанной в тиши этой когда-то аристократической площади...

Расставшись с Уилфридом, которому предстояло знакомство с дядей, Динни остановилась было в нерешительности, а потом двинулась на

¹ К л а й в Роберт (1725—1774) — один из наиболее жестоких английских колонизаторов, при котором Индия была завоевана англичанами.

север, к церкви святого Августина-на-Лужках. Ей хотелось подавить сопротивление побочных представителей ее клана для того, чтобы ослабить оборону ближайшей родни. Она направлялась в обитель христианина-практика не без робости, но и с каким-то веселым озорством.

Тетя Мэй поила чаем двух бывших студентов, прежде чем отправить их в местный клуб, где они руководили игрой в кегли, шахматы, шашки и пинг-понг.

— Динни, если тебе нужен Хилари, имей в виду, у него заседания двух комитетов. Правда, они могут не состояться, потому что оба комитета почти целиком состоят из него одного.

— Вы с дядей, наверно, уже все про меня знаете?

Жена Хилари утвердительно кивнула. В платье с цветочками она выглядела очень молодо.

— Расскажи мне, пожалуйста, как на все это смотрит дядя.

— Пусть лучше он расскажет тебе сам. Мы с ним оба не очень хорошо помним мистера Дезерта.

— Люди, которые его плохо знают, всегда будут к нему несправедливы. Но ведь ни ты, ни дядя не считаетесь с тем, что думают другие. — Она заявила это самым невинным тоном, который, однако, не обманул миссис Черрел, привыкшую иметь дело с дамами-патронессами.

— Знаешь, мы и в самом деле не больно правоверные, но глубоко верим в самые принципы христианства, и нам незачем это скрывать.

Динни на секунду задумалась.

— А разве эти принципы — не доброта, отвага, самопожертвование? Разве непременно надо быть христианином, чтобы их иметь?

— Не будем спорить. Мне было бы неприятно, если бы я сказала не то, что Хилари.

— Ну до чего же примерная жена!

Миссис Черрел улыбнулась. И Динни поняла, что приговор в этом доме еще не вынесен.

Она дожидалась дядю, болтая о всякой всячине. Вошел Хилари; он был бледен и чем-то расстроен. Жена налила ему чаю, пощупала лоб и вышла.

Хилари залпом проглотил чай и набил трубку щепоткой табака.

— Кому нужна вся эта бюрократическая чепуха? Неужели не хватает трех докторов, трех инженеров, трех архитекторов, арифмометра и одного человека с воображением, который будет следить, чтобы не жульничали?

— У тебя неприятности, дядя?

— Ну да, переоборудовать дома, имея в банке перерасход, — от этого посидеешь и без бюрократов из муниципалитета.

Глядя на его изможденное, хоть и улыбающееся лицо, Динни подумала: «Неловко надоедать ему моими пустячными делами».

— Вы с тетей Мэй не смогли бы выбраться во вторник в Челси на выставку цветов?

— Господи! — воскликнул Хилари, втыкая спичку в середину набитой табаком трубки и поджигая другой конец спички. — Как бы мне хотелось постоять под тентом и понюхать азалии!

— Мы собираемся выехать в час, чтобы не попасть в самую давку. Тетя Эм придет за вами машину.

— Не могу обещать, поэтому ничего не посылайте. Если мы не будем в час у главного входа, значит, судьба распорядилась иначе. Ну, а как твои дела? Адриан мне все рассказал.

— Мне не хотелось тебя беспокоить, дядя.

Проницательные голубые глаза Хилари превратились в узенькие щелки. Он выпустил целое облако дыма.

— Меня беспокоит только то, что огорчает тебя. Ты уверена, что жребий брошен?

— Да.

Хилари вздохнул.

— Ну что ж, остается с этим примириться. Но люди любят превращать своих близких в мучеников. Боюсь, что он, как говорят у нас, получит плохую прессу.

— Не сомневаюсь.

— Его я помню смутно: высокий, язвительный молодой человек в коричневом жилете. Все такой же язвительный?

Динни улыбнулась.

— Со мной он пока не очень язвительный.

— Надеюсь, в нем не бушуют «всепожирающие страсти»?

— Этого я у него тоже не замечала.

— Я хочу сказать, Динни, что когда такого рода тип утолит свои аппетиты, в нем непременно проснется пещерный житель. Понимаешь, о чем я говорю?

— Да. Но мне кажется, что у нас с ним главное — это «родство душ».

— Ну, тогда, дорогая, желаю вам счастья! Только не жалуйся, когда люди начнут швырять в вас камнями. Ты идешь на это с открытыми глазами, и уж не обессуди! А ведь куда легче, когда тебе самой наступают на ногу, чем видеть, как бьют по голове того, кого любишь. Поэтому возьми себя в руки с самого начала, не то ему с тобой будет только хуже. Если не ошибаюсь, ты тоже легко выходишь из себя.

— Постараюсь этого не делать. Когда выйдет книжка Уилфрида, прочти там поэму под названием «Леопард», в ней описано, что он тогда чувствовал:

— А-а,— неопределенно протянул Хилари.— Оправдывается? Это ошибка.

— То же самое говорит и Майкл. А я в этом не уверена,— думаю, что в конце концов это правильно. Во всяком случае, книжка вот-вот выйдет.

— Тут-то и пойдет потеха. «Подставь другую щеку», «гордыня не позволяет драться»— все это, видно, было только людям во вред. В общем, он сам лезет на рожон.

— Я тут ничего не могу поделать.

— Понимаю; вот это и обидно. Как подумаю, сколько раз еще ты «ничего не сможешь поделать»... А как насчет Кондафорда? Тебе не придется из-за этой истории с ним расстаться?

— Только в романах люди непреклонны; да и там они в конце концов либо умирают, либо сдаются, чтобы героиня могла быть счастлива. А ты замолвишь за нас словечко перед папой?

— Нет, Динни. Старший брат никогда не может забыть своего бывшего превосходства перед младшим.

Динни встала.

— Ну что ж, большое тебе спасибо за то, что ты не веришь в геенну огненную, а еще больше за то, что ты о ней даже не заикнулся. Я не забуду того, что ты мне сказал. Значит, во вторник, в час, у главного входа, и лучше закуси на дорогу,— занятие это очень утомительное.

Когда она ушла, Хилари снова набил трубку.

«„А еще больше за то, что ты о ней и не заикнулся“!— мысленно повторил он ее слова.— Эта молодая особа — не без ехидства! Интересно, часто ли мой сан заставляет меня говорить то, чего я не думаю?» И, заметив, что в дверях появилась жена, он спросил:

— Мэй, как ты думаешь, я — шарлатан? Как духовное лицо?

— Конечно, милый. А разве может быть иначе?

— Ты хочешь сказать, что догматы, которые проповедует священник, слишком узки для всего многообразия человеческой натуры? Но, по-моему, они и не могут быть шире! Хочешь пойти во вторник на выставку цветов?

Миссис Черрел подумала: «Динни могла бы сама меня пригласить!»— и ответила с улыбкой:

— С удовольствием.

— Давай тогда постараемся попасть туда к часу дня.

— Ты с ней разговаривал о ее делах?

— Да.

— И переубедить ее невозможно?

— Никак.

Миссис Черрел вздохнула.

— Вот жалость! А как ты думаешь, когда-нибудь это забудется?

— Двадцать лет назад я сказал бы «нет». А теперь — не знаю. Как ни странно, но хуже всего им придется не от людей религиозных.

— Почему?

— Потому, что с ними они не будут сталкиваться. Они будут иметь дело с военными, с колониальными чиновниками, с англичанами там, за морем. Но наиболее сурово ее осудят в собственной семье. На нем клеймо труса. И клеймо это куда приметнее, чем самая кричащая реклама.

— Я вот думаю, как отнесутся к этому наши дети?— сказала миссис Черрел.

— Как ни странно, мы не знаем.

— Мы гораздо меньше знаем о наших детях, чем их сверстники. Интересно, неужели и мы так относились к своим родителям?

— У наших родителей был к нам чисто биологический подход; у них была на нас управа, и поэтому они очень неплохо в нас разбирались. Мы же всегда стараемся вести себя с детьми как равные, изображать нечто вроде старшей сестры и брата, поэтому мы ничего и не знаем. И, отказавшись от одной возможности знать, не приобрели другой. Это довольно унижительно, но они хорошие ребята. В истории с Динни опасна не

молодежь, а те, кто по опыту знают цену престижу Англии,— они посвоему правы. И те, кто думает, что на его месте они бы никогда так не поступили. А вот эти уж никак не правы!

— Мне кажется, Динни переоценивает свои силы.

— Как и всякая женщина, которая любит. Ей придется самой выяснить, хватит ли у нее сил. Ну что ж, по крайней мере не обрастет мохом!

— Ты как будто даже рад, что так получилось?

— Снявши голову, по волосам не плачут. Давай-ка составим новый подписной лист. В торговле скоро опять будет спад. Везет нам, как всегда! Все, у кого есть деньги, будут держаться за них обеими руками.

— Надо, чтобы люди не скупились, даже когда приходят тяжелые времена. Опять усилятся безработица. Лавочники уже и сейчас стонут.

Хилари взял блокнот и начал писать. Заглянув ему через плечо, жена прочла:

«Всем, кого это может интересовать...

А кого же не интересует то, что среди нас живут тысячи людей, обездоленных от рождения до смерти и лишенных самого необходимого? Они не знают, что такое настоящая чистота, настоящее здоровье, свежий воздух и настоящая еда».

— Не надо повторять столько раз «настоящий», милый.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Приехав на выставку цветов в Челси, леди Монт рассеянно сказала Динни:

— Я назначила свидание Босуэлу и Джонсону возле кальцеолярий. Какая толпа!

— Да, и все больше простой народ. Как ты думаешь, тетя, почему они сюда ходят? От тоски по красоте, которой им недостает?

— Не могу заставить Босуэла и Джонсона тосковать. А вот и Хилари! Он носит этот костюм уже десять лет. На, возьми деньги и беги за билетами, не то он непременно заплатит сам.

Схватив бумажку в пять фунтов, Динни проскользнула к кассе, делая вид, будто не видит дяди. Взяв четыре билета, она с улыбкой обернулась к нему.

— Я видел, как ты изображала змею,— сказал он.— Ну, с чего мы начнем? С азалий? На выставке цветов я всегда чувствую себя счастливцем.

Леди Монт важно шествовала сквозь толпу, которая перед ней расступалась; полуопустив веки, она наблюдала за избранными, которые выставляли здесь свои цветы.

В павильоне, куда они вошли, было душно, хотя день был сырой и холодный,— тут надышали и пахло духами. Изысканная красота цветов поглощала внимание пестрой толпы зрителей, которых сближало загадочное родство душ, обуреваемых одной и той же страстью. Это была огромная армия цветоводов: людей, разводивших в горшках примулы, в садике за домом — настурции, гладиолусы и дельфиниумы, а левкой, мальву и турецкую гвоздику — на маленьких загородных участках; са-

довников больших садоводств; владельцев оранжерей и опытных питомников, — но этих было гораздо меньше, — они либо уже побывали здесь, либо придут позже. Все они сновали между стендами с видом сыщиков, словно прикидывая, что им самим выставить на будущий год; остановившись рядом с садоводами, они пускались в азартные споры. И приглушенный гул толпы — говор городских окраин, деревенского люда и интеллигенции, хотя все тут говорили только о цветах, — казался назойливым жужжанием огромного роя пчел. Это приглушенное выражение чисто английской страсти к цветам, отгороженным парусиновыми стенами от остального мира, и самый запах цветов совсем околдовали Динни, она молча переходила от одного цветущего куста к другому, и только кончик ее чуть-чуть вздернутого носа вздрагивал.

Голос тети заставил ее опомниться.

— Вот они! — сказала та, указывая на кого-то глазами.

Динни увидела двоих людей, стоявших так неподвижно, словно они забыли, зачем сюда пришли. У одного были рыжеватые усы и грустные коровьи глаза; другой напоминал птицу с подбитым крылом; их праздничные костюмы топорщились от новизны. Они не разговаривали, не смотрели на цветы, а стояли так, словно их послала сюда сама судьба и не объяснила, зачем.

— Который из них Босуэл, тетя?

— Безусый, — пояснила леди Монт. — Джонсон в зеленой шляпе. Он глухой. Как это на них похоже!

Она подошла к ним, и Динни услышала, как она сказала:

— А-а!

Садовники потеряли ладони о брюки, но не произнесли ни слова.

— Интересно? — спросила тетя. Их губы зашевелились, но Динни не услышала ни звука. Тот, кого звали Босуэлом, приподнял кепку и почесал голову. Тетя показала на кальцеоларии, и тот, что был в зеленой шляпе, вдруг заговорил. Говорил он так тихо, что даже тетя явно не могла ничего разобрать, но речь его все текла и текла, доставляя ему, по-видимому, глубочайшее удовлетворение. Время от времени до Динни доносились междометия, которые издавала леди Монт. Но Джонсон продолжал свою речь. Вдруг он замолчал, тетя снова протянула: «А-а!» — и подошла к Динни.

— Что он говорил? — спросила та.

— Нет, — сказала леди Монт, — ни слова. Невозможно! Но ему это полезно. — Помахав рукой обоим садовникам — те опять стояли без всяких признаков жизни, — она повела Динни дальше.

Они вошли в павильон, где были выставлены розы, и Динни взглянула на часы. У входа в этот павильон она уговорилась встретиться с Уилфридом.

Динни украдкой оглянулась. Вот он! Она заметила, что Хилари не может пропустить ни одной розы, тетя Мэй ходит за дядей Хилари, а тетя Эм разговаривает с каким-то садоводом. Скрывшись за огромной купой «Царя царей», она проскользнула к выходу, и когда Уилфрид взял ее за руки, забыла обо всем на свете.

— Крепись, дорогой! Тут и тетя Эм, и дядя Хилари, и его жена. Мне бы так хотелось тебя с ними познакомиться,— ведь мнение каждого из них может быть для нас очень важно!

Как он похож на горячего коня, которого подвели к неожиданному препятствию!

— Как хочешь, Динни.

Леди Монт была погружена в беседу с представителями питомника Плантема.

— Вон ту нужно сажать на южной стороне, там, где есть мел. А немезии нет. Их надо сажать вперемежку, не то они сохнут. Флоксы привезли вялыми. По крайней мере так мне сказали; разве что-нибудь толком узнаешь? А-а! Вот и моя племянница. Динни, познакомься, это мистер Плантем. Он мне часто посылает... Аа-а! О-о! Мистер Дезерт! Здравствуйте! Я помню, как вы поддерживали руку Майкла у него на свадьбе...— Она подала Уилфриду руку и, по-видимому, забыла о ней; глаза ее из-под слегка приподнятых бровей с удивлением изучали его лицо.

— Дядя Хилари,— напомнила Динни.

— Да,— сказала леди Монт, приходя в себя.— Хилари. Мэй. Мистер Дезерт.

Хилари, как всегда, вел себя совершенно естественно, но у тети Мэй был такой вид, будто она здоровалась с благочинным. И все они сразу же, не сговариваясь, оставили Динни наедине с ее возлюбленным.

— Как тебе понравился дядя Хилари?

— К такому человеку можно пойти в трудную минуту.

— Да. Он не станет пробивать головой стенку, но никогда не сидит сложа руки. Наверно, потому, что живет в трущобах. Он считает, как и Майкл, что печатать «Леопарда» не стоит.

— Все равно головой стену не прошибешь, а?

— Да.

— Жребий, как говорится, брошен. Прости, если тебя это огорчает, Динни.

Рука Динни сжала его руку.

— Нет, не огорчает. Лучше действовать открыто,— но если можешь, Уилфрид, постарайся, хотя бы ради меня, спокойно отнестись к тому, что будет. И я тоже постараюсь. А сейчас давай скроемся за этим фейерверком из фуксий и сбежим, ладно? Они ничего другого от нас и не ждут.

Выйдя из павильона, они направились к выходу на набережную, мимо стелющихся садов,— возле каждого из них, несмотря на сырость, стоял его создатель, словно говоря: «Полюбуйся! Я могу сделать это и для тебя».

— Какая прелесть, а приходится заискивать, чтобы на нее хотя бы взглянули!— сказала Динни.

— Куда мы пойдем?

— В парк Баттерси.

— Тогда через этот мост.

— Это так мило с твоей стороны, что ты с ними познакомился, но ты был ужасно похож на лошадь, которая осаживает назад и рвется вон из сбруи. Мне очень хотелось погладить тебя по шее.

— Я отвык от людей.

— Хорошо, когда от них не зависишь.

— Труднее меня, наверно, никто с людьми не сходитя. Но ты, мне казалось...

— Мне нужен только ты. У меня, наверно, собачья натура. Без тебя я ходила бы как потерянная.

Легкое подергивание уголка рта было красноречивее всякого ответа.

— Ты когда-нибудь видела Приют для прилудных собак? Он тут рядом.

— Нет. Прилудная собака — даже страшно подумать! Хотя о них-то, наверно, и надо думать. Пойдем!

У этого заведения, как и полагалось, был больничный вид, который словно обещал, что все будет к лучшему в этом худшем из миров. Послышался лай, несколько собак выжидательно подняли головы. Замахали хвосты. Породистые собаки вели себя тише и смотрели печальнее, чем те, у кого не было вовсе никакой породы, но последних тут было больше. В углу за проволочной загородкой сидел черный спаниель, опустив голову с длинными ушами. Динни и Уилфрид подошли к нему.

— Господи, как же никто не хватился такого хорошего пса? — спросила Динни. — А какой он грустный!

Уилфрид просунул руку через проволоку. Собака подняла голову. Они увидели красноту под глазами и длинную, шелковистую шерсть на лбу. Пес медленно поднялся, встал на передние лапы, и они заметили, что он прерывисто дышит, словно принимает какое-то решение или в душе у него идет борьба.

— Поди сюда, малыш!

Пес медленно приблизился — черный, без единого пятнышка, квадратный, на обросших длинной шерстью лапах. В нем явно видна была порода, и уж совсем непонятно было, почему он здесь. Он стоял так, что его почти можно было достать рукой; обрубленный хвост нерешительно шевельнулся, а потом повис снова, словно говоря: «Я бы и рад, но вы не те, кого я ждал».

— Ну как, старина? — спросил его Уилфрид.

Динни нагнулась к собаке.

— А ну-ка поцелуй меня!

Пес поднял на них глаза. Хвост дернулся, но сразу же повис опять.

— Он тоже трудно сходитя с людьми, — сказал Уилфрид.

— Ну до чего же он грустный! — Динни нагнулась еще ниже и на этот раз просунула руку через проволоку. — Иди ко мне, милый!

Собака понюхала ее перчатку. Хвост снова неуверенно заходил из стороны в сторону; на секунду показался розовый язык. Динни кое-как дотянулась пальцами до мягкой, как шелк, морды.

— На редкость тактичный пес, Уилфрид.

— Наверно, его украли, а он сбежал. По-видимому, рос где-то за городом.

— Я бы вешала тех, кто ворует собак.

В уголках темно-карих собачьих глаз еще держалась влага. Глаза смотрели на Динни с недоверчивым оживлением, словно говоря: «Ты не мое прошлое, а есть ли у меня будущее — не знаю».

Динни подняла голову.

— Ах, Уилфрид!— сказала она умоляюще.

Он кивнул и оставил их вдвоем с собакой. Динни сидела на корточках, медленно почесывая пса за ухом, пока не вернулся Уилфрид в сопровождении человека, который нес ошейник и цепочку.

— Я его получил,— сказал Уилфрид.— Срок хранения кончился вчера, но они тут решили поддержать его еще неделю,— уж очень он хорош.

Динни повернулась к ним спиной, на глаза ее навернулись слезы. Она стала поспешно их вытирать и услышала голос служителя:

— Я надену на него поводок, а потом уж вы его выводите, не то он еще удерет; уж больно душа у него не лежала к этому месту.

Динни повернулась к служителю.

— Если появится хозяин, мы его сейчас же отдадим.

— Наверяд ли придется, мисс. Мне лично кажется, что хозяин его умер. Наверно, собака вырвалась из ошейника, бросилась его искать и заблудилась, а там не осталось никого, кто дал бы себе труд о ней побеспокоиться. А ведь пес хороший. И достался вам по дешевке. Я рад. Уж очень было бы обидно, если бы его умертвили; он ведь еще совсем щенок.

Надев на собаку ошейник, он вывел ее из клетки и вручил цепочку Уилфриду, который дал ему свою визитную карточку.

— Это на случай, если владелец все-таки появится. Пойдем, Динни, давай его немножко прогуляем. Гулять, малыш!

Безыменная собака, слышав самое прекрасное слово, какое она знала, двинулась вперед, натянув цепочку.

— Служитель, по-видимому, прав,— сказал Уилфрид.— Я надеюсь, что это так. Малыш уж больно мил.

Приведя собаку на лужайку, они попытались завоевать ее симпатии. Пес терпеливо принимал их заигрывания, но стоял, опустив глаза и хвост, и не спешил делать выводы.

— Пожалуй, лучше отвести его домой,— сказал Уилфрид.— Побудь здесь, я схожу за такси.

Он смахнул носовым платком пыль с садового стула, отдал Динни цепочку и ушел.

Динни сидела, наблюдая за собакой. Та побежала было за Уилфридом, но ее остановил поводок, и она уселась в той же позе, в какой они увидели ее впервые.

Что чувствуют собаки? Они, несомненно, что-то соображают; любят, не любят, страдают, тоскуют, обижаются и радуются, как люди; но они знают так мало слов и у них так мало мыслей! Однако все что угодно, только не жизнь в клетке, да еще с другими собаками,— ведь у них такая грубая натура!

Собака вернулась и села рядом с Динни, не сводя глаз с тропинки, по которой ушел Уилфрид; она начала тихонько скулить.

Подъехало такси. Собака перестала скулить и тяжело задышала.

— Хозяин идет!— Собака рванула цепочку.

К ним подошел Уилфрид. По ослабевшему поводку Динни почувствовала, как пес разочарован, потом поводок натянулся снова; пес замаяхивал хвостом так, что звякнула цепочка, и стал обнюхивать манжеты на брюках Уилфрида.

В такси пес сидел на полу, положив морду на туфлю Уилфрида. На Пикадилли он засуетился и морда его переехала на колени Динни. Эта поездка с Уилфридом и собакой почему-то разволновала Динни, и, вылезая из такси, она глубоко вздохнула.

— Что-то нам скажет Стэк!— заметил Уилфрид.— Спаниель на Корк-стрит — не такая уж радость.

Пес солидно взбирался по лестнице.

— Привык жить в комнатах,— обрадовалась Динни.

В гостинной пес принялся обнюхивать ковер. Установив, что ножки мебели представляют мало интереса и что вокруг нет никого из собачьей породы, он уткнулся носом в диван и стал поглядывать на них искоса.

— Прыгай!— сказала Динни.

Собака вскочила на диван.

— Черт! Ну и запах!— воскликнул Уилфрид.

— Давай его выкупаем. Налей ванну, а я пока погляжу, нет ли у него чего-нибудь.

Динни удержала пса, который хотел было побежать за Уилфридом, и стала смотреть, нет ли у него насекомых. Она нашла только несколько коричневых блох.

— Да, пахнешь ты, друг мой, неважно.

Пес повернул к ней голову и лизнул ее в нос.

— Ванна готова, Динни.

— У него только собачьи блохи.

— Если ты будешь мне помогать, надень купальный халат, не то испортишь платье.

За спиной Уилфрида Динни сняла платье и надела синий купальный халат, в душе надеясь, что он обернется, и уважая его за то, что он этого не сделал. Она засучила рукава и встала рядом с ним. Повиснув над водой, собака высунула длинный язык.

— Его не тошнит, как ты думаешь?

— Нет, они всегда так делают. Осторожно, Уилфрид, не бросай его в воду сразу, они пугаются. Ну!

Очутившись в воде, пес сначала пытался вылезть, но потом стоял спокойно, опустил голову и стараясь не поскользнуться на скользком дне.

— Вот шампунь, это лучше, чем ничего. Я его подержу, а ты намыливай.

Вылив немного шампуня на середину блестящей черной спины, Динни, зачерпнув воды, полила бока и стала втирать мыло. Эта первая домашняя работа, которой ей пришлось заниматься вместе с Уилфридом, доставляла ей огромное удовольствие, тем более что ей то и дело приходилось дотрагиваться и до него и до собаки. Наконец она выпрямилась.

— Фу! Спина заболела. Окати его и выпусти воду. Я его подержу.

Уилфрид окатил собаку, которая вела себя так, словно ей совсем не было жаль расставаться со своими блохами. Она решительно встряхнулась, и Динни с Уилфридом невольно отскочили назад.

— Не выпускай его! — закричала Динни. — Его надо вытереть тут же в ванной.

— Ладно. Схвати его за шею и держи.

Укутанный в большое мохнатое полотенце, пес поднял к ней морду, — выражение ее было самое разнечастное.

— Бедный малыш, ну, сейчас все твои беды кончатся, зато как ты хорошо будешь пахнуть!

Собака отряхнулась. Уилфрид снял с нее полотенце.

— Подержи его еще минуту, я принесу старое одеяло — пусть по-лежит, пока не высохнет.

Оставшись наедине с собакой, которая стремилась вылезти из ванны, Динни придержала ее за лапы и вытерла следы горестей, накопившиеся у нее возле глаз.

— Ну вот! Теперь куда лучше!

Они завернули почти бездыханного пса в старое армейское одеяло и перетащили на диван.

— Как мы его назовем, Динни?

— Давай попробуем несколько кличек, может, нападём на его прежнюю.

Пес не откликнулся ни на одну.

— Ну что ж, — сказала Динни. — Назовем его Фошем. Если бы не Фош, мы бы никогда не встретились.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

После возвращения генерала из города настроение в Кондафорде было мрачное и встревоженное. Динни пообещала вернуться в субботу, но настала среда, а она все еще была в Лондоне. Ее заверение, что «официально мы не помолвлены», мало кого утешило, так как генерал тут же добавил: «Хочет подсластить пилюлю». Несмотря на все просьбы леди Черрел рассказать подробно, что произошло между ним и Уилфридом, генерал был немногословен.

— Да он почти и рта не открыл, Лиз. Вежливый и все такое, — откровенно говоря, он совсем не похож на человека, который может струсить. И воевал, говорят, хорошо. Неприятная история!

— А ты читал его стихи, Кон?

— Нет. Где же я мог их читать?

— У Динни они где-то есть. Очень мрачные стихи. Но, говорят, многие писатели мрачные. Да пусть его, лишь бы знать, что Динни будет счастлива!

— Динни говорила, что он собирается напечатать поэму, где сказано об этой истории. Видно, тщеславный тип!

— Поэты почти всегда люди тщеславные.

— Не знаю, кто бы мог повлиять на Динни. Хьюберт говорит, что от него она как-то отдалилась. Начинать семейную жизнь, когда над тобой нависла такая туча!

— Знаешь, я иногда думаю,— негромко заметила леди Черрел,— что, живя так, как мы живем, трудно понять, отчего теперь над человеком нависают тучи...

— Ну, тут уж понятно,— решительно заявил генерал,— во всяком случае, понятно тем, с кем стоит считаться.

— А с кем сейчас стоит считаться?

Генерал помолчал. Но потом решительно произнес:

— Англией по существу все равно правит аристократия. Если бы не верхушка общества, мы давно бы пропали. Командуют по-прежнему армия и высшее сословие, что бы там ни болтали всякие социалисты!

Леди Черрел посмотрела на него, удивленная этим красноречием.

— Хорошо,— сказала она,— но что нам делать с Динни?

Генерал пожал плечами.

— Ждать, пока все как-нибудь не разрешится само собой. Лишить ее наследства — устарело, да и невозможно: мы слишком ее любим. Ты с ней поговори, когда представится случай.

Хьюберт и Джин тоже обсудили этот вопрос, но по-своему.

— Какая обида, что Динни не увлеклась твоим братом!

— У Алана это уже прошло. Я вчера получила от него письмо. Он в Сингапуре. Наверно, у него там кто-то есть. Надеюсь, хотя бы не замужняя женщина. На Востоке так мало молодых девушек.

— Не думаю, чтобы ему понравилась замужняя женщина. Скорее это туземка; говорят, малайские девушки очень хорошенькие.

Джин скорчила гримасу.

— Какая-то малайка вместо Динни!— Помолчав, она задумчиво пробормотала:— Хотела бы я поговорить с этим Дезертом. Уж я бы ему растолковала, что о нем скажут, если он и Динни потащит за собой в эту грязь.

— Смотри только, чтобы Динни не рассердилась!

— Если машина будет свободна, я съезжу завтра и поговорю с Флер. Она должна хорошо его знать; он был у них шафером.

— Я бы предпочел поговорить с Майклом; но умоляю тебя, будь осторожна.

Джин, привыкшая жить по принципу «сказано — сделано», двинулась в путь на следующий день чуть свет, пока дом еще спал, и к десяти часам уже подъезжала к Саус-скверу. Майкла в Лондоне не было, он уехал в свой избирательный округ.

— Чем прочнее его положение в округе,— объясняла Флер,— тем чаще он считает нужным туда ездить. Комплекс признательности. Я могу тебе чем-нибудь помочь?

Глаза Джин под длинными ресницами были устремлены на Фрагонара¹ и будто говорили —«уж слишком ты француз»; потом она метнула взгляд на Флер, и та чуть не подскочила,— ей богу, настоящая тигрица!

— Я пришла насчет Динни и ее жениха. Ты ведь знаешь, что с ним там случилось?— Флер кивнула.— Неужели ничего нельзя сделать?

¹ Фрагонар Жан-Оноре (1732—1806) — французский художник.

Флер испытующе на нее поглядела. Ей, правда, двадцать девять, а Джин — всего двадцать три, но стоит ли разыгрывать опытную матрону?

— Я очень давно не видела Уилфрида.

— Кто-нибудь должен сказать ему напрямик, что о нем подумают, если он втянет Динни в эту грязную историю!

— А я вовсе не уверена, что все это так уж раздуют, даже если поэма и выйдет в свет. Людям нравятся герои вроде Аякса¹.

— Ты не была на Востоке.

— Нет, была, я ездила в кругосветное путешествие.

— Это совсем не одно и то же.

— Дорогая моя, — сказала Флер, — ты меня, пожалуйста, извини, но Черрелы лет на тридцать отстали от века.

— Я не Черрел!..

— Ты — Тасборо, а это, пожалуй, еще хуже. Сельское духовенство, кавалерия, флот, колониальные чиновники, — ты думаешь, с ними кто-нибудь считается?

— Да, те, кто к ним принадлежит, — значит, и он, и Динни тоже.

— Те, кто по-настоящему любит, ни с кем не считаются. Когда ты выходила замуж, тебя останавливало, что над Хьюбертом висело обвинение в убийстве?

— Это совсем другое дело. Ему нечего было стыдиться.

Флер улыбнулась.

— Как это на тебя похоже! Вы даже не поверите, господа присяжные, как говорят в суде, но девятнадцать из двадцати людей из нашего круга только зевнут, если вы им предложите осудить Уилфрида; и тридцать девять из сорока забудут всю эту историю меньше чем через две недели.

— Не верю, — отрезала Джин.

— Увы, милочка, ты не знаешь современного общества.

— А современное общество как раз и не в счет, — еще резче возразила Джин.

— Может, тут ты и права, но что же тогда в счет?

— Где он живет?

Флер засмеялась.

— На Корт-стрит, против Галереи. Уж не собираешься ли ты сунуть голову в пасть льва?

— Не знаю.

— Уилфрид кусается.

— Ну что ж, спасибо, — сказала Джин. — Мне пора.

Флер поглядела на нее с восхищением. Джин покраснела, и румянец на загорелых щеках сделал лицо ее еще более ярким.

— До свиданья, дорогая, только уговор: вернись и Расскажи мне, как это было. Я знаю, у тебя бесовская отвага.

— Я еще не уверена, что пойду туда, — сказала Джин. — До свиданья.

¹ Аякс — один из героев Троянской войны; бунтарь, бросивший вызов богам.

Она села за руль и сердито погнала машину мимо палаты общин. По натуре она была человеком действия, и трезвая рассудительность Флер только обозлила ее. Однако явиться к Уилфриду Дезерту и потребовать: «А ну-ка, верни мне мою невестку!» — было не так-то просто. Все же она доехала до Пел-Мел, поставила машину возле «Парфенеума» и пошла по Пикадилли. Прохожие, особенно мужчины, оборачивались ей вслед, — уж очень изящна и стройна была ее фигура и необычны краски словно светящегося изнутри лица. Джин не представляла себе, где находится Корк-стрит, но знала, что это где-то поблизости от Бонд-стрит. Найдя нужную улицу, она побродила по ней, пока не отыскала Галерею.

«Это, наверно, тот дом напротив», — решила она. Она постояла возле двери, на которой не было никакой дощечки, и увидела, что по ступенькам поднимается какой-то человек, ведя на поводке собаку.

— Что вам угодно, мисс?

— Меня зовут миссис Хьюберт Черрел. Мистер Дезерт живет здесь?

— Да, мадам, но я не уверен, можно ли его сейчас видеть. Сюда, Фош, ты ведь послушная собака! Если вы обождете, я сейчас узнаю.

Минуту спустя Джин решительно выпрямилась и переступила порог. «В конце концов, — подумала она, — не будет же это хуже собрания прихожан, когда тебе надо выудить у них церковную лепту!»

Уилфрид стоял у окна, удивленно приподняв брови.

— Я — невестка Динни, — сказала Джин. — Извините, что я к вам так врываюсь, но мне нужно было вас видеть.

Уилфрид поклонился.

— Фош, поди сюда!

Спаниель, обнюхивающий юбку Джин, послушался не сразу; пришлось позвать его снова. Он лизнул Уилфриду руку и сел у его ног. Джин покраснела.

— Это, конечно, ужасно бесцеремонно с моей стороны, но, надеюсь, вы меня извините... Мы недавно вернулись из Судана.

Выражение лица Уилфрида было по-прежнему ироническим, а ирония всегда сбивала ее с толку. Она продолжала совсем уже неуверенно:

— Динни никогда не бывала на Востоке.

Уилфрид снова поклонился; нет, это было совсем не похоже на приходское собрание!

— Может, вы присядете? — спросил он.

— О нет, спасибо! Я только на минутку. Видите ли, я хотела сказать, что Динни просто не понимает, как некоторые вещи воспринимаются там...

— Представьте себе, я тоже об этом думал.

— Ах так...

Последовало молчание, во время которого она краснела все больше, а он улыбался все шире. Потом он сказал:

— Благодарю вас, что вы зашли. Вы хотите сказать мне еще что-нибудь?

— М-м... нет! До свиданья!

Когда Джин спускалась по лестнице, ей казалось, что она почему-то стала ниже ростом. И первый же прохожий, с которым она встретилась

на улице, просто отшатнулся от нее: ее взгляд пронзил его словно электричество. Когда-то в Бразилии он нечаянно наступил на электрического ската, но то ощущение было гораздо приятнее. Однако хотя Джин и потерпела поражение, теперь она, как ни странно, не питала к своему противнику зла. Больше того, усаживаясь в машину, она вдруг почувствовала, что уже не так боится за Динни.

Джин слегка повздорила с постовым полицейским и отправилась назад в Кондафорд. Ехала она с опасностью для жизни всех встречных, но зато к обеду была уже дома. О своем приключении она промолчала, — пусть думают, что она ездила кататься. И только ложась спать в самой лучшей комнате для гостей, она сказала Хьюберту:

— Я сегодня была у него. Знаешь, Хьюберт, мне почему-то кажется, что у Динни все будет в порядке. В нем есть обаяние.

Хьюберт даже приподнялся на локте.

— А при чем тут его обаяние?

— Ах, ты не понимаешь, — сказала Джин. — Поцелуй меня и не смей спорить...

После ухода странной посетительницы Уилфрид растянулся на диване и уставился в потолок. Он чувствовал себя как генерал, одержавший сомнительную победу, и был этим весьма смущен. Волею судеб он прожил тридцать пять лет законченным эгоистом, и чувство, которое с самого начала пробудила в нем Динни, раньше было ему незнакомо. Старомодное слово «преклонение» было, пожалуй, не из его лексикона, а более подходящего он найти не мог. Когда он был с ней, душа его была покойна и словно умыта, а когда Динни уходила, она словно уносила его душу с собой. Но вместе с этим новым блаженным ощущением крепло чувство, что счастье его будет неполным, если не будет счастлива и она. Динни постоянно уверяла его, что будет счастлива только с ним. Но это чепуха, ведь не может же он заменить ей все интересы и привязанности, бывшие у нее до того, как их познакомил памятник Фошу! А если и может, то на что он ее обрекает? Молодая женщина с гневными глазами только что стояла перед ним как живое олицетворение этого вопроса. И хотя он ее одолел, вопрос по-прежнему требовал ответа.

Спаниель, словно понимая настроение хозяина, печально уткнулся носом ему в колено. Даже этой собакой он обязан Динни. От людей он совсем отвык. А с тех пор как над ним нависла туча, он чувствовал себя отрезанным от всего мира. Если он женится на Динни, он обречет ее вместе с собой на полнейшее одиночество. Честно ли это?

Но, вспомнив, что до назначенного с нею свидания осталось всего полчаса, он позвонил:

— Я ухожу, Стак.

— Хорошо, сэр.

Взяв собаку на поводок, Уилфрид пошел в парк. Противobelиска Кавалерии он нашел свободное место, сел и стал ее ждать, раздумывая, стоит ли ей рассказывать о сегодняшней посетительнице. И тут он ее увидел.

Динни быстро шла со стороны Парк-лейн и еще не заметила его. Казалось, она скользит, стройная, как выражаются в этих проклятых

романах, «гибкая, как тростинка»! Вид у нее был весенний, и она улыбалась, словно с ней только что произошло что-то приятное. Уилфрид смотрел на нее, еще не подозревавшую, что он ее видит, и в душе у него воцарился мир. Если она может выглядеть такой беззаботной, чего же ему волноваться? Она остановилась возле бронзового коня, которого окрестила «норовистым бочонком», и стала озиаться по сторонам, явно разыскивая Уилфрида. Получилось это у нее очень мило, но лицо сразу стало чуть-чуть встревоженным. Уилфрид встал. Она помахала ему рукой и быстро подошла к нему.

— Опять позировала Боттичелли?

— Нет, ростовщику. Если он тебе когда-нибудь понадобится, рекомендую Фрюина на Саус-Молтон-стрит.

— Ростовщику? Ты?

— Да, милый. Зато у меня никогда в жизни не было столько денег.

— Зачем тебе деньги?

Динни нагнулась, погладила собаку.

— С тех пор как я узнала тебя, я поняла, зачем нужны деньги.

— Зачем?

— Чтобы мы могли быть вместе. А теперь — сними с Фоша поводок, он от нас не убежит.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В таком литературном городе, как Лондон, где что ни день выходит не меньше полудюжины книг, появление тоненького сборника стихов должно было пройти незамеченным. Но обстоятельства сложились так, что публикация «Леопарда и других стихотворений» стала «литературным событием». Это была первая книжка Уилфрида за последние четыре года. Он стал приметной фигурой и благодаря поэтическому таланту — явление редкое среди старой аристократии, — и потому, что ранние его стихи обратили на себя внимание своей злой запальчивостью, и потому, что он долго жил на Востоке, в стороне от литературной среды, и потому, что пошли слухи о его переходе в мусульманство. Когда четыре года назад вышел его третий сборник стихов, кто-то прозвал его Будущим Байроном, и кличка пристала. И, наконец, его молодой издатель обладал умением, как он сам выражался, «дать книге ход». В течение нескольких недель после получения рукописи от Уилфрида он только и делал, что обедал и ужинал с разными людьми, внушая им интерес к «Леопарду» — самой сенсационной поэме со времен «Гончей Небес»¹. На все расспросы он отвечал загадочным кивком головы, пожатием плеч и уклончивой улыбкой. Это правда, что Дезерт принял ислам? О да! А он сейчас в Лондоне? О да, но, как всегда, и носа не показывает своим собратям по перу.

Владелец издательства «Акционерное о-во Компсон Грайс» сразу понял, что «Леопард» сулит ему большую прибыль, — удовольствия читатели не получают, но говорить о нем будут. Надо было только дать ла-

¹ «Гончая Небес» — нашумевшая в Англии поэма Фрэнсиса Томпсона (1859--1907).

вине первый толчок, и он взялся за это дело с жаром. За три дня до выхода стихов в свет сама судьба столкнула его с Телфордом Юлом.

— Здравствуйте, Юл. Уже вернулись из аравийских стран?

— Как видите.

— Знаете, в понедельник у меня выходит любопытнейший сборник стихов. «Леопард» Уилфрида Дезерта. Хотите, пришлю экземпляр? Первая поэма — просто чудо!

— Да?

— По сравнению с ней та поэма Альфреда Лайелла из «Стихов, написанных в Индии», где говорится о человеке, который предпочел умереть, но не отрекся от веры, — чистейшая ерунда! Вы поэму Лайелла помните?

— Помню.

— А это правда, что Дезерт принял ислам?

— Спросите у него самого.

— В его поэме очень слышна личная нота, — может, он писал о себе?

— Вы полагаете?

И Компсон Грайс вдруг подумал: «А вдруг и правда? Вот будет шуму!»

— Вы его знаете, Юл?

— Нет.

— Прочтите его поэму; я ее что-то не понял.

— Да.

— Неужели человек может напечатать такое о самом себе?

— Трудно сказать.

И тут Компсона Грайса осенило: «Да ведь я смогу продать тысячу сто!»

Он вернулся к себе в контору, раздумывая: «Юл что-то скрывает. Кажется, догадка моя верна. Он только что оттуда; говорят, там на базарах можно услышать любую новость. Ну хорошо, а если это правда, выиграю ли я?»

Выпустив книгу по цене в пять шиллингов, при большом тираже, ему после выплаты авторского гонорара останется по шести пенсов чистой прибыли с экземпляра. А со ста тысяч экземпляров — две с половиной тысячи фунтов, и почти такую же сумму получит Дезерт. Ах ты черт! Но, конечно, честность по отношению к клиенту прежде всего! И на него нашло вдохновение, что нередко бывает с честными людьми, которые нюхом чуют большой заработок.

«Нужно предупредить его, что люди подумают, будто он описал в поэме самого себя. Но лучше сделать это после выхода книги. А пока я пушу в печать новый большой тираж».

За день до выхода сборника видный критик Марк Ханна, который писал еженедельные обзоры в «Перезвоне», сообщил Грайсу, что расхвалил поэму до небес. Литератор помоложе, известный своими разбойничьими повадками, не сказал ему ни слова, но тоже написал критическую статью. Обе рецензии появились в день выхода книги в свет. Компсон Грайс вырезал их и захватил с собой в ресторан «Жасмин», куда он пригласил Уилфрида обедать.

Они встретились у входа и прошли к маленькому столику в конце зала. Ресторан был полон людей, знавших всех и каждого в мире литературы, театра и живописи. И Компсон Грайс, на своем веку угощавший обедами немало авторов, подождал, пока бутылка «Мутон Ротшильд» 1870 года не была распита до дна. И только тогда он достал из кармана обе рецензии и, положив перед гостем статью Марка Ханна, сказал:

— Видели? Кажется, хвалит.

Уилфрид прочел.

Рецензент и в самом деле превознес его до небес. Почти вся статья была посвящена «Леопарду», которого автор расхваливал, как глубочайшее откровение человеческой души в поэзии со времен Шелли.

— Чушь! У Шелли нет никаких откровений, разве что в его лирике.

— Что поделаешь, — сказал Компсон Грайс, — им приходится опираться на Шелли!

Статья прославляла поэму за то, что в ней «сорваны последние покровы лицемерия, которое на протяжении всей истории нашей литературы окутывало отношения Поэзии с Религией». Кончалась рецензия такими словами: «Поэма — бесстрашная исповедь души, терзаемой жестокой дилеммой, и самый поразительный психологический этюд в художественных образах, какой мы знаем в литературе двадцатого века».

Уилфрид равнодушно отложил вырезку. Следя за выражением его лица, Компсон Грайс негромко спросил:

— Хорошо, правда? Конечно, их подкупает неподдельная страсть, которую вы в нее вложили...

Уилфрид как-то странно передернулся.

— У вас есть нож для сигары?

Компсон Грайс пододвинул ему нож вместе со второй вырезкой.

— Вам стоит прочесть и эту, из «Момент».

Рецензия была озаглавлена: «Вызов: Большевизм и Империя».

Уилфрид взял вырезку.

— Джеффри Колтем? — спросил он. — Кто он такой?

Статья начиналась с довольно точного изложения биографии поэта — его происхождения, ранней молодости и первых стихов — и кончалась упоминанием о его переходе в мусульманство. Далее шел благоприятный отзыв о других его произведениях, после чего автор обрушивался на «Леопарда» и, образно говоря, вцеплялся в него мертвой хваткой. Прочитовав шесть строк:

Любая догма — в пропасть шаг!
Бог проклят суеверий мрак,
Разросшийся в мозгу сорняк!
От бреда средство есть одно —
Неверья терпкое вино.
Пей! — отрезвляет мысль оно! —

критик продолжал с нарочитой жестокостью:

«Неуклюжую маскировку, к которой прибегает автор, пытаюсь скрыть свою разъедающую душу горечь, только и можно объяснить уязвленной, раздутой гордыней человека, предавшего и свое «я» и свою ро-

дину. Мы, конечно, не беремся судить, хотел ли мистер Дезерт раскрыть в своей поэме те чувства и переживания, которые испытал он лично, когда принимал ислам, — кстати сказать, если полагаться на бесталанные, озлобленные строки, процитированные выше, он недостоин и этой веры, — но нам хотелось бы, чтобы он перестал прятаться и признался во всем открыто. Так как среди нас живет поэт, который благодаря сомненной силе своего таланта пытается поразить нас в самое сердце, — ранить наши религиозные представления и унижить наш престиж, — мы имеем право знать, стал ли он, так же как и его герой, ренегатом.

— Ну, это уж, по-моему, прямая клевета, — спокойно заметил Компсон Грайс.

Уилфрид только взглянул на него. Издатель признавался потом: «Никогда раньше не замечал, что у Дезерта такие глаза!»

— Но я и в самом деле ренегат. Я отрекся от своей веры под дулом пистолета. Разрешаю вам всем это сказать.

С трудом удерживаясь, чтобы не воскликнуть «слава богу!», Компсон Грайс протянул ему руку. Но Уилфрид откинулся на спинку стула, и лицо его скрылось в дыму сигары. Издатель наклонился к нему, сползая на самый краешек стула.

— Неужели вы хотите, чтобы я написал в «Текущий момент» о том, что в «Леопарде» вы рассказываете о своих собственных переживаниях?

— Да.

— Дорогой мой, но ведь это же замечательно! Такой поступок, если хотите, требует настоящего мужества!

Улыбка на лице Уилфрида заставила Компсона Грайса отодвинуться, проглотив вертевшиися у него на кончике языка слова: «Вы себе даже не представляете, как это повлияет на тираж!»; он только пробормотал:

— Положение ваше станет несравненно прочнее! Но мне жаль, что мы не можем задать этому типу перца!

— Шут с ним!

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться Компсон Грайс. Ему совсем не хотелось впутываться в это дело и ставить всех своих авторов под удар влиятельной газеты.

Уилфрид встал.

— Весьма благодарен. Ну, я пошел.

Компсон Грайс смотрел, как Дезерт выходит из зала твердым шагом, с высоко поднятой головой.

«Бедняга! — думал он. — Но зато какой куш!»

Вернувшись к себе в издательство, Компсон Грайс долго отыскивал в статье Джеффри Колтема строчку, которую можно было бы использовать для рекламы. Наконец он ее нашел: «Ни одна поэма за последние годы не обладала такой внутренней силой...» (Конец фразы он отрезал, потому что дальше шло: «способной выбить почву из-под ног у всего, за что мы держимся».) Потом он сочинил письмо редактору. В нем было сказано, что пишет он по просьбе мистера Дезерта, который по своей доброй воле охотно признает автобиографический характер своей поэмы «Леопард». Что же касается до него лично, продолжал Компсон Грайс, то он считает такое откровенное признание со стороны мистера Дезерта

актом поразительного мужества, какое не часто встречается в наши дни. Он гордится тем, что на его долю выпала честь быть издателем такой поэмы, где психологическая глубина, мастерство и человечность достигают невиданного для современной поэзии уровня.

Он подписал письмо: «Ваш покорный слуга Компсон Грайс». Потом он увеличил тираж второго издания, распорядился, чтобы немедленно подготовили надпись: «Первое издание распродано, второй массовый тираж», — и отправился в клуб играть в бридж.

Клуб назывался «Полиглот», и в холле он встретился с Майклом. Волосы его бывшего коллеги по издательскому делу были встрепаны, уши торчали. Майкл сразу же заговорил с ним:

— Грайс, как вы намерены поступить с этой скотиной Колтемом?

Компсон Грайс ласково улыбнулся.

— Не волнуйтесь! Я показал статью Дезерту, и он попросил меня ее обезвредить, с полной откровенностью признав ее правоту.

— Господи Иисусе!

— Как? Разве вы не знали, что это правда?

— Знал, но...

У Компсона Грайса отлегло от сердца: его все-таки мучило сомнение, говорит ли Уилфрид правду. Кто решится напечатать поэму, в которой рассказана подобная история о себе самом, кто захочет, чтобы о ней узнали? Но теперь он спокоен: Монт открыл Дезерта и был его лучшим другом.

— Вот я и написал в газету все, что полагалось.

— Вас просил об этом Уилфрид?

— Да.

— Печатать такую поэму было чистым безумием... «Кого боги...» — Тут он заметил, с каким выражением слушает его Компсон Грайс. — Ну да, — сказал Майкл с горечью, — вы-то небось радуетесь, что сорвали солидный куш!

— Еще неизвестно, выиграем мы от этого или проиграем, — холодно произнес Компсон Грайс.

— Чушь! Все теперь кинутся ее читать, черт бы их побрал! Вы сегодня видели Уилфрида?

— Он со мной обедал.

— Как он выглядит?

Компсону Грайсу очень хотелось сказать: «Как ангел смерти», — но он не решился.

— Да ничего, спокоен.

— Черта с два, спокоен! Послушайте, Грайс! Если вы не поддержите его в этой истории или бросите на произвол судьбы, я в жизни больше не подам вам руки!

— Дорогой мой, за кого вы меня принимаете? — с видом оскорбленного достоинства спросил Компсон Грайс. И, одернув жилет, последовал к карточному столу.

Майкл пробурчал: «Жаба!» — и поспешно отправился на Корк-стрит. «А захочет ли он меня видеть?» — раздумывал он на ходу.

Но, дойдя до угла, он дрогнул и свернул на Маунт-стрит. Ему сказали, что родителей нет дома, но мисс Динни утром приехала из Кондафорда.

— Вот и хорошо. Не беспокойтесь, Блор, я сам ее найду.

Он поднялся наверх и тихонько приоткрыл дверь в гостиную. В нише под клеткой с попугаем сидела Динни; она сидела прямо, не двигаясь, устремив глаза в пространство, сложив на коленях руки, как пай-девочка. Майкла она заметила, только когда он дотронулся до ее плеча.

— О чем задумалась?

— Майкл, помоги мне не стать убийцей.

— А-а... Он действительно подлая дрянь. Твои читали «Момент»? Динни кивнула.

— Как они к этому отнеслись?

— Молча поджали губы.

— Бедняжка! И поэтому ты приехала?

— Да, мы идем с Уилфридом в театр.

— Передай ему самый нежный привет и скажи, что, если он захочет меня видеть, я сейчас же прибегу. Да, и постарайся ему внушить, что мы восхищены тем, что он бросил эту бомбу.

Динни подняла глаза, и сердце у него сжалось.

— Его толкнула на это не только гордость, понимаешь? Его что-то точит, и я очень боюсь. В глубине души он не уверен, что отрекся не из самой обыкновенной трусости. Он все время об этом думает, я знаю. Ему кажется, что он должен доказать — и не только другим, а больше самому себе, — что он не трус. Ну, я-то знаю, что он не трус, но, пока он не доказал этого и себе и остальным, он способен на все, что угодно.

Майкл молча кивнул. За последнее время он видел Уилфрида только один раз, но вынес от этой встречи такое же впечатление.

— Ты знаешь, что он попросил своего издателя публично подтвердить эту историю?

— Да?... — растерянно произнесла Динни. — Что же теперь будет? Майкл пожал плечами.

— Майкл, неужели никто не поймет, в каком он был тогда состоянии?

— Людей с воображением не так уж много. Да и мне трудно понять это до конца. А тебе?

— Легко потому, что это Уилфрид.

Майкл крепко сжал ее руку.

— Я очень рад, что ты смогла влюбиться по-хорошему, по уши, по старинке, а не так, как эти нынешние, — из «физиологической потребности».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Динни переоделась к ужину. К ней постучалась тетка.

— Лоренс прочел мне статью, Динни. Интересно!

— Что интересно, тетя Эм?

— Я знала одного Колтема, но он умер.

— Этот, наверно, тоже умрет.

— Где ты покупаешь корсеты, Динни? Они такие удобные.

— У Хэриджа.

— Дядя говорит, что ему надо выйти из членов клуба.

— Уилфриду наплевать на клуб, да он и был там от силы раз десять.

Но не думаю, чтобы он захотел теперь из него выйти.

— Уговори его.

— И не подумаю уговаривать его делать что бы то ни было!

— Ужасно неприятно, когда кладут черные шары.

— Тетя, дорогая, разреши мне подойти к зеркалу!

Леди Монт отошла в другой угол и взяла с ночного столика тоненькую книжку.

— «Леопард»! Но он их все-таки перекрасил!

— Неправда! У него не было пятен, ему нечего было перекрашивать.

— Но его же крестили, и все такое...

— Если бы крестины что-нибудь значили, то это было бы издевательством над ребенком,— тот ведь понятия не имеет, что с ним делают.

— Динни!

— Да. Я в этом уверена. Нельзя решать за людей, даже не спрашивая их,— это непорядочно. Когда Уилфрид научился думать, он уж не верил в бога.

— Ну, дело не в том, что он отказался от старой веры, а в том, что принял новую.

— Он это понимает.

— Что ж,— сказала леди Монт, направляясь к двери,— тем хуже для этого араба, нехорошо быть таким навязчивым! Если тебе понадобится ключ от входной двери, возьми у Блора.

Динни быстро кончила переодеваться и побежала вниз. Блор был в столовой.

— Тетя Эм сказала, что мне можно взять ключ, Блор. И не могли бы вы вызвать мне такси?

Позвонив на стоянку и отдавая ей ключ, дворецкий сказал:

— Наша миледи любит высказывать свои мнения вслух, вот и я поневоле все узнаю; утром я как раз говорю сэру Лоренсу: «Ежели бы мисс Динни могла увезти его куда-нибудь в шотландские горы, где и газет-то не читают, было бы много меньше расстройств». В нынешнее время, мисс, да вы, верно, и сами заметили, столько всего случается, и все как-то сразу, а у людей память не та, что в старину,— быстро все забывают... Вы уж меня простите, что я об этом говорю.

Динни взяла у него ключ.

— Большое спасибо, Блор. Я и сама очень бы этого хотела; только боюсь, он решит, что это неприлично.

— В нынешнее время молодая дама многое может себе позволить.

— Но вот мужчинам все-таки приходится соблюдать приличия.

— Ну да, конечно, мисс, с родными вам придется повоевать; но в конце концов все можно уладить.

— Боюсь, что нам придется расхлебывать эту кашу тут, Блор.

Дворецкий покачал головой.

— Зря люди считают, что всякую кашу надо расхлебывать... А вот и ваше такси, мисс.

Сидя в такси, она наклонилась вперед, подставляя ветру разгоряченное лицо. Это свежее дыхание словно сдуло обиду, которую причинила ей злосчастная статья. На углу Пикадилли ей попалось на глаза газетное объявление: «Лошади прибывают на Дерби!» Да, ведь завтра — Дерби! Как она выбилась из привычной колеи.

Местом встречи был выбран ресторан «Блафар» в Сохо, где они собирались поужинать, но такси едва ползло, — накануне национального праздника в городе было большое движение. У дверей ресторана стоял Стак, держа на поводке спаниеля. Он подал Динни записку.

— Мистер Дезерт послал меня с этим письмом, мисс. А собаку я вывел погулять.

Динни вскрыла конверт, чувствуя, что ей сейчас станет дурно.

«Динни, дорогая,

Прости, что я тебя подвел. Весь день меня мучили сомнения. Дело в том, что, пока я не буду твердо знать, каково теперь мое положение, совесть не позволяет мне тебя связывать. И мы не должны сейчас публично появляться вместе. Ты, наверно, видела «Текущий момент» — это ведь только начало. Я должен пройти через все это один и понять, что мне грозит, а на это уйдет неделя. Бежать я никуда не собираюсь, и мы можем писать друг другу. Ты все поймешь. Собака для меня сейчас — дар божий, и я обязан им тебе. Прощай ненадолго, любимая.

Т в о й У. Д.».

Она с трудом удержалась, чтобы не схватиться за сердце на глазах у шофера такси. Не быть с ним рядом в самую опасную минуту — вот чего она все время боялась. С усилием разжав губы, она попросила шофера минутку обождать ее и сказала Стаку:

— Я отвезу вас с Фошем домой.

— Спасибо, мисс.

Она нагнулась к псу. Ее охватила паника. Собака! Хоть она их сейчас связывает!

— Посадите его в машину, Стак.

По дороге она спокойно спросила его:

— Мистер Дезерт у себя?

— Нет, мисс, когда он дал мне записку, он сразу же ушел.

— Он здоров?

— По-моему, немножко расстроен, мисс. Эх, неплохо бы проучить этого господина из «Текущего момента», честно вам скажу!

— А! Вы, значит, тоже читали?

— Да. Такие вещи надо бы запрещать!

— Свобода слова, — сказала Динни. Пес прижался носом к ее колену. — Фош хорошо себя ведет?

— Никаких хлопот из-за него, мисс. Настоящий джентльмен, правда, малыш?

Собака продолжала стоять, уткнувшись носом в колено Динни, и это ее как-то успокаивало.

Когда такси остановилось на Корк-стрит, Динни вынула из сумочки карандаш, оторвала чистый клочок бумаги от записки Уилфрида и написала:

«Родной мой!

Как хочешь. Но знай: я твоя, твоя навеки. Ничто меня с тобой не разлучит, разве что ты меня разлюбишь.

Твоя Динни.

Но ты этого не сделаешь, правда? Пожалуйста, не надо!»

Динни сунула в конверт записку, лизнула край и прижала, чтобы конверт получше заклеился. Потом она отдала письмо Стаку, поцеловала Фоша и сказала шоферу:

— Пожалуйста, Маунт-стрит, со стороны Гайд-парка. Спокойной ночи, Стак!

— Спокойной ночи, мисс.

Глаза неподвижно стоявшего слуги выражали такое сочувствие, что она отвернулась. На этом и кончилось любовное свидание, которого она так ждала.

С Маунт-стрит Динни прошла в парк и села на ту же скамейку, где они прежде сидели вдвоем, забыв, что она одна, без шляпы, в вечернем платье, и что уже девятый час. Она сидела, подняв воротник пальто и прикрыв им свои каштановые волосы, и пыталась понять решение Уилфрида. Да, она его понимала. Гордость! У нее самой достаточно гордости, чтобы думать так же, как он. Ему, конечно, не хочется вовлекать других в свою беду. Чем больше любишь, тем больше этого боишься. Странно, что любовь разделяет людей именно тогда, когда они больше всего нужны друг другу. А выхода нет, она его не видит. Издали доносились звуки музыки, играл гвардейский оркестр. Что это — «Фауст»? нет, — «Кармен»! Любимая опера Уилфрида. Динни встала и пошла по траве туда, откуда слышалась музыка. Какая толпа! Динни взяла стул и села подальше от людей, за кустами рододендрона. Хабанера! Ее первые такты невозможно спокойно слушать. Какой дикой, внезапной, странной и непреодолимой бывает любовь! *L'amour est enfant de Bohém...*¹. Как поздно в этом году цветут рододендроны. Удивительные у этого куста густо-розовые цветы. В Кондафорде тоже есть такие... Где он сейчас? А еще говорят, что глаза любви видят все насквозь; почему не может она пойти, хотя бы мысленно, с ним рядом, тихонько взять его за руку? Ведь быть с ним в мыслях все же лучше, чем не быть с ним совсем! И Динни вдруг почувствовала такое одиночество, какое знают только влюбленные, оторванные от тех, кого они любят. Вянут цветы, увянет и она, если ее с ним разлучат. «Я должен пройти через все это один...» И долго ли будет он идти один? Неужели всегда? От этой мысли она рванулась со стула, и какой-то прохожий, подумав, что она рванулась к нему, замер и уставился на нее. Но ее лицо быстро его раз-

¹ «Любовь — дитя, дитя свободы...» (ф р а н ц.)

убедило, и он пошел дальше. Надо как-нибудь убить еще два часа, прежде чем она сможет вернуться домой; нельзя никому признаться, что свидание не состоялось. Оркестр закончил сюиту из «Кармен» арией тореадора. Как она портит оперу, эта знаменитая мелодия! Впрочем, почему же портит? Надо было этим треском и грохотом заглушить отчаяние трагического конца; влюбленные всегда страдают под шум и гомон толпы. Жизнь — бесчеловечное игрище, на котором кривляются люди, стараясь укрыться в какой-нибудь темный угол и прильнуть друг к другу... Как странно звучат хлопки под открытым небом! Она взглянула на часы. Половина десятого! Еще целый час до темноты. Но в воздухе уже повеяло прохладой, запахло травой и листьями, окраска рододендронов медленно блекла в сумерках, смолкли птицы. Мимо равнодушно шли и шли люди; и так же равнодушно она смотрела на них. Динни подумала: «Ничто меня не забавляет, но, правда, я еще не ужинала». Выпить кофе в ларьке? Пожалуй, еще слишком рано, однако есть же такие места, где в это время можно поесть? Она не ужинала, почти ничего не ела за обедом и даже не пила чаю — словом, вела себя как настоящая влюбленная. Динни двинулась по направлению к Найтбриджу; она невольно шла быстрым шагом, хотя ей никогда еще не приходилось бродить одной по городу в такой поздний час. Без всяких помех дошла она до ворот парка, пересекла улицу и пошла по Слоун-стрит. Движение немножко ее успокоило, и она мысленно решила: «Лучшее средство от любовной тоски — ходьба!» На улице почти не было прохожих. Наглухо запертые дома, окна со спущенными шторами словно подчеркивали своими узкими и чопорными фасадами, как равнодушен весь этот устойчивый мир к таким беспокойным странникам, как она. На углу Кингс-роуд стояла женщина.

— Вы не скажете, где бы я могла здесь поблизости поесть? — обратилась к ней Динни.

У женщины было широкое лицо с выдающимися скулами; щеки и глаза сильно накрашены, пухлые, добрые губы, довольно широкий нос; глаза, видно, привыкли по заказу глядеть то зазывно, то вызывающе, словно совсем перестали быть зеркалом души. Темное платье плотно облегалo фигуру, а на шее висела длинная нитка искусственного жемчуга. Динни невольно подумала, что и в высшем свете немало таких, как она.

— Тут налево есть одно такое местечко...

— А вы не хотите закусить со мной? — вдруг отважилась Динни, — ее толкнул на это голодный взгляд женщины.

— А что ж? Пожалуй, — ответила та. — Говоря по правде, я вышла на пустой желудок. Да и в компании как-то веселее.

Она свернула на Кингс-роуд, и Динни пошла с ней рядом. В голове у нее мелькнуло, что знакомые, наверно, удивились бы, встретив ее в таком обществе, но на душе у нее почему-то стало легче. «Только смотри, будь с ней попроще», — сказала она себе.

Женщина привела ее в маленький ресторанчик или, вернее, кабачок, потому что там был бар. В закусочной, куда вел отдельный ход, никого не было, и они сели за небольшой стол, на котором стояли судок для

приправ, ручной звонок, соус-кабуль и вазочка с поникшими ромашками,— они никогда и не были свежими. В зале пахло уксусом.

— Эх, до чего же курить хочется,— сказала женщина.

У Динни не было сигарет. Она позвонила.

— А что вы курите?

— Да самые простые.

Появилась официантка; она поглядела на женщину, поглядела на Динни и сказала:

— Слушаю вас.

— Пачку «Плейерс», пожалуйста. Большую чашку кофе для меня, только крепкого и свежего, кекс или булочки. А вы что будете есть?

Женщина испытующе поглядела на Динни, словно прикидывая ее «ресурсы», потом на официантку и нерешительно сказала:

— Да по правде говоря, я здорово хочу есть. Как насчет холодного мяса и бутылочки пива?

— Может, овощи? Какой-нибудь салат?— предложила Динни.

— Ну что ж, тогда и салат, спасибо.

— Вот хорошо! И маринованных каштанов, правда? Если можно, пожалуйста, поскорее.

Официантка молча облизнула губы и, кивнув головой, отошла.

— А знаете,— вдруг сказала женщина,— это очень мило с вашей стороны!

— Спасибо, что вы составили мне компанию. Без вас я чувствовала бы себя как-то неловко.

— Она-то никак ничего не поймет.— Женщина мотнула головой в ту сторону, куда ушла официантка.— Да, по правде говоря, и я тоже.

— А что тут понимать? Просто мы обе проголодались.

— Ну уж тут не сомневайтесь. Вот увидите, как я буду уписывать за обе щеки. И насчет маринованных каштанов вы здорово придумали. Никак не могу удержаться от маринованного лука, а это мне не полагается.

— Надо было заказать по коктейлю,— пробормотала Динни.— Но боюсь, их здесь не подают...

— Да, рюмочку хереса можно бы пропустить. Я сейчас принесу.— Женщина поднялась и прошла в бар.

Динни воспользовалась случаем, чтобы попудрить нос и достать деньги: сунув руку в кармашек, пришитый к лифчику, где она хранила свои богатства, добытые на Саус-Молтон-стрит, она вытащила оттуда бумажку в пять фунтов. Встреча с женщиной немножко отвлекла ее от грустных мыслей.

Женщина вернулась и принесла две полные рюмки.

— Я сказала, чтобы они поставили это нам в счет. Выпивка здесь хорошая.

Динни отпила глоток вина. Женщина осушила свою рюмку разом.

— Ух, как мне этого не хватало! Есть же, говорят, такие страны, где человек даже и выпить не может.

— Да нет, всюду могут, и пьют, конечно.

— Пьют-то пьют, это факт. Но, говорят, там не выпивка, а просто отравы.

Динни заметила, что женщина с жадным любопытством разглядывает ее пальто, платье, лицо.

— Извините за любопытство,— сказала она.— У вас сегодня свидание?

— Нет, я отсюда пойду домой.

Женщина вздохнула.

— Куда же она пропала с этими чертовыми сигаретами?

Снова появилась официантка и подала пиво и сигареты. Она откупила бутылку, разглядывая волосы Динни.

— Фу!— с облегчением вздохнула женщина, затягиваясь.— До смерти курить хотелось!

— Сию минуту подам вам остальное,— сказала официантка.

— Не видала ли я вас на сцене?— спросила женщина.

— Нет, я не актриса.

Появление пищи нарушило неловкое молчание. Кофе был лучше, чем ожидала Динни, и очень горячий. Она выпила почти всю чашку и съела большой кусок сливового пирога. Сунув в рот маринованный каштан, женщина заговорила снова:

— Вы живете в Лондоне?

— Нет, в Оксфордшире.

— Что ж, и я люблю деревню, да теперь все никак туда не попадаю. Я выросла возле Мейдстона,— красивые там места.— Она шумно вздохнула, обдав Динни запахом пива.— Говорят, коммунисты в России запрещают проституцию,— ну разве не потеха? Один американский журналист мне рассказывал. Что ж! Вот не думала, что бюджет такая важная штука,— продолжала она, с таким удовольствием выпуская дым, словно облегчала душу.— Ужас какая безработица!

— Да, все от этого страдают.

— Уж я-то страдаю наверняка,— сказала та, глядя в пространство пустыми глазами.— Вы небось меня осуждаете?

— Сейчас людям не так-то легко осуждать друг друга.

— Да, святые мне попадаютсЯ редко.

Динни засмеялась.

— Но, правда, раз мне попался один священник,— с вызовом продолжала женщина,— до чего же толковый, никогда таких не встречала; жаль только, что послушаться его не могла.

— Держу пари, я знаю, как его звали,— сказала Динни.— Черрел?

— В точку,— сказала женщина, и глаза ее округлились от изумления.

— Это мой дядя.

— Фу ты! Ну и ну! Вот потеха! Видно, и вправду мир тесен. Очень славный был господин,— добавила она.

— Не только был, но и есть.

— Да, лучше людей не бывает.

Динни ждала, что она это скажет, и подумала: «Ну теперь мне полагось бы заплакать и сказать: «Моя бедная падшая сестра»...»

Женщина с удовлетворением вздохнула.

— Вот наелась так наелась,— сказала она и поднялась со стула.— Большущее вам спасибо. Мне пора двигаться, не то, пожалуй, прозеваю все на свете.

Динни позвонила. Официантка вынырнула с подозрительной быстротой.

— Счет, пожалуйста, и, если нетрудно, разменяйте мне эту бумажку.

Официантка опасливо взяла пять фунтов.

— Пойду наведу красоту,— сказала женщина.— Сию минуту вернусь.— Она скрылась за какой-то дверью.

Динни допила кофе. Она старалась представить себя на месте этой женщины. Вернулась официантка, принесла сдачу, получила на чай, сказала «спасибо, мисс» и ушла. Динни продолжала раздумывать о жизни своей новой знакомой.

— Ну вот,— слышался за ее спиной голос женщины.— Я вряд ли еще когда-нибудь вас увижу. Но, ей-богу, вы — славная девушка!

Динни подняла глаза.

— Вы вот сказали, что вышли на пустой желудок... Это потому, что вам не на что было поест?

— Ясное дело,— подтвердила женщина.

— Может, вы тогда возьмете эту сдачу? Плохо в Лондоне без денег.

Женщина закусил губу, но Динни заметила, что она дрожит.

— Не надо бы мне брать у вас деньги,— сказала женщина.— Вы и так были ко мне очень добры.

— Глупости! Прошу вас.— И, схватив руку женщины, она сунула в нее деньги. К ее ужасу женщина громко шмыгнула носом. Динни кинулась к двери, а женщина сказала ей вслед:

— Знаете, что я сейчас сделаю? Пойду домой и лягу спать. Ей-богу! Пойду домой и просто лягу спать.

Динни торопливо направилась назад к Слоун-стрит. Проходя мимо высоких домов с наглухо завешенными окнами, она умиротворенно призналась себе, что тоска гложет ее уже меньше. Если она замедлит шаг, то придет на Маунт-стрит как раз вовремя. Уже совсем стемнело, и, несмотря на отсвет городских огней, в небе переливались мириады звезд. Ей не захотелось идти опять через парк, и она пошла кругом, вдоль его решетки. С тех пор как она простилась со Стаком и Фошем на Корк-стрит, прошла, казалось, целая вечность. На Парк-лейн движение было больше. Завтра все эти машины двинутся в Эпсом, и город опустеет. И ее словно ударила мысль: как пусто будет жить без Уилфрида, без надежды когда-нибудь его увидеть.

Она подошла к воротам возле «норовистого бочонка», и вдруг весь сегодняшний вечер показался ей дурным сном: возле памятника стоял Уилфрид. Задохнувшись, она бросилась к нему. Он раскинул руки и прижал ее к себе.

Объятие не могло длиться вечно,— слишком уж много было кругом машин и прохожих; поэтому они под руку пошли к Маунт-стрит. Динни молча прильнула к нему, он тоже, казалось, не мог произнести ни слова; но как ее радовала мысль, что он пришел, потому что ему нужно было быть с ней!

Они без конца провожали друг друга взад и вперед, мимо дома, словно лакей и горничная, на минутку вырвавшиеся погулять. Все было забыто: обычаи страны и класса, условности и предрассудки. И, может быть, среди семи миллионов жителей Лондона не было в эти минуты более счастливых и близких друг другу людей.

Наконец в них проснулось чувство юмора.

— Милый, нельзя же провожать друг друга всю ночь! Ну, еще раз поцелуй меня, еще раз, ну... в самый последний раз!

Она взбежала по ступенькам и повернула ключ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Когда Уилфрид расстался со своим издателем в ресторане «Жасмин», он был зол и растерян. Даже не вникая в тайные замыслы Компсона Грайса, он понимал, что тот обвел его вокруг пальца; весь остаток этого тревожного дня он бродил по городу, раздираемый противоречивыми чувствами: то испытывал облегчение оттого, что сжег свои корабли, то злился, предвкушая последствия этого поступка. Погруженный в себя, он и не подумал, каким ударом будет его записка для Динни, и, только вернувшись и прочтя ее ответ, забеспокоился, а потом пошел туда, где она так кстати его встретила. За те несколько минут, которые они, полубнявшись, молча ходили по Маунт-стрит, ей удалось внушить ему, что против целого мира стоят они вдвоем, а не он один. К чему отталкивать ее от себя и делать еще несчастнее? И наутро он послал ей со Стаком записку, приглашая на очередную прогулку. Про Дерби он совсем забыл, и автомобиль их почти сразу же застрял в потоке машин.

— Я никогда не была на Дерби,— сказала Динни.— Давай, поедем?

Впрочем, поехать туда пришлось,— свернуть в сторону было уже невозможно.

Динни удивилась, до чего все здесь благопристойно: ни пьянства, ни ярмарочных украшений, ни тележек, запряженных осликами, ни картонных носов, ни грубых шуток. Не было ни колясок, запряженных четверкой, ни тележек разносчиков — только плотная лента движущихся автобусов и автомобилей, почти всегда закрытых.

Когда они наконец поставили свою машину, съели бутерброды и смешались с толпой, им захотелось взглянуть на лошадей.

Все это теперь нисколько не напоминало картину Фриса¹ «Дерби», если когда-нибудь и было на нее похоже. На картине люди были живые и радовались жизни; в этой толпе, казалось, все только и стремились попасть куда-нибудь в другое место.

В паддоке, где на первый взгляд тоже не было никаких лошадей, а топтались одни люди, Уилфрид вдруг вспомнил:

— Ведь это же глупо, Динни! Нас непременно кто-нибудь увидит.

— Ну и что из этого? Посмотри лучше: вон лошади!

По кругу и в самом деле водили лошадей. Динни быстро подошла, чтобы посмотреть на них поближе.

¹ Фрис Уильям (1819—1909) — английский художник. Имеется в виду его картина «Скачки в Эпсеме».

— Мне они все кажутся такими красивыми!— благоговейно прошептала она.— Даже не пойму, какая лучше, вот только не эта; ее спина мне не нравится.

Уилфрид заглянул в программу.

— Это — фаворит.

— А мне все равно не нравится. Посмотри сам. Спина вся ровная, а круп вислый.

— Верно, но сложение у скаковых лошадей бывает самое разное.

— Давай я поставлю на лошадь, которая тебе понравится.

— Тогда обожди, дай подумать.

Люди вокруг них называли имена лошадей, которых проводили мимо. Динни подошла к самому барьеру, Уилфрид стоял тут же, позади нее.

— Ну прямо свинья, а не лошадь,— сказал кто-то слева от них.— На эту скотину никогда больше не поставлю.

Динни окинула взглядом говорившего; это был приземистый человек с затылком, заплывшим салом, в котелке и с сигарой в зубах. «Ну и не ставь!— подумала Динни.— Тем лучше для лошади».

Дама, сидевшая на складном стульчике справа, заявила:

— Надо очистить от людей дорожку, когда выведут лошадей. Из-за этой давки я уже два года назад проиграла.

Рука Уилфрида легла на плечо Динни.

— Вон та мне нравится. Бленгейм. Пойдем поставим на нее.

Они пошли туда, где люди стояли в очередях к окошечкам, похожим на дырки в скворечниках.

— Подожди здесь,— сказал Уилфрид.— Я пушу туда и нашего «скворца» и сейчас вернусь.

Динни стояла, разглядывая толпу.

— Как поживаете, мисс Черрел?— Перед ней остановился мужчина в сером цилиндре с большим биноклем в футляре через плечо.— Мы с вами познакомились у памятника Фошу и на свадьбе вашей сестры, помните?

— Да, конечно, мистер Маскем.— Сердце у нее заколотилось, и она заставила себя не смотреть в ту сторону, куда ушел Уилфрид.

— Сестра вам пишет?

— Да, мы получили письмо из Египта. На Красном море им, видно, пришлось выдержать ужасную жару.

— Вы на кого-нибудь поставили?

— Еще нет.

— Фаворита я бы остерегался. Он встанет.

— Мы подумывали о Бленгейме.

— Ну что ж, лошадь хорошая и ловка в поворотах. Но в той же конюшне есть другая, от нее ждут большего. Вы, я вижу, еще новичок. Дам вам парочку советов, мисс Черрел. Смотрите, чтобы в лошади было одно из двух — или же и то и другое, — высокий круп и характер: не красота, а именно характер.

— Высокий круп? **Значит, сзади** она должна быть выше, чем спереди?

Джек Маскем улыбнулся.

— Вроде того. Если вы заметите это у лошади, особенно когда она прыгает, можете смело на нее ставить.

— Да, но что такое характер? Это когда она заносит голову и смотрит поверх людей вдаль? Я здесь видела такую лошадь.

— Ей-богу, я бы вас взял в ученицы! Вы угадали: это как раз то, что я подразумевал.

— Но я не знаю, как звали ту лошадь,— пожалела Динни.

— Обидно.

Но тут она увидела, как лицо его, только что выражавшее живую симпатию, словно застыло. Он приподнял цилиндр и отвернулся. Голос Уилфрида за ее спиной произнес:

— Ну вот, десятку ты поставила.

— Пойдем на трибуну, поглядим, как они примут старт.

Он, казалось, не заметил Маскема, и, чувствуя руку Дезерта у своего локтя, Динни старалась забыть, как у Маскема вдруг окаменело лицо. Многоголосое моление толпы о том, чтобы «привалило счастье», отвлекло Динни, и, дойдя до трибуны, она уже все забыла, кроме Уилфрида и лошадей. Они нашли свободное место возле перил, недалеко от букмекеров.

— Зеленый и шоколадный — это я запомню. Фисташковая начинка — моя любимая в шоколадных конфетах. А сколько я выиграю, если я все-таки выиграю, милый?

— Послушай!

Они разобрали слова:

— Бленгейм: восемнадцать к одному!

— Сто восемьдесят фунтов!— воскликнула Динни.— Вот хорошо!

— Это значит, что конюшня в него не верит; у них есть сегодня другой фаворит. Идут! Вон двое в зеленом и шоколадном. Вторая лошадь наша.

Парад — событие всегда увлекательное для всех, кроме самих лошадей,— дал ей возможность разглядеть гнедую, которую они выбрали, и жокея у нее на спине.

— Как она тебе нравится, Динни?

— Все они — прелесть. Как это люди могут сказать, какая лошадь лучше, по одному виду?

— Они и не могут.

Лошади повернули и шагом прошли мимо трибуны.

— Тебе не кажется, что Бленгейм сзади выше, чем спереди?— пробормотала Динни.

— Ничуть. Отлично движется. С чего это ты взяла?

Но она только вздрогнула и сжала его руку.

У них не было бинокля, и в начале скачек они ничего не видели. Какой-то человек у них за спиной без конца повторял:

— Фаворит ведет! Фаворит ведет!

Когда лошади прошли татенхемский поворот, тот же голос, захлебываясь, кричал:

— Паша, Паша придет первый, нет — фаворит! Впереди фаворит, нет, не он! Илиада! Впереди Илиада!

Динни почувствовала, как пальцы Уилфрида сжали ее руку.

— Наша там, с этой стороны,— сказал он.— Смотри!

Динни увидела, как по внешнему краю дорожки скачет лошадь с жокеем в розовом и коричневом, а поближе — в шоколадном и зеленом. Она выходит вперед, выходит вперед! Они выиграли!

Кругом воцарилось молчание и растерянность, а эти двое стояли, улыбаясь друг другу. Какая счастливая примета!

— Сейчас я получу деньги, найдем нашу машину и поедем.

Он настоял на том, чтобы она взяла все деньги, и Динни спрятала их туда же, где хранилось остальное ее богатство,— теперь она была хорошо застрахована от всякой попытки разлучить ее с Уилфридом!

По дороге домой они опять заехали в Ричмонд-парк и долго сидели в зарослях молодого папоротника, слушая перекличку кукушек, наслаждаясь мирным солнечным днем, полным шепота листвы и трав.

Они пообедали в каком-то ресторане в Кенсингтоне и простились на углу Маунт-стрит.

В ту ночь ее не посещали ни сны, ни тревоги, и она спустилась к завтраку с ясными глазами и налетом загара на щеках. Дядя читал «Текущий момент». Положив газету, он сказал:

— Когда выпьешь кофе, Динни, взгляни, что здесь написано. Нет, говоря об издателях, я иногда сомневаюсь, люди ли они вообще. Ну, а что касается редакторов, я просто уверен, что они — не люди.

Динни прочла письмо Компсона Грайса, напечатанное под заголовком:

ОТСТУПИЧЕСТВО М-РА ДЕЗЕРТА.
НАШ ВЫЗОВ ПРИНЯТ. ИСПОВЕДЬ.

За этим следовали две строфы из поэмы сэра Альфреда Лайелла «Богословие под страхом смерти».

Слава земная исполнена Лжи,
Тлен и забвение ждут мою плоть...
Славы небесной искать для души?
В сделки с душой не вступает господь...
Или, быть может, во славу отчизны
Должен сносить я бесчестие жизни?

Рок мой влечет меня в призрачный ряд
Всех безымянных, кто Делу служил...
Немы преданья, и камни молчат
Над мириадами древних могил
Тех, кто, как я, заработал лишь право
Гибнуть, страдая, во славу державы.

И нежный румянец загара на щеках Динни сменился краской гнева.

— Да,— пробормотал сэр Лоренс, наблюдая за ней,— теперь духа выпустили из бутылки, как сказал бы старый Форсайт. Но вчера я разговаривал с одним человеком, и тот уверял, что в нынешние времена ничто не может наложить на тебя несмываемого пятна. Жульничал ли ты в карты, воровал ли драгоценности,— достаточно съездить года на два за границу, и все будет забыто. Ну а что касается половых извращений, они теперь вовсе и не извращения! Так что нечего робеть!

— Меня больше всего возмущает, что отныне всякая гнусь сможет болтать все, что ей вздумается,— горячо воскликнула Динни.

Сэр Лоренс кивнул.

— И чем большая гнусь — тем она больше будет болтать! Но бояться нам надо не ее, а людей, «гордых тем, что они англичане», а такие еще найдутся!

— Дядя, может Уилфрид как-нибудь доказать, что он не трус?

— Он хорошо воевал.

— Кто теперь помнит о войне?

— Может, нам бросить в его машину бомбу на Пикадилли?— пробормотал сквозь зубы сэр Лоренс.— Он мог бы с презрением поглядеть на нее сверху вниз и невозмутимо закурить сигарету. Ничего лучше я придумать не могу.

— Я вчера встретила мистера Маскема.

— Ты была на Дерби?— Он вынул из кармашка короткую сигару.— Джек считает, что ты — жертва.

— Ах вот оно что? А какое им всем дело? Почему они не могут оставить меня в покое?

— Разве такую прелестную фею можно оставить в покое? Ведь Джек — женоненавистник.

Динни невесело засмеялась.

— Ей-богу, наши горести и те смехотворны!

Она встала и подошла к окну. Ей почудилось, что весь мир рычит и лает, как свора псов на загнанную в угол кошку. Но Маунт-стрит была пуста, если не считать фургона, развозившего молоко.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда скачки задерживали Джека Маскема в городе, он ночевал в клубе «Бартон». Прочтя отчет о Дерби в «Текущем моменте», он стал лениво листать газету. Прочие сообщения в этом «заборном листке» никогда его не интересовали. Редакционный стиль газеты возмущал его представления о приличиях; сенсации казались ему вопиющим проявлением дурного вкуса, а политические взгляды раздражали тем, что напоминали его собственные. Но как небрежно ли переворачивал он листы, заголовок «Отступничество м-ра Дезерта» все же бросился ему в глаза. Прочитав заметку, он отложил газету.

— Этого субъекта придется унять!— воскликнул он.

Как, он еще смеет кичиться своей трусостью и тащить за собой в грязь эту милую девушку! Порядочный человек постыдился бы появляться с ней на людях в тот самый день, когда он открыто признался в своей подлости, достойной этого подлого листка!

В наш век, когда терпимость и либерализм — повальная болезнь общества, Джек Маскем твердо придерживался своих принципов и не отступал от них ни на шаг. Молодой Дезерт не понравился ему с первого взгляда. Недаром фамилия его похожа на слово «дезертир». И подумать, что такая милая девушка,— ведь не имея никакого опыта, она так разумно рассуждала о скаковых лошадях,— рискует загубить свою жизнь из-за этого трусливого наглеца! Нет, это уж слишком! Если бы не Ло-

ренс, он бы давно что-нибудь предпринял. Но тут он внутренне осекся. Что именно?.. Ведь этот субъект сам публично признался в своем позоре! Статья — уловка, он пытается обезоружить противников! Припертый к стенке, делает благородный жест. Афиширует свое предательство. Будь его воля, он бы переломал этому петушку крылья! Но тут он снова осекся... Ни один посторонний человек не может в это вмешиваться. Но если никто открыто не выразит порицания, покажется, что все принимают это как должное!

«Ах ты черт! — кипятился он. — Ну, хотя бы тут, в клубе, могут же люди запротестовать! Нам в «Бартоне» заячьи души не нужны!»

Он поднял этот вопрос на заседании правления клуба в тот же день и был потрясен тем, что его выслушали с полнейшим безразличием. Из семи присутствующих членов — председательствовал Помещик, Уилфрид Бентуорт, — четверо сочли, что вопрос этот касается только молодого Дезерта и его совести, не говоря уж о том, что вся эта история раздута прессой! С тех пор как Лайелл писал свою поэму, времена изменились. Один из членов правления дошел до того, что просил не морочить ему голову этой историей; он, видите ли, «Леопарда» не читал, с Дезертом не знаком, а к «Текущему моменту» питает одно отвращение.

— Я тоже, — сказал ему Джек Маскем, — но вот его поэма! — Он еще утром послал купить ее и провел целый час после обеда за чтением. — Дайте я вам прочту. Это черт знает что!

— Нет уж, бога ради, Джек, увольте!

Пятый член правления, который вначале молчал, заявил теперь, что, если Маскем настаивает, всем им придется прочесть эту штуку.

— Да, я настаиваю.

Помещик, до сих пор не обронивший ни слова, заметил:

— Секретарь разошлет книжки всем членам правления. И, кстати, сегодняшний номер «Текущего момента». Мы вернемся к этому вопросу на заседании правления в пятницу. А теперь — как мы решаем насчет этого красного вина?

И они перешли к обсуждению более важных дел.

Не раз бывало замечено, что всякая газета определенного толка, напав на какой-нибудь случай, позволяющий ей и похвастать своей добродетелью, и блеснуть политическими взглядами, раздувает этот случай, боясь лишь попасться на откровенной клевете и отнюдь не боясь оскорбить тех, о ком она пишет. Обезопасив себя письмом Компсона Грайса, «Текущий момент» пустился во все тяжкие и всю неделю до следующего заседания правления клуба не давал его членам сделать вид, будто они ничего не знают или не интересуются разразившимся скандалом. Не было человека, который не читал и не обсуждал бы «Леопарда», а в день заседания «Текущий момент» поместил большую статью о том, как британец обязан вести себя на Востоке, полную двусмысленных намеков. Тут же было помещено объявление, напечатанное крупным шрифтом:

«ЛЕОПАРД» И ДРУГИЕ ПОЭМЫ УИЛФРИДА ДЕЗЕРТА.

ИЗДАНИЕ КОМПСОНА ГРАЙСА.

ПРОДАНО УЖЕ 40 ТЫСЯЧ.

ВЫПУЩЕН ТРЕТИЙ БОЛЬШОЙ ТИРАЖ.

Спор о том, нужно ли подвергать остракизму ближнего своего, всегда собирает большую аудиторию, и сегодня на заседание пришли даже те, кто никогда не устаивал клуб своим присутствием.

Проект резолюции был предложен Джеком Маскемом:

«Предложить достойному Уилфриду Дезерту, в соответствии с параграфом 23 Устава, выйти из членов клуба «Бартон» вследствие поведения, недостойного члена этого клуба».

При обсуждении резолюции он взял слово первым.

— Все вы получили книжку, где напечатана поэма Дезерта «Леопард», и номер газеты «Текущий момент» за прошлую пятницу. Вопрос не вызывает сомнений. Дезерт публично признался в том, что, смелодушничав, отрекся от своей веры под дулом пистолета, и я заявляю, что он не достоин быть членом этого клуба. Клуб был основан в память великого путешественника, который не дрогнул бы даже у входа в преисподнюю. Мы не потерпим здесь людей, попирающих английские традиции да еще и хвастающих этим!

Наступило короткое молчание, а потом тот, кто на прошлом заседании выступал пятым, заметил:

— А поэма-то, однако, удивительно хороша!

Знаменитый адвокат, когда-то путешествовавший по Турции, добавил:

— Разве не полагалось бы пригласить и его на это обсуждение?

— Зачем?— спросил Маскем.— Что он может добавить к тому, что сказано в поэме или в письме издателя?

Член правления, который в прошлый раз выступал четвертым, пробурчал:

— Неужели мы должны считаться с такой газетой, как «Текущий момент»?

— А чем мы виноваты, если он сам выбрал этот желтый листок?— возразил Маскем.

— Противно лезть в чужую душу,— продолжал четвертый.— Кто из нас может с уверенностью сказать, что не поступил бы на его месте так же?

Послышалось шарканье ног, и морщинистый знаток древних цивилизаций Цейлона пробормотал:

— На мой взгляд, Дезерт вывел себя из игры не своим отступничеством, а той шумихой, которую он поднял. Человек порядочный предпочел бы молчать. Да он просто рекламирует свою книгу! Уже третье издание, и все ее читают. Зарабатывать таким способом деньги,— это уж слишком!

— Вряд ли он об этом думал,— сказал четвертый,— успех книги был подогрет скандалом.

— Он мог изъять свою книгу.

— Это зависит от договора с издателем. Да и все бы сказали, что он спасается от бури, которую сам же поднял. Лично мне кажется, что он поступил благородно, сделав публичное признание.

— Красивый жест!— пробурчал адвокат.

— Если бы это был офицерский клуб, никто бы не раздумывал, как поступить,— заявил Маскем.

Автор «Возвращения в Мексику» сухо возразил:

— К счастью, он не офицерский!

— Я не уверен, что к поэтам можно применять обычные мерки,— задумчиво произнес пятый член правления.

— Почему же нет, если это касается обычных норм человеческого поведения?— спросил знаток цейлонской культуры.

Тщедушный человек, сидевший напротив председателя, вдруг выпалил: «Тек-к-ущий м-момент»...— словно внутри у него лопнул воздушный шар.

— Весь город только об этом и говорит,— заметил адвокат.

— Молодежь у меня дома просто потешается,— сказал человек, еще не произнесший ни слова.— Спрашивают: «Да что же особенного он сделал?» Обвиняют нас в ханжестве, смеются над стихами Лайелла и считают, что Англии только на пользу, если с нее немножко собьют спесь.

— Вот-вот!— воскликнул Маскем.— Современный жаргон! Все устои побоку! Неужели мы будем это терпеть?

— Кто-нибудь из вас знаком с Дезертом?— спросил пятый член правления.

— Шапочное знакомство,— ответил Маскем.

Никто больше не был знаком с поэтом.

И вдруг заговорил смуглый человек с глубокими, живыми глазами:

— Я скоро еду в Афганистан, и у меня одна надежда,— что эта история туда не дошла.

— Почему?— спросил четвертый член правления.

— Да потому, что меня и без того будут там презирать.

Слова известного путешественника произвели на всех большое впечатление. Два члена правления, которые, так же как и председатель, еще не высказывались, воскликнули разом:

— Верно!

— Нельзя осуждать человека, не выслушав его,— сказал адвокат.

— А как вы на это смотрите, Помещик?— спросил четвертый член правления.

Председатель, молча куривший трубку, вынул ее изо рта.

— Кто еще хочет высказаться?

— Я,— сказал автор «Возвращения в Мексику».— Давайте осудим его поведение за то, что он опубликовал свою поэму.

— Нельзя,— сердито проворчал Маскем.— Нельзя отделять один вопрос от другого. Я вас спрашиваю: достоин он быть членом нашего клуба или нет? И прошу председателя поставить этот вопрос на голосование.

Но Помещик молча продолжал курить трубку. Опыт ведения собраний подсказывал ему, что голосовать еще рано. Сейчас пойдут беспорядочные споры. Они, конечно, ни к чему не приведут, но создадут у всех ощущение, что вопрос был рассмотрен по всей справедливости.

Джек Маскем молчал; его длинное лицо было непроницаемо, а длинные ноги вытянуты чуть ли не на середину комнаты. Дискуссия продолжалась.

— Ну и как же быть?— спросил наконец член правления, посетивший Мексику.

Помещик выбил пепел из трубки.

— Мне кажется, что мы должны попросить мистера Дезерта объяснить нам мотивы опубликования этой поэмы.

— Правильно!— заявил адвокат.

— Верно!— дружно воскликнули все те же двое.

— Согласен,— сказал знаток Цейлона.

— Кто-нибудь против?— спросил Помещик.

— Не понимаю, какой в этом смысл,— пробормотал Джек Маскем.— Он — ренегат, и сам в этом признался.

Так как никто больше не возражал, председатель снова взял слово.

— Секретарь попросит его встретиться с нами и объяснить свои мотивы. Повестка дня исчерпана, джентльмены.

Несмотря на то, что, по общему разумению, вопрос был еще *sub judice*¹, сэру Лоренсу в тот же день рассказали о разбирательстве три члена правления, и в том числе Джек Маскем. С этой новостью сэр Лоренс и отправился ужинать на Саус-стрит.

С тех пор как в печати появились поэма и письмо Компсона Грайса, Майкл и Флер ни о чем другом не разговаривали, тем более что все их знакомые не давали им проходу бесконечными расспросами. Но точки зрения у них были диаметрально противоположные. Майкл прежде был противником публикации поэмы; но теперь, когда она появилась, упорно защищал Уилфрида, хваля его за честность и мужество. Флер не могла ему простить, как она выражалась, «всего этого идиотизма». Если бы он держал язык за зубами и не тешил своего самолюбия, все было бы скоро забыто, не оставив и следа. Как это нехорошо по отношению к Динни и как не нужно самому Уилфриду; но он ведь всегда был таким!— говорила Флер. Она не могла забыть, как восемь лет назад он упрямо требовал, чтобы она стала его любовницей, и как сбежал от нее, когда она на это не пошла. Сэр Лоренс рассказал им о собрании в клубе, и Флер сухо заметила:

— А чего же еще он мог ожидать?

— Почему на него так зол Маскем?— проворчал Майкл.

— Некоторые псы сразу кидаются друг на друга. Другие доходят до этого, поразмыслив. Тут, по-видимому, сочетается и то и другое. И кость, которую они не могут поделить,— это Динни.

Флер расхохоталась.

— Джек Маскем и Динни!

— Подсознательно, дорогая. Нам трудно постичь психологию женоненавистника, это умел делать только Фрейд. Он тебе все объяснит, даже отчего человек икает.

— Сомневаюсь, чтобы Уилфрид пришел на вызов правления клуба,— мрачно заметил Майкл.

— Конечно, он не пойдет,— согласилась Флер.

— И что же тогда будет?

— Его почти наверняка исключат, в соответствии с какими-то там правилами.

Майкл пожал плечами.

¹ на расследовании (лат.).

— А ему-то что? Одним клубом больше, одним клубом меньше.

— Конечно,— сказала Флер.— Его положение пока еще не определилось,— люди сплетничают, вот и все. А вот если его исключат из клуба,— значит, ему вынесен обвинительный приговор. И тут уж общественное мнение будет против него.

— И за него тоже.

— О да, но мы знаем, кто будет за него: все обиженные.

— Ей-богу, не в этом дело,— сердито проворчал Майкл.— Я представляю себе, что он сейчас переживает; ведь его первым порывом было послать араба к черту, и он горько кается, что этого не сделал.

Сэр Лоренс кивнул.

— Динни меня спрашивала, может ли он как-нибудь доказать, что он — не трус. Казалось бы, что может, но это совсем не так просто. Люди вовсе не жаждут подвергаться смертельной опасности только для того, чтобы их избавителя похвалили в газете. Да и ломовые лошади теперь уж не так часто угрожают жизни прохожих на Пикадилли. Он, конечно, может кого-нибудь сбросить в реку с Вестминстерского моста, а потом кинуться на выручку, но ведь это будет просто убийство и самоубийство. Странно, на свете столько героического, а человеку ужасно трудно намеренно совершить геройский поступок!

— Он должен явиться на заседание правления клуба,— сказал Майкл,— и я надеюсь, что он так и поступит. Знаешь, он мне как-то сказал одну вещь, и хотя вы будете смеяться, но я, зная Уилфрида, уверен, что для него это решило вопрос.

Флер уперлась локтями в полированный стол и, положив подбородок на руки, вытянула голову. Она была похожа на девочку, рассматривающую фарфоровую статуэтку, с картины Альфреда Стивенса¹ из коллекции Сомса Форсайта.

— Ну?— спросила она.— Что он сказал?

— Он сказал, что ему было жалко своего палача.

Ни Флер, ни сэр Лоренс не шевельнулись, у них только чуть-чуть вздернулись брови. Тон Майкла сразу стал вызывающим.

— Я понимаю, это звучит глупо, но Уилфрид рассказывал, что араб молил не делать его убийцей: он дал обет обращать неверных.

— Если он предложит такую версию правлению клуба,— задумчиво произнес сэр Лоренс,— ему никто не поверит.

— Нет, этого он не сделает,— заметила Флер,— он до смерти боится показаться смешным.

— Вот именно! Но я рассказал вам, чтобы вы поняли, как все сложно. Совсем не так, как это представляется нашей «соли земли».

— Какая тонкая ирония судьбы!— холодно произнес сэр Лоренс.— Но, увы! Динни от этого ничуть не легче!

— Я, пожалуй, схожу к нему еще раз,— сказал Майкл.

— Проще всего будет, если он сам выйдет из клуба,— заявила практичная Флер.

И на этом спор прекратился.

¹ Стивенс Альфред (1826—1906) — бельгийский художник.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Когда те, кого мы любим, попадают в беду, нам приходится особенно деликатно проявлять свое сочувствие. Динни давалось это нелегко. Она искала малейшего повода, чтобы утешить Уилфрида, но, хотя они по-прежнему виделись каждый день, повода все не было. Если бы не выражение его лица в те минуты, когда он переставал за собой следить, никто бы не заподозрил, какие муки его терзают. После Дерби прошло уже две недели. Динни приходила на Корк-стрит, они ездили на прогулки и брали с собою Фоша, а Уилфрид ни разу даже не обмолвился о том, о чем говорил весь литературный, околослитературный и чиновный Лондон. Сэр Лоренс рассказал ей, что Уилфрида вызвали на заседание правления клуба «Бартон», в ответ на что он вышел из этого клуба. А от Майкла — он еще раз был у Уилфрида — Динни узнала, что ему известно о той роли, которую сыграл в этой истории Джек Маскем. Так как Уилфрид упорно не хотел говорить с ней откровенно, то и она решила не замечать того, что творится вокруг них, чего бы ей это ни стоило. Когда она смотрела на него, сердце ее сжималось, но она старалась держать себя в руках. Ее постоянно мучили сомнения: правильно ли она поступает, не пытаясь побороть его скрытность? Это был долгий и мучительный урок, научивший ее, что даже истинная любовь не может исцелить глубокие душевные раны. С другой стороны, жизнь ее омрачалась молчаливым укором в глазах опечаленных близких, — они ее так раздражали, что ей даже становилось стыдно.

И наконец произошел пренеприятный эпизод, который все же принес облегчение, потому что заставил Уилфрида заговорить.

Они были в музее Тейта и, возвращаясь домой, поднимались по ступенькам на Карлтон-хауз-террас. Динни продолжала разговор о прерафаэлитях и так бы ничего и не заметила, если бы Уилфрид вдруг не изменился в лице. Обернувшись, она увидела Джекса Маскема, — тот с каменным лицом приподнял цилиндр, даже не глядя на них. Снял серую фетровую шляпу и его спутник — невысокий смуглый человек. Когда они прошли мимо, Динни услышала, как Маскем сказал:

— Ну, это уж, скажу я вам, наглость!

Она инстинктивно протянула руку, чтобы удержать Уилфрида, но не успела. Он круто повернулся, и Динни увидела, как в трех шагах от нее Уилфрид легонько ударил Маскема по плечу; тот резко обернулся, а рядом, задрав голову, поглядывал на них, как терьер на двух больших и драчливых псов, маленький спутник Маскема. Динни услышала громкий голос Уилфрида:

— Какой же вы трус и подлец!

Наступило молчание, — казалось, оно никогда не кончится; глаза Динни беспомощно перебегали с перекошенного лица Уилфрида на каменное, грозное лицо Маскема и черные моргающие глазки человека, похожего на терьера. Она услышала, как тот позвал: «Ну пойдемте, Джек!» — и увидела, как по длинной фигуре Маскема пробежала дрожь, руки его сжались, губы прошептали:

— Вы слышали, что он сказал, Юл?

Человечек схватил его под руку и потянул за собой; Маскем повернулся, и оба зашагали прочь. Уилфрид опять очутился рядом с ней.

— Трус и подлец! — бормотал он. — Трус и подлец! Слава богу, я сказал ему это! — Он вскинул голову и с облегчением вздохнул. — Ну вот, теперь мне лучше! Прости меня, Динни!

Динни была так взволнована, что не могла говорить. Стычка была дикая; ее мучил страх, что этим дело не кончится; интуиция подсказывала ей, что виновница тут она, она — тайная причина бешенства Маскема. Динни вспомнила слова сэра Лоренса: «Джек считает, что ты — жертва». Ну, а если и так? Какое до нее дело этому длинному, медлительному человеку, ведь он ненавидит женщин! Вот нелепость! Она услышала, как Уилфрид бормочет:

— «Наглость»! Должен же он понимать, что чувствует человек!

— Ну, милый, если бы все понимали, что чувствуют другие, мы были бы ангелами, а Джек Маскем всего-навсего — член жокей-клуба.

— Он сделал все, чтобы меня выгнали, и еще позволяет себе меня оскорблять!

— Сердиться надо бы мне, а не тебе. Ведь это я заставляю тебя ходить со мной повсюду. Но, понимаешь, мне это так приятно! Пойми, дорогой, меня от этого не убудет! И какая тебе радость от моей любви, если ты таишься от меня?

— Зачем мне тебя зря огорчать? Все равно дело гиблое.

— Но я только и живу затем, чтобы ты меня огорчал. Огорчай меня, пожалуйста!

— Ах, Динни, ты просто ангел!

— Я же говорила тебе, что это — неправда. Ей-богу, и в моих жилах течет настоящая кровь.

— Все это как боль в ухе; трясешь, трясешь головой, и все равно не помогает. Я думал, что напечатаю «Леопарда» и мне станет легче, а, видишь, не помогло. Разве я трус, Динни, ну скажи, я — трус?

— Если бы ты был трус, я бы тебя не любила.

— Ну, не знаю... Женщины могут полюбить кого угодно.

— Говорят, нас, женщин, больше всего привлекает мужество. Ну, а теперь я спрошу тебя напрямик: ты мучаешься потому, что сомневаешься в своем мужестве? Или тебе больно, что в нем усомнились другие?

Он горько усмехнулся.

— Не знаю. Знаю только, что больно.

Динни подняла на него глаза.

— Дорогой ты мой, не надо! Сил моих нет на тебя смотреть!

Они постояли, глядя друг другу в глаза, а какой-то старик, слишком бедный, чтобы вникать в свои душевные переживания, попросил:

— Купите спичек, сэры?..

И хотя в этот день Динни чувствовала, что близка Уилфриду, как никогда, она вернулась на Маунт-стрит очень напуганная. Перед глазами стояло лицо Маскема, в ушах звучал его вопрос: «Вы слышали, что он сказал, Юл?»

Какая глупость! В наши дни такое столкновение может, на худой конец, окончиться в суде, а Джек Маскем — последний человек, который прибегнет к помощи закона. В прихожей она заметила чью-то шляпу и, проходя мимо дядиного кабинета, услышала голоса. Едва она успела раздеться, как дядя прислал за ней. Он разговаривал с маленьким человечком, смахивающим на терьера; тот уселся верхом на стул, словно жокей.

— Динни, это — мистер Телфорд Юл. Моя племянница Динни Черрел.

Человечек склонился над ее рукой.

— Юл рассказал мне о сегодняшней стычке. Его она беспокоит.

— И меня тоже, — сказала Динни.

— Поверьте, мисс Черрел, Джек не хотел, чтобы его слова были услышаны.

— Не думаю. По-моему, хотел.

Юл пожал плечами. Лицо у него было огорченное. Динни нравился этот забавный уродец.

— Во всяком случае, он не хотел, чтобы это слышали вы.

— Напрасно, это я во всем виновата. Мистер Дезерт предпочел бы, чтобы нас не видели вместе. Это я заставляю его всюду бывать со мной.

— Я пришел к вашему дяде потому, что давно знаю Джека. Он молчит, — значит, дело нешуточное.

Динни ничего не сказала. На щеках ее горели красные пятна. Глядя на нее, мужчины, по-видимому, думали, что девушкам с глазами как васильки, тоненькой фигуркой и каштановыми волосами лучше не попадать в такие переделки. Она тихо спросила:

— Что же мне делать, дядя Лоренс?

— Я и сам не пойму, дорогая, что тут можно сделать. Мистер Юл говорит, что Джек собирался домой, в Ройстон. Может быть, свезти тебя к нему завтра? Он — странный человек, не будь он так старомоден, я бы не беспокоился. Обычно такие вещи проходят сами собой.

Динни с трудом сдержала дрожь.

— Что ты подразумеваешь под «старомодным»?

Сэр Лоренс поглядел на Юла.

— Нет, право же, все это чушь! Насколько я знаю, англичане не дерутся на дуэли уже лет семьдесят или восемьдесят; правда, Джек — живой анахронизм. Трудно сказать, чего нам надо бояться. Дурачество не в его натуре, сутяжничество — тоже. И тем не менее мне не верится, что он на этом поставит крест.

— Неужели он так и не поймет, что виноват больше, чем Уилфрид? — с жаром воскликнула Динни.

— Нет, — заверил ее Юл, — не поймет. Поверьте, мисс Черрел, я очень огорчен всей этой историей.

Динни наклонила голову.

— С вашей стороны очень мило, что вы пришли. Спасибо!

— Как ты думаешь, ты могла бы уговорить Дезерта послать Маскему свои извинения?.. — неуверенно спросил сэр Лоренс.

«Ах, вот зачем я была им нужна», — подумала Динни.

— Нет, дядя, не могу и не стану даже его об этом просить. Я уверена, что он этого не сделает.

— Понятно,— мрачно кивнул сэр Лоренс.

Поклонившись Юлу, Динни пошла к двери. Поднимаясь к себе, она ясно видела, как онижимают плечами и мрачно поглядывают друг на друга. Извинения! Представив себе затравленный взгляд Уилфрида, его страдальческое лицо, она возмутилась при одной мысли об этом. Всякий намек на малодушие так задевает его за живое, что он и не подумает просить извинения! Она тоскливо побродила по комнате, потом вынула его фотографию. Лицо, которое она любила, глядело на нее с недоверчивым равнодушием, как и на всяком изображении. Своенравная, непоследовательная, гордая, эгоцентричная, глубоко противоречивая натура, но совсем не жестокая и уж никак не трусливая!

«Милый ты мой...» — подумала она и спрятала фотографию.

Динни подошла к окну и облокотилась на подоконник. Какой прекрасный вечер! Сегодня пятница скаковой недели в Аскоте, первой из двух недель, когда в Англии почти всегда стоит ясная погода. В среду дождь лил как из ведра, но сегодня впервые чувствовалось, что лето в разгаре. Внизу остановилось такси — дядя и тетя ехали куда-то ужинать. Вот они вышли, Блор усадил их в машину и постоял, глядя им вслед. Теперь слуги включают радио. Ну да, вот оно! Динни приоткрыла дверь. «Риголетто». Щebetание давно приевшихся мелодий доносилось до ее ушей со всем блеском той эпохи, которая, кажется, лучше знала, как выражать чувства непокорных сердец.

Ударил гонг. Ей не хотелось идти ужинать, но она боялась огорчить Блора и Августину. Наскоро умывшись, она не стала переодеваться и спустилась в столовую.

Но беспокойство ее все росло, словно необходимость сидеть на месте только обостряла ее тревогу. Дуэль! В наши дни это невероятно! Но, с другой стороны, дядя Лоренс такой проникательный человек, а Уилфрид готов на все, лишь бы доказать, что он ничего не боится. Во Франции дуэли, кажется, запрещены! Слава богу, у нее есть деньги! Нет, не может быть! Это чепуха. Люди безнаказанно оскорбляют друг друга вот уже почти сто лет. Зря она перепугалась; надо завтра поехать с дядей Лоренсом и поговорить с этим субъектом. А ведь как ни странно, все произошло из-за нее. Что бы сделали ее родные, если бы кого-нибудь из них назвали трусом и подлецом, — ее отец, брат, дядя Адриан? Что бы они могли сделать? Отхлестать, избить, подать в суд, — как все это бездарно, грубо, безобразно! И впервые она почувствовала, что Уилфрид поступил нехорошо, выругав Маскема. Но разве он не имел права дать сдачи? Конечно, имел. Она снова увидела, как он вскинул голову и произнес: «Ну вот, теперь мне легче!»

Проглотив кофе, она перешла в гостиную. На диване валялось тетино рукоделие, и Динни рассеянно стала его разглядывать. Замысловатый старинный французский рисунок, сколько для него нужно разных оттенков шерсти: серые зайцы поглядывают через плечо на длинных причудливых желтых псов, усами и лапами еще более желтые задние лапы, у них красные глаза, языки высовываются рядом цветы и листья, птицы, и все это на коричневом фоне. Десятки тысяч стежков, а когда вышивка

будет готова, ее положат под стекло на маленький столик; и она будет лежать там, когда все мы уже умрем и некому будет вспомнить, чьи руки делали эти стежки. «*Tout lasse, tout passe!*»¹ Музыка «Риголетто» все еще доносилась из подвала. Наверно, Августина переживает какую-то драму, если она способна выслушать целую оперу. «*La Donna é mobile!*...»² Динни снова принялась за книжку — «Мемуары Гарриетты Вильсон»; там никто не отличался особенной добродетелью, кроме самой писательницы, да и та больше в собственном воображении: ветреная, живая, привлекательная и тщеславная кокетка с добрым сердцем и одной настоящей любовью в целой веренице любовных связей.

„*La Donna é mobile!*“ Дразнящий напев летел вверх по лестнице, изящный, насмешливый, словно тенор уже достиг своей цели. *Mobile!* Нет! Это куда больше относится к мужчине. Женщины не меняются. Любишь, теряешь, — бывает и так. Она просидела с закрытыми глазами, пока не замерли звуки музыки, а потом легла в постель. Ночью ее донимали дурные сны, а утром разбудил чей-то голос:

— Вас просят к телефону, мисс Динни!

— Меня? Почему? Который час?

— Половина восьмого.

В испуге она села.

— Кто меня просит?

— Он не назвал себя, мисс. Но хочет поговорить лично с вами.

В голове мелькнуло: «Уилфрид!»; она вскочила, набросила халат, сунула ноги в туфли и побежала вниз.

— Слушаю. Кто говорит?

— Это Стак. Простите, мисс, что рано вас потревожил, но мне казалось, что так будет лучше. Вчера мистер Дезерт пошел спать, как обычно, но утром я услышал, что в комнате у него воет собака; вошел и вижу, что он вовсе и не ложился. Он, должно быть, ушел очень рано, потому что я не сплю уже с половины седьмого. Я бы не стал беспокоить вас, мисс, но только вид его вчера очень мне не понравился... Вы меня слышите, мисс?

— Да. А он взял какие-нибудь вещи?

— Нет, мисс.

— Вечером к нему никто не приходил?

— Нет, мисс. Но около половины десятого нарочный принес письмо. Мистер Дезерт мне показался очень сердитым, когда я подавал ему виски. Может, тут ничего и нет, но все получилось так неожиданно, что я... Вы слышите меня, мисс?

— Да. Я сейчас оденусь и приеду. Стак, вы можете к этому времени заказать мне такси или даже лучше нанять машину?

— Я найму машину, мисс.

— Он не мог уехать за границу?

— Раньше девяти часов поездов туда нет.

— Я постараюсь приехать как можно быстрее.

¹ «Все приедается, все проходит!» (франц.)

² «Сердце красавицы склонно к измене!..» (итал.)

— Хорошо, мисс. Вы не беспокойтесь, мисс; может, ему просто захотелось пройтись.

Динни положила трубку и понеслась наверх.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Такси — Уилфрид попросил шофера взять побольше горючего — медленно тархтело вверх по Хаверсток-хилл, направляясь к Спаньярдс-роуд. Он поглядел на часы. До Ройстона сорок миль, — даже в этой колымаге он попадет туда к девяти. Он вынул письмо и снова его перечитал.

«Вокзал на Ливерпуль-стрит. Пятница.

Сэр,

Вы должны признать, что сегодняшний инцидент так кончиться не может. И поскольку закон не в силах дать мне должное удовлетворение, я предупреждаю, что публично отхлещу вас, где и когда бы я вас ни встретил, если вы не будете ограждены присутствием дамы.

Искренне ваш! Д. М а с к е м.

«Вереск», Ройстон».

«Где и когда бы я вас ни встретил, если вы не будете ограждены присутствием дамы!» Ну, положим, встреча состоится раньше, чем предполагается эта свинья! Жаль, что он намного старше!

Такси поднялось на холм и двинулось по пустынной Спаньярдс-роуд. Раннее росистое утро было достойно внимания поэта, но Уилфрид ничего не видел; он полулежал на заднем сиденье, поглощенный своими мыслями. Слава богу, хоть тут можно дать сдачи! Уж этот-то, во всяком случае, больше над ним издеваться не будет. Никаких планов у Уилфрида не было, он знал, что ему надо встретиться с этим типом на людях, и как можно скорее, чтобы смыть эту фразу: «если вы не будете ограждены присутствием дамы!» Что же, он прячется за женскую юбку? Жаль, что это не настоящая дуэль! Уилфрид перебирал в уме дуэли, описанные в романах: Жорж Дюруа, Базаров, Доктор Сламмер, сэр Люциус О'Триггер, Д'Артаньян, сэр Тоби, Уинкл — вымышленные персонажи, из-за которых дуэли так полюбились читателям. Дуэли и налеты на банки — два алмаза в короне мелодрамы, но, увы, ваше время прошло! Хорошо, что он побрился, — правда, холодной водой! — и оделся с иголочки, словно спешил на свидание, а не на самую вульгарную драку. Изысканный Джек Маскем и грубая потасовка! Забавно! Такси скрипело и гроыхало, объезжая редкие грузовики с молоком и овощами, а Уилфрид дремал после бессонной ночи. Он миновал Барнет, потом Хетфилд, окрестности Уэлвин-гарден-сити, Небуорт, длинные деревни Стивенэйдж, Грейвли и Болдок. В легком тумане дома и деревья выглядели призрачными. Казалось, мир населяют одни почтальоны, служанки на ступеньках домов, мальчишки, прогуливающие деревенских коней, и редкие велосипедисты. Уилфрид лежал, откинувшись на спинку, упи-

раясь ногами в переднее сиденье и полуприкрыв глаза, скривив губы в язвительной усмешке. Ему не придется ни устраивать сцен, ни первому вступать в драку. Его дело лишь появиться, как сказано в письме, чтобы его не пришлось разыскивать.

Такси замедлило ход.

— Подъезжаем к Ройстону, сэр, куда прикажете вас доставить?

— Остановитесь у гостиницы.

Машина пошла дальше. Утреннее солнце светило ярче. Все теперь стало рельефным, все, вплоть до круглых, высоко раскинувшихся куп берез. На поросшем травой склоне справа он увидел вереницу покрытых попонами скаковых лошадей, возвращавшихся с утренней поездки. Такси въехало на длинную деревенскую улицу и в конце ее остановилось возле гостиницы. Уилфрид вышел.

— Поставьте машину в гараж. Вам надо будет отвезти меня назад.

— Понятно.

Уилфрид вошел и попросил подать ему завтрак. Ровно девять часов! Он спросил официанта, в какой стороне «Вереск».

— Это длинный, узкий дом справа, сэр, но если вам нужен мистер Маскем, выйдите на улицу напротив наших ворот. Он проедет на своем пони ровно в пять минут одиннадцатого; по нему можно часы проверять. Когда нет скачек, каждый день ездит мимо нас на свой конный завод.

— Спасибо, это упрощает дело.

Без пяти десять он закурил сигарету и вышел к воротам гостиницы. Он стоял неподвижно, в пальто, как всегда, туго перетянутый поясом, язвительно улыбался и мысленно представлял себе драку между Томом Сойером и хорошо одетым мальчиком: сначала они покружили друг возле друга, соблюдая ритуал взаимных оскорблений, а потом кинулись в атаку. Сегодня ритуал соблюдаться не будет!

«Если мне удастся сразу сбить его с ног,— думал он,— я так и сделаю!»

Руки его, засунутые в карманы пальто, сжимались в кулаки; но внешне он был недвижим, как столб подворотни, к которому прислонился; лицо обволакивал тонкий дымок сигареты. Уилфрид заметил, что его шофер болтает возле гостиницы с другим шофером; еще какой-то человек протирал окна в доме напротив, а рядом стояла тележка мясника. Это хорошо. Маскем не сможет сказать, что встреча их не была «публичной». А если они оба и не тренировались со школьных лет, тем лучше. Значит, это будет обыкновенная драка, и можно как следует намять бока друг другу! Солнце осветило верхушки деревьев и ударило ему в лицо. Он подвинулся, чтобы погреться в его лучах. Солнце,— все прекрасное в жизни дает нам солнце! И вдруг он подумал о Динни. Солнце для нее совсем не то, что для него. Может, все это сон,— существует ли она на самом деле? Или наоборот, может, и она, и Англия, и вся эта передряга только грубое пробуждение ото сна? Бог его знает! Он встрепетнулся и взглянул на часы. Три минуты одиннадцатого, и вот, как сказал официант, по улице приближается всадник — спокойный, солидный, уверенно сидящий на небольшой породистой лошадке. Он подъезжает все ближе и ближе, по-прежнему ничего не подозревая! Потом взгляд

всадника упал на Уилфрида, и голова его дернулась. Он придержал рукой шляпу, осадил пони, круто повернул его и поскакал назад.

«Гм...— подумал Уилфрид.— Поехал за хлыстом!» И от окурка сигареты прикурил новую. Голос за его спиной произнес:

— Ну, что я вам говорил, сэр? Вот и мистер Маскем.

— Он, по-видимому, что-то забыл.

— Ну, он человек аккуратный,— сказал официант.— На заводе у него, говорят, все ходят по струнке. Вон он едет назад, быстро обернулся, правда?

Маскем ехал рысью. Не доехав шагов тридцати, он натянул поводья и спешился. Уилфрид слышал, как он сказал лошади:

— Бетти! Стой!

Сердце Уилфрида застучало, руки в карманах судорожно сжались, но он все еще стоял, прислонившись к воротам. Официант отошел, но краешком глаза Уилфрид видел, что тот остановился у дверей гостиницы, словно хотел поглазеть на встречу людей, которых он свел. Шофер все еще был занят беседой: у водителей машин всегда есть о чем поговорить; и приказчик все еще протирал витрину, мальчик мясника подошел к своей тележке. Маскем медленно приближался с хлыстом в руках.

«Ну вот!»— подумал Уилфрид.

Маскем остановился в трех шагах от него.

— Вы готовы?— спросил он.

Уилфрид вынул из кармана руки, выронил зажатую в зубах сигарету и кивнул. Подняв хлыст, Маскем сделал прыжок. Удар, и Уилфрид схватился с противником. Он схватился с ним так крепко, что Маскем выронил хлыст. Сцепившись, оба качнулись назад, к воротам, потом разом, словно по уговору, разошлись и замахнулись кулаками. И тут же выяснилось, что оба разучились драться. Они накидывались друг на друга неумело, но с яростью; у одного было преимущество в росте и весе, зато другой был моложе и подвижнее. Они с азартом, беспорядочно осыпали друг друга ударами, но Уилфрид все же заметил, что вокруг начала собираться толпа,— ну да, чем это не уличное зрелище? Схватка была такой стремительной, яростной и молчаливой, что и в толпе слышался только глухой гул. У обоих противников скоро потекла кровь из разбитых губ, оба задыхались и с трудом стояли на ногах. Уже совсем задохнувшись, они снова сцепились и, качаясь, пытались схватить друг друга за горло. Кто-то крикнул:

— А ну-ка, дайте ему, мистер Маскем!

И, словно это его подбодрило, Уилфрид вырвался и прыгнул; Маскем ударил его кулаком в грудь, но Уилфрид успел схватить врага двумя руками за горло. Оба потеряли равновесие и, не удержавшись, рухнули на землю. И опять, словно сговорившись, выпустили друг друга и кое-как поднялись на ноги. Секунду они постояли, тяжело дыша, глядя друг на друга с ненавистью и выжидая удобного момента, чтобы возобновить драку. Потом оба оглянулись, и Уилфрид вдруг увидел, что окровавленное лицо Маскема застыло, руки его опустились, он сунул их в карманы, круто повернулся и быстро пошел прочь. И тут Уилфрид понял причину. В открытой машине, на другой стороне улицы, стояла Динни; одной ру-

кой она прикрывала дрожащие губы, другой — заслоняла глаза от солнца.

Уилфрид тоже резко повернулся и вошел в гостиницу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Пока Динни одевалась и бежала по еще безлюдным улицам, она лихорадочно обдумывала, что ей делать. Письмо, присланное вечером с нарочным, несомненно означало, что причиной раннего ухода Уилфрида был Маскем. А так как Уилфрид бесследно исчез, то вернее начинать поиски с другого конца. Зачем ждать, пока дядя повидается с Маскемом? Она может встретиться с ним сама, наедине, и это, пожалуй, будет даже лучше. Когда она добежала до Корк-стрит, было уже восемь часов.

— Стак, у мистера Дезерта есть револьвер? — было первое, что она спросила.

— Да, мисс.

— Он его взял с собой?

— Нет.

— Я спрашиваю потому, что вчера у него произошла ссора.

Стак провел рукой по небритому подбородку.

— Не знаю, куда вы едете, мисс, но, может, и мне поехать с вами?

— Нет, лучше проверьте, не сядет ли он на утренний поезд до Дувра!

— Хорошо, мисс. Я возьму собаку и схожу на вокзал.

— Машина внизу ждет меня?

— Да, мисс. Может, опустить верх?

— Пожалуйста, будет побольше воздуха.

Слуга кивнул, Динни показалось, что его глаза и нос стали еще больше и выразительнее, чем всегда.

— Если я нападу на след мистера Дезерта, куда мне дать вам знать, мисс?

— Я зайду на почту в Ройстоне справиться, нет ли мне телеграммы. Мне нужно повидать там некоего мистера Маскема. Это с ним произошла ссора.

— А вы успели перекусить, мисс? Разрешите, я подам вам чаю?

— Я уже выпила чаю, спасибо... — Эта маленькая ложь сберегала ей время.

Поездка по незнакомой дороге показалась Динни нескончаемой, в мозгу беспрерывно звучали слова дяди:

«Не будь Джек так старомоден, я бы не беспокоился... Правда, он — живой анахронизм». А вдруг сейчас в каком-нибудь укромном уголке Ричмонд-парка, Кен-Вуда или еще где-нибудь они затеяли старомодную игру в «поборников чести»? Динни представила себе эту картину: вон стоит Джек Маскем, высокий, с размеренными движениями, и против него Уилфрид в пальто, туго перетянутый поясом; он вызывающе вскинул голову, а кругом деревья и воркуют лесные голуби; противники медленно поднимают правую руку... Да, но кто подаст знак стрелять? А пистолеты? В наши дни не разгуливают с дуэльными пистолетами.

Если бы речь шла о дуэли, Уилфрид взял бы с собой револьвер. А что она скажет, если застанет Маскема дома? «Не обижайтесь, пожалуйста, что вас называли подлецом и трусом! Вам хотели сказать приятное!..» Уилфрид не должен знать, что она вмешалась в это дело, а не то его гордость будет еще больше уязвлена. Уязвленная гордость! Самая древняя и непреодолимая причина всяческих бед; и в то же время что может быть естественнее и понятнее? А у него еще и сознание, что он изменил себе. Но ею владеет чувство, которое не поддается ни рассудку, ни законам, она любит Уилфрида ничуть не меньше оттого, что он изменил себе, хотя это и не мешает ей видеть его слабость. Когда отец спросил: «Неужели всякий англичанин отречется от своей веры, если ему пригрозят пистолетом?»— слова запали ей в душу, и она поняла, что любовь в ней борется с врожденным представлением о том, каким должен быть настоящий англичанин.

Шофер остановился, чтобы проверить заднюю шину. От живой изгороди на нее так пахло цветущей бузиной, что она даже закрыла глаза. Ах, эти душистые белые цветы! Шофер сел, и машина рванулась вперед. Неужели жизнь всегда будет вот так отрывать ее от всего, что ей дорого? Неужели ей так и не суждено узнать, что такое покой и счастье?

«Дурацкая меланхолия!— выругала она себя.— А мне надо настроиться на другой лад — на стиль жокей-клуба».

Они въехали в Ройстон, и Динни сказала:

— Остановитесь, пожалуйста, возле почты.

— Слушаюсь.

Телеграммы для нее не было, и она спросила, где дом Маскема. Почтмейстер взглянул на часы.

— Да тут напротив, мисс, но если вам нужен сам мистер Маскем,— он только что отправился верхом на свой конный завод,— проедете город и сразу свернете направо.

Динни вернулась в машину, и они медленно двинулись дальше.

Потом она никак не могла вспомнить, кто первый сообразил остановить машину — шофер или она. Он вдруг обернулся к ней и сказал:

— Тут, видно, чего-то не поделили, мисс.

Но она уже стояла в машине и старалась разглядеть, что творится в толпе, собравшейся посреди дороги. И совершенно отчетливо увидела грязные, окровавленные лица, беспорядочные удары, шатающиеся тела. Она распахнула было дверцу, но в голове пронеслось: «Он мне никогда этого не простит!» И, захлопнув дверцу, она так и осталась стоять, закрыв от солнца глаза, прикрыв другой рукой дрожащие губы. Шофер тоже поднялся.

— Вот это драка!— услышала она его восхищенный возглас.

Как странно, как дико выглядит Уилфрид! Но голыми руками они друг друга не убьют. Несмотря на испуг, ей вдруг стало весело. Молодец, сам приехал, чтобы подраться! И все же тело ее, казалось, чувствовало каждый удар, который он получал, словно это она сцепилась с противником.

— И вокруг ни одного полицейского, будь они трижды прокляты!— с восторгом воскликнул шофер.— А ну-ка, дай ему! Ставлю на молодого!

Динни видела, как они отскочили друг от друга, как Уилфрид ринулся вперед с протянутыми руками, услышала, как Маскем ударил его кулаком в грудь, увидела, как они схватились снова, покачнулись и упали, а потом поднялись на ноги, задыхаясь, с ненавистью глядя друг на друга. Потом ее заметил Маскем, а потом и Уилфрид, они разошлись, и все было кончено. Шофер воскликнул:

— Вот жалость!

Динни упала на сиденье и едва слышно попросила:

— Поехали дальше!

Только бы уехать! Подальше отсюда! Достаточно и того, что они ее видели, более чем достаточно!

— Проедем немножко вперед, а потом повернем обратно в Лондон.

Теперь они больше не станут драться!

— Силы в руках у обоих немного, зато дерутся с душой! — сказал шофер.

Динни молча кивнула. Рука ее все еще была прижата к губам, но дрожь не унималась. Шофер пристально на нее поглядел.

— Вы что-то побледнели, мисс. Слишком уж они раскровенились. Давайте где-нибудь остановимся, выпейте глоточек коньяку.

— Только не здесь, — сказала Динни. — В следующей деревне.

— Это будет Болдок. Слушаюсь! — И он дал газ.

Когда она снова проезжала мимо гостиницы, толпа уже разошлась. Две собаки, человек, протиравший окна, полицейский — и никаких других признаков жизни.

В Болдоке Динни позавтракала. Казалось бы, она должна испытывать облегчение оттого, что взрыв наконец произошел, но вместо этого ее томили самые мрачные предчувствия. Он, наверно, будет очень недоволен, решит, что она приехала его защищать! Мало того, что ее появление помешало им закончить драку; она их видела избитыми, в крови, потерявшими человеческий облик. Динни решила никому не говорить о том, что видела, — даже Стаку и дяде.

Но в высокоцивилизованной стране всякие предосторожности тщетны. Живое, хоть и не совсем точное описание «схватки в Ройстоне между известным коннозаводчиком мистером Джеком Маскемом, двоюродным братом баронета Чарлза Маскема, и достойным Уилфридом Дезертом, младшим сыном лорда Маллиона и автором «Леопарда», вызвавшего недавно такую сенсацию», появилось в тот же день в вечернем выпуске «Ивнинг сан». Заголовок гласил: «Кулачный бой в высшем свете». Заметка была написана темпераментно, с воображением и заканчивалась такими строками: «Причина ссоры, как полагают, кроется в настойчивом желании мистера Маскема изгнать мистера Дезерта из некоего клуба — таковы слухи. По-видимому, мистер Маскем высказался против дальнейшего пребывания мистера Дезерта в числе членов этого клуба после того, как тот публично признался в автобиографическом характере поэмы «Леопард». Потасовка между этими джентльменами носила весьма боевой характер, хоть и не могла повысить уважения простого человека к нашей аристократии».

Эту заметку дядя молча положил перед Динни во время ужина. Прочтя, она оцепенела, но голос дяди заставил ее очнуться.

— Ты там была?

«Нет, он и в самом деле колдун!» — подумала Динни и не решилась откровенно солгать, хотя теперь уже привыкла уклоняться от истины; она только кивнула.

— В чем дело?— спросила леди Монт.

Динни сунула ей газету; та прочла заметку, щуря дальнотзорные глаза.

— Кто победил, Динни?

— Никто. Они просто разошлись.

— А где этот Ройстон?

— В Кэмбриджшире.

— Почему?

Этого ни Динни, ни сэра Лоренс не знали.

— Он посадил тебя сзади на седло, как на турнире?

— Нет, дорогая. Я оказалась там случайно, и в такси.

— От религии ужасно разгораются страсти!— пробормотала леди Монт.

— Да!— с горечью согласилась Динни.

— Их утихомирило твое появление?— спросил сэр Лоренс.

— Да.

— Вот это жаль! Лучше бы их унял полицейский или один из них вышиб из другого дух...

— Я вовсе не хотела, чтобы они меня заметили.

— А ты его после этого видела?

Динни покачала головой.

— Мужчины ужасно тщеславны!— заметила тетка.

На этом разговор кончился.

После ужина позвонил Стэк и сообщил, что Уилфрид вернулся; но чутье подсказало Динни, что ей лучше туда не ходить.

Проведя бессонную ночь, она вернулась утром в Кондафорд. День был воскресный, и вся семья ушла в церковь. Динни почувствовала себя какой-то чужой. Дома все было по-прежнему: так же пахли цветы, так же выглядели комнаты, кругом те же люди были поглощены теми же делами, и, однако, все здесь казалось ей другим. Даже скотчтерьер и спаниели обнюхивали ее с недоверием, словно проверяли, своя она или чужая.

«А ведь и в самом деле, своя или чужая?— подумала Динни.— Когда душа томится, ничто тебе не мило».

Первой появилась Джин,— леди Черрел задержалась, чтобы принять причастие, генерал — подсчитать пожертвования, а Хьюберт — осмотреть деревенское поле для крикета. Джин нашла свою невестку на скамейке у старых солнечных часов, перед клумбой с дельфиниумами. Поцеловав Динни, она постояла, внимательно ее разглядывая.

— Возьми себя в руки,— сказала она,— не то свалишься с ног, имей это в виду!

— Я просто еще не обедала.

— Я тоже ужасно хочу есть. Раньше я думала, что папины проповеди — это пытка, даже после того, как я их сокращала. Но здешний священник!..

— Да, неплохо было бы его унять.

Джин опять помолчала, глаза ее пристально вглядывались в лицо Динни.

— Имей в виду, я целиком на твоей стороне. Немедленно выходи за него замуж, и уезжайте.

Динни улыбнулась.

— Для брака нужно согласие обеих сторон.

— А это правда — то, что написано в утренней газете насчет драки в Ройстоне?

— Думаю, что не совсем.

— Но драка была?

— Да.

— Кто ее затеял?

— Я. Я — та злодейка, которая во всем виновата.

— Динни, ты очень переменялась.

— Что, уже не такая добренькая?

— Как хочешь, — заявила Джин. — Хочешь изображать тоскующую деву, — пожалуйста!

Динни поймала ее за юбку. Джин стала возле нее на колени и обхватила ее руками.

— Ты была настоящим другом, когда мне было плохо.

Динни рассмеялась.

— А что говорят отец и Хьюберт?

— Отец молчит, но вид у него мрачный. Хьюберт твердит: «Что-то надо сделать!», а потом заявляет: «Нет, это уж слишком!»

— В общем, неважно, — вдруг сказала Динни. — Теперь мне уже все равно.

— Ты не знаешь, что он теперь будет делать? Ерунда, он должен делать то, чего ты хочешь!

Динни снова засмеялась.

— Ты боишься, что он убежит и бросит тебя? — сказала вдруг Джин с неожиданной пронизательностью. Она уселась прямо на землю, чтобы удобнее было заглядывать Динни в глаза. — Ну да, с него станется. Ты знаешь, что я у него была?

— Ты?

— Да, но у меня ничего не вышло. Не могла выдавить из себя ни слова. У него огромное обаяние, Динни.

— Тебя послал Хьюберт?

— Нет. Это я сама. Я хотела ему сказать, что о нем подумают, если он на тебе женится, но не смогла. Странно, а я думала, он тебе рассказал. Он, верно, решил, что ты расстроишься.

— Не знаю, — сказала Динни. И она действительно не знала. В эту минуту ей казалось, что она вообще ничего не знает.

Джин молча ощипывала пушистый одуванчик.

— На твоём месте, — сказала она наконец, — я бы его соблазнила. Если ты ему отдашься, он не сможет тебя бросить.

Динни поднялась со скамейки.

— Давай пройдемся по саду и посмотрим, что уже расцвело.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Дома Динни не заговаривала о том, что всех так волновало, поэтому молчали и остальные, за что она была им искренне благодарна. Целых три дня она всячески старалась скрыть, как она несчастна. Писем от Уилфрида не было, не звонил и Стак; но ведь если бы что-нибудь случилось, уж он-то непременно дал бы ей знать! На четвертый день, чувствуя, что она больше не вынесет этой неизвестности, Динни позвонила Флер и спросила, можно ли ей к ним приехать.

Лица отца и матери сразу вытянулись, когда она объявила о своем отъезде. Молчаливое горе близких выносить труднее, чем прямой попрек.

В поезде ее обуял страх. А вдруг ее решение — ждать, чтобы Уилфрид сделал первый шаг, — было ошибкой? Может, ей лучше тут же пойти к нему? И, приехав в Лондон, она велела шоферу такси отвезти ее на Корк-стрит.

Но Уилфрида не было дома, и Стак не знал, когда он вернется. Тон слуги как-то странно переменялся: казалось, он умыл руки и не желает ни во что вмешиваться. Мистер Дезерт здоров? Да. А как собака? Да, и собака здорова. Динни уехала оттуда в полном отчаянии. Но и в доме на Саус-сквер тоже никого не было, словно все сговорилось оставить ее одну. Она совсем забыла, что летний сезон в разгаре — в Уимблдоне идут теннисные состязания, открылась конская выставка. Все эти увеселения были ей теперь так чужды, что она никак не могла себе представить, кого они могут увлечь.

Поднявшись к себе, она села писать письмо Уилфриду. Молчать больше не было смысла. Стак все равно передаст ему, что она заезжала.

Динни написала:

«Саус-сквер, Вестминстер.

С самой субботы меня мучит сомнение: написать тебе или подождать твоего письма. Дорогой, поверь, я не хотела ни во что вмешиваться. Я приехала для того, чтобы повидать мистера Маскема и объяснить ему, что я одна виновата в том, что он так глупо назвал «наглостью». И я никак не ожидала встретить там тебя. И, собственно, не очень надеялась застать даже и его. Пожалуйста, позволь мне тебя увидеть.

Твоя несчастная

Д и н н и».

Она пошла опустить письмо в ящик и на обратном пути встретила Кита с гувернанткой, собакой и двумя младшими детьми тети Элисон. Настроение у них было самое развеселое. Динни не захотелось его портить, и они все вместе отправились к Киту в детскую пить чай. Потом туда пришел и Майкл. Динни редко видела его вдвоем с сынишкой, и ей очень понравились их простые, товарищеские отношения. Трудно было бы определить, кто из них старший, хотя преимущество в росте и отказ от второй порции клубничного варенья говорили в пользу Майкла. Этот

час Динни впервые за пять дней, которые она провела без Уилфрида, была почти счастлива. Когда чаепитие кончилось, она пошла с Майклом к нему в кабинет.

— Что-нибудь неприятное, Динни?

Он был лучшим другом Уилфрида, человеком, которому легко довериться, и все же Динни не знала, что ему сказать! Но вдруг, сидя в его кресле и подперев голову руками, она заговорила. Она смотрела прямо перед собой, не видя ничего; глаза ее были устремлены в будущее. А Майкл сидел на подоконнике, выражение лица у него было то огорченное, то ироническое; время от времени он тихонько бормотал что-то ласковое. Все ей было бы нипочем, говорила она, и общественное мнение, и газеты, и даже ее родные, если бы в самом Уилфриде не было этой глубокой раздвоенности, горечи, неуверенности в своей правоте, постоянной потребности доказывать другим и, главное, себе, что он — не трус. Теперь, когда она дала себе волю выговориться, она поняла, что давно чувствует под ногами трясину, куда может провалиться в любую минуту, — глубокую яму, предательски затянутую сверху зеленым покровом. Замолчав, она в изнеможении откинулась на спинку кресла.

— Но, Динни, разве он тебя не любит? — мягко спросил Майкл.

— Не знаю. Мне казалось, что да, но теперь я не знаю... Да и за что бы? Я такая обыкновенная. А он — нет.

— Все мы кажемся себе обыкновенными. Я не хочу тебе льстить, но мне ты кажешься гораздо более интересным человеком, чем Уилфрид.

— Да что ты!

— С поэтами всегда одни неприятности! — мрачно произнес Майкл. — Что же нам теперь делать?

Вечером, после ужина, он объявил, что идет в палату общин, а на самом деле отправился на Корк-стрит.

Уилфрида не было дома, и Майкл попросил у Стака разрешения обождать его. Сидя на диване в этой необычной, тускло освещенной комнате, Майкл ругал себя за то, что пришел. Сделать вид, будто его послала Динни? Бесполезно. И к тому же это неправда. Нет! Он пришел для того, чтобы выяснить, если ему удастся, по-настоящему ли Уилфрид ее любит. Если нет, — что ж, чем быстрее она о нем забудет, тем лучше. Она будет страдать, но гоняться за химерой еще больше. Он знал — или так, по крайней мере, ему казалось, — что Уилфрид — не из тех, кто принимает любовь без взаимности. Самое большое несчастье для Динни — это соединить свою судьбу с человеком и узнать, что в его чувстве она ошиблась. На столике возле дивана, рядом с виски, лежала вечерняя почта — всего два письма, и одно из них, по-видимому, от Динни. Дверь тихонько приоткрылась, и в комнату вошла собака. Обнюхав Майкла, она улеглась, положив голову на лапы и не отрывая глаз от двери. Майкл попытался с ней заговорить, но она не откликнулась, — правильный пес!

«Подожду до одиннадцати», — подумал Майкл, и в эту минуту вошел Уилфрид. На щеке у него виднелась ссадина, а подбородок был залеплен пластырем. Собака радостно завиляла хвостом у ног хозяина.

— Да, старина, видно, побоище было знатное! — сказал Майкл.

— Весьма. Виски?

— Нет, спасибо.

Он наблюдал за тем, как Уилфрид взял письма и, повернувшись к нему спиной, распечатал их.

«Я должен был предвидеть, что он так себя будет вести,— подумал Майкл.— Теперь я ничего не узнаю! Он вынужден делать вид, будто любит ее!»

Не поворачиваясь, Уилфрид налил себе виски с содовой и выпил. Потом взглянул на Майкла и спросил:

— Ну?

Обескураженный резкостью тона и раскаиваясь, что пришел к другу с тайной целью, Майкл ничего не ответил.

— Что ты хочешь у меня узнать?

Майкл коротко сказал:

— Любишь ли ты Динни.

Уилфрид захохотал.

— Ну, знаешь...

— Ты прав. Но дальше так продолжаться не может. Черт возьми! Надо же подумать и о ней.

— Я и думаю.— Лицо у него при этом было такое суровое и страдальческое, что Майкл ему поверил.

— Ну так докажи же это, бога ради! Ведь она совсем извелась!

Уилфрид отвернулся к окну. И, не оборачиваясь, спросил:

— Тебе никогда не приходилось доказывать, что ты не трус? И не пытайся! Доказать это невозможно — не представится случая. Или, вернее, представится, когда не нужно.

— Понимаю! Но, дружище, разве тут вина Динни?

— Нет, это ее беда.

— Ну и что же?

Уилфрид круто повернулся к нему.

— Да ну тебя к черту, Майкл! Убирайся отсюда! Какое ты имеешь право вмешиваться? Это касается только нас двоих.

Майкл встал и схватил шляпу. Уилфрид сказал именно то, о чем он все время думал сам.

— Ты совершенно прав,— сказал он смиренно.— Спокойной ночи, старина! У тебя славный пес.

— Прости,— сказал Уилфрид,— я знаю, ты хочешь нам добра, но тут никто не поможет. И ты тоже. Спокойной ночи!

Майкл вышел и побрел по лестнице, как побитая собака.

Когда он пришел домой, Динни уже поднялась к себе, но Флер его ждала. Ему не хотелось рассказывать о своем визите, но Флер, испытующе посмотрев на него, заявила:

— Ты не был в парламенте, Майкл. Ты ходил к Уилфриду.

Майкл только кивнул.

— Ну?

— Ничего не вышло.

— Я могла бы сказать тебе это заранее. Если ты увидишь на улице, что мужчина ссорится с женщиной, что ты сделаешь?

— Перейду на другую сторону, если, конечно, успею.

— Ага!

— Но они же не ссорятся!

— Да, но и у них своя жизнь, в которую нельзя врываться.

— Уилфрид мне так и сказал.

— Еще бы.

Майкл пристально поглядел на нее. Ну да, еще бы! У нее тоже когда-то была своя жизнь, и ему в ней не было места.

— Я сделал глупость. Но я вообще дурак.

— Нет, не дурак, а добряк. Ты идешь спать?

— Да.

Поднимаясь наверх, он испытывал странное чувство, — вот ей сейчас куда больше хочется быть с ним, чем ему с ней. Однако стоит им лечь в постель, и все будет наоборот, — такова уж мужская натура!

В комнате над их спальней Динни прислушивалась к глухому шепоту их голосов, доносившемуся в открытое окно; опустив голову на руки, она дала волю своему отчаянию. Звезды на небе и те против нее! Внешние препятствия можно преодолеть, обойти, но с глубоким разладом в душе любимого тебе не совладать, а если не совладать, то и не побороть его, не исцелить. Она поглядела на звезды, которые ополчились против нее. Верили древние, что звезды решают нашу судьбу, или для них, как и для нее, это были только пустые слова? И неужели эти самоцветы, которые горят и кружатся на синем бархате вселенной, и в самом деле заняты делами малых сих — жизнью и чувствами человекообразных мошек; зачатые в объятии, они встречаются друг друга, на миг соединяются, умирают и превращаются в прах... А светящиеся миры, вокруг которых кружат отколовшиеся от них малые планеты, — неужели люди напрасно взывают к ним; может быть, в их движении, в их сочетаниях и правда предначертана судьба человека?

Нет. Все это только наше самомнение. Зря человек хочет приковать к своей жалкой колеснице величие вселенной. «Спуститесь к нам, блистающие колесницы!» Но никогда они не спустятся! Они влекут человека в ничто...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Через два дня Черрелы собрались на семейный совет: Хьюберт неожиданно получил приказ вернуться в Судан в свой полк, и ему хотелось, чтобы до его отъезда было принято какое-то решение насчет Динни. В музее у Адриана после судебного заседания, которое вел судья Лайонел Черрел, собрались все четыре брата, сэр Лоренс, Майкл и Хьюберт. Все они понимали, что совещание это может оказаться бесплодным, ибо, как известно, даже правительственные решения ничего не стоят, если их нельзя осуществить.

Майкл, Адриан и генерал, знакомые с Уилфридом, почти не разговаривали; сэр Лоренс и судья говорили больше всех; Хьюберт и Хилари — иногда высказывались, но чаще молчали.

Исходя из предпосылки, которой никто не опровергал, что все это — пренеприятная история, сразу же определились два идейных течения: Адриан, Майкл и, в какой-то мере, Хилари считали, что делать нечего, надо ждать, как развернутся события; все остальные думали, что сделать можно очень много, но неизвестно, что именно.

Майкл никогда прежде не видел всех своих четверых дядей сразу и был поражен их сходством: вот только глаза у Хилари и Лайонела были серо-голубые, а у генерала и Адриана — темные и светло-карие. Все они были скупы на жесты, и у всех были худощавые, подвижные фигуры. Особенно эти черты были заметны у Хьюберта, — он был еще молод, а его светло-карие глаза казались иногда серыми.

— Эх, Лайонел, если бы ты мог вынести по этому делу судебное решение! — услышал Майкл голос отца. И в ответ — резкую отповедь Адриана:

— Оставьте Динни в покое. Командовать ею — просто глупо! Она у нас умница, совсем не эгоистка, и у нее — отзывчивое сердце.

— Все это мы знаем, дядя, — возразил Хьюберт, — но это для нее такая трагедия! Мы обязаны сделать все, что от нас зависит.

— Да, но что можно сделать?

«Вот именно!» — подумал Майкл и сказал вслух:

— Пока она и сама не знает, что делать.

— А ты не мог бы ее уговорить поехать с тобой в Судан? — спросил Хьюберта судья.

— Мы с ней теперь не так близки, как раньше.

— Если бы она знала, что очень нужна кому-нибудь... — начал было генерал и умолк.

— Да и то, если она поверит, что не нужна Дезерту еще больше, — пробормотал Адриан.

Хилари вынул из кармана трубку.

— А кто-нибудь пытался поговорить с Дезертом? — спросил он.

— Я, — ответил генерал.

— И я, дважды, — пробормотал Майкл.

— Мне, что ли, попробовать... — мрачно предложил Хьюберт.

— Лучше не надо, дружище, — вставил сэр Лоренс, — если ты не уверен, что сумеешь сдержаться.

— Ну, в этом я никогда не могу быть уверен.

— Тогда лучше и не пытайся.

— А может, тебе сходить, папа? — спросил Майкл.

— Мне?

— Он тебя уважал.

— Ведь я ей даже не настоящая родня!

— Ты бы все же попробовал, Лоренс, — сказал Хилари.

— Но почему именно я?

— Никто из нас не может. По разным причинам.

— А почему не можешь ты?

— В сущности, я согласен с Адрианом: надо оставить их в покое.

— Почему, собственно, вы возражаете против того, чтобы Динни вышла за него замуж? — спросил Адриан.

Генерал резко обернулся к нему.

— Это наложит на нее пятно на всю жизнь.

— Так же говорили о человеке, который не бросил жену, когда ты посадили в тюрьму. А потом его только уважали.

— Но ведь это пытка, когда все тычет пальцем в твоего спутника жизни, — сказал судья.

— Динни научиться этого не замечать.

— Простите, но вы упускаете главное,— мягко вставил Майкл.— А главное — это душевное состояние самого Уилфрида. Если у него останется душевный надрыв и он на ней женится,— вот это будет для нее настоящей пыткой! И чем больше она его любит, тем ей будет тяжелее.

— Ты прав, Майкл,— неожиданно согласился сэр Лоренс.— Если бы я мог ему это объяснить, мне бы стоило к нему пойти.

Майкл вздохнул.

— Куда ни кинь, бедной Динни будет нелегко.

— «Радость придет наутро»,— пробормотал Хилари сквозь клубы табачного дыма.

— Ты в это веришь, дядя Хилари?

— Не очень.

— Динни — двадцать шесть. Это ее первая любовь, и если она будет несчастной, что тогда?

— Замужество.

— С другим?

Хилари кивнул.

— Весело!

— А жизнь вообще — веселая штука.

— Ну так как же, Лоренс?— резко спросил генерал.— Пойдешь? Сэр Лоренс поглядел на него испытующе и ответил:

— Да.

— Спасибо.

Никто из них толком не понимал, чего они этим добьются, но это было все же какое-то решение и его хотя бы можно было осуществить...

У Уилфрида почти зажили ссадины, и он уже обходился без пластыря на подбородке, когда сэр Лоренс встретил его в тот день к вечеру на лестнице его дома.

— Вы не возражаете, если я немножко с вами пройду?— спросил он.

— Нисколько, сэр.

— Вы идете куда-нибудь в определенное место?

Уилфрид передернул плечами, и они пошли рядом. Наконец сэр Лоренс сказал:

— Самое худшее — это когда не знаешь, куда идешь.

— Вы правы.

— Тогда зачем идти, особенно если при этом ведешь за собой другого? Простите за прямоту, но если бы не Динни, вам ведь было бы наплевать на всю эту историю? Что еще вас здесь удерживает?

— Ничего. Но я не хочу об этом говорить. Простите, мне в другую сторону.

Сэр Лоренс остановился.

— Минутку, а потом уж я пойду в другую сторону. Скажите, вам не кажется, что с человеком, который переживает душевную драму, трудно жить вместе, пока он в себе этого не преодолел? Вот и все, что я хотел вам сказать, но над этим стоит подумать!

И, приподняв шляпу, сэр Лоренс повернулся к нему спиной. Слава богу! Хорошо, что он с этим разделался! Ну и колючий же молодой человек. Но все же он выложил ему все начистоту! Сэр Лоренс отправился на Маунт-стрит, размышляя об узости взглядов, которую порождает верность традициям. Если бы не традиции, Уилфрида ничуть бы не беспокоило, что его сочтут трусом. А разве огорчалась бы так семья Динни? Разве Лайелл написал бы свою проклятую поэму? А его капрал разве не сдался бы на милость победителя? Разве хоть один из Черрелов, собравшихся на семейный совет, и в самом деле искренний, убежденный христианин? Даже Хилари — и тот нет, готов что угодно прозакладывать! Однако ни один из них не может спокойно переварить этого отречения от веры. И дело тут не в религии, а в том, что Дезерт смалодушничал. Вот что им против шерсти. Трусость или по меньшей мере наплевательское отношение к доброму имени своей родины. Ну что ж! Около миллиона англичан отдало жизнь за это доброе имя на войне; разве все они погибли зря? Да и сам Дезерт чуть было не сложил за него голову, и даже получил какие-то ордена! Как все это противоречиво! Видно, на людях легче любить родину, чем в пустыне; на фронте это принято, а в Дарфуре — нет.

Он услышал за спиной торопливые шаги и, обернувшись, увидел Дезерта. Сэра Лоренса потрясло его лицо: жесткое, потемневшее, с трясущимися губами и запавшими глазами.

— Вы были правы, — произнес он. — Я хочу, чтобы вы это знали. Можете сказать ее родным, что я уезжаю.

Сэр Лоренс был страшно напуган успехом своей миссии.

— Берегитесь! — сказал он. — Вы можете нанести ей смертельную рану.

— Этого все равно не избежать. Спасибо, что меня надоумили. Прощайте.

Он повернулся и ушел.

Сэр Лоренс долго смотрел ему вслед, пораженный его страдальческим видом. Домой он пришел, терзаясь сомнениями, не испортил ли он дело еще больше. Он положил на место шляпу и трость; по лестнице спускалась леди Монт.

— Мне скучно, Лоренс. А ты что делал?

— Видел Дезерта и, по-моему, убедил его в том, что, пока он не примирится с собой, ему лучше жить одному.

— Это очень дурно с твоей стороны.

— Почему?

— Теперь он уедет. Я так и знала, что он уедет. Сейчас же расскажи Динни, что ты наделал.

И она пошла к телефону.

— Это ты, Флер?.. Ах, Динни?.. Это тетя Эм!.. Да... Ты можешь к нам приехать?.. Почему?.. Ерунда!.. Приезжай непременно! Лоренс хочет с тобой поговорить... Сейчас? Да. Он сделал ужасную глупость... Что?.. Нет... Он хочет тебе объяснить сам. Через десять минут?.. Очень хорошо.

«Господи!» — подумал сэр Лоренс. Он вдруг понял, что для того, чтобы притупить в себе всякие чувства, достаточно вынести их на об-

суждение. Если правительство зашло в тупик, оно назначает комиссию. Если у человека нечиста совесть, он бежит к адвокату или поверенному. Если бы сам он не посидел на семейном совете, разве он пошел бы к Дезерту и стал подливать масло в огонь? Это заседание заглушило в нем всякие человеческие чувства. Он отправился к Уилфриду, как присяжный, выносящий приговор после того, как несколько дней прозаседал в суде. А теперь ему нужно как-то оправдаться перед Динни, и один только бог знает, есть ли ему оправдание! Он пошел к себе в кабинет и увидел, что жена идет следом за ним.

— Лоренс, ты должен ей подробно рассказать, что ты наделал и как он к этому отнесся. Не то будет слишком поздно. И я не уйду, пока ты этого не сделаешь.

— Если принять во внимание, что ты не знаешь ни того, что я сказал, ни того, что он мне ответил,— твое беспокойство мне непонятно.

— Как же не волноваться, если человек поступил нехорошо?

— Меня попросили к нему сходить твои же родные.

— А ты должен быть умнее их! Когда с поэтами обращаются как с трактирщиками, они не могут не взорваться.

— Наоборот, он меня даже поблагодарил.

— Тем хуже. Тогда я задержу такси Динни, пусть ждет.

— Эм,— сказал сэр Лоренс,— когда ты будешь писать завещание, ты мне скажи.

— Зачем?

— Может, я хоть раз заставлю тебя быть последовательной.

— Все, что у меня есть, пойдет Майклу для Кэтрин. А если я умру, когда Кит будет в Харроу, отдай ему дедушкину «отвальную чару», ту, что у меня в шкафу в Липпингхолле. Но не позволяй ему брать ее с собой в школу, они еще ее там расплавят или будут кипятить в ней мятную настойку или еще что-нибудь. Запомнишь?

— Обязательно.

— Ну, тогда приготовься и начинай сразу, как только Динни войдет.

— Хорошо,— покорно сказал сэр Лоренс.— Но как мне сказать это Динни?

— Так и скажи, и ничего не выдумывай.

Сэр Лоренс стал выстукивать по оконному стеклу какой-то мотив. Жена его уставилась в потолок. Так и застала их Динни.

— Блор, не отпускайте такси мисс Динни!

При виде племянницы сэр Лоренс окончательно понял, что вел себя как человек черствый. Лицо под шапкой каштановых волос заострилось, побледнело, а во взгляде было что-то такое, от чего у него защемило сердце.

— Ну, начинай!— сказала леди Монт.

Сэр Лоренс поднял высокое худое плечо, словно хотел заслониться от удара.

— Дорогая, твоего брата вызвали в полк, и меня попросили поговорить с Дезертом. Я пошел и сказал ему, что, если у него в душе такой разлад, никто с ним ужиться не сможет. Он мне ничего не ответил и ушел. Потом догнал меня на нашей улице и сказал, что я прав. И попросил передать твоим родным, что уезжает. Вид у него был очень

странный и взволнованный. Я сказал: «Берегитесь! Вы можете нанести ей смертельную рану!»—«Этого все равно не избежать»,— ответил он и опять ушел. Все это произошло минут двадцать назад.

Динни растерянно посмотрела на обоих, прижала руку к губам и выбежала.

Минуту спустя они услышали, как отъехала машина.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Получив в ответ на свое письмо коротенькую записку, от которой ей ничуть не стало легче, Динни провела последние два дня в отчаянной тревоге. Когда сэр Лоренс сообщил ей о том, что произошло, ей почему-то показалось страшно важным добраться до Корк-стрит раньше Уилфрида — она сидела в такси, стиснув руки и уставившись взглядом в спину шоферу,— впрочем, спина была такая широкая, что, казалось, она отгораживала от Динни весь остальной мир. Нечего заранее загадывать, что она ему скажет,— лишь бы увидеть его, а уж там она найдет, что сказать! Его лицо ей это подскажет. Она понимала, что если Уилфрид уедет из Англии, то лучше забыть, что они когда-то встречались. Остановив такси на Барлингтон-стрит, она побежала к его дому. Если он пошел прямо к себе, он уже здесь! За последние дни она поняла, что Стак заметил в Уилфриде какую-то перемену и тоже вел себя теперь иначе. Поэтому, когда он отпер дверь, она ему сразу сказала:

— Пожалуйста, впустите меня, Стак, я должна видеть мистера Дезерта.— И, проскользнув мимо него, отворила дверь прямо в гостиную. Уилфрид шагнул по комнате.

— Динни!

Она почувствовала: одно неосторожное слово — и всему конец; поэтому она только улыбнулась. Он прикрыл руками глаза, и, воспользовавшись этим, Динни подкралась к нему и обхватила его за шею.

Может быть, Джин права? Может быть, она должна...

Но в открытую дверь вошел Фош. Он ткнулся плюшевой мордой ей в руку, и Динни присела, чтобы его поцеловать. Когда она подняла голову, Уилфрид стоял к ней спиной. Она тут же поднялась на ноги, не зная, что делать дальше, сама не понимая, о чем она сейчас думает, думает ли вообще и способна ли что-нибудь чувствовать. В душе была какая-то пустота. Уилфрид распахнул окно и высунулся наружу, сжав голову руками. А вдруг он выбросится из окна? Динни сделала над собой страшное усилие и позвала его очень нежно:

— Уилфрид!

Он обернулся и взглянул на нее: «Боже мой, он меня ненавидит!»— подумала она. Потом выражение его лица изменилось и стало таким, каким она его знала, и ее снова поразило, каким потерянным бывает человек с увлеченным самолюбием — каким неуравновешенным, горячим, непостоянным...

— Ну?— сказала она. — Что мы будем делать?

— Не знаю. Все это — чистое безумие. Мне давно надо было бежать в Сиам.

— Хочешь, я останусь с тобой?

— Да! Нет! Не знаю.

— Уилфрид, почему ты так мучаешься? Разве любовь для тебя ничего не значит? Ровно ничего не значит?

Вместо ответа он вынул письмо Джека Маскема.

— Прочти!

Она прочла письмо.

— Понятно. И мой приезд туда был уж совсем некстати.

Он бросился на диван и молча глядел на нее.

«Если я уйду,— думала Динни,— я все равно буду рваться сюда опять». Она спросила:

— Где ты собираешься ужинать?

— Стак, кажется, что-то мне приготовил.

— Хватит и на меня?

— Еще останется, если тебе так же хочется есть, как мне.

Она нажала звонок.

— Я буду у вас ужинать, Стак. Мне надо самую малость.

И, желая выиграть минуту, чтобы овладеть собой, она сказала:

— Можно мне умыться, Уилфрид?

Вытирая лицо и руки, она изо всех сил старалась успокоиться, но вдруг ее охватило полное безразличие. Что бы она ни решила, все равно это будет ошибкой, все равно принесет страдания, а может, сделает жизнь невыносимой. Будь что будет!

Когда она вернулась в гостиную, Уилфрида там не было. Дверь в спальню была открыта, но его не было и там. Динни кинулась к окну. На улице она его тоже не увидела. Послышался голос Стака:

— Прошу прощения, мисс, мистера Дезерта вызвали. Он просил передать, что напишет. Ужин будет готов сию минуту.

Динни посмотрела ему прямо в глаза.

— Ваше первое впечатление обо мне, Стак, было правильно. А теперь вы не правы. Я ухожу. Мистеру Дезерту нечего меня бояться. Так ему, пожалуйста, и скажите.

— Я же говорил вам, мисс, что он человек горячий, но этого я от него не ожидал. Мне очень жаль, мисс, но, боюсь, тут дело гиблое. Нечего себя обманывать. Смогу я вам чем-нибудь услужить, рассчитывайте на меня.

— Если он уедет из Англии,— сказала Динни,— пусть отдаст мне Фоша.

— Насколько я знаю мистера Дезерта, мисс, он решил уехать. Я заметил, что он все больше склоняется к этой мысли с той самой ночи. Как получил письмо,— помните, накануне того дня, когда вы сюда пришли рано утром.

— Что ж,— протянула ему руку Динни,— прощайте и помните, что я сказала.

Они обменялись рукопожатием, и все еще как-то неестественно бодро она спустилась по лестнице. Шла она быстро, голова у нее как-то странно кружилась, а в мозгу стучало одно только слово: «Вот!» Все, что она почувствовала, вылилось в одно это короткое слово. Никогда еще в жизни не ощущала она себя такой отрешенной от всего, такой опустошенной, такой безразличной к тому, куда она идет, что сделает, кого

увидит. Почему говорят, что конца света не будет, когда вот он, конец, настал! Она не верила, что он заранее решил так грубо порвать с ней. Он не настолько хорошо ее знал. Однако он выбрал самый верный, самый бесповоротный путь. Гоняться за женщиной? Нет, на это она не способна! И тут нечего рассуждать, это — инстинкт.

Динни три часа бродила по лондонским улицам и повернула наконец к Вестминстеру, понимая, что еще минута — и она упадет. Когда она вошла в дом на Саус-сквер, ей пришлось напрячь последние силы, чтобы выдавить веселую улыбку, но стоило ей уйти к себе в комнату, как Флер сказала:

— Случилось что-то очень нехорошее, Майкл!

— Бедная Динни! Что еще выкинул этот чертов сын?

Подойдя к окну, Флер отдернула штору. На улице еще не совсем стемнело, но, кроме двух кошек, такси справа от дома и человека на тротуаре, рассматривавшего небольшую связку ключей, ничего не было видно.

— Может, мне пойти наверх и попытаться с ней поговорить?

— Не надо. Когда она захочет, сама к нам придет. Если ты права, сейчас она никого не хочет видеть. У нее бесовская гордыня, она ни за что не признается, что загнана в угол.

— Ох, как я ее ненавижу, эту гордыню! — сказала Флер, задерживая штору и направляясь к двери. — Она обурекает тебя помимо воли и кладет на обе лопатки. Если хочешь преуспеть в жизни — забудь о гордыне. — И она вышла.

«Не знаю, есть ли у меня гордыня, — подумал Майкл, — но не могу сказать, что я так уж преуспел в жизни». Он медленно двинулся наверх и постоял, прислушиваясь, на пороге своей спальни, но сверху не доносилось ни звука...

А Динни в это время лежала, уткнувшись лицом в подушку. Вот и конец! Зачем же эта сила, которую люди зовут любовью, подняла ее до небес, измучила, а потом швырнула наземь, опустошенную, беспомощную, истерзанную? Теперь ее удел только горе. Любовь или гордость — что сильнее? Видно, не зря люди говорят, что гордость, — теперь она это знает, не зря о своей беде она может поведать только подушке. Что победит: ее любовь или его гордость? Ее любовь или ее собственная гордость? Конечно, победит гордость. Ну разве это не обидно? Из всего, что было в этот вечер, в память ее врезалось только одно — как он обернулся к ней от окна и как она тогда подумала: «Он меня ненавидит!» Еще бы! Ведь она только растравляет его уязвленное самолюбие, мешает крикнуть им всем: «Будьте вы прокляты! И прощайте навсегда!»

Ну что ж, теперь он может это им крикнуть и уехать. А что остается ей? Мучиться, пока не утихнет боль. Может, когда-нибудь она и утихнет? Нет! Надо ее подавить, заглушить этой подушкой! Внушить себе, что все ерунда, все пройдет, хоть сердце и разрывается на части. Может, всего этого она и не смогла бы выразить словами, но в борьбе, которую она вела с собой молча, задыхаясь от горя, было неосознанное желание преодолеть свою напасть. Разве она могла поступить иначе? Чем она виновата, что Маскем написал ему, будто он прячется за спиной жен-

щины! Разве могла она не поехать в Ройстон? Что она сделала дурного? Как все это несправедливо, жестоко. Наверно, всякая любовь несправедлива и жестока? Динни казалось, что ночь отстукивает минуту за минутой, — как хрипло тикают старинные часы! Это ночь проходит или жизнь моя — одинокая, разбитая, ненужная?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Выбежав на Корк-стрит, Уилфрид поддался минутному порыву. С тех пор как внезапно прервалась их ожесточенная и не очень пристойная драка в Ройстоне и он увидел, как в открытой машине стоит Динни, прикрыв руками лицо, в его отношении к ней наступил перелом. Теперь, когда он снова увидел ее лицо, услышал голос, почувствовал ее запах, — на него что-то нахлынуло, и он ее обнял. Но стоило ей отойти, как его вновь охватила необъяснимая ярость, и он выбежал на улицу; здесь он по крайней мере мог двигаться и никого не видеть. Уилфрид пошел на юг и смешался с толпой, стремившейся попасть в театр «Его Величества». Он постоял в очереди, думая: «Какая разница, не все ли равно, где быть?» Но когда пришло время брать билет, он выбрался из толпы и зашагал на восток, прошел через пустой, вонявший отбросами рынок Ковент-Гарден и вышел на Ладгейт-Хилл. Запах жареной рыбы напомнил ему, что он с утра ничего не ел. Зайдя в ресторан, он выпил коктейль и съел какую-то закуску. Потом попросил бумагу и конверт и написал:

«Я должен был уйти. Если бы я остался, ты стала бы моей. Не знаю, что я теперь буду делать: брошусь в реку, уеду за границу или вернусь к тебе. Но как бы там ни было, прости меня и верь, что я тебя любил.

У и л ф р и д ».

Он надписал конверт и сунул его в карман, но не отправил. Ему казалось, что он все равно не выразил того, что хочет. Он снова пошел на восток. Миновав Сити, где в этот час было пусто, как после газовой атаки, он скоро оказался на более людной Уайтчепел-роуд. Уилфрид упорно шагал, надеясь, что физическая усталость его успокоит. Он свернул на север и часам к одиннадцати очутился возле Чингфорда, миновал гостиницу и свернул к лесу. Все кругом было залито лунным светом и погружено в тишину. По дороге ему встретилась одна машина, запоздалый велосипедист, две парочки и трое бродяг; потом он сошел с асфальта и углубился в лес. Тут было темно, и только луна серебрила ветви и листья. Измученный долгой ходьбой, он прилег на землю, покрытую буковыми орешками. Ночь была как ненаписанные стихи; отблеск серебряных лучей — игра невыраженных мыслей, зыбких, только краем задевающих реальный мир, беспокойных, текущих, летучих, отливающих призрачным блеском, как сон. Над ним мерцали звезды, по которым он столько раз путешествовал, — Большая Медведица и все ее спутники, — такие ненужные в этом мире домов и людей.

Уилфрид повернулся и лег лицом вниз, прижавшись лбом к земле. И вдруг он услышал гудение самолета. Но густая листва скрывала от

него скользящий по небу силуэт. Верно, ночной самолет в Голландию; или английский пилот летает вокруг горящего огнями Лондона, а может, учебный рейс из Хендона на одну из баз восточного побережья Англии. Ему пришлось столько летать на фронте, что больше уже никогда не захочется сесть в самолет. Шум мотора вызвал у него знакомое ощущение тошноты, от которого он избавился только после войны. Гудение стихало, а потом смолкло совсем. Из Лондона доносился глухой рокот, но здесь ночь была тиха и тепла, лишь раз квакнула лягушка, нежно чиркнула птица да где-то ухали, перекликаясь, две совы. Он снова лег ничком и забылся в беспокойном сне.

Когда Уилфрид проснулся, первый луч зари только что прорезал мглу. Выпала роса: тело его онемело и продрогло, но мысли больше не путались. Он встал, помахал руками, чтобы размяться, и закурил. Посидел, обхватив руками колени, пока не докурил сигарету, не выпуская ее изо рта, а когда огонь стал обжигать ему губы, выплюнул окуроч с длинным столбиком пепла. На него вдруг напал озноб. Он поднялся и пошел к дороге, но ноги затекли и шагать было трудно. Когда он добрался до шоссе, уже совсем рассвело; зная, что ему нужно в Лондон, он почему-то пошел в обратную сторону. Он шел, тяжело ступая и поеживаясь от озноба. Наконец сел, опустил голову на колени и впал в какое-то забытие. Его пробудил чей-то оклик. Рядом с ним остановилась небольшая машина, в которой сидел румяный парень.

— Вам нехорошо?

— Нет, ничего, — пробормотал Уилфрид.

— Вид у вас неважный. Вы знаете, который час?

— Нет.

— Лезьте сюда, я довезу вас до гостиницы в Чингфорде. У вас есть деньги?

Уилфрид мрачно усмехнулся.

— Есть.

— Не обижайтесь! Вам надо выспаться и выпить крепкого кофе. Поехали!

Уилфрид встал. Ноги держали его с трудом. Он вскарабкался в машину и привалился к плечу незнакомого парня.

— Ничего. Я вас мигом доставлю...

Голова его кружилась, его трясло, и он с трудом соображал, что с ним. Прошло всего десять минут, но они показались ему часами; наконец машина остановилась у подъезда гостиницы.

— Я знаю здесь коридорного, — сказал парень. — Сейчас позову. Как ваша фамилия?

— Черт! — пробормотал Уилфрид.

— Эй, Джордж! Я нашел этого джентльмена на дороге. Ему, видно, нездоровится. Отведи его в приличную комнату. Налей погорячее грелку, уложи в постель и хорошенько укрой. Свари ему крепкого кофе и смотри, чтобы он его выпил.

Коридорный ослабился.

— Больше никаких приказаний не будет?

— Будут. Измерь ему температуру и пошли за доктором. Послушайте, сэр, — сказал он Уилфриду, — вы можете на него положиться.

Лучше ботинки никто не чистит. Дайте ему за вами поухаживать и не беспокойтесь, все будет в порядке. А мне пора двигаться. Уже шесть часов.

Он обождал, глядя, как Уилфрид, спотыкаясь, вошел в гостиницу с помощью коридорного, и уехал.

Коридорный ввел Уилфрида в комнату.

— А вы сумеете сами раздеться?

— Да,— пробормотал Уилфрид.

— Тогда я схожу добуду вам грелку и кофе. Будьте спокойны, постели у нас сухие. Вы, видно, всю ночь провели на улице?

Уилфрид сел на кровать и ничего не ответил.

— А ну-ка, давайте сюда ваши руки,— сказал коридорный. Он стащил с Уилфрида пиджак, потом жилет и брюки.— Вы, я вижу, здорово простыли. Белье-то насквозь сырое. Можете встать?

Уилфрид покачал головой.

Коридорный скинул с кровати покрывало, стянул через голову Уилфрида рубашку, потом снял с него нижнее белье и закутал его в одеяло.

— Ну вот, еще немножко потерпите, и все будет в порядке.— Он опустил голову Уилфрида на подушку, уложил его ноги на кровать и накрыл сверху еще двумя одеялами.

— Теперь лежите, я вернусь минут через десять, не позже.

Уилфрида так трясло, что он не мог собраться с мыслями; зубы выбивали бешеную дробь, не давая ему выговорить ни слова. Он услышал голос горничной, потом еще какие-то голоса.

— Во рту он расколется его зубами. Куда еще можно поставить?

— Попробую сунуть под мышку.

Кто-то вставил ему под мышку термометр и придержал его рукой.

— У вас, часом, не тропическая лихорадка, сэр?

Уилфрид помотал головой.

— Вы можете приподняться и проглотить немножко кофе?

Крепкие руки приподняли его, и он выпил кофе.

— У него сорок.

— Господи! Ну-ка пододвинь ему к ногам грелку, а я позвоню доктору.

Уилфрид видел, с каким страхом смотрит на него горничная, боясь подхватить заразу.

— Малярия,— сказал он вдруг.— Не заразно. Дайте сигарету. Там, в жилете.

Горничная сунула ему в рот сигарету и дала прикурить. Уилфрид затянулся.

— Е-еще!— попросил он.

Она снова вложила ему в рот сигарету, и он затянулся еще раз.

— Говорят, в лесу есть комары. Они вас ночью кусали?

— Это у меня в кр-р-рови...

Теперь он дрожал меньше и смотрел, как горничная ходит по комнате, складывает его одежду, задерживает шторы, чтобы свет не падал ему в глаза. Потом она подошла к кровати, и он улыбнулся ей.

— Еще глоточек горячего кофе?

Он покачал головой, снова закрыл глаза и, дрожа от озноба, поглубже зарылся в одеяло, чувствуя на себе взгляд горничной и снова слыша чьи-то голоса.

— Фамилии нигде не найду, но, видно, он из благородных. В кармане — деньги и вот это письмо. Доктор придет минут через пять.

— Ну что ж, я его обожду; правда, работы у меня хоть отбавляй.

— Да и у меня тоже. Скажи про него хозяйке, когда пойдешь ее будить.

Он видел, что горничная смотрит на него с почтением. Еще бы: незнакомец из благородных, да еще и болен непонятной болезнью! Ну чем не событие для этой простой души! Голова его утонула в подушке, и ей были видны только загорелая щека, ухо, прядь волос и зажмуренный глаз под темной бровью. Он почувствовал, как она робко дотронулась до его лба пальцем. Горит как огонь!

— Может, сообщить кому-нибудь из ваших близких, сэр?

Он покачал головой.

— Доктор сию минуту придет.

— У меня это продлится два дня. Сделать ничего нельзя все равно... хинин... апельсиновый сок...

Снова начался жестокий приступ озноба, и он замолчал. Вошел врач; горничная стояла, прислонившись к комоду и покусывая мизинец. Она вынула палец изо рта и спросила:

— Мне остаться, сэр?

— Да, побудьте здесь.

Пальцы доктора нащупали его пульс, приподняли веко, разжали ему зубы.

— И давно вы этим страдаете, сэр?

Уилфрид кивнул.

— Ладно. Полежите тут и глотайте хинин,— больше я ничем помочь вам не могу. У вас довольно сильный приступ.

Уилфрид кивнул.

— Они не напili у вас визитных карточек. Как ваша фамилия?

Уилфрид помогал головой.

— Ладно. Не беспокойтесь. Примите вот это.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Сойдя с автобуса, Динни очутилась на просторной лужайке Уимблдона. После бессонной ночи она украдкой выскользнула из дому, оставив записку, что вернется только к вечеру. Она пошла по траве к березовой рощице и легла под деревом. Ни высокие, быстрые облака, ни солнечные зайчики, бегущие по ветвям берез, ни водяные трясогузки, ни сухие песчаные прогалинки, ни жирные лесные голуби, спокойно разгуливавшие подле нее — так неподвижно она лежала,— не принесли ей успокоения: сегодня ее не радовала даже природа. Динни лежала на спине с сухими глазами, то и дело вздрагивая и раздумывая о том, чьей же злой воле понадобилось, чтобы она испытывала такую боль! Люди, убитые горем, не ждут помощи извне — они ищут ее в себе. Она никому не покажет, какую переживает трагедию! Это отвратительно! Но све-

жесть ветерка, бегущие по небу тучки, шелест листвы, звонкие голоса детей — все это не могло подсказать ей, как скрыть свою боль, как начать жить снова. Отрешенность от мира, в которой Динни жила с тех пор, как встретилась с Уилфридом возле статуи Фоша, теперь мстила за себя. Она все поставила на одну карту, и карта эта бита. Динни рассеянно ковыряла пальцем землю, подбежала собака, обнюхала ямку и убежала. «Вот я только начала было жить,— думала Динни,— и уже мертва». «Просят венков не присылать!»

Все, что произошло вчера,— непоправимо, разорванную нить накрепко не соединишь. Если у него есть гордость, то и у нее гордости не меньше! Пусть это гордость иная, но она тоже у нее в крови. Кому она, в сущности говоря, здесь нужна? Почему бы ей не уехать? У нее есть почти триста фунтов. Мысль об отъезде не вызвала в ней восторга и даже не принесла облегчения; но, уехав, она хоть перестанет огорчать близких, привыкших видеть ее всегда веселой. Ей вспомнились часы, проведенные с Уилфридом на лоне природы, в таких местах, как это. Воспоминания были так живы, что она зажала ладонью рот, чтобы не застонать. Пока она не встретилась с ним, она не знала, что такое одиночество. А теперь,— теперь она совсем одна. Какой холод, какая пустота, без конца и без края. Вспомнив, что ей всегда становилось легче от быстрого ходьбы, она поднялась и пересекла шоссе, по которому уже тянулась за город воскресная вереница машин. Дядя Хилари советовал ей никогда не терять чувства юмора! А было ли оно у нее когда-нибудь вообще? В конце Барнс-Коммон она села на автобус и вернулась в Лондон. Надо что-нибудь съесть, не то ей станет дурно. Она сошла возле Кенсингтонского парка и зашла в какой-то ресторан.

После обеда Динни посидела в парке, а потом отправилась пешком на Маунт-стрит. Дома никого не было, и она присела на диван в гостиной. Усталость взяла свое, и она задремала. Разбудил ее приход тети; Динни, приподнявшись, сказала:

— Ну вот, теперь вы можете радоваться. Все кончено.

Леди Монт поглядела на племянницу, сидевшую перед ней с застывшей улыбкой, и по щекам ее одна за другой скатились две слезы.

— Вот не знала, что ты плачешь не только на свадьбах, но и на похоронах...

Динни встала, подошла к тете и платком вытерла у нее слезы.

— Не надо.

Леди Монт поднялась.

— Я сейчас зареву,— сказала она.— Ей-богу, зареву!— и поспешно выплыла из комнаты.

Динни села на прежнее место; на губах у нее застыла все та же улыбка. Блор накрыл на стол к чаю, и она поговорила с ним о теннисных состязаниях в Уимблдоне и о его жене. Дворецкий мрачно смотрел и на исход состязаний, и на здоровье жены, а выходя, сказал Динни:

— А вам, если позволено будет сказать, мисс Динни, не помешало бы подышать морским воздухом.

— Да, Блор, я уж и сама об этом подумываю.

— Вот и хорошо, мисс, в это время года нетрудно и переутомиться.

Видно, и он знает, что бал ее окончен. И вдруг почувствовав, что больше не может участвовать в собственных похоронах, Динни подкралась к двери, прислушалась, не идет ли кто-нибудь, тихонько спустилась по лестнице и выскользнула на улицу.

Но у нее было так мало сил, что она едва дотащилась до парка Сент-Джеймс и села там у пруда. Люди, солнце, утки, тенистые деревья, остроконечный камыш,— а какая буря у нее внутри! Высокий человек, шагавший со стороны Уайтхолла, сделал невольное движение, словно хотел приподнять шляпу, но, заглянув ей в лицо, передумал и прошел мимо. Динни поняла, что у нее, наверно, ужасный вид, поднялась, побрела в Вестминстерское аббатство и села на скамью. Уронив голову на руки, она посидела там с полчаса. Она не молилась, а просто отдыхала, и лицо у нее стало спокойнее. Она почувствовала, что может теперь показаться на людях, не выдавая своего состояния.

Был уже седьмой час, и Динни вернулась на Саус-сквер. Поднявшись незаметно к себе в комнату, она приняла горячую ванну, переоделась к ужину и решительно направилась в столовую. Там были только Майкл и Флер, которые ни о чем не стали ее спрашивать. Она поняла, что они уже все знают. Кое-как ей удалось дотянуть до конца вечера. Когда она ушла к себе, Флер и Майкл ее поцеловали.

— Я распорядилась положить тебе в кровать грелку; заткни ее за спину, скорее заснешь,— сказала Флер.— Спокойной ночи, дорогая!

И Динни снова поняла, что и Флер когда-то пережила все то, что переживает она. Спала Динни крепче, чем могла надеяться.

Утром ей подали чай и конверт со штампом гостиницы в Чингфорде. Там лежала записка.

«Мадам,

Прилагаемое письмо, адресованное вам, было найдено в кармане джентльмена, который лежит сейчас здесь с очень острым приступом малярии. Пересылаю его вам.

С уважением

доктор медицины Роджер Квил».

Динни прочла письмо... «Но как бы там ни было, прости меня и верь, что я тебя любил. Уилфрид». Он болен! Но Динни тут же подавила желание броситься к нему. Нет, теперь она больше не станет опрометью кидаться куда не следует. Но она все-таки позвонила Стаку и сообщила ему, что Уилфрид болен малярией и лежит в гостинице в Чингфорде.

— Ему, наверно, нужны бритва и пижама, мисс. Я отвезу.

С трудом удержавшись, чтобы не попросить: «Передайте ему привет»,— она сказала:

— Он знает, где меня найти, если я ему понадоблюсь.

Она уже не чувствовала такого безнадежного отчаяния, как вчера, хотя и была разлучена с Уилфридом по-прежнему. Пока он к ней не придет или не позовет ее к себе, она не сделает к нему ни шага, но где-то в глубине души Динни сознавала: он не придет и ее не позовет! Нет! Он

свернет свой шатер и покинет места, где его заставили так страдать.

Часов в двенадцать к ней зашел попрощаться Хьюберт. И Динни сразу поняла, что и он все знает. Хьюберт сказал ей, что остальную часть отпуска возьмет в октябре и вернется в Кондафорд. Джин останется дома до ноября, пока не родится ребенок. Врачи запретили ей жить в жарком климате до родов. В это утро Динни казалось, что Хьюберт опять стал таким, каким был прежде. Он сказал, как это хорошо, что ребенок родится в Кондафорде.

— Странно от тебя это слышать, — попыталась пошутить Динни. — Раньше ты не больно-то жаловал Кондафорд.

— Ну, теперь у меня будет наследник, а это меняет дело.

— Ах вот оно что! Ты уверен, что это будет наследник?

— Да, мы твердо решили, что у нас будет мальчик.

— А сохранишь ли ты Кондафорд до тех пор, пока он вырастет? Хьюберт пожал плечами.

— Постараемся. Уж если до зарезу хочешь что-нибудь удержать, держи, и тогда не упустишь!

— Положим, и тогда это не всегда удастся, — пробормотала Динни.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Слова Уилфрида «можете сказать ее родным, что я уезжаю» и сообщение Динни, что «все кончено», пронеслись по семье Черрелов, как лесной пожар. Правда, никто не радовался, как обрадовались бы возвращению блудного сына. Все жалели Динни и даже побаивались за нее. Всем хотелось выразить свое сочувствие, но никто не знал, как это сделать. Сочувствие не должно выглядеть сочувствием, не то оно будет оскорбительно. Прошло три дня, а ни одному из членов семьи еще не удалось поговорить с ней по душам. Но вот Адриана наконец осенило: он позовет Динни куда-нибудь пообедать, хотя почему пища должна служить утешением — никто не знает. Он выбрал для встречи кафе, где кухня незаслуженно пользовалась хорошей репутацией.

Динни не принадлежала к числу нынешних девиц, для которых даже превратности судьбы служат предлогом нарумяниться, и Адриану сразу бросилась в глаза ее бледность. Но намекнуть ей на это он не решился. Ему вообще было трудно с ней разговаривать, — он знал, что мужчины, даже очень влюбленные, не теряют своих духовных интересов, в то время как женщины, даже не так сильно захваченные страстью, целиком ею поглощены. Тем не менее он стал ей рассказывать, как кто-то пытался провести его за нос.

— Он запросил пятьсот фунтов за кроманьонский череп, будто бы найденный в Суффолке. И выглядела вся эта история очень правдоподобно. Но я случайно встретил тамошнего археолога. «Ах, этот? — спросил он. — И вам, значит, он хочет всучить свою подделку? Известный жулик. Он уже выкапывал ее раза три. Давно пора упрятать этого типа в тюрьму. Держит череп в шкафу, каждые пять-шесть лет закапывает его в яму, выкапывает обратно и пытается продать. Может, череп и в самом деле кроманьонский, но купил он его во Франции лет двадцать на-

зад. Если бы такой череп нашли у нас, это было бы действительно событие». Тогда я поехал туда, где череп нашли в последний раз. И теперь, когда меня предупредили, что он жулик и сам его закопал,— мне все стало ясно. Да, древности почему-то всегда, как говорят американцы, «подрывают моральные устои».

— А что это был за человек?

— Восторженный такой парень, похож на моего парикмахера.

Динни засмеялась.

— Тебе надо что-то предпринять, не то он все равно его кому-нибудь продаст.

— Сейчас у нас депрессия. А она прежде всего бьет по торговле древностями и редкими изданиями. Пройдет не меньше десяти лет, прежде чем ему дадут приличную цену.

— А тебе часто стараются сбыть какую-нибудь подделку?

— Бывает. И кое-кому это даже удавалось. Но мне жалко, что я не попался на эту удочку... Прелестный череп! Такие теперь редко найдешь.

— Да, мы, англичане, становимся все уродливее.

— Неправда. Надень на людей, которых мы встречаем в гостиной и в лавках, сутану с капюшоном или камзол и латы — не отличишь от портретов четырнадцатого — пятнадцатого веков.

— Да, но мы стали презирать красоту! У нас она считается признаком слабости и распутства.

— Людям приятно презирать то, чего у них нет. Мы стоим в Европе всего лишь на третьем,— нет, пожалуй, на четвертом месте по обыденности внешнего облика. А если бы не унаследовали кое-что от кельтов, могли бы занять и первое место.

Динни оглядела кафе. Осмотр не подтвердил выводов дяди и потому, что мысли ее были заняты другим, и потому, что большинство обедающих оказались либо евреями, либо американцами.

Адриан смотрел на Динни с грустью: лицо у нее осунулось, глаза потухли.

— Значит, Хьюберт уже уехал? — спросил он.

— Да.

— А что ты сама собираешься делать?

Динни молчала, уставившись в тарелку. Наконец она подняла голову.

— Может, поеду за границу.

Рука Адриана потянулась к бородке.

— Понятно,— сказал он наконец.— А деньги?

— Денег хватит.

— И куда?

— Куда глаза глядят.

— Одна?

Динни кивнула.

— Неприятная сторона всякого отъезда заключается в том, что рано или поздно приходится возвращаться.

— Здесь мне пока нечего делать. Вот я, пожалуй, и облегчу участь моих близких, избавив их от своего присутствия.

Адриан задумался.

— Ну что ж, дорогая, тебе виднее. Но если ты настроилась съездить куда-нибудь подальше, мне кажется, что Клер обрадуется, если ты решишь поехать на Цейлон.

По невольному движению ее руки он понял, что мысль эта не приходила ей в голову, и продолжал:

— Мне почему-то кажется, что живется ей несладко.

Динни испытующе поглядела на дядю.

— У меня было такое же ощущение на свадьбе; мне его лицо не понравилось.

— У тебя ведь просто дар помогать другим, Динни. Как бы мы ни ругали христианство, но заповедь «Давайте, и воздастся вам» — великие слова.

— Эх, дядя, даже сын божий не прочь был иногда пошутить.

Адриан внимательно поглядел на нее.

— Если поедешь на Цейлон, не забудь, что плоды мангового дерева надо есть над миской, они очень сочные.

Вскоре он с ней расстался и, чувствуя, что больше сегодня работать не сможет, отправился на выставку лошадей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

На Саус-сквер выписывали и «Текущий момент», — политические деятели не могут обойтись без такого рода прессы, иначе рискуешь не уследить за погодой на Флит-стрит. Майкл за завтраком сунул газету Флер.

За шесть дней, которые Динни провела у них в доме, никто из них и словом не обмолвился об Уилфриде. Но теперь Динни спросила сама:

— Можно мне поглядеть?

Флер дала ей газету. Динни прочла заметку, ее слегка передернуло, но она продолжала завтракать. Кит нарушил молчание, сообщив, каких показателей добился Хеббс.

— Не правда ли, тетя Динни, он ничуть не хуже У. Дж. Грейса? ¹

— Увы, Кит, я ни разу не видела ни того, ни другого.

— Как, ты не видела У. Дж.?

— По-моему, он умер, когда меня еще не было на свете.

Кит поглядел на нее с недоверием.

— А-а-а...

— Он умер в тысяча девятьсот пятнадцатом, — сказал Майкл. — Тебе уже было лет одиннадцать.

— Неужели ты и правда никогда-никогда не видела Хеббса, тетя?

— Нет.

— А я его видел целых три раза. Я учусь бить согнутой рукой, как он. «Текущий момент» пишет, что Бредман — лучший игрок в мире. Как ты думаешь, он даже лучше Хеббса?

— Нет, но вокруг него легче поднять шумиху.

— А что такое «поднять шумиху»?

— То, чем занимаются газеты.

¹ Грейс Уильям (1848—1915) — известный в Англии игрок в крикет.

- Значит, выдумывать?
- Необязательно.
- А сейчас о ком поднимают шумиху там, где ты читаешь?
- Ты не знаешь.
- А вдруг знаю?
- Кит, не приставай!— сказала Флер.
- Можно взять яйцо?
- Можно.

Снова наступило молчание; потом Кит поднял в воздух вымазанную желтком ложку и отставил один палец.

— Смотри! Ноготь еще чернее, чем вчера! Как ты думаешь, он отвалится?

- А что ты с ним сделал?
- Придавил ящиком стола. Но я ни капельки не плакал.
- Не хвастайся, Кит.

Кит кинул на мать ясный, прямой взгляд и снова принялся за яйцо.

Полчаса спустя, когда Майкл сидел за своей перепиской, Динни вошла к нему в кабинет.

- Ты очень занят?
- Нет, дорогая.
- Я насчет этой газеты. Неужели они не могут оставить его в покое?

— Сама видишь, «Леопард» продается нарасхват. Скажи, а как там у вас дела?

— Я слышала, будто у него был приступ малярии, но не знаю, ни где он, ни что с ним сейчас.

Майкл поглядел, как она храбро пытается улыбнуться, и нерешительно спросил:

- Хочешь, я о нем разузнаю?
- Если я ему буду нужна, он найдет меня сам.
- Я повидаюсь с Компсоном Грейсом. С Уилфридом у меня почему-то разговор не получается.

Когда она вышла, Майкл посидел, сердито перебирая письма, на которые ему так и не захотелось отвечать. Бедная Динни! Какое все это безобразие! Потом он сдвинул письма в сторону и ушел.

Контора Компсона Грейса помещалась неподалеку от Ковент-Гардена,— этот рынок по каким-то пока непонятным причинам влечет к себе литераторов. Когда Майкл около полудня вошел к молодому издателю, тот сидел в единственной прилично обставленной комнате своей конторы и с довольной улыбкой читал газетную вырезку. При виде посетителя он встал.

— Здравствуйте, Монт! Видели заметку в «Моменте»?

— Да.

— Я послал ее Дезерту, а он надписал сверху вот эти четыре строчки. Здорово, а?

Майкл прочел четыре строки, написанные рукой Уилфрида:

Приказ хозяина — закон!
Велит «куси!»— кусает он...

Велит «служи!» — скулит, юлит, —
Все, как хозяин повелит.

— Он, значит, в городе?

— Был полчаса назад.

— А вы его видели?

— Нет, не видел с тех пор, как вышла поэма.

Майкл кинул острый взгляд на его благообразное, пухлое лицо.

— Довольны тем, как идет книжка?

— Выпустили сорок одну тысячу, и конца еще не видно.

— Случайно не знаете, собирается Уилфрид опять на Восток?

— Понятия не имею.

— Ему, наверно, здорово опротивела вся эта канитель.

Компсон Грайс пожал плечами.

— Много ли поэтов зарабатывали тысячу фунтов на книжке стихов в сто страниц?

— Недорогая цена за человеческую душу.

— И наверняка получит еще тысячу.

— Я всегда считал, что печатать «Леопарда» не надо. Раз он на это пошел, — я его всячески защищал, но этот поступок был непоправимой ошибкой.

— Не согласен.

— Естественно. Вам он принес немало.

— Смейтесь сколько хотите, — с горячностью возразил Грайс, — но если бы он не хотел, чтобы поэма вышла, он бы мне ее не послал! Я не сторож брату моему. И то, что вещь имеет успех, ее нисколько не порочит.

Майкл вздохнул.

— Наверно, нет, но для него это — не шутка. На этом рушится его жизнь.

— И тут я с вами не согласен! Жизнь его рушилась, когда он отрекся от веры, чтобы спасти свою шкуру. А теперь пришло искупление, — оно принесло ему, кстати, совсем недурной доход. Его имя знают тысячи людей, не имевших о нем раньше никакого понятия.

— Да, — задумчиво сказал Майкл, — тут вы правы. Ничто не приносит такой популярности, как гонения. Грайс, я вот о чем вас попрошу. Узнайте как-нибудь обиняком, каковы его намерения. Я однажды позволил себе бестактность и не могу обратиться к нему сам, а мне очень нужно это знать.

— Гм-м, — поморщился Грайс. — Вы же знаете, что он кусается.

Майкл ухмыльнулся:

— Ну, своего благодетеля он не укусит. Я вас серьезно прошу. Сделаете?

— Попытаюсь. Кстати, вот книжка этого канадца, которую я только что издал. Превосходная вещь! Я пошлю вам экземплярчик, жене, безусловно, понравится. («И она всем о ней расскажет», — добавил он про себя.) Он пригладил свои и без того прилизанные темные волосы и протянул Майклу руку. Майкл пожал ее чуть-чуть крепче, чем ему бы хотелось, и ушел.

«В конце концов,— думал он,— для Грайса это всего-навсего коммерция. Что ему Уилфрид? В наше время надо хватать все, что попадет под руку!» И он задумался о том, что заставляет людей покупать эту книгу, где нет ни эротики, ни убийств, ни сенсационных разоблачений. Доброе имя империи? Национальная гордость? Ерунда! Нет, болезненный интерес к тому, как далеко может зайти человек, спасая свою жизнь и при этом не поступаясь тем, что принято звать душой. Другими словами, спрос на книгу определялся той безделицей, которую немало людей считают уже умершей: совестью. Перед совестью читателя ставится вопрос, на который ему не так-то легко ответить; а поскольку поставила этот вопрос перед автором сама жизнь, читатель чувствует, что в любой момент такой же страшный выбор может встать и перед ним самим. Что же он тогда будет делать, несчастный? И Майкл вдруг, в который уже раз, почувствовал прилив глубочайшей жалости и даже какого-то почтения к людям, за что более интеллектуальные из его друзей порой называли его «беднягой Майклом».

Размышляя таким образом, он дошел до своей приемной в парламенте и принялся было рассматривать предложенный кем-то законопроект об охране природных богатств, но ему принесли визитную карточку генерала Конвея Черрела с припиской: «**Можете вы уделить мне минутку?**»

Майкл черкнул тут же карандашом: «**Буду очень рад, сэр**»,— вернул карточку служителю и встал. Из всех своих родных он хуже всего знал отца Динни и ждал его прихода с некоторым трепетом.

Генерал вошел со словами:

— Ну, тут у вас настоящий крольчатник!

Вид у него был подтянутый, как и полагается человеку его профессии, но лицо осунулось и казалось встревоженным.

— Хорошо, что мы хоть не размножаемся, как кролики, дядя Кон! Генерал сухо рассмеялся.

— Да, и на том спасибо! Надеюсь, я тебе не помешал? Я насчет Динни. Она все еще живет у вас?

— Да.

Генерал помялся, но потом, скрестив руки на набалдашнике своей трости, твердо произнес:

— Ты ведь близкий друг Дезерта, правда?

— Был им. Теперь я и сам не знаю, друг я ему или нет.

— Он еще в Лондоне?

— Да, я слышал, что у него приступ малярии.

— Динни с ним еще встречается?

— Нет.

Генерал снова помялся и снова собрался с духом, крепко сжав руками трость.

— Мы с матерью, как понимаешь, хотим только ее счастья. Мы хотим, чтобы ей было хорошо, все остальное не имеет значения. А ты как думаешь?

— Мне кажется, не важно, что мы все думаем.

Генерал нахмурился.

— То есть как это так?

- Важно, что думают они оба.
- Я слышал, что он собирается уезжать.
- Он сказал это моему отцу, но пока не уехал. Его издатель только что говорил мне, что сегодня утром он еще был у себя.
- А как Динни?
- Очень удручена. Но старается не показывать вида.
- Надо, чтобы он наконец решился.
- На что?
- Это нехорошо по отношению к Динни. Он должен либо жениться, либо немедленно уехать.
- А вам на его месте легко было бы принять решение?
- Не знаю.

Майкл беспокойно заходил по комнате.

— По-моему, вопрос этот решается не так просто. Ведь тут замешано оскорбленное самолюбие, а когда оно входит в игру, то уродует и все остальные чувства. Вам-то следует это знать, сэр. Вы не раз видели людей, попавших под военно-полевой суд.

Генерал был поражен — слова Майкла показались ему откровением. Он молча глядел на племянника во все глаза.

— Уилфрида судят военно-полевым судом, — продолжал тот, — но у вас это делается быстро, без затей, а его подвергают медленной пытке, и я не вижу ей конца.

— Понятно, — тихо сказал генерал. — Но он не должен был втягивать в это дело Динни.

Майкл улыбнулся.

— Любовь никогда не поступает по правилам.

— Да, теперь считают, что это так.

— Если верить слухам, то так считали и в древности.

Генерал подошел к окну и постоял, глядя на улицу.

— Мне не хочется идти к Динни, — сказал он, не оборачиваясь. — Я боюсь ей надоедать. И мать тоже боится. Мы ведь ничем ей не можем помочь!

В его тоне звучала такая тревога за дочь, что Майкл был растроган.

— Мне кажется, что, так или иначе, все это скоро кончится, — сказал он. — И как бы оно ни кончилось, — все будет к лучшему, и для них, и для всех кругом.

Генерал повернулся к нему.

— Будем надеяться. Я хотел просить тебя держать нас в курсе событий. И не давай Динни ничего делать без нашего ведома. Нам очень тяжело ждать, не зная, что с ней. Не буду тебя больше задерживать. Спасибо, ты меня утешил. До свиданья.

Он крепко пожал племяннику руку и ушел. Майкл подумал: «Ждать у моря погоды... Что может быть хуже? Бедный старик...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Компсон Грайс, человек не злой и относившийся к Майклу с симпатией, отправился обедать, раздумывая о своем обещании. Он свято верил, что ничто так не помогает жить, как хорошая еда, и в любом другом

случае пригласил бы нужного человека пообедать и вытянул бы из него все, что хотел узнать, за второй или третьей рюмкой коллекционного коньяка. Но Уилфрида он боялся. Поэтому, поглощая камбалу под белым соусом и запивая ее шабли, он решил написать ему письмо, которое и сочинил, сидя в зеленом кабинете своего клуба за чашкой кофе и попыхивая сигарой.

«Клуб «Всякая всячина».

Дорогой Дезерт!

Учитывая поразительный успех «Леопарда» и возможность больших тиражей в будущем, я хотел бы точно знать, что я должен делать с вашими авторскими, когда придет время их выплачивать. Не будете ли вы добры уведомить меня, собираетесь ли опять на Восток и когда; сообщите мне адрес, по которому я смогу переводить вам деньги. Может быть, вы предпочтете, чтобы я вносил гонорар прямо на ваш текущий счет, под квитанцию банка? До сих пор наши финансовые отношения были довольно несложными, но «Леопард», несомненно, повысит — и уже повысил — спрос на обе ваши предыдущие книжки, поэтому мне нужно знать, где вы находитесь. Долго ли еще вы собираетесь пробывать в городе? Я, как всегда, буду искренне рад, если вам захочется ко мне заглянуть.

Сердечно поздравляю с успехом и желаю всего наилучшего.

Искренне ваш К о м п с о н Г р а й с.

Письмо это, написанное изящным почерком, он адресовал на Корк-стрит и тут же отправил с посыльным. Весь остаток обеденного перерыва он расхваливал своим глуховатым голосом только что выпущенную им канадскую продукцию, а потом, взяв такси, отправился назад в Ковент-Гарден. В приемной его встретил конторщик.

— Вас дожидается в кабинете мистер Дезерт.

— Хорошо! — воскликнул Компсон Грайс, подавив невольный трепет и подумав: «Быстрая работа!»

Уилфрид стоял у окна, откуда был виден край Ковент-Гарденского рынка, и Грайс испугался, когда тот обернулся к нему; лицо почернело, заострилось и дышало горечью; рука, когда он ее пожал, показалась ему лихорадочно горячей и сухой.

— Вы получили мое письмо? — спросил он.

— Спасибо. Вот адрес моего банка. Лучше всего вносить деньги туда и получать от них квитанции.

— У вас неважный вид. Собираетесь в путь?

— Да, наверно... Но что ж, прощайте, Грайс. Спасибо за все.

Компсон Грайс сказал на этот раз от души:

— Мне очень жаль, что вам так досталось...

Уилфрид передернул плечами и пошел к двери.

Когда он скрылся, издатель постоял, вертя в руках адрес банка. Потом он сказал вслух: «Ох, не нравится мне его вид. Определенно не нравится...» — и взялся за телефонную трубку.

Уилфрид двинулся в северную часть города; ему надо было нанести еще один визит. В музей он пришел как раз, когда Адриану подали его дуврский чай с булочкой.

— Вот хорошо!— сказал Адриан, вставая ему навстречу.— Очень рад вас видеть. Подвигайте к себе чашку, она чистая. Садитесь.

Вид Дезерта и прикосновение его горячей руки испугали Адриана не меньше, чем Грайса.

Уилфрид отхлебнул чай.

— Можно закурить?

Он закурил сигарету и, нахохлившись, молчал. Адриан ждал, чтобы он заговорил первый.

— Простите, что вломился к вам без зова...— сказал наконец Уилфрид,— но я снова собираюсь в дальние края. Я хотел узнать, что будет для Динни легче: если я просто исчезну или все-таки напишу ей.

У Адриана стало как-то очень тоскливо на сердце.

— Вы боитесь, что, если с ней встретитесь, не сможете выдержать характер?

Дезерт нервно дернулся.

— Да нет, не совсем. Может, вам покажется это свинством, но мне все так опротивело, что я больше ничего не чувствую. Если я с ней встречусь, я могу ее обидеть. А она настоящий ангел. Вам, наверно, трудно понять, что со мной происходит. Да я и сам не пойму. Знаю только, что мне хочется поскорее уехать от всего и от всех.

Адриан кивнул.

— Я слыхал, что вы были больны,— может, этим и объясняется ваше состояние? Ради бога, не делайте ошибки, не обманитесь в себе!

Уилфрид улыбнулся.

— Малярия для меня дело привычное. Она тут ни при чем. Вам это покажется смешным, но у меня такое чувство, будто из меня выцедили всю кровь. Я хочу уехать туда, где ничто и никто мне не будут обо всем этом напоминать. А Динни напоминает больше, чем кто бы то ни было.

— Понятно,— грустно сказал Адриан, поглаживая бородку. Потом встал и заходил по комнате.— А вам не кажется, что было бы честнее по отношению к себе и к Динни с ней увидеться?

Уилфрид ответил почти с яростью:

— Повторяю вам, я могу сделать ей больно!

— Вы ей все равно причините боль — слишком уж она цельная натура, ничего не делает наполовину. Послушайте! Вы же напечатали эту поэму намеренно. Мне все время казалось, что для вас этот поступок — нечто вроде искупления. А ведь, несмотря на это, вы предложили Динни стать вашей женой. Я не такой болван, чтобы требовать — женитесь на ней, даже если вы больше не питаете к ней прежнего чувства; но уверены ли вы, что это так?

— Чувства мои не изменились, у меня их просто больше нет. У парии, у шелудивого пса все чувства убиты.

— Вы понимаете, что говорите?

— Прекрасно понимаю. С той минуты, как я отрекся, я знал, что теперь я пария,— все равно, знают об этом люди или нет. Но оказалось, что и это — не все равно.

— Понятно,— повторил Адриан и застыл.— Наверно, вы правы и другого выхода нет.

— Не знаю, как для других, а для меня — нет. Я изгнан и должен жить один. И не жалею. У меня нет для себя оправдания.— В его тоне звучала холодная решимость.

— Значит, вы хотите знать, как вам меньше огорчить Динни?— очень мягко спросил Адриан.— Этого я вам сказать не могу. К великому моему сожалению. В прошлый раз я дал вам неверный совет. Да и разве можно давать советы? Вы сами должны решать, как вам поступать.

Уилфрид встал.

— Смешно, правда? Меня толкнуло к Динни одиночество. И оно же отталкивает меня от нее. Ну, прощайте, сэр; думаю, что я вас больше никогда не увижу. И спасибо за то, что вы хотели мне помочь.

— Мне очень обидно, что я не смог ничего сделать.

Лицо Уилфрида вдруг озарилось неожиданной улыбкой, которая так его красила.

— Попробую еще разок прогуляться. А вдруг меня осенит, и я пойму, как мне быть. Во всяком случае, поверьте: я не хочу огорчать ее больше, чем нужно. Прощайте!

Чай Адриана простыл, булочка осталась нетронутой. Он отодвинул их от себя. У него было такое чувство, будто он предал Динни, но, господи прости, что же он мог сделать? Какие странные глаза у этого человека! «Будто из меня выцедили всю кровь...» Фу, как это страшно! Но, судя по его лицу, так оно и есть. Уж больно тонкая душевная организация. И дьявольская гордыня! «Собираюсь в дальние края». Будет бродить по Востоку, как Вечный Жид; станет одним из тех загадочных англичан, кого встречаешь в забытых богом уголках земли. Откуда они — не говорят, это люди без будущего, живут только сегодняшним днем. Адриан набил трубку и попытался убедить себя, что в конце концов Динни будет счастливее, не имея такого мужа. Но это ему не удалось. В жизни женщины только однажды расцветает настоящая любовь, и у Динни это она и есть. Тут сомневаться нечего. Можно, конечно, прожить и без такой любви, о да, несомненно! Но «песен и золота» уже больше не будет! И, схватив свою потрепанную шляпу, он вышел на улицу и направился было в сторону Гайд-парка, но, поддавшись внезапному порыву, свернул на Маунт-стрит.

Когда Блор ввел Адриана в гостиную, его сестра заканчивала язык одной из собак на своем гобелене и делала последние стежки красными нитками. Она показала вышивку Адриану.

— С него должна капать слюна. Он ведь смотрит на того зайчика. А синие капли будет красиво?

— Лучше серые на этом фоне.

Леди Монт испытующе поглядела на брата, усевшегося на маленький стульчик, поджав длинные ноги.

— Ты похож на военного корреспондента — походный стульчик и вечно некогда побриться. Я так хочу, чтобы Динни вышла замуж! Ей уже двадцать шесть. Все это такая ерунда насчет трусости. Они могли бы поехать на Корсику.

Адриан улыбнулся. Эм, конечно, была права, и в то же время как она ошибалась!

— Сегодня приходил Кон,— продолжала его сестра,— он был у Майкла. Никто ничего не знает. А Флер говорит, что Динни все время гуляет с Китом и Дэнди, нянчит Кэтрин и читает книжки, не переворачивая страниц.

Адриан раздумывал, стоит ли рассказать ей о встрече с Дезертом.

— А Кон говорит, что в этом году он никак не может свести концы с концами,— тут и свадьба Клер, и налоги, и беременность Джин,— ему придется срубить часть леса и продать лошадей. Мы тоже сидим без денег. Хорошо, что у Флер их много. Деньги — это такая скука. А как ты думаешь?

Адриан вздрогнул,— он думал совсем о другом.

— Да, никто сейчас ничего хорошего и не ждет, лишь бы кое-как хватало на жизнь.

— Хуже всего иждивенцы. У Босуэла сестра, которая может ходить только одной ногой, а у жены Джонсона — рак, вот бедняга! И у всех что-нибудь или кто-нибудь да есть. Динни говорит, что в Кондафорде у матери столько забот; в деревне такая беднота. Прямо не знаю, как будем жить. Лоренс не может скопить ни гроша.

— Мы сидим между двух стульев, Эм, и в один прекрасный день с грохотом полетим на пол.

— Да, наверняка кончим в богадельне.— И леди Монт поднесла свою вышивку к свету.— Нет, течь с него не будет. А нельзя поехать в Кению? Говорят, там все-таки можно себя прокормить?

— Меня бесит мысль,— воскликнул вдруг Адриан с непривычным жаром,— что какой-нибудь выскочка купит Кондафорд и будет устраивать там воскресные попойки.

— Тогда я лучше уйду в лес и буду всех пугать, как леший. Что же это за Кондафорд без Черрелов?

— А очень просто! Есть такая чертова штука, как прогресс, а Англия — колыбель прогресса.

Леди Монт вздохнула и, встав, подплыла к своему попугаю.

— Полли! Мы с тобой пойдем в богадельню.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда Компсон Грайс позвонил Майклу или, вернее, Флер, потому что Майкла не было дома, голос у него был смущенный.

— Что ему передать, мистер Грайс?

— Ваш муж просил меня выяснить намерения Дезерта. Так вот — Дезерт только что у меня был и сказал, что он опять собирается уезжать, но я... мне не понравилось, как он выглядит, и рука у него была горячая, будто у него лихорадка.

— Да, у него малярия.

— А! Кстати, я посылаю вам книгу, она вам безусловно понравится; автор — француз из Канады.

— Большое спасибо. Я передам Майклу, когда он придет.

Флер задумалась. Сообщить эту новость Динни? Ей не хотелось ничего говорить, не посоветовавшись с Майклом, но в эти дни он был очень занят в палате и вряд ли вернется даже к ужину. Как это похоже на Уилфрида — мучить человека неизвестностью! Флер не сомневалась, что знает ему цену лучше, чем Динни или Майкл. Они уверены, что под всем наносным сердце у него — золотое; Флер же, к которой он когда-то питал такую необузданную страсть, знала, что золото это не самой высокой пробы. «Я понимаю его, наверно, потому,— признавалась она себе не без горечи,— что у меня самой натура куда более низменная, чем у них». Люди меряют своих ближних на свой аршин. Однако ей трудно было высоко ценить человека, чьей любовницей она так и не стала и кто сбежал тогда на край света. Увлечения Майкла всегда были неумеренными, ну, а Динни,— Динни она вообще не понимала.

И Флер снова села писать письма. Это были важные письма,— она приглашала сливки лондонского общества на встречу с высокопоставленными индийскими дамами, которые приехали в Лондон на конференцию. Флер кончала писать свои письма, когда снова зазвонил телефон. Майкл спрашивал, нет ли каких-нибудь вестей от Компсона Грайса. Она передала мужу все, что ей сообщил Грайс.

— А ты вернешься к ужину?— спросила она.— Хорошо! Я боюсь ужинать вдвоем с Динни: она так неестественно весела, что у меня мороз подирает по коже. Я понимаю,— не хочет огорчать родных, но если бы она чуть больше проявляла свои чувства, она огорчала бы нас куда меньше... Дядя Кон? Ну, это просто смешно, теперь, кажется, вся семья хочет того, от чего она раньше приходила в ужас! Да кто же может спокойно смотреть, как она мучается?... Она поехала с Китом на машине пускать кораблик в Круглом пруду; они отправили Дэнди и кораблик назад с шофером, а сами идут пешком... Хорошо, дорогой. В восемь? Не опаздывай, если можешь... А, вот Динни и Кит! До свиданья!

Кит вошел в гостиную. Загорелое лицо, синие глаза, свитер под цвет глазам, короткие штанишки — тоже синие, но потемнее; зеленые чулки до коленок, на ногах спортивные коричневые ботинки, золотистая головка не покрыта шляпой.

— Тетя Динни пошла к себе прилечь. Ей пришлось посидеть на травке. Она говорит, что скоро поправится. Как ты думаешь, у нее будет корь? У меня ведь была корь, правда, мамочка? Когда ее положат в отдельную комнату, мне можно будет с ней играть? Какой-то человек ее так испугал!

— Кто?

— Он к нам не подошел. Такой высокий человек. У него была шляпа в руке, и когда он нас увидел, он сразу побежал.

— Почему ты знаешь, что он вас увидел?

— Ну, он сделал вот так, а потом побежал.

— Это было в парке?

— Да.

— В каком?

— В Грин-парке.

— Он такой худой, с темным лицом?

— Да, а ты его тоже знаешь?

— Почему «тоже»? Разве тетя Динни его знает?

— Я думаю, да; она сказала «ах!» — вот так. И положила руку вот сюда. А потом она все смотрела, как он побежал, а потом она села на траву. Я даже обмахивал ее шарфом. Я люблю тетю Динни. У нее есть муж?

— Нет.

Когда Кит ушел, Флер постояла в нерешительности. Что теперь делать? Динни, конечно, понимает, что Кит ей все расскажет. Она решила послать наверх записочку и валерьяновых капель.

Динни ответила.

«Не беспокойтесь, к ужину я буду совершенно здорова».

Но когда пришло время ужина, она прислала сказать, что еще чувствует небольшую слабость и просит разрешения поскорее лечь, чтобы хорошенько выспаться. Поэтому в конце концов Майкл и Флер ужинали вдвоем.

— Это, несомненно, был Уилфрид.

Майкл кивнул.

— Господи, хоть бы он поскорей уехал! Все это просто ужасно. Помнишь то место у Тургенева, где Литвинов смотрит, как дым от паровоза клубится над полями и исчезает вдали?

— Нет. А что?

— Все, что наполняло жизнь Динни, уносится, как дым.

— Да,— сказала Флер сквозь зубы.— Но огонь прогорит и погаснет.

— А что останется?

— Ну, останки можно будет опознать...

Майкл пристально поглядел на свою подругу жизни. Она внимательно рассматривала кусочек рыбы у себя на вилке. С вымученной улыбкой она поднесла его к губам и стала жевать, словно пережевывая прошлое. Можно будет опознать! Да, она-то не изменилась, такая же хорошенькая, как прежде, разве что чуть-чуть пополнила. но ведь теперь опять вошла в моду округлость форм. Он отвел глаза; его все еще волнует мысль о той истории, четыре года назад, о которой он так мало знал, так много подозревал и никогда не говорил. Дым! Неужели всякая страсть всегда сгорает дотла, уплывая синим дымком над полями, на миг заволакивает солнце, стога и деревья, а потом бесследно растворяется в небе, по-прежнему прозрачном и ярком? Бесследно? Нет, не может быть! Ведь дым — это сгоревшая материя, и там, где полыхал пожар, все же остается пепелище. Облик Динни, которую он знал с раннего детства, тоже, конечно, изменится,— но какой она будет: жестче, суше, тоньше или просто увянет? Он сказал Флер:

— Мне надо вернуться в палату к девяти,— сегодня будет выступать министр финансов. Не знаю, зачем мы его слушаем, но так уж принято.

— Для меня всегда было загадкой, зачем вы слушаете друг друга. Хоть один оратор заставил кого-нибудь изменить свое мнение?

— Нет,— скорчил гримасу Майкл,— но всегда на что-то надеешься... Мы без конца разглагольствуем о каком-нибудь мероприятии, а по-

том голосуем; но мы с тем же успехом могли бы проголосовать сразу, после первых двух речей. И так продолжается уже сотни лет.

— Дань предкам!— сказала Флер. — Кит думает, что у Динни будет корь. Он меня спрашивал, есть ли у нее муж... Кокер, подайте, пожалуйста, кофе, мистеру Монтю надо уходить.

Когда Майкл поцеловал ее и ушел, Флер поднялась к детям. Кэтрин спала очень крепко; приятно было смотреть на этого хорошенького ребенка с мягкими волосиками, которые, наверно, будут такими же, как у нее, и глазками — не то серыми, не то карими, — они вполне еще могут стать светло-зелеными. Крошечный кулачок был прижат к щеке, и дышала она легко, как цветок. Кивнув няньке, Флер прошла в другую детскую. Будить Кита было опасно. Он начнет просить печенья, может, и молока, захочет поболтать, пристанет, чтобы она ему почитала. Но хотя дверь и скрипнула, он не проснулся. Его золотистая голова глубоко утонула в подушке, из-под которой высывалось дуло пистолета. В комнате было жарко, и мальчик скинул одеяло; мерцающий ночник освещал его тельце в голубой пижаме, открытое до колен. Кожа у него была свежая, загорелая, а подбородок он унаследовал от Форсайтов. Флер подошла поближе. Он выглядел таким аппетитным и так храбро решился заснуть, несмотря на то, что повсюду таились воображаемые враги... Она осторожно взялась за край простыни, натянула ее и бережно укрыла мальчика, потом задумчиво постояла возле кровати. Это самый счастливый возраст, и он продлится еще года два, пока мальчик не пойдет в школу. Его, слава богу, еще не мучают страсти! Все к нему добры; что ни день — какое-нибудь удивительное приключение, прямо как из книжки. А книжки! Детские книги Майкла, ее собственные и несколько современных, из тех, что можно дать детям. Да, это самый чудесный возраст! Флер быстро оглядела тускло освещенную комнату. Ружье и сабля лежат наготове в кресле! Взрослые кричат о разоружении и до зубов вооружают своих детей. Остальные игрушки, главным образом заводные, — в классной комнате. Ах нет, вон там на подоконнике корабль, который они пускали с Динни, паруса у него все еще подняты; а на подушке в углу лежит собака, — она слышит Флер, но ей лень подняться. Флер увидела тоненькое перышко ее хвостика; он поднят и тихонько покачивается в знак приветствия. Боясь нарушить этот блаженный покой, Флер послала им обоим воздушный поцелуй и тихонько выскользнула за дверь. Снова кивнув няньке, она взглянула на спящую Кэтрин и на цыпочках спустилась вниз. Этажом ниже, над ее комнатой, спит Динни. Может быть, надо проявить внимание, зайти и спросить, не хочет ли она чего-нибудь? Флер подошла к двери. Только половина десятого! Динни, конечно, еще не спит. Да она сегодня вряд ли заснет. Лежит, наверно, одна и грустит, — как это неприятно! Может, ей будет легче, если она с кем-нибудь поговорит, отвлечется? Флер уже подняла было руку, чтобы постучать, как вдруг до нее донеслись приглушенные, но такие знакомые звуки: Динни плакала, уткнувшись в подушку. Флер словно окаменела. Она не слышала этого уже почти четыре года, с тех пор, как плакала сама. Воспоминание резнуло ее до боли — это ужасно, но она туда ни за что не войдет, не станет вторгаться. Заткнув уши, она отошла от двери и бегом спустилась вниз. Ей все мерещилось, что она

слышит плач, и, чтобы заглушить его, она включила радио. Передавали второй акт «Мадам Баттерфляй». Она выключила радио, села за письменный столик и снова принялась быстро писать готовые фразы: «...Будем так рады, если и т. д. познакомиться с очаровательными индийскими дамами и т. д. Ваша и т. д. Флер Монт». Она повторяла эти фразы снова, снова и снова, а в ушах у нее все раздавался приглушенный плач. Как сегодня душно! Она отдернула занавеску и пошире распахнула окна. Злая это штука — жизнь, повсюду тебя подстерегают беды и огорчения. Если ты сама идешь ей навстречу и хватаешь жизнь за горло, она тебе иногда уступит, но тут же выскользнет из рук, чтобы нанести коварный удар в спину. Половина одиннадцатого! О чем они так долго кудахчут там, в парламенте? Небось о каком-нибудь грошовом налоге. Флер закрыла окно и затянула шторы, наклеила марки и оглядела комнату, прежде чем погасить свет. И вдруг ей вспомнилось лицо Уилфрида, там, за окном, плотно прижатое к стеклу, в ту ночь, когда он убежал от нее навсегда. А что, если он опять здесь, что, если все повторилось вновь и этот странный человек снова явился сюда, как бесплотный дух, и прильнул к стеклу, в погоне уже не за ней, а за Динни? Она погасила свет, ощупью пробралась к окну, украдкой чуть-чуть отодвинула штору и выглянула наружу. За стеклом не было ничего, кроме света фонарей, искусственно продлевающих день. Она с раздражением задернула штору и поднялась в спальню. Стоя перед высоким зеркалом, она на мгновение прислушалась, не доносится ли чего-нибудь сверху, а потом запретила себе слушать. Вот она, жизнь! Стараешься не видеть и не слышать того, что может причинить боль, — если удается. И кто же бросит в тебя за это камень? Кругом так много такого, на что не закроешь глаз, и бесполезно зажимать уши или затыкать их ватой!

Флер уже ложилась в постель, когда вернулся Майкл. Она рассказала ему о том, что слышала наверху, и он тоже постоял, прислушиваясь, но через плотный потолок не проникало ни звука. Он вышел в туалетную комнату, вернулся оттуда в халате, который ему подарила Флер, темно-синем, с вышитым воротником и манжетами, и стал расхаживать взад и вперед по спальне.

— Ложись, — сказала Флер, — все равно ничем не поможешь.

Они поговорили, лежа в кровати. Первым заснул Майкл. Флер не спалось. Часы на здании парламента пробили двенадцать. Город продолжал тихонько рокотать, но в доме была тишина. Порой где-то скрипит половица, словно вздыхая после дневных трудов, рядом слышалось негромкое посапывание Майкла, — вот и все, если не считать тихого шелеста ее собственных мыслей. Сверху — ни звука. Флер стала размышлять, куда они поедут летом, во время отпуска. Они с Майклом подумывали о Шотландии, о Корнуэлле; но ей хотелось хоть месяц провести на Ривьере и вернуться оттуда бронзовой, — ей еще ни разу не удавалось как следует загореть с головы до ног. Детей можно спокойно оставить на няню и гувернантку. Что это? Где-то тихо хлопнула дверь. Заскрипели ступеньки... Она толкнула Майкла.

— Что?

— Слушай!

Снова что-то скрипнуло.

— Шум сверху,— прошептала Флер.— Выйди, погляди.

Он встал с постели, надел халат, комнатные туфли и, тихонько приоткрыв дверь, выглянул на лестницу. На площадке не было никого, но в холле слышались шаги. Он сбежал вниз.

У парадной двери темнела какая-то фигура.

— Это ты, Динни?— ласково спросил Майкл.

— Да.

Майкл шагнул вперед. Фигура отшатнулась от двери, и когда Майкл подошел, Динни сидела на «саркофаге». В темноте белела только рука, державшая шарф, которым были прикрыты голова и лицо.

— Может, тебе что-нибудь дать?

— Нет. Мне захотелось подышать воздухом.

Майкл удержался от желания зажечь свет. В темноте он погладил ее по руке.

— Я не думала, что ты услышишь,— сказала она.— Прости.

А что, если заговорить с ней о ее горе? Рассердится она или будет ему благодарна?

— Бедная моя девочка,— сказал он,— делай что хочешь, лишь бы тебе было легче.

— Нет, это глупо. Я пойду спать.

Майкл обнял ее и убедился, что Динни надела пальто. Она прижалась к нему, придерживая шарф, закрывавший лицо. Он ласково побаюкал ее. Тело ее обмякло, голова опустилась к нему на плечо. Майкл замер и затаил дыхание. Пусть отдохнет!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Когда Уилфрид вышел от Адриана, он не знал, куда ему деваться, и бродил по улицам, как во сне, в котором все время снится одно и то же, пока не проснешься. Он прошел по Кингсуэй на набережную, до Вестминстерского моста, свернул на него и облокотился о перила. Прыжок — и все будет кончено! Начинался отлив: воды Англии покидали ее, уходя в море, чтобы никогда больше не вернуться, и радовались своему избавлению! Избавление! Избавиться от всех, кто заставляют его думать о себе. Избавиться от непрерывного копания в своей душе, от самобичевания. Покончить с этим проклятым слюнтяйством, с этой мягкотелостью, довольно думать о том, что он ее огорчит! От таких огорчений еще никто не умирал. Поплачет и забудет. Сентиментальность уже однажды подвела его. Больше этого не будет! К черту! Не будет!

Он долго простоял, опершись на парпет, глядя на блестящую воду и плывущие мимо суда; время от времени рядом останавливался прохожий, заподозрив, что Уилфрид видит там, внизу, что-то интересное. Так оно и было! Уилфрид видел свою собственную жизнь, сорвавшуюся со всех якорей в «никуда», несущуюся по морям, как «Летучий голландец», в дальние-дальние края. Там хотя бы ему не понадобятся ни бравата, ни раболепство, ни чужая жалость, ни лицемерие; он гордо поднимет свой флаг на самую верхушку мачты!

— А ведь не зря говорят,— сказал кто-то рядом,— что ежели долго в воду смотреть, того и гляди туда кинешься!

Уилфрид, вздрогнув, отошел. «Господи! — подумал он. — Что со мной, — прямо не человек, а комок нервов!» Он сошел с моста со стороны Уайтхолла и побрел в Сент-Джеймский парк, обогнул длинный пруд, добрался до клумб с геранью и больших каменных изваяний перед дворцом, вошел в Грин-парк и опустился на сухую траву. Он долго лежал на спине, прикрыв рукой глаза, наслаждаясь тем, что солнце прогревает его насквозь. Когда он поднялся, голова у него кружилась, и ему пришлось немножко постоять, прежде чем он пришел в себя и смог пойти дальше к Гайд-парк-корнер. Он сделал всего несколько шагов, но тут же остановился как вкопанный и круто свернул направо. Навстречу ему, вдоль дорожки для верховой езды, шла женщина с мальчиком. Динни! Он увидел, как она ахнула и схватилась за грудь. Тогда он побежал. Пусть это грубо, жестоко, но зато конец. Он чувствовал себя, как человек, который всадил в кого-то нож. Грубо, жестоко, но зато конец! Никаких колебаний! Теперь ему остается только поскорее уехать! Он зашагал домой, спеша как одержимый, зубы его были оскалены в кривой улыбке, словно он сидел в кресле у зубного врача. Он ударил в самое сердце единственную женщину, с которой мог связать свою судьбу, единственную женщину, о которой мог сказать, что любит ее по-настоящему. Ну что ж! Лучше убить сразу, чем убивать постепенно, всю жизнь. Он ведь Исав, изгнанник, и дочери Израиля не для него. Шагал он так быстро, что какой-то мальчишка-посыльный даже обернулся, разинув рот, — вот бежит-то! Не обращая внимания на мчащиеся машины, Уилфрид пересек Пикадилли и свернул в узкую расщелину Бонд-стрит. Ему вдруг пришло в голову, что он никогда больше не увидит шляп от Скотта. Магазин только что закрыли, но шляпы покоились в витрине рядами: сверху цилиндры, а потом — тропические шлемы, дамские головные уборы и образчики модных фетровых шляп — широкополых и с узкими полями и тульей. Уилфрид пошел дальше, обогнул магазин духов Аткинсона и добрался до своего подъезда. Там ему пришлось посидеть на ступеньках — не было сил взобраться наверх. Нервный подъем, который был вызван неожиданной встречей с Динни, сменился полнейшей апатией. Он уже начал подниматься по лестнице, но тут сверху показался Стак с собакой. Фош кинулся к Уилфриду под ноги и прижался к ним, задрав голову. Уилфрид потрепал его за уши. Собака опять останется без хозяина!

— Завтра рано утром я уезжаю. В Сиам. И, наверно, больше не вернусь.

— Никогда, сэр?

— Никогда.

— А вы возьмете меня с собой, сэр?

Уилфрид положил руку ему на плечо.

— Спасибо, Стак, но вам там до смерти надоест.

— Простите, сэр, но в таком состоянии вам сейчас трудно будет путешествовать одному.

— Очень может быть, но я поеду один.

Стак пристально поглядел на хозяина. Взгляд был серьезный, напряженный, словно он хотел навсегда запомнить его лицо.

— Я ведь так долго прожил у вас, сэр...

— Да, и лучше ко мне вряд ли кто-нибудь относился. На случай, если со мной что-нибудь случится, я помянул вас в завещании. Вы, верно, предпочитаете жить здесь и дальше и присматривать за квартирой,— она может понадобиться отцу, когда он в городе.

— Мне бы не хотелось уезжать отсюда, если вы не берете меня с собой. Вы это твердо решили, сэр?

Уилфрид кивнул.

— Твердо. А что будет с Фошем?

Стак сперва колебался, но потом слова вырвались у него сами собой:

— Пожалуй, мне давно надо было вам это сказать, сэр... но когда мисс Черрел последний раз сюда приходила,— в ту ночь, что вы ездили в Эппинг,— она попросила, чтобы ей отдали собаку, если вы куда-нибудь уедете. Собака ее любит, сэр.

Лицо Уилфрида стало непроницаемым.

— Сводите его погулять,— сказал он и пошел вверх.

Его снова охватило смятение. Да, это убийство! Но он его уже совершил! А мертвеца не воскресить ни тоской, ни запоздалым сожалением. Собаку, если она хочет, он ей, конечно, отдаст. Почему женщины так дорожат воспоминаниями, когда самое лучшее для них — поскорее забыть? Он присел к столу и написал:

«Я уезжаю навсегда. Вместе с этой запиской ты получишь Фоша. Если хочешь, возьми его себе. Я гоюсь только на то, чтобы жить один. Прости, если можешь, и забудь.

У и л ф р и д ».

Он надписал адрес и стал медленно оглядывать комнату. Нет и трех месяцев с тех пор, как он вернулся! А кажется, что прошла целая вечность... Динни стоит возле камина, после ухода отца!.. Динни сидит на диване, подняв к нему лицо... Вот тут... вон там...

Ее улыбка, ее глаза, волосы... В душе его боролись два видения: Динни и та памятная сцена в палатке бедуина. Как же он сразу не понял, к чему это приведет? Он ведь себя знает! Уилфрид взял еще листок бумаги и написал:

«Дорогой папа,

Климат Англии мне явно вреден, и завтра я отправляюсь в Сиам. Время от времени буду сообщать свой адрес банку. Стак остается и будет следить, чтобы квартира была в порядке, поэтому ты сможешь ею пользоваться, когда захочешь. Прошу тебя, береги свое здоровье. Постараюсь посылать тебе монеты для твоей коллекции. Прощай.

Любящий тебя

У и л ф р и д ».

Отец прочтет и скажет: «Ну и ну! С чего это он вдруг? Вот чудак!» И это все, что о нем скажут или подумают. Подумают все, кроме...

Он написал еще одно письмо, на этот раз в банк; потом, усталый, прилег на диван.

У него нет сил; пусть Стак уложит вещи сам. К счастью, паспорт в порядке,— этот странный документ, который делает тебя независимым; пропуск в желанное одиночество. В комнате было тихо,— в этот час, перед вечерним разъездом, уличный шум смолкает. В лекарстве, которое он принимал после приступов малярии, был опиум, и на него напала дремота. Он глубоко вздохнул и лег поудобнее. Сквозь полубытьё он вспоминал запахи: верблюжьего помета, жареного кофе, ковров, пряностей и человеческого тела на Sukç¹, резкий, свежий ветер пустыни, болотистую вонь деревушки на берегу реки и звуки: причитания нищих, хриплый кашель верблюда, вой шакала, зов муэдзина, топот ослиных копыт, стук молотка в лавчонке чеканщика, скрип и стон колодезного ворота. Перед глазами потянулись видения знакомого ему Востока. Теперь его ждет другой Восток — чужой и более далекий... и Уилфрид наконец крепко заснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Увидев в Грин-парке, как он от нее отвернулся, Динни поняла, что все кончено безвозвратно. Его больной, страдальческий вид взволновал ее до глубины души. Если бы он снова обрел покой, ей было бы легче. С того вечера, когда он убежал от нее, Динни уже не верила ни во что хорошее, знала, что ее ждет, и старалась не распускаться. Расставшись с Майклом ночью в холле, она ненадолго прилегла, а потом выпила кофе у себя в комнате. Часов в десять утра ей передали, что ее дожидается какой-то человек с собакой.

Она торопливо оделась и спустилась вниз. Это мог быть только Стак.

Слуга Уилфрида стоял возле «саркофага», держа Фоша на поводке. Лицо его, как всегда, выражало сочувствие, но сегодня оно было бледным и постаревшим, как будто Стак всю ночь не спал.

— Мистер Дезерт просил передать вам вот это,— и он протянул ей записку.

Динни отворила дверь в гостиную.

— Прошу вас, зайдите. Сядем.

Он сел и выпустил поводок. Собака подошла и положила морду ей на колени. Динни прочла записку.

Стак устался в пол.

— Он уехал, мисс. Сел на утренний поезд, что идет на Париж и Марсель.

В складках его щек Динни заметила влагу. Он громко шмыгнул носом и сердито отер лицо рукой.

— Я прожил с ним четырнадцать лет, мисс. Ничего удивительного, что расстраиваюсь. Он сказал, что больше никогда не вернется.

— А куда он уехал?

— В Сиам.

— Далеко,— с улыбкой сказала Динни.— Но самое главное, чтобы ему было хорошо.

¹ Большие рынки (а р а б с к.).

— Это верно... а теперь я расскажу вам, как кормить собаку. Ей дают галету утром, часов в девять, и кусочек вареной говядины или бараньей головы с овсянкой часов в шесть-семь — больше ничего. Хорошая, спокойная собака, очень воспитанная. Если вы не против, она может спать у вас в спальне, мисс.

— А вы остаетесь жить там же, Стак?

— Да, мисс. Квартира-то ведь его отца. Я вам говорил, мисс, что мистер Дезерт — человек непостоянный, но на этот раз он, кажется, решил твердо. Да, в Англии он всегда чувствовал себя не в своей тарелке.

— Я тоже думаю, что на этот раз он решил твердо. Я могу чем-нибудь вам помочь, Стак?

Слуга покачал головой, он не отрывал глаз от лица Динни, и та поняла, что ему очень хочется сказать ей что-то теплое, но он не решается. Она поднялась.

— Пожалуй, я схожу с Фошем погулять, пусть ко мне привыкает.

— Да, мисс. Я спускаю его с поводка только в парке. Если вам захочется что-нибудь спросить, вы телефон знаете.

Динни протянула ему руку.

— Ну что ж, прощайте, Стак. Всего вам хорошего.

— И вам тоже, мисс, от всей души.— Глаза его на этот раз откровенно выражали сочувствие, и он очень крепко пожал ей руку. Динни продолжала улыбаться, пока он не ушел и дверь за ним не захлопнулась, а потом села на диван и закрыла лицо руками. Собака проводила Стака до дверей, разок твякнула и вернулась к Динни. Та отняла руки от лица, взяла лежавшую на коленях записку и разорвала ее.

— Ну вот, Фош,— сказала она.— Что ж нам теперь делать? Пойдем погуляем?

Хвост зашевелился; пес тихонько заскулил.

— Пойдем, малыш.

Она не чувствовала слабости, но в ней словно сломалась какая-то пружина. Держа собаку на поводке, она пошла к вокзалу Виктория и остановилась возле памятника. Тут ничего не изменилось, только листва вокруг стала гуще. Человек и конь, они глядят на вас чуть-чуть свысока, но полны сдержанной силы,— оба настоящие труженики. Она долго стояла, закинув голову, лицо ее осунулось, сухие глаза запали; а рядом с ней терпеливо сидела собака.

Наконец, беспомощно пожав плечами, она отвернулась и быстро повела собаку в парк. Побродив там, она отправилась на Маунт-стрит и спросила, дома ли сэр Лоренс. Ей сказали, что он у себя в кабинете.

— Ну как, дорогая?— спросил он.— Славная собака. Твоя?

— Да, дядя. У меня к тебе просьба.

— Пожалуйста.

— Уилфрид уехал. Сегодня утром. И больше не вернется. Будь добр, скажи моим и Майклу, тете Эм и дяде Адриану. И пусть никто мне об этом не напоминает.

Сэр Лоренс наклонил голову, взял ее руку и поднес к губам.

— Смотри, Динни, что я хотел тебе показать.— Он взял со стола маленькую статуэтку Вольтера.— Позавчера купил. Ну разве он не прелесть, этот старый циник? Почему французы могут себе позволить быть

циниками, а другие народы — нет? Меня это давно занимает. По-видимому, цинизм хорош только при изяществе и остроумии, не то он превращается в обыкновенное хамство. Циник-англичанин — это просто брюзга. Циник-немец похож на злую свинью. Циник из Скандинавии — это бедствие, он невыносим. Американцы — вечно прыгают, как заводные, им не до цинизма, а русские для этого слишком непоследовательны. Более или менее порядочного циника можно найти в Австрии или, скажем, в Северном Китае,— возможно, что тут все дело в географии...

Динни улыбнулась.

— Передай самый нежный привет тете Эм. Я сегодня еду домой.

— Дай тебе бог счастья, детка,— сказал сэр Лоренс.— Приезжай поскорей к нам сюда или в Липпингхолл, куда хочешь, мы всегда тебя рады видеть.— И он поцеловал ее в лоб.

Когда она ушла, сэр Лоренс позвонил по телефону, потом пошел к жене.

— Эм, у меня была Динни. Вид у нее как у призрака, если призраки улыбаются. Все кончено. Дезерт утром уехал совсем. Она не хочет больше ничего об этом слышать. Не забудешь?

Леди Монт ставила цветы в золоченую китайскую вазу; уронив цветы, она всплеснула руками.

— Ах ты боже мой! Поцелуй меня, Лоренс.

Они постояли, обнявшись. Бедная Эм! У нее такое мягкое сердце. Она прошептала, уткнувшись ему в плечо:

— У тебя весь воротник в волосах. Ну зачем ты причесываешься в пиджаке? Повернись, я тебя почищу.

Сэр Лоренс повернулся.

— Я позвонил в Кондафорд, Майклу и Адриану. Помни, Эм! Надо вести себя так, будто никогда ничего не было!

— Конечно! А зачем она приходила к тебе?

Сэр Лоренс пожал плечами.

— У нее новая собака,— черный спаниель.

— Очень привязчивые, но рано толстеют. Ну вот! Что они тебе сказали по телефону?

— Ничего, кроме: «Ах!», «Понятно!» и «Само собой разумеется».

— Лоренс, мне хочется поплакать; возвращайся скорей и сведи меня куда-нибудь!

Сэр Лоренс похлопал ее по плечу и поспешно вышел. Ему тоже было не по себе. Вернувшись в кабинет, он задумался. Бегство Дезерта — наилучший выход. Из всех людей, замешанных в этой истории, он, пожалуй, глубже и объективнее других разбирался в характере Уилфрида. Может, сердце у него и в самом деле золотое, но он это из всех сил скрывает. Жить с ним? Ни за какие сокровища в мире! Трус? Да никакой он не трус! Все это совсем не так просто, как представляют себе Джек Маскем и прочая «соль британской империи», полная предрассудков и вздорных представлений о том, что все на свете — либо черное, либо белое. Нет! Дезерт просто попался в ловушку. При его своеобразии, нетерпимости, гуманизме и безверии, да еще и привычке яkastься с арабами,— то, что он сделал, было так же не похоже на поведение среднего англичанина, как гвоздь на панихиду! И все-таки жить с ним

нельзя! Бедной Динни, в общем, повезло! Странные коленца выкидывает судьба. Нужно же было, чтобы ее выбор пал на Дезерта! Но в делах любви нечего искать логики. Любовь не знает ни правил, ни здравого смысла. Что-то в ее натуре потянулось к чему-то родственному в нем, вопреки всему, что их разделяло, вопреки всем! И другого такого «попадания», как сказал бы Джек Маскем, может не быть за всю ее жизнь. Но ведь, черт побери, брак — это надолго, даже в наши дни это не мимолетная забава. Для брака нужны и удача, и умение отдавать, и умение брать! А есть ли это умение у Дезерта — беспокойного, неуравновешенного, да к тому же еще и поэта! И гордого, — той скрытной самоуничижительной гордыней, которая не дает человеку покоя! Будь это просто связь, временное сожительство, на которое так падка современная молодежь, — тогда пожалуй! Но все это не для Динни, даже Дезерт и тот это понял! Для нее физическая близость не может существовать без духовной. Ах ты господи! Ну что ж, еще одна страждущая душа на свете — бедная Динни!

«Куда же мне повести в такое время дня Эм? Зоопарк она не любит; картинные галереи мне осточертели! В музей восковых фигур? Пойдем к мадам Тюссо!»¹

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В Кондафорде Джин, повесив трубку, отправилась на поиски свекрови и передала ей слова сэра Лоренса с обычной своей деловитостью. Доброе, нерешительное лицо леди Черрел выразило испуг и тревогу.

— Ах!

— Сказать генералу?

— Пожалуйста, милочка!

Леди Черрел снова принялась было записывать домашние расходы, но задумалась. Не считая Хьюберта, она одна в семье так никогда и не видела Уилфрида Дезерта, старалась быть к нему справедливой и не мешать дочери, — совесть ее была чиста; теперь она просто очень жалела Динни. Но что подлаешь? Когда у близких траур, им посылают цветы; леди Черрел вышла в сад, к клумбам, огороженным высокой живой изгородью из тисов, где вокруг старых солнечных часов росли розы. Нарвав целую корзинку самых красивых роз, она отнесла их в узенькую, похожую на келью спальню Динни и расставила в вазах возле кровати и на подоконнике. Потом распахнула настежь дверь и многостворчатое окно, позвонила горничной и велела вытереть пыль и постелить постель. Она поправила гравюры на стенах и сказала:

— Картины я вытерла сама. Пускай дверь и окно будут открыты. Мне хочется, чтобы здесь хорошо пахло. Вы можете сейчас здесь убрать?

— Да, миледи.

— Тогда прошу вас, Анни, сделайте это не откладывая, я не знаю, в котором часу придет мисс Динни.

¹ Музей восковых фигур в Лондоне.

Она снова взялась за свои счета, но не могла сосредоточиться и, сунув бумаги в ящик, пошла к мужу. Он тоже корпел над счетами, и вид у него был очень подавленный. Она подошла к нему и прижала его голову к себе.

— Джин тебе уже сказала, Кон?

— Да. Это единственный выход; но мне ужасно жалко Динни. Они помолчали.

— Надо бы сказать ей, что у нас очень плохо с деньгами,— предложила леди Черрел.— Это ее отвлечет.

Генерал взъерошил свои волосы.

— Мне не хватит в этом году трехсот фунтов. Можно будет получить пару сотен за лошадей, на остальную сумму придется продать лес. Не знаю, с чем мне труднее расстаться. А что может придумать Динни?

— Ничего, но она огорчится, и это заставит ее поменьше думать о своих делах.

— Понимаю. Ну что ж, скажите ей вы: ты или Джин; мне не хочется, не то она может подумать, что я намерен урезать ее карманные деньги. А я и так даю ей гроши. Пожалуйста, объясни ей, что об этом не может быть и речи. Ей надо бы куда-нибудь съездить, но откуда взять денег?

Этого леди Черрел не знала, и разговор прервался.

В старом доме, который столько веков подряд видел столько людских надежд, страхов, рождений, смертей, повседневных забот и суеты, что сам стал похож на мудрого деда, воцарилась тревога, она сквозила в каждом слове и жесте, даже у прислуги. Как себя вести? Как выказать сочувствие, его не показывая? Как проявить радость по случаю приезда Динни, чтобы она, не дай бог, не подумала, будто они радуются тому, что произошло? Даже Джин заразилась общим волнением. Она вычистила и расчесала всех собак, а потом выпросила машину и стала встречать все послеобеденные поезда.

Динни приехала третьим. Держа на поводке Фоша, она вышла из вагона и очутилась в объятиях Джин.

— Здравствуй, дорогая,— сказала та,— наконец-то! Новая собака?

— Да, смотри, какая прелесть.

— А где твои вещи?

— Вот это все. Не стоит искать носильщика, они, как всегда, таскают велосипеды, их не дозовешься.

— Давай чемодан, я донесу его до машины.

— Ну уж нет! Держи Фоша.

Положив чемодан и несессер в машину, Динни сказала:

— Ничего, если я пройду пешком? Фошу полезно, да и в поезде была ужасная духота; мне хочется подышать запахом сена.

— Да, сено еще не убрано. Я отвезу вещи и заварю к твоему приходу чай.

Динни с улыбкой проводила взглядом машину, и всю дорогу, до самого дома, Джин видела эту улыбку и бормотала проклятия...

Выйдя в поле, Динни отпустила Фоша, он сразу же кинулся к живой изгороди, и она поняла, как ему всего этого не хватало. Фош — деревенская собака! На минуту его деловитая радость отвлекла ее внимание,

но к ней сейчас же вернулась режущая, злая боль. Она подозвала пса и двинулась в путь. На первом поле еще лежало скошенное сено, и Динни бросилась на него ничком. Когда она придет домой, ей нужно будет следить за каждым своим словом и взглядом и улыбаться, улыбаться, только бы не показать, что у нее на душе! Ей так нужно хотя бы несколько минут побыть совсем одной, без посторонних глаз. Плакать она не могла; она прижалась к раскиданному по земле сену; солнце жгло ей затылок. Повернувшись на спину, Динни стала глядеть на голубое небо. В голове бродили бессвязные мысли, но владела ею одна только боль, тоска о том, что потеряно и уже не вернется. Вокруг нее дремотно гудело лето, оно жужжало крыльями насекомых, пьяных от солнца и меда. Динни прижала руки к груди, чтобы поглубже загнать эту боль. Ах, если бы она могла умереть здесь, сейчас, в разгар лета с его жужжанием и пением жаворонков, умереть и больше ничего не чувствовать! Она лежала неподвижно, пока не подошла собака и не лизнула ее в щеку. Тогда, устыдившись, она встала и смахнула с платья и чулок сухие стебли травы.

Динни прошла через соседнее поле, мимо старого Кисмета, к узенькому ручейку, а оттуда прямо в фруктовый сад, где уж больше не было белого волшебства весны; сейчас там пахло крапивой и мшистой корой; потом она вышла в сад к каменным плитам террасы. На магнолии распустился первый цветок, но она побоялась остановиться и вдохнуть его лимонно-медовый запах; подойдя к высокому окну, она заглянула в комнату.

У матери было то выражение лица, какое Динни звала «мама ждет папу». Отец стоял с тем выражением, какое она называла «папа ждет маму», а у Джин был настороженный вид, словно ее тигренок вот-вот покажется из-за угла.

«А тигренок на этот раз — я», — подумала Динни, переступая порог, и воскликнула:

— Мамочка, дорогая, дай поскорее мне чаю...

Вечером, пожелав всем доброй ночи, Динни снова сошла вниз и заглянула в кабинет отца. Он сидел за письменным столом с карандашом в руке и внимательно перечитывал исписанный листок бумаги. Подкравшись сзади, Динни прочла из-за его спины:

«Продаются охотничьи лошади: гнедой мерин десяти лет, здоровый, красивый, хорошо берет препятствия. Кобыла темно-чалая, девяти лет, очень умная, ходит под дамским седлом, может брать препятствия на состязаниях, в отличной форме. Обращаться к владельцу, имение Кондафорд, Оксфордшир».

— Гм-м... — пробормотал отец и вычеркнул «в отличной форме». Динни протянула руку и взяла бумагу.

Генерал вздрогнул от неожиданности и обернулся.

— Нет, этого не будет, — сказала Динни и разорвала листок.

— Постой! Что ты делаешь? Я столько времени...

— Нет, папа, продать лошадей ты не можешь. Ты без них места себе не найдешь.

— Но я **вынужден** их продать, Динни!

— Знаю. Мама мне сказала. Но в этом нет нужды. У меня как раз оказалась довольно большая сумма.— И она положила на стол деньги, которые так долго берегла.

Генерал встал.

— Ни за что!— воскликнул он.— Большое тебе спасибо, Динни, но это невозможно!

— Папа, пожалуйста, возьми. Дай и мне что-нибудь сделать для Кондафорда. Деньги мне теперь не нужны, а тут как раз триста фунтов, которых тебе так не хватает.

— Они тебе не нужны? Ну, это чепуха! Как же так? На эти деньги ты могла бы попутешествовать.

— А я не хочу путешествовать. Я хочу пожить дома и помочь вам с мамой.

Генерал пристально посмотрел ей в глаза.

— Мне стыдно брать их у тебя,— сказал он.— Я сам виноват, что влез в долги.

— Папа, но ты же не тратишь на себя ни копейки!

— Понимаешь, я даже не знаю, как это получается... тут немножко, там немножко, а глядишь, набралось...

— Давай постараемся разобраться вместе. Я уверена, что можно кое в чем себя урезать.

— Хуже всего, когда нет оборотного капитала. За все приходится платить из доходов по имению, а страховка и налоги все время растут, и доходы становятся все меньше и меньше.

— Знаю, положение у нас действительно ужасное. А нельзя нам разводить каких-нибудь животных?

— Опять же для начала нужно вложить деньги... Нам бы, конечно, хватало, живи мы в городе или за границей. Но содержать имение...

— Бросить Кондафорд? Ну, нет! Да и кому, кроме нас, он нужен? Несмотря на все, что ты сделал, мы все равно отстали от века.

— Да, это правда.

— Мы не сможем сдавать это «историческое поместье», не краснея. Никто не захочет платить деньги за чужих предков.

Генерал грустно уставился в пространство.

— Эх, как бы я хотел, чтобы у меня не было этой наследной обузы! Мне так противно думать о деньгах, выгадывать гроши, вечно беспокоиться, сведешь ли концы с концами. Но ты права: о том, чтобы его продать, не может быть и речи. А кто возьмет его в аренду? Тут не устроишь ни интерната, ни загородного клуба, ни лечебницы для душевнобольных. А это судьба большинства старых имений. В нашей семье у одного только дяди Лайонела есть деньги,— может, он снимет Кондафорд, чтобы проводить здесь праздники.

— Не надо, папа. Не надо! Постараемся как-нибудь прожить. Я уверена, что это можно сделать. Дай-ка мне попробовать, вдруг я сумею свести концы с концами. А пока возьми эти деньги, слышишь? И начнем сначала, без долгов.

— Но, Динни...

— Не огорчай меня, пожалуйста.

Генерал привлек ее к себе.

— Эта твоя история...— пробормотал он, уткнувшись лицом в ее волосы.— Господи, что бы я дал...

Она затрясла головой.

— Я на минутку выйду. Просто так, побродить по саду. Там хорошо...

И, обмотав шею шарфом, она вышла на террасу.

Последние отсветы долгого летнего дня еле брезжили на горизонте, но тепло еще укутывало землю,— воздух был недвижим и роса еще не пала; стояла тихая, сухая, расшитая звездами, черная ночь. Динни спустилась с террасы и сразу же затерялась во тьме. Старый дом, увитый плющом, стоял перед нею темной громадой с четырьмя квадратами освещенных окон. Динни оперлась спиной о ствол вяза, закинула назад руки и обхватила дерево. Здесь ей покойнее: нет ни посторонних глаз, ни посторонних ушей. Она стояла неподвижно и вглядывалась в темноту, ощущая надежную опору у себя за спиной. Тучей носились мошки, едва не задевая ее лица. Ее окружала бесчувственная природа — равнодушная, поглощенная своими заботами даже ночью. Миллионы крошечных созданий спали, зарывшись в землю; сотни — летали и ползали; миллиарды травинки и цветов тянулись к небу, отдыхая в ночной прохладе. Природа! Безжалостная даже к тем из своих созданий, кто поет ей хвалу. Рвутся нити, разбиваются сердца,— или что там еще происходит с этими глупыми сердцами?— а природа не дрогнет, не шелохнется. Поддай она хоть знак, ее утешение было бы для Динни куда дороже людского сочувствия! Если бы, как в «Рождении Венеры»¹, ветерок приласкал ее лицо, волны, как голубки, прильнули к ее ногам, пчелы летали бы вокруг, словно собирая мед! Если бы тут, во тьме, она хоть на миг почувствовала свою близость к звездам, могла раствориться в запахе земли, в шелесте крыльев летучей мыши, в прикосновении крыльев мотылька к ее лицу!

Закинув вверх голову и прижавшись всем телом к стволу, она задышала от немоты ночи, от ее черноты, от сверкания звезд. Если бы у нее были уши ласки и нюх лисы, она бы слышала все, что творится под покровом этой мглы! Над головой в ветвях чирикнула птица. Издалека слышался гул последнего поезда, он стал громче, перешел в стук колес, шипение пара, потом заглох, замер тихим перестуком вдаль. И снова ни звука! Там, где она стояла, когда-то был ров, но его давно засыпали, и на этом месте вырос огромный вяз. Медленно течет жизнь дерева в непрестанной борьбе с ветрами; медленно и цепко живет оно, как живет ее семья, привязанная всеми корнями к родному клочку земли.

«Я не буду о нем думать»,— сказала она себе. «Я не буду о нем думать!»— повторяла она, как ребенок.

Картина Боттичелли.

КНИГА ТРЕТЬЯ

НА ДРУГОЙ БЕРЕГ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

С тех пор, как Клер вышла за сэра Джеральда Корвена из Министерства колоний, прошло почти полтора года. И вот она стояла на палубе вошедшего в устье Темзы океанского парохода Восточной линии, ожидая, когда он пристанет. Было десять часов утра, и хотя октябрьский день обещал быть мягким, Клер все же надела суконное пальто, так как до этого, во время всего путешествия, стояла жара. Лицо ее казалось бледным, даже желтоватым, но ясные карие глаза были нетерпеливо прикованы к берегу, чуть подкрашенные губы приоткрылись, и все черты дышали обычно присущей ей живостью. Сначала она стояла одна, потом за ее спиной раздался голос:

— А-а!.. Вот вы где?

Из-за спасательной шлюпки вышел молодой человек и остановился подле Клер. Не оборачиваясь, она сказала:

— Какой восхитительный день! У нас дома, наверно, чудесно.

— А я-то надеялся, что вы хоть один вечер проведете в городе — мы бы вместе поужинали, пошли бы в театр! Не хотите?

— Милый юноша, меня будут встречать.

— Как ужасно, что все на свете кончается!

— Порой гораздо ужаснее, что некоторые вещи начинаются.

Он пристально посмотрел на нее, потом вдруг спросил:

— Клер, вы, конечно, поняли, что я вас люблю?

Она кивнула:

— Да.

— Но вы меня не любите?

— Только не обижайтесь.

— Как бы мне хотелось, чтобы вы... чтобы вы загорелись хоть на минутку.

— Перед вами почтенная замужняя женщина, Тони!

— Которая возвращается в Англию из-за...

— Из-за цейлонского климата.

Он ударил ногой в борт.

— Как раз в лучшее время года... Я ничего не говорил, но знаю, что ваш... что Корвен...

Клер предостерегающе подняла брови, и он смолк; оба опять стали смотреть на берег, все больше привлекавший их внимание.

Если двое молодых людей провели около трех недель вместе на пароходе, они знают друг друга гораздо меньше, чем им кажется. При том однообразии, с каким протекает жизнь на судне, когда все как будто остановилось, кроме машин, воды, скользящей вдоль бортов судна, и солнца, неизменно описывающего в небе дугу, — близость двух людей, проводящих дни бок о бок на палубе, растет особенно быстро и приобретает какую-то своеобразную сердечность. Они знают, что о них уже сплетничают, но им все равно. Ведь сойти с парохода они не могут, а что еще можно сделать? Они танцуют друг с другом, и покачиванье судна,

каким бы легким оно ни было, невольно заставляет их прижиматься друг к другу. Проходит каких-нибудь десять дней, и налаживается общая жизнь, более устойчивая, чем даже в браке, с той лишь разницей, что ночь они проводят врозь. А затем пароход вдруг останавливается, и у них,— может быть, у одного, а может быть, и у обоих,— возникает ощущение, что они так и не успели разобраться в своих чувствах. Ими овладевает лихорадочное волнение, оно даже приятно, ибо вынужденному бездействию настал конец, и они напоминают сухопутных животных, побывавших на море и вернувшихся на твердую землю.

Клер первая нарушила молчание:

— Вы так и не объяснили мне, почему вас зовут Тони, хотя ваше настоящее имя Джеймс?

— Именно поэтому! Прошу вас, не шутите, Клер. Этот проклятый пароход сейчас пристанет. Я просто не могу примириться с тем, что уже не буду видеть вас каждый день!

Клер быстро скользнула по нему взглядом и снова стала смотреть на берег. «Какие нежные черты»,— подумала она. У него было действительно тонко очерченное продолговатое смуглое лицо, решительное, но добродушное, с темно-серыми глазами, мгновенно отражавшими его мысли, и темно-русые волосы; он был строен и подвижен.

Юноша стал вертеть пуговицу ее пальто.

— Вы ничего не говорили о себе, но нет у вас счастья, я чувствую...

— Не люблю людей, которые болтают о своей личной жизни.

— Вот,— он вложил ей в руку карточку,— через этот клуб вы всегда найдете меня.

Она прочла:

«М-р ДЖЕЙМС БЕРНАРД КРУМ

«Кофейня»

Сент-Джеймс-стрит».

— Кажется, этот клуб очень старомодный?

— Да, и все-таки он до сих пор хорош. Когда я родился, отец тут же записал меня.

— Мой дядя, муж моей тетки, тоже состоит там членом,— сэр Лоренс Монт, высокий такой, тонкий и подвижный, его легко узнать по черпаховому моноклю.

— Поищу его.

— Что вы намерены делать в Англии?

— Буду искать работу. Здесь, как видно, многие этим занимаются.

— А кем вы хотели бы работать?

— Кем угодно, только не школьным учителем и не коммивояжером.

— Разве в наше время можно найти что-нибудь другое?

— Нет. Надежды очень мало. Больше всего мне бы хотелось получить место управляющего имением или заняться лошадьми.

— Имения и лошади вымирают.

— Я знаком с несколькими владельцами скаковых конюшен. Но, вероятно, кончу тем, что стану шофером. А вы где будете жить?

— У родных. Во всяком случае — первое время. Если вы, прожив на родине неделю, все еще захотите меня видеть,— вот мой постоянный адрес: Кондафорд-Грэйндж, Оксфордшир.

— И зачем только я вас встретил?— сказал молодой человек с внезапной горечью.

— Спасибо!

— О... Вы отлично понимаете, что я имею в виду! Господи! Он уже бросает якорь. Вот и катер. Ах, Клер!

— Да?

— Неужели все, что было, не имеет для вас никакого значения?

Перед тем как ответить, Клер пристально посмотрела на него.

— Имеет, но я не знаю, как будет дальше. Если никак, то спасибо вам, что помогли скоротать эти скучные три недели.

Молодой человек молчал, как молчат только те, чьи чувства рвутся наружу...

Начало и завершение любого задуманного человеком предприятия всегда вызывают какую-то суматоху и волнение — постройка дома, написание романа, снос моста и в особенности окончание путешествия. Клер сошла на берег среди обычной сутолоки, все еще в сопровождении молодого Крума, и попала в объятия сестры.

— Динни! Как хорошо, что ты приехала, не побоялась этой толкотни! Моя сестра, Динни Черрел. Тони Крум. Теперь все в порядке, Тони. Идите займитесь своими вещами.

— Я взяла машину Флер,— сказала Динни.— А где твой багаж?

— Его перешлют прямо в Кондафорд.

— Тогда мы можем ехать.

Молодой человек, проводив их до машины, сказал «до свидания» с той напускной веселостью, которая никого не обманула; затем машина скользнула прочь.

Сестры, сидя рядом, долго и любовно рассматривали друг друга; руки их, все еще соединенные в пожатии, лежали на плече.

— Ну, детка,— наконец сказала Динни,— как чудесно, что ты здесь! Я не ошиблась, читая между строк?

— Нет. Я к нему не вернусь, Динни.

— Никогда?

— Никогда.

— Неужели? Бедняжка!

— Мне не хочется вдаваться в подробности, но жить с ним стало просто невыносимо.

Клер помолчала, затем вдруг добавила, откинув голову:

— Совершенно невыносимо.

— Он согласился на твой отъезд?

Клер покачала головой.

— Я удрала. Его не было. Дала телеграмму, а потом написала из Суэца.

Снова наступило молчание. Затем Динни стиснула ее руку и сказала:

— Я всегда боялась этого.

— Хуже всего то, что у меня нет ни гроша. Как ты думаешь, Динни, имеет смысл заняться шляпами?

— «Отечественное производство»? Сомневаюсь.

— Или, может быть, разводить собак, скажем, бультерьеров? Как ты считаешь?

— Не знаю. Мы это выясним.

— А как дела в Кондафорде?

— Ничего. Джин опять уехала к Хьюберту, но малыш — тут. Ему уже годик. Касберт Конвей Черрел. Мы, вероятно, будем звать его Каффс. Ужасно мил...

— У меня, слава богу, нет хоть этого осложнения! Некоторые вещи имеют и свои хорошие стороны.

Ее лицо стало суровым, как лица, изображенные на монетах.

— Он тебе уже писал?

— Нет, но напишет, когда поймет, что это серьезно.

— Тут замешана другая женщина?

Клер пожала плечами.

И снова рука Динни сжала руку сестры.

— Я не собираюсь трубить повсюду о своей жизни, Динни.

— А не может он из-за всего этого приехать в Англию?

— Не знаю. Если приедет, я с ним не встречу.

— Но, детка, ты ужасно запутаешься.

— Обо мне нечего беспокоиться. А как ты жила?— И она окинула сестру критическим взглядом.— Ты все та же — с картины Боттичелли.

— Я стала настоящим скопидомом. Кроме того, я начала разводить пчел.

— Выгодно?

— Пока нет. Но на тонне меда можно заработать до семидесяти фунтов.

— Сколько же вы в этом году собрали?

— Около двух центнеров.

— А лошади еще остались?

— Да, лошадей нам пока удалось сохранить. У меня план: я хочу открыть в Кондафорде пекарню. Пшеница обходится нам вдвое дороже того, что мы за нее выручаем, вот я и надумала сама молоть, выпекать и снабжать хлебом соседей. Пустить старую мельницу обойдется очень недорого, а помещение для пекарни есть. Нужно около трехсот фунтов стерлингов, чтобы начать дело. Мы уже почти решили срубить для продажи часть леса.

— Местные торговцы будут в ярости.

— Конечно.

— А это в самом деле выгодно?

— При урожае в тонну с акра — смотри справочник Уитекера — с наших тридцати акров, добавляя столько же канадской пшеницы, чтобы хлеб был хороший и легкий, — мы получим по крайней мере восемьсот пятьдесят фунтов. Вычтем отсюда пятьсот — стоимость помола и выпечки. Значит, придется выпекать сто шестьдесят двухфунтовых буханок в день и продавать около пятидесяти шести тысяч буханок в год. Нам нужно будет снабжать восемьдесят хозяйств, но это только одна наша деревня, и мы давали бы им самый лучший, светлый хлеб.

— Триста пятьдесят годового дохода?— отозвалась Клер.— Сомнительно.

— Я, конечно, не уверена,— согласилась Динни,— что, вычисляя всякий доход, его нужно наполовину уменьшить, потому что опыта у меня в этом деле нет, но я подозреваю, что это так. И все-таки даже половина даст нам возможность постепенно расширять дело. Мы сможем тогда распахать большую часть наших лугов.

— Пожалуй,— заметила Клер.— Ну, а деревня вас поддержит?

— Я нащупывала почву, как будто поддержит.

— Тебе понадобится управляющий?

— Конечно. Это должен быть человек, который не побоится никакой работы. Если дело пойдет, у него, разумеется, будут выгодные перспективы.

— А что, если...— начала Клер и нахмурилась.

— Кстати,— вдруг спросила Динни,— а кто был этот молодой человек?

— Тони Крум? Он служил на чайной плантации, но владельцы свернули дело,— и она посмотрела сестре в глаза.

— Приятный?

— Да, ужасно славный. Кстати, ему тоже нужна работа.

— Она нужна по крайней мере трем миллионам молодых людей.

— Включая и меня.

— В Англии сейчас живется не слишком весело, моя дорогая...

— Пока мы плыли на пароходе, у нас, говорят, был отменен золотой стандарт или что-то в этом роде. А что это такое — золотой стандарт?

— Ну, это такая штука, которая нам нужна, когда ее нет, и которая не нужна, когда она есть...

— Понимаю.

— Беда в том, что наш экспорт, прибыль от торгового флота и проценты с капиталов, вложенных за границей, не покрывают нашего импорта, и таким образом оказывается, что мы живем не по средствам. Майкл говорит, что каждый мог это предвидеть, но мы утешали себя тем, что «завтра все наладится». А оно не наладилось. Отсюда и результаты выборов и коалиционное «национальное правительство».

— Могут они что-нибудь сделать, если останутся у власти?

— Майкл считает, что могут, но ведь он известный оптимист. Дядя Лоренс говорит, что они могут приостановить панику и утечку капитала за границу, поддержать устойчивость фунта и покончить со спекуляцией. Но все это возможно лишь при условии широкой и решительной реконструкции экономики, на которую понадобится лет двадцать, а пока мы будем все беднеть и беднеть. К сожалению, говорит он, ни одно правительство не может помешать нам любить развлечения больше, чем работу, копить деньги для уплаты ужасных налогов и предпочитать настоящее будущему. И потом он говорит, что если мы думаем, будто люди согласятся работать так же, как они работали, чтобы спасти страну во время войны, то это ошибка. Дело в том, что тогда Англия была едина и сражалась против внешнего врага. А теперь у нас два лагеря, мы боремся с внутренними трудностями, и у всех диаметрально противоположные взгляды на то, откуда должно прийти спасение.

— Считает ли он, что социалисты могут помочь?

— Нет. По его мнению, они забыли, что никто не даст им пищи, если они не в состоянии ни производить ее, ни заплатить за нее. Он считает, что коммунисты или лейбористы — сторонники свободной торговли — могут иметь успех только в стране, которая способна сама себя прокормить. Видишь, я все это изучила. И потом все постоянно твердят: «Немезида!»

— Чепуха все это! Куда мы едем, Динни?

— Ты, наверно, с удовольствием пообедаешь у Флер, а поездом в три пятьдесят уедем в Кондафорд.

Наступило молчание, во время которого каждая из сестер думала о другой, и мысли обеих были печальны. Клер чувствовала в старшей сестре ту едва уловимую перемену, которая происходит в человеке после тяжелого душевного надлома, когда он все-таки должен как-то жить дальше. А Динни думала: «Бедная девочка! Общим нам трудно пришлось! Что она будет делать? И чем я могу ей помочь?»

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Какой вкусный обед,— заметила Клер, доедая сахар, оставшийся на дне чашки.— Первая еда на суше кажется восхитительной. Когда сядешь на пароход и читаешь меню,— боже мой, чего только там нет! А затем все сводится к холодной ветчине, чуть ли не три раза в день. Ты испытывала это разочарование?

— Еще бы!— ответила Флер.— Хотя кэрри¹ было обычно очень хорошо.

— Но не на обратном пути! Я уж это кэрри просто видеть не могу... Как идет конференция «Круглого стола»? ²

— Понемножку. А что на Цейлоне — интересуются положением дел в Индии?

— Не особенно. А Майкл?

— Мы оба интересуемся.

Брови Клер взлетели с восхитительной внезапностью.

— Но вы же ничего не знаете о ней!

— Я ведь была в Индии, а одно время встречалась со многими студентами-индийцами.

— Ах, студенты! В том-то и беда. Они очень передовые, а народ очень отсталый.

— Если ты хочешь повидать Кита и Кэт, перед тем как уехать, пойдем наверх,— предложила Динни.

Посетив детские, сестры снова уселись в машину.

— Флер меня поражает,— заметила Клер,— она всегда знает в точности, чего хочет.

— И, как правило, получает; правда, бывали исключения. Я всегда сомневалась: действительно ли она хотела иметь Майкла своим мужем?

¹ Индийское блюдо: рис под соусом из приностей.

² В 1930 и 1931 годах в Лондоне были проведены две конференции «Круглого стола». Обещая внести изменения в конституцию Индии, англичане добивались соглашения с индийской буржуазией.

— А что, был неудавшийся роман?

Динни кивнула. Клер посмотрела в окно.

— Ну, не она первая.

Сестра не ответила.

— Теперь в поездах очень свободно, — заметила Динни, когда они уселись в пустом купе третьего класса.

— Знаешь, Динни, после той отчаянной глупости, которую я выкинула, я просто боюсь встречи с папой и мамой. Мне действительно необходимо найти себе работу.

— Да, тебе скоро станет тяжело в Кондафорде.

— Дело не в том. Я хочу доказать, что я не абсолютная идиотка. Интересно, а может, из меня бы вышел управляющий отелем? Английские отели до сих пор очень старомодны.

— Хорошая мысль. Скучать будет некогда, и ты повидашь множество всякого народа.

— Ты смеешься надо мной?

— Нет, детка, просто голос здравого смысла: ты никогда не любила хоронить себя заживо.

— А как раздобыть такое место?

— Понятия не имею. Да теперь у людей и денег нет, чтобы путешествовать. Кроме того, я боюсь, что управление отелем — дело не простое, тут есть еще особая техническая сторона дела, которую нужно изучить. Хотя тебе может помочь твой титул.

— Я бы не хотела пользоваться именем Корвена, лучше просто — миссис Клер.

— Понимаю. Тебе не кажется, что мне следовало бы знать обо всем этом немного больше?

Клер ответила не сразу, потом вдруг выпалила:

— Он садист.

— Я никогда не могла хорошенько понять, что это такое, — сказала Динни, взглянув на вспыхнувшее лицо сестры.

— Ну, когда человек ищет сильных ощущений и они еще сильнее, если он причиняет боль тому человеку, который ему дает эти ощущения. А жена — наиболее подходящий объект.

— Да что ты!

— Много было всяких штучек, а мой хлыст для верховой езды — только последняя капля.

— Неужели он тебя?.. — воскликнула Динни в ужасе.

— О да!

Динни подсела к сестре и обняла ее.

— Клер, ты должна от него освободиться!

— А как? Что я могу доказать? Да и кто захочет выставять напоказ такую мерзость? Ты — единственный человек, которому я в силах сказать об этом.

Динни встала и открыла окно. Теперь ее лицо горело так же, как и лицо сестры. Клер безучастно продолжала:

— Я ушла от него при первой возможности. Но все это между нами. Видишь ли, обыкновенная страсть скоро теряет остроту, а климат у нас там жаркий.

— Господи! — отозвалась Динни и снова села напротив сестры.
— Я сама виновата. Я все время знала, что хожу по краю пропасти, вот и сорвалась.

— Но, детка, ведь не можешь же ты оставаться в двадцать четыре года и замужем и соломенной вдовой?

— Не вижу, почему; *marriage mangue*¹ очень успокаивает кровь. Все, к чему я теперь стремлюсь, — это достать работу. Я не собираюсь сесть папе на шею. А как он, Динни? Сводит концы с концами?

— Не совсем. Дела только стали поправляться, но эти последние налоги совсем погубят нас. Важно продержаться без особых потерь. Да и все в том же положении. Я всегда чувствовала, что мы с деревней — одно. Или вместе потонем, или выплывем, но так или иначе — плыть нужно. Отсюда и мой проект пекарни.

— Если у меня не будет другой работы, могу я взять на себя доставку? Вероятно, старая машина еще цела?

— Можешь помогать, детка, как хочешь. Но ведь все надо сначала наладить. Хорошо, если удастся к январю. А до тех пор еще будут выборы.

— Кто наш кандидат?

— Его зовут Дорнфорд — человек новый, вполне порядочный.

— Ему понадобятся вербовщики голосов?

— Еще бы!

— Отлично! Это — для начала. А что, от национального правительства есть какой-нибудь толк?

— Они говорят о «завершении своей работы». Но каково оно будет — они пока скрывают.

— Как только нужно действительно что-то решить, они никогда не могут договориться. Все это мне непонятно. Но я могу ходить по домам и говорить: «Голосуйте за Дорнфорда»... Как тетя Эм?

— Приезжает завтра. Вдруг вспомнила, что еще не видела малыша. Говорит, что настроена романтически, хочет получить «комнату священника», просит меня последить, чтобы с ней не носились. Словом, все такая же.

— Я часто ее вспоминала. И мне сразу становилось легче!

Затем наступило долгое молчание: Динни думала о Клер, а Клер — о самой себе. Наконец ей это наскучило, и она взглянула на сестру. Действительно ли Динни поборола свою любовь к Уилфриду Дезерту? Хьюберт писал об этом романе с такой тревогой, когда он был в разгаре, и с таким облегчением, когда он оборвался. Сестра просила, чтобы ей никогда об этой истории не напоминали, но ведь прошло больше года... Рискнуть? Или она ошметинится, как еж? «Бедная Динни! Мне двадцать четыре, — продолжала размышлять Клер, — значит, ей двадцать семь!» Она молча разглядывала профиль сестры. Его очертания были прелестны, а чуть вздернутый носик придавал лицу что-то задорное. Глаза все такие же красивые, их васильковый цвет не поблек, и кайма ресниц при светло-каштановых волосах кажется неожиданно темной. Все же лицо это похудело и утратило то, что дядя Лоренс называл когда-то «искорки

¹ неудавшийся брак (ф р а н ц.)

Динни». «Будь я женщиной, непременно влюбилась бы в нее,— решила Клер.— Она действительно хороша. Но все-таки в ней чувствуется теперь какая-то печаль, и это исчезает, только когда она с кем-нибудь разговаривает». Клер прикрыла глаза и продолжала наблюдать за сестрой сквозь опущенные ресницы. Нет, расспрашивать нельзя! По лицу сестры было видно, что замкнутость нелегко ей далась, и нарушить ее было бы непростительно.

— Детка,— обратилась к ней Динни,— ты хочешь жить в своей прежней комнате? Боюсь только, что у нас слишком много развелось голубей и они все время воркуют как раз под окнами.

— Ну что за беда!

— А где ты будешь завтракать? У себя?

— Пожалуйста, не волнуйся из-за меня, дорогая! Ни ты, ни кто другой,— это будет меня угнетать... Как хорошо опять очутиться в Англии, да еще в такой чудесный день! Трава все-таки замечательная вещь, и вязы, и голубая даль!

— Еще одно, Клер. Сказать папе и маме относительно Джерри или лучше не говорить?

Клер сжала губы.

— Мне кажется, они все-таки должны знать, что я к нему не вернусь.

— Конечно. И хоть отчасти — причину.

— Ну тогда — что с ним просто невозможно жить.

Динни кивнула.

— Я не хочу, чтобы они считали виновницей тебя. Остальные пусть думают, что ты приехала подлечиться.

— А тетя Эм?— спросила Клер.

— Ею я займусь сама. Она, наверное, будет поглощена малышом... Вот мы и доехали.

Стали видны кондафордская церковь и кучка домиков, по большей части крытых соломой; они составляли как бы центр этого разбросанного прихода. Уже показались службы, но не сама усадьба: расположенная в пизине, как все старинные усадьбы, она была скрыта деревьями.

Прилипнув носом к стеклу, Клер заметила:

— Даже сердце забилося... Ты по-прежнему любишь наш дом, Динни?

— Еще больше.

— Странно, и я люблю, а жить дома не могу.

— Типично английская черта. Отсюда — и Америка и доминионы. Бери несессер, а я возьму чемодан.

Их путь по лугам, озаренным светом заката, мимо вязов, покрытых золотыми бликами увядших листьев, был краток и восхитителен; он завершился у входа в темный холл, откуда, как обычно, выскочили собаки.

— Эта вот новая,— сказала Клер о черном спаниеле, обнюхивавшем ее чулки.

— Да, Фош. Они со Скарамушем подписали пакт Келлога, поэтому его и не соблюдают. А я — нечто вроде Маньчжурии.— И Динни распахнула дверь в гостиную.

— Вот она, мама.

Клер подбежала к матери, которая ждала ее с улыбкой, бледная и взволнованная, и за все время путешествия впервые почувствовала, как ее горло сжала спазма. Так вернуться и нарушить их покой!

— Ну, мама, дорогая, вот и твоя непутевая дочь! Ты совсем не изменилась. Слава богу!

Освободившись от горячих объятий дочери, леди Черрел в смятении взглянула на нее.

— Папа у себя в кабинете.

— Я позову его,— сказала Динни.

В скудно обставленной комнате, от которой веяло все той же военной суровостью, генерал возился над каким-то приспособлением, помогавшим быстро надевать бриджи и сапоги для верховой езды.

— Ну?— спросил он.

— Все в порядке, папочка, но это все-таки разрыв, и, боюсь, окончательный.

— Плохо,— отозвался генерал, нахмурившись.

Динни взяла его за лацкан.

— Это не ее вина. Но я бы не стала ни о чем ее расспрашивать. Сделаем вид, будто она приехала просто погостить. И постараемся, чтобы она чувствовала себя здесь как можно лучше.

— А что этот тип натворил?

— Просто он страшный человек. Я знала, что в нем есть какая-то жестокость.

— То есть как это знала, Динни?

— Ну, по его улыбке, по губам.

Генерал сердито хмыкнул.

— Идем!— сказал он.— Расскажешь после.

Он старался казаться веселым, был с Клер особенно ласков и усиленно расспрашивал ее, как она доехала и о Цейлоне, все воспоминания о котором ограничивались для него пряными ароматами, доносившимися с берегов острова, и прогулкой по садам Коломбо. Клер, все еще взволнованная встречей с матерью, была благодарна отцу за эту чуткость. Она довольно скоро ушла в свою комнату, где стояли ее уже разобранные чемоданы.

Она подошла к окну мансарды, до нее доносилось воркование голубей и внезапный всплеск их крыльев, когда они поднимались в воздух из-за тисовой изгороди сада. Заходящее солнце все еще светило сквозь вязы. И ее нервы отдыхали в этой безветренной голубиной тишине, пахнувшей совсем иначе, чем на Цейлоне. Это был воздух родины, восхитительно здоровый, свежий и домашний, с легким запахом горящих листьев. Среди деревьев подымался тонкий голубой дымок от небольшого костра, разложенного во фруктовом саду. И вдруг она закурила папиросу. Весь характер Клер сказался в этом простом движении. Она не умела отдаваться покою в тишине, она вечно стремилась к более полному наслаждению, которое для таких натур всегда остается недостижимым. Сидевший на желобе покатой черепичной крыши мохнатый голубь наблюдал за ней кротким темным глазком и чистил себе перья. Прекрасна была его белизна, и гордость была в его тельце; и такая же гордость была в круглом тутовом деревце, уронившем на землю кольцо из

листьев, пестревших в траве. Последние лучи солнца пронизывали остатки желто-зеленой листвы, и деревце казалось сказочным. Семнадцать месяцев назад она стояла у этого окна и смотрела поверх тутового дерева на поля и зеленеющие рощи! А потом — семнадцать месяцев под чужим небом и чужими деревьями, среди чужих запахов, звуков и вод! И все это — новое, возбуждающее, мучительное, не дающее удовлетворения! Покоя нет! И уж, конечно, его не было и в белом доме с широкой верандой, который они занимали в Канди. Сначала ей там нравилось, потом она стала сомневаться, нравится ли ей, потом поняла, что не нравится, потом она все там возненавидела. А теперь это миновало, и она снова дома! Клер стряхнула пепел с папиросы, потянулась, а голубь взвился с легким шорохом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Динни «занялась» тетей Эм. Это было делом нелегким. В разговоре с обычными людьми вы задавали вопрос, следовал ответ — и все. Но с леди Монт слова как-то теряли свою закономерную связь. Старая дама стояла посреди комнаты, держа в руках вербеновое саше, и нюхала его, а Динни разбирала ее вещи.

— Чудный запах, Динни... Клер какая-то желтая. Она не беременна?

— Нет, дорогая.

— Жаль! Когда мы были на Цейлоне, там все обзаводились ребятами. А слонята — какая прелесть!.. В этой комнате мы всегда играли в «кормление католического священника» из корзинки, которую спускали с крыши. Твой отец залезал на крышу, а я была священником, но обычно в корзинке не оказывалось никакой вкусноты. А твоя тетя Уилмет сидела на дереве и в случае появления протестантов кричала: «Куи!»¹

— Она кричала «куи!» несколько преждевременно, тетя Эм. При Елизавете Первой Австралия еще не была открыта.

— Да. Лоренс говорит, что в те времена протестанты были просто дьяволами. И католики тоже! И магометане!

Динни наморщила лоб, чтобы не рассмеяться, и закрыла лицо корсетом.

— Куда положить белье?

— Пока положи куда-нибудь. Не наклоняйся так низко. Все они были тогда дьяволами. С животными обращались ужасно. Клер понравилось на Цейлоне?

Динни выпрямилась, держа в руках целую охапку белья.

— Не особенно.

— Почему? Печень?

— Тетечка, ты никому не скажешь, кроме дяди Лоренса и Майкла? Они разошлись.

Леди Монт прижала к носу вербеновое саше.

¹ Этим восклицанием туземцы Австралии предупреждают об опасности.

— О,— отозвалась она,— я это сразу поняла, глядя на его мать. Ты веришь в пословицу: яблочко от яблони недалеко падает?

— Не очень.

— Я всегда считала, что семнадцать лет — слишком большая разница. Лоренс говорит,— люди всегда сначала говорят: «Ах, Джерри Корвен!»— а потом ничего не говорят. Ну так что же у них произошло?

Динни склонилась над ящиком комода и стала переключать в нем белье.

— Я не знаю подробностей, но, видимо, он — просто какое-то животное.

Леди Монт сунула саше в ящик и пробормотала:

— Бедная, милая Клер...

— Так вот, тетечка, пусть все думают, что она приехала домой, «чтобы поправить здоровье».

Леди Монт уткнулась носом в букет цветов, стоявших в вазе.

— Босуэл и Джонсон называют эти цветы «год — ищи»¹. Они не пахнут. Какая же болезнь может быть у Клер — нервы?

— Влияние климата, тетечка.

— А ведь сколько индоангличан возвращается, Динни!

— Знаю. Но пока пусть будет хоть эта причина. Долго так продолжаться не может. Итак, пожалуйста, не говори даже Флер.

— Флер все равно узнает, скажу я ей или нет. Уж она такая. У Клер кто-нибудь есть?

— О нет!— Динни вынула халат и при этом вспомнила лицо мододого человека, когда он прощался.

— А на пароходе?..— недоверчиво пробормотала тетка.

Динни перевела разговор на другое.

— Дядя Лоренс сейчас много занимается политикой?

— Да, такая тоска! Когда долго говорят о чем-нибудь — это всегда тоска... Что ваш кандидат — надежный, как Майкл?

— Он человек новый, но думаю, что пройдет.

— Женат?

— Нет.

Леди Монт склонила голову набок и внимательно посмотрела на племянницу из-под полуопущенных век.

Динни вынула из чемодана последнюю вещь. Это был пузырек с жаропонижающим.

— Англичане не возят с собой таких лекарств, тетечка.

— Оно для груди. Делия всегда мне его кладет. Я много лет вожу его с собой. Ты уже говорила со своим кандидатом?

— Да.

— Сколько же ему лет?

— Около сорока, мне кажется.

— А чем еще он занимается?

— Он К. А.²

— Как его фамилия?

¹ Неправильное произношение названия цветка «годиция».

² Королевский адвокат.

- Дорнфорд.
- Когда я была девушкой, я слышала про каких-то Дорнфордов.
- Но где? Ах да, в Элджисайресе. Он был полковником в Гибралтаре.
- Вероятно, его отец.
- Значит, у него ничего нет?
- Только то, что он зарабатывает в суде.
- Те, кому еще нет сорока, ничего там не зарабатывают.
- Ему, кажется, удастся.
- Энергичный?
- Очень.
- Блондин?
- Нет, темный. Он своим трудом пробился в люди. Скажи, тетечка, у тебя затопить сейчас или потом, когда ты будешь одеваться к обеду?
- Потом. Я хочу поглядеть на малыша.
- Отлично. Он, наверно, только что вернулся с прогулки. Твоя ванная внизу, около лестницы. Я подожду тебя в детской.

Детская, с окном из мелких стекол и низким потолком, была та самая, в которой и Динни, и даже тетя Эм получили свои первые впечатления от головоломной загадки, называемой жизнью; теперь в этой детской малыш учился ходить. На кого он будет похож, когда вырастет, на Черрелов или на Тасборо, пока еще трудно было сказать. Няня, тетка и двоюродная бабушка образовали вокруг него восторженный треугольник и вытянули руки, чтобы он мог падать по очереди в их распростертые объятия.

- Он не гукает,— заметила Динни.
- Он гукает по утрам, мисс.
- Он падает!— сказала леди Монт.
- Не плачь, милый!
- Он никогда не плачет, мисс.
- Он — в Джин. Клер и я до семи лет ужасно много плакали.
- Я ревела до пятнадцати,— сообщила леди Монт,— и начала опять после сорока пяти. А вы плакали, няня?
- У нас слишком большая семья, миледи; негде было.
- У няни чудесная мать и пять сестер. Чистое золото!

Румяные щеки няни стали еще румянее; она потупилась, улыбаясь застенчиво, как девочка.

— Смотрите, чтобы у него ножки не стали кривыми,— заметила леди Монт,— довольно уж ему ковылять.

Няня забрала сопротивлявшегося младенца и посадила его в кроватку; важно нахмурясь, он уставился на Динни.

— Мама его обожает,— сказала Динни.— Она уверяет, что он будет похож на Хьюберта.

Леди Монт пощелкала языком,— по ее мнению, этот звук должен привлекать внимание детей.

— Когда вернется Джин?

— Не раньше чем Хьюберт снова получит продолжительный отпуск.

Взгляд леди Монт остановился на племяннице.

— Священник говорит, что Алану придется провести в Китае еще год.

Динни помахивала бусами перед лицом ребенка. Она не обратила на слова тетки никакого внимания. С того летнего вечера, когда Динни в прошлом году вернулась домой после бегства Уилфрида, она и сама не говорила о своих чувствах, и не допускала никаких напоминаний о них. Никто, может быть даже она сама, не знал, зажили раны ее сердца или нет. Динни его просто не чувствовала. Она так долго, так упорно боролась с болью, что сердце ее как бы ушло в сокровенные глубины ее существа, и она едва ощущала его биение.

— Что ты теперь собираешься делать, тетечка? Ему пора спать.

— Пройдемся по саду.

Они спустились вниз и вышли на террасу.

— О-о...— сказала Динни огорченно,— Гловер сбил все листья с тутового деревца. Они так чудесно трепетали на ветках и лежались кольцом на траву! Право, садовники лишены чувства красоты.

— Они не любят подметать. А где кедр, который я посадила, когда мне было пять лет?

Обогнув угол старой стены, они подошли к кедру: это было раскидистое дерево лет шестидесяти, с плоскими ветвями, позолоченными заходящим солнцем.

— Знаешь, Динни, хорошо бы меня похоронить под ним. Но только они не захотят. Ведь от меня останется какая-то гниль.

— А я хочу, чтобы меня сожгли и непел развеяли по ветру... Посмотри, вон там на поле пашут. Ужасно люблю смотреть, как лошади движутся на фоне далеких деревьев.

— Мычащие стада...— ни с того ни с сего добавила леди Монт.

С востока, из овечьего стада, донесся слабый перезвон колокольчиков.

— Слышишь, тетечка?

Леди Монт взяла племянницу под руку.

— Мне очень часто хотелось быть козой,— сказала она.

— Только не в Англии,— отозвалась Динни,— где коз привязывают к столбу и они пасутся на крошечном клочке земли.

— Нет, с колокольчиком на шее, в горах. Лучше, я думаю, козлом, чтобы тебя не доили.

— Пойдем, я покажу тебе нашу новую клумбу, тетечка. На ней, конечно, сейчас почти ничего уже не осталось, только гортензии, георгины, хризантемы, маргаритки да несколько пентстемонов и космей!

— Динни,— начала леди Монт, выглядывая из-за георгин,— а что Клер... Говорят, теперь развод получить очень легко...

— Да, пока не начнешь его добиваться...

— А если человека бросают?

— Но ведь нужно, чтобы его действительно бросили.

— Ты же говорила, он вынудил ее уйти от него?

— Это не одно и то же, тетечка.

— Юристы так носятся со своими законами... Помнишь этого длинноносого судью в деле Хьюберта?

— Но он оказался очень человечным.

— В чем?

— Он же заявил министру внутренних дел, что Хьюберт говорит правду.

— Ужасная история,— пробормотала леди Монт,— но вспоминать приятно.

— Потому что все кончилось хорошо,— поспешно отозвалась Динни.

Леди Монт стояла перед ней, печально глядя на нее.

И Динни, не поднимая головы, вдруг сказала:

— Тетя Эм, нужно, чтобы и для Клер все кончилось хорошо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Предвыборная агитация, с ее странным обычаем уговаривать избирателей, была в самом разгаре. Одни внушали каждому местному жителю, что он поступит правильно лишь в том случае, если отдаст свой голос Дорнфорду, другие — что он поступит правильно, голосуя только за Стринджера. В общественных местах население многословно уговаривали дамы, не вылезавшие из автомобилей, и дамы, вылезавшие из них, а дома уговаривали голоса, вещавшие из репродукторов. Газеты и листовки всячески заверяли людей, что только они могут спасти страну. Избирателей просили голосовать поскорее и только не просили голосовать по несколько раз. Им всячески внушали потрясающую мысль, что от того, кому они отдадут свои голоса, зависит спасение родины. Их убеждали люди, знавшие, кажется, решительно все на свете, кроме одного — каким способом можно спасти родину. Ни кандидаты, ни дамы, ни чьи-то таинственные голоса, звучавшие из громкоговорителей, ни еще более таинственные голоса в газетных статьях — никто не сделал ни малейшей попытки разъяснить им это. Так было лучше. Во-первых, никто этого и не знал; во-вторых, зачем говорить о частностях, когда достаточно и общего? Зачем привлекать внимание даже к тому факту, что общее состоит из частных, или к тому, что в сфере политики дать обещание — еще не значит его выполнить? Лучше, гораздо лучше провозглашать широковещательные лозунги, оскорблять противников и называть избирателей самыми здоровыми и разумными людьми в мире.

Динни не занималась вербовкой голосов. Для этого она, по ее собственному выражению, «не годилась»; и, может быть, втайне она понимала всю нелепость такого обычая. Но Клер, даже если она и относилась к нему иронически, слишком стремилась к деятельности, чтобы сидеть сложа руки. И ей очень помогло отношение к этому других. Ведь людей всегда вербовали и всегда будут вербовать. Агитация — довольно безобидное развлечение, скорее напоминающее жужжание мух, которые не кусают. Что до подачи голосов, то тут люди будут руководствоваться совершенно иными мотивами: тем, что их отцы голосовали за то-то и то-то, и тем, какое они занимают положение; они будут голосовать, соображаясь с мнением своего домовладельца, со своим вероисповеданием, своим профессиональным союзом; будут голосовать потому, что они жаждут перемен, хотя ничего существенного от них не ждут; а многие будут просто следовать собственному здравому смыслу.

Клер, опасаясь вопросов, старалась ораторствовать как можно меньше и быстро сводила разговор к детям или состоянию здоровья избирателя. Обычно она кончала тем, что спрашивала, когда ему будет всего удобнее голосовать; отметив час в своей записной книжке, она уходила, так и не выяснив, последует ли он ее совету.

Она была Черрел, а не «чужая», и они относились к ее появлению как к чему-то само собой разумеющемуся, и хотя не знали ее лично, как знали Динни, но она тоже казалась им частью незыблемого порядка вещей; никто не мог представить себе Кондафорд без Черрелов.

В последнюю субботу перед выборами, около четырех часов дня, Клер, закончив свой объезд, возвращалась домой. Подъезжая к имению, она услышала чей-то голос, звавший ее по имени. Двухместная машина обогнала ее, и она увидела Тони Крума.

— Как вы сюда попали, Тони?

— Не выдержал, хотел хоть разок взглянуть на вас.

— Но, милый мальчик, ваш приезд сюда слишком бросится в глаза.

— Знаю, зато я видел вас.

— Надеюсь, вы не собирались заехать к нам?

— Если бы мы не встретились — пришлось бы. Клер, как вы престестны!

— Пусть так, но это еще не причина, чтобы компрометировать меня перед домашними.

— Меньше всего я хотел бы этого. Но мне необходимо изредка видеть вас, иначе я совсем пропаду.

Его лицо было настолько серьезно и голос полон такого волнения, что Клер, видимо, ощутила в первый раз так называемый сердечный трепет.

— Нехорошо, — сказала она. — Я должна стать на ноги и не могу допускать никаких осложнений.

— Позвольте мне хоть раз поцеловать вас. Тогда я уеду счастливый.

Клер, еще более взволнованная, подставила ему щеку.

— Только быстрее!

Он прижался губами к ее щеке, но когда стал искать ее губ, она отстранилась.

— Нет, теперь уезжайте. Если вы хотите повидаться со мной — это возможно только в городе. Но какой смысл? Мы станем еще несчастнее.

— Спасибо вам за это «мы».

Клер улыбалась карими глазами. Они были цвета малаги, если смотреть сквозь вино на свет.

— Вы нашли работу?

— Работы нет вообще.

— После выборов будет легче. Я лично подумываю о месте в шляпной мастерской.

— Вы?!

— Должна же я работать! Моим родителям приходится так же туго, как и всем остальным. Ну, Тони, вы ведь хотели уехать...

— Обещайте, что дадите мне знать, когда соберетесь в город!

Она кивнула и запустила мотор. Автомобиль мягко скользнул вперед. Клер повернула голову и еще раз улыбнулась Тони. А он продолжал

стоять на месте, сжимая голову руками, пока машина Клер не скрылась за поворотом.

Она же, въезжая во двор, подумала: «Бедный мальчик!» — и ей стало приятно. Каково бы ни было ее положение перед лицом закона и морали, но молодой красивой женщине все же становится легче жить, когда ей курят фимиам. Она может быть преисполнена самых благих намерений, однако это не мешает ей принимать поклонение как должное и страдать, когда его нет. Поэтому Клер в тот вечер казалась еще красивее и чувствовала себя более счастливой. Ночь была светлая; почти полная луна взошла против ее окон и не давала заснуть. Клер поднялась и раздвинула занавески. Кутаясь в шубку, она остановилась у окна. Очевидно, подморозило, и туман стлался над полями, словно легкое руно. Причудливые очертания высоких вязов медленно плыли поверх белой мглы. Та страна, там, за окном, казалась ей неведомой, точно упавшей с луны. Клер зябко повела плечами. Все это, может быть, и очень красиво, но какое холодное и неуютное, ледяное великолепие! Она вспомнила о ночах в Индийском океане, когда приходилось сбрасывать с себя простыни и даже луна казалась раскаленной. На пароходе пассажиры сплетничали о ней и Тони, — она была в этом уверена, но ее это не трогало. Да и чего ради? Он за все это время ни разу даже не поцеловал ее. Даже в тот вечер, когда он пришел к ней в каюту, она показывала ему фотографии и они разговаривали. Хороший мальчик, скромный, настоящий джентльмен! А если он влюбился, — что ж, она тут ни при чем, она его не завлекала. Что касается дальнейшего, жизнь всегда повернет по-своему, как ни старайся! Будь что будет. Предрешать что-нибудь, строить планы, придерживаться определенной «линии поведения» — совершенно бесполезное занятие, она убедилась в этом, живя с Джерри. Клер вздрогнула, потом рассмеялась, потом ею овладела какая-то яростная решимость! Нет! Если Тони надеется, что она бросится в его объятия, он жестоко ошибается. Физическая любовь? Она сыта ею по горло, хватит! Спасибо! Теперь она холодна, как лунный свет! Но говорить об этом невозможно даже с матерью, как бы они с папой ни относились к ее уходу от мужа.

Динни, наверное, им что-нибудь сказала, уж очень они бережны. Но даже Динни не знает всего, и никто никогда не узнает. И все-таки это неважно, лишь бы хоть что-нибудь зарабатывать. Конечно, «разбитая жизнь» и тому подобное — просто старомодный вздор. От самого человека зависит сделать свою жизнь интересной. Она вовсе не собирается забиться в угол и хныкать. Отнюдь нет! Но деньги как-то добывать надо... Ее зазнобило даже под мехом. Казалось, холодный лунный свет пробирал до костей. В этих старых домах нет даже центрального отопления, и нет денег, чтобы его провести.

Как только кончатся выборы, она поедет в Лондон и будет искать работу. Может быть, Флер подскажет ей что-нибудь. Если нельзя заняться шляпами, то не удастся ли получить место личного секретаря у какого-нибудь политического деятеля? Она печатает на машинке, хорошо знает французский язык, у нее разборчивый почерк. Она умеет водить машину и выезжать лошадей. Она отлично знает жизнь в поместьях, ее нравы и обычаи, она знает все особенности подобного хозяйства. Наверное, многие члены парламента хотели бы иметь такого человека,

который мог бы подсказать им, когда и как надо одеться, как, никого не обидев, отклонить то или иное предложение, и помогал бы им выпутываться из всяких затруднений. У нее есть большой опыт по части собак, и она немного разбирается в цветах, она умеет красиво расставлять их в вазах и кувшинах. А если надо будет ориентироваться в вопросах политики, она скоро научится и этому! Стоя в призрачном и холодном лунном свете, Клер продолжала размышлять: да, она сможет быть полезна людям. Она отлично проживет на жалованье и на свои двести фунтов в год. Луна, светившая сквозь один из вязов, теперь, казалось, уже не изливала какое-то губительное безразличие; наоборот, у луны появилось выражение лукавой загадочности, и она выглядела из-за ветвей с еще густой листвой, словно заговорщик. Клер обхватила себя руками за плечи, протанцевала несколько па, чтобы согреть ноги, и юркнула в постель...

А Крум в машине, взятой у приятеля, возвращался в Лондон, делая по крайней мере шестьдесят миль в час. Этот первый поцелуй, которым он коснулся холодной и все же пылающей щеки Клер, поверг его в какое-то исступление. Поцелуй означал огромный шаг вперед. Тони не был порочным юношей и отнюдь не считал преимуществом, что Клер — замужняя женщина. Но оказались ли бы его чувства столь же пламенными, будь она не замужем, — этого вопроса он перед собой не ставил. Неуловимое очарование, присущее женщине, познавшей физическую любовь, и особая острота, которую знание этого придает ощущениям мужчины, — все это представляет интерес для психолога, а не для наивного юноши, полюбившего в первый раз в жизни. Тони хотел бы, чтобы она стала его женой, если это возможно, если же нет, то все равно как, лишь бы заполучить ее. Три года он прожил на Цейлоне, работал как вол, белых женщин видел мало, и ни одна не увлекла его. Единственной его страстью была игра в поло, а когда он встретился с Клер, он только что лишился и поло и работы. Клер заполнила образовавшуюся пустоту.

С деньгами у Тони дело обстояло еще хуже, чем у Клер. У него имелись сбережения — около двухсот фунтов, и на них надо было жить, пока он не найдет места. Поставив машину обратно в гараж, он стал соображать, где бы пообедать подешевле, и решил пойти в свой клуб. Он фактически там и жил, а в своей комнате на Райдер-стрит только ночевал и утром завтракал вареными яйцами и чашкой чаю. Комната была неудобная, в первом этаже, полупустая — всего кровать и платяной шкаф; окна выходили на высокую стену соседнего дома. В такой же комнате в девяностых годах останавливался, ночевал и завтракал его отец, когда приезжал в город. Только теперь она стоила вдвое дороже. Под воскресенье в клубе не было никого, кроме нескольких завсегдатаев, привыкших проводить субботний вечер на Сент-Джеймс-стрит. Молодой человек заказал себе обед из трех блюд и уничтожил его до последней крошки. Затем выпил пива и отправился в курительную выкурить трубку. Собираясь опуститься в кресло, он заметил стоявшего перед камином высокого худого человека с темными изогнутыми бровями и седыми усиками, который рассматривал его через монокль в черепаховой оправе. Повинуясь импульсу влюбленного, жаждущего любым способом приблизиться к даме своего сердца, Тони обратился к нему:

— Простите, сэр, вы не Лоренс Монт?

— Всю жизнь был в этом уверен.

Молодой человек улыбнулся.

— В таком случае, сэр, я познакомился с вашей племянницей, леди Корвен, когда она возвращалась с Цейлона. Она говорила мне, что вы состоите членом этого клуба. Моя фамилия Крум.

— А...— отозвался сэр Лоренс, роняя монокль.— Я, видимо, знал вашего отца, я постоянно видел его здесь перед войной.

— Да, он записал и меня, с самого рождения. Должно быть, я самый молодой член клуба...

Сэр Лоренс кивнул.

— Так вы познакомились с Клер? Ну, как она перенесла поездку?

— Мне кажется, очень хорошо, сэр.

— Давайте сядем и поговорим о Цейлоне. Хотите сигару?

— Спасибо, сэр, у меня трубка.

— Может быть, кофе? Официант, две чашки кофе. Моя жена сейчас в Кондафорде, у родителей Клер... Прелестная молодая женщина.

Заметив, как пристально смотрят на него темные глаза старика, молодой человек пожалел о своем порыве. Он покраснел, но храбро отвел:

— Да, сэр, она прелестна.

— А вы знаете Корвена?

— Нет,— коротко ответил Крум.

— Умный малый. Понравилось вам на Цейлоне?

— О да! Но пришлось уехать.

— Возвращаться не собираетесь?

— Боюсь, что нет.

— Я был на Цейлоне очень давно. Индия, в общем, поработила его.

В Индии бывали?

— Нет, сэр.

— Трудно понять, действительно ли индийцы стремятся к независимости. Ведь там семьдесят процентов населения — крестьяне! А крестьяне хотят устойчивости и спокойной жизни. Я помню, в Египте перед войной началось сильное националистическое движение. Но феллахи были все за Китченера ¹ и за твердые английские законы. Во время войны мы убрали Китченера и лишили их устойчивости; тогда они впали в другую крайность. Что вы делали на Цейлоне?

— Управлял чайной плантацией. Но потом владельцы стали наводить экономию, объединили три плантации, и я оказался не у дел. Как вы думаете, сэр, намечается какой-нибудь сдвиг? Я ничего не понимаю в экономике.

— Никто не понимает. Теперешнее положение вещей вызвано десятками причин, а люди вечно стараются все свалить на одну. Возьмите Англию: тут и отказ от торговли с Россией, и относительная независимость европейских стран, и резкое сокращение торговли с Индией и Ки-

¹ Китченер (1850—1916) — английский реакционный политический деятель; принимал участие в подавлении народных восстаний в Судане и Египте; в свое время предлагал в демагогических целях некоторые реформы, касавшиеся интересов египетских крестьян — феллахов.

таем, и рост потребностей населения в послевоенные годы, и увеличение расходов по государственному бюджету примерно с двухсот миллионов до восьмисот,— значит, на оплату труда мы вынуждены расходовать в год почти на шестьсот миллионов меньше. Когда твердят о перепроизводстве, это, конечно, к нам неприменимо: так мало мы давно не производили. Тут и демпинг, и никуда не годная организация, и неумелый сбыт даже того ничтожного количества продуктов питания, которое мы производим. Прибавьте к этому нашу привычку надеяться, что «завтра все наладится», и наши повадки балованного ребенка. Все это — причины специфические для Англии. Причем две из них — слишком высокие потребности и повадки балованного ребенка — присущи также Америке.

— А какие в Америке еще причины, сэр?

— Америка, конечно, и перепроизвела и переспекулировала. И уровень потребностей там так высок, что страна прозакладывала все свое будущее: система продажи в кредит и так далее. Она сидит на золоте, но из золота ничего не высидишь. А ведь деньги, данные Европе в долг за время войны, были по существу деньгами, которые Америка заработала на войне, хотя американцы этого не понимают. Согласившись на всеобщее аннулирование долгов, они тем самым согласились бы и на всеобщее оздоровление экономики, включая и их собственную.

— Но разве они когда-нибудь согласятся?

— Никогда нельзя предвидеть, что сделает Америка: она гораздо менее консервативна, чем страны Старого Света. Она способна на большие дела, даже когда действует в собственных интересах. Вам нужно найти работу?

— Очень нужно.

— Где вы учились?

— Я пробыл два года в Уэллингтоне и в Кембридже. А когда вернулись эти плантации, я сейчас же ринулся туда.

— Сколько вам лет?

— Двадцать шесть.

— А чем бы вы хотели заняться?

Молодой человек наклонился к собеседнику.

— Право, сэр, я бы взялся за что угодно. Но я хорошо знаю лошадей и надеялся, что, может быть, удастся устроиться на конный завод или при манеже для верховой езды.

— Это идея. Странно, между прочим, обстоит дело с лошадьми: они входят в моду, по мере того как вымирают. Я поговорю с моим кузеном Маскемом — у него конный завод. И он помешан на том, чтобы снова влить арабскую кровь в английских чистокровок. Он выписал несколько арабских кобыл из Египта. Возможно, ему понадобится кто-нибудь.

Крум вспыхнул и улыбнулся.

— Вы ужасно добры, сэр. Это было бы идеально. Я имел дело с арабскими пони для поло.

— Видите ли,— задумчиво пробормотал сэр Лоренс,— больше всего на свете вызывает мое сочувствие человек, который действительно нуждается в работе и не может найти ее. Но придется переждать, пока пройдут выборы. Если социалистов не погонят, владельцам конных заводов останется только пустить свой молодняк на жаркое. Представьте

себе, что на нашем куске хлеба с маслом лежит ломтик победителя на Дерби — вот уж поистине «радость джентльмена»!

Сэр Лоренс поднялся.

— А теперь спокойной ночи. Моей сигары мне как раз хватит до дому.

Молодой человек встал и не садился до тех пор, пока худая и подвижная фигура сэра Лоренса не скрылась из виду.

«Ужасно славный старик!» — размышлял он. Погрузившись в глубокое кресло, он решил не отчаиваться и предался созерцанию лица Клер, которое как бы рисовал перед ним дым его трубки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В этот холодный и мглистый вечер, который все газеты единодушно объявили «историческим», Черрелы сидели в своей кондафордской гостиной вокруг переносного радиоприемника — подарка Флер. Они ждали, возвестит ли голос оттуда «радостную весть» или «удар судьбы». Все пятеро были глубоко убеждены, что сейчас поставлено на карту все будущее Англии и что в этой их убежденности ни класс, ни партия не играют никакой роли. Им казалось, что ими руководит только чувство патриотизма, совершенно лишенное личных интересов. И если они в этом ошибались, то ту же ошибку совершало с ними множество британцев. Правда, в сознании Динни мелькала мысль: «А знает ли кто-нибудь, в чем спасение Англии?» Но и Динни не понимала, каковы те исторические силы, которые изменяют и формируют жизнь нации. Однако газеты и политические деятели сделали свое дело и провозгласили этот момент поворотным пунктом. Динни, одетая в платье цвета морской волны, сидела перед «подарком Флер» и ждала десяти часов, чтобы включить и настроить приемник. Тетя Эм склонилась над новой французской вышивкой, причем сидевшие на ее носу очки в черепаховой оправе еще резче подчеркивали ее орлиный профиль.

Генерал первым листал «Гайме», то и дело вынимая часы. Леди Черрел сидела неподвижно, слегка подавшись вперед, как ребенок в воскресной школе, еще не знающий, будет ли ему очень скучно или не очень. Клер лежала на кушетке, Фолш свернулся у нее в ногах.

— Пора, Динни, — сказал генерал, — включай эту штуку.

Динни включила приемник, и из «штуки» грянула музыка.

— «У нас на пальцах кольца, на ногах колокольцы, — пробормотала Динни, — и всюду с нами музыка, куда мы ни пойдём».

Музыка смолкла, и заговорил голос:

— Сообщаем предварительные результаты выборов: Хорнси... консервативная... без перемен.

Генерал произнес «гм», музыка снова заиграла.

— Укроти его, Динни, уж очень он орет! — заметила леди Монт, взглянув на приемник.

Он всегда так, тетечка.

— Блор что то делает с нашим с помощью пенни. Где это — Хорнси? На острове Уайт?

В Миддлсексе, дорогая

— Ах да! Я спутала с Саутси... Вот он опять заговорил.

— Слушайте новые сведения о выборах: консервативная партия выиграла у лейбористской... Консервативная... без перемен... Консервативная выиграла у лейбористской.

Генерал произнес «ага», и снова заиграла музыка.

— Какое симпатичное большинство!— заметила леди Монт.— Приятно!

Клер встала с кушетки и примостилась на скамеечке у ног матери. Генерал уронил «Таймс». Голос продолжал:

— Национал-либералы выиграла у лейбористской, консервативная без перемен... Консервативная выиграла у лейбористской...

Вновь и вновь играла музыка, потом замирала и говорил диктор. Лицо Клер становилось все оживленнее, а над ним выступало бледное и тонкое лицо леди Черрел, с которого не сходила улыбка. Время от времени генерал восклицал: «Черт возьми! или: «Вот это дело!»

А Динни думала: «Бедные лейбористы!»

Голос продолжал сообщать радостные вести.

— Потрясающе!— сказала леди Монт.— Мне захотелось спать.

— Иди ложись, тетечка. Когда я пойду наверх, я суну тебе под дверь записочку.

Поднялась и леди Черрел. Когда они ушли, Клер опять опустилась на кушетку и как будто задремала. Генерал все еще бодрствовал, зачарованный ликующей песней победы.

Динни положила ногу на ногу и закрыла глаза: «Произойдут ли действительно какие-нибудь перемены? И если да, то что мне до того? Где он? Слушает, как мы? Но где? Где?..» Теперь уже реже, но все еще слишком часто возвращалась ее тоска по Уилфриду. За все шестнадцать месяцев, протекавшие с того дня, как он ушел от нее, она ничего о нем не слышала. Может быть, он умер? Один, только один раз она изменила своему решению никогда не касаться постигшего ее несчастья и спросила Майкла. Компсон Грейс, издатель Уилфрида, получил от него письмо из Бангкока, в котором тот сообщал, что чувствует себя хорошо и начал писать. С тех пор прошло девять месяцев. Покров тайны, чуть приподнявшись, снова упал. А сердце щемит... Что ж, Динни к этому привыкла.

— Папа, два часа. Дальше будет все то же самое. Клер уже спит.

— Я не сплю,— отозвалась Клер.

— А должна бы. Я выпущу Фоша погулять, и мы все пойдем наверх. Генерал поднялся.

— Да, уже все ясно. Пожалуй, и правда пора спать!

Динни открыла застекленную дверь и стала смотреть, как Фош с притворным энтузиазмом бежит по саду. Было холодно, по земле стлался туман, и она снова закрыла дверь. Если бы она не сделала этого, Фош не выполнил бы обычного ритуала и с искренним энтузиазмом вернулся бы в дом. Поцеловав отца и Клер, Динни потушила свет и осталась в холле. Огонь в камине почти погас. Динни поставила ногу на каменную плиту камина и отдалась своим мыслям. Клер говорила о своем желании поступить секретарем к одному из новых членов парламента. Судя по отчетам, их будет много. А почему бы ей не поступить к их собственному депутату? Он однажды обедал у них, и Динни сидела ря-

дом с ним. Приятный человек, начитанный, не ханжа. Он даже сочувствовал лейбористам, но считал, что они еще сами толком не знают, чего хотят. Он примерно то, что в одной пьесе подвыпивший юнец называет «тори-социалист». Депутат держался с веселой откровенностью и искренностью. Приятная внешность, выщипанные темные волосы, загорелое лицо, небольшие темные усы и довольно высокий мягкий голос; в общем, славный человек, энергичный и прямой. Но у него, вероятно, уже есть секретарь. Впрочем, если намерение Клер серьезно, можно будет поговорить. Динни направилась к двери, ведущей в сад. На крыльце стояла скамья, под нее, наверное, и забился Фош, ожидая, чтобы его впустили. Да, вот он; вылез, помахивая хвостом, и побрел к общей собачьей площадке с водой. Как холодно и тихо! На дороге — никого; даже сов и тех не слышно; сад и поля лежат в лунном свете молчаливые, застывшие, пустые — до той длинной полосы лесов! Англия — посеребренная луной и равнодушная к своей судьбе, не верящая радостной вести и все та же, неизменная и прекрасная, даже несмотря на то, что фунт упал! Динни вглядывалась в сумрак этой тихой ночи. Люди и вся их политика — как мало они значат, как быстро исчезают, словно капли росы на хрустальной поверхности этой огромной божьей игрушки! Страстная напряженность человеческих чувств и непостижимое ледяное равнодушие времени и пространства!.. Может быть, смириться, снова вернуться к жизни?

Ей стало холодно, и она закрыла дверь.

На следующее утро, сидя за завтраком, она сказала Клер:

— Что ж, будем ковать железо, пока горячо, и отправимся к мистериу Дорнфорду!

— Зачем?

— На случай, если бы ему понадобился секретарь, — теперь, когда он избран.

— Разве он прошел?

— Еще бы!

Динни стала читать сводку выборов. Обычно столь несокрушимую либеральную оппозицию вытеснили какие-то жалкие пять тысяч голосов, поданные за лейбористов.

— Они победили только благодаря слову «национальный», — заметила Клер. — Когда я вербовала голоса в городе, все были за либералов. Но я произносила слово «национальный», и это действовало без промаха.

Узнав, что новый член парламента пробудет у себя все утро, сестры выехали около одиннадцати часов. Но столько людей сновало там взад и вперед, что им не захотелось входить.

— Ненавижу просить о чем-нибудь, — заявила Клер.

Динни, которая не любила этого так же, как и сестра, предложила:

— Подожди здесь, а я пойду поздравлю его. Может быть, и удастся замолвить за тебя словечко. Он тебя, верно, видел.

— Ну конечно!

Юстэйс Дорнфорд, К. А., только что избранный член парламента, сидел в комнате, состоявшей, казалось, из одних открытых дверей, и пробегал глазами списки, которые клал перед ним на стол его уполномоченный. Через одну из дверей Динни были видны под столом его ноги

в бриджах и сапогах для верховой езды, а на столе — котелок, перчатки и хлыст. Сейчас, когда она стояла уже в дверях, ей показалось просто невозможным вторгнуться к нему в такую минуту, и она совсем уж собралась ускользнуть, когда он поднял глаза.

— Минутку, Минс. Мисс Черрел?

Она остановилась и обернулась к нему. Вид у него был довольный, и он улыбался.

— Чем могу служить вам?

Она протянула ему руку.

— Страшно рада, что вы победили. Мы с сестрой хотели вас поздравить.

Он стиснул ее пальцы, и Динни подумала: «Вот уж неподходящая минута для просьб», — но вслух сказала:

— Выборы прошли блестяще. В наших местах никогда еще не бывало подобного единодушия.

— И никогда больше не будет. Так уж мне повезло. А где ваша сестра?

— В машине.

— Я хотел бы поблагодарить ее за труды.

— О, — отозвалась Динни, — она делала это с удовольствием! —

И, чувствуя, что нужно решиться — теперь или никогда, добавила: — Она сейчас не устроена, знаете ли, и очень хотела бы найти какое-нибудь занятие... Нет, вы не подумайте... Ну, словом, не пригодилась бы она вам в качестве секретаря? («Ух, выложила!») Сестра очень хорошо знает это графство, умеет писать на машинке, говорит по-французски и немножко по-немецки, — надеюсь, это может пригодиться?

Все это Динни выпалила залпом и теперь смущенно стояла перед ним. Но выражение готовности на его лице не исчезло..

— Пойдемте поговорим с ней, — сказал он.

А Динни подумала: «Господи! Надеюсь, он не влюбился в нее!» — и покосилась на Дорнфорда. Он продолжал улыбаться, но теперь его лицо казалось строже. Клер стояла подле машины. «Вот бы мне ее хладнокровие», — думала Динни. Она остановилась и молча наблюдала за всем, что делалось вокруг, отмечая торжественную деловитость входивших и выходивших людей, любуясь сестрой и Дорнфордом, которые разговаривали доверчиво и оживленно, любуясь чистым, сверкающим утром. Дорнфорд опять подошел к ней.

— Огромное вам спасибо, мисс Черрел. Получилось замечательно! Мне действительно нужен секретарь, а требования вашей сестры очень скромны.

— Я боялась, вы не простите мне, что я обратилась к вам с просьбой в такую минуту.

— Всегда счастлив служить вам, чем могу, и в любую минуту. Сейчас мне пора, но надеюсь увидеть вас очень скоро.

Он направился к дому, а Динни, глядя вслед ему, подумала: «Какой красивый покррой бриджей». Затем она села в машину.

— Динни, — воскликнула Клер, смеясь, — да он в тебя влюблен!

— Что?!

— Я попросила двести, а он сразу назначил двести пятьдесят. Как это ты успела очаровать его в один вечер?

— Ничего подобного! Это он в тебя влюблен.

— Нет, нет, милая! Глаза у меня есть. Я уверена, что в тебя. Ведь ты сразу догадалась, что Тони Крум влюблен в меня.

— Это было видно.

— И здесь видно.

— Чепуха, — решительно возразила Динни. — Когда ты начнешь?

— Сегодня он возвращается в Лондон. Он живет в Темпле, в Хардорт-билдингс. Я поеду туда во второй половине дня и начну работать послезавтра.

— А где ты будешь жить?

— Думаю снять комнату без мебели или маленькую студию, а обставлю и украшу ее постепенно сама. Вот будет занятно!

— Сегодня уезжает тетя Эм. Она приютит тебя, пока ты не найдешь комнату.

— Что ж, — задумчиво отозвалась Клер, — пожалуй.

Когда они подъезжали к дому, Динни спросила:

— А как же Цейлон, Клер? Ты думала об этом?

— Думать бесполезно. Вероятно, он что-нибудь предпримет; что — я не знаю, да мне и безразлично.

— Он тебе писал?

— Нет.

— Смотри, дорогая, будь осторожна...

Клер пожала плечами.

— О, я буду осторожна!

— Может он получить отпуск, если захочет?

— Думаю — да.

— Ты будешь писать мне обо всем? Хорошо?

Клер на миг оторвалась от руля и чмокнула Динни в щеку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Три дня спустя после разговора в клубе Крум получил от сэра Лоренса Монта письмо, в котором тот сообщал, что его кузен Маскем получит арабских кобыл не раньше весны. А пока что он будет иметь мистера Крума в виду и постарается в скором времени с ним встретиться. Знает ли мистер Крум разговорный арабский язык?

«Нет, не знаю, — подумал Крум, — но я знаю Степильтона».

Степильтон был классом старше его в Уэллингтонском колледже, недавно он приехал в отпуск из Индии. Известный игрок в поло, он должен был знать жаргон восточных коневодов. Степильтон сломал себе берцовую кость, готовя лошадь к скачкам с препятствиями, и, наверное, здесь задержится; но работу нужно искать немедленно, и Крум продолжал поиски. Однако все отвечали ему одно и то же: «Подождите, пока закончатся выборы».

Поэтому на другое же утро после выборов он вышел с Райдер-стрит, окрыленный новыми надеждами, но вернулся вечером в клуб разочарованный. «Я мог бы с таким же успехом отправиться в Нью-Маркет и по-

смотреть, как разыгрывается «большой приз». Тут швейцар вручил ему записку, и сердце его забилося. Усевшись в укромный угол, он прочел:

«Милый Тони!

Я получила место секретаря у нашего нового депутата, Юстэйса Дорнфорда; он королевский адвокат в Темпле. Поэтому я перебралась в город. Пока не найду себе комнату, буду жить у тетки, леди Монт, на Маунт-стрит. Надеюсь, что вам так же повезло, как и мне. Я обещала известить вас, когда приеду в город, но умоляю вас руководствоваться здравым смыслом, а не чувствами, и считаться с гордостью и с предрассудками.

Ваша попутчица и доброжелательница
Клер Корвен».

«Милая!— подумал Тони.— Вот счастье-то!» Он перечел записку, положил в левый карман жилета вместе с портсигаром и отправился в курительную. Там он излил свое пылающее сердце на листке бумаги со старинным девизом клуба.

«Дорогая Клер!

Ваше письмо страшно меня обрадовало. Как замечательно, что вы будете жить в Лондоне! Ваш дядя был очень добр ко мне, и я просто обязан зайти и поблагодарить его. Поэтому явлюсь завтра около шести часов. Я занят только тем, что ищу работу, и начинаю понимать, каково беднякам изо дня в день получать отказ. Но будет еще хуже, когда мой кошелек опустеет, а этот час недалек. К сожалению, этому малютке не везет. Надеюсь, ваш ученый муж окажется порядочным человеком. Члены парламента мне всегда представляются какими-то туповатыми чудачками, и я никак не могу вообразить вас среди законопроектов, петиций, заявлений о патентах и т. п. Во всяком случае, вы — молодчина, что хотите быть независимой! А выборы-то — какое большинство! Если уж они ничего не сделают, имея за собой такую силу, тогда они вообще ни на что не годятся! Знаете, я не могу не любить вас и не желать быть с вами весь день и всю ночь. Но я постараюсь быть послушным, насколько смогу, так как меньше всего на свете хотел бы доставить вам хоть самую крошечную неприятность. Думаю о вас постоянно, даже когда передо мной какой-нибудь каменный тип, и я ищу в его рыбьем лице признаков того, что моя печальная повесть хоть чуточку его расстрогала. Беда в том, что я ужасно люблю вас. Итак, завтра, в четверг, около шести!

Спокойной ночи, моя дорогая, моя прелесть.

Ваш Тони».

Отыскав номер дома сэра Лоренса на Маунт-стрит, он надписал адрес, усердно полизал края конверта и вышел, чтобы самому опустить письмо. Ему вдруг не захотелось возвращаться в клуб. Клубная атмосфера мало подходила к его настроению. Ведь клубы проникнуты специфически мужским духом, и все их отношение к женщине, так сказать,

послеобеденное — и презрительное и распутное. Клубы — это безопасные комфортабельные убежища, защищенные от женщин и всяких обязательств перед ними, и как только мужчина попадает в клуб, у него появляется тот же независимо-пренебрежительный вид. Кроме того, «Кофейня», будучи одним из самых старинных клубов, битком набита давнишними завсегдатаями, людьми, которых невозможно представить себе вне ее стен. «Нет! — решил он. — Пойду где-нибудь перекушу и посмотрю в Друри-Лейн новую пьесу».

Он достал место довольно далеко от сцены, в одной из верхних лож, но зрение у него было прекрасное, и ему было хорошо видно. Скоро он весь ушел в развернувшиеся перед ним картины. Он так долго жил вдали от Англии, что теперь испытывал к ней даже какую-то нежность. Живописная панорама ее истории за последние тридцать лет очень взволновала Крума, хотя он и не признался бы в этом никому из сидевших рядом с ним зрителей. Бурская война, смерть королевы Виктории, гибель «Титаника», мировая война и заключение мира, встреча 1931 года... Если бы его спросили после, какое все это произвело на него впечатление, он, вероятно, ответил бы: «Замечательно! Но мне стало грустно». Когда он сидел в театре, он чувствовал нечто большее, чем грусть: в нем говорила тоска влюбленного, который тщетно жаждет соединиться со своей возлюбленной, и он испытывал такое ощущение, словно его, несмотря на все попытки устоять, все время швыряет из стороны в сторону. Когда он выходил, в его ушах звучали последние слова пьесы: «Величие, достоинство и мир!» Это волнует, и вместе с тем — какая чертовская ирония! Он вынул из портсигара папиросу и закурил. Ночь была ясная, и Тони пошел пешком; ловко лавируя в потоке уличного движения, он все еще слышал унылое завывание уличных певцов. Огни рекламы — и помойки! Люди, уносящиеся домой в собственных машинах, — и бесприютные бродяги! «Величие, достоинство и мир!»

«Необходимо чего-нибудь выпить!» — решил Крум. Теперь клуб опять казался приемлемым, даже желанным, и молодой человек направился туда: «Прощай, Пикадилли! Прощай, Лестер-сквер!..» Замечательная сцена, когда английские солдаты, посвистывая, маршировали по спирали сквозь густой туман, а на авансцене три накрашенные девушки выкрикивали: «Мы не хотим терять вас, но вам пора идти»; а из боковых лож публика смотрела вниз и хлопала. Все это было как в жизни, и таким же было веселье на размазанных лицах женщин, становившееся, однако, все более неестественным, напускным и душераздирающим. Надо сходить еще раз с Клер. Взволнует ли это ее? И вдруг он понял, что не знает. Да и что вообще человек знает о другом, даже о любимой женщине? Сигарета обожгла ему губы, и он выплюнул окурочек... Ему вспомнилась сцена с молодой парой, проводившей на «Титанике» свой медовый месяц, — перед ними, казалось, раскрывалась вся жизнь, а на самом деле их ждали только холодные морские глубины; разве эти двое знали что-нибудь, кроме того, что они стремятся быть вместе? Жизнь, как подумаешь, ужасно странная штука!

Он поднимался по лестнице клуба с таким ощущением, словно, с тех пор как по ней спустился, прожил целую жизнь...

На другой день, ровно в шесть часов, он позвонил у подъезда на Маунт-стрит. Лакей, открывший ему дверь, с легким удивлением поднял брови.

— Сэр Лоренс Монт дома?

— Нет, сэр. Леди Монт дома, сэр.

— Боюсь, что с леди Монт я не знаком. Нельзя ли мне увидеть леди Корвен?

Одна из бровей слуги поднялась еще выше.

«Ага!» — казалось, подумал он.

— А как о вас доложить, сэр?

Крум протянул ему свою визитную карточку.

— «Мистер Джеймс Бернард Крум», — возвестил лакей.

— Скажите: «Мистер Тони Крум».

— Слушаю, сэр! Подождите здесь минутку... А вот и леди Корвен!

С лестницы раздался голос:

— Тони! Какая точность! Идите сюда и познакомьтесь с тетей.

Она перегнулась через перила. Лакей исчез.

— Положите шляпу. Как это вы можете разгуливать без пальто?

Я все время забну.

Молодой человек подошел к лестнице.

— Милая! — прошептал он.

Она прижала палец к губам, затем опустила руку, и Тони с усилием дотянулся до нее.

— Идемте!

Когда он поднялся по лестнице, она уже успела открыть какую-то дверь и говорила кому-то:

— Это мой попутчик, тетя Эм. Он пришел к дяде. Мистер Крум. Моя тетя — леди Монт.

Молодой человек увидел чью-то фигуру, сделавшую ему навстречу несколько шагов, и услышал голос:

— А-а, пароходы! Ну да! Как поживаете?

Крум почувствовал, что его разглядывают, и увидел на лице Клер чуть насмешливую улыбку. Если бы только остаться с ней вдвоем хоть на пять минут, он бы стер эту улыбку поцелуями! Он бы...

— Расскажите о Цейлоне, мистер Крэйвен.

— Крум, тетечка. Тони Крум. Лучше зови его просто Тони. Это не его имя, но его все так зовут.

— Тони! Так всегда зовут героев! Не знаю почему.

— Этот Тони совсем не герой.

— Да, Цейлон. Вы познакомились с ней там, мистер... Тони?

— Нет. Мы познакомились на пароходе.

— Мы с Лоренсом обычно спали на палубе. Это было в бурные деяностые годы. Река в то время кишела плоскодонками.

— То же самое и теперь, тетечка.

Молодому человеку вдруг представилась картина: они с Клер в плоскодонке, на тихой заводи... Наконец он очнулся и сказал:

— Я был вчера на «Кавалькаде». Замечательно!

— А, — отозвалась леди Монт, — я чуть не забыла... — и вышла из комнаты.

Молодой человек вскочил.

— Тони! Ведите себя прилично...
— Но ведь она потому и вышла!
— Тетя Эм исключительно добра, и я не собираюсь злоупотреблять ее добротой.

— Но, Клер, вы не знаете, что...

— Знаю. Сядьте, пожалуйста.

Молодой человек сел.

— А теперь, Тони, слушайте! Физиологии с меня надолго хватит. Если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, наши отношения должны быть платоническими.

— О боже!— вздохнул Крум.

— Придется. Иначе мы просто не будем встречаться.

Тони сидел неподвижно, не сводя с нее глаз, а в ее сознании мелькнула мысль: «Это будет для него пыткой, а он слишком хорош и не заслужил ее, лучше нам не встречаться».

— Послушайте!— начала она мягко.— Вы ведь хотите мне помочь? У нас еще все впереди. Может быть, когда-нибудь...

Тони стиснул ручки кресла. В его глазах появилось страдание.

— Хорошо,— он говорил очень медленно,— я готов на все, только бы видеть вас. Я подожду, пока это станет для вас чем-то большим, чем физиология.

Клер, тихонько покачивая ногой, рассматривала лакированный носок своей туфли; потом вдруг подняла голову и взглянула прямо в его тоскующие глаза.

— Если б я не была замужем, вы бы спокойно ждали и ожидание не мучило бы вас. Считайте, что так оно и есть.

— К несчастью, не могу. Да и кто бы мог?

— Понимаю. Я уже не цветок, я плод, и я осквернена физиологией.

— Клер! Не надо. Я сделаю все, все, что вы только пожелаете! Но если я не всегда буду весел, как птица, простите меня!

Она посмотрела на него сквозь ресницы и сказала:

— Хорошо!

Наступило молчание, и она видела, что он жадно рассматривает ее всю, от подстриженных темных волос до лакированных туфель. Жизнь с Джерри Корвеном раскрыла Клер всю сокровенную прелесть ее тела. Но разве она виновата, если оно прелестно и волнует? Она не хотела мучить юношу, и все же его мучения были ей приятны. Как странно, что можно испытывать одновременно и сожаление, и удовольствие, и недоверие, и легкую горечь. Стоит только уступить — и посмотрите, что будет через несколько месяцев!

Она решительно прервала молчание:

— Между прочим, жилье я нашла: такая смешная квартирка, раньше там была антикварная лавка. А еще раньше — конюшни.

— Недурно! А когда вы перебираетесь?— спросил он нетерпеливо.

— На той неделе.

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Да, если вы сумеете выкрасить стены клеевой краской.

— Сумею! Я красил на Цейлоне. Я перекрашивал свое бунгало два или три раза.

— Только нам придется работать по вечерам... из-за моей службы.
— А как ваш патрон? Порядочный человек?
— Очень, и к тому же влюблен в мою сестру,— во всяком случае, мне так кажется.

— О!— недоверчиво произнес Крум.

Клер улыбнулась, его мысль была ясна: «Может ли хоть один мужчина, который каждый день видит вас, влюбиться в другую?»

— Когда же мы начнем?

— Если хотите — завтра вечером. Адрес такой: Мелтон-Мьюз, дом два, за Малмсбери-сквер. Я утром достану краску, и мы начнем с верхней комнаты. Ну, скажем, в шесть тридцать?

— Великолепно!

— Но только, Тони, будьте паинькой... «Жизнь реальна, жизнь сурова».

Грустно усмехнувшись, он прижал руку к сердцу.

— А теперь вам пора уходить. Я провожу вас вниз и посмотрю, вернулся ли дядя.

Молодой человек встал.

— Что нового с Цейлона?— отрывисто спросил он.— Вас тревожат?

Клер пожала плечами.

— Пока еще ничего не произошло.

— Но это долго продолжаться не может. Вы что-нибудь надумали?

— Думать тут не приходится. Весьма возможно, что он вообще ничего не предпримет.

— Я не могу вынести, что вы...

Он остановился.

— Пойдемте,— сказала Клер и повела его вниз.

— Я к вашему дяде уже не зайду,— заметил Крум.— Значит, завтра, в половине седьмого.

Он поднес ее руку к губам и направился к двери. Затем обернулся. Она стояла, слегка склонив голову, и улыбалась. Крум вышел, уже ничего не соображая.

Молодой человек, внезапно пробудившийся среди голубей Киферы, впервые ощутивший тот таинственный магнетизм, который исходит от так называемых «соломенных вдов», и вынужденный, вследствие предрассудков или укоров совести, держаться в стороне от такой «вдовы», бесспорно заслуживает сожаления: не он избрал свою судьбу. Она настигла его как тать в ночи, внезапно обесценив для него все прочие жизненные интересы. Это своего рода наваждение, при котором обычные склонности и влечения уступают место восторженной тоске. Тогда заповеди — вроде «не прелюбодействуй!», «не пожелай жены ближнего» и «блаженны чистые сердцем» — начинают звучать как-то особенно отвлеченно. Крум воспитывался по школьному звонку и по принципу: «Живи, как велят». Теперь он понимал всю несостоятельность этого принципа. А что здесь велят? Есть прелестная молодая женщина, сбегавшая от мужа (который на семнадцать лет старше ее), потому что он вел себя, как скотина; правда, она этого не говорила, но Тони уверен, что это так. И есть он сам, безусловно в нее влюбленный; и он нравится ей, правда, по-другому, но все же нравится, насколько это сейчас возможно.

А впереди — ничего, кроме совместных чаепитий! И любовь пропадает даром — в этом было что-то прямо кощунственное.

Погруженный в свои размышления, он не обратил внимания на человека среднего роста, с кошачьими глазами и узким ртом на загорелом, покрытом мелкими морщинками лице, который поглядел ему вслед, слегка скривив губы; впрочем, это могло быть и улыбкой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После ухода Крума Клер постояла некоторое время в холле, вспоминая, как она восемнадцать месяцев назад покидала этот дом. Она была тогда в желтовато-коричневой кофточке и коричневой шляпке и проходила между рядами людей, провожавших ее возгласами: «Счастливого пути! Прощай, дорогая!», «Привет Парижу!» Да, прошло всего восемнадцать месяцев, а сколько событий случилось за это время! Клер усмехнулась и направилась в дядин кабинет.

— Дядя Лоренс, ты, оказывается, дома? А Тони Крум только что заходил тебя повидать.

— Это тот довольно приятный юноша без определенных занятий?

— Да. Он хотел поблагодарить тебя.

— Боюсь, что благодарить не за что.

И быстрые черные глаза сэра Лоренса, напоминавшие глаза кулика или вальдшнепа, скептически скользнули по ней. Конечно, Динни — любимица, но и Клер, безусловно, привлекательна. Так недавно замужем и уже несчастна... Эм сообщила ему об этом, но добавила, что при ней лучше о ее браке не говорить. Что ж! Джерри Корвен! При его имени люди всегда пожимали плечами и начинались какие-то намеки. Неприятно. Но его, сэра Лоренса, это в конце концов не касается.

Негромкий голос произнес за дверью:

— Сэр Джеральд Корвен.

Сэр Лоренс невольно поднес палец к губам. Лакей произнес еще тише:

— Я провел его в маленькую гостиную и сказал, что пойду узнаю, дома ли леди Корвен.

Сэр Лоренс увидел, как рука Клер крепко стиснула спинку стула, возле которого она стояла.

— Ну, Клер, ты как? Дома?

Она не ответила, но ее лицо побелело и застыло.

— Минутку, Блор. Я позвоню.

Блор удалился.

— Так как же, детка?

— Он, должно быть, выехал следующим пароходом. Дядя, я не хочу его видеть.

— Если мы просто скажем, что тебя нет дома, он придет еще раз. Клер вскинула голову.

— Хорошо, я к нему выйду.

Сэр Лоренс почувствовал легкую дрожь.

— Если бы ты мне сказала, что говорить, я вышел бы к нему вместо тебя.

— Спасибо, дядя, но зачем тебе возиться с этой грязью?

«Слава богу!»— подумал сэр Лоренс.

— На всякий случай, я буду рядом. Желаю удачи, детка,— сказал он, выходя.

Клер подошла к камину: лучше иметь звонок под рукою. Она испытывала хорошо знакомое ей ощущение, словно брала разбег для отчаянного прыжка. «Во всяком случае, он ко мне не прикоснется»,— решила она и тут же услышала голос Блора:

— Сэр Джеральд Корвен, миледи.

Недурно! Жене докладывают о приходе мужа! Но прислуга всегда все знает!

Даже не глядя, Клер почувствовала, где он стоит. Румянец стыда и гнева залил ее щеки. Он заморозил ее! Он сделал из нее игрушку, служившую для удовлетворения всех его капризов! Он ее...

Корвен заговорил сдержанно, но язвительно:

— Признаюсь, я ничего подобного от вас не ожидал!

Он все тот же, аккуратный, щеголеватый, похожий на кота, с тонкогубой усмешкой и дерзкими, хищными глазами.

— Что вам нужно?

— Только вас.

— Меня вы не получите.

— Это просто смешно!

Одно стремительное движение, и он схватил ее в объятия. Клер откинула голову и коснулась звонка.

— Отойдите, или я позвоню!— Другой рукой она заслонила свое лицо. — Станьте вон там, тогда я готова с вами разговаривать, иначе вам придется уйти.

— Хорошо. Но это смешно!

— Неужели вы не понимаете, насколько это серьезно? Иначе разве я уехала бы?

— Я думал, вы просто рассердились, и неудивительно. Очень сожалею.

— Обсуждать все это не имеет смысла. Теперь я знаю вас и не вернусь.

— Дорогая, я прошу у вас прощения и даю вам слово, что ничего подобного не повторится.

— Какое великодушие!

— Я только проделал эксперимент. Некоторые женщины это обожают. Хотя, может быть, в ту минуту и не понимают своих ощущений.

— Вы — животное.

— А жена у меня — красавица. Бросьте, Клер, не глумитесь, не делайте из нас посмешища! Можете поставить мне любые условия.

— И верить, что вы их выполните? И потом я не хочу такой жизни: ведь мне всего двадцать четыре года.

Улыбка сбежала с его губ.

— Понятно. Я заметил, что из этого дома вышел молодой человек. Имя и положение?

— Тони Крум. Итак?

Он отошел к окну и несколько мгновений смотрел на улицу, затем обернулся к ней.

— Но вы имеете несчастье быть моей женой.

— Как будто.

— Нет, вполне серьезно, Клер, вернитесь ко мне.

— Вполне серьезно — нет.

— Я занимаю определенный пост, и шутить этим не могу. Посмотрите на меня! — Он подошел к ней ближе. — Вы можете считать меня чем угодно, но, во всяком случае, я не жулик и не ханжа. Я не спекулирую ни своим положением, ни святостью брака, ни всем этим вздором. Однако в моем министерстве до сих пор придают большое значение подобным вещам, и я не могу допустить, чтобы дело о разводе возбудили вы.

— Я на это и не рассчитывала.

— А на что же вы рассчитывали?

— Не знаю. Знаю только одно: я не вернусь.

— Только из-за...?

— И многого другого.

На его лице снова появилась кошачья усмешка и помешала ей прочесть его мысли.

— Вы хотите, чтобы я подал на развод?

Клер пожала плечами.

— У вас для этого нет оснований.

— Иначе вы, конечно, ответить не можете.

— Но оснований действительно нет.

— Послушайте, Клер, право, все это ужасно нелепо и совершенно недостойно вас, при вашем уме и знании жизни. Не можете же вы вечно оставаться соломенной вдовой. К тому же вам нравилось на Цейлоне.

— Есть вещи, которых я по отношению к себе не позволю, а вы осмелились...

— Я уже сказал вам, что они больше не повторяются.

— А я сказала, что верить вам не могу.

— Так мы ни до чего не договоримся. Вы собираетесь жить на средства ваших родителей?

— Нет! Я поступила на службу.

— О-о! На какую же?

— Секретарем к нашему новому депутату.

— Это вам очень скоро надоест.

— Не думаю.

Он пристально посмотрел на нее, на этот раз без улыбки, и она вдруг увидела в его лице слишком знакомое хищное выражение.

— Я не допущу, чтоб вы принадлежали другому мужчине, — заявил он вдруг.

Сейчас он раскрылся весь, до конца, и ей стало легче. Она не ответила.

— Вы слышали?

— Да.

— Я говорю вполне серьезно.

— Вижу.

— Вы бесчувственный бесенок!

— Очень хотела бы им быть.

Он прошелся по комнате и решительно остановился перед ней.

— Взгляните на меня! Без вас я не вернусь. Я остановился в «Бристоле». Будьте пайнкой и приходите ко мне туда. Мы начнем все сначала. Вы увидите, какой я буду хороший.

Она не выдержала и воскликнула:

— Да поймите же наконец! Вы убили во мне всякое чувство к вам!

Его зрачки расширились, затем сузились, губы сжались и вытянулись в нитку. Он напоминал жокея, укрощающего необъезженную лошадь.

— И вы поймите меня,— сказал он, понизив голос. Или вы вернетесь ко мне, или я с вами разведусь. Я не могу оставить вас здесь, чтобы вы могли вытворять что вам вздумается.

— Я уверена, что так поступил бы всякий благоразумный муж. На его губах вновь появилась усмешка.

— За это,— сказал он,— я получу поцелуй.

И не успела она оттолкнуть его, как он прижался губами к ее губам. Она вырвалась и нажала кнопку звонка. Корвен постепенно отступил к двери.

— Au revoir¹,— сказал он и вышел.

Клер вытерла губы. Она была растеряна, измучена и не могла понять, что же на сей раз остался победителем — она или он.

Она стояла возле камина, положив голову на руки, и вдруг почувствовала, что сэр Лоренс вошел в комнату и из деликатности молчит.

— Прости, ради бога, дядя, за все эти истории. Нагой неделе я буду уже в своей конуре.

— Хочешь сигарету, детка?

Клер закурила и с наслаждением затянулась. Тем временем сэр Лоренс сел. Его брови насмешливо приподнялись.

— Совещание закончилось как обычно?

Клер кивнула.

— Уклончивая формула. Людям никогда не нравится то, чего им не хочется, как бы ловко оно им не предлагалось. Продолжение следует?

— Что касается меня — нет.

— Жаль, что при обсуждении всегда бывают две стороны...

— Дядя Лоренс,— вдруг спросила Клер,— каковы теперь законы о разводе?

Баронет вытянул свои длинные тонкие ноги.

— Никогда не приходилось сталкиваться с этим. Полагаю, теперь развестись все же легче, чем в старину. Но посмотрим в «Уитекере».

Он протянул руку к справочнику в красном переплете.

— Страница двести пятьдесят восьмая — вот тут.

Клер стала молча читать, а он с грустью смотрел на нее. Затем она подняла глаза и сказала:

— Значит, чтобы получить от него развод, я должна решиться на измену.

¹ До свиданья (франц.).

— По-видимому, они так выражаются из деликатности. В лучшем обществе эту неприятную сторону дела берет на себя мужчина.

— Да, но он не желает. Он хочет, чтобы я к нему вернулась. Кроме того, он должен считаться со своим положением.

— Разумеется, это вполне понятно,— задумчиво сказал сэр Лоренс.— В нашей стране карьера — растение хрупкое.

Клер захлопнула справочник.

— Если бы не родители, я бы завтра же дала ему повод для развода, и конец.

— А ты не думаешь, что вам бы стоило еще раз попробовать?

Клер покачала головой.

— Я просто не в силах.

— Что ж, пусть все останется так, но это очень неприятное «так»,— сказал сэр Лоренс.— А что думает Динни?

— Мы с ней еще не говорили. Она не знает о его приезде.

— Значит, тебе сейчас не с кем и посоветоваться?

— Нет, я сказала Динни только, почему я от него ушла. Вот и все.

— Сомневаюсь, чтобы Джерри Корвен был очень терпелив.

Клер засмеялась.

— Мы оба не отличаемся долготерпением.

— Где он остановился?

— В «Бристол».

— Неплохо бы установить за ним наблюдение,— задумчиво проговорил сэр Лоренс.

Клер содрогнулась.

— Недостойное занятие. Да и потом, дядя, я вовсе не хочу портить ему карьеру. Он ведь очень способный человек.

Сэр Лоренс пожал плечами.

— Для меня и для всей твоей семьи твое доброе имя гораздо важнее его карьеры. Давно он здесь?

— Думаю, недавно.

— Хочешь, я с ним поведу и попытаюсь уговорить его дать тебе полную свободу?

Клер не отвечала, а сэр Лоренс смотрел на нее и думал: «Прелестна, слов нет, но очень своевольна. Воля есть, но терпенья — ни на грош».

— Виновата я одна,— наконец заявила Клер.— Никто меня не заставлял выходить за него, и я вовсе не хочу обременять тебя этими переговорами. Да он и не согласится.

— Почем знать?— пробормотал сэр Лоренс.— А если все-таки подвернется случай,— попытаться?

— Это было бы замечательно с твоей стороны, но...

— Вот и прекрасно. А пока — безработные юноши умеют быть благоразумными?

Клер рассмеялась.

— О-о!.. Я его вымуштровала. Огромное тебе спасибо, дядя Лоренс. Ты очень мне помог. Я страшная дура, но у Джерри есть надо мной какая-то власть, и, кроме того, я всегда любила рисковать. Прямо не понимаю, как у такой матери может быть такая дочь. Мама ненавидит всякого рода риск, а Динни признает его только из принципа.

Клер вздохнула.

— Ну, больше не буду тебе надоедать.— И, послав дяде воздушный поцелуй, она вышла.

Сэр Лоренс остался сидеть в кресле. Он размышлял: «Придется и мне вмешаться в эту историю, а история становится все неприятнее. Но Клер еще так молода, надо же для нее что-то сделать. Поговорю-ка я с Динни».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Горячее время выборов в Кондафорде миновало, и генерал выразил сущность воцарившейся затем атмосферы словами:

— Что ж, они это заслужили.

— А тебя, папа, не пугает мысль о том, как будут ругать этих людей, если им ничего не удастся сделать?

Генерал улыбнулся.

— «Довлеет дневи злоба его», Динни. Клер устроилась?

— Привыкает к работе. Сейчас она занимается главным образом тем, что пишет благодарственные письма людям, выполнявшим перед выборами черную работу, тем, кто вербовал голоса, разъезжая по всему округу.

— А как ей нравится Дорнфорд?

— Говорит, что он удивительно внимателен.

— Его отец был отличным солдатом. Я служил одно время в его бригаде, в бурскую войну.

Он испытующе посмотрел на дочь и спросил:

— О Корвене что-нибудь слышно?

— Да, он приехал.

— Ах вот как! Почему от меня все держат в секрете? В наше время родителям приходится подсматривать в замочную скважину.

Динни нежно взяла его под руку.

— Нет, папа, просто мы бережем вас. Вы ведь очень чувствительные растения, не правда ли, папочка?

— Мы с твоей матерью считаем, что во всем этом весьма мало хорошего. И очень хотели бы, чтобы дело как-нибудь уладилось.

— Но ведь не ценой счастья Клер?

— Нет,— отозвался генерал неуверенно.— Нет, но тут сразу возникает вся сложность вопроса о браке. В чем счастье Клер? Она и сама не знает, и ты не знаешь, и я. Обычно люди, желая выбраться из одной ямы, тут же попадают в другую.

— Значит, и пытаться не стоит? Сидеть в своей яме? Ведь этого как раз и хотели лейбористы, правда?

— Мне следовало бы поговорить с ним,— заметил генерал, словно не слыша,— но я не могу действовать вслепую. Что ты посоветуешь, Динни?

— Не трогай спящего пса, пока он не вскочил, чтобы укусить тебя.

— А ты думаешь, укусит?

— Думаю.

— Плохо,— пробормотал генерал.— Клер еще так молода.

Об этом постоянно думала и Динни. Она сказала сестре в первую же минуту: «Ты должна освободиться». Так же рассуждала она и теперь. Но как добиться свободы? Знание законов о разводе не входило в программу образования Динни. Она слышала, что бракоразводные процессы — дело довольно обычное, ни у нее, ни у ее сверстников не было на этот счет никаких предрассудков. Но родителей развод, вероятно, очень огорчит, особенно если бы Клер пришлось взять вину на себя; это казалось им ужасным позором, и его следовало избежать во что бы то ни стало. Со времени ее трагического романа с Уилфридом Динни бывала в Лондоне очень редко. Каждая улица и особенно парк напоминали о нем и о том отчаянии, которое осталось в душе после разлуки с ним. Но теперь она хорошо понимала, что, какой бы оборот ни приняло дело, Клер нужна поддержка.

— Надо, пожалуй, съездить к ней и выяснить положение.

— Ради бога, поезжай, постарайся добиться, чтобы их отношения по возможности наладились.

Динни покачала головой.

— Едва ли; и едва ли вы сами пожелали бы этого, если б Клер рассказала вам то, что рассказала мне.

Генерал смотрел перед собой невидящим взглядом.

— Вот я и говорю: мы ничего не знаем...

— Да, папочка, но пока вы всего не услышите от нее самой, я ничего больше не могу объяснить.

— Тогда поезжай к ней немедленно.

Постоянный резкий запах бензина изгнал из Мелтон-Мьюз запахи конюшни. Мощенный кирпичом переулочек сделался пристанищем автомобилей. Когда Динни вошла в него под вечер, она увидела справа и слева распахнутые ворота гаражей, покрашенных более или менее недавно. По переулочку бродили кошки, а в одном из гаражей она заметила шофера в спецовке, склонившегося над карбюратором; но вообще жизнь там замерла, и название Мелтон-Мьюз — Конюшенный переулок — потеряло свой смысл.

В доме № 2 еще сохранилась сине-зеленая дверь, выкрашенная в этот цвет прежней владелицей, которую, вместе со столькими поставщиками предметов роскоши, разорил кризис. Динни дернула резную ручку звонка, и раздалось слабое треньканье, словно звякнул колокольчик заблудившейся овцы. Затем наступила тишина; на уровне ее лица мелькнуло светлое пятно, исчезло, и дверь открылась. Появилась Клер в зеленой пижаме и сказала:

— Входи, дорогая. Ты видишь львицу в ее берлоге — «Дуглас в ее зале»¹.

Динни вошла в маленькую, почти пустую комнату, затянутую зеленым японским шелком от антиквара и устланную циновками. В дальнем углу виднелась узкая винтовая лестница. Комната слабо освещалась единственной свисавшей с потолка электрической лампочкой под зеленым бумажным абажуром. Железная электрическая печь не давала никакого тепла.

Имеется в виду Элен, героиня поэмы Вальтера Скотта «Дева озера».

— Здесь еще ничего не устроено,— заметила Клер.— Пойдем наверх.

Динни поднялась по винтовой лестнице и очутилась в еще более тесной гостиной. В ней было два занавешенных окна, выходящих на гаражи, кушетка с подушками, маленькое старинное бюро, три стула, шесть японских гравюр, которые Клер, видимо, только что повесила, старинный персидский ковер на полу, покрытом циновками, почти пустой книжный шкафчик, и на нем несколько семейных фотографий. Стены были окрашены в бледно-серый цвет, горел газовый камин.

Флер подарила мне гравюры и ковер, а тетя Эм расщедрилась и дала бюро. Остальное я привезла с собой.

— А где ты спишь?

— На кушетке, очень удобно. Тут рядом есть маленькая ванная комната с душем, платяным шкафом и всем прочим.

— Мама просила узнать, что еще тебе нужно.

— Меня бы вполне устроил наш старый примус, несколько одеял, несколько ложек, ножей и вилок, маленький чайный сервиз, если есть лишний, и какие угодно книги.

— Отлично,— отозвалась Динни.— А теперь, детка, расскажи, как ты?

— Физически — прекрасно, а душевно — извелась. Я же говорила тебе, что он приходил.

— Он знает, где ты живешь?

— Пока нет. Кроме тебя, Флер, тети Эм да еще Тони Крума, никто не знает, где я живу. Мой официальный адрес — это Маунт-стрит. Но Джерри, если захочет, конечно разыщет меня.

— Ты с ним виделась?

— Да. И я заявила, что к нему не вернусь; и я не вернусь, Динни, это решено, предупреждаю заранее. Хочешь чаю? Я могу вскипятить его в фаянсовом чайнике.

— Нет, спасибо, я пила в поезде.

Динни сидела на стуле, привезенном из дому, и ее костюм бутылочного цвета удивительно гармонировал с волосами цвета увядших букочных листьев.

— Какая ты сейчас красивая! — заметила Клер, свертываясь клубочком на диване.— Хочешь сигарету?

А Динни думала то же самое о сестре: прелестная женщина, из тех, у которых все прелестно; темные волосы, живые темные глаза, бледное матовое лицо, чуть подкрашенные губы, зажавшие сигарету,— да, Клер действительно могла «возбуждать желание». Однако сейчас это выражение показалось Динни удивительно неподходящим. Клер всегда была живой и привлекательной, но замужество, конечно, неумовимо подчеркнуло, углубило эту привлекательность и внесло в нее что-то завораживающее.

— Ты сказала — Тони Крум? — спросила она вдруг.

— Он помог мне окрасить стены. Фактически он сделал все здесь, а я — в ванной комнате, но у него получилось лучше.

Динни рассматривала стены с видимым интересом.

— Очень мило... Папа и мама встревожены, детка.

— Охотно верю.

— Ведь это же естественно, правда?

Клер нахмурилась. Динни вдруг вспомнила, как горячо они с Клер когда-то обсуждали вопрос о том, следует ли выщипывать брови или нет. Слава богу, Клер к этому еще не прибегала.

— Ничего не поделаешь, Динни, я ведь не знаю, что предпримет Джерри.

— Вероятно, ему нельзя оставаться здесь долго, иначе он потеряет место.

— По-видимому. Но я не собираюсь расстраиваться заранее. Что будет, то будет.

— Сколько нужно времени, чтобы получить развод? То есть если ты поднимешь против него дело?

Клер покачала головой, на ее лоб упал темный локон, совсем как бывало в детстве.

— Устраивать за ним слежку противно. И не буду же я объяснять суду, что он меня истязал! А кто поверит мне на слово? Мужчины легко выпутываются из таких историй.

Динни встала и под села на диван к сестре.

— Я готова убить его! — сказала она.

Клер рассмеялась.

— Во многих отношениях он даже не плохой человек. Но я просто не хочу возвращаться к нему, вот и все. Если с человека один раз содрали кожу, он второй раз на это не пойдет.

Динни сидела молча, закрыв глаза.

— Скажи мне, — спросила она наконец, — какие у тебя отношения с Тони Крумом?

— Он на испытании. Пока он ведет себя хорошо, мне приятно встречаться с ним.

— Если бы стало известно, что он здесь бывает, — медленно проговорила Динни, — этого было бы достаточно, не правда ли?

Клер снова засмеялась.

— Для светских людей, вероятно, вполне достаточно. А я думаю, что судьи себя такими и считают. Но знаешь, Динни, если я начну смотреть на жизнь с точки зрения судей — лучше умереть. А я чувствую себя в высшей степени живой. Поэтому мне на все наплевать. Тони знает, что я получила такую порцию физиологии, которой хватит надолго.

— Он влюблен?

Глаза сестер — голубые и карие — встретились.

— Да.

— А ты?

— Он мне нравится. Очень. Но и только.

— А ты не думаешь, что пока здесь Джерри...

— Нет. Я нахожусь в большей безопасности, пока он здесь. Если я с ним не поеду, он, наверное, установит за мной слежку. А уж если он решил что-нибудь сделать, так сделает непременно.

— Не знаю, хорошо ли это. Давай пойдем куда-нибудь пообедаем.

Клер потянулась.

— Не могу, детка. Я обедаю с Тони в ресторанчике, который нам обоим по нашим скромным средствам. Эта жизнь почти без гроша даже забавна.

Динни встала и начала поправлять японские гравюры. Беззаботность Клер была для нее не новость. Что ж, надо быть старшей сестрой? Служить холодным душем?

— Очень хорошие гравюры. У Флер прелестные вещи.

— Извини меня, я пойду переоденусь.— И Клер ушла в ванную.

Раздумывая о неприятном положении, в котором очутилась сестра, Динни почувствовала полную беспомощность, знакомую всем, кроме тех, кто всегда и все «лучше знает». Подавленная, подошла она к окну и отдернула занавеску. За окном было мглисто и темно. Выехавшая из соседнего гаража машина ждала своего шофера.

«Разве тут можно торговать древностями?»— подумала она. В это время из-за угла появился человек; он останавливался перед каждым домом, видимо, ища какой-то номер. Затем прошел по другой стороне переулка, вернулся и остановился как раз под окном. Она отметила уверенность и силу, которыми веяло от статной фигуры в пальто.

«Боже милостивый!»— подумала она.— Джерри!»

Она опустила занавеску и бросилась в ванную. Открывая дверь, Динни услышала унылое позвякивание колокольчика, оставшегося еще от антикварши.

Клер, в одном белье, стояла под единственной лампочкой и рассматривала в ручное зеркальце свои губы. Динни сразу заполнила собой все свободное место.

— Клер,— сказала Динни,— он здесь.

Клер обернулась. На ее бледных плечах лежали отсветы лампочки, поблескивал шелк белья и расширенные от изумления темные глаза. Она даже сестре показалась каким-то видением.

— Джерри?

Динни кивнула.

— А я не желаю его видеть.— Она смотрела на ручные часы.— И меня ждут к семи. Вот черт!

Динни вовсе не хотела, чтобы столь опрометчиво назначенное свидание сестры с Тони состоялось, но, неожиданно для самой себя, предложила:

— Хочешь, я выйду к Джерри? Он, наверное, видел свет в окнах.

— Скажи, Динни, ты могла бы увести его с собой?

— Попробую.

— Попытайся, детка. Это было бы замечательно. Удивляюсь только, как он нашел мою квартиру. Вот проклятье! Теперь будет меня преследовать!

Динни вернулась в гостиную, выключила свет и спустилась по винтовой лестнице. В это время снова зазвенел колокольчик. Идя через пустую комнату, она обдумала план действий. «Кажется, дверь открывается внутрь, надо ее за собой захлопнуть». Ее сердце билось; она сделала глубокий вздох, быстро распахнула дверь, вышла и с шумом захлопнула ее за собой. Она очутилась лицом к лицу со своим зятем и отпрянула с превосходно разыгранным изумлением:

— Кто тут?

Он приподнял шляпу. Они молча смотрели друг на друга.

— Динни! Клер дома?

— Да. Но она никого не хочет видеть.

— Вы хотите сказать — не хочет видеть меня?

— Если угодно — да.

Он испытующе смотрел на нее своими дерзкими глазами.

— Что ж, зайду в другой раз. Вам в какую сторону?

— На Маунт-стрит.

— Разрешите вас проводить?

— Пожалуйста.

Она шла рядом с ним и твердила себе: «Будь осторожна!» Когда он был здесь, она относилась к нему иначе, чем в его отсутствие. Недаром все утверждали, что в Джерри Корвене есть какое-то обаяние.

— Вероятно, Клер отзывалась обо мне весьма нелестно?

— Пожалуйста, оставим эту тему: я разделяю ее чувства, каковы бы они ни были.

— Разумеется. Вы образец преданности. Но ведь вы знаете, Динни, до чего она очаровательна.

Он взглянул на нее сбоку, и в его глазах мелькнула усмешка. Она вспомнила видение в ванной — стройную шею сестры, блеск ее кожи, темные волосы и глаза. Половое влечение? Отвратительный термин!

— Вы себе не представляете, какая это мука! — продолжал он. — И потом — я всегда был экспериментатором.

Динни вдруг остановилась.

— Она моя сестра, не забывайте.

— Вы убеждены? Вы так не похожи друг на друга, что просто не верится.

Динни молча шла рядом с ним.

— Послушайте, Динни, — вкрадчиво начал он опять. — Ну, я сластолюбец, если хотите, но что из этого? Половое влечение, конечно, заставляет нас делать ошибки. Если вам скажут, что нет, — не верьте. Но такие вещи изживаются, и дело вообще не в них. Пусть Клер ко мне вернется, и она через два года обо всем забудет. Жизнь, которую мы ведем, ей нравится, а я не придиричив. Брак в конце концов не монастырь.

— Вы хотите сказать, что к тому времени вы займетесь экспериментами над кем-нибудь другим?

Он пожал плечами, покосился на нее и улыбнулся.

— Довольно странный разговор, не правда ли? Я хочу заставить вас понять, что во мне живут два человека. У одного, — а его-то и следует принимать в расчет, — есть свое дело, и он это дело любит. Клер должна держаться за этого человека, потому что с ним она не закиснет. Она будет в самой гуще жизни, среди незаурядных людей, у нее будут интересы и развлечения, а она это любит. У нее будет известная власть, а власть ее привлекает. Другой человек, — да, если хотите, его можно кое в чем упрекнуть; но худшее уже позади или, вернее, будет позади, когда мы снова начнем жить вместе. Как видите, я честен — или бесстыден... называйте, как хотите.

— Но я не понимаю,— сухо возразила Динни,— где же во всем этом любовь?

— Может быть, нигде. Брак основан на взаимной заинтересованности и влечении. Первая с годами растет, второе блекнет, а ведь она именно этого и хочет.

— Я не могу говорить за Клер, но думаю, что это не так.

— Ну, дорогая, вы в этой области ещё совершенно неопытны.

— И, надеюсь, никогда не буду. Но мне бы очень не понравилось такое сочетание сделки и порока.

Он рассмеялся.

— А мне нравится ваша прямота. Нет, серьезно, Динни, вы должны на нее повлиять. Она совершает огромную ошибку.

Динни вдруг овладел неудержимый гнев.

— Я думаю,— проговорила она сквозь зубы,— что огромную ошибку сделали вы. Некоторые лошади не терпят плохого обращения, и потом уж с ними ни за что не поладишь.

Он промолчал.

— Вы едва ли захотите, чтобы в вашей семье был развод,— заметил он наконец и пристально посмотрел на нее.— Я уже сказал Клер, что вины на себя не возьму. Очень сожалею, но в этом я тверд. Кроме того, если она ко мне не вернется, то все равно жить как ей вздумается я не позволяю.

— Вы хотите сказать, что, если она вернется, тогда позволите?— продолжала Динни сквозь зубы.

— Вероятно, этим дело бы и кончилось.

— Понятно. Пожалуй, нам пора проститься.

— Как вам угодно. Вы считаете меня циником? Не спорю. Но я сделаю все, чтобы Клер вернулась. А если она не вернется, пусть пеняет на себя.

Они остановились под фонарем, и Динни заставила себя посмотреть ему в глаза. Этот человек, с кошачьей усмешкой и неподвижным взглядом, напоминал огромного, бесстыдного и безжалостного кота.

— Я все поняла,— сдержанно сказала Динни.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Динни! Мне очень жаль, но лучше уж играть в открытую. Вашу руку?

Неожиданно для самой себя она протянула ему руку и свернула на Маунт-стрит.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда Динни входила в дом тетки, она всей душой сочувствовала сестре и вместе с тем теперь понимала, почему Клер все же вышла за Джерри Корвена. В нем действительно таилась какая-то гипнотическая сила, какая-то вызывающая бесстыдная дерзость, не лишенная известной притягательности. Естественно, что он имел огромную власть над туземцами и мягко, но вместе с тем беспощадно заставлял их подчиняться своей воле; он мог подчинять себе даже своих сослуживцев. Динни понимала также, как трудно, должно быть, отказывать ему в физической близости, пока он не оскорбляет человеческое достоинство.

Из печального раздумья ее вывел голос тетки, говорившей:

— Вот она, Адриан!

На верху лестницы стоял дядя Адриан; его лицо с козлиной бородкой выглядывало из-за плеча сестры.

— Пришли твои вещи, детка. Где ты была?

— У Клер, тетечка.

— Знаешь, Динни,— сказал Адриан,— а ведь я не видел тебя чуть ли не целый год.

— И я тоже, дядечка. Как в Блумсбери? Все благополучно? Кризис не повлиял на ископаемых?

— Ископаемые *in esse*¹ чувствуют себя прекрасно; *in posse*² они очень ненадежны, а денег на экспедиции у нас нет. Происхождение *No-to sapiens*³ больше чем когда-либо покрыто туманом.

— Одеваться к обеду не нужно, Динни, Адриан остается. Лоренс будет так рад. Вы можете поболтать, пока я пойду распушу пояс. Может быть, ты хочешь подтянуть свой?

— Нет, спасибо, тетечка.

— Тогда иди туда.

Динни вошла в гостиную и села рядом с дядей. Дядя, худой и бородатый, с серьезным морщинистым лицом, загорелым даже в ноябре, сидел, скрестив длинные ноги, смотрел на нее сочувствующим взглядом и, как всегда, казался, готов был слушать ее сердечные излияния.

— Ты знаешь насчет Клер, дядя?

— Голые факты, без «почему» и «отчего».

— Но они весьма некрасивы. Ты когда-нибудь имел дело с садистом?

— Однажды — в Маргете. В школе. Тогда я, конечно, не понимал, в чем дело, а потом сообразил. Ты хочешь сказать, что Корвен садист?

— Так говорит Клер. Я шла с ним от ее дома. Очень странный человек.

— Неужели психопат?— спросил Адриан, поежившись.

— Разумнее нас с тобой. Но он желает все делать как ему нравится, совершенно не считаясь с другими, а когда это не удастся, он кусается. Не может ли Клер получить развод, не предавая гласности их интимную жизнь?

— Только если добыть бесспорные доказательства измены.

— А их придется добывать здесь?

— Получить их с Цейлона вряд ли удалось бы, да и стоило бы очень дорого.

— Клер пока не хочет, чтобы за ним следили.

— Конечно, дело это довольно грязное,— отозвался Адриан.

— Знаю, дядя. Но ведь иного выхода нет?

— Нет.

— Сейчас она считает, что лучше всего оставить друг друга в покое; а он говорит, что если она с ним не вернется на Цейлон, то пусть пеняет на себя.

¹ как они есть сейчас (лат.)

² что касается их будущего (лат.)

³ Разумного человека (лат.).

- Значит, тут еще кто-нибудь замешан?
- Есть один молодой человек, он в нее влюблен, но она говорит, что между ними ничего нет.
- Гм... «Молодость! молодость!» — как сказал Шекспир. Приятный юноша?
- Я видела его только несколько минут. По-моему, очень славный.
- Это палка о двух концах.
- Я во всем верю Клер.
- Ты знаешь ее лучше, чем я, дорогая, но ведь она не очень-то терпелива. Сколько здесь пробудет Корвен?
- Она говорит, самое большее — месяц. Уже неделя, как он приехал.
- Он с ней виделся?
- Один раз. И опять пытался сегодня. Я увела его. Она ужасно боится этих встреч.
- Но ведь как муж он имеет полное право видиться с ней.
- Да,— отозвалась Динни и вздохнула.
- Не может ли ваш депутат, у которого она служит, придумать какой-нибудь выход? Он ведь юрист.
- Мне бы не хотелось посвящать его во все это. Уж очень интимные вещи. Да люди и не любят вмешиваться в семейные дразги.
- Он женат?
- Нет.

Она поймала на себе внимательный взгляд дяди и вспомнила, как Клер, засмеявшись, сказала: «Динни, он в тебя влюблен».

— Он будет здесь завтра вечером,— продолжал дядя.— Кажется, Эм пригласила его обедать, Клер тоже придет... Совершенно искренне, Динни, я просто не представляю себе, что тут можно сделать. Может быть, Клер передумает и вернется к Корвену или Корвен передумает и предоставит ей жить, как она хочет?

Динни покачала головой.

— Они не передумают, не такие люди... Ну, мне надо пойти вымыть руки.

Оставшись один, Адриан стал размышлять о той бесспорной истине, что у каждого свои заботы. Его заботой являлась в настоящее время болезнь его двух пасынков — Шейлы и Рональда Ферз, у которых была корь. Благодаря прямо-таки священному ужасу, с каким его жена относилась к «заразным» болезням, он оказался изолированным в собственном доме. Судьба Клер не слишком его интересовала. Ему и раньше казалось, что племянница принадлежит к тому типу молодых женщин, которые по любому случаю готовы закусить удила и когда-нибудь непременно свернут себе шею. Он отдал бы трех Клер за одну Динни. Но если семейные истории Клер угрожали спокойствию Динни, они становились важными и для него. У Динни, как видно, особая способность непременно взвалить на себя чужое бремя: сначала Хьюберта, потом его самого, потом Уилфрида Дезерта, наконец, Клер.

И он сказал, обращаясь к попугаю леди Монт:

— Несправедливо, Полли, правда?

Попугай, привыкший к Адриану, вылетел из клетки, уселся к нему на плечо и уцепился за ухо.

— Не одобряешь, да?

Зеленая птица пробормотала что-то нечленораздельное и продолжала прогуливаться по его пиджаку. Адриан ласково подергал ее за хохолок.

А кто приласкает Динни, кто подергает ее за хохолок? Бедная девочка!

В эту минуту раздался голос его сестры:

— Я не позволю, чтобы Динни опять дергали.

— Эм,— обратился Адриан к сестре,— скажи, кто-нибудь из нас болел душой за другого?

— В больших семьях этого не бывает. Со мной это чуть не случилось, когда я женила Лайонела... А теперь он судья,— ужасно! Дорнфорд... Ты видел его?

— Никогда!

— У него лицо как на портретах. Говорят, в Оксфорде он получил приз за прыжки в длину. Это может пригодиться?

— Говорят — это желательно.

— Отлично сложен,— продолжала леди Монт.— Я подробно рассмотрела его в Кондафорде.

— Милая Эм!

— Ради Динни, конечно. Что ты будешь делать с садовником, который во что бы то ни стало желает укатать каменную площадку?

— Скажу, чтобы он этого не делал.

— А он не слушается: когда ни выглянешь в окно в Липпингхолле, он вечно куда-то тащит эту трамбовку. Вот и гонг, а вот и Динни. Пойдем.

Сэр Лоренс стоял у буфета и извлекал из бутылки раскрошившуюся пробку.

— Лафит шестьдесят пятого года. Никак не угадаешь, каким он окажется. Открывайте осторожнее, Блор. Как ты думаешь, Адриан, подогреть его или не стоит?

— Лучше нет, если оно такое старое.

— Пожалуй.

Обед начался в молчании. Адриан думал о Динни, Динни — о Клер, а сэр Лоренс — о вине.

— Французское искусство,— сказала леди Монт.

— Ах да!— подхватил сэр Лоренс.— Ты мне напомнила, Эм: будут выставлены некоторые картины, принадлежавшие старику Форсайту. Ведь он умер, спасая их, и это нужно сделать в память о нем.

Динни подняла глаза.

— Отец Флер? Хороший был человек, дядя?

— Хороший?— повторил сэр Лоренс.— Не то слово. Прямой — да, осторожный — да, слишком осторожный по теперешним временам. Когда начался пожар, его ударило по голове картиной... Бедняга... Впрочем, во французском искусстве он кое-что понимал... Эта выставка очень бы его порадовала.

— Ни одна вещь на ней не может сравниться с «Рождением Венеры»,— заявил Адриан.

Динни бросила на него довольный взгляд.

— Божественная вещь!— сказала она.

Сэр Лоренс поднял одну бровь.

— Я не раз пытался понять, отчего народы становятся все прозаичнее. Сравните старых итальянцев и современных!

— Разве поэзия — не особое кипение крови, дядя? Разве она не юность или по крайней мере не восторженность?

— Итальянцы никогда не были молодыми, а восторженности в них и сейчас хоть отбавляй. Мы путешествовали прошлой весной по Италии, и ты бы видела, как они хлопали из-за наших паспортов!

— Трогательно,— согласилась леди Монт.

— Весь вопрос — в способах выражения. В четырнадцатом веке средствами выражения для итальянцев были кинжалы и стихи, в пятнадцатом и шестнадцатом — яд, скульптура и живопись, в семнадцатом — музыка, в восемнадцатом — интриги, в девятнадцатом — восстания, а в двадцатом — их поэтичность выражает себя в радио и в законах.

— Это было так утомительно,— пробормотала леди Монт,— эти законы, которых ты не в состоянии прочесть.

— Тебе повезло, мой друг: я их читал.

— У итальянцев есть одна особенность,— продолжал Адриан,— век за веком они в той или иной области дают великих людей. Я не знаю, Лоренс, что здесь влияет,— климат, кровь или, может быть, пейзаж? Сэр Лоренс пожал плечами.

— Как тебе нравится кларет? Понюхай, Динни. Шестьдесят лет тому назад вас еще не было на свете, а мы с Адрианом пешком под стол ходили. Это почти совершенство.

Адриан отхлебнул из своего стакана и кивнул.

— Превосходное вино.

— А ты что скажешь, Динни?

— Я уверена, что оно великолепно, но ничего в этом не смыслю.

— Старик Форсайт оценил бы его. У него был замечательный херес. Чувствуешь букет, Эм?

Леди Монт, державшая стакан в руке, опираясь локтем на стол, слегка раздула ноздри.

— Какой вздор!— пробормотала она.— Любой цветок пахнет лучше.

Последовало всеобщее молчание. Динни первая подняла глаза.

— А как поживают Босуэл и Джонсон, тетечка?

— Я только что рассказывала Адриану: Босуэл утрамбовывает каменную площадку, а у Джонсона умерла жена. Бедняга! Он стал другим человеком. Все время насвистывает. Следовало бы записывать эти мелодии.

— Старинные народные песни?

— Нет, современные. Он просто бредит.

— Кстати о старине,— заметил сэр Лоренс.— Динни, ты читала когда-нибудь такую книжку: «Спроси маму»?

- Нет. Кто автор?
- Сёртиз... А прочесть следовало бы. Это разъяснение.
- К чему, дядя?
- К современности.

Леди Монт поставила пустой стакан на стол.

— Как умно они сделали, что закрыли тогда выставку картин в тысяча девятисотом году. Помнишь, Лоренс, в Париже... все эти хвостатые штуки? Какие-то желтые и голубые спирали, и пузыри, и лица вверх ногами? Динни, нам, пожалуй, пора наверх.

И когда Блор вслед за этим пришел спросить, не сойдет ли мисс Динни вниз, в кабинет, леди Монт пробормотала:

— Это насчет Джерри Корвена. Не поддерживай, пожалуйста, своего дядю. Он воображает, будто может быть полезным, но он ничего не может...

— Ну, что же, Динни?— спросил сэр Лоренс.— Люблю поговорить с Адрианом: уравновешенный человек, со своим особым складом ума... Я обещал Клер повидаться с Корвеном, но в этом нет никакого смысла, пока не знаешь, что говорить; да и в этом случае мало смысла. Как ты считаешь?

Динни села на краешек стула и оперлась локтями о колени. Эта поза не предвещала ничего хорошего.

— Судя по тому, что он сказал мне сегодня, дядя Лоренс, его решение твердо: или Клер вернется к нему, или он постарается с ней развестись.

- А как к этому относятся твои родители?
- Они очень этого не хотят.
- Ты знаешь, что на горизонте есть еще некий молодой человек?
- Да.
- У него нет ни гроша.

Динни улыбнулась.

— Мы к этому привыкли.

— Знаю. Но не иметь ни гроша, когда к тому же нет и никакого положения,— вещь серьезная. Корвен может потребовать возмещения убытков: он, кажется, мстительный тип.

— Неужели ты думаешь, что он действительно пойдет на такую вещь? В наше время это считается дурным тоном, не правда ли?

— Когда в человеке задето мелкое самолюбие, он перестает считаться с хорошим тоном. Ты, вероятно, не сможешь убедить Клер пожать с этим Крумом?

— Боюсь, что Клер никого не послушается в этом вопросе. Она считает, что в разрыве виноват один Корвен.

— Я лично,— сказал сэр Лоренс, попыхивая сигарой,— сторонник того, чтобы последить за Корвеном, пока он здесь, собрать материал и перейти в контратаку, но ей такой план не нравится.

— Клер считает, что у Корвена впереди блестящая карьера, и она не хочет ее портить. Да и потом, это так противно...

Сэр Лоренс пожал плечами.

— Как же быть? Закон есть закон. Корвен — член Бартонского клуба... Может быть, поймать его там и уговорить, чтобы он оставил ее в покое, в надежде на то, что разлука смягчит ее сердце?

Динни нахмурилась.

— Может быть, попытаться и стоит, но едва ли это на него подействует.

— А какой линии ты сама думаешь держаться?

— Поддерживать Клер во всем, что она делает и чего не делает. Сэр Лоренс кивнул. Иного ответа он и не ждал.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Особые черты, с незапамятных времен сделавшие английских общественных деятелей тем, что они есть, побудившие столько юристов стать членами парламента и столько богословов примириться с епископским саном, давшие возможность столько финансистам разбогатеть, спасшие столько политиков от забот о завтрашнем дне и столько судей — от укоров совести, не чужды были и Юстэйсу Дорнфорду. Короче говоря, у него было прекрасное пищеварение, он мог пить и есть в любое время, не заботясь о последствиях, и умел неустойчиво работать, даже в области спорта: здесь к его неустойчивости присоединился еще тот запас нервной энергии, который отличает человека, побеждающего в беге на дальнюю дистанцию, от того, кто в таком состязании проигрывает. И вот, несмотря на то, что, став королевским адвокатом, он уже два года продвигался вперед рывками и скачками, он теперь баллотировался в парламента. Вместе с тем его меньше всего можно было назвать карьеристом. Его красивое смуглое лицо со светло-кариими глазами выражало спокойную рассудительность и даже мягкость. У него была приятная улыбка, тонкие усики, и парик еще не успел испортить его черныш волнистых волос. Окончив Оксфордский университет, он на правах практиканта стал обедать в столовой юридической корпорации, поступил на службу к известному младшему адвокату — специалисту по обычному праву. Когда началась мировая война, он был младшим офицером в Шропширском полку, потом перевелся в кавалерию, а затем вскоре попал на передовую, где ему повезло больше, чем многим другим. После войны он очень быстро выдвинулся как адвокат. Стряпчие любили его. Никакой судья не мог сбить его с толку, а перекрестные допросы он вел мастерски и всегда словно сожалел, когда ему удавалось что-либо доказать. Он был католиком, но скорее по воспитанию, чем по убеждению. И, наконец, отличался высокой порядочностью в отношениях с женщинами. Его присутствие на обедах при объезде округа если и не заставляло умолкнуть развязавшиеся языки, то, во всяком случае, сдерживало их.

Он занимал в Харкорт-билдингс квартиру, удобную и для жизни и для работы. Каждое утро в любую погоду ездил верхом в Гайд-парке, причем до этого успевал по крайней мере часа два поработать. Затем, приняв ванну, позавтракав и ознакомившись с утренними новостями, он к десяти часам отправлялся в суд. После четырех, когда в суде кончались занятия, он до половины седьмого опять изучал дела. Вечерами

Дорнфорд раньше бывал свободен, а теперь проводил их в парламенте, и так как он редко ложился спать, не посидев еще часок-другой над каким-нибудь делом, то время его сна сокращалось с шести до пяти и даже до четырех часов.

С Клер они договорились так: она являлась без четверти десять, разбирала его корреспонденцию и от десяти до четверти одиннадцатого получала от него инструкции; затем выполняла необходимую работу, уходила и возвращалась в шесть, чтобы доделать то, что осталось от утра, или получить новое задание.

На следующий вечер после описанного нами, в начале девятого, он появился в гостиной на Маунт-стрит. Хозяева поздоровались с ним и познакомили с Адрианом, который был снова вызван по этому случаю. Мужчины принялись обсуждать вопрос об устойчивости фунта и другие, не менее важные проблемы. Вдруг леди Монт провозгласила:

— Суп! А куда вы дели Клер, мистер Дорнфорд?

Дорнфорд, не замечавший до сих пор никого, кроме Динни, с легким удивлением посмотрел на хозяйку.

— Она ушла из Темпла в половине седьмого и сказала, что мы еще увидимся.

— Ну тогда пойдемте вниз,— заявила леди Монт.

Прошел целый час, один из тех томительных часов, хорошо известных благовоспитанным людям, когда четыре человека поглощены мыслью о каком-нибудь деле, которое они не могут обсуждать при пятом, и пятый чувствует их тревогу.

Их было слишком мало, чтобы слова одного не были услышаны всеми остальными. Юстэйс Дорнфорд тоже не мог вполголоса беседовать с кем-либо из своих соседей, и с той минуты, когда он инстинктивно почувствовал, что, не зная, в чем дело, может невольно совершить бестактность, он старался придерживаться самых нейтральных тем, вроде вопроса о премьер-министре, об отравителях, которых так и не нашли, о вентиляции палаты общин, о том, что там не знаешь, куда девать свою шляпу, и о других столь же интересных для каждого вещах. Но к концу обеда он ясно почувствовал, что хозяевам необходимо поговорить о чем-то своем, чего он не должен слышать, и ему пришлось срочно придумать деловой разговор по телефону.

Едва он вышел из комнаты в сопровождении Блора, как Динни сказала:

— Ее, наверное, заманили куда-нибудь, тетечка. Можно мне уйти? Я попытаюсь узнать, в чем дело.

— Лучше подожди нас, Динни,— ответил сэр Лоренс.— Лишние две-три минуты теперь уже не имеют значения.

— А вы не думаете,— заметил Адриан,— что все-таки следовало бы сказать Дорнфорду? Ведь она бывает у него каждый день.

— Я скажу ему,— заявил сэр Лоренс.

— Нет,— возразила леди Монт,— не ты, а Динни. Подожди его здесь, Динни. Мы пойдем наверх.

Таким образом, позвонив человеку, которого заведомо не было дома, и вернувшись в столовую, Дорнфорд застал там одну Динни. Она предложила ему сигару и сказала:

— Простите нас, мистер Дорнфорд. Дело касается сестры. Прошу вас, курите. Вот кофе... Блор, вызовите мне, пожалуйста, такси.

Когда они, выпив кофе, стояли вместе у камина, она, глядя на огонь, поспешно заговорила:

— Видите ли, Клер ушла от мужа, и он только что приехал, чтобы увезти ее обратно. А она не хочет, и ей сейчас очень трудно...

Дорнфорд задумчиво хмыкнул.

— Я очень рад, что вы мне сказали, а то я чувствовал себя за обедом как на иголках.

— Боюсь, что мне придется сейчас поехать узнать, не случилось ли чего.

— Могу я сопровождать вас?

— Спасибо вам, но...

— Я был бы искренне рад...

Динни колебалась. Он мог быть ей очень полезен; однако, подумав, она ответила:

— Благодарю вас, пожалуй, это может не понравиться сестре.

— Понимаю. Прошу вас, сообщите мне, если я хоть чем-нибудь смогу помочь.

— Такси у подъезда, мисс.

— Когда-нибудь, — сказала Динни, — вы мне расскажете о процедуре развода.

Сидя в такси, она размышляла о том, что ей делать, если она не сможет попасть в квартиру; и затем — как быть, если она войдет, а там окажется Корвен. Она остановила машину на углу Мелтон-Мьюз.

— Подождите, пожалуйста, здесь. Я скажу вам через несколько минут, понадобится ли мне еще или нет.

Темно и угрюмо глянула на нее «берлога» Клер.

«Словно человеческая жизнь», — подумала Динни и дернула звонок причудливой формы. Он растерянно звякнул, и ничего не последовало. Снова и снова звонила она, затем отступила на несколько шагов и взглянула на окна. Шторы, — она помнила, что они очень плотные, — были задернуты; она не могла разглядеть, есть ли в комнатах свет. Динни позвонила еще раз, постучала молотком и прислушалась, затаив дыхание. Ни звука! Огорченная и встревоженная, вернулась она к машине. Клер говорила, что Корвен остановился в «Бристол», и она дала шоферу адрес этой гостиницы. Конечно, объяснить отсутствие сестры можно было десятком причин. Но почему в городе, где есть телефоны, Клер не предупредила... Ведь половина одиннадцатого! Может быть, она теперь уже позвонила?

Такси остановилось у отеля.

— Подождите, пожалуйста.

Войдя в холл, украшенный скромной позолотой, она постояла с минуту в нерешительности; обстановка казалась не подходящей для семейных объяснений.

— Что вам угодно, мадам? — произнес рядом голос боя.

— Будьте добры, узнайте, здесь ли мой зять сэр Джеральд Корвен.

А что она скажет, если бой приведет его?.. Динни увидела в зеркале свою фигурку в темном пальто и удивилась — она стоит совсем прямо,

а ей-то чудилось, будто она скрючилась или изгибается в разные стороны. Но Корвена к ней не привели. Его не было ни в номере, ни в отеле вообще. Она вернулась к машине.

— Обратно на Маунт-стрит.

Дорнфорд и Адриан уже ушли, дядя и тетка играли в пикет.

— Ну что, Динни?

— К ней в квартиру я не смогла попасть, а в гостинице его нет.

— Ты была там?

— Это все, что я могла придумать.

Сэр Лоренс встал.

— Я позвоню в клуб.

Динни села рядом с теткой.

— Я чувствую, что она попала в беду, тетечка. Клер всегда очень внимательна.

— Похищена или заперта,— заявила леди Монт.— В моей молодости был такой случай. Похитителя звали не то Томсон, не то Ватсон. Целая история! Nabeus Corpus или что-то в этом роде... Теперь мужьям нельзя этого делать. Ну как, Лоренс?

— Он ушел из клуба в пять часов. Придется подождать до утра. Знаешь, она, может быть, просто забыла или передумала.

— Однако она сказала мистеру Дорнфорду, что они еще увидятся.

— Они и увидятся завтра утром. Незачем зря волноваться, Динни.

Динни поднялась к себе, но не разделась. Действительно ли она сделала все, что могла? Для ноября ночь была очень ясная и теплая. За какие-нибудь четверть мили находится квартирка Клер на Мелтон-Мьюз. Разве незаметно ускользнуть из дома и еще раз пойти туда?..

Она сняла вечернее платье, надела дневное, шляпу, шубку и тихонько спустилась по лестнице. В холле было темно. Беззвучно отодвинув засовы, она открыла дверь и зашагала по улицам. Когда она добралась до Мьюз, куда было поставлено на ночь несколько автомобилей, она увидела, что верхние окна в доме № 2 освещены. Теперь они были открыты, и занавески отдернуты. Динни позвонила.

Через мгновение Клер, в халатике, открыла дверь.

— Это ты приходила раньше?

— Да.

— Прости, что я тебя не впустила. Пойдем наверх.

Она стала подниматься по винтовой лестнице, Динни последовала за ней.

Наверху было светло и тепло. Дверь в крошечную ванную была открыта, на кушетке — беспорядок. Клер взглянула на сестру, в ее измученных глазах был вызов.

— Да, у меня был Джерри, он ушел десять минут назад.

Динни содрогнулась от ужаса, по спине пробежал холодок.

— В конце концов он приехал издалека,— заметила Клер.— Какая ты добрая, что тревожишься обо мне, Динни.

— Ах, сестренка!

— Когда я вернулась из Темпля, он ждал перед домом. Я сдурю впустила его, а потом... Впрочем, не все ли равно? Постараюсь, чтобы это не повторилось.

— Хочешь, я останусь?

— О нет! Но выпей чаю. Он как раз готов... Никто не должен знать об этом, Динни.

— Разумеется. Я скажу, что у тебя ужасно разболелась голова и не было сил выйти позвонить.

Когда они сидели за чаем, Динни спросила:

— Это не повлияло на твои планы?

— Господи! Конечно, нет!

— Сегодня у нас был Дорнфорд. Мы решили: лучше всего сказать ему, что у тебя сейчас трудное время.

Клер кивнула.

— Тебе, наверное, все это кажется очень смешным?

— Нет, трагичным.

Клер пожала плечами, затем встала и обняла сестру. После этого безмолвного объятия Динни опять вышла на Мьюз, где теперь было темно и пустынно. На углу площади она почти столкнулась с каким-то молодым человеком.

— Мистер Крум?

— Да.

— Мисс Черрел? Вы от леди Корвен?

— Да.

— Все благополучно?

Лицо у него было измученное, в голосе звучала тревога. Прежде чем ответить, Динни собралась с духом.

— О да! А что?

— Она говорила вчера вечером, что этот человек приходил сюда. Это меня ужасно тревожит.

В сознании Динни промелькнула мысль: «Что, если бы он встретился с «этим человеком»!

Но она спокойно ответила:

— Дойдем вместе до Маунт-стрит.

— Мне все равно, если и вы узнаете,— сказал он,— я безумно ее люблю. Да и кто устоял бы? Мисс Черрел, мне кажется, ей не следует жить одной в этой квартире. Она говорила, что он приходил вчера, когда вы были у нее.

— Да, и я увела его, как уважу вас. Мне кажется, Клер вообще следует оставить в покое.

Он весь как-то сник.

— Вы когда-нибудь любили?

— Да.

— Тогда вы должны понимать!

О да, она понимала!

— Не видеть ее, не знать, все ли благополучно,— это такая мука! Она относится к своему положению легко, но я не могу!

Она относится легко? Динни вспомнила лицо Клер и промолчала.

— Конечно,— запинаясь, продолжал молодой человек,— люди могут думать и говорить все что угодно... Но если бы они испытывали то, что я, они бы просто не выдержали. Я не буду надоедать ей, право, не буду... но я не могу вынести мысль о том, что этот человек угрожает ей.

Динни заставила себя ответить совершенно спокойно:

— Не думаю, чтобы Клер угрожала опасность. Но это может случиться, если станет известно, что вы...

Он твердо выдержал ее взгляд.

— Я рад, что у нее есть такая сестра. Ради бога, оберегайте ее, мисс Черрел!

Они дошли до угла Маунт-стрит, и она подарила ему руку.

— Что бы Клер ни сделала, я всегда буду с ней, можете быть уверены. Спокойной ночи! И не падайте духом!

Он стиснул ей руку и поспешил прочь, словно за ним гнался сам дьявол. Динни вошла в дом и тихонько задвинула засовы.

Слава богу — пронесло! Едва волоча ноги, поднялась она по лестнице и без сил опустилась на кровать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда на следующий вечер сэр Лоренс входил в Бартонский клуб, он испытывал приблизительно то же, что обычно испытывают люди, взявшие на себя устройство чужих дел, — ощущение своей значительности, от которого становится неловко, и вместе с тем желание оказаться где угодно, только не здесь. Черт его знает, что он скажет Корвену, и черт его знает, зачем он будет это говорить! Ведь, по мнению сэра Лоренса, самый лучший выход для Клер — вернуться к Корвену и попытаться начать все сызнова.

Узнав от швейцара, что сэр Джеральд в клубе, он осторожно заглянул в три комнаты и наконец в уголке одной из самых маленьких, предназначенной, видимо, лишь для того, чтобы писать в ней письма, увидел спину того, кого искал. Сэр Лоренс уселся за столиком у самой двери; расположившись здесь, он сможет разыграть удивление, когда Корвен, уходя, поравняется с ним. Однако этот тип сидит бесконечно долго! Заметив на столе «Справочник британского государственного деятеля», сэр Лоренс принялся рассеянно просматривать данные об английском импорте. Отыскал картофель; потребление — шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч тонн, производство — восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи тонн. На днях кто-то писал, что Англия импортирует ежегодно на сорок миллионов фунтов стерлингов копченой грудинки. Взяв лист бумаги, сэр Лоренс набросал следующее:

«Ограничение импорта и протекционизм по отношению к тем продуктам, которые мы можем производить у себя. Годовой импорт: свиней — на 40 миллионов фунтов стерлингов; птицы примерно на 12 миллионов фунтов стерлингов; картофеля — на... кто его знает, на какую сумму. Всю эту грудинку, яйца и добрую половину картофеля можно бы производить у себя. Почему бы не составить пятилетний план? При известных ограничениях ввоз грудинки и яиц будет снижен в год на одну пятую, ввоз картофеля — на одну десятую, причем все возрастающее внутреннее производство постепенно совсем сведет на нет импорт этих продуктов. К концу пятого года у нас будут только свои, английские, грудинка и яйца и половина своего картофеля. Мы сэкономим 80 мил-

лионов на импорте, и наша внешняя торговля будет фактически сбалансирована».

Взяв еще лист бумаги, он написал:

*«Редактору «Таймса».
План «С. П. К.»*

Сэр!

Простой план сбалансирования нашей торговли должен привлечь внимание всех тех, кто стремится достичь цели кратчайшим путем. Есть три продукта питания, на импорт которых мы тратим в год... фунтов и которые мы могли бы производить в собственной стране, и, смею думать, без сколько-нибудь заметного повышения стоимости жизни, но при одном только условии: надо для начала повесить одного спекулянта. Эти три продукта суть: свиньи, птица, картофель. Все, что требовалось бы в данном случае, это...»

Но тут он увидел, что Корвен направляется к двери, и окликнул его:
— Алло!

Корвен обернулся и подошел. Надеюсь, что его лицо так же не выдает никаких чувств, как и лицо Корвена, сэр Лоренс встал ему навстречу.

— Сожалею, что не видел вас, когда вы заходили к нам. Надолго получили отпуск?

— У меня есть еще в запасе неделя, а там придется, вероятно, лететь за Средиземное море.

— Плохой месяц для полета. Что вы думаете о нашем пассивном торговом балансе?

Джерри Корвен пожал плечами.

— Придется им над этим попотеть. Они никогда не видят дальше своего носа!

— *Tiens! Une montagne!*¹ Помните карикатуру Каран д'Аша на Буллера² перед Ледисмитом?.. Да нет, вы не можете помнить. Это было тридцать два года тому назад. Но характер нации ведь почти не меняется, не правда ли? А как Цейлон? Надеюсь, он не влюблен в Индию?

— В нас он, во всяком случае, не влюблен; впрочем, мы не отчаиваемся.

— По-видимому, цейлонский климат вреден для Клер...

Лицо Корвена оставалось напряженным. Он чуть улыбался.

— Жара — да, но теперь там уже нежарко.

— Вы увозите ее с собой?

— Да.

— Не знаю, разумно ли это.

— Оставить ее здесь было бы еще менее разумно. Люди либо женаты, либо нет.

¹ Смотрите! Гора! (франц.)

² Каран д'Аш — псевдоним карикатуриста и иллюстратора Эммануэля Пауре (1858—1909), особенно известного удачными карикатурами на военных. Р. Буллер (1839—1908) — английский генерал; безуспешные попытки овладеть городом Ледисмитом во время англо-бурской войны 1899—1902 годов сделали его предметом насмешек.

Сэр Лоренс, следивший за выражением его глаз, подумал: «Продолжать не стоит. Безнадежное дело. Да он, вероятно, и прав. А все-таки я готов держать пари, что...»

— Извините меня,— сказал Корвен,— мне нужно отправить эти письма.

Он повернулся и вышел, все такой же подтянутый, уверенный в себе.

«Гм,— мысленно произнес сэр Лоренс,— нельзя сказать, чтобы разговор был плодотворным...» — и опять принялся за свое письмо в «Таймс».

— Надо добыть точные данные...— бормотал он.— Пусть Майкл этим займется.

Его мысли вернулись к Корвену. В подобных случаях никак не разбираешь, кто прав, кто виноват. Факт тот, что люди не подходят друг к другу. И никакие героические усилия, никакие умные слова не помогут. «Мне следовало стать судьей,— размышлял сэр Лоренс,— тогда я смог бы высказывать свои взгляды. Судья Монт в своей речи заметил: «Пора предостеречь население нашей страны от вступления в брак. Брачный союз, вполне допустимый во времена королевы Виктории, должен был бы заключаться в наши дни только в тех случаях, когда ни у одной из сторон нельзя констатировать сколько-нибудь выраженной индивидуальности...» Пойду-ка я домой, к Эм». Он промокнул уже совершенно высохшее письмо в «Таймс», сунул его в карман и углубился в густеющие сумерки безмятежного Пел-Мела. Перед витриной своего виноторговца на Сент-Джемс-стрит сэр Лоренс остановился: вино подорожало на десять процентов — а где взять эти деньги?

Тут подле него послышался чей-то голос:

— Добрый вечер, сэр Лоренс!

Это был молодой человек по фамилии Крум.

Они вместе перешли улицу.

— Я хотел поблагодарить вас, сэр, за то, что вы поговорили обо мне с мистером Маскемом. Я сегодня виделся с ним.

— Он вам понравился?

— О, он был очень любезен. Я с вами, конечно, согласен: идея влить арабскую кровь в наших скаковых лошадей — это у него просто «пунктик».

— Он заметил, что вы считаете это пунктиком?

Молодой человек улыбнулся.

— Едва ли... Но ведь арабская лошадь намного меньше нашей.

— Нет, какой-то смысл тут все-таки есть. Ошибка Джека только в том, что он надеется на быстрые результаты. Все равно как в политике: люди никак не хотят понять, что на все нужно время. Попробуют что-нибудь, не даст в течение пяти лет хороших результатов,— значит, не годится. Джек вас берет?

— Пока только на испытание. Я еду к нему на неделю, и он посмотрит, можно ли мне доверить лошадей. Он решил не отправлять кобыл в Ройстон, а поместить где-то за Оксфордом, возле Беблок-Хайт. Я и там буду с ними, если он меня возьмет. Но все это не раньше весны.

— Джек — формалист,— заметил сэр Лоренс, когда они входили в клуб.— Никогда не забывайте об этом.

Крум улыбнулся.

— Само собой. Его конный завод поставлен замечательно. К счастью, я действительно ужасно люблю лошадей. И поэтому, когда говорил с мистером Маскемом, не растерялся. Хорошо, если бы удалось за что-нибудь зацепиться, и потом — это же мое любимое дело!

Сэр Лоренс улыбнулся. Энтузиазм всегда его подкупал.

— Вы должны познакомиться с моим сыном, — сказал старик. — Он такой же энтузиаст, хотя ему уже тридцать семь лет. Вы, наверное, окажетесь в его избирательном округе. Впрочем, нет. Вы будете в округе Дорнфорда. Кстати, вы знаете, что моя племянница служит у него секретарем?

Крум кивнул.

— Не знаю уж, как теперь будет, — пробормотал сэр Лоренс, — бросит она работу, раз Корвен вернулся, или нет?

Он внимательно посмотрел на молодого человека: лицо Крума заметно помрачнело.

— Нет, не бросит! Она на Цейлон не вернется.

Крум произнес эти слова угрюмо и отрывисто. А сэр Лоренс вдруг вспомнил: «Здесь я обычно взвешиваюсь».

Крум пошел за ним, словно никак не мог с ним расстаться. Он был очень красен.

— Почему вы так уверены? — спросил сэр Лоренс, уже сидя на историческом стуле.

Крум покраснел еще сильнее.

— Люди уезжают не для того, чтобы сейчас же вернуться.

— Иногда и возвращаются. Будь жизнь скаковой лошастью, судьи всегда штрафовали бы ее за нарушение правил.

— Мне известно, что леди Корвен не вернется.

Сэр Лоренс понял, что настала минута, когда в душе Тони чувство может взять верх над благоразумием. Значит, он действительно в нее влюблен. Предостеречь ли его и посоветовать отказаться от Клер или человечней сделать вид, что он ничего не заметил?

— Ровно одиннадцать стоунов¹, — сказал старик. — Вы как, мистер Крум, убавляете или прибавляете?

— Я держусь примерно на десяти стоунах и двенадцати фунтах.

Сэр Лоренс окинул испытующим взглядом стройную фигуру Крума.

— Вы хорошо сложены... Удивительно, до чего может брюшко омрачить жизнь человека. Впрочем, вам нечего беспокоиться лет до пятидесяти.

— Мне кажется, сэр, вам на этот счет тоже не приходилось тревожиться.

— Да, конечно. Но я был свидетелем многих случаев, когда полнота весьма омрачала семейную жизнь. Ну, мне пора. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, сэр. Я вам страшно благодарен.

— Не за что. Мой кузен Джек не играет на скачках, и очень советую вам тоже не играть!

¹ Стоун — английская мера веса, равная 6,36 килограмма, употребляется главным образом при определении человеческого веса.

— Я, конечно, не буду, сэр,— убежденно отозвался Крум.

Они пожали друг другу руки, и сэр Лоренс продолжал свой путь по Сент-Джемс-стрит.

«Этот молодой человек,— размышлял он,— производит хорошее впечатление, и я не понимаю почему,— наделает он нам хлопот. Надо было бы сказать ему: «Не пожелай жены ближнего твоего». Но бог так устроил мир, что почему-то не говоришь того, что надо. А современная молодежь — очень интересный народ! Уверяют, будто она к старикам не почтительна и тому подобное...». Он, сэр Лоренс, этого не замечает. Молодые люди казались ему не менее воспитанными, чем был он сам в их годы, а разговаривать с ними легче. Конечно, что у них на уме — не угадаешь, но так, может быть, и лучше. Принято считать, что старикам,— и сэр Лоренс поморщился, шагая по мостовой Пикадилли,— место только на кладбище. *Tempora mutantur et nos mutantur in illis*¹. Но так ли это? Меняемся мы не больше, чем произношение латинских слов со времен нашей молодости. Молодежь всегда останется молодежью, а старики — стариками; останутся недоверие и расхождение во взглядах, и всегда старики будут испытывать страстное желание чувствовать и думать, как чувствует и думает молодежь, и всегда они будут делать вид, что ни в коем случае не хотели бы так чувствовать и думать, а в глубине души всегда будут сознавать, что, если бы им, старикам, дали реальную возможность начать все сначала, они бы отказались. И это — милосердно! Жизнь изнашивает человека, а потом исподволь спокойно учит его приспособляться к некоей неподвижности. На каждой стадии нашего существования вкус к жизни соответствует возможностям человека. Гете стал бессмертным благодаря тому, что под мелодии Гуно его герой раздувает угасающую искру в яркое пламя. «Вздор,— подумал сэр Лоренс,— и притом чисто немецкий вздор! Разве я, глядя на этого молодого человека, избрал бы его судьбу — эти вздохи и рыдания, эти робкие восторги и мучительную тоску? Нет! И потому пусть старик остается при своей старости! Неужели этот полисмен никогда не остановит этот поток машин? Да, в сущности, ничто не изменилось. Водители ведут машины, так же подчиняясь общему ритму уличного движения, как подчинялись ему в свое время кучера, правя лошадьми, запряженными в скрипучие, громяхющие автобусы и легкие кебы. Молодые мужчины и женщины испытывают друг к другу то же законное и незаконное влечение. Иными стали мостовые, иным — жаргон, на котором высказываются эти юношеские томления. Но — боже праведный! — законы этого движения, столкновений, гибели и чудесного спасения, побед, обид и в горе и в радости остались теми же, что и всегда. Нет,— заключил он свои мысли,— пусть полиция издает правила, богословы пишут в газетах статьи, а судьи решают что угодно,— человеческая природа будет идти своими путями, как и в те дни, когда у меня еще только прорезались зубы мудрости».

Полисмен поднял руку, сэр Лоренс перешел улицу и направился в сторону Беркли-сквера. Здесь все же произошли большие перемены.

¹ Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (лат.).

Дома, принадлежавшие знати, быстро исчезли. Лондон перестраивался заново, и притом чисто по-английски: по частям, стыдливо, словно невзначай. Эпоха династий, со всеми ее атрибутами, с феодализмом и церковью, миновала. Даже войны теперь ведутся ради народов и их рынков. Династических и религиозных войн больше не бывает. Ну что ж, это все-таки уже кое-что! «А мы все более уподобляемся насекомым,— думал сэр Лоренс.— И как интересно: религия почти умерла оттого, что исчезла вера в будущую жизнь; но что-то стремится занять ее место: служение, социальное служение — кредо муравьев и пчел! И какая жестокая насмешка: до сих пор идея социального служения являлась достоянием наиболее старинных родов, которые наконец догадались, что должны приносить хоть какую-нибудь пользу за те преимущества, которые им даны. Теперь они вымирают, а выживет ли идея? И что с ней делает народ? В конце концов,— решил сэр Лоренс,— всегда останется кондуктор автобуса, на котором вы едете, приказчик, который будет бесконечно возиться с вами, подбирая вам носки; женщина, которая присматривает за ребенком соседки или собирает на сирот и беспризорных; шофер, который остановится и будет терпеливо наблюдать, как вы копаетесь со своей машиной; почтальон, который вам благодарен за чаевые, и неизвестный, который вытащит вас из пруда, если увидит, что вы действительно тонете. Нужен лозунг: «Свежий воздух и моцион развивают ваши добрые инстинкты». Его можно было бы расклеить на всех автобусах вместо вот этих: «Зверское преступление каноника» или «Непостижимое мошенничество на скачках». Да, вспомнил: надо спросить Динни, что ей известно насчет Клер и этого молодого человека».

Погруженный в размышления, он остановился перед дверью своего дома и сунул ключ в замочную скважину.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Муж, желающий снова сойтись с женой, находится в довольно сложном положении, особенно если в его распоряжении всего одна неделя, и сэр Джеральд, несмотря на свою самоуверенность, находился теперь именно в таком положении. Его последнее посещение заставило Клер насторожиться. Следующий день была суббота. Кончив работу среди дня, она уехала в Кондафорд и старалась не подавать и виду, что сбежала сюда от мужа. В воскресенье утром она долго лежала в постели, окна были раскрыты, и она смотрела на небо, видневшееся сквозь высокие обнаженные вяза. Солнце светило на нее, воздух был мягок и полон звуков пробуждающейся жизни: щебетали птицы, мычала корова, кричал грач, непрерывно ворковали голуби. Клер была не слишком склонна к поэзии, но когда она лежала вот так, отдыхая, она на миг ощутила симфонию жизни: кружево обнаженных ветвей и одинокие листья на фоне золотистого, словно плывущего неба; грач на суку; зеленыя и пашни на холмах, дальняя линия деревьев; деревенские звуки, чистый, ароматный воздух, овевавший ей лицо, щебечущая тишина, совершенная свобода каждого отдельного существа и полная гармония всего пейзажа — все это заставило ее на мгновение забыть о самой себе и ощутить вселенную.

Это чувство скоро угасло; она стала думать о том, что было в четверг вечером, о Тони Круме, о замызганном мальчишке возле ресторана в Сохо, который просил таким жалобным голоском: «Взгляните на бедного парня, леди, взгляните на бедного парня!» Если бы Тони видел ее на следующий вечер! Какое несоответствие между чувствами и реальной жизнью. «Как мало знают друг о друге даже самые близкие люди!...— Она печально усмехнулась.— И как часто это неведение — благо!»

В деревне зазвонил церковный колокол. Удивительно, что родители до сих пор ходят по воскресеньям в церковь! Вероятно, надеются на лучшее будущее. Или, может быть, они делают это для того, чтобы подать пример крестьянам, иначе церковь будет забыта или по крайней мере уступит место методической часовне? Как хорошо лежать здесь, в своей прежней комнате, в тепле и безопасности, предаваться праздности, чувствовать на своих ногах дремлющего пса! До следующей субботы она должна отчаянно защищаться, как лисица, которую преследуют собаки и которая пользуется малейшим прикрытием; Клер крепко сжала губы. Уехать он вынужден — он сам сказал,— с ней или без нее, но вынужден. Что ж, он уедет без нее!

Ощущение безопасности внезапно исчезло, когда она около четырех часов возвращалась с собаками после прогулки и увидела машину, стоявшую у подъезда, а в холле ее встретила мать.

— У твоего отца сидит Джерри.

— О!

— Поднимись ко мне в комнату, детка!

В этой комнате, расположенной во втором этаже, рядом со спальней, личность леди Черрел ощущалась гораздо сильнее, чем во всех остальных комнатах обветшалого дома, с его пристройками и закоулками, полного реликвий и воспоминаний о прошлом. Пропахшая вербеной, голубовато-серая спальня матери отличалась своеобразной, хоть и потускневшей эlegantностью,— единственная стильная комната в доме, отвечавшая своему назначению, ибо во всех остальных царило беспорядочное смешение векового хлама с мебелью новейших образцов.

Стоя перед камином, Клер бессознательно вертела в руках какую-то фарфоровую безделушку. Этого визита она не ожидала. Теперь все объединилось против нее: убеждения, условности, боязнь скандала, и защищаться от них можно было только одним; но мысль о том, чтобы открыться хотя бы близким, вызывала в ней отвращение. Она молча ждала, пока заговорит мать.

— Видишь ли, голубчик, ты же нам ничего не объяснила...

Но как можно объяснить подобную вещь женщине, которая так говорит и смотрит такими глазами! Клер вспыхнула, потом побледнела и ответила:

— Могу сказать одно: в нем сидит скот. По виду этого не скажешь, но я знаю, знаю, мама, что это так.

Леди Черрел тоже покраснела, но румянец ее не украсил, так как ей было уже за пятьдесят.

— Конечно, отец и я готовы всячески поддерживать тебя, родная, но очень важно принять именно сейчас правильное решение.

— Если я один раз совершила ошибку, то от меня ждут и второй? Поверь, мама, я не могу говорить об этом, я просто к нему не вернусь, вот и все.

Леди Черрел села, между ее серо-голубыми глазами залегла морщинка; она уставилась перед собой отсутствующим взглядом. Затем посмотрела на дочь и сказала нерешительно:

— А ты уверена, что это не тот скот, который есть почти во всех мужчинах?

Клер рассмеялась.

— О нет! Я ведь не из пугливых!

Леди Черрел вздохнула.

— Не огорчайся, мамочка, милая, все устроится, надо только закончить с этим. В наши дни такие вещи не имеют абсолютно никакого значения.

— Говорят. Но у нас сохранилась дурная привычка считать, что они имеют значение.

Уловив в тоне матери что-то похожее на иронию, Клер быстро возразила:

— Важно сохранить уважение к самой себе, а с Джерри я не смогла бы.

— Тогда перестанем об этом говорить. Отец, наверное, захочет тебя видеть. Ты бы разделась.

Клер поцеловала мать и вышла. Снизу не доносилось ни звука, и она поднялась к себе. Она чувствовала, что воля ее крепнет. Давно прошли те времена, когда мужья считали жен своей собственностью, и что бы там Джерри с ее отцом ни замыслили,— она не подчинится! Когда ее позвали к отцу и она пошла вниз, в ней была твердость камня и острота клинка.

Мужчины стояли в похожем на канцелярию кабинете генерала, и Клер сразу почувствовала, что они столковались. Кивнув мужу, она подошла к отцу.

— Ты меня звал, папа?

Однако первым заговорил Корвен.

— Прошу вас, сэр,— обратился он к генералу.

Морщинистое лицо генерала выражало печаль и раздражение. Он сделал над собой усилие.

— Мы выяснили, Клер... Джерри допускает, что ты во многом права, но он дал мне слово, что больше не будет тебя оскорблять. Попробуй стать на его точку зрения. Джерри говорит,— и я думаю, он прав,— что это даже не столько в его интересах, сколько в твоих. Теперь на брак смотрят не так, как в старину, но ведь вы оба в конце концов дали обет... и даже не говоря об этом...

— Да,— отозвалась Клер.

Генерал покрутил одной рукой усы, а другую засунул глубоко в карман.

— Подумай, что ждет вас обоих? Развестись вы не можете: тут и твое имя, и его положение, да и потом — прошло всего полтора года... Что же вы будете делать? Жить врозь? Это плохо и для тебя и для него.

— И все-таки честнее чем жить вместе.

Генерал взглянул на ее решительное лицо.

— Ты говоришь так сейчас, но мы оба опытнее тебя.

— Рано или поздно это выплыло бы наружу... Ты хочешь, чтобы я уехала с ним?

У генерала вид был совсем несчастный.

— Ты знаешь, детка, что я хочу только твоего блага.

— А Джерри убедил тебя, что для меня благо именно в этом... Нет, это самое худшее, что только может быть. Я не поеду, папочка, и не уговаривай меня.

Генерал посмотрел на нее, на зятя, пожал плечами и стал набивать трубку.

Глаза Джерри Корвена, переходившие с одного лица на другое, сузились и остановились на лице Клер. Долго смотрели они друг на друга, и ни один не отвел взгляда.

— Прекрасно,— сказал наконец Корвен.— Я поступлю по своему усмотрению. До свидания, генерал! До свидания, Клер!— И, круто повернувшись на каблуках, вышел.

В наступившей тишине отчетливо донесся шум отъезжавшего автомобиля. Генерал мрачно курил и смотрел в сторону. Клер подошла к окну. Темнело. Теперь, когда кризис миновал, у нее совсем не осталось сил.

— Желал бы я,— раздался голос генерала,— понять хоть что-нибудь во всей этой истории.

Клер отозвалась, не отходя от окна:

— Он сказал тебе, папа, что попробовал на мне мой же хлыст для верховой езды?

— Что?!— воскликнул генерал.

Клер повернулась к нему.

— Да.

— На тебе?

— Да. Я ушла, конечно, не только из-за этого, но это было последней каплей... Прости, что делаю тебе больно, папа.

— Господи!

Клер вдруг поняла: конкретный факт! Мужчинам всегда нужны конкретные факты.

— Мерзавец!— произнес генерал.— Мерзавец! Он сказал, что на днях провел с тобой целый вечер. Это правда?

Щеки Клер медленно залил румянец.

— Он, попросту говоря, насильно вломился ко мне.

— Мерзавец!— повторил генерал.

Оставшись одна, Клер с горечью подумала о том, как изменилось отношение отца, когда он узнал о хлысте. Генерал воспринял этот факт как личное оскорбление — оскорбление, нанесенное его собственной плоти и крови. Случись то же самое с дочерью другого человека, это, вероятно, не затронуло бы его; она вспомнила, что он даже одобрил ее брата, когда тот избил погонщика мулов, и это навлекло потом на них всех множество неприятностей. Как мало в людях непредвзятости, как легко они поддаются личным чувствам! А эти чувства и их оценки определяются их собственными предрассудками. Что ж. самое труд-

ное для нее миновало, родители теперь на ее стороне, и она уж постарается, чтобы Джерри больше с ней наедине не оставался. Она вспомнила его долгий взгляд. Он обычно умел мириться с проигрышем, так как никогда не считал игру законченной. Его захватывала жизнь в целом, не отдельные детали. Он пытался оседлать жизнь, она его сбрасывала; он вставал, ехал дальше; если наталкивался на препятствие, то преодолевал его, прорывался через него, получая царапины, как их получает каждый в своей повседневной работе. Он загипнотизировал Клер, связал по рукам и ногам. Она очнулась от гипноза и теперь не понимала, как могла поддаться ему. Что он теперь предпримет? Одно можно сказать с уверенностью: он постарается выйти сухим из воды.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда смотришь на Темплъ, на его ровный зеленый дерн, стройные деревья, каменные дома и зубатых голубей, испытываешь восхищение, которое, однако, сейчас же проходит при мысли о бесконечных пачках документов, перевязанных ярко-розовой тесьмой, о бесчисленных клерках, которые сидят в маленьких комнатках и бьют баклуши в ожидании стряпчих, и о переплетенных в кожу толстенных томах с отчетами о судебных процессах, разобранных столь детально, что человек легкомысленный при виде них начинает вздыхать и подумывать о кафе «Ройяль». Кто станет отрицать, что здесь человеческое сознание находит пристанище *in excelsis*¹, а человеческое тело — в креслах? Кто станет отрицать, что люди, входящие сюда, оставляют дух человечности за дверью, словно башмаки у входа в мечеть? Дух человечности не допускается сюда даже на «торжественные обеды», так как закон не должен «распускать нюни»; и в виде предупреждения на пригласительных билетах указывается, что гости должны являться «при орденах». В те редкие осенние утра, когда светит солнце, обитатель Темплъ, окна которого выходят на восток, быть может, и почувствует то замирание сердца, какое мы испытываем, стоя на вершине горы, или слушая симфонию Брамса, или при виде первых весенних нарциссов; но вспомнив, где он находится, он поспешно обратится к делу: Коллистер *versus*² Дэвердей, посредник Попдик.

И все же светило солнце или не светило, Дорнфорду, человеку уже не очень молодому, чудилось, будто он сидит на низкой ограде, согретой первым весенним теплом, и жизнь в образе женщины с картины Боттичелли идет к нему по аллее плодового сада, среди апельсиновых деревьев и весенних цветов. Короче говоря, он был влюблен в Динни. Каждое утро, когда Клер приходила работать, ему хотелось не диктовать ей сухие парламентские бумаги, а завести разговор о ее сестре. Но, как человек, владеющий собой и, кроме того, не лишенный чувства юмора, он подчинялся требованиям, налагаемым его положением, и ограничился тем, что однажды пригласил Клер и ее сестру пообедать с ним в субботу.

— Здесь или в кафе «Ройяль»? — спросил он Клер.

¹ паря в небесах (лат.)

² против (лат.)

— Здесь было бы оригинальнее.
— А вы не хотели бы пригласить кого-нибудь из ваших друзей в качестве четвертого?
— Почему же не вы сами, мистер Дорнфорд?
— Может быть, вы хотели бы позвать определенного человека?
— Что ж, можно позвать Тони Крума, он плыл вместе со мной на пароходе. Славный мальчик.

— Прекрасно! Значит, в субботу. Вы передадите вашей сестре? Клер не сказала ему: «Динни, вероятно, здесь сама», хотя Динни действительно стояла за дверью. В течение всей этой недели она каждый вечер в половине седьмого заходила за Клер и провожала ее до Мелтон-Мьюз. Клер еще могли угрожать всякие случайности, и Динни старалась ее от них оградить.

Узнав о приглашении, Динни сказала:

— Когда я ушла от тебя в тот вечер, я столкнулась с Тони Крумом, и мы вместе дошли до Маунт-стрит.

— Ты не говорила ему, что Джерри был у меня?

— Конечно, нет!

— Ему и так очень тяжело. Он действительно славный мальчик, Динни.

— Я тоже думаю, и мне очень хотелось бы, чтобы он уехал из Лондона.

Клер улыбнулась.

— Что ж, долго он здесь не пробудет; он поступает на конный завод мистера Маскема в Беблук-Хайте.

— Джек Маскем живет в Ройстоне.

— Он выписал арабских кобыл, а они должны жить в местности с более мягким климатом.

Динни с трудом оторвалась от нахлынувших на нее воспоминаний.

— Что ж, детка, толкаться в подземке, или раскошелимся и возьмем такси?

— Мне хочется подышать свежим воздухом. Пройдемся пешком?

— Отлично, пойдем по набережной и через парки.

Они шагали быстро, так как было холодно. Озаренный светом фонарей, под россыпью звезд, этот огромный участок города был незабываемо, сумрачно прекрасен; даже на зданиях, чьи контуры тонули в сумраке, лежала печать какого-то величия.

Динни пробормотала:

— Ночью Лондон действительно прекрасен.

— Да, ложишься с красавицей, а встаешь с трактирщицей. И зачем вся эта суета? Какой-то сгусток энергии, точно муравейник.

— Так утомительно, сказала бы тетя Эм.

— Но ради чего все это, Динни?

— Мастерская, которая старается дать превосходные образцы. И на каждую удачу — тысячи промахов.

— Стоит ли игра свеч?

— Почему же нет?

— А во что тогда верить?

— В человеческий характер.

— Что ты хочешь сказать?

— Характер — это тот способ, каким человек выражает свое стремление к совершенствованию. Это воспитание лучшего, что есть в нас.

— Гм,— отозвалась Клер,— а кто скажет мне, что во мне лучшего?

— Хотя бы я, моя дорогая.

— Нет, знаешь, я для этого все-таки слишком молода.

Динни взяла сестру под руку.

— Ты старше меня, Клер.

— Нет. Если я и более опытна, чем ты, то все же еще не прикоснулась к своему подлинному «я», не прислушивалась к себе в тишине. А сейчас я прямо ощущаю, как Джерри бродит вокруг Мьюз.

— Зайдем на Маунт-стрит, а потом пойдем в кино.

В холле Блор подал Динни записку.

— Был сэр Джеральд Корвен, мисс, и оставил вам вот это.

Динни вскрыла письмо.

«Дорогая Динни,

Я уезжаю из Англии завтра, а не в субботу. Если Клер передумала, буду счастлив увезти ее с собой. Если нет — пусть не рассчитывает на мое долготерпение. Я оставил ей на этот счет записку у нее на квартире, но так как не знаю, где она, то написал и вам для верности. Она сама или записка от нее застанут меня завтра, в четверг, в «Бристоле» до трех часов дня. После этого *à la guerre comme à la guerre*¹.

Затем — с глубоким сожалением, что все сложилось так нелепо, и с пожеланием лично вам всего хорошего.

Искренне ваш

Д ж е р а л ь д К о р в е н ».

Динни прикусила губу!

— Прочти!

Клер прочитала записку.

— Не пойду. Пусть делает что хочет.

Пока они приводили себя в порядок в комнате Динни, вошла леди Монт.

— А! — сказала она. — Теперь и я могу вставить словечко. Ваш дядя опять виделся с Джерри Корвеном. Как ты намерена поступить, Клер?

Клер повернулась к тетке, и яркий свет упал на ее щеки и губы, которые еще не были окончательно «приведены в порядок».

— Я никогда не вернусь к нему, тетя Эм.

— Можно сесть на твою кровать, Динни? Никогда — это очень долго... а тут еще... этот мистер Корвен... Я уверена, что у тебя есть принципы, Клер, но ты слишком хорошенькая.

Клер перестала подкрашивать губы.

— Ты очень добра, тетя Эм, но, право, я знаю, что делаю.

— Подумаешь, утешение! Когда я сама это говорю, то уверена, что непременно сделаю глупость.

¹ на войне как на войне (ф р а н ц.)

— Если Клер обещает, тетечка, она исполнит.

Леди Монт вздохнула.

— Я вот обещала моему отцу не выходить замуж в течение года, а через семь месяцев появился ваш дядя. Всегда появляется кто-нибудь...

Клер стала поправлять мелкие локоны на затылке.

— Обещаю в течение года быть тише воды, ниже травы. Думаю, к тому времени я пойму, что мне надо, ну а уж если не пойму...

Леди Монт пригладила рукой одеяло.

— Обещаешь? Положа руку на сердце?

— По-моему, не надо, — быстро вмешалась Динни.

Клер приложила пальцы к груди.

— Кладу руку на то место, где у меня должно быть сердце.

Леди Монт встала.

— Лучше, если бы она переночевала сегодня здесь, Динни, как ты думаешь?

— Да.

— Тогда я скажу, чтобы приготовили комнату. Цвет морской волны тебе действительно идет больше всего, Динни. Лоренс говорит, будто у меня нет моего цвета.

— Черный и белый, тетечка.

— Чепуха!.. С тех пор как Майкл поступил в Винчестер, я не была в Аскоте — из экономии. К обеду приедут Хилари и Мэй. Переодеваться не нужно.

— О! — удивилась Клер. — Дядя Хилари знает обо мне?

— Он человек очень широких взглядов, — пробормотала леди Монт, — но, понимаешь, я ведь не могу не огорчаться.

Клер поднялась.

— Поверь мне, тетя Эм, Джерри долго страдать не будет: не такой он человек.

— А ну, встаньте спина к спине... Я так и думала: Динни — на дюйм.

— Во мне пять футов пять дюймов, — сказала Клер, — без туфель.

— Прекрасно. Когда вы будете готовы, приходите вниз.

Леди Монт поплыла к двери, бормоча: «Полить Соломонову печат¹ — напомнить Босуэлу», — и вышла.

Динни вернулась к камину и снова уставилась на пламя.

За ее спиной раздался голос Клер:

— Я петь готова от радости, Динни! Целый год настоящих каникул во всех отношениях! Я рада, что тетя Эм заставила меня дать обещание. Но какая она чудачка!

— Вовсе нет. Она самый мудрый член нашей семьи. Если относиться к жизни слишком серьезно, ничего не выйдет. А она не относится к жизни серьезно. Может быть, и хочет, да не может.

— Но у нее ведь нет никаких серьезных забот.

— Если не считать мужа, троих детей, нескольких внуков, двух хозяйств, трех собак, нескольких бестолковых садовников, отсутствия де-

¹ Название растения.

нег и двух страстей: одной — выдавать всех замуж и женить, а другой — вышивать по канве. Кроме того, она изо всех сил старается не располнеть.

— О, она выглядит очень хорошо. Что ты посоветуешь мне делать с этими вихрами, вот тут, Динни? С ними прямо наказание! Подстричь их, что ли, опять?

— Пускай пока растут. Мы не знаем, какая будет мода,— может быть, локоны.

— Для чего, по-твоему, женщины следят за собой? Чтобы нравиться мужчинам?

— Конечно, нет.

— Значит, чтобы вызывать друг у друга зависть?

— Больше всего — чтобы не отстать от моды. Во всем, что касается наружности, женщины прямо какие-то овцы.

— А в области морали?

— Разве у нас есть мораль? Во всяком случае, это мораль, созданная мужчинами. Природа дала нам только чувства.

— У меня нет чувств.

— Ты в этом уверена?

Клер рассмеялась.

— По крайней мере сейчас.

Она надела платье и уступила Динни место перед зеркалом.

Священник, паства которого живет в городских трущобах, обедает в гостях не для того, чтобы наблюдать человеческую природу. Он ест. Хилари Черрел провел большую часть дня, а также время, предназначенное для еды, выслушивая жалобы своих прихожан, не делавших запасов на завтра, потому что им не хватало их на сегодня, и теперь поглощал стоявшие перед ним вкусные блюда с большим воодушевлением. Если даже ему стало известно, что молодая женщина, которую он обвенчал с Джерри Корвеном, порвала брачные узы, он и виду не подал, что знает об этом. Он сидел рядом с ней, однако ни разу не коснулся ее семейной жизни и рассуждал только о выборах, французском искусстве, лесных волках в зоологическом саду Уилснейд и новой системе постройки школ с разборной крышей, при которой можно заниматься на воздухе, в зависимости от погоды. По его длинному лицу, морщинистому, задумчивому и доброму, иногда скользила улыбка, как будто он что-то вспоминал или обдумывал, но молчал об этом, и только иногда поглядывал на Динни, словно хотел сказать: «Вот подожди, мы с тобой потолкуем».

Все же потолковать так и не удалось, так как его вызвали по телефону к умирающему, и ему пришлось уйти, даже не допив свой стакан портвейна. Миссис Хилари последовала за ним.

Обе сестры сели с дядей и теткой за бридж и в одиннадцать часов поднялись к себе.

— Ты знаешь, что сегодня одиннадцатое ноября — годовщина перемирия?— сказала Клер, выходя из комнаты.

— Да.

— Я ехала в автобусе в одиннадцать часов утра и вдруг заметила, что у двух-трех людей какое-то странное выражение лица. Но что мы

могли в те дни переживать? Когда война кончилась, мне было всего десять лет.

— А я помню перемирие, — сказала Динни, — оттого что мама плакала. У нас в Кондафорде жил дядя Хилари. И он произнес проповедь на тему: «Служат и те, кто стоит и ждет».

— Все служат только тогда, когда они что-нибудь за это получают.

— Многие всю жизнь заняты очень тяжелой работой и получают гроши.

— Что ж, верно.

— А почему они это делают?

— Динни, знаешь, мне иногда кажется, что ты кончишь религией. Если только не выйдешь замуж.

— «Офелия, ступай в монастырь!»

— На самом деле, дружок, мне хотелось бы видеть в тебе побольше от нашей праматери — соблазнительницы Евы. Тебе следовало бы стать матерью.

— Да, если врачи найдут способ иметь детей без всего, что предшествует этому.

— Ты пропадаешь даром, дорогая. Стоит тебе только пальчиком шевельнуть, и Дорнфорд упадет перед тобой на колени. Разве он тебе не нравится?

— Самый приятный человек из всех, кого я видела за последнее время.

— «Холодно пробормотала она, направляясь к двери». Поцелуй меня.

— Я надеюсь, дорогая, что все уладится, — сказала Динни. — Не буду молиться за тебя, хотя вид у меня и унылый, но буду мечтать, что и твоя мятушаяся душа обретет покой и счастье.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Крум вторично встретился с прошлым Англии в Друри-Лейн. Для трех остальных приглашенных на обед Дорнфордом это посещение было первым, и не случайно тот, кто взял билеты, устроил так, чтобы они сидели по двое: Тони и Клер — в середине десятого ряда, а Дорнфорд и Динни — в конце третьего.

— О чем вы думаете, мисс Черрел?

— Я думаю о том, насколько английские лица изменились с тысяча девятисотого года.

— Все дело в волосах. Лица на картинах, написанных сто — полтора века тому назад, гораздо больше похожи на современные.

— Свисающие усы и шиньоны меняют выражение лица. Но было ли у них выражение?

— Вы считаете, что у людей викторианской эпохи были менее выразительные лица?

— Вероятно, даже более, но они умели носить маску. А взгляните на их одежду: сюртук, высокие воротнички, шейные платки, турнюры, высокие башмаки на пуговицах.

— Да, ноги у них были выразительные, а шеи нет.

— Женскую шею я вам уступаю. А их обстановка: огромные буфеты, кисти, фестоны, бахрома, канделябры... Нет, они, несомненно, играли в прятки со своей душой, мистер Дорнфорд.

— А время от времени она все-таки выглядывала, как маленький принц Эдуард, когда он разделся под обеденным столом королевы матери в Виндзоре.

— Это было самое замечательное из всего, что он сделал за всю свою жизнь.

— Не знаю. Та же реставрация, только в более мягкой форме. При нем открылись какие-то широкие шлязы...

— Но он уехал, Клер?

— Да, уехал, уехал... Вы только посмотрите на Дорнфорда: окончательно влюблен. Я ужасно хотела бы, чтобы она тоже им увлеклась.

— А почему бы ей не увлечься?

— Милый юноша, у Динни была очень трагическая история. И она до сих пор еще не оправилась.

— Лучшей свояченицы я бы не желал.

— А вы бы очень этого хотели?

— Господи! Ну конечно! Еще как!

— А какого вы мнения о Дорнфорде, Тони?

— Очень приятный человек, и совершенно не сухарь.

— Будь он врачом, он, наверно, удивительно обращался бы с больными. Он католик.

— Это ему не помешало при выборах?

— Наверное, помешало бы, но его соперник оказался атеистом, так что вышло одно на одно.

— Политика — ужасно нелепая штука!

— А все-таки занятая.

— Раз уж Дорнфорд сделал такую блестящую карьеру как адвокат, значит, он человек напористый.

— Весьма. Мне кажется, он с этим своим спокойствием может преодолеть любые трудности. Я его очень люблю.

— Ах, вот как!

— Я и не думала дразнить вас, Тони.

— Это все равно что сидеть на пароходе рядышком и быть связанным по рукам и ногам. Пойдем покурим.

— Публика уже возвращается. Приготовьтесь объяснить мне мораль второго действия. Пока я никакой не вижу.

— Подождите!..

Динни глубоко вздохнула.

— Какой ужас! Я еще помню историю с «Титаником». Сколько жизней гибнет даром! Просто страшно становится!

— Вы правы.

— Гибнут жизни, и гибнет даром любовь.

— И у вас тоже многое погибло?

- Да.
- Вы не хотите об этом говорить?
- Нет.
- Я не думаю, чтобы жизнь вашей сестры пропала даром. Она слишком живой человек.
- Да, но она оказалась в капкане.
- Она из него вырвется.
- Не могу допустить мысли, чтобы ее жизнь оказалась испорченной. Нет ли какого-нибудь законного обхода, мистер Дорнфорд? Чтобы не предавать дело гласности.
- Только если ее муж даст повод.
- Не даст, он будет мстить.
- Понимаю. Тогда боюсь, что остается только одно — ждать. Такие истории обычно разрешаются сами собой. Католикам, собственно говоря, не полагалось бы признавать развод. Но если вы считаете, что есть серьезные основания...
- Клер всего двадцать четыре. Не может же она прожить до конца своей жизни одна.
- А вы собираетесь?
- Я? Это совсем другое дело.
- Да, вы очень разные; но если ваша жизнь пройдет без счастья, это будет еще хуже. Настолько же хуже, как потерять чудесный день зимой страшнее, чем летом.
- Занавес поднимается...

- Удивительно! — пробормотала Клер. — Глядя на них, мне все время казалось, что их любовь недолговечна. Они пожирали друг друга, как сахар.
- Боже мой, если бы мы с вами на том пароходе...
- Очень уж вы молоды, Тони.
- На два года старше вас.
- И все-таки на десять лет моложе.
- Неужели вы на самом деле не верите в вечную любовь, Клер?
- В страсть — нет. Лишь бы ее утолить, а там хоть трава не расти. Конечно, для тех, на «Титанике», конец любви настал слишком скоро. И какой: холодные морские волны! Брр!
- Разрешите мне накинуть на вас пальто.
- Знаете, Тони, я от этой пьесы совсем не в восторге. Она переворачивает душу, а я вовсе не хочу, чтобы мою душу переворачивали.
- В первый раз она мне, конечно, больше понравилась.
- Спасибо!
- Все дело в том, что я рядом с вами и все-таки далеко. Лучше всего в пьесе те сцены, где изображается война.
- А мне, глядя на все это, расхотелось жить.
- В этом-то и заключается ирония.
- Герой точно сам над собой смеется. Даже мороз по коже подирует. Слишком похоже на всех нас.

— Лучше бы мы пошли в кино, там я мог бы хоть держать вашу руку.

— Дорнфорд смотрит на Динни так, словно она мадонна будущего, а ему хочется превратить ее в мадонну прошлого.

— Видимо, так оно и есть.

— У него приятное лицо. Интересно, понравится ли ему военный эпизод? «Ура! Флаг взвился!»¹

Динни сидела, закрыв глаза, чувствуя на щеках непросохшую влагу слез.

— Но та никогда бы не поступила так — сказала она охрипшим голосом, — не стала бы махать флагом и кричать «ура», никогда! Может быть, смешалась бы с толпой, но так — никогда!

— Ну, это сценический эффект. А жаль! Прекрасный акт, действительно очень хорошо сделано.

— А эти несчастные накрашенные девицы, которые становятся все несчастнее и все сильнее красятся, и потом эта «Типперери»², которую они насмивывают!.. Война, должно быть, все-таки ужасная штука!

— Человек впадает как бы в экстаз.

— И долго он находится в таком состоянии?

— В известном смысле — все время. Вам это кажется отвратительным?

— Я никогда не берусь судить о том, что люди должны были бы чувствовать. Но, по рассказам брата, все примерно так и было.

— Это нельзя назвать жаждой «ринуться в бой», — продолжал Дорнфорд, — я ведь совсем не вояка по природе. Но говорить, что война — самое потрясающее из человеческих переживаний, уже стало штампом.

— Вы и теперь считаете это самым потрясающим?

— До сих пор — считал. Но... я должен вам сказать, пока мы вдвоем... я люблю вас, Динни. Я ничего не знаю о вас, а вы — обо мне. Но это неважно. Я сразу полюбил вас, и мое чувство становится все глубже. Я не жду от вас ответа, я только хотел бы, чтобы вы иногда вспоминали о моей любви...

Клер пожала плечами.

— Неужели люди в самом деле вели себя так во время перемирия, Тони? Неужели люди...

— Что?

— Так себя вели?

— Я не знаю.

— Где же вы были?

— В Веллингтоне, только что поступил в школу. Отца убили на фронте.

¹ Припев английской матросской песни.

² «Т и п п е р е р и» — песенка английских солдат.

— О, мой тоже мог быть убит, и брат. Но все равно! Динни говорит, что мама плакала, когда объявили перемирие.

— Моя, наверное, тоже.

— Больше всего мне понравилась сцена между сыном и девушкой. Но в целом пьеса слишком волнует. Давайте выйдем, я хочу покурить. Впрочем, нет, лучше не надо. Всегда рискуешь встретить знакомых.

— Черт!

— Видите, я пришла сюда с вами, и это уже много. А ведь я дала торжественное обещание в течение года не подавать никакого повода... Не унывайте же! Мы будем видеться очень часто...

— «Величие, достоинство и мир,— пробормотала Динни, вставая,— и самое великое — это «достоинство».

— Наиболее трудно достижимое.

— А эта женщина, которая пела в ночном клубе, и небо, все в рекламках... Огромное вам спасибо, мистер Дорнфорд! Я не скоро забуду эту пьесу.

— И то, что я сказал вам?

— Вы очень добры ко мне, мистер Дорнфорд, но алоэ цветет только раз в столетие.

— Я могу ждать. Для меня это был чудесный вечер.

— А где те двое?

— Мы их найдем в вестибюле.

— Как вы думаете, у Англии когда-нибудь были величие, достоинство и мир?

— Нет.

— Но «где-то есть зеленый холм, за городской стеной»...¹ Спасибо. Это пальто у меня уже три года.

— Оно прелестно.

— Вероятно, большинство этих людей отправится сейчас в ночные клубы?

— Меньше пяти процентов.

— А мне хотелось бы сейчас подышать родным воздухом и посмотреть на звезды...

Клер отстранилась.

— Тони, нельзя!

— Почему?

— Мы и так были вместе целый вечер.

— Если бы только вы позволили проводить вас домой!

— Нельзя, милый. Пожмите мой мизинец и успокойтесь.

— Клер!

— Смотрите! Вон они идут впереди нас. А теперь исчезните! Пойдите в клуб, выпейте хорошего вина, и пусть вам ночью снятся лошади. Ну вот! Теперь доволен? Спокойной ночи, милый Тони!

— О боже! Спокойной ночи.

¹ Строка из религиозного гимна.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Время сравнивают с потоком, но между ними есть разница: время нельзя пересечь, оно течет вечно, серое и широкое, как мир, в нем нет ни брода, ни моста, и хотя философы утверждают, что оно может течь и вперед и назад, но календарь следует за ним только в одном направлении.

Итак, ноябрь сменился декабрем, но после декабря не наступил ноябрь. Если не считать двух-трех морозных дней, погода стояла мягкая. Безработица уменьшилась, пассивное сальдо торгового баланса еще увеличилось; одного зайца убили, семерых проворонили. Газеты трепетали от бурь в стакане воды; значительная часть подоходного налога была выплачена, еще более значительная часть не была. Вопрос о том, почему благосостоянию страны пришел конец, продолжал стоять перед каждым; фунт поднимался, фунт падал — словом, время продолжало течь, но загадка человеческого существования оставалась нерешенной.

Владельцы Кондафорда отказались от плана построить пекарню. Каждое пенни следовало вкладывать в свиней, птицу и картофель. Сэр Лоренс и Майкл были поглощены планом «С. П. К.» и заразили Динни. Она и генерал целыми днями подготавливались к золотому веку, который должен настать после осуществления этого плана. Юстэйс Дорнфорд выразил свое согласие защищать его в парламенте. Были подготовлены цифры, доказывавшие, что через десять лет Англия благодаря постепенному сокращению ввоза указанных трех пищевых продуктов будет экономить на импорте до ста миллионов в год, причем стоимость жизни от этого не повысится. Защитники плана были убеждены, что при правильной организации, небольшом изменении в нравах англичан и увеличении отхода пшеничных отрубей успех можно считать обеспеченным. А тем временем генерал признал денег под страхование своей жизни и уплатил налоги.

Новый член парламента, объезжая свой избирательный округ, провел рождество в Кондафорде и говорил только о свиньях, чувствуя, что сейчас это вернейший путь к сердцу Динни. Клер также провела рождество у своих. Что она делала в часы, свободные от службы, — об этом можно было только догадываться. Джерри Корвен не подавал признаков жизни, но Клер узнала из газет, что он уже вернулся на Цейлон. В дни между рождеством и Новым годом жилая часть старого дома в Кондафорде была полна: приехали Хилари с женой и дочерью Моникой, Адриан и Диана с Шейлой и Рональдом — корь у них уже прошла, — словом, семья не бывала в таком полном сборе уже много лет. Даже сэр Лайонел и леди Алисон завтракали здесь под Новый год. Такое торжественное сборище всей достопочтенной родни явно было неспроста: 1932 год обещал быть знаменательным. Динни буквально сбилась с ног. Она ничего не говорила, но была теперь как будто менее погруженной в свое прошлое. Она до такой степени была душою общества, что, казалось, совсем не живет для себя. Дорнфорд задумчиво наблюдал за нею. Что кроется под этой неутомимой и веселой самоотверженностью? Он даже рискнул заговорить о Динни с Адрианом, который был, как видно,

ее любимцем.

— Весь дом держится на вашей племяннице, мистер Черрел.

— Безусловно. Динни — это просто чудо.

— Она думает когда-нибудь о себе?

Адриан искоса взглянул на собеседника. Этот смуглый темноволосый человек с худощавым лицом и карими глазами был ему симпатичен; он казался более мягким, чем можно было ожидать от юриста и политического деятеля. Однако, когда речь заходила о Динни, Адриан тотчас же занимал позицию сторожевого пса и поэтому сдержанно ответил:

— Нет, почему же, думает, но в меру; впрочем, не слишком много.

— Мне иногда кажется, что она пережила что-то очень тяжелое.

Адриан пожал плечами.

— Ей двадцать семь лет.

— Вам очень не хотелось бы рассказать мне, что именно произошло? Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства... Я... Видите ли, я люблю ее и страшно боюсь из-за своего неведения случайно попасть впросак и причинить ей боль.

Минуту Адриан молча курил.

— Если вы говорите от всей души...

— От всей души.

— Это могло бы уберечь ее от ненужной боли... Так вот: в позапрошлом году она без памяти любила одного человека, и эта любовь окончилась трагически.

— Он умер?

— Нет. Я не вправе рассказывать вам подробности, но этот человек совершил нечто, из-за чего оказался изгнанным из общества, или по крайней мере, он так решил. Они были помолвлены, но он порвал с ней, не желая запутывать ее, и уехал на Восток. На этом все кончилось. С тех пор Динни никогда о нем не говорит, но боюсь, что она его никогда не забудет.

— Понимаю. Большое спасибо. Вы оказали мне огромную услугу.

— Простите, если я причинил вам боль,— пробормотал Адриан,— но, может быть, лучше, когда человек знает.

— Безусловно.

Глубоко затянувшись, Адриан украдкой взглянул на своего умолкшего собеседника. В лице Дорнфорда не было печали или горечи, просто он казался погруженным в размышления о будущем. «Из всех, кого я знаю,— думал Адриан,— я больше всего желал бы для нее именно такого мужа — мягкого, спокойного, смелого. Но жизнь полна противоречий».

— Она совсем не похожа на свою сестру,— наконец сказал Адриан. Дорнфорд улыбнулся.

— В одной прелесть старины, в другой — современности.

— Клер очень хорошенькая.

— О да, и у нее множество достоинств.

— У обеих большая выдержка. Как идет у Клер работа?

— Отлично, она быстро схватывает, у нее прекрасная память, масса savoir-faire¹.

¹ сноровка, деловитость (франц.)

— Как жаль, что произошла эта история! Я не знаю почему, но жизнь у них не удалась, и не вижу способов исправить дело.

— Я никогда не встречался с Корвеном.

— Как знакомый он очень приятен, но, если приглядеться, в нем есть что-то жестокое.

— Динни говорит, что он мстителен.

Адриан кивнул.

— Вероятно. Неприятная черта, особенно когда люди намерены разводиться. Но я надеюсь, что до развода не дойдет, — все-таки грязное дело, и довольно часто страдает невинная сторона. Не помню, чтобы в нашей семье был хоть один развод.

— В моей — тоже, но ведь мы католики.

— Как вы находите, основываясь на вашем опыте юриста, падает нравственность англичан или нет?

— Нет, я бы сказал, скорее повышается.

— Но ведь требования значительно снизились.

— Люди просто стали искреннее — это не одно и то же.

— Во всяком случае, — продолжал Адриан, — вы все, судьи и адвокаты, как видно, люди исключительно высокой нравственности.

— Почему вы так думаете?

— Сужу по газетам.

Дорнфорд рассмеялся.

— Что ж, — заметил Адриан, вставая, — сыграем партию на бильярде?

Новый год был в воскресенье, а в понедельник гости разъехались. После обеда Динни прилегла на кровать и заснула. Сумерки постепенно угасли, и в комнате стало темно. Ей приснилось, что она стоит на берегу реки. Уилфрид держит ее за руку, показывает на дальний берег и говорит: «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть!» Держась за руки, они сошли к воде, но тут ее окружил мрак. Она перестала ощущать руку Уилфрида и в ужасе вскрикнула. Почва ускользнула из-под ног; она поплыла по течению, тщетно стараясь ухватиться за что-нибудь руками, а его голос все глуше: «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть...» — и наконец замер, как вздох. Динни очнулась в смертельной тревоге. В окно она увидела темное небо, верхушка вяза как будто мелькала по звездам, ночь была без единого звука, без запаха, без цвета. Динни продолжала лежать неподвижно, глубоко дыша и стараясь победить свой страх. Она давно не ощущала Уилфрида так близко, не ощущала так мучительно своей утраты.

Наконец она встала, умылась холодной водой и подошла к окну, глядя в звездный мрак, все еще слегка вздрагивая от испытанной во сне острой душевной боли. «Еще одну реку...»

Кто-то постучал в дверь.

— Да?

— Мисс Динни, я насчет старой миссис Пьюрди. Говорят, она помирает. Там сейчас доктор, но...

— Бетти? Мама знает?

— Да, мисс, она сейчас туда собирается.
— Нет! Пойду я. Задержите ее, Энни!
— Хорошо, мисс. С ней удар. Сиделка прислала сказать, что ничего нельзя поделаться... Зажечь вам свет, мисс?
— Да, зажгите.
Слава богу, наконец удалось хоть провести электричество!
— Налейте мне, пожалуйста, в эту фляжку коньяку и приготовьте в холле резиновые ботики! Я сойду вниз через две минуты.
— Хорошо, мисс.

Надев свитер и теплый капор, она схватила меховое пальто, сбежала вниз и задержалась лишь на мгновение у двери матери — сказать, что уходит. Затем надела ботики, взяла фляжку и вышла. Ее обступила темнота, однако для января ночь была нехолодная. Земля обледенела, а Динни не взяла с собой фонаря, и она шла полмили чуть не четверть часа. Перед домиком стояла машина доктора с зажженными фарами. Тихонько открыв дверь, Динни вошла в первую комнату. Горел огонь в очаге и одна свеча. Обычно здесь было полно народу, тепло и уютно; а теперь комната опустела, остался только щегол в своей большой клетке. Затем Динни открыла дощатую дверку, ведущую на лестницу, и поднялась наверх. Тихонько толкнув ветхую дверь, она остановилась на пороге. Лампа стояла на подоконнике, и низкую спальню наполнял полумрак. В ногах двуспальной кровати стояли доктор и местная сиделка и шепотом разговаривали. В углу у окна Динни увидела скрючившегося на стуле человечка, мужа умирающей; его руки лежали на коленях, сморщенное личико с вишневыми щечками слегка подергивалось. Старая хозяйка этого домика лежала на старой кровати, лицо ее казалось восковым, и все морщины на нем как будто разгладились. С губ срывалось едва уловимое, прерывистое дыхание. Глаза были полуоткрыты, но взгляд ничего не выражал.

Доктор подошел к двери.

— Я ее усыпил, — сказал он. — Не думаю, чтобы сознание к ней вернулось. Что ж, для нее, бедняжки, так лучше. Если она очнется, сиделка даст ей еще лекарства. Сделать ничего нельзя, можно только облечить конец.

— Я останусь тут, — сказала Динни.

Доктор взял ее руку.

— Смерть легкая. Не огорчайтесь, дорогая.

— Бедный старый Бенджи! — прошептала Динни.

Доктор пожал ей руку и спустился вниз.

Динни вошла в комнату. Воздух здесь был спертый, и она оставила дверь приоткрытой.

— Я посижу, сестра, если вам нужно сходить куда-нибудь.

Сиделка кивнула. В своем аккуратном синем платье и чепце, она казалась нечеловечески равнодушной, только брови были чуть нахмурены. Они постояли рядом, глядя на восковое лицо старухи.

— Мало теперь таких, как она, — вдруг прошептала сиделка. — Ну, я пойду захвачу, что нужно, и вернусь через полчаса. Да вы присядьте, мисс Черрел, не утомляйте себя.

Когда она ушла, Динни направилась к забившемуся в угол старику.

— Бенджи!

Круглая, как яблоко, голова затряслась, и старик потер лежавшие на коленях руки. Слова утешения не шли у Динни с языка. Она погладила его по плечу, вернулась к кровати умирающей и пододвинула жесткий деревянный стул. Затем села и стала молча смотреть на губы старой Бетти, с которых срывалось слабое, прерывистое дыхание. Динни казалось, что в лице этой старухи умирает целая отжившая эпоха. Может быть, в деревне еще есть люди столь же преклонного возраста, но они не похожи на старую Бетти: у них нет ее здорового смысла и строгого распорядка жизни, ее любви к Библии и к господам, ее гордости, что вот, мол, она дожила до восьмидесяти трех лет, а у нее до сих пор целы зубы, хотя они давно должны были выпасть, ее грубоватости и манеры обращаться со своим стариком, будто с капризным ребенком. Бедный старый Бенджи! Он, конечно, не то, что она, и как он будет жить без нее — трудно себе даже представить! Может быть, одна из внучек приютит его? Эта пара вырастила семерых детей в те блаженные времена, когда на шиллинг можно было купить то, за что теперь платишь три; вся деревня была полна их потомством. Но как еще внуки уживутся с этим старичком, любящим и поворчать, и поспорить, и пропустить стаканчик? Будет ли ему уютно у их более современных очагов! Ну, уголок-то для него найдется! Один он здесь, конечно, жить не сможет. Две пенсии для двух стариков — это совсем не то, что одна для одного.

«Ах, если бы у меня были деньги!» — подумала Динни.

Щегол ему, наверное, уже не понадобится; она возьмет его, устроит в старой оранжерее, будет кормить, пока он не привыкнет летать, а затем выпустит на волю.

Старик в своем темном углу кашлянул. Динни вздрогнула и склонилась над умирающей. Погруженная в свои мысли, она не заметила, каким слабым стало дыхание старухи. Теперь бледные губы были почти сомкнуты, морщинистые веки почти совсем закрывали незрячие глаза. Ни звука не доносилось с постели. Несколько минут Динни сидела неподвижно, глядя на больную, прислушиваясь; затем подошла поближе и низко склонилась над ней.

Умерла? Как бы в ответ на ее безмолвный вопрос веки Бетти затрепетали; на губах появилась едва уловимая, легчайшая улыбка; затем — словно задули огонек — все застыло в покое. Динни затаила дыхание. Впервые видела она смерть человека. Ее глаза, прикованные к восковому лицу старухи, видели, как на этом лице постепенно проступает выражение отрешенности, как оно цепенеет в том безмолвном достоинстве, которое отличает смерть от жизни. Динни разгладила пальцем веки умершей.

Смерть! Пусть она наступила спокойно, незаметно, но это все же смерть! Древнее средство, утоляющее всякую боль, участь всех нас! На этой постели под низким осевшим потолком, на которой Бетти спала свыше пятидесяти лет, только что отошла большая благородная душа скромной старушки. У нее не было ни того, что люди называют знатным происхождением, ни богатства, ни власти. Она не училась, не мудрствовала, не наряжалась. Она вынашивала детей, нянчила их, кормила, мыла и обшивала, стряпала и убирала, мало ела, никуда не ездила, изведала

немало страданий, никогда не знала того, что называют достатком, но спины ни перед кем не гнула; пути ее жизни были прямы, взгляд спокоен и обращение с людьми приветливо. Если уж не ее назвать замечательной женщиной, то кого же?

Динни стояла возле кровати, склонив голову, погруженная в свои мысли, ничего не видя и не слыша вокруг. В углу старый Бенджи опять кашлянул. Динни очнулась и, дрожа всем телом, подошла к старику.

— Пойдите взгляните на нее, Бенджи, она уснула.

Динни поддержала старика, чтобы помочь ему встать, колени его совсем одеревенели. Даже выпрямившись во весь рост, этот высохший человечек доходил ей лишь до плеча. Не выпуская его локтя, Динни могла ему пройти через комнату.

Они стояли рядом возле кровати умершей и смотрели, как ее щеки и лоб медленно обретали своеобразную красоту смерти. Личико старичка побагровело, он надул губы, словно ребенок, у которого отняли куклу, и сердито прокрипел:

— Эх! Да разве она спит? Померла она! Никогда уж словечка не скажет! Посмотрите-ка! Разве это она?.. А куда делась сиделка? Зачем она ее бросила?..

— Шш! Бенджи!

— Так она же померла! Что мне теперь делать?

Он обратил к Динни морщинистое, увядшее лицо, и она услышала кислый запах старой картошки, табака, немытого тела — запах горя.

— Не могу я оставаться здесь, — сказал он, — когда мать вот так лежит... Непорядок это.

— Верно. Пойдите вниз и выкурите трубку, а когда вернется сиделка, скажите ей.

— Скажите, скажите! Скажу: зачем ты ее бросила? Вот что! О господи! Господи! Господи!

Положив руку ему на плечо, Динни проводила старика на лестницу и стала смотреть, как он спускается, спотыкаясь, охая и сетуя. Затем вернулась к постели умершей. Это умиротворенное лицо таило в себе что-то, невыразимо привлекавшее ее. С каждой минутой оно становилось все более значительным. Оно было почти торжествующим в своем постепенном освобождении от бремени возраста и скорби; в этот краткий промежуток между мучительной жизнью и разрушительной смертью открылась как бы истинная сущность умершей. «Чистое золото!» — вот слова, которые следовало бы высечь на ее скромном могильном камне. Где бы она ни была теперь, и если даже нигде, — все равно: она свой долг выполнила. Бетти!

Когда вернулась сиделка, Динни все еще стояла и смотрела на покойницу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

После отъезда мужа Клер постоянно виделась с Тони Крумом, но неизменно держалась на расстоянии. Любовь сделала Тони необщительным, да и показываться в его обществе было бы неразумно, поэтому она не познакомила его со своими друзьями. Они встречались там, где

можно дешево поест, ходили в кино или просто гуляли. К себе она его больше не приглашала, да он и не просил об этом. Он вел себя действительно примерно, только иногда погружался в мучительное, напряженное молчание или начинал смотреть на нее так, что ей хотелось схватить его за плечи и тряхнуть. Он, видимо, побывал несколько раз на конном заводе Джека Маскема и просиживал целые дни над книгами, в которых обсуждался вопрос скрещивания различных пород скаковых лошадей.

Вернувшись после Нового года из Кондафорда, Клер в течение пяти дней ничего не слышала о нем, и Крум стал занимать ее мысли гораздо больше, чем прежде.

«Дорогой Тони,— написала она ему на адрес клуба,— где вы и что с вами? Я вернулась. Желаю вам от души счастливого Нового года!

Всегда ваша

К л е р ».

Ответ пришел только через три дня, и все три дня она мучилась: сначала ей было обидно, потом она стала беспокоиться и, наконец, испугалась. Письмо было помечено гостиницей в Беблок-Хайте.

«Клер, любимая моя!

Ужасно обрадовался, получив ваше письмо,— ведь я решил не писать вам, пока не напишете вы. Меньше всего мне хотелось бы докучать вам, но я иногда не знаю, удастся мне это или нет. Чувствую себя хорошо, насколько человек, не видящий вас, может чувствовать себя хорошо. Я наблюдаю за устройством стойл для кобыл. Они (стойла) будут первоклассными. Вся трудность в том, что лошади должны акклиматизироваться. Климат здесь, кажется, мягкий, и пастбища будут, по-видимому, отличные. Место довольно красивое, особенно речка. Слава богу, цены в гостинице невысокие, а я могу питаться яйцами и ветчиной хоть всю жизнь. Джек Маскем был настолько добр, что назначил мне жалованье начиная с Нового года, поэтому я надеюсь приобрести на оставшиеся у меня шестьдесят с лишним фунтов двухместную машину Степльтона,— он снова уехал в Индию. Раз я живу здесь, мне просто необходимо иметь машину, чтобы хоть изредка видаться с вами, без чего жить на свете просто не стоит. Надеюсь, вы отлично провели время в Кондафорде. Знаете ли вы, что я не видел вас вот уже шестнадцать дней и буквально умираю от тоски? Буду в городе в субботу вечером. Где мы встретимся?

Вечно преданный вам

Т о н и ».

Клер прочла это письмо, сидя на кушетке в своей комнате: вскрывая его, она слегка хмурилась, а дочитывая — улыбалась.

Бедный, милый Тони! Она поспешно взяла телеграфный бланк и написала:

«Приходите пить чай на Мелтон-Мьюз. К».

Она отправила эту телеграмму по пути в Темпл.

Значение, которое приобретают встречи двух молодых людей, очень часто зависит от того, какое значение люди придают тому, чтобы они не встречались. Приближаясь к Мелтон-Мьюз, Тони думал только о Клер и поэтому совершенно не обратил внимания на приземистого человечка в роговых очках, грубых черных башмаках и бордовом галстуке, чем-то напоминавшего секретаря ученого общества. Этот субъект незаметно сопровождал его от Беблок-Хайта до вокзала Паддингтон, от вокзала до клуба, от клуба до угла Мелтон-Мьюз; он наблюдал, как Тони вошел в дом № 2, отметил что-то в своей записной книжке и, заслонившись вечерней газетой, стал ждать, когда тот выйдет. Но он не читал газету, а с трогательным усердием смотрел не отрываясь на ярко-синюю дверь, готовый ежеминутно сложиться, как зонтик, и скрыться в какой-нибудь закоулок. Пока человечек дожидался (что было его обычным занятием), он размышлял, как и другие граждане, о чашке чаю, которую ему хотелось выпить, о своей маленькой дочке и ее коллекции иностранных марок и о том, придется ли ему теперь платить подходящий налог или нет. Его мечты устремились также к соблазнительным формам молодой особы из табачного магазина, в котором он обычно покупал свои дрянные сигареты.

Его звали Чейн, и он зарабатывал свой кусок хлеба с помощью исключительной памяти на человеческие лица, неистощимого терпения, аккуратнейших записей в блокноте, способности быть незаметным и счастливого сходства с секретарями ученых обществ. Чейн служил в агентстве Полтида, которое, в свою очередь, существовало тем, что узнавало о людях больше, чем им хотелось бы. Получив соответствующие инструкции в тот день, когда Клер возвратилась в Лондон, он «работал на этом деле» вот уже пять дней, и никто ничего не знал, кроме хозяина и его самого. Подобное шпионство было, судя по тем книгам, которые он читал, главным занятием людей, населявших эту страну, и потому он никогда не пытался взглянуть критическим оком на свою профессию, хотя занимался ею в течение семнадцати лет. Наоборот, он гордился своей работой и считал себя талантливым «филером». Несмотря на усилившийся бронхит в результате сквозняков, — ведь ему так часто приходилось стоять на сквозняках, — мистер Чейн даже не представлял себе иного препровождения времени или иного способа зарабатывать на жизнь. Адрес молодого Крума он узнал очень просто, а именно — глядя через плечо Клер, когда она отправляла телеграмму; но так как он не успел прочесть самого текста, то сразу же поехал в Беблок-Хайт; и с этого мгновенья все пошло как по маслу. Постепенно переходя с места на место, он подобрался, когда стемнело, к самому дому. В половине шестого ярко-синяя дверь распахнулась, и появилась знакомая нам молодая пара. Они пошли пешком, и мистер Чейн, с выработанной чуткостью к ритму чужих шагов, последовал за ними в том же темпе. Вскоре он понял, что они направляются туда, куда он уже дважды сопровождал леди Корвен, то есть к Темплю. И это обнадежило его насчет чашки чаю, о которой он мечтал. Умело прячась за широкими спинами прохожих, он, пробираясь в толпе, увидел, как молодые люди вошли

в Мидл-Темпль-Лейн и расстались возле Харкурт-билдингс. Отметив, что леди Корвен вошла внутрь, а молодой человек начал медленно прогуливаться между подъездом и набережной, мистер Чейн взглянул на часы, поспешил на Стрэнд и вбежал в закусочную со словами: «Пожалуйста, мисс, чашку чаю и сдобную булочку». В ожидании чая он занес в свой блокнот более пространную запись. Затем, дуя на чай, он выпил его с блюдечка, съел половину булки, зажал другую в руке, расплатился и выбежал на улицу. Он как раз доел вторую половину булочки, когда снова оказался на том месте, где все еще медленно прогуливался молодой человек. Мистер Чейн дождался, пока тот повернется к нему спиной, и, напустив на себя вид опаздывающего судебного чиновника, стремительно прошел мимо входа в Харкурт-билдингс во Внутренний Темпль. Там, остановившись у дверей, он принялся изучать доску с фамилиями, пока снова не вышла Клер. Молодой человек встретил ее, и они направились в сторону Стрэнда, а мистер Чейн — за ними. Потом они зашли в ближайшее кино и взяли билеты, он тоже взял билет и сел как раз позади них. Привыкнув следить за людьми, которые были начеку, он отнесся к явной наивности этой пары с удивлением и чуть презрительным сочувствием.

«Прямо какие-то младенцы», — подумал он. Чейн не видел, соприкасаются ли их колени, и прошел за их спиной, чтобы посмотреть, каково положение их рук: оно показалось ему удовлетворительным, и он пересел на стул поближе к проходу. Уверенный, что они не встанут с места в течение двух часов, он закурил и расположился поудобнее, предвкушая желанное тепло и приятный фильм. Действие происходило в Африке, где путешествовали и охотились два главных героя; они то и дело попадали в опасные положения, которые, вероятно, были еще более опасными для снимавшего их оператора. Мистер Чейн слушал с интересом их мужественные американские голоса, говорившие друг другу: «Эге, он настигает нас!» — не забывая, однако, что эти двое молодых людей тоже слушают. Когда вспыхивал свет, он отчетливо видел их профили. «Что ж, все мы порой молодеем», — думал он, и его воображение все настойчивее задерживалось на соблазнительных формах продавщицы из табачного магазина. Молодая пара, казалось, сидела так прочно, что он решил на минутку выскользнуть из зала. Ведь столь удачный момент не скоро повторится. Одним из главных недостатков детективных романов являлось, по его мнению, то, что авторы изображали сыщиков в виде каких-то бесплотных духов, которые могли наблюдать за своими объектами целые дни, буквально не спуская с них глаз. В жизни, конечно, все было иначе.

Он вернулся и сел почти позади парочки как раз перед тем, как свет погас. Сейчас появится одна из его любимых кинозвезд, и уж теперь-то он ее разглядит и насладится в полной мере. Он положил в рот мятную конфетку и со вздохом откинулся на спинку стула. Давно у него не было такой приятной вечерней слежки. Не всегда приходится сидеть в теплом помещении, а проводить время на улице при теперешней погоде нелегко. Холодноватая должность, нечего говорить.

Прошло десять минут, звезда едва успела надеть свой вечерний туалет, как вдруг его парочка встала.

— Не могу больше выносить ее голоса,— сказала леди Корвен; а молодой человек добавил:

— Отвратительно.

Мистер Чейн, обиженный и удивленный, пропустил их вперед и последовал за ними с глубоким вздохом. На Стрэнде они остановились, что-то обсуждая, затем двинулись дальше, пересекли улицу и вошли в ресторан. Стоя у двери и покупая себе еще одну газету, он увидел, что они поднимаются по лестнице. Может быть, они займут отдельный кабинет? Он осторожно двинулся следом. Нет, они просто уселись на галерее. Вон они спрятались в уголке за колоннами: четвертый столик от входа.

Зайдя в уборную, мистер Чейн сменил роговые очки на пенсне, а яркий галстук на пышную бабочку, черную с белым. Он применял этот прием неоднократно и с успехом. Вы сначала надеваете слишком яркий галстук, а затем меняете его на более спокойный и притом другой формы. Яркий галстук всегда отвлекает внимание людей от лица. Вы станьтесь просто «этим человеком с ужасным галстуком», а когда на вас его уже нет, вас принимают за другого. Опять поднявшись наверх и сев за столик, откуда была видна молодая пара, он заказал себе рагу и пинту портера. Наверно, они просидят здесь часа два, поэтому он придумал себе литературный вид, закурил сигарету, позвал официанта и попросил у него огня. Утвердив таким образом свое право на самостоятельность, он спокойно прочел газету, как любой джентльмен, которому некуда спешить, а потом стал рассматривать стенную живопись. Намалеванные на стене пейзажи были ярки и красочны: голубые небеса, море, пальмы и виллы — все это говорило о радостях жизни и производило на него сильное впечатление. Он никогда не ездил дальше Булони и, по-видимому, никогда не поедет. Естественно, что рай рисовался ему в виде пяти-сот фунтов, интересной дамы, залитого солнцем роскошного номера гостиницы и рулетки, но все это было, увы, недостижимо. Он ничего и не требовал, но когда смотрел подобные картины, не мог удержаться от мечтаний. Его всегда поражал и изумлял тот факт, что люди до бракоразводного процесса уезжают в этот рай, остаются там до тех пор, пока им не разрешат жениться, и тогда возвращаются снова на землю. Жизнь в Финчли, где солнце светит раз в две недели и удается выколотить самое большее пятьсот в год, убила поэтическую жилку мистера Чейна в самом зародыше, поэтому он испытывал своего рода облегчение, когда его фантазия могла питаться жизнью тех людей, которых он выслеживал. Молодая парочка, — оба что надо, — вероятно, поедет назад на такси, и ему придется ждать не один час, пока молодой человек от нее выйдет. Перед мистером Чейном поставили рагу, и он подбавил в него красного перцу: ведь сегодня еще предстоит поработать. В общем, еще одна-две слежки, и дело в шляпе; да и труд невелик. Медленно прожевывая каждый кусок, чтобы пища лучше усваивалась, и сдувая пену с портера с ловкостью знатока, он смотрел, как молодые люди, беседуя, наклонялись друг к другу через стол. Что они ели, он не видел. Если бы удалось разглядеть их меню, он мог бы угадать их настроение. Пища и любовь! Теперь он закажет еще сыру и кофе и занесет их в «расходы».

Он давно проглотил последнюю крошку, вычитал из газеты решительно все новости, истощил все силы своего воображения, созерцая стенную живопись, попытался дать характеристику немногим обедающим, расплатился по счету, выкурил три сигареты — и только тогда его подопечные поднялись. Он успел одеться и выйти на улицу, а они еще только начали спускаться по лестнице. Отметив, что на ближайшей стоянке есть три свободных такси, он принялся внимательно изучать доску для афиш ближайшего театра; вскоре швейцар подозвал одну из машин; тогда он дошел до середины улицы и подозвал вторую.

— Подождите, пока тронется эта машина, и поезжайте за ней, — сказал он шоферу, — когда она остановится, остановитесь и вы, только не очень близко.

Усевшись, он вынул часы и сделал отметку в записной книжке. Однажды случилось так, что он поехал по ошибке не за той машиной, это обошлось довольно дорого, и теперь он не спускал глаз с номера такси и занес его в блокнот. Спектакли еще не кончились, движение здесь было небольшое, и работа значительно упрощалась. Машина, в которой сидела его парочка, остановилась на углу Мьюз. Мистер Чейн постукал в стекло шоферу и откинулся в угол; он видел, как они вышли и молодой человек расплатился, затем они направились к дому. Мистер Чейн тоже расплатился и дошел до угла. Разговаривая, они остановились у ярко-синей двери. Леди Корвен вставила ключ в замок и отперла дверь; молодой человек, посмотрев направо и налево, последовал за ней. Мистер Чейн испытывал чувства столь же смешанные, как и его рагу. Происходило именно то, на что он надеялся и чего ждал. А вместе с тем ему теперь предстояло бог весть сколько часов проторчать на холоде. Он поднял воротник пальто и стал искать подходящий подъезд. Какая досада, что нельзя подождать, например, с полчаса и прямо войти к ним. Теперь суд чрезвычайно придирчив насчет улик. Он испытывал нечто подобное ощущению охотника, который видит лису, уходящую в нору, а поблизости нет лопаты. Так простоял он несколько минут, читая при свете фонаря свои записи, и прибавил к ним еще одну, последнюю; затем направился к облюбованному подъезду и там устроился. Примерно через полчаса после театрального разезда машины будут возвращаться, и опять придется менять место, чтобы не привлекать внимания. В окне верхнего этажа горел свет, но это, конечно, не улика. Плохо дело! Двенадцать шиллингов обратный билет, десять шиллингов и шесть пенсов номер в гостинице, такси — семь шиллингов шесть пенсов, кино три шиллинга и шесть пенсов, обед шесть шиллингов, — чай он, так и быть, не поставит в счет, — итого, тридцать девять шиллингов шесть пенсов, почти два фунта! Мистер Чейн покачал головой, положил в рот мятную конфетку и переступил с ноги на ногу. Эта чертова мозоль начинает постреливать! Он стал думать о приятных вещах: о курорте, о темных волосах своей дочки, о своем любимом пирожном, о своей любимой кинозвезде в одном корсете и о своем любимом напитке на ночь — горячем виски с лимоном. Но все напрасно: он ждал, ждал, ноги ломило, и притом не было никакой уверенности, что он собирает настоящие, веские улики! Суду теперь подавай явное нарушение супружеской верности, все остальное уже не годится. Мистер Чейн опять посмотрел на часы. Он стоит здесь уже больше получаса. А вот и первый автомо-

биль въезжает в гараж! Пора убираться отсюда! Он отступил в самый конец переулочка. В эту минуту, не успев он даже повернуться спиной, как из дома вышел молодой человек; его руки были глубоко засунуты в карманы, плечи подняты, и шел он очень быстро. Облегченно вздохнув, мистер Чейн записал в блокнот: «Мистер К. вышел в 11.40 вечера», — и направился к остановке своего автобуса.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Хотя Динни и не была особым знатоком живописи, однако в свое время вместе с Уилфридом осмотрела все постоянные лондонские выставки. Огромное наслаждение доставила ей в 1930 году выставка итальянской живописи. Поэтому теперь, когда дядя Адриан пригласил ее на выставку французской живописи 1932 года, она охотно согласилась. Двадцать второго января после легкого обеда на Пикадилли они прошли ровно в час через турникет у кассы и остановились перед полотнами примитивов. Но так как не они одни, а и множество других посетителей старались обойти толпу стороной, дядя и племянница добрались до картин Ватто только через час.

— «Жиль»¹, — сказал Адриан, немного отступив. — Знаешь, Динни, по-моему, эта картина лучше всех. И вот что удивительно! Когда жанрист декоративной школы берет какой-нибудь сюжет или тип, который его глубоко захватывает, он достигает огромной выразительности. Всмотрись в лицо этого Пьеро: какая погруженность в себя, задумчивость, замкнутость, обреченность! Здесь перед тобой и актер и человек со всеми его переживаниями.

Динни не ответила.

— Что ж вы молчите, мисс?

— Неужели искусство до такой степени осмысленно? Ты не думаешь, дядя, что он просто хотел написать этот белый костюм, а модель привнесла все остальное? Правда, у Пьеро удивительное выражение лица, но, может быть, оно у него и было? Такое выражение у людей бывает.

Адриан покосился на нее уголком глаза. Да, бывает! Вот если бы написать ее, когда она думает, что на нее никто не смотрит и ей не нужно держать себя в руках, или как там это называется, разве не получилось бы лицо, которое потрясло бы зрителей всем, что в нем затаено? Нет, искусство не удовлетворяет нас. Когда оно передает дух, самую сущность явлений, оно кажется нереальным, а когда изображает их пеструю, противоречивую форму, то кажется, что этого вообще не стоило изображать. Все эти полунамекы, мимолетные выражения, световые эффекты почти реалистичны и вместе с тем ничего не открывают. И вдруг он сказал:

— Великие литературные произведения и портреты очень редки потому, что художники не показывают самое существенное, а если уж показывают, то преувеличивают его.

¹ Известная картина французского художника Ватто (1684—1721), изображающая Жюльетту — одного из персонажей комедии масок типа Пьеро.

— Я не знаю, можно ли сказать это о «Жиле». Ведь тут не портрет — тут драматический момент и белый костюм.

— Возможно. И все-таки, если бы я мог написать тебя, Динни, какая ты есть на самом деле, люди сказали бы, что это нереально.

— Тем лучше!

— Большинство людей даже не представляют себе, какая ты.

— Прости за дерзость, дядя, а ты знаешь, какая я?

Адриан покрутил бородку.

— Лышу себя надеждой, что знаю.

— О, взгляни! Вон «Помпадур» Буше ¹.

Помолчав две минуты, Адриан продолжал:

— Что ж, для человека, который предпочитал видеть женское тело обнаженным, он написал все эти покровы очень хорошо...

— Ментенон и Помпадур. Я всегда их путаю.

— Ментенон носила синие чулки и управляла Людовиком Четырнадцатым ².

— Ах да! Пойдем прямо отсюда смотреть вещи Мане ³.

— Почему?

— Меня, кажется, хватит ненадолго.

Адриан, оглянувшись, вдруг понял, почему: перед «Жилем» стояла Клер с каким-то молодым человеком, которого он не знал. Адриан взял Динни под руку, и они прошли в предпоследний выставочный зал.

— Я понимаю твою деликатность, — пробормотал он, останавливаясь перед «Мальчиком, пускающим мыльные пузыри». — А что, этот молодой человек — змея в траве, червяк в бутоне или...

— Очень милый мальчик.

— Как его зовут?

— Тони Крум.

— А... молодой человек с парохода? Клер часто с ним видится?

— Я ее не спрашивала, дядя. Во всяком случае, она обещала не делать глупостей целый год.

И, увидев, что одна бровь дяди Адриана удивленно приподнялась, добавила:

— Она дала обещание тете Эм.

— А через год?

— Не знаю, и она тоже не знает... Как хорош Мане!

Они медленно обошли зал и вошли в последний.

— Подумать только, что Гоген ⁴ казался мне когда-то, в девятьсот десятом году, верхом эксцентричности! — пробормотал Адриан. — Только в такие минуты понимаешь, как все меняется. Помню, прямо с выставки китайской живописи в Британском музее я отправился тогда на

¹ Портрет фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур, написанный художником Франсуа Буше (1703—1770).

² Маркиза де Ментенон состояла в тайном браке с Людовиком XIV.

³ Мане Эдуард (1832—1883) — один из первых французских художников-импрессионистов.

⁴ Гоген Поль (1848—1903) — французский художник, относится к группе так называемых постимпрессионистов; увлекался экзотикой и отвлеченной декоративностью.

выставку художников, сменивших импрессионистов. В то время Сезанн¹, Матисс², Гоген, Ван-Гог³ считались «последним словом изобразительного искусства», а теперь это уже седая старина. Гоген, конечно, замечательный колорист. Но, пожалуй, я все-таки предпочитаю китайцев. Боюсь, Динни, что человек я очень отсталый.

— А мне эти картины почти все кажутся превосходными, но жить с ними я бы не могла.

— У французов есть своя хорошая сторона: ни в одной стране смена направлений в искусстве не отражается так ярко — от примитивов до Клуэ⁴, от Клуэ до Пуссена⁵ и Клода⁶, затем к Ватто и его школе, потом к Буше и Грезу⁷, к Энгру⁸ и Делакруа⁹, к барбизонцам¹⁰, к импрессионистам, к постимпрессионистам, и всегда среди них выделяется какой-нибудь гигант — Шарден¹¹, Леписье¹², Фрагонар¹³, Мане, Дега¹⁴, Моне¹⁵, Сезанн, и в каждом всегда рывок вперед к следующей стадии развития.

— А раньше бывали когда-нибудь такие мощные рывки вперед, как сейчас?

— Я сказал бы, что никогда еще не было такого резкого изменения во взглядах на жизнь вообще и никогда еще в сознании художников не

¹ С е з а н н Поль (1839—1906) — французский художник; один из первых выступил против импрессионистов, упрекая их в потере чувства формы; глава постимпрессионизма.

² М а т и с с Анри (1869—1954) — известный французский живописец и прогрессивный общественный деятель. Для творчества Матисса характерны декоративная плоскостная живопись, крайне упрощенный рисунок.

³ В а н - Г о г Винцент (1853—1890) — голландский художник, работавший во Франции.

⁴ К л у э Франсуа (1510?—1572?) — французский художник эпохи Возрождения.

⁵ П у с с е н Никола (1594—1665) — французский художник, выдающийся представитель живописи классицизма.

⁶ Л о р р е н Клод (1600—1682) — французский живописец, мастер классического пейзажа.

⁷ Г р е з Жан-Батист (1725—1805) — французский художник. Для творчества Греза, которого называли художником «третьего сословия», характерны реалистические тенденции.

⁸ Э н г р Жан-Огюст-Доминик (1780—1867) — французский художник, живописец и рисовальщик, яркий представитель академической школы живописи первой половины XIX века.

⁹ Д е л а к р у а Эжен (1798—1863) — выдающийся представитель романтизма во французской живописи.

¹⁰ Б а р б и з о н ц ы — группа французских пейзажистов XIX века в деревне Барбизон, недалеко от Парижа. Барбизонцы внесли большой вклад в развитие французского национального реалистического пейзажа.

¹¹ Ш а р д е н Жан (1699—1779) — французский художник, прославившийся своими жанровыми сценами и натюрмортами, один из первых выдающихся представителей реализма в искусстве XVIII века.

¹² Л е п и с ь е Франсуа (1698—1755) — французский художник и гравер.

¹³ Ф р а г о н а р Оноре (1732—1806) — выдающийся французский живописец и график.

¹⁴ Д е г а Эдгар (1834—1917) — французский живописец и рисовальщик, примыкающий к импрессионистам. Изображал главным образом сцены современного ему быта.

¹⁵ М о н е Клод (1840—1926) — французский художник, глава импрессионистов.

было такого смятения и путаницы в вопросе о том, для чего они существуют.

— А для чего же они существуют?

— Чтобы доставлять удовольствие, или показывать правду, или то и другое вместе.

— Не могу себе представить, чтобы мне доставляло удовольствие то, что нравится им. А правда... что такое правда?

Адриан развел руками.

— Динни, я устал как собака. Пойдем отсюда.

Динни заметила сестру и Тони Крума, они проходили под аркой. Она не была уверена, видела ее Клер или нет; что касается Крума, то было ясно, что он видит одну Клер. Динни вышла вслед за Адрианом, восхищаясь, в свою очередь, его деликатностью. Ни он, ни она ни за что не признались бы в своем смущении. Кто с кем и где бывает — в наши дни это личное дело каждого.

Они уже дошли до Барлингтон-Аркейд, когда Адриана вдруг поразила бледность племянницы.

— Что с тобой, Динни? Ты бледна, как привидение.

— Если ты не возражаешь, зайдем куда-нибудь и выпьем кофе.

Динни улыбалась, но губы у нее совсем побелели. Встревоженный Адриан крепко прижал к себе руку племянницы и не отпускал до тех пор, пока они не вошли в кафе за углом и не уселись за столик.

— Две чашки кофе, и как можно крепче, — сказал Адриан.

С той инстинктивной чуткостью, которая вызывала доверие к нему в женщинах и детях, он не пытался вызвать Динни на откровенность.

— Ни от чего так не устаешь, как от выставок. Мне очень не хотелось бы винить Эм, но я подозреваю, что ты слишком мало ешь, моя милая. Поклевала чуть-чуть, как птичка, сегодня перед уходом... Разве это обед?

Однако губы ее уже порозовели.

— Я очень вынослива, дядя, но, право, жевать — такая скука.

— Тебе бы прокатиться со мной во Францию. Если картины французов и не пробуждают наш дух, то их стол, во всяком случае, оживляет наши чувства.

— А ты убедился в этом на себе?

— Да, особенно если сравнить со столом итальянцев. У французов великолепная выдумка. Они пишут свои картины, как часовщик делает часы. Высокое чувство прекрасного... отличная техника. Требовать большего, казалось бы, нелепо, и все-таки они, в сущности, не поэтичны... Кстати, Динни, хорошо, если бы Клер удалось избежать развода: ведь суд — самое непоэтичное место на свете.

Динни покачала головой.

— А я, наоборот, хотела бы, чтобы все это уже кончилось. И даже считаю, что напрасно она дала обещание. Ведь своего отношения к Джерри она все равно не изменит, а так она будет, как птица с подбитым крылом. И потом — кто в наше время обращает внимание на подобные вещи?

Адриан заерзал на стуле.

— Мне ненавистна самая мысль о том, что эти прожженные господа могут играть судьбами близких мне людей. Будь они такие, как Дорнфорд... Но ведь они не такие. Ты его с тех пор не видела?

— Он недавно приезжал к нам, когда ему нужно было выступить.

Адриан заметил, что, упоминая о нем, она и «глазом не моргнула», как выражается нынче молодежь. Вскоре они распрощались, и Динни заверила его, что чувствует себя прекрасно.

Адриан сказал, что она была бледна как привидение, а вернее, у нее было такое лицо, словно она увидела привидение. Выходя из пассажа, Динни вдруг вспомнила все свое прошлое на Корк-стрит, — оно подлетело к ней, как одинокая птица, махнуло крылами ей в лицо и улетело прочь. И теперь, расставшись с дядей, она повернулась и пошла обратно на Корк-стрит. Решительно открыла знакомую дверь, поднялась по лестнице в квартиру Уилфрида и дернула звонок. Прислонившись к подоконнику на площадке. Динни ждала, стиснув руки, и подумала: «Как жаль, что у меня нет муфты!» Ее пальцы заоченели. На старинных картинах женщины стояли под вуалью, и руки их были спрятаны в муфту. Времена изменились, и муфты у нее нет. Она уже собиралась уйти, когда дверь отворилась. Стак! В ночных туфлях! Взгляд его темных глаз навываке упал на туфли, он смутился и пробормотал, запинаясь:

— Простите, мисс, я как раз собирался переобуться.

Динни протянула ему руку, и он пожал ее обеими руками, как прежде, с таким видом, словно собирался ее «исповедовать».

— Я шла мимо и решила зайти узнать, как вы.

— Отлично. Спасибо, мисс. Надеюсь, и вы хорошо себя чувствуете? И собака тоже?

— Прекрасно, мы оба живем хорошо. Фошу в деревне нравится.

— Мистер Дезерт всегда считал, что Фош — собака деревенская.

— У вас есть какие-нибудь вести о нем?

— Вестей нет, мисс. Но судя по тому, что мне сказали в банке, он до сих пор в Сиаме. Они пересылают его письма в их отделение в Бангкоке. Милорд был здесь недавно и говорил, что мистер Дезерт сейчас на какой-то реке.

— На реке!

— Названия не помню, что-то вроде — Йи-Санд. Там, кажется, очень жарко... разрешите, мисс, сказать вам, что хотя вы и живете в деревне, но довольно бледны. Я ездил на рождество домой в Барнстепл и очень там поправился.

Динни опять взяла его руку.

— Очень рада была повидать вас, Стак.

— Зайдите, мисс. Вы увидите — у него в комнате все, как было.

Динни прошла за ним в гостиную.

— Все как при нем, Стак, точно он здесь.

— Я часто себе представляю, что это так и есть, мисс.

— А может быть, он все-таки здесь? Говорят, у нас есть астральные тела. Спасибо!

Она коснулась его руки, прошла мимо и спустилась по лестнице. Сначала ее лицо вздрагивало, потом оно застыло. Она быстро зашагала прочь.

Река! Ее сон! «Еще одну реку!»

На Бонд-стрит чей-то голос окликнул ее:

— Динни!

Она обернулась и увидела Флер.

— Куда ты бежишь, дорогая? Не видела тебя целую вечность! Только что смотрела французов. Божественно! Там была Клер с каким-то молодым человеком. Кто это?

— Тони Крум. Они ехали вместе на пароходке.

— И только?

Динни пожалла плечами и, окинув взглядом элегантную Флер, подумала: «И зачем она всегда так прямолинейна?»

— А деньги у него есть?

— Нет. Только место, но очень скромное. У мистера Маскема, при его арабских кобылах.

— О!.. Триста в год или, самое большее, пятьсот? Не годится. Право же, она делает огромную ошибку: Джерри Корвен далеко пойдет.

— Во всяком случае, дальше, чем Клер,— сухо ответила Динни.

— Что это, окончательный разрыв?

Динни кивнула. Никогда еще Флер не была ей так антипатична.

— Ну, Клер не похожа на тебя. Она — человек новых порядков, или, вернее, беспорядков. Вот почему ее разрыв с Джерри — ошибка. Ей жилось бы гораздо лучше, если бы она осталась его женой, хотя бы формально. Я не могу себе представить Клер в нужде.

— Деньги ее не интересуют,— холодно отозвалась Динни.

— Ах, глупости! Деньги просто дают возможность иметь то, что хочешь. И это Клер, конечно, интересует.

Динни знала, что Флер права, и потому сказала еще холоднее:

— Объяснять все это нет смысла...

— Да тут, милая моя, и объяснять нечего! Он ее чем-то оскорбил и, конечно, мог оскорбить, но в конце концов это не причина. Помнишь прелестную картину Ренуара, где мужчина и женщина сидят в ложе? Ведь ясно, что каждый из них живет своей жизнью, и все-таки они вместе. Почему Клер не может?

— А ты смогла бы?

Флер слегка пожалла красивыми плечами.

— Майкл — просто золото. И потом у нас же дети.

Она опять слегка пожалла плечами.

Динни словно оттаяла.

— Ты обманщица, Флер. Ты не следуешь тому, что проповедуешь.

— У меня случай исключительный.

— У каждого так.

— Ну, не будем спорить. Майкл говорит, что наш новый депутат Дорнфорд ему очень по душе. Они ведь теперь работают вместе над этим планом, знаешь — насчет свиней, птицы и картофеля. Ловкая штука, и как раз то, что нужно.

— Да, мы в Кондафорде тоже возимся со свиньями. А дядя Лоренс что-нибудь делает в Липпингхолле?

— Нет, он изобрел этот план и считает, что свою лепту внес. Когда Майкл будет посвободнее, он заставит его еще поработать. Эм ужасно смешно рассуждает об этом плане... А тебе нравится Дорнфорд?

За это утро к Динни во второй раз обращались с тем же вопросом, и она прямо посмотрела в лицо кузине.

— По-моему, он просто совершенство.

Вдруг рука Флер скользнула под ее локоть.

— Знаешь, Динни, дорогая, мне бы очень хотелось, чтобы ты за него вышла. Конечно, за совершенства не выходят, но думаю, что при желании и у него можно найти грешки.

Динни, в свою очередь, пожала плечами, глядя перед собой отсутствующим взглядом.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Третьего февраля погода была настолько мягкой и день так похож на весенний, что кровь у людей бежала быстрее и будила жажду приключений.

Поэтому Тони Крум рано утром телеграфировал Клер и в полдень выехал из Беблок-Хайта на старой, но только что купленной им двухместной машине. Конечно, эта машина была далека от его мечты, но все же он мог при желании доводить ее скорость до пятидесяти миль в час. Проехав по ближайшему мосту, он свернул на Эббингтон, миновал Бенсон и направился в сторону Хенли. Там он остановился перекусить и набрать бензину, затем еще раз проехал по мосту, полюбовался заливой солнцем речкой, текущей в туманной нагоде среди обнаженных лесов, а оттуда помчался дальше, уже не останавливаясь и то и дело поглядывая на часы, так как решил быть на Мелтон-Мьюз к двум часам.

Клер только что вернулась домой и еще не была готова. Крум уселся в нижней комнате, в которой теперь стояли три стула, столик причудливой формы, приобретенный по дешевке, так как цены на старинные вещи упали, и резной кувшин аметистового цвета с терновой настойкой. Крум ждал уже с полчаса, когда она наконец спустилась по винтовой лестнице, одетая в желтовато-коричневое суконное платье и такую же шапочку; через руку было перекинута опойковое пальто.

— Простите, дорогой, что я вас задержала. Куда мы поедем?

— Может быть, вам будет интересно посмотреть Беблок-Хайт? Потом мы проедем через Оксфорд, выпьем там чаю, побродим среди университетских зданий и вернемся сюда часам к одиннадцати. Идет?

— Отлично! А где вы будете ночевать?

— Я? О, я помчусь обратно! К часу буду уже дома.

— Бедный Тони! Трудный денек!

— Пустяки, каких-нибудь двести пятьдесят миль. А пальто вам не понадобится. К сожалению, машина закрыта.

Они выехали из переулка на запад, едва не столкнулись с человеком на мотоцикле и направились к парку.

— А у нее хороший ход, Тони.

— Славная старушка, но боюсь, что в любую минуту может рассыпаться. Степильтон ужасно много гонял ее. И потом, я не люблю светлых машин.

Клер откинулась на сиденье; по губам ее бродила улыбка, видно было, что она наслаждается.

Во время этой первой продолжительной поездки вдвоем они мало разговаривали. В обоих еще жила чисто юношеская страсть к скорости движения, и молодой человек старался выжать из машины всю дозволенную правилами движения скорость. Они достигли последней переправы через реку меньше чем за два часа.

— Вот гостиница, где я обретаюсь,— сказал он.— Хотите чаю?

— Это будет неразумно, мой милый. Когда я посмотрю конюшни и загоны, мы поедем куда-нибудь, где вас не знают.

— Я обязательно должен показать вам речку.

Белая лента реки, чуть позолоченная заходящим солнцем, поблескивала между ивами и тополями. Они вышли, чтобы полюбоваться ею. Сережки на орешнике стали уже большими.

Клер сломала ветку.

— Ложная весна. До настоящей еще долго.

С реки потянуло холодком, и на той стороне, над лугами, стал подниматься туман.

— Здесь только паром, Тони?

— Да, а напрямик тем берегом всего пять миль до Оксфорда. Я раза два тут проходил пешком. Красивая местность.

— Вот когда распустятся фруктовые деревья и зацветут луга, здесь будет чудесно. Поехали? Покажите мне загоны, а оттуда — в Оксфорд. Они вернулись к машине.

— Вы не хотите взглянуть на конюшни?

Она покачала головой.

— Я подожду, пока доставят кобыл. Есть некоторая разница между тем, привозите ли вы меня смотреть пустые конюшни или я приезжаю посмотреть кобыл. А они действительно из Неджда?

— Маскем клянется, что да. Но я поверю, только когда увижу их конюхов.

— Какой масти?

— Две гнедых, одна караковая.

Все три загона полого спускались к реке и были защищены длинной полосой деревьев.

— Идеальный водосток, и пропасть солнца. А конюшни вот тут, за углом под деревьями. В них еще многое не готово. Теперь мы устанавливаем отопление.

— Здесь очень тихо.

— Обычно на дороге автомобилей почти нет, разве какой-нибудь мотоцикл... вон, видите, и сейчас катит.

Мимо них, фыркая, пронесся мотоцикл, остановился, сделал круг и, фыркая, повернул обратно.

— Мотоцикл — ужасно шумная скотина,— пробормотал Крум.— Впрочем, пока кобылы доедут, они успеют попривыкнуть.

— Какая перемена для бедняжек!

— Во всех их именах есть что-то золотое: Золотая Пыль, Золотая Гурия, Золотая Лань...

— Я не знала, что Джек Маскем поэт.

— Кажется, его поэзия не идет дальше лошадей.

— В самом деле, какая удивительная тишина, Тони!

— Шестой час. В моих коттеджах уже прекратили работу: там все переделывают.

— Сколько у вас будет комнат?

— Четыре: спальня, гостиная, кухня и ванная. Можно было бы пристроить еще...

Он выразительно взглянул на нее. Но она смотрела в сторону.

— Что ж,— сказал он,— отчаливаем! Мы приедем в Оксфорд за светом.

Оксфорд, как и всякий город, выглядел при электрическом свете хуже, чем днем. Казалось, он говорил: «Вам, обреченным на современную жизнь, с виллами и автомобилями, я ничего не могу дать...»

И для этих двух молодых людей, которые привыкли к Кембриджу и, кроме того, были голодны, Оксфорд пока не представлял никакого интереса; но когда они вошли в гостиницу «Майтр» и перед ними очутились сэндвичи с анчоусами, вареные яйца, лепешки, гренки, варенье, сдобные булочки и огромный чайник с чаем, они с каждым глотком стали все больше проникаться очарованием Оксфорда. Эта старая гостиница, где они ужинали совершенно одни, пылающий камин, окна, задернутые красными шторами, и неожиданное уютное одиночество — все подготовило их к тому, чтобы, выйдя отсюда, они нашли город «чудесным». В комнату заглянул мотоциклист в кожаной куртке и сейчас же скрылся. Три студента остановились, болтая, в дверях, облюбовали себе столик и вошли. Время от времени появлялась официантка, подкладывала им гренки или что-то переставляла на соседних столиках. Молодые люди наслаждались чудесным одиночеством. Они кончили трапезу только в половине восьмого.

— Давайте побродим,— предложила Клер,— у нас пропасть времени.

Обитатели Оксфорда обедали, и на улицах было почти безлюдно. Клер и Крум пошли наугад, выбирая самые узкие улочки, натываясь внезапно то на часть университетского здания, то на длинную старую стену. Казалось, здесь не было ничего современного, их окружало только прошлое. Темные башни, обветшалые полуосвещенные каменные громады; извилистые, крытые, узкие переходы; неожиданно возникающий из мрака тускло освещенный квадрат двора; звон часов; и это ощущение города, темного, старого, пустынного, но в то же время полного до краев огнями и затаенной жизнью, погружало их в глубокий безмолвный восторг; и так как они не знали, куда идут, то скоро заблудились.

Крум держал молодую женщину под руку и шел с ней в ногу. Ни тот, ни другой не были романтиками, и все же оба испытывали такое чувство, словно затерялись в лабиринтах истории.

— Как жаль,— сказала Клер,— что мое детство не прошло здесь или в Кембридже.

— В Кембридже не чувствуешь себя так уютно, как здесь,— заметил молодой человек.— В темноте все это кажется более средневековым,

и потом там университетские здания выстроены в одну линию, и атмосфера старины здесь ощущается гораздо сильнее.

— Наверное, мне очень понравилось бы жить в старину. Дамские верховые лошади и кожаные куртки. Вы, Тони, выглядели бы божественно в кожаной куртке и в такой шляпе, знаете, с длинным зеленым пером.

— Для меня прекрасно и настоящее, раз я с вами. Мы никогда еще так долго не были вместе.

— Пожалуйста, не раскисайте. Мы здесь для того, чтобы взглянуть на Оксфорд. В какую сторону мы теперь пойдем?

— Мне все равно, — отозвался он глухо.

— Обиделись? Посмотрите, какой большой корпус! Давайте войдем.

— Студенты скоро выйдут, сейчас уже девятый час. Лучше побродим по улицам.

Они прошли по Корнмаркету в сторону Брода, постояли перед статуями, свернули на какую-то темную площадь с круглым зданием посередине, церковью на дальнем конце и несколькими университетскими зданиями, расположенными вокруг.

— Это, наверное, центр, — сказала Клер. — У Оксфорда, конечно, есть свои преимущества. Что бы люди ни делали, этого им не испортить.

С загадочной внезапностью город ожил, появились юноши в коротких плащах, перекинутых через руку, свободно развешивающихся вокруг плеч или обернутых вокруг шеи. Тони Крум спросил у одного из них, как называется это место.

— Библиотека Радклиф. А вот это — Брезноз. Хай вон там.

— А где Майтр?

— Направо.

— Благодарю.

— Пожалуйста.

Он склонил непокрытую голову перед Клер и отошел.

— Ну что, Тони?

— Пойдем выпьем коктейль.

Мотоциклист в кожаной куртке и шлеме, стоявший возле своего мотоцикла, внимательно посмотрел им вслед, когда они входили в гостиницу.

После коктейлей и бисквитов они вышли на улицу с одинаковым ощущением, и Тони сказал:

— Еще светло и рано. Поедем обратно через Магдален Бридж, через Бенсон, Дорчестер и Хенли.

— Остановимся на мосту. Мне хочется посмотреть на мою тезку.

Огни бросали светлые блики на черную воду реки Червел, над нею высился темный контур колледжа, хмурый и массивный, а в стороне Крайстчерч-Мидоуз горело несколько фонарей. Позади них широкая улица тянулась между двумя слабо освещенными серыми рядами домов и подворотен; узкая речка, над которой они остановились, струилась неслышно.

— Они называют ее просто «Чер», правда?

— Летом у меня будет плоскодонка, Клер. Верховья реки еще красивой.

— Вы меня научите править и грести?

— Еще бы!

— Уже почти десять! Огромное спасибо, Тони, за сегодняшний день!

Он посмотрел на нее сбоку долгим взглядом и завел мотор. Неужели ему суждено всегда с нею куда-то ехать? Неужели у них никогда не будет долгой, настоящей остановки?

— Вам хочется спать, Клер?

— Не очень. Но коктейль был ужасно крепкий. Если вы устали, я поведу машину.

— Устал? Конечно, нет! Я только думал о том, что с каждой милей мы приближаемся к разлуке.

В темноте дорога всегда кажется длинней, чем днем, и всегда иной. Возникают сотни не замеченных днем предметов: заборы, скирды, деревья, дома, повороты. Даже селения кажутся другими. В Дорчестере они остановились, чтобы спросить, куда им свернуть; их обогнал человек на мотоцикле, и Крум крикнул ему:

— На Хенли сюда?

— Прямо.

Они доехали до следующей деревни.

— Это, наверное, Неттльбед. Теперь до Хенли селений уже не будет, а от Хенли останется тридцать пять миль, и мы вернемся к двенадцати.

— Бедняжка, вам придется еще раз проехать весь путь обратно!

— Я буду мчаться как сумасшедший. Это здорово успокаивает. Клер погладила обшлаг его пальто, и опять наступило молчание.

Они только что поравнялись с лесом, как вдруг Крум затормозил.

— Фары погасли,— сказал он.

Мимо них проехал мотоциклист, тоже затормозил и крикнул:

— У вас фары погасли, сэр!

Крум остановил машину.

— Кажется, батарея вышла из строя. Мы пропали.

Клер рассмеялась. Он вылез, обошел машину, осмотрел ее.

— Я помню этот лес. От него до Хенли добрых пять миль. Придется как-нибудь ползти, положившись на судьбу.

— Хотите, я вылезу и пойду перед машиной?

— Нет, слишком темно, я могу вас задавить.

Через сто ярдов он опять остановился.

— Я съехал с дороги. Никогда не приходилось править в такой темноте.

Клер опять засмеялась.

— Ну что ж, вот вам и приключение!

— И я не взял с собой фонаря! Кажется, этот лес тянется мили на две.

— Попробуем еще раз.

Мимо пронеслась машина, и шофер что-то крикнул им.

— Поезжайте за ним, Тони!

Но не успел он завести мотор, как машина, спустившись под гору или свернув в сторону, скрылась из виду. Они снова медленно поползли вперед.

— Ах, черт!— вдруг сказал Крум.— Опять сбились!

— Сверните в сторону, остановимся и подумаем. Неужели до Хенли нет никакого жилья? —

— Ничего. И зарядить батарею можно ведь не везде. Хотя я надеюсь, что просто перегорел провод.

— Может быть, нам оставить машину и пойти пешком? Ничего ей тут в лесу не сделается.

— А потом?— пробормотал Крум.— Я должен возвратиться за ней на рассвете. Знаете что: я провожу вас до первой гостиницы, раздобуду фонарь и вернусь. С фонарем я как-нибудь ее доведу или останусь с ней до утра, а утром приеду за вами.

— И вы пройдете десять миль пешком? А почему бы нам не остаться вместе и не подождать восхода солнца? Я всегда мечтала провести ночь в автомобиле.

В душе Крума, видимо, происходила борьба. Провести с ней целую ночь! Наедине!

— А вы доверяете мне?

— Не будьте старомодны, Тони. Это самое правильное, что можно сделать, и ужасно интересно. В конце концов, если на нас наскочит какая-нибудь машина или нас оштрафуют за то, что мы едем без фар, получится гораздо хуже.

— И никогда ее нет, этой луны, когда она нужна!— пробормотал Крум.— Вы действительно хотите остаться?

Клер коснулась его руки.

— Отведите ее подальше, за деревья. Тихонько. Осторожней! Стоп! Машина обо что-то ударилась. Клер сказала:

— Мы уперлись в дерево и стоим теперь спиной к дороге. Я сейчас вылезу, посмотрю, видно ли нас.

Крум остался ждать ее. Он разложил поудобнее кожаные подушки и поправил плед. Он думал: «Нет, она, должно быть, меня не любит, иначе она ни за что не отнеслась бы к этому так спокойно». Трепеща при мысли о долгой темной ночи вдвоем, он был заранее уверен, что эта ночь будет для него пыткой. Вдруг он услышал ее голос:

— Все в порядке! Машину совсем не видно. Теперь пойдите посмотрите вы, а я посижу.

Ему пришлось идти ощупью. По грунту под ногами он понял, что достиг дороги. Здесь темнота казалась менее густой, но звезд в небе не было. Машина словно растворилась во мраке. Он постоял с минуту, затем стал пробираться обратно. Автомобиль настолько затерялся среди деревьев, что Круму пришлось свистнуть и ждать, пока Клер ответит. Ну и тьма! Хоть глаз выколи! Он влез в машину.

— Оставить окно открытым или закрыть?

— Опустите наполовину... так будет хорошо. А знаете, Тони, очень уютно.

— Слава богу! Вам не мешает моя трубка?

— Конечно, нет. Дайте мне сигарету. Ну вот, теперь замечательно!

— Почти,— отозвался он тихо.

— Хотела бы я сейчас видеть лицо тети Эм! Вам тепло?

— Кожа ничего не пропускает. А вам?

— Восхитительно!

Они помолчали, затем она сказала:

— Тони! Вы меня простите, правда? Я ведь обещала тете Эм.

— Все в порядке,— отозвался Крум.

— Я вижу только кончик вашего носа при свете трубки.

А он при свете ее сигареты видел узкую полоску зубов, улыбающиеся губы и лицо до глаз, которые тонули в темноте.

— Снимите шляпу, Клер. И в любую минуту мое плечо — к вашим услугам.

— Только не давайте мне храпеть.

— Вы храпите?

— При случае каждый может захрапеть, могу и я.

Они еще поболтали, но ему все казалось нереальным; реальным было только ощущение, что она рядом, в темноте. Время от времени он слышал шум пронесившихся по дороге машин, и больше ничего. Было слишком темно даже для сов. Трубка потухла, и он спрятал ее в карман. Клер сидела, откинувшись на спинку, совсем рядом, и он чувствовал ее плечо. Он затаил дыхание. Задремала ли она? О! Он-то не заснет. Разве можно заснуть, ощущая ее легкий волнующий аромат и теплоту ее руки, словно проникающую в его кровь. Даже если между ними ничего не произойдет, то и тогда в такую ночь невозможно уснуть. Уже сквозь дрему она сказала:

— Если вы не возражаете, Тони, я все-таки положу голову вам на плечо.

— Возражаю?!

Ее голова прижалась к его кашне, и легкий аромат, напоминавший благоухание соснового леса в солнечный полдень, стал сильнее. Неужели это правда, и она сидит рядом с ним, положив голову ему на плечо, и так будет продолжаться еще целых шесть-семь часов? Он вздрогнул. Как она тиха и проста. В ней нет никаких признаков страсти или волнения, точно рядом его брат. И вдруг он понял, что эта ночь будет испытанием и он должен его выдержать, а если не выдержит, она спрячется в свою раковину и замкнется от него. Теперь она действительно спит. О да! Он отчетливо слышит легкое посапывание, напоминающее цыпльчье клохтанье. Оно возникает у нее в горле — слабый, трогательный и немного смешной, но бесконечно милый звук. Что бы с ним теперь ни случилось, он будет помнить, что все же провел с ней целую ночь. И он сидел тихо, как мышь, если только мыши способны сидеть тихо. Ее голова отяжелела, и чем глубже становился ее сон, тем доверчивей она к нему прижималась. И его чувство к ней также становилось все глубже, превращаясь в страстное желание оберегать ее, служить ей. И только ночь, холодная, темная, беззвучная,— теперь машины уже не мчались по дороге,— бодрствовала вместе с ним. Ночь — словно тихо дышащее существо, огромное, сумрачное, всеобъемлющее. Да, ночь не спала! В первый раз в жизни он это понял. Ночь бодрствовала так же, как бодрствует день. Без огней, погруженная в себя, она тоже жила своими ощущениями. Она не говорила, не шевелилась, только бодрствовала и дышала. Лунная, звездная или, как сегодня, темная и глухая, она оставалась все тем же великим другом.

Его рука онемела, и Клер, словно бессознательно почувствовав это, подняла голову, но не проснулась. Он быстро потер плечо, затем ее голова снова опустилась. Он осторожно повернул лицо и губами коснулся ее волос, потом опять стал прислушиваться к этому тихому, цыплячьему ровному поклохтыванию. Затем оно сменилось глубоким дыханием, — так дышат люди, погрузившись в крепкий сон. Тогда дремота стала одо- лывать и его; он заснул.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Крум проснулся, совершенно не понимая, где он; тело казалось оде- ревеневшим. Чей-то голос проговорил:

— Уже светает, Тони, но еще ничего не видно.

Он сел.

— Боже мой, неужели я заснул?

— Да, бедненький. А я чудно провела ночь, только немножко ноги затекли. Который час?

Крум посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом.

— Почти половина седьмого... По всему телу мурашки бегают. Ух!

— Давайте выйдем и хорошенько потянемся.

Его голос, как казалось ему самому, откуда-то издалека ответил:

— Итак, эта ночь прошла.

— Было очень тяжело?

Он сжал голову руками и промолчал. Мысль о том, что и следующая ночь, и все другие пройдут без нее, была как удар в сердце.

Клер вышла из машины.

— Пойду разомнусь немножко. А потом пробежимся и согреемся. Позавтракать до восьми нам все равно не удастся.

Тони завел мотор, чтобы разогреть машину. В лесу медленно светало; теперь он уже видел тот бук, у которого они провели ночь. Затем он тоже вышел из машины, направился к дороге. Все еще полный серого сумрака и тумана, лес, тянувшийся по обе стороны шоссе, казался таинственным и мрачным. Ни ветерка, ни звука! Крум чувствовал себя, как Адам, тащившийся к выходу из рая, но не заслуживший права быть изгнанным из него. Адам! Странное, приветливое, бородастое существо. Человек до «грехопадения», сектантский проповедник в естественном состоянии, с ручной змеей, яблоком греха и секретаршей, целомудренной и длинноволосой, как леди Годива!¹ Тони почувствовал, что его кровь быстрее побежала по жилам, и вернулся к машине.

Клер, стоя на коленках и смотря в карманное зеркальце, причесывалась маленькой расческой.

— Как вы себя чувствуете, Тони?

— Отвратительно! Я думаю, пора ехать, позавтракаем в Мейденхеде или Слау.

— А почему не дома? Мы попадем туда к восьми. Я умею варить отличный кофе.

¹ Как говорит легенда, жена английского феодала леди Годива, желая избавить жителей Ковентри от непосильного налога, согласилась проехать по городу обнаженной.

— Превосходно!— отозвался Крум.— Буду делать пятьдесят миль в час.

Они мчались с отчаянной скоростью и говорили мало. Оба были слишком голодны.

— Пока я буду готовить завтрак, вы можете побриться и принять ванну... и время сэкономите, и будете чувствовать себя лучше на обратном пути. А я выкупаюсь позднее.

— Пожалуй, лучше завести машину в гараж,— сказал Крум, когда они проезжали мраморную арку у входа в Гайд-парк.— Вы войдете одна; подъезжать так рано вдвоем — слишком подозрительно. Шоферы уже, наверное, вышли на работу. Я приду очень скоро.

Когда он в восемь часов вошел в квартиру Клер, она встретила его в голубом халатике, столик в нижней комнате был уже накрыт для завтрака, и пахло кофе.

— Я приготовила ванну, вы найдете там и бритву.

— Милая!— сказал Крум.— Я буду готов через десять минут.

Он вернулся через двенадцать и сел против нее за стол. Его ждали вареные яйца, гренки, домашнее варенье из айвы и настоящий кофе. Круму казалось, что он никогда не ел такого восхитительного завтрака, оттого что все было совершенно так, как если бы они были женаты.

— Вы устали, дорогая?

— Ни чуточки. Наоборот, я необыкновенно бодр. И все-таки я думаю, что повторять таких штук не следует: зачем искушать судьбу?

— Ну, это же вышло случайно.

— Конечно, и вы вели себя, как ангел. И все-таки это не совсем то, что я обещала тете Эм. Чистому все кажется нечистым.

— Нет, черт их заberi! Боже! Как я дотерплю до следующей встречи!

Клер протянула руку через столик и крепко сжала его пальцы.

— А теперь, я думаю, вам пора убираться. Сейчас я только выгляну наружу и посмотрю, свободен ли путь.

Потом он поцеловал ей руку и вернулся к своей машине. В одиннадцать часов он уже стоял рядом с водопроводчиком в одной из конюшен Беклок-Хайта.

Клер приняла горячую ванну. Правда, ванна, хоть и глубокая, была недостаточно длинна. Она чувствовала себя словно маленькая девочка, которая напроказила, а гувернантка ничего не знает. Бедный, милый Тони! Какая жалость, что мужчины так нетерпеливы! К платоническому поклонению они чувствуют такую же антипатию, как к хождению по магазинам. Они влетают в магазин, спрашивают: «У вас есть то-то и то-то? Нет?»— и выскакивают обратно. Они ненавидят примерку, когда приходится стоять неподвижно, поворачиваться во все стороны и смотреть на себя сзади; искать вещь, которая хорошо бы сидела, они считают наказанием. Тони — еще мальчик. Она чувствует себя гораздо старше его и по складу характера и по жизненному опыту. Хотя Клер до замужества пользовалась большим успехом, ей никогда не приходилось сталкиваться с тем типом людей, которые, считая центром мира себя и Лондон, не признают ничего, кроме иронии, быстрого движения и денег, дающих возможность изо дня в день наслаждаться жизнью.

В усадьбах она, конечно, встречалась с такими, но там они были лишены привычной городской обстановки и занимались только спортом. Сама Клер, любившая проводить много времени на воздухе, скорее подвижная и выносливая, чем сильная, бессознательно тоже подчинялась требованиям спорта. На Цейлоне она осталась верна своим вкусам и склонностям и проводила время то в седле, то на теннисном корте. Она много читала и старалась не отстать от времени, не признающего никакого сдерживающего начала. И все-таки, лежа теперь в ванне, она испытывала какую-то тревогу. Нехорошо было подвергать Тони такому испытанию, как эта ночь. Чем больше она приближала его к себе, отказывая ему в то же время в последней близости, тем больше она его мучила. Вытираясь после ванны, она приняла множество благих решений и едва успела прибежать на работу вовремя. Оказалось, что она спокойно могла бы еще полежать в ванне, так как Дорнфорд был занят каким-то важным судебным процессом. Доделывая вчерашнюю работу, она рассеянно смотрела на лужайку, над которой поднимался туман, предвестник ясного дня; солнце, сиявшее еще совсем по-зимнему, ласкало ее щеки. Она вспомнила Цейлон, где лучи солнца никогда не бывают прохладными и бодрящими. Джерри! Что-то он теперь, пользуясь отвратительным банальным словом, «подельывает»? И что предпринимает по отношению к ней? Очень хорошо, что она решила больше не мучить Тони, держать его подальше от себя и щадить его чувства, но без него ей будет грустно и одиноко. Он стал для нее привычкой, может быть, дурной привычкой, но дурные привычки — единственные, с которыми нам больно расстаться.

«По природе я — создание довольно беспечное. И Тони тоже, но он никогда не подведет!» — думала она.

И вдруг зелень на лужайке показалась ей морскими волнами, подоконник — поручнями, ей почудилось, что она и он стоят, прислонившись к борту, и смотрят на летучих рыб, а те выскакивают из пены и несутся над зелено-синей водой. Как тепло и какие яркие краски! Какая воздушная сияющая красота! И ей стало грустно.

«Мне нужно хорошенько прокатиться верхом, — подумала она. — Поеду завтра в Кондафорд и пробуду всю субботу на воздухе. Утащу с собой и Динни; ей тоже полезно поездить верхом».

Вошел клерк и сообщил:

— Сегодня мистер Дорнфорд из суда отправится прямо в парламент.

— Скажите... на вас находит когда-нибудь уныние, Джордж?

Клерк, розовое круглое лицо которого всегда казалось ей ужасно забавным — к нему так и хотелось приклеить бакенбарды, — ответил своим глухим голосом:

— Чего мне здесь недостает, так это собаки. С моим старым Тоби я никогда не чувствую себя одиноким.

— А какой он породы, Джордж?

— Бультерьер. Но я не могу привести его сюда — миссис Колдер будет очень о нем тосковать. И потом — вдруг он укусит какого-нибудь адвоката?

— Вот было бы замечательно!

Джордж засопел.

— Ах, в Храме никогда нельзя быть в хорошем настроении.
— Я бы тоже хотела иметь собаку, Джордж, но, когда я уйду, дома никого не остается.

— Не думаю, чтобы мистер Дорнфорд прожил здесь долго.

— Почему?

— Он подыскивает себе дом. Мне кажется, он хочет жениться.

— На ком?

Джордж прищурил один глаз.

— Вы думаете, на моей сестре?

— Ага!

— Это правда, но откуда вы узнали?

Джордж прикрыл другой глаз.

— Слухами земля полнится, леди Корвен.

— Что ж, выбор неплохой. Впрочем, я не очень верю в брак.

— Мы, юристы, обычно сталкиваемся только с тенью сторон брака. Но мистер Дорнфорд сумеет сделать женщину счастливой, — так мне кажется.

— И мне тоже, Джордж.

— Он человек очень спокойный и в то же время удивительно энергичный. И потом — такой внимательный к людям. Адвокаты любят его, судьи — тоже.

— И жены будут его любить.

— Правда, он католик.

— Всем нам надо быть кем-нибудь.

— Миссис Колдер и я — мы принадлежим к англиканской церкви с тех пор как умер мой старик отец. Он был плимутским братом и очень строгим. Только выскажи собственное мнение, прямо задушить готов! Сколько раз он, бывало, грозил мне адскими муками! Конечно, ради моего блага. Настоящий глубоко верующий человек, он не выносил неверия в других. Здоровая алая сомерсетская кровь. Он никогда не забывал об этом, хотя ему и пришлось жить в Пекеме.

— Так вот, Джордж: если я мистеру Дорнфорду все-таки понадобится, позвоните мне в пять часов, ладно? На всякий случай я загляну домой.

Клер пошла пешком. День был еще более весенним, чем вчера. Она миновала набережную и парк Сент-Джеймс. У самой воды уже показались ростки желтых нарциссов, на деревьях набухали почки. Мягкий, ласкающий солнечный свет грел ей спину. Но такая погода долго не продлится. Зима еще возьмет свое! Клер быстро прошла под аркой, которую влекли не совсем правдоподобные кони, — они и раздражали ее и забавляли, — миновала памятник артиллерии, даже не взглянув на него, и вошла в Гайд-парк. Теперь она согрелась и зашагала вдоль аллеи для верховой езды. Верховая езда была ее страстью, и когда она видела кого-нибудь на хорошей лошади, это сразу будило в ней какое-то беспокойство. Странные животные эти лошади: сейчас они беспокойны, горячатся, а через минуту — вялы и равнодушны.

Две-три шляпы приподнялись, приветствуя ее. Долговязый человек, сидевший на статной кобыле, уже проехав мимо, натянул повод и вернулся.

— Я так и думал, что это вы. Лоренс сказал мне, что вы в Англии. Вы помните меня? Я Джек Маскем.

А Клер в это время думала: «Отличная посадка для такого рослого человека». Она пробормотала:

— Разумеется!

И вдруг насторожилась.

— Один ваш знакомый будет присматривать за моими арабскими кобылами.

— А, Тони Крум...

— Славный юноша. Только не знаю, достаточно ли он сведущ. Но он энтузиаст... Как ваша сестра?

— Очень хорошо.

— Вы должны были бы привезти ее на скачки, леди Корвен.

— Не думаю, чтобы Динни особенно любила лошадей.

— Я бы скоро заставил ее полюбить их. Помню... — Маскем вдруг умолк и нахмурился. Несмотря на непринужденную позу, его смуглое морщинистое лицо, казалось, затаило что-то, в изгибе рта чувствовалась ирония. Интересно, как бы он отнесся к тому, что она провела эту ночь с Тони в машине.

— А когда придут ваши кобылы, мистер Маскем?

— Они сейчас в Египте. Мы их погрузим на пароход в апреле. Вероятно, я сам поеду туда. Может быть, прихватю и Крума.

— Я бы с удовольствием взглянула на них, — сказала Клер. — На Цейлоне у меня была арабская лошадь.

— Надо будет показать вам Беблук-Хайт.

— Это где-то возле Оксфорда, правда?

— Милях в шести, красивая местность. Так я буду помнить. До свидания!

Он приподнял шляпу, дал шенкеля и отъехал легким галопом.

«Вот невинность разыграла!» подумала Клер. — Надеюсь, не хватила через край. Мне бы не хотелось с ним попасть впросак. Кажется, он очень даже себе на уме. А какие великолепные сапоги! О Джерри даже не спросил!»

Слегка взволнованная, она свернула к Серпентайну.

На освещенной солнцем воде не было ни одной лодки, у дальнего берега плавало несколько уток. Разве не все равно, что думают о ней люди? Да наплевать, как мельнику с реки Ди...¹ Только действительно ли ему было на всех наплевать? Или он был просто философ? Она уселась на скамейку, на самом солнцепеке, и ей вдруг захотелось спать. В конце концов ночь, проведенная в автомобиле, — не совсем то же самое, что ночь, проведенная не в автомобиле. Клер скрестила руки на груди и закрыла глаза. Она заснула почти сразу.

Мимо нее на фоне яркой воды проходило немало людей, и они удивлялись при виде молодой, элегантной женщины, спящей перед обедом. Два мальчугана с игрушечными самолетами остановились перед нею как вкопанные, рассматривая ее темные ресницы, лежавшие на матовых ще-

¹ Герой песенки про мельника с реки Ди, которому было «наплевать» на людей, и «всем было наплевать на него».

ках, и чуть подкрашенные вздрагивавшие губы. Так как у них была гувернантка-француженка и они были благовоспитанные мальчики, им и в голову не могло прийти ткнуть в спящую даму булавкой или вдруг зарорать у нее над ухом. Но им казалось, что у нее нет рук, ее скрещенные ноги были как-то странно засунуты под скамейку, и она сидела так, что ее бедра казались неестественно длинными. Мальчики решили, что все это очень занятно, и когда они пошли дальше, один то и дело оборачивался, чтобы взглянуть на тетю еще раз.

Так в этот день, казавшийся совсем весенним, Клер целый час проспала крепким сном человека, который провел ночь не в своей постели.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Прошло еще три недели; за это время Клер виделась с Крумом всего четыре раза. Она собиралась уехать с вечерним поездом в Кондафорд и укладывала вещи, когда овечий колокольчик позвал ее вниз.

За дверью стоял коротенький человечек в роговых очках, чем-то смутно напоминавший секретаря научного общества. Он приподнял шляпу.

— Леди Корвен?

— Да.

— Простите, я должен передать вам вот это.

Вынув из кармана синего пальто продолговатую бумажку, он протянул ее Клер.

Клер прочла:

«Коронный суд. Отдел по делам завещаний, разводов и адмиралтейства. Двадцать шестое февраля 1932 года. По заявлению сэра Джеральда Корвена».

Она почувствовала слабость в ногах и подняла глаза, чтобы взглянуть в глаза незнакомца, скрытые очками в роговой оправе.

— О! — произнесла она.

Человек отвесил легкий поклон. Ей показалось, что ему было жаль ее, и она быстро захлопнула дверь перед его носом, затем поднялась по винтовой лестнице, села на кушетку и закурила сигарету. Потом развернула на коленях полученную бумагу. Первой мыслью было: «Но это же чудовищно! Я ни в чем не виновата», второй: «Видимо, придется прочесть эту гадость!»

Едва дошла до слов: «Джеральд Корвен, кавалер ордена Бани, имеет честь ходатайствовать...», как у нее возникла еще одна мысль: «Но ведь это как раз то, чего я хочу. Я буду свободна!»

И продолжала читать уже спокойней, пока не дошла до слов: «...что ваш истец требует с упомянутого Джеймса Бернарда Крума, ввиду совершенного им вышеупомянутого прелюбодеяния, возмещения убытков в размере двух тысяч фунтов».

«Тони! Да у него нет и двух тысяч шиллингов! Скотина! Мстительное животное!» То, что Корвен внезапно свел все к денежному вознаграждению, не только глубоко оскорбило ее, но даже повергло в панику. Тони не должен, не может быть разорен из-за нее! Необходимо увидаться с ним! Послали они ему (конечно, послали!) такую же бумажку?

Она дочитала заявление, глубоко затаилась и встала.

Подойдя к телефону, она соединилась с междугородной станцией и назвала номер телефона гостиницы Крума.

— Могу я поговорить с мистером Крумом?.. Уехал в Лондон? На своей машине... Когда?

Час тому назад! Значит, он поехал к ней!

Немного успокоившись, она торопливо стала соображать. Теперь уже не поспеть на кондафордский поезд. Она позвонила домой.

— Динни? Это говорит Клер. Я никак не могу приехать сегодня вечером, приеду завтра утром... Нет! Здорова. Просто кой-какие неприятности. До свидания!

«Кой-какие неприятности!» Она опять села и еще раз прочла с начала до конца «эту гадость». Кажется, они знают решительно все, кроме правды. И ведь ни она, ни Тони даже не подозревали, что за ними следят. Например, этот человек в роговых очках, как видно, знает ее, но она-то его никогда раньше не видела.

Клер пошла в ванную и умылась холодной водой. Мельник с реки Ди... Ну, теперь эта роль стала очень трудной.

«Он, наверное, ничего не ел», — подумала она.

Она накрыла стол в нижней комнате, подала все, что у нее нашлось, сварила кофе, села, закурила и стала ждать. Перед ней возник Кондафорд и лица родных, а также лицо тети Эм и Джека Маскема; но всех заслонило лицо ее мужа с его неуловимой, упрямой, кошачьей усмешкой. Неужели она так и покорится? Неужели даст ему восторжествовать над ней без борьбы? Клер пожалела, что не послушалась совета отца и сэра Лоренса и тоже не напустила на него сыщика. Теперь уже поздно, — пока дело не закончится, он не станет рисковать.

Она все еще сидела, размышляя, у электрической печки, когда у подъезда остановилась машина и зазвонил колокольчик.

Крум был бледен и, казалось, продрог. Юноша остановился на пороге, словно не уверенный, как его примут. Клер схватила его за обе руки.

— Тони, как хорошо, что вы приехали!

— Милая!

— Вы совсем замерзли! Выпейте брэнди.

Пока он пил, она сказала:

— Не стоит говорить о том, что мы должны были делать, а только о том, что мы можем сделать.

Он застонал.

— Они, наверное, считают нас ужасными дураками! Я никогда и не воображал...

— И я тоже. Но почему нам нельзя было делать то, что мы делали? Против невиновности законов нет.

Он сел и закрыл лицо руками.

— Бог мне свидетель, что я только того и хочу, чтобы вы освободились от мужа; зачем я подверг вас риску? Другое дело, если бы ваше чувство ко мне было таким же, как мое к вам.

Клер посмотрела на него с легкой улыбкой.

— Послушайте, Тони, будьте взрослым! Говорить о наших чувствах

нет смысла. И, пожалуйста, без глупостей насчет того, что виноваты вы. Вся суть в том, что мы оба невиновны. Как же нам теперь быть?

— Я, конечно, сделаю все, что вы захотите.

— Мне кажется,— задумчиво начала Клер.— что мне придется поступить так, как потребуют мои родители.

— Боже!— воскликнул Крум, вскакивая.— Ведь если мы будем защищаться и выиграем, вы останетесь связанной с ним.

— А если мы не будем защищаться и выиграем,— пробормотала Клер,— вы останетесь без гроша.

— К черту все это! На худой конец останусь нищим.

— А ваше место?

— Я не понимаю... какое отношение...

— Я на днях встретила Джека Маскема. Он на меня произвел впечатление человека, который не захочет держать у себя на службе соотечественника, не поставившего ища в известность о своих намерениях. Как видите, я уже усвоила этот жаргон.

— Если бы мы действительно были любовниками, я бы, конечно, своих намерений не скрывал.

— Правда?

— Разумеется.

— Даже если бы я сказала «не надо»?

— Вы бы не сказали.

— Не знаю.

— Ну, сейчас вопрос не в этом.

— Да, но если мы не будем защищаться, вы почувствуете себя негодяем!

— Боже, как все это сложно!

— Сядем и поедим. Есть только ветчина, но когда человек падает духом, нет ничего лучше ветчины.

Они сели и взялись за вилки.

— Ваши родные еще не знают, Клер?

— Я сама узнала всего час назад. Они и вам прислали эту «приятную» бумажку?

— Да.

— Еще ломтик?

Они молча ели минуты две. Затем Крум встал.

— Право, я больше не в состоянии.

— Хорошо. Теперь покурим.

Она взяла у него сигарету и сказала:

— Слушайте! Завтра утром я поеду в Кондафорд, и, по-моему, вам тоже стоит приехать. Они должны повидаться с вами,— все, что мы делаем, нужно делать с открытыми глазами. Есть у вас адвокат?

— Нет.

— У меня тоже нет. Вероятно, нам придется его найти.

— Поручите это мне. Если бы только у меня были деньги!

Клер вздрогнула.

— Простите меня за то, что мой супруг оказался способным требовать возмещения убытков.

Крум схватил ее за руку.

— Милая, я имел в виду только адвокатов!

— Помните, я сказала вам на пароходе: «Гораздо хуже, что некоторые вещи начинаются».

— С этим я никогда не соглашусь.

— Я ведь имела в виду свой брак, а не вас.

— Клер, а не лучше ли не защищаться, и будь что будет? Ведь тогда вы освободитесь, а потом, если захотите, я останусь здесь, не захотите — исчезну.

— Спасибо, Тони, но я должна сказать родным. И потом... и потом — все это не так просто.

Он зашагал по комнате.

— И вы думаете — они поверят нам, если мы будем защищаться? Я не надеюсь.

— Мы им скажем истинную правду.

— Люди никогда не верят истинной правде. С каким поездом вы завтра едете?

— В десять пятьдесят.

— Поехать с вами или лучше приехать одному позднее, прямо из Беблок-Хайта?

— Лучше позднее. Я пока успею им все рассказать.

— Они очень огорчатся?

— Да, им не понравится.

— А ваша сестра там?

— Да.

— Это уже лучше.

— У моих родителей не слишком старомодные взгляды, Тони, но и не современные. Люди редко способны смотреть на вещи с современной точки зрения, если дело касается лично их, а уж судьи и юристы тем более. Теперь, пожалуй, уезжайте и обещайте мне не мчаться как сумасшедший.

— Можно мне поцеловать вас?

— Это значит — придется сказать еще одну правду, а их уже три. Можете поцеловать руку, это не считается.

Он поцеловал ей руку и пробормотал:

— Благослови вас бог!

Затем схватил шляпу и исчез.

Клер пододвинула стул к бестрепетному пламени электрического камина и погрузилась в размышления. Сухой жар жег глаза, и ей наконец показалось, будто он сжег ей веки и высушил последнюю каплю влаги; медленно и неуклонно рос в ней гнев. Все чувства, которые она пережила в то утро на Цейлоне, когда решила уйти от мужа, вспыхнули с удвоенной силой. Как смел он обращаться с ней, словно она распутная женщина? Даже хуже, потому что подобная женщина никогда бы не позволила так обращаться с собой. Как смел он прикоснуться к ней хлыстом?! И как смел он теперь выслеживать ее и подать на нее в суд! Нет, этого она не потерпит.

Клер начала методически мыть посуду и убирать со стола. Она распахнула дверь навстречу ветру. Неуютная ночь; ветер вихрями носится по узкому переулку.

«И во мне творится то же самое», — подумала она. Захлопнув дверь, Клер вынула карманное зеркальце. Ее лицо показалось ей таким искреним и беззащитным, что она была потрясена. Она напудрилась и слегка подкрасила губы. Затем глубоко вздохнула, пожала плечами, закурила папиросу и поднялась наверх. Теперь она примет горячую ванну.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Когда Клер приехала в Кондафорд, она сразу почувствовала, что атмосфера в доме напряжена. Вероятно, ее слова или тон, каким она накануне говорила по телефону, пробудили в семье тревогу, и напускным весельем никого не обманешь. Да и погода стояла ужасная, сырая и холодная. Клер приходилось все время держать себя в руках.

Она решила поговорить с родителями после обеда и выбрала для этого гостиную. Вынув из сумочки повестку, она протянула ее отцу со словами:

— Вот что я получила, папочка.

Она услышала его испуганное восклицание. Динни и мать подошли к нему.

Наконец он сказал:

— Что ж... расскажи нам правду.

Она сняла ногу с решетки камина и посмотрела ему прямо в лицо.

— Это неправда. Мы ни в чем не виноваты.

— Кто этот человек?

— Тони Крум? Я познакомилась с ним на пароходе, когда возвращалась в Англию. Ему двадцать шесть. Он там работал на чайной плантации, а теперь служит у Джека Маскема на его конном заводе в Беблок-Хайте. Денег у него нет. Я сказала ему, чтобы он сегодня тоже сюда приехал.

— Ты любишь его?

— Нет. Просто он мне нравится.

— А он тебя любит?

— Да.

— И ты утверждаешь, что между вами ничего не было?

— Он поцеловал меня в щеку два раза. По-моему, это все.

— А тогда — что же они имеют в виду... говоря, что третьего числа ты провела с ним ночь?

— Мы поехали в его машине в Беблок-Хайт, а когда возвращались, погасли фары. Это случилось в лесу, в пяти милях от Хенли, темнота хоть глаз выколи. Я предложила остаться там и подождать до утра. Мы заснули. И поехали дальше, когда рассвело.

Она услышала, как мать слабо ахнула, а отец словно поперхнулся.

— Ну, а на пароходе? А в твоей квартире? Ты же говоришь, что между вами ничего не было, хотя он тебя любит?

— Ничего.

— И это абсолютная правда?

- Да.
- Конечно, это правда,— вмешалась Динни.
- Конечно!— повторил генерал.— А кто этому поверит?
- Мы не знали, что за нами следят.
- В котором часу он будет здесь?
- С минуты на минуту.
- Ты с ним виделась после того, как получила это?
- Вчера вечером.
- Что он говорит?
- Он делает все, что я захочу.
- Ну конечно. И он надеется, что вам поверят?
- Нет.

Генерал снова взял повестку и подошел к окну, как бы желая лучше рассмотреть ее. Леди Черрел села. Ее лицо было очень бледно. Динни подошла к Клер и взяла ее под руку.

— Когда он придет,— внезапно заявил генерал, оборачиваясь к ним от окна,— я поговорю с ним наедине, и, пожалуйста, пусть никто до меня с ним не говорит.

— Свидетелей просят удалиться,— пробормотала Клер.

Генерал вернул ей повестку. Лицо у него было расстроенное и усталое.

— Я очень сожалею, папочка. Мы вели себя ужасно глупо. Видимо, добродетель не служит сама себе наградой.

— Ну, мудрость служит,— заметил генерал. Он похлопал ее по плечу и направился к двери, Динни пошла за ним.

— Он верит мне, мама?

— Да, но только потому, что ты его дочь. И он чувствует, что верить не следовало бы.

— Ты тоже это чувствуешь?

— Я верю тебе, потому что знаю тебя.

Клер наклонилась к матери и поцеловала ее в щеку.

— Спасибо, мамочка, милая! Но это слабое утешение.

— Ты говоришь, тебе нравится этот молодой человек? Ты с ним встречалась на Цейлоне?

— Я в первый раз увидела его на пароходе. И потом, знаешь, мама, право, страсть меня сейчас мало привлекает, и я не знаю, когда мое настроение изменится. Может быть, никогда!

— Почему?

Клер покачала головой.

— Я не хочу вдаваться в подробности моей жизни с Джерри даже теперь, когда он оказался таким негодяем и потребовал возмещения убытков. И уверяю тебя, это огорчает меня гораздо больше, чем мое собственное положение.

— Полагаю, этот молодой человек готов последовать за тобой по твоему первому слову и в любую минуту?

— Да. Но я этого не хотела. И потом, я дала тете Эм обещание, вроде клятвы, что буду вести себя хорошо в течение года. И до сих пор я это обещание выполняю. Конечно, очень соблазнительно не защищаться и получить свободу.

Леди Черрел молчала.

— Ну что же, мама?

— Твой отец вынужден считаться с тем, как это отзовется на твоём добром имени и на имени всей семьи.

— В обоих случаях одинаково плохо. Если мы не будем защищаться, вся история пройдет незамеченной. А если будем, то вызовем сенсацию. «Ночь в автомобиле» и все прочее, даже если нам поверят. Ты представляешь себе газеты, мамочка? Они будут полны этим процессом.

— Знаешь,— медленно начала леди Черрел,— то, что ты рассказала отцу о хлысте, произвело на него очень сильное впечатление, и это будет для него решающим. Никогда не видела, чтобы он так возмущался. Он, вероятно, захочет, чтобы вы защищались.

На суде я ни за что не упомяну о хлысте. Во-первых, этого нельзя доказать, и потом у меня все же есть гордость, мама...

Динни последовала за отцом в кабинет, который иногда называли «казармой».

— Ты знаешь этого молодого человека, Динни?— Волнение генерала наконец прорвалось.

— Да, и он мне нравится. Он по-настоящему любит Клер.

— А зачем ему понадобилось ее любить?

— Папа, милый, будь человечным!

— Ты веришь ей насчет автомобиля?

— Да. Я слышала, как она давала тете Эм торжественное обещание.

— Странное обещание.

— По-моему, она зря его дала.

— Что?

— Во всем этом важно только одно: чтобы Клер получила свободу.

Генерал стоял опустив голову, как будто эти слова заставили его задуматься. Его скулы побагровели.

— Она сказала тебе,— произнес он,— то, что она говорила мне насчет этого господина и хлыста?

Динни кивнула.

— В былые времена я мог бы вызвать его на дуэль, и, конечно, так бы и сделал. Я согласен, что она должна получить свободу, но не таким путем.

— Значит, ты ей веришь?

— Она не стала бы лгать нам так бессовестно.

— Хорошо, папа! Но кто же еще им поверит? Ты бы поверил, если бы оказался присяжным?

— Не знаю,— мрачно отозвался генерал.

Динни покачала головой.

— Нет, не поверил бы.

— Юристы дьявольски хитрый народ. Как ты думаешь, Дорнфорд взялся бы защищать такое дело?

— Он бракоразводных процессов не ведет. К тому же Клер его секретарь.

— Надо поговорить с Кингсонами. Лоренс очень им доверяет. Отец Флер был их компаньоном.

— Тогда...— начала Динни, но в эту минуту дверь открылась.

- Мистер Крум, сэр.
- Можешь остаться, Динни.

Тони Крум вошел. Бросив взгляд в сторону Динни, он направился к генералу.

- Клер сказала, чтобы я приехал, сэр.

Генерал кивнул. Прищурившись, он пристально разглядывал предполагаемого любовника дочери. Молодой человек твердо, но без вызова встретил этот испытующий взгляд и не опустил глаз.

— Буду говорить прямо,— отрывисто произнес генерал.— Вы, кажется, впутали мою дочь в прескверную историю?

- Да, сэр.

- Потрудитесь рассказать мне все, как было.

Крум положил шляпу на стол, выпрямился и сказал:

- Что бы она вам ни сказала, сэр,— правда.

Динни с облегчением увидела, как по губам генерала скользнуло подобие улыбки.

— Очень корректно с вашей стороны, мистер Крум, но я хочу не этого. Она мне рассказала свою версию. Теперь я желал бы услышать вашу.

Динни увидела, что молодой человек облизнул губы и как то странно дернул головой.

— Я люблю ее, сэр. Я полюбил ее с первой минуты, еще тогда, на пароходе. Мы бывали вместе, ходили в кино, в театры, на выставки, я был у нее на квартире три... нет, всего пять раз. Третьего февраля я повез ее в Беблок-Хайт, чтоб показать ей место, где я буду работать. Когда мы возвращались,— она, вероятно, сказала вам об этом,— у меня перегорели фары, и мы застряли в лесу, в совершеннейшей темноте, в нескольких милях от Хенли. И вот мы... мы решили, что лучше подождать до утра, вместо того чтобы рисковать и ехать дальше. Я два раза сбивался с дороги. Была полная тьма, а я не захватил фонаря. Ну вот, мы и просидели в машине до половины седьмого, а затем вернулись в Лондон и приехали к ней на квартиру около восьми утра.

Он смолк, опять облизнул губы, затем снова выпрямился и горячо продолжал:

— Верите вы мне или нет, но клянусь, что, когда мы ночевали в машине, между нами ничего не было, да и вообще ничего не было, кроме... кроме того, что она два или три раза позволила мне поцеловать ее в щеку.

Генерал, не сводивший с него глаз, ответил:

- Она нам рассказала, в общем, то же самое. Что еще?

— Когда я получил эту повестку, сэр, я поехал в город повидаться с ней. Это было вчера. Конечно, я сделаю все, что она пожелает.

— А вы не сговорились заранее насчет того, что будете здесь оба рассказывать?

Динни увидела, как молодой человек весь напрягся.

- Конечно, нет, сэр!

— Значит, я могу считать, что вы готовы подтвердить ваши слова под присягой и защищаться на суде?

- Конечно, если вы полагаете, что нам могут поверить.

Генерал пожал плечами.

— Каково ваше материальное положение?

— Мое место дает мне четыреста фунтов в год,— слабая улыбка тронула его губы,— но больше у меня ничего нет, сэр.

— Вы знакомы с мужем моей дочери?

— Нет.

— Никогда не встречали его?

— Нет, сэр.

— А когда вы впервые встретились с Клер?

— На пароходе, на второй день плавания.

— Что вы делали на Цейлоне?

— Работал на чайной плантации. Но потом несколько плантаций ради экономии объединились.

— Так. Где вы учились?

— Сначала в Веллингтоне, потом в Кембридже.

— Вы получили место у Джека Маскема?

— Да, сэр, при его конном заводе. Весной он ждет арабских кобыл.

— Вы хорошо знаете лошадей?

— Да. Я их ужасно люблю.

Динни увидела, как прищуренные глаза отца наконец оторвались от лица молодого человека и обратились на нее.

— Вы, кажется, знакомы с моей дочерью Динни?

— Да.

— Предоставляю вас пока ей. Мне нужно подумать.

Молодой человек отвесил легкий поклон, повернулся к Динни, затем еще раз обратился к генералу и сказал не без достоинства:

— Я очень сожалею, сэр, что все это случилось, но не могу сказать, чтобы сожалел о своей любви к Клер,— это было бы неправдой. Я люблю ее безумно.

Он уже был у двери, когда генерал остановил его:

— Одну минуту. Что вы называете любовью?

Динни невольно сжала руки: какой вопрос? Крум резко обернулся, его лицо словно окаменело.

— Понимаю,— хрипло сказал он.— Вы хотите спросить, что это — просто желание или что-то большее? Да, это что-то большее, иначе я не выдержал бы той ночи в машине.

Он опять направился к двери.

Динни прошла за ним в холл, где он остановился, хмурясь и порывисто дыша. Она взяла его под руку и подвела к пылающему камину. Они постояли рядом, глядя на пламя; наконец она сказала:

— Боюсь, что вам было ужасно тяжело. Но солдаты любят полную ясность, и я знаю отца: вы произвели на него хорошее впечатление.

— Я чувствовал себя каким-то деревянным чурбаном. А где Клер? Здесь?

— Да.

— Можно мне повидать ее, мисс Черрел?

— Зовите меня просто Динни. Конечно, можете. Но, я думаю, вам лучше повидаться и с мамой. Пойдемте в гостиную.

Он стиснул ее руку.

— Я всегда чувствовал, что вы молодчина.

Динни сделала гримаску.

— Даже молодчинам больно от таких рукопожатий.

— Простите! Вечно забываю о своих лапах. Клер просто боится отдавать мне руку. Как она себя чувствует?

Динни пожала плечами и улыбнулась.

— Ничего, насколько это возможно.

Тони Крум схватился за голову.

— Да и я чувствую себя так же, только еще хуже. В таких случаях у людей есть на что надеяться. А тут? Как вы думаете, она может когда-нибудь по-настоящему полюбить меня?

— Надеюсь, да.

— Ваши родители не думают, что я преследую ее? Понимаете... ну, понимаете,— чтобы просто развлечься?

— После вашей сегодняшней встречи — конечно, нет... про вас можно сказать то, что когда-то говорили про меня: этого человека видно насквозь.

— Про вас? А я вот никогда не могу угадать ваших мыслей.

— Это же было очень давно. Идемте.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда Тони опять ушел в холод и слякоть этого хмурого тревожного дня, он оставил обитателей Кондафорда в глубоком унынии. Клер ушла к себе, сказав, что у нее болит голова и она хочет полежать. Остальные три члена семьи остались у неубранного чайного стола и разговаривали только с собаками, а у людей это верный признак глубокого расстройства.

Наконец Динни встала.

— Ну, дорогие мои, слезами горю не поможешь. Во всем есть и хорошая сторона. Они могли бы быть и красными, как кровь, вместо того чтобы быть белыми, как снег.

— Пусть защищаются,— буркнул генерал, скорее про себя.— Нельзя позволять этому господину делать все, что он захочет.

— Но, папочка, если Клер освободится, и притом с чистой совестью,— ведь это будет очень хорошо! Насколько меньше шуму! И вместе с тем какая ирония судьбы!

— Покорно признать такого рода обвинение?

— Все равно ее имя будут трепать, даже если она и выиграет процесс. Никто не может безнаказанно провести ночь в автомобиле с молодым человеком. Правда, мама?

Леди Черрел чуть улыбнулась.

— Я согласна с твоим отцом, Динни. Я буду возмущена, если Клер разведут, хотя она решительно ни в чем не виновата, она просто сглупила. И потом — это же обман закона. Не правда ли?

— А закону это все равно, дорогая. Однако...

Динни вдруг умолкла. Глядя на печальные лица родителей, она поняла, что для них, очевидно, в браке и разводе таится какой-то священный смысл, которого для нее не существует, и убеждать их бесполезно.

— Молодой человек показался мне порядочным,— заметил генерал.— Ему надо будет поехать вместе с нами к адвокату.

— Я, пожалуй, поеду завтра вечером с Клер, папочка, и попрошу дядю Лоренса устроить тебе встречу с юристами в понедельник. Тебе и Тони Круму я позвоню с Маунт-стрит утром.

Генерал кивнул и встал.

— Собачья погода!— сказал он и положил руку на плечо жены.— Не огорчайся, Лиз, они скажут только правду. Пойду к себе, подумаю над планом нашего свиарника. Можешь зайти попозднее, Динни...

В самые критические минуты своей жизни Динни чувствовала себя больше дома на Маунт-стрит, чем в Кондафорде. Ум сэра Лоренса был много живее, чем ум ее отца, а непоследовательность тети Эм больше успокаивала и поддерживала, чем тихая и чувствительная отзывчивость матери. Когда какая-нибудь драма кончалась или еще не начиналась, в Кондафорде жилось отлично, но для душевных бурь и решительных действий там было слишком тихо. По сравнению с другими поместьями усадьба Черрелов выделялась своей старомодностью: ведь во всем графстве это была единственная дворянская семья, безвыездно жившая в деревне из поколения в поколение. Поэтому дом Черрелов казался чем-то несокрушимым. «Кондафордская усадьба» и «кондафордские Черрелы» стали уже своего рода достопримечательностью. Люди чувствовали, что Черрелам чужд образ жизни крупных местных землевладельцев, приезжавших только на конец недели и на сезон охоты. Что касается более мелкопоместных семейств округи, то деревенская жизнь сводилась для них к особому культу развлечений. Они играли в теннис и бридж, устраивали пикники, иногда охотились, участвовали во всех состязаниях в гольф, ездили друг к другу в гости и т. д. А Черрелы, несмотря на их более глубокие корни, были меньше всех на виду. Если бы они исчезли — их исчезновение было бы замечено, но свое бывшее значение они сохранили только для жителей деревни.

Хотя Динни обычно вела в Кондафорде весьма деятельную жизнь, иногда она чувствовала себя, словно человек, который проснулся глубокой ночью, когда сама тишина рождает в нем тревогу. А если случались такие события, как история с Хьюбертом три года назад, ее собственная драма два года назад, а теперь эта история с Клер,— ей хотелось быть поближе к подлинной жизни.

Доставив сестру на Мьюз, она поехала дальше и явилась на Маунт-стрит к ужину.

Там оказались Майкл и Флер, и разговор все время вращался вокруг литературы и политики. Майкл находил, что газеты слишком рано начали расхваливать правительство: так, пожалуй, оно может и задремать. Сэр Лоренс выразил радость, узнав, что оно еще не задремало.

Внезапно леди Монт спросила:

— Скажи, Динни, а как малыш?

— Спасибо, тетя. Чудесно! Он уже ходит.

— Я высчитала, что он двадцать четвертый Черрел в Кондафорде, а раньше они были французами. Джин собирается иметь еще?

— Держу пари, что да,— сказала Флер.— Она самой природой со-
здана для материнства.

— У ее детей не будет ни гроша.

— Ну, она-то как-нибудь устроит их будущее.

— Странное слово «устроит»,— сказала леди Монт.

— Скажи, Динни, а как Клер?

— Очень хорошо.

— Есть новости?— И Флер прямо-таки впилась глазами в Динни, словно желая прочесть ее мысли.

— Да, но...

Голос Майкла прервал наступившее молчание:

— У Дорнфорда очень интересная идея, отец: он считает...

Однако интересная идея Дорнфорда до Динни не дошла, так как она размышляла о том, можно ли довериться Флер. Она отлично знала, что редко кто способен так быстро ориентироваться в событиях светской жизни и судить о них с более здравым цинизмом, чем Флер. Кроме того, она умеет хранить тайны. Но тайна эта принадлежит Клер, и Динни решила сначала поговорить с сэром Лоренсом.

Ей это удалось только поздно вечером. Он встретил ее сообщение характерным для него движением бровей.

— Целую ночь в автомобиле? Ну, это, пожалуй, уж слишком. Я завтра буду в юридической конторе в десять часов утра,— там теперь работает двоюродный брат Флер, «юный» Роджер Форсайт, и поговорю с ним,— он скорее добьется в суде успеха, чем эти седовласые юристы. Ты пойдешь со мной, и мы подтвердим, что вполне верим Клер.

— Я никогда не бывала в Сити.

— Странное место: словно там сошлись два полюса. Романтика и учетный процент. Приготовься к легкому шоку.

— Как ты думаешь, следует им защищаться?

Живые глаза сэра Лоренса остановились на ее лице.

— Если ты хочешь знать мое мнение, то я считаю, что им не поверят, но мы можем повлиять хотя бы на часть присяжных.

— Ты-то веришь им?

— В данном случае я полагаюсь на тебя, Динни. Тебя Клер обманывать не станет.

Вспомнив лица сестры и Тони Крума, Динни вдруг почувствовала неудержимое волнение.

— Да, они говорят правду, и у них вид людей, говорящих правду. Не верить им было бы гадко!

— Такой гадости в нашем гадком мире не оберешься. У тебя усталый вид, детка, ложись-ка лучше спать.

И в этой спальне, где она провела столько ночей, когда переживала собственную драму, Динни в полусне снова увидела тот же странный кошмар: Уилфрид был рядом, но она не могла дотянуться до него, а в ее усталой голове звучали, как припев, слова: «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть...»

На другой день в четыре часа все семейство явилось в контору «Кингсон, Каткот и Форсайт», помещавшуюся в тихом желтом флигеле на задворках Олд-Джюри.

Динни услышала, как дядя Лоренс спросил:

— Мистер Форсайт, а где старик Грэндман? Все еще у вас?

Сорокадвухлетний «юный» Роджер Форсайт ответил высоким голосом, не соответствовавшим его массивной челюсти:

— Кажется, он по-прежнему живет в Пиннере, или Хайгейте, или еще где-то там.

— Я очень рад, если он еще жив,— пробормотал сэр Лоренс.— Старый Форсайт, я хотел сказать ваш кузен, был о нем очень высокого мнения. Настоящий викторианец.

«Юный» Роджер улыбнулся.

— Присядьте, пожалуйста.

Динни никогда еще не бывала в конторе юриста и с удивлением разглядывала длинные стеллажи вдоль стен с томами свода законов, связки бумаг, желтоватые шторы, уродливый черный камин, где тлела горсточка угля, казалось, не дававшая никакого тепла, развернутый план какого-то имени, висевший за дверью, низкую плетеную корзинку на столе, перья и сургучи, «юного» Роджера — и почему-то ей вспомнился альбом с засушенными водорослями, которые собирала ее первая гувернантка. Но тут ее отец встал и передал одному из защитников повестку, полученную Клер.

— Мы пришли по этому делу.

«Юный» Роджер посмотрел, кому адресована повестка, потом взглянул на Клер.

«Откуда он знает, которая из нас Клер?» — подумала Динни.

— В этом обвинении нет ни слова правды,— заявил генерал.

«Юный» Роджер погладил подбородок и начал читать.

Динни, сидевшая сбоку от него, заметила, что на его лице появилось какое-то жесткое птичье выражение.

Увидев, что Динни смотрит на него, он опустил бумагу и сказал:

— Они, как видно, спешат. Истец подписал свое показание под присягой еще в Египте. Он сделал это, вероятно, чтобы сэкономить время. Вы мистер Крум?

— Да.

— Вы хотите, чтобы мы выступали и от вашего имени?

— Да.

— Значит, останется леди Корвен и вы... А вы, сэр Конвей, выйдите ненадолго.

— Сестре можно остаться? — спросила Клер.

Динни встретила глазами с адвокатом.

— Пожалуйста.

Но искренен ли он, давая это разрешение?

Генерал и сэр Лоренс вышли, и наступило молчание.

«Юный» Роджер стоял, прислонившись к камину, и вдруг поднес к носу щепотку табаку.

Динни заметила, что он худ, довольно высок и у него резко выступает вперед подбородок. Волосы у него были рыжеватые и впалые щеки того же оттенка.

— Ваш отец, леди Корвен, сказал, что в этом... гм... обвинении нет ни слова правды...

— Факты изложены верно, но истолкованы превратно. Между мною и мистером Крумом ничего не было, он только три раза поцеловал меня в щеку.

— Так. Что вы скажете о ночи, проведенной в машине?

— Ничего,— продолжала Клер.— Там не было даже ни одного из этих трех поцелуев.

— Ничего,— повторил Крум,— абсолютно ничего.

«Юный» Роджер облизнул губы.

— Если вы не возражаете, я хотел бы понять ваши чувства друг к другу, если они у вас есть.

— Мы говорим чистую правду,— произнесла Клер четко и звонко,— мы сказали то же самое моим родителям; вот почему я попросила сестру остаться. Правда, Тони?

Губы «юного» Роджера дрогнули. Динни казалось, что он воспринимает это дело не совсем так, как полагалось бы юристу; и в его одежде было что-то несколько неожиданное: то ли жилет, то ли галстук? И потом он нюхает табак... Казалось, в Роджере есть что-то от художника, но он это в себе подавляет.

— Слушаю вас, мистер Крум.

Тони Крум, густо покраснев, посмотрел на Клер почти сердито.

— Я люблю ее.

— Так,— отозвался «юный» Роджер, снова открывая табакерку.— А вы, леди Корвен, относитесь к нему как к другу?

Клер кивнула, ее лицо выразило легкое удивление.

Динни вдруг почувствовала благодарность к Роджеру, который как раз подносил к носу пестрый носовой платок.

— Автомобиль — это несчастная случайность,— поспешно добавила Клер.— В лесу было темно, хоть глаз выколи, фары перегорели, нас могли увидеть вместе поздно ночью, а мы не хотели рисковать.

— Понятно! Простите мой вопрос, но вы оба готовы предстать перед судом и присягнуть, что между вами абсолютно ничего не было ни в ту ночь, ни в другое время, кроме, как вы сказали, трех поцелуев?

— В щеку,— добавила Клер.— Один на открытом воздухе, когда я сидела в машине, и два других... Где это произошло, Тони?

Тони Крум ответил сквозь зубы:

— У вас на квартире, после того как я не видел вас больше двух недель.

— И ни один из вас не знал, что за вами... гм... следят?

— Мой муж угрожал мне этим, но мы ничего не замечали.

— А теперь, леди Корвен, о вашем уходе от мужа: можете ли вы указать мне причину?

Клер покачала головой.

— Я не намерена касаться моей жизни с ним ни здесь, ни где бы то ни было. Но я к нему не вернусь.

- Несходство характеров или хуже?
- По-моему, хуже.
- Но вы не предъявляете ему никакого определенного обвинения?

Вы понимаете всю важность этого?

- Понимаю, но не хочу касаться этого даже в частной беседе.

Крум неожиданно взорвался:

- Он, конечно, по-скотски вел себя с ней.

— Вы знали его, мистер Крум?

- Ни разу в жизни не видел.

— Тогда...

— Он думает так оттого, что я ушла от Джерри внезапно. Он ничего не знает.

Динни заметила, что глаза «юного» Роджера остановились на ней. «Ты-то знаешь», — казалось, говорили они. А она подумала: «Он неглуп».

Роджер отошел от камина, слегка волоча ногу. Усевшись снова, он взял документ, прищурился и сказал:

— Суду нужны не такие улики, и я вообще не уверен, что это улика, и все же надеяться на это не следует. Если бы вы могли привести серьезную причину разрыва с мужем и нам удалось бы как-нибудь обойти эту ночь в автомобиле... — Он взглянул сбоку, по-птичь, сначала на Клер, потом на Крума. — Но вы же не захотите, чтобы суд взыскал с вас убытки и издержки ввиду неявки, раз вы... гм... ни в чем не виновны.

Он опустил глаза, и Динни подумала: «Не очень-то он нам верит!»

«Юный» Роджер взял со стола разрезной нож.

— Может быть, удалось бы договориться о сравнительно небольшой сумме, — для этого вы должны опротестовать иск и не явиться на разбор дела. Смею спросить, вы деньгами располагаете, мистер Крум?

- У меня ничего нет, но это неважно.

— А что это значит «опротестовать иск»? — спросила Клер.

— Вы оба должны явиться в суд и отрицать обвинение. Вас подвергнут перекрестному допросу, а мы подвергнем тому же истца и сыщиков. Но если вы не приведете достаточно веских причин вашего разрыва с мужем, судья почти наверняка станет на его сторону. Да и потом, — добавил он как-то по-человечески просто, — при бракоразводном процессе ночь — это все-таки ночь, даже если она проведена в автомобиле. Хотя, повторяю, это не те улики, какие обычно требуются.

— Дядя полагает, — спокойно сказала Динни, — что хотя бы часть присяжных поверит нам и что денежное возмещение удастся уменьшить.

Роджер кивнул.

— Посмотрим, что скажет мистер Кингсон. Мне хотелось бы теперь поведать вашего отца и сэра Лоренса.

Динни подошла к двери и открыла ее перед сестрой и Крумом. Обернувшись, она взглянула на «юного» Роджера. У него был такой вид, точно кто-то очень просил его поверить в чудо. Он поймал ее взгляд, смешно дернул головой и вынул из кармана табакерку. Динни закрыла дверь и подошла к нему.

— Вы сделаете большую ошибку, если им не поверите. Они говорят чистую правду.

- Почему она ушла от мужа, мисс Черрел?
- Если она не хочет вам сказать, не могу сказать и я. Но я убеждена в ее правоте.
- Он несколько мгновений испытующе смотрел на нее.
- Почему-то,— сказал он внезапно,— мне хотелось бы, чтобы на ее месте были вы.
- И, взяв понюшку табаку, он обернулся к генералу и сэру Лоренсу.
- Ну как?— спросил генерал.
- Лицо Роджера вдруг стало еще более красноватым.
- Если у нее были достаточно серьезные основания, чтобы уйти от мужа...
- Основания у нее были.
- Папа!
- Она, очевидно, не хочет говорить о них.
- Я тоже не стала бы,— негромко заметила Динни.
- Роджер пробормотал:
- Однако от этого зависит все.
- Для Крума дело может обернуться серьезно, мистер Форсайт,— сказал сэр Лоренс.
- Безусловно, сэр Лоренс, и в любом случае. Я лучше поговорю с ними порознь. Потом узнаю точку зрения мистера Кингсона и завтра извещу вас. Это вас устраивает, генерал?
- Но этот Корвен меня просто возмущает!— вырвалось у генерала.
- Вот именно!— ответил «юный» Роджер, и Динни показалось, что она никогда не слышала более неуверенной интонации.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Динни сидела в маленькой пустой приемной, перелистывая «Таймс». Тони Крум стоял у окна.

— Динни,— сказал он, оборачиваясь к ней,— не могу ли я хоть чем-нибудь помочь ей? В известном смысле я кругом виноват, но я изо всех сил старался держать себя в руках.

Динни взглянула на его огорченное лицо.

— Не знаю. По-моему, нужно говорить только правду.

— А вы верите в нашего адвоката?

— Пожалуй. Мне нравится, как он нюхает табак.

— А я не верю в эту защиту. Ради чего мучить Клер в суде, если она совершенно невиновна? И какое это имеет значение, если они разорят меня?

— Мы должны как-нибудь помешать этому.

— Неужели вы думаете, я допущу...

— Не будем спорить, Тони. На сегодня хватит! Не правда ли, здесь противно? В приемной у дантиста и то приятней: там хоть есть старые иллюстрированные журналы, гравюры на стенах, и можно привести с собой собаку.

— А курить здесь разрешается?

— Конечно.

— Только у меня очень плохие сигареты.

Динни взяла у него сигарету, и они некоторое время курили молча.

— Нет, какая все-таки мерзость!— сказал он вдруг.— Этому господину придется ведь приехать сюда? Он по-настоящему, наверно, никогда ее ни капли не любил!

— О нет, конечно, любил. «Souvent homme varie, folle est qui s'y fie!»¹

— Ну, лучше бы ему со мной не встречаться,— мрачно сказал Крум.

Он вернулся к окну и стал смотреть на улицу. Динни сидела, вспоминая другую сцену, когда двое мужчин все же столкнулись, и их удивительная встреча, похожая на встречу двух разъяренных псов, имела для нее столь трагические последствия.

Вошла Клер. На ее обычно бледных щеках горели красные пятна.

— Ваша очередь, Тони.

Крум отошел от окна, пристально посмотрел ей в лицо и направился в комнату адвоката. Динни почувствовала глубокую жалость.

— Уф!— сказала Клер.— Идем скорей отсюда!

На улице она продолжала:

— Знаешь, Динни, уж лучше бы нам быть настоящими любовниками, а то и положение нелепое, и все равно никто не верит.

— Но мы верим.

— Да, ты и папа. Но этот кролик с табакеркой не верит, да и никто не поверит. И все же я решила выдержать до конца. Тони я не предаю и не уступлю Джерри ни на йоту.

— Давай выпьем чаю,— предложила Динни.— Можно же где-нибудь в Сити выпить чаю!

На людной улице они скоро увидели рестораник.

— Значит, тебе не понравился «юный» Роджер?— спросила Динни, когда они уселись за круглый столик.

— Нет, он славный и, кажется, вполне порядочный человек. Должно быть, юристы вообще не способны кому-нибудь верить. Но меня ничто не заставит рассказать о своей жизни с Джерри, я твердо решила.

— Я понимаю Роджера. Ты начинаешь сражение, уже наполовину проиграв его.

— Я не позволю защитникам касаться этой стороны вопроса. Раз мы нанимаем их, пусть делают то, что мы требуем. Отсюда я еду прямо в Темпль, а может быть, и в парламент.

— Извини меня, но я опять возвращаюсь к тому же: как ты намерена вести себя с Тони Крумом до суда?

— Так же, как и до сих пор, только не проводить ночей в машинах. Хотя какая разница между днем и ночью, в автомобиле или еще где-нибудь — я, право, не вижу.

— Юристы, вероятно, исходят из человеческой природы вообще.

Динни откинулась на спинку стула. Сколько тут было юношей и девушек! Они поспешно пили чай или какао, ели булочки и плюшки; то слышалась их болтовня, то наступало молчание. Воздух был спертый. Всюду столики, всюду сновали официанты. Что же такое в действитель-

¹ Мужчина часто меняется, безрассудна женщина, доверяющая ему (франц.)

ности эта самая человеческая природа? И разве не говорят теперь, что ее нужно изменить, а с затхлым прошлым пора покончить? И все-таки этот ресторанчик был совершенно такой же, как тот, в который она заходила с матерью до войны, и это было тогда так интересно, оттого что хлеб был такой пористый. А суд по бракоразводным делам, в котором она еще не бывала,— изменился ли он хоть сколько-нибудь?

— Ну как, допила, старушка?— спросила Клер.

— Да. Я провожу тебя до Темпля.

Когда они остановились, прощаясь, у Мидл-Темпль-Лейн, высокий приятный голос произнес:

— Вот повезло!— и кто-то легко и быстро сжал руку Динни.

— Если вы идете прямо в парламент,— сказала Клер,— я забегу домой взять кое-что и догоню вас.

— Очень тактично!— заметил Дорнфорд.— Давайте постоим здесь, возле этого портала. Когда я вас долго не вижу, Динни, я чувствую себя потерянным! Чтобы получить Рахиль, Иаков служил ее отцу четырнадцать лет,— конечно, сроки жизни были тогда другие, чем теперь, поэтому мой каждый месяц равняется его году.

— Но ведь Рахиль и он ушли в странствие.

— Знаю. Что ж, буду и я ждать и надеяться. Мне остается только ждать.

Прислонившись к желтому portalу, Динни смотрела на Дорнфорда. Его лицо вздрагивало. Ей стало вдруг жаль его, и она сказала:

— Когда-нибудь я, может быть, вернусь к жизни. А теперь я пойду, мне пора. До свиданья, и спасибо вам...

Этот неожиданный разговор заставил ее подумать о самой себе, и от этого ей не стало легче. Возвращаясь домой в автобусе, она видела перед собой взволнованное лицо Дорнфорда, и на душе у нее было тревожно и грустно. Зачем причинять ему страдания,— он такой хороший человек, такой внимательный к Клер, у него приятный голос и милое лицо; и по духу он ей неизмеримо ближе, чем был когда-либо Уилфрид. Но где же то неугасимое, сладостное влечение, при котором все приобретает иную окраску и весь мир воплощается в одном существе, в единственном и желанном возлюбленном? Она сидела в автобусе неподвижно и смотрела поверх головы какой-то женщины на противоположной скамейке; женщина судорожно сжимала пальцами лежавшую на коленях сумку, и у нее было выражение лица охотника, пытающего счастья в незнакомой местности. На Риджент-стрит уже вспыхивали огни, стоял холодный, совсем зимний вечер. Здесь когда-то тянулась изогнутая линия низких домов и приятно желтел Квадрант. Динни вспомнила, как, сидя на империале автобуса, она спорила с Миллисент Поль о старой Риджент-стрит. Все меняется, все меняется на этом свете! И перед ее внезапно сомкнувшимися веками возникло лицо Уилфрида с оскаленными зубами, каким она видела его в последний раз, когда он прошел мимо нее в Грин-парке.

Кто-то наступил ей на ногу. Она открыла глаза и сказала:

— Простите!

— Пожалуйста!

Страшно вежливо! С каждым годом люди становятся все вежливей!

Автобус остановился. Динни поспешно вышла. На Кондуит-стрит она прошла мимо мастерской портного, который раньше шил на ее отца. Бедный отец, он теперь никогда здесь не бывает: одежда стоит слишком дорого, и он «терпеть не может» заказывать себе новые костюмы! А вот и Бонд-стрит.

Здесь образовалась пробка, вся улица казалась сплошной вереницей остановившихся машин. А говорят, Англия разорена! Динни свернула на Брютон-стрит и вдруг увидела впереди себя знакомую фигуру мужчины, который медленно шел, опустив голову. Девушка догнала его.

— Стак!

Он поднял голову: по его щекам текли слезы. Он заморгал выпуклыми темными глазами и провел рукой по лицу.

— Это вы, мисс? А я как раз шел к вам.

И он протянул ей телеграмму.

Поднеся ее к глазам, Динни при тусклом свете прочла: «Генри Стаку, 50а. Корк-стрит. Лондон. С прискорбием извещаем вас, что мистер Уилфрид Дезерт несколько недель тому назад утонул во время экспедиции в глубь страны. Тело опознано и захоронено на месте. Известие только что получено. Сомнения исключаются. Примите сочувствие. Британский консул, Бангкок».

Она стояла, окаменев, ничего не видя. Стак тихонько взял из ее рук телеграмму.

— Да,— сказала она.— Спасибо. Покажите мистеру Монту, Стак. Не горюйте.

— О мисс!..

Динни положила руку на его рукав, тихонько потянула и быстро пошла прочь.

Не горюйте!

Пошел мокрый снег. Она подняла лицо, чтобы почувствовать щеко-чущее прикосновение снежинок. Для нее он теперь не более мертв, чем раньше. Но все-таки умер! И так далеко, так страшно далеко! Он лежит теперь где-то в земле на берегу реки, в которой утонул, среди лесной тишины, и никто никогда не найдет его могилы. Вдруг все дремавшие в ее душе воспоминания о нем вахлынули так неудержимо, что совершенно лишили ее сил, и она едва не упала на заснеженной улице. Она оперлась затынкой в перчатку рукой о решетку какого-то дома. Почтальон, раз-носивший вечернюю почту, остановился, обернулся и посмотрел на нее. Может быть, в глубине ее души до сих пор еще тлел слабый огонек надежды, что когда-нибудь он вернется... Теперь он погас... А может быть, это только снежный холод пронизывает ее до костей? Она чувствовала во всем теле леденящий озноб и оцепенение.

Наконец она доплелась до Маунт-стрит и вошла в дом. И вдруг ее охватил ужас — ведь она может выдать свое горе и пробудить к себе жалость, внимание и вообще какие-то чувства; и она поспешила прямо в свою комнату. Кого трогает эта смерть, кроме нее? И гордость заговорила в ней с такой силой, что даже сердце стало холодным, словно камень.

Горячая ванна немного подбодрила ее. Динни быстро переоделась к ужину и сошла вниз.

В этот вечер все были особенно молчаливы, но молчание переносить было все же легче, чем попытки завязать разговор. Динни чувствовала себя совсем больной. Когда она поднялась к себе, чтобы лечь, пришла тетя Эм.

— Динни, ты похожа на привидение.

— Я очень прозябла, тетечка.

— Юристы хоть кого заморозят. Я принесла тебе поссет.

— А! Мне давно хотелось попробовать, что это за штука!

— На-ка выпей.

Динни выпила и чуть не задохнулась.

— Страшно крепко!

— Это тебе дядя приготовил. Звонил Майкл.

Взяв пустой стакан, леди Монт наклонилась над девушкой и поцеловала ее в щеку.

— Вот и все,— сказала она.— Ложись, а то заболеешь.

Динни улыбнулась.

— Не болею, тетя Эм.

И на следующее утро Динни, не желая сдаваться, спустилась к завтраку.

Оракул наконец заговорил, пришло напечатанное на машинке письмо из конторы «Кингсон, Каткот и Форсайт». Оракул советовал леди Корвен и мистеру Круму опротестовать обвинение. Когда будут выполнены все предварительные формальности, соответчики получат дальнейшие указания.

И тут же Динни почувствовала тот особый холодок под ложечкой, с которым мы обычно читаем письма юристов, хотя в душе у нее, кажется, и без того воцарился смертельный холод.

Утренним поездом она вернулась вместе с отцом в Кондафорд и перед отъездом несколько раз повторила тете Эм, как заклинание: «Не болею».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Но Динни все же заболела и в течение целого месяца пролежала в своей келье в Кондафорде; ей не раз хотелось, чтобы смерть пришла за ней и все кончилось. Она действительно легко могла умереть, но, к счастью, вера в загробную жизнь вместе с возраставшей слабостью не крепла, а иссякала. Уйти к Уилфриду — в мир иной, где нет ни земных страданий, ни людской молвы,— в этой мысли было что-то неотразимо влекущее. Угаснуть во сне небытия представлялось ей легким, но нельзя сказать, чтобы она стремилась к смерти, а по мере того как здоровье возвращалось к ней, это стремление казалось все менее естественным. Всеобщее внимание незаметно, но явно помогало исцелению; жители деревни ежедневно осведомлялись о ее здоровье, мать звонила и писала чуть ли не десятку людей. В конце недели обычно приезжала Клер и привозила цветы от Дорнфорда. Два раза в неделю тетя Эм присылала продукцию Босуэла и Джонсона, а Флер буквально засыпала ее

¹ Горячий напиток, состоящий из вина, молока и пряностей.

изделиями из Пикадилли. Три раза неожиданно являлся Адриан, и как только миновал кризис, больная стала получать шуточные записочки от Хилари.

Тридцатого марта весна принесла в ее комнату дуновение юго-западного ветра, на столе появился небольшой букетик первых весенних цветов — пушистые сережки ивы и ветка дикого терновника. Динни быстро поправлялась и через три дня уже вышла на воздух. Все в природе захватывало ее с необычной остротой, которой она давно не испытывала. Крокусы, нарциссы, набухающие почки, отблески солнца на крыльях голубей, причудливые очертания и цвет облаков, запах ветра — все это волновало ее почти до боли. И все же ей ничего не хотелось делать и никого не хотелось видеть. В состоянии этой странной апатии она и приняла предложение Адриана на время его короткого отпуска поехать с ним за границу.

От этих двух недель, проведенных в Пиренеях, в небольшом городке Аржеле, у нее остались в памяти долгие прогулки, пиренейские овчарки, цветущий миндаль, цветы, которые они собирали, и разговоры, которые они вели. Взяв с собой завтрак, они проводили целые дни на воздухе, и никто не мешал им беседовать. В горах Адриан становился красноречивым. Он, как и в юности, страстно любил альпинизм. Динни подозревала, что он всеми силами старается вывести ее из летаргии, в которую она погрузилась.

— Когда я поднимался с Хилари перед войной на Маленького Грешника в Доломитских горах, — сказал он однажды, — я впервые в жизни почувствовал себя так близко к богу. Это было девятнадцать лет назад, черт побери! А ты когда чувствовала себя ближе всего к богу?

Она не ответила.

— Слушай, детка, тебе сколько сейчас? Двадцать семь?

— Почти двадцать восемь.

— Ты еще не переступила порога молодости. А ты не думаешь, что тебе станет легче, если ты поговоришь со мной откровенно?

— Пора бы тебе знать, дядя, что откровенность не в обычаях нашей семьи.

— Верно! Чем нам тяжелее, тем больше мы замыкаемся. Но нельзя слишком предаваться своей скорби, Динни.

— Я теперь вполне понимаю, — вдруг сказала Динни, — почему женщины уходят в монастырь или посвящают себя благотворительности. Раньше мне казалось, что это от недостатка чувства юмора.

— И от недостатка мужества — тоже, или от его избытка, от какого-то фанатизма.

— Или потому, что утрачена воля к жизни.

Адриан посмотрел на нее.

— У тебя воля к жизни не утрачена, Динни. Она сильно ослаблена, но не утрачена окончательно.

— Будем надеяться. Но пора бы ей уже начать укрепляться.

— У тебя теперь и вид лучше...

— Да, аппетит у меня хороший, даже с точки зрения тети Эм, но вся беда в том, что жизнь меня не влечет.

— Согласен. Я спрашиваю себя, уж не...

— Нет, милый, это не то — рана зарастает изнутри.

Адриан улыбнулся.

— Я думал о детях.

— Их пока еще не научились делать искусственным способом. Я чувствую себя прекрасно, и вообще все могло быть гораздо хуже. Говорила я тебе, что старая Бетти умерла?

— Добрая душа! Когда я был маленький, она давала мне мятные конфеты...

— Вот она была настоящим человеком! Мы читаем слишком много книг, дядя.

— Несомненно. Надо больше ходить и меньше читать. А теперь — пора обедать.

Возвращаясь в Англию, они прожили два дня в Париже, в маленьком отеле над рестораном возле вокзала Сен-Лазар. Там камины топили дровами, и в номерах были мягкие постели.

— Только французы понимают, что такое удобная постель, — сказал Адриан.

Кухня соответствовала вкусам любителей скачек и любителей поесть. Официанты в белых фартуках напоминали, по выражению Адриана, монахов, занятых необычной работой: наливая вино и заправляя салаты, они словно священнодействовали. Он и Динни были единственными иностранцами в этой гостинице и едва ли не единственными в Париже.

— Волшебный город, Динни! Кроме автомобилей, заменивших фиакры, да Эйфелевой башни, я не вижу в нем существенных перемен с того времени, когда приезжал сюда в восемьдесят восьмом году, — твой дедушка был тогда посланником в Копенгагене. Тот же запах кофе и горящих дров, у людей те же широкие спины и те же красные пуговицы, перед теми же кафе стоят те же столики, и на углах афиши, и везде на улицах — те же смешные киоски для продажи книг, и необычайно бурное движение, и тот же царящий повсюду серовато-зеленый цвет, даже у неба. И у людей те же сердитые лица, словно на все, кроме Парижа, им наплевать. Париж задает тон модам, и вместе с тем это самый консервативный город в мире. Здесь говорят, что передовые литераторы считают, будто мир начался не раньше тысяча девятьсот четырнадцатого года, что они выбрасывают в мусорный ящик все, созданное до войны, и презирают все долговечное, и что они в большей части своей — евреи, поляки и ирландцы; а между тем они выбрали для своей деятельности именно этот никогда не меняющийся город. То же самое делают художники, музыканты и всевозможные экстремисты. Они собираются, болтают и экспериментируют до упаду, а добрый старый Париж смеется и живет все так же, не задумываясь ни о сегодняшнем дне, ни о вчерашнем. Париж порождает анархию, как пиво — пену.

Динни сжала его локоть.

— Мне эта поездка принесла большую пользу. Должна сказать, я давным-давно не чувствовала в себе столько жизни.

— Да! Париж обостряет наши чувства. Давай зайдем сюда, на воздухе слишком холодно. Чего ты хочешь — чаю или абсента?

— Абсента.

- Тебе ведь не понравится.
- Ладно — тогда чаю с лимоном.

Сидя в ожидании чая среди однообразной сутолоки «Кафе де ла Пэ», Динни рассматривала худое, с острой бородкой лицо Адриана и думала, что здесь он чувствует себя вполне в своей стихии и что в Париже у него появилось особое выражение интереса и удовлетворенности, и его не отличишь от парижанина.

Интересоваться жизнью и не нянчиться с собой! Она оглянулась. Ее соседи не были ничем примечательны или особенно типичны, но они производили впечатление людей, которые делают то, что им нравится, и не хотят ничего другого.

— Они живут минутой, правда? — сказал вдруг Адриан.

— Да, я как раз об этом думала.

— Для француза жизнь — своего рода искусство. Мы всегда или надеемся на будущее, или сожалеем о прошлом. Англичане совсем не умеют жить настоящим.

— А почему англичане и французы так ужасно не схожи?

— У французов меньше северной крови, больше вина и масла, их головы круглее наших, их тела приземистее, глаза у большинства из них карие.

— Ведь этого все равно не изменишь.

— Французы по существу люди золотой середины. Они довели искусство равновесия до высокого совершенства. У них чувства и интеллект находятся в гармонии друг с другом.

— Но французы толстеют, дядя.

— Да, но они толстеют равномерно, у них ничего не выпирает, и они прекрасно держатся. Конечно, я предпочитаю быть англичанином, но если бы я им не был, я бы хотел быть французом.

— Разве в нас не живет стремление к чему-то лучшему, чем то, что в нас есть?

— А! Обрати внимание, Динни, что, когда мы говорим «будьте хорошими», они говорят «soyez sage»¹. В этом кроется очень многое. Некоторые французы утверждают, будто наша скованность — результат пуританских традиций. Но это ошибка: они принимают следствие за причину и результат за предпосылку. Допускаю, что в нас действительно живет тоска по земле обетованной, но пуританство было только частью этой тоски, так же как наше стремление к путешествиям и жажда завоеваний. Такими же элементами являются протестантизм, скандинавская кровь, море и климат. Но ни один из них не учит нас искусству жить. Посмотри только на наш индустриализм, на наших старых дев, чудачков, на наш гуманизм, на поэзию! Мы «выпираем» во все стороны. У нас есть два-три способа вырабатывать стандартных молодых людей, — закрытые средние школы, «крикет» во всех его формах, — но как народ мы полны крайностей. Средний бритт — исключение, и хотя он до смерти боится это показать, он горд своей исключительностью. В какой еще стране ты найдешь столько людей, сложенных совершенно по-разному? Мы изо

¹ будьте благоразумны (ф р а н ц.)

всех сил стараемся быть «средними», но, клянусь богом, все время «выпираем».

— Ты прямо загорелся, дядя.

— Когда вернешься домой, оглянись вокруг.

— Непременно,— отозвалась Динни.

На другой день они благополучно пересекли Ла-Манш, и Адриан отвез Динни на Маунт-стрит.

Целую дядю, она стиснула его мизинец.

— Спасибо, дядя, ты очень, очень помог мне!

За эти шесть недель она почти не думала ни о Клер, ни о ее неприятностях и поэтому сейчас же спросила, каковы последние новости. Оказалось, что иск уже опротестован и борьба началась, дело будет слушаться, вероятно, через несколько недель.

— Я не видел ни Клер, ни Крума,— сказал сэр Лоренс,— но я узнал от Дорнфорда, что у них все по-прежнему. Роджер продолжает настаивать на том, чтобы Клер рассказала суду о своей семейной жизни. Юристы, видимо, считают суд исповедальной, где вы должны исповедоваться в грехах своих врагов.

— Разве это не так?

— Судя по газетам, да.

— Ну, Клер не хочет и не будет говорить, и, если они попытаются принудить ее, они сделают огромную ошибку. Что слышно о Джерри?

— Вероятно, уже выехал, если хочет поспеть вовремя.

— Если они проиграют, что будет с Тони Крумом?

— Поставь себя на его место, Динни. Чем бы дело ни кончилось, Тони придется выслушать от судьи много неприятного. Едва ли он согласится на какое-нибудь снисхождение. А если ему нечем заплатить, я совершенно не представляю, что они могут с ним сделать; конечно, что-нибудь скверное. И потом — очень важно, как отнесется ко всему этому Джек Маскем. Он ведь странный человек.

— Да,— вполголоса ответила Динни.

Сэр Лоренс уронил монокль.

— Твоя тетя считает, что Крум должен уехать на золотые прииски, разбогатеть и потом жениться на Клер.

— А Клер что?

— Разве она его не любит?

Динни покачала головой.

— Может, и полюбит, если он будет разорен.

— Гм... А как ты себя чувствуешь, дорогая? Действительно пришла в себя?

— О да!

— Майкл очень хотел бы как-нибудь с тобой повидаться.

— Завтра я к нему заеду.

Вот и все, что было сказано по поводу сообщения, из-за которого она заболела.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

На другой день Динни пересилила себя и поехала на Саус-сквер. После отъезда Уилфрида в Сиам она была здесь только однажды вместе с Клер, когда та вернулась с Цейлона.

— Он в своем кабинете, мисс.

— Спасибо, Кокер, я поднимусь наверх.

Майкл не слышал, как она вошла, и она с минуту разглядывала стены, увешанные карикатурами. Ей всегда казалось странным, почему Майкл, склонный преувеличивать человеческие достоинства, окружил себя работами тех, кто старается преувеличить человеческие недостатки.

— Я тебе помешала, Майкл?

— Динни! Как ты хорошо выглядишь! Ну и напугала же ты нас, старушка! Садись... А я как раз погрузился в картофельные дела... Интересные получаются цифры.

Они поговорили о том о сем, но оба понимали, зачем она пришла, и скоро умолкли. Потом Динни спросила:

— Ты хочешь мне что-то сообщить или передать?

Он подошел к шкафу и вынул из него маленький сверток. Динни развернула его у себя на коленях. Там оказалось письмо, небольшая фотография и орден за отличную военную службу.

— Это он снимался для паспорта, а это его орден. В письме есть кое-что, касающееся тебя. В сущности, все письмо предназначено тебе, да и вообще все его письма. Извини меня, я должен повидать Флер перед ее уходом.

Динни сидела неподвижно, глядя на карточку, пожелтевшую от зноя и сырости; в ней было то особое сходство, какое свойственно всем снимкам, которые предназначаются для удостоверений. Поперек карточки было написано: «Уилфрид Дезерт», и он смотрел со снимка прямо на нее. Она перевернула карточку лицом вниз и стала разглаживать орденскую ленточку, испачканную и смятую. Затем, собравшись с духом, развернула письмо. Из письма выпал сложенный листок. Письмо было к Майклу:

«Первое января.

Дорогой дружище ММ,

Поздравляю тебя и Флер и желаю долгой и счастливой жизни! Я сейчас нахожусь далеко на севере, в очень дикой части страны, и передо мною цель, которую, не знаю, достигну ли, а именно — поселок племени, совершенно явно досиамского и не монгольского происхождения. Адриан Черрел очень бы этим заинтересовался. Мне часто хотелось послать тебе весточку, но как только дело доходило до писания, я не мог, — отчасти потому, что описывать эту часть света тем, кто ее не знает, бесполезно, а отчасти потому, что мне трудно поверить в чей-нибудь интерес к ней. Я пишу тебе, чтобы попросить передать Динни, что теперь я наконец-то в мире с самим собой. Не знаю, что привело меня к этому — совершенно особая атмосфера и уединенность этих мест или я заразился от обитателей Востока убеждением, что важен только собствен-

ный внутренний мир, только он; человек — это микрокосм вселенной; он одинок от рождения до смерти, и его единственный древний и верный друг — это вселенная. Станный это покой, и я часто удивляюсь, как мог я так томиться и терзаться. Думаю, что Динни будет рада узнать об этом, так же как и я был бы искренне рад узнать, что она тоже обрела внутренний покой.

Понемножку начал писать, и если вернусь из этого путешествия, то попытаюсь описать его. Через три дня мы достигнем реки, переплывем ее и поднимемся по одному из ее притоков на запад, к Гималаям.

Слабые отзвуки кризиса, который вы переживаете, чувствуются и у нас. Бедная старая Англия! Не думаю, чтобы я еще раз ее увидел, но это храбрая мудрая птица, и я не хочу быть свидетелем того, как ее поймают. Думаю, что, когда ее хорошенько оциплют, она будет летать лучше и выше.

До свидания, дружище, примите оба мою любовь.

А Динни посылаю мою особую любовь.

У и л ф р и д».

Покой! А она? Динни завернула ленточку вместе со снимком и письмом и положила в сумочку. Беззвучно отворив дверь, она спустилась вниз и вышла на залитую солнцем улицу.

На берегу реки, под еще голым платаном, она развернула вынутый из письма листок и прочла стихи:

ПОКОЙТЕСЬ

То солнце, что живит лучами
Всю землю и растит цветы,
На краткий срок приносит пламя
С небес, из вечной темноты.

Оно блесит на карте мрака
Едва заметною звездой,
Булавкой пламенного знака
Средь точек света в тьме ночной.

Свой свет для жизни скоротечной
Дает мне солнце, но ему,
Как мне, придется в срок конечный
Угаснуть и сойти во тьму.

Но в этом нет мне утешенья,
Мое сознание, радость, боль
Во всеобъемлющем теченье
Такую же играет роль.

И я и солнце, что нам светит,
Мы все живем, чтоб стать ничем.
На все вопросы бог ответит:
«Покойтесь! Не скажу — зачем!»

«Покойтесь!» На безлюдной набережной почти не было движения. Динни шла, пересекая улицы, и добралась до Кенгсингтон-гарденс. Там, на круглом пруду, плавали игрушечные кораблики, а на берегу толпились дети и с увлечением следили за своими суденышками. Рыжий мальчуган, слегка напоминавший Кита Монта, палкой вел свой кораблик, чтобы еще

раз направить его по ветру через пруд. Какая блаженная увлеченность! Может быть, в этом секрет счастья? Жить мгновением, слиться с окружающим миром как дитя. Вдруг мальчик сказал:

— Плывет! Смотри!

Паруса надулись, и кораблик отплыл от берега. Мальчик стоял подбоченясь и вдруг, быстро взглянув на Динни, сказал:

— Ну, надо бежать туда!

Динни смотрела, как он бежит и по временам останавливается, стараясь сообразить, где может пристать его парусник.

Так и в жизни: человек стремится достигнуть берега и в конце концов засыпает навеки. Он живет, как птицы, которые поют свои песни, охотятся за червяками, чистят перья и летают туда и сюда без всякой видимой причины, разве что от радости жизни; как птицы, которые спариваются, выют гнезда и кормят своих птенцов, а когда все кончено — остаются только маленькие застывшие комочки перьев, потом они рассыпаются и становятся прахом.

Динни медленно обошла пруд, опять увидела мальчугана, направляющего кораблик палкой, и спросила его:

— Что это у тебя за судно?

— Катер. У меня была шхуна, но наша собака съела снасти.

— Да,— сказала Динни,— собаки очень любят снасти — они сочные.

— Какие?

— Как спаржа.

— Мне не дают спаржи, она слишком дорогая.

— Но ты ее пробовал?

— Да. Смотри, ветер опять его подхватил!

Кораблик уплыл, и убежал рыжеволосый мальчуган. Динни вспомнились слова Адриана: «Я думал о детях...»

Она направилась к тому месту, которое в прежние времена называлось лужайкой. Здесь в изобилии цвели нарциссы и крокусы — желтые, лиловые, белые; в каждом дереве, тянувшемся к солнцу своими ветвями с набухшими почками, чувствовалось жадное стремление к жизни. Упоенно пели дрозды, а она шла и думала: «Покой?.. Покоя нет. Есть только жизнь и смерть».

Прохожие смотрели на нее и думали: «Какая интересная девушка! Красивая мода — эти маленькие шляпки. Куда это она идет, глядя в небо?» Или просто: «Вот это девушка! Ого!» Она перешла дорогу и дошла до памятника Хадсону¹. Предполагалось, что здесь обитель птиц, но, кроме нескольких воробьев и одного разжиревшего голубя, птиц здесь не оказалось. И людей, разглядывавших памятник, было всего трое. Когда-то она смотрела на этот памятник вместе с Уилфридом, но сейчас лишь мельком взглянула на него и зашагала дальше.

«Бедный Хадсон, бедная Райма!»² — сказал он когда-то.

¹ В 1925 году в Гайд-парке был открыт памятник известному натуралисту В. Хадсону (1841—1922).

² Райма — героиня книги Хадсона «Зеленые дома», к которой Голсуорси написал предисловие. В Лондоне Райме поставлен памятник.

Она спустилась к Серпентайну и пошла вдоль берега. Солнце сверкало на воде, а на той стороне гравя была жесткая и сухая. В газетах уже писали о засухе. Потоки звуков, доходявшиеся с севера, юга и запада, сливались в мягкий непрерывный гул. А там, где он лежит, наверное, тихо. Могилу посещают только странные птицы и маленькие зверьки, да листья причудливых очертаний падают на нее. Ей вспомнились пасторальные сцены из фильма, который она видела в Аржеле: там изображалась нормандская деревушка — родина Бриана¹. «Как жаль, что со всем этим надо расстаться», — сказала она тогда.

Высоко в небе жужжал самолет, он направлялся к северу — серебристая птица, маленькая и шумная. Уилфрид ненавидел самолеты еще со времен войны: «Если есть боги, то самолеты нарушают их покой». Страшный новый мир! Бога уже нет на небесах!

Динни свернула к северу, чтобы миновать то место, где обычно встречалась с Уилфридом. Открытая ротонда, примыкавшая к мраморной арке, была пустынна. Динни вышла из парка и направилась в сторону Мелтон-Мьюз. Конечно! С легкой странной улыбкой на губах она свернула на Мьюз и остановилась перед дверью Клер.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Клер была дома. Первые несколько минут сестры старались не касаться того, что каждая из них пережила: затем Динни спросила:

— Ну как дела?

— Ничего хорошего. Я порвала с Тони. У меня нервы совсем истрепаны, у него тоже.

— Неужели он?..

— Нет. Но я сказала ему, что, пока все не кончится, нам не следует встречаться. Когда мы вместе, мы решаем не говорить о процессе, но эта тема все равно всплывает, мы неизбежно к ней возвращаемся.

— Он, наверное, очень страдает.

— Еще бы! Но ведь осталось потерпеть всего три-четыре недели.

— А что тогда?

Клер невесело рассмеялась.

— Нет, серьезно, Клер?

— Мы не выиграем, и тогда будет все равно. Если Тони захочет меня, я ему не откажу. Ведь он будет разорен, и я заплачу ему хоть этим.

— Мне кажется, — медленно проговорила Динни, — я не допустила бы, чтобы исход процесса повлиял на мою жизнь.

Клер подняла голову и внимательно посмотрела на сестру.

— Ты рассуждаешь слишком уж разумно!

— Не стоит отстаивать свою невиновность, раз ты не собираешься выдержать характер до конца, как бы дело ни повернулось. Если ты выиграешь, подожди, пока разведешься с Джерри. Если проиграешь, подожди, пока он разведется с тобой. Пусть Тони подождет еще, право же,

¹ Бриан Аристид (1862—1932) — французский государственный деятель, родился в Нанте (Нормандия).

он от этого не умрет, а тебе, конечно, очень не помешает узнать, что ты на самом деле к нему чувствуешь.

— Джерри очень умен, и если не захочет, не даст мне никакого повода для развода.

— Тогда будем надеяться, что ты проиграешь процесс. Твои друзья все равно не перестанут тебе верить.

Клер пожала плечами.

— Ты уверена?

— Об этом я позабочусь,— ответила Динни.

— Дорнфорд советует рассказать все Джеку Маскему до суда. Что ты на это скажешь?

— Мне хотелось бы сначала повидаться с Тони.

— Что ж, зайди сюда сегодня вечером, и ты его увидишь. Он обыкновенно является каждую субботу и воскресенье в семь часов вечера и смотрит на мои окна. Чудак!

— Вовсе нет. Это вполне естественно. Что ты делаешь сегодня после обеда?

— Поеду кататься верхом с Дорнфордом в Ричмонд-парк. Я катаюсь с ним теперь каждое утро. Хорошо, если бы и ты с нами ездила.

— У меня нет ни подходящего туалета, ни сил.

— Родная! — воскликнула Клер, вскакивая. — Было ужасно, когда ты болела! Мы совсем извелись! Дорнфорд ходил как в воду опущенный. Но теперь ты выглядишь гораздо лучше.

— Да, я теперь более пневматична.

— Ах, так ты читала эту книгу?

Динни кивнула.

— Я зайду сегодня вечером. До свидания! Желаю успеха!

Около семи часов вечера Динни выскользнула из дома тетки на Маунт-стрит и поспешно направилась к дому Клер. На еще светлом небе стояла полная луна и уже загорелась вечерняя звезда. Дойдя до западного угла пустынной Мьюз, она сразу же увидела Крума, стоявшего возле дома № 2. Подождав, пока он наконец двинулся дальше, она быстро пробежала переулок и догнала его на противоположном углу.

— Динни? Вот замечательно!

— Мне сказали, что я могу поймать вас, когда вы смотрите на окна королевы.

— Да, больше мне ничего не остается.

— Могло быть и хуже.

— А вы совсем поправились? Вы, наверное, в тот день страшно прозябли в Сити.

— Давайте пройдем вместе до парка, я хочу потолковать с вами насчет Джека Маскема.

— Никак не решусь ему сказать.

— Хотите, я сделаю это за вас?

— Почему?

Динни взяла его под руку.

— Во-первых, он наш дальний родственник, через дядю Лоренса. Кроме того, я случайно знаю его лично. Мистер Дорнфорд совершенно прав: очень многое зависит от того, когда и как он обо всем узнает. Позвольте мне сделать это.

— Не знаю... Право же, не знаю...

— Мне все равно нужно с ним повидаться.

Крум взглянул на нее.

— Как-то не верится мне...

— Честное слово!

— Это страшно мило с вашей стороны. Конечно, вы сделаете это гораздо лучше, чем я, но...

— Значит, решено.

Перед ними уже был парк, и они пошли вдоль ограды в сторону Маунт-стрит.

— Вы часто видите с защитниками?

— Да, все наши показания согласованы для перекрестного допроса.

— Пожалуй, мне это было бы даже интересно, если бы я собиралась говорить правду.

— Они перевертывают каждое слово и так и этак. А их тон! Я как-то пошел в суд на бракоразводный процесс. Дорнфорд сказал Клер, что он ни за какие деньги не стал бы заниматься подобными делами. Он прекрасный человек, Динни.

— Да,— отозвалась Динни, взглянув в его открытое лицо.

— Я думаю, что нашим защитникам тоже не очень по душе это дело! Оно не по их части. «Юный» Роджер немножко спортсмен. Он верит нашим показаниям,— он же видит, как горька мне эта правда... Вот вы и пришли. А я поброжу по парку, а то не засну. Какая чудесная луна!

Динни сжала его руку.

Когда она дошла до двери, он все еще стоял на том же месте — и снял шляпу, не то перед ней, не то перед луной...

По словам сэра Лоренса, Джек Маскем должен был приехать в город в конце недели; теперь он жил на Райдер-стрит. Когда-то, когда это касалось Уилфрида, Динни, не задумываясь, отправилась в Ройстон. Но вопрос шел о Круме, и Маскем, наверное, очень призадумается, если она теперь явится к нему. Она позвонила на другой день в полдень в Бартон-клуб.

Услышав голос Маскема, она сразу же вспомнила, как была потрясена, когда в последний раз слышала его возле памятника герцогу Йоркскому.

— Говорит Динни Черрел. Могу я сегодня повидать вас?

Он ответил, нерешительно растягивая слова:

— Э... конечно. Когда?

— В любое время, когда вам удобно.

— Вы сейчас на Маунт-стрит?

— Да, но я предпочла бы прийти к вам.

— Э... Так приходите пить чай ко мне на Райдер-стрит. Вы знаете номер?

— Да, благодарю вас. В пять часов?

Приближаясь к дому, где жил Маскем, она собрала все свои душевные силы. В последний раз она видела его в самый разгар драки с Уилфридом. Кроме того, он как бы символизировал для нее ту скалу, о которую разбилась ее любовь. Динни не испытывала к нему ненависти лишь потому, что понимала: его горечь в отношении Уилфрида была вызвана своеобразным отношением к ней. Стараясь, чтобы ее шаги обогнали мысли, она наконец подошла к дому Маскема.

Дверь ей открыл человек, который на склоне лет облегчал себе существование тем, что сдавал комнаты состоятельным людям, вроде тех, у кого когда-то служил лакеем. Он проводил ее на третий этаж.

— Мисс Черрел, сэр.

Стройный, худой, томный и, как всегда, очень тщательно одетый, Джек Маскем стоял у открытого окна довольно уютной комнаты.

— Принесите, пожалуйста, чай, Родней.

Он пошел к ней навстречу, протягивая руку.

«Точно на замедленной съемке», подумала Динни.

Джек Маскем был удивлен ее желанием повидаться с ним, но не подал и виду.

— Вы бывали на скачках, с тех пор как мы встретились с вами на Дерби? Помните, тогда выиграл Бленгейм?

— Нет.

— Вы как раз на него и поставили. Впервые в жизни я видел, чтобы новичку так повезло

Улыбка вызвала на его бронзовом лице морщины, и Динни увидела, что их немало.

— Садитесь же. Вот чай. Вы сами заварите?

Она передала ему чашку, налила себе и сказала:

— А что, ваши арабские кобылы уже прибыли?

— Я жду их в конце следующего месяца.

— У вас служит Тони Крум...

— Разве вы его знаете?

— Через сестру.

— Славный юноша.

— Да,— сказала Динни,— из-за него я и пришла к вам.

— Ах вот что!

«Он обязан мне слишком многим,— пронеслось у нее в голове,— он не посмеет отказать».

Откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу, она посмотрела ему прямо в лицо

— Я хотела сказать вам по секрету, что Джерри Корвен возбудил против моей сестры дело о разводе и Тони Крума вызывают как свидетеля.

Рука Джека Маскема, державшая чашку, дрогнула.

— Он действительно любит ее, и они встречались, но в обвинении нет ни капли правды.

— Так...— отозвался Маскем.

— Дело будет рассматриваться очень скоро. Я уговорила Тони Крума, чтобы он разрешил мне все рассказать вам. Сделать это ему самому было бы очень неловко.

Маскем продолжал с невозмутимым видом смотреть на нее.

— Я знаю Джерри Корвена,— сказал он,— но я не знал, что ваша сестра покинула его.

— Мы этого не разглашаем.

— Ее уход связан с Крумом?

— Нет. Они познакомились на пароходе, когда она возвращалась в Англию. Клер ушла от Джерри совсем по другим причинам. Она и Крум вели себя, конечно, неосторожно: за ними следили и их видели вместе при, как говорится, компрометирующих обстоятельствах.

— Что вы имеете в виду?

— Они как-то возвращались из Оксфорда поздно вечером, в машине перегорели фары, поэтому им пришлось провести целую ночь в автомобиле вдвоем.

Джек Маскем слегка пожал плечами, Динни наклонилась вперед, глядя ему прямо в глаза.

— Я сказала вам, что в этом обвинении нет ни капли правды, ни капли.

— Дорогая мисс Черрел, мужчина никогда не признается в том, что...

— Поэтому вместо Тони пришла я. Моя сестра мне не солжет. Маскем снова слегка пожал плечами.

— Но я не совсем понимаю...— начал он.

— Какое отношение это имеет к вам? А вот какое: я не думаю, чтобы им поверили.

— Вы хотите сказать, что, если бы я узнал об этом из газет, это настроило бы меня против Крума?

— Да, я думаю, вы бы решили, что он оказался не джентльменом. Она не могла скрыть легкой иронии.

— А разве это не так?

— Думаю, что нет. Он горячо любит мою сестру и все же сумел держать себя в руках. А ведь от любви никто не застрахован.

При этих словах воспоминания прошлого снова нахлынули на нее, и она опустила глаза, чтобы не видеть этого бесстрастного лица и насмешливого изгиба этих губ. Вдруг, словно по наитию, она сказала:

— Мой зять потребовал возмещения убытков.

— О,— отозвался Джек Маскем,— я не знал, что это делается и теперь.

— Две тысячи фунтов. А у Тони Крума ничего нет. Он делает вид, что ему все равно, но если они проиграют, он окажется нищим.

Наступило молчание.

Джек Маскем вернулся к окну. Он сел на подоконник и сказал:

— Что же я могу тут сделать?

— Не отказывать ему от места — вот и все.

— Муж на Цейлоне, а жена здесь — это все же не совсем...

Динни встала, шагнула к нему и застыла на месте.

— Вам никогда не приходило в голову, мистер Маскем, что вы у меня в долгу? Вспоминаете ли вы когда-нибудь о том, что отняли у меня любимого человека? И знаете ли вы, что он умер там, куда уехал из-за вас?

— Из-за меня?

— Да, вы и ваши взгляды заставили его отказаться от меня. И теперь я прошу вас, чем бы дело ни кончилось, не увольнять Тони Крума. До свидания!

И, не дожидаясь ответа, она вышла.

Динни почти бежала к Грин-парку. Все вышло совсем по-другому! И какие это могло иметь роковые последствия! Но слишком сильны были ее чувства, ее негодование против непреодолимой стены форм и традиций, о которые разбилась ее любовь! Иначе и быть не могло. Долговязая фигура Маскема, его франтоватый вид, звук его голоса с мучительной остротой пробудили в ней воспоминания.

И все-таки она почувствовала облегчение: от былой горечи не осталось и следа.

На другое утро она получила записку.

«Райдер-стрит. Воскресенье.

Дорогая мисс Черрел!

Можете на меня рассчитывать.

С искренним уважением,
всегда преданный вам

Д ж е к М а с к е м».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Получив обещание Маскема, Динни на следующий день вернулась в Кондафорд и постаралась хоть немного разрядить царившую там тяжелую атмосферу. Хотя отец и мать занимались каждый своим делом, они были удручены и расстроены. Мать, женщина очень замкнутая и чувствительная, приходила в ужас при одной мысли о том, что общественное мнение осудит Клер. Отец, видимо, понимал, что чем бы дело ни кончилось, большинство людей будет считать его дочь легкомысленной особой и лгуньей; Тони Крума еще извинят, но женщине, поставившей себя в подобное положение, в глазах большинства не будет оправдания. Кроме того, он испытывал по отношению к Джерри Корвену мстительный гнев и твердо решил сделать все, чтобы зять не восторжествовал над Клер. И хотя эта воинственность отца немного сместила Динни, она восхищалась тем, с какой мучительной добросовестностью он хватался за каждый пустяк, не замечая главного. Для людей его поколения развод все еще оставался бесспорным признаком моральной испорченности. Для нее любовь была просто любовью, и, когда появлялось отвращение, физическая близость теряла свое оправдание. Ее лично гораздо больше потрясло то, что Клер уступила настояниям Джерри Корвена здесь, у себя на квартире, чем то, что она уехала от него. Бракоразные процессы, о которых ей время от времени приходилось читать в газетах, отнюдь не подтверждали, что «браки заключаются на небесах». Но она понимала чувства людей, выросших в прежних понятиях, и старалась не прибавлять новых трудностей к переживаниям родителей. Динни рассуждала трезво: дело скоро кончится так или иначе, скорее

всего иначе. В наше время люди обращают очень мало внимания на чужие дела.

— Что? Ночь в автомобиле — это же сенсация! — саркастически заявил генерал. — Каждый начнет сейчас же думать о том, как бы он вел себя при подобных обстоятельствах!

Динни ответила только:

— Они сделают из этого целую историю — министр внутренних дел, настоятель собора святого Павла, принцесса Елизавета...

Когда Динни узнала, что Дорнфорд приглашен на пасху в Кондафорд, она смутилась.

— Надеюсь, ты ничего не имеешь против, Динни? Мы ведь не знали, будешь ты здесь или нет.

— Я не могу сказать «мне очень приятно» даже тебе, мама.

— Но, родная, ведь когда-нибудь должна же ты вернуться на поле боя.

Динни прикусила губу и ничего не ответила. Мать сказала правду, и в устах нежной и простодушной женщины эти слова прозвучали особенно жестоко.

Поле боя! Да, жизнь — война. Человека ранят, подлечивают и опять гонят в ряды бойцов. Мать и отец ни за что не хотели бы расстаться с ней, но они явно жаждут, чтобы она вышла замуж. И это — когда неудача Клер почти предreshена.

Пришла пасха, а с нею ветер, «умеренный, до сильного». Клер приехала поездом в субботу утром, а Дорнфорд — на машине во второй половине дня. Он поздоровался с Динни так, словно не знал, как она его примет.

Он наконец подыскал себе дом на Кемпден-Хилле. Дорнфорд жаждал узнать мнение Клер, и она потратила целый воскресный день, поехав туда с ним после обеда.

— Превосходный дом, Динни, — сказала Клер. — Окнами на юг, есть гараж и конюшня для двух лошадей; хороший сад, все необходимые службы, центральное отопление, и вообще все как надо. Он думает переехать к концу мая. Дом под старой черепичной крышей, поэтому я предложила ему выкрасить ставни в светло-серый цвет. Правда, очень хороший дом и просторный.

— В твоём описании он просто превосходен. Теперь ты, наверное, будешь ездить на работу туда, а не в Темпл?

— Да, Дорнфорд перебирается не то в Памп-Корт, не то в Брикбилдингс, не помню. Кстати, Динни, интересно, почему Джерри не сделал его соответчиком вместо Тони? Я вижу с ним гораздо чаще.

Больше о предстоящем «деле» не говорили. Предполагалось, что оно будет рассматриваться одним из первых после исков, которые не оспаривались, поэтому в Кондафорде царил затишье перед грозой.

Дорнфорд вернулся к этой теме в воскресенье, после обеда:

— А вы, Динни, будете присутствовать на суде?

— Должна.

— Боюсь, на вас это произведет очень тяжелое впечатление. Вести дело поручили Броу, а он, когда захочет, может просто извести, особенно если ему приходится иметь дело с простым отрицанием вины. Вот

почему на него надеются. Клер придется изо всех сил держать себя в руках.

Динни вспомнила слова «юного» Роджера о том, что он предпочел бы видеть ее, Динни, на месте Клер.

— Надеюсь, вы ей это скажете?

— Я просмотрю с ней все ее показания и устрою ей пробный перекрестный допрос, но кто знает, какую линию изберет Броу.

— А вы сами будете на суде?

— Если смогу. Но вероятнее всего, я буду занят.

— Как вы думаете, суд продлится долго?

— Боюсь, что не один день.

Динни вздохнула.

— Бедный папа! А у Клер хороший защитник?

— Да, Инстон, но ему очень мешает ее отказ говорить о своей жизни на Цейлоне.

— Это решено. Она говорить не будет.

— Уважаю ее за такое решение, но оно может все погубить.

— Будь что будет,— сказала Динни.— Лишь бы она освободилась.

Больше всего мне жаль Тони Крума.

— Почему?

— Он — единственный из всех трех действующих лиц, который любит.

— Понимаю,— сказал Дорнфорд и замолчал.

Динни стало его жалко.

— Хотите погулять?

— С радостью.

— Мы пойдем в лес, и я покажу вам то место, где когда-то Черрел убил вепря и завоевал наследницу де Камфор,— это наша геральдическая легенда. А у вас в Шропшире есть какие-нибудь семейные легенды?

— Да, но ведь поместье уже не наше. Его продали, когда умер отец,— нас было шестеро, и ни гроша.

— Да...— отозвалась Динни.— Ужасно, когда семья лишается родного гнезда.

Дорнфорд улыбнулся.

— Лучше быть живым ослом, чем мертвым львом.

Они шли через рощи, и он рассказывал о своем новом доме, осторожно выпытывая ее вкусы.

Наконец они достигли заросшей колеи, которая вела на холм, поросший боярышником.

— Вот то самое место. Здесь тогда был, конечно, девственный лес. В детстве мы часто устраивали тут пикники.

Дорнфорд глубоко вздохнул.

— Настоящий английский пейзаж: ничего броского, но бесконечно прекрасный.

— Прелестный.

— Вот именно.

Он расстелил свой дождевик.

— Садитесь, и давайте покурим.

Динни села.

— Вы тоже садитесь на краешек, земля еще довольно сырая.

Он сел рядом с ней и, обхватив руками колени, молча курил трубку, а она думала: «Самый сдержанный человек из всех, кого я знаю, и самый деликатный, если не считать дяди Адриана».

— Вот если бы сейчас появился вепрь,— сказал он,— было бы совсем чудесно!

— «Член парламента убивает вепря на уступе Чилтернского холма»,— пробормотала Динни, но не прибавила: «И покоряет сердце дамы».

— Как ветер шумит в кустах! Еще недели три — и все здесь зазеленеет. Я никак не могу решить, что лучше — ранняя весна или бабье лето. А как по-вашему, Динни?

— Когда все цветет.

— Гм. А потом — время жатвы. Здесь это, наверное, великолепное зрелище — бескрайние пшеничные поля.

— Пшеница только что созрела, когда началась война. За два дня до этого у нас был здесь пикник, и мы остались посмотреть восход луны. Как по-вашему, мистер Дорнфорд, в бою люди много думали о родине?

— Они всегда о ней думали. Каждый сражался за тот или иной уголок своей земли, многие — просто за улицы, автобусы и запах жареной рыбы. Я, в частности, сражался, как мне кажется, за Шрюсбери и Оксфорд. Кстати, мое имя — Юстэйс.

— Я запомню. А теперь, пожалуй, пойдемте, а то мы опоздаем к чаю.

Всю дорогу домой они говорили о птицах и растениях.

— Спасибо за прогулку,— сказал он.

— Мне она тоже доставила большое удовольствие.

Эта прогулка подействовала на Динни удивительно успокаивающе. Оказывается, с ним можно разговаривать и не касаясь любовных тем.

Понедельник на пасху был дождливым, но теплым. Дорнфорд провел целый час с Клер, обсуждая ее показания, затем поехал с ней кататься верхом, хотя шел дождь, а Динни все утро готовила дом к весенней уборке и обивке мебели, когда семья уедет в город. Отец и мать должны были поехать на Маунт-стрит, а она с сестрой — к Флер. После обеда она побродила с генералом вокруг новых свинарников, постройка которых подвигалась очень медленно; местный подрядчик старался, чтобы его рабочие были заняты как можно дольше, и поэтому не гоним их. Она осталась наедине с Дорнфордом только после чая.

— Что ж,— сказал он,— думаю, ваша сестра справится, если сумеет держать себя в руках.

— Клер может иногда быть очень резкой.

— Да, а юристы терпеть не могут, если их кто-нибудь срежет, да еще в присутствии посторонних. Судьи этого тоже не любят.

— Им придется с ней повозиться.

— Все равно они ее одолеют. Плетью обуха не перешибешь.

— Ну что ж,— вздохнув, отозвалась Динни,— на все воля богов.

— А боги весьма ненадежны... Мне очень хотелось бы иметь вашу фотографию. Лучше всего, когда вы были девочкой.

— Посмотрю, что у нас есть... Боюсь, что только любительские снимки. Но, кажется, там есть один, где я не слишком курносая.

Она подошла к секретеру, вытащила ящик и поставила его на бильярдный стол.

— Семейная коллекция. Выбирайте!

Он стоял рядом с ней, и они вместе рассматривали снимки.

— Многие я сама снимала, поэтому там меня нет.

— Это ваш брат?

— Да. А вот он как раз перед войной. А это Клер за неделю до свадьбы. Вот моя карточка с распущенными волосами. Папа снял меня, когда он вернулся домой в первую весну после войны.

— Вам было тринадцать лет?

— Почти четырнадцать. Предполагается, что здесь я похожа на Жанну д'Арк, внимающую небесным голосам.

— Прелестная карточка! Я отдам ее увеличить.

Дорнфорд поднес карточку к свету. Стоя боком к зрителям и подняв глаза, девочка смотрела на ветку цветущего плодового дерева; снимок был очень удачен; лучи солнца падали на цветы и на распущенные волосы Динни, доходившие ей до пояса.

— Обратите внимание на мое восхищенное лицо: вероятно, на дереве сидела кошка.

Он положил карточку в карман и вернулся к столу.

— А эту?— спросил он.— Можно взять и эту?

Здесь она была немного старше, но все еще с длинными волосами и круглым личиком; руки были сжаты, голова слегка опущена, глаза подняты.

— Нет, эту, к сожалению, нельзя. Я не знала, что она здесь.

Такую же карточку она когда-то послала Уилфриду.

Дорнфорд кивнул; и она вдруг поняла, что он угадал причину ее отказа. Ее охватило раскаяние.

— Впрочем, нет, можете взять. Теперь это все равно.

И она вложила карточку ему в руку.

Во вторник утром, после отъезда Дорнфорда и Клер, Динни вооружилась картой, изучила ее и, сев в машину, отправилась в Беблок-Хайт. Ехать ей туда не хотелось, но и не давала покоя мысль, что бедный Тони не сможет, как обычно, увидеть Клер в конце недели.

Двадцать пять миль она ехала больше часа. В гостинице ей сказали, что он, наверное, у себя дома, и, оставив машину, она пошла пешком. Крум в рубашке без пиджака красил деревянные стены своей гостиной. С порога она увидела, как движется трубка у него во рту.

— Что-нибудь случилось с Клер?— сразу спросил он.

— Решительно ничего. Мне просто захотелось посмотреть, как вы живете.

— Страшно мило с вашей стороны! Видите — работаю.

— Вижу.

— Клер любит этот оттенок зеленого. Это лучшее, что я смог достать.

— Чудесно гармонирует с цветом балок.

Крум, глядя прямо перед собой, сказал:

— Не могу поверить, что она когда-нибудь поселится тут, но не могу и отказаться от этой надежды, иначе я пропал.

Динни ласково коснулась его локтя.

— Вы своего места не потеряете. Я виделась с Джеком Маскемом.

— Уже? Да вы прямо волшебница! Сейчас вымою руки, надену пиджак и все вам тут покажу...

Динни ждала, стоя на пороге комнаты, в полосе солнечного света. На обоих коттеджах, соединенных в один, еще сохранились глицинии, выходящие розы и соломенные крыши. Со временем тут будет очень красиво!

— Ну вот, — начал Крум, — стояла уже закончена, а в загонь проведена вода. Недостает только лошадей, но они придут не раньше мая. Маскем не хочет рисковать. Да и мне хотелось бы, чтобы к тому времени закончился процесс... Вы прямо из Кондафорда?

— Да. Клер уехала в город сегодня утром. Она послала бы вам привет, но не знала, что я поеду.

— А почему вы приехали? — спросил Крум прямо.

— Из солидарности.

Он порывисто схватил ее под руку.

— Да. Простите меня. А не находите ли вы, — добавил он вдруг, — что когда мы думаем о страданиях других — это иногда помогает нам самим?

— Не очень.

— Если уж к кому-нибудь тянет, это все равно что зубная боль или боль в ухе. От нее никуда не уйдешь.

Динни кивнула.

— И время года такое, — добавил Крум, усмехнувшись. — А разница между словами «нравится» и «люблю»! Я прихожу в отчаяние, Динни! Я не верю, чтобы чувства Клер могли когда-нибудь измениться. Если бы она могла полюбить меня, то уже полюбила бы. А если она не полюбит меня, я здесь не выдержу... Уеду в Кению или еще куда-нибудь.

Взглянув в глаза Крума, доверчиво устремленные на нее в ожидании ответа, Динни почувствовала, что выдержка покидает ее. Речь идет о ее сестре, но что знает она о ней, особенно если заглянуть к ней в душу?

— Никогда нельзя ничего знать заранее. Я бы на вашем месте не отчаивалась.

Крум сжал ее локоть.

— Простите, что я опять говорю о себе, но я как одержимый. Когда томишься день и ночь...

— Знаю.

— Я собираюсь купить двух коз, — лошади ослов не любят. Как правило, они не слишком расположены и к козам, но мне хочется, чтобы здесь было уютно. Я достал для конюшни двух кошек. Что вы на это скажете?

— Я знаю толк в собаках и — только теоретически — в свиньях.

— Пойдемте пообедаем. В гостинице есть неплохая ветчина.

Больше он о Клер не заговаривал; когда они поели неплохой ветчины, Крум проводил Динни к ее машине, усадил и провез первые пять миль, заявив, что ему хочется пройти обратно пешком.

— Огромное вам спасибо, что приехали,— сказал он, стискивая ее руку.— Вы ужасно хорошая! Передайте Клер мой привет.

Он повернул обратно и, сворачивая на полевую тропинку, помахал ей рукой.

Всю остальную часть пути Динни была погружена в раздумье. День был переменчивый и дождливый: то светило солнце, то сыпался колкий град. Поставив машину в гараж, Динни позвала своего спаниеля Фоша и отправилась к новому свинарнику. Отец был там, очень подтянутый, немного чудаковатый; он внимательно осматривал новую стройку, как истый генерал-лейтенант — поле боя. Но появятся ли когда-нибудь в этом свинарнике свиньи? Динни взяла отца под руку.

— Как идет битва за свиной городок?

— Один из каменщиков за вчерашний день совсем умаялся, а плотник порезал себе большой палец. Я говорил со стариком Белоузом, но ведь он старается, чтобы у его людей как можно дольше была работа, и нельзя упрекнуть его за это. Я сочувствую человеку, который нанимает одних и тех же рабочих и не берет новых из союза. Он уверяет, что все будет готово к концу следующего месяца, но, конечно, готово не будет.

— Конечно, нет,— отозвалась Динни,— он обещал уже два раза.

— Где ты была?

— Ездил к Тони Круму.

— Что-нибудь новое?

— Нет. Я только хотела ему сказать, что виделась с мистером Маскемом и Крум своего места не потеряет.

— Очень рад за него. У этого парня есть характер. Напрасно он не пошел в армию!

— Я его очень жалею, папа! Он действительно любит.

— Ну, этим болеют многие,— сухо ответил генерал.— Ты видела, как они сбалансировали бюджет? Мы живем в какое-то истерическое время: каждое утро вам подадут к завтраку очередной европейский кризис.

— Виноваты наши газеты. Французские газеты, где шрифт в два раза мельче, волнуют гораздо меньше. Когда я их читала, я ничуть не пугалась.

— Газеты и радио. Все становится известным еще до того, как оно действительно произойдет. И потом — эти заголовки, вдвое крупнее самих событий. Судя по речам и передовицам, можно подумать, что мир никогда еще не переживал ничего подобного. Но мир всегда находится в состоянии кризиса, только в прежнее время люди не поднимали вокруг этого такой шум.

— Но если бы не шум, разве бы они сбалансировали бюджет, папочка?

— Нет, теперь дела только так и делаются. Но это не по-английски.

— А разве мы знаем, что — по-английски, а что — нет?

Обветренное лицо генерала сморщилось, и по морщинам скользнула улыбка. Он указал на строящийся свинарник.

— Вот это — английское. В конце концов делается все, что надо, но не раньше, чем дойдет до крайности.

— А тебе это нравится?

— Нет. Но мне еще меньше нравятся всякие судорожные попытки исправить положение. Точно и раньше в стране не бывало нехватки денег! Еще Эдуард Третий был должен решительно всей Европе. Стюарты вечно находились в состоянии банкротства. А после Наполеона было несколько таких лет, в сравнении с которыми наш кризис — пустяки; но это не подавалось людям каждое утро на завтрак.

— И неведение было благом.

— Не нравится мне вся эта смесь истерики и очковтирательства.

— Ты бы упразднил радио, «вещающее о рае»?

— Радио? «Одно поколение уходит, другое приходит, а земля пребывает вовеки», — процитировал генерал. — Я вспоминаю проповедь старого Батлера в Харроу на этот текст. Это была одна из его лучших проповедей. Не такой уж я, Динни, отсталый, по крайней мере — надеюсь, что нет. Но думаю, что люди говорят слишком много. Говорят столько, что уже ничего не чувствуют.

— А я верю в нашу эпоху, папа; она сбросила все лишние одежды. Посмотри на старые снимки, которые печатает «Таймс». От них так и несет догмами и фланелевой нижней юбкой.

— В дни моей молодости фланелевых юбок не носили, — возразил генерал.

— Тебе виднее, папочка.

— Знаешь, Динни, говоря по правде, по-настоящему революционным было мое поколение. Ты видела пьесу о Браунинге? Ну так вот, там все это показано, но все кончилось еще до того, как я отправился в Сандхерст¹. Мы тогда рассуждали, как нам нравилось, и поступали соответственно своим взглядам, хоть и не говорили об этом. А теперь говорят, не успев подумать, а когда дело доходит до действий, люди действуют почти так же, как мы, если только они вообще действуют. Вся разница между жизнью пятьдесят лет назад и теперешней только в свободе высказывания; теперь высказываются настолько свободно, что это лишает всякую вещь ее смысла.

— Очень глубокая мысль, папочка!

— Но не новая, я читал это десятки раз.

— «А вы не думаете, сэр, что война очень сильно повлияла на людей?» — всегда спрашивают корреспонденты.

— Война? Ее влияние, по-моему, почти кончилось. Кроме того, у людей моего поколения были уже вполне сложившиеся взгляды, а следующее поколение или искалечено, или совсем уничтожено...

— Кроме женщин.

— Да, им только пришлось основательно поволноваться. Для твоего поколения война — только слово.

— Спасибо, папочка, — сказала Динни. — Все, что ты сказал, очень поучительно, но сейчас пойдет град... Домой, Фош!

Генерал поднял воротник пальто и направился к плотнику, порезавшему себе палец. Динни увидела, что отец рассматривает его повязку. Плотник улыбнулся, а отец похлопал его по плечу.

¹ Военный колледж в Сандхерсте готовил офицеров для британской армии.

«Наверно, солдаты любили его,— подумала она.— Может быть, он и старый ворчун, но хороший».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Если искусство бесконечно, то еще более это применимо к судопроизводству. Дни шли, а объявление о процессе «Корвен versus ¹ Корвен и Крум» все еще не появлялось на страницах «Таймса». Внимание судьи, мистера Ковелла, было занято большим числом неопротестованных исков. Дорнфорд пригласил Динни и Клер осмотреть помещение суда. Они вошли и простояли там минут пять, словно участники крикетной команды, явившиеся, чтобы ознакомиться с полем накануне состязания. Судья сидел так низко, что видно было только его лицо; но Динни отметила, что над местом, где будет сидеть Клер, имеется нечто вроде навеса, как бы для защиты от дождя.

Когда они выходили из суда, Дорнфорд сказал:

— Если вы будете держаться под навесом, Клер, ваше лицо останется в тени. Но вы должны говорить громким голосом, чтобы судья все время вас слышал. Он сердится, если не слышит.

На другой день Динни получила записку, доставленную посыльным на Саус-сквер.

«Клуб Бартон, 13/IV 32 г.

Дорогая Динни,

Мне очень хотелось бы повидать вас на несколько минут. Укажите сами время и место. Незачем вам объяснять, что это касается Клер.

Искренне ваш

Д ж е р а л ь д К о р в е н ».

Майкла не было дома, и Динни решила посоветоваться с Флер.

— Я бы на твоём месте, конечно, повидалась с ним, Динни. Может быть, он в последнюю минуту раскаялся. Пусть придет сюда, когда Клер не будет.

— Вряд ли я рискну позвать его сюда. Лучше встретиться где-нибудь на улице.

— Что ж, вы можете встретиться у памятника герцогу Уэллингтону или около Раймы.

— Около Раймы,— сказала Динни.— А потом мы можем пройтись.

Она назначила Корвену встречу на другой день, в три часа, все еще недоумевая, что ему нужно.

Этот день оказался настоящим оазисом тепла — ведь апрель весь был холодный. Подойдя к статуе, она сразу увидела зятя. Он стоял, прислонившись спиной к решетке, курил сигарету в коротеньком пенковом мундштуке и имел совершенно такой же вид, как в последний раз, когда они встретились,— и это почему-то потрясло ее.

Он не протянул ей руки.

¹ Против — латинское слово, употребляемое в судопроизводстве.

— Вы очень любезны, Динни, что пришли. Хотите, побродим и поговорим на ходу?

Они направились к Серпентайну.

— Насчет этого процесса...— вдруг начал Корвен.— Мне, знаете ли, он не доставляет никакого удовольствия.

Она украдкой взглянула на него.

— Зачем же тогда вы его начали? Ведь вы знаете, что обвинение ложно.

— Мне сообщили, что оно не ложно.

— По видимости — может быть, но не по сути.

— Если я возьму свой иск назад, Клер ко мне вернется? Я согласен на любые условия.

— Я спрошу ее, но не думаю. Я бы на ее месте не вернулась.

— Какое неумолимое семейство!

Динни не ответила.

— Она влюблена в этого Крума?

— Я не могу обсуждать их чувства, если они у них есть.

— Почему бы нам не поговорить откровенно, Динни? Ведь никто нас не услышит, кроме вон тех уток.

— Ваше требование о возмещении убытков не улучшило нашего отношения к вам.

— Ах, это! Но я согласен взять все назад, даже если она и наделала глупостей, лишь бы она вернулась.

— Другими словами,— сказала Динни, глядя прямо перед собой,— дело, которое вы состряпали, является своего рода шантажом? Кажется, это так называется?

Он посмотрел на нее, прищурившись.

— Неплохо придумано! Мне и в голову не приходило. Нет, я знаю Клер лучше, чем всякие юристы и согластатаи, и поэтому далеко не убежден, что имеющиеся улики что-либо доказывают.

— Спасибо.

— Да, но я уже сказал вам или Клер — это одно и то же,— что не уеду отсюда, пока вопрос не решится так или иначе. Если она вернется ко мне, я забуду все, что было. Если нет — пусть дело идет своим естественным ходом. Это вовсе не так уж неразумно, и это не шантаж.

— А если она выиграет, вы будете продолжать преследовать ее?

— Нет.

— Ведь вы могли бы в любое время освободить ее и себя...

— Но не такой ценой. И потом, не кажется ли вам, что вы мне предлагаете своего рода сделку,— тоже грубое слово?

Динни остановилась.

— Хорошо, я понимаю, чего вы хотите. Я спрошу Клер. А теперь прощайте. Продолжать этот разговор, по-моему, бесполезно.

Он стоял, глядя на нее, и ее вдруг взволновало выражение его лица. Сквозь загорелую жесткую маску проступило страдание и замешательство.

— Мне очень жаль, что все так сложилось,— сказала она, повинуясь неожиданному порыву.

— Человеческая природа — чертовская штука, Динни, и освободиться от ее власти невозможно. Что ж, до свидания, и желаю успеха! Она протянула ему руку. Он сжал ее, повернулся и пошел прочь.

Динни постояла, глубоко расстроенная, возле маленькой березки. Казалось, набухавшие почки дерева трепещут и тянутся навстречу солнцу. Как странно! Ей жаль и его, и Клер, и Крума, но она никому из них не может помочь!

Динни повернула обратно и быстрым шагом направилась к Саусквер.

Флер встретила ее словами:

— Ну как?

— Боюсь, что говорить об этом я могу только с Клер.

— Вероятно, он предложил прекратить дело, если Клер к нему вернется? И она поступит разумно, если вернется.

Динни решительно сжала губы.

Она дождалась вечера и поднялась в комнату Клер. Сестра только что легла. Динни села у нее в ногах и сразу приступила к делу:

— Джерри просил меня повидаться с ним. Мы встретились в Гайдпарке. Он обещает прекратить дело, если ты вернешься к нему на любых условиях.

Клер обхватила руками колени.

— А что ты ответила?

— Сказала, что спрошу тебя.

— Как ты думаешь, почему он это предложил?

— Отчасти потому, что он действительно хочет, чтобы ты вернулась, отчасти потому, что считает улики неубедительными.

— Ага,— сказала Клер сухо.— Я тоже. Но я не вернусь.

— Я и сказала ему, что ты, вероятно, не вернешься. Он заявил, что мы «неумолимое семейство».

Клер коротко рассмеялась.

— Нет, Динни, теперь я испытала, что значит такой процесс. И я стала как каменная, мне все равно, выиграю я или проиграю. Я бы даже, пожалуй, предпочла проиграть.

Динни сжала прикрытую одеялом ногу сестры; она все еще не решила, стоит ли говорить о тех чувствах, которые вызвало в ней выражение лица зятя.

Клер сказала просто: —

Мне всегда становится смешно, когда людям кажется, будто они знают, какими должны быть отношения между мужем и женой. Флер рассказывала мне о своем отце и его первой жене; видимо, она считает, что эта женщина делала из мухи слона. Одно могу сказать: судить об отношениях других — самоуверенное идиотство. Никакие улики ничего не стоят, пока в спальнях не будут установлены кинокамеры. Можешь довести до его сведения, Динни, что ничего не выйдет.

Динни встала.

— Ладно. Уж скорее бы все это кончилось!

— Да,— ответила Клер, тряхнув волосами,— скорей бы! Что это нам даст, не знаю, и все-таки — да здравствует суд!

Динни каждый день повторяла это горькое восклицание сестры, пока тянулись те две недели, в течение которых рассматривались неопротестованные иски; ведь среди них могло бы быть и дело Клер, и все обошлось бы незаметно и бесшумно. В записке к Корвену она просто написала, что ее сестра сказала «нет». Ответа не последовало.

По просьбе Дорнфорда она поехала вместе с Клер посмотреть его новый дом на Кемпден-Хилле. Мысль о том, что он снял этот дом для нее, если бы она согласилась стать его женой, сковывала Динни, и она сказала только, что все очень хорошо и что нужно еще поставить в саду вольеры. Дом был просторный, уединенный, комнаты высокие, сад расположен на южном склоне холма. Огорченная собственным равнодушием, Динни обрадовалась, когда осмотр кончился; но при прощании растерянное, страдальческое лицо Дорнфорда тронуло ее.

Когда они возвращались домой в автобусе, Клер сказала:

— Чем больше я наблюдаю Дорнфорда, тем больше убеждаюсь, что ты могла бы с ним ужиться. Он исключительно деликатен и ненавязчив. Действительно ангел какой-то.

— Я в этом уверена.

И в сознании Динни, под ритм покачивающегося автобуса, зазвучали, повторяясь вновь и вновь, четыре строчки из стихотворения:

И я и солнце, что нам светит,
Мы все живем, чтоб стать ничем.
На все вопросы бог ответит:
«Покойтесь! Не скажу — зачем!»

На ее лице появилось то особое замкнутое выражение, которое лучше всяких слов говорило Клер: ни о чем не спрашивай.

Ждать какого-либо события, даже если оно главным образом касается других, не слишком приятно. Для Динни ожидание имело то преимущество, что оно отвлекало ее от мыслей о собственной жизни и заставляло думать о родных. Впервые их имя в глазах общества будет замарано; и она чувствовала это острее всех. Хорошо, что Хьюберт далеко. Его бы это очень расстроило и потрясло. Правда, четыре года назад его собственное дело тоже грозило скандалом, но тогда угрожала катастрофа, а не позор. Сколько бы ни твердили, что в наши дни развод — пустяки, все же в стране, далеко не столь современной, как она сама считает, развод накладывает на семью позорное клеймо. Во всяком случае, Черрелы из Кондафорда имели и свою гордость, и свои предрассудки; но больше всего их пугала гласность.

Когда Динни явилась к обеду в приход святого Августина-на-Лужках, там царило какое-то странное настроение. Казалось, дядя и тетка решили: «Видимо, этот процесс неизбежен, но мы не можем ни понять его, ни одобрить». Они не выказывали ни высокопарного осуждения, ни ханжества, ни оскорбленной добродетели, но всем своим видом они как бы говорили Динни, что в бракоразводном процессе нет ничего хорошего и что Клер могла бы найти себе более достойное занятие.

Когда Динни отправилась с Хилари на вокзал Юстон провожать партию юношей, отправлявшихся в Канаду, она чувствовала себя очень неловко: она любила и уважала своего дядю, перегруженного работой

и вовсе не похожего на священника. Из всех членов ее семьи, которых всегда отличало высокое чувство долга, в нем больше, чем в других, воплотился принцип неустанного служения людям, и хотя она думала, что те, для кого он трудится, может быть, счастливее его самого, все же он жил настоящей жизнью, а ведь в этом мире так мало настоящего. Оставшись с ней наедине, Хилари высказался определеннее:

— Во всей этой истории с Клер мне больше всего не нравится то, что в глазах людей она окажется просто одной из тех праздных молодых женщин, которые то и дело попадают во всякие романтические ситуации и только этим и занимаются. Право, я предпочел бы, чтобы она страстно кого-нибудь полюбила и даже натворила глупостей.

— Ничего, дядя — пробормотала Динни,— время покажет. Может быть, это еще и случится.

Хилари улыбнулся.

— Ладно, ладно! Но ты пойми мою мысль: общественное мнение — штука холодная, глупая, ограниченная, оно всегда видит худшее. Там, где есть истинная любовь, я готов многое простить. Но я не люблю разбираться в вопросах пола. Это очень противно.

— Мне кажется, ты несправедлив к Клер,— сказала Динни, вздохнув.— У нее были очень серьезные причины для разрыва с мужем. И тебе, дядя, следовало бы знать, что за красивыми молодыми женщинами всегда ухаживают.

— Ну,— лукаво отозвался Хилари,— ты что-то скрываешь. Вот мы и дошли. Если бы ты знала, каких трудов мне стоило уговорить этих юношей поехать и убедить власти отпустить их, ты поняла бы, почему я иногда завидую судьбе гриба,— он вырос за одну ночь, а утром за завтраком его уже съели.

Они вошли в здание вокзала и отыскивали ливерпульский поезд. Здесь они увидели семерых юношей: одни уже расположились в вагоне третьего класса, другие еще стояли на платформе. Они поддерживали в себе бодрость чисто английским способом, подтрунивая над внешним видом друг друга и время от времени повторяя:

— Да разве мы грустим? Ну уж нет!

Юноши приветствовали Хилари словами:

— Хэлло, падре!.. Пора! Идем в атаку! Хотите сигарету, сэр?

Хилари взял сигарету. Динни, стоявшая в сторонке, с восхищением заметила, что ее дядя сразу же как бы слился с этой маленькой группой.

— Эх, если бы и вы поехали с нами, сэр!

— Очень хотел бы, Джек.

— Бросили бы старую Англию навсегда!

— Добрую старую Англию...

— Сэр!

— Да, Томми?

Динни не расслышала последних слов, слегка смущенная явным интересом, который вызвала в этих юношах.

— Динни!

Она подошла к вагону.

— Познакомься с молодыми людьми... Моя племянница.

Юноши вдруг смолкли, семь рук протянулись к ней, семь голов обнажились, и она семь раз пожелала счастливого пути.

Затем все ринулись в вагон, последовал взрыв восклицаний, нестройное «ура», и поезд тронулся. Динни стояла возле Хилари, чувствуя, как легкая спазма сжимает ей горло, и продолжала махать рукой вслед глядевшим из окон юношам.

— Сегодня вечером все они будут страдать от морской болезни, — пробормотал Хилари, — и это очень хорошо. Ничто так не отвлекает от размышлений о будущем и о прошлом.

Расставшись с Хилари, Динни отправилась к Адриану и огорчилась, встретив там дядю Лайонела. Они о чем-то спорили, но при ее появлении сразу смолкли. Потом судья спросил:

— Может быть, ты нам скажешь, Динни, есть какая-нибудь надежда помирить их до начала этого неприятного процесса?

— Никакой, дядя.

— В таком случае, насколько я знаю законы, Клер лучше бы совсем не являться на суд, и пусть рассматривают дело без защиты. Если нет никакой надежды, что они опять сойдутся, какой же смысл все это тянуть?

— Я тоже так думаю, дядя Лайонел. Но ведь ты, конечно, знаешь, что обвинение ложно.

Судья поморщился.

— Понимаешь, Динни, я рассуждаю как мужчина. Огласка все равно для Клер нежелательна, выиграет она или проиграет; если же она и этот молодой человек решат не защищаться, огласки будет очень мало. Адриан говорит, что Клер не примет от Корвена никакой денежной помощи, так что этот вопрос отпадает. В чем у них там дело? Ты, конечно, знаешь?

— Весьма приблизительно, да и то по секрету.

— Очень жаль, — отозвался судья. — Насколько мне известно по опыту, в таких случаях защищаться не следует.

— Но ведь есть еще требование о возмещении убытков!

— Да, Адриан рассказывал мне. Ну, это уже пахнет средневековьем!

— А месть — это тоже средневековье, дядя Лайонел?

— Не совсем, — отвечал судья со своей сухой улыбкой. — Но я никогда бы не подумал, что человек, занимающий такое положение, как Корвен, может позволить себе такую роскошь. Посадить жену на скамью подсудимых! Очень неприятно!

Адриан обнял Динни за плечи.

— Никто не переживает этого так глубоко, как Динни.

— Вероятно, — пробормотал судья, — Корвен хотя бы положит эти деньги на имя Клер?

— Клер их не примет. Но почему ты не допускаешь мысли, что она выиграет процесс? Разве закон существует не для того, чтобы творить правосудие?

— Не люблю присяжных, — резко ответил судья.

Динни взглянула на него с любопытством. Удивительная откровенность.

— Скажи Клер, чтобы она говорила громко и отвечала кратко. И пусть она не острит; острить в суде имеет право только судья.

Он снова сухо улыбнулся, пожал ей руку и удалился.

— Дядя Лайонел хороший судья?

— Говорят, он беспристрастен и корректен. Никогда не слышал его в суде, но, насколько я знаю его как брат, он очень добросовестен и щепетилен, хотя иногда берет несколько насмешливый тон. А относительно Клер он совершенно прав, Динни.

— Я и сама все время это чувствую. Дело в папе и в этом денежном иске.

— Думаю, Корвен теперь жалеет о нем. Его адвокаты, наверное, сутяги. Ничем не брезгают!

— Разве не для этого существуют юристы?

Адриан рассмеялся.

— А вот и чай! Давай потопим в нем свои горести и пойдем в кино. Говорят, идет прекраснодушный немецкий фильм. Подумай, подлинное прекраснодушие на экране!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Скрип стульев и шорох бумаг, знаменующий переход от одной человеческой драмы к другой, затих, и «юный» Роджер сказал:

— Мы опускаемся в глубины правосудия.

Динни села рядом с сестрой и отцом. Ее заслоняли от Джерри Корвена Роджер и его противник.

— Это и есть те самые глубины, где лежит ложь или истина?— прошептала она.

Динни сидела спиной к залу суда, но слышала и ощущала, как он наполняется людьми. Публика безошибочно угадывала, что здесь пахнет если не титулами, то серьезным боем. Судья, видимо, тоже что-то почувствовал, так как укрылся за огромным цветным носовым платком. Динни подняла глаза к потолку: внушительная высота, что-то готическое. Над местом судьи неестественно высоко висели красные драпировки. Затем ее взгляд упал на присяжных — они рассаживались двумя рядами в своей ложе. Ее сразу поразил старшина: яйцевидное лицо, почти полное отсутствие волос, багровые щеки, бесцветные глаза, а в выражении лица что-то и от барана и от трески сразу, — не поймешь, чего больше. Его лицо напомнило ей одного из двух джентльменов с Саус-Молтон-стрит, и она решила, что он, наверное, ювелир. В конце первого ряда сидели три женщины; ни одна из них, безусловно, не провела бы ночь в автомобиле. Первая была полная особа с приветливым простоватым лицом солидной экономки. Вторая, тонкая, темная, худая, могла быть и писательницей. Третья, с птичьим носом, выглядела явно простуженной. Остальные восемь присяжных были мужчины — и до того разнообразны, что классифицировать их было трудно и утомительно.

Чей-то голос произнес.

— Корвен versus Корвен и Крум — иск мужа.

Динни судорожно стиснула локоть сестры.

— Если ваша милость соизволит...

Уголком глаза она увидела красное лицо с небольшими бакенбардами, казавшееся под белым париком совсем багровым.

У судьи было лицо не то жреца, не то черепахи, все в складках, взгляд, ушедший в себя; судья внезапно вытянул шею, и глаза его, умные и бесстрастные, словно проникли в душу Динни; она показалась себе до смешного маленькой. И так же внезапно он втянул голову обратно.

Тягучий сочный голос огласил имена и общественное положение сторон, место их брака и жительства, затем смолк на минуту и продолжал:

— В середине сентября истекшего года, пока истец был в отъезде по делам службы, ответчица, не предупредив его ни словом, покинула свой дом и уехала в Англию. На пароходе находился также и соответчик. Защита утверждает, что они раньше никогда не встречались. Я же полагаю, что они встречались или, во всяком случае, имели полную к тому возможность.

Динни увидела, что Клер презрительно передернула плечами.

— Как бы там ни было,— продолжал тягучий голос,— бесспорен тот факт, что на пароходе они были неразлучны, и я докажу, что перед концом путешествия соответчика видели выходящим из каюты ответчицы.

Голос продолжал гудеть и закончил словами:

— Господа присяжные, я не буду касаться подробностей того наблюдения, которое было установлено за действиями ответчицы и соответчика,— вы услышите о них от свидетелей, людей многоопытных и почтенных. Сэр Джеральд Корвен!

Когда Динни подняла глаза, Корвен уже занял свое место, его лицо казалось высеченным из еще более крепкого дерева, чем обычно. Она увидела негодование на лице отца, увидела, как судья взялся за перо, а Клер стиснула руки, лежавшие на коленях; как «юный» Роджер прищурил глаза, старшина присяжных слегка приоткрыл рот, а третья женщина на скамье присяжных сделала усилие, чтобы не чихнуть; увидела грязно-бурый налет, лежавший на всем в этом зале, казалось, для того, чтобы загрязнить все, что есть розового, голубого, серебряного, золотого и даже зеленого в человеческой жизни.

Тягучий голос начал задавать вопросы, потом перестал задавать их; его владделец умолк, словно сложил черные крылья, и позади нее заговорил другой голос:

— Вы считали своим долгом, сэр, начать это дело?

— Да.

— Не было ли здесь предубеждения?

— Никакого.

— Ваше требование возмещения убытков — не правда ли, в наши дни это практикуется довольно редко среди уважаемых людей?

— Деньги будут положены на имя моей жены.

— Ваша жена дала вам как-нибудь понять, что желает вашей поддержки?

— Нет.

— Вы удивились бы, узнав, что она не примет от вас ни одного пенни, будь это деньги соответчика или иные?

Динни увидела, как подстриженные усы Корвена шевельнула кошачья усмешка.

— Я ничему не удивляюсь.

— Вы даже не удивились тому, что она ушла от вас?

Динни оглянулась на вопрошавшего. Так вот он, Инстон, о котором Дорнфорд сказал, что ему очень мешает отказ Клер говорить о своей жизни с мужем, — человеку с таким профилем и таким носом ничто не может помешать.

— Нет, это меня удивило.

— Но почему?.. Может быть, вы объясните нам, сэр, почему именно вы удивились?

— Разве жены обычно бросают мужей без объяснения причин?

— Это бывает, когда причина настолько очевидна, что объяснения излишни. Ваш случай был именно таков?

— Нет.

— Что же, по-вашему, явилось причиной ее ухода? Вы больше, чем кто-либо, можете иметь в данном случае определенное суждение.

— Не думаю.

— А тогда кто же?

— Моя жена.

— Все-таки вы должны что-то предполагать? Может быть, вы объясните нам, в чем дело?

— Нет.

— Напомню вам, сэр, что вы принесли присягу. Скажите, не обращались ли вы плохо с вашей женой, в каком бы то ни было смысле?

— Я признаю, что был один случай, о котором я сожалею и за который просил извинения.

— Что это за случай?

Динни, сидевшая выпрямившись между отцом и сестрой, почувствовала, как мучительно задета и их гордость и ее; она вздрогнула, когда позади нее раздался сочный тягучий голос:

— Милорд, я полагаю, что мой коллега не уполномочен задавать подобный вопрос.

— Милорд...

— Должен остановить вас, мистер Инстон.

— Подчиняюсь вашей воле. Мистер Корвен, вы человек горячий?

— Нет.

— И ваши поступки всегда более или менее обдуманно?

— Надеюсь.

— Даже когда эти поступки не совсем... благожелательны?

— Да.

— Понимаю. Уверен, что присяжные тоже понимают. А теперь, сэр, разрешите перейти к другому пункту. Вы утверждаете, что ваша жена встречалась с мистером Крумом на Цейлоне?

— Понятия не имею, встречались они или нет.

— Есть ли у вас лично сведения о том, что они встречались?

— Нет.

— Мой коллега сказал нам, что он представит доказательства, подтверждающие факт встреч...

Тягучий сочный голос прервал его:

— ...подтверждающие возможность встреч.

— Пусть так. У вас есть основания считать, что они воспользовались этой возможностью, сэр?

— Нет.

— Живя на Цейлоне, вы видели когда-нибудь мистера Крума или слышали о нем?

— Нет.

— Когда вы впервые узнали о существовании мистера Крума?

— Я увидел его в ноябре прошлого года в Лондоне, когда он выходил из дома, где жила моя жена, и я спросил у нее, кто это.

— Она старалась скрыть его имя?

— Нет.

— Это был единственный раз, когда вы видели мистера Крума?

— Да.

— Почему вы решили, что именно этот человек поможет вам развестись с женой?

— Я возражаю против такой постановки вопроса.

— Хорошо. Что побудило вас заподозрить в этом человеке возможного соответчика?

— Сведения, которые я получил на пароходе, возвращаясь в ноябре из Порт-Саида на Цейлон: это был тот же пароход, на котором моя жена и соответчик плыли в Англию.

— Что же именно вы узнали?

— Что они были все время вместе.

— Довольно обычное явление на пароходах, не правда ли?

— В благоразумных пределах — да.

— Вы знаете это по опыту?

— Пожалуй, нет.

— Что еще натолкнуло вас на подозрение?

— Стюардесса видела, как он выходил из каюты моей жены.

— В какое время дня или ночи?

— Незадолго до обеда.

— Я полагаю, что по делам службы вам неоднократно приходилось путешествовать морем?

— Да, неоднократно.

— А вам не приходилось замечать, что пассажиры нередко бывают друг у друга в каютах?

— Да, сплошь и рядом.

— И это всегда пробуждает в вас подозрения?

— Нет.

— Разрешите мне пойти дальше и подчеркнуть, что раньше это никогда не пробуждало в вас подозрений?

— Нет, не разрешаю.

— Вы по природе человек подозрительный?

— Не сказал бы.

— Или, может быть, ревнивый?

— По-моему — нет.

— Ваша жена намного моложе вас?

— На семнадцать лет.

— Однако вы не так стары и, конечно, понимаете, что в наше время молодые мужчины и женщины обращаются друг с другом с большой простотой, почти не считаясь с различием полов?

— Если вы хотите знать мой возраст, то мне сорок один год.

— Следовательно, вы человек послевоенного времени.

— Я участвовал в войне.

— Тогда вы, наверное, знаете, что многое, считавшееся до войны подозрительным, теперь совершенно утратило этот оттенок.

— Я знаю, что сейчас на все смотрят очень легко и просто.

— Благодарю вас. Вы имели основания в чем-нибудь подозревать вашу жену до того, как она ушла от вас?

Динни подняла глаза.

— Никогда.

— И вместе с тем такой пустяк, как то, что соответчик вышел из ее каюты, показался вам достаточным, чтобы установить за ней наблюдение?

— И это, и, кроме того, они были на пароходе неразлучны, и я видел его в Лондоне выходящим из дома, где она живет.

— Когда вы были в Лондоне, вы сказали ей, что она должна вернуться к вам или нести все последствия своего отказа?

— Не думаю, чтобы я употребил именно эти выражения.

— А какие же?

— По-моему, я сказал, что она имеет несчастье быть моей женой и не может вечно быть соломенной вдовой.

— Не очень изысканно сказано, не правда ли?

— Может быть.

— Следовательно, вы стремились использовать любой предлог, лишь бы от нее освободиться?

— Нет, я стремился к тому, чтобы она вернулась ко мне.

— Несмотря на ваши подозрения?

— В Лондоне у меня подозрений еще не было.

— Я предполагаю, что вы с ней дурно обращались и хотели освободиться от брака, унижавшего вашу гордость.

Тягучий сочный голос проговорил:

— Милорд, я протестую.

— Милорд, поскольку истец признал...

— Да, но очень многие мужья, мистер Инстон, совершают поступки, за которые они охотно извиняются.

— Как будет угодно вашей милости... Во всяком случае, вы организовали слежку за вашей женой. Когда именно вы распорядились начать эту слежку?

— Как только вернулся на Цейлон.

— Немедленно?

— Почти.

— Но это не свидетельствует о сильном стремлении вернуть к себе жену, не так ли?

— После того, что я узнал на пароходе, моя точка зрения резко изменилась.

— Ага, на пароходе. А вы не думаете, что с вашей стороны было не очень красиво выслушивать сплетни о вашей жене?

— Да, но она отказалась вернуться, и я должен был принять какое-нибудь решение.

— Ведь прошло всего два месяца с тех пор, как она ушла от вас?

— Более двух месяцев.

— Но меньше трех. Я думаю, вы и сами знаете, что фактически вынудили ее уйти от вас и затем воспользовались первым поводом, чтобы оградить себя от ее возвращения.

— Это не так.

— Должен верить вам на слово. Хорошо. А скажите, вы виделись с нанятыми вами сыщиками перед отъездом из Англии на Цейлон?

— Нет.

— Вы можете в этом присягнуть?

— Да.

— Как же вы их нашли?

— Я поручил это моим поверенным.

— О... значит, перед отъездом вы виделись с вашими поверенными?

— Да.

— Хотя в то время у вас не было никаких подозрений?

— Вполне естественно, что человек, уезжающий так далеко, видится перед отъездом со своими поверенными.

— Вы виделись с ними из-за вашей жены?

— Не только.

— А что именно вы говорили им о вашей жене?

Динни снова подняла глаза. В ней росло отвращение к этой травле, пусть даже это была травля противника.

— Я, кажется, сказал только, что она остается здесь у родителей...

— И больше ничего?

— Возможно, сказал также, что наши отношения осложнились.

— И больше ничего?

— Помню, я сказал: «Не знаю еще, чем все это кончится».

— Готовы ли вы присягнуть, что не сказали: «Может быть, придется за ней следить»?

— Готов.

— Присягнете ли вы в том, что ничем не навели их на мысль о вашем намерении с ней развестись?

— Не знаю, на какие мысли я их навел.

— Без уверток, сэр. Слово «развод» было сказано?

— Не помню.

— Не помните? Создалось или не создилось у них впечатление, что вы собираетесь подать в суд?

— Не знаю. Я сказал им, что наши отношения осложнились.

— Вы это уже говорили, но на мой вопрос так и не ответили.

Динни увидела, как судья вынул голову.

— Истец ответил, мистер Инстон, что он не знает, какое впечатление создилось у его поверенных. Чего вы добиваетесь?

— Суть этого дела, милорд,— и я рад, что могу сформулировать ее двумя словами,— состоит в том, что с того времени, как истец тем или

иным способом заставил свою жену уйти от него, он решил с ней развестись и был готов использовать любой предлог, лишь бы добиться развода.

— Что ж, вы можете вызвать его поверенного.

— Милорд!— недоуменно воскликнул Инстон.

— Продолжайте.

Динни наконец уловила в голосе Инстона какие-то заключительные интонации и с облегчением вздохнула.

— Несмотря на то что вы решили подать в суд на вашу жену на основании первой и единственной сплетни и что вы вдобавок предъявили иск к человеку, с которым даже слова никогда не сказали, вы хотите уверить присяжных, будто, несмотря на все это, вы терпеливый и благо-разумный супруг, у которого только одно желание — чтобы жена к нему вернулась?

Динни снова взглянула в лицо Корвена, еще более непроницаемое, чем всегда.

— Я ни в чем не собираюсь уверять присяжных.

— Отлично.

Позади нее зашелестел шелк мантии.

— Милорд,— заявил сочный тягучий голос,— раз мой коллега придает этому пункту такое значение, я вызову поверенного истца.

Перегнувшись к Динни, «юный» Роджер сказал:

— Дорнфорд приглашает вас всех пообедать с ним...

Динни почти ничего не ела, она ощущала какую-то странную тошноту. Хотя она испытывала гораздо большую тревогу и волнение во время процесса Хьюберта и расследования о смерти Ферза, теперь на душе у нее было еще тяжелее. Ей впервые открылось то злое начало, которое кроется в тяжбах между частными лицами. Постоянное стремление доказать, что противник — человек низкий, коварный и лживый, лежавшее в основе всех этих перекрестных допросов, совсем расстроило ее.

На обратном пути в суд Дорнфорд сказал:

— Я знаю, что вы чувствуете. Но не забудьте, здесь ведь идет своего рода игра: обе стороны играют по одним и тем же правилам, а судья следит, чтобы их не нарушали. Я иногда пытаюсь себе представить, как это организовать иначе, но ничего не могу придумать.

— Начинает казаться, что на свете нет ничего чистого.

— А я не уверен, есть ли.

— «Улыбка Чеширского кота наконец исчезла»¹,— пробормотала Динни.

— В судах она никогда не исчезает, Динни. Следовало бы изобразить ее над входом.

В результате ли этого короткого разговора с Дорнфордом или потому, что она стала привыкать, но во время дневного заседания, посвященного допросу и перекрестному допросу стюардессы и частных сыщиков, она уже не чувствовала себя так отвратительно. В четыре часа

¹ Цитата из книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», где фигурирует Чеширский кот, улыбка которого оставалась даже тогда, когда сам кот уже исчезал.

допрос истца и его свидетелей был закончен, и «юный» Роджер подмигнул ей, как бы говоря: «Сейчас суд удалится, и я нюхну табачку».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Сидя в такси на обратном пути в Саус-сквер, Клер хранила молчание, и только когда они поравнялись с Большим Беном, она вдруг сказала:

— Подумать только, Динни, он сунул голову в машину и смотрел на нас, когда мы спали! Или он это просто выдумал?

— Если бы он это выдумал, его рассказ звучал бы еще убедительнее.

— Ну конечно, моя голова лежала у Тони на плече. А почему бы и нет? Попробуй-ка, поспи в двухместной машине!

— Удивительно, как это свет его фонаря не разбудил вас.

— Вероятно, все-таки разбудил. Я помню, что много раз просыпалась — затекали ноги. Нет, самое глупое, Динни, что я в тот вечер после кино и ужина еще пригласила к себе Тони выпить чего-нибудь. Ужасно глупо было с нашей стороны даже не подумать о том, что за нами могут следить... Много публики было на суде?

— Да, а завтра, наверное, будет еще больше.

— Ты видела Тони?

— Только мельком.

— Зря я не послушалась твоего совета и не предоставила события их естественному течению. Если бы только я действительно любила его! Динни ничего не ответила.

В гостиной Флер сидела тетя Эм. Она поднялась навстречу Клер, хотела что-то сказать, но, видимо, спохватилась, внимательно посмотрела на племянницу и вдруг заявила:

— Не так уж хорошо. Терпеть не могу это выражение; у кого это я научилась? Расскажи про судью, Динни. У него длинный нос?

— Нет, но он сидит очень низко и как-то вдруг высовывает голову.

— Почему?

— Я не спрашивала его, дорогая.

Леди Монт повернулась к Флер.

— Можно подать Клер ужин в постель? А ты, детка, посиди подольше в ванне, потом ляг и не вставай до завтрашнего утра. Тогда завтра в суде ты будешь молодцом. Флер, ты тоже пойдись с ней, мне нужно поговорить с Динни.

Когда обе ушли, она подошла к камину, в котором пылали дрова.

— Динни, успокой меня. Почему у нас в семье происходят такие истории? Это так на нас не похоже... разве только твой прадедушка... А он с самого рождения был старше королевы Виктории.

— Ты хочешь сказать, что он был беспутным от природы?

— Да, играл, любил развлекаться и развлекать других. Его жена всю жизнь была мученицей. Шотландка. Как странно!

— Вероятно, потому мы такие добродетельные,— пробормотала Динни.

— То есть как — «потому»?

— Такое получилось сочетание.

— Нет, тут скорее дело в деньгах, — заметила леди Монт, — он их все растранижил.

— А было много?

— Да, все, что получали за хлеб.

— Грязные деньги.

— Его отец не виноват, что воевали с Наполеоном. У них было тогда шесть тысяч акров, а твой прадед оставил семье только тысячу сто.

— Главным образом леса.

— Там стреляли вальдшнепов... О процессе уже будет напечатано в вечерних газетах?

— Должно быть. Ведь Джерри — человек известный.

— Напишут не об ее платье, надеюсь. Тебе понравились при-
сажные?

Динни пожала плечами.

— Я не умею угадывать, что люди думают на самом деле.

— Как у собаки: пощупаешь нос — кажется, что он горячий, а она здорова. А что молодой человек?

— Он — единственный, кого мне действительно жаль.

— Да, — отозвалась леди Монт, — каждый мужчина прелюбодействует, но в сердце своем, а не в автомобилях.

— Важна не истина, а видимость, тетя Эм.

— Лоренс говорит: косвенные улики доказывают, что они совершили то, чего не совершали. Он считает, что это надежнее, а иначе, если они этого не делали, можно доказать, что делали. Разве это хорошо, Динни?

— Нет, дорогая.

— Ну, мне пора домой, к твоей матери. Она ничего не ест — сидит, читает и очень бледна. А Кон и близко не подходит к своему клубу. Флер хочет, чтобы мы с ними поехали в их машине в Монте-Карло, когда все кончится. Она уверяет, что мы будем там в своей стихии и что Риггс может держаться правой стороны, когда он об этом вспомнит.

Динни покачала головой.

— Нет ничего лучше собственной норы, тетечка.

— Я не люблю ползать, — отозвалась леди Монт. — Поцелуй меня. И поскорее выходи замуж.

Она выплыла из комнаты, а Динни подошла к окну и стала смотреть на сквер.

До чего все одержимы одной мыслью! Тетя Эм, дядя Адриан, отец и мать, Флер, даже Клер — все только одного и желают, чтобы она вышла за Дорнфорда и с этим вопросом было покончено.

«И зачем это им? Откуда берется инстинктивное желание непременно толкать людей друг к другу в объятия? Если я и так приношу людям пользу, разве брак что-нибудь прибавит? «Дабы размножить род твой», — оттого что жизнь человеческого рода должна продолжаться. А зачем ей продолжаться? Никто сейчас иначе не называет жизнь, как «проклятой». Одна надежда — на «страшный новый мир». Или на като-

лическую церковь,— продолжала Динни свои размышления.— Но я ни в то, ни в другое не верю».

Она открыла окно и облокотилась на подоконник. Около нее заужжала муха; Динни отогнала ее, но муха сейчас же возвратилась. Мухи! Они тоже существуют ради какой-то цели. Но ради какой? Пока они живы,— они живы, а когда мертвы,— мертвы, но не «живы наполовину». Она еще раз отогнала муху, и та больше не вернулась.

Сзади еще голос Флер произнес:

— Тебе тут не слишком свежо, дорогая? Видела ты когда-нибудь такую весну? Впрочем, я говорю это каждый май. Пойдем выпьем чаю. Клер сидит в ванне, и такая хорошенькая с чашкой в одной руке и сигаретой — в другой. Надеюсь, завтра все кончится?

— Твой двоюродный брат обещает.

— Он придет ужинать. К счастью, его жена в Дройтвиче.

— Почему «к счастью»?

— Ну, знаешь, это ведь жена! Если он захочет поговорить с Клер, я пошлю его к ней,— к тому времени она уже выйдет из ванны. Хотя он может с таким же успехом поговорить и с тобой. Как ты думаешь, Клер будет хорошо держаться на суде?

— Кто в состоянии там хорошо держаться?

— Отец говорил, что я хорошо держалась, но он был пристрастен. И про тебя следовательно говорил, что ты вела себя молодцом во время расследования смерти Ферза.

— Тогда не было перекрестного допроса. А Клер нетерпелива.

— Скажи ей, чтобы перед каждым ответом считала до пяти и поднимала брови, это взбесит Броу...

— Его голос может довести до сумасшествия,— сказала Динни.— И потом, он делает такие паузы, словно у него впереди весь день.

— Да, обычный трюк. Вообще все это удивительно напоминает инквизицию. Как тебе нравится защитник Клер?

— Если бы я была противной стороной, я бы его возненавидела.

— Значит, он хорош. Но какова же мораль всего этого, Динни?

— Не выходить замуж.

— Немножко преждевременно, пока мы не научились выводить детей в бутылках. Тебе никогда не приходило в голову, что в основе цивилизации лежит инстинкт материнства?

— А я думала — земледелие...

— Под цивилизацией я разумею все, что является не только выражением силы.

Динни взглянула на свою столь циничную и порой столь легкомысленную кузину; Флер стояла перед ней такая спокойная, изящная, с таким безукоризненным маникюром, что ей стало стыдно.

Вдруг Флер сказала:

— А ты — ужасно милая.

За столом Клер отсутствовала, ей подали ужин в постель. Был приглашен только один гость — «юный» Роджер, и ужин прошел довольно оживленно. Роджер рассказывал, как его семейство переживало повышение налогов, и рассказывал очень занятно. Его дядя, Томас Форсайт, оказывается, поселился на Джерси, но уехал оттуда возмущенный, когда

там тоже заговорили о местном налоге. Он тогда написал об этом в «Таймс» под псевдонимом «Индивидуалист», распродал все свои акции и поместил деньги в свободные от налогов бумаги, которые давали ему несколько меньше дохода, чем ценные бумаги, подлежащие налоговому обложению. Во время последних выборов он голосовал за национальную коалицию, а с тех пор, как утвержден был новый бюджет, присматривает себе новую партию, чтобы с чистой совестью голосовать за нее при следующих выборах. Теперь он живет в Борнмаусе.

— Он замечательно сохранился,— закончил Роджер.— Ты что-нибудь понимаешь в пчеловодстве, Флер?

— Однажды я села на пчелу.

— А вы, мисс Черрел?

— Мы их разводим.

— Будь вы на моем месте, вы занялись бы ими?

— А где вы живете?

— За Хетфилдом. Там кругом очень неплохие поля клевера. Пчелы привлекают меня теоретически: они живут цветами и клевером, принадлежащим другим людям, а если найдешь рой, его можно взять себе. Но каковы минусы пчеловодства?

— Если они роятся на чужой земле, девять шансов из десяти за то, что вы их лишитесь; и потом, вы должны кормить их всю зиму. Кроме того, на них уходит масса времени и забот, да они еще и жалат.

— Это-то ничего,— пробормотал «юный» Роджер,— ими занялась бы моя жена,— он подмигнул одним глазом,— у нее ревматизм. Говорят, пчелиный яд — лучшее лекарство.

— Сначала убедитесь в том, что они будут кусать ее,— заметила Динни.— Вы не заставите пчел кусать тех, кого они любят.

— В крайнем случае можно на них садиться,— пробормотала Флер.

— Нет, серьезно,— продолжал Роджер.— Пять-шесть укусов были бы ей, бедняжке, очень полезны.

— Почему вы стали юристом, Форсайт?— вдруг вмешался Майкл.

— Ну, на войне я получил ранение, и надо было найти себе какую-нибудь «сидячую» профессию. И потом, знаете, в каком-то смысле мне это дело нравится. Я думаю, что...

— Ясно,— отозвался Майкл.— У вас был дядя, которого звали Джордж?

— Старик Джордж? Еще бы! Когда я учился в школе, он обычно давал мне десять шиллингов и подсказывал, на какую лошадь ставить.

— И вы хоть раз выиграли?

— Ни разу.

— Ну так скажите нам откровенно: кто завтра выиграет процесс?

— Говоря откровенно,— отвечал адвокат, глядя на Динни,— все зависит от вашей сестры, мисс Черрел. Показания свидетелей Корвена произвели впечатление. Они не перегибали палку и пока не опровергнуты. Однако если леди Корвен не растеряется и будет держать себя в руках, может быть, мы и добьемся своего. Если же ее правдивость будет подвергнута сомнению хотя бы в одном пункте, тогда...— Он пожал плечами и сразу, как показалось Динни, постарел.— Есть среди присяжных два-три субъекта, которые мне не нравятся. Во-первых, стар-

шина. Обыватель, знаете ли, всегда против жены, бросающей мужа без предупреждения... Было бы гораздо лучше, если бы ваша сестра рассказывала о своей брачной жизни. Еще не поздно.

Динни покачала головой.

— Ну, в таком случае, это в значительной мере вопрос ее личного обаяния. Люди вообще не любят, когда «нет кота в доме, а мыши ходят по столу».

Динни легла в постель с тяжелым сердцем: опять ей придется быть свидетельницей человеческих страданий.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Время идет, а суд остается все таким же каменным, неизменным. Люди делают те же жесты, садятся на те же места; и в зале суда выделяются те же испарения, не очень сильные, но достаточные, чтобы отравить воздух.

На второй день процесса Клер была в черном, с одним только узким зеленым пером на маленькой, плотно прилежавшей черной шляпке. Бледная, с едва тронутыми краской губами, она сидела так неподвижно, что с ней, казалось, невозможно и заговорить. Слова «Развод в высшем обществе» и сенсационный заголовок «Ночь в автомобиле» возымели свое действие,— зал был набит битком. Динни увидела Тони Крума, он сидел позади своего защитника. Она отметила также, что насморк женщины с птичьим носом сегодня как будто не так силен, а старшина не сводит с Клер своих птичьих глаз. Судья сидел, казалось, еще ниже, чем вчера. Услышав голос Инстона, он приподнялся.

— Итак, милорд и господа присяжные, разрешите заявить, что ответом на обвинение в прелюбодеянии между ответчицей и соответчиком будет простое и полное отрицание этого обвинения. Вызываю ответчицу.

Динни подняла глаза на сестру, и ей показалось, будто она видит ее в первый раз. Клер, следуя совету Дорнфорда, стала в глубине под навесом, и падавшая на нее тень делала ее лицо отрешенным и таинственным. Однако ее голос был звонок, и только Динни могла уловить в нем какую-то напряженность.

— Это правда, леди Корвен, что вы неверны мужу?

— Нет, неправда.

— Вы готовы в этом присягнуть?

— Готова.

— Между вами и мистером Крумом не было никаких любовных отношений?

— Никаких.

— Вы готовы и в этом присягнуть?

— Готова.

— Было сказано, что...

Динни сидела и слушала, как вопрос следовал за вопросом, не сводя глаз с сестры, удивляясь отчетливости, с какой Клер выговаривает слова, и непоколебимому спокойствию ее лица и всей фигуры. Сегодня голос Инстона звучал настолько иначе, чем вчера, что Динни едва узнала его.

— А теперь, леди Корвен, я хотел бы задать вам еще один вопрос, но, перед тем как ответить на него, прошу вас принять во внимание, что от вашего ответа зависит очень многое. Почему вы ушли от мужа? Динни увидела, как голова ее сестры чуть откинулась назад.

— Я ушла от него потому, что, оставшись с ним, перестала бы уважать себя.

— Так. Но не можете ли вы сказать нам, почему именно? Вы не совершили ничего такого, чего могли бы стыдиться?

— Нет.

— Ваш муж признал, что за ним есть один проступок... и что он просил у вас прощения.

— Да.

— Что же он сделал?

— Простите меня. Я органически не могу говорить о своей жизни с мужем.

Динни услышала шепот отца: «Ей-богу, она права», увидела, как судья высунул голову; его лицо было повернуто к ответчице, губы полураскрыты.

— Насколько я понял, вы сказали, что не могли оставаться с мужем, не теряя уважения к себе?

— Да, милорд.

— И вы считаете, что, уйдя от него вот так, вы не теряете уважения к себе?

— Нет, не теряю, милорд.

Судья слегка приподнялся всем корпусом и стал поворачивать голову из стороны в сторону, словно стараясь, чтобы его слова были обращены не к определенному лицу, а в пространство:

— Что ж, мистер Инстон... Не думаю, чтобы имело смысл настаивать на этом пункте. Ответчица, видимо, твердо решила не отвечать.

Его глаза, скрытые под опущенными веками, словно продолжали следить за чем-то невидимым.

— Если вашей милости угодно... Еще раз, леди Корвен, вы отрицаете прелюбодеяние с мистером Крумом?

— Решительно отрицаю.

— Благодарю вас.

Динни глубоко вздохнула и приготовилась — сейчас наступит пауза, а затем раздастся тягучий голос.

— А разве вы, замужняя женщина, не считаете прелюбодеянием то, что вы принимали молодого мужчину у себя в каюте, оставались с ним наедине в своей квартире в половине двенадцатого ночи, провели с ним ночь в автомобиле и всюду бывали с ним в отсутствие вашего мужа?

— Само по себе это не прелюбодеяние.

— Прекрасно. Вы утверждаете, что до знакомства на пароходе никогда с соответчиком не встречались. Можете вы тогда объяснить, почему со второго же дня вашего пребывания на пароходе вы уже были с ним необычайно дружны?

— Сначала я не была с ним дружна.

— Ну как же! Все время вместе, верно?

— Часто, но не все время.

- Часто, но не все время,— со второго дня?
- Да, пароход есть пароход.
- Совершенно верно, леди Корвен. И вы никогда до тех пор с ним не встречались?
- Насколько мне известно — нет.
- Цейлон ведь не так уж необъятен, и круг общества там ограничен?
- Да.
- Состязания в поло, в крикет и другие развлечения... ведь на них постоянно бывают одни и те же лица?
- Да.
- И все-таки вы никогда не встречали мистера Крума? Странно, не правда ли?
- Вовсе нет. Мистер Крум жил на плантации.
- Но он, вероятно, играл в поло?
- Да.
- А вы, как известно, ездите верхом и вообще интересуетесь спортом?
- Да.
- И все-таки вы с ним не встречались?
- Я уже сказала, что нет. Вы можете спрашивать меня до завтра, я буду отвечать то же самое.
- Динни перевела дыхание. Перед ней на мгновение мелькнул образ Клер в детстве, когда ее спрашивали про Оливера Кромвеля.
- А сочный голос продолжал:
- Вы, вероятно, не пропускали в Канди ни одного состязания в поло?
- Нет, старалась не пропускать.
- И однажды вы принимали у себя участников состязания?
- Динни увидела, что Клер нахмурилась.
- Да.
- Когда это было?
- Кажется, в июне прошлого года.
- Мистер Крум тоже был среди участников, не правда ли?
- Если и был, то я его не видела.
- Принимали его у себя, но не видели?
- Не видела.
- Разве хозяйки дома в Канди обычно не замечают своих гостей?
- Насколько я помню, было очень много народу.
- А теперь взгляните, леди Корвен, на программу этого состязания,— может быть, она освежит вашу память.
- Я прекрасно помню это состязание.
- Но вы не помните мистера Крума ни на площадке, ни потом, у вас в доме?
- Нет, не помню. Я очень интересовалась игрой местной команды, а потом было слишком много народу. Если бы я его помнила, я бы сразу так и сказала.
- Динни почувствовалось, что прошло бесконечно много времени, прежде чем последовал новый вопрос.

— Я все же предполагаю, что вы встретились на пароходе не как чужие?

— Вы можете предполагать, что угодно, но это не так.

— Это вы так говорите.

Уловив шепот отца: «Черт бы его побрал!»— Динни коснулась плечом его плеча.

— Вы слышали показания стюардессы? Это был единственный раз, когда ответчик приходил к вам в каюту?

— Единственный, когда он зашел больше чем на минутку.

— А он заходил еще?

— Раз или два, чтобы взять или вернуть книгу.

— А тогда он пробыл у вас... сколько времени? Полчаса?

— Минут двадцать.

— Двадцать минут... И что же вы делали?

— Я показывала ему фотографии.

— А почему же не на палубе?

— Не знаю.

— Вам не пришло в голову, что это нескромно?

— Я об этом не думала. У меня было множество любительских фотографий и карточек моих родных.

— Но не было ничего, что вы не могли бы показать ему в гостиной или на палубе?

— Думаю, что нет.

— Вы, вероятно, надеялись, что никто этого не заметит?

— Повторяю, я об этом не думала.

— Кто из вас предложил пойти к вам в каюту?

— Я предложила.

— А вы знали, что ваше положение очень двусмысленно?

— Да, но никто, кроме меня, этого не знал.

— Ведь вы могли показать ему карточки где угодно? Не думаете ли вы, что поступили довольно странно, решаясь на столь компрометирующий поступок, и притом без всякого основания?

— Показать их в каюте было всего проще. Кроме того, это были семейные фотографии.

— И вы, леди Корвен, хотите нас уверить, что между вами за эти двадцать минут решительно ничего не произошло?

— Перед уходом он поцеловал мне руку.

— Это уже кое-что, но не ответ на мой вопрос.

— Не было ничего такого, что могло бы удовлетворить вас.

— Как вы были одеты?

— К сожалению, вынуждена сообщить вам, что была совершенно одета. Милорд, могу я попросить, чтобы меня оградил от подобных острот?

Динни была восхищена тем спокойствием, с каким судья сказал:

— Отвечайте, пожалуйста, только на вопросы.

— Хорошо, милорд.

Клер вышла из-под навеса и стояла теперь у самого барьера, положив на него руки. На ее щеках выступили красные пятна.

— Вы, вероятно, стали любовниками еще на пароходе?
— Нет, и никогда не были.
— Когда вы снова увидели соответчика, после того как сошли на берег?

— Примерно через неделю.
— Где?
— Недалеко от имения моих родителей в Кондафорде.
— Что вы в это время делали?
— Я ехала в машине.
— Одна?
— Да, я занималась предвыборной вербовкой голосов и возвращалась домой пить чай.

— А соответчик?
— Он был в своей машине.
— Что же он, так с неба и свалился?
— Милорд, прошу оградить меня от подобных острот!
Динни услышала, как в публике захихикали, затем раздался голос судьи, который, казалось, опять обращался в пространство:

— Какой мерой мерите, такой и вам отмерится, мистер Броу.
Хихиканье усилилось. Динни не могла удержаться и взглянула на Броу. Его красивое лицо было какого-то неопишемого винно-багрового цвета. Черты «юного» Роджера выражали и удовольствие и озабоченность.

— Каким образом соответчик очутился на этой глухой дороге в пятидесяти милях от Лондона?

— Он ехал повидать меня.
— Вы это признаете?
— Так он сказал мне.
— Можете вы повторить нам точно его слова?
— Не могу, но я помню, что он попросил разрешения поцеловать меня.

— И вы разрешили?
— Да. Я высунула голову из машины, он поцеловал меня в щеку, вернулся к своей машине и уехал.

— И все-таки вы утверждаете, что не стали любовниками еще на пароходе?

— В вашем смысле не стали. Я не отрицаю, что он любит меня,— так по крайней мере он мне сказал.

— Вы утверждаете, что вы в него не влюблены?
— Боюсь, что не влюблена.
— Но вы позволили ему поцеловать себя?
— Мне было жаль его.
— И вы считаете, что так подобает вести себя замужней женщине?
— Может быть, и нет. Но с тех пор как я ушла от мужа, я себя замужней женщиной не считаю.

— Ах вот как?

Динни почудилось, что эти слова произнес весь зал. «Юный» Роджер вынул руку из кармана; он внимательно посмотрел на извлеченный оттуда предмет и положил его обратно. Приветливое лицо женщины, похожей на экономку, нахмурилось.

- А что вы делали после того, как он вас поцеловал?
- Поехала домой пить чай.
- И чувствовали себя очень хорошо?
- Даже превосходно.
- Снова раздались смешки. Судья повернулся в ее сторону.
- Вы говорите серьезно?
- Да, милорд. Я хочу быть абсолютно правдивой. Даже если женщина сама не любит, она всегда благодарна за любовь.
- Судья опять вернулся к созерцанию чего-то невидимого, находившегося над головой Динни.
- Продолжайте, мистер Броу.
- Когда и где произошла ваша следующая встреча с соответчиком?
- В доме моей тетки, в Лондоне. Я гостила тогда у нее.
- Он пришел к вашей тетке?
- Нет, к дяде.
- В этот раз он опять поцеловал вас?
- Нет. Я сказала, что если он хочет видаться со мной, то наши встречи должны быть платоническими.
- Очень удобное слово.
- А как же сказать иначе?
- Вы здесь не для того, чтобы задавать мне вопросы, сударыня. Что он вам на это ответил?
- Что сделает все, как я хочу.
- Он виделся с вашим дядей?
- Нет.
- Это и было в тот раз, когда ваш муж заметил его выходящим из дома, где были вы?
- Вероятно.
- Ваш муж пришел сейчас же после ухода соответчика?
- Да.
- Он виделся с вами и спросил, кто этот молодой человек?
- Да.
- И вы сказали ему?
- Да.
- Кажется, вы называли соответчика «Тони»?
- Да.
- Это его настоящее имя?
- Нет.
- Что же это, особое ласкательное имя, которое ему дали вы?
- Вовсе нет. Его все так зовут.
- А он звал вас, вероятно, Клер или «милая»?
- И так, и так.
- Судья снова возвел глаза к чему-то невидимому.
- Современные молодые мужчины и женщины сплошь и рядом зовут друг друга «милыми», мистер Броу.
- Я знаю об этом, милорд... Вы тоже звали его «милый»?
- Возможно, но вряд ли.
- Вы были с мужем наедине в тот раз?
- Да.

- Как вы держали себя с ним?
- Холодно.
- Вы ведь только что расстались с соответчиком?
- Одно не имеет никакого отношения к другому.
- Ваш муж просил вас вернуться к нему?
- Да.
- И вы отказались?
- Да.
- И этот отказ тоже не имел никакого отношения к соответчику?
- Нет.
- И вы серьезно пытаетесь уверить присяжных, леди Корвен, что ваши отношения с соответчиком, или, если угодно, ваши чувства к соответчику, не играли никакой роли в вашем отказе вернуться к мужу?
- Никакой.
- А теперь посудите сами: вы провели три недели в теснейшем общении с этим молодым человеком; вы позволили ему поцеловать себя и чувствовали себя после этого превосходно; вы только что с ним расстались; вы знали о его чувствах к вам и вы хотите уверить присяжных, что это не повлияло на ваш отказ вернуться к мужу.
- Клер склонила голову.
- Отвечайте, пожалуйста.
- Думаю, что нет.
- Не очень естественно, не правда ли?
- Не понимаю, что вы хотите сказать.
- А то, леди Корвен, что присяжным будет трудно вам поверить.
- Я не могу заставить их поверить, я могу только говорить правду.
- Хорошо. А когда произошла ваша следующая встреча с соответчиком?
- На другой день вечером. Затем он пришел и на следующий вечер, в еще не обставленную квартиру, куда я собиралась переехать, и помогал мне красить стены.
- Несколько необычно, не правда ли?
- Возможно. Но у меня не было денег, а он покрасил сам свое бунгало на Цейлоне.
- Так. Чисто дружеская услуга с его стороны. Скажите, а в течение тех часов, которые вы провели вместе, между вами не было никаких любовных отношений?
- Между нами их никогда не было.
- В котором часу он ушел от вас?
- Мы оба раза вышли вместе в девять часов, чтобы поесть.
- А после этого?
- Я возвращалась к тетке.
- И перед тем вы никуда не заходили?
- Никуда.
- Хорошо. Вы виделись с вашим мужем, прежде чем ему пришлось уехать обратно на Цейлон?
- Да, дважды.
- Где в первый раз?

- У меня на квартире. Я тогда уже переехала.
- Вы сказали ему, что соответчик помогал вам красить стены?
- Нет.
- Почему же?
- А почему я должна была говорить ему об этом? Я ничего моему мужу не говорила, кроме того, что я не вернусь. Я считала свою жизнь с ним конченной.
- Просил ли он вас опять, при этом вашем свидании с ним, вернуться к нему?
- Да.
- И вы отказались?
- Да.
- В оскорбительной форме?
- Простите, я не понимаю.
- Грубо?
- Нет, просто.
- Подал ли вам муж повод думать, что он хочет с вами развестись?
- Нет. Но я его намерений не знала.
- А вы, как видно, тоже не посвящали его в свои?
- Старалась посвящать как можно меньше.
- Это была бурная встреча?
- Динни задержала дыхание. Румянец на щеках Клер погас, лицо побледнело и осунулось.
- Нет, грустная и тягостная, я не хотела видеть его.
- Ваш защитник сказал, что ваш муж с того дня, как вы уехали от него, решил развестись с вами при первой же возможности, так как гордость его была задета. У вас тоже сложилось такое впечатление?
- У меня не было и нет никакого впечатления. Возможно. Я не знаю, что он может подумать.
- Хотя прожили с ним почти полтора года?
- Да.
- Но как бы то ни было, вы опять категорически отказались вернуться?
- Да, я уже говорила.
- Считаете ли вы, что он действительно желал вашего возвращения, когда просил вас об этом?
- В ту минуту — да.
- Виделись вы с ним еще до его отъезда?
- Да, одну-две минуты, но не наедине.
- В чьем присутствии?
- Моего отца.
- И он опять просил вас вернуться?
- Да.
- И вы отказались?
- Да.
- После этого ваш муж, перед отъездом из Лондона, прислал вам записку и снова предложил уехать с ним?
- Да.
- И вы не согласились?

- Нет.
- А теперь разрешите напомнить вам число, гм... третье января (Динни облегченно вздохнула), то есть день, проведенный вами от пяти часов пополудни и почти до полуночи с соответчиком. Вы отрицаете это?
- Нет, не отрицаю.
- И никаких любовных эпизодов?
- Только один. Он не видел меня около трех недель, и когда он пришел в пять часов пить чай, то поцеловал меня в щеку.
- Ах, опять в щеку? Только в щеку?
- Да, к сожалению.
- Вероятно, об этом сожалел и он.
- Допускаю.
- И после такой разлуки вы провели первые полчаса за чаепитием?
- Да.
- Ваша квартира находится, кажется, в бывшей конюшне, одна комната внизу, затем лестница и комната наверху, где вы спите?
- Да.
- И ванная? Вы же, наверное, не только пили чай, но и беседовали?
- Да.
- Где?
- В нижней комнате.
- И затем вы, беседуя, пошли вместе в Темплъ, потом в кино и обедать в ресторан, где продолжали беседовать, потом взяли такси и, беседуя, поехали к вам на квартиру?
- Совершенно правильно.
- А потом, проведя с ним около шести часов, вы решили, что вам еще многое нужно сказать друг другу, так что понадобилось пригласить его к себе, а он пошел?
- Да.
- Ведь это было уже в двенадцатом часу?
- Я думаю — в начале двенадцатого.
- И сколько же времени он на этот раз у вас пробыл?
- Около получаса.
- Никаких эпизодов?
- Никаких.
- Рюмка вина, одна-две сигареты, еще немного поболтали, и все?
- Вот именно.
- О чем же вы столько часов беседовали с этим молодым человеком, пользовавшимся привилегией целовать вас в щеку?
- Ну о чем люди обычно разговаривают?
- Вот я вас и спрашиваю.
- Говорили обо всем и ни о чем.
- Поточнее, пожалуйста.
- О лошадях, фильмах, театре, о моих родных, о его родных... право, уж не помню.
- И старательно избегали любовных тем?
- Да.
- Строго платонические отношения с начала и до конца?
- Да.

— И вы хотите, леди Корвен, уверить нас в том, что этот молодой человек, который, по вашему же признанию, в вас влюблен и не видел вас перед тем почти три недели, ни разу не поддался своим чувствам?

— Кажется, он раз или два сказал мне, что любит меня. Но все время был неуклонно верен своему обещанию.

— Какому обещанию?

— Не добиваться моей любви. Любить человека — не преступление, это только несчастье.

— Вы говорите очень прочувствованно... по собственному опыту?

Клер не ответила.

— И вы серьезно утверждаете, что вы в этого молодого человека не были влюблены и не влюблены теперь?

— Я его очень люблю, но не в вашем смысле.

В Динни вдруг вспыхнуло горячее сочувствие к юноше, который должен был все это выслушивать. Ее щеки вспыхнули, голубые глаза остановились на лице судьи. Судья только что кончил записывать ответ Клер и вдруг зевнул. Это был зевок старика, и такой долгий, что, казалось, он никогда не кончится. Ее настроение вдруг изменилось, в ней проснулась какая-то жалость: судья ведь тоже вынужден изо дня в день выслушивать бесконечные попытки людей очернить друг друга и должен сводить эти попытки на нет.

— Вы слышали показание сыщика относительно того, что после вашего возвращения с соответчиком из ресторана в верхней комнате вашей квартиры горел свет? Что вы на это скажете?

— Да, горел. Мы там сидели.

— Почему там, а не внизу?

— Там гораздо теплее и уютнее.

— Это ваша спальня?

— Нет, гостиная. У меня нет спальни. Я сплю на кушетке.

— Понятно. И тут вы пробыли с соответчиком с начала двенадцатого почти до двенадцати?

— Да.

— И вы считаете, что в этом нет ничего дурного?

— Ничего. Но думаю, что это было крайне неосмотрительно.

— Вы хотите сказать, что не поступили бы так, зная, что за вами следят?

— Конечно.

— Почему вы сняли именно эту квартиру?

— Из-за дешевизны.

— Не правда ли, как это неудобно — не иметь ни спальни, ни помещения для прислуги, ни швейцара?

— Это роскошь, за которую надо платить.

— Значит, вы не потому сняли эту квартиру, что у вас там не могло быть свидетелей?

— Нет, у меня едва хватает средств на жизнь, а квартира эта очень дешевая.

— И когда вы ее снимали, мысль о соответчике не приходила вам в голову!

— Нет, не приходила.

— Даже отдаленно?

— Милорд, я уже ответила.

— Я полагаю, она уже ответила, мистер Броу.

— После этого вы виделись с соответчиком постоянно?

— Нет, изредка. Он жил за городом.

— Понятно... и приезжал навещать вас?

— Когда он приезжал в город — раза два в неделю, — мы всегда виделись.

— А когда вы бывали вместе, что вы делали?

— Ходили на выставки, в кино, один раз были в театре, обычно вместе ужинали.

— Вы знали, что за вами следят?

— Нет.

— Он бывал у вас на квартире?

— Не был до третьего февраля.

— Да, это тот день, о котором я главным образом и собираюсь вас спрашивать.

— Я так и думала.

— Так и думали? Этот день и эта ночь навсегда остались у вас в памяти?

— Я очень хорошо их помню.

— Мой коллега спрашивал вас подробно о событиях этого дня, и, по-видимому, кроме нескольких часов, когда вы осматривали Оксфорд, вы провели почти все время в машине. Это верно?

— Да.

— Машина была двухместная, милорд, с откидным задним сиденьем.

Судья встрепенулся.

— Я никогда не ездил в них, мистер Броу, но знаю, что это такое.

— Просторная, удобная машина?

— Да.

— Вероятно, закрытая?

— Да, она не открывалась.

— Мистер Крум вел машину, а вы сидели рядом с ним?

— Да.

— Вы говорили, что, когда возвращались из Оксфорда, фары погасли, — это произошло примерно в половине одиннадцатого, в лесу, милях в четырех от Хенли?

— Да.

— Авария?

— Конечно.

— Вы осмотрели батарею?

— Нет.

— А вы знали, когда и как она была перед тем заряжена?

— Нет.

— Вы видели, как она была перезаряжена?

— Нет.

— Почему же вы сказали «конечно»?

— Если вы предполагаете, что мистер Крум нарочно...

- Отвечайте, пожалуйста, на мой вопрос.
- Я и отвечаю: мистер Крум не способен на такую грязную проделку.
- Ночь была темная?
- Очень.
- А лес большой?
- Да.
- Словом, выбрано самое подходящее место на всем пути из Оксфорда в Лондон?
- Выбрано?
- Да, если человек предполагал провести ночь в автомобиле.
- Но это предположение чудовищно!
- Не важно, леди Корвен. Вы лично считаете, что фары погасли случайно?
- Разумеется.
- А что сказал мистер Крум, когда они погасли?
- По-моему, он сказал: «Э-ге! Кажется, фары выбыли из строя».
- Он вылез и стал их осматривать.
- У него был с собой фонарь?
- Нет.
- И было совершенно темно? Как же он это сделал? Вы не удивились?
- Нет. Он зажег спичку.
- Что же оказалось?
- Кажется, он сказал, что перегорела какая-то проволока.
- Затем вы сообщили нам, что он попытался все же ехать дальше и два раза сбивался с дороги. Было, наверно, очень темно?
- Да, хоть глаз выколи.
- Помните, вы сказали, что именно вы предложили провести ночь в автомобиле?
- Да, я.
- После того как мистер Крум предлагал другие выходы?
- Да. Он предложил идти пешком до Хенли, где хотел достать фонарь, и вернуться к машине.
- Ему очень этого хотелось?
- Хотелось? Не очень.
- Он не настаивал?
- Н... нет.
- Как вы думаете, предлагая этот план, он имел в виду выполнить его?
- Конечно, да.
- Вы вообще вполне верите мистеру Круму?
- Вполне.
- Так! Вы слышали выражение «вынужденный ход»?
- Да.
- Вам известно его значение?
- Это когда человека заставляют взять именно ту карту, которая выгодна его противнику.
- Вот именно.

— Если вы предполагаете, что мистер Крум хотел заставить меня предложить, чтобы мы остались в машине, то вы глубоко заблуждаетесь; это недостойное предположение!

— Почему вы решили, леди Корвен, что у меня возникло такое предположение? Разве и у вас была эта мысль?

— Нет. Когда я заговорила о том, чтобы остаться в машине, мистер Крум был очень смущен.

— Ах вот как! В чем же это выразилось?

— Он спросил, доверяю ли я ему? Мне пришлось сказать, что он слишком старомоден. Разумеется, я доверяла ему.

— Доверяли в том, что он будет в точности следовать вашим желаниям?

— В том, что он не будет домогаться моей любви. И я каждый раз, встречаясь с ним, доверяла ему.

— А до того вы с ним ночей не проводили?

— Конечно, нет.

— Вы очень часто пользуетесь словом «конечно» и, по-моему, без достаточных оснований. Ведь вы неоднократно имели возможность провести с ним ночь и на пароходе, и у вас на квартире, где вы живете совершенно одна!

— Безусловно. Но я этой возможностью не пользовалась.

— Допустим. Но если верить вам, то не странно ли, что именно в данном случае вы решили поступить иначе?

— Нет. Я думала, что это будет занято.

— Занято? А вместе с тем вы же знали, что мистер Крум в вас страстно влюблен?

— Потом я пожалела: это было по отношению к нему нехорошо.

— Неужели, леди Корвен, вы надеетесь убедить нас в том, что вы, опытная замужняя женщина, действительно не понимали, какому невыносимому испытанию его подвергаете?

— Я поняла позднее и ужасно пожалела.

— Ах, позднее... А я имею в виду — раньше.

— Боюсь, что я не понимала.

— Напоминаю вам о присяге. Вы продолжаете утверждать, что ночью третьего февраля в этом темном лесу между вами ничего не произошло ни в автомобиле, ни вне его?

— Продолжаю.

— Вы слышали показания сыщика о том, что, когда он, около двух часов утра, подкрался к машине и заглянул в нее, то увидел при свете своего фонаря, что вы оба спите и ваша голова покоится на плече соответчика?

— Да, слышала.

— Это правда?

— Если я спала, то как я могу знать? Впрочем, вполне вероятно. Я положила ему голову на плечо еще до того, как заснула.

— Вы признаетесь в этом?

— Конечно. Так было гораздо удобнее. И я спросила у него, можно ли.

— И он, конечно, сказал, что можно?

— Мне показалось, что вы против слова «конечно».. Да, он сказал — «можно».

— Какое необыкновенное умение владеть собой у этого влюбленного в вас молодого человека, не правда ли?

— С той ночи я считаю, что да.

— Но вы должны были знать об этом уже тогда, если вы говорите правду. Но правду ли вы говорите, леди Корвен? Ведь это совершенно неправдоподобно?

Динни увидела, как сестра стиснула руками перила, волна румянца залила ее щеки, потом отхлынула. Клер ответила:

— Может быть, и неправдоподобно, но это чистая правда. Все, что я здесь говорила, — правда.

— А утром вы проснулись как ни в чем не бывало и сказали: «Теперь поедем домой и позавтракаем?» И вы поехали? К себе на квартиру?

— Да.

— Сколько же времени он у вас пробыл на этот раз?

— Около получаса или немного больше.

— И все та же полная невинность отношений?

— Все та же.

— А на другой день вы получили извещение о бракоразводном иске?

— Да.

— Вы были удивлены?

— Да.

— Уверенная в своей полной невинности, вы почувствовали себя оскорбленной?

— Когда я все продумала — нет.

— Все продумали? Что вы имеете в виду?

— Я вспомнила, что мой муж предупреждал меня, чтобы я была осторожна, и поняла, как глупо было с моей стороны не подумать о возможной слежке.

— Скажите мне, леди Корвен, почему вы решили защищаться?

— Потому что, как бы ни выглядели факты, мы ни в чем не виноваты.

Динни увидела, что судья посмотрел в сторону Клер, записал ответ, поднял перо и заговорил:

— В ту ночь вы ехали по шоссе. Что помешало вам остановить другую машину и ехать за ней до Хенли?

— Мы почему-то не сообщили, милорд. Я попросила мистера Крума поехать за какой-нибудь машиной, но они мчались слишком быстро.

— А разве вы не могли дойти пешком до Хенли, оставив машину в лесу?

— Да, но мы дошли бы до Хенли не раньше полуночи, и мне казалось, что это скорее привлечет внимание, чем если мы останемся в машине. И потом — мне давно хотелось провести ночь в автомобиле.

— И вам все еще этого хочется?

— Нет, милорд, я переоценила это удовольствие.

— Мистер Броу, объявляю перерыв на обед.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

От всяких предложений пообедать Динни отказалась и, взяв сестру под руку, вывела ее на Кери-стрит. Сестры молча ходили по Линкольн-Инн-Филдз.

— Все-таки дело почти кончено, дорогая,— сказала Динни после долгого молчания.— Ты отлично справилась с Броу. Ему ни разу не удалось сбить тебя, и я думаю, судья это чувствует. Судья мне нравится гораздо больше, чем присяжные.

— Ах, Динни, я так устала! Эти постоянные подозрения во лжи довели меня до того, что я готова была закричать.

— Он этого и добивается. А ты не поддавайся.

— Бедный Тони! Я чувствую себя просто скотиной.

— Как насчет чашки горячего крепкого чаю? Мы как раз успеем.

Они пошли по Чансери-Лейн к Стрэнду.

— Но только чаю, дорогая. Есть я не в состоянии.

Есть не могла ни та, ни другая. Они налили себе чай покрепче, выпили его и молча возвратились в здание суда. Клер, даже не ответив на тревожный взгляд отца, заняла прежнее место на первой скамье, сложила руки на коленях и опустила глаза.

Динни заметила, что Джерри Корвен оживленно беседует со своим защитником и советчиком. Проходя на свое место, «юный» Роджер сказал:

— Они хотят еще раз вызвать Корвена.

— Зачем?

— Не знаю.

Появился судья; ступая словно во сне, он слегка поклонился суду и сел. «Еще ниже, чем раньше»,— подумала Динни.

— Милорд, перед тем как возобновить перекрестный допрос ответчицы, я хотел бы, с вашего разрешения, снова вызвать истца в связи с тем пунктом, которому мой коллега придает такое значение. Ваша милость помнит, что на перекрестном допросе мистер Инстон приписал истцу заранее обдуманное намерение развестись с женой, якобы возникшее у него с того дня, как она от него уехала. Истец хочет дать по этому поводу некоторые дополнительные показания, и мне придется еще раз его вызвать. Постараюсь быть очень кратким, милорд.

Клер вдруг подняла глаза на судью, и сердце Динни отчаянно забилось.

— Пожалуйста, мистер Броу.

— Сэр Джеральд Корвен.

Корвен, как обычно подтянутый и хладнокровный, вновь появился у барьера, и Динни заметила, что Клер пристально смотрит на него, словно желая перехватить его взгляд.

— Вы сообщили нам, сэр Джеральд, что перед вашим возвращением на Цейлон вы виделись с вашей женой в последний раз первого ноября у нее на квартире на Мелтон-Мьюз?

— Да.

Динни замерла. Вот оно!

— Скажите, в этот раз, помимо всяких разговоров, между вами произошло еще что-нибудь?

— Мы были мужем и женой.

— Вы хотите сказать, что супружеские отношения между вами возобновились?

— Да, милорд.

— Благодарю вас, сэр Джеральд. Я думаю, что теперь предположение моего коллеги отпадает. Вот все, что я хотел спросить.

Заговорил Инстон.

— Почему вы не сказали этого при первом допросе?

— До вашего перекрестного вопроса я не считал, чтобы это могло иметь существенное значение.

— Вы присягнете в том, что это не выдумка?

— Разумеется.

Динни сидела неподвижно, прислонившись к деревянной спинке скамейки, и, закрыв глаза, думала о молодом человеке, сидевшем через три ряда от нее. Это бесчеловечно! Но кто здесь думает о человечности? Здесь вынимают из человека самые сокровенные части его души, холодно разглядывают их, почти с удовольствием, и затем, истерзав, кладут обратно.

— А теперь, леди Корвен, попрошу вас.

Когда Динни открыла глаза, Клер уже стояла у решетки, выпрямившись и устремив пристальный взгляд на мистера Броу.

— Вы слышали, леди Корвен,— произнес тягучий сочный голос,— последнее показание истца?

— Да.

— Это правда?

— Я не желаю отвечать.

— Отчего?

Динни увидела, что Клер повернулась к судье.

— Милорд, когда мой защитник спрашивал меня о моей семейной жизни, я ответила, что не хочу ее касаться; не хочу говорить о ней и теперь.

— На мгновение взгляд судьи обратился в сторону говорившей, затем снова устремился в невидимое.

— Этот вопрос возник на основе показания, данного в противовес предположению вашего защитника, и вы должны на него отвечать. Ответа не последовало.

— Повторите вопрос, мистер Броу.

— Правда ли, что во время той встречи, о которой говорит ваш муж, супружеские отношения между вами были восстановлены?

— Нет. Неправда.

Динни, зная, что это правда, подняла глаза. Судья все еще смотрел куда-то поверх ее головы, но она заметила, как он слегка выпятил губы. Он не верил.

Сочный голос заговорил опять, и она уловила в его интонациях какое-то скрытое торжество:

— Вы присягаете?

— Да.

— Значит, ваш муж, утверждая этот факт, дал ложную присягу?

— Вам придется поверить либо мне, либо ему.

— Мне кажется, я знаю — кому поверят. Скажите, а не было ли ваше последнее отрицание вызвано стремлением пощадить чувства свидетеля?

— Нет.

— Можем ли мы теперь придавать хоть какое-нибудь значение всем вашим предыдущим показаниям?

— Нельзя ставить подобный вопрос, мистер Броу. Ведь ответчица не знает, какое мы им придаем значение.

— Хорошо, милорд. Сформулирую иначе: вы все время говорили одну правду, леди Корвен, и только правду?

— Да.

— Очень хорошо. У меня больше нет к вам вопросов.

Пока Клер отвечала на некоторые дополнительные вопросы, в которых тщательно обходилось все, касавшееся последнего заявления Корвена, Динни думала только о Тони Круме. Она чувствовала, что дело проиграно, ей хотелось взять Клер за руку и незаметно выскользнуть отсюда. Если бы этот человек с хищным носом не старался изо всех сил очернить Корвена и доказать больше, чем было нужно, последняя мина не взорвалась бы. А вместе с тем стремление очернить противника — разве не в этом вся суть судебной процедуры?

Когда Клер вернулась на свое место, бледная и измученная, Динни шепнула ей:

— Не лучше ли уйти, дружок?

Клер покачала головой.

— Джеймс Бернارد Крум.

В первый раз с самого начала процесса Динни имела возможность внимательно посмотреть на молодого человека и едва узнала его. Его загорелое лицо побледнело и осунулось. Он казался очень худым. Серые глаза ввалились, рот был горестно сжат. Он казался лет на пять старше, и она сразу почувствовала, что отрицание Клер его не обмануло.

— Вас зовут Джеймс Бернارد Крум, вы живете в Беблук-Хайте и работаете там на конном заводе. Есть у вас какие-нибудь личные средства?

— Никаких.

Допрашивал не Инстон, а юрист помоложе, с более острым носом, сидевший позади Инстона.

— До сентября прошлого года вы служили управляющим чайной плантацией на Цейлоне? Встречались вы с ответчицей на Цейлоне?

— Никогда.

— Вы никогда не были у нее в доме?

— Нет.

— Вы слышали — здесь говорилось об одном матче в поло, в котором участвовали и вы и после которого все участники были приглашены к ней?

— Да. Но я тогда не пошел. Мне надо было вернуться на плантацию.

— Значит, вы встретились впервые на пароходе?

- Да.
- Вы не скрываете, что влюблены в нее?
- Нет.
- И все же отрицаете факт прелюбодеяния?
- Категорически отрицаю.

Допрос Крума продолжался, а Динни все не могла отвести глаз от его лица, словно загипнотизированная этим выражением сдержанного, глубокого горя.

— А теперь, мистер Крум, последний вопрос: вы понимаете, что если обвинение в прелюбодеянии справедливо, то вы оказываетесь в положении человека, соблазнившего жену в отсутствие мужа? Что вы имеете сказать по этому поводу?

— Я имею сказать, что если бы леди Корвен испытывала ко мне такое же чувство, какое у меня к ней, я тут же написал бы ее мужу и сообщил ему, как обстоит дело.

- То есть вы известили бы его прежде, чем сблизились с нею?
- Я этого не сказал, но, во всяком случае, как можно скорее.
- А она не испытывала к вам того же чувства, что вы к ней?
- К сожалению, нет.
- Так что никакой надобности извещать мужа не было?
- Нет.
- Благодарю вас.

Лицо Крума словно окаменело, — значит, сейчас заговорит Броу. Тягучий сочный голос прозвучал нарочито небрежно:

— Скажите, сэр, по опыту, разве любовники всегда питают друг к другу одинаковые чувства?

— У меня нет опыта.

— Нет опыта? А вы знаете французскую поговорку, что всегда один любит, а другой позволяет себя любить?

— Я слышал ее.

— Она не кажется вам верной?

— Поскольку верна всякая поговорка.

— Итак, судя по всему, что вы оба рассказывали, вы преследовали в отсутствие мужа его жену, которая этого вовсе не хотела? Не очень достойное занятие, не правда ли? Не вполне то, что называется «соблюдать правила чести»?

— По-видимому.

— Но я полагаю, мистер Крум, что ваше положение на самом деле было вовсе не таким скверным, и что, невзирая на французскую поговорку, ответчица хотела, чтобы вы ее преследовали своей любовью.

— Она не хотела.

— И вы это утверждаете, несмотря на случай в каюте, несмотря на то, что вы красили стены ее квартиры, что она пригласила вас пить чай и вы провели с ней почти полчаса около двенадцати часов ночи в ее весьма удобных комнатах, несмотря на ее предложение провести с ней ночь в автомобиле и ехать потом завтракать к ней на квартиру?.. Бросьте, мистер Крум! Не заходят ли ваши рыцарские чувства слишком далеко? Не забываете, что вам предстоит убедить мужчин и женщин, знающих жизнь.

— Могу только сказать, что, если бы ее чувства ко мне были такими же, как мои, мы бы сразу уехали вместе. Во всем следует винить одного меня. Она же была добра ко мне только из жалости.

— Если вы оба говорите правду, то ответчица, прошу прощения, милорд, подвергла вас в автомобиле всем мукам ада, — не так ли? Какая же это жалость?

— Тому, кто не любит, едва ли понятны переживания того, кто любит.

— Вы — человек холодный?

— Нет.

— А она — да?

— Как может соответчик это знать, мистер Броу?

— Милорд, я уточняю: как вам кажется?

— Не думаю.

— И все-таки вы хотите, чтобы мы поверили, будто она от доброты сердечной положила голову вам на плечо и так провела с вами ночь? Ну и ну! Вы говорите, что, будь ваши чувства одинаковы, вы сейчас же уехали бы вместе? А на что бы вы уехали? У вас были деньги?

— Двести фунтов.

— А у нее?

— Двести фунтов в год, помимо ее жалованья.

— Бежали бы и питались бы воздухом? Да?

— Я нашел бы себе место.

— Но ведь у вас есть место?

— Возможно, искал бы другое.

— Вероятно, вы оба почувствовали, что бежать вместе при таких условиях — безумие?

— Я этого никогда не чувствовал.

— Почему вы решили опротестовать иск?

— Я очень жалею об этом.

— Тогда зачем же вы это сделали?

— Она и ее родные считали, что, раз мы ни в чем не виноваты, мы должны защищаться.

— Но вы относились к этому иначе?

— Я надеялся на то, что нам поверят, и потом мне хотелось, чтобы она получила свободу.

— О ее чести вы не подумали?

— Конечно, подумал. Но мне казалось, что оставаться связанной — слишком дорогая цена.

— По вашим словам, вы сомневались в том, что вам поверят? Слишком неправдоподобная история, да?

— Нет. Но чем больше правды говорит человек, тем меньше надежды, что ему поверят.

— Динни увидела, что судья повернулся к Круму и посмотрел на него.

— Вы говорите вообще?

— Нет, милорд, я имею в виду суд.

Судья опять отвернулся и принялся рассматривать невидимое над головой Динни.

— Я спрашиваю себя, не должен ли я привлечь вас к ответственности за оскорбление суда?

— Простите, милорд. Я имею в виду только одно: что бы человек ни говорил, его слова всегда обратятся против него.

— Вы говорите так по неопытности. На этот раз я вас прощаю, но больше не позволяйте себе таких вещей. Можете продолжать, мистер Броу.

— Вас побудил к защите, конечно, не вопрос о возмещении убытков?

— Нет.

— Вы сказали, что не имеете никаких личных средств. Это правда?

— Разумеется.

— Тогда как же вы говорите, что деньги тут ни при чем?

— Я был настолько озабочен другими обстоятельствами, что разорение казалось мне несущественным.

— Вы сказали при допросе, что не знали о существовании леди Корвен до знакомства с ней на пароходе. Известно вам такое место на Цейлоне, которое называется Нувара-Элия?

— Нет.

— Что?

Динни увидела, как из складок и морщин на лице судьи выползла слабая улыбка.

— Поставьте вопрос иначе, мистер Броу. Мы обычно произносим «Нувара-Элия».

— Нувара-Элию я знаю, милорд.

— Вы были там в июне истекшего года?

— Да.

— А леди Корвен была там?

— Может быть.

— Разве она остановилась не в той же гостинице, что и вы?

— Нет. Я жил не в гостинице, а у приятеля.

— И вы не встречали ее ни во время игры в гольф или теннис, ни на прогулках верхом?

— Нет, не встречал.

— А еще где-нибудь?

— Нет.

— Город ведь не очень велик?

— Не очень.

— А она, по-видимому, особа заметная?

— Я лично в этом уверен.

— Итак, до парохода вы с ней не встречались?

— Нет.

— Когда вы в первый раз поняли, что любите ее?

— На второй или третий день.

— Так сказать, любовь почти с первого взгляда?

— Да.

— А вам не пришло в голову, что, раз она замужем, вам следует избегать ее?

— Пришло, но я был не в силах.

- А если бы она вас оттолкнула, то смогли бы?
- Не знаю.
- А она вас действительно оттолкнула?
- Ну... нет. Я думаю, что она в течение некоторого времени не замечала моего чувства.
- Женщины на этот счет чрезвычайно догадливы, мистер Крум. Вы серьезно утверждаете, что она не замечала?
- Не знаю.
- Вы пытались скрыть ваши чувства?
- Если вы спрашиваете меня о том, добивался ли я ее любви на пароходе, я отвечаю — нет.
- Когда же вы открылись ей?
- Я сказал ей о своем чувстве, когда мы уже приехали, перед тем как сойти на берег.
- Существовали ли какие-либо веские причины для того, чтобы смотреть фотографии именно у нее в каюте?
- Думаю, что никаких.
- Вы вообще-то смотрели эти фотографии?
- Разумеется.
- А что вы делали еще?
- Вероятно, разговаривали.
- Разве вы не помните? Это был исключительный случай, не так ли? Или один из целого ряда подобных же случаев, о которых вы умолчали?
- Это единственный раз, когда я был у нее в каюте.
- Тогда вы не можете не помнить!
- Мы сидели и разговаривали.
- Начинаете припоминать?.. Да? Где же вы сидели?
- В кресле.
- А она?
- На койке. Каюта была очень маленькая, второго кресла не было.
- Палубная каюта?
- Да.
- Увидеть вас там никак не могли?
- Нет, но нечего было и видеть.
- Так вы оба утверждаете. Вероятно, вы все-таки волновались, не правда ли?
- Судья вытянул шею.
- Я не хотел бы прерывать вас, мистер Броу, но ведь соответчик не скрывает своих чувств.
- Очень хорошо, милорд. Выразусь яснее: я предполагаю, что именно тогда между вами и имело место прелюбодеяние.
- Его не было.
- Гм!.. Объясните суду, почему же вы, когда сэр Корвен вернулся в Лондон, не отправились тотчас к нему и не признались откровенно, в каких отношениях вы были с его женой?
- В каких отношениях?
- Полноте, сэр! Вы же сами подтвердили, что старались быть все время с нею, влюбились в нее и хотели, чтобы она с вами уехала.

— Но она не хотела уезжать со мной. Я охотно пошел бы к ее мужу, но я не имел на это права, не получив ее разрешения.

— А вы просили у нее разрешения?

— Нет.

— Почему же?

— Она сказала мне, что наши отношения могут быть только дружескими.

— А я думаю, она ничего подобного вам не говорила.

— Милорд, это равносильно утверждению, что я лгун.

— Отвечайте на вопрос.

— Я не лгун.

— По-моему, это ответ, мистер Броу.

— Скажите, сэр, вы слышали показания ответчицы; вы считаете их абсолютно правдивыми?

Динни заметила, как по лицу Крума прошла судорога; но она надеялась, что больше никто этого не заметил.

— Да, насколько я могу судить.

— Может быть, это не совсем деликатный вопрос, я изменю его; если ответчица утверждает, что она то-то делала, а того-то не делала, считаете ли вы долгом чести всячески поддерживать все ее показания или хотя бы верить им, если не можете их поддержать?

— Мне кажется, и это — вопрос не очень деликатный, мистер Броу.

— Я считаю, милорд, необходимым выяснить для присяжных душевное состояние соотвечника во время разбирательства данного дела.

— Хорошо, я этого вопроса не сниму, но вы знаете, у такого рода обобщений есть границы.

Динни увидела, как впервые лицо Крума озарилось слабым отблеском улыбки.

— Я очень охотно отвечу на вопрос, милорд. В данном случае нельзя говорить о долге вообще.

— Что ж, поговорим о частностях. По словам леди Корвен, она вполне доверяла вам в том смысле, что вы не станете добиваться ее любви. Это, по-вашему, так?

Лицо Крума потемнело.

— Не совсем. Но она знала, что я стараюсь изо всех сил.

— И время от времени вы не могли с собой справиться?

— Мне не вполне ясно, что вы подразумеваете, спрашивая, «добивался ли я ее любви», но иногда я свои чувства обнаруживал.

— Иногда? А разве не постоянно, мистер Крум?

— То есть всегда ли было заметно, что я ее люблю? В таком смысле — конечно. Этого ведь не скроешь.

— Вот честное признание, и я не хочу ловить вас на слове; но я имею в виду нечто большее, чем одно только внешнее выражение любви. Я разумею прямое физическое выражение этой любви.

— Тогда нет, кроме...

— Да?

— Кроме того, что я три раза поцеловал ее в щеку и иногда держал ее руку.

— В этом и она призналась. А вы готовы подтвердить под присягой, что больше ничего не было?

- Готов присягнуть, что не было больше ничего.
- Скажите, в ту ночь в автомобиле, когда ее голова лежала у вас на плече, вы действительно спали?
- Да.
- Приняв во внимание ваши чувства, это несколько странно, не правда ли?
- Да. Но я встал в тот день в пять часов утра и проехал сто пятьдесят миль.
- И вы хотите уверить нас, что после пяти месяцев тоски и желаний вы не воспользовались столь блестящей возможностью и просто заснули?
- Нет, не воспользовался. Но я уже сказал вам: я не надеюсь, что мне поверят.
- И не удивительно!
- Долго-долго тягучий сочный голос задавал вопросы, и долго-долго Динни не смогла отвести глаз от этого измученного лица, пока наконец не впала в какое-то оцепенение.
- Она опомнилась от слов:
- Я считаю, сэр, что все ваши показания с начала и до конца вызваны желанием сделать все возможное, чтобы выгородить эту даму, совершенно независимо от того, какие из них вы сами считаете правдой. Ваше поведение на суде — это не что иное, как ложно понятое рыцарство.
- Нет.
- Хорошо. Больше у меня вопросов нет.
- Затем последовал повторный допрос, и судья объявил перерыв.
- Динни и Клер встали, вышли вместе с отцом в коридор и поспешили на воздух.
- Инстон все испортил, зачем он заговорил об этом эпизоде, неизвестно... — проговорил генерал.
- Клер не ответила.
- А я рада, — сказала Динни, — ты наконец получишь развод.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Речи сторон были окончены, и судья резюмировал все показания. Динни и ее отец заняли теперь места на последних скамьях, ей был виден Джерри Корвен, все еще сидевший впереди своих защитников, и «юный» Роджер, сидевший один. Клер отсутствовала, Крум тоже.

Судья говорил очень медленно, словно с трудом цедил слова сквозь зубы. Динни была поражена тем, как точно он запомнил чуть ли не все показания: он почти не заглядывал в свои записи; не нашла она также в его словах ничего хоть сколько-нибудь искажавшего эти показания. Глаза его были обращены в сторону присяжных; хотя время от времени они закрывались, но голос лился непрерывно. Иногда судья вытягивал шею и тогда вдруг напоминал не то священника, не то черепаху; затем снова втягивал ее и продолжал говорить, словно обращаясь к самому себе:

- Так как улики не имеют той безусловной убедительности, кото-

рая нужна данному суду («Явного нарушения супружеской верности не было», — подумала Динни), то защитник истца в своей талантливой речи подчеркнул, и совершенно правильно, особое значение общей правдивости показаний. Он обратил ваше внимание на то, что ответчица отрицала факт возобновления супружеской близости между нею и истцом в тот день, когда он был у нее на квартире. Защитник высказал предположение, что ее могло побудить к такому отрицанию желание пощадить чувства соответчика. Но вы обдумайте и то, может ли женщина, утверждающая, что она в соответчика не влюблена, не поощряла его ухаживаний и не допускала никаких интимностей, — может ли она пойти на клятвопреступление только ради того, чтобы не задеть его чувства? Ведь, согласно ее версии, с самого начала их знакомства между ними была только дружба, и больше ничего. С другой стороны, если вы в этом пункте верите истцу, — а у него едва ли могли быть причины настолько веские, чтобы дать ложную присягу, — то отсюда следует, что вы не верите ответчице, опровергнувшей показание, которое могло скорее послужить ей на пользу. Трудно допустить, чтобы она сделала это, не питая к соответчику более теплых чувств, чем простая дружба. Это действительно очень важный пункт, и ваше решение относительно того, где правда — в утверждении мужа или в отрицании жены, — представляется мне основным фактором в вопросе о правдивости всех прочих показаний ответчицы. У вас имеются только так называемые косвенные улики, а в подобных делах правдивость сторон — момент чрезвычайно важный. Если вы убедитесь, что та или другая сторона не говорит правды в одном пункте, то тем самым теряют убедительность и все остальные показания этой стороны. Что касается соответчика, то, хотя он и кажется искренним, все же нельзя забывать следующего обстоятельства: в нашей стране (хорошо это или плохо) существует традиционный обычай, что если мужчине ухаживает за замужней женщиной, то он ни в коем случае не должен, выражаясь вульгарно, «выдавать» ее. Поставьте перед собой вопрос, может ли этот молодой человек, совершенно очевидно и по его же признанию пылко влюбленный, давать показания свободно и правдиво.

Однако, оставив в стороне вопрос о правдивости, вы не должны поддаваться и внешним впечатлениям. В наше время отношения между молодежью обоих полов очень простые и свободные, и то, что могло бы казаться решающим в дни моей юности, теперь ничего не доказывает. Что касается ночи, проведенной в автомобиле, то обратите особое внимание на слова ответчицы, когда я спросил: «Почему, когда фары погасли, вы не остановили какую-нибудь машину и не попросили проводить вас до Хенли?» Она сказала: «Мы не подумали об этом, милорд. Я предложила мистеру Круму ехать следом за какой-нибудь машиной, но они мчались слишком быстро...» Обдумайте в свете этих слов, действительно ли ответчица искала простейший выход из создавшегося положения, состоявший в том, чтобы следовать за какой-нибудь машиной в Хенли, где фары, безусловно, могли быть исправлены и откуда ответчица, во всяком случае, могла бы вернуться в Лондон поездом. Ее защитник пояснил, что приезд в Хенли в столь поздний час и на неисправной машине мог показаться подозрительным. Но она, по ее утверждению, не замеча-

ла, чтобы за ней следили. А если так, то почему она опасалась вызвать подозрения?..

Динни перестала смотреть на судью и устремила взгляд на присяжных. И пока она пыталась проникнуть в эти невыразительные лица, в ее уме утвердилась одна основная мысль: не поверить — легче, чем поверить. Ведь если изгладится временное впечатление от лиц и голосов допрашиваемых, то разве для присяжных не окажется наиболее убедительной «пикантная» версия всей этой истории? До нее донеслось слово «убытки», и она опять посмотрела на судью.

— ...так как,— продолжал он,— если вы решите в пользу истца, то встанет и вопрос о возмещении убытков. И в связи с этим я должен обратить ваше внимание на некоторые чрезвычайно сложные обстоятельства: нельзя сказать, чтобы денежные иски в бракоразводных процессах были особенно в ходу в наши дни или чтобы суд относился к ним сочувственно. Теперь уже не принято связывать мысль о женщине с мыслью о деньгах. Лет сто тому назад бывали такие случаи, когда муж продавал свою жену,— хотя это и тогда считалось противозаконным. Но эти времена, слава богу, давно миновали. Правда, можно и теперь требовать через суд возмещения убытков, но это не должно делаться из мести, и притом следует разумно сообразоваться с материальными возможностями соответчика. В данном случае истец заявил, что деньги будут положены им на имя ответчицы. В наши дни обычно так и делается при возмещении убытков. Относительно же средств соответчика, примите во внимание, если вам придется обсуждать вопрос о размерах взыскания, что, по словам его защитника, который берется это доказать, у соответчика средств нет. Юристы никогда не заявляют таких вещей без вполне достаточных оснований, и, я думаю, вы можете в этом отношении вполне верить соответчику, когда он говорит, что у него есть только его... гм... «служба, которая дает ему четыреста фунтов в год». Таковы те данные, с которыми вам следует считаться в случае обсуждения размеров суммы, имеющей быть взысканной с ответчика. А теперь, господа присяжные, призываю вас к выполнению вашей обязанности. Исход процесса будет иметь огромное значение для будущего заинтересованных лиц, и я уверен, что вы отнесетесь к этому со всем должным вниманием. А сейчас, если вам угодно, вы можете удалиться.

Динни была поражена тем, как он почти мгновенно погрузился в изучение какого-то документа, который взял с пюпитра, стоявшего перед ним.

«Он действительно славный старик»,— решила Динни и опять стала смотреть на присяжных, встававших со своих мест. Сейчас, когда муки Клер и Тони Крума кончились, ничто ее здесь больше не интересовало. Даже зал был сегодня почти пуст.

«Люди приходили сюда только за тем, чтобы насладиться чужими страданиями»,— с горечью подумала она.

Чей-то голос около нее сказал:

— Если вы хотите видеть Клер, она еще в Адмиралти-Корт. — Дорнфорд в мантии и парике сел рядом с ней. — Какое резюме сделал судья?

— Очень справедливое.

— Он и сам справедливый.

— Но на воротниках адвокатов следовало бы написать крупными буквами: «Справедливость — добродетель, и некоторый излишек ее вам бы не повредил».

— Вы можете с таким же успехом написать это на ошейниках ищейек. Но даже и этот суд лучше, чем он был раньше.

— Очень рада.

Дорнфорд сидел молча и смотрел на нее. А она думала: «Парик ему идет».

Генерал, наклонившись к ним, спросил:

— Какой срок они дают для уплаты судебных издержек, Дорнфорд?

— Обычно — двухнедельный, но он может быть продлен.

— Приговор нужно считать предрешенным, — сказал генерал, нахмурившись. — Что ж, зато она освободится.

— А где Тони Крум? — спросила Динни.

— Я видел его, когда входил. Он тут, в коридоре у окна, совсем рядом. Вы сразу найдете его... Хотите, я пойду скажу ему, чтобы он подождал?

— Если можно.

А потом, когда все кончится, я очень прошу вас всех к себе.

Они кивнули Дорнфорду в знак согласия, он вышел и больше не возвращался.

Динни и отец продолжали сидеть на своих местах. Появился судебный пристав, передал судье записку, судья что-то написал на ней, и пристав унес ее обратно к присяжным. Почти сейчас же они вошли.

Широкое приятное лицо женщины, похожей на экономку, выражало обиду, словно ее к чему-то принудили, и Динни сразу же угадала приговор.

— Господа присяжные, вы пришли к единодушному решению? Старшина встал.

— К единодушному.

— Считаете ли ответчицу виновной в совершении прелюбодеяния с соответчиком?

— Да.

— Считаете ли соответчика виновным в совершении прелюбодеяния с ответчицей?

«Разве это не одно и то же?» — мелькнуло в голове у Динни.

— Да.

— Какие убытки следует возложить на соответчика?

— Мы считаем, что он должен оплатить все судебные издержки.

«Чем больше человек любит, тем больше он должен платить», — подумала Динни. Почти не вслушиваясь в слова судьи, она что-то шепнула отцу и выскользнула из зала.

Крум стоял у окна, прислонившись к стене; вся его фигура выражала глубокое отчаяние.

— Ну как, Динни?

— Проиграно. Убытков не взыскивают, только все судебные издержки. Выйдем, мне нужно с вами поговорить.

Они молча вышли.

— Посидим на набережной.

Вдруг Крум засмеялся.

— На набережной? Замечательно!

Больше они не обменялись ни словом, пока не уселись под платаном, — листья на нем еще не совсем распустились, весна была холодная.

— До чего гадко на душе! — сказала Динни.

— Я вел себя как болван, и вот чем все кончилось.

— Вы ели что-нибудь за эти два дня?

— Вероятно. Пил я, во всяком случае, много.

— Что вы думаете теперь делать, дружище?

— Повидаюсь с Джеком Маскемом и попытаюсь найти себе работу за пределами Англии.

У Динни было такое ощущение, словно она наткнулась на стену. Если бы знать чувства Клер! Тогда она смогла бы ему помочь.

— Советов обычно не слушают, — начала она, — но все-таки могли бы вы с месяц ничего не предпринимать?

— Не знаю, Динни.

— Кобылы доставлены?

— Нет еще.

— Неужели вы бросите это дело, даже не начав его?

— У меня сейчас, по-моему, только одно дело — где-нибудь и как-нибудь просуществовать.

— Вы думаете, я этого не переживала? Но только не делайте ничего сгоряча! Обещайте мне! До свидания, дорогой мой, я должна бежать.

Она встала и крепко пожала ему руку.

Когда она явилась к Дорнфорду, Клер и генерал были уже там и с ними «юный» Роджер. Глядя на Клер, можно было подумать, что все случившееся произошло с кем-то другим.

Генерал в эту минуту спрашивал Роджера:

— Во что обойдутся все издержки, мистер Форсайт?

— Я думаю, около тысячи.

— Тысяча фунтов за то, что люди сказали правду! Пусть Крум внесет только свою долю. Мы не можем допустить, чтобы он заплатил все. У него же нет ни гроша.

Роджер взял понюшку табаку.

— Ну, надо пойти успокоить жену, — сказал генерал. — Мы возвращаемся в Кондафорд сегодня во второй половине дня. Ты с нами, Динни?

Динни кивнула.

— Хорошо. Огромное спасибо, мистер Форсайт. Значит, постановление суда мы получим в начале ноября? До свидания!

После его ухода Динни спросила вполголоса:

— Теперь, когда все кончено, скажите откровенно, что вы об этом думаете?

— То же, что и раньше. Если бы на месте Клер были вы, мы бы выиграли.

— Я хочу знать, — холодно ответила Динни, — верите вы им или нет?

— В целом — да.

— Неужели пойти дальше этого юрист не в состоянии?

«Юный» Роджер улыбнулся.

— Всякий, говорящий правду, о чем-нибудь да умолчит.

«Это очень верно»,— подумала Динни.

— Не взять ли такси?

Сидя в машине, Клер сказала:

— Могу я попросить тебя кое о чем, Динни? Привези мои вещи на Мьюз.

— Ну, конечно.

— Мне не хочется в Кондафорд. Ты видела Тони?

— Видела.

— Как он?

— Очень плохо.

— Очень плохо...— горестно повторила Клер.— А что я могла сделать? Я ведь солгала ради него...

Динни, глядя перед собой в пространство, сказала:

— Когда ты сможешь, скажи мне, как ты к нему относишься.

— Когда буду знать сама, тогда скажу.

— Тебе надо поесть, детка.

— Да, я голодна. Я сойду на Оксфорд-стрит. Привезешь мне вещи, и я буду приводить все в порядок. Мне кажется, я могла бы проспать целые сутки, а, наверное, и глаз не сомкну. Если будешь разводиться, Динни, никогда не защищайся. Я все время придумываю более удачные ответы.

Динни сжала ее локоть и поехала дальше на Саус-сквер.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда бой окончен, атмосфера бывает еще тягостней, чем во время боя. Человек продолжает «придумывать более удачные ответы», и ему уже не хочется жить. Основной закон жизни доведен до своего логического конца, и, выиграли вы или проиграли, конец этот вас не удовлетворяет, у вас нет сил, вы увяли, вы опустошены. В таком состоянии находилась Динни, хотя была только зрителем боя. Решив, что она, в сущности, ничем помочь не может, она опять вернулась к своим свиньям и провела в обычных домашних занятиях целую неделю, в конце которой получила письмо:

«Кингсон, Каткот и Форсайт.

Олд-Джюри,

Мая 17-го 1932.

Дорогая мисс Черрел,

Рад известить вас о том, что удалось устроить так, что ни мистеру Круму, ни вашей сестре не придется платить судебные издержки.

Я был бы вам очень признателен, если бы вы сообщили об этом вашему отцу и им обоим и успокоили бы их на этот счет.

Искренне преданный вам, дорогая мисс Черрел,

Роджер Форсайт»

Это письмо Динни получила в первое по-настоящему теплое утро; до нее доносился шум сенокосилки и запах травы; она сказала бы, что письмо весьма «заинтриговало» ее, если бы не чувствовала отвращения к этому слову. Она обернулась к отцу и сказала:

— Папа, юристы говорят, что нам больше нечего беспокоиться об издержках, им там удалось что-то устроить.

— Каким образом?

— Этого они не сообщают, только просят передать, чтобы ты больше не волновался.

— Не понимаю я этих юристов,— пожал плечами генерал,— но если они считают, что все в порядке, я очень рад. Я действительно тревожился.

— Конечно, дорогой. Налить кофе?

Однако она продолжала недоумевать по поводу загадочного письма: может быть, у самого Джерри Корвена рыльце в пушку и он счел за благо пойти на это «соглашение»? А потом, кажется, еще существует «королевский проктор», который может наложить запрет на иск? Или тут сыграло роль что-то другое?

Сначала она решила поехать к Тони Круму, но, желая избежать его расспросов, ограничилась тем, что написала ему и Клер. Чем больше она размышляла над письмом Роджера, тем больше приходила к убеждению, что ей необходимо повидаться с ним. Какое-то бессознательное чувство не давало ей покоя. Поэтому она условилась встретиться с Роджером в кафе возле Британского музея, на его пути домой из Сити, и прямо с вокзала проехала туда. Кафе было «стильное», ему постарались придать сходство,— насколько это было возможно в доме, построенном при регентстве,— с «Кофейней», которую посещали Босуэл и Джонсон. Пол, правда, не был посыпан песком, но имел такой вид, как будто это нужно было сделать. Глиняные трубки отсутствовали, зато имелись длинные мундштуки из папье-маше. Мебель была деревянная, свет тусклый. Осталось невыясненным, как одевался в то время обслуживающий персонал, поэтому его одели в ливреи цвета морской волны. На стенах с панелями из магазина на Тоттенхем-роуд были развешаны гравюры с изображениями старых постоялых дворов. Несколько посетителей пили чай и курили сигареты. Ни один из них не пользовался длинным мундштуком. Появился «юный» Роджер. Он слегка прихрамывал и выглядел как всегда: будто он не совсем тот, за кого его принимают. Роджер обнажил свою желтовато-рыжую голову, и над его выступающим подбородком появилась улыбка.

— Китайский или индийский?— спросила Динни.

— Что хотите.

— Тогда, пожалуйста, две чашки кофе со сдобными булками.

— Булочки! Вот прелесть! Посмотрите, мисс Черрел, как хороши эти старинные медные грелки! Интересно, продаются ли они?

— Вы занимаетесь коллекционированием?

— Кое-что собираю. Какой смысл иметь дом эпохи королевы Анны, если его нельзя соответствующим образом обставить?

— А ваша жена сочувствует этому?

— Нет. Она признает только модные вещи, бридж, гольф и современность. А я не могу равнодушно видеть старое серебро.

— А мне приходится,— пробормотала Динни.— Ваше письмо нас очень обрадовало. Никому из нас в самом деле не придется платить?

— Нет.

Она замолчала, обдумывая следующий вопрос и рассматривая «юного» Роджера сквозь ресницы. Невзирая на свои эстетические вкусы, он казался необычайно практичным человеком.

— Скажите мне по секрету, мистер Форсайт, как это вы ухитрились добиться такого соглашения? Уж не зять ли мой тут причиной?

«Юный» Форсайт приложил руку к сердцу.

— «Язык Форсайта не выдает тайн» (смотри «Мармион»¹), Но вам тревожиться нечего.

— Не могу, пока не узнаю, в чем дело.

— Если это вас тревожит, то успокойтесь: Корвен здесь ни при чем.

Динни молча съела булочку, потом заговорила о старинном серебре. Роджер показал себя блестящим знатоком различных марок серебра и заявил, что если она как-нибудь приедет к ним в воскресенье, он ее полностью просветит.

Они расстались очень сердечно, и Динни отправилась к дяде Адриану. Однако где-то в глубине ее души осталось неприятное чувство. Наконец наступило тепло, и за последние несколько дней деревья пышно распустились. На площади, где жил Адриан, было тихо и зелено, словно там обитали не люди, а духи.

Никого не оказалось дома.

— Мистер Черрел обещал вернуться к шести,— сказала горничная.

Динни стала ждать в небольшой комнате с панелями, полной книг, трубок, фотографий Дианы и ее детей. На полу дремал старый колли, а в открытое окно вливался далекий шум лондонских улиц.

Она трепала собаку за уши, когда вошел Адриан.

— Итак, Динни, все кончилось. Надеюсь, ты теперь чувствуешь себя лучше?

Динни протянула ему письмо.

— Я знаю, что с Корвеном это никак не связано. Но ты ведь знаком с Дорнфордом, дядя. И я очень прошу тебя как-нибудь осторожно попытаться у него, не он ли взял на себя издержки.

Адриан подергал бородку.

— Едва ли он мне скажет.

— Но ведь кто-то уплатил... И это мог сделать только он. Идти к нему сама я не хочу.

Адриан внимательно посмотрел на нее. Вид у Динни был задумчивый и сосредоточенный.

— Нелегко это, но попытаюсь. А что же будет с этими несчастными?

— Не знаю. И они не знают. Никто не знает.

— Как на это смотрят твои родители?

¹ «Мармион» — поэма Вальтера Скотта.

— Страшно рады, что процесс окончен, и теперь им, пожалуй, все равно. Но ты поскорее извести меня, дядя, милый, хорошо?

— Непременно, дорогая, но вероятнее всего, я ничего не узнаю.

Динни отправилась на Мелтон-Мьюз и в дверях встретила с Клер. Щеки Клер пылали, в ее фигуре и во всех движениях чувствовалась какая-то необычная оживленность.

— Я пригласила сегодня вечером Тони Крума к себе, — сказала она, когда Динни прощалась, чтобы ехать на вокзал. — Свои долги нужно платить.

— О-о... — только и пробормотала Динни.

Слова Клер преследовали ее и в паддингтонском автобусе, и в буфете на вокзале, где она съела сандвич, и в поезде, увозившем ее домой. Платить свои долги! Первое правило, если хочешь уважать себя! А что, если это Дорнфорд уплатил судебные издержки? Неужели она ему настолько дорога? Уилфрид взял от нее все, что могли дать ему ее сердце, ее надежды, ее желания. Если Дорнфорд хочет получить то, что осталось, — почему бы и нет? Затем она опять начала думать о Клер. Уплатила ли она уже свой долг? Ведь нарушителям закона остается только нарушать его! И все-таки — как много надежд гибнет иногда в несколько минут!

Она сидела неподвижно. А поезд с грохотом несясь сквозь угасавшие сумерки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Всю эту неделю, проведенную в своем заново отделанном домике в Беблок-Хайте, Тони Крум чувствовал себя глубоко несчастным. Последнее показание, данное Корвеном на суде при вторичном допросе, словно обожгло его, и отрицание Клер ничуть не смягчило боли. Молодого человека терзало весьма старомодное чувство ревности. Известно, что долг жены не уклоняться от объятий мужа, но при данных обстоятельствах и чувствах Клер это казалось ему чем-то невозможным, почти чудовищным, и необходимость давать показания сейчас же, вслед за таким жестоким ударом, еще более растравила его рану. В вопросах пола человек крайне непоследователен; сознание того, что он не имеет никакого права на ревность, ничуть не облегчало страданий Тони. И теперь, через неделю после окончания процесса, получив от нее записку с приглашением, он хотел было совсем не отвечать, или ответить очень резко, или ответить, «как джентльмен», хотя чувствовал, что, несмотря на все колебания, конечно, поедет.

Когда он через час после ухода Динни явился на Мьюз, в голове его царила путаница, а в сердце ныла незажившая рана. Клер впустила его, и они стояли молча, глядя друг на друга. Наконец она сказала со смехом:

— Что ж, Тони, нелепая история, правда?

— Необыкновенно смешная.

— У вас больной вид.

— А у вас прекрасный.

И она действительно была красива в красном платье с открытой шеей и без рукавов.

— К сожалению, я не одет, Клер. Я не знал, что вы собираетесь куда-то пойти.

— Нет, не собираюсь. Мы поужинаем у меня. Вы можете оставить машину у подъезда и пробыть сколько захотите. Теперь ведь все равно. Правда, здорово?

— Клер!

— Положите шляпу, и пойдем наверх. Я приготовила новый коктейль.

— Хочу сказать вам, что я ужасно виноват...

— Не будьте идиотом, Тони.

Она стала подниматься по винтовой лестнице и, дойдя до верха, обернулась:

— Ну идите же!

Бросив на стул шляпу и шоферские перчатки, он последовал за ней. Ему, расстроенному и страдающему, почудилось, будто комната имеет сегодня особенный вид, словно все в ней приготовлено для какой-то церемонии — или, может быть, для жертвоприношения? Столик был элегантно сервирован, на нем стояли цветы, бутылка с узким горлышком, зеленые бокалы; кушетка была покрыта какой-то нефритово-зеленой тканью и завалена грудой ярких подушек. Из-за жары окна были открыты, но занавески почти совсем задернуты и свет включен. Охваченный глубоким смятением, Крум сразу подошел к окну.

— Несмотря на благословение закона, давайте поплотнее задернем занавески, — предложила Клер. — Хотите умыться?

Он покачал головой, задернул занавески и сел на подоконник.

Клер опустилась на кушетку.

— Я просто не могла смотреть на вас во время суда, Тони. Я перед вами в неоплатном долгу.

— В долгу? Вы — нет, вот я...

— Нет. Я — ваша должница.

Эти обнаженные руки, скрещенные на затылке, изящный изгиб стана, обращенное к нему лицо — вот то, о чем он мечтал, чего жаждал долгие месяцы! И вот она перед ним, бесконечно желанная, словно бы говорящая: «Я здесь, возьми меня!» Он сидел, не сводя с нее глаз. Это мгновение, которого он ждал, ждал так страстно, — теперь он не мог им воспользоваться.

— Почему так далеко, Тони?

Он встал. Его губы дрожали, дрожало все тело. Он дошел до стола и остановился, схватившись за спинку стула и пристально глядя ей в глаза. Казалось, он пытается проникнуть к ней в душу... Что таится в этих темных глазах, смотрящих на него? Нет, не любовь! Готовность исполнить свой долг? Заплатить по счету? Дружеское одолжение? Желание поскорее отделаться? Но только не любовь с ее нежным сиянием. И вдруг перед его умственным взором возникла картина: она и Корвен — здесь! Он закрыл лицо рукой, сбежал по винтовой лестнице, схватил шляпу и перчатки, выскочил на улицу и бросился в свою машину. Он опомнился только тогда, когда был уже на Аксбридж-роуд; как он про-¹¹

ехал весь этот путь без аварии — просто непостижимо! Он вел себя как безумец! Нет, так и надо было поступить. Как она была поражена! Обойтись с ним, как с кредитором! Пожелать заплатить! Ему! Там! На той кушетке! Нет! И он опять понесся с каким-то бешенством, но его задержал грузовик. Ночь только наступала, лунная и теплая. Крум завел машину в какую-то подворотню и вылез. Прислонившись к воротам, он насыпал в трубку табаку и закурил. Куда он едет? Домой? Зачем? Зачем вообще ехать куда бы то ни было? Вдруг его сознание прояснилось. Поехать к Джеку Маскему, отказаться от места и — в Кению! Денег хватит. А там работа найдется. Остаться здесь? Нет! Какое счастье, что кобылы еще в пути! Тони перелез через ворота и сел на траву. Он закинул голову и взглянул на небо. Сколько звезд! Много ли у него денег? Пятьдесят — шестьдесят фунтов, долгов — никаких! Пароход, идущий в Восточную Африку, третий класс. Куда угодно, что угодно, только прочь отсюда! Белые ромашки на пригорке медленно светлели в лучах луны, поднимавшейся все выше, воздух был напоен ароматом цветущей травы. Если бы у нее в глазах хоть раз мелькнула любовь! Он опять опустил голову. Не ее вина, что она его не любит! Это его несчастье! Домой! Собрать свой скарб, запереть дверь и прямо к Маскему! Это займет целую ночь! Повидаться с юристом, с Динни, если удастся. А с Клер? Нет!

Трубка потухла. Луна и звезды, глазастые ромашки, запах трав, выползающие тени, пригорок — все это уже не действовало на него. Встать, что-то делать, делать все время, пока он не окажется на борту парохода и не отплывет.

Он встал, снова перелез через ворота и завел мотор. Крум несся прямо вперед, бессознательно избегая дороги, ведущей через Мейденхед и Хенли; проехал через Хай-Уиком и приблизился к Оксфорду с севера. Старинный город был весь в огнях и по-вечернему красив; машина вошла в него со стороны Хеддингтона, и Крум двинулся по тихой Камнорской дороге.

На небольшом старом мосту через верхнюю Темзу, — его все еще называли новым, — Крум остановился. Было что-то своеобразное в этой части реки, спокойной, извилистой и такой чуждой мирской суеты. Луна поднялась и светила ярко, камыши поблескивали, а ивы, казалось, роняли серебро в воду, темневшую под их ветвями. В гостинице на той стороне несколько окон были освещены, но обычных звуков патефона не доносилось. Теперь луна стояла так высоко, что звезды казались только проколами на лиловом небе. Его ноздри щекотал аромат, доносившийся с поросших камышом отмелей и с прибрежных лугов; этот запах, после целой недели тепла, был особенно сладок и чуть отдавал гнилью. Он вдруг принес с собой волну чисто физического томления, — ведь Крум так часто и так давно грезил о том, что они с Клер любят друг друга и плывут по этой извилистой речке, напоенной благоуханием лугов... Он включил мотор, машина рванулась вперед, пронеслась мимо гостиницы и свернула на узкую боковую дорогу. Через двадцать минут юноша уже стоял на пороге своего домика и смотрел на озаренную луной комнату, которую оставил семь часов назад, всю залитую солнцем. Вот лежит на полу роман, который он пытался читать, вот остатки обеда — сыр

и фрукты, не убранные со стола; пара коричневых ботинок, которые он собирался почистить; толстые балки на потолке и вокруг большого старого очага, который был в викторианскую эпоху заложен и покрашен, а теперь восстановлен; поблескивали медные таганы, оловянные тарелки, кувшины и жбаны, которые он отважно собирал, надеясь, что они понравятся Клер, — все его *res angusta domini*¹ хмуро приветствовали его. Он вдруг почувствовал страшную усталость, выпил полстакана виски с водой, съел несколько бисквитов и опустился в изнеможении в свое длинное плетеное кресло. Тони почти мгновенно заснул и проснулся, когда было уже светло. Проснувшись, он тотчас же вспомнил, что решил было всю ночь действовать. Низкие солнечные лучи уже озаряли комнату. Он допил воду, оставшуюся в кувшине, и посмотрел на часы. Пять часов. Он распахнул дверь. Над полями стлался утренний туман. Крум вышел, миновал стойла для кобыл и загоны. Тропинка, спускавшаяся к реке, вела через луга и овраги, зеленые склоны которых заросли орешником и ольхой. Росы не было, но каждая травинка и каждый кустик пахли необычайно свежо.

Ярдах в пятидесяти от реки, в небольшой ложбинке, он бросился на землю. Пока проснулись только кролики, пчелы и птицы. Тони Крум лежал на спине и смотрел на траву, на кусты и на голубое утреннее небо, чуть затянутое легким руном облаков. Может быть, потому, что из этой ложбинки он видел очень немного, ему казалось, что с ним вся Англия. Совсем рядом с его рукой дикая пчела погрузила хоботок в чашечку цветка; пахло слабо и нежно, словно гирляндами из ромашек, но главное — как необычайно свежа эта трава, как по-весеннему зелена. «Величие, достоинство и мир». Он вспомнил пьесу. Эти слова потрясли его. Зрители смеялись, Клер смеялась. Она сказала, что это «сентиментальность». «Величие, достоинство и мир, — ни в одной стране этого нет и не будет». Вероятно, не будет, конечно, не будет. Во всякой, даже родной, стране не бывает четких границ между прекрасным и чудовищным; это беспорядочное смещение и заставляет драматургов все преувеличивать, а журналистов — писать всякую чепуху. И все-таки нигде в мире не найдешь вот такого местечка и такой травы, свежей и пахучей, хотя она как будто и не пахнет, такого нежного, покрытого мелкими облачками неба, такой россыпи полевых цветов, таких птичьих песен — всего, что окружало его, — и древнего и вечно юного. Пусть люди смеются, — он не может уехать от этой травы! Крум вспомнил трепет, который почувствовал полгода назад, когда снова увидел английскую траву. Бросить место, хотя настоящая работа еще не началась, подвести Маскема, который так хорошо к нему отнесся... Он лег ничком и прижался щекой к траве. Так запах был еще сильнее — не сладкий, не горький, но свежий, радостный и родной, — запах, знакомый с самого раннего детства, запах Англии! Хоть бы эти кобылы уж были здесь и он мог бы заняться ими!

Он снова сел и прислушался: ни поездов, ни автомобилей, ни самолетов, ни людей, ни животных, только птичье пенье, да и то далекое, едва различимое, какая-то долгая, плывущая над травами мелодия. Что ж! Тосковать бесполезно. Если в чем-нибудь тебе отказано, значит, отказано!

¹ скромные предметы домашнего обихода (лат.)

Едва Динни ушла, как Адриан вдруг понял, как это часто бывает с людьми, что обещание придется выполнить. Как заставить королевского адвоката выдать себя? Прямо пойти к нему — это будет слишком явно. А испытывать у гостя — неудобно! Попросить Эм, чтобы она пригласила их обоих ужинать? Она не откажет, особенно если намекнуть, что дело касается Динни. Но даже и тогда... Посоветовавшись с Дианой, он после обеда отправился на Маунт-стрит. Он застал семью за пикетом.

— Четыре короля, — объявила леди Монт. — Мы с сэром Лоренсом ужасно старомодны. Ты за чем-нибудь пришел, Адриан?

— Разумеется, Эм. Я хочу попросить тебя пригласить ужинать Дорнфорда и меня, мне надо с ним встретиться.

— Значит, Динни... Никак не могу заставить Лоренса быть галантным. Как только у меня четыре короля, у него непременно четыре туза. Так когда же?

— Чем скорее, тем лучше.

— Позвони, милый.

Адриан позвонил.

— Блор, передайте мистеру Дорнфорду по телефону, что мы приглашаем его на ужин. В смокинге.

— Когда, миледи?

— В первый же вечер, который у меня не записан. Мы — прямо как зубные врачи, — добавила она, когда Блор удалился. — Расскажи про Динни. Она не была у нас с самого процесса.

— Процесс, — сказал сэр Лоренс, — прошел в общем так, как и можно было ожидать. Не правда ли, Адриан? Есть новости?

— Кто-то уплатил издержки, и Динни подозревает, что это Дорнфорд.

Сэр Лоренс положил карты на стол.

— Пожалуй, чересчур похоже на выкуп за нее, а?

— Он-то, конечно, не сознается, но она поручила мне вывести у него.

— Если он не сознается, то зачем было это делать?

— Рыцари, — пробормотала леди Монт, — хранили перчатку своей дамы, их убивали, и никто не знал, чья это перчатка. Да, Блор?

— Мистер Дорнфорд сказал, что почтет для себя удовольствием быть у вас в понедельник, миледи.

— Тогда запишите его в мою книжечку и мистера Адриана тоже.

— Уходи с ним вместе после ужина, Адриан, — сказал сэр Лоренс, — и тогда попытайся узнать, чтобы вышло не так явно. А ты, Эм, пожалуйста, не намекай ни охом, ни вздохом.

— Красивый мужчина, — заметила леди Монт, — такой смугловатый...

В следующий понедельник, после ужина у Монтов, Адриан, как и было решено, вышел вместе с «красивым, смугловатым мужчиной». Так как Дорнфорд еще не переехал в свое новое обиталище, им было почти по пути. Адриан с облегчением понял, что его спутник не менее,

чем он сам, жаждет остаться с ним наедине, ибо Дорнфорд сразу же заговорил о Динни.

— Мне почему-то кажется, что Динни пережила какой-то удар... Не процесс, нет, но вот тогда, когда она заболела и вы ездили с ней за границу... Я не ошибся?

— Нет, не ошиблись. Человек, которого, как я говорил вам, она любила, утонул; он был в Сиаме.

— О!

Адриан украдкой взглянул на Дорнфорда. Что выразит это лицо: заботу, облегчение, надежду, сочувствие? Но Дорнфорд только чуть-чуть нахмурился.

— Мне хотелось спросить у вас одну вещь, Дорнфорд. Кто-то уплатил судебные издержки, наложенные на этого юношу Крума.

Собеседник удивленно поднял брови, но лицо его оставалось непроницаемым.

— Я думал, вы, может быть, знаете — кто. Адвокаты сказали только, что это исходит не от противной стороны.

— Понятия не имею.

«Так! — подумал Адриан. — Ничего я не узнал, кроме того, что если он притворяется, то мастерски».

— Мне нравится этот юноша, — сказал Дорнфорд, — он вел себя как порядочный человек, и ему очень не повезло. Но теперь он хоть спасен от разорения.

— Довольно таинственная история, — пробормотал Адриан.

— Да.

«В общем, — решил Адриан, — вероятно, заплатил все-таки он. Но что за непроницаемое лицо!»

— А как вы находите — изменилась Клер после процесса?

— Она стала чуть циничнее. Когда мы сегодня утром катались верхом, она вполне откровенно высказывалась насчет моей профессии.

— Как вам кажется, выйдет она за Крума?

Дорнфорд покачал головой.

— Сомневаюсь. Особенно если то, что вы сказали об уплате издержек, — правда. Она могла бы выйти за него из чувства признательности, но процесс этот ухудшил его шансы. Она его не любит... мне по крайней мере кажется, что нет.

— Брак с Корвеном страшно разочаровал ее.

— Я редко видел такое лицо, как у него, оно не оставляет никаких иллюзий, — пробормотал Дорнфорд. — Но мне кажется, что она и одна будет жить достаточно интересно. У нее есть мужество, и, как все современные молодые женщины, она очень независима.

— Да, трудно представить себе Клер в роли просто «хозяйки дома», — ответил Адриан.

Дорнфорд промолчал.

— А относительно Динни вы бы этого не сказали? — спросил он вдруг.

— Видите ли, представить себе Клер матерью я не могу, а Динни — могу. Я не представляю себе, чтобы Динни могла порхать здесь, там, всюду, а Клер может. И все-таки сказать о Динни, что она «домашняя», было бы неверно. Это не то слово.

— Да,— пылко отозвался Дорнфорд.— Я не знаю, каким словом ее можно определить. Вы очень верите в нее?

Адриан кивнул.

— Беспредельно.

— Моя встреча с ней имеет для меня невыразимое значение,— сказал Дорнфорд очень тихо,— но боюсь, что для Динни она еще не имеет никакого.

— Все это не так просто,— заметил Адриан.— Терпение — добродетель или было ею, по крайней мере до тех пор, пока война не взорвала старый мир.

— Но ведь мне скоро сорок.

— Что ж, Динни скоро двадцать девять.

— То, что вы рассказали мне сейчас, что-нибудь меняет или нет?

— Насчет Сиам? Думаю, да... и очень меняет.

— Спасибо вам.

Они расстались, крепко пожав друг другу руки, и Адриан повернул на север. Он шел медленно, думал о книге судеб, раскрытой перед каждым влюбленным. Никакие письменные гарантии, никакие ценные бумаги неспособны сохранить ее неизменной на всю жизнь. Любовь бросает человека в мир; с любовью он имеет дело почти всю жизнь, то в ущерб себе, то на радость; а когда он умирает, плоды его любви, дети, или же члены приходского совета хоронят его и забывают.

В Лондоне, где улицы кишат людьми, каждому приходится считаться с этой изменчивой, мощной и безжалостной силой, с которой ни один мужчина, ни одна женщина в здравом уме и твердой памяти не захотели бы иметь дело. В одном случае — «хорошая партия», «счастливый брак», «идеальная пара», «союз на всю жизнь»; в другом — «несходство характеров», «случайное увлечение», «трагическое положение», «роковая ошибка». Человек может все обеспечить, изменить, застраховать, предусмотреть (все, кроме, увы, неотвратимой смерти), но в отношении любви — он бессилен. Любовь приходит из ночи и в ночь возвращается. Она остается, она улетает. Она делает запись на одной или другой стороне книги, и нужно терпеливо ждать следующей записи. Она смеется над диктаторами, парламентами, судьями, епископами, полицией и даже над добрыми намерениями; она сводит с ума радостью и скорбью, она распутничает, творит, крадет и убивает; она бывает преданна, верна, изменчива. Она не знает стыда, над ней нет господина. Она создает семейные очаги и разрушает их. Переходит на сторону врага. А иногда сливает два сердца в одно на всю жизнь.

Адриан шагал по Черинг-Кросс-роуд, и ему казалось, что нетрудно представить себе Лондон, Манчестер, Глазго без любви. И все же без любви ни один из этих прохожих не вдыхал бы пробензиновый ночной воздух, ни один дом не был бы заложен, ни один автобус не пронесся бы, жужжа, по улице, ни один уличный певец не завывал бы, ни один фонарь не осветил бы ночную тьму. Любовь — основной и главный интерес человечества. И ему, чьим главным интересом всегда были останки древнего человека, без любви нечего было бы откапывать, классифицировать, хранить под стеклом; и теперь он раздумывал о том, найдут ли Динни и Дорнфорд счастье друг в друге...

А Дорнфорд, направляясь в Харкорт-билдингс, тоже думал о Динни и о себе, но с еще большим волнением. Ему ведь почти сорок. Властно овладевшее им желание должно осуществиться — теперь или никогда. Если он не хочет стать сухим чиновником, он должен жениться и иметь детей. Жизнь его похожа на недопеченный хлеб, и лишь Динни могла бы придать ей вкус и смысл. Эта девушка стала для него... да чем она не стала! Проходя под узкими порталами Мидл-Темпль-Лейн, он сказал, обращаясь к ученому собрату, тоже спешившему домой спать:

— Как вы думаете, Стаббс, кто выиграет дерби?

— Бог его знает,— отозвался ученый собрат, спрашивавший себя в это время, зачем он так не вовремя пошел с козырей.

А на Маунт-стрит сэр Лоренс, войдя к жене, чтобы пожелать ей спокойной ночи, застал ее сидящей в постели. На ней был кружевной чепчик, который ее всегда так молодил. Сэр Лоренс, облаченный в черный шелковый халат, присел на край кровати.

— Ну как, Эм?

— У Динни будет два мальчика и одна девочка.

— Еще будут ли? Цыплят по осени считают.

— Должен же кто-нибудь... Поцелуй меня покрепче.

Сэр Лоренс наклонился и исполнил ее желание.

— Когда она выйдет замуж,— сказала леди Монт, закрывая глаза,— ее душа долго еще будет там только наполовину.

— Лучше наполовину вначале, чем совсем ничего в конце... А почему ты думаешь, что она за него выйдет?

— Чувствую. Нутром. Когда дело доходит до решительной минуты, мы не любим оставаться вне игры.

— Продолжение рода? Гм...

— Если бы только он попал в беду или сломал себе ногу...

— А ты намекни ему.

— У него здоровая печень.

— Откуда ты знаешь?

— Белки глаз у него голубые. У смуглых мужчин часто бывает больная печень.

Сэр Лоренс встал.

— Я хотел бы одного,— сказал он,— чтобы Динни опять заинтересовалась своей судьбой и ей бы захотелось выйти замуж. В конце концов без невесты свадьбы не бывает.

— Кровати они купят у Хэрриджа,— пробормотала леди Монт. Сэр Лоренс удивленно поднял брови. Эм верна себе!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Та, которая отсутствием интереса к самой себе вызывала интерес столько людей, получила в среду утром три письма.

В первом она прочла:

«Динни, дорогая,

Я попыталась заплатить свой долг, но Тони не пожелал и вылетел от меня как пуля. Итак, я опять совершенно свободная женщина. Если услышишь что-нибудь о нем, извести меня.

Дорнфорд становится с каждым днем все интереснее. Мы говорим только о тебе, — и за это он повысил мне жалование до трехсот фунтов.

Любящая тебя и всех

К л е р».

Во втором письме она прочла:

«Дорогая Динни,

Я пока остаюсь здесь. Кобылы прибудут в понедельник. Вчера приезжал Маскем и вел себя очень тактично: ни слова о процессе. Я пытаюсь разводить птицу. Вы могли бы сделать мне огромное одолжение, узнав, кто уплатил за меня судебные издержки: это не дает мне покоя.

Огромное спасибо за вашу всегдашнюю ко мне доброту.

Всегда ваш

Т о н и К р у м».

В последнем письме она прочла:

«Динни, дорогая моя,

Ничего не вышло. Или он ни при чем, или он меня надул. Но если надул, то очень ловко. И все-таки мне кажется, что надул. Если тебе действительно важно узнать, я бы на твоём месте спросил его прямо. Не думаю, чтобы он тебе сказал неправду, даже «самую маленькую». Как ты знаешь, он мне нравится: на мой, дядюшкин, взгляд, он все еще «золотой стандарт».

Вечно преданный тебе

А д р и а н».

Так. Она почувствовала легкую досаду. И эта досада, показавшаяся ей мимолетной, не покидала ее. Настроение Динни, как погода, стало снова холодным и мрачным. Она написала сестре то, что сообщил ей о себе Крум, и прибавила, что о Клер в письме не упоминалось. Она написала Тони Круму и не упомянула ни о Клер, ни о судебных издержках; больше всего она распространялась насчет птицы, — эта тема была совершенно безопасна.

Она написала Адриану:

«Я чувствую, что мне необходимо встряхнуться, но пайщики все равно не получают никакого дивиденда. Очень холодно и пасмурно. Меня утешает только маленький Каффс, который стал настоящим мужчиной и уже знает меня».

Потом, словно сговорившись с администрацией Аскотского ипподрома, погода потеплела. И вдруг Динни написала Дорнфорду. Она писала о свиньях, поросятах и свинарниках, о правительстве и о фермерах и закончила следующими словами:

«Нас всех очень беспокоит вопрос о том, кто же уплатил издержки по делу моей сестры. Так неприятно быть обязанной неизвестно кому. Не могли бы вы каким-нибудь способом это **выяснить?**»

Она помедлила, обдумывая, как ей подписать это первое письмо к нему, и наконец подписалась:

«Всегда ваша

Динни Черрел».

Ответ пришел очень скоро.

«Дорогая Динни,

Я был страшно рад получить от вас письмо. Отвечу прежде всего на ваш последний вопрос. Приложу все старания, чтобы вывести адвокатов «на чистую воду», но если они не сказали вам, то едва ли скажут мне. Тем не менее попытаюсь. Думаю, впрочем, что, если бы ваша сестра или Крум стали настаивать, юристам пришлось бы им сказать. Теперь — насчет свиней...»

Следовал ряд сведений и жалоб на то, что за земледелие до сих пор еще не взялись как следует.

«Если бы только люди поняли, что всю необходимую нам свинину, птицу и картофель, почти все овощи, большую часть плодов и гораздо больше молочных продуктов, чем мы производим теперь, мы могли бы производить в своей стране, а путем сокращения импорта заставили бы наших фермеров снабжать внутренний рынок, тогда мы за десять лет снова создали бы жизнеспособное и доходное сельское хозяйство, причем жизнь от этого не подорожала бы, а баланс внешней торговли стал бы активным. Видите, какой я новичок в политике! Мясо и пшеница — самое трудное. Мясо и пшеницу мы будем получать из доминионов, а все остальное, за исключением южных фруктов и овощей, должно выращиваться в Англии. Вот мой девиз. Надеюсь, ваш отец со мной согласен. Клер нервничает, и я думаю, может быть, ее успокоит более живая работа. Когда мне попадется что-нибудь, я посоветую ей перейти. Узнайте, пожалуйста, у вашей матушки, не помешаю ли я, если приеду к вам на субботу и воскресенье в конце месяца. Она была так добра, что просила сообщать ей всякий раз, когда я бываю в округе. На днях я опять смотрел «Кавалькаду». Хорошая вещь, но мне недоставало вас. Не могу даже сказать, как я скучаю по вас.

Преданный вам

Юстэйс Дорнфорд».

Скучает по ней!

Эти слова пробудили в ней некоторую теплоту, но она почти сейчас же вспомнила о Клер. Нервничает? А кто бы на ее месте был спокоен? Она не появлялась в Кондафорде с самого процесса. Динни находила это вполне естественным. Пусть говорят, что общественное мнение

взор, — оно вовсе не вздор, особенно для того, кто, подобно Клер, здесь вырос и принадлежит к местной аристократии. И Динни с грустью говорила себе: «Я не знаю, чего ей пожелать, и это даже лучше, потому что настанет день, когда она сама ясно поймет, что ей нужно. Как хорошо знать, что тебе нужно!»

Она перечла письмо Дорнфорда, и вдруг ей впервые захотелось разобратся в своих чувствах. Собирается или не собирается она когда-нибудь выйти замуж? Если да, то почему не выйти за Юстэйса Дорнфорда? Ведь он ей нравится, она восхищается им, ей интересно говорить с ним. А ее прошлое? Каким странным кажется это слово! Ее прошлое чувство, задушенное почти в зародыше, и все же самое глубокое из всего, что ей суждено пережить. «Настанет день, когда тебе придется вернуться на поле боя». Неприятно, если собственная мать считает, что ты трусишь. Но это не трусость. На ее щеках появились розовые пятна; никто этого не поймет, этого ужаса перед изменой тому, кому она принадлежала если не телом, то всей душой, перед изменой тому всепоглощающему чувству, на которое она уже никогда не будет способна.

«Я не влюблена в Юстэйса, — подумала Динни. — Он знает это, и знает, что я не могу притворяться влюбленной. Если он согласен взять меня на этих условиях, то как мне правильнее поступить? Как я могу поступить?» Она вышла в старый сад, окруженный тисовой изгородью; там уже распускались первые розы. Динни принялась бродить по аллеям, нюхая то одну, то другую розу, а за ней с недовольным видом плелся Фош; он не любил цветов.

«Но как бы я ни поступила, — продолжала она размышлять, — тянуть дольше нельзя, нельзя его мучить».

Она остановилась у солнечных часов, где тень отставала на целый час от настоящего времени, и взглянула на солнечное око, стоявшее над фруктовыми деревьями и тисовой изгородью. Если она выйдет за Дорнфорда, у них будут дети, только ради них и стоит. Динни отдавала себе отчет (или так ей казалось) в том, какую роль играет для нее пол. Но она не могла предугадать, как он и она будут переживать все это в сокровенных глубинах души. Беспокойно переходила она от куста к кусту, давая рукою в перчатке редких зеленых мух. А Фош в отчаянии наконец незаметно уселся в уголке сада и принялся есть траву.

В тот же вечер Динни написала Дорнфорду: мама будет очень рада видеть его в конце месяца. Отец вполне разделяет его взгляды на земледелие, но совершенно не уверен в том, что их разделяет еще кто-нибудь, кроме Майкла, который, выслушав его однажды вечером очень внимательно, сказал: «Да, теперь главное — это руководство, а где его взять?» Динни надеется, что, когда Дорнфорд приедет, он уже сможет сообщить ей что-нибудь об оплате издержек. Посмотреть во второй раз «Кавалькаду» — наверное, очень интересно. Не знает ли он, что за цветок «меконopsis», если она правильно его называет? Это особый вид мака, восхитительного цвета. Его родина Гималаи, — значит, ему вполне подойдет и климат Кемпден-Хилла, который, по ее мнению, очень похож на гималайский. Если бы Дорнфорд уговорил Клер приехать вместе с ним, это очень порадовало бы всех домашних. На этот раз она подписалась «ваша

всегда». Различие было настолько тонко, что она не смогла бы объяснить его даже самой себе.

Сообщив матери о том, что он придет, Динни добавила:

— Постараюсь заполучить и Клер. Ты не думаешь, мама, что следовало бы позвать и Майкла с Флер? Мы так долго пользовались их гостеприимством.

Леди Черрел вздохнула.

— Конечно, это нарушит наш привычный уклад жизни. Но все-таки пригласи.

— Они будут говорить о теннисе, это будет приятно и полезно.

Леди Черрел удивленно взглянула на дочь, — в ее голосе прозвучали какие-то нотки, напоминавшие былую Динни.

Когда Динни узнала, что придут и Клер, и Майкл с Флер, она стала подумывать о том, не пригласить ли ей Тони Крума. В конце концов она все же решила не звать его, хотя ей и очень хотелось. Давно ли она сама переживала такую же боль? Кто-кто, а уж она понимала, до чего ему сейчас трудно.

Отец с матерью тщательно скрывали свою тревогу за нее, и это трогало Динни. Дорнфорду, конечно, давно бы пора приехать в свой округ. Как жаль, что он здесь не живет: не следует терять связи со своими избирателями. Вероятно, он придет на машине и привезет с собою Клер; или, может быть, за ней заедут Флер и Майкл. Такими разговорами они старались скрыть свою тревогу за обеих дочерей.

Едва Динни поставила в последнюю спальню последний цветок, как к дому подошла машина; она спустилась вниз и увидела в холле Дорнфорда.

— Знаете, Динни, у Кондафорда есть душа. Может быть, это голуби на черепичной крыше или аромат старины, но душу чувствуешь сразу... Ее рука задержалась в его руке неожиданно долго.

— Сад очень зарос. И потом этот запах... прошлогоднего сена и цветущей вербены... А может быть, крошатся деревянные оконные рамы.

— Вы прекрасно выглядите, Динни.

— Я чувствую себя хорошо, спасибо. У вас, верно, не было времени для Уимблдона? ¹

— Нет. Но Клер там бывает. Она придет прямо оттуда с молодыми Монтами.

— Вы написали, что она «нервничает». Что вы хотели этим сказать?

— Насколько я понимаю, Клер необходимо всегда быть в центре внимания, а сейчас она этого лишена.

Динни кивнула.

— Она вам ничего не говорила о Тони Круме?

— Говорила. Она сказала, смеясь, что он шарахнулся от нее, как от огня.

Динни взяла у гостя шляпу и повесила ее.

— А что с уплатой издержек? — спросила она, не поворачивая головы.

¹ Уимблдон — теннисный клуб в пригороде Уимблдон, где каждое лето происходит розыгрыш первенства по теннису.

— Я специально ездил к Форсайту, но ничего от него не добился.
— А... Хотите сначала умыться или прямо пройдете к себе? Ужин в четверть девятого. А сейчас половина восьмого.

— Лучше прямо вверх.

— Вы будете теперь в другой комнате. Я покажу вам.

Она проводила его до маленькой лестницы, которая вела в «комнату священника».

— Вот ваша ванная. А теперь — сюда, вверх.

— В «комнату священника»?

— Да. Но привидений там нет.

Она подошла к окну.

— Смотрите! Здесь ему ночью спускали в корзине еду. Нравится вам вид отсюда? Конечно, весной еще лучше, когда все зеленеет.

— Чудесно!

Он стоял рядом с ней, и его пальцы с такой силой сжимали край каменного подоконника, что даже суставы побелели. Волна горечи залила ей сердце. Как она мечтала когда-то стоять здесь рядом с Уилфридом! Динни прислонилась к амбразуре окна и закрыла глаза. Когда она их снова открыла, его глаза были прикованы к ее лицу, губы дрожали, руки были стиснуты за спиной. Динни направилась к двери.

— Я скажу, чтобы принесли ваши вещи и разложили их. Ответьте мне на один вопрос: это не вы заплатили издержки?

Он вздрогнул и отрывисто засмеялся, словно его неожиданно перенесли из трагедии в комедию.

— Я? Нет! Мне и в голову не пришло.

— А! — отозвалась Динни. — У вас до ужина еще много времени.

И она направилась к маленькой лестнице.

Поверила она ему или нет? Не все ли равно! Вопрос будет задан, и на него придется дать ответ. «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть». Услышав, что подошел второй автомобиль, она поспешно сбегала по лестнице.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Во время этих странных двух дней, когда только Майкл и Флер чувствовали себя непринужденно, Динни, гуляя с Флер по саду, вдруг получила разгадку тревожившей ее тайны.

— Эм говорила, — начала Флер, — что все вы ломаете себе голову по поводу этих издержек. По ее словам, ты подозреваешь, что уплатил Дорнфорд, и тебе не хочется быть ему обязанной.

— Конечно; это все равно как вдруг обнаружить, что ты ничего не должна своей портнихе.

— Милая моя, — продолжала Флер, — скажу тебе по секрету: деньги заплатила я. Роджер как-то у нас обедал и жаловался, что ужасно неприятно посылать такой счет людям, когда у них ничего нет, и я тогда посоветовалась с Майклом и послала Роджеру чек. Мой отец зарабатывал деньги на законах, так что это только справедливо.

Динни изумленно уставилась на нее.

— Видишь ли,— и Флер доверительно взяла ее под руку,— благодаря конвертированию займа мои облигации повысились на десять пунктов, так что даже после выплаты этих девятисот с лишним фунтов я все же на пятнадцать тысяч богаче, чем была, а облигации продолжают повышаться. Я сказала тебе только потому, что боялась, как бы это не помешало тебе решить вопрос с Дорнфордом. Скажи, ведь помешало бы?

— Не знаю,— безучастно ответила Динни, и она действительно не знала.

— Майкл уверяет, что такого порядочного человека, как Дорнфорд, он давно не встречал, а насчет порядочности он очень чуток. И знаешь,— Флер остановилась и выпустила ее руку,— ты для меня загадка, Динни. Вскому ясно, глядя на тебя, для чего ты создана: быть женой и матерью. Я знаю, ты многое пережила, но время все излечивает. Это так, я сама прошла через это и знаю. Важно настоящее и будущее. И ведь мы — настоящее, а будущее — наши дети. И продолжать наш род должна именно ты, потому что ты верна традициям, преемственности и всему такому. Воспоминания не должны нам портить жизнь, и,— прости меня, старушка,— другого такого случая не будет — сейчас или никогда. А сказать о тебе это «никогда» было бы слишком грустно. Во мне, правда, весьма мало идеализма,— продолжала Флер, нюхая розу,— зато достаточно обыкновенного практицизма, и я не могу видеть, если что-нибудь пропадает даром.

Динни, тронутая взглядом этих карих глаз с необыкновенно яркими белками, стояла не двигаясь и очень тихо ответила:

— Будь я католичкой, как он, я бы знала, что мне делать.

— Ушла бы в монастырь?— насмешливо отозвалась Флер.— Ну, нет! Моя мать была католичкой, и все-таки — нет! Но ты-то не католичка; нет, дорогая, тебе нужен семейный очаг... Совместить и то и другое невозможно.

Динни улыбнулась.

— Мне очень неприятно, что я доставляю людям столько хлопот. Как тебе нравится эта Анжель Пернэ? ¹

Всю субботу Динни не говорила с Дорнфордом, так как он усердно выяснял настроения соседних фермеров. Но после ужина, когда она велла подсчет очков четырех гостей, занявшихся бильярдом, он подошел и стал с ней рядом.

— В доме веселье,— сказала она, присчитывая девять очков Флер ее противникам.— А как фермеры?

— Они уверены.

— В чем?

— В том, что любые начинания все равно ухудшат их положение.

— О!.. Они к этому привыкли...

— А вы что делали весь день, Динни?

— Собирала цветы, гуляла с Флер, играла с Каффсом, возилась со свиньями... Пять вам, Майкл, и семь им. Христианская игра: желай другим того же, что ты желаешь себе.

¹ Сорт розы.

— Русская пулька, — пробормотал Дорнфорд. — Непонятно: ведь в этой стране такие игры считались греховными.

— Кстати, если хотите завтра слушать обедню, отсюда рукой подать до Оксфорда.

— А вы поехали бы со мной?

— О да! Я люблю Оксфорд, и я была там у обедни только один раз. Ехать туда меньше часа.

Он смотрел на нее, как спаниель Фош, когда она возвращалась после долгого отсутствия.

— Значит, в четверть десятого, на моей машине.

Когда они на другой день сидели рядом в автомобиле, он спросил:

— Откинем верх?

— Пожалуйста.

— Динни, это — как сон.

— Хотела бы я, чтобы мои сны скользили так же легко.

— Вы часто видите сны?

— Да.

— Хорошие или дурные?

— Сны — как сны, всего понемногу.

— А иные повторяются?

— Один. Я вижу реку, которую не могу переплыть.

— Знаю. Это — как экзамен, который никак не можешь выдержать.

Сны безжалостно выдают нас. А если бы вам удалось переплыть эту реку во сне, стали бы вы счастливей?

— Не знаю.

Наступило молчание. Наконец он сказал:

— Эта машина новой конструкции. У нее другая система передачи. Хотя вы ведь автомобильным спортом не увлекаетесь.

— Я в этом ничего не смыслю.

— Это оттого, Динни, что вы несовременны.

— Да, у меня многое получается хуже, чем у людей.

— Но многое у вас получается лучше, чем у кого бы то ни было.

— Вы хотите сказать, что я умею подбирать букеты...

— И понимать шутки, и быть ужасно милой...

Динни казалось, что милой она за эти два года отнюдь не была, и поэтому она только спросила:

— В каком колледже вы учились, когда были в Оксфорде?

— В Ориэле.

На этом разговор иссяк.

Часть сена была уже в стогах, но местами оно еще лежало, и летний воздух был полон его благоуханием.

— Боюсь, — сказал вдруг Дорнфорд, — что мне совсем не хочется слушать обедню. Так редко удастся быть с вами, Динни. Давайте поедem в Клифтон и покатаемcя на лодке.

— Погода действительно слишком хороша, чтобы сидеть в помещении.

Они свернули влево и, миновав Дорчестер, по склонам и обрывам подъехали к реке возле Клифтона. Оставив машину, они раздобыли лодку, отплыли немного и пристали к берегу.

— Вот,— сказала Динни,— образец того, как выполняются «добрые намерения». Сделать что-нибудь — это не значит сделать намеченное, не правда ли?

— Нет, но иногда выходит даже лучше.

— Жалко, что мы не взяли Фоша: он любит ездить на чем угодно, только бы ему сидеть на чьих-нибудь ногах и чтобы его хорошенько тошнило.

Катаясь по реке, они почти не разговаривали. Дорнфорд словно понимал (на самом деле он не понимал), что в этой дремотной летней тишине, на воде, то озаренной солнцем, то погруженной в тень, он становился ей ближе, чем когда-нибудь. А для Динни было что-то успокоительное и отрадное в этих долгих ленивых минутах, когда можно было молчать и всем своим существом впитывать в себя лето — его аромат, жужжанье, спокойный ритм, беззаботный и беспечальный полет его зеленого гения, легкое колебание тростников, тихое журчание воды и доносившиеся из дальних рощ голоса лесных голубей. Да, Клер права, он очень тактичен и чуток.

Когда они вернулись в усадьбу, Динни почувствовала, что это утро было одним из самых лучших и спокойных в ее жизни. Но она видела по глазам Дорнфорда, что между словами: «Спасибо, Динни, было чудесно», — и его истинными переживаниями — целая пропасть. Даже естественно, что он настолько держит себя в руках. Но она была женщиной, и ее сочувствие скоро перешло в досаду. Лучше все, что угодно, но только не это вечное насилие над собой, глубочайшее уважение, долготерпение и ожидание... И если они провели вместе все утро, то вторую половину дня они почти не виделись. Его глаза, устремленные на нее с тоской и легким упреком, только усиливали ее досаду, и она всячески старалась делать вид, что не замечает их. «Вот капризница», — как сказала бы ее старая няня-шотландка.

Желая ему возле лестницы спокойной ночи, Динни с искренним удовольствием отметила, что у него очень растерянное выражение лица, и с той же искренностью обозвала себя свиньей. Она вошла в свою спальню, охваченная странным смятием, недовольная собой, им и всем на свете.

— Черт! — пробормотала она, нащупывая выключатель.

Она услышала тихий смех. Клер в пижаме сидела на подоконнике и курила.

— Не зажигай, Динни. Пойди сюда, посиди со мной, и давай вместе пускать дым в окно.

Три широко распахнутых окна открывались в ночь с темно-синим небом, полным трепетных звезд. Динни, взглянув на небо, сказала:

— Где ты была с самого обеда? Я даже не знала, что ты вернулась.

— Хочешь сигарету? Тебе надо успокоиться.

Динни выдохнула облачко дыма.

— Да. Я сама себе отвратительна!

— Так было и со мной,— пробормотала Клер,— но теперь мне легче.

— Что же ты сделала?

Клер снова засмеялась, и в ее смехе было что-то, заставившее Динни спросить:

— Виделась с Тони Крумом?

Клер откинулась назад, и ее шея смутно забелела в темноте.

— Да, моя дорогая, наш форд и я — мы были там. И теперь, Динни, мы подтвердили обвинение. Тони больше не похож на несчастного сиротку.

— О! — отозвалась Динни, и снова: — О!

Голос Клер, в котором слышалась теплота, томность и удовлетворение, заставил щеки Динни вспыхнуть, дыхание ее участилось.

— Да, я предпочитаю иметь его любовником, а не другом. Как мудр закон: он знал, кем мы должны были стать. И мне нравится отремонтированный домик Тони. Только камин наверху надо еще переделать.

— Значит, вы собираетесь пожениться?

— Дорогая, мы же не имеем права. Нет, пока будем жить в грехе. А там будет видно. Это правильно, что нельзя жениться сразу после развода. Тони будет приезжать в город среди недели, а я к нему — на конец недели. И все будет происходить в полном соответствии с заключением присяжных.

Динни рассмеялась. Клер вдруг выпрямилась и обхватила колени руками.

— Я счастлива... давно я не была так счастлива! Нельзя мучить других... И потом, женщины должны быть любимы, это естественно. И мужчины — тоже.

Динни высунулась в окно, и ночь постепенно остудила ее щеки. Прекрасная и глубокая, лежала она там, стирая очертания предметов, темная и словно погруженная в свои думы. Сквозь напряженную тишину донесся далекий шум мотора, он быстро нарастал — пронеслась машина. Динни увидела, как мелькнули за изгородью ее фары и исчезли за поворотом. Затем шум стал глуше, и снова наступила тишина. Пролетела ночная бабочка, плавно опустилось с крыши, перевортываясь в тихом воздухе, белое голубиное перышко. Рука Клер обвилась вокруг талии Динни.

— Спокойной ночи, старушка. Потремся носами.

Оторвавшись от созерцания ночи, Динни обняла стройное тело сестры. Их щеки соприкоснулись, и обеих сестер по-своему взволновала теплая кожа другой; для Клер это было как бы благословением, для Динни — подобно заразе, словно и ее опалил томительный зной бесчисленных поцелуев.

Когда Клер ушла, она принялась беспокойно ходить по комнате.

— «Нельзя мучить других... Женщины должны быть любимы... мужчины — тоже...» Вот еще пророк нашелся! Она вдруг прозрела, словно Павел на пути в Дамаск ¹. И она все ходила по комнате, пока наконец, утомленная, не зажгла свет и, сбросив платье, не села в халате перед зеркалом, чтобы причесаться на ночь. Расчесывая волосы, она вдруг посмотрела на свое отражение, словно очень давно не видела себя. Лихорадка, которой ее заразила Клер, казалось, оставила след на ее щеках, во взоре, в косах, и Динни показалась себе необычайно оживленной.

¹ Имеется в виду библейская легенда о том, как бог, ослепив молнией Павла, направлявшегося в Дамаск, чтобы совершить там расправу над христианами, превратил его самого в христианина и проповедника христианства.

Или, быть может, когда она каталась с Дорнфордом в лодке, солнце влило в ее кровь этот зной? Она расчесала волосы, откинула их назад и легла. Окна остались открытыми, занавески не были задернуты. Динни лежала на спине в своей узкой комнатке, а звездная ночь смотрела ей прямо в лицо.

Часы в холле глухо пробили полночь; еще каких-нибудь три часа, и начнет светать. Она думала о Клер, спавшей за стеной сладким сном. Она думала о Тони Круме, опьяненном счастьем в его отремонтированном домике, и в памяти встала строчка из «Оперы нищих»: «Ее поцелуи даруют блаженство и тихий покой». А она? Она не могла заснуть и, как некогда в детстве, испытывала смутное беспокойство, ей хотелось разгадывать тайны глубокой ночи, сидеть на лестницах, заглядывать в комнаты, свернуться клубочком в каком-нибудь кресле. Надев халат и туфли, она выскользнула из комнаты, села на верхних ступеньках лестницы, обхватив колени, и прислушалась. В старом темном доме не раздавалось ни звука, только где-то тихонько скреблась мышь. Динни поднялась и, держась за перила, беззвучно прокралась вниз. В холле уже пахло затхлостью, — там было слишком много старого дерева и мебели, а двери оставались закрытыми всю ночь. Динни пересекла холл и вошла в гостиную. Здесь воздух тоже был тяжелый. Пахло цветами, ароматической смесью и застоявшимся табачным дымом. Динни подошла к одной из застекленных дверей, отдернула гардины и распахнула дверь. Она остановилась на пороге, жадно вдыхая свежий воздух. Очень темно, очень тихо, очень тепло. Она видела слабый звездный отблеск на листьях магнолий. Оставив дверь открытой, она добралась до своего старого любимого кресла и свернулась в нем, поджав под себя ноги. Здесь, обхватив плечи руками, Динни постаралась почувствовать себя снова маленькой девочкой. Ночной воздух лился в комнату, тикали часы, и зной в ее крови, казалось, остывал в такт их ритму. Она закрыла глаза. Как всегда в этом старом кресле, она почувствовала себя очень уютно, словно была со всех сторон укрыта и защищена, но уснуть все-таки не могла. За ее спиной всходила луна, и от нее в комнату закралось странное ощущение чьего-то присутствия, какой-то зыбкий, неверный свет, который придавал каждому знакомому предмету лишь призрачное подобие этого предмета, словно комната просыпалась, чтобы побыть с ней. И в Динни вновь возникло давнее ощущение того, что этот старый дом живет своей особой жизнью, что он чувствует и видит, что у него свои периоды сна и бодрствования.

Вдруг она услышала на террасе шаги и испуганно встрепенулась.

Чей-то голос спросил:

— Кто это? Есть здесь кто-нибудь?

На пороге застекленной двери стояла фигура; Динни узнала Дорнфорда по голосу и ответила:

— Только я.

— Только вы!

Он вошел и остановился возле кресла, глядя на нее. Он все еще был в вечернем костюме и стоял спиной к окну, так что его лица почти не было видно.

— Что-нибудь случилось, Динни?

— Просто не спалось. А вы?

— Я заканчивал в библиотеке одну работу. А потом вышел на террасу подышать свежим воздухом и увидел, что дверь открыта.

— Кто же из нас первый скажет: «Вот удивительная встреча»?

Но никто ничего не сказал. Динни выпрямилась и спустила ноги с кресла. Вдруг Дорнфорд обхватил голову руками и повернулся к ней спиной.

— Простите, что я в таком виде,— пробормотала она,— я ведь не думала...

Он опять обернулся к ней и упал на колени.

— Динни, жизнь для меня кончена, если...

Она положила руки ему на голову и негромко ответила:

— Нет, только начинается...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Адриан сидел и писал жене:

«Кондафорд. 10 августа.

Моя горячо любимая,

Я обещал дать тебе подробный и правдивый отчет о свадьбе Динни. Найди в «Лантерн» описание того, как «жених и невеста выходят из церкви». К счастью, фотоаппарат этой газеты заснял их до того, как они сели в машину. Ведь только киноаппарат может снимать движение, а то получается, что одна нога задрана к глазу, коленка другой кажется бесформенной, а линия брюк — нарушенной. Дорнфорд выглядел очень хорошо: прямо как на свадебной фотографии. А Динни, господь да благословит ее, не улыбалась обычной «улыбкой невест», точно понимая, как смешно бы это выглядело. С тех пор как они стали женихом и невестой, я все старался понять, что она чувствует к нему на самом деле. Конечно, это не такая любовь, какой она любила Дезерта, но думаю, что физически он ей не противен. Когда я вчера спросил ее: «От чистого сердца?» Она ответила: «Во всяком случае, от всей души». Мы оба, конечно, знаем, что ради других она совсем себя не жалеет. Но сейчас она действительно делает это для себя. У нее будет своя жизнь, дети, определенное положение. Так оно и должно быть, и я думаю, она это чувствует. Если она, как выражается современная молодежь, и не «сходит с ума» по Дорнфорду, то восхищается им и уважает его, и, по-моему, он вполне это заслужил. Кроме того, он знает от меня, если не от нее, на что может рассчитывать, и примирится с этим до лучших времен. Погода стояла все время прекрасная, и церковь, где, кстати сказать, был крещен «твой специальный корреспондент», по выражению какого-то простака, никогда еще не имела столь праздничного вида. Правда, прихожане в какой-то мере казались выходцами из «старой Англии», но я лично думаю, что большинство этих лиц можно увидеть у Вулворта.¹

¹ Вулворт — магазин американской фирмы, где в каждом отделе товары имеют одну цену.

Впереди в благочестивых позах стояли отпрыски нашего рода, сегодняшняя аристократия округа и завтрашняя. Чем больше я смотрел на нее, тем больше благодарил судьбу за то, что в условиях нашей жизни, в которые господу богу было угодно нас поставить, Черрелы нашего поколения отнюдь не имеют вид провинциальных аристократов. Даже Кон и Лиз, которым приходится жить здесь безвыездно, на них не похожи. Правда, странно, когда подумаешь, что понятие «провинциальная аристократия» в наше время еще существует, но оно, вероятно, останется до тех пор, пока люди будут стрелять и охотиться. Я помню, как еще мальчишкой, если удавалось выпросить себе лошадь из нашей конюшни или из чьей-нибудь еще, я старался удрать подальше, чтобы ни с кем не разговаривать — до того угнетительны были и их музыка, и их беседы. Лучше быть простым человеком, чем провинциальным аристократом, сегодняшним или завтрашним. Должен сказать, что Клер, после сильных ощущений, испытанных ею во время процесса, держалась удивительно хорошо, и вообще, насколько я мог наблюдать, никто не старался выказывать те чувства, которых у него в этот час дня, вероятно, не было. За ними, правда не с таким благочестивым видом, стояли крестьяне, — Динни ведь их любимица, — прямо выставка старейших жителей. Среди них несколько очень типичных лиц. Старик Доунер, в кресле на колесах, смуглый, с бакенбардами и бородкой, словно еврей из Уайтчепеля; он прекрасно помнит, как мы с Хилари свалились с воза с сеном, сидеть на котором нам вовсе не полагалось. Потом старая миссис Тибуайт, такая милая ведьма — она всегда разрешала мне рвать ее малину. Школьников отпустили на целый день. Лиз говорит, что на двадцать ребят не найдется ни одного, кто бы видел Лондон и бывал дальше, чем за десять миль от своей деревни. И это — в наши дни! Но молодые девушки и парни уже другие. У девушек красивые ноги и тонкие чулки, платья сшиты со вкусом; на юношах фланелевые костюмы, воротнички и галстуки, — и все это сделали мотоциклы и кино. В церкви было множество цветов, звонили колокола, играли на органе. Хилари совершил брачную церемонию со свойственной ему быстротой, и старый приходский священник, его секундант, все время косился на него за эти темпы и за то, что он многое пропускал. Ты, конечно, хочешь знать все подробности относительно туалетов? Все вместе можно сравнить с зарослями шпорника. По крайней мере Динни, хотя она и была в белом, а ей вполне соответствовали, — уж не знаю, нарочно или нет, — ее подружки. Что касается Моники, Джоан и двух молоденьких племянниц Дорнфорда, то они, высокие и стройные, действительно были похожи на цветы голубого шпорника. Впереди стояло четверо голубых детей, очень милых, но далеко не таких хорошеньких, как Шейла. Эта ветряная оспа прихвлялась так некстати: тебя и детей ужасно недоставало, а Рональд в роли пажа был бы лучше всех.

Я вернулся домой вместе с Лоренсом и Эм, производившей поистине величественное впечатление в своем платье стального цвета; только местами на ее лице были пятна — «там, где пудра смешалась со слезами». Мне пришлось остановиться с ней возле разбитого молнией дерева и пустить в дело один из тех шелковых платков, которые ты мне дала. Лоренс был в прекрасном настроении. Он считает, что эта свадьба —

наименее дутое предприятие из всего, что он перевидал за последнее время, и надеется, что фунт не упадет еще ниже. Эм ездила смотреть дом на Кемпден-Хилле. Она предсказывает, что Динни влюбится в Дорнфорда меньше чем через год; это вызвало новые слезы, так что я решился обратить ее внимание на дерево, в которое ударила молния, когда она, я и Хилари стояли под ним. «Да,— сказала она,— вы еще тогда под стол пешком ходили. Это судьба. А дворецкий сделал из этого дерева вставочку для пера, но перо в ней не держалось. Я подарила ее Кону для школы, и он потом проклинал меня. Лоренс, я старуха!» Тогда Лоренс взял ее за руку, и так, держась за руки, они прошли всю оставшуюся часть дороги.

Гостей принимали на террасе и на лужайке. Явились решительно все — и школьники, и старики, вообще собралось странное общество, но, по-моему, было весело. Я и не знал, что так люблю это старое гнездо. Что там ни говори, а в этих старых усадьбах все же что-то есть. Стоит только допустить, чтобы такие гнезда разрушались, и их уже не восстановишь, а ведь именно они придают своеобразную окраску всему окружающему. У некоторых деревень и пейзажей как-то нет души. Трудно сказать почему, но они пусты, плоски, бессодержательны. Хорошее старое гнездо преобразует всю окрестность. Если люди, живущие в нем, не эгоистичные свиньи, то оно незаметно становится чем-то важным и для тех, кому ничто в нем не принадлежит. Кондафордская усадьба — вроде якоря для соседних деревень. Сомневаюсь, чтобы хоть один из деревенских жителей, как бы он ни был беден, пожалел о том, что усадьба до сих пор цела, или чувствовал бы себя лучше, если бы она была разрушена. Любовь и заботы многих поколений и, право, не бог весть какие расходы создали нечто особое, своеобразное. Все меняется и, бесспорно, должно меняться, но как уберечь от перемен то, что этого заслуживает в домах, обычаях, установлениях или человеческих характерах? Вот одна из наших величайших проблем, а занимаемся мы ею бесконечно мало. Мы сохраняем наши произведения искусства, нашу старинную мебель, у нас развит и очень укоренился культ старины, даже самые передовые современные умы заражены им. Почему не подойти так же и к социальной жизни? Да, старые порядки меняются, но мы должны постараться сохранить красоту, достоинство и дух служения людям,— все это накапливалось веками, но исчезнуть может очень быстро, если мы не приложим усилий к тому, чтобы это сохранить. Раз человек таков, то нет ничего бессмысленнее, чем ломать созданное, чтобы потом начинать сызнова. На старом порядке вещей немало уродливых наростов, и далеко не все в нем было хорошо и прочно, но теперь, когда рабочие, так сказать, уже приступили к сносу дома, ясно видно, что можно за час сломать то, что возводилось веками. До тех пор, пока не увидишь совершенно отчетливо, не уяснишь, как заменить несовершенное чем-то более совершенным, будешь только тормозить движение вперед, а не способствовать ему. Все дело в том, чтобы выбрать и сохранить все ценное, хотя его не так уж много.

Однако оставим возвышенные материи и вернемся к Динни. Они собираются провести медовый месяц в Шропшире, на родине Дорнфорда. Затем поживут некоторое время здесь и обоснуются на Кемпден-Хилле.

Надеюсь, что погода продержится. Медовый месяц в дождливую погоду может быть очень утомительным, особенно когда один из молодоженов любит гораздо сильнее, чем другой. Дорожное платье Динни было, как тебе, наверное, интересно узнать, голубое, и оно было ей не очень к лицу. Нам удалось на минутку остаться вдвоем. Я передал ей от тебя привет, а она попросила передать привет тебе и сказала: «Дядя, милый, я, кажется, почти «переплыла», пожелай мне счастья». Я чуть не расплакался: что она переплыла? Все же если пожелания счастья могут способствовать счастью, то она увезла их целый ворох. А вот прощальные поцелуи трудно выдержать. Кон и Лиз поцеловали ее уже в машине. Когда Динни уехала и я увидел их лица, я почувствовал себя бесчувственным животным.

Они уехали в машине Дорнфорда, он сам правил. И тогда я, должен признаться, скис. Правда, все как будто хорошо, но мне почему-то грустно. В браке есть что-то бесповоротное, хотя развестись сейчас легко, а будет еще легче, да и Динни не такая женщина, чтобы связать себя с человеком, который ее любит, а потом бросить его. Она, конечно, будет верна старомодному обету: «В горе и в радости!» Будем надеяться, что хотя бы в будущем радости окажется больше. Я незаметно выскользнул в сад и пошел через поля в лес. Надеюсь, у вас там был такой же чудесный день, как и здесь. Эти буковые леса на склонах холмов гораздо красивее аккуратных буковых насаждений в долинах; но даже и они напоминают храмы, хотя служат лишь межевым знаками или дают тень стадам. Около половины шестого этот лес был прямо-таки заколдованным лесом, уверяю тебя. Я взобрался на косогор, уселся там и блаженствовал. Огромные косые столбы солнечных лучей заливали светом стволы деревьев, а к зеленой прохладе под ними применим лишь один эпитет: «райская». У многих деревьев ветви растут только на большой высоте, и некоторые стволы кажутся почти белыми. Подлеска почти нет, и мало живых тварей — только сойки да рыжие белки. Когда находишься в таком восхитительном лесу и начинаешь думать о налогах с наследства и о порубке деревьев, сердце обливается кровью и кажется, будто поужинал одним испанским луком. Для бога двести лет могут сойти за один день, но для меня они — вечность. В этих лесах уже не охотятся, каждый может тут гулять, и я думаю, что молодежь гуляет: это такое чудесное место для влюбленных. Я улегся на солнышке и стал думать о тебе, а два серых лесных голубя сидели на ветке, на расстоянии каких-нибудь пятидесяти ярдов, и уютно болтали; я пожалел, что у меня нет с собой бинокля. Там, где деревья срублены и выкорчеваны, выросли кипрей и пижма, а наперстянка здесь, видимо, не растет. Все это удивительно успокаивало, только сердце чуть-чуть щемило от всей этой зелени и красоты. Как странно, что от красоты бывает больно. Может быть, это скрытое ощущение неизбежности смерти, может быть, — сознание того, что все вещи со временем от человека уходят, и чем глубже их красота, тем тяжелее утрата. Тут в человеке допущена какая-то ошибка. Мы должны были бы относиться к этому примерно так: чем прекраснее земля, чем чудеснее этот свет, ветер, листья, чем пленительнее природа, тем глубже и сладостнее будем мы покоиться в ней. Неразрешимая загадка! Но я знаю, что вид мертвого кролика в таком лесу действует на меня

сильнее, чем тушка кролика в мясной. Возвращаясь, я наткнулся на мертвого кролика — его загрызла ласка; его покорная беспомощность, казалось, говорила: «Как жаль, что я мертв!» Может быть, смерть и хороша, но жизнь лучше. Мертвая форма, пока она все еще форма, производит очень тяжелое впечатление. Ведь форма и есть жизнь; и если жизнь ушла, то непонятно, как может форма сохраняться хотя бы ненадолго. Мне очень хотелось дожидаться, когда взойдет луна, заглянет сюда и постепенно наполнит лес своим призрачным светом; тогда, может быть, я почувствовал бы, что форма как-то продолжает жить в другом виде, и все мы — тоже, даже мертвые кролики, птицы, бабочки, мы все-таки движемся и продолжаем жить; может быть, в том-то и состоит правда, но этого я не знаю и никогда не узнаю. Но в восемь должен был быть ужин, и пришлось уйти, пока свет был еще зелен и золотист, — опять из-под пера потекла аллитерация, словно крошечный ручеек. На террасе я встретил Фоша, спаниеля Динни. Я знаю его историю, и мне показалось — я встретился с банши¹, хотя он вовсе не выл, но я тут же вспомнил все, что пережила Динни. Он сидел и смотрел в пол — как умеют смотреть собаки, особенно спаниели, если они чего-нибудь не понимают и одного-единственного запаха уже нет. Конечно, пес поедет с Дорнфордами в Кемпден-Хилл, когда они вернутся.

Я поднялся наверх, принял ванну, переоделся и стал у окна, прислушиваясь к жужжанию трактора, все еще косившего пшеницу, и слегка пьянея от аромата цветущей жимолости, которая обвивает мое окно. Теперь я знаю, что Динни разумела под этим «переплыла». Ей все снилась река, которую она никак не может переплыть. Что ж, так всю жизнь — или переплывешь, или утонешь. Я надеюсь, я верю, что она уже у того берега. Ужин прошел, как обычно; мы не говорили о ней и не касались наших чувств. Я сыграл с Клер партию на бильярде, — она показалась мне в этот раз особенно женственной и привлекательной. Потом просидел за полночь с Коном, но, точно по уговору, мы не произнесли ни слова. Боюсь, что они будут очень скучать без Динни.

Тишина в моей комнате, когда я наконец добрался до нее, была поразительная, лунный свет казался почти желтым. Сейчас луна прячется за один из вязов, и над сухой веткой сияет вечерняя звезда. Выступило еще несколько звезд, но очень тусклых. Эта ночь кажется далекой от нашей эпохи, далекой даже от нашего мира. Ни одна сова не крикнет, только жимолость все еще благоухает. Итак, моя любимая, здесь и сказке конец. Спокойной ночи.

Вечно любящий тебя

А д р и а н.

¹ Банши — в кельтском фольклоре — фея, предвещающая смерть.

Голсуорси Д.

Конец главы: Пер. с англ./Вступ. ст. М. Тугушевой/—Т.: Укитувчи, 1990.—624 с.

И (Англ)

СОДЕРЖАНИЕ

М. Тугушева. Конец главы	3
<i>Книга первая</i>	
ДЕВУШКА ЖДЕТ. Пер. Е. Голышевой и Б. Изакова	13
<i>Книга вторая</i>	
ПУСТЫНЯ В ЦВЕТУ. Пер. Е. Голышевой и Б. Изакова	237
<i>Книга третья.</i>	
НА ДРУГОЙ БЕРЕГ. Пер. В. Станевич	413

Литературно-художественное издание

Джон Голсуорси

КОНЕЦ ГЛАВЫ

ТРИЛОГИЯ

Ташкент «Укитувчи» 1990

Редактор *Клюева О. Н.*

Художественный редактор *Слабунов В. П.*

Технический редактор *Скиба Т. Ф.*

Корректор *В. Тараненко*

ИБ № 5212

Сдано в набор 21.07.89. Подписано в печать 31.07.90. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитур Таймс. Кегль 9 н/шп. Печать офсетная. Усл. п. л. 39+0,25 форзац. Усл. кр.-отт. 39,25. Изд. л 44,21+0,46 форзац. Тираж 500 000. (1-й завод — 200 000). Заказ № 2248. Цена 5 р. 20 к.

Набор и верстка подготовлены с применением автоматизированной системы переработки текст. АККОРД, разработанной в УНИИПП, г. Львов.

Издательство «Укитувчи». Ташкент, ул. Навои, 30. Договор № 14—88—89.

Главное предприятие ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по печати.
Ташкент, ул. Навои, 30. 1990.